



Литературные Жемзужины

● ИРКУТСК – БАЙКАЛ ●



СИБИРСКАЯ
КНИГА

882-32

84(2Рос=Рус)



*Книга издана по решению Издательского совета ОГАУ
«Иркутский Дом литераторов»*



Литературные жемчужины. Иркутск — Байкал. Избранные произведения сибиряков — Иркутск: Сибирская книга (Иркутск: ИП Лаптев А.К.), 2015 г. — 592 с., иллюстрации.

Первое издание «Литературных жемчужин», предпринятое в 2010 году, мгновенно стало библиографической редкостью. Во второе издание сборника вошли произведения, составившие славу сибирской литературы: пьеса «Старший сын» Александра Вампилова, рассказы Валентина Распутина «Уроки французского», «Что передать вороне?», «Женский разговор», повесть «Нежданно-негаданно», повесть Алексея Зверева «Гарусный платок», «Албазинская крепость» Гавриила Кунгурова, главы из повести «Разведчики» Иннокентия Черемных, повесть «Год чуда и печали» Леонида Бородин, повесть «Совка» Евгения Суворова, рассказы Дмитрия Сергеева «В сорок втором», «На тихих плёсах» и «Ледолом на Ангаре», повесть Валерия Хайрюзова «Капитан летающего сарая» и «Пригоршни из туесков» Виктора Воронова. Собранные воедино, все эти произведения позволяют получить цельное представление о прошлом и настоящем литературы Восточной Сибири, в непреходящей значимости которой не приходится сомневаться.

ISBN 978-5-91871-042-5

© Г.Ф. Кунгуров, 2015

© А.В. Зверев, 2015

© И.З. Черемных, 2015

© Д.Г. Сергеев, 2015

© А.В. Вампилов, 2015

© В.Г. Распутин, 2015


© Л.И. Бородин, 2015

© Е.А. Суворов, 2015

© В.Н. Хайрюзов, 2015

© В.В. Воронов, 2015

© С.А. Бурчевская, оформление, 2015

- 
- Тавриш Кунгуров
 - Алексей Зверев
 - Иннокентий Черемных
 - Дмитрий Сергеев
 - Александр Вампилов
 - Валентин Распутин
 - Леонид Бородин
 - Евгений Суворов
 - Валерий Хайрюзов
 - Виктор Воронов



ГАВРИИЛ
КУНГУРОВ

АЛБАЗИНСКАЯ КРЕПОСТЬ

Главы из книги



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

САБУРОВКА

Белые вершины Байкальского хребта взмывают в поднебесье. Ледяные пики рвут в клочья гонимые вихрем тяжелые тучи, и они осыпают сопки обильным игольчатым дождем. Снег здесь никогда не тает. Пустынны туманно-ледяные байкальские пики, даже бесстрашный белый орел не достигает их снежных вершин.

Склоны гор поросли вековыми кедром, кондовыми лиственницами и белоствольными березками. Весной всюду пылает розовым пламенем багульник, осенью рдеют склоны багряно-бурым ковром брусники, по низинам стелются синие поросли голубики. В предутренней пелене тумана оживает тайга. Припадая к земле, крадется к заячьим логовам, к глухариным токам огнеглазая лиса. Черный соболь, вынохивая острой мордочкой, изгибаясь, скользит по гнилой валежине, скрадывая зазевавшуюся мышь. У синих болот злобно хрюкает черный кабан. Прильнув к стволу сосны, рысь выжидает добычу — лося. В камышах гнездятся тучи уток, гусей, куликов. Вот тут и сливаются желтоводные ручейки в одно русло и текут беспокойной речкой к северу. Это и есть начало великой Лены.

Дойдя до прибайкальских гранитных гряд, Лена, пенясь, обдавая берега брызгами, с ревом вырывается из скал на широкую долину. Стихает, становится широководной, сонно-ленивой. Дремлет Лена из века в век: омуты полны икряной рыбой, камыши — жирной птицей. В прибрежных дебрях таится таежное зверье.

В одну из ранних весен понесла Лена на своем хребте небывалую ношу: плыли остроносые, широкодонные корабли, плыли к северу. Плеск воды, хриплый гам людей висели над Леной днем и ночью. Перепуганные эвенки падали в зеленые заросли, пропустив чудовищные лодки, собирали немудрящие пожитки и бежали в таежную глушь. Хлопали крыльями ожиревшие утки, силясь оторваться и улететь; пришельцы глушили их палками, били из самопалов.

...Падало солнце. Синяя тень ложилась плотно. Лодки, уткнувшись в заросшие, мшистые берега, дремотно качались на ленивой волне. Дышала река знобкой сыростью, тайга — теплом.

Люди вышли на берег, наскоро стали готовить ночлег. Взлетели огненные лоскутья костров, искры осыпали черные, словно застывшие, воды. Гам и крик гулко прокатился по реке. Но вот все затихло. Костры погасли, и становище заснуло.

...Едва занялась заря, Ярофей оставил становище, взмошел на гору.

Быстро голубело темное небо, янтарным светом загорались далекие вершины гор. Пыль над головой мелкие облака; гнал их ветер на запад, и холодком обдало сердце Ярофея. «Вот они, божьи скитальцы, бегут на родину, к отцам нашим на Русь торопятся...»

Поднялось солнце, озолотило реку, леса, горы, и невиданная красота открылась перед глазами. Посветлело сердце. Щурясь от серого блеска реки, Ярофей похозяйски оглядывал нетронутые, нехоженые места; дивился приволью и обилью угодий. словно комары едучие, надоедливо лезли в голову думы. Гнал их Ярофей, торопливо отмахивался от них. вспомнилось житье тяжкое, безотрадное. Большой дом, бревенчатые амбары, серый забор. За амбарами — пустырь, сизая трава, кочкарник. И куда уходит этот пустырь, где край и конец ему?.. Спит город Устюг. В своей светелке спит и купчина Ревякин, знатный устюжанин. Работные люди его, чуть свет забрезжил, спину гнут. Подпасок Ярошка со своим дядей Прохором гонят табун лошадей купчины на пастбище. Добр богатея-устюжанин. От его доброты не по времени умер дядя Прохор, а синие рубцы и по сей день видны на спине Ярофея. Свинья и от крапивы жиреет. У Ярофея холодные колючки по спине бегают, как вспомнит прожитое. Разве такое забудется? Гости у купчины веселились. Захмелел хозяин, кликнул Ярошку.

— Эй, пастушонок, каково пастушишь? Хорошо ли? Радиво ли?..

Пастушонок, в коротких портах, босой, волосы растрепаны, стоял перед хозяином перепуганный.

— Молчишь, бесенок? За радивость твою подарок припас я...

Вздумалось хозяину гостей потешить. Стал он травить пастушонка, как зайца. Заулюлюкал, загикал, гости подхватили, с мест сорвались: через сенцы — во двор, со двора — в пустырь. Загнал пастушонка в крапиву. Гость с бородкой жиденькой, с хмельными заплывшими глазками тонкоголосо хихикал, руками взмахивал:

— Гони его, гони в угол!.. Крапива там рясная, огнистая!..

Другие подхватывали:

— Портки надобно содрать! Вот баня-то будет!.. Умора!..

Ярошка едва ускользнул, через забор кинулся, сорвался, вновь метнулся — одолел. На простор вырвался. Вспухли ноги, горели пламенем; слезы застлали глаза, а жаловаться некому, головы приклонить некуда. После смерти дяди Прохора плакал сирота молча, одиноко, чтоб люди не видели, не слышали — никто не пожалеет.

Ярошка слезы вытер, сжал кулаки: «Так-то, купчина, хорош твой подарок!..» Ночью послал он хозяину дорогой отдарок — охапку сухой соломы да блеск искры огневой. И полетела судьба Ярофея по ветру, как дым по небу.

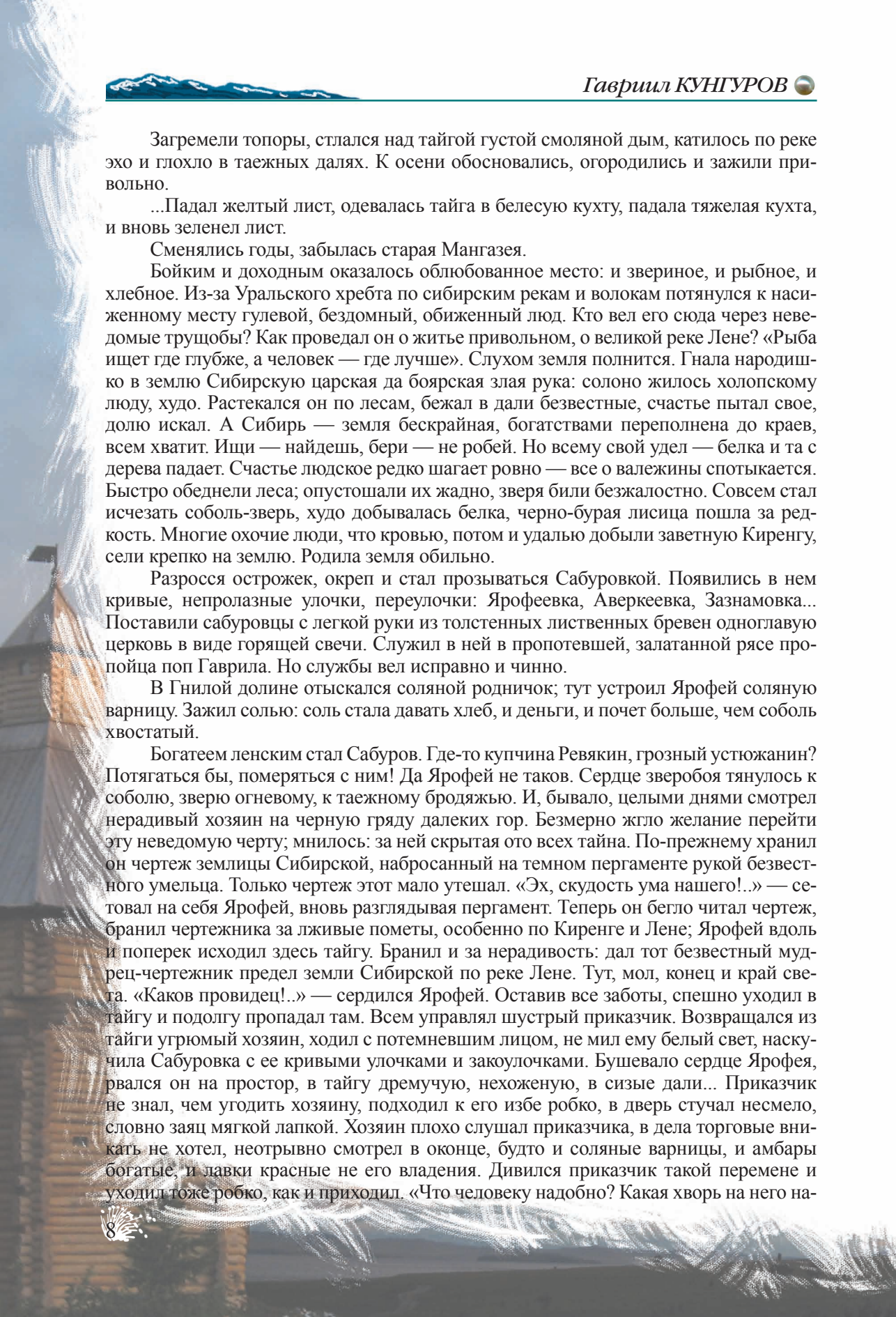
...В утреннем блеске дремала сонная Лена. Ярофей, сидя на пригорке, подсчитывал огневые и соляные запасы. Прикидывал людские силы. Перед глазами лица заросшие, ветрами обожженные, непогодой побитые. Сходились у переносья рыжие, белесые, черные пучки бровей, злобно косились на Ярофея люди.

«Свирепеют мужики, — думал Ярофей. — То хорошо: с тихонями и пруда не запрудишь, а свиреп да смел — медведя съел».

Баловал Сенька Аверкеев — колюч мужик, давно примечал Ярофей. Прошлой ночью Сенька без опаски сбивал народишко: крут, мол, нам, вольным, Ярофеев присмотр, солон, одна маята. Пльвем без пристанища и сгибнем зазря.

...К полудню вернулся Ярофей к становищу. У костра собрался вагажный круг: Сенька Аверкеев, Кешка Зазнамов, грамотей поп Гаврила, что пристал еще в Мангазее, Ванька Бояркин, давнишние бродяжки содружники Пашка Ловкий и Пашка Минин. Решали судьбу, вспотели, охрипли, умаялись. Слово Ярофея — непреклонное слово: топором не перерубишь, дубиной не перебьешь. Порешили твердо и по рукам ударили, чтоб дальше не плыть, обосноваться в устье светлоструйной говорюньи Киренги. Тут и зарубить засеки, поставить острожек и зазимовать, промышляя кто чем может.





Загремели топоры, стлался над тайгой густой смоляной дым, катилось по реке эхо и глохло в таежных далях. К осени обосновались, огородились и зажили привольно.

...Падал желтый лист, одевалась тайга в белесую кухту, падала тяжелая кухта, и вновь зеленел лист.

Сменялись годы, забылась старая Мангазея.

Бойким и доходным оказалось облюбованное место: и звериное, и рыбное, и хлебное. Из-за Уральского хребта по сибирским рекам и волокам потянулся к насиженному месту гулевой, бездомный, обиженный люд. Кто вел его сюда через неведомые трупы? Как проведал он о житье привольном, о великой реке Лене? «Рыба ищет где глубже, а человек — где лучше». Слухом земля полнится. Гнала народишко в землю Сибирскую царская да боярская злая рука: солоно жилось холопскому люду, худо. Растекался он по лесам, бежал в дали безвестные, счастье пытал свое, долю искал. А Сибирь — земля бескрайная, богатствами переполнена до краев, всем хватит. Ищи — найдешь, бери — не робей. Но всему свой удел — белка и та с дерева падает. Счастье людское редко шагает ровно — все о валежины спотыкается. Быстро обеднели леса; опустошали их жадно, зверя били безжалостно. Совсем стал исчезать соболь-зверь, худо добывалась белка, черно-бурая лисица пошла за редкость. Многие охочие люди, что кровью, потом и удалью добыли заветную Киренгу, сели крепко на землю. Родила земля обильно.

Разросся острожек, окреп и стал прозываться Сабуровкой. Появились в нем кривые, непролазные улочки, переулочки: Ярофеевка, Аверкеевка, Зазнамовка... Поставили сабуровцы с легкой руки из толстенных лиственных бревен одноглавую церковь в виде горящей свечи. Служил в ней в пропотевшей, залатанной рясе пропойца поп Гаврила. Но службы вел исправно и чинно.

В Гнилой долине отыскался соляной родничок; тут устроил Ярофей соляную варницу. Зажил солью: соль стала давать хлеб, и деньги, и почет больше, чем соболь хвостатый.

Богатеем ленским стал Сабуров. Где-то купчина Ревякин, грозный устюжанин? Потягаться бы, померяться с ним! Да Ярофей не таков. Сердце зверобоя тянулось к соболу, зверю огневому, к таежному бродяжью. И, бывало, целыми днями смотрел нерадивый хозяин на черную гряду далеких гор. Безмерно жгло желание перейти эту неведомую черту; мнилось: за ней скрытая ото всех тайна. По-прежнему хранил он чертеж земли Сибирской, набросанный на темном пергаменте рукой безвестного умельца. Только чертеж этот мало утешал. «Эх, скудость ума нашего!..» — сетовал на себя Ярофей, вновь разглядывая пергамент. Теперь он бегло читал чертеж, бранил чертежника за лживые пометы, особенно по Киренге и Лене; Ярофей вдоль и поперек исходил здесь тайгу. Бранил и за нерадивость: дал тот безвестный мудрец-чертежник предел земли Сибирской по реке Лене. Тут, мол, конец и край света. «Каков провидец!..» — сердился Ярофей. Оставив все заботы, спешно уходил в тайгу и подолгу пропадал там. Всем управлял шустрый приказчик. Возвращался из тайги угрюмый хозяин, ходил с потемневшим лицом, не мил ему белый свет, накутила Сабуровка с ее кривыми улочками и закоулочками. Бушевало сердце Ярофея, рвался он на простор, в тайгу дремучую, нехоженую, в сизые дали... Приказчик не знал, чем угодить хозяину, подходил к его избе робко, в дверь стучал несмело, словно заяц мягкой лапкой. Хозяин плохо слушал приказчика, в дела торговые вникать не хотел, неотрывно смотрел в оконце, будто и соляные варницы, и амбары богатые, и лавки красные не его владения. Дивился приказчик такой перемене и уходил тоже робко, как и приходил. «Что человеку надобно? Какая хворь на него на-

пала?» — недоумевал приказчик. Но люди примечали иное. Прикрыв плотно двери, сидел Ярофей дни и ночи напролет с грамотеем Гаврилой. Как сыч, уставившись на пергамент, Ярофей поучал попа:

— Пометь кривун реки, огибает она скалистый выступ и уходит на юг...

Поп старательно ставил пометы.

— А вот тут, — Ярофей чертил острым ногтем, — с вершины видно слияние рек, а за ними горы, горы. Помечай, поп!..

Светло загорелось сердце Ярофея. К заветному пергаменту, на котором конец и край земли русской пометил безвестный умелец, добавились его, Ярофея, трудами богатые просторы и открывались приметные пути в неведомые царства. Потерял сон Ярофей, чудилось ему: за синими цепями гор и лежит она, нетронутая райская земля, и ждет своего хозяина. В потаенном месте хранил Ярофей тайный чертеж. Всклакивал ночью, зажигал светец и до утренней звезды не отрывал беспокойных глаз от чертежа.

На крутом яру, откуда видны и Киренга и Лена, срубил Сенька Аверкеев себе избу с клетью и подклетью, с малыми оконцами к востоку, с глухими воротами. Вошла в нее хозяйкой Степанида. Перешагнула она высокий порог, вспомнила путь до этого порога, усмехнулась, дернула рыжей бровью. Всплыли прожитые годы — горькие, безрадостные, сиротские... Жила Степка в подручных у стряпухи. Колола дрова, скоблила оловянные горшки, рубила капусту, чистила свеклу. Где блюдо подлизнет, где крохи подберет — тем и сыта. Кутка своего не имела, а валялась в птичнике на соломе. Встанет, бывало, поутру — до самых глаз в пере, в соломе да в дерьме курином, а девки ширококоротые, стряпухины дочери, ее на смех:

— Эй, куриный шесток!


Высохла Степка в былинку. Как-то в воскресный день на задворках услышала Степка, как гулевые мужики вели речи скрытные. Шептались тайно, озирались воровато, хоронясь за овином. Поняла Степка из тайных речей заветные думы гулевых мужиков: собрались они в поход, чтоб землю привольную отыскать, чтоб спастись от худой жизни. Запала в голову и Степке неотвязная думка — пристать к мужикам, посмотреть ту привольную землю. Но как взглянет на себя Степка, омрачится, охнет и в слезы: кому же нужда брать в такое дело заморыша, да к тому же девчонку? «Хоть бы я парнем была», — сокрушалась Степка. Но думка неотвязно зрела, и Степка гулевых мужиков перехитрила. Добыла портки и рубаху, рваную шубенку, шапку и сошла за поваренка.

...До счастья далеко, суров походный путь: дороги не хожены, места глухи, леса буреломны. Прорубались тайгой, плыли кипучими порожистыми речками, переходили скалистые кручи волоком. Где огнем, где обманным словом, где нехитрым подарком смиряли сибирских коренных жителей. Вел Ярофей Сабуров — смельчак и бывалец, вел к далеким берегам Лены. Бывальцу верили, но не всегда. В ярости хватались за ножи, рогатины, самопалы и решали спор по-ратному: кто кого сразит.

В начале похода у Енисейского волока изголодавшиеся, промокшие, по-звериному ярые ватажники драли вихрастого паренька Степку. Сгубил он варево, свалил в котел и шук, и жирнозадых уток, и худо облупленных зайцев, да в придачу, по недоглядке, обронил туда же вонючую тряпицу. Выкручивался поваренок, отмалчивался, озорно вздрагивала рыжая пушистая бровь...

Дорога бродяжья длинна и бескрайна. Тайга и то от времени линяет, и часто лихой бывалец не узнает хоженных мест. А что скажешь о человеке, если минуют годы?

К концу бродяжьего похода стали примечать ватажники диво: раздался сухопарый поваренок в грудях, в бедрах округлел и прозываться стал не Степкой, а Степа-



нидой. Подтянули ватажники кушаки, заломили шапки и заходили гусаками. Больше всех мучила рыжая бровь Сеньку Аверкеева. Мучила смертельно, неотвязно.

Но знал Сенька — сурова жизнь: «Метишь в лосеву телку, а попадешь в гнилую елку». Заметался, затревожился, неотступно ходил за Степанидой. А Степанида тянулась к Ярофею; приглядывалась, украдкой вздыхала, пыталась разгадать, что таится у него на сердце. Немало пролилось девичьих слез.

Но гору не перескочишь, в чужое сердце не залезешь. Вырвала Степанида из своего сердца заветную думку, вырвала с болью, как жгучую крапиву, и перешагнула крепкой ногой порог Сенькиной избы.

...Порядки в Сабуровке сабуровские.

До Москвы далеко, а еще дальше до царя; правил окрестностями Ярофей своеправно, своеправно; слыл он за малого приленского воеводу.

Жить бы да жить в привольной сытости. Мрачный ходил Ярофей: по-прежнему мучила надоедливая думка. Из теплого угла безудержно тянуло на простор. Верилось: там, за нехоженой тайгой и звериной глушью, цветет неведомая счастливая земля.

Даже сны Ярофея тревожили до одури. Как-то приснилось: раздвинулась скала, что высится за синим мысом, и хлынула вода, залила горы и леса. Не стало места ни человеку, ни зверю, только птицы с плачем носились над водой, искали пристанища. Проснулся Ярофей в ознобе, вскочил с лежанки: «Уходить надо с насиженного места! Уходить!.. К худу сон...»

Часто выходил Ярофей к реке, садился на высокий бугор. Тихая Лена лениво катилась к северу. За Сабуровкой она разлилась в широкий плес, тусклый и мертвый, как озеро. Берега плеса заросли осокой, камышом, подернулись ряской. Вглядывался Ярофей в дремотную зелень, гневно шептал: «Бесталанная река, постылая!..»

Всякому делу — свой конец.

Стал доискиваться московский царь: отчего с богатой Лены мал соболиный и иной пушной приход? Отчего урон терпит царская казна? Иль перевелось зверье? Или отбились от ясака покоренные сибирские народы?

Дознался царь о самоуправстве дерзкого Ярошки Сабурова, послал своего доглядчика и сборщика пушной казны, воеводу немца Петра Кранца, чтоб царским именем и крепкой рукой навел на Лене порядок, а самоуправца, беглого Ярошку, заковал бы в железные колодки.

Словно вешний снег, явился в Сабуровку царский воевода. Крутонрав и злобен оказался Петр Кранц. В день его приезда ударил задорно церковный колокол, поп Гаврила служил в честь воеводы молебен, но, к великому огорчению сабуровцев, воевода в храм не пожаловал. Со своими помощниками торопливо громил он Ярофеевы погреба и клетки. И не успел поп Гаврила пропеть многолетие, как царский воевода заковал Ярофея в железо и бросил в черную избу.

Насупилась Сабуровка. Не по нраву пришлась ей крутая рука воеводы. Стали ревностно доглядывать сабуровцы за воеводой и его людишками. А воевода, как берложный медведь, сидел в воеводской избе, будто его и нет, но все видел, все слышал. Подслухи его и доглядчики навозными мухами рассеялись по Сабуровке. И примечали сабуровцы с тревогой, что воеводская сторона росла, съезжались отовсюду неведомые люди, воеводские доглядчики и помощники. Многих сабуровцев разорил начисто лиходея воевода непомерными поборами и своевольными грабежами.

Разбилась Сабуровка на две слободы: Воеводовку и Ярофеевку. Смертным боем бились по воскресным дням слободки: шли люди стеной, ломали друг другу

ребра, кровянили снег. К заходу солнца расходились; вновь свирепели и, едва залечив раны, готовились к новым схваткам.

Драку затевали ребяташки, на их крик выбегали бабы, и начинался словесный бой; ядовито-злобная брань разжигала кровь, быстро бабы хватили друг друга за волосы, и тогда с дубьем, кольями, рогатинами выбегали мужики.

Особенно круты и своевольны были низовые сабуровцы, что поселились у самого берега плотным куренем. Жили там лихие Бояркины, дружные братья Зазнамовы, заядлые пропойцы и скандалисты Минины, бесстрашный медвежатник Пашка Ловкий, удачливый соболятник Сомов, прозванный Соболиным Дядькой.

Видя разлад и бесчинства, отбивались от воеводы и покоренные сибирские народцы; плыло пушное добро, минуя воеводские клетки, плыло неведомо куда.

Давно бы надо казнить самоуправца Ярошку — от него бесчинства и разбой, но медлил воевода, косясь волчьим глазом на низовую Сабуровку.

Приказав ключнику накрепко держать Ярошку под замками и зорко доглядывать, воевода вызвал письменного голову и велел строчить в Москву царю скорую челобитную. Воевода писал: «...слезно молю, великий царь-государь, о ратной подмоге, дабы учинить покой и привести Ярошкиных воров и разбоя чинителей к покорности, а его, беглого Ярошку, казнить лютой смертью...»

РАТНЫЙ ПОХОД

Лил весенний косой дождь. Зеленые молнии рвали небо. Набухала Киренга, ширилась, распирая берега.

Мимо серых плетней по ухабам и промоинам торопливо шла женщина с узелком в руке. Дойдя до воеводских ворот, на миг задержалась.

Мужик в рваной дерюге топтался у ворот в жидкой глине; укрывая лицо от ударов дождя, злобился.

В женщине узнал вратарь Степаниду, сплюнул, нехотя отдернул щеколду и гнусаво промычал в слипшуюся бороду:

— Сызнова к немцу?

Степанида кивнула головой и скользнула в ворота. Мужик сыпал вслед срамную брань:

— Бесстыжая!.. И непогодь не держит. Худо Сенька плетью тебя жалил, ой, худо!..

Степанида украдкой обошла воеводское крыльцо и потонула в пустыре, где среди полынного и крапивника торчала черная изба. В рытвине ее встретил рослый парень с раскосыми глазами, в промокшей бараньей шубе. Он вырвал у Степаниды узелок и молча скрылся.

Она стояла в полынном, дрогла, кутаясь в платок. Вскоре послышался глухой шепот, визг ржавого замка, шлепанье грузных шагов. Близко всплыл знакомый голос, от него захолонуло сердце. Степанида не стерпела, бросилась и повисла на плече Ярофея. Он стоял, повитый цветным платком, в оборчатой юбке, узкой и короткой.

Степанида шепнула:

— Укрой бороду, — и пошла.

За ней, неловко ступая, шагал Ярофей.

У ворот Степанида привычно шелкнула колотушкой. Вратарь отпер ворота, хитро усмехаясь, бросил:

— Аль не в нраве немец? Аль горька ему?

Степанида смолчала. Ярофей шагнул, путаясь и закрывая платком бороду.

— Откуда с тобой подружница? — скосил глаза вратарь.

— Ослеп, жеребец, — кинула озорно Степанида, — то с поварни девка Силантиха.

— Ах ты, такую птаху и не узнал... Винюсь! — загоготал мужик, сдернул облезлую, дождем побитую шапчонку и озорно ляпнул ею по спине Ярофея.

Степанида и Ярофей шли молча. Дождь стихал.

— Иззябла я... — шепнула Степанида.

— Скину я юбку, нет моей мочи... — не вытерпел Ярофей.

— Страшись, всяк встречный признает!

Дошли до избы. Озираясь, Степанида провела Ярофея в подклеть. Ночь Ярофей провел в тревоге, в полусне.

Неотступно тревожил ласковый шепот Степаниды, мерещились ее глаза. Дивился Ярофей: чудна жизнь, в сердце человека премного тайников и троп непролазных. Приметен глаз у Ярофея, горячий, взглянет — обожжет; чует Ярофей в таежной глуши хитрую звериную поступь, а вот как подкралась Степанида, того не усмотрел.

Дивился Ярофей, и от радости наливалось сердце сладостной тревогой, колоутилось неудержно, торопливо. И казалось Ярофею: он — птица и, всплеснув крыльями, летит над тайгой, оглядывая заветные дали зорким глазом.

Едва скользнул в оконце утренний свет, послышалась осторожная поступь. Степанида вошла бесшумно. Ярофей вскочил, легко поднял ее, обомлевшую, теплую, желанную. Припав к веснушчатой щеке, он отрывисто шептал:

— Дай снесу тебя, Степанида, в свою избу. Сила во мне страшенная...

Засмеялась, обвила шею и, обжигая губами, отвечала:

— Не можно, Ярофеюшка, мужняя жена я...

— Так ли? — загорелся Ярофей.

— Не можно, — повторяла Степанида, всем телом льнула к Ярофею и сжимала горячими руками еще крепче его шею.

Вмиг выскользнула, выпрямилась, заговорила тревожно:

— Страшусь, Ярофеюшка, не позору, — за тебя страшусь, месяц синенький мой, быть тебе сгублену...

— Не страшись, Степанида, были бы у сокола крылья, а небес хватит.

— Лют и злобен воевода, — говорила Степанида, плотнее прижималась к Ярофею и торопливо перебирала пальцами жесткие кольца его бороды.

Всхлипывая и глотая слезы, поведала она свои злоключения и кровные обиды; рассказала и о хитростях бабьих, которые помогли ей обманывать воеводу, добыть ключи от тюремной избы. Только накликала на себя гнев и насмешки многих сабуровцев.

— За гулящую признали, — жалобилась Степанида, — срамными словами при встречах помыкали.

Ярофей обнимал Степаниду молча, и примечала она, как вздымались у него на шее жилы, плотно сжимались губы, кривилась бровь...

Сабуровка готовилась к весне.

Дознались низовые сабуровцы о новых происках воеводы. Плыли слухи о бегстве Ярофея, но толком никто ничего не знал. Коварства лиходея воеводы беспредельны: мог казнить Ярофея и слух пустить. Перестали ладить сохи, хомуты, бороны, потянулись узловатые пальцы к самопалам, рогатинам, мечам.

Точила ножи низовая Сабуровка, готовили жонки украдкой сухари и прочую ратную снедь, как перед большим походом.



У Ваньки Бояркина собрались дружки ватажные, старые бывальцы. Тут и вскипела яростная и дерзкая думка: ударить по воеводе, утопить лиходея в сонной Лене, а людишек его да тех из сабуровцев, которые вьются с лестью и подачками около воеводы, побить и покалечить. Страшиться нечего: пока дойдет весть до царя, много поубавится воды в Киренге — жди-пожди.

Но легко думка вскипает, легче тумана взвивается под облака, и остается горечь на сердце. Разбил думку Соболиный Дядька. Таежный шатун поведал диво. И выходило так, что сидеть на Киренге, дремать у Лены, склоняя повинные головы перед воеводой, к лицу только Сеньке Аверкееву да его жонке, у которой левый глаз косится на Сеньку, а правый — на воеводу. Остальные вольные казаки должны бросить обжитое логово, и чем скорее, тем лучше. Соболиный Дядька шепотом говорил о своем последнем походе с Ярофеем в тайгу. Дойдя до кипучей речонки, Ярофей примечал по звездам и другим лесным приметам, где стоит неведомое царство Даруры и течет река Амур. Той реке наша Лена не ровня: там ни одна крещеная душа не бывала, соболь не тронут, тайга жирна зверем и птицей, река до верхов рыбой переполнилась, волна выкидывает ту рыбу на берега, и кормятся ею медведи и росомахи. Горы там родят чистое золото, серебро и камня, лалы-самоцветы.

Глаза у слушавших это диво горели жадной искрой, от зависти туго набухали жилы, колотились сердца — так распирал их словоохотливый Соболиный Дядька.

— У Ярофея своими глазами видел я заветный пергамент, — не унимался Соболиный Дядька, — на том пергаменте пути проложены, реки и волоки помечены. Дивный пергамент!

Зрели новые помыслы, раскалялись жаркие головы. Ванька Бояркин, давнишний дружок Ярофея, горячился:

— Крещеные, по нраву ли вам, вольным, воеводство немчина? Того ли ждали? Дадим ли сгинуть Ярофею от лиходейства?

Сдерживали Ваньку, как медведя на рогатине, дюжие руки Зазнамовых и Мининых, боялись бывалые казаки озлобить коварного немчину и зазря в безвременье погубить свои помыслы.

Ванька кидался в кулаки. Быть бы бою хмельному, да распахнулась дверь, и встала перед Кешкой Зазнамовым Степанида.

Кешка зыркнул глазами и крикнул:

— Воеводова бражница! Каков посол, а? Чуете, казаки?

— Дошлый немчина, чужих жонок в подслухах имеет! — кричал Минин.

— Сенькин недогляд. Ишь, дал волю... — выпрямился Соболиный Дядька и хотел еще что-то сказать, но Степанида сбросила платок.

— В подслухах не бывала, привела вам атамана.

Вошел Ярофей.

— Кого корите срамным словом? Степаниде кланяюсь низко. Вернула подбитому соколу крылья. Легла поперек сердца. Тому быть. Разумею ваши помыслы, по нраву они мне!..

Смолкли ватажники. Насупились. Косо взглядывали из-под нависших бровей и голов не поднимали. Ванька Бояркин теребил кожаную опояску, украдкою сбил со лба надоедливую каплю пота, кашлянул, огляделся, потом осмелел и подошел к Ярофею.

— Быть вольному вольным. Повинюсь за всех, откинь обиду, Ярофей, и ты, Степанида, не взыщи...

Ватажники обнялись. Атамана усадили, по ратному обычаю, в середине круга, рядом — Степаниду. Бояркин вновь повел разговор об обидах и происках, сумрачно оглядел Степаниду. Ярофей перебил:

— Не о том молвишь, Ванька, глянь на Киренгу, вода велика и буйна, дощаники ладить сподручно.

— Дело молвишь! — согласились казаки.

Разошлись поздно, спать не ложились: не выходила из головы думка, колючая, как заноза.

Едва занималась заря вверх по Киренге, далеко за Сабуровкой стучали топоры, приглушенный людской рокот плыл над тайгой, ветер разносил запах сосны, дыма и едучей смолы. Низовая Сабуровка тайно строила плоскодонные, емкие и на воде ходкие дощаники.

Лишь к концу лета девять легкоходных дощаников всплыли на беспокойной волне Киренги.

Сенька Аверкеев первый проведал о тайных делах низовых сабуровцев, об их ратном походе и донес воеводе. С воеводой сдружился Сенька с первых дней. Обидели кровно его низовые сабуровцы, грозились пожечь, покалечить за болтливый язык. Загаил злобу Сенька. Хороня свое добро: избу, рухлядь, животину, лебезил перед воеводой, молил о защите, нес небылицу на своих прежних дружков.

Прикормил воевода Сеньку, взял под свою руку, под свою защиту. Стал Сенька у воеводы старательным доглядчиком и доносчиком. Зажил гордо и богато, но потерял Степаниду. Бросив всю свою бабью рухлядь, сбежала Степанида.

От Сенькиных вестей закручинился воевода. Упрекал и корил Сеньку за нераденье, за поздние вести. Понял воевода: не уплывут ватажники мирно, быть разбою. Осмотрел своелично запоры, строго наказал караулам нести ночную службу.

Сметливый немец думал, как обойти нависшую беду. Весть сабуровцев о неведомых Даурах пришлась и ему по нраву. Жадный воевода смекал: поход принесет выгоды немалые, завоевание непокоренных земель государь оценит великой похвалой и почестями. И решил воевода хитростью и приманкой, особенно огневными припасами, пособить походу, добавить своих ратных людей и тем обеспечить себе доходы и почет. Знал воевода, что Ярофея теперь ему не поймать, не осилить, не изломать: крут и бесстрашен воровской казак. Решил воевода сменить гнев на ласку — на народе повиниться, Ярофея наречь атаманом ратного похода в неведомые Дауры.

Сабуровцы справляли престольный праздник.

С первым ударом колокола воевода с малым числом служилых людей пришел в церковь. Переступив порог, заметил неладное: поп не начинал службу, народ в смятении топтался как попало.

— Отчего не зачинается обедня? — спросил воевода.

Неожиданно перед воеводой вырос Ванька Бояркин, лихо прищурил озорной глаз, тряхнул чубом.

— Постой, — обратился он к попу, — повремени. Ночью явилось мне чудное видение, не могу утаить его перед честным человеком, дозвожь молвить!

Воевода нахмурил брови, оглядел Ваньку сурово, вскинул руку:

— Не медли, поп, зачинай обедню!

Ванька поднялся на ступеньку возле алтаря.

— В райском сиянии явился архангел Гавриил и гневным гласом возопил: «Поганцы, с каких пор это терпите вы в храме нечистых немкиных выкормков? Ведаете ли, какая кара ждет вас?..»

Воевода понял: задумано худое, тихонько обернулся и попытался из церкви выйти. Всюду плотно стояли казаки и посадские мужики. Воевода пригнулся, двинул плечом, но его оттолкнули чьи-то дюжие, жилистые руки. Воевода побагровел,

жидкие волосы прилипли к взмокшему лбу, глаза налились, покраснели. Пытался он крикнуть своих близких людей, обвел взглядом — всюду лица чужие: большебородые, хмурые, глазастые. Воевода обомлел, хотел бежать, ноги словно застыли и пришиты к половицам.

Обуял воеводу страх, пал он на колени, повинулся и, заикаясь, сказал:

— Коли я, крешеные, недостоин храма, то выйду вон...

Цепкие руки потянулись к воеводе, сорвали соболиный ворот шубы, изодрали полу и вцепились в волосы. Разноголосно орал народ:

— Учиним убийство, чтоб неповадно было!

— Круши лихоимца!..

— Руки, руки ему вывертывай, чтоб отсохли!

На приступку поднялся седовласый худосочный Алексей Торошин, пискливо уговаривал:

— Беду накликаете, убийство до добра не доведет... Ой, солоно, казачки, расхлебывать доведется!.. Горько!..

Старца столкнули, рвали в клочья воеводу.

Вступился Сенька Аверкеев, крикнул надрывно:

— Казаки!..

— Черт тебе казак!

— Воеводский худодей!

— На казаков доносчик!

— Гони воеводского подслуха! Ломай его!

Сеньку сбили, безудержно мяли, нещадно крушили кулаками. После расправы ринулась толпа из церкви.

Тем временем дощаники стояли у причалов, против воеводского двора. Они грузно оседали на воде: набивал их Ярофей воеводскими запасами. Волокли ватажники пушки, тащили самопалы, катили бочонки хмельного, торопливо таскали свинец, порох, просо, муку, сало. К заходу солнца дощаники отвалили от берега и скрылись в темноте.

В лето тысяча шестьсот шестьдесят пятое под началом Сабурова отплыло в ратный поход войско в двести сорок человек, с тремя пушками, при самопалах и мечах, в куйках* и панцирях. Для удачи в походе захватил Ярофей попа Гаврилу с иконами. В помощниках у Ярофея плыли Пашка Минин и Ванька Бояркин.

По казачьему сговору у запасов съестного, у котлов, что приходились по одному на дощаник, поставили жонок, отдав их под начало Степаниды.

Плыли по Лене вниз, к северу. Широководная река неслась меж крутых каменных отвесов. Буйные струи бились в извилинах, хлестали волны, пенясь; бежали дощаники скорым ходом. На пути встретилась шумливая река, впала она в Лену с востока — то был Витим. Ее миновали, плыли дальше к северу. Донесла Лена дощаники до устья другой реки — это была Олекма. Задумал Ярофей плыть к востоку Олекмой; по его приметам, доведет Олекма до водораздела, а там волоком можно пробиться и на Амур-реку.

К ночи собрался малый ватажный сход. Ярофей сказал:

— Смекал я, казаки, каков же ратный поход, коли плывем мы скопом, как на свадьбу?

— Мал толк плыть всем кораблям тихим ходом, — отозвался Ванька Бояркин.

И решили караван поделить. Выделил Ярофей четыре малых дощаника. Отрядил девяносто дюжих да бойких казаков, а в атаманы поставил Ваньку Бояркина и

* *Куйак* — шлем, кивер; старинные щитковые, чешуйные или наборные латы из кованых пластинок по сукну

дал завет плыть вперед скорым плавом. При встречах с иноземцами заводить мирные речи, склонять их к покорности подобию, коли нападут скопом, отгораживаться засекой, бой принимать с опаской, дабы терпеть в битвах урон малый. При большой беде гнать скорого гонца.

Поутру Гаврила отслужил задравный молебен, и дощаники Бояркина отплыли. Ярофей плыл вслед тихим ходом.

ВСТРЕЧА С ДАУРЦАМИ

Дул ветер-низовик, дощаники Бояркина подходили к порожиному, шумливому перекату. Билась Олекма, кипела и рвалась с грохотом и ревом через гранитные пороги, выплескивала на прибрежные пески комья желтой пены.

Казаки тянули дощаники молча, бечева обжигала руки и плечи. Шагали по резучим камням, промоинам, брели по студеной воде, проклиная своенравную, непутевую речку. Оглядывая побитые дощаники, изможденные, обветренные лица казаков, обессилевших и злых, Бояркин омрачился. Теперь он знал, что Ярофею пробраться с тяжелыми дощаниками превеликая мука, побьет на перекатах Олекма корабли, сгубит огневые и соляные запасы, начисто оголодит казаков.

— Негожа река — буйна, мелководна и зловредна, — сетовал Бояркин на Олекму.

Невзлюбили ее и казаки, прозвали Буян-рекой.

— Ошалела! — кричали казаки, когда струя ударила в дощаник, рвала бечеву и волокла его обратно вниз по течению.

Вскоре берега Олекмы засеребрились первыми осенними заморозками, по утрам острые льдины с треском отрывали щепы от бортов дощаников. Осенние ветры били с дождем и снегом, жалобно завывала тайга, ошетилилась Олекма седыми гребнями. У черной россыпи, что каменным поясом перерезала Олекму с берега на берег, пришлось дощаники разгрузить, запасы перенести на плечах. С утра до вечера ухали казаки на берегу, с тревогой и тяжкими трудами волокли дощаники посуху, чтобы миновать пороги и водопады.

Наскоро починив побитые корабли, Олекмой плыли недолго. Пала в Олекму неведомая речка, пала с юга тихим плесом. По ней и решил плыть Бояркин. Это была речка Нюкжа. Хоть и полюбилась казакам Нюкжа, да ударили морозы. Наскоро срубили казаки зимовья-землянки и приготовились коротать зиму. Тут и поставил Бояркин первый крест. Убила сваленная непогодью лиственница гулевого казака, певуна и смехотворца Николку Яшкина. Схоронили казаки Николку похристиански, а новое свое становище назвали Крестовым.

Бояркин, не дожидаясь весеннего ледолома, по первому снегу решил двигаться вперед, к востоку, волоча за собой на нартах продовольствие, пороховые и свинцовые запасы, теплую одежду. С Бояркиным пошли восемьдесят казаков. Горела вольница неудержимой жадной встречи с иноземцами, лелеяла заветную думку о превеликих богатствах неведомой Даурии.

Казаки орали наперебой:

— Сидеть зиму в медвежьем логове казаку несподручно!..

— Веди, Ванька, ты в атаманах!

На зимовье остались хранить запасы лишь хилые, покалеченные, да и те рвались за Бояркиным. Только бывалый казак Никита Мышелов уговаривал степенно:

— Эх, казаки, солоно хлебнете! Снеги белые захоронят ваши косточки. Захоронят!

Казаки отшучивались. Бояркин наказывал Никите строго:

— Ставлю тебя, Никита, ратным стражем. Особливо хлебные и пороховые запасы хорони, — и, махнув шапкой-ушанкой, тронул отряд.

Двигались по берегу Ньюжки. Река круто изогнулась к северу, Бояркин свернул от реки в глухой распадок, дойдя до стрелки, пошел на восток.

— Держи на восход солнца! — кричал он Степану Корневу, шедшему в вожаках, а сам стал на лыжи с малым числом казаков и кинулся по следу, что разглядел по утренней пороше казак Степка Логунов.

На рыхлом снегу отпечатались следы голых ступней, будто бежал человек, оставляя след, а за ним неотступно гнался второй на лыжах, по бокам вилась кружевная цепочка собачьих следов. Перевалив несколько пригорков, Бояркин и его казаки увидели на снегу черные пятна. Бежал медведь, его настигал маленький человек, с ног до головы закутанный в шкуры, с длинной рогатиной в руках. Собаки облаяли медведя, забежали с двух сторон, свирепели и бросались на него, норовя вцепиться в зад. Медведь вскочил на дыбы, вихрил лапами снег, отбросив собак, кинулся на человека. Человек ловко сбросил лыжи, не спеша пошел на медведя. Человек осилил зверя; зверь, обagrив кровью взрыхленный снег, вытянулся, широко разбросав лапы. Человек склонился к добыче, припал к ране и жадно глотал горячую кровь. Подняв голову, обомлел, в страхе завизжал голосом тонким, по-ребячьи. Перед ним стояли люди с большими бородами и широкими глазами.

Бояркин сказал:

— Человек этот иноземных кровей, не иначе тунгус...

Бояркин говорил по-эвенкийски плохо, однако неотложное знал, и пойманного спросил:

— Тунгус?

Человек воровато озирался, перепуганно заикался:

— Эвенки Лантагир...

Бояркин понял: это был эвенк Лантагирского рода.

Лантагира привели в отряд. Бояркин применил всю свою сноровку, накопленную в походах. Лантагира обласкал и выведал многое. Лантагир жаловался на черную беду, которая свалилась на его чум. Быть горю большому, если убьет эвенк медведя бездомного, зимнего шатуна. Однако Лантагир нарушил суровый обычай родичей: голодный, он убил шатуна. Теперь Лантагир умрет... И Лантагир готов умереть.

Бояркин перебил Лантагира:

— Ты не об этом. Сказывай, кому ясак платишь?

Лантагир ответил:

— Ясак берут с одного эвенка три владельца: эвенкийский князь Гамла, Гамла дает ясак даурскому князю Дыптылу, а Дыптыл — маньчжурскому князю.

Лантагир огляделся и спросил с опаской:

— А какие люди будете? Где ваши чумы? Зачем пришли в чужое кочевье?

Бояркин с усмешкой отвечал:

— Русские люди... Ясак отныне не будешь платить трем владельцам, понесешь нам.

Лантагир прижался к дереву, задрожал, заозирался. Всмотриваясь в казаков и блуждая раскосыми глазами, торопливо заговорил:

— Правда ли, что лочи* — волки, где эвенков сыщут, то убьют, чум сожгут, оленей съедят, а жен и детей пленят?

Казаки смеялись. Бояркин насупил брови.

* *Лочи* — русские (по-эвенкийски)

— Кто русским несет ясак сполна, идет с миром, — тот живет; кто с лукавством и войной, — тому смерть!..

Лантагир умолк, сел на землю, опустил голову. Бояркин допытывался о коротких путях в Дауры. Услышав о походе русских в Дауры, Лантагир оживился. О даурцах рассказывал охотно:

— Людей у них, однако, больше, чем деревьев в тайге. Живут они в деревянных чумах, в войне храбры. Побить их не можно оттого, что едят они корни и травы, которые из земли добывают. А те корни и травы таят большую силу.

Бояркин передал речи Лантагира казакам. Казаки храбрились:

— Не эдаких ломали. Даурцы нам не помеха, сокрушим!..

— Иноверцам супротив креста не стоять...

— Побьем начисто!

Бояркин кручинился, сетовал на Ярофея, что послал он в поход, не дав ни одной пушки-маломерки.

Вокруг теснились снежные сопки, таежные буреломы загромождали путь. Шел отряд, пробиваясь сквозь дикую, нехоженую глушь. Отогревались у костров, спали в снежных ямах, и хоть караулы несли строгие, а от лютого зверя не всяк умел хорониться. Отошел от становища без самопала Еремка Конев. Ждать-пождать, нет Еремки. Пошли казаки скопом, а вместо Еремки нашли клочок его шубейки да разглядели волчьи следы на снегу. Разорвали волки многих собак, покалечил волчий зуб немало и казаков; свирепели лесные разбойники, неотступно гнались за отрядом, чуя добычу.

Через три месяца Бояркин перевалил две горные цепи, миновал много больших и малых рек. На одном из перевалов Лантагир показал на долину большой реки и сказал Бояркину с опаской:

— Зея — желтая река, тут и начало Даурского царства...

Дальше идти Лантагир отказался: он страшился мести даурцев. Ни уговоры, ни острастка не помогли. Лантагир взглядывал исподлобья и упорно отмалчивался. Бояркин, боясь измены и лукавства, поставил к Лантагиру старого доносчика, казака Кирюха Лукова. Ночью казаки сполошились. Кирюха валялся убитый, а от Лантагира остался лишь лыжный след. Бояркин послал погоню, но к вечеру казаки вернулись, не сыскав беглеца.

...Недолго мыкались, дошли до Зеи, осмотрелись. Река велика, а по весне разливна, это примечали казаки-бывальцы.

— Быстра река, многоводна. Смекаю то по ледяному торосу и снежному заносу, — деловито пояснил Бояркин.

Выбрали холм, укрепились засекой и стали рубить зимовье.

Бояркин подбадривал:

— К весне дощаники сколотим, Зеей пойдем к даурцам.

Весть о появлении русских на Зее привела в смятение даурцев. Неожиданные гости вызывали и тревогу и любопытство. Не успели казаки вбить в мерзлую землю первый кол, как глаза даурских лазутчиков усмотрели в прищельцах лютейших врагов. Первейший доглядчик князя Дыптыла, побывавший у самой засеки, рассказывал князю:

— Прищельцы обличьем страшны, носы птичьи, волосами обросли, словно кочки на болоте, глаза круглые и синие, одежда смешная, луков и стрел нет; вместо этого носят они длинные палки, ревушие и пускающие огонь и дым.

Бояркин разослал лазутчиков проведать новые места. Степана Корнева послал с десятком казаков вверх по Зее, Тимофея Стрешнева — вниз, Петра Томила — к востоку. Остальных казаков оставил при себе.

Ждал возвращения казаков атаман недолго. Только Петр Томилин вернулся не побитый. Остальные, понеся урон, прибежали в страхе. Даурцы погромили их нещадно и грозили стоянку сжечь, землю очистить и вывести лочей с корнем.

Бояркин устранился, ходил темен и суров, но перед казаками храбрился.

Казаки ожидали неладное. Знали: коль Ванька теребит всклоченную бороду, ноздри раздувает, подобно запаленному жеребцу, то примета черная, к худу...

День и ночь казаки наскоро рубили острожек, укреплялись и огораживались. Так вырос на реке Зее, на даурской земле, первый русский укрепленный острог.

Иссякли запасы, пришельцы терпели нужду во всем. Сидеть в остроге становилось мучительно, и казаки зароптали.

Бояркин, боясь угроз и бесчинства, большую часть казаков повел в бой на даурцев. Казаки вышли на заре в полных ратных доспехах, с пищалами, самопалами, пиками и бердышами. Скорым ходом они двинулись вниз по Зее и подошли к даурскому городку Молдыкидач. Опасливый и лукавый Бояркин велел казакам хорониться в лесу ловчее, голов не высовывать, на чистополье не выбегать и ждать его знака. К городку он послал ловких лазутчиков, чтобы проведать о силах и укреплении городка. Лазутчики вернулись сумрачные.

— Городок, — говорили они, — крепок; стоит он на крутогорье, окопан, огорожен с большим старанием и умением.

Бояркин махнул рукой:

— То враки! Не посрадим Русь! Сокрушим иноземцев!

Казаки подхватили:

— Веди, Ванька!

— Там, где русская нога была, оттуда не уходили!

Бояркин повел казаков на приступ. Дали залп из всех пищалей и самопалов. Даурцы оробели, хотя искусно владели в бою луками и пиками. Бревенчатые ворота раздвинулись, и к Бояркину с поклоном вышли три даурских князя: старый Дыптыл и его сыновья. Они несли покорные дары: соболей, лисиц, связки вяленой рыбы, драгоценные камни и серебро в лангах*

Бояркин князей принял гордо и важно. Подарки отобрал без почестей. Дыптыла и его старшего сына полонил, младшего отослал обратно, наказав городок сдать.

Даурцы послали Бояркину новые дары: двадцать коробов рыбы и пшена и десять коров. Возле городка поставили семь юрт для жилья казакам, а ворот городка не открыли.

Казаки обогрелись в юртах, сытно подкормились и ходили гордые, довольные.

На другой день Бояркин поставил всех в ратный строй и готовился ринуться на городок. Пленные князя отговаривали через толмача:

— Люди наши покорны, однако пойдешь на городок зря. Быть бою, кровь многая прольется.

Бояркин рассвирепел, приказал казакам ломать ворота, брать городок силой.

К юртам подошли несколько даурцев, покорно сложили луки, стрелы, копья и просили старого Дыптыла и его сына отпустить, от городка уйти мирно. Бояркин метнул суровым глазом, казаки бросились на посланцев, порубили их и с боем пошли на городок. Даурцы казаков к городу не подпустили. Они с криком высыпали

* *Лан* — китайская денежная мера в слитках серебра.

из подземных ходов и подлазов и со всех сторон бросились на казаков, осыпая их игольчатым дождем стрел.

Князь Дыптыл успел скрыться, сына его закололи казаки. Даурцы разили казаков стрелами, пиками, забрасывали камнями. Бояркин спешно отвел казаков к юртам и стал отбиваться. С востока от городка вылетела даурская конница. Казаки встретили конницу залпом из пищалей и самопалов, кони вздыбились, сбрасывая всадников, бешено металась по снежному полю. Даурцы окружили юрты, грозились пожечь. К ночи стихли. Жгли костры, нетерпеливо ожидали утро. Урон оказался большой: недосчитался Бояркин двадцати казаков; оставшиеся, побитые, покалеченные, обессилели и к ратному делу были мало годны.

Надумал Бояркин с оставшимися казаками тайно бежать и сесть в засаду в Зейском острожке. Побросав убитых, смертельно покалеченных, поползли казаки из юрт в темноту и бежали в страхе и отчаянии.

Наутро даурцы нашли в юртах трех истекающих кровью русских, добились их и кинулись в погоню. Отбивались казаки кто как мог, бежали с поруганием, обидой и большими потерями. Достигнув острожка, сели в осаду.

Много раз даурцы нападали на ненавистный острог и всякий раз бежали, боясь быть сраженными огненным боем.

Тем временем в острожке разгорелась междоусобица и ссора. Казаки кляли и ругали Бояркина, грозились на пиках выбросить через заломы даурцам. Бояркин и лаской и грозным словом уговаривал:

— До весны отсидимся... По вешним водам плавом уйдем.

— Веди, Ванька, поколь снег не размяк, веди обратно к Ярофею!

— Ярофей тебя не помилует. Сгубил ты немалую ратную силу.

— Неуспех и поругание приняли от твоего нерадения!

Бояркин клялся, в оправдание бил себя в грудь, целовал нательный крест.

Тогда выскочил казак Стешка Клин, повел налитыми кровью белками, ударил оземь ногой.

— Казак ободранный!.. — толкнул он Бояркина в грудь. — Тебе ли ходить в атаманах?

Бояркин попятился и уступил. Казаки бросили Зейский острожек и скрылись в тайге, держа путь на запад. Шли они старым путем, только муки новые приняли, и столь тяжелые, что некоторые, обессилев, пали замертво.

Рушился снег, на солнцепеках чернели первые проталины. Свистел задорно бурундук, извещая тайгу о весне. В полдень из-под снеговой корки выбивались ручейки, к ночи — стыли наледью.

Казаки торопились до ледолома добраться до Крестового. Колочий кустарник, цепкий боярышник догола раздели казаков, разодрал немудрящую одежонку. Шли в лохмотьях-лоскутках, полубосые, рваные. Шли, друг друга иной раз и не в силах признать: кто был рыж, светлобород — стал от копоти и грязи черен; кто был бородат — обгорел у костра.

Вышли на речку Нюкжу, заторопились, затревожились. Кололась река, били по ней струи, объедали лед у берегов. К Крестовому подошли вечером. Отыскали заветное место — крест, что поставили на могиле Николая Яшкина, а вместо зимовья — пепел да черные головешки. Стервятники кружились у обрыва реки. Там нашли сраженного стрелой старого казака Никиту Мышелова, недалеко от него терзали вороны трупы остальных зимовщиков.

Долго по приметам казаки искали яму, где спрятал Никита Мышелов пороховые да соляные запасы. Потаенную яму отыскали возле большого пня столетней лиственницы. Казаки Степан Клин да Васька Луков воздали мертвым должное: из

того пня вырубил искусно облик Николая-чудотворца, сверху воздвигли шатер, а на шатре крест. Подле этой часовенки и схоронили павших товарищей. Так на Крестовом вместо одного креста стало десять.

Поставили казаки на пепелище новое зимовье-временку и начали спешно чинить старые дощаники, чтоб весной вслед за уходящим льдом плыть навстречу Ярофею.

МАРФА ЯШКИНА

Рать Ярофея зимовала на Олекме. Поставили казаки зимовье, опасаясь набегов иноземцев, огородились высокой засекой, укрепились заламами. Ждали весны. Окрестных эвенков покорили; привел их Ярофей под царскую руку, собрал ясак богатый. Дальние стойбища эвенков отбивались яростно; грозились пойти большим походом. Ярофея и его людей похвалялись покорить. Много раз Ярофей ходил на них ратным боем и повоевать не мог. Пленил лишь сына и двух братьев эвенкийского князя Мамтагира. Держал их Ярофей заложниками.

Сгустилась ночь над тайгой, в черноте потонули и леса и сопки. Смолкли на казачьем становище собаки. Глох в тишине далекий вой бездомного волка. Казачьи жонки собрались в большое зимовье коротать ночь. Ждали они казаков из дальнего похода с удачей и добычей.

Степанида сидела на корточках у очага, разгребая жаркие угли, пекла на них толстые лепешки, ловкой рукой прятала под платок рыжие пряди, чтоб, рассыпаясь, не обгорели. На скамьях у камелька сидели казачьи жонки: Елена Калашина, косая Аксинья Минина, Палашка Силантьева, а многие, забывшись на лежанке, спали. Жонки жмурились от дыма и копоти, чинили походную одежку. Молчали.

Степанида нетерпеливо ждала Ярофея. С боязнью думала: не побили бы иноземцы Ярофееву рать. Знала: в походах крут и всполошен Ярофей, вспоминала синеву его глаз, лихих и ярых, вздернутые клочковатые брови, грубый окрик, от которого шарахаются в тревоге казаки. И эти же синие глаза чудились ласковыми, дремотными: глядишь в них, как в небеса, ни тучки в них, ни облачка — чистые, ясные... Степанида, вслушиваясь в лай собак, поднялась, подошла к оконцу, глянула в темноту и вернулась к очагу опечаленная.

Поодаль сидела на лежанке Марфа Яшкина. Накинув сборчатую шубейку на голые плечи, она заплетала косы. Марфа слыла за первую певунью, хороводницу и вызывала у женок ревнивую зависть. Липли к ней казаки неотвязно, как к сладкотелой медунице. И хоть Марфа и мужняя жена, а примечали жонки за ней худое. Как зальется смехом душевным да трепетным, аль запоет тонко, жалостливо — жонки в один голос:

— Ах, сызна медуница мед сочит, обливает им казаков непутевых!.. Хоть бы о муже печалилась! Где он?

Скажут это жонки, меж собой посудачат, а каждая о себе в заботе и суете, как бы своего мужа уберечь, иначе зараз обворожит, опьянит.

Марфа повязала косы, потянулась, шубейка соскользнула с плеч.

Тускло горел камелек. Желтые пятна лениво ползли по гладким молочным плечам, золотили светлые пряди волос. Камелек затрещал, пламя вспыхнуло ярче и побежало по лицу. Лицо широкое, чистое, губы — брусника спелая, нос задорный, а глаза большие, круглые, насмешливые.

Палашка Силантьева и Аксинья Минина переглянулись. Аксинья вполголоса сказала:

— Зазор, срамота...

Палашка перебила, шепнула в ухо:

— Ноне пытала я ее: «Скучно мол, Марфуша, без Николки, постыло?» А она: «Все едино», — а сама глазами на...

Палашка стихла, глянула на Степаниду и вкрадчиво добавила:

— На Ярофея...

— Но?! — разинула рот Аксинья и смолкла, перекосившись от удивления.

Марфа знала: о ней чешут языки. Выпрямилась, нехотя набросила шубейку, улыбнулась ласково:

— Жонки, подтягивайте! — и затянула звонко, душевно...

Остальные покорно подтягивали:

*На своем на белом коне,
Как сокол, как ясный, летает,
Вокруг острога, вокруг вражьего
Русскую рать собирает...*

Песня глохла и вновь всплывала протяжно и жалостливо, голос Марфы рыдал:

*И взмолился тот вражеский князь,
Златом, серебром откупиться рад,
Чтоб оставили, чтоб спокинули
Казачи тот острожек княжеский...*

Степанида сказала:

— Тоскливо голосим, к добру ли то?

Песня оборвалась. Над тайгой косматой медвежьей шубой лежали тяжелые тучи, темень глушила, предвещая пургу. Сторожевой казак озирался, дроз, косился на черную пропасть, творил молитву. Не слышал он, как с глухого угла у засеки, по-лисьи припадая к снегу, подползали тайные люди. Они подкрались и, накинув волчью шкуру, беззвучно казака удушили. У зимовья надрывно взвизгнула собака и смолкла. Люди обошли сторожевой мостик и залегли меж пеньков и колодин, подле зимовья. Ловко ступая, двое крались к зимовью. Толкнув дверь, вошли.

Степанида подняла голову, пламя очага осветило блеклыми пятнами вошедших.

Стояли люди, затянутые в оленьи шкуры, с пиками и ножами. Дремавшие на лежанке казачьи жонки вскочили. Вошедшие огляделись, слегка пригнулись и шагнули вперед, стуча по половицам дровками пик. Степанида разглядывала вошедших: из-под меховых шапок, плотно обтягивающих голову и лицо, чуть виднелись плоские носы да желтые скулы. Высокий эвенк в лисьем малахае, плохо выговаривая русские слова, сказал:

— Было в тайге лютых волков много, стало их еще больше! Зачем в наши кочевья пришли?

Эвенк сдвинул брови, скривил рот и, раздувая ноздри, вскинул копьё, второй — тоже.

Жонки сбились в угол.

Степанида и Марфа Яшкина метнулись к самопалам, но эвенки ловко накинудли на них мешки из оленьих шкур. Схватив пленниц, затушив камелек и затоптав головешки в очаге, бросились к дверям и скрылись в морозной темноте.



Становище встревожилось. Подле зимовья не успел снегомет захоронить вражьи следы. Рассмотрели казаки три лыжные дорожки да ямки оленьих копыт. Погнали скорых гонцов в тайгу, к Ярофею.

Тем временем эвенкийский князь Мамтагир, поставив свой чум за ущельем Белого Лося, ждал лазутчиков. В чуме нестерпимо воняло гарью, медвежьим салом, псиной. Князь сидел на белой шкуре оленя, подбитой лисьим мехом, макал беличий хвост в чашку с медвежьим жиром и мазал рот деревянному большоголовому божку. Четыре жены князя забились под песцовые одеяла и изредка выглядывали заспанными раскосыми щелками глаз.

Князь стар, белые облезлые брови его топорщились. Вздрагивали жидковолосая борода и побитые сединой усы. Князь украдкой всхлипывал, утирая воспаленные веки рукавом своей песцовой парки, бормотал большоголовому божку на ухо:

— Черный дух послал лочей, побили они моих людей, полонили сына и храбрых братьев, двух жен моих увели, оленей угнали. Пусти на них худой ветер. Выгони из тайги лочей!..

Князь раскачивался, кормил божка жиром, капли стекали по рукаву, по дорожному, расшитому младшей женой, лисьему нагруднику, падали в очаг, вскипая едучей гарью. Князь шурился, крепко сжимая божка, громко говорил:

— Ты, обжора!.. Мало тебе медведя, я убил трех лучших оленей, кормил тебя кровью их сердец. Ты, обжора! Что ты просишь? А? Ты просишь белой крови самой юной моей жены Нактачал?

В углу чума песцовое одеяло дрогнуло. Князь, шамкая шершавыми губами, бормотал:

— Я дам тебе эту белую кровь! Пошли худой ветер на лочей, пусть они сгниют, как гниет на песке выброшенная волной вонючая рыба.

Песцовое одеяло вновь дрогнуло. Кто-то всхлипнул чуть слышно и умолк. Князь спрятал божка за пазуху.

Распахнулся полог чума и вошел осыпанный снежной пылью воин. Князь неторопливо повернул голову:

— С доброй ли вестью?

— Наказ князя Мамтагира выполнил, двух жен лочей украл. Пусть князь не печалится, у него опять стало шесть жен.

Князь вытащил божка из-за пазухи, прижал к щеке и зажмурился.

Прошептав, открыл глаза и спрятал божка под нагрудник.

Степаниду и Марфу ввели в чум. Князь разглядывал женщин неторопливо, как драгоценную добычу. Кряхтел, синими пальцами щупал рыжие пряди волос Степаниды. Удивленно чмокал губами, бросал пряди, вновь к ним тянулся, разбирал их по волоску, будто пробовал огненный мех лисицы, и, блуждая потухшими глазами, тянул:

— Трава на болотных кочках красна, а эти волосы краснее. Огонь горяч, а эти волосы, однако, горячее.

Степанида нетерпеливо рванулась, оставив князя с растопыренными пальцами. Марфа гадливо плюнула:

— Поганец...

Князь услышал незнакомое слово, сказанного не понял, но голос Марфы ему понравился, и он скривился в усмешке. На Степаниде князь увидел кофту ярко-желтой камки и сказал с важностью:

— У князя лучшая жена Нактачал, дорогую одежду надо отдать ей.

Он поднял руку, и со Степаниды сорвали кофту, дав ей взамен кожаную короткую поддевку. Кофту долго рассматривал князь и кликнул Нактачал. Она безропот-

но поднялась и пугливо подошла. Нактачал еще девочка, низкорослая, остроплечая, с широким темным лицом и жиденькими волосами, туго заплетенными в косички. Князь гордился Нактачал, он дорого купил ее: дал двести оленей, много лисиц, песцов и соболей. Надев кофту, Нактачал потонула в ней, князь подворачивал ей длинные рукава, одобрительно чмокал губами. Марфа не сдержалась и прыснула смехом. Князь в обиде сжал губы и плюнул на дерзкую пленницу.

Марфа закрылась руками и неслышно заплакала.

Степаниду и Марфу отвели в чум жен князя и поставили в доглядчицы старшую жену — Адагу.

К полудню стойбище могущественного князя Мамтагира приготовилось к большому кочевью. Князь знал коварство лочей, торопился уйти вглубь тайги, спастись за буреломами и крутыми сопками. На старом стойбище он оставил отборных, храбрых воинов, чтоб, отбиваясь, сдерживали лочей и тем самым избавили бы князя от погони.

Бесконечной вереницей шагали олени, каждый нес свою ношу. Пленниц везли на нартах, неотлучно охраняя. Солнце падало за горы, густели тени, стихала к ночи тайга.

Князь ехал на рослом олене, у пригорка остановился, смахнул меховым нагрудником иней с обледеневших ресниц, приподнял шапку, осмотрелся. Воткнул в снег вешку — быть тут чуму. Караван остановился на ночлег, чтобы встать на заре, успеть к полудню дойти до владений храброго князя Чапчагира. Мамтагир готовил Чапчагиру подарки, думал уговорить его соединить воинов, чтобы легче было побить лочей.

Чумы Мамтагира раскинулись по склону в беспорядке. Пастухи охраняли оленей, терпеливо добывавших из-под снега сочные стебли ягеля. Луна прыгала по макушкам гор, купалась в голубых снегах.

Старшая жена князя, Адага, варила в огромном котле мясо лося, ей помогали остальные жены. Котел бурлил, обдавал чум теплой влагой, с закопченных шестов падали капли, оставляя черные пятна на белых шкурах. Степанида, склонившись к Марфе, шептала:

— Сгинем, Марфушка, от поганцев не спастись...

Адага оглянулась, взяла из котла жирный кусок мяса и бросила на шкуры, к ногам пленниц. Оголодавшая Марфа потянулась жадно к дымящемуся куску, но схватить не успела: собаки вырвали кусок, злобно рыча, сожрали. Адага палкой била собак, выталкивала из чума; они огрызались, скалили зубы.

Вошел Мамтагир. Меньшая жена, соблюдая обычай, кинулась навстречу, упала на колени и, хватаясь руками за промокшие унты князя, торопилась их снять, чтоб обсушить и приготовить к утру. Князь толкнул жену в бок, гневно скривил рот и протянул ногу Степаниде, чтобы разула, обогрела его, как подобает жене.

Степанида вспыхнула, лицо ее обожгли обида и стыд, она забилась в шкуры. Марфа, видя свирепость князя, невнятно уговаривала:

— Корись, Степанида, корись!..

Степанида задыхалась в вонючих шкурах, будто стиснула ей горло желтая пасть, зубастая, горячая. В ушах стучало, мутилось в голове. И тут же среди тяжелой темноты чудилось: вырастала рожь сплошная, колосистая... Горит она на солнце, колышется, и видит Степанида: не рожь это колосится, нет, а Ярофеевы кудри светлые...

Степанида едва подняла голову, выглянула из-под шкур. Сквозь серую пелену увидела князя. Стоял он возле дымного костра, губы у него вздрагивали, багровыми пятнами опалены скулы, складки на лбу поднялись: непокорная женщина в чуме —

то же, что и бешеный олень в стаде. Бешеного оленя надо задушить, мясо скормить бездомным собакам. Непокорную жену надо убить, и кровь ее сделает ручным и ласковым даже свирепого барса.

Князь, словно сучковатое, колючее дерево, ошетинился, замахал высохшими руками, ударил Марфу, отбросил в сторону. Оставляя грязные следы, шагнул по шкурам к Степаниде. Степанида сжалась в комок, и, когда князь нагнулся к ней, вцепилась в горло, с силой оттолкнула. Князь неловко повалился, ногой толкнул котел, расплескал варево, залил огонь в очаге. В чуме повисла темень, едучий дым и копоть застилала глаза. Жены князя визжали. Адага торопливо выбила искру, зажгла запасливо хранимую бересту. В чуме мелькнул свет. Князь, сверкая белками глаз, выхватил из-за пояса нож. Жены сбились в кучу. Марфа и Степанида гребли в охапку шкуры, чтоб защититься ими.

Полог чума распахнулся, и взъерошенный, по-волчьи злой князь узнал в вошедшем нежданного гостя. Стоял храбрый князь эвенкийского рода Черной птицы — Чапчагир.

— Хой! Что делает славный Мамтагир? Не обламывает ли он рога непокорному оленю? Не поучает ли он непослушную жену?

— Непослушного оленя можно объездить, непокорную жену лучше убить!..

Адага развела жаркий костер, сучья корчились, трещали, пламя взлетало рыжими ключьями, огневые сполохи осветили чум.

Степанида и Марфа прильнули друг к другу, перепуганно озирались. У костра торопливо хозяйничала Адага: налила котел, подбросила сучьев в огонь, шестом сбросила лишний полог с дымоходной дыры чума. В чуме стало светло и жарко. Хорошо видно и гостя и хозяина.

Гость молод, ширококул, белолиц. Ровные, будто тканые брови сходились у переносья, из-под них через узкие прорезы светились зеленоватые глазки. Когда гость смеялся, ноздри его плоского носа раздувались, как у распаленного оленя, вздрагивала верхняя губа, обнажая мелкие лисьи зубы. Смеялся он задорно, звонким певучим голосом. Мягко вскидывая руку, разглаживал смольно-черные усики. Одет гость в лисью парку, подбитую по рукавам и вороту отборным соболем, штаны из мягкой ровдуги* и высокие лосиные унты, шитые узором. Из-под шапки-малахая выбивалась тугая косичка, искусно перевитая кожаной тесемкой. Гость заметно гордился своим нагрудником, заботливо собранным из кусочков дорогих мехов, бисера и цветной ровдуги. Сбоку висели хвосты соболей, лисиц, белок, на пояске охотничий нож, тут же зубы кабана, волка, рыси, лося. Чапчагир опирался на загнутый круто лук, за плечами висел колчан, туго набитый стрелами.

Марфа дивилась красоте Чапчагира и заметила, что жена Мамтагира, юная Нактачал, не сводит глаз с гостя, дрожащими пальцами рвет пушинки песцового одеяла и жадно ловит каждое его слово.

Чапчагир говорил:

— Славный Мамтагир бросил свое стойбище. Разве вывелся зверь? Вытоптали олени кормовище?

Мамтагир сумрачно ответил:

— Над стойбищем черный ветер: пришли лочи, все чумы сожгут, людей побьют. Один олень — плохо, два — хорошо, много — счастье! Бежит Мамтагир к Чапчагиру, пусть силы их умножатся.

* *Ровдуга* — оленья или козья шкура, выделанная замшей

Гость встал, горделиво приосанился:

— Лочи — волки! Разве Чапчагир волков боится? Чапчагир соберет всех воинов-эвенков, Чапчагир пойдет большой войной, лочей побьет!

Гость оглядел чум, встретился с синими глазами, по скуластому лицу скользнула тень удивленной улыбки, он наклонился к Мамтагиру:

— Славный Мамтагир, в чуме твоём вижу добычу. Храбрый охотник не прячет от гостя добытого... Не обидеть бы хозяина тайги...

— Храбрый Чапчагир, — ответил хозяин недовольно, — худой добычей не хочу омрачать глаза дорогого гостя.

— В чуме славного Мамтагира никогда худого не встречал, худое пусть гниет на пустыре или живет в рваном чуме.

— Рваные чумы! — злобно прошипел Мамтагир. — На слабую тетиву лука не надейся — стрела не полетит... Рваные чумы радуются: лочи разбросали для них приманку по тайге.

— Худо! — ответил Чапчагир. — Почему славный Мамтагир не справился с рваными чумами?

— Черный ветер... Сломить его может только хозяин тайги, — и Мамтагир вытащил из-под нагрудника деревянного божка, закрыл глаза, приложил его к щеке и шумно вздохнул.

Гость не сводил глаз с пленниц, попросил хозяина показать добычу.

Хозяин крикнул, в чум вбежали два воина. Он показал желтым пальцем на пленниц и на очаг. Воины бросились к пленницам. Марфа подошла к очагу. Степаниду приволокли и усадили.

Теперь Марфа сидела рядом с гостем. И когда он наклонился к костру, Марфу горячил теплый запах пота, прелых звериных шкур, смолистой хвои. Она опускала голову, смотрела в огонь.

Гость и хозяин громко заговорили.

Марфа подняла голову, взглянула на гостя. Из-под тонких бровей огневой взгляд Чапчагира жег, сердце Марфы колотилось, рдели щеки, и синева ее глаз казалась темнее, влажнее, томительнее.

Она закрыла лицо руками, отвернулась. Чапчагир взял ее руки, отвел от лица. Синими звездами переливались глаза. Чапчагир, не отрываясь, с жадностью вглядывался в них, говорил торопливо. Марфа не могла понять незнакомые слова, но ее сердце тревожило что-то ласковое, зовущее, и она улыбалась.

Гость наклонился к уху хозяина:

— Славный Мамтагир отдаст Чапчагиру половину добычи?..

Хозяин мотнул головой.

— Пусть храбрый Чапчагир берет красноволосую лочи, — и ткнул сухим пальцем в Степаниду.

— Хой!.. Чапчагир не смеет обижать славного Мамтагира, он видел, как тот тянулся к красноволосой лочи, он возьмет желтоволосую.

Хозяин куснул чубук трубки, чубук раскололся. Бросил его в огонь.

Чапчагир торопливо вышел из чума. Марфа покорно шла за ним...

Белел восток, но еще не вставало солнце. Тайга тонула в полумраке, огромные тени лениво плыли по склонам гор.

Над головой дрожали белые звезды, хмурые вершины деревьев были врезаны в светлеющее небо. Чапчагир шел впереди, Марфа — ему вслед. Высокой шапкой он задел тяжело заснеженную ветвь старой пихты. Ветвь качнулась, и мягкий ком упал на Марфу, снегом осыпало ей лицо и плечи. Марфа с трудом выговорила: «Чап-

чагир...» Он обернулся, сорвал с пояса хвост чернобурой лисицы, легко смахнул им снег с Марфы и снова зашагал.

...Старый шаман Мамтагирского рода бил в бубен, прыгал вокруг костра, надрывно кричал. Взывал он к могущественным богам земли и неба; молил их оградить эвенков от нашествия лочей. К утру шаман замолк, усталый, мертвенно-бледный, уснул у потухающего костра. С восходом солнца он вяло встал и, глухо кашлянув, поднял сухую руку:

— Беда... Мамтагир пригрел у своего очага лочей с огненными волосами. Худо будет эвенкам. Лочей надо убить, и пусть мясо их съест шаман-огонь. К эвенкам вернется счастье...

Встревоженный Мамтагир отдал Степаниду шаману. Шаман поспешно вышел из чума.

...К полудню у Белой горы Мамтагир остановил хрипевшего от быстрого бега оленя. Возле огромной высохшей лиственницы шаман уже торопливо готовил костер. Послух его собирал сучья, складывал их у корня лиственницы. К Мамтагиру подбежал эвенк, перепуганный, с изодранным в кровь лицом и руками, его загнанный олень пал. Эвенк, слизывая с губ спекшуюся кровь, торопливо заговорил:

— На старом стойбище лочи побили наших людей...

— Хой-хо!.. — встрепенулся Мамтагир, спросил в тревоге: — Много ли лочей?

— Больше, чем волос на жирном олене.

Мамтагир притих. Думал. Эвенк огляделся, вполголоса сказал:

— Горе Мамтагиру. Лочей привел на стойбище сын его Калтама.

— Калтама? Сын мой?

— Калтама, — ответил эвенк.

Мамтагир вскинул копьё, им хотел сразить злого ябедника и наглеца. Эвенк отскочил, натолкнулся на человека, в нем узнал Калтаму. Мамтагир сурово оглядел сына, копьё не опустил. Калтама бормотал с обидой:

— Лочи послали меня к тебе: отдай пленных... Худое будет... Лочи побьют эвенков... Всех побьют!..

— Эко трус!.. — сказал шаман.

Мамтагир спросил сына:

— Далеко ли лочи?

— У Лисьего ущелья. Торопись... Лочи бегут по снегу быстрее лося.

— Эко, забоялись смерти... Зайцы! — озлился шаман.

Шамана не слушали. Лисье ущелье — это один олений переход.

Беда близко, ближе, чем стойбище князя Чапчагира.

Мамтагир взял своего лучшего оленя, посадил на него Степаниду и пустил по следу Калтамы в сторону русских.

Люди Мамтагира побросали оленей, чумы, имущество и разбежались по тайге. Мамтагир с сыном, хоронясь и оглядываясь, бежали в долину Лисьи норы.

В один день могущественный князь Мамтагир стал беднее болотной мыши, трусливее зайца.

...Казак Ярофей нашли Степаниду у старого стойбища эвенков, сбросил ее олень на старом пепелище чума Мамтагира. Она замерзла, прильнув к обгорелому пню.

Ярофей на руках снес Степаниду к зимовью, казаки, измученные непомерными походами и схватками с эвенками, не преследовали Мамтагира.

ОЛЕНЬ-ГОРА

Зима уходила. Оживало становище Ярофея. Порыхлел снег. В таежные походы казаки не ходили, но весна вновь горячила кровь, задорила казачьи головы. В зимовьях коротали ночи, днем грелись на солнцепеке, готовили походные доспехи.

У берега на крутом яру собрались казаки, те, что покалечились в походах. Отсиживались они, гнали хворь. Веяло с реки весенней теплой прелью, опаживали теплые ветры, опадал и рушился лед.

Вместе с весенней теплынюю пришла и забота. Деловито ладили казаки дощаники: сколачивали, чинили, смолили. Ярофей бродил по становищу угрюмый, людей чуждался. Всем заправлял ловкий Пашка Минин.

Ярофей не однажды бросался одиночкой в тайгу, хотел поймать эвенкийского князя Чапчагира, отбить полонянку Марфу.

Встала она наперекор сердцу, пуще занозы острой вонзилась в грудь. От песен Марфы пьянел, бывало, атаман, как от хмельной браги. А Марфа сторонилась атамана, косилась на Степаниду.

Казаки скулили в усы:

— Волком рыщет атаман!..

— Прилепилась к нему Марфа неотступно, пуще смолы кипучей!

Ярофей миновал черную избу, зашел в бревенчатый прируб. Пылал очаг жарко, на скамье, разметавшись, лежала хворая Степанида. Камелек чадил, мерцая желтой мутью. Скрип двери вспугнул Степаниду, поднялась она на локоть, признала вошедшего, заулыбалась. Ярофей присел на лежанку, обнял пылающую от хвори Степаниду, обласкал, растрепал. Она прошептала:

— Как наряжен... От серебристой чешуи твоего куяки ослепну. Аль вновь в тайгу наладился?

Кивнул головой.

— Ладное ли задумал, Ярофеюшка? Реки распалились, тайга в мокре люта!..

Отвел глаза. Вновь осторожно заводил вчерашние речи: спрашивал об эвенках, о полоне, о Марфе Яшкиной. О большом походе в Дауры, о Ваньке Бояркине, что увел дощаники и почти сотню казаков, не вспоминал. Жаловался на раннюю весну: ударила, мол, по рукам, сделала тайгу непролазной, помогла поганцу Мамтагиру от смерти спастись, Марфу полонить. Степанида мрачнела, вглядывалась в лицо Ярофея. Ярофей вполголоса говорил:

— Хворь твоя не ко времени... Сильно помял тебя тунгусский князь!

Тихо смеялся, щетинились брови, морщился лоб. Степанида прятала глаза, чтоб не видел бабьих слез.

Послышался треск и гул, гам казацких глоток взлетел над Олекмой. Ярофей, хлопнув дверью, вышел. Степанида вскочила с лежанки и босая пошла к оконцу. Лед на Олекме лопнул. Поплыла частая шуга, синие промоины выбивались на желтый сыпучий берег. Услышала зычный голос. Кричал Ярофей:

— Заламывай! Сорвет с причала! Побьет!

Казаки ухали, шлепали по воде. Обороняли от напора льдов корабли.

Наступал день отплытия.

Казаки месили ногами прибрежный ил, толкались у причалов, волочили якоря. Поп Гаврила служил отплывную, голосил у самой реки; эхо вторило и таяло. Казаки крестились размашисто, облезлую икону целовали не спеша. Пашка Минин кричал:

— А ну, шевелись! Гони от берегов! Отчаливай!..

Ярофей взмахнул шапкой, казаки навалились на бечеву, дощаники поплыли. В это время к Ярофеевой ладье подбежал головной доглядчик, орал с берега звонко-голосом:

— Вижу корабли, Ярофей! Сплывают на низ!

Ярофей вскочил на корму, долго махал шапкой. Дощаники причалили к берегу. Казаки приготовились к отбою, хоронясь по берегу в проталинах, меж камней, меж валежника. Из-за поворота реки выплыл корабль, за ним еще один. Плыли корабли налегке, к берегу повернули без опаски, не хоронясь.

Казаки признали дощаники Бояркина, выбежали на берег.

Ярофей с Пашкой Мининым разглядели Бояркина, наперебой кричали ему:

— С добычей ли?!

— Каков поход?!

Бояркин отвечал нехотя:

— Свое погубили. Чуть живы плывем...

— Неуспех? — допытывался Ярофей.

Бояркинские казаки грозилась, над головой потрясали пиками, самопалами:

— Ваш какой успех? Кажите добычу!

— Зиму проспали в теплом логове. Ожирели!..

— Запасы, поди, пожрали начисто! Саранча!..

Дощаники причалили. Многих казаков недосчитались. Урон в походе Бояркина оказался большой: не вернулось и половины. Многих из прибывших от худобы ветер качал, одежка драная топорщилась, иные и ратные доспехи порастеряли.

Бояркинские казаки жаловались Ярофею. Во всех бедах винули Бояркина, рвались побить нерадивого атамана. Ярофей брал побитого казака за острые плечи, крутил:

— А ну, повернись, покажись, воин! Каков? А? Ишь, как встретили тебя даурцы! Побили?

Бояркин прятался, боялся расправы, казакам на глаза не попадал. Ярофею он поведал без утайки о своем неудачном походе на Зею, в Дауры. Всю ночь до зари слушал Ярофей речи Бояркина о непокоренных даурцах, иноземцах желтолицых, в бою бесстрашных. С большим любопытством допрашивал Ярофей Бояркина об укрепленных городках даурцев, о неисчислимых богатствах земли Даурской. Послушал Бояркина, вздохнул:

— Негожий поход, посрамление. Нешто иноземцы двужилые, в боях не ломаются?

Бояркин оживился:

— Телесами мелки, боем лучшим владеют, к огневому трусливы...

Ярофей позвал Минина, втроем сидели долго: думали, куда держать путь. Минин горячился:

— Путь один — пробиться в Дауры.

Бояркин отговаривал: и рать мала и запасы скудны.

Ярофей достал чертеж — потертый, рваный. В грамоте атаманы были неискусны, потому в сотый раз в него заглядывали — и все без толку.

Разбудили попа Гаврилу, единственного грамотея. Поп Гаврила толковал этот чертеж многожды, и каждый раз по-иному.

Однако Ярофей понял по-своему:

— Неладно, атаманы, плывем!.. Смекаю так: заходить Олекмой в середину Даурского царства неподручно. Побьют.

— Иных путей не вижу, — ответил Минин.

— Надобно ударить даурцев с Амура-реки! — убеждал Ярофей.

— Путь к Амуру-реке неведом, — усомнился Бояркин.

Замолчали. Вновь спорили горячо. Уходила ночь, посерело небо, туманы сникли к реке. Олекма оцетинилась предутренней рябью. Атаманы разошлись сумрачные.

Ярофей прилег на лежанку. Неотступно мучило одно: как пройти к Амуру-реке, как обойти даурцев? Ярофей лежал на спине, устремив глаза в закоптелый бревенчатый потолок. Вставало перед ним заветное, распяляло кровь, сжимало сладостно сердце. Казалось: вот стоит он, Ярофей, на холме, а под ним течет Амур-река — черна, многоводна, величава. Вокруг нее без конца и без края привольные земли, и тонут те земли в синеве лесов, в зелени лугов: и все-то украшено и все-то убрано в цветы яркой красоты. А земли жирны, не паханы, тайга не хожена, травы не топтаны, зверь и птица не тронуты.

Ярофей засыпает, и мерещится ему: в белом небе парит сизый беркут, и с ним говорит Ярофей: «Эй, птица вольна, с высоты небес видны тебе все дали, все пути земные?... Да?»

Беркут взвизгивает ввысь, теряется.

И слышит Ярофей голос знакомый, жалостливый, душевный: поет Марфа. И к песне той слетаются все певчие птицы и тоже заливаются, щебечут, свистят, рассыпают трели.

Он тихо поднимается с лежанки и вновь слышит голос:

— Что ты, Ярофеюшка?! Полуношник... Спи!..

Степанида, обвив шею, укладывает его на лежанку, шепчет молитву. Ярофей срывается, тяжело ступает. Скрипят половицы.

— Темень меня обуяла, Степанида, слепой я, кроту подобен!

— Что ты? — вскакивает Степанида. — Очнись!..

— С путей сбился, дорог не вижу... То как?

Степанида говорит:

— Надобно тунгусов, Ярофеюшка, поспросать...

Ярофей задумывается.

Пути знают эвенки: известны им все реки, волоки, горные переходы. В аманатах — заложниках — держал Ярофей двух князей. Одного отпустил, а старого князьца Калтачу оставил, чтоб эвенки платили ясак исправно, чтоб помнили твердую русскую силу.

...Утром в атаманскую избу вошел Ярофей с Ванькой Бояркиным: говорил Ванька по-эвенкийски.

Ярофей думал: «Старый Калтача должен хорошо знать пути до Амура-реки. Но заставить говорить Калтачу трудно».

Войдя в атаманскую избу, Ярофей и Бояркин не сразу разглядели Калтачу: забился он в темный угол, дремал на шкурах оленя. Княжеское ожерелье — нанизанные на кожаный шнурок зубы бобра, волка, медведя, лисицы и рыси — валялось поодаль, рядом лежал небрежно брошенный большеголовый деревянный божок. На вошедших пленник взглянул мертвыми, блеклыми глазами, сухие губы сжал, ссутулится, опустив голову на колени.

Вошла Степанида, поставила перед Калтачой чашу с кусками медвежатины. Калтача чашу отодвинул, не поднял опухшие веки.

Ярофей слукавил:

— Люди твои ясак сполна дали, мирюсь с тунгусами, иди в тайгу, живи в своем чуме...

Калтача поднял высохшую голову, ответил вполголоса:

— Ты хитрее лисицы, злее рыси. Калтача не верит...

Ярофей скрыл обиду:

— Велю тебя отпустить, укажи пути ладные и скорые.

Калтача выпрямился, глаза блеснули:

— Плачут эвенки в тайге... Пусть лочи убьют старого Калтачу, он не покажет им родных стойбищ!..

— Не о тунгусах говорю...

Ярофей торопил Ваньку пересказать Калтаче:

— Люди твои стонут от лютой даурцев... Худого не хочу, пусть тунгусы живут мирно... Иду к Амуру-реке, иду на даурцев!..

Калтача захохотал, закашлялся и ответил с хитрой усмешкой:

— Калтача старше совы ночной, а глупее лочей не встречал — ведь Амуром-рекой владеет могущественный даурский князь Албаза. Никто не побеждал Албазу. Великий китайский царь шлет дары Албазе! Не раз лочи бывали на Амуре-реке, не раз в страхе убегали!

— Кто убегал? В какие времена это было? — загорелся Ярофей.

Калтача растерянно мигал, вспомнить имена лочей не мог. Ярофей допытывался. По приметам Калтачи и его людей выходило так: лочи на Амур-реку пришли прошлой зимой. Где они теперь, Калтача не знал.

Вспомнились Ярофею слова беглого Магды, сказанные ему еще в Илимске. Магда клялся луной и звездами, что храбрый атаман Черниговский уплыл на Амур со своими казаками и что он, Магда, хотел с ними плыть, да устрасился.

...Калтача на расспросы больше не отвечал.

Ярофей насторожился. Хитрым глазом разглядел: вздернулись седые клочки бровей Калтачи, острые скулы покрылись темными пятнами, переполнились глаза мутной слезой. Калтача опустил голову. Вспомнил опустошительные набеги даурцев на эвенкийские стойбища. Даурцы побили эвенков, оленей увели, чумы разорили. Бросив кочевья родичей, бежал Калтача на Олекму. Даурцы страшнее лочей, с давних времен плачут от них эвенки.

Ярофей загордился, стал похваляться:

— Даурцев побью!.. Против русской рати им не стоять!

Калтача скалил гнилые зубы, трепал дрожащей рукой косичку, терялся в догадках. Ярофею не верил. Долго молчали. Наконец заговорил:

— Пусть лочи побьют даурцев!.. Пусть кровь прольется за эвенков!..

Ярофей мотнул головой. Калтача неторопливо говорил, вода черным пальцем по корявому полу:

— Плыви рекой Олекмой обратно, встретишь широкий плес: то пал в Олекму веселый Тугир. Им плыви до Олень-горы. Олень-гору переходи посуху, подойдешь к желтоводной Урке. Урка пала в Амур-реку...

Ярофей встрепенулся, заговорил отрывисто:

— Не худо ли задумал? Не брешешь ли, князец?.. Ярофей не спустит!

Ванька, размахивая руками, как и Ярофей, с большим старанием передавал его слова. Калтача морщил лоб, лукаво озираясь, подошел к Ярофею:

— Калтача сам проведет лочей к Олень-горе, укажет дорогу в Даурское царство. Пусть побьют лочи Албазу!..

С восходом солнца дощаники Ярофея скрылись за излучиной реки. Плыли недолго. По указке Калтачи приблизились к левому берегу. Пошла Олекма двумя руслами, разделил ее зеленый остров. Через две недели подошли к Тугиру. Казаки радовались.

Степанида говорила Ярофею:

— Глянь, Ярофеюшка, как нарядна река: утонула в лесах, камышах, прибрежных цветных травах...

Ярофей огляделся, смеясь, вдохнул носом:

— Близко, Степанида, горячие ветры.

Тугир темной полосой тянулся к югу. Ветер-верховик обдавал теплой влагой. Часто добывали казаки неведомых доселе птиц — красноперых, хохлатых, горластых. Ловили пучеглазую жирную рыбу. Смотрели ее на солнце, удивлялись: сквозь мелкую чешую светилась она восковым жиром, в вареве распадалась белыми ломтями. Вспугивали у водопоев табуны козуль, оленей, лосей. Отбивались от ярых кабанов, спасались от коварных рысей.

На одном из привалов принесла Степанида охапку цветов: ярко-желтые, крупные, они пылали на солнце, от сладкого запаха мутилась голова.

— Глянь-ка, Ярофеюшка, как красивы...

— Ты в цветах, как в полыме... Что за диковина? — удивился Ярофей. — Умру, набросай этих огневок на могилу. Каков цвет! Аж глаза режет!..

Засмеялся. Увидев, как казаки разбрелись по берегу, крикнул:

— Пльвем! Отчаливай!..

«К чему бы это?» — вздохнула Степанида. Слова Ярофея о цветах-огневок встревожили ее, и она бросила их в реку. Они медленно плыли, и по воде растянулась узкая желтая дорожка.

...Богатство даурцев казалось безмерным.

Земли даурские манили, зрело у каждого желание стать на эту землю твердой ногой.

Доплыли до Олень-горы, долго не отрывали глаз. Повисла над рекой черная скала в виде огромной рогатой головы оленя.

Тут попрощались с Тугиром. Омыли головы, ноги. На пригорье срубили наскоро часовенку. Поп Гаврила отслужил молебен. Оставили в часовенке малую икону Спаса, чтоб знала эта земля русскую веру.

У Олень-горы жили долго. По тайге волоком перетаскивали дощаники через гору. Перенесли на плечах запасы, переволокли пушки.

Калтачу Ярофей отдал и отпустил на волю. Наказал Калтаче сказать эвенкам твердо, чтоб ясак платили русскому царю, от даурцев бы отошли навечно, с русскими бы жили в мире.

Починив дощаники, поплыли казаки быстро вниз по Урке-реке к великому Амуру, в Даурскую землю, на рубежи неведомого Серединного царства — Китая.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

АЛБАЗИНСКАЯ КРЕПОСТЬ

Корабли Ярофея Сабурова ранней весной уплыли на Амур. Казакам Амур казался больше Лены, и вода его не переливалась ржавой желтизной, как в Олекме. Амур раскинулся безбрежной сизой гладью. Когда поднимался серый туман и солнце показывало из-за гор свою багряную кромку, Амур казался светло-зеленым, щедро осыпанным блеклыми пятнами. Изредка пробегал ветерок, Амур тускнел, жидкая рябь ерошила тихие заводы, колыхались прибрежные вербы. По левому берегу спускались горы, покрытые голубой березой, серебристой ольхой, даурской сосной, пихтой, лиственницей. По правому — тянулись луга.

Подымалось солнце. С юга дул теплый ветер. Казаки плыли у самого берега, над головами плотным карнизом нависала зелень.

Ярофей Сабуров поднимал голову, жадно тянул носом влажный воздух. Сонные листья трепетали, сквозь их сетку виднелись клочки синего неба.

Выше поднялось солнце, рощи расцвели нарядным ковром, пели, до этого неслыханные, голосистые птицы, трещали кузнечики, свистели суслики.

Ярофей и Степанида садились на корму дощаника, казаки переставали грести; несло дощаники течением плавно, беззвучно. Все молчали; каждый в думах улетел в поднебесные выси, позабыв ратные невзгоды и горести.

Тихо вокруг, не шумел лес, не колыхались травы. Сквозь зелень пробивались горячие лучи, рассыпались они по воде мелкими пятнами. Степанида хватала Ярофея за руку.

— Ярофеюшка, глянь, какие кросоты!.. Цветисты, любви!.. А небо?..

Ярофей смотрел пристально ввысь. «Синь-то, синь какая, и нет ей ни края, ни конца. Сомкнется она с далекими концами гор. Это и есть край. А вот подойди к нему, опять убежит земля. Кто знает, где ее конец?»

Рядом сидела Степанида чуть дыша, сердцем своим догадывалась: сладкое, заветное овладело Ярофеюшкой, вишь, как глаза его тепло светятся. А у самой тоскливо, зябко на душе. Опустила голову, закрыла глаза и жалуется в смутных молитвах и просит немногого. Устала она от ратных походов, от бездомной жизни, от невзгод... вот бы маленькую избушку, мирную, тихую. Чисто в ней вымыто, прибрано, жарко топится печь, пахнет хлебом, медом душистым. Жилое русское место с иконкой святителя Николая в переднем углу. А в оконце глянешь — тишина ласковая, цветут поля, ребятишки бегают, резвятся, курицы копошатся в пыли. Захлопнешь оконце; спит на лежанке Ярофеюшка, избавленный от тягостных походных забот, от страшных ратных дел. А потом свет этот растает, уплывет, и начнет корить себя Степанида: «Баба я, глупая баба! Время ли о теплом угле плакаться, Ярофеюшку

печалить, сокола храброго, вольного и безудержного? Думы-то у него совсем иные. Глаза-то его вон какие огромные, смотрит он в белые дали, разгадать, познать ему все хочется. Своими глазами видеть невиданное, своими ногами ходить по нехоженным землям».

Степанида выпрямилась, лицо ее разругалось, толкнула она Ярофея локтем, в глаза ему взглянула. А он словно проснулся, поднял голову, засмеялся и крикнул:

— Гребни, казаки, наваливай! Ишь, разомлели!..

Зычный голос и всплески воды разбудили тишину, шарахнулись в прибрежных зарослях испуганные козы, олени, косули и, оставив водопой, потерялись в тайге. В камышах подняли возню утки, в заводи перекликались любовно лебеди.

Казаки дивились богатству Амура. Пашенные места, нехоженные луга и рощи манили и разжигали казачьи сердца пуще государева горячего вина. Многие казаки, спрыгнув с кораблей, шли берегом, хватали пригоршнями тяжелые черноземные комья, наперебой хвалили: «Гибнет зоря божья благодать!», «Зажирела земляца!» Некоторые, схватив сук, взрыхляли им землю, пробовали на пахоту и, вздохнув, нехотя шли на корабли.

Казак Зазманов вздыхал:

— Господи, земля-то, земли!.. Плачет она, сирота, без хозяина.

Казаки смеялись:

— Не ты ли, Зазманов, хозяин тут? А?

А он не унимался:

— Земля богова, но ласковых рук землепашца ждет: потом ее смочить надобно, силушку приложить, иначе зачахнет, вконец одичает. Рыщут тунгусы по лесам да по трупобам, зверя гоняют, а земля-то, как вдовица забытая, стонет, скучает; хлебец добрый способна родить. Так разумею я, казаки... Что молчите?

А казаки молчали неспроста: у всех на сердце земля-вдовица, забытая, брошенная...

Корабли плыли вниз по Амуру. Сабуров, помня о злключениях и ратных потерях Бояркина, плыл с опаской, неторопливо: боялся внезапного нападения даурцев. После трехдневного хода Сабуров остановил корабли у левого берега. Казачьи доглядчики увидели на берегу остатки жилья, следы людей и конских копыт.

Амур в этом месте разлился широко и разбился на множество протоков.

Меж протоков возвышались острова, густо поросшие курчавой зеленью.

Зелень спадала до самой воды, а ветви плакучих ив купались в Амуре. Беспорывно плескалась рыба; тут же хлопали крыльями крикливые утки, хватая с жадностью жирных рыб.

Казаки высадились на берег, развели костры. Сабуров с нетерпением ждал доглядчиков — удалых казаков, посланных вперед пешим ходом.

Поздно ночью доглядчики вернулись с добычей: они привели амурского эвенка-охотника. Эвенк жаловался на тяжелые обиды и жестокости даурцев. Рассказал, что на том месте, где сейчас горят казачьи костры, стоял кочевой даурский городок, его захватил и сжег казак Черниговский. Второй городок, князя Албазы, тоже разбил Черниговский и на месте городка крепость возвел. Албаза крепость ту многожды осаждал. Казаков поубавил, крепость же взять не мог и теперь сидит в последнем городе своего укрепленного царства.

Услышав такие речи, казаки радовались, Сабурова торопили:

— Плыть надо, атаман, в ту Албазинскую крепость, Черниговским возведенную. Силу русскую на Амуре умножить!

На заре поплыли казаки вниз по Амуру. Плыли весь день. Крепость Черниговского встретила сабуровцев сумрачно. В полуразрушенном, обгоревшем укрепле-

нии нашли сабуровцы двух умирающих казаков. Черниговский с шестью казаками ушел из крепости. «Пойду, — сказал он, — обратно в Якутск, людей многих созову, казаков удалых да храбрых. Стану на Амуре сильной ногой. Крепость построю новую, неприступную, чтоб неповадно было даурцам и маньчжурам ходить войной на русских».

Слова эти запали на сердце Сабурову. Ходил он молча, оглядывал остовы строения. Заложена крепость на высоком ладном месте. Вокруг стоит темной стеной лес, синеют за ним далекие горы, внизу, за желтой балкой, раскинулся широким плесом Амур — река великая.

Поутру Сабуров отправил десять казаков, чтобы разведали, каков городок даурцев и какая в нем ратная сила; вожакom поставил Сабуров Ваньку Бояркина и строго-настроено наказал на глаза даурцам не показываться, доглядывать искусно, тайно хоронясь в тарвах и рытвинах.

К вечеру второго дня Бояркин вернулся, Ярофею рассказал:

— С горы той виден городок, укреплен тот городок накрепко и стенами, и рвами, и колючками.

— Много ли даурцев, каковы обликом, каким боем владеют? — спрашивал Сабуров.

— Людный городок, и люд конный, с лучным боем. В стенах крепости дыры большие и малые, а что в тех дырах, того не видно.

Сабуров остался доглядом Бояркина недоволен, рассмеялся:

— Эх, Ванька, нагоняли на тебя зейские даурцы страхов, перепуган ты, как заяц! И все-то тебе чудится...

Бояркин обиделся, но обиду скрыл, вышел молча.

На другой день Сабуров сам ходил в догляд, вернулся угрюмый, злой.

— Место тут пригожее. Надобно, казаки, спешно крепость ставить. Даурцы, прослышав о нашем малолюдстве, пойдут в разбойный поход, погромят нас начисто!..

Так начали казаки строить Албазинскую крепость, заложенную еще Черниговским.

Перво-наперво поставили дозорный шатер. Шатер немудрящий — столетняя сосна, а по ней зарубки — лазы, по ним и взбирался на вершину дозорный казак, а на вершине — помост с аршин шириной. С того помоста видны дали Амура, горы, луга, долины. Коль приближался враг, казак давал скорый знак — бил колотушкой о подвешенную сухую доску. А чтоб враг вихрем не налетел на становище, огородились казаки заломами, навалили бревен крест-накрест, набили острых кольев.

Крепость строили дружно, трудились безотказно от восхода солнца до темна. Валили толстые лиственницы, волоком тащили их к месту крепости, клали венцы. Искусные плотники рубили башни с потайными лазами, большими и малыми бойницами.

Росла крепость.

Даурскому князю Албазе доглядчики доносили: растет крепость лочей и велика и страшна.

Старый Албаза похвалялся:

— Грозилась муха верблюда съесть, верблюд плюнул, муху убил. Китайский богдыхан — храбрый маньчжур, он лочей побьет.

Близкие помощники Албазы говорили ему:

— Маньчжуры на лочей пойдут боем, но и наших людей разорят, побьют, как побии китайцев. Захватив богдыханов трон, маньчжуры похваляются: «Всех повоем, от нашей рати никому спасения нет!..»

Албаза сердился, помощников своих из юрты гнал.

Как-то поутру копали казаки ямы для угловых башен. Вот тут и не стерпел казак Зазнамов, радивый землероб. Схватил он горсть земли, прижал ее к щеке:

— Казаки, какова земляца!.. — Зазнамов не досказал, осекся, голову опустил.

Увидели казаки, как хлынули слезы у Зазнамова и ту горсть земли напоили. Земля столь почернела, столь обмякла, будто сдобница на меду. Бросили казаки лопаты, землю ту нащупали, терли на ладонях, разглядывали на солнце.

Подошел Ярофей. Зазнамов к нему:

— Дозволь, Ярофеюшка, попытаю земляцу даурскую, каковы соки имеет? Как родит?..

Ярофей говорил:

— Сколь ты, Зазнамов богат? Словно имеешь закрома зерна! Да?

Зазнамов горячился:

— Хошь малу толику дозволь, чтоб я мог землю спытать, какова она есть.

Дали Зазнамову из ратных запасов два мешка ячменя да мешок проса.

Братья Зазнамовы деревянной сохой-копарулей да лопатами взрыхлили добротный клочок земли, бросили первые зерна ячменя и проса в амурскую землю.

К середине лета Албазинская крепость выросла в грозный для даурцев городок. Это было искусно срубленное из толстых лиственниц укрепление в сто сажен длины, в шестьдесят ширины. Крепость казаки огородили двойной высокой стеной из заостренных сверху бревен, с башнями и бойницами. С наружной стороны окопали глубоким рвом, а по-за рвом набили колючек и рогатин. Башни возвышались по углам, внизу под ними вырубил казаки тайные ворота, построили подземные подлазы с хитрыми ловушками-западнями. В середине крепости поставили съезжую избу, а над ней возвышалась шатровая караульная башня, с которой дозорный казак мог далеко видеть приближение неприятеля.

Даурцы, пораженные быстрым рождением на их земле грозного городка, собрав многолюдную рать, много раз пытались осадить и сжечь ненавистную крепость, а непрошенных пришельцев изрубить всех до единого. Но всякий раз осада заканчивалась бегством дауров, которые бросали раненых и убитых, луки и стрелы, лошадей и арбы.

Сабуров также пытал силу городка князя Албазы: дважды ходил на приступ, но возвращался ни с чем, а в последней осаде даурцы пробили стрелой Сабурову руку и убили трех казаков. Оба городка затаили злобу, готовились к смертельным боям.

Сабуровцы построили в городке хлебные, соляные и иные амбары, вырыли кладь, поставили малую походную церковь. Городок подготовился к долгой осаде.

Укрепившись в городке, Сабуров собрал с местных эвенков ясак малый именем московского царя. Встревоженные эвенки опасливо смотрели на светлоглазых, большебородых пришельцев. Подстрекаемые шаманами да даурскими князьцами, готовились к великому кочевью на север. Но ясак малый, взятый Сабуровым при добром слове, его поход на ненавистного Албазу их остановил. Таили они давнишнюю злобу на корыстного и жестокого албазинского князя, его частые набеги, как яростный огонь, опустошали мирные стойбища эвенков.

Тем временем даурский князь Албаза послал с дорогими подарками гонцов к китайскому богдыхану, просил скорой помощи, клялся в верности и обещал сполна платить ему ясак. «Крепость лочей, — говорил он, — поставлена на страшном месте: угрожает и Даурской земле и Китайскому царству. Надобно крепость лочей сжечь, а их вывести с корнем, чтоб и впредь не ходили они ратным боем на великий Амур».

Уходило лето. Осыпались цветы, жесткие травы блекли. Падал звонкий лист осин, оголились березы, ивы, тополя. Пахло в тайге горькой грибной гнилью, стихли птицы. Зелень лесов померкла, терялись рощи в утреннем тяжелом тумане. Из темных логов и ущелий тянуло сырým, знобким холодком.

В крепости Сабурова иссякли запасы, особенно хлеба, соли и огневых припасов.

Страшились казаки: нагрянет зима, какова-то она на Даурской земле, сколь лютая и сколь долгая?

...Тускнело вечернее небо, плыли серые клочковатые тучи. Сабуров вошел во двор крепости, огляделся: небо сурово, ветер осенний остер, стонет, хмурится Амур черной щетиной гребней. Сабуров присел на бревно, видит: бежит Степанида, а вслед ей сыплется глухой бабий ропот:

— Сгибнем зазря в неведомых землях!.. Аль ослеп Ярофей и не видит беды?

Чей-то надрывный голос добавляет:

— Пытай, Степанида, своего Ярофея, пытай, каков корм на зиму припас? Аль на зазнамовских ячменях норовит прожить?..

Степанида скрылась за углом.

Хмурился Сабуров, думал: «Хоть мала у нас ратная сила, а надобно идти боем и даурцев воевать».

Вошел в каморку. На лежанке, уткнувшись в изголовье, плакала Степанида, плечи ее вздрагивали. Поднялась, повисла на шее.

— Ярофеюшко, тяжело, жонки корят..

Сабуров Степаниду обласкал, уговорил.

Всю ночь не спалось Ярофею. В неведомой стране застигла его зима врасплох. Разброд и уныние охватили людей. «Запасов нет, хлебушко на исходе, — твердил Сабуров. — Как зиму скоротать?» Закрыв глаза, отгонял от себя назойливые думы, а они неотвязно терзали сердце. Всплывало золотое поле зазнамовских ячменей. Хорош: густ, высок, зернист. Обильно родит здешняя земля. Много ли пополнит запасы зазнамовский урожай? Считал, прикидывал и выходило: зиму не прокоротать. Вскакивал с лежанки, садился к оконцу. Густая темень плотно придавила и Амур, и горы, и леса. Взглянул на небо: дрожали чистые звезды. И показались Сабурову и небо, и звезды, и земля, что утонула в темноте, близкими и родными. «Неужто бросать эдакую благодать, уходить, спасаться?» — вздрогнул он. Встал, заскрипели половицы. Проснулась Степанида.

— Ярофеюшка, полуношник мой. Спи...

— Не до сна, Степанида...

— Загрызли тебя темные думы. Уймись, Ярофеюшка, склоняй даурцев на мир.

Понял, что и Степанида не спала, терзается и ее сердце.

— Пустое говоришь. Не однажды пытался склонить даурцев к миру. Посланцы мои, тунгусы, приходили ни с чем, а последнего, Путугира, сама знаешь, на кол даурцы посадили. Вот какой мир, Степанида...

Опять заскрипела половица. Сабуров распахнул оконце. Ворвался в каморку предутренний холодок. Где-то далеко простонала птица и смолкла. «Хоть малость уснуть надобно, — подумал Ярофей, — завтра собрать казачий круг, боем идти на Албазу».

...В эти осенние дни тоскливо щемило сердце Степаниды. Уходила она из городка, садилась на пригорок и долго глядела и не могла наглядеться на ячменное поле. Кольхалось оно живой волной; туго налитые колосья клонились к земле. Под их мерный шелест закрывала глаза Степанида, и чудилась ей родная сторона, слышались песни русские, душевные... Таяла, как вешний снег, забывалась беспокойная

походная жизнь; и всюду-то цветы красоты сладостной, плетни огородные, избушки мирные, на зеленой лужайке хоровод... Только нет нигде Ярофеюшки. Вскакивала Степанида, руками с лица словно паутину липкую сбрасывала, брови насупив, бежала с пригорка к крепости. Отыскав Ярофея, не жаловалась, не плакала, будто и сердце не тосковало, шла гордая подле него — достойная жонка атамана.

Зазнамовы готовились к уборке своего не в меру позднего урожая. Все казацьки жонки в тот день поднялись спозаранку: все наскучились по страдной поре. Скорее бы на полюшко! Каждый колосок обласкать, обцеловать готовы.

На утренней заре крепость встревожил дозорный казак. Сабуров выбежал во двор: на востоке вздымался багровый столб дыма. Даурцы подкрались ночью и подожгли колосистые, высокие хлеба Зазнамовых. Так первый урожай русских на амурской земле не пошел впрок. Зазнамовы метались по крепости, грозились, кляли даурцев. Старший Зазнамов хвалился:

— Хошь не отведали казаки урожайного хлеба, а видел всяк, какова плодovitа земляца. За этакую землю, крови не жалеючи, на ратное дело пойдем! Да, казаки?!

Казаки кивали головами, соглашались, но ходили хмурые, злые, жонки надрывно голосили...

В полдень Сабуров собрал албазинцев, взошел на шатровый помост.

— Вольны казаки!..

— Сгинь ты, беглый душегуб!.. — сбил атамана визгливый бабий голос.

Сабуров оглянулся: голосила казачья жонка Силантыха. Сдержал гнев, велел жонок с казачьего круга выгнать. Помолчал, продолжил:

— Негоже живем, казаки... Негоже и сгубнем!.. Надобно городок Албазу захватить, добро и скот отобрать, на земли наши амурские стать крепкой ногой!

— То-то будет зимушка — жирна и сытна! — хлопнул оземь шапкой молодой казачишка.

Его заглушили голоса:

— Не бывать Амуру в руках даурцев!

— Им ли владеть великой земляцей!

— Отберут у них земли маньчжуры, а их побьют, повыведут начисто!

На круг вышел Ванька Бояркин:

— Неладное атаман надумал: и неумное, и неразумное!.. Даурцы укрепились неприступно, конной силой владеют во множестве, к тому же свирепы на бою.

Сабуров скрипнул зубами, набухли на скулах красные желваки:

— Речи твои, Ванька, хуже гнилой деревинки поперек дороги легли!..

Ванька выпятил грудь, шагнул к Ярофею. Казаки зашумели:

— Видано ль, чтоб куренок на орла кинулся?

— Попытаю тебя, Ванька, каков ты есть на бою, — и Сабуров выхватил клинок, кинулся на Ваньку. Тот успел взмахнуть саблей. Казаки запылали:

— Чему быть — тому быть!..

— Не робей, атаман! Бей своих, чужие бояться станут!..

— Не сдавай, Ванька!..

Бояркин против Сабурова на бою оказался слаб. С казачьего круга ушел посрамленный. Злобой кипел, грозился... Казаки вслед галдели:

— Ой ли, Ванька, смотри!..

— Не битый — серебряный, а битый — золотой!..

— Грозилась птаха море сжечь, да сама в нем и утопла!..

Надумал Сабуров идти на городок даурцев всей ратью сполна. В крепости оставил баб, а в подмогу им дал для огневых дел — двух пушкарей и доглядчика на шатровую башню.

Едва занялась заря, пока еще не сошла с реки синяя дымка, казаки в кольчатых бронях, при саблях, при пиках, бердышах, с самопалами встали в ратные ряды.

Для штурма даурского города поволокли казаки с собой две пушки-маломерки и одну долгомерную. Зная о дозорных князя Албазы, рекой не поплыли. Решил Сабуров идти трудным путем, ударить с гор, захватить врага врасплох.

Сабуров обошел крепость с левой стороны. Взшел на гору — обомлел: вместо даурской крепости и городка чернело огромное пепелище, ни одной души нигде не было видно.

Сабуров и его казаки, давнишние бывальцы, ратных дел храбрые люди, омрачились. Лукавство даурцев показалось обидным, досадным; уязвило оно ратников Сабурова пуще стрел и пик. Сабуров не пошел на пепелище, стоял на холме, грыз кончик уса, клял свои неудачи.

На пепелище, возле тлеющего пня, нашли казаки обгоревшую молодую, лицом пригожую даурку с младенцем на руках. Полонянку привели к Сабурову. Через толмачей выведали: даурка — одна из жен князя Албазы. От полонянки узнали и тайну гибели даурской крепости.

За пять дней до ратного похода Сабурова жители даурской крепости взбунтовались. Подошли даурские воины к шатру князя Албазы, подняли над головами ножи, пики и луки.

— Не наш ты, князь!

— От княжения твоего лихо нам, и женам нашим, и детям, и скоту.

— Ты накликал краснобородых лочей!.. От мира с ними отказался! Ты!..

Албаза вышел из шатра, из-под высокой шапки выбивались седые космы и спадали на желтое лицо. Ветер трепал полы расхлестнутого цветного халата. Князь вздергивал плечом, сутулился, клочки бровей сходились у переносья, говорил гордо:

— На тигра можно влезть, но с тигра нельзя слезть!..

Князя перебили голоса воинов:

— Тигр не родится от вшивой овцы!.. Убирайся ты, маньчжурский ублюдок! Убирайся!..

Князь вздрогнул, попятился, чтя обычаи предков, с помоста не сошел, снял с себя пестрый, шитый шелком халат, бросил его в толпу. Вмиг воины халат разодрали в клочья, а лоскутья, подхватив на острие пик, побросали на голову князя. Князь закрыл лицо ладонями и скрылся в шатре. Поруганный и униженный, сорвал он тетиву лука, зацепил ее за шест шатра и удавился. За ним последовали семь верных его жен, преданные слуги и рабы. Скрылась лишь молодая жена князя, красавица Эрдэни, с малолетним сыном. Охваченные страхом, даурцы, захватив малые пожитки, жен, детей и скот, разбежались по лесам и степям. Князем даурцев стал храбрый князь Туренга, он велел опустошенную крепость не оставлять ненавистным лочам, а сжечь и пепел развеять по ветру.

Казаки оглядели пепелище. Поодаль нащупали в земле потаенные ямы, а в них — запасы даурцев. Набрали двадцать коробов зерна, много вяленой рыбы да неведомого корня сладкого, сушеного с дикой вишней, больше восьми коробов. Добыча скудная. Однако поп Гаврила отслужил победный молебен.

Но этим не закончился ратный поход Сабурова на великом Амуре.

Князь даурцев Туренга направил гонцов к эвенкийскому князю Чапчагиру, просил его старые обиды забыть, собирать храбрых эвенкийских воинов и идти сообща на крепость лочей. Туренга обещал Чапчагиру большие почести, а его сородичам безмерные милости. Туренга хвалился, что великий богдыхан, император китайского царства, принял его просьбу и тоже посылает на лочей храброе войско.

И зиму и лето жили албазинцы в ратных заботах и тревогах. Даурцы терпеливо готовились к великому походу против лочей, наносили урон ночными набегами, жгли хлеба албазинцев, угоняли скот, выслеживали казаков, убивали их, хватали в плен, но в многолюдные бои не вступали. Словно буря в светлый день, налетали даурцы то с одной, то с другой стороны и так же мгновенно исчезали, как и появлялись.

...Шли годы. Собирала и множила силы Албазинская крепость. Надвигалась большая война.

БЕРЕСТЯНАЯ ЛЮЛЬКА

На склоне горы по солнцепеку разбросалось стойбище храброго эвенкийского князя Чапчагира. У подножья билась кипучая река Уруча.

Чум князя, покрытый белыми оленьими шкурами, возвышался на холме.

По правую сторону, на расстоянии полета стрелы, стояли чумы близких родичей князя, а по левую — чумы его жен. Самый близкий чум — любимой жены Мартачи.

В чуме князя жарко горел костер. Князь лежал на песцовых шкурах. Остроухая собака, осторожно ступая, доверчиво ткнулась носом к хозяину, но князь ткнул ее ногой; она с визгом забилась под шкуры. Неудачи преследовали князя.

Караван вел мудрейший вожак Чапчагирского рода — старый Лока. Лучше Лока никто не умел искать в тайге удобные пути и богатые кормовища. Однако Лока сбился, завел караван в россыпи, буреломы, топкие болота. Много пало оленей, потонуло людей и добра. От огорчения старый Лока не пришел в свой чум: бросился со скалы в пропасть. Чапчагир вывел караван к речке Уруче. Сидя у костра, думал: «Злые духи отобрали у Лока глаза и нюх оленя — худая примета».

У Мартачи родился сын. Родичи князя, нагибаясь к земле, обегали чум Мартачи. Услышав плач рожденного, морщились. В стойбище никто рожденного не видел. Даже женам князя не велено было подымать полог чума Мартачи. Оглядела рожденного лишь старая шаманка. Она принимала роды. По-лисьи хоронясь, шаманка ходила по стойбищу, нашептывала:

— Рожденный худых кровей... Глаза поперечные, цвета зеленой лягушки, а волосы желтые — болотной травы... Горе от него эвенкам...

Чапчагиру старики родичи говорили:

— Не было у эвенков так!.. Бойся, князь, белых кровей!..

На восходе десятого дня Чапчагир выбрал двух лучших оленей и поехал в Волчью долину, к большому шаману.

Черный чум шамана нашел среди сухих лиственниц, подле каменистой россыпи. Вошел в чум, сорвал с пояса хвост волка и бросил наотмашь в потухающий костер. Хвост не вспыхнул пламенем и не осветил чум, а потянулась из костра вонючая дымка. «К худу», — подумал князь. Шаман спал, охраняемый священной собакой. Собака оскалила зубы, готовясь броситься на Чапчагира. Он вышел из чума. Поодаль развел костер и ждал пробуждения шамана.

Солнце низко поплыло над лесом, шаман позвал Чапчагира в свой чум. Князь сел подле маленького беловолосого старика с горящими змеиными глазками. Шаман, не поднимая головы, разжал тонкие, словно берестяные, губы и нараспев сказал:

— От лисицы родится лисенок, от волчицы — волчонок... А кто может родиться от лисицы с волчьей пастью?..

Князь вздрогнул. Шаман вскинул голову и, прокалывая глазами князя, торопливо забормотал:

— Если к стаду прибьется бешеная олениха с олененком, хозяин убьет олениху и олененка... Он спасет все стадо!.. В кочевье твоём худое... Родился волчонок белых кровей... Возьми, князь, черный лук!..

Чапчагир попятился, неловко задел ногой за сучья костра, костер развалился. Шаман встал, снял с шеста лук и сунул его в руки Чапчагира.

— Возьми черный лук. Тетива его туга, стрела остра, на острие ее — яд змеи...

Чапчагир выбежал из чума. Гнал оленя безудержно. Бежал олень, обгоняя ветер. Темно в глазах Чапчагира: брызнула слеза, упала на узорчатый нагрудник. Чапчагир взглянул на черный лук. Олень бежал, хрипя и задыхаясь, а Чапчагир его гнал, торопил, орал гневно: «Хой! Хой!..»

Добежав до кочевья, олень пал. Чапчагир оленя бросил, кинулся в чум Мартачи. Мартачи качала в берестяной люльке сына, пела протяжно, тонкоголоса, жалобно. Чапчагир не понимал слов, однако слушал. Взглянув на сына, широко улыбнулся. Черный лук бросил в сторону, сел возле Мартачи. Взял люльку на колени, — сын проснулся, заплакал. Чапчагир глядел в глаза сыну, шептал: «Зеленые... круглые... большие...» Повернул голову к Мартачи, сказал гордо:

— Назову сына Шиктауль — быстроногий, проворный.

Помолчав, Чапчагир добавил:

— Пусть сын будет быстрее лося!..

Возле чума послышались шаги. Чапчагир вышел. Мартачи услышала:

— Гонцы приехали к князю от даурского владителя...

Чапчагир ушел в свой чум. Мартачи узнала тайну приезда скорых гонцов: Поведет Чапчагир большую эвенкийскую рать рекой Уручей на крепость Албазин, нападет на нее ночью, сожжет, всех русских побьет, будет самым храбрым из храбрейших князей.

Мартачи плакала, смерти русских боялась. Думала: Чапчагир войны с русскими не хотел, надо его упросить, чтоб в поход не ходил, от даурского владителя отошел. Чапчагир не приходил. Вокруг чумов слышалось цоканье рогов оленей, говор многолюдной рати, торопливые сборы.

Утром, до солнца, Мартачи, тайно взяв черный лук и берестяную люльку сына, бежала из чума к бурливой речке Уручи. Плакала, молилась... Оглядевшись вокруг, положила в люльку лук, насторожила стрелу, к ней прикрепила шнурком свою нательную иконку и пустила вниз по течению реки Уручи. Уруча впадала в Амур неподалеку от Албазина.

Рать Чапчагира двинулась в поход берегами реки Уручи. Албазинская крепость тонула в плотном тумане. Дозорный казак дрожал на шагровой башне, клял непроглядную ночь. Сдвинув шапку с уха, вслушивался. А вокруг тишина, мертвенная глушь. Изредка хлестнет волна о берег, всплеснется полусонная рыба. Вновь глушь, тишь...

Крепость оживала рано. Васька-коновод погнал лошадей на водопой: на берегу реки Уручи нашел диковинную вещицу; принес он Сабурову весть о находке. На тихом плесе, где впадает Уруча в Амур, прибило к камышам затейливый кораблик — берестяную люльку с иконкой православной веры и луком.

Берестяную люльку бросили на берег, остальное взяли. Сабуров путался в догадках. Степанида, оглядев иконку, заплакала:

— Ярофеюшка, то иконка Марфы Яшкиной!..

Не поверил Ярофей, крикнул попа Гаврилу. Оглядев иконку, поп Гаврила сказал с досадой:

— Мною сие дано было Марфе Яшкиной, беспутной бабе!..

— К чему же примета? — любопытствовал Ярофей.

Поп Гаврила ответил степенно:

— Иконка посрамлена иноверцами и подослана, чтоб веру нашу христианскую под корень рушить.

Ярофей разглядел стрелу и лук. Догадки и помыслы его были иные.

— Знак праведный... Не иначе походом идут тунгусы рекой Уручей.

И собрал Ярофей казацкую рать в скорый поход. Окружным путем обошел Уручу-реку, ударил по Чапчагировой рати с обходной стороны. Не ожидал этого эвенкийский князь.

Рать Чапчагира отбивалась храбро.

Ярофей с кучкой смельчаков выбился на холм. С холма увидел отважного эвенкийского воина. Присев на колено, он ловко метал стрелы. Ярофей бросился к воину, но тот укрылся за каменистый уступ и пустил стрелу. Она скользнула у самого плеча Ярофея. Ярофей заметил, что на воине дорогая одежда, косичка раздувается по ветру из-под высокой собольей шапки. Три казака напали на воина, норовили порубить его саблями. Ярофей кричал: «Разите, казаки! Справа!.. Сбоку!..» Но ловкий воин, подобно горному козлу, ловко прыгал через валежины, камни, укрывался за деревьями и быстро бежал к горе.

Ярофей выбежал на пригорок, к эвенкийскому воину сбегались эвенки, слышны были их крики:

— Чапчагир! Чапчагир!

Ярофей вздрогнул, зверем ринулся вперед, увлек за собой казаков. Желтые травы никли, ветки хлестали, рвали лицо, сучки цеплялись за одежду. Ярофей жадно дышал, бежал без устали.

Эвенки боя не приняли, казаки неотступно гнались за ними. Чапчагир уходил последним. Ярофей с несколькими казаками оттеснил Чапчагира к долине, у рыжего болота догнал. Чапчагир и его воины отбивались, сразили двух казаков. Ярофей и казаки упали в траву, вскинули самопалы. Чапчагир мелькнул серой тенью, скрылся, вновь мелькнула его меховая парка. Ярофей и казаки враз выстрелили. Черный дым взлетел и растаял, клочья его дрожали на вершинах деревьев.

Ярофей с горящим, гордым лицом вскочил и побежал, чтоб взглянуть на сраженного врага. На обгорелом сучке висела продырявленная выстрелом меховая парка. Ни Ярофей, ни казаки не разглядели ловкой хитрости Чапчагира, сумевшего сорвать с себя парку, бросить ее под выстрелы и безопасно скрыться.

Ярофей стоял мрачный. Казак подхватил парку на пику, взмахнул и бросил ее в ржавые воды болота.

Чапчагирова рать в том бою пала наполовину; остальные, бросив оленей, луки, пики, многие пожитки, разбежались по лесам, оставив Чапчагира и его жен.

Чапчагир бежал в даурские земли, хоронясь от казаков в лесных убежищах. Перешел вброд кипучую речку Уручу, круто повернул на восток. А преданные ему воины из родичей наделали по тайге ложные следы и метки, тем сумели сманить казаков в иную сторону и отвести от князя погоню.

У Гусинога озера Чапчагир раскинул стойбище. Посчитал, сколько пало в бою его людей. Опечалился, из чума не выходил...

Он взял свой лук, долго смотрел на него: колчан пуст, жесткая тетива, скрученная из жил старого лося, ослабла. Князь лук бросил, подумал: «Тетива ослабла — рухнула и сила эвенков».

К ночи в стойбище прибежал княжеский доглядчик Лампай. Он вошел в чум князя и поставил к его ногам берестяную люльку:

— Возле крепости русских найдена...

Чапчагир в гневе махнул рукой, Лампай поспешно вышел из чума. Чапчагир схватил люльку и долго разглядывал ее у костра. Понял он, что бесславная гибель его воинов и разгром — от измены. Чапчагир бросил люльку в пламя костра, хлопнул пологом и поспешно зашагал к чуму Мартачи.

В чуме Мартачи тихо, полумрак. Сторожевая собака дремлет, уткнув морду в шкуры. Маленький Шиктауль, прильнув к груди, спит на коленях Мартачи. Собака заслышала шаги, вскочила. Мартачи оглянулась. Собака бросилась к выходу, узнав хозяина, завиляла хвостом и забила на прежнее место. Вошел Чапчагир, ногой поправил сучья в очаге, огонь замигал светлыми всплесками, осветил чум. Чапчагир спросил:

— Отчего сын мой Шиктауль не спит в берестяной люльке?

Мартачи крепко сжала Шиктауля, вздрагивая, склонилась к нему. Чапчагир выхватил из-за пояса нож. И тогда Мартачи подняла голову, вскинула ресницы и синими горящими глазами уставилась в разъяренные глаза Чапчагира.

Чапчагир попятился. Мартачи распустила кожаные завязки на груди и гордо крикнула:

— Ну, князь, бей!.. Бей в сердце!..

Темный сосок выскочил изо рта Шиктауля, он зачмокал губами, заплакал. Лицо Чапчагира потемнело, узкие брови поднялись, по привычке он теребил ус. Возле чума слышался топот, цоканье оленьих рогов, свист и крики:

— Хой! Хой!

— Халь! Халь!

Люди стойбища Чапчагира торопливо снимали чумы, собирали оленей и собак. Чапчагир выпрямился; казалось, и костер, и Мартачи с сыном, и даже чум уплывали, терялись в дымном тумане. Чапчагир схватил нож за конец лезвия и с размаху бросил через костер. Нож вонзился в грудь Мартачи. По белой песцовой парке темным шнуром поползла струйка, она плыла по оленьим шкурам к ногам князя.

Князь вскинул полог чума, вышел. Густое молочное небо свалилось с высоты на землю, придавило высокие горы, придушило тайгу. Князь огляделся, сорвал с пояса череп рыси, бросил на землю, прижал ногами, шептал: «Худое растоптал! Худое растоптал!»

Поднял голову: по долине узкой тропой шагали олени. Вожак вел караван на восток. Князь опустил с пригорка и, не оглядываясь, кинулся догонять уходящий караван.

...На месте стойбища князя стоял одинокий чум. Угасающий костер вспыхивал последними блестками, тусклые языки пламени пробегали по мертвому лицу Мартачи. Она лежала на шкурах, судорожно прижав к груди Шиктауля. Под открытый полог в чум врывался ветер и трепал светлые пряди волос Мартачи.

А вокруг синела бескрайняя тайга, тонули в белесом тумане золотые горы...

Вновь неуговорное Ярофеево желание — пленить эвенкийского князя Чапчагира и отвоевать полонянку Марфу Яшкину — окончилось неудачей. Но поход на Чапчагирову рать упрочил за казаками славу храбрых воинов, в бою несокрушимых. Слава та и страх перед казаками прокатились по всему великому Амуру и еще больше укрепили силу Албазинской крепости. И казалось, будет стоять крепость как неприступная скала.

Вернулись казаки в крепость довольные, веселые. Победа над Чапчагиром опьянила, вскружила головы многим. Казаки хвалились:

— Нет супротив нас силы!.. Сокрушили врага начисто!

— Очистили леса амурские! Вот заживем-то — и богато и привольно!

Только не радовался Сабуров.

— Не хвалитесь, казаки, горькое-то еще впереди...

— Ты — атаман, о горьком тебе и думать, — отвечали казаки.

Сабуров сурово сводил брови, хмуро отмалчивался. Разгром Чапчагира не принес большой добычи, а в крепости запасов не хватит и на ползимы. Рать Чапчагира — сила малая, пойдут даурцы на крепость скопом. Не устоять!.. Без подмоги людьми, хлебом и огневými припасами его заветное дело было обречено на гибель: земли на Амуре, богатые и привольные, на времена вечные оставались у иноземцев. «Новые земли умножили б славу Руси, — думал он. — Не зря же царь на восточном рубеже построил Нерчинскую крепость, поставил там воеводу с ратными людьми». С горечью вздыхал Сабуров о том, что вольницу его казацкую, воровскую, беглую, не помилует царь, коль не даст она в казну достойных прибытков и тем не снимет с себя Ярофееву опалу и угрозы за прежние разбои и самовольство.

Степанида знала: надвигается черная беда, мучилась в догадках, сохла в кручине, сторонясь казацких жонок.

— Что же, Ярофеюшка, будет? Аль не судьба?..

Отвечал Ярофей нехотя:

— Не знаю, чему быть...

Степанида ластилась, шептала:

— Недоброе, Ярофеюшка, ожидаю. Ой, недоброе... Ванька Бояркин, а за ним и Пашка Минин на откол норовят... Тебя поносят всяко, подбивая и казаков на откол.

Ярофей отмалчивался.

— Бабым разумом прикидываю так: негоже, Ярофеюшка, в беглых проживать... Повиниться надо бы...

Ярофей поднял голову, и Степанида умолкла. Помолчав, сказала тихо:

— Аль малоумное молвила?

— Отчего казацкишки шалют, не пытала?

— Пытала, Ярофеюшка... Особливо бабы голосят: нескладно, мол, в беглых проживать, зазорно и тягостно... Зверь и тот свою нору обихаживает, оберегает. Которые детными матерями поделались, тем маята ратная — в лютую горесть; молят они казаков, чтобы побросали кольчуги и самопалы и сели бы крепко на землю.

Ярофей рассмеялся:

— Где же они землю-то сыскали? Сидим на даурской земле, как черт на краю горячего горшка!.. Землю-то повоевать надобно! Захвачена она даурцами. Тунгусы по лесам бегают как очумелые, от ворогов даурцев в дебрях прячутся... То как! Смекаешь?..

Степанида отошла к оконцу. На крепостной стене сидела ворона и жадно расклевывала обглоданную кость. «Дурная примета», — подумала Степанида, откинула оконце, захлопала в ладоши. Подошел Ярофей. Ворона озиралась и вновь долбила кость, лязгая толстым клювом. Ярофей быстро снял со спицы самопал, просунул ствол в оконце. Вспыхнул выстрел. Эхо прокатилось глухо, отрывисто. Ворона, распластав крылья, кувыркнулась вниз и, цепляясь за выступы стены, шлепнулась на землю.

На выстрел сбежались казаки.

Ярофей выглянул в оконце:

— Слово молвить надумал, казаки, оттого сполошил вас...

— Разумное слово — слаще меду...

— Молви!

— Вот сойду к вам. — Ярофей вышел, поднялся на башенную приступку.

Казаки сбились плотно.

Ярофей говорил:

— Крепость наша, Албазин именуемая, на даурской земле стоит. Даурцам это и срамно и обидно. Не иначе войной пойдут... Не устоять нам супротив многолюдной рати... Бросить крепость негоже и ущербно.

— Коли ногой ступили — земля наша! — хвалились казаки.

— Пусть Русь на ней стоит!..

— Русь!

— Надобно государю в воровских делах повиниться, бить низко челом и подарками, землицей повоенной, соболями, лисицами и иными добычами.

Ярофей замолчал, казаки зашумели:

— Царь и без наших добыч богат!

— До царя, Ярофей, далече!..

Вышел на круг Соболиный Дядька. Горячился, говорил скороговоркой:

— Смеаю: умное молвил Ярофей! Попытаю вас, казаки! Чьего мы подданства? А?.. На какой вере стоим? А?.. Ну, молвите, казаки!..

Молчали недолго. Речи Соболиного Дядьки пришлось к делу, распалил он казачьи сердца.

— Московскому царю повинны!

— Подданные белого царя!..

— Крест на груди носим!.. Вот!..

И решили нерчинскому воеводе отписать грамоту, послать дары, просить милости царской, подмоги ратной и огневой, чтоб отстоять повоенные земли и укрепить крепко Русь на дальнем Амуре.

В Нерчинский острог Сабуров отрядил тринадцать казаков, над ними поставил Пашку Минина. Подарки царю — соболи отборные, лисицы огневые да многие иные добычи — уложили на десяти возках. Отправили в Нерчинский острог и пленную даурку Эрдэни с младенцем, чтоб показать, каковы иноземцы обличьем, похвалиться своими ратными удачами.

Возки вытянулись гуськом. Жонки тех казаков, которые поехали в Нерчинск, шли за возками, провожали.

В тот вечер немногие легли дотемна спать. Сидели албазинцы у камельков и в сотый раз спрашивали друг друга: «Какова-то удача будет? Привезет ли Минин милованную грамоту? Снимет ли царь опалу и гнев свой тяжелый?»

Посудачили горячо и разошлись по своим избам. Притихла крепость, лишь дозорный казак оглядывал темные дали, ожидая рассвета.

ГАНТИМУР

Нерчинский острог находился в большой тревоге. Охочие люди и лазутчики, что по нехоженной тайге и монгольским степям доходили до иноземных рубежей, приносили страшные вести.

Воевода Нерчинского острога Даршинский писал московскому царю: «...мунгалы и тунгусы, зная наше малолюдство и слабость ратную, пленят и калечат русских людей во множестве. Землицу, на коей воздвигнут твоим, пресветлый государь, именем Нерчинский городок, оговаривают своей и сулят идти войной. Кричат громогласно: за нами, мол, стоит несметная рать земли китайской, а китайский-то император, богдыхан, над всеми государствами властен. Тот богдыхан титло на грамоте ставит нагло и твердо: «Говорю сверху на низ, ответствуйте мне снизу вверх». Молю тебя, пресветлый государь, слезно, пошли ружейных дел умельца. — само-

палы ржавые, пушки-маломерки чтоб наладить, — добавь ратных людей, запасов свинцовых и пороховых».

Ратные люди Нерчинского острога днем и ночью крепили бревенчатый часток-кол, рвы углубив, пускали в них воду из Нерчи-реки, по-за рвом клали коряжины, били «чеснок» — острые колючки из железа, вели строгие дозоры.

Опечаленный воевода сидел у окна, ожидая лазутчиков. Ускакали они в монгольские степи до зари третьего дня, и ни один еще не вернулся.

К вечеру прискакал первый лазутчик — Васька Телешин, высокий тонконогий казак в серой козлиной шапке набекрень.

Он покинул коня средь воеводского двора, взбежал на рубленое крыльцо и зычным голосом всполошил воеводу: «Тунгуса изловил, батюшка-воевода! У реки Аргуни мыкался, без драки отдался».

Тем временем казаки волокли на воеводский двор пленного эвенка. Эвенк на малопонятном языке требовал толмача, через него сказал воеводе:

— От князя Гантимура с вестью... Князь со всеми юртами, женами, детьми, скотом и животом бежит из китайской земли, просит русских взять его под свою руку.

Эвенк вытащил из-за пазухи первейшего соболя и, упав на колени, положил подарок к ногам воеводы.

Воевода недоумевал.

Вероломство и лукавство врагов беспредельны, боялся воевода подвоха, на эвенка смотрел с опаской.

Обласкав, спросил лукаво:

— Какой нуждой гоним тот князь Гантимур?

Эвенк уклончиво отвечал:

— Голова моя мала, великих княжеских дел не объяснит. Князь сам расскажет русскому князю обо всем.

Воевода попытался выведать у пришельца хоть что-либо о китайской силе:

— Как мог Гантимур убежать от китайского царя? Разве он не сыскал в Китае гонцов скорых догнать князя?

Посланец стал словоохотливее.

— Богдыхановы мечи никого не милуют. Плачет китайская земля...

— С кем та война учинилась? — удивился воевода.

Посланец путался, многого и сам толком не знал.

Воевода хоть и слабо верил, что внутренняя борьба охватила неведомый Китай, однако был рад: «коль не врет тунгусишка, то ладно и нам ко времени». Воевода послал навстречу князю Гантимуру малую рать, приказал настрого не допускать людей Гантимура до Нерчинска, а привести лишь самого князя.

Гантимура привели не как пленника, а как доброго витязя. Перед воеводой предстал муж рослый, телом крепкий, в дорогой парке, подбитой лисицей, в мягких лосиновых сапогах с прошвой, в высокой китайской шапке, опушенной черным соболем и повитой бисером-самоцветом. Поверх парки поясok китайского изделия с серебряными бляшками на кожаной бахромке; по пояску искусно нанизаны зубы рыси, волка, кабана, на плечах — хвосты белок. Гантимур широколиц и смугл, глазом прям и смел, голосом тверд. Перед воеводой положил он повинные подарки: бархатистые шкурки соболей, лисиц, золотую чашку китайской резьбы, серебро в слитках.

Воеводе рассказал князь тайну своего поспешного бегства. Бранил резким словом маньчжуров, жаловался на тяжкие обиды, чинимые ему и его родичам людьми богдыхана.

— Желаю кочевать, — говорил Гантимур, — в мире, под твердой рукой русского царя, платить соболиный ясак сполна.

— Отчего же те обиды и лихости? — спросил воевода, зорко оглядев князя.

Князь поднял голову, на воеводский взгляд ответил:

— Грызутся богдыхановы люди меж собой, псам подобно, делят юрты и скот эвенков. В кровопролитии междуусобном пылают города и села. Бегут эвенки...

— Отчего ж те междуусобицы? — хитро прищурился воевода.

— Богдыхан маньчжурских кровей... стонут китайцы, горько им это владычество Цинов. Норовят сбросит Цинов, как вол ярмо, оттого повсюду кровь и огонь.

Воевода не понял незнакомое для него слово, решил, что Цин — имя богдыхана, и спросил:

— Какой Цин обличьем, — какую ратную силу имеет?

Гантимур чуть приметно усмехнулся:

— Царствование Цинов — черный дым разбойных маньчжуров, захвативших Китай. Ныне царствует на троне молодой маньчжурский богдыхан Кан-си. Ратью похваляется: она-де может весь мир покорить.

Воевода ущипнул бороду, рассердился:

— Иные хвалились, хвалились да с горы свалились... Долго ли ты, князь, кочевал по китайской земле?

Гантимур отвечал:

— Кочевал с родичами многие лета, прежде китайскому богдыхану служил, был я по его правую руку четвертым князем. Получал от китайской казны в год жалованья по тысяче двести лан серебра и по три коробки золота. Имел рать многую и храбрую. С братом богдыхана был послан под Нерчинский острог, чтоб русских повоевать, острог снести... Видя житье доброе, пастбища богатые, пожелал я российскому царю служить и боя с ними не принял. Богдыхан погони посылал многие, но, приняв с родичами раны и увечья, мы от тех погонщиков отбились и перебежали во владения русских.

Воевода по-хозяйски допытывался:

— Много ли богатство имеешь, чем перед русским царем хвастать будешь?

— Имею, — отвечал гордо Гантимур, — племя премногое, больше семисот душ, и все в куяках, панцирях, при луках и мечях. Юрт кочует со мной больше сотни...

Воевода силился скрыть тревогу: такой ратной силы в городке не имел. Племя Гантимура могло побить воеводских людей, начисто снести острог.

Воевода степенно сказал:

— Племя твое под руку царя русского беру. Места для кочевков отвожу травяные, пастбища привольные. Кочуй, князь, возле реки Урульги. Ясак кладу по три соболя на душу.

Гантимур не скрыл довольства. Видано ли: вместо непомерных сборов ясак в три соболя! Раскосые глаза его заиграли рысиной искрой, угловые скулы пылали.

Воевода насупил брови, добавил сурово:

— Коль вздумает князь баловать и совершит измену, то на кару лютую пусть не жалобится... что ответит князь?

Гантимур склонился:

— Войны не ищу, от войны бегу, ясашный оклад принимаю. Жду твою грамоту, чтоб родичам показать, упрочить мир и дружбу с русскими.

Воевода удалился в приказную клеть. К вечеру Гантимуру вручили приписную грамоту. И на подарки воевода ответил отдарками, дал князю коня белого с седлом, кумачу и сукна желтого три штуки и русское знамя.

Гантимур ускакал в степь, довольный и гордый приемом русского воеводы.

А воевода тем временем вызвал сотника казацких старшин и велел лазутчиков бойких да смышленных разослать на Урульгу, чтоб за Гантимуром и его людьми строго доглядывали, не совершил бы князь измену и разбой. Казакам степным и шатунам вольным велел воевода наказать толково, чтоб они с Гантимуровыми людьми жили в ласке, обид бы не делали: от зла и убийства может случиться ущерб большой и казне царской и острожку.

До середины лета степь жила в мире.

В один из воскресных дней стоял воевода у обедни. Склонившись к уху воеводы, письменный голова отозвал его из храма: вести принесли дальние лазутчики, вести страшенные...

Лениво шагая, воевода спрашивал на ходу письменного голову:

— О чем сказ? Аль нельзя помешкать до исхода обедни?

— Лихо!.. — прошипел скупой на речи письменный голова и умолк.

— Измена?! — допытывался воевода, и ему чудился Гантимур.

— Лазутчик Тимофей Трубин, — говорил письменный голова, — с далекой Шилки прибыл. С тамошними тунгусами он в ладах. Ведали они ему на ухо с большой тихостью тайну: беглые казачишки, воровской разбойный люд с севера прибились в царство даурцев. Ведет тех воров Ярошка Сабуров, пропойца Пашка Минин да плут Ванька Бояркин. Озлобили те воры иноземцев. Даурцы тех беглых воров побили едва не без остатку и рать многую, воедино с маньчжурами, в панцирях, с пушками долгомерными двигают на твой острог...

Воевода, распахнув шубу, поспешно шагнул, гневно свел брови:

— Срамной князь Гантимур ложь пустил о междуусобицах китайцев.

— То отвод и подвох, не иначе... — ответил письменный голова.

— Не иначе, подвох... — согласился воевода и спешно пошагал в приказную избу, повернулся, спросил: — А тот Ярошка Сабуров в атаманах у воровских людишек?

— В атаманах, батюшка воевода. О нем сказывали: нравом мужик крутой, храбр, умом не глуп. Объят страстью: новые, нехоженные земли отыскивать. Смолоду в походах, и не столь к грабежному делу склонен, сколь из-за любопытства непомерного и жажды ратных подвигов, домогается новые земли повоевать, пути открыть в теплые страны. Лазутчик поведал тайну тайн...

— Говори, — насторожился воевода.

— Слышал он своим ухом от надежного доглядчика, что хранит атаман на груди, под железной кольчугой, тайный чертеж неведомых земель и царств, кои к земле русской прикосновенны и войной угрожают.

— Пустое! — перебил его воевода. — Тайные чертежи государств — цареве дело, а не беглых грабежников.

Письменный голова не унимался:

— Атаман, сказывают, не таков, людишки его — доподлинные грабежники.

Воевода топнул ногой.

— Глупые твои речи! Кого обеляешь? У грабежников и атаман грабежник и вор!..

— Лазутчики сказывали...

— Лазутчики! — плюнул воевода. — Надо свою догадку иметь...

В ночь воевода послал скорых гонцов, а за ними сотню казаков, велел сыскать Гантимура, схватить и доставить в острог. Решил воевода засадить Гантимура в черную избу, забить в колодки и держать в аманатах-заложниках.

Воеводские казаки под началом Васьки Телешкина носились по степи, но на следы кочевья Гантимура не попадали. За рекой Урульгой гонцы заметили серый столб дыма. Взгорячили коней и без опаски ринулись в погоню. Караван двигался навстречу. Казаки оторопели. Ехал посланец китайского богдыхана Шарандай со своей свитой. Шарандай, завидев казаков, недоумевал: в монгольских степях не ожидал он встречи с русскими. Монголы обнадежили его, говоря, что степь от русских чиста, повоевали их монголы еще в начале лета.

Шарандай хотел бежать, но, боясь погони и разбоя, остановился.

Русские и китайцы съехались у высокого кургана. Васька Телешин и Шарандай одновременно сошли с коней и пешком направились навстречу друг другу. Не дойдя двух шагов, остановились и, рассматривая с большим любопытством друг друга, молчали. Васька принял китайского посла за монгола и спросил:

— Кто будешь?

Не понимая русской речи, Шарандай позвал из свиты толмача. Подошел высокий бородатый мужик в китайском халате, мягких войлочных туфлях. Васька признал в толмаче беглого казачишку Степку Мыльника. Вместе с отцом бежал он в китайскую землю лет пять тому назад. По слухам, Степка женился на китайке, открыл в Китайщине мыльное заведение. Варить мыло он и его отец были призванные мастера.

Васька поднял бровь, взглянул на беглеца сурово:

— Кого ведешь на Русь, китайский выкормок?

Степка Мыльник не обиделся, нахально отвечал:

— Не лай, не страшусь... Веду китайского посланца, везет он важную грамоту от самого богдыхана нерчинскому воеводе.

Васька перебил не к месту ретивого толмача:

— Молви своему посланцу, что дальше этого кургана его нога не ступит.

Васька отобрал двух бойких казаков и велел им скакать в острог с вестью к воеводе. Шарандай ласково, вежливо передал через толмача:

— Посол богдыхана стоит на монгольской земле, и русские не могут задерживать важного гонца.

Васька ответил гордо:

— Посол стоит на русской земле!..

Шарандай удивился наглости казака, но повиновался, приказал поставить палатку и стал ждать воеводского ответа.

Приехал воевода, поставил палатку за курганом, поодаль от Шарандая.

Переговоры начались не вдруг. Воевода послал за Шарандаем, но, к великому удивлению русских, Шарандай не пришел. Он послал толмача, который передал: «По обычаю великого богдыхана, посланец не может столь унижаться, чтоб идти первым в палатку русских».

Воевода в гневе отослал толмача.

— Коль китайский посол столь горд и упрям, пусть сидит хоть все лето, а тому не быть, чтоб русского царя человек шел на поклон!..

В спорах прошел день.

На рассвете следующего дня сговорились поставить на середине пути палатку и войти в нее в одно время с двух сторон. Шарандай прислал в палатку подарки и справился о здоровье русского царя. Воевода послал отдарки и тоже справился о здоровье китайского богдыхана. После этого воевода и Шарандай одновременно вошли в палатку и поклонились друг другу низко. Шарандай в синем шелковом халате, в черной бархатной шапочке, в мягких туфлях. Высокий, стройный, подтянутый, с чисто выбритым лицом. Заговорил он голосом тонким, громко и торопливо:

— Почему русские не пускают посланца великого богдыхана в свой дом? Почему принимают в палатке? Плохо от этого будет! Беда!..

Шарандай жаловался, что великий богдыхан разгневется и жестоко его накажет: он заставит укоротить рост Шарандая на одну голову.

Воевода слукавил:

— Богдыханову посланцу пришлось бы далеко объезжать великие укрепления русских, что сделаны для отбоя черных степных разбойников.

Шарандай согласился, устало сел на ковер. Долго молчали, искали слов. Заговорил гость, лъстя и заискивая:

— Солнце светит на небе, великий богдыхан — на земле. Горе источит русских, если они не выдадут богдыхану беглеца Гантимура.

Воевода таких слов не ожидал, отвечал смущенно:

— Гантимур волен избрать себе государеву руку.

Шарандай обиженно моргал и, заикаясь, говорил:

— Назад тому два дня, отыскав Гантимурову юрту, Шарандай клал перед ним большие подарки. Гантимур подарки не взял, а кричал и грозился, даже о великом богдыхане обидное слово молвил. Шарандай, в страхе зажав уши, бежал... Что скажет теперь Шарандай богдыхану?

Шарандай глубоко вздохнул, умильное лицо прикрыл ладонью, опустил голову.

За палаткой послышался конский топот, ржанье взъяренных лошадей и лязг оружия. В палатку просунул голову казак.

— Гантимур со многими людьми в панцирях, при луках и стрелах!..

У воеводы дрогнули губы, он неловко поднялся, но в это время полог палатки распахнулся и вошел Гантимур со своими сыновьями и родичами. Пришельцы молча оглядели палатку и неторопливо расселись, поджав под себя ноги.

Шарандай смущенно щурил раскосые глаза, на впалых щеках всплыли желтые пятна. Богдыханов посол крутил жидкий ус. Молчали недолго. Шарандай поставил ларчик с грамотой богдыхана себе на колени и с учтивой лестью и тонким лукавством заговорил, обращая взоры на Гантимура:

— Когда жирный верблюд отобьется от стада, хозяин пошлет множество загонщиков и, поймав того верблюда, повелит содрать с него шкуру...

Гантимур ответил с насмешкой:

— Не бывало так, чтоб степного верблюда догнали бы длиннохвостые богдыхановы мыши.

Шарандай злобно метнул взгляд в сторону Гантимура. Тунгусский князь в наглости своей превзошел даже черных разбойников. Однако, оглядев сумрачных родичей Гантимура, Шарандай сдержал гнев.

— Коль вздумает верблюд выпить воду из реки, то лопнет. Устрашитесь Гантимур порочить худым словом имя великого богдыхана...

Гантимур и его родичи ответили обидной бранью, угрожали ножами и луками. Тогда воевода дал знак, чтоб прекратили Гантимур и его люди брань и шум. Шарандай встал и, потрясая ларчиком с богдыхановой грамотой, кричал:

— Звезд на небе не перечсть — таково богатство великого богдыхана; до луны не допрыгнешь — так велик пресветлый богдыхан!

Гантимур и его родичи кричали наперебой:

— Многие лета кочевали под богдыхановой рукой, больше тому не быть! Злобны и лукавы богдыхановы люди, грабежники и побойцы! И ты, Шарандай, не китаец, а маньчжурский выкормок. Уходи!

Шарандай умолк. Помнил он, как богдыхан, удрученный изменой и бегством

Гантимура, страшился, что все эвенкийские племена, сняв юрты, откочуют с китайской земли, уйдут за могущественным князем Гантимуром. В упреках Гантимура понял он намек и на самого себя, причинившего немало обид эвенкам. Он страшился мести Гантимура и суровой расправы. Встав на колени, Шарандай поставил ларчик себе на голову. Воевода взял ларчик с богдыхановой грамотой и уверил Шарандаю, что с надежными гонцами спешно доставит грамоту московскому царю.

Шарандай уехал обиженный, злой.

Гантимур увез в свою юрту гостить воеводу и его людей. Воевода дивился богатству Гантимура. Юрта его из белого верблюжьего войлока была покрыта шелковым пологом, отороченным узорчатой каймой, внутри устлана дорогими коврами, шкурами барсов и соболей.

Воевода говорил казакам:

— Таких ковров узорчатых не видывал, хоть и прожил на свете долго.

Вокруг юрты Гантимура стояли двадцать юрт его жен, за ними — юрты сыновей и братьев, поодаль раскинулись юрты дальних родичей и пастухов. Бесчисленные стада лошадей, коров, овец и верблюдов Гантимура растянулись по бесконечным степным просторам.

В юрте Гантимура воеводе с большим трудом и старанием перевели богдыханову грамоту с маньчжурского языка на эвенкийский, а потом на русский. Богдыхан настоятельно требовал безоговорочной выдачи Гантимура, тут же указывал московскому царю на разбой и набеги казаков на Амур. Называя Ярофея Сабурова «бешеный Яло-фэй», требовал очистить Амур от русских. В конце грамоты богдыхан угрожал войной, хвастливо описав силу своих воинов и неисчислимые богатства своей страны.

Воевода, погостив, собрался уезжать в острог. Гостеприимный хозяин устроил воеводе славные проводы.

К юртам подъехало много всадников. Гривы и хвосты коней были украшены бумажными лентами. На конях горели серебристые чепраки, седла сияли на солнце желтыми, синими, красными оторочками. Гантимур показал воеводе храбрых лучников своего рода. Лучники вихрем неслись на своих лошадях навстречу друг другу, вскинув луки, сбивали стрелами с головы друг друга шапки. Казаки воеводы тоже скакали на лошадях, бросив шапку вверх, попадали в нее из самопалов.

Родичи Гантимура кричали, били в барабаны.


После конных гонок выступили прославленные единоборцы: в беге, в борьбе, в метании копья. Торжества окончились к вечеру.

Воевода, довольный, уехал в острог, и на другой день гонец повез важную грамоту императора Серединного царства русскому царю.

ЦАРСКИЙ ПОСОЛ

В Московском приказе с восхода солнца и до заката рьяно скрипели гусиные перья. Согбенные писцы строчили витой скорописью деловые, торговые, подсудные и иные грамоты, многословные ябеды, сутяжные отписки и челобитные.

В приказе людно, тесно, сумрачно. От воскового чада и книжной пыли слезились глаза. С шумом толпились мужики-землеробы, разный ремесленный и иной люд. В рваных кафтанах, шубейках, поддевках, шлепали они побитыми лаптями по каменным плитам, оставляя за собой комья грязи. У каждого за пазухой или в холщовой суме либо петух, либо курица, либо поросенок; у иных кусок отбельной холстины, узорчатое полотенце и многие другие поминки. Все это несли мужики



писцам, чтобы порадели они за обиженного и грамотки слезные писали бы старательно и толково. Называлась эта палата людским приходом. За людским приходом находилась вторая, сводчатая палата с высокими резными окнами. Она делилась на две половины. На одной сидели составители, переводчики и уставного письма книгописцы. На другой иконописцы, золотописцы; они изображали лики святых, вырисовывали красивейшие буквы в церковных книгах. Была еще малая палата переплетчиков, золотых и серебряных дел умельцев; они скрепляли исписанные листы в толстые книги, украшали их узорчатой оправой, застежками и пряжками.

В правом углу, возле створчатого окна, сидел главный уставного письма книгописец подъячий Никифор Венюков. Величали этого славного искусника отче Никифор.

Подъячий Никифор — старец строгий, узолицый, морщинистый, с маленьким рыбьим ртом и скудной бородкой. Он озабоченно посмотрел в оконце, зевнул, широко раскрыв рот, и отложил серый лист. Прищурив воспаленные веки, полюбовался только что изукрашенной киноварью уставной буквой, огляделся и приказал с усмешкой:

— Эй, Никола, ишь, припал! Бросай...

Николка Лопухов, помощник Никифора, выпрямился. Был это рослый, большеглазый отрок, заметно сутуловат, но в плечах широк, лицом светел и здоров. Он наскоро прибрал письменный прилад, в смущении сказал:

— Отче Никифор, доспелся и в моих делах успех: вывожу заглавную и малую доподлинно...

— Оказия... — перебил его Никифор.

— Пошто? — пугливо заморгал отрок.

— Аль ослепшим проживешь и окрест себя не глядишь? — Никифор строго посмотрел на отрока.

Николка опустил глаза. Никифор поучал:

— Объявился в нашем посольском приказе нов человек, ума превеликого, грек родом. Послан тот грек к нам, будет главным переводчиком. Строг! Ой, строг!.. Он эдаких образумит! — и Никифор ткнул желтым пальцем отрока в грудь.

— Не ведаю...

— Эко не ведаешь!.. Прозывается тот грек мудрено — Николай Спафарий... Сие уразумей, Николка, твердо, при величии не посрами, упаси бог!.. Тезкой тебе приходится, то — ладная примета...

— Как можно!.. — озабоченно ответил отрок.

Никифор разговорился:

— Сказывали, мудрейшая голова у того Спафария, грамотам обучен в заморских землях, силен во всех иноверных языках и в науках, особливо духовных. В русских же словесах слаб и многие калечит немилосердно. Упаси бог, при беседе не прысни, Николка, со смеху, коль главный переводчик оговорится аль замешкается.

Никифор усмехнулся, Николка же омрачился. «В наказание за послушание объявился тот главный переводчик, и строг и учен... Не иначе, буду я изгнан за маломенье в деле писцовом», — огорченно думал отрок.

По посольскому приказу плыли слухи, паутиной обволакивали борзописцев, скрипящих гусиными перьями; путались они в догадках, несли нелепицу.

— Чудно, отчего греку Русь приглянулась?..

— Не сладко ему в греках, вот он на сытые хлеба и подался.

— Русь, она — мать кормящая: пригревает и грека, и немчина, и арапа черных кровей. — важно заключил длинноволосый старец и перекрестился.

К полудню в посольстве притихли.

В камору переводчика пришел человек в черной длинной рясе. Сбросил он бархатную шапку болгарского шитья, прикрыл створчатую дверь и безмолвно погрузился в чтение. Это был Николай Спафарий.

Долго присматривались посольские людишки к главному переводчику: следили, подглядывали, подслушивали. Облик его еще больше распаял их любопытство.

Было Спафарию лет сорок пять; ростом высок, в походке прям и горд; лицо чистое с малым загаром, обрамленное темно-золотистой бородой; выпуклый лоб изрыт глубокими, не по летам, морщинами; из-под густых бровей поблескивали желтые глаза, жгучие и острые; боялись приказные люди этих глаз, как пчелиного жала. Строгие тонкие губы и непомерно большой, словно нашитый, нос довершали облик ученого грека. Говорил он звонко, с присвистом, на смешанном греко-болгаро-русском наречии, но степенно и вразумительно.

К трудам ученых был прилежен безмерно, и не отыскать ему равного. За книгами и переводами сидел и денно и ночью; случалось, до утра просиживал при лампаде и засыпал, обронив голову на писание. В короткий срок овладел он и русской речью.

В посольском приказе переводчик полюбился, но боялись писцы и служивые посольские люди острого глаза Спафария. В посольстве о Спафарию говорили, что разгадать его душу — труд мудреный. И коль душа человека, как в священном писании помечено, бездонна, то у этого грека трижды бездонна и бескрайна.

Скоро и в царских хоробах, золоченых палатах заговорили о Спафарию. Труды его поощрялись всемерно, но мучили царских доглядчиков догадки, разноголосые суждения об ученом греке.

Дошло это и до царя. Царь Алексей Михайлович самолично заинтересовался главным переводчиком — человеком, всем языкам обученным и все страны познавшим. Царь позвал боярина Артамона Матвеева, ведавшего всеми делами посольств, и наказал неторопливо и подробно рассказать о жизни Спафария.

— Принеси, боярин, ларчик с пометами важными. Доподлинно надо знать о прежних делах и помыслах грека.

Боярин вышел и вернулся с ларчиком, где хранились тайные грамоты. Боярин любил Спафария, знал все о жизни ученого грека и деловито стал сказывать царю:

— Родился грек в Молдавии, отец поощрял отрока в науках, ибо сам был в них сведущ, и сына к тому же склонял старательно. Учил его в Царьграде, где постиг молодой отрок Николай в совершенстве древний и новый греческий, турецкий, арабский и другие языки. Там же отрок тайно сдружился с лукавыми людьми и сам стал отменно лукав и умен. Прослышав, что на его родине зачалась царская междоусобица, кинулся туда и воссевшему на престол хитростью господарю Стефану Х пришелся ко двору. Понравился молодой грек за знание книжных мудростей, ораторство и умение языкам. Стал не только ученым мужем, но и другом душевным, и делил с ним тайны господаря.

Однажды, роясь в древних книгах, отыскал Николай тайную переписку господарей с Византией, и открылись лукавые происки Стефана Х.

Переписку перевел, а недруги господаря предали ее огласке. Владычество его покровителя, Стефана Х, пало.

Николай, по-прежнему пребывая при дворе, пережил еще одного господаря. Самой блаженной высоты и почести достиг Николай при господаря Стефанице.

Царь поднял голову, перебил боярина:

— Праведно ли это?

— Сказанное, государь, в большой доле истина.

— Молви, — кивнул головой царь.

Боярин передохнул, открыл ларчик и достал грамотку.

— Мыслию, государь, за надобное прочитать единую грамотку, в коей прописано о греке словами якобы очевидца, но, по моему разумению, — это происки подслуша, змеиное жало завидущих глаз.

— Читай, боярин, не торопясь, внятно, раздельно.

— «...Был боярин, по имени Николай Спафарий, очень ученый, гордый, богатый... Ходил он с княжескими провожатыми, кои шли впереди с пиками и мечами, с серебряными чепраками на лошадях. Его очень любил господарь Стефаница: обедал с ним, совет держал с ним, играл с ним и даже спал с ним...

Однако Спафарий не удовольствовался тем добром и почетом, но взял и написал злословное и насмешливое письмо, вложив его в пустую трость, послал тайно воеводе Константину и призывал того воеводу сбросить Стефаницу и захватить престол. Но воевода устранился и трость с письмом при надежном гонце направил в руки самому господарю.

Стефаница возгорел мстью, читая злословия Спафария. Повелел он немедленно позвать его в малую господарскую комнату. Едва тот вошел, господарь вынул из-за пояса свой кинжал и приказал палачу отрезать нос лукавцу Спафарию. При этом Стефаница молвил в гневе: «С этой приметой моего недруга будет знать весь мир». Обливаясь кровью, Спафарий с позором бежал из дворца и был окрещен Курносым...»

Царь поднял голову, сбил боярина с толку резким словом:

— Ложное писание, боярин, все видели грека при полном носе!

— То, государь, темная заморская тайна, дело рук не иначе чародеев аль дошлых умельцев...

Боярин встал и раздельно, нараспев читал:

— «Беглый ученый грек Спафарий недолго задержался в Неметчине, где пригрел его и обласкал воевода Вильгельм. Здесь же сыскался искусный лекарь, который тайно лечил страшное уродство грека. Пускал ему кровь из щеки и накладывал на рану носа, кровь свертывалась в коросту, и нос вырастал. Через год нос вырос, грек вернулся на родину, но от стыда и посрамления вновь бежал ночью, хоронясь, как вор, хотя едва заметно было, что нос его резан. Грек поселился в Царьграде, где и прославился учеными делами, переводом библии и других мудрейших книг».

Царь вздохнул:

— Чудны дела создателя! Однако, боярин, не своди глаз с грека... Неведомо мне, какая нужда есть содержать его в посольстве?

Боярин горячо вступился за Спафария:

— Многие, сказанное о греке, — наветы завистников, людей злонравных. Спафарий много учен, в книжных переводах незаменимый искусник, в иных поступках тих, к делам твоим, государевым, радив и заботлив безмерно.

— Для Руси человек иноземный... Сколь важны его заботы?

— Не почти, великий государь, за дерзость: осмелюсь сказанное оспорить. Спафарий иноземец — не чета другим. Для Руси человек близкий, в вере христианской крепок, обычаи наши почитает своими, в соблюдении их примерно строг.

Царь поднялся и молча вышел.

...Спафарий остался при посольском приказе. Он работал вдохновенно, не щадя сил, отказывая себе во всем. Из посольства не выходил, погрузившись в писание и забыв о еде и сне, нередко падал в беспамятстве на груды книг и рукописей. И труды его оценили: занял он самое почетное место среди всех переводчиков, прославился на весь мир составлением великой государевой книги, греко-славяно-латинского словаря и многих других, до этого на Руси небывалых важных книг.

Мудрость Спафария, его трудолюбие еще больше расположили к нему боярина Матвеева, и стал он надежным ценителем и покровителем Спафария, о чем не однажды говорил и царю.

На святой неделе, в третье лето жития Спафария в Москве, предстал он перед государем.

Много на свете видел Спафарий дивных дворцов, но палаты дворца русского царя ослепили его премудрым строением, великолепием росписи, пышностью убранства. Спафарий поднимался по широкой лестнице, ноги его утопали в шелковистом ковре. Стены, потолки, резные колонны, арки казались вылепленными из золота и серебра, расписаны чудными красками. Палаты наполнял благовонный запах ладана, сквозь сводчатые окна пробивался мягкий розовый свет. Царь принял Спафария в малой палате. Он сидел на троне в тяжелом парчовом одеянии светло-малинового цвета, расшитом золотыми и серебряными узорами.

На голове царя — высокая стрельчатая шапка, украшенная драгоценными камнями, низ ее опушен темным соболем, на верху — усыпанный алмазами крестик. На плечи царя наброшена горностаевая мантия, длинные полы которой и рукава ниспадали до самых носков красных сафьяновых сапог. Стоящее на бархатном ковре тяжелое кресло блестело и переливалось. Спафарий рассмотрел: оно литое из серебра, по серебру — золотые листья и цветы, грани обложены дорогой костью. В правом углу палаты в изразцовом киоте стояла икона Спаса, отороченная парчовым окладом; перед иконой теплилась лампада. У стены, поодаль от трона, на мраморном постаменте стояли часы затейливой заморской работы.

С замиранием сердца подошел Спафарий к трону и упал на колени. Царь поднялся, повернулся к иконе, перекрестился. Спафарий и стоящие рядом с ним на коленях придворные тоже стали креститься. Потом царь сел в кресло и приветливо улыбнулся. Спафарий подошел к руке.

Лицо у царя открытое и ласковое, глаза большие, светлые, доверчивые. Большой белый лоб перерезала морщина; волосы, усы и окладистая борода темнорусые. С виду царю лет пятьдесят, в движениях он медлителен, будто устал, говорит глухо, едва слышно. Первых слов царя Спафарий не расслышал, стоял смущенный, озадаченный. Нависла тягостная тишина, только громко тикали часы. Спафарий подумал: «Добрая ли примета: часы слышу, а царских речей нет?..»

Боярин Матвеев, стоявший рядом с царским креслом, обратился к Спафарию: — Великий государь премного доволен книжными трудами твоими.

Спафарий низко поклонился. Царь спросил:

— Какие мудрости ныне постигаешь? Чем порадуешь нас?..

Глаза Спафария блеснули.

— Безмерно тружусь, великий государь, скоро окончу книгу «О четырех монархах».

— Труд похвалы достоин. Уповай на бога всемилостивого, и успехом увенчается задуманное, — поощрил царь Спафария.

— Уповая, великий государь, молю заступника дать сил и здоровья...

Царь обласкал ученого трудолюбца. Он добавил ему жалованья до ста тридцати рублей в год да положил ему пятьсот четвертей ржи да по полтине в день кормовых.

Из царской палаты приглашен был Спафарий в комедийную хоромину, открытую трудами и заботами боярина Матвеева. На представление в этой комедийной хоромине царь пригласил думных дворян, бояр и других приближенных своего двора. На возвышенных местах за решетчатými дверцами сидела царица с царевнами.

Шла комедия об Эсфири прославленной. Играла музыка, комедианты пели, танцевали, скоморошничали. Представление шло целый день. Царь и его гости, не сходя с мест, просидели в комедийной хоромине десять часов. Все хвалили столь умную затею боярина Матвеева. Спафарий, видевший в других царствах немало чудес, остался комедийной хороминой доволен. В горячем помощнике царя, боярине Матвееве, увидел он мужа умного, просвещенного и смелого.

После комедийного зрелища царь не отпустил Спафария, позвал в столовую палату к царскому обеду. В просторной палате стоял длинный стол, накрытый парчовой скатертью. Над столом висело большое серебряное паникадило с двенадцатью посвечниками и хрустальными перемычками. Горели толстые восковые свечи, перевитые сусальным золотом. Свет от них через хрустальные перемычки мягко падал на стол, на стены; оловянные тарелки, серебряные кубки, золоченые блюда переливались живыми огнями. Гостям было подано сто двадцать шесть перемен. Среди множества вкусных яств дворцовой кухни отведал Спафарий первейшее кушанье царского стола — отборное мясо белого лебедя с приправой из квашеной капусты и соленых слив.

Из царских палат вернулся Спафарий в свою посольскую камору ободренный, радостный, гордый. Всемерные труды его щедро оценены. Спафарий прилег на лежанку, погрузился в раздумье. Скоро уснул. Проснулся рано. Через решетчатое оконце светилось голубое небо, осыпанное мелкими облачками, словно пухом лебяжьим; в саду пели пташки, их веселому щебетанию вторило сердце Спафария, на глаза его набегали умильные слезы. Скоро это сладостное умиление сменилось горделивой важностью. Спафарий поднялся, зашагал по комнате, потом сел к своему столу, заставленному толстыми книгами, рукописями, листами. Положив на разгоряченный лоб руку, он унесся в мыслях своих в беспредельные выси. «Сколь могуча Русь, пресветлая родина росса славного, — шептал он, — сколь она обильна, сколь величава!.. Как мелки, немощны многие государства и царства, к ней прикосновенные!.. Сколь велико будущее Руси — премудрой матери стран славянских!..»

Вновь поднялся, прошел по каморе, взглянул в оконце, улыбнулся.

По узкой дорожке шел работный человек, рослый, широкоплечий, в домотканой рубахе, в пестрых штанах, на ногах лапти, за спиной вязанка дров, и столь огромна, что Спафарий ахнул: «Какова силища, а!» То был Степка, сынок стрельца Прохора. Работающий молчун Степка с большим радением топил толстозадые изразцовые печи палат, особенно старался угодить Спафарию. Знал: любит грек сидеть в жарко натопленной каморе. Умильно глядел Спафарий на Степку и шептал:

— Какова Русь!.. Стоит извечно... Степки да Ивашки, Николки да Прошки, всех и не счесть — множество, подпирают своими могутными плечами Русь-матушку. Это они, богатыри-лапотники, сдвигают горы и прудят реки; землю лелея, хлеб сытный родят. Это они поднимаются в небеса синие и золотят маковки храмов; строят хоромы царские да боярские, лабазы да лавки торговые; рубят дерево, куют железо, варят соль, копают золото; ходят по морям кипучим, по рекам рыбным; возводят города. А когда случится напасть, сунется на Русь иноземец, хватают рогатины, самопалы да вперед грудью крушить, ломать ворога, чтоб неповадно было и впредь.

Спафарий шумно вздохнул. Обуреваемый высокими мыслями, торопливо взял перо, склонился над писанием. Не разгибаясь, не вставая, просидел он за трудами до обеда.

...В конце года, после написания Спафарием большой книги «О четырех монархах», книги весьма ученой и прославленной, царь добавил оклад Спафарию и пожаловал государев подарок — на пятьсот рублей отборных соболей.

Спафарий стал вхож в дворцовые хоромы, часто его звали к трону государя, особенно для речей с иноземными послами.

Оказывая услуги государю, он жил в большом почете.

Видя силу и богатство Руси, чтя ее христианский уклад, Спафарий полюбил ее навечно. Стала она для него святой родиной.

Год 1674 оказался тягостным: царь и его близкие бояре глядели на судьбу Руси с большой тревогой. Беспокоили турки, а в январе скорый гонец привез царскую грамоту от нерчинского воеводы Даршинского. Воевода со страхом доносил о новых угрозах маньчжурского императора, писал о немощи, в которой очутился его острог.

Воевода напоминал о богдыхановой грамоте, в которой император настойчиво требовал выдачи беглеца Гантимура, сетовал на воровских людишек Ярофея Сабурова, которые хозяйничают на Амуре-реке и тем могут накликать большие беды.

Царю Нерчинский острог чудился на краю света, и до Москвы, мол, китайцам идти не ближе, чем до небес. О Китайском государстве царь знал мало, а близкие, изведенные пути в Китай никому в Москве не были известны.

Одно смущало царя: иноземные послы и лаской и коварством, а ныне угрозой требовали грамоты, разрешающей проход через Русь в Китайское царство их караванам с товаром, учеными и иными людьми.

Царь собрал думных бояр. Боярин Матвеев говорил:

— Всеславный нашего посольства переводчик Спафарий, роясь в книжных мудростях, сыскал о том царстве, великий государь, вести скудные. Китайский царь похваляется, что царство его среди земли едино есть, а иные государства на свете ни во что почитает и молвит, что-де всех иных земель люди — варвары и глядят одним глазом, а они — обоими...

Бояре переглянулись, царь спросил:

— А ведомы ли пути добрые в их царство?

— Пути близкие, ладные, великий государь, неведомы. Сказывали наши бывальцы, охочие люди да беглые казачишки, что по сибирским лесам рыщут, добывая соболей, что-де царство Китайское без меры обильно, а жители ликом скуласты, узкоглазы; радивые землепашцы, воинов полки великие и на бою храбрые. От всех царей и царств отгородились каменной стеной высоты преогромной и длины от моря и до моря...

Боярин замешкался, поднялся думный дьяк:

— Великий государь, ведаю я иные сказы о путях в Китай... Еще блаженной памяти царь Федор Иванович клялся полякам безданно и беспошлинно отдать торговлю с Сибирью, дабы сыскали поляки пути в царство китайцев.

— То ложь! — вскипел царь.

Думный дьяк виновато продолжал:

— Та ложь, великий государь, в писаницах помечена... А царь Борис Годунов тем же клялся англичанам в соискании Китайской земли.

Царь встал:

— Иноземцам то выгодно, а Руси урон великий!.. А ты, думный дьяк, прижал бы свой язык. Не в меру стал ты злословен...

Боярин Матвеев сказал:

— Надобно, великий государь, спешным ходом гнать в Китай посольство...

— Дело молвил боярин, — вмешались бояре, — выгода Руси велика, да и иноземцев это образумит; нет от них отбоя, спешно нороят попасть в Китай. Несут они Руси ущерб...

Думный дьяк вновь не вытерпел, вставил свое слово:

— Памятую, великий государь, о том, что в Китайское государство тобою послан был много лет тому назад посол Федор Байков. Царство китайцев столь далеко, что посол твой, не сыскав ладных путей, кое-как добрался до Китая неезженными окольными дорогами. Муки претерпел посол — пересказать страшусь: едва жив остался! А выгода какова? Посла твоего люди китайского царя обидели, обесчестили, со своей земли выгнали. Сколь горды!

Боярин Матвеев остановил дьяка:

— Обиды вспоминаешь, думный дьяк, ты не ко времени... Достойные послы Руси пресветлым умом и сноровкой да силою государева слова у многих владык иноземных спесь обламывали! То как?

Царь согласился:

— Надобно, чтоб в Москву доставили природного китайца с дарами их царства, дабы можно судить об их облике и богатствах.

Подумав, царь добавил:

— Надобно посла разумного сыскать, чтоб чести нашей не посрамил, чтоб в науках иноземных и речах был силен, в христианской вере крепок.

Боярин Матвеев поднялся:

— Не ошибемся, великий государь, коли пошлем посланником твоим переводчика нашего Спафария. В христианской вере строг, чести твоей, государь, не уронит, а об учености его и молвить не надо: учен премного...

— Грек умен, то истинно, — зашумели бояре, — но грек лукав, не сотворил бы он тайную измену...

Боярин Матвеев вступился жарко:

— Великий государь, глаз имею ладный и примечал я иное. Ласки твои, великий государь, дорогие подарки да жалованье пришлись греку по сердцу. Не ищет он лучшего житья, чем на святой Руси. Ставит ее превыше всего на свете. Однажды молвил: «Многие страны изездил, несметные богатства имел, но был беден — не сыскал родины... Теперь премного богат — нашел родную землю свою; мать свою — великую Русь».

Бояре вновь зашумели:

— От сердца ли чистого то греком сказано? Не лукавы ли слова ради отвода глаз?

Боярин Матвеев отвечал:

— Грек Спафарий Руси славный муж, тому порука деяния его добрые и трудолюбие безмерное. Клялся он перед иконою со слезами на глазах: «И живот, и родню, и богатства мои рад отдать, коль потребны они будут для блага Руси!...»

— Хваления твои, боярин, сочту за праведные, — сказал царь. — Нарекую Николая Спафария царским послом.

Велел он боярину Матвееву и думному дьяку поспешно отписать грамоту китайскому богдыхану и дорожный наказ посланнику.

Через месяц боярин Матвеев и Спафарий подобрали людей, пригодных ехать в Китай. В свиту Спафария для помощи в делах книжных и ученых определили двух новокрещенных иноземцев. Для дел письменных — подъячего государева посольства Никифора Венюкова и его помощника Николку Лопухова. Взял Спафарий еще двух ученых греков: Спиридона — для опознания и записи камней драгоценных, руд серебряных и иных; Ивана — для лекарственных нужд и записи корней и цветов целебных. Остальных людей для свиты и провожатых Спафарий решил набрать в Тобольске

В четверг, после заздравной обедни, собрал царь Спафария с его людьми, бояр, дворцовых помощников и советчиков.

Думный дьяк читал наказ Спафарию и его свите:

— «...Чести русского царя не ронять, держаться степенно, чинно, гордо, но обходиться отменно ласково.

...Привезти из Китая в Москву природного китайца и подарки Китайской земли.

...Торговым людям чтоб в обе стороны свободно ездить.

...Отпускать из Китая на Русь ежегодно по четыре тысячи пудов серебра для покупки русских товаров, какие им, китайцам, будут потребны.

...Если есть дорогие каменья — менять на товары русские.

...Если отыщутся в Китае искусные мастера каменных мостов лучше, чем в иных землях, — взять. Или отыщет посол там хорошие семена огородные или зверей небольших и птиц, от которых плод на Руси можно иметь, — тоже взять.

...Отыскать пути в Китай ближние и податные, особливо морем, реками, минуя пустыни и разбойные монгольские степи. Новые владения русского царя в Сибири пометать в книгу доподлинно.

...О грамоте богдыхана, о Гантимуре молвить так: «Не читана, ибо нет разумющего письма китайские».

...Если русские пленники в Китае объявятся — о них договор писать, чтоб их без цены отпустили или сказали бы, что за них дать надобно.

...О рубежах восточных речей не заводить; о разбоях, чинимых русскими беглыми людишками, отговариваться незнанием. Однако ж места удобные близ рубежа китайского, где можно крепость поставить, осмотреть со старанием и о том договор с китайцами подписать.

...Помнить, что все наши пометы приняты должны быть дружественно; великий государь Руси с величеством богдыхановым желает, мол, быть в дружбе и мире постоянно».

Царь взял в руки кованный ларчик с грамотой богдыхану и обратился к Спафарию:

— Грамоту не только пограничным китайским воеводам, но и иным ближним богдыхановым людям отнюдь не отдавать; больших речей с ними, спаси бог, не заводить. Обо всем поведать самому китайскому владельцу.

Спафарий пал на колени. Царь передал в руки посла ларчик, ключ от него с золотым крестом и иконкой надел ему на шею.

Думный дьяк зачитал наказный лист:

— «...Взойдя на двор к богдыхану, ни хоромам его, никакому порогу или престолу, хотя бы и золотому, поклонов не отбивать; отговариваться тем, что требуете, мол, невозможного — поклонения камням... Так же и во время встречи у богдыхана в ногу его отнюдь не целовать, но если позван будешь к руке, то не отговариваться».

Думный дьяк объявил список даров богдыхану: меха, сукна, часы, зеркала, янтарь, рыба кость, живые кречеты и многое другое. Объявил казну посланника: четыре мешка серебра да короб разменной меди на прогонные и кормовые.

Спафарию вручили икону Спаса святого с золотым окладом и парчовой оторочкой. Он низко откланялся царю и всем присутствующим и вышел.

Рано утром 4 марта 1675 года двадцать саней царского посла, минуя Замоскворечье, повернули в сторону Ярославля и по последнему санному пути выехали из Москвы.

ПУТЬ В КИТАЙ

Таял снег, чернели дороги, рушился санный путь. Посольство Спафария после месячного пути прибыло в Тобольский городок. Ожидая конца ледохода на Иртыше, Спафарий задержался в Тобольском городке ненадолго.

В городок ежегодно съезжались купцы из далекой Бухары, калмыцких степей, остяцких стойбищ. Попадали в Тобольский городок люди даже из Китая. Спафарий терпеливо расспрашивал бывальцев о коротких путях в Китай, старательно заносил в дорожный дневник их вести.

В начале мая Иртыш очистился ото льда. Спафарий подобрал для посольства провожатых, гребцов и иных потребных в пути умелых людей.

Посольство погрузилось на три плоскодонных больших дощаника и поплыло рекой Иртышом. При малых задержках Спафарий плыл около месяца до Енисейского волока. Одолев с большими муками волок, плыл Енисеем до впадения в него Ангары.

Буйная Ангара принесла множество хлопот и мучений. Спафарий сделал в дневнике пометку: «Август. День седьмой. На левой стороне бык, и в том месте горы высокие и каменя во всю реку. О те каменя воды бьют с безудержной силой и буйством, от того шум и рев страшный по лесам и горам проносится. Того же числа приплыли на Шаманский порог. Пристав, выгружали все на берег, чтобы обойти по горам тот сердитый не в меру порог, иначе дощаники побьет, порушит, потопит. Тянули дощаники заводом шесть верст. Каменя на реке самые крутые, вода бьет, и волны, будто горы, а от пены белы, словно снегом обильным посыпаны».

Жилых мест не встречалось. Люди посольства срывали с голов шапки, размашисто крестились на частые могильные кресты. Те кресты ставились на могилах погибших и утонувших на переправах через пороги и буйные перекаты.

С большими трудами и помехами одолели многие сердитые пороги Ангары: Пьяный, Гребень, Похмельный, Падун. В сентябре приплыли в Иркутский острог.

Оглядели острог: и нов, и крепок, и люден...

Спафарий занес в дневник: «А острог Иркутский стоит на берегу Ангары, на ровном, удобном месте... Строением зело пригож, обнесен высоким бревенчатым частоколом с деревянными башнями. А жилых казацких и иных дворов боле сорока, а места окрест острога самые хлебопашные и травные».

В Иркутском остроге чинили побитые дощаники, грузили запасы, собирали снасть и многое иное — готовились к переходу через великий Байкал.

Ангарой плыли недолго. Ширилась река гладкой синью и терялась в тумане. Сумрачно вглядывался Спафарий в густой холодный туман. Вышли к Байкалу в яркий день. Синяя зыбь озера тянулась бесконечно, вдали едва заметным очертанием вырисовывались пики гор. Нехоженные, дикие леса, каменистые утесы плотно оцепили Байкал. Было озеро заковано в камень. Многие из людей посольства, боясь свирепости Байкала, молили Спафария отпустить их.

— Студена вода, черна и бездонна, — плакали они, — несет от нее могилую...

Спафарий отвечал спокойно:

— На всем всеилен господь... Молитвами государя минуем угрозу.

Едва дощаники отплыли от берега, с Байкала подул ветер. Волны, взлетая зелеными брызгами, бились о скалы и пенились. Спафарий велел вернуться, ждать доброй погоды и попутного ветра. К вечеру над Байкалом повисли тучи, синие воды стали черными. Свирепел, выл, метался ветер. Байкал вздымался огромными горами и бешено рвался из каменных оков. От рокота и гудения воды дрожала земля, люди посольства в страхе смотрели на обезумевший Байкал. Вглядываясь в густую

темень, дозорный казак кутался в долгополую шубу и при каждом ударе волн об утес шептал молитву.

Даже Спафарий, объехавший многие земли, познавший немало чудес и претерпевший тяжкие невзгоды, сидя в корабельной каморе, затеплил лампаду перед иконой Спаса, просил о заступничестве и спасении.

Три дня стояли дощаники, ожидая затишья.

Байкал стих внезапно. Поутру Спафарий и его люди не узнали в нем свирепого буяна. Воды хрустальной чистоты сверкали на солнце, отражались в них голубизна небес и очертания гор. Подул легкий попутный ветер. Слегка заморщилась гладкая поверхность. В прозрачной, чуть голубой воде на огромной глубине видны были камни, водоросли, косяки рыб. В заводях беспечно кувыркались утки, купались лебеди. По склонам гор свистели птицы, пахло смолой кедров, сосен, лиственниц. По узкой тропе спускались на водопой горные козули.

Дощаники отплыли от берега, гребцы дружно ударили веслами и, разрезая водную гладь Байкала, дощаники понеслись вдаль, на противоположный берег, в сторону едва синеющих гор.

Спафарий вышел на помост, дивился красоте и спокойствию Байкала. Однако спокойствие длилось недолго: подул резкий боковой ветер. С востока полнеба охватила тень. Черными гребнями волн ошетинился Байкал. Темно-синяя пучина заклокотала, запенилась. Дощаники взлетали на громады волн, подобно подбитым чайкам. Гребцы налегли на весла, но дощаники относило в сторону. Бросая по волнам, дощаник Спафария прибило к устью реки Переемной, едва не разбив его о каменистый берег. Второй отбросило на много верст дальше, третий выбросило на берег, выломав борт.

Ночью закрутили вихри, выпал глубокий снег.

Буря на Байкале свирепела. Спафарий посылал людей по берегу искать обжитые места, просить подмогу. Посланцы возвращались, не встретив ни жилых мест, ни обитателей. В такой беде посольство находилось неделю. Воспользовавшись затишьем, поспешно погнались дощаники, держась берегов Байкала. Так доплыли до устья реки Селенги, а по ней — до Селенгинского острога.

В дальнейший путь Спафарий собирался идти сушей. Разослал гонцов по окрестным эвенкийским стойбищам и бурятским улусам, чтоб закупали верблюдов, лошадей, быков, готовили вьюки.

Караван в сто двадцать верблюдов растянулся далеко. Шел левым берегом Селенги. За Селенгой раскинулись бескрайние монгольские степи, а за ними лежало царство китайцев.

Монгольские степи всполошились; огромный караван, а с ним люди в кольчугах, с самопалами и саблями наводили страх и смятение. По монгольским кочевьям разнеслась весть: русские идут в степь войной.

На одно из становищ к каравану Спафария из степи прискакало более сотни вооруженных монголов. Они окружили караван, оглядывали русских с любопытством и тревогой. На холме остановил лошадь молодой монгольский хан. Лошадь его вихрила землю, мотала головой, раздувая ноздри. Хан в красном халате, в расшитых войлочных сапогах с загнутыми кверху носками сидел в седле с серебряной чеканной оторочкой, ветер трепал кисточку на меховой, китайского покроя шапке. Хан поднялся на стременах:

— Какие вы люди? Мы таких не видели! Зачем в степь идете? Не войной ли?!

Спафарий отвечал:

— Только воры идут войной, не сказав о том заранее... Мы же не воры, а царя русского посланцы к китайскому богдыхану.

Монгольский хан кричал:

— Разве с китайским богдыханом говорить пиками и самопалами будешь?

Спафарий прищурил глаза:

— Когда охотник идет на лисицу, разве не имеет стрелу на волка?

Хан смеялся. Спафарий просил хана дать провожатых, привести верблюдов и лошадей для замены уставших. В обмен обещал русские товары и серебро.

Хан говорил:

— Не видел твоих товаров. Не знаю, какие они есть...

Спафарий послал своих людей; они поднесли хану подарок: отрез сукна желтого, горсть серебра да связку табаку. Хан принял подарки, не сходя с коня; остался доволен. Воинов увел, обещал послу подмогу верблюдами и лошадьми. Спафарий ждал обещанного три дня. Лукавый монгольский хан обещанного не выполнил. Монголы, побросав облюбованные места, сняли юрты и откочевали в китайскую степь.

Шел караван малым шагом. Терпел большие невзгоды. До Нерчинского острога пути шли по бестравным степям и горным перевалам. Многие верблюды и лошади пали.

Спафарий послал вперед двух казаков, чтоб добрались легким ходом до Нерчинского острога, именем царя просили скорую подмогу людьми и скотом.

Ударил морозы, льдом сковало Селенгу. Караван пошел рекой, лед треснул, несколько верблюдов и лошадей потонуло. Караван вернулся на старую стоянку и ждал, пока окрепнет лед.

К этому времени вернулись посланцы. До Нерчинского острога они не дошли. Острог осадили степные разбойники.

Караван вернулся от Селенги к югу. Непроходимые горы и утесы загородили путь. Караван возвратился на Селенгу и шел ею неделю, пока не встретил двадцать казаков и сотника Нерчинского острога. Они вырвались из осады, бежали ночью, минуя монгольские засадные ямы.

Спафарий созвал всех людей, велел идти озираясь, с бердышами и самопалами наготове, чтоб бой принять, спастись от разбоя монголов. По ночам велел ставить дозорных вокруг каравана; верблюдов, лошадей, быков держать в табуне подле становища; костров не разжигать, чтоб не открывать монголам места ночной стоянки.

Караван двигался, не встречая юрт монголов и бурят. Степь притаилась, притихла... Вблизи Нерчинского острога в стан Спафария приехали пять монголов. Спафарий счел их за лазутчиков, которые привели монгольскую рать и держат ее в потаенном месте.

Монголы отвечали:

— Идем с поклоном. Проведали о великой силе русских, идущих в степь.

Спафарий монголов обласкал, одарил подарками, отпустил в степь, поучая твердым словом:

— Идет рать многолюдна. И тех воров и грабежников, кои шалют по степям и русского царя людей изводят, побьет, скот и юрты захватит.

Становище Спафария и его людей показалось монголам большой ратью, а угрозы царского посла внушили страх.

Осаду Нерчинского острога монголы сняли, поспешно бежали в степь. Осаду держали только монголы разбойного хана Талоя. Но с востока на них напал эвенкийский князь Гантимур. Степных разбойников разогнал, тем оказал славную ратную подмогу острогу и заслужил достойную выслугу и почет от воеводы.

Посольство Спафария встретил воевода Даршинский с тремя сотнями казаков под двумя знаменами. Ради встречи русского посла казаки острога и люди посольства стреляли из самопалов. Выстрелы грохотали перебойно, гулко и тонули в степи,

нагоняя на перепуганные монгольские кочевья смятение и страх. Боялись монголы: расправится русский царь с ними за их разбойные набеги и воровские дела.

Гантимур и его родичи, прослышав о приезде царского посла, раскинули юрты подле Нерчинского острога. Споры между русскими и китайцами о беглом Гантимуре и ратная доблесть князя разжигали любопытство Спафария. Он послал именем царя Гантимуру подарки и позвал его на посольский двор. Гантимур пришел со своими братьями и сыновьями, бил челом царскому послу, клал перед ним дорогие подарки: кучу соболей, лисиц, куски шелка китайского, а для каравана посла привел верблюдов, лошадей, быков.

— Посол русского царя умирил разбойную степь. Установил мир.

Спафарий удивился, отвечал уклончиво:

— Речи твоей, князец, не пойму, войной не шел...

Гантимур сказал:

— Разбойные монголы и воровские буряты, прослышав о твоём, царского посла, караване, перепугались, признав твоих людей за воинов.

Спафарий улыбнулся.

Гантимур говорил послу:

— Пути в Китайщину мне ведомы. Пошлю с твоим караваном лучшего жока. Дай ему потребное жалованье.

Спафарий удивился уму и храбрости Гантимура, в дорожный дневник записал: «Сей князец — муж достойный: и богат, и родовит, и храбр. И хоть веры не христианской, имя царя русского чтит, в изменниках Руси не бывал».

Гантимур и его родичи низко откланялись Спафарию, ускакали в степь.

Караван Спафария готовился к походу: кричали верблюды, мычали быки, скрип арб заглушал людской гам. Кибитка Спафария с запряженными в нее десятью быками стояла посередине каравана. Сбоку кибитки за длинный повод был привязан оседланный гнедой конь; то конь царского посла для скорого объезда длинного каравана в пути.

Спафарий подошел к кибитке, отвязал коня, легко поднялся на седло. От воеводы прибежал гонец. Просил он посла обождать, ибо надобно грамотку важную и скорую разобрать. Спафарий повернул коня и поскакал к острогу. У резного крыльца стоял воевода.

Спафарий вошел в приказную избу.

Воевода сказал:

— Не прогневаю царского посла, коль скажу ему о грамотке, писанной воровскими людишками Албазинского острога? О той грамотке я запомнил...

— Молви, какие вести?

— От воров — воровские и вести. Послал грабежник Ярошка своего дружка, тоже лиходея и грабежника, Пашку Минина и с ним добра разного десять возков да полонянку черных кровей с дитем.

Спафарий удивился:

— Каким добром хвастают грабежники? Какая причина?

Воевода заторопился:

— Возки туго набиты отборными соболями, лисицами, а сверх того серебром и камнями. Грабежники все это на Москву царю-батюшке норовят с грамоткой отправить, чтоб возымел пресветлый государь к ним милость и пощаду.

Спафарий оглядел воеводу:

— Какова воля воеводы?

Воевода гордо ответил:

— Именем царя пресветлого того вора — Пашку Минина и его людишек велел я забить в колодки и бросить в тюремную яму. Добро же, которое грабежники нарекли дарами царскими, отобрал.

Лицом Спафарий стал строг, краской запылали щеки, воеводе он сказал сурово:

— Сотворил, воевода, негодное, ложное дело. Те люди стоят на рубежах России крепко. Принимают муки и раны, а многие за те рубежи обрели смерть. Пусть и вперед на берегах великого Амура русские люди ногой стоят твердо.

— То не русские люди, то грабежники...

— Крест на груди носят. Руси землю защищают!

— А прежние разбои и шалости воровские ужели прощены?

— Надобно тех людей, Пашку Минина и иных, отпустить с миром. Оказать ратную подмогу Албазинской крепости. Дары албазинцев с грамотой-отпиской скорым гонцом отправить в Москву. Суд и расправу чинить над ними, коль на то будет воля самого царя пресветлого, не иначе...

Воевода сокрушался. Упреки царского посла принял, сказанное послом обещал исполнить и, грамоту царю отписав, перед рождеством отправил при надежном гонце с подарками в Москву.

Передал воевода Спафарию и грамоту китайского богдыхана русскому царю. Это была вторичная грамота о беглеце Гантимуре и его происках и набегах казаков на Амуре.

Караван вышел из Нерчинского острога, растянулся длинной вереницей.

За острогом, минуя реку Аргунь, раскинулись степи и горы, подвластные Китайскому царству.

Две недели шел караван по людным степям, богатым кормовищами и водой. За Аргунью раскинулись малоснежные, безлюдные степи и горные хребты. Узкая тропка безвестных кочевников извивалась по пустынным местам. Стояла стужа. Жгучие степные ветры гнали пески. Часто проводник, потеряв тропку, вел караван по замерзшим кочковатым болотам, по кромкам горных утесов. Верблюды и лошади шли короткой ступью, караван двигался тихо.

Не дойдя до китайских рубежей, караван впал в нужду: кормовищ для скота и дров для костров нельзя было отыскать. Падали лошади и верблюды. Надвигалась неминуемая гибель. Со многими людьми приключились болезни, многие проморозились и покалечились. Люди зароптали: стали ругать Спафария, обвинив его в нерадении и неудачах.

Спафарий послал к китайским рубежам сына боярского Телешова, а с ним Гантимурова проводника, знающего китайский язык. Наказал Спафарий настрого: просить китайцев оказать посольству скорую помощь скотом и людьми, за услуги обещать щедрые подарки.

Китайцы пригнали лошадей, верблюдов, а для охраны каравана прислали воинов.

Ранней весной подошел караван к пограничному китайскому городку Науну. Русского посла встретил наунский наместник с двумя сотнями конников. У городской стены Науна караван остановили, отвели в сторону, в город не пустили. Посольство раскинулось становищем. Спафарий поставил на пригорке свою дорожную юрту. На вершине юрты, покрытой белым холстом с узорчатой прошвой, отороченной сукном и атласом, колыхалось русское знамя.

В юрту посла никто не приходил.

На восходе второго дня, качаясь на плечах носильщиков, приплыл пестрый шелковый паланкин. Наунский наместник сдвинул штору, огляделся, взмахнул рукой. Носильщики опустили паланкин.

Наместник вошел в юрту русского посла, удивился ее отменному убранству и роскоши. Юрту пересекала занавеска ярко-желтого сукна с парчовой прошвой. На полу лежали дорогие ковры и шкуры медведя; стол стоял резной росписи, а церковный подсвечник с горящими восковыми свечами сиял золотыми отблесками. Над атласной лежанкой посла в золоченой оправе икона Божьей Матери работы московских иконописцев.

Люди наунского наместника принесли послу утреннюю еду: свиное мясо, горячее вино, чашечку разварного риса. Вместо ложки подали две тонкие палочки, длиной с лебяжье перо, обернутые в прозрачную бумагу. Посол палочки отложил, мясо брал руками, рис черпал своей дорожной ложкой.

Наместник учтиво кланялся, спрашивался о здоровье посла, тут же с тонким лукавством выпрашивал, что написано в царской грамоте, зачем едет посол в Китай.

Спафарий отговаривался усталостью, на лукавые вопросы отвечал уклончиво, отменно ласково. Наместник и его свита кланялись почтительно, вновь заводили хитрые речи, и вновь Спафарий уклонялся от тех хитрых речей. Китайцы упрямылись и русского посла в городок не впускали. Наунский наместник ссылался на многие причины: строгости обычаев, богдыхановы указы и иные помехи. Спафарий торопил:

— В город богдыханова величества — Пекин надобно идти с великой поспешностью.

Наместник щурил льстивые глаза:

— В лесах рыщут барсы свирепости невиданной, не обидели бы они русского посла...

— Не страшусь смерти!.. Страшусь прогневить великого государя Руси.

Наместник складывал ладони вместе, поднимал их над головой и, вскинув глаза к небесам, шептал:

— Луна на небе одна, а звезд неисчислимое количество. Великий богдыхан один, а забот у него не счесть...

Посольство простояло под стенами Науна еще три недели. Богдыхановы чиновники изменили отношение к послу: держались дерзко, неуступчиво. Наунский наместник подъезжал к юрте Спафария с большой свитой разодетых по-праздничному чиновников, говорил заносчиво:

— Какой ты есть посол, мы не знаем. Имеешь ли грамоту к великому богдыхану?

Спафарий отвечал степенно:

— Коль доеду до величества богдыханова и грамоты не покажу — казни достоин.

Наместник дерзко кричал:

— Что в той грамоте русского царя? Может, в ней обидные слова начертаны?!

Наместник вновь говорил о беглеце Гантимуре, о происках и бесчинствах казаков на Амуре.

Спафарий терпеливо отговаривался, ссылаясь на грамоту: в ней, мол, все прописано.

Упорства Спафария богдыхановы чиновники не сломали, уехали с угрозами, вокруг посольства прибавили караул, подолгу не приносили послу и его людям еду.

Каждое утро к юрте русского посла носильщики приносили наунского наместника в цветном паланкине. Не выходя из него, наместник кричал:

— Коль так ты, посол, упрямец, грамоту отберу поперек воли!..

Спафарий, не выходя из юрты, отвечал спокойно:

— При посольстве ратная сила немалая... Грамоту отбивать станут насмерть... На то государя русского указ писан!..

Наместник гневался, угрожая держать посольство до зимы. Служилые люди посольства: многие боярские дети, подьячий Никифор Венюков и иные упрекали Спафария в неразумном упорстве, понуждали к уступкам. Спафарий вспомнил о грамоте богдыхана русскому царю, ту грамоту вручил послу воевода Нерчинского острога Даршинский.

Спафарий позвал в свою юрту наместника и важных его сановников, посадил вокруг стола служилых людей посольства и сказал:

— Сочту за разумное показать славному владыке города Науна грамоту богдыхана, писанную русскому царю...

Спафарий открыл кованный ларчик и вынул красный свиток. По шелковой бумаге и черным иероглифам чиновники признали богдыханов лист, упали на колени и отбили девять поклонов.

Наместник и его приближенные ушли гордые и довольные. Спафарий был безмерно рад своей удаче.

К восходу солнца китайцы пригнали Спафарию сто двадцать лошадей и двести верблюдов. Посольство двинулось в сторону Пекина.

В мае караван посольства остановился у пекинских городских ворот. Через три дня посольство впустили в город, отвели на окраине большой двор и ко двору поставили многочисленный караул. Людям посольства, пробывшим в пути более года, отведенный двор показался благодатным местом отдыха и приюта.

ХАНЬШИЦЗЕ

В большой палате богдыхана собрались его советники и помощники. На узеньких ковриках и шелковых подушках, поджав под себя ноги, важно сидели надутые советники: родичи богдыхана, министры, чиновники. Опустив ресницы, они величественно полудремали.

По голым лбам, желтым скуластым лицам пробегали серые тени; иссиня-черные, любовно заплетенные длинные косы аккуратно лежали на спине; жидковолосые бороды и тонкие усы спадали низко, до самой груди.

Слегка покачиваясь, некоторые старательно оберегали драгоценное из драгоценных — ноготь на мизинце левой руки. Ноготь достигал у счастливых чуть не полметра, требовал он мучительной осторожности, терпеливого ухода. От посторонних взглядов ноготь закрывался изящным камышовым футлярчиком тончайшей резной работы. Наиболее чиновные и родовитые имели рабов, которые старательно ухаживали за ногтем: чистили и полировали, растили, как садовник дерево.

Совет старейших собирался вчера и позавчера.

Хотел богдыхан услышать мудрое слово своих близких сановников о русском после, об истинных причинах его приезда в Китай. Но каждый раз богдыхан внезапно свое намерение менял, сановников распускал по домам.

Вновь собрались сановники...

Пропела флейта, и прозвенел колокольчик: богдыхан показался на троне; родичи и сановники пали на колени, стали кланяться до земли.

Великий Тяньцзы, или Сын неба, император Серединного царства Кан-си не похож на окружающих: молод, роста среднего, светловолос, лицом бел. Из-под густых игольчатых ресниц светились скупые щелки монгольских глаз; сливались в них азиатская хитрость и ум с надменной жестокостью и юношеским властолюбием.

Он слегка приподнял голову и хотел говорить, но в этот момент в рисунчатое окно, оклеенное провощенным шелком, ударились крыльями ласточка. Она звонко чирикнула и потонула в зелени сада. Тонкие усы богдыхана дрогнули: «Ласточка — черная примета...» Вспоминая слова древнейших, богдыхан подумал о русском поселе: «Чем тонуть в человеке, лучше тонуть в бездне...» — и поспешно удалился.

Главный сановник, дядя богдыхана, растягивая слова, оповестил:

— Пусть мудрые разойдутся по своим палатам...

В шелковых туфлях с войлочной подошвой, по-кошачьи мягко шагал богдыхан по синим плиткам садовой дорожки; он остановился у древнего дуба, долго любовался порханием пташек, с упоением слушал жужжание золотого жука. Близкие родичи и важные министры, подняв глаза к небу, с трепетом шептали: «Великий богдыхан беседует с тенью великого учителя Конфуция».

Кан-си не расставался с книгами древнейших: любил богдыхан выискивать среди множества причудливых узоров алмазные слова истины и мудрости. Знал хорошо историю, философию, географию, любил поэзию, по звездному небу стремился постигнуть неразгаданные тайны мира и его судеб, ядовитое лукавство человеческого сердца и непостижимые взлеты ума.

Вот и сейчас он опустил на мраморную скамейку и углубился в чтение.

На другой день до восхода солнца встали все жители Серединного царства, от великого богдыхана до жалкого кули. Заглох огонь жертвенных светильников в крохотной фанзе земледельца, в утлой хижине рыбака, во дворце богдыхана.

«В этот день искру огня труднее сыскать, чем мертвому вернуться к жизни», — так говорила китайская пословица.

На озере, против окон богдыхана, всплеснув крыльями, всколыхнула воду ранняя суетливая утка, свистнула пташка, расправила ветки ароматная акация, из-за горы показалась атласная кромка солнца. Загорелись вершины гор, окропила утренняя розовая роса травы, деревья, черепичные крыши, зубчатые уступы городской стены. Купаясь в утренних лучах, трепетали и переливались белоснежной зыбью вишневые рощи богдыханова сада.

Из окна богдыхан залюбовался капелькой росы, трепетавшей на солнце живым блеском. Повернул лицо к востоку и стал читать наизусть вечно благоухающее стихотворение Конфуция — «Песня скорби». Читал он нараспев нежным женским голосом. Опустив глаза, сомкнув длинные ресницы, делал паузы, и вновь лились сладкие тягучие слова, как льется прозрачная струя священного меда:

*Пред вселенной — ничто человек.
Он песчинка на дне океана.
Перед вечностью миг его век,
Это дым пред лицом океана...
Славный воин, бедняк и богач
Одинаково сходят в могилу,
Поглощает забвения мрак
Их деяния, и силу, и славу...*

Богдыхан, не открывая глаз, стоял с наклоненной головой, губы его шептали: «Пред вселенной — ничто человек...» Потом богдыхан выпрямился, мягкой походкой стал спускаться по мраморным ступенькам, ведущим в сад. Мгновенно носильщики в красно-бело-голубых одеждах поднесли желтый паланкин с вышитыми на нем синими драконами. Император приказал отнести его прогуляться по царственному парку. Минуя Зеркальный фонтан, паланкин скрылся за зеленой роскошью густых акаций.

В этот день в Серединном царстве не зажигали огня, не варили кушаний: все строго чтит Ханьшицзе — День холодной пищи.

На площади Синего дракона бродячий певец собирал многочисленную толпу, пел дребезжаще, тоскливо:

«Постигло горе цзиньского князя Вэня, будущего могущественного богдыхана: страдал он от завистливых недругов, томился в изгнании. Сопровождала его небольшая кучка самых преданных слуг. Среди них отличался человек Большое Сердце — Цзе. Кругом простиралась пустыня, никто не находил ни воды, ни пищи. Будущий богдыхан ослаб от голода и упал на песок.

«Погодите, — спокойно сказал Цзе, — я вам сейчас принесу пищу».

Цзе вернулся слабый и бледный, но принес кусок зажаренного мяса, вкус которого будущий богдыхан нашел великолепным.

Цзе спас жизнь Вэня, насытив его... собственным мясом...»

Вещий певец смолк, закашлялся, крутил высохшей облезлой головой. Толпа терпеливо ожидала.

Старик с трудом разжал спекшиеся губы, поднял воспаленные веки и продолжал:

«Тень и та убегает, убежали и горькие дни: Вэнь стал могущественным богдыханом, он торжественно въехал в столицу и расположился во Дворце цветов. Всех своих верных слуг сделал он начальниками, министрами, сановниками.

Забыл богдыхан лишь о Цзе: он не попал ему на глаза.

Один из новых министров осмелился напомнить богдыхану:

— Вы забыли, государь, человека, который кормил вас собственным мясом.

— Да, это правда, я виноват! Пришлите сюда Цзе.

Всюду искали Цзе, но его нигде не оказалось. Богдыхан узнал, что Цзе с матерью ушел на гору Мьянь-шань. Он собрал приближенных и отправился на гору. Цзе не показывался, на зов не отвечал. Богдыхан разгневался, потерял терпение:

— Неужели нет сил заставить его выйти?

— Есть верный способ, — ответил злой мудрец, — которым заставляют выйти из леса любого зверя.

— Какой?

— Стоит только зажечь кустарник, и дым заставит его выйти...

— Жажигай!.. — закричал богдыхан.

Вмиг обгорела гора, почернели скалы, пепел покрыл землю. Но Цзе никто не видел. По пеплу дошли до вершины горы и нашли там два обгоревших трупа. С тех пор народ чтит память преданного долгу человека: в день Ханьшицзе никто не осмелится зажечь огонь, проглотить кусок горячей пищи».

Толпа разлилась по улицам.

Дряхлый певец шагал, стучал клюкою о булыжник. Вновь собрал большую толпу и вновь стал славить Цзе, но народ ждал другого. Тесно обступив певца, люди жадно просили, чтоб пропел он стихи защитника бедных, бессмертного Бо Цзюй-и. Певец зорко оглянулся, вскинул руки над головой, замахал ими, как птица крыльями, и запел:

*...Колосья зерном не успели налиться,
Все они, не созрев, засохли.
Старший сборщик все это знает,
Но не просит снизить поборы.
За податью рыщет, налоги тянет,
Чтоб видели его старанье...*

*...С наших тел
Сдирают последний лоскут!
Из наших ртов
Вырывают последний кусок!
Терзают людей, отбирают добро
Шакалы и злые волки!..*

Из-за угла выбежали солдаты богдыхановской стражи с копьями и ножами. Толпа дрогнула, певец умолк. Размахивая мечом, начальник разгонял народ, злобно кричал:

— Я заткну поганый рот этому каркающему ворону! Где он? Пусть пройдетя мой меч по его дохлой шее!..

Начальник бегал, вынюхивал, выискивал, за ним спешили солдаты. Толпа рассеялась, а певец исчез, словно его никогда здесь и не было.

День гас. Пыль медленно садилась на деревья, на крыши. Смолкли птицы. Шум улиц еще висел над городской стеной. Вот все стихло. Тень прикрыла землю теплым пологом. Сияли бесчисленные глаза неба — звезды. Луна купалась в седом озере, зажигала стволы бамбука, золотые крыши холмов.

Опустилась синяя ночь, влажная, душная. Аромат цветов и трав пьянил, кружил голову.

Русский посол Николай Спафарий спать не ложился: нетерпеливо ждал утра, ждал представления богдыхану. Посол сидел у черного лакированного столика. Вздрагивало перо, прыгая по шершавому листу, узорчатая нить ложилась в строчки, скупые и строгие. Посол бережно записывал, что узнал, подсмотрел, подслушал о жизни, о делах неведомых доселе желтолицых обитателей призрачного Серединного царства. Здесь все заперто наглухо крепкими замками скупого молчания. Здесь с безумным старанием скрываются от чужих глаз даже самые безобидные мелочи.

Спафарий отложил перо. Отодвинул резное оконце. Хлынула теплая сырость, ворвались запахи трав и цветов: острые, терпкие, непривычные. Запахи дурманили, кружили голову.

Спафарий оконце захлопнул: «Дурно благовоние, душе непотребно...» Опустился на сиденье, задумался, вспомнил обиды, нанесенные ему людьми богдыхана.

Обиды тяжкие: две недели тому назад посла позвали ко двору богдыхана. Посол собирался старательно: мылся, надевал новые одежды, мазал голову душистым маслом. К богдыхану посла не пустили, заставили отбивать поклоны неведомо кому. Из-за шелкового занавеса, через своего приближенного, богдыхан задал три вопроса:


— Каково здоровье русского царя? Сколько ему лет? Давно ли царствует?

Получив ответы, богдыхан удалился, а Спафария отвели на посольский двор. Опять потянулись тягостные дни ожидания.

Вежливые и льстивые богдыхановы сановники приносили послу тысячи извинений, указывали такие важные причины, что посол, потерявший всякое терпение, готов был поверить. Уходя, сановники низко кланялись и твердили: «Ханьшицзе, Ханьшицзе...»

Спафарий решил: самая важная причина — неизвестный Ханьшицзе, бросил к столу, торопливо внес в дневник новое пойманное мудреное слово.

Наступил день представления богдыхану. За два часа до рассвета за Спафарием приехал празднично разодетый китайский чиновник. Спафарий набросил на спину соболью шубу, неловко влез в паланкин. Паланкин слегка покачивался на плечах шагающих в ногу носильщиков.



Свита Спафария ехала вслед верхом на лошадях. В розовой предутренней мути дрожал город, путь освещали бумажные фонарики; их несли услужливые, ловкие люди. В горах выли шакалы, бездомные собаки подвывали. Китайцы, прислушиваясь, улыбались: по их приметам, это предвещало успех.

Двигались неторопливо, осторожно.

На востоке белые полосы окаймляли зубцы гор, скрылись звезды, пахнул влажный ветер.

Караван остановился у городской колокольни. Высокая восьмиугольная колокольня, выложенная из мрамора, возвышалась над всеми строениями.

Причудливая колокольня состояла из девяти разноцветных мраморных поясов, она блестела и переливалась радугой. Снизу доверху висала винтовая лестница с гладкими площадками на каждом поясе. Площадки, окаймленные узорчатой решеткой, имели множество колокольчиков различной формы и величины. На вершине колокольни восседал большеголовый золоченый идол, хозяин города.

Китайцы пали перед колокольней на колени, старательно отбили девять поклонов.

Караван двинулся дальше.

К рассвету достигли Гулоу — Башни времени.

Высокая башня с выступами, построенная из гранитных плит, имела на одной из площадок два прозрачных фарфоровых сосуда: верхний в виде огромной груши, нижний — расписной чаши. Сосуды были искусно разукрашены рисунками: цветы и листья, птицы и рыбы как живые трепетали и переливались. Тонкая струя воды из верхнего сосуда медленно спадала в чашу. Когда чаша наполнялась доверху, раздавался чуть слышный звук, и человек в желтом халате, соломенной шляпе, с угрюмыми, строгими глазами ударял колотушкой в огромный барабан, отбивая час по китайскому исчислению.

Около башни Гулоу караван стоял до тех пор, пока чаша наполнилась дважды.

Солнце осеребрило вершины гор, зажгло макушки городских башен. Светало. Головная часть каравана остановилась у большого каменного столба. На нем светился высеченный иероглиф — имя богдыхана. Спафарий вышел из паланкина, подъехали остальные, также сошли на землю.

Русских провели через несколько больших ворот с тяжелыми щеколдами, резными переплетами. Последние из них — Тун-хуа-мынь, или Восточные цветочные ворота. Верхние части их украшали изображения синих, черных, огненно-красных драконов, страшных птиц с рыбьими головами и крыльями летучих мышей.

Русских ввели на просторный двор, устланный дорогими коврами. Перед глазами открылась невиданная картина: плотной стеной стояли люди в золоченых, пестрых, синих, красных халатах, ветер колыхал черные перья, воткнутые в их высокие шляпы. Среди них, опустив хоботы, переступали с ноги на ногу огромные белые слоны.

Спафарий окинул глазом, решил: слонов более ста. Слоны, покрытые узкими ковриками, с резными корзинками на спинах, составляли торжественный богдыханский поезд. На шее каждого слона дремал погонщик.

Посредине двора возвышалось много круглых предметов, закрытых огненно-желтой материей. То были бубны, каждый в рост человека. В правом углу двора стояла позолоченная колесница богдыхана; в нее либо впрягались слоны, либо несли ее сорок лучших носильщиков двора. Колесницу охраняли сумрачные, желтолицые, высокие на подбор люди с пиками наперевес.

Русские терпеливо ожидали, сидя на коврах.



Когда двор ослепительно расцвел в солнечных лучах, русских медленно повели через множество ворот, проходов, по затейливым дорожкам, усыпанным белыми, синими камешками.

Вскоре русские очутились перед малым дворцом богдыхана. Легкое трехэтажное здание будто повисло в воздухе: три изящных пестро раскрашенных домика, поставленных друг на друга, возвышались на тонких позолоченных колоннах; бумажные окна, причудливые, загнутые кверху концы крыш и горящий шар вверху этого хрупкого на вид сооружения довершали его облик. Дворец вызвал восторг даже у Спафария, видевшего за время своих скитаний по свету немало чудес.

Вокруг раскинулся сад, били фонтаны: у одних струя вырывалась из пасти рыб, у других — из клюва птицы, у третьих — из хобота слона.

Меж деревьев блестела полоска речки, через нее переброшено было несколько мостов из белого мрамора.

Солнце, скользя по макушкам деревьев, превратило в кровавую струю богдыханов фонтан, который бил из-под земли у правой половины дворца.

Это был долгожданный знак.

Ударили бубны. От непривычки русские зажимали уши, озирались. Гул усиливался, рев бубнов возбуждал слонов, они нетерпеливо топтались, погонщики шелкали бамбуковыми палками. Люди в пестрых халатах вытянулись и застыли истуканами. Русских повели через множество узеньких ворот. Спафарий шел степенно, не удивляясь, не озираясь. Тяжелая шуба давила его, от июньской жары мутилось в глазах, посол обливался потом.

До главной площади допустили только Спафария и нескольких приближенных: боярских детей и важных служилых людей. Остальных задержали.

К большому дворцу, отличавшемуся от первого лишь величиной, тянулась дорожка, выложенная из гладких синих и белых мраморных плит.

Ничья нога, кроме ноги великого богдыхана, никогда не ступала по этой дорожке. Ее ревностно охраняли люди в огненных халатах, они стояли на строго очерченных зелеными камешками местах, не шевелились. На древках пик у них развевались желтые флажки, а на остриях — конские хвосты.

Белая лестница вела на террасу главного здания, на каждой ступени возвышалась фигура в пестром халате, с флажком в одной руке и копьём в другой. На копьях развевались хвосты барсов.

В дверях Спафарию бросились в глаза большие бронзовые птицы с безобразными головами, выпученными глазами; в клювах птицы держали факелы.


Просторный зал Вэнь-хуа-дянь, или Зал цветов литературы, не имел мебели, пришедшие садились на ковры, по китайскому обычаю поджав под себя ноги. Спафарий обвел глазами зал: стены темны, без украшений, лишь в виде узкой полосы низ был изукрашен изображениями густо-синих летящих драконов с зубастой пастью, орлиными крыльями, длинным змеиным хвостом.

Колонны, поддерживающие потолок, сияли ослепительным лаком с кроваво-красным отливом. Бумажные фонарики гирляндами свисали меж колонн. На тоненьких бамбуковых треножках стояли деревянные чашки, наполненные рисом, пшеном, маком, пшеницей; воткнутые в каждую чашку травяные свечи курились тонкой струйкой дыма и наполняли зал одуряющим ароматом.

В глубине зала виднелась шелковая занавесь. Спафарий догадался, что за занавесью — трон богдыхана.

В открытые окна врвался ветер, слышался шелест деревьев, журчание воды, пение птиц. День удался яркий, сияющий. Китайские чиновники улыбались, предвещая доброе настроение богдыхана, успешный прием русского посла.





Спафария и его близких усадили в левой стороне зала на маленьких шелковых подушках. Важные сановники, приближенные двора расселись по чину, роду, званию.

Раздался гром бубнов, дробь барабанов, вой флейт, звон литавр. Потом проstonал колокол, а вслед за ним неистовый человеческий крик возвестил о чем-то непонятном.

К Спафарию подошел переводчик в китайском халате, с широким бритым лбом. Спафарий заметил: у него необычайно длинный нос, открытые глаза, а черная коса ловко приклеена. Спафарий узнал в переводчике иезуита.

Переводчик вежливо, на латинском языке, возвестил, что великий богдыхан, Сын неба, мудрейший Кан-си изволили приблизиться к трону, в зале уже витает его дух...

Услужливый иезуит, глазами показав на всех присутствующих китайских сановников, которые неистово отбивали поклоны, объяснил: они показывают, как русский посол и его люди должны кланяться богдыхану. Число глубоких земных поклонов всегда точно и равно девяти.

Спафарий подумал: «На Руси даже царю пресветлому поклоны земные бьют единожды», — и посол твердо решил не позорить чести русского царя, не падать ниц перед китайским богдыханом.

Важный сановник повел Спафария отбивать поклоны. Посол упрямылся, ссылаясь на болезнь, на отсутствие того, кому бить надобно поклоны, на то, что кланяться с ларчиком, где сокрыта великая грамота русского царя, ему не велено.

Иезуит вежливо убеждал посла:

— Богдыхан давно неведомо присутствует в зале... Грамота русского царя известна богдыхану...

Мандарин подsunул Спафарию крошечный бамбуковый столик, чтобы он мог поставить ларчик. Спафарий повиновался.

Вновь ударили бубны, барабаны, литавры.

Спафарий сожалел об уступке, допущенной им, гневно посматривал в глубину зала. Занавесь распахнулась. Спафарий увидел молодого человека лет двадцати четырех, с лукавыми подвижными глазами, тонкими усиками, царственным, надменным лицом. Сидел он на возвышении, утопая в шелку, бархате.

На нем желтая шелковая одежда, расшитая золотыми драконами, на ногах — светло-синие туфли с толстой мягкой подошвой. Позади трона, над головой — высокие опахала из павлиньих перьев.

По правую руку богдыхана находился его советник — седовласый старец со строгим сухим лицом, в просторной длинной одежде темного цвета, по левую — главный сановник двора. Перед главным сановником стоял лакированный столик с фарфоровым чайным прибором и маленькой блестящей шкатулкой. В ногах богдыхана расположились близкие родичи: братья, племянники, дяди.

Богдыхан никогда не видел русских: он не смог скрыть удивления, заметно волновался, неловко теребил шелковый шнурок.

Спафарий шагнул, отвесил только один глубокий поклон и сел на подушку в отдалении от богдыхана.

По залу пролетел легкий шепот: первая дерзость русского посла не прошла незамеченной.

Несколько минут никто не шевелился: богдыхан рассматривал посла.

Перед Спафарием поставили крошечный лакированный столик. Неслышно шагая по коврам, скользили слуги, разносили чай в фарфоровых чашках. Кан-си трижды посылал кушанья со своего столика русскому послу: кубок с черным вином, золотистые ломтики дыни, чашечку крупнозернистого риса.



Между Спафарием и тронем появился человек; в нем он узнал переводчика и понял: наступила решающая минута — переговоры.

Гортанный тонкий голос богдыхана резанул ухо Спафария. Родичи и сановники торопливо отбивали поклоны. Спафарий сидел спокойно.

Переводчик, низко поклонившись, перевел слова богдыхана.

Кан-си сказал Спафарию:

— Говорю сверху на низ... Страна Элосы далеко, вижу это по усталому и обветренному лицу посла... Страна Элосы богата, я вижу на твоих плечах дорогое одеяние... Богатый поймет только богатого, умный — умного... Я буду спрашивать тебя, ты отвечай мне.

Водворилась тишина.

Богдыхан спросил:

— Какую звезду посол считает вечной подругой луны?

Придворные подобострастно глядели на мудрого богдыхана, гордясь его недосягаемой ученостью.

Спафарий подумал: «Смеется царек китайский, за младенца меня почитает».

Он побагровел, раздраженно бросил богдыхану:

— На небе не бывал, звезд там не считал!

Иезуит-переводчик вздрогнул: он не решался передать Кан-си дерзкие слова.

Кан-си ждал. Услышав слова переводчика, сановники попадали и боялись оторвать голову от пола. Кан-си не сводил глаз со Спафария, силясь разгадать человека, от которого исходят неслыханные по дерзости слова.

Дрожащей рукой богдыхан взял чашечку, слегка щелкнул по ней ногтем. Подобно флейте запел тончайший китайский фарфор, нежный звон разлился по залу. Богдыхан лукаво скосился, сдержанно спросил:

— Умеют ли в стране Элосы делать чашки тонкого небесного камня, с голосом райской птицы?

Спафарий обиделся еще больше, скрыв волнение, разгладил волнистую бороду, не торопясь, степенно ответил:

— Горшечником не бывал, я есть царский посол...

Кан-си вновь устремился глазами на посла; при глухой тягостной тишине зала смотрел, не отрываясь, до тех пор, пока не устал.

Порывисто поднявшись, богдыхан дал знак. Ударили барабаны, заухали бубны. К Спафарию подошли люди сумрачные, свирепые; бесцеремонно взяли его под руки, вывели из зала.

Кан-си скрылся в боковой двери и направился в дворцовое книгохранилище. Раскрыв огромную, в деревянных обложках книгу, углубился в чтение.

Долго разбирал сложнейшие колонки иероглифов, мучительно искал объяснения случившемуся: богдыхан советовался с древнейшими из древнейших.

Мудрость книг не знает пределов, древнейшие находили непоколебимые истины даже в споре с могущественным небом, и Кан-си нашел точный ответ: еще не родилась новая луна после дня Ханьшицзе, а во сне богдыхан видел огонь и дым. Что может быть хорошего, если в день Ханьшицзе богдыхану приснился огонь и дым?

Хуже ничего быть не могло...

Кан-си бережно положил тяжелую книгу.

Русского посла он приказал запереть, держать под караулом строго. Подслухов послать, нарядив их купцами, вести приносить до солнца каждого дня.

Невиданно, чтобы камыш гнулся и не ломался.

Пусть непокорный покорится!.. А богдыхан сыщет в мудрых книгах, как поступали древнейшие с непокорными иноземцами.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ДВА ГОНЦА

Январские ночи морозны. Небо сине. Звезды яркие. Спит Москва, в снег закутана, словно в заячье одеяло; снег сугробист, синь. Москва — Руси столица — пробуждается рано. Чуть зардеет первый отблеск зари, расцветает она в белосиянии, загорается золотом куполов; по кривым улицам тянутся длинной вереницей возки, скачут конники, спешит мелкий служилый народ, купцы, ремесленники и иной люд. На базарных площадях гам, брань, споры. Люд московский шумит спозаранку.

Посреди Москвы стоит великий Кремль. А в Кремле живет государь, властелин Руси. Башни кремлевские высоки, стены каменные крепки, ворота глухи. И что за теми кремлевскими стенами делается, знает лишь царь да его ближние помощники. На то он и Кремль. Испокон веков так повелось: царь в Кремле, а народ подле.

Боярин Матвеев встал рано, сотворил утреннюю молитву, наряд боярский надел и вышел из хоромин во двор. Зевнул, оглядел небеса.

— День яснолик, то примета добрая...

Встал боярин рано неспроста, тому причина — именины царя. Хлопот у боярина много, дел не счесть. Торопясь, боярин вошел в трапезную палату, ел нехотя. Перекрестился, набросил на плечи шубу, сошел с крыльца, сел в возок: надо было боярину в посольском приказе вести новые собрать, чтобы в утреннюю встречу рассказать царю все подробно.

В посольском приказе ждали гонцы из Сибирской земли. По дорогам кружила метель, снежные горы наметало огромные, оттого гонцы замешкались и на Москву к сроку не попали.

А по Москве плыли вести тревожные. И хоть стены Кремля толсты и высоки, а ворота глухи, вести доходили и до царских палат. Иные люди шептали, а иные, не таясь, говорили, что-де Руси ныне неуспех полный, а государю русскому — кручина и печаль. Земли-де Сибирские, повоенные Ермаком еще при царе Иване Грозном, ныне пали. Отвоевали их мунгалы. Царев же посол, Николай Спафарий, по прозвищу Курносый, не русских кровей человек, грамоту царскую изодрал в мелкие лоскутки, посольство бросил и даже икону святого Спаса нехристям отдал на поругание. Сам же богдыхану бил челом низко, ногу ему целовал и при дворе его десятым боярином служит.

В посольском приказе людно, шумно. Думный дьяк встретил боярина на крыльце:

— Три гонца прибыли, боярин!..

— Откуда ж гонцы?

— Сибирской земли посланцы.

Боярин резво вошел в приказ. Грамоты отобрал и поехал к царю.

Царь сидел хмур и невесел. Боярин хотел доброй вестью порадовать, царю сказал громко:

— Великий государь, грамотки дальних земель присланы.

Царь головы не поднял.

— Читай, боярин, неторопливо, внятно...

Боярин печать снял, развернул грамотку. Писал воевода Нерчинского острога Даршинский. Воевода сетовал на царского посла Николая Спафария: посол тот его, воеводскую, руку отвел, грабежников и воров, что воровскую поставили крепость на Амуре-реке, казнить не велел, а приказал пустить с миром. Неладное посол надумал и тем ворами волю дал, а надобно тех воров побить, повывести, чтоб и другим неповадно было грабежничать да бродяжничать, да воеводам царским смертью угрожая.

Боярин откинул грамоту молча. Снял печать с другого свитка, то была вторая грамота воеводы Даршинского, посланная вслед первому гонцу. Воевода жаловался пуше прежнего и всячески ругал царского посла:

— «А грабежник тот, Ярошка Сабуров, что в жожаках воровских ходит, послушав навет Минина, коего я отпустил по указу твоего, великий государь, посла Николай Спафария, кричал, собрав своих воров: «Того воеводу нерчинского вздернем на первой осине ногами к небу!» Молю, царь-государь, возымей на то твою милость, повели казнить тех воровских людишек для покою и порядков в землице Сибирской и тем огради меня, твоего слугу, от люостей и подлой смерти».

Царь вскипел, рассердился:

— Грабежников тех — Ярошку Сабурова да его ближних помощников числом двадцать — надобно казнить немедля, а прочих воров и грабежников бить кнутом и левые руки отсечь напрочь, чтоб невозможно им было грабежничать.

Боярин поклонился. Снял печать с последней грамотки. Сверток мал, писано мелко, отборно: боярин признал по строчкам руку Николая Спафария. Посол жаловался на упрямство китайских чиновников, на неуспех его посольства, на все дорожные муки. Клялся, что он чести русского государя не уронит, посрамления Руси не потерпит. Посол писал:

«Гордость царя китайцев столь велика, сколь слабы его ратные силы. Воины худы, и порядки ратные у них негожи, и, окромя того, междоусобицы кровопролитные часты. Как собаки, дерутся их князцы меж собой, а от этого льется кровь. Народишка китайский, повоеванный разбойными маньчжурами, стонет в слезах, в печалях, в горестях, ища себе пристанища. Видя крепость святой Руси и твою, великий государь, единую волю, многие тунгусишки, братья и мунгальцы бегут к нам, на Русь, под твою, великий государь, твердую руку. Рубежи Руси тут крепки, и держат те рубежи по Амуру-реке безвестные воровские людишки Ярофея Сабурова. Те вору страхи многие маньчжурам и даурцам сотворили и крепость твоим, великий государь, именем возвели. Нарекли ту крепость Албазин не зря, а оттого, что грозного князца Албазу повоевали и земли, захваченные им, отобрали».

Боярин лицом просветлел, с радостью думал: «Посол царя, Николай, дела добрые делает, честь не роняет и в вере тверд». Царь же поглядел на боярина сумрачно.

— Не ложное ли то письмо посла, боярин?

— Государь, наветы на твоего посла верного многие возведены; то, государь, напраслина и коварство мужей злонравных... Посол великие, праведные дела творит.

Царь взглянул строго:

— Какая тому порука, боярин?

— Порукою, государь, клятва посла перед иконой Божьей Матери и целование креста святого.

— Ведомо ли тебе, боярин, что посол икону святого Спаса в Китайщине посрамил?

— Того, государь, не слышал...

— То-то, не слышал!.. Однако надобно было, боярин, греку тому посольства не давать — негож!

Боярин, оправив бороду, сказал глухо:

— Не почти, государь, за обидное молвить слово в защиту чести посла, ибо за глаза поносят и нескладно и несправедно...

Царь задумался. Боярин ободрился, заговорил громче:

— Глянь, государь, в оконце. День выдался светлый — то знамение божьей благодати в твои именины. Примета, государь, добра... Потребно, по обычаю предков наших, в такой день творить милости щедрые...

— О чем, боярин, речи заводишь? — удивился царь.

— Не о себе пекусь, государь, — о людишках, кои богатства Руси охраняют, не жалеючи животов своих.

— Речи твои, боярин, неладны: печешься о грабежниках, что по Амуру-реке гуляют?

Боярин поклонился, царь сказал:

— Бывало ли так, чтоб русские цари грабежников щедротами осыпали? Тяжкие грехи тех воров, и не уйти им от гнева божия...

— Милостью господь лютых губителей исправлял... — сказал в смущении боярин и, помолчав, добавил: — Грабежники те, государь, рубежи Руси берегут, на бою смелы, ратные походы твоим именем ведут, в вере христианской крепки.

Царь тербил тесьму пояска.

Боярин говорил:

— Читая послания Спафария, разумею так: коль те грабежники дань пушную, собрав с покоренных народцев, в казну твою царскую отдали, худо ли сделали?

— Похвалы достойно, — сурово сказал царь.

Боярин продолжал:

— Укрепили они рубежи, стоят на них, жизни своей не щадя. Плохое ли то, государь, дело? Грабежники ли они?

Царь смущенно мигал, по-прежнему тербил свою шелковую опояску. Боярин говорил правду. Царь отвернулся к оконцу, долго смотрел. Боярин к нему подошел и тихим, вкрадчивым голосом заговорил вновь:

— Памятую, государь, мудрость великого царя-батюшки Руси Ивана Грозного. Сибирь он принял из рук Ермака, простив тому вольному казаку все его прежние прегрешения...

— Ой, умен ты, Матвеев, умен не в меру!..

Боярин низко поклонился, стал говорить громче, смелее:

— Река Амур и земли по ней Руси прикосновенны. Иноземцы маньчжурские данники — сели на ту землю зря. То, государь, против божьей воли они сели...

Царь топнул ногой:

— Согнать надобно, повоевать непрошенных хозяев!..

— Повоеваны, государь, — оживился боярин, — людишками Ярофея Сабурова повоеваны! И стоит там Ярофей Сабуров, как прописал о том посол твой Николай, на рубежах Руси твердо.

Царь задумался. Боярин говорил ладно. День стоял ясный. Ударил колокол. Звал он к обедне. Царь с боярином перекрестились враз.

Торопливо вошел думный дьяк.

— Великий государь, хоть в день твоих светлых именин отойди от государевых забот. А ты, боярин, неужели повременить не в силах?.. Краем уха я слышал о делах восточных. Отдохни, великий государь, а я по приказу посольскому твоим именем все исполнил.

Царь кивнул головой. Боярин ушел, оставив царя с дьяком вдвоем.

Лишь через неделю узнал Матвеев, как выполнил волю царя думный дьяк. Послал он нерчинскому воеводе гонца с грамотой смертной. А в день царских именин послал второго скорого гонца с грамотой щедрой. Ежели гонец доставит смертную грамоту ко времени, быть тем грабежникам казненным. На все воля божья.

В щедрой же грамоте Ярофею Сабурову царь в день своих светлых именин все прощал и ставил его приказчиком Албазин-крепости. Казакам же его положил жалованье и послал из царской казны две тысячи серебром.

В субботний день до солнцевосхода из Москвы поехал скорый гонец с царевой грамотой. Он миновал московскую заставу, круто повернул и выехал на широкую дорогу, что идет к северу, на Пермь.

АЛБАЗИНСКАЯ ВОЛЬНИЦА

Албазинская крепость росла. Даурские и маньчжурские тайные доглядчики дивились, сколь проворно хозяйствуют на Амуре казаки Ярофея. Слава прошла далеко о безвоеводской, вольной и сытой жизни на Амуре-реке; тянулся к Ярофею Сабурову гулевой, босой, рваный люд... Около Албазина пришлый народ селился вольно. Облюбовав удобное место, пришельцы расчищали его от леса и селились. Трудился народ по-разному: кто пахал пашни, кто промышлял соболя, кто за ремесло взялся. Явились и купцы, обосновались наскоро, лавки поставили в косо́й ряд и торговлю повели.


По почину купцов да казачьих жонков возвели албазинцы на пригорке церковь.

Едва всплывало солнце и утро багрянило вершины зеленых гор, расцветал Албазин. Белесый туман редел, таял, подымаясь ввысь. По утренней росе шли к берегу казачьи рыболовы. Сети бросали на тихой заводи и, вытащив богатую тоню, хвалили щедрость кормильца и богатея Амура-батушку. Жонки собирали в корзины улов: жирных сазанов, тайменей, щук, налимов, лещей; сердито выбрасывали на песок черную большеголовую рыбу — широколобку, по прозвищу черт-рыба, да пучеглазых раков. Черт-рыба металась на песке, жадно хватала воздух непомерно большой зубастой пастью, раки шевелили длинными усами, торопливо пятились к воде, щелкая крючковатыми клешнями.

По увалу возле рощи семья казака Стрешнева расчищала пашню. В прошлую осень собрали албазинцы с новой земли первый богатый урожай. Радовались казаки-землеробы: стояли хлеба золотой стеной, высокие, густые, колосистые. Наливные зерна пшеницы заполнили наскоро срубленные закрома. Зажили казаки сыто, многие побросали куюки, самопалы, сабли...

В казацкой кузне не потухал горн: кузнецы безотказно ладили сохи, бороны, ковали серпы, косы, ножи, топоры. Отыскались медники, подеревщики, кожевники и прочего ремесла люди. Всем хватало дела и забот.

Нередко албазинцы приносили в кузню даурские серпы, косы, мотыги. Серпы были похожи на клинки, а косы — на узкий полумесяц. Тогда кузнецы бросали



молоты, сбивались вокруг и долго разглядывали невиданные изделия даурских земледельцев. Оглядев, кузнецы пробовали на твердость, на взмах и быстро перековывали даурские серпы и косы на русский лад.

С вечера жонки топили жарко огромные, сбитые из глины русские печи. Поутру вздымались над Албазинским городком, плыли над Амуром запахи теста кислого, сула черного, запахи крепкие: хлебные, квасные, хмельные.

Жил Амур многие века, а таких запахов до прихода казачьих женок не бывало. Брага пьяная, тугие караван хлеба да щи русские на пользу пришлось новой земле.

Амурские эвенки, ясашные люди из далекой тайги тянулись к укрепленному городку, к обильному столу албазинцев — видели они, как велика сила русских.

Чуть занималась заря, на базарной площади собирался пестрый, разноголосый народ. Из таежных стойбищ приезжали оленные эвенки с туго набитыми сумами пушнины. Бойкий торг утихал, когда солнце падало за гору, с Амура тянуло прохладой, надвигалась темнота.

Быстро богател и ширился Албазин.

Пополнели казачьи жонки, поправились от славного житья, ходили цветистые, нарядные. Плыла над Амуром раздольная русская песня. В прибрежных горячих песках по целым дням копошились, играли ребятишки.

Жить бы, смеяться да радоваться, а у Ярофея колючим ветерком обдавало душу.

Стоял ясный день. Блестел Амур строгой гладью. Ярофей смотрел в оконце, шурился. Далеко с восточной кромки неба подымалась грузная туча. По кривому закоулку брели два эвенка, с ними албазинец Степка Кузнец. Из-под лисьих шапок эвенков видны пестрые накидки русской ткани, меховые сапоги, отороченные желтым и красным сукном. Несли эвенки медный котел. Остановились посреди закоулка, сели на землю, неторопливо закурили. Потом склонились над котлом и долго осматривали и ощупывали добротное изделие албазинского умельца, а он широко размахивал руками, бил рукояткой ножа по котлу, чтоб звенел. Эвенки смеялись: и рады и довольны. Мена шла котел на котел. Эвенки вынимали из сумы искристые соболиные шкурки, ловко их встряхивали, чтоб играл мех на солнце, и бросали в котел. Степка жадно следил. Когда котел наполнился, провел он закопченной рукой по его кромке, вровень идет — ладно. На том и разошлись.

Надвигалась туча на светлое небо, наплывали на Ярофея тяжелые думы. Вспомнилась сонная Лена и житье в Сабуровке. Только на Амуре иное. За серой гладью великой реки, за синими цепями затуманенных гор притаился грозный враг — дауры и маньчжуры. Вздыхал Ярофей: каковы казаки, походные его дружки! Многие и про сабли и про самопалы забыли — хорошо и сытно на жирных амурских землях. Тепло светит солнышко, ветер прочь гонит черную тучу — не быть грозе, пройдет она стороной. Вскочил Ярофей. «Так ли, албазинцы? Не рано ли на сытый покой?!» Сбежались клочковатые брови, налились кровью глаза. Рванулся атаман к дверям. Навстречу ему Степанида.

Исполнилось и у нее желание. В чисто убранной горнице смольный запах бревенчатых стен смешался с запахом розовых пышек, испеченных на поду. На оконце цвели маки. В углу лежанки с мягкой постелью — горка атласных подушек, над головой — полка с оловянными плошками, чашками, горшками. И казалась ей горница приветным, родным уголком. Век бы тут жила... Хранила Степанида на сердце заветное — смилостивится царь, простит казачьи вольности, и обретется желанный покой на Амуре-реке. Только сладость скоро тает... Увидела Степанида Ярофеевы суровые глаза — мигом растаяла сладость. Пристально взглянула она на самопал

Ярофея, на его саблю острую — надежные ратные товарищи. Улыбнулся Ярофей. Сели они со Степанидой у оконца и душевно затянули любимую Ярофеюшкину песню:

*На своем на белом коне,
Как сокол, как ясный, летает,
Вокруг острога, вокруг вражьего
Русскую рать собирает...*

...Не знали албазинцы, что на противоположном берегу копашатся в камышах тайные люди. Припадают те люди к земле плотно, крадучись по-звериному, жадно вглядываются в строения албазинцев. К ночи тайные люди исчезают, чтоб рано утром вновь глядеть на Албазин. Это маньчжурские доглядчики — скрытные посланцы императора Серединного царства. Именуются те посланцы на их китайском наречии шан-янь, что обозначает «богдыхановы глаза».

С первыми вешними проталинами в Албазин вернулся Пашка Минин. Удивился Пашка, как вырос Албазин, да и албазинцы диву дались: был Пашка казак исправный, телом пригож, глазом остер, в шагу крепок, на бою лих и суров — хошь ставь Пашку в атаманы. А вот отвез казне царской подарочек десять возков пушнины да повинную казачьей вольницы и зачах, сгорбился, лицом стал дряхл, и вместо черной бороды — клоч трухлявый, словно серая мшина на пне столетнем. Спотыкался Пашка на правую ногу, шел, опираясь на костыль. Охали жонки: с чего бы такое приключилось с казаком?

А приключилось это неспроста. Гневом загорелся воевода Даршинский за подарки албазинцев, за повинную грамоту; Пашку и казаков, что в пути возки днем и ночью от разбоя охраняли, сурово наказал. От этой расправы умерли пять лихих казаков, а которые и спаслись, то к ратному делу негодны стали — покалечились. Столь тяжелой казни предал их царский воевода.

Рассказав Ярофею о своем позоре и мытарствах, Пашка Минин слег, напала на него хворь, и не растаял еще снег на солнцепеке, Минин умер.

Ярофей собрал казачий круг, сказал:

— Казаки вольные, сыщите деревину что ни на есть сухостойную, негожую, вороньем засиженную, рысью вонючей загаженную; на той деревине нерчинскому воеводе сготовьте веревку смертную.

— Вережку марать жаль об эдакого мучителя!..

— На кол его надобно, Ярофей!

— Иного от албазинцев не дождется!..

Казаки разошлись суровые, многие грозились идти походом и Нерчинский острог сжечь.

Тем временем прискакал в Нерчинский острог гонец от царя московского. Привез гонец смертную грамоту. Воевода Даршинский, прочитав грамоту, клял царского посла Николая Спафария: из-за него отпустил он вора Пашку Минина и его казачишек грабежных.

Воевода в приказной избе всенародно похвалялся:

— Конец тому воровскому Албазину... Полетят с плеч воровские головушки!..

Повелел тех воров государь повывести, и не иначе мне, его воеводе радивому, пожалует царь за мое старание подарочек, и не иначе золотой резьбы кубок...

Снаряжал воевода казачью рать, чтоб послать ее на Албазинскую крепость. Ярошку Сабурова да его дружков схватить, отобрать всю казну пушную и пожитки воровские.

Реки стояли во льдах долго. Весенняя распутица держала воеводскую рать. Клял воевода неуспех. Торопил корабельных мастеров, чтоб чинили и ладили корабли, чтоб смогли его казаки плыть за весенними льдами вслед.

Ярофею Сабурову лазутчики-эвенки принесли весть о царской грамоте, а прослышали они о царской грамоте от яшашных нерчинских эвенков рода Гантимура. Гантимуровы родичи беспрепятственно проживали подле Нерчинска.

Сполошился Албазин: какова царская милость!..

Решили албазинцы жить по-своему: поставить вольный на Амуре-реке городок и дела решать по сговору, всем казачьим кругом, от Нерчинска отгородиться и с московским царем жить в ссоре. На круг пускать только вольных казаков.

Так и потекла у албазинцев своя вольная жизнь: и без воевод и без царя. Ясак собирали они с амурских народцев исправно, клали его в клетки, старательно хранили.

Когда пробили дожди клетки и соболиной казне грозили потери, Ярофей Сабуров решил ее в других клетях хоронить.

По чьему-то наущению был пущен слух по Албазину, что, мол, Ярофей, казаков не спросивши, задумал казну в Нерчинск сдать, вновь класть повинную: «Мало ему того, что отправил он десять возков отборного соболя да умерли Пашка Минин со многими казаками. Хочет Ярофей свою волю укрепить, чтобы нашу казацкую волю стоптать, смять да чтоб воевода содрал с нас же кожу до костей».

Казаки прибежали к избе Сабурова, кричали:

— Не замай, Ярофей, ту казну! В Нерчинск везти не дадим! В драку ударимся, то помни!..

А жонки голосили:

— Надобно, казаки, караулы строгие нести!

Разошлись казаки затемно, смиренно, поверив Сабурову на добром слове. Но караулы добавили, караульным казакам наказы дали строгие.


Хранили албазинцы и казачий завет. Сделали они головную запись в том, чтоб им друг за друга, голова за голову стоять по гроб, друг друга не выдавать даже под пытками. Сделав головную запись, целовали крест клялись и детьми, и жонками, и добром, и животом. А коль кто не устоит: в измену впадет, или его робость обуяет, или, храни бог, на пытках слабодушен станет, то все едино — садить того на кол без жалости, жонку и детей его из крепости выгнать, а пожитки и иное добро поделить.

Бродил Ярофей по крепости желтый, худой, потухший. Часто, едва занималась заря, уходил он тихо из каморы, чтоб не разбудить Степаниду, не замечая того, что провожали его сокрушенные Степанидины глаза, полные слез. Садился Ярофей на берег Амура. Утренний ветер колыхал воды, пробегала волна мелкой рябью, тяжело стонали прибрежные леса. Потом вновь стоял Амур, гладкий, широкий, строгий, как море. Вот Ярофей отвернулся от реки и долго смотрит на крепость. Она возвышается темной скалой на пригорке. Смотрит на спящий городок, как будто бы все это видит в первый раз. Разъедает сердце горькая ржавчина, неотвязчивая, колючая: клянет себя Ярофей за то, что поверил царю, положился на воеводу и едва не сгубил все повоеванное, кровью добытое. Слышит осторожный шорох, знает: идет Степанида.

— Ярофеюшка, молю Христа ради, уйди с берега. Не ровен час, сразит неприятельская стрела... Сгинешь зазря...

— Не таков, зазря не гибну! Потягаюсь с ворогами, поборюсь!.. Так-то, Степанида!..

И поднявшись, круто повертывался и шел широким шагом хозяина по берегу Амура. Степанида едва успевала за ним.



Воевода нерчинский, собрав рать, отдал ее под начало своего сына Андрея. Сыну наказал крепость Албазин взять, воров схватить ночью и живьем доставить для казни в Нерчинск. Непременно поймать надо Ярошку Сабурова, черного грабежника, да его жонку воровскую — Степаниду рыжую. Твердил воевода сыну с полуночи:

— Смотри, Андрюшка, живьем лови ватажных главарей!.. Живьем! Упаси бог, чтоб лихие воры казни миновали!..

С тем сын воеводский и приготовился в далекий поход и казаков подобрал в свою рать захребетников лихих, один к одному, бродяга к бродяге, при пиках и бердышах, с самопалами и пушками. Собирался воеводский сын в поход словно на иноземного врага.

Весенняя распутица миновала. Очистились воды реки ото льда, воеводские ратные дощаники колыхала волна. Стояло в ряд десять кораблей: крутобокие, новые, высмоленные. Плыть кораблям надо вниз по реке Шилке. Ходил воевода и горд, и рад, и грозен. Да не всякая гроза страшна. Бывает и так: гром не из тучи... Так и случилось с грозным воеводой.

Прискакал скорый гонец. Запоздал он с царской грамотой не от своей воли: схватили его в степи степные татары. Едва гонец не пал головой, но грамотку царскую сохранил.

Отбили гонца от степных татар русские охочие люди, ехал гонец окольным путем, оттого и замешкался.

Воевода читал грамоту многожды, печать и лист смотрел на солнце, вновь читал и вновь старательно разглядывал печать. Доподлинно, это была царская грамота.

«...В день святого ангела великого государя всея Руси повелеваем сжечь грамотку нашу о казни вора и грабежника Ярошки Сабурова со товарищами. Воров тех милуем, и надобно их сыскать и отныне ворами не злословить, осыпать почетом и наградами. Ярофея же Сабурова именем нашим, великого государя Руси, ставим приказчиком Албазина, а рать его именуем русским воинством царским и шлем жалованье две тысячи серебром. И пусть Ярофей Сабуров с казаками те рубежи на Амуре-реке сторожит и на тех рубежах стоит посмерть...»

Воевода до ночи не выходил из приказной избы. Царская грамота сразила его пуще монгольской сабли. Почему царь милость возымел к разбойным грабежникам, того понять воевода не мог. Казалось ему, что наветы и ябеды возведены на него лихими албазинцами. Оттого свирепел пуще, путался в догадках: «Пошто царь ябедам воров поверил, ему же, воеводе царскому, учинил угрозу?» Развернул воевода грамоту царя, снова ее прочел, а по строчкам, в которых царь писал: вором-де Ярошку Сабурова не прозывать, провел много раз ногтем.

Дивился воевода деяниям царя, однако о писаниях и наказах царских надо было албазинцам давать весть, тем воздать им милость цареву и подвести вольный Албазин под воеводскую руку. И праведны слова предков: «Мала воровская сила, да слава лихая велика». Пришлось воеводе послать сына не с войной на Албазин, а с царской наградой да с повинными речами. «Перед горой не кичись, а горе поклонись».

Имел воевода и скрытые мысли, прикидывал так: великую соболиную казну, собранную албазинцами по Амuru, надо, мол, именем московского царя отобрать, крепость Албазин подчинить твердо Нерчинску. Пусть тот новонареченный приказчик крепости Ярошка Сабуров помнит воеводскую руку, челом бьет низко и ясак исправно посылает, как прочие острожники и крепости.

Корабли воеводы отплыли.

Албазинцы прослышали о походе воеводы, собрали немалую силу и поклялись воеводского выкормка в Албазин не пускать. Албазинцы двинулись навстречу: кто на кораблях, кто берегом пеший, кто конный...

Воеводские корабли повстречали возле острожка Сретенского, что стоял на правом берегу Шилки; путь до этого острожка — дней десять.

Албазинцы удивились, увидев три корабля: ратных людей воеводских на них было немного. Решили, что это лукавство воеводы, не иначе, а плывет большая рать позади.

Воеводский сын встревожился: не ожидал встретить албазинцев в пути. Воеводские казаки говорили:

— Негожа встреча. Быть бою, и в том бою милости не жди, побьют нас начисто лихие албазинцы.

Ярофей Сабуров кричал с дощаника воеводскому сыну:

— Ты, воеводский выкормок, корабли уводи! На наших землях тебе не ходить, воду из черного Амура не пить!

Воеводский сын отвечал:

— Без войны плыву, казаки, добром!..

Албазинцы кричали враз:

— Добро то нам ведомо!.. От того добра наш Пашка в могилу сошел!..

— У твоего отца-лиходея рука премного легка: колодки железны набьет махоньки, петлю затянет тоненьку!..

— Ой, добр лиходей!..

Ярофей кричал наперебой казачьим глоткам:

— Уводи корабли подобру! Хуже будет! Побьем!

Воеводский сын молчал. Албазинцы хохотали пуще:

— Эй, лихой воин, вот поплывем мы в Дауры, будешь ты у нас в кашеварах!

Видя смуту и угрозы, воеводский посланец вышел на корабельный помост, снял шапку высокую стрельчатую, поклонился:

— Неславно, казаки, орете! Везу грамоту цареву, милостивую!..

Албазинцы давно знали о той грамоте, что привез первый гонец, о второй и не помышляли, оттого Ярофей сбил воеводского сына бранной речью:

— Ту грамоту оставь при себе, выкормок! Та грамота отца твоего, лиходея, злословная ложь!

Воеводский сын не стерпел обид, стал отругиваться:

— Острог ваш разбойный! Ставили его воры! Скиньте, казаки, Ярошку, идите под Нерчинск!

Албазинцы гневно отвечали:

— Головы потеряем, а нерчинских боярских детей править в Албазин не пустим! Тому не бывать!..

Воеводский сын кричал:

— Острог ваш сжечь надобно! Церковь божью разобрать! Вас же, воров, копьями колоть, саблями рубить, на кол сажать!

Албазинцы выхватили самопалы, для острастки пальнули по ветру. Воеводский сын сошел с помоста, спрятался в кормовую клеть. Казакам своим велел дощаники повернуть, плыть назад без боя.

Албазинцы посчитали приезд воеводского посланца плохим знамением, боялись прихода большой воеводской рати. Ярофей повернул корабли, и поплыли албазинцы скорым ходом обратно, чтоб укрыться в крепости и ждать осады.

Воеводский сын вернулся в Нерчинск посрамленный, от стыда с корабля до ночи не сошел, в воеводские хоромы прошел потемну, чтоб и на глаза не попасть

людям. Перед отцом пал на колени, клял воров, а царскую грамоту о милостях албазинцев хотел изодрать. Воевода устранился и грамоту от сына немедленно отобрал и спрятал в сундук. Казаки, которые ходили с ним в бесславный поход, громко похвалялись своими ратными доблестями и тут же, на кругу, таясь, говорили иное. Сказывали они нерчинским казакам, что у Ярошки Сабурова ратная сила велика, на бою храбра, а промеж себя дружна. Земли же албазинцев на Амуре-реке и привольны, и хлебны, и травны, и безмерно богаты. Многие казаки шептали:

— Безвоеводское житье их красно, тому житью завидуем!..

Воевода, обиженный неудачей, впал в хворь, в кручину. Лекарь лечил воеводе голову, пуская кровь по три раза в ночь. Воевода хирел, чах, в воеводскую избу не ходил.

Грозен враг за горами, а грозней того за плечами. Ходила по Нерчинску молва: воеводе-де Даршинскому на воеводстве не устоять, не минует его голова царского топора. Дошла та молва и до воеводы: сказал о ней ему лекарь. С той поры воевода с лежанки не вставал, охватила его горячка и страх. В страхе воевода и скончался.

Сел на воеводство своей волей сын воеводы Андрей: правил он по своему разумению, вел суд и расправу до той поры, пока не дознался царь.

Своевольного воеводу сменил сын московского боярина Петра Морозова Алексей Морозов.

ТАЙНЫЕ ПИСАНИЯ ЦАРСКОГО ПОСЛА

Осенний ветер гнал над степью тучи. Надвигалась ночь... Посольство Николая Спафария двигалось из китайской столицы Пекина на родину. Караван остановился на ночлег у китайского пограничного городка. Дорожная юрта посла тонула в темноте. Вокруг было безмолвно; все уснуло. Слышались глухие удары Гулоу — Башни времени.

Через слюдяное оконце дорожной юрты едва пробивался свет лампы. За черным складным столиком сидел, низко наклонясь, Николай Спафарий. Тихо шелестели толстые листы, скрипело гусиное перо. Часто свет мерк, фитиль лампы трещал, наполняя юрту чадом. Сидящий поодаль Николка Лопухов вставал, подходил к лампаде и ногтями ошпиывал обуглившийся фитиль. Пламя дрожало, захлебывалось, вновь вспыхивало, ярче бросая свет.

Николка Лопухов, преисполненный любопытства, смотрел на толстую книгу — тайну тайн премудрого царского посла. Посол писал в ней по ночам и хранил написанное пуще своего глаза. Однако, изнемогая в писании, нередко посол, склонив голову, засыпал. И отрок тихо подкрадывался к писанию, где скрыты были великие мудрости человеческие.

За долгий дорожный путь от белой Москвы и до китайского города Пекина послу полюбился отрок-трудолюбец. Писания же свои посол и от отрока старательно оберегал. Два же грека, взятые Николаем Спафарием из Москвы для помощи в писаниях, оказались ленивыми, и посол пренебрег их умением. Писали греки скудные дорожные описи, вели счет пройденному пути, сочиняли мелкие отписки и иные маловажные листы.

В эту ночь посол писал много; уронив перо из ослабевших пальцев, огорченно вздохнул:

— Силы человеку даны велики, век же короток...

Отчего человек пчеле подобен: в трудах чахнет, а меду сытного дает мало?

Отрок глаза опустил.

— Отче премудрый, отчего чахнешь в науках, какая от них тебе польза? И так ты достоин, богат и силен.

Поучал отрока посол спокойно:

— Отроче славный, ум свой незрелый питай науками многими, тем польются тебе сокрытая земли благодать и небес тайны...

Слушая речи, отрок душой разгорался, голову наклонив низко, лобзал сухие пальцы посла.

И случилось неожиданное... Посол положил руку на голову отрока, благословил его и подал ему свое перо:

— Отроче славный, возьми перо, трудись много, клади словеса мудрые, к чтению внятные. Помни, что написанное держать надобно в тайне...

Отрок торопливо взял перо, посол клал перед собой клочки бумаги, на которых вкривь и вкось нанесены были пометки и записи дорожные. Те пометки с великим старанием отрок вносил в книгу, долго вглядывался в слова, торопливо намеченные, либо по его уму мудреные.

А посол, склонив голову, дремал, прикрыв пологом усталые глаза.

Отрок, украдкой приоткрыв листы, жадно прочитал слова, рукой посла старательно начертанные на заглавном листе книги:

*Книга,
в ней описание первой части вселенной,
именуемой Азия, в ней же стоит
Китайское государство.*

А пониже — витая мелкая скоропись:

«А писана сия книга, когда по указу великого государя, царя и великого князя Алексея Михайловича, всея Великие и Малые и Белые России самодержавца, послан был из Москвы в Китайское государство Николай Спафарий».

Откинув первый лист, отрок прочел:

«В мире лукавства неисчислимы, как звездная роспись небес. Взгляни на озеро, оно ясно и чисто, а дно его утопает в мраке и черноте ада. Так и сердце лукавца: его не разгадать по синеве ясных глаз. Сердце человека пучине морской подобно, в нем мрак и темь...»

Отрок, уронив перо, позабыл о наказах посла, писание оставил, а начал безотрывно читать лист за листом.

Читая, то улыбался блаженно, сладостно, то, широко открыв удивленные глаза, оглядывался, то мрачнел, смахивая рукой непрошеную слезу.

Отрок, читая, шептал:

«Мая 15 дня.

Нешадно палит солнце. Добрая ли то примета? Караван наш подошел к стенам города китайского, нареченного Пекин. Встретил китайский князь и его конная стража, допустил лишь до ворот. Прехитро сузив щелки глаз, сказал: «Не сготовлены русскому послу и его людям достойные палаты». С горы оглядел я город Пекин. Город превелик, строением пригож, не в меру многолюден. Люд скопом ходит, подобно мурашкам по мурашинной кочке. Писание мое скудно, вина тому гордость и скрытность вельмож китайских, всюду мерещатся им подслуши. Русского глазу бояться пуще того, как бес страшится креста господня, а то и более. Мудра пословица: «Что под спудом сокрыто, то трудом будет добыто».

Мая 17 дня.

Терпение надобно многое. Гордость лозиною не переломишь. Сижу с людьми моими взаперти, в город ворота не открывают, пребываем в безделье и скуке.

Мая 18 дня.

Волею божьею караван наш двинулся к городским воротам. Миновали желтый песчаный вал, пошли подле Великой стены, около высоких башен; они расположены одна в ряд с другой на полет стрелы. Стена стоит толста; чтоб миновать ее, надобно пройти двенадцать больших ворот. Над воротами девятиэтажная башня с бойницами, на мостах стоят богдыхановы солдаты при мечях, пиках, луках. Улицы от многолюдства тесны, оттого впереди богатых бегут слуги, расталкивая толпу, расчищая путь господину своему, а которые пешеходы зазеваются, тех бьют палкой и плетью.

Посольству нашему для жилья отвели место самое кручинное, будто тюрьма, и караул поставили строгий. Памятуя о неудачах, отдаемся воле божьей. Чему быть — тому быть... Око всевышнего видит дела грешных.

Июня 15 дня.

Долгий месяц на исходе. По-прежнему взаперти сидим и муки злые принимаем. Зной разит, подобно пламени пекла, еду богдыхановы люди посылают плохую, воду — и того хуже. Немало людей посольства, в болезнях изнывая, ропщут, клянут судьбу. Гордость китайских вельмож безмерна, они часто приезжают, но о приеме богдыханом молчат. Этот долгий месяц не пропал для нас зря, книга наша сосуду подобна, наполняется соками мудрости, о чем прописано будет в своем месте. Молим бога о придании нам сил и здоровья, дабы уговорить лаской, тихо людей посольства нашего, впаваших в неверие и питающих злобы на нас, посла царского, уличая в черной измене и нерадении.

Июня 16 дня.

Сочтем за радость описать Великую стену китайскую. Но прежде всего напишем немногими словами о Китае и китайцах.

В первой части, именуемой Азией, и стоит государство Китайское, его китайцы Китаем не зовут, а нарекли его Чжун-го, что означает Серединное царство. Китайские мудрецы в гордости считают свое царство на свете самым главным, и, мол, стоит оно на середине Земли над всеми царствами владыкой... А китайцами себя тоже не зовут, а нареклись жень, на наречии нашем — человек Серединного государства.

Китайское царство в России с древних времен прикосновенно было через мунгальские степи; беглые же казаки Ярофея Сабурова с товарищами рубежи русские установили по реке Амуру. Китайцы Амур-реку называют Хэйлуңцзян, а мунгалы — Карамурен, или Черная река.

Китай — страна великая, людей в ней много, и люди разны: китайцы, маньчжуры, мунгалы. А какая у них земля, лес, реки, и как работу ведут, и как наукам обучены, и каких воинов, и сколько богатств имеют, то в своем месте опишем доподлинно.

Вновь начнем писать о древней Великой китайской стене. Стена та чудо из чудес рукотворения человека на земле. Чтоб скрыться от грабежей и убийств черных мунгалов, воздвигли китайцы ту каменную стену тому 2500 лет назад. Китайцы именуют ее Ванличэн — десять тысяч верст, а мунгалы Калга, оттого стена и прозывается Калганской, на нашем речении Превеликая ограда. Строение громадно, и на земле равного не сыскать. Стена перекинулась через горы, леса, пустыни, степи, болота, реки от мунгальских рубежей до восточного моря-океана — на пять тысяч верст. Зубцы ее столь высоки, что, подняв голову, глядишь ввысь удивленно; толщиною же чудно велика: по ней возки и коляски по три и более вряд едут, и всадники скачут, как по широкой дороге.

Китайцы, описуя стену, гордо похваляются: во время строения такой громады не оставалось в горах камня, в степях — песку, а в реках — воды, в лесах — деревьев. Тому хвастовству поверить можно: неисчислимое количество людей созидало ту стену. Оглядываем стену, сколь мудро она выложена, дивимся долготерпению трудов, умению китайских работных людей возводить крепости и красоте этой каменной громады.

Июня 17 дня.

В прошлом описании запомнили мы пометить о титулах богдыхановых, то пропишем тут. Царских титулов у них два: один с точкой прописывают, а другой без точки. Разность довольно важная. Хан-царь, без точки прописанный, — самовластный хан, а с точкой — то подданный. Обиды ради, великого русского царя прописывают богдыхановы писцы с точкой. Какова гордость! И сколь такая наглость обидна нам, Руси сынам!

Июня 18 дня. Утро.

На двор еще до зари приехал посланец от богдыхана. Молитвы наши терпеливые услышаны. В одежды новые нарядившись, готовы предстать перед лицом китайского властелина...

Июня 18 дня. Вечер. День окончился горько, день — полынь-травы... Богдыханова приема и ныне оказались мы не удостоены. Посланцы его придворные бояре, родичи лукавые — повелели строго и грамоту и подарки наши положить на отведенное место в саду богдыхановом и вернуться нам на свой же двор. Сызнова пребываем на своем кручинном дворе и сызнова под караулом. Засветив лампаду, с отроком Николаем Лопуховым ревностно предаемся писанию, тем коротаем долготу ночи.

Июня 19 дня.

До рассвета прибыл на двор богдыханов главный боярин со многими слугами. С паланкина не сошел, открыв дверки створчатые, кричал громко:

— Как в России кречетов ловят? У какого зверя есть рыбий зуб, что в подарок великому богдыхану ты привез?

Получив ответ, боярин со двора спешно уехал. Почтем за мудрость нашу догадку: богдыхан и его ближние прошедшей ночью не спали, читали грамоту московского царя да тешились подарками нашими, обособливо рыбьим зубом...

Июня 20 дня.

...День полнолуния. Этот день чтут китайцы особенно, а потому и назначили торжественный прием нам, послу царскому с детьми боярскими. Приметный день в скитаниях наших, о нем многое написать можно, что исполним на своем месте, на вкладных листах.

Июня 22 дня.

Не сыскать людей, которые бы корыстью и завистью не объаты были. Богдыхан, чести нашей ради, послал к нам своего приближенного боярина асканью-амбаня. Тот асканья-амбань, преисполненный любопытства, расспрашивал о русских людях: как они живут, что едят, каковы их жилища, храмы и иное. Видя жадное горение его глаз, дали мы ему подарки: саблю с золотой оправой, кафтан, русские монеты да шапку серебряного шитья. Пригожий подарок сделал асканью-амбаня другом двора нашего и частым гостем. Многие тайны, ревниво оберегаемые китайцами, отныне в книгу нашу помечены будут доподлинно.

Истинно гласит пословица: «Коль не по сердцу руса коса, обворожат сини глаза».

Почтем за важное описать китайских советников, которые при дворе богдыхановом за первейших лиц почитаются, то иезуиты-латыняне. В Китае иезуиты посе-

лились с давних времен. То чудно, но истина... Иезуит Адам Шаль покорил сердце китайского богдыхана мудростью своего ума: иезуит так учен, что безошибочно говорит о будущих солнечных и лунных затмениях, угадывает погоду, составляет календари-леточислители, отликает для китайской рати пушки. Богдыхан поставил его главой математического трибунала: в Китае этот чин столь велик, что почитать его потребно превыше самого первейшего князя. Таков же умом и сноровкой помощник Адама Шаля иезуит Фердинанд Вербист.

Тихо на ухо говорил нам тот Фердинанд Вербист богдыхановы о нас думы и премногие тайны жизни Китайской страны. Вербист много учен и разумен, в реченьях разных государств и народов силен.

Ради веры Христовой Фердинанд Вербист, а с ним и иные латыняне, что проживают в Китайщине, возгорелись к нам, послу русского царя, душевной любовью. Единоверцы во Христе ругали китайскую идольскую веру. Служа китайскому богдыхану и находясь у него ближним советчиком, Фердинанд Вербист принял за радость оказать нам тайно подмогу в делах наших. Обещал Вербист послать через нас в Москву тайное тайн богдыхана — чертеж и описание Китая. Страшно нам такое деяние!..

Но ум наш мутит любопытство, желаем получить для Руси тот драгоценный чертеж...

Говорил Вербист о своих и других иезуитов злочлечениях и муках. Считаю надобным на вкладных листах описать их житье. Десять лет тому назад всех иезуитов, а с ними Адама Шаля и Фердинанда Вербиста, богдыханова стража ночью схватила. Их забили в колодки и бросили в тюрьму. Причиной тому стала вера и учение иезуитов о спасении души человека. Иезуиты поучали, что род человеческий исходит от первого еврея — многострадального Адама. Тогда сыскался ученый китаец, сотворил толстую желтую книгу, в ней призывал убить иезуитов-изменников, ибо они, ведя весь род людской от Адама, тем самым и великого богдыхана почитали за выходца из Иудеи и за еврея.

Книга та возымела силу непомерную, потому что тот ученый китаец тысячу листов исписал, привел родословные всех богдыханов от начала веков, иезуитское учение опрокинул. Богдыхан и его ближние, прочитав книгу, запылали безмерным гневом на иезуитов, посмевших бросить черную тень на светлый лик богдыхана.

Адама Шаля и Фердинанда Вербиста осудили. Помня их ученые дела, богдыхан смилостивился и казни легкой повелел отдать. Он приказал укоротить рост того и другого иезуита на одну голову. Ту казнь придворные князья богдыхана сочли за большое милосердие императора, требовали суровой казни, завещанной предками. Богдыхан слово свое изменил: повелел вывести изменников-иезуитов на площадь Конфуция и перед толпой разрубить Адама Шаля и Фердинанда Вербиста живыми на две тысячи кусков каждого.

Величию божию нет предела, и волосок с головы не может пасть, ежели на то не сталось воли всевышнего. Разразилось в Китайской стране землетрясение. Китайцы приняли это за худое знамение. Богдыхан послал своего дядю в тюрьму к Адаму Шалю, чтоб тот сказал, отчего дрожание земли приключилось. Адам Шаль ответил кратко: «Если великий богдыхан и впредь будет считать за истину книгу глупейших, небо пошлет невиданный пламень, от которого на Китайской земле, окромя пепла, ничего не останется...»

И тут же добавил, чтоб дядя попросил богдыхана заглянуть в старые мудрейшие книги. В них, мол, прописано о том, что пришельцы не однажды спасали великих ханов. Назад тому четыре века славные венецианцы братья Николай и Марко Поло построили для хана страшную осадную машину, метавшую камни в пятьсот

пудов. Те машины, метнув камни, рушили начисто стены, дома и иные строения, грохот их был подобен грому. Мудрые венецианские братья Поло помогли покорить несокрушимый великий город Сианьфу.

Богдыхан и его ближние перепугались насмерть. Держали иезуитов в тюрьме, боясь исполнить над ними казнь. Ожидая казни, Адам Шаль и Фердинанд Вербист сочинили книгу, в ней злоучение того китайского мудреца повергли в прах. Сызнова иезуиты получили почет при дворе китайского императора, а Фердинанд Вербист богдыханом Кан-си удостоен был имени премудрого советника.

Памятую и другое: отменно лукавы иезуиты. Во многих государствах деяния их нам ведомы. В мудрых книгах прописано: «Иезуиты змеям коварным уподобились, прегрешения тяжки верой Христа прикрывают». То как? Не улащает ли Фердинанд Вербист добротой и лаской нас, посла Руси великой, ради иных происков и помыслов злонравных? Пресветлая Матерь Божья, не суди мои прегрешения, темные подозрения к единоверцам. Тревожат сердце мое приметы отцов наших премудрых, они поучают: «Не ищи души у змеи, труд напрасный — не сыщешь...»

Писание мое, столь многое, прерву: перо от усталости худо пишет. Отрок, склонив голову, безмятежно спит. В оконце пробивается утра пресветлое сияние.

Июня 23 дня.

День сумраку подобен. Богдыхановы приспешники караулы добавили, тому причиной алчность китайских купцов, разглядевших товары наши, особливо меха зверей сибирских.

Июня 24 дня.

Происки асканьи-амбаня опечалили наших людей. От его лиходейских происков китайские купцы не приходят и торговли с нами не заводят. Посланец двора творит злые измышления, чтобы товары наши в ценах сбить и задаром отобрать да поделить среди ближних богдыханова двора. На ухо сказал Фердинанд Вербист тайну: китайскому богдыхану товары наши поглянулись, и наказал он купцов на двор не допускать, цены сбивать низко.

Июня 25 дня.

Ропот в посольстве нашем велик. Иные бранят порядки Китайского царства, иные нас, посла государева, клянут и позорят угрозами. Вот, мол, гордость посла непреклонная родила у богдыхановых людей злость и презрение к русским посланцам. Оттого и неуспех во всех делах: и торговых и государственных.

Июня 26 дня.

Товарам нашим нет покоя: их щупают, нюхают, разглядывают алчными глазами, царапают ногтями, цену же против вчерашнего сбавили вдвое.

Июня 27 дня.

Нас, посла царского, с малым числом людей посольских отпустили за ворота и под караулом разрешили гулять городом, оглядеть его строения и иные диковины. Милость эта столь радостна...

Июня 30 дня.

Сочтем за славное торопливо пометить о виденном глазами нашими, о китайцах и их житье. Дивились мы диву многому, и всего не упомнишь. Однако начнем с городских строений. Город велик и поделен на три стороны. Первая сторона называется Цай-чжу, на языке нашем — Богатая. Строения каменные, крыши, кверху концы загнувши, стоят, шапкам стрелчатым подобны; ограды резьбой изукрашены; на столбах идолы стоят; вокруг сады цветут, и воины при пиках хранят входы и выходы. Живут тут китайские бояре, купцы самые премного богатые, богдыхановы родичи, дядя богдыханов и его жены. Жен у него больше восьмидесяти. В эту сторону люд рваный, нищих и бродяг придорожных не пускают, а тех, кто попадает, бьют

нешадно, до смерти и, убив, тело бросают в реку, а голову вздевают на кол. Среди богатых строений есть площадь, китайцы ее именуют шепотом Сутанг, на нашем языке Тайная. Львы гранитные вырезаны с великим художеством, ростом громадных, стройны, лучше того и быть не может. На этой площади исполняются казни.

Поодаль, подобно райским кушам, цветут славные сады богдыхана, а среди них стоят его дворцы: малый и большой. Стены обоих пурпурного цвета, а крыты те дворцы оранжевыми фарфоровыми крышами. Вокруг малого дворца строения пригожие, изукрашенные тонкой резьбой и красками крыты светлыми, оттого и сияют красотами на солнце: то хоромы богдыхановых жен и наложниц. Не сочту за срам написать о женах богдыхана, хоть это в тайне китайцами содержится. У богдыхана одна жена, ту именуют первой женой, кроме нее, имеет он еще тридцать шесть жен — то молодые жены, и еще вдвое больше последних — то наложницы. Первейшая жена может сидеть и пить и есть за одним столом с богдыханом, прочие жены, как богдыхановы сожительницы, приставлены к первой жене и старательно ей служат. Дети же от всех жен не знают иной матери, кроме первой жены богдыхана. У богдыхана сорок сыновей, не считая дочерей. Все жены живут взаперти, в строгом заключении, охраняют их евнухи, коих при дворе множество, более трех тысяч.

Вторую сторону города нарекли Цюнь-жень — Бедности место. Проживает там люд нищий, мошкаре болотной подобен, грязно и тесно. Хижины малы, бедны, из глины и травы речной сбиты. И столь их много, не видно ни конца ни края, а улочки узки, забиты людьми плотно, особливо детьми, которые голышами бегают, еды ищут, копаясь в навозных кучах. Нищих, бродяг, калек и иных убогих, да скоророхов, да фокусников-волшебников бесчисленное множество, будто со всего света сюда согнаны. Праведно слово древнего китайского мудреца Лао Цзы: «Если дворцы очень великолепны, то поля очень запущены, закрома пусты и люд гол...» Китайцы слово мудреца чтут.

На чистом листе пометим сокровенную тайну двора богдыханова, о ней с великой утайкой да оглядкой сказывал нам Адам Шаль; об этом слышали мы и от князя тунгусского Гантимура, вставшего под всеильную руку государя нашего. Поведали нам, что-де император Серединного царства, нареченный «Сын неба», не китайских кровей. О, горе, горе китайцам, прогневили всевышнего, в правители себе нарекли иноземца из разбойных маньчжур, кои повоевали Китай и стоят на царстве твердой ногой. Всюду китайцам лихо: богдыхан благоволит маньчжурам, непокорных китайцев казнит мечом и огнем; землепашцев, работных людишек нещадно теснит, давит поборами. Оттого ремесленники голы, землеробы голодны, купцы мелки — нищает царство; шатание и брожение в нем морскому ветру подобно, коль налетит, спасения не жди. Китайцы точат ножи, острят пики на богдыхана, его зловердных родичей да на тех ублюдков — вельмож китайских, кои продались маньчжурам, радиво им служат. Кровь льется многая.

Отпишем со слов того же Адама Шаля скорбное диво: в южной стороне Китая есть города на воде — то вместилище злосчастных бедняков. Река сплошь усеяна лодками с шатрами, лодки стоят густо, борт о борт, и в тех лодочных городах живет рыбацкий люд. Китайцы, однако же, самые искусные рыболовы на белом свете. На берегах им места не отведено ради малоземелья, потому на воде и родятся и умирают.

Но великому чуду подобно, что все те строения на воде сияют в зелени цветов, плодов и деревьев... Китайские землеробы стараниями безмерными возвели на реке плоты многие, а на плоты наносили земли, и земля та сама, питаясь водой из реки, дает столь зрелые плоды, что описать не можно. Ели мы с тех плотов лук, по сла-

дости с яблоком русским сходен, а ростом велик, больше репы. Дыни слаще меду, цветы чудные: и пригожи и душисты, а от того цветного духу, от всех огородов и садов разносится благовоние на многие версты...

А китайцы землепашцы славные. Уронив в землю зернышки, вырастят из них, ползая по полю и перебирая землю руками, сам-двадцать, а то и более. Оттого сеют вместо нашего лукошка из бамбуковой дудочки. Дудочка та искусно сделана, зерно кладет ровной тонкой нитью, лишнего не обронит, семя дурной травы в себе задержит. Китайские землеробы — истинные трудолюбцы полей: и в жару палящую и в дождь резучий в земле копаются неотлучно... Соки у земли норовят отобрать до отказа и, чтоб вернуть земле силы плодovitости, удобряют, поливают, чистят и холят ее пуше, чем дитя родное. О земле говорят ласково и детей с малолетства к тому же клонят. Помнят завет древневекового мудреца, имя его запомнил, слова его праведны: «Пот и слезы людей — кровь земли. Отдай ей это, иначе она умрет, а с ней умрут и люди...»

Плоды китайские землепашцы выращивают чудесны: крупны, сочны, в еде сладки, однако ни в единой стране таковых не сыщешь.

Люд же китайский, хоть от земли плоды берет во множестве, беден и нищ без меры. Усмотрели мы такое лихо, оно тем горше, чем больше видишь законы богдыханова царства. Простой люд почитается у них хуже животных. Фердинанд Вербист видел один китайский обычай, страшный, кровавый.

Когда умирает богдыхан аль близкий его родич, мертвеца несут в священную рощу, впереди идет сто ножовщиков, они убивают всякого, попавшего на пути. Когда умер старший дядя богдыханов, было велено покойника нести не дорогой, а полями, где трудились множество хлебопашцев. Ножовщики зарезали десять тысяч мужчин, женщин и детей. Поля покраснели от крови, трупы мешали шагать, рыдания и вопли огласили горы и долины. Богдыхан сказал: «Я рад, что десять тысяч чистых душ будут служить в раю у трона моего дяди...»

Июля 1 дня.

Пропишем еще о чудесах рыболовных. Китайцы разным наукам обучены, однако в рыбной ловле всех народов опередить смогли. То истинно. Есть у них птица домашняя, схожа по образцу с нашим бакланом, шея у нее долгая, клюв большой, глаза жадны. Ту птицу китайцы научают, и она рыбу ловит, как собака зайцев. Чтоб птица рыбу от жадности не глотала, кладут ей на шею кольцо железное, и то кольцо рыбу в глотку не пускает. Птица же, поймав рыбу, бросает в лодку. Когда же в реке рыбы идут на икромет табунами, птицы-рыболовы свирепеют и друг друга рады расклевать... За тех птиц китайцы дань богдыхану платят, столь эта птица по хозяйству доходна. Окромя ловли рыбы, китайцы славно ее плодят. В мае месяце на судах рыбаки мальков доставляют и продают, а люд, купив мальков, пускает их в озера и кормит, пока не вырастут.

Посчитаем за должное описать строение больших судов, ибо много мудреного в них есть. Те суда сделаны словно палаты превысокие, деревянные, по сторонам разделены на чуланы, и там стоят столы и стулья. Двери и окна вырезаны искусно, расцвечены красками, золотом и серебром. А вместо слюды врезаны гладкие раковины морские, а для светлости и блеска шелковая ткань, варенная в воске, а по шелку пригожие писаны птицы, рыбы, цветы и иные красоты. А по бокам суда перила столь мудрены, решетчатые, диву дивишься...

Обрели мы счастье и оглядели китайских жонок и девиц, они прячутся с большим старанием в хижинах.

По обличью скуласты, желты, узкоглазы, ростом мелки, телом тонки. Есть иные и пригожи, белят мелом щеки и губы пунцуют. Одевание носят чудное: штаны

долгие шелковые, телогрейку короткополую, все расцвечены листьями, цветами, рыбами, птицами и иными пригожестями. Кроены и шиты смешно. Волосы черней смолы, сплетены пречудно, ни в одной стране не видывали мы таких. У иных жонок вверх заплетены, схожи с башней высокой, у иных — широкое сито; у иных жбану квасному уподобились, есть такие, что носят на голове целую копну... Зачески те драгоценны и трудами жонок возводятся единожды в полгода, а у иных в год. Чтoб не нарушить такую прическу, жонки китайские спят, под голову полено подложат.

Довелось нам увидеть и обед китайский. Столы низкие, а сидят китайцы на полу, на ковриках. Ложек не имеют, а едят искусно палочками, как тонкими спицами. Кушанья варят разные: рис, рыбу, мясо мелкокрошенное, огородну зелень. Вместо хлеба едят лепешки и лапшу.

Но любимая еда китайцев — рис. Рисовую еду почитают они за великую благодать, а потому при встречах никто не скажет другому: здравствуй, или: как поживаешь? Встречный, низко голову наклоня, промолвит: «Чила фань?», что на наших словах будет: «Кушал ты рис?» Посчастливилось нам разглядеть одну китайскую поварню. От зависти мы на нее глядели долго, сколь просто и мудро она сделана. На огне кипел котел, в нем китаец варил свиную похлебку, на котле стояло бамбуковое решето, в нем паром варился рис, сверху — еще решето, в нем — лапша, над лапшой — опять решето, в нем огородные плоды, схожие с нашей репой. Котел кипел, и варилось четыре перемены еды зараз. Сколь ладно надумано!.. Фердинанд Вербист говорил нам, что иные умудряются варить шесть перемен. У важных китайцев — купцов, бояр, князей — любимая еда: похлебка из ласточкиных гнезд, похлебка из плавников акулы, жареные черви. Тот же Фердинанд Вербист с горечью сказал: черная беднота, босой, рванный и нищий люд о переменах еды не помышляют, а едят все, что родит земля и вода: змей, ящериц, червей, саранчу, траву речную и морскую, листья, улиток и иную погань. Обычаи у китайцев при еде круты. За столом сидит только мужской пол: старики седовласые и юнцы с черными косичками на затылках. Женщины же, и молодые и старухи дряхлые, чинно стоят за спиной у мужчин и только смотрят. Когда мужской пол насытится и уйдет, женщины хватают чашки и с жадностью доедают остатки. Обычай этот прेमного суров, хуже, чем на Туретчине...

Но это в описании китайских жонок — цветики, а плоды зрелые впереди, и на своем месте в описании нашем старательно помечены будут, ибо пальцы худо перо держат и ум от усталости мешку пустопорожнему подобен. Оттого писание прерываем.

Июля 2 дня.

Обещанное сотворим и опять начнем писать о китайских жонках. Оглядев со старанием ходящих по улице китайских жонок, дивимся мы невиданному... Шагают китайские жонки мелко, шатаются в стороны, словно утицы подбитые, и руками хватаются за прохожих и строения, а чаще по две ходят, чтоб не упасть. На ногах слабы, ребенку малолетнему уподобились. И узнали мы причину тому лиху и вздыхали много, а юноша наш, Николай Лопухов, так громогласно возопил, что китайцы посчитали его за скудоумного. У китайских жонок ножки дитяти-малолетки, и столь они малы, что обуты в крошечные башмачки. Китайки за честь и гордость почитают такие ножки. А как родятся у них те ножки, то в превеликой тайне держат. Нам же тайны открыл Фердинанд Вербист. А пометы о том в писании класть сил наших нет, ибо слеза падает и в сердце холодит, столь страшны муки принимают китайки, чтоб поиметь те малюткины ножки. Едва родится девочка, ножки ее малы; приходит злосчастная бабка-повивалиха, взяв лоскут бычьей кожи, в него зашьет ножку, а поверх холстиной крепко окутает, и те повязки не снимают до старости. Дитя рас-

тет, а ножки, как были у малютки, так и остаются. Фердинанд Вербист сказывал: девочки в муках корчатся, жалобно стонут, особливо в лета с пяти до двенадцати от роду. Однако чем меньше ножки у китайской жонки, тем пригожее она почитается. Самые малые ножки, с полтора вершка не более, велика честь и радость китайских жонок. И такие ножки называли они Хуа-Цзинь-Цза — Золотая лилия.

Описав об этом Азии обычае, казни равном, перо бросаю, ибо словеса складно на лист не идут. Юноша же наш, Николка, ему мы поведали тайну китайских жонок, плачет слезно — слезы отроку прощаются: сердцем он ласков, душой кроток и много жалостлив.

Июля 4 дня.

Пометы кладем спеша. Хоть и жара нестерпимая, шубу на плечи вскидываем. Таков обычай. Посольство наше богдыхан пред свой престол зовет. Какова удача обретет на этот раз?

Уповаем на бога...

Июля 6 дня.

Поход наш к богдыхану остался без удачи. Неуспех велик, и тяжек конец. Царь китайский молод, и хоть умен и учен, заносчив и не в меру горд. Мы же, посол царский, в холопство перед ним не пали и честь Москвы и русского царя держим крепко. Царь же китайский лукав и скрытен. Фердинанд Вербист успел нам шепнуть, что хоть китайский богдыхан и молвит о пресветлом царе Руси и его грамоте непотребное, ближним же своим наказ дает тайком и поучает их так: «К отцу моему не бывало эдаких грамот от белого царя; надобно эту грамоту в стараниях беречь, как самую предобрую весть».

Китайские князья да бояре безмерно упрямы, тому упрямству их не сыскать пределов. Повелевают беглеца Гантимура им вернуть, а то-де Гантимур вам дорого станет, и кровь прольется большая.

Товары наши по-прежнему ругают и бесценят: и соболей, и лисиц, и сукна, и кумач.

Каковы упрямы?!

Июля 10 дня.

В суетах провели мы день до ночи. Китайский живописец с нас, посла царского, писал лик и одеяния. Асканья-амбань увещевал, говоря, что обличье наше китайскому богдыхану для его золоченых хоромин надобно. А еще сочли за возможное дать богдыхану икону Спаса святого для знакомства. Люди посольства нашего посчитали это за богохульство и дела наши противобожьими; грозятся нас, посла царского, в ересь попутать и ложное кладут и угрожают нам, особливо Никифор Венюков и грек Спиридон. Истинно в писании помечено: «Слепцам всюду рога тины чудятся».

Июля 11 дня.

Фердинанд Вербист с тайным человеком прислал нам грамотку, в ней писал о новых происках богдыхановых близких людей. Кровные родичи, сановники китайского двора, а с ними и сам богдыхан всю ночь думали, как отписать ответный лист русскому царю. Тот лист сотворил дядя богдыханов, в нем прописал грубости и обиды престолу светлого русского царя.

Поутру приехал асканья-амбань, и наши дары, данные богдыхану, обозвал данью. Отдарков не дал, а повелел встать на колени и принять от него поминки, какие даются победителем в позор побежденному. В гневе те поминки мы отвергли, сказав:

— Кажется нам чудом, что богдыхан счел подарки великого русского царя данью. Весь свет знает: великий царь Руси и могуч и богат, от многих народов дань получает, сам же никому никогда не платит и не платил.

Памятуя слова государя нашего, Алексея Михайловича, сказанные нам при отъезде посольства, мы доподлинно передали их вельможным людям богдыханова двора: «Бог благословил и передал нам, государю русскому, править единой и великой Русью и с гордостью и правдой рассуждать со всеми странами на Востоке, на Западе, на Севере и на Юге...»

Асканья-амбань в обиде ответ держал таков:

«Богдыхан — суть бог земной, равного ему на земле не может быть». Асканья-амбань приказал собираться к отъезду из Пекина в Москву, пока богдыхан не разразился гневом, от коего спасенья-де никому не сыскать.

Вечером, хоронясь, пришел к нам Фердинанд Вербист. «Богдыхановы люди, — молвил он, — прослышали о расколе в русском посольстве и тому рады». Мы проведали у Вербиста, каковы скрытые думки богдыхана и его советников, спросили, боится ли он русской силы? На то Вербист клялся: маньчжурь перепуганы силой и храбростью казаков на Амуре, строением славной крепости Албазин, она стоит скале подобна. Листа ответного русскому царю не отпишет богдыхан, дабы можно пойти войной и крепость разорить, а казаков повывести вконец, земли по Амуре-реке захватить...

Июля 15 дня.

На дворе посольства нашего шум и переполох. В паланкине, шитом шелком, принесли носильщики колая — главного богдыханова посланца, мужа важного, надутого, строптивного. Повелел колай собрать немедля всех людей посольства. Из паланкина кричал тонкоголосо:

— Будете ли грамоту богдыхановой светлости принимать, упав на колени?

Люди нашего посольства молчали. Колай пуще гневился, кричал громче. Тогда грек Спиридон, а с ним и другие в робости отвечали:

— Будем!

Мы же, посол царский, тому воспротивились:

— Такому позору не бывать! Как писан лист великому царю будет? И не написано ли в грамоте обид владыке Руси?

Колай, словно оса жалючая, вскипел, замахал рукой:

— Принимайте, как мы повелеваем!..

Грек Спиридон и его ближние, числом малым, сказали колаю:

— Пусть писан лист по-вашему, примем! Посол Николай нам не указ. Мы дети боярские!.. Сами по себе властны!..

Иные же люди посольства противились, отвечали:

— Не примем! Царскому послу подвластны!..

Дабы лист тот позора ради не принять, надумали мы хитрое, требуя до зари будущего дня помешкать, — мол, мудрость древняя такова: «Многажды примерь — единожды отрежь».

Июля 16 дня.

Заботы наши тщетны, товары царской казны и людей посольства, как и прежде, мертвой грудой лежат при дворе. А богдыхановы люди лукавством преисполнены, на уме держат думку свою: тот товар при нашем спешном отъезде задаром иметь.

Памятуя о наказе государя нашего: сыскать в Китае для царевой казны преславный камень — чистый лал, мы с большим старанием тот наказ желали выполнить. Купцы китайские каменьев-лалов казали много. И те камни мелки и светом тусклы и негожи. Сыскался человек кровей латинских, тот человек скрытно поведал: есть-де камень-лал, сиянию солнца подобен, ценой тот лал дорог и у посла казны-де на то не хватит. Купцы родовиты Голландского царства тот лал купить не смогли: столь дорог. Молвили мы, что потребно лал принести, дабы разглядеть его красоты и сияние. Лал, в ларчике скрытый, китайский купец доставил нам в вос-

кресенье. Открыв дверцы ларца, увидели мы чудо: лал солнце-лазурный, со светлой каплей родниковой сходен и ростом велик. Такого лала на земле, окромя этого, не сыскать... Зачали мы с купцом вести торг долгий. Цену купец поставил восемь тысяч лан серебром. Бились мы в поте лица с купцом более двух недель, и для казны царской купили тот лал — изумруд великий и славный — за три тысячи лан. То доброе дело сотворили.

Июля 25 дня.

Богдыхановы посланцы в дерзости ругали нас, посла царского. Прислав подарки для государя русского, велели выйти во двор и пасть на колени, хоть лил дождь и грязь вокруг была, оттого многие стали коленями в грязь. Богдыхановы посланцы горделиво глядели на то позорище. Сочли мы это за предерзость, ниц не падали и колени в грязи не марали.

Богдыхановы посланцы кричали и грозились, и оттого наши люди, не желая и дальше сидеть взаперти, все на колени пали, мы же, посол царский, дабы не обронить чести русского царя, положили в грязь подушку бархатную и на ту подушку одно колено преклонили, приняв опись подарков богдыхановых.

Грамоты же великому государю богдыхан не послал, и колай молвил, что слово богдыханово: ждать с три и более недели. Указ и слово его непреклонны.

Каковы муки?.. И каково надобно терпение?

Август 23 дня.

Богдыханов скорый посланец вести принес и радостны и горьки. Великий богдыхан велел русскому посольству собираться немедленно к объезду. А листа великому государю отписываться-де не будет, и посла царского Ни-ко-ля за грубияна считает, и впредь для эдакого посла все ворота в Китайском царстве запрет наглухо...

Сентября 3 дня.

Сборы наши коротки. Китайские вельможи отменно злобны, и гонят нас прочь со своей земли. Приехал важный посланец от китайского властелина и громкогласно молвил: «Коли вы в ночь не оставите города, вытолкаем вас силой, на то богдыханово слово дано. А товары ваши бросайте где хотите: телег, лошадей, верблюдов давать не велено...»

От таких подлых угроз товары наши богдыхановы родичи и иные его близкие люди ценою дешевой купили. К заходу солнца доставили посольству нашему сто телег, сто пятьдесят лошадей, сто верблюдов и быков. Из города нас выгнали.

Отслужили молебен дорожный. Сердцем воспрянули люди посольства, памятуя о долах, горах, городах и селениях Руси пресветлой. Нам же, послу царскому, горечи разъедают сердце пуще острого железа. Ради упрямства богдыхана и его злонравных советчиков дела государевы, кои потребно было с китайским владыкой уладить, по-прежнему в разрыве остались. Хитрости наши и старания многие оказались пустыми. Честь же народа русского и могущество Руси, слава государю, не уронили мы, и пусть властелин Китая и впредь помнит, что Руси коленопреклонной ему вовек не видеть. Истинно в мудрых книгах помечено: «Оглядишь, кого гонишь, не пришлось бы перед гонимым на колени пасть».

А что прописано нами в сей книге о Китае и китайцах и прибавлено на вкладных листах, сгодится на долгие времена, ибо, взяв перо, поклялись мы перед иконою Спаса помечать виденное и слышанное доподлинно. И хотя со спесивой гордостью богдыхан китайский похваляется мужеством и славой, и что-де он на всей земле един царь, а все иные царьки малые, мы же, посол Русского государства, с помощью божией тайны многие прознали и в книгу положили. Не страшны Руси пресветлой гордость и угрозы богдыхана. Маньчжурский его трон стоит на горе, а гора-то огненна, а огонь-то раздувают китайцы, а китайцев-то тьма-тьмушая. Не сгорела

бы та гора дотла. Зря богдыхан нашим, посла русского, терпением пренебрег, зря надувался и грозился; от грозы завсегда все врозь, а русские в кучу. Помечаем в книге накрепко, то и государю нашему сказывать будем: жить надобно с китайцами в мире, однако рубежи наши не уступать».

Гаснет лампада. В сумерках тени серы. Николай Лопухов, закрыв крышку тайной книги, озирается пугливо. Тихо... Спит царский посол. Отрок снимает с шеи повязку, в нее кутает бережно мудрую книгу. Открыв дорожный ларчик, книгу прячет. Ларчик кладет под голову. Сон далек... Николай Лопухов не закрывает глаз.

Чудеса Китайской страны плывут перед ним, как стая облаков на небе лучезарном. Отрок оглядывает старца: в нем заложен мудрости клад и трудолюбие беспредельное. Отрок тихо поднимается и, взяв свою шубу, ласково покрывает спящего старца. А сам, подойдя к оконцу, встречает утреннюю зарю в радости и гордости, не чувствуя усталости после ночного труда. Слышно ржание лошадей, крики верблюдов, людской гам. Караван собирается в далекий путь.

Путь тот на Москву...





АЛЕКСЕЙ
ЗВЕРЕВ

ГАРУСНЬИЙ

ПЛАТОК

Повесть

ПАНТЕЛЕЙ

Рассказ

ГАРУСНЫЙ ПЛАТОК

Лиде

Гнедко долго служил деду Ефиму Васильевичу. Кроме лесной работы — ореховой, ягодной, дровяной — дед занимался знахарством, и Гнедко знал многие дворы ближних сел. После, служа Миньке, конь подворачивал к чьему-нибудь двору, и Минька ворчал:

— Вот беда. Деда и тут ночевал.

Иногда дед брал с собой Миньку, сажая его за седло на потничок, и так они ездили и день и другой. Дед хрипел, сипел от грудной жабы, но курил и выпивал, потому что выпивка была платой за лекарство и травы. Зимой Минька привез деда под тулупом, уже неживого, и с тех пор Гнедко, и дом, и сестра Лидка, и бабка Ольга должны были блюстись новым мужиком в доме — Минькой. Так распорядилась война, что Минька, как помнит себя, готовился стать хозяином. Отца убило в финскую, до памяти его, и дед внушал: «Ты за него хозяином будешь». За полгода до смерти дедовой умерла мать, и опять дед говорил: «Все идет к тому, что тебе в доме хозяйничать». Вот она и пришла, пора.

Миньку прежде всего обеспокоил малый зародок сена — хватит ли его на зиму, — и он установил порядок: сеном распоряжаться единолично. Ни бабке, ни Лидке к сену и ногой не ступать, потому что при деду навькли они подворовывать сена для коровы. Теперь Минька половину времени проводил с Гнедком, и думы разные не покидали его. Когда подходил к главной думе, Минька вздыхал, вздыхал и Гнедко, отдувая круглое желтоватое брюхо и обдавая парнишку теплым дыханием. Казалось, конь знал все, о чем думал Минька: что дом, клочок пашни, бабка с Лидкой и забываемая школа — все зависело теперь от них двоих, от их сытости и здоровья. Когда пришел сосед просить коня, Минька сказал:

— Так не дам. Неси вязанку сена.

А с теткой Настей Минька пошумел. Та привыкла по-родственному коня брать не спросясь. Так и теперь — вошла во двор, запрягла коня в сани и распахнула ворота. Не выдержал Минька самовольства и выскочил из избы голоушим.

— Ты куда коня запрягла?

— Куда же, как не за дровами? — ответила тетка.

— А пошто не спрашиваешь?

— У тебя ли, чо ли, спрашивать?

— А хоть у меня. Сена не косишь, а конем распоряжаешься.

Минька захлопнул ворота и взялся за повод. Тетка отталкивала парнишку, даже по щеке зазвездила. Минька помучнел лицом, помутился глазами, не мог слова сказать от волнения и от дрожания губ — страшен, должно быть, был Минька в эту минуту, и тетка отступилась, хлопнув в ужасе руками.

— Экой бесенок!

На пятый день Минькиного хозяйничания пришла в дом учительница. Она была в пальто с собачьим лохматым воротником. Белый платок столкала к затылку и пригладила смятые, по-девчоночьи уложенные в косы волосы. Ноги ее повисли, когда она присела на скамью. Она обязана была прийти к сироте и не знала по молодости, с чего начать разговор, тревожно разглядывала пустые углы Минькиного дома, метнула обостренный взгляд на бабуку, на юбку ее растопыренную, задержала взгляд на Лидке, круглой пухлой девчонке, которая с год уже не ходила в школу. Учительница волновалась, не зная, как начать разговор, и с какой-то отчаянностью сказала:

— Вот теперь ты, Миня, остался круглой сиротой.

Сказала и испугалась своих слов, потому что получилось, будто она ждала этих дней. Она покраснела, отвернулась к окну и заплакала. И вслед за ней заорала Лидка, а бабука всплакнула коротко и молча, присушила фартуком глаза, едва повлажневшие, и засовала руками так, будто замахивалась помолиться и раздумывала. Минька удержался от слез, только вздрагивали темные ресницы. За столом сидя, он дернул плечами раз и другой и сказал неторопливо:

— Ладно. Конь есть — не пропадем. — Все разом перестали плакать, а учительница сказала:

— Ты, Миня, не бросал бы школу-то. Так славно учился.

— Что бы ни было, а школу он дотянет, — сказала бабука.

— Колхоз чем-нибудь поможет, — продолжала учительница.

— Поможет, — протянула бабука, и было не понять по тону голоса, верит ли она, что поможет колхоз в самом деле, или что надежду такую надо выкинуть из головы.

Была бы семья-то колхозная, а то дед знахарил и о колхозе забыл, а мать после смерти отца вышла замуж в дальнее село, там и умерла. Да и стыдно обращаться за помощью к колхозу, который от войны сам-то не может оправиться.

— Хоть не каждый день. Хоть через день ли, как ли, — просила учительница Миньку посещать школу, — а я задания приносить буду и объясню что.

— Да чего зимой-то делать? Будет ходить. Там уж весной работа. Сейчас одна забота — дрова, дак и Лидка нарубит, — говорила бабука, а Минька молчал. Он, как дед, привык молчать и вроде соглашаться, а делать потом по-своему. Школу Минька любил, но эти дни он много думал и порешил окончательно: хватит ему и трех классов, а подрастет, видно будет. Пока же он один мужик в доме, и хоть понимал, что мал, а дальше так жить, как жил при деде, то есть пить, есть, ходить в школу, играть с ребятами и потом крепко и беззаботно засыпать — так жить теперь он не сможет. Главное: есть над чем планировать, есть за что ухватиться — есть Гнедко. Не видел Минька всей глубины наступающей жизни, а чувал: она будет связана с конем. Весь мир, весь свет, все думы и волнения Минькины были окрашены в гнедую масть, овеивались черной Гнедковой гривой и сладким запахом Гнедкового пота.

— Что молчишь, Миня? Я тебе тетрадок побольше давать буду и учебников достану. Кому не дам, а тебе будут учебники. Учиться, Миня, надо. Вон и другие сироты учатся. Правда, у тебя хуже, ну так как-нибудь. Родительский совет соберем и о помощи подумаем, — убеждала учительница.

«Как она не поймет: учиться мне больше нельзя», — думал Минька, а сказал так:

— Ладно, дело покажет. — Так говаривал дед, так ответил и Минька. На другой день бабуку пригласили в сельсовет. Она было юбку свежую достала, но Минька сказал:

— Я сам схожу.

— Сам дак сам. Это еще лучше, — согласилась бабка. — Только знай, в колхоз приглашать станут, откажись пока. — Минька знал, что такой разговор его ожидает, и потому заранее приготовился к ответу: взрослые едва на прокорм зарабатывают, а что заработают они с Лидкой?! Нет, пока слабы, будут жить одни.

В сельсовете Минька сел перед распахнутой печкой, рядом со сторожем. Сторож не знал всех детишек села и думал, что парнишка катался и забежал погреться. Они наслаждались теплом и молчали; и тогда открылась дверь, и из нее высунулось небритое лицо Спиридона.

— Ты ходил к Осинкиным? — спросил он.

— Ходил, — ответил сторож.

— Что ответили?

— Бабка обещалась.

— Сходи-ка еще. Недалеко живут.

Спиридон захлопнул дверь, а Минька поднялся от тепла, полушубок застегнул и, опустив руки, сказал:

— Я от Осинкиных.

— Ты? — покосился на него сторож. — Да как же с тобой говорить будут? Нужен полномочный член семьи. — Минька шапку поправил и пошел было к выходу. Сторож взял его за рукав и повел к Спиридону.

— Вот он главный Осинкин и есть.

Спиридон рылся в бумагах, бросая взгляд на парнишку:

— На отца, брат, ты стал здорово смахивать, — сказал Спиридон, разгибаясь и кладя узловатую руку на найденную бумажку. — Такой же курноватый и взглядом — в точности. Он, брат, уж и певун был и плясун. Да что, парень, делать будем? В детдом пойдешь? И Лидку, и тебя.

У Миньки и в голове не было, чтобы могли такое придумать. Новость его так озадачила, что он не нашелся что ответить, отвернулся к стене и заковырял известку.

— Ты, брат, обдумай хорошенько. Детдом — это вопрос сурьезный. Суровый вопрос. Там тоже ни тяти ни мамы. Ну, а человека сделать могут. Ну и сытые будете.

— В детдом не пойдем, — ответил Минька тихо, но твердо.

— Ответ ясный, — сказал Спиридон, — а вот бумаженцию прислали. Как раз два места нашлось. — Минька поднял сердитые глаза на председателя и спросил:

— А бабку? Тоже в детдом?

Спиридон засмеялся:

— На бабку у нас тоже есть решение. Мы ее к Настасье, к себе то есть, определим. Родная дочь, куда денешься. Обязана кормить.

— А Гнедко? А дом?

— Этому мы место найдем.

— Из дому никуда не пойду, — решительно ответил Минька.

— Ясный ответ, — почесал затылок Спиридон. — А я, брат, звонил. Думал: детишки старого дружка и родня как-никак. Дай пристрою. Да как же вы дома заниматься станете? И в колхозе от вас пользы никакой, наоборот, содержать надо.

— Мы сами себя кормить будем, — ответил Минька.

— Как это вы сообразите?

— Пахать, сеять будем. Орешничать. — Спиридон закурил головой, глядя на Миньку из-под бровей.

— Единолично, что ли?

— Ага.

— В-о-он как! А я-то думаю, башку ломаю, как их к новой жизни пристроить. Это все дедова работа, плоды Ефима Васильевича. Ране из-за вас круглого процента не получалось, и теперь хотите так. В детдом не хошь, в колхоз не хошь, индивидуальничать хошь, чтоб тебя... Ладно, посмотрим, что получится. Хо! Хо! Хо! Горе мне, Минька, с вами. Тут у меня деньжонки есть. Они по вашей статье. Я вам с Лидкой по костюму хоть куплю.

— По ко-стю-му! — протянул Минька.

— И тут не ладно?

— Нам не костюм надо. Хомут.

— Хому-у-у-т! — удивился Спиридон и откинулся на спинку стула. — Будь ты неладный! Ты и в самом деле хозяйничать собрался. Хомут ему. Хо! Хо! Хо! Ясный ответ. Будет хомут, Минька. Завтра в город поеду.

Глаза Спиридона засверкали умиленно. В коридоре, провожая, показал сторожу на парнишку:

— Вот клоп! Не надо ему костюма, надо хомут. Будет хомут, а иди-ка пока домой, домашничай.

Как вырвалось у Миньки «хомут», он и сам объяснить не мог. Может, потому, что хомут у Гнедка был стар и великоват, а может, потому, что корень-то сбруи не шлея, не седелко — хомут. «Хомут есть — можно ехать, без него, хоть будь все, не поедешь», — думал Минька, шагая от председателя. Начал он, Минька, хорошо, с хозяйства, а не с нарядов, пустяков разных. Так помаленьку все обновить можно. Не вошел он сразу в избу, а в стайку пошел и впотьмах ее остановился, прислушиваясь к сочному хрумканью, машинально взял лопату и завыгребал побрякивающие конские шевяки, выбросил их за воротцы и оглянулся, услышав тихое миролюбивое ржание. Поманил Миньку зелено-огнистый блеск глаз. Погладил Минька подбородок коня, а Гнедко раза два его подтолкнул мордой легко. Толкнул, почесался ухом о Минькино плечо и побряхтел, отдуваясь. Минька пошарил в карманах крошек, шепотку насобирал и на ладонке поднес коню. Гнедко обнюхал ладонь, похлопал губами и пофыркал. И когда Минька ухватился за его шею и зарылся лицом в гриве, не отшатнулся, не поднял головы, ниже еще опустил ее, порокотал тихо и опять вздохнул.

Дело пошло так, что Минька школы не бросил; но посещал ее не всегда и вел себя в ней совсем по-другому. Он не щелкал малышеш по лбу, не устраивал кучу малу, не носился по школьному двору без шапки. Он стоял в сторонке, оценивая ребячью игру грустным взглядом, и ребяташки не теребили его, словно он болел чем. За партой не тянул руки, не вскакивал, а глядел на учительницу, и та по привычке обращалась к нему:

— Ты, Миня, уже решил? Ну-ка отвечай. — Минька спохватывался и краснел потому что думал о доме, и в голове мешались разные заботы.

— Не решил, значит, Миня?

— Да нет еще, — отвечал он и склонялся над тетрадкой, и книжная задача казалась ему забавой, и школа, и все дела в ней казались игрой, которая отходила от него по возрасту. Раз в школу наведалься Спиридон. Он поздоровался с учительницей за руку, спросил об Осинкине и тут же увидел его сам. Он подманил Миньку и шепнул ему на ухо, отчего бороздка на лбу парнишки разгладилась, лицо как-то подменилось, и в глазах появился осторожный интерес.

— Правду говорю, пойдем-ка, — сказал Спиридон.

В сельсовете подле печки стоял новый хомут, каких Минька никогда не видел. В коридоре густо пахло свежей кожей. Сыромятные гужи, как уши, смято повисли, клешни насечены рубчиками под елочку и завязаны мягкой желтой супонью.

— Неодеванный даже, — похвалил Минька, не отводя взгляда от хомута.

— Из магазина. Какое уж одеванный, — весело поддержал Миньку Спиридон. — Давай-ка, брат, пойдем примерять. — Спиридон нес на плече хомут и рассказывал, с каким трудом отыскал его в городе.

— Продавец говорит, по заказу делан. Гляди, говорит, как все пригнано, да вишь не по коню пришелся, а тут я как раз подскочил. Хомут легковой, но и тебе не груза возить, сойдет.

— Сойдет, — согласился Минька.

Изба сразу наполнилась кислым запахом хомута. Пристегнули к нему старую ошелушившуюся шлею, на которой уцелело две-три бляшки. Потом седелку оглядели, ладную еще, хотя до черствости пропотелую, и вышли во двор.

— Ну, Минька, богато ли заживешь, — смеялся Спиридон. — С одиноличностью борюсь, а тут самовольно помогаю собственнику. Давай-ка сам хомутай, сам запрягай, а я прикину, как ты можешь хозяйничать.

Лидка с бабкой протаяли стекло и глядели из избы, как Минька забрасывал коню на спину седелку, как пыжился и изгибался, затягивая подпругу. Потом взялся за хомут.

— Неплохо, неплохо. Так вот его напрокид надевай, — похвалил Спиридон Миньку. — А я это первый-то раз клещами вовнутрь надел. Хозяин надо мной целое лето подтрунивал. И шлею раз спутал так, что и распутать не смог. Эко все ладно получается у тебя. Да ты, парень, настоящий мужик.

Как уж удалось Миньке — подскакивая, он разметал шлею на коне и под хвост смело ее заправил, и тогда Спиридон сунул руку за хомут, обшарил шею с обеих сторон и прищелкнул пальцами.

— Угадал, парень, как раз пришелся. Глаз мой ватерпас. Артиллерийский! Ага, — не меньше Миньки радовался Спиридон. — Это мы с отцом твоим еще в одиноличное время запрягли коня и к девкам в другую деревню махнули. А запрягали крадче от родителей и ночью. Гоним коня, а что бы пощупать под хомутом. Утром деда твой Ефим Васильевич пошел коням сена дать, а Серко припотелый. Глянул на плечи — до крови сбиты. Попало тогда отцу твоему. Надо ой как беречь плечи коня. В плечах весь конь, понял? Давай-ка заводи в оглобли, и я гужи малость поубавлю.

Минька и дугу закладывал по-своему, как позволяли силы: один конец ее в землю упер, другой в гуж заталкивал, затем повернул ее в гуже и на другую сторону перекинул. Супонь затянуть для Миньки самое главное в запряжке. Он чумбур к супони привязал и тем самым продлил ее, опоясал себя и обеими ногами в клешню уперся, ведь вся сила в спине.

— Экой ловкий, экой проворный, — похвалил Спиридон, а Минька уж и вожжи «братским узлом» подвязал, подволок козлы дровяные и с них дотянулся до колечка дуги и повод в него продернул. Тут и Гнедко помог: голову ниже опустил.

— Миня! — хлопнул руками Спиридон. — Да ведь Гнедко-то нарочно наклонился. Ага. Как по заказу конь тебе достался. А то был у нас ране меринок, все, холерный, против делал. Ты его стегнешь, а он останавливается да оглядывается, вроде ждет еще, будто не кнута — овса ему дают. Пахать поедешь — в борозду ляжет и, хоть ты убей его, не поднимется. А какой был проворный — ртом паутов ловил. А коли удержать его хочешь — прет тебя на вожжах, губы издерешь ему, кровь брызжет, а он прет, и баста. Мешанку на муке любил, учует, тут уж не сладишь с ним, из бороны прямо к колоде бросается и по-собачьи хватает. Продали непутного. А у тебя Гнедко — молодец. Давай садись в сани да прокатимся.

— А что зря-то кататься, дров привезти надо, — важно сказал Минька.

— И то верно. Клади топор и пилу, — подмигнул Спиридон.

Деревня Минькина таежная — и хоть сейчас же останавливайся и руби. Но заехали подальше: там нынче после пожара уйма сухостоя. Одну лесину раскряжуешь — воза на два хватит. Последнее время дед все тоньше и тоньше сухостойны валил, сил не хватало закатывать в сани, хоть малость помогал Минька. С дядей Спиридоном можно и большую свалить.

— Ну, давай выбирай, Иваныч, а я покурю, — как ко взрослому обратился Спиридон.

В лесу твердый мартовский снег. По нему осторожно нужно идти, чтобы не провалиться, а уж если провалишься, по уши уйдешь в снег. Потому Минька и от дороги не уходил. Он стукнул обухом по сушине, и к вершине ее улетел многострунный звон. «Выбирай ту сушину, которая звонка, в ней мерзлоты нет», — вспомнил Минька дедов наказ. Дед ходил от дерева к дереву и подставлял к ним ухо, стуча топором. Затем распоясывался и снимал полушубок. Заламывал голову, примеряясь, куда валить. Он Миньку не заставлял пилить, какой из него пильщик, топором один скорее срубишь.

— Добрую сушину выбрал, молодец, — похвалил Миньку Спиридон и взялся за ручку пилы. — Давай-ка не торопясь, не торопясь. Дыши глубже. Коли мало сил, их сберечь надо. И так всегда, Миня, — чем больше дело, тем медленнее начинай. Ну вот, теперь давай подрубим да с другой стороны начнем. Мы с отцом твоим ранее все на пару в лес ездили. Я сильнее, он ловчее был. Как-то все так смекнет, что раньше меня воз накрутит. Если ты в него пойдешь, знай, что жизнь твоя будет ничего. У него получалось все как-то играючи. И на матери твоей так же женился. Девка за ним бегало — уйма, а тут новенькая приехала. «Ну, Ванькина будет», — говорим. Так и получилось — хохочет, под ручку с ней прогуливается да заглядывает на нее снизу вверх — она его чуть поболее была. Глядим-поглядим, а девка-то уж у Осинкиных и бельё на речке полощет. Эдак без свадьбы, ровно стряпуху в дом привел.

Минька дышал ровно и сперва пилу водил редко, но чем больше выдыхался, тем чаще ее дергал, наконец, выпустил ручку и повалился в снег. Сердце колотилось, словно просилось выскочить, голова кружилась, и казалось ему, что и верхушки сосен кружатся.

— Я те что говорил — не торопись, — хлопал по плечу парнишку Спиридон. — Так, не торопясь, и втянешься и повезешь. Работник из тебя только начинается. — Минька отпыхивался, а Спиридон тем временем курил и про отца рассказывал.

— Я тебе, как назад поедem, пень покажу. Сосна там в два обхвата стояла. Отец твой и поспорил свалить ее в четверть часа. В ту пору во всей деревне нашей часов ручных не было, так мы будильник в лес принесли. Ты бы видел, Иваныч, какую щепу он отваливал, она знаешь, пимы ему завалила, он крошит и крошит, распарился, раскраснелся, разметал по снегу одежду с себя, гимнастерка от пота на лопатках почернела — он тогда из Красной Армии только вернулся. Картинка, брат, была. Сам: «кха-кха», топор «дзинь-дзинь». Такую пасть в сосне вырубил! «Сколько осталось?» — спрашивает. «Минута», — говорят. «Ну, значит, выиграл», — крикнул он и плечом-то так не сильно и нажал, ну и ветерок той порой по вершине прошелся. И ахнула сосна. Ить потом старики этот пень глядеть приходили. Вот как ловок батька твой был. Давай-ка еще поширкаем.

Два кряжа комлевых навалили они на сани и вершинником их обклали, веревкой притянули и заверткой завернули для крепости. Спиридон нарочно воз по всей форме сделал, чтобы поучить Миньку, но тот посоветовал:

— Надо бы еще клином расшить.

— Клином?

— Деда так делал.

— Ну, брат, ученого учить — только портить.

Отцов пень действительно был велик. Минька добрую сугробину с него свалил и увидел щепки почерневшие, залез на него и расставил широко ноги. С этой вот стороны отец, наверное, стоял, так же вот, как и Минька сейчас, ноги расставлял, и топор, может, тот же у него был, с которым Минька теперь ездил, и звон тот же, и гимнастерку, и улыбку, которую видел на фотографии отца, Минька пририсовал — и ожил отец в воображении. Минька зардовался, запрыгал на пне.

— Вот это тятя так тятя! Мо-ло-дец!

— Иван-то бы Ефимович да не был молодец! — поддержал его Спиридон.

— Будто живой, будто тут он!

— Это, брат, хорошо. Этого и надо было.

На время исчезла с Минькиного сердца надсада, которая держала в тисках его эти дни. Он будто бы стал таким же, как и все мальчишки. Когда же Минька дал сена коню и лег спать, к нему прилетели и теснили горло короткие миги счастья. Минька открывал рот и ширил глаза, поднимал голову, словно хотел лучше увидеть и услышать их. Вот перед глазами явился Спиридон, подмигнул ему и вроде лег рядом, сказав, что и Миньке спать надо. Минька руку на него закинул, и тяжелая рука Спиридона легла на нее и погладила. И Минька уснул, мягко распустив губы.

Тетка Настя пришла под вечер девятого дня. Поставила на стол поллитру и вынула из столешницы стаканы. Лицо тетки было красным от мороза, обветренным солнцем. В какую пору ни погляди на тетку, она всегда сердится. Губы у нее синие, словно тетка только что ела чернику. Чем больше выпьет тетка, тем сердитее становится. Ловчее ее ругаться в деревне нет никого. Драться тетка Настя тоже ловкая, и хорошо усвоила драку по-мужски, с матерщиной, с палками. Мясистые темные кулаки она выставляет как бы напоказ. Кость ли она за столом обглаживает, подпирает ли тяжелый подбородок — прежде увидишь ее руки, похожие на чугунные ступни.

— И зачем ты эту холеру притащила? — заворчала бабка Ольга.

— А как же? — подняла тетка маленькие зажиревшие глазки. — Тяте девять ден. Не помянешь — сниться будет. Вас не заставлю, сама выпью.

— Приходила бы со Спиридоном.

— А когда он со мной ходил? У него своя компания. Приезжие да начальство. Вместе-то еще и подеремся, а ему стыдно с синяками ходить. Власть.

Ребятишки и бабка боятся тетки. На дедовых похоронах тетка, красная от вина и гнева, орала во все горло о деньгах, скопленных стариками и где-то припрятанных. Денег не было, теткина жадность их придумала, с чем же пришла она сегодня? Тетка стакан выпила, поела подсушенну картошку и начала:

— Я о бане поговорить хочу. Зачем вам эта баня? Помыться, так и к нам придете. И дров и воды не спрошу с вас. Гнить только попусту она будет. Я бы из черной белую сделала. Светло, жарко, чисто — мойся на здоровье.

— На баню не зарься, Настя, — сказала бабка и отвернулась к окну.

— Тебе-то и помолчать бы, — возвысила голос тетка, — ты тут короткая жительница. Скоро ко мне попросишься. Шла бы уж сразу, а их в детдом. Отправляют, так хватались бы. Еще ломаются. Х-хозяева!

— Помолчи-ка и ты, — тихо, но твердо перебила ее бабка. — От их никуда не пойду. Умру с емя. Это оставить сирот и уйти! Как же сердце-то на это повернется. Я их с пеленок поднимаю. Они мои единокровные.

— Жалей, жалей. Они первые тебя из дому вытурят.

— А пусть, пусть. Туда мне и дорога. А ты на какие муки переманиваешь? У тебя их трое. Не сядут оне на мои руки? Сядут — вот я и нянька и наймушка. Я никто при двух-то хозяевах. А тут как-никак старшая.

— Старший-то, вон тот звереныш, — кивнула тетка на Миньку. — Вон как он коня-то отобрал. Мал, да удал. Трахнуть бы его тогда, и полетел бы шаром. Пожалела — сирота. На первый раз пожалела. Слыхано ли, по деревне говорят: Минька коня не дал! Ишь, какой настырный!

Минька у железной печки грел ноги, исподлобья взглядывал на тетку.

— Ишь, какой колючий. Червяк, а туда же, в хозяева.

— Пусть, пусть научается, — сказала бабка. — Я шибко рада, что парнишка сурьезный.

— Этот сурьезный по горбу-то и накостьляет.

— Гав! Гав! Гав! — неожиданно передразнил тетку Минька.

— Это ты кого передразниваешь? Тетку родную? Отцову сестру? Я к ним на девять ден, а они вон как! В детдом, в детдом вас, хулиганов. А баню — не отберу, так высужу. Тятя покойный — и мой отец. Вы-то всего мнуки, а я дочь, и мне пай есть. Дом не прошу — баню отдавайте.

— Дом уж лучше, дом возьми, — язвила бабка, — детишек в детдом, а домишко себе, а там и всю постройку. Не об этом думаешь?

Теткино лицо, рассеченное морщинами, налилось кровью. Она вскочила со скамьи, с кулаками подлетела к Миньке. Парнишка не колыхнулся, лишь руками перехватил колени и лицо в них положил.

— Тронь-ка его. Я тебе шары-то повыцарапаю. Я в те шарахну чугуном кияченым. Не тронь сиротства их. Ты беды такой не ведала. Баню, злыдня, увидела. Мало ей лесу кругом. С вашими силами ее в два дня сделать можно, лезет на готовенькое-то. А коня — даст Минька — бери, не даст — иди с богом. Самим надо. Ты колхозница, иди в контору, любого дадут коня. Да и мужик вон кто. Тут и просить не надо, хоп за узду — и поехала. Не надо так, Настя, не надо, допей и уходи.

Настя налила стакан и выплеснула в широкий рот.

— Мне тятя единый не только баню обещал. Он и швейную машину, и валенки новые обещал, и телку от Красули, если хотите знать.

— Тебе бы сказки сочинять, Настя, — сказала на то бабка.

— Так вот. Если надумаете в детдом, все это не сдавайте в колхоз, а передайте законно мне, а пока что пользуйтесь.

— Спасибочки тебе за милость.

— Тебе и Гнедка, поди, отдать? — не торопясь, чтобы не задохнуться в гневе, спросил Минька.

— Я и так запрягать буду — уж тебя-то на этот раз не испугаюсь.

— Не испугаешься?

— Эко глазами-то пугает! Эко спину-то выгнул, как кот! Испугал ведь! Вишь, как я покраснела, вишь, ноги-то затряслись.

— Ты меня выведешь из терпения, тетка Настя, — как можно басовитее сказал Минька, поднялся от печки и направился в сени. Там звякнуло поволоченное по полу железо, и тетка выскочила следом, едва не сбив в дверях парнишку.

— Это на тетку с топором! — кричала она у ворот. А Минька уж отвязывал собаку.

— Звереныш! Ну погоди, погоди. Сунешься за чем-нибудь. — Тетка в ставень поколотила еще, и, когда все затихло, бабка сказала:

— Так-то, Миня, не надо бы. И пойдет опять слава. А силы-то у те мало, чтоб заступиться за себя. Тебя и обвинят.

— А как бы ее выжить? — ослабевшим голосом спросил Минька.

— На меня надейся. Я тут — вас не тронут.

Бабка с Лидкой все же потаскивали сено для коровы, и скоро его осталось совсем мало. За речкой есть еще малый стожок, который жаль было распочинать. Запрягши коня, Минька вошел в избу и сказал Лидке:

— Собирайся.

— Куда же ты, Миня? — спросила бабка.

— Сенишко-то все стравили.

— Да уж там бы, по теплу.

— Собирайся, — повторил Минька, и Лидка засобиралась. В бабкином полушубке Лидка совсем стала кругла. Минька надел дедову доху и упал мешком в передок. В накинутаой курмушке бабка проводила их за ворота, наставляя:

— Протопчите, говорю, протопчите снег-то. Увязнете.

Это был первый самостоятельный выезд Миньки, оттого он немного тревожился. Конь, обдав запахом помета, легко затрусил за деревню. Лидка молчала, замороженная бедой. Она только и могла эти дни думать о замужестве — такая отчаянная мысль пришла ей в голову. Это ей до семнадцати еще год ждать и мучиться в такой жизни. На семнадцатом году вон сколько девок вышло — они-то и оказались счастливыми. А которые выходили позже, все с ними как-то не так. Ей бы в чужое село выйти, чтобы не знали о ее сиротстве, а в своем выйти трудно: нет отца-матери, значит, ни к чему не приучена, ни шить, ни вязать, ни постирать хорошенько не умеет. Оно если в своем селе, то лучше убегом, чтобы — вот я ваша невестка, отворачивайтесь, бранитесь; у Лидки свое на уме, не глупа Лидка, она будет приглядливой, она все переимет у свекрови, всему научится и работать будет много, и тем по нраву новой семье придется. От этих дум бабкин дом ей стал чужим, она тут временная птаха, ей только прокормиться, чтобы годочек этот пробежал быстро, как сон, чтобы завтра подняться — и тебе семнадцать лет. Или умереть бы ей на этот год, потом ожить. А такая она ничего не значит. Зимой, как бросила школу, сходила в клуб и сразу поняла, что не значит сейчас она ничего. Избач, толстозадый Гошка, надсмехаясь, подсел к ней и сказал: «Такая малютка пришла в клуб», верно, он же сказал потом: «Девка из тебя выйдет первейшая, только дюжь, берегись шпаны разной, а в клуб бы тебе и вовсе пока не ходить».

А верно ли Лидка знает себя? Верно ли, что мало умеет-то? Она хлеб печь умеет, этому ее отчим научил после смерти матери. Она жать и косить умеет, за пчелиными колодами ухаживать. Минька боится пчел, она не боится, хоть и кусают ее. Она готова к перемене жизни, только годов бы ей поболее. А с лица она уже на взрослую походит, у губ — ямочки, а как засмеется, завлекательность появляется. Эту свою особенность — быть приятнее в улыбке и веселости — Лидка вовсе недавно заметила, любуясь перед зеркалом.

Раз ухажер за ней увязался. С мелкотой шел, балагурил, а у ворот крикнул: «Лидка, погоди». Это был толстозадый избач, который осторожничать Лидку учил. Велит осторожничать, а сам сыплет за Лидкой, учитель-то. А то еще в избу Лидкину припорол, правда, не один, с учительницей, но это для отвода глаз. А коли посватался бы, что бы Лидка ответила? Ой, ой, что она говорит, что выдумывает. Да нет, и посватался бы — не пошла за него, за толстозадного хомяка, а за Ильку Сорова, хоть тому и двадцать, пошла бы, только позови. Пусть бы долго он не женился. Пусть бы холостяком в армию ушел, она росла бы тем временем и дождалась бы его. Да что она опять выдумала — ждать. Ей на роду не написано ждать, так она одинока, так постыла всем, и скорей бы летели годочки мимо-нужды, мимо пустых взгля-

дов людских. Все шмутки материны за войну перешиты, перекроены, платышко одно держится, а как оно свалится, что делать? Есть молоко, есть приварок, мед есть — кадка полная, да город далек, а то поменять можно было бы что-нибудь на одежку. Чем больше думала Лидка об этом, тем тошнее ей становилось. Мучилась Лидка, толкала ее дума от людей, стыд рождала ежедневный, и раз вырвалось из груди такое, что напугала и Миньку и бабку: «Да что же смертушка-то меня забыла? Что она за мной не идет!» Бабка глаза на нее выпучила, перекрестилась и сказала полуголосом:

— Вот этого я от тебя еще не слыхала. Да ты, девка, очумела, или чо ли. Ты как могла такое сказать? Выкинь из башки своей такое, выкинь и выкинь. Заживем и мы, и какого еще женишка подхватим.

У бабки на смерть деньжонки были припрятаны. Она сунула их соседу, и тот привез из города ситчику на платье, бязи на рубашку и катанки — враз разбогатела Лидка. Миньке бы надо, хозяину дома, а она все на Лидку истратила. В этой обновке Лидка и сходила в клуб...

Лидка посмотрела на брата, на маленькую горку шкур собачьих, из которых один нос выглядывал. Такой хозяин этот Минька, что Лидку одну и в клуб не пустил, сел там в уголок и кашлем сухим напоминал о себе. У дома с девчонками не дал постоять.

— Давай иди, а то ворота запру. Давай иди, а то собаку спущу.

Девчонки в клубе все выталкивали Лидку сплясать, тащили в хоровод, а в хороводе вытолкнули на круг, и все дивовались: рано, мол, задевчилась. Им рано: мать, отец есть, а Лидка сама за себя ответчица.

Дремал, что ли, Минька в передках саней, не слышно было его. Гнедко припотел, это значит, что скоро и зародик, который Лидка с дедом косила. Калтус проехали и речку, по весне бурную, все межгорье ею полнится. Вот и релочка — островок калтусный. На ней, не как на болоте, растут стройные сосны, здесь стоял их летний балаган. Гнедко всхрапнул и заржал тихонько, вспомнил, должно быть, что пасся здесь летом с кобыленкой. Вот и зародик, весь в снегу, почти сровнялся с белой пеленой снега. Как подступиться к сему — с какого края захватить? Минька заворочался вдруг, стряс с себя доху, приплясывая, похлопал рукавичками и просвистел.

— Что, Миня?

— Видишь?

— Это как же мы добудем его?

— Как-нибудь, — сказал Минька и пошагал к зароду, проваливаясь по поясу. — Иди за мной, — приказал Минька, и Лидка полезла за ним, падая то в одну, то в другую сторону, взмахивала руками и жалобно повизгивала. Так они пробились к зароду, оставив за собой сизые буруны снега. От зарода другую дорогу пробили и вышли к саням раскрасневшиеся и горячие.

— Давай порожняком по нашему следу проедем, — сказал Минька. Гнедко — как в реку: с храпом вошел в снег, зачистил ногами, порывая сани, словно знал, что ждали от него хозяева. Так они проехали еще раз и поставили коня у зарода, промяв снег, чтобы сани не шатались.

— Куда ж мне тебя? — поглядел Минька на сестру. — Воз класть будешь?

— Смотри, Миня, — сказала Лидка.

— Я его зачну. Тебе легче будет.

Минька перекинул вожжи через зародик, один конец привязал к оглобле, а по другому стал взбираться на зарод. На него валился снег. Минька кряхтел, отплевывался, одолел-таки подъем и встал на вершине, подбоченившись.

— Поддай-ка вилы, — сказал. Когда сена было сброшено много, Минька зачал воз, любовно выклат основание.

— Вот так и дальше. Не разваливай, сам развалится под бастриком. Давай лезь на мое место.

Минька указывал, куда класть навильник. Воз подрастал и разлепешивался, накренья на сторону.

— Ты вправо поехала, — досадовал Минька. — Ты влево побольше клади. Видишь, конь как стоит, так от коня — это лево.

— Ты показывай мне, — уступчиво говорила Лидка, — где лево-право, я запутаюсь.

— Есть где запутаться. Ты повернись лицом к коню, и вот те право и лево. Лидка стала класть как велено, воз расплылся еще больше и теперь грозил свалиться влево.

— Баба, она баба и есть, — ворчал Минька. — Не знаю, как теперь воз выправлять. Давай на середку клади. Как уж ни есть, бастриком придавим.

Лидка стала класть на середину, получилась шишка, которая вздрагивала и шаталась, как живая. Лидка потянулась за навильником, но тут же руки подняла, завизжала, падая в снег и сваливая на себя сено. Едва из-под него выпорхалась, а Минька накинул на нее с руганью.

— Чучело! Вся работа зазря пошла. Бери вилы, чучело, и подавай. А туда же — по вечеркам.

— Беда, находилась. Раз в жизни, и то с подглядом. — Минька засмеялся, смягчившись:

— Я не подглядывал. Я, Лидка, хотел узнать, как ты в девках выглядишь. В девках ты выглядишь плохо. Плечи как-то сутулишь, а в хороводе покраснела вся. Сунь спичку — и загорисься. — Лидка смолчала, ждала, что еще скажет брат.

— А этому толстозадому девок старших мало, увязался за тобой? Жени-ш-шок!

— Хватит тебе. Давай воз накладывай. А то Гнедко весь в куржаке.

— А что, и вправду, — подшучивал Минька, залезая на воз. — Образованной будешь. Книжки с ним читать будете.

— Я вот те вилами пырну.

Лидка устала, платок с головы сполз, к припотелой шее липли сенинки и зудили ее. Сил не хватало брать сено аккуратно. Она суетно тыкала вилами, поднимала над собой взбитый клок, теряя половину на пути к возу. Минька крикнул и наконец не выдержал:

— Вот работница, так мы с тобой и к ночи не управимся. Давай пластами.

— Какими еще пластами?

— Ну, сено пластами слежалось, вот и бери их. Городская, что ли?

— А не умею, так сам и подавай.

— Дак я в цирке не работал, чтоб на возу и на земле.

— А мне вовсе никак не надо. Тебе надо, а мне нет. Ты Иваныч.

— Это почему же тебе не надо? Или ты чужая? Или «я работница тому, у кого буду в дому».

— А вот и буду.

— Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела. Навильника подать не может, а туда же. Невеста, чучело огородное. С тобой намучаешься до дому.

— Чучело, чучело. Я бабе скажу, как ты...

У Лидки губы задрожали, враз покатались слезы. Закрыв лицо варежкой, откинув вилы, она слепо пошагала от воза, сбиваясь с пробитой дороги, громко сморкаясь и плача. Минька виновато поскреб затылок, сбил труху с шапки и присел на

возу, следя, как Лидка, выбравшись на торную дорогу, уходила, уткнувшись лицом в руки и вздрагивая плечами.

— Ну ладно, хватит, пошутил же, — крикнул Минька, но Лидка не слышала и уж спустилась за релочку, и, как мелькнул еще раз ее платок, Минька испуганно вскочил на возу и во всю силу заорал:

— Лидка! Воротись! Я кому говорю!

Лидка ревела уж не над этой обидой. Она ревела над всей бедой, которая охватила ее больно, такая боль схватила ее, что хотелось упасть в снег, зарыться в нем и больше не вставать. Минька же начинал злиться. Краснея, пуча глаза, взмахивая руками, он орал, пока не почувал холод в горле:

— Лидка, вернись. Лидка, змеиш-ша! Лидка! Змеиш-ша такая!

Когда успокоился, стал думать, как одному воз намять. «Иваныч, значит, — прилетело ему в голову прозвище. — Вишь, обозлить меня хотела «Иванычем». А вот Иваныч и есть». И Минька улыбнулся слову. Это потому он Иваныч, что возьмет сейчас и один воз накладет. С воза он сполз на круп коня. Погладил, посметал с него куржак. Снизу воз велик, но еще класть и класть надо. Минька походил вокруг него и взялся за вилы.

— Один накладу. Дуреха психованная.

Клал Минька воз и боялся, как бы конь не дернул, потому что продрог и нетерпеливо переступал с ноги на ногу, оглядывался и мотал головой. Бастрик за-таскивать — опять пришлось на лошадь забираться. Воз, как супонь, затягивать одинаково, гирей свесился Минька на перекинутой за бастрик веревке. Воз осел, хоть и остался живым и жидким. Когда подъезжал к дому, опять Лидкино слово вспомнилось.

— Ну и что такого? Иваныч так Иваныч, оно тоже неплохо.

Бабка Ольга, поджидая, стояла у ворот и, как увидела воз, навстречу ему шагов десяток проковыляла.

— Минька, Минька! Настя-то ведь что наделала. Машину колхозную подогнала и баню-то...

Слез у бабки не было, она уже давно плакала без слез, но раза два спрятала лицо в коричневые руки.

— Я говорю: подожди Миньку. С ним по-доброму бы. Как украла! Так торопилась, что углы у бревен посшибала.

Теперь дом вовсе оголился. Баня ему как бы компанию составляла. На отшибе торчали стайка коровья и загончик Гнедков, а вокруг дома хоть хоровод води. И как так получилось, что дом не удержал подле себя всего, что насобиралось годами? Увезли для колхоза скотник и сделали большой, артельный. Увезли амбарушку и сделали тоже один большой амбар. Не для чего стали заборы, их помаленьку на дрова изрезали, одни столбы листовенные торчат. Последний угол держался — банный, теперь и этого не стало.

— Дак ты что же, баба, не пужнула ее, — сказал Минька, глядя на рассыпанную каменку, на гнилые половицы, на предбанник, который оказался так ветх, что ковырнули его, и он похилился, держась на одном столбе. В нем шайка валялась перевернутая — иди, Минька, мойся. — Минька сметывал сено и думал, пойти или не пойти к тетке, хотя бы поругаться. Там дядя Спиридон, он власть сельская, и хоть муж он тетке, но и верный отцов друг. Скажет он слово, и тетка опять машину возьмет, опять платит и расходует, и так ей и надо, опять мужиков собирает, бежит в магазин за поллитрами, и вот уж и баня на месте, вот уж два, да что два — пять мужиков крышу кроют и предбанник налаживают; а Минька ходит тут же и пока-

зывает, где и как надо сделать, чтобы баня завтра же затопилась. Видит он тетку смирной, пристыженной до крайности, озлобленной от напрасных потрат. «А ну, тетка, еще захочешь чего взять?» — спрашивает Минька, и тетка молчит. Вот какая сила в Миньке, вот как он все может поворотить.

Подтощавший Гнедко из оглобелъ просится, с утра до потемок в запряжке, в хомуте новом, необношенном. А Минька и не видит, как конь бьет копытами, как ржет нетерпеливо. Спихватился — что же это он, как он о коне забыл. Вспомнил Минька, как дед, напиваясь, входил в избу и кричал ломливо: «Кто в доме хозяин?» И бабка подбегала к нему, разудалому, доху снимала и говорила щебетливо: «Ты в доме хозяин, ты, Ефим Васильевич». Оттого в деревне деда и звали: «Кто в доме хозяин». Вот Минька, какой же он хозяин — о коне забыл, о самом главном.

— Сейчас, сейчас, Гнедко. Вот последний навильник. — Распрягши, увидел, хоть и было темно, что хомут припотел, но плеч коня не сбил. Клоком сена стер стылый куржак с коня, с носа сосульки безболно снял и корму задал, потом уж пошел в избу и застал там дядю Спиридона.

— Как хомут? Впору пришелся? — спросил он.

— Хомут добрый, — сказал Минька и вроде не вовсе понял вопроса: о Гнедковом хомуте спрошено, о другом ли каком?

— Как раз, значит. Это хорошо. А я насчет бани. — Только что на возу думал Минька о Спиридоне и о бане, а он уж тут как тут.

— Такое дело, Иваныч, с баней этой. Насте она отходит, такая воля деда твоего. Ну надо же, надо же ей было лезти. Ах ты, боже мой, какая жадность. Ну хоть на паях как-нибудь согласилась бы.

— А как там в книге написано? — спросил Минька.

— Да баня Насте, дом тебе.

— Одному?

— На тебя записан. Видно, дед так рассудил: Лидка замуж выйдет, бабка умрет. Тебе везти воз хозяйский.

Минька поглядел в окно на остатки исчезнувшей бани и махнул рукой. Дед правду свою, Миньке непонятную, завещал живым. Спасибо ему и за то, что уверовал в Миньку и дом отписал.

— Дом твой, Миня, — продолжал Спиридон. — Как исполнятся года, бери и хоть продавай, хоть хозяйничай. А только я ведь опять к тебе по тому же делу. Звонят из района. Сама завроно заинтересовалась. Как так, говорит, единолично. Я ей: разруха же, абы как прокормиться эти лета. Война же, говорю, такая позади. Никакого, говорит, такого хозяйничания. Словом, она завтра сама явится. А мы с тобой должны заранее договориться, за тем и пришел к тебе.

— Это в детдом, чо ли, опять? — спросил Минька.

— Туда. Речь идет об одном тебе — Лидку я упробил в колхоз принять. Она хоть маленько на работника похожа. Бабка может и не подавать заявления. Она механически выбывшая по старости. Ведь ты была, бабка, в колхозе-то?

— Отколхозила свое.

— Ну вот, тебе и не надо. Ты живи с Лидкой или Настей. Ну какое твое последнее слово, Иваныч?

— Не поеду, — сказал Минька и подпер подбородок рукой.

— Ясно дело. Я буду твою линию гнуть. Этот детдом мне когда-то шею натер. Как вспомню, по сердцу боль пойдет.

— А что же те-то, районные, меня и не спросят? — допытывался Минька.

— Они спросят-то спросят, а гнуть будут свое, взрослое дело, политическое, а нам с тобой политика одна: как в тебе человека сберець. Этот годик, эти два годика

как помочь тебе пробиться — а там ты колхозник, там сам начнешь зарабатывать. Вопрос, брат, капитальный, Иваныч. Чтобы тебе при родной бабке-то, пока жива, родное-то чуялось, чтоб меньше боли-то на душу получалось. Ты, брат, от этой, а я от той войны сирота, и мы вроде родня с тобой. Тиф родителей скошил. Была тетка, были дети, старшие братья, а я никому, оказалось, не нужен. Жена братова с подушки начала, подушку у меня отобрала и себе в перину вывалила. Потом и за дверь меня выставила. Старший-то брат после оправдывался: «Я ту перину ножом изрезал и по ветру пустил», да мне-то какая польза от того. Пошел я по дядям да по теткам, и те косятся. Чего-нибудь, правда, нальют, хлеба дадут, скажут: «Ну ладно, ступай». У тебя, Миня, бабка, держись за нее. Это тебе какое счастье, что есть бабка-то. Береги ее.

— Да уж они меня берегут, — вставила бабка. — Я за ведро — отберут, я за помело — выхватят, я к поленнице — опередят меня. Веку бы мне дал бог, я ведь хворая-хворая, шибко хворая.

— Живи, бабка! Для них. Тебя на том свете в святые поставят! На том и на этом. У меня никто в святых не оказался. Последний-то дядька в другом селе жил. Я в рождественский мороз к нему босиком, за восемь-то верст.

— Босиком вовсе? — испуганно спросила Лидка.

— Ну не вовсе, чулки драные на мне были. Потру ноги да дальше. Дядька-то как-то раз мне улыбнулся. Ну, думаю, приютюсь у него. А он покормил и сказал то же: «Ступай назад». Босой-то назад! А тут у него мужик пригодился — сидит.

— Пойдешь, — говорит, — шевяки убраться ко мне?

Я мотнул головой, пойду, мол.

— Айда за мной.

И привез меня к себе, обулки старенькие дал, мы с девчонкой его и убрали шевяки из-под скотины, и чисто убрали, все под соломой прошупывали, сам хозяин проверял и хвалил нас. И вот тут я вроде зажил. Поставит хозяин на стол кринку молока и калач мерзлый: «Ешьте». Я даже богу стал молиться за спасение свое. А тут учитель привязался: «Давай я тебя в приют пошлю. Там койки железные, одеяла и простыни чистые, мыло, баня, хлеб белый». И польстился я на это и отбухал там пять годков. В тринадцать лет я убежал все же. Да к тому же хозяину, а там уж перемена. Баба умерла, он на другой женился и стал тряпка тряпкой, мачеха девчонку замордовала, где уж тут мне. А был я уже на ногах, в пастухи подался. Вот какая моя история, Иваныч. А меня, брат, уже поругали за хомут этот. И как быстро все узнается. Два дня ли, что ли, прошло, а уж оттуда звонят: «Это ты кому хомут-то купил?» Да пропади он весь, этот индивидуализм, а тут ведь дело особое. Я при той бабочке районной помалкивать буду, а ты отбивайся руками и ногами. Я молчанием отобьюсь, а ты словами — а линия будет одна. Слышь, за окошком-то не тебя кличут?

— Да каждый вечер вот так, — сказала бабка.

— Это ребятишки, — пояснил Минька, — делать им нечего.

— Они играть его зовут, — объяснила бабка. — Я ему говорю, сходи поиграй, — отправить не могу. Скажи им, Миня, седни не могу, мол, наигрался с вилами.

Ребятишки не унимались, побрякивали заложкой ставни, и Минька, одевшись, вышел. У ворот его сразу подхватили трое.

— Давай, Миня, покатаемся. Что ты дома да дома? Бери вот эти санки. Да что ты стоишь? Посадить тебя, что ли? Вот так его, ребята. Ремнем привяжем, если не захочешь кататься с нами.

Миньку усадили в санки, сзади подтолкнули, и он покатился под горку, и снова ровесником стал им на эту минуту. Так легко и бездумно стало ему. Он ухал на



ухабах, ногой выправлял санки, чтобы на сторону не съехали. Под горой в кучу сбились мальчишки, посваивали друг друга, Минька не противился и оказался под ними.

— Да что, Минька, с тобой? Всех нас борол, а тут рукой не махнешь.

— Он теперь не Минька. Он Иваныч.

— Эй, Иваныч, бери санки да в гору. Кто вперед!

Ребятишки, визжа и подпрыгивая, унеслись в гору, а Минька едва поднялся со снега, чувствуя слабость в коленках, потянул руку за санками, а рука плохо гнется, и слабость охватила все тело. С трудом он зашел на гору, толкнул санки мальчишкам и пошагал домой.

— Иваныч накатался.

— Иваныч баиньки отправился.

Когда Минька пришел в сельсовет, городская женщина сидела за столом председателя.

— Этот? — спросила она Спиридона и помялась на сильных локтях, опертых о стол, устало ссутулилась, будто сделала за утро великое дело и притомилась, а предстоит ей прорва работы. Брови ее нахмурены, лицо каменное, губы строго подобраны.

— Он, — сказал Спиридон и незаметно подмигнул, отчего Миньке стало покойнее.

— Отказываешься ехать в детдом?

— Отказываюсь, — ответил Минька, исподлобья поглядывая на женщину.

— Вот это феномен, — сказала женщина непонятное слово, и Минька набрался храбрости:

— Зачем обзываете?

У женщины расширились глаза, руки ее подвернулись к бокам, она спросила голосом вполношенной курицы:

— Как это обзываю?

— Феноменом.

— А что это такое?

Видать, в классе понаторела, женщина любила разговаривать вопросами и глядеть навывла не на собеседника — на плакат военного времени глядела она сейчас.

— Что же это такое?

— Может, матерщина, а может, прозвище какое, — сказал Минька язвительно.

— Да ты у кого это наострился так разговаривать? — удивилась женщина и спросила: — Так что же ты будешь делать, если не поедешь?

— По хозяйству, — покойно и певуче ответил Минька. — Дома работы по-за глаза.

— Проживешь?

— Как-нибудь.

— Фе-но-мен! У нас еще не было случая, чтобы отказывались от детдома, — обратилась женщина к Спиридону. — У нас очередь на места. Очередь! Вот что война понаделала. И тебе советую в детдом. Собирайся, Осинкин, — такая твоя фамилия? Какой ты хозяин, Осинкин! Где-нибудь замерзнешь, отвечай за тебя. Так или нет?

— Не так, — буркнул Минька.

— Экий грубиянишка. Завтра, председатель, запрягай коня и вези его в город.

— А может, его и правда оставить пока тут, — вставил свое слово Спиридон.

— А вы знаете, как мы добивались этой путевки? А кто будет потом ездить к нам и вымалывать место? Вы что, хотите новых хлопот для себя?

— А поглядеть можно, какой он такой, детдом-то? — спросил Минька.

— У нас плохих детдомов нет. У нас они хорошие. Ишь ведь как: «поглядеть». Важная птица какая, поеду — не поеду, захочу — не захочу. Нет. У нас такого еще не бывало.

— Я сперва так съезжу. Хлеба наменяю. Я на белый хлеб, а Лидка с бабкой и черного не имеют. Я на Гнедке своем.

— Не говори-ка, парень, пустое, — жестко заговорила городская. — За сотню-то верст? На Гнедке своем!

— У них верно с хлебом туго, — сказал Спиридон. — А мед, ягоды есть. Ну, я могу все увезти на сельсоветском коне. Хлеба купим, Миня. Сходим в детдом, поглядим, а там видно будет.

— Не «видно будет», а точно — определить его в детдом. Бабке выделить из колхоза сколько-нибудь хлеба.

— Она не состоит.

— Единоличница, что ли?

— Да нет. Состояли они. Видите, сын в финскую убит. Ну, семьям погибших в Отечественную помогали как-никак. А их семью забыли. Вроде бы и не пострадали. Мать его вышла за другого, этих на стариков кинула. А они какие работники. Им не мешали как-нибудь прожить. Орешничали, ягодничали, медишко добывали. За шесть-то лет и отрешились от колхоза. Ладно, хоть не просили с него ничего. А тут мать и дед померли, такое дело. А насчет того, чтобы выделить хлеба старухе, так ладно, пуд-два выделили, а они спасут ее? Самое верное бы — оставить парня. Есть конь, есть дом, прожили бы как-нибудь.

— Ты, председатель, все к хомуту своему воротишь. У тебя лозунг: спасайся, как можешь, анархию разводишь.

— Год-два, а там колхозу он во как нужен будет.

— Вы все с колокольни своей глядите. Колхозу нужен, а государству не нужен. Да кто это там все дверь открывает, поговорить не дадут? Что это за старуха заглядывает?

— Это бабка его и есть, — сказал Спиридон.

Как упомянули бабку, она тотчас и вошла, как спутанная, шурша жесткой юбкой. Седые виски выбились из-под толстого полушалка. Она увидела упитанную и сердитую женщину и заплакала, то есть завытирала концами полушалка сухие глаза. За бабкой с какой-то отчаянностью во взгляде вошла тетка Настя. За ней сторож сельсоветский и Лидка.

— Вы-то все зачем пришли, вас не звали? — спросила городская.

— А про Миньку узнать, что с ним будет, — сказала бабка.

— В детдом его отправляем. А тебя либо к дочери, либо в колхоз с внучкой.

— Ай, умные, ай, рассудительные какие, — запела бабка, качая головой. — К дочери я и без вас дорогу знаю. Вот она рядом, скажу «иду» — и не прогонит. А колхозу нынче и без меня тягостно, в дармоеды к нему, что ли? Или в доярки меня? Я бы там отпилась молочком. Ну вот не гожусь никуда, гожусь в распорядители одни.

— В какие распорядители?

— Умом не выжила — Лидка, иди туда, Минька, делай то, и проболтались бы до годочков-то ладных. А я ишо могу, я сидя-то распоряжаюсь. А дочке моей чего надо — ей няньку надо, зыбать новорожденного.

Тут вперед выскочила Настя и руки в бока подвернула.

— Видать, выжила умом-то. Сиди у окошка и гляди на дорогу — вот и вся твоя работа.

— Не о том ты, Настя, думаешь, не о том, — говорила бабка, промаргиваясь. — Гляжу вот на тебя: на языке одно, на уме другое.

— Это что же на уме моем? — подняла голос Настя.

— Ты мне про что на днях намекала? Про деньги какие-то?

— Это ты чо же, мама, говоришь? — бесстыже уставилась Настя на мать круглыми глазами. — Я ить только прикинула: тятя жил индивидуально. Продавал мед, ягоду, орехи, знахарил. Это мы чертомелили.

— А на что же мы детишек кормили? — спросила бабка.

— Должны быть деньги, так соображаю, — сказала Настя, уже не скрывая мыслей, а бабка обратилась к городской:

— Вот она и зовет меня к себе. Да, если я без денег приду, что же будет со мной? И про Миньку у ей одно на уме — детдом и детдом. Лидку хочет спихнуть за какого-то вдовца дальнего, а ей шестнадцать годков в рождество исполнилось. А дом-то кому? Дом-то себе, а?

— Ты, мама, рассуждаешь как ярая единоличница, — переходила к политике Настя. — Ты пожила в войну-то неколхозно, язык-то тебе и разъело. Ты только и думаешь о деньгах да о домах.

— Все мы в войну-то огородами жили, — отвечала бабка. — Абы как выжить. Все мы спасались огородом да тайгой. Ты меня не попрекай этим, — задрожал голос бабки.

— Ну, политики, — растянула слово городская. — А ты-то, девочка, зачем тут? — спросила она Лидку, чтобы покончить с прежним разговором.

— Это внучка ее, Лидка, — ответил Спиридон.

— А! Ну, ты-то как будешь? Хоть за скотом-то в колхозе ходить сможешь? — Лидка молчала, тоскливо уставившись в промерзшее окно.

— Чего же ты молчишь?

Лидка вдруг уронила голову на руки и завывла, меж пальцев покатались слезы, и Спиридон не удержался, подошел к ней и потряс за плечо.

— Да ты чего это, Лидуха? — заворковал он ободряюще. — Вот не ожидал. Такая хозяйка, такая проворная.

— Плакса добрая, — сказала Настя. — Чуть что, так и за слезы, Минька скажет — плакать, бабка поворчит — плакать.

— У ей вся защита — слеза, — заступилась бабка, — шибко слезливая стала, это правда. И подумайте — одну оставить. Нет, я в своих стенах помирать буду, и детишек не трожьте, оставьте при мне.

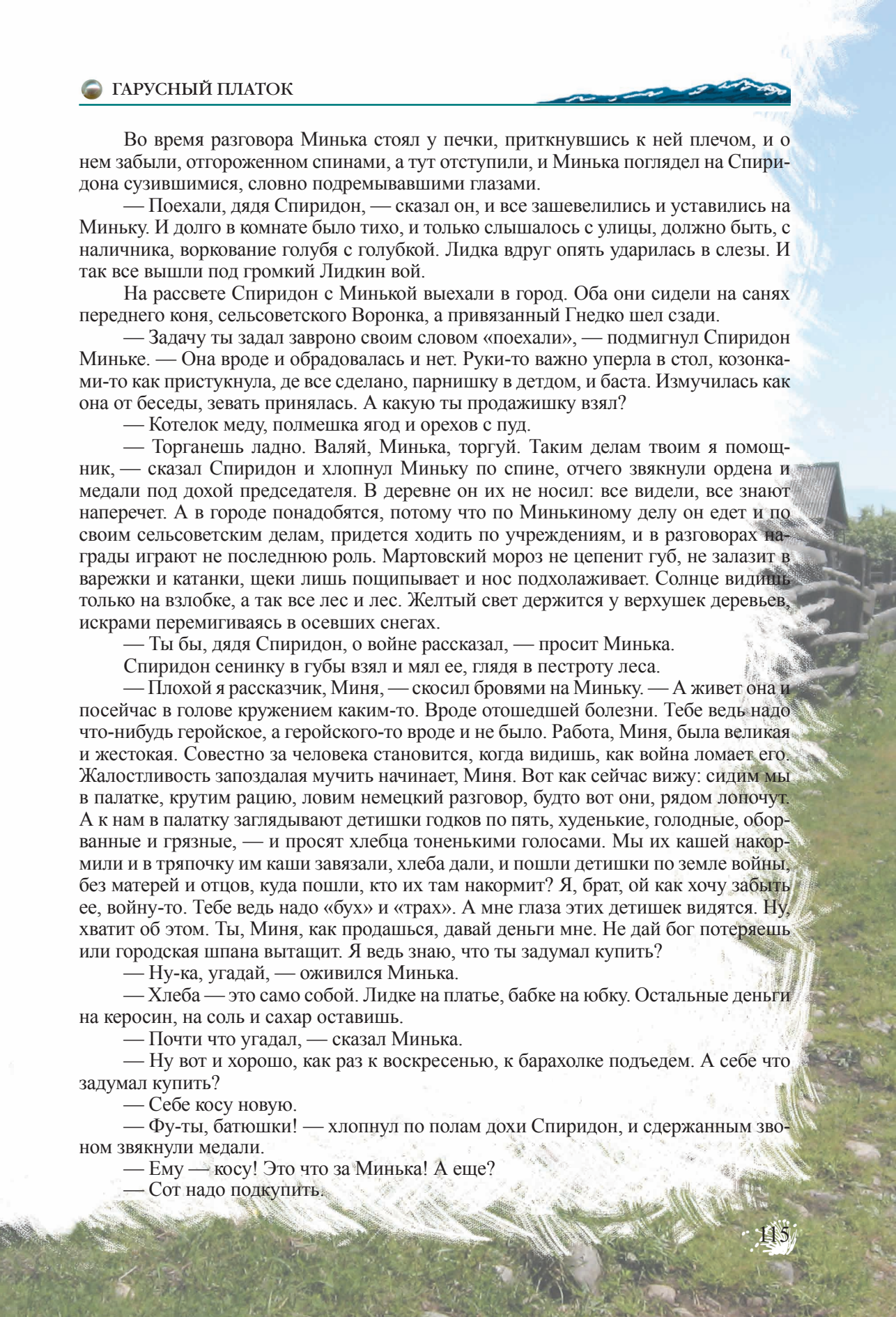
Сторож сельсоветский, старик чуть помоложе бабки, покряхтел, присев на подоконницу, поцарапал затылок, столкнув шапку с седого, еще кудрявящегося чуба, и сказал:

— Де-ла! — И может, ничего больше не добавил бы, если бы Спиридон не спросил его:

— Скажи-ка, Тихон, и ты свое слово.

— Это куда же вы парнишку спроваживаете? — заговорил он порывисто, словно боялся, что перебыют его и не дадут высказаться. — Будь он мой мнучок — живи, и никуда. Пока я не издохну. Много ли мне надо, а все бы ему, все ему. Это ведь помыслить только — отдать от бабки, какая она ни больная, в чужие руки.

— Теперь, кажется, всё высказались, — сказала городская. — Твое слово, Осинкин.



Во время разговора Минька стоял у печки, приткнувшись к ней плечом, и о нем забыли, отгороженным спинами, а тут отступили, и Минька поглядел на Спиридона сузившимися, словно подремывавшими глазами.

— Поехали, дядя Спиридон, — сказал он, и все зашевелились и устались на Миньку. И долго в комнате было тихо, и только слышалось с улицы, должно быть, с наличника, воркование голубя с голубкой. Лидка вдруг опять ударилась в слезы. И так все вышли под громкий Лидкин вой.

На рассвете Спиридон с Минькой выехали в город. Оба они сидели на санях переднего коня, сельсоветского Воронка, а привязанный Гнедко шел сзади.

— Задачу ты задал завроно своим словом «поехали», — подмигнул Спиридон Миньке. — Она вроде и обрадовалась и нет. Руки-то важно уперла в стол, козонками-то как пристукнула, де все сделано, парнишку в детдом, и баста. Измучилась как она от беседы, зевать принялась. А какую ты продажишку взял?

— Котелок меду, полмешка ягод и орехов с пуд.

— Торганешь ладно. Валяй, Минька, торгуй. Таким делам твоим я помощник, — сказал Спиридон и хлопнул Миньку по спине, отчего звякнули ордена и медали под дохой председателя. В деревне он их не носил: все видели, все знают наперечет. А в городе понадобятся, потому что по Минькиному делу он едет и по своим сельсоветским делам, придется ходить по учреждениям, и в разговорах награды играют не последнюю роль. Мартовский мороз не цепенит губ, не залазит в варежки и катанки, щеки лишь пощипывает и нос подхолаживает. Солнце видишь только на взлобке, а так все лес и лес. Желтый свет держится у верхушек деревьев, искрами перемигиваясь в осевших снегах.

— Ты бы, дядя Спиридон, о войне рассказал, — просит Минька.

Спиридон сенинку в губы взял и мял ее, глядя в пестроту леса.

— Плохой я рассказчик, Миня, — скосил бровями на Миньку. — А живет она и посейчас в голове кружением каким-то. Вроде отошедшей болезни. Тебе ведь надо что-нибудь геройское, а геройского-то вроде и не было. Работа, Миня, была великая и жестокая. Совестно за человека становится, когда видишь, как война ломает его. Жалостливость запоздалая мучить начинает, Миня. Вот как сейчас вижу: сидим мы в палатке, крутим рацию, ловим немецкий разговор, будто вот они, рядом лопочут. А к нам в палатку заглядывают детишки годков по пять, худенькие, голодные, оборванные и грязные, — и просят хлебца тоненькими голосами. Мы их кашей накормили и в тряпочку им каши завязали, хлеба дали, и пошли детишки по земле войны, без матерей и отцов, куда пошли, кто их там накормит? Я, брат, ой как хочу забыть ее, войну-то. Тебе ведь надо «бух» и «трах». А мне глаза этих детишек видятся. Ну, хватит об этом. Ты, Миня, как продашься, давай деньги мне. Не дай бог потеряешь или городская шпана вытащит. Я ведь знаю, что ты задумал купить?

— Ну-ка, угадай, — оживился Минька.

— Хлеба — это само собой. Лидке на платье, бабке на юбку. Остальные деньги на керосин, на соль и сахар оставишь.

— Почти что угадал, — сказал Минька.

— Ну вот и хорошо, как раз к воскресенью, к барахолке подъедем. А себе что задумал купить?

— Себе косу новую.

— Фу-ты, батюшки! — хлопнул по полам дохи Спиридон, и сдержанным звонком звякнули медали.

— Ему — косу! Это что за Минька! А еще?

— Сот надо подкупить.

— Ну-у, молодец! Ты мир дивить собрался, — восторгался Спиридон, пытли-во уставившись на Миньку. — Неужели правда, что ты об этом думаешь? Неужели такого человека ловкого породила та же война окаянная? А вот возьмешь и балалай-ку купишь. А?

— Балалайку покупать не стану, а как вырасту, гармонь куплю. Глядите, вот я каков, Минька-то Осинкин. Вальсы и танги разные выучу. Вот увидишь, дядя Спиридон.

— Ну, ты в отца пошел, не в деда. Дед твой дитей был до старости. И знахарство вроде забавы было для него. Вылечит — зарадуется, не вылечит — загорюнится. Настя зря про деньги говорит. Какие там деньги! У него сроду их не бывало. Они меж пальцев у него утекали, как семя просяное. Да и не из-за денег знахарил — просто любил помочь, любил человека.

— А ты любишь людей, дядя Спиридон? — спросил Минька неожиданно.

— Спросишь же ты, Миня. Как про себя скажешь? А вот было, было время. Не любил людей, да и себя тоже. Я в Москве лет восемнадцати оказался. Ну, знаешь, среди тысячи-то, миллионов-то людей, как в лесу. Орать охота. Мельтешение какое-то, как в пургу. Раз иду по площади, как потерянный, а меня хлоп по руке, я аж развернулся. А это машина меня по руке саданула, не мешай-де, не лезь куда не надо, задавлю. В парнях я был шибко нелюдимым. И мнение имел о себе такое: зачем ты, червяк, выполз из земли? Езжу, кружу по свету, а думаю о себе: зачем выполз? И невзлюбил я эту тайгу людскую. А в войну со мной стряслось обратное. Весь он, этот люд-то, из плащей, из кож, из цигеек и модных туфель, из-под зонтиков разных в шинель залез, а из нее виднее, кто ты есть. Ну вот ты ученый, артист или черт-те знает кто, а тебя в шинель, тебя сравнили, давай померяемся теперь, кто мы с тобой и как к этому последнему делу приспособлены. Ага! Я-то и оказался сильнее. Я им башмаки подколачивал, шинели подгонял. Я как-то сразу увидел, что всем нужен. Ага, ты в одну дыру залез, а я всего миру нанюхался, и из гвоздя могу струну вытянуть, и меня нарасхват. Капитан наш заметил меня и говорит: «Универсал, говорит, ты, Спиридон, коренной, говорит, ты, русак, из подковы щи сваришь». И почуял я, что любят люди меня. А капитан, так тот говорит: живые останемся, вместе куда-нибудь жить поедем, я, говорит, полюбил тебя, Спиридон, и от себя не отпущу. «Теперь-то, — говорю, — останемся живые, мы уж по три раза ранены, заморожены мы от смерти, капитан». Верили, ей-богу, верили, что выживем мы. Только капитан-то не дожил, не дожил мужик, не пожил мы вместе. Да. А я в разведке у него был. Это не та, пехотная разведка. Это артрязведка. В бинокль или в стереотрубу поглядывай, занеси все дороги, кусты, дома себе в книжку, измерь и подсчитай. Скажу, натерел здорово я в этом деле. Глаз-ватерпас у меня, и за то капитан ценил. «Талант, — говорит, — ты, Спиридон. Образования бы тебе, ты бы большими делами ворочал». Он в мой глаз лучше верил, чем в артиллерию свою. «Какая, — спросит, — какая даль вон до той церкви?» — «Такая», — говорю. И точно: как мину пошлем, так она на местечко мое и плюхнется. Держался за меня капитан здорово. А в жизни был вовсе ни к чему не умелый. Начнет сам погон пришивать, и все не ладно, порет да шьет. Я говорю: «Давай-ка я вам пришью», а он как расхохочется: «Не полагал, Спиридон, не полагал, что в капитанах загуляю». Он любил это слово «полагал», и говорил все с мечтой как-то, и глаза у него были задумчивые. Я его все поддразнивал этим словом, «полагал». Он хохочет, и только. Ты не заснул, Минька?

— Нет, нет, рассказывай, — отозвался Минька.

— Это раз такое дело. Спрашивает он меня: «Ты женат, Спиридон?» — «Трое ребятишек», — говорю. «А я, — говорит, — не успел, и нет у меня никого. Давай я на твою семью свой аттестат запишу».

— «Нет, — говорю, — это будет нехорошо. Так и дружбе нашей конец. Был капитан, был товарищ, а станешь кормильцем, опекуном. Обходились до того, обойдутся и дальше». — «Ладно, — говорит, — ты в этом прав. Я, — говорит, — ошибся». А получилось ведь как. В сорок пятом, уж после войны — бац перевод мне, и порядочный. Распорядился: деньги мои на такого-то переведите. В Москве-то я тогда тосковал в людском море и без человека. Вот бы тогда мне наткнуться на него. Не мерзнешь?

— Маленько, — сказал Минька.

— А у меня грудь пристыла. Я ведь в грудь был первый-то раз ранен. Давай споем, Минька, песней погреемся.

Спиридон запел «Землянку». Начал он песню с помыкивания, с повздохивания, туманясь взором, собирал на лбу морщинки. И потом уже вырвались слова, словно боль какая:

На поленьях смола как слеза

Спиридон замолк на минуту и встряхнул головой, словно отогнал тяжелые воспоминания, которые теснили его. Минька ждал — и вот из дохи с паром и вздохом, с привизгом и пристоном вылетело:

И по-е-ет

Опять отчаянно-горькое встряхивание головой. Кажется, в эти паузы Спиридон подыскивал, на какую высоту голоса поднять новое слово песни, находил, улыбаясь, и брал слово извивом высокого чистого голоса:

Мне в землянке гармонь

— Ты, дядя Спиридон, поешь не как все, по-своему, — сказал ему Минька после песни.

— Я, Миня, душу в нее вкладываю. Как она у меня постанывает, так и песня выпевается.

За «Землянкой» последовал «Синий платочек», за ним «Вставай, страна огромная». Эту песню пел Спиридон, поталкивая Миньку ногой — шел, стало быть, он в этот миг по военным дорогам. Спев песни, он закутался в доху и попросил Миньку:

— Ты, Иваныч, в Кебезени меня растолкай. — Переночевав в Кебезени у товарища, они отправились дальше. Спиридон и в санях спал до полдня, и за это время дорога стала меняться. Отступили кедры, сосны, почувствовав простор, стали присадисты и разлаписты. Начались поля с ометами соломы. Минька оглядывался назад, словно что уронил позади, и в глаза лезли дом, речка, синие дали леса. Он вспомнил свой огород, где росли два кедра. Бабка нудила деда спилить их, он отшучивался, и деревья продолжали кидать свои густые тени утром на дом, вечером на огород, а днем на речку. Минька любил сидеть на берегу реки и наблюдать, как в тень деревьев заходят темноспинные хариусы и немо стоят, наслаждаясь прохладой. За речкой начинались горы, чем дальше, тем выше, — и горам тем, по словам деда, нет конца и краю, и нет счета зверью разному. Дед ходил в унтах из кабарожьих ножек, в шапке из медвежонка, в дохе из косульих шкур, и она, как живая, шевелилась и дышала на нем. Минька провожал деда до первого увала, и, как ни просился внучек идти с ним дальше, дед поворачивал его обратно, говоря: «Сам-то с собой слажу ли».

И Миньке представлялись муки разные, какие испытывал дед. Раз, только раз, довелось Миньке быть в горах, о чем он никогда не забудет. В горах, за ущельем, в которое ложилось спать солнце, было озеро, большое и глубокое, «родной брат Байкала», как говаривал дед. В другой стороне от деревни был город. Минька ждал деда то из гор, то из города. И, увидев, мчался к нему навстречу.

— Тятя приехал! Тятя приехал! — так порой он называл деда, так его и Лидку приучили старики, чтобы меньше чувствовали сиротство.

— Гость наш явился, — напускно сердилась бабка.

Дед неторопливо спускался с самодельного седла, высоколукого, с проптелой подпругой и с разнофасонными стремями, снимал его с коня и перевертывал, дымящееся, на бревна. С солдатским сидором на горбу заходил в избу. Из него вынимал карандаши и тетради, школьные учебники, ножичек перочинный и топорик-маломерок — это Миньке, и бусы желтые и лаковый ремешок — это Лидке. Бабке он покупал разные лекарства: хоть и сам знахарил и делал травяные настои, но бабка не верила в них и требовала городских настоящих лекарств. Себе привозил бутылку разливухи — водки, выкладывал из мешка коврижку хлеба или каких-нибудь скоропечных лепешек — и начиналось пиршество. Бабка пробовала лекарства из каждой посуды по чайной ложке, и какое из них горше, тем она и лечиться будет в первую очередь. Дед наполнял стопочку себе и стопочку бабке и подмигивал ей:

— Тяпни, мать.

Бабка обеими руками отмахивалась:

— Без этой холеры никак обойтись не может. Что бы мучки, а то все ее и ее. Ух, как дивно хлеба-то подзнахарил!

Дед улыбался и, перед тем как выпить свою и бабкину стопки, целовал внучат, щекоча их серыми усами и бородой.

— Погодите, вот кончится она.

Слово «война» он произносить не хотел — «она», и только. Коврижка хлеба разрезалась на четыре пайки. На столе ворошок печеной картошки — ее пока ели вдосталь — да по стакану молока — не каждая семья нынче так питалась. В их лесной деревне многие жили вовсе без хлеба, и дедово знахарство нет-нет да и поможет.

Дед любил помочь человеку в недуге. Он собирал травы и завешивал ими чердак. К нему шли, и он делился с каждым, даже обижался, если кто плату предлагал. В войну жить стало труднее, и дед смекнул: хоть знахарством своим надо кормиться.

— Ты, девка, не веришь мне, — говорил дед, облупливая картошку, девкой он называл бабку, когда остро чувствовал неверие ее или недоброжелательство. — Я ведь помогаю. Вот к Нюрке нынче заехал...

— Она-то чем занедужила, — перебивала его бабка, — вон ведь телка какая?

Дед не сразу отвечал, дул на горячую картошку, так и не закусив ею, откладывал в сторону.

— У ей беда пришла.

— Какая беда-то? — всплахивалась бабка.

— Серега в госпитале помер.

— Ох ты, господи! У ей ведь трое.

— Нет, девка, четверо. Вот я ей — то и другое — пей, успокой себя. Пей аккуратно, пей неделю-другую. Я ведь знахарь и утешитель. А кто бы сейчас ее утешил? Ни кина, ни клуба. А радио-то не шибко утешает. Все про ее да про ее. Я как бы самовольно командировочный, и вот мои доходы все тут на столе. Ни с кого не требую, шапку на голову — и пошел. «Чем, чем я с тобой расплачусь?» — «А не надо ничем». — «Ну, хоть чаю садись попей». — «От этого не откажусь», — говорю,

так, для утешения, говорю. Помогаю, девка, я это себе уяснил. Я от сердца людям помогаю. Это как такой доктор-то называется, который от сердца лечит. Я и травой, и словом, и вот тут, — дед стучит в грудь, — тут легче. Я по силе возможности помочь оказываю. А когда ведь не могу, прямо и говорю: «Не могу, доктора зовите». Это тоже помочь, совет-то...

При воспоминании о деде в сердце Миньки разливается доброта. Он протягивает руку и достает до губ Гнедка, неторопливо идущего за санями. Может, и конь вспоминает о своем стареньком хозяине. «Вот так, Гнедко, нет теперь деда-то у нас, — печалился в мыслях Минька. — Ведь я говорил ему: «У тебя, деда, одно лекарство, выпивка. Перестал бы». А он что сказал: «Нельзя, Минька, перестать. Как зашабашу, сразу помру». И когда дед слег и перестал выпивать, Миньке хотелось, чтобы он поднялся вдруг и, ероша волосы и покрывкая, сказал: «Дай, мать, стопочку. Тяпну, и вся хворь пройдет». Но дед все тишел, все похрипывал, а за день до смерти поднялся, обрадовав всех домашних. «К больным съезжу, мать», — сказал он и велел Миньке запрячь Гнедка, велел и ехать с ним. И доехал Минька, куда повелел дед, да только тут же и сани повернул назад: дед, как сидел в передках, согнувшись, так и умер. И бабка как-то сразу изменилась. До того была подвижна и задириста. Деда на спор вызывала. Если тот уклонялся, улыбаясь снисходительно, бабка торжествовала: вот и сдался, вот и сказать нечего, вот и загнала в угол. Дед хохотал от этих слов, и бабка торкала по широкой его спине, и в торканье этом слышалось тайное сознание того, как дед умен и как высок в своей уступчивости. Когда дед был дома, бабка тем и занята бывала, что ворчала на него. Когда же дед был в «гостях», то есть знахарил, бабка принималась хвалить его перед внучатами.

— Полвека грызу его, а он только усмехается. А делает свое, и получается, что по его-то и лучше, а я помеха ему, дуреха неладная. Умница деда-то ваш. Учитесь у него, приглядывайтесь, пока живой.

Постоянно хворающая и охающая бабка работала так, что и молодой не угнаться. Особенно по весне она входила в работу, когда наступало время посадки, поливки, полоть. Тут она вроде молодеца, на щеках появлялся бордовый румянец. Руки ее выхватывали из речки ведра, полные воды. Ноги, обутое в старые дедовы ичиги, бойко протаптывали дорожки меж гряд. Бойкостью она заражала Миньку с Лидкой, и они, сгибаясь под тяжестью ведер, таскали и таскали воду к огуречным грядкам, поливая ею лунки.

— Кто из вас огурец стоптал? — дознавалась бабка, и детишки переглядывались и хихикали.

— Так было, мама.

— Я вам дам «так было». Будто осторожнее нельзя.

После трудового дня с лица бабки не сходила улыбка удовольствия. Она приносила соты, полные меду, и угощала внучат, подолгу глядела, как они, высасывая мед, жевали мягкие и сладкие вошинки.

После смерти деда бабка как-то сдала. Она бросала взгляд за окно и часто бесслезно плакала.

При этих думах Миньке привиделось, что и бабка лежит в дедовом углу и умирает. Он сожмурил глаза, откинул воротник дохи и вздохнул всей грудью. «Нет, мама, поживи еще, — запросил Минька в думах своих бабку. — Года три, ну два пожила бы еще. Как бы это сделать, какого лекарства купить?» И Миньку чуть не прохватила слеза, когда он вспомнил, что первой в его памяти зажила бабка. Бабка водит ему по ладони и наговаривает: «Сорока-ворона гостей ворожила, баню топила, воду носила, тут холодна вода, тут горяча вода, тут кипяток, а тут чик-чикаток». И щекотала Миньку бабка, и он вертелся, подпрыгивал и хохотал от теплых паль-

цев-рогатин, но с коленей не убежал. Потом Лидка лезла к бабке, чтобы та и ее пощекотала, но бабка отталкивала ее, ворча: «Маленькая, что ли, тебя на руках держать», и Лидка начинала плакать, отворачиваясь к стенке.

— На мокром месте у те глаза, Лидка, — ласково ворчала бабка и привлекала к себе девчонку, прижимала к груди и гладила белые волосы. Лидка смеялась сквозь слезы — так нужна была ей ласка. Вот, Лидка, для Миньки ты нынче главная любовь, главная забота, главная печаль его. Жалость тревожная подступала Миньке к сердцу при мысли о Лидке, и виделись ему всегда тоскливые, напуганные и сторожкие ее глаза. Они после слез становились улыбочивы. Робкая улыбка недолго теплилась в них и улетала до новых слез. Как бы Миньке хотелось, чтобы Лидка всегда улыбалась, всегда была весела и беспечальна. Что бы такое в городе ей купить и развеселить ее на неделю или хотя бы на целый день. А купит он ей гарусный платок, такой же, какой был когда-то у матери. Лидка любила надевать его и просила мать оставить, когда та уезжала с отчимом в другое село. Платок этот был Лидке к лицу, шел к ее карим глазам, и бабка, глядя на нее, говорила:

— Личит тебе такой платок. Личит.

Лидка подходила к зеркалу и долго смотрелась в него, то одним, то другим плечом повертывалась. Розовые цветки на платке походили на розовые Лидкины щеки, розовевшие еще больше от неожиданного открытия: как она хороша. Но и у матери платок был единственным украшением, и на просьбу бабки отдать платок девчонке отговаривалась:

— Это свадебный подарок мамин.

— Вот и передари его дочери.

— Я куплю ей новый, такой же хороший, — обещала мать, но Лидка знала, что купить ей не удастся: она приняла на руки кучу ребятишек.

Вот удалось бы Миньке купить такой платок, вот хватило бы денег. Хватит ли? Таких платков в продаже нынче нет. Его только с рук можно купить или на барахолке, и то случайно. Миньке хотелось разбудить Спиридона и спросить, какая цена такому платку, но тот храпел всюю, и будить его Минька не решился.

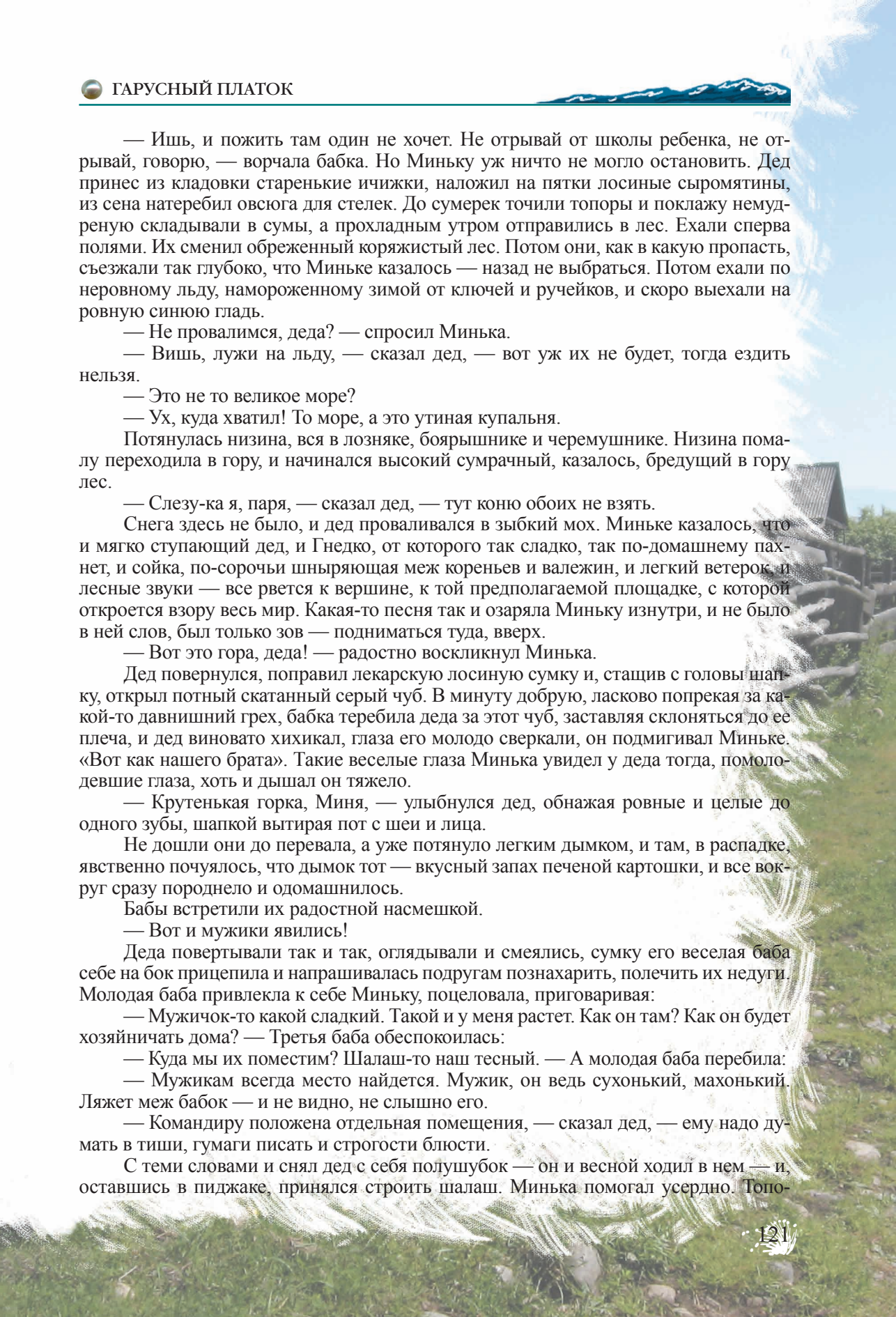
А то, что называлось городом, приближалось и приближалось. Они уже час ехали по столбовой дороге: высокие столбы справа и слева несли на себе сети проводов, которые ныли и нагнетали тоску. Минька оглядывался, но и там все слилось с белым снегом, и деревенька укрылась им. Как это люди живут без лесов и гор, без родников и рек? Нет тут ни заячьих следов, ни медвежьих, только собачьи следы испятнали все закрайки дороги...

Гнедко кивал головой, что-то вспоминая. Мягкими губами он тянулся к Миньке и бил копытами о полозья — просил убрать пристывшие к ноздрям сосульки. Кроша в руке лед, Минька убрал их осторожно, и Гнедко закивал усерднее, словно благодарил. Минька хорошо помнил, с какой поры родилась дружба между ним и конем. Была последняя весна войны, когда дед взял Миньку на весенний сбор орехов.

— Гляди, бабы подались в лес. И чего сидит, чего месит свои травы. Доктор — посконные оборки. Езжай, говорю, — гнала бабка старого в лес.

С привязанными к седлу мешками, пять штук при одной лошади, уходили бабы в сторону сказочного озера, бесстрашные бабы. Деду отсиживаться было неловко и остаться крайность большая — просили его больные приехать то в одно, то в другое село. Дед поразминался, поразминался, позаглядывал в окошко на весеннее солнышко и сказал:

— Собирайся, Минька, и ты. — То был первый случай, когда дед пригласил Миньку в горы.



— Ишь, и пожить там один не хочет. Не отрывай от школы ребенка, не отрывай, говорю, — ворчала бабка. Но Миньку уж ничто не могло остановить. Дед принес из кладовки старенькие ичижки, наложил на пятки лосиные сырмятины, из сена натеребил овсюга для стелек. До сумерек точили топоры и поклажу немудреную складывали в сумы, а прохладным утром отправились в лес. Ехали сперва полями. Их сменил обремененный коряжистый лес. Потом они, как в какую пропасть, съезжали так глубоко, что Миньке казалось — назад не выбраться. Потом ехали по неровному льду, намороженному зимой от ключей и ручейков, и скоро выехали на ровную синюю гладь.

— Не провалимся, деда? — спросил Минька.

— Вишь, лужи на льду, — сказал дед, — вот уж их не будет, тогда ездить нельзя.

— Это не то великое море?

— Ух, куда хватил! То море, а это утиная купальня.

Потянулась низина, вся в лозняке, боярышнике и черемушнике. Низина помалу переходила в гору, и начинался высокий сумрачный, казалось, бредущий в гору лес.

— Слезу-ка я, паря, — сказал дед, — тут коню обоих не взять.

Снега здесь не было, и дед проваливался в зыбкий мох. Миньке казалось, что и мягко ступающий дед, и Гнедко, от которого так сладко, так по-домашнему пахнет, и сойка, по-сорочьи шныряющая меж кореньев и валежин, и легкий ветерок и лесные звуки — все рвется к вершине, к той предполагаемой площадке, с которой откроется взору весь мир. Какая-то песня так и озаряла Миньку изнутри, и не было в ней слов, был только зов — подниматься туда, вверх.

— Вот это гора, деда! — радостно воскликнул Минька.

Дед повернулся, поправил лекарскую лосиную сумку и, стащив с головы шапку, открыл потный скатанный серый чуб. В минуту добрую, ласково попрекая за какой-то давнишний грех, бабка теребила деда за этот чуб, заставляя склоняться до ее плеча, и дед виновато хихикал, глаза его молодо сверкали, он подмигивал Миньке. «Вот как нашего брата». Такие веселые глаза Минька увидел у деда тогда, помолодевшие глаза, хоть и дышал он тяжело.

— Крутенькая горка, Миня, — улыбнулся дед, обнажая ровные и целые до одного зубы, шапкой вытирая пот с шеи и лица.

Не дошли они до перевала, а уже потянуло легким дымком, и там, в распадке, явственно почуялось, что дымок тот — вкусный запах печеной картошки, и все вокруг сразу породнело и одомашнилось.

Бабы встретили их радостной насмешкой.

— Вот и мужики явились!

Деда повертывали так и так, оглядывали и смеялись, сумку его веселая баба себе на бок прицепила и напрашивалась подругам познахарить, полечить их недуги. Молодая баба привлекла к себе Миньку, поцеловала, приговаривая:

— Мужичок-то какой сладкий. Такой и у меня растет. Как он там? Как он будет хозяйничать дома? — Третья баба обеспокоилась:

— Куда мы их поместим? Шалаш-то наш тесный. — А молодая баба перебила:

— Мужикам всегда место найдется. Мужик, он ведь сухонький, махонький. Ляжет меж бабок — и не видно, не слышно его.

— Командиру положена отдельная помещения, — сказал дед, — ему надо думать в тиши, гумаги писать и строгости блюсти.

С теми словами и снял дед с себя полушубок — он и весной ходил в нем — и, оставшись в пиджаке, принялся строить шалаш. Минька помогал усердно. Топо-

ром-маломерком поотрубал сучья пихты, ими и укрыли они свой крохотный шалаш, не шалаш, а берложку, и узкий лаз оставили. Внутренность шалаша толстым слоем веток устлали, ветоши вязанку натолкали, а как Минька опробовал жильё, покатавшись в нём, дед собрал совет.

— Вы, бабоньки, спите не шибко крепко, — советовал дед. — Пробуждайтесь раз и другой. И спя шевелитесь, сугревайте себя, а то простынете. Я той войной тем и спасся от простуд, что спал чутко.

— С тобой, дедонька, мы никак не заболеем. Сумка-то у те вон как полнешенька, — пошутила одна баба, но дед будто и не слышал ее.

— Ишо меняйтесь, как спите, — продолжал он. — Мы с дружками в германскую-то вот так сугревались: часок я в середке, часок товарищ. Одна шинель под боком, другой ноги накрываем, а третьей одеваемся. Ишо спинами друг к другу старайтесь спать. Брюхо, оно хлебное, само согреется, а спину греть надо.

Затем дед дознался, кто и что привез из еды, и учреждал порядок поварства.

— По очереди, по очереди, девоньки. И кто лучше изготовит. Мы с Минькой отсюда выпадам — это нам не по силам. Мы дров заготовлять будем. А насчет орехов — тут учить вас нечему, сами знаете, как собирать.

Так дед на первый час определял себя командиром, на том его начальничание и заканчивалось. Как варилось и что варилось, он не интересовался. От каш, картошки и куска хлеба своего отрывал Миньке лишек, шупал живот, тугой ли, ладно ли парень набрался. Глядел вослед уходящим бабам и подмигивал Миньке:

— Пускай туда идут, а мы с тобой в другой уголок заглянем.

Не лазить весной по деревьям, не бить колотом по стволам — ходи по мягкому моху и собирай в мешок шишки. Как становится мешок тяжёл — иди к шалашу и вывали. Весна в тайге больше живет в вершинах деревьев. Там свет, тепло, ветер. С вершины самого большого кедра хорошо увидеть, как пролетает весна, мельком поглядывая на мхи, на черные колодины, на роднички, которые с каждым часом становятся беспокойнее. Весна приказывает каждой насекомине: ты лезь на дерево, ты тащи соломинку, ты расправь крылья и до вершин поднимись. Беспокойная птаха прыгает на ветках, перепархивает перед самым носом Миньки и кричит: «Тут я, тут я». — «Знаю, что тут», — отвечает ей Минька, а птаха уже подальше отлетела и манит и зовет к себе Миньку. «А вот где я, а вот где я». — «Перестань, — крикнул ей Минька. — Некогда с тобой, лети к своему гнезду».

Ночью дед стлал лоскут медвежьей шкуры и укладывал на него Миньку, и тот прижимался спиной к груди и животу старика. Сухая ласковая рука оплетала Миньку, подсовывалась под ребрышки и грела — и было тепло, как в гнезде. А не сразу засыпал Минька: перед глазами летали птицы, стаями большими. Одна стая покружилась и отлетела к вершинам, а вот уж и другая прилетела и вьется над Минькиной головой, и каждая птица норовит сказать что-то. Минька засыпал, оглушенный кликом птичьим, а просыпался подхоложенный: деда рядом не было. Этот раз разбудил Миньку певучий незнакомый голос:

— Эй! Кто есть живой?

Минька высунул голову из лаза и увидел седока на маленькой лошаденке. Ноги седок выпростал из стремян, руки устало опустил на луку и улыбался узкими глазами и редкоусым ртом.

— Один?

— Ага, — ответил Минька.

Седок руки трубой сделал, напыжился и заорал:

— Э! Э! Шибко корошо! Кончай война! Кончай война! — Первым из лесу вышел дед, и седок метнулся к нему, соскользнув с седла.

— Э! Ефимка! Дохутур! Кончай война. Капыту-у-у, капыту-у-у...

— Да неужели конец холере! — охнул дед и опустил на пенек.

— Капыту-у-у-ли-ро-ва-ли!

— Как ты узнал, Дьемек? — спрашивал обрадованный дед.

А из лесу выскакивали бабы и бросали мешки с шишками.

— Ты о чем орал? Ты где про то слышал? — окружили они алтайца.

— Воздух! Радива! Слышал!

Седок бросил на землю кнут и пошел прыгать вокруг кедра, увешанного котелками. А бабы хлопали руками, суетно бегали подле шалаша, обнимались.

— Правда ли? Ба-бань-ки-и-и! — Алтаец все плясал, перевортывался через голову и приговаривал:

— Пра-вы-да, пра-вы-да!

И Минька не мог удержаться, прискакивал, широко расставив ноги и раскинув руки.

— Деда! Деда! Седлай Гнедка.

Бабы охали и метались по табору, бросали в сумы вещички. Коней оседлали и деда упрашивали:

— Дедонька Ефим. Ты уж останься, покарауль с Минькой орехи-то.

— Ну, дак всем ехать нельзя. Ну, дак чего поделаешь, — отвечал дед, и Минька крикнул отчаянно:

— Деда! — Так ему горько было оставаться тут в праздник.

— Мы и тут, Минька, порадуемся, — говорил дед. — Мы и тут выпьем за победу. Дьемек, привезешь водочки?

— Шетверть привезу, Ефимка.

После, когда баб, как метлой, вымело из лесу, и когда дед с Дьемекком ходили по табору, несвязно бормоча песню, Минька забрался на самый высокий кедр, на кроне его угнездились и оглядывал гигантские волны синего моря тайги. В какой чаще ее затаились Осинки? По ним ходит сейчас отец, ловкий и сильный, и растягивает гармонь. Всяко бывало — зимой бумага придет о смерти, а летом письмо: жив солдат, наврала лихая бумага. Не так ли могло случиться с отцом? По Миньке, конец войны — это шумное возвращение солдат, а их в одних Осинках полсела будет. Вернулись, поди, уже, и разливаются радость по селу, обнимаются бабы с мужиками, отцы с сыновьями, деды с внуками, и одних только Миньки с дедом там нет. Отец его, Иван Ефимович, поглядывает на тайгу и говорит: «Ах, нет отца, ах, нет сына Миньки».

Минька слез с дерева и затеребил деда:

— Ну вот! Опять жди, когда очухается. Не буду я ждать тебя. Оседлаю Гнедка и уеду, а ты оставайся. А чо! Возьму и уеду!

Не слышал дед, уснул, сморенный радостью и выпивкой, а слышал бы, сказал: «Нельзя, Миня, ехать. Реки сейчас дурят. Погоди дня два, а то утонешь». Оседлал Минька коня, взял сумы с чистым орехом и поехал.

Гнедко торопился домой, выискивая путь, свободный от веток, то и дело набегая на ручей, который тоже торопился к большой воде. А вот и калтусы, которые теперь не узнать — вода щиколотки коню закрыла, скоро и до коленей добралась, и вот уж Минька ноги поджал, а сумы волочатся по воде. А дальше, за островком-взлбком, кипит поток, заставляя Гнедка всхрапывать и опасно прядать ушами. Минька глаза расширил от страха и надрывно закричал:

— Но, но, Гнедко-о-о-о!

И не спускал Минька глаз с того крутого берега, когда конь вдруг не достал дна копытом и повис на воде. Сумы, как подушки, надулись, всплыли, и их унесло



водой, а сам Минька, сброшенный с коня, цепко вплеся руками в гриву, и вода показалась горячей, обожгла. Так его конь вынес на берег. Минька едва выпростал пальцы из гривы.

— А гостинчик-то отцу! Унесло-о-о-о! — едва выговорил Минька и опустил-ся, рыдая, на землю...

Машина, какую Минька видел только на картинке, обогнала их, подпрыгивая кузовом и гремя железом. Гнедко шарахнулся в сторону и отвлек Миньку от воспоминаний. Прошумел слева и унесся вперед «газик», клубя за собой снег. Замаячила красная труба, выросшая на горбу серого здания, и Минька затеребил Спиридона:

— Кажись, приехали. Поднимайся! — Спиридон отмахнул воротник, оглядел-ся и выпрыгнул из саней, хлопая рукавицами, приплясывая и покрывкая.

Город был маленький, раскинувшийся в долине речки, со множеством коротких улочек и переулков, которые упирались в косогоры. В центре была гостиница, ресторан, два-три магазина. Самый большой дом был в три этажа, и тот деревянный. Но и такой город Минька видел первый раз. Маленький-то маленький, но все ж таки не деревня, хотя бы потому, что люди все торопятся, ведь надо из конца в конец пробежать километры.

— Мы сперва свои надобности исполним, Миня, а потом уж общественные, — сказал Спиридон.

Базар оказался в центре города и был тоже невелик — три порядка, крытых тесом, два магазинишка по углам. Уставших и подтощавших коней они тут же выпрягли, подвязали к саням, и кони деловито захрумкали.

Товар свой не весь Минька выставил напоказ. В прихваченный мешочек насыпал орехов и стакан наполнил. Густой и засахарившийся мед выставил в чашке, ее хоть и не вешай — ровнехонько килограмм в ней. Ягоды погодил показывать. Спиридон имел товару — два куля картофеля, один куль тут же старушка купила. Спиридон честь по чести положил его на санки и прикрутил веревочкой попонку, деньги затолкал в карман гимнастерки, на ухо шепнул Миньке:

— Ты тут поглядывай в оба. Я на минутку отлучусь. — Вернулся Спиридон с пряниками, сунул их Миньке в карман.

— Пожуй маленько, замори червяка.

Торговать было Миньке в радость. Суетливые женщины наклонялись над прилавком и сверялись о цене меда, затем удивленно ширили глаза, говорили: «Одурели, видно», — и тогда Минька предлагал:

— Дак орехов тогда купите.

Орехи шли бойко. Минька сыпал мелочишку во внутренний карман пиджака и думал: вот как жизнь шибанула его — за прилавком он стоит наравне со взрослыми. За сто километров с продажей приехал. Люди глядят на него с любопытством и качают головой, одна старушка даже сказала:

— Районо рядом. Как позволяют малышам торговать на базаре? — Минька глядел на всех прямо и говорил громко, чтобы прогнать страх.

— Дорого, мальчик. Уступи, — просили его, и Минька отвечал:

— Мед этот горный, альпийский. — Так дед называл свой мед, таким и Минька продает.

— Какой, какой, мальчик? — переспрашивал любопытный старичок.

— Аль-пий-ский, говорю, — отвечал Минька не моргнув.

— Издалека твой мед, мальчик.

— Цветы у нас вовсе другие, чем тут.

— Мал, а врать ловок. Откуда ты?

— Из Карагача.

— Знаю. Меды ваши отменные, лучшие меды в крае.

То ли слова старичка помогли, то ли меда на базаре больше не было, но к Миньке очередь набежала, просили продавать помалу, чтобы всем хватило. Никогда еще не было такого с Минькой, чтобы люди вниманием его оделяли. А Минька может не торопясь накладывать в чашку и деньги собирать. Спиридон тесаком выковыривает мед и шепчет Миньке:

— Пошло дело! Так мы продадимся за час — и обедать. Тут тихонький ресторанишко есть. Посидим, поважничаем. А там и за дела общественные. Ты куда деньги кладешь?

— В грудной, — шепчет Минька.

— Правильно. Подальше клади, поближе возьмешь. Приеду домой, расскажу, как ты базарничал. Где ты наобык?

— Люди научили.

— Верно, Минька. Орехи кончились?

— Все. Ягоды выставлять надо.

Гремящую мороженую клюкву Минька продавал стаканами, а Спиридон подхваливал:

— Для киселей городских лучшая ягода. Забирайте остаточки. — Ночевали в Доме колхозника. — Утром в воскресный день Спиридон и Минька отправились на барахолку.

По Миньке, зря это множество людей и вещей назвали барахолкой. Товар на руках и на лотках вычищен, выскоблен, выглажен. Сапоги так и сияют, пальто так и пушатся воротниками, глаза людей посверкивают, так и норовят тебе что-то сказать. Это, если взвесить, — все дорогое, все главное стащено сюда, как напоказ. Кончит-ся праздник, и понесут добро по домам, запрячут подальше в ящики.

— Что будешь перво-наперво покупать? — поинтересовался Спиридон.

— Гарусный платок Лидке, — ответил Минька.

— Эко ты задумал.

— Это самое главное, — сказал Минька и посмотрел на Спиридона такими же бойкими глазами, какие были у всех тут.

— Давай тогда в самую толпу, может, и вынесли.

Минька скользит взглядом мимо шуб и дошек, платьев и кофт, мимо шапок и брюк галифастых, в глазах его платок плещется цветастый, большущий, расстелить, так во всю кровать будет, — и манит, и манит Миньку вглубь толкучки. Вдоль и поперек исколесили ее, а нужного платка не нашли и пошли было на выход, Спиридон посоветовал:

— Давай купим ей какую-нибудь шапочку.

Минька замотал головой, недовольный, и пошел с барахолки поперед. Тут и набежала на них женщина с папиросой во рту. На руке ее разметался гарусный платок, и кистями алыми едва не касался снега. У Миньки дыхание перехватило, растерялся он на минуту, но выручил Спиридон.

— Почему же, тетка, древность такая? — обратился он к женщине.

Цену товару своему тетка знала, и, как назвала ее, Минька отвернулся, рот раскрыл: сюда бы деньги, вырученные за кули Спиридоновы, и все равно не хватило бы.

— Ну, вы, хозяйюшка, заломили цену! — начал торговаться Спиридон, разглядывая платок на свет. Хоть залежен платок, но цел и крепок и ничуть не отцвел. — Товар-то не модный нынче! Кто платок такой теперь носит? Старухи одни, да и то когда их в гроб кладут.

— И-эх-х-х! Де-рев-ня! — дыхла тетка дымом в лицо Спиридона.

— Говори делом, тетка. Бери любую половину. — Женщина вырвала из рук платок и пошла дальше.

— Тетка! Не упускай покупателей. Задаром отдашь. А ну вот тебе еще сотня. Женщина вернулась и бросила платок на руки Спиридона.

— А ну, Михайло Иваныч, раскошеливайся!

Шел Минька в колхозный дом успокоенный. Ни себе, ни бабке ничего не купил, денег осталось на соль и на спички. Лидка обрадуется, когда Минька платок этот из мешка вынет. И бабка его поймет: ничего не надо ей для жизни, что для смерти было, и то отдала. А Минька будет донашивать немудреную дедову одежду. Лидке надо — чтобы слез ее не видеть. Ей надо, что поделаешь, да и девкой уже становится. Тот раз, когда заявила она, что смерть ее потеряла, Минька долго приловчался серьезный разговор начать, посадить ее перед собой и, сколько есть ума, убеждать, что жить непременно надо, что все у них впереди, что погоди, как они еще заживут: и дом новый построят, и скота больше будет, и огород расширят до самого болота, — так и не смог, он только дернул тогда Лидку за рукав и сказал тихо: «Давай не плети всякое».

Плохо сказал, шибко мало, но Лидка защиту, что ли, какую в нем почуяла, плакать перестала и вздохнула облегченно. Взглянула на него по-особому, словно только заметила, а брат-то, брат ведь есть, не одна она на свете. Так думал Минька, пока шли они до Дома колхозника. Спиридон думать не мешал, оттого, пожалуй, что особый блеск в глазах Миньки видел, другую походку, осанку ответственную, платок в руке. В колхозном доме Спиридон ласково поглядел на Миньку и спросил:

— Что дальше делать будем, Михайло Иваныч?

— Справляй, дядя Спиридон, свои дела живей, и домой двинем, — сказал Минька.

— А детдом? С ним как быть?

— Мне домой надо.

— Не пойдешь, не посмотришь, какой он?

— Незачем.

— Я, брат, так и думал. Завтра дело справлю. Послезавтра двинем.

— Завтра бы, — дрогнул голосом Минька.

— Эко торопишься. В кино ходил бы, в музей.

— Проживаться тут.

— Это верно. Город деньги любит. Да и кони сенишко съели. Завтра я с утра все сделаю — и двинем. А завроно скажем, что убог. Скажем так?

В деревню вернулись вечером. И хоть спать клонило и в тепло тянуло, выпряг Минька Гнедка и остыть поставил у столба. Все ждал — вот выйдут бабка с Лидкой, помогут хоть ворота закрыть и оглобли подвязать у саней, но так и не дождался. «Придется выговор дать», — обиделся он и вошел в избу. Бабка лежала на койке и охала.

— Ох, Миня, не встретила тебя, вовсе хворой стала. Встать уж не могу. А та, польса-то, в клуб наповадила. А в клубе-то парень чужой, дак, говорят, пристаёт к ней.

— Это какой еще чужой? — устало ворочая языком, спросил Минька и присел на край бабкиной кровати.

— Боюсь я, Миня, выскочит она за него. А рано. Рано-то, как рано! Я, слава богу, семнадцати, а ей-то, ох-хо-хо. Беда это, Минька. Пошел бы ты к Спиридону, да с им и отсоветовали бы. Потерпела бы еще маленько нужду-то. А то от нужды да к горю.

Распоясанный, с мешками в руках, с осунувшимся лицом — веки так и норовят закрыть глаза, — сидел Минька подле бабки и не знал, что предпринять. Кто, кроме него, ввяжется в такое дело, кому надо?

— Она ничего не взяла с собой? — спросил Минька и полез в бабкин ящик. Тут ли платье, тут ли исподнее, тут ли косынка летняя. Перерыл бабкины тряпки и не нашел ничего.

Подпоясавшись Минька потуже и, не говоря ни слова, вышел из избы. В клубе пять-шесть парней резались в очко. Столько же девок в другом углу шептались и хохотали и, как Минька вошел, замолчали.

— Тут Лидка не была? — спросил.

— Была да сплыла, — ответила толстая девка. — Пропас ты сеструху свою. Ее, может, и в деревне уже нет.

— Да тут еще. Собираются, — сказала другая. — Беги к Бекетовым живее.

Минька и дверь клубную не закрыл за собой. С крыльца на сторону соскочил и что было духу понесся в дальний переулочок, только снег под ногами хрустел, притаявший за день. За ставней свет горел, и Минька заколотил нетерпеливо.

— Кого надо-то? — послышалось из избы.

— Лидку, Лидку! Откройте.

В избе было людно. Скамьи и табуретки заняли соседские бабы и ребятишки, все загадочно и удивленно уставились на Миньку.

— Ох-хо-хо! — досужно поохала баба.

— Где наша Лидка? — спросил Минька.

— Нету Лидки, нету.

— Опоздал, Минька.

— Проездил сестру-то.

— Дите ведь еще.

— А ты, парень, успокойся. Может, это к лучшему, жених-то хоть и староват, а из семьи порядочной.

— Да что он староват? В двадцать-то пять годков?

— Толкуйте дитю, что он теперь сможет?

— Сейчас только уехали, — шепнул ему парнишка-одноклассник.

Миньке почудилось, что дух Лидкин еще живет тут, что следы ее у порога еще горячи. Что лица-то баб не разгладились от улыбок, с которыми проводили они Лидку за ворота.

— Да во что она хоть оделась-то? — не зная, о чем говорить, спросил Минька.

— Все есть на ней. Некорыстно, да собрали. Шубу хозяйскую вернет, как придет виниться.

— А в какую деревню?! — спросил Минька.

— Да в Курдюмы. Верст сорок будет.

— Ы-ы-ы! — басовито и надрывно рыкнул Минька, и все, кто в передней и на печке были, повысыпали, думая, что Минька реветь будет. — Ы-ы! — нервно затрясся Минька, но слезы не проронил, только побледнел больше, но тут на ум пал ему Спиридон. Спиной Минька торкнул дверь, она чавкнула, пристылая, и скрыла Миньку в сенной темени.

Кто-то сказал:

— Погорюет маленько и забудет. Дите.

Подхваченный попутным ветром, Минька бежал в другой конец села. Ветер трепал полы шубенки, уши шапки хлопали по щекам, ноги каменно отяжелели, когда он забрякал в колечко ворот Спиридона.

— Кто там? — раздался голос Насти.

- Я, тетка! Минька. Дома ли дядя Спиридон?
- Нету его, нету. В сельсовет ушел. Ступай домой.
- Дома он, дома! Конь-то прыскает. Мне шибко надо его. Тетка-а-а!
- Нету, говорю. Ступай. Это наказание одно, а не работа. — Видно, по голосу узнал Миньку Спиридон и вышел на крыльцо, покашлял и высморкался.
- Кто там меня?
- Ну, Минька же!
- А, Михайло. Сейчас.
- Лидка убежала! — сказал Минька, лишь порог переступив.
- Как это убежала? Из дому, что ли, убежала?
- С чужим парнем!
- Это ино дело. Я думал, так куда, от нужды. Ну, да так и так от нужды. Ах ты, невеста без места.
- Догонять надо.
- Миня, а может, так и надо.
- Нет и нет! — отчаянно заревел Минька.
- Спиридон покряхтел, походил по избе, пожимая плечами, и пригласил Миньку:
- Ты ведь, Миня, не жевал ничего. Садись, поешь горячей картошки.
- Не хочу, — замотал головой Минька.
- Садись, говорю. Не сядешь, не поеду. — Минька сел за стол, но так рук и не поднял.
- Ехать надо, Настя. Ты не сердись на меня. Такое дело. Мне вот тут прострелила эта новость. Девчонка же! Только что, говоришь, уехали? Догоним и через час дома будем.
- Жених с невестой остановились на ночлег в соседнем селе у жениховой тетки. Когда Спиридон и Минька вошли в избу. Лидка сидела за столом в розовой кофте с чужого плеча. В светлые волосы вплетена алая лента, а на руке поблескивало серебряное колечко. Она покраснела вдруг и стала вытираться платочком, пряча в нем лицо.
- Ну, здравствуйте, хозяйева, — сказал Спиридон, стяхивая с себя доху.
- Проходите-ка, садитесь, — сказал хозяин. — А я где-то, мужик, тебя знал.
- Я председатель Осинковского сельсовета, — пояснил Спиридон.
- А! — протянул хозяин. — А я здешний тракторист. Видно, встречались на совещании каком-нибудь.
- А вы-то кто будете, молодой человек? — спросил парня Спиридон.
- Парень не снял еще с себя солдатской гимнастерки, очень простиранной и короткой. Свежий подворотничок обтягивал налитую шею.
- А я вот за невестой ездил в ваши края, — кивнул он на Лидку и засмеялся, став сразу проще.
- Ага. За невестой, — потупился в пол Спиридон. — Как, подходяща ли невеста? Зыбка-то есть для нее?
- Велика ли между ними разница, девять лет. Редко ли это? — сказал хозяин. — Поживут пять лет и сравняются.
- Ага. Значит, сравняются, — расходился Спиридон. — До цвету, брат, срываешь. А! Зелень несозрелую косишь.
- Понравилась, — широко улыбнулся парень в ответ.
- А я вот властью разом покончу с этим. Ей два года до совершеннолетия. Ты думал об этом?
- Ну, как, мы думали об этом? — весело обратился парень к Лидке.

Лидка голову опустила ниже, мельком глянув на парня и насупившись, что означало: все решено без вас и не мешайте нам.

— Чего ты сама-то скажешь? Да что тут спрашивать. Ясное дело, обманул, калачиком поманил дурочку. Давай вылезай из-за стола и одевайся. Потом скажешь спасибо.

Все это Спиридон проговорил решительно и приказно, и даже пальтишко Лидкино схватил с гвоздя и бросил ей на колени, даже за руку ее, как ребенка, взял и поволок из-за стола, но Лидка вырвалась и уселась на прежнее место, рукой перчеркнув сторону, где были Осинки.

— Нету мне дороги туда, дядя Спиридон. Кому я там нужна? Ну, кому? Миньке одному, так он и сам от горшка два вершка. И не удерживайте меня, не удерживайте! Вишь, отец нашелся.

Лидка губами зашевелила, как бывало с ней перед слезами, но гнев ее оказался сильнее. Она не могла найти места рукам своим: то клала их на стол, то на груди сплетала их, желая казаться взрослой и самостоятельной.

— Ты понимаешь, что ты делаешь? — грозя пальцем, кричал Спиридон.

— Не учи, понимаю, — отвечала Лидка.

— Что ты понимаешь?

— От смерти ухожу. Спасителя своего нашла. Опору надежную.

— Ты чьи слова-то говоришь? Ты бабьи слова говоришь. Так они тебя провожали?

— Нянькой буду, стряпкой буду, все буду делать. Не молчи же! Дима! — с отчаянностью она обратилась к жениху, и тот поднялся из-за стола, одергивая гимнастерку.

— Выйдем, прохланемся, председатель, — сказал он.

— Не-е-т, — протянул Спиридон, — ты здесь объяснись. Или у те в своей деревне нет подходящей девки? Или брак какой у те? Объяснись, изволь.

— Да нет. Без брака, — ответил парень, — а поговорить можно и тут. Говоришь, молода шибко, жертва, значит. Ну и понимай, и я так понимаю. А что из нашего понимания? После войны всюду жертвы, куда ни ткнись. Я вот тоже жертва — вдовый остался. Померла и дитю оставила. Она сказала, в няньки идет. И нянькой будет, и женой, и коровницей. И я ей обо всем этом рассказал, не запрятал. Ну и по сердцу пришлось мне за глаза ее тоскливые, за тревогу в них... И сказал ей: никогда не обижу. Никогда! Знаю, что боится меня. Я вон какой рыжий. Я как подсел в клубе к ней, она аж в стенку впелась. Я спрашиваю, как тебя звать, она и сказать не может. Я говорю: Лидкой тебя звать. Я же ведь спросил уже, я же позавчера еще глаза твои заметил, я, говорю, замуж тебя хочу взять. Пойдешь ли, говорю, на ребенка, на хозяйство? И тут она от стены отлепилась и выпалила: пойду! Да ты меня, Лидка, не знаешь, говорю, да и за сорок верст отсюда. Пойду, говорит, хоть за двести. Ты говоришь, своих девок у нас полно. А я и жениться не собирался, хоть и дите. Мать у меня есть. Ходил бы по разным, шлялся. А вот увидел горе, горе на горе набрело. А может, из их счастье слепим. Я не связал ее, не украл. Правда, бабке не сказались, парню вот этому. Ну, она сама этого желала. Говорит, чтоб разом со старым покончить.

— Да сама же, сама же я! — воскликнула Лидка, прижав руки к груди.

— Ну вот, а теперь одевай ее, где пальтишка-то? Одевай, председатель.

Слово о вдовстве сократило Спиридонову напористость, он пристальней заприглядывался к жениху: парень, как многие, не из бравых, не глуп, видать, и воевал неплохо, по медалям — до Берлина дошел. Спиридон смутился, завертел в руках самокрутку и спросил невпопад:

— У те девка или парень?

— Мужик трех лет.

— Парнишка — это хорошо. Парнишки с неродными матками лучше девчонки живут, — заметил Спиридон и почесал затылок. — А ты как, регистрироваться намерен?

— А как же, — ответил парень. — Только ведь не запишут пока.

— Ты обязательно распишись, как время придет, — сказал хозяин дома, и хозяйка добавила:

— Без этого нельзя никак. Не пойдет без того, Димка, вроде на обман будет походить. Как-нибудь через знакомство, заплати тому человеку, не поскупись, согласится и годишек-то ей набросит.

— Ну дак как же, Миня, твое-то мнение? Чего же мы брата не спросим? — обратился к Миньке Спиридон.

И все в доме, забывшие было о парнишке, поглядели на него, сидящего у порога на табурете. Он засмутился, но забота не покидала его за все время разговора, он тревожно думал о том же, о чем думали и говорили взрослые. Он поднялся, как поднимаются из-за парты школьники, и махнул рукой, болезненно улыбнувшись.

— Не поедет она назад, знаю ее, — заговорил он. — А ты, Лидка, все-таки подумай. Ты сперва распишись. Вот.

— Дак о чем мы и толкуем, — сказал Спиридон.

— Ты, дядя Спиридон, председатель. Ты бы и расписал их. Распиши их, а, распиши, — умоляюще обратился Минька к Спиридону. Даже руку протянул к нему.

— Я! — положил себе на грудь руки Спиридон. — А ведь это, пожалуй, идея. Ну и голова же у тебя, Миня! А приезжайте-ка через день-другой в Осинки. А я уж грех этот на себя возьму.

— Ну вот как хорошо, вот как ладненько получилось, — обрадовался хозяин дома. — Давай-ка, председатель, садись в передний угол. Мать, неси холодненькой с улицы. А ты, сват, сватом ведь теперь можно тебя назвать, ты, Миня, вот сюда садись, рядом с сестрой. Посидите-ка, не часто теперь придется сидеть за одним столом. Экой ты, брат, парень смысленый. Задал ты своему председателю задачу.

— Ты его, хозяин, не Миней зови, ты его Михайлом Ивановичем, — сказал Спиридон. — Этого обучила беда, далеко пойдет. Этого только отпускать никуда не надо. Этот нам такого хлеба наробит. Вот ведь что я пророчу тебе. А пока и тебя, Миня, годочка на два состарю, и поедешь ты боронягой нынешней весной. Ведь ездил маленький-то?

— Ездил, — ответил Минька с достоинством.

— Значит, легче тебе прожить. А индивидуальность — то пока. Не пойдет теперь это дело, как ни нажимай. Поиграли вроде с хомутом этим, поросли, подумкали — хватит. А давай-ка за все твое хорошее и за твое, Лидка, выпьем. Тебе, Миня, разрешаю, сеструху ведь выдаешь замуж, ну хоть с наперсток.

Все чокнулись с Минькой, как со взрослым, а с Лидкой он сам чокнулся особо, постоял еще немного и вдруг неожиданно поцеловал в щеку. Задохнулся Минька от малого глотка. А Спиридон мягкий ломоток ему сует:

— Дыши!

Упился Минька ароматом хлеба, слезы с глаз вытер, чтобы никто не увидел, и закусил горячим пельменем из Лидкиной тарелки. Так они и ели из одной посуды, как ели всегда дома, ели, на последнюю минуту соединенные. Ели, обожженные непривычным вином и забывшие всех вокруг, хотели сказать друг другу что-то и не находили слов, заедавая неловкость горячей пищей. Вокруг смеялись, разговарива-

ли — они ничего не слышали. Волосы склоненных голов спутались, рождая ласку и доброту. Минька вдруг поднялся из-за стола и радостно воскликнул:

— Черт побери! Чуть не забыл! — Он надернул на себя шапку и выскочил на улицу.

— Коня пошел поглядеть. Хозяин! — проводил его добрым взглядом Спиридон. Минька вошел в избу с мешком. Со дна его достал платок, развернул, всплеснул им так, что углом одним платок на кровать лег, а другими разметнулся летним лугом по полу.

— Вот, Лидка. Бери, — сказал он, а Спиридон руками замахал:

— Получай, Лидка, Минькин подарок! Ради него брат сто верст отмахал. У! Красотища-то какая!

— Гарусный! — воскликнула хозяйка. — Таких теперь днем с огнем не найдешь. А новешенек-то!

— Неношенный, — сказал хозяин.

Жених взметнул платок к самому потолку так, что ветерок по избе прошел, и набросил его на плечи Лидке.

— Идет-то как тебе, Лидуха! Это, Минька, ты здорово сообразил. Это на долгую память. Так, что ли, Миня!

— Это чтобы жили вы дружно, — сказал Минька и поглядел внимательно на парня. — И чтобы жалел ты ее.

Когда распахнулись ворота и Минька со Спиридоном выехали на улицу, проводить их вышли все и пожелали доброго пути. Лидка стояла поперед всех и плакала навзрыд. А Минька вскакивал на санях и, пока не свернули в переулок, кричал одно и то же:

— До свиданья, Лидка! До свиданья, Лидка!



ПАНТЕЛЕЙ

Оттого, видно, что нас было много, росли мы безликими. Отец забывал порой, как нас звать, и называл мужиком или девкой. Мать путала имена и, не вспомнив нужного, кричала: «Эй ты, парнишечка». Каждый старший из детей имел власть над младшими, поощряемую родителями. Посчитайте, сколько было властителей у меня, если я из девяти был восьмым ребенком. К тому же в голову отцу пало считать меня неродным по той причине, что из всех детей я один походил на мать.

— В тот год я и дома почти не бывал, — кивал отец на меня, — чую, не свиреповской породы он.

Слова отца на всю жизнь засеклись в моей памяти, и, может, они сделали меня застенчивым, замкнутым. Обиды я переносил с недетским страданием и, чтобы избежать их, был послушным и исполнительным.

Я не успевал исполнять волю старших, и для своей власти над младшим братом у меня не хватало сил. То и дело слышалось в избе: Санька, подай шило, отыщи иголку, сбегай за дровами, вычисти хлев, нащепай лучин, смети с крыльца, закрой окна. Я часто был предметом увеселительных сцен. Старший женатый брат Нефед подзывал меня к себе и, гипнотически впиваясь взглядом, кричал: «Беги, живо! Скажи, чтоб ждали!»

Я бежал из избы и посереде улицы останавливался, недоуменно разинув рот: «Куда, к кому тебя толкнули?» А в окошко глядели толстомордые Ванька, Манька, Митька и исступленно хохотали.

— Что разинул рот? Беги!

— Куда, братька? — спрашивал я рыдающим голосом.

— То-то «куда». С реки горсть воды принеси.

Тут я понимал, что это была сцена, что можно и расслабиться, улыбнуться или всхохотнуть даже.

— Уродина ты, Санька, — качала головой старшая сестра.

— Безумненький какой-то, — добавляла мать.

— Будешь безумненький, как копыто поцелуешь, — хохотал брат.

Уродиной меня звали еще и потому, что верхняя губа моя была рассечена и заросла бледным рубцом. Когда я был поменьше, за своим крестным, старшим братом Нефедом, бегал как собачонка. Однажды посадил он меня на Серка, старого мерина. Час я на нем просидел, хвастаясь перед всеми братьями. После другой брат, плумясь и предрекая — «что будет», послал меня к жеребенку: «Садись, Санька, на него». Жеребенок брыкнул и поддал мне так, что я на сажень отлетел и растянулся на плахах. Помню, отец, братья и сестры весело глядели на меня, привезенного из больницы, и родитель сказал:

— Гляди ты, чертеньш, выжил. — Брат же Нефед махнул рукой:

— Простофиля же ты, Санька. Не жить рожден, а шишки на себя собирать. Стишок-то про тебя есть: «Видно, по миру хочешь скитаться». Пантелей ты, вот кто.

С тех пор и прозвали меня Пантелеем, тем самым, который промотал хомуты, промотал лошадь. Хором пела родня эту песню, крестообразно дирижируя перед самым моим носом. Я чуял, как те кресты угольной чернотой ложатся на мое сердце. Неужели я — Пантелей, пропащий человек, непутевый мальчишка.

О школе в семье всегда говорили устрашающе.

— погоди! Семен Семенович из тебя сделает лепешку.

— Там тебе покажут, как ходить по одной половичке, а на другую не ступать.

— Ох, Санька, Санька, ох, уродец ты мой, — вздыхала мать. — Ну вот скажут тебе в школе — лезь в колодец — и полезешь? Дома свои попохохочут и забудут. Там никто не пожалеет, будут тебя тыркать, будут совать тебя, покорненького, куда не надо.

А мне скорее хотелось в школу. Я думал: «Вот увидите, какой я Пантелей! Я буду учиться лучше братьев. Вот увидите!»

Никто в школу меня не собирал. Раз утром наелся печеной картошки и исчез из дому. Меня хватились, чтобы толкнуть навоз убирать в хлеву, и не нашли. Вернулся я с тетрадкой и карандашом и долго искал место, куда бы спрятать драгоценный подарок учителя.

— Глядите-ка, он в школе был! — удивился брат.

— Неужто началось, — огорчилась мать. — Еще огороды не убраны.

— С ума сходит учитель наш, — сказал отец. — Показывай, что написал.

— Потом покажет, — сказал брат, — сыпь в хлев да как следует вычисти.

Я выгребал навоз и прислушивался к улице, с нами учитель обещался сходить в лес. Я услышал веселый щебет первоклашек, бросил лопату и выскочил за ворота, а вдогонку кричали:

— Куда ты! Вернись! А навоз! А дрова! А огород!

Я еще не наглядился на учителя в классе. В лесу я забегал вперед и глядел в глаза ему, осматривал его опрятный костюм. Мне казалось чудом, что седой и старый человек снизошел до нас, ребятишек, и разговаривает с нами запросто. Его можно спросить, и он ответит ласково и тихо, и так тепло ляжет его рука на твое плечо. В те дни казалось, что засветилось для меня два солнца, одно на небе, другое рядом — и какое из них светлее? И потом, когда спать лег, не виделся мне в глазах ни лес, ни мальчишки. Чуялось какое-то радостное парение, виделась седая голова и голубые ласковые глаза учителя.

Но и эту зиму я больше работал, чем учился. Я уже знал свою работу и делал ее исправно. Кроме своей работы было много такой, которая поручалась в наказание. Особенно часто наказывал меня старший брат Нефед, словно был ко мне приставлен для этого. С каким-то злорадством он заставлял меня щепать лучины, растянувшись на скамье и следя за мной.

— А ну! Что перестал?! — кричал он, если я ковырялся в ладошке.

— Занозил, — показывал я руку.

— Эки нежности! Что из тебя получится, Пантелей, не знаю.

Я ненавидел его, но щепал и щепал лучины до потемок, все ждал, вот уйдет он куда-нибудь; знал, что и уйдет, легче не будет, на его место ляжет другой брат и повторит волю старшего.

— Ладно, кончай, Пантелеюшко, — скажет брат, и ты сунешь под печку вязанку лучин, клубком свернешься на горячей печке и уснешь. Работа делилась на легкую, домашнюю, и тяжелую, займошную.

Меня барином прозвали в семье, когда на целое лето запрягли нянчиться с племянником.

Как только поднималось солнце, во двор выбегала невестка, удилищем шуровала по сеновалу или, не добудившись таким способом, залезала и срывала с меня шубенку.

— Семья пашет, а он спит. Притаился, небось. Марш к зыбке!

Не умывшись, я хватался за зыбку и, если укачать племянника не удавалось, кормил тюрей, сажал на горшок, угнездывал его в тележке и возил по селу в обществе таких же няnek. Глядишь, ребенок голову свесил, и ты уснешь сразу же, коснувшись теплого бревна. Вокруг гвалт, а ты спишь, и разбудит тебя крепкий шлепок невестки.

— Окаянный! Вот ирод навязался. С таким пустяшным делом не сладит! Вези его! Катай его!

Опять заскрипит тележка, и опять, наклонясь к ней, катаю я племянника до вечера. Соседи смеялись:

— Кончай работу. Вот и Санька откучерил на своем драндулете.

Я всегда хотел спать. Я мог спать сидя на земле, на бревне, навалясь на тележку, даже стоя вдруг чувствовал, что засыпаю. Девчонки замечали мое состояние и кричали:

— Пантелей-то умирает! Ложись уж, чучело, а мы посмотрим.

Спать было нельзя. Из ворот подглядывала невестка.

Я видел, что няньки запасались бутылочками зеленоватого настоя. Разбухшие головки мака плавали в нем. Горластому ребенку они совали соску в рот и давали глотнуть раз-другой. Повяньгав немного, ребенок засыпал, не чуя на лице черных скопищ мух. Брат где-то прослышал, что мак — отрава, и запретил пользоваться им. Я завидовал нянькам. Раз выпросил у них бутылочку и вдоволь напоил племянника. Отвез его на край села в пышные заросли крапивы и, увидев, что он спит, сам лег подле тележки. Видать, спали мы долго, потому что успела схлынуть жара, и в полусне я чуял идущую прохладу от земли. Крепкие руки схватили меня и подняли на ноги. Я шмыгнул в крапиву, как в кипяток. Плакать я не смел, лишь плясал на одном месте и издавал звук «фу-фу-фу», словно хотел сдуть огонь ожогов. Невестка схватила ребенка, брат тележку, и убежали, а я упал на землю и терся об нее. У меня еще горели уши, когда я вернулся домой. Ребенок не просыпался. Брат встретил меня со знакомой бутылочкой.

— Пей.

Я отворачивался, как отворачивается лошадь, когда ей суют несъедобную траву.

Потом я все же взял из рук брата посудину и сквозь коровий кисло пахнущий сосок вытянул маковую запарку. Все уставились на меня, кто со злорадством, кто со страхом. Но оттого ли, что успел выспаться, от крапивных ли ожогов, или оттого, что был очень напуган, я долго не засыпал... Я знал, чего ждали домашние, и бодро похаживал по двору, швырял камни в воробьев, посвистывал и подмаргивал.

По телу разлилась истома, меня как бы влекло, воздымало вверх. Стало легко, беспечально, явились дерзость и любопытство: что будет дальше со мной? Я много раз слышал про лунатиков. «Дай стану лунатиком», — отчаянно подумалось мне. Сперва я забрался на заплот и попробовал постоять на нем — получилось. Затем поднялся на козырек калитки, кося глаз на окна дома, перебрался на ворота и, заложив руки за спину, прошелся по ним. Я слышал, как хлопнула сенная дверь и выскочила на улицу мать. Она махала руками, кляла меня и требовала сойти, звала на помощь братьев моих, но они в пустом любопытстве тарасили глаза. «Что скажете

дальше?» — подумал я и ступил на сарай. Подошвы ног плотно прилегли к теплому дранью. Я добрался до крыши дома, а там и до князька. Выше ничего уже не было. Я стал у края, на самый конек, трухлявый и потрескавшийся. Мне кричали снизу, грозили кулаками — я ликовал: хоть на минуту я стал сильнее, смелее и выше всех домашних. Я даже постоял на одной ноге, а другой как бы пробовал шагнуть в пустоту. Отец сперва тоже что-то кричал, потом махнул рукой, толкнул в сени мать и ушел сам, сказав:

— Его там, видно, сам черт держит.

Скоро плюнули на меня и ушли, не дождавшись, как я слезу с крыши или, сморенный маком, упаду на навозную кучу. Я же слез незамеченный, под сараем забрался в лошажью колодку и, угнездившись в сенной трухе, уснул. Этот раз я спал всю ночь, спал до полдня и проснулся по собственному желанию, не найденный. Я радовался тому, что как нянька потерял доверие, хотя нянчился до самой осени. Усерднее стала подглядывать за моим нянчаньем соседская девчонка. Племянник подрос, стал на ноги, и я радовался, что избавлен от непосильной ноши. В одно утро невестка полезла на сеновал и меня не обнаружила. Она искала меня по стайкам, по всем углам двора, чердак обшарила, но я, как и в тот год, вернулся из школы с карандашом и тетрадкой.

— Учиться, шельма, ходил! — подошла ко мне невестка. — Без спросу, без разрешения.

Но отец покосился на нее, сел на табурет и долго глядел на меня загадочно.

— Пошто не сказался, что в школу ушел?

— На што? — спросил я и взглянул в глаза отца: они соглашались со мной.

— Шабаш! — сказал отец домашним. — Учиться пошел. Не трожьте. Сами понянчитесь.

Невестка пожала плечами, брат заворчал:

— Ладно, Санька. Купим мы тебе катанки. Жди!

Катанки мне все-таки купили. Это были первые новые за мою короткую жизнь катанки. До того я довольствовался обносками. Я словно обезумел, надел обновку. Катанки, как игрушки, красовались на ногах. Я дико тарасил глаза, хотелось прыгать, хотелось как-то выразить радость, но я страшно боялся; радость моя вызвала бы раздражение старших, слова мои насмешливо повторялись бы на разные тона. Я клял бы себя за то, что так глупо выпалил их. Словом, я не выразил радости перед домашними. Зато, как вырвался из дому, дал волю своим чувствам: я ставил ногу и боком, и прямо и на пятки заглядывал, и всяко было красиво. Я думал, мне позавидует вся школа, и пришел на час раньше, я носился по школьной ограде, кувыркался в сугробах, а в классе прыгал по партам и такой громоток устроил, что из своей комнаты вышел Семен Семенович и остановил меня:

— Свирепов! Что с тобой?

Я глядел учителю в глаза и тоже удивлялся, ужели он не видит, ужели так и не скажет ничего?

— Да у тебя катанки новые! — поднял брови учитель.

— Ну! — Подался я весь к нему, оглядел себя и не видел ни штанов с заплатками, ни рубахи, продранной в локтях, все заслонили мне катанки и великий праздник на душе. Вот и Семен Семенович порадовался. Видать, особенные они у меня.

Скоро класс наполнился ребятишками. Я разувался и совал им катанки померить.

— Братька мне купил! — кричал я звонко.

На уроке я заглядывал под парту, учителю отвечал рассеянно, а как тот попросил сочинить задачу, я и задачу сочинил про катанки. «Было у мужика пятьдесят

рублей. Половину он отдал за шубу, пять рублей за гвозди, остальные потратил сынишке на катанки». Я понял, что не рассчитал, когда поднялся гомон в классе.

— Твои катанки и пяти рублей не стоят!

— Стоят! — оспаривал я. — И дороже стоят. Попробуй такие найди!

Скоро и дома узнали о цене моих катанок. Старший брат Нефед зубоскалил:

— Двадцатки ты сам не стоишь!

О своей цене я никогда не думал. Но цену мне, как и цену одноклассников, хорошо знал Семен Семенович.

— За что же тебе, Саня, валенки купили? — спрашивал он после уроков.

— Я нянчился, — отвечал я.

— За дело, стало быть. Велика радость за работу награду получить.

— А меня дома Пантелеем зовут, — жаловался я учителю.

— Слышал. А ты вот что помни: Пантелей — это хорошо. Ты стихов Никитина не знаешь, а Пантелей труженик был, жил славно, да беда за бедой в окошко к мужику стучалась, вот и запил. Но Пантелей — умный мужик, все перенес, он и где-то теперь живет в славе и достатке. Пора такая, власть такая пришла, чтобы Пантелею нашему легче стало. Кличут тебя домашние так по глупости и незнанию! Ты гордись этим именем. Стихи эти я тебе сейчас расскажу. Слушай-ка.

Я запомнил и стихи и слова учителя. Я полюбил Пантелея, и когда меня называли этим именем, я не обижался, чем вызывал у домашних недоумение.

На другое лето я вроде бы опять нянькой стал. Только водился теперь с утятами, маленькими желтенькими комочками. Домашние рассудили так: в поле есть бороняги и пахари. Куда с пользой пристроить этого? Раз июньским утром выпустили из лукошек утят. Они пухлыми шариками скатились к воде.

— Паси, — наказывала мать. — Да не будь зевакой — Пантелеем. На небо поглядывай чаще. Пуще всего берегись вороны и коршуна.

Я остался один и затосковал было, но к речке пришла соседская девчонка. В няньках мы были с ней тем летом. Ольга была усердной пастушкой: подол весь вымочила, рыскает по болоту, коров и свиней отгоняет, а за небо в ответе я. Незаметно Ольга работу в игру обратила: в корзинке ее — пеленочки, одеяльца для утят. Больного утенка она в тряпочку завернет и к доктору принесет. Доктор — я, бестолковый доктор, больше по Ольгиным указкам действую. Лекарства в рот толкаю, уколы делаю. Ольга утенка в зыбке качает, у того рот открыт и голова запрокидывается. Ольга бранит доктора и трогательно причитает. Мы в могилку кладем утенка, в холмик крест из щепочек втыкаем. Так увлеклись похоронами, что не заметили, как прилетел коршун. Камнем упал он в утячий табунок, вот уже и поднимается тяжело. Я хватаю горсть галек и швыряю в хищника. Напугал-таки воровитую птицу. Упал утенок в лужу, побарахтался и затих. Опять похороны. К вечеру на нашем птичьем кладбище пять крестов.

— Если так и дальше пасти станешь, скоро утят не будет. Что делать с Пантелеем? — спрашивает Нефед.

— Хилые они, — оправдывался я.

— Сам ты хилый! Куда ни поставишь, все клин да колода.

Утро убеждает, что вина не во мне. В пригоне три утенка лежат кверху лапки. Пока утята оперились, табунок уменьшился наполовину.

— Кому доверили утят, — ворчал Нефед. — Увидите, к Ильину дню по всем панихиду служить будем.

— Кого же поставишь к ним? Васька мал, Митька боронит, — говорит мать.

— Давно не учен Пантелей.

Я был безразличен к прозвищу, но в этот раз что-то поднялось во мне. Я закинул руки за спину и гордо заявил:

— А Пантелей вовсе не ругательно. Пантелей — это хорошо. Он добрый и умный человек.

Я говорил и захлебывался от волнения. Тотчас домашние окружили меня, потому что такого от меня не слыхивали. В голове у меня помутилось. Мне казалось, что в доме все взвихрилось и поднялось против меня. Петух за окном испуганно воскликнул: «Как это так!», собачонка проворчала: «Не еррепенься!»

— Ты откуда это взял, что Пантелей — хорошо? — спросил Нефед.

— Так Семен Семенович говорит, — выпалил я в отчаянности.

— Семен Семенович нашему дому не указ, — сказал брат. — Повторяй за мной: «Я Пантелей, гадкий человечешко».

Я посопел, потоптался на месте и запел:

— Я, Пантелей..

— Какой Пантелей? — допытывался брат.

— Гадкий! — со стоном вырвалось из меня слово. Трудно было понять: это слово обидное я выдал о себе или брата обозвал им.

— То-то, гадкий, — утешился брат. — Марш пасти утят!

На крыльце мстительное чувство меня охватило снова. Я заплясал и дико закричал:

— Гадкий! Гадкий! Гадкий!

И к речке бежал, припрыгивал, все кричал:

— Гадкий! Гадкий!

Я пас утят, бродя по лужам, и видел, как ребятишки толпами шли к реке. До меня доносился глухой всплеск воды, визг ребятни, зычный хохот парней. Я был один, так как и Ольга праздновала, и утята ее сидели под амбаром. Когда Родька и Вадька, соседские приятели, поманили купаться, я пошел не оглядываясь, оставив ненавистных утят. словно кто снял с души все обиды и печали, я беспечно бултыхался в воде, уходил столбом вглубь, бегал, взвизгивая, по лугу. Едва согревшись на солнце, мы потянулись к лесу, одолевая крутую гору. До самого вечера не приходили в голову утята. Шаля, гоняясь друг за другом, мы уходили все дальше в лес. Мы залезали на деревья и зорили вороньи гнезда, гонялись за бурундуком, лакомились редкими ягодами земляники. Когда прошли весь лес и увидели пыльную дорогу, мы вдруг вспомнили про домашнее.

— Что я наделал! Утят, поди, коршун перетаскал, — спохватился я.

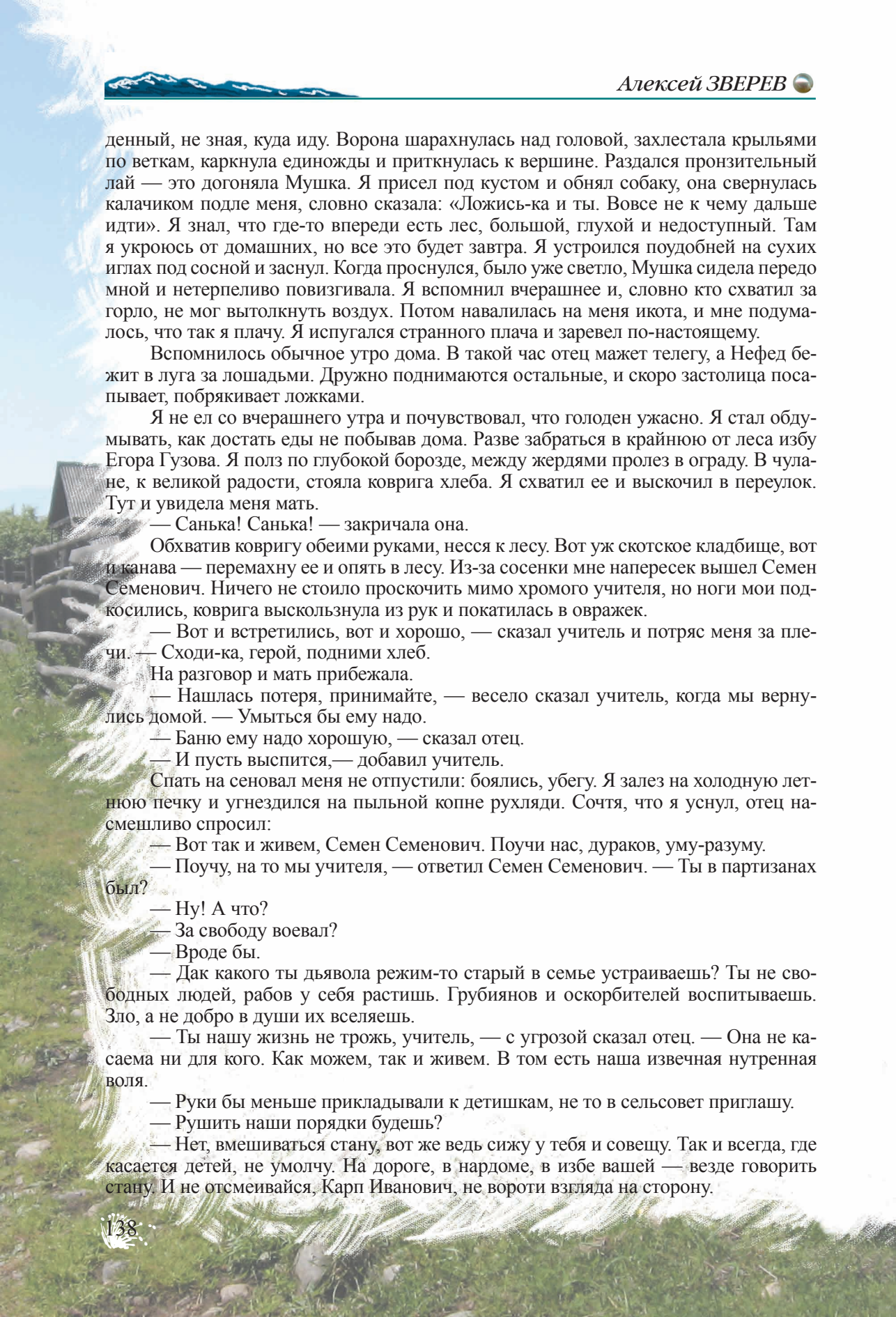
— А я с сушила убежал! — ахнул Родька.

— Я Ньюрку оставил в зыбке, — запечалился Вадька. Огородами я пробрался к речке, обшарил всю траву и утят не нашел. Я колебался, идти ли домой, хотя не было случая, чтобы я ночевал где-то. Я открыл ворота и тотчас встретился с Нефедом.

— Я покажу, как делать назло, — подскочил он ко мне. Вывалились на крыльцо домашние. Мать сунулась вперед, чтоб защитить меня.

Нефед ухватился за тонкое запястье мое и поволок к предамбарью. Я укусил ему руку, вырвался и запрыгнул на забор. Домашние думали, что я повторю прежнее: залезу на крышу, откуда меня не взять. Я же спрыгнул на табачную гряду и понесся по огородам к кладбищу и там притаился за пряслом. Кто-то вдруг облизал мне лицо. Я вскочил, чтобы бежать, и рядом увидел собачонку Мушку. Я дался ей обласкать себя, огляделся и пошагал в вечерний темнеющий лес.

Я шел по темному лесу, натываясь на деревья, и не от страха — от обиды все во мне зацепенело. Меня царапали сухие ветки, резал ноги папоротник, я шел как заве-



денный, не зная, куда иду. Ворона шархнула над головой, захлестала крыльями по веткам, каркнула единожды и приткнулась к вершине. Раздался пронзительный лай — это догоняла Мушка. Я присел под кустом и обнял собаку, она свернулась калачиком подле меня, словно сказала: «Ложись-ка и ты. Вовсе не к чему дальше идти». Я знал, что где-то впереди есть лес, большой, глухой и недоступный. Там я укроюсь от домашних, но все это будет завтра. Я устроился поудобней на сухих иглах под сосной и заснул. Когда проснулся, было уже светло, Мушка сидела передо мной и нетерпеливо повизгивала. Я вспомнил вчерашнее и, словно кто схватил за горло, не мог вытолкнуть воздух. Потом навалилась на меня икота, и мне подумалось, что так я плачу. Я испугался странного плача и заревел по-настоящему.

Вспомнилось обычное утро дома. В такой час отец мажет телегу, а Нефед бежит в луга за лошадьми. Дружно поднимаются остальные, и скоро застолица посапывает, побрякивает ложками.

Я не ел со вчерашнего утра и почувствовал, что голоден ужасно. Я стал обдумывать, как достать еды не побывав дома. Разве забраться в крайнюю от леса избу Егора Гузова. Я полз по глубокой борозде, между жердями пролез в ограду. В чулане, к великой радости, стояла коврига хлеба. Я схватил ее и выскочил в переулок. Тут и увидела меня мать.

— Санька! Санька! — закричала она.

Обхватив ковригу обеими руками, неся к лесу. Вот уж скотское кладбище, вот и канава — перемахну ее и опять в лесу. Из-за сосенки мне напересек вышел Семен Семенович. Ничего не стоило проскочить мимо хромого учителя, но ноги мои подкосились, коврига выскользнула из рук и покатилась в овражек.

— Вот и встретились, вот и хорошо, — сказал учитель и потряс меня за плечи. — Сходи-ка, герой, подними хлеб.

На разговор и мать прибежала.

— Нашлась потеря, принимайте, — весело сказал учитель, когда мы вернулись домой. — Умыться бы ему надо.

— Баню ему надо хорошую, — сказал отец.

— И пусть выспится, — добавил учитель.

Спать на сеновал меня не отпустили: боялись, убегу. Я залез на холодную летнюю печку и угнезвился на пыльной копне рухляди. Сочтя, что я уснул, отец насмешливо спросил:

— Вот так и живем, Семен Семенович. Поучи нас, дураков, уму-разуму.

— Поучу, на то мы учителя, — ответил Семен Семенович. — Ты в партизанах был?

— Ну! А что?

— За свободу воевал?

— Вроде бы.

— Дак какого ты дьявола режим-то старый в семье устраиваешь? Ты не свободных людей, рабов у себя растишь. Грубиянов и оскорбителей воспитываешь. Зло, а не добро в души их вселяешь.

— Ты нашу жизнь не трожь, учитель, — с угрозой сказал отец. — Она не касается ни для кого. Как можем, так и живем. В том есть наша извечная нутренняя воля.

— Руки бы меньше прикладывали к детишкам, не то в сельсовет приглашу.

— Рушить наши порядки будешь?

— Нет, вмешиваться стану, вот же ведь сижу у тебя и совещу. Так и всегда, где касается детей, не умолчу. На дороге, в нардоме, в избе вашей — везде говорить стану. И не отсмеивайся, Карп Иванович, не вороти взгляда на сторону.

— Да что ты, власть, что ли, мне какая?

— Власть, Карп Иванович. По детям я тут власть самая главная.

— Хватит нам с тобой толковать, — огрызнулся отец. — Детишки в школе — делай с ними что хочешь. Детишки дома — власть твоя кончается. На том мы и порешим.

— Разговоры наши только начались, Карп Иванович.

Пока спорили, кто-то из наших спустил с векши собаку. Серый волкодав носился по двору и, как вышел учитель на крыльцо, бросился к нему, зарывчав. Отец отпихнул его ногой, спросив учителя:

— Страшновато?

— Да как сказать, — ответил Семен Семенович. — Кусай, ведь я, братец, ку-сан. Хром-то отчего?

— Хо! Хо! Хо! — глупо захохотал отец и повел собаку к конуре.

Я опять было сунулся на печь, отец за ошкур меня задержал и, к дверям подведя, вожжи снял.

— Снимай штаны! Живо!

Я сжался, готовый ко всему, но и заметил, что без злобы, покойно отец держал вожжи в руке, какая-то досада морщила его лоб. Он оттолкнул меня, вожжи бросил на лавку и, ругаясь, вышел из избы.

Я ходил мимо школы и видел учителя в огороде, во дворе школы, на горке, мне хотелось подойти к нему и сказать: «Здравствуй, Семен Семенович!» Я кончил школу год назад и был в том возрасте, когда дома еще не полный работник и уже не ученик. Меня мучили скрытность и молчаливость — свойства, которые долго подкрадывались ко мне и наконец овладели. Когда я видел школу и учителя, что-то чистое, недомашнее заглядывало в меня, хотелось радость выразить шумно, и знал, что сделать это не смогу. Я шел в потребиловку за керосином или спичками и заходил, как случалось часто, с огородной стороны к школе. Я припаивался лицом к стеклу и видел в классе счеты, карты, плакаты, встречался взглядом с учителем и убегал. Но раз крикнул:

— Здравствуй!

Я даже не назвал имени учителя. Глаза Семена Семеновича вспыхнули, он сунулся к окну, и я сколько хватило прыти понесся к речке. На мостике оглянулся и увидел учителя, он махал рукой, подзывая:

— Свирепов! Эй, Свирепов!

Наш брат, не ученик, то и дело заглядывал в окна школы, показывая язык и гримасничая. Я побаивался, что мне сейчас попадет. Как-то переламываясь, вихляясь извинительно, я перешел мостик и уходил, оглядываясь на учителя. Семен Семенович нетерпеливо сорвался с места и пошагал ко мне, жестом прося, чтобы я подождал. Я остановился.

— Ладно, — махнул он в сторону школы. — Подождут, задачку решают. А как ты поживаешь? Что делал летом?

Я рыбачил с отцом, пас скот, косил, пахал — но ответил только подергиванием плеч.

— А как дома? Все в порядке?

Вместо ответа я стукнул кулаком по жерди прясла. Бойким взглядом он поймал кулак мой и улыбнулся той долгой улыбкой, которая всегда предшествовала его слову.

— Вижу, все страшное позади. Учиться не думаешь? Ну?

Нетерпеливое слово «ну» напомнило урок.

— Дак классов-то больше нет, — сказал я.

— Дальше! В городе!

— Много нас, — махнул я рукой.

— Многовато, — зачесал затылок учитель. — А в сторожа ко мне пойдешь?

Предложение меня рассмешило. В сторожах, пока я учился, была старушка Паша, глухая, суетливая. Она уехала к сыну в город.

— Чего тут смешного. Работать будешь, зарплату получать. Как в окошке увидел, так сразу подумал: тебя возьму.

— Отец не отпустит, — уклонился я.

— С отцом я поговорю.

Мне было приятно, что учитель говорит со мной как с равным, руку на плечо положил и к пряслу, как и я, привалился, нос к носу придвинулся ко мне и шепнул:

— Зачем к окошкам-то липнешь?

— Интересно.

— Что ты интересного увидел?

— Учите.

— Заходи прямо в класс и слушай.

— Интересно как-то, — твердил я свое. — Учился, ничего завидного не было, а тут гляну — учите. И парты, и доска. Вроде бы родное что там осталось.

Учитель хлопнул по полам пиджака и кивнул в сторону школы.

— Не усидели! Вывалили всем классом! Ладно, побежал, а ты подумай. Черт ее знает, может, это станет началом судьбы твоей.

— В сторожа-то?

— Вот затвердил. Приходи! — крикнул уходя.

Каждому встречному хотелось передать новость. Четверть с керосином поставил в сенях под лестницу, спички сунул в печурку и тотчас заявил домашним:

— Хватит дармоедом звать. Пойду в школьные сторожа.

— В сторожа! — удивился Нефед и уставился на меня как на полоумного. —

Тебе одна дорога — в сторожа. Леня на пашне работать.

С невесткой они давай хохотать надо мной, совлекли на смех всю орду семейную. Такой гогот устроили, таких предреканий наговорили.

— Отвалит тебе учитель зарплатищу, — смеялась мать. — Куды деньги девать.

— Сынок на заработки идет. Нам, старуха, облегченье.

— И пойду, — настаивал я.

— А ну замолчать! — цыкнул Нефед и обратился к жене: — Сходи-ка к учителю. Узнай, что там. Может, и верно сторож нужен. Тебя устроим. Беги.

Невестка собралась живо. Полушалок на голову — и того достаточно, чтобы до школы добежать. Вернулась покрасневшая, брезгливо уколола меня взглядом, а для всех хлопнула руками и раскудаhtалась.

— Эко отлет, Пантелей-то наш. Он уж был там и договорился. Хромой-то черт говорит: «Мне его надо!» Смотри, Нефед, братец-то дороже меня оценен.

— Никуда не пойдет, — решительно сказал отец, будто меня тут и не было. — Пусть ноги поломают за плугом. Пусть дома сполна сладкого отведают.

— Отведал уже, — насмелился я возразить.

Я сел к окну и давай постегонку сучить. Стащил с себя чирок и заплату пристегал. Старшие перестали нудить, занялись делами. Я чинил обутки, выжидая случая, когда меня забудут окончательно, и не дождался. Нефед дернул за рукав и повелел собираться на гумно.

— Да не замерзнешь, — сказал он, когда я взялся за пиджак.

Уверенный, что я догоню, брат споро зашагал вдоль улицы. Я повернул в другую сторону и, сколь мочи было, побежал к школе. Заскочил в калитку, в темном коридоре нащупал ручку и крикнул, открывая дверь:

— Семен Семенович! За мной братка бежит!

Учитель вышел в коридор и спокойно шепнул мне:

— Заходи в мою комнату.

Я прислушивался, как учитель толковал с братом.

— Нефед Карпыч! Заходи, заходи. Я скоро урок кончу.

— Тут где-то Пантелей наш прячется, — низким голосом спрашивал брат.

— Пантелей? Какой Пантелей?

— Санька наш. В сторожа к вам метит.

— Звал, звал в сторожа. Где же он, поджидаю.

— Не отдадим мы его. Бабу мою Дашку берите. Дашка аккуратная. Зачем парнишку от хозяйства отрывать.

— Хорошо. А как у вас с поросятами? — спросил неожиданно учитель.

— На зиму опоросилась. Двенадцать привалила, а куда теперь с имя?

— Покормите, и на базар. Битыми ососочками и продадите.

— Значит, не был?

— Саня? Обещался.

— И примете?

— Что делать? Принять надо.

— Так, — протянул брат и хлопнул дверью.

Скоро все село узнало:

— Санька в сторожа подался. Позор Карпу!

Сам я переживал дни необычайного обновления, словно с меня сползла старая кожа. Я носил дрова, бегал за водой, подметал коридор, крыльцо, двор. Вечером, как только уходили ребятишки, я затапливал печи. Блики огня падали на плакаты, карты, таблицы. В классе было торжественно и тихо, и казалось, что я приобщен к чему-то таинственно-прекрасному. Я вроде повзрослел сразу, походка стала прямее и увереннее, взгляд смелее, в голосе крепость появилась. Но самую большую радость дарили вечерние беседы с учителем. Когда я слышал, как Семен Семенович покашливает, значит, оторвался от стола, значит, «свалил дневные тяготы», как он говорил. Сейчас он выйдет в коридор и потянется, по-стариковски медленно присядет раз-другой, разминаясь, и распахнет дверь класса. Пройдет по мерцающим пустым рядам парт, мурлыча под нос: «Сердце красавицы склонно к измене». Я сперва думал, что ему скучно со мной. Жена его, Дарья Григорьевна, учительствует в соседней деревне Заимках, потому что тут нет свободных классов. И хоть деревни рядом, видятся они редко. Я раз насмелился спросить, не скучает ли он. Учитель подсел к открытой печке, и я заметил, как тепло заулыбались голубые, с маленькими, четко обозначенными зрачками глаза.

— Скучать-то некогда, Саня.

Имя мое, как мне казалось, произносил он ласково. Впрочем, кроме учителя, никто меня Саней не называл, а Санька в доме нашем звучало обидной кличкой, как слово Пантелей.

— Ты видишь, Саня, как скучаю я. С утра до вечера такое веселье.

— А вечером молчите, будто и нет вас.

— Я покажу тебе, над чем я молчу. Пойдем-ка.

Учитель повел меня к себе, легонько касаясь моей спины. На столе нащупал коробок спичек и зажег лампу. Оттого, что стекло сбоку заклеено, огонь был крас-

ный и слабый, и стопы книг и тетрадей на столе бросали от себя блеклые расплывчатые тени.

— Вот тут, Саня, и попробуй поскучать. Не то слово, не скука, а, как бы назвать тебе, великая горячка, натуга каждодневная не покидает меня. Так, Саня, навеселишься, что и ночью о том же во сне видишь. Знаешь, Саня, есть особые учительские сны. Их, кроме учителя, никто никогда не увидит. Веселье-то наше в чем: сидишь и красным карандашом правишь, а в душе то радость, то огорчение, то в самый настоящий гнев войдешь. И что ни тетрадь — стоит перед тобой новый парнишка и плачет, улыбается, шалит. Эх, думаешь, сопливый ты мой парод. Эх, озорная армия. Долгие годы ходить мне с нами в походы. Вот, Саня, и воюю с ними и за них каждый день.

— Всё одни и одни вы тут, — сказал я.

— Не один. Никогда не один. Это кажется так — один. Если кто из нашего брата почувствует одиночество, отвяжись, убегай, только не тяни. Убегай скорей. Тут привыкнуть нельзя. Тут надо прирасти душой и сказать себе — это моё. Я тебе расскажу, дружок был у меня, учились вместе. Романтик такой: «Давай в глушь, давай подальше, мы сеятели», — и все такое прочее. Поехали мы с ним в глушь. Тошно было глядеть на него. С урока вернется в мелу, в чернилах, бледный, издерганный, в журнале клякс наставит. И пошло у него: «Мерзавцы! Подлецы! Да я их, да что они, изверги, делают со мной». Я говорю: «Довольно, Федорович, бросай это дело и езжай в город. Найди дело по себе, где романтика сама в руки лезет». — «Уедем, уедем!» — зовет он меня. Я говорю: «Мне бог иных талантов не дал, как быть учителем. Остаюсь».

— И не скучали? — спросил я.

— В скуке ли дело? Есть такие люди. В городе театры, музеи, музыка, а их в лес тянет. И тут только в лесу, глядишь, ожил человек, и красавец-то он какой, душа-то у него какая. Главное в нашем деле — ровное состояние души, воспитание незыскательности для себя и умеренности во всем. И главное вот еще что: ты слышишь, как бушует ветер?

— Ну! — сказал я.

— Унять его можешь?

Я пожал плечами.

— То-то что нельзя. Детишки — это вешний ветер, унять его нельзя. Но и ветер мельницы крутит. Так и ребячью прыть на пользу можно направить. Вот какой закон я для себя открыл.

— А вчера вы сердитыми были, — сказал я.

Учитель нахмурился, но тут же внимательно поглядел на меня.

— Ишь ты, какой приметливый, — сказал он. — Бит бывал и оскорбляем, потому и запомнил. Да, прогнал мальчишку из класса. Надо было.

— В третьем классе и меня за ухо вывели в коридор, — вспомнил я.

— Полно, Саня, считать грехи мои. Я не святой.

Учитель поднялся и ушел к себе в комнату. Закрыв печи, я лег на кухне и долго думал о Семене Семеновиче, о нелегкой его работе; неприятно вспомнилось, как он смутился передо мной. Но он встал раньше меня и бодро крикнул:

— Проспали, Саня! Слышишь, как возьмется на крыльце, того и гляди с петель сорвут. Открывай сорванцам.

Семен Семенович в тот вечер как бы открылся передо мной новой стороной жизни, той, в которую заглянет не всякий. Мне она открылась, и я благодарил старика за доверие. С этого дня он стал для меня роднее, и если до того он приглядывался к моей жизни, то теперь и я становился зорче к его судьбе. Мне стал понятнее его

интерес ко мне, ничем не приметному парнишке, каких он учил сотни, может, тысячи. В тот вечер он как бы выговорился сполна или, быть может, смущен был своей откровенностью — мы неделю не беседовали с ним. Мы в одно время поднимались по утрам. Я уходил за водой и наливал ею бачок и умывальник. Затем я варил картошку, и мы торопливо ели ее, политую постным маслом. По две смены работал учитель и на час выходил подышать воздухом. Под вечер садился за проверку тетрадей. Скоро приходили ликбезники, и начиналась третья смена. В десять часов освобождался от трудов и тихо высвистывал «Сердце красавицы», довольный итогами дня. Раз он остановился передо мной, расставив ноги и уперев в бока руки.

— Слушай-ка, у меня идея, браток, — сказал он весело, за плечо подвел меня к столу и усадил. — Будешь учить ликбезников?

Я не ожидал такого предложения и растерялся, конечно.

— Я серьезно говорю, Саня. Грамота у тебя шла хорошо. Где затруднишься — а я зачем? Не подумай, что нагрузку хочу свалить на тебя. Я конь дюжей. Нет, черт возьми, это здорово бы. Александр Карпыч — звучит-то как!

— Я все забыл, — сказал я.

— Вот и надо вспомнить. Я поговорю в сельсовете, думаю, согласятся, а ты не отказывайся. Это ведь для тебя шаг, и шаг значительный.

— Была не была! — махнул я рукой, соображая: получится — хорошо, не получится — хуже от того не стану.

Я домывал пол в классе, когда ко мне быстрым шагом подошел Семен Семенович.

— Все уладилось. Урока два посидишь у меня, поприглядишься и начинай.

Я оглядел свой наряд, и учитель заметил это.

— Мы так сделаем. Я кончаю занятия и отдаю тебе пиджак. Не беда, что великоват. Купишь со временем. Ты не робей, главное. И не выказывай, что мало знаешь. Помни, что ученики твои вовсе неграмотные. Понял?

— Ага, — ответил я привычно деревенским словом.

Учитель громко захохотал, обнял меня, охваченный одному ему знакомой радостью. Я же был смущен и подавлен предстоящим, страх вселился в меня и сжимал сердце. Я цепенел от мысли, что придется выйти на люди. Страх так измучил меня, что я лишился сна и рисовал, рисовал себя в новом положении, мускулы мои напрягались, я начинал часто дышать. «Александр Карпыч», — слышался чей-то голос, и я прятался под шубенку и замирал.

В памятный день, одетый в учителей пиджак, я вошел в класс и схватился руками за столешницу. Коли бы кто в эту минуту попытался меня позвать, я пошел бы со столом в руках. Видно, такое оцепенение мое продолжалось долго, но вот я по деревенской привычке швыркнул носом и плюнул на пол.

— С этого, Санька, и начинал бы, — пробасил брат Нефед.

Все засмеялись, и тут в полутьме я увидел бороды и глаза людей. Брат сидел за первой партой и удивленно таращил глаза, словно хотел сказать: не видите, что ли, это же наш Пантелей. Я начал цепенеть вновь, но Осип, сосед наш, выручил:

— Саня, проверь-ка, ладно ли я задачку решил?

Онемелой рукой я взял листок и тут только ожил и заговорил:

— Ошибка у тебя, дядя Осип, ошибка.

— Мелешь, Саня, не мог я ошибиться, — подзадоривал Осип меня, вылезая из-за парты.

Потом ночью бессонной вспомнил я, как стоял Осип, прислушиваясь к моему толкованию, повернув ухо и ухмыляясь. Я сжимался под шубой, ликовал, хохотал, мне казалось, свершилось «миру преставление», как любила говаривать мать. За Осипом с бумажкой полез и брат мой. Он не соглашался и перечил Осипу и, о боже мой, стоял передо мной, не зная, как назвать, и твердил одно:

— Складывать надо, складывать.

— Оба ошиблись. А как я объяснил, будет правильно, — сказал я, пытаюсь окрепнуть в голосе.

Мужики сидели и чесали затылки, брат подмигнул Осипу и кивнул на меня. Внезапным и новым было наше с ним положение. В этот миг мы как бы поменялись ролями со взаимного согласия, и весь вечер, как мне казалось, брат дурковато по-маргивал глазами, часто смачивая во рту карандаш. Раздался звонок, чего никогда не было при работе ликбеза. Я вышел из класса покачиваясь, словно только что проскакал верхом сто верст. Голова гудела как котел. Я думал об одном: как бы не встретиться с учителем. Мужики курили и разговаривали о базаре и дровах. Я стоял среди них малый и растерянный, не зная, куда девать длинные рукава пиджака. Учитель не показывался, лишь звонок дал из своей комнаты. Я вошел в класс, сел на стул и голосом как можно тверже сказал:

— Выньте тетради по письму.

— Вот это по-учительски. — похвалил Осип. — Только не тетради у нас — бумажки.

В углу блеснул огонек, я спросил:

— Не накурились, дядя Иван?

— Все-все, Саня, — слышалось из угла.

— Свирепов! К доске иди.

Брат выломился из-за парты, в темную пригоршню ухватил мел. У меня в школе было пристрастие к шипящим звукам, как у ребенка к пряникам. Я смачно выговаривал такие слова и дивился: слышится мягко, а пишется без мягкого знака. Из-за сомнений таких я не усвоил правила и безбожно врал на письме.

— Луч, — продиктовал я брату, так как план составляли мы с учителем, то, разумеется, слово это было написано правильно. Но страсть к шипящим толкнула к произвольному выбору слова, я добавил:

— Горяч.

Брат долго рисовал слово, наконец вздохнув, отошел в сторону.

— Не так, — сказал я, переняв от брата мел и приписав мягкий знак.

— Вот и врешь, Санька, — раздался звонкий голос. Это была Ольга Горпунова, с которой я пас утят. Я почувствовал, как упало мое сердце, словно кто пугнул меня из-за угла. Ольга выбежала к доске и зачеркнула мягкий знак.

— Мягко же слышится, — защищался я и краснел.

— Вот чудак, — махнула на меня рукой Ольга. — Это же мужской род.

— Ну и что! — сломя голову бросился я в спор. Надо было как-то спастись. — Это же прилагательное!

— Мужское прилагательное. Вот чудак!

— Чудачка и ты! Слышишь, как мягко говорится горяч, горяч, горяч!

Я смачно и щедро шипел, словно плескал воду на раскаленную плиту. Нефед недоуменно глядел на спорящих. Ученики мои брали слово на зуб.

— Горяч, горяч! Мягко!

— Горяч, горяч! Жестко!

— Вот напахали! — качал головой Осип. — Не поймешь где как.

Моя премьера горела, но сдаваться я не хотел. Так просто терять дорогу в жизнь? Я слепо и дико напирал грудью на Ольгу, подталкивая ее к дверям, и орал:

— Мягко! Мягко!

Девчонка пожалала плечами и вышла из класса. Я, потный и обезумевший, махом кончил урок, сказав рассерженно:

— На этом заканчиваю.

Мужики затолкались в дверях, похохатывая.

— Ну и Санька! Как взъерошился, чертенок!

— А Ольга-то как разошлась!

— Кто из них, из грамотеев, прав?

— Санька, он, — услышал я голос брата и впервые поблагодарил его за родственную поддержку.

Как поколоченный, вошел я к учителю. Он проверял тетради и, не глядя на меня, сказал:

— Кончил, значит? Хорошо. Топи печи.

Я хотел к черту послать ликбез, не по плечу он мне. Если такая нервотрепка будет каждый день, через год в сумасшедший дом отправят. У меня тряслись ноги, кружилась голова, я стоял дурак дураком. Едва снял пиджак и повесил на гвоздик.

— Не поведу я больше ликбез, — сказал я. — Куда мне. Я не знаю ничего.

— Поди-ка сюда, — поманил меня учитель к столу. — Видишь подчеркнутое слово? Не знаю и я, как его написать.

— Вы-то не знаете?

— Не знаю, Саня. Сейчас загляну в словарь. Молодой я, ой, упрям был! Ошибусь, краснею, но одно твержу: так, и никак иначе! Изобличат ребятишки во лжи, а ты пыжишься. Ошибся! И мысли такой не смей в голове держать. Сколько с тех пор годов проработал, а ошибаться не перестал. Мир, Саня, все новые задачи подсовывает.

— В каком вы слове ошиблись?

Учитель хлопнул словарем по ладошке.

— Да мало ли слов, Саня. Ну вот что, не велико дело ликбез. Научи читать и решать — и хватит. Всякому грамотному это дело по плечу. Давеча тебя Ольга сбила с толку.

— Вы сквозь стену слышали? — спросил я.

— И скажу: молодец ты. Характер есть. Я думал, выбили из тебя характер домашние. Есть он у тебя. Вон как горячо спорил. Ну, а теперь ты мне вроде коллеги. Давай руку. Так вот крепко пожму ее.

И тут мой учитель расхохотался.

— Вот видишь, вот видишь, — сказал я с досадой. — Не могу я.

— Не над тобой, — отмахнулся он. — О себе вспомнил. Вошел я первый раз к ребятишкам, а было это в городе на практическом уроке. Вошел и очумел, стою балда балдой и чугунную чернильницу со стола взял. Говорили потом: такое свирепое лицо было, что боялись друзья мои, как бы я той чернильницей не запустил в кого.

— А я в стол вцепился, — сказал я.

— Видел.

— Как видел?

— Я же в классе был. С Ольгой рядом сидел.

Холодная испарина пошла по моему телу...

Хоть ликбез и не настоящее учительство, но слава обо мне скоро обошла село. Баба шла за водой и назвала меня по имени-отчеству. Пораженный этим, я сбился с шага. Первый раз за зиму я шел домой. Меня одолевала робость, словно ничего не произошло со мной и не одет я был в пиджак, купленный учителем на барахолке. Пиджак был перелицован, и на локтях мастерски вшиты заплатки. Заметить их можно, только приглядываясь. Катанки сменить не удалось, я шел домой попочиняться. С тягостным чувством я перешагнул порог. Пахнуло печеной картошкой. Братишка Васька крикнул с печки:

— Пантелей пришел!

Нефед дотянулся до уха его и крепко дернул. В избе все молчали, охваченные неловкостью. Отец заглядывал зачем-то в замороженное окно. Я стащил с себя катанки и примостился к окну, в подоконнике всегда торчали шило и иголка с постеганкой. За плечами я почувствовал теплое дыхание отца.

— Кто же сырые катанки починяет? — заметил он.

Я отмолчался, тогда он добавил:

— Ну да когда тебе сушить. Работаешь.

Мать стащила с печки отцовы катанки и поставила у ног моих.

— Надень, пол-то ледяной.

Брат отыскал шило половчее.

— Пробуй-ка этим.

Невестушка пропела:

— Чашку чая бы выпил.

Я склонился над катанками еще ниже. Я ничего не соображал, механически работая руками. Когда разогнулся, поймал на себе взгляд отца. Знал ли я глаза его раньше? Я боялся в них глядеть. Они давили меня, невидимые, толкали в спину, били по рукам. Я удивился, пораженный: серые глаза его казались виноватыми. Я подумал, не ошибался ли в отце? Может, он и не был ко мне злым? Грусть в глазах отцовых, какое-то раскаяние так поразили меня, что я не мог больше быть дома. Накинув шубенку, я выскочил из избы.

Смешным и печальным событием обозначилось начало моего учительства.

Раз в воскресенье Семен Семенович ушел к жене на Заимки. Вечером вернулся опечаленный.

— Такое дело, Саня, Григорьевна моя заболела. Фельдшер ничего не может поделывать и в город велит везти. Как мне быть с ребятами? Ума не приложу, — сказал он и уставился в пустующий класс.

— С ребятами? Я и останусь!

Благодарным взглядом окинул меня учитель.

— Сладишь ли? Это не взрослые.

— Слажу! — заверил я. — Ну как-нибудь. Ведь всего два дня.

— Не закрыть ли на эти дни школу?

— Как хотите, Семен Семенович, а я вроде уж пригляделся к вашей работе.

— Вот какое немудрое дело наше, — осуждающе покачал головой учитель. —

Давай сегодня пораньше убирайся, и за план возьмемся. План хороший вместе составим. Пособия подготовим. Голову, поди, не снимут за это.

До позднего часа мы составляли с учителем план. Все мне было ясно. В задачке и грамматике сам разобрался. Учитель похвалил меня и вроде веселее стал. Ночью я проводил его за реку к поезду. Вернувшись, будильник поставил у самого уха, а было хоть не ставь: часто пробуждался, не зажигая огня, взглядывался в глухую

черную ночь. Чуть забрезжилось, я был на ногах. Умылся хорошо и надел пиджак. С утра в школу ходили малыши. Я стоял у дверей, как делал Семен Семенович, и встречал ребят. Закутанные в платки и шарфы, шарами вкатывались они за порог, заворачивали на меня курносые мордашки, крича:

— Здравствуйте!..

Недоуменно глядели на меня и убегали в класс прятать сумки. Шваркая носами, возвращались и спрашивали:

— Ты, Санька, учить нас будешь?

— Буду учить, — отвечал я ласково.

Ребятишки хлопали руками, радуясь, и я радовался вместе с ними, говоря себе: с малышами дело пойдет. Я бойко покрикивал, заглядывал на будильник, с великим волнением дал звонок и с улыбкой, с какой входил к детям учитель, вошел в класс.

Игривое чувство охватило меня. Я вслушивался в себя, радуясь звонкому и смелому голосу. Требовал сесть правильно, вынуть тетради. Малыши привычно устраивались за партами, оживленно глядя на меня. Я радовался — они радовались, и все сливалось в один клубок воодушевления. Это были дни перехода от букваря к хрестоматии. Я растолковал непонятные слова стихотворения, потом старательно прочитал его, как делал Семен Семенович. Один за другим читали ребята стихи, едва складывая слоги, а я похваливал и ставил оценки. Досадливо покосился на будильник, загремевший на моем столе. Я чувствовал, как заполняет меня праздник. Я замечал, как я высок в сравнении с малышами, как густ и бархатист ломающийся мой голос. «Санька! Санька!» — простодушно обращались ко мне малыши, и я терпеливо поправлял их: «Александр Карпович». Голова кружилась от приятной усталости, и мне жалко было, когда, прощаясь, ребятишки выбежали из школы. Не поевши, я оделся и вышел из школы. Был солнечный март. С полей и лесов дул ветерок и нес запахи наступающей весны. Я не знал, куда девать себя, и пошагал к своим.

— Эко разулыбился! — так встретила меня мать на крыльце.

— Весело, Санька, живешь, — съехидничала невестка.

— Как ему не радоваться: учителем стал, — сказал брат.

Младший брат, насмешливо глядя на меня, хихикнул:

— Хе! К Саньке учиться пойду.

— Откуда знаешь? — спросил я.

— Вся деревня знает — Санька учит.

— Свету преставление! — прошипела невестка. — Вот пользы от него, вот добра. Что ты знаешь!

— Уж, видно, знаю, коли заставили, — сказал я с достоинством.

Из всех своих мне более других была ненавистна невестка. Я видел, что она добрее ко мне не стала.

— Может, поешь, — сказала мать.

— Сытый, — ответил я. — И тороплюсь, скоро вторая смена.

— Как ему не быть сытым: двойные деньги идут, за сторожа и за учителя, — сказала невестка.

— Конечно, — спокойно ответил я.

Я слышал, как шумно невестка вскочила с кровати, как с треском зачесала перед зеркалом волосы.

У меня не проходило праздничное настроение. Бывает же такой прилив счастья, что кажется, ничто не способно умалить его. Я чувствовал в себе какую-то упругость. На голову ниже отца и брата, я, казалось, был выше их.

В школу я вернулся, когда собирались старшеклассники. Я не ел и есть не хотел. Блаженно улыбаясь, я ходил по классу, переставляя счеты и развешивая таблицы. Намочил тряпку и приготовил кусок мела. Дверь в класс то и дело открывалась, и я слышал восклицания, которые меня настораживали.

— Санька и есть!

— Вот это учитель!

Шли последние минуты, и меня охватило сомнение, сумею ли я справиться со старшими. Иные ростом с меня, а силой, может, и крепче. Я боялся выйти в коридор, а выйти надо было: что-то там зазвенело. Я думал, свалили бак с водой, и вышел. Пыль стояла столбом. Двое боролись и не могли побороть друг друга.

Десяток мальчишек играли в чехарду. Я басовито крикнул:

— Ти-хо!

Ребята не унимались.

Как делал в таком случае Семен Семенович, я зажал уши и знаком этим хотел навести порядок. Я ведь и сторож ещё, я мог схватить из угла палку и навозить зачинщиков. Но тут же устыдился такой мысли.

— Ти-хо! — крикнул я вновь и услышал:

— Кучу малу!

Это крикнул наш соседский парнишка Андрюшка. Я хотел было воспрепятствовать Андрюшкиной затее и шагнул к нему:

— Саньку в кучу малу! Саньку! — крикнул он, вцепился в мой пиджак.

— Вали его! Вали!

Меня окружили, а я как мог спокойно и внушительно сказал:

— Звонок подай, Андрей. В класс, ребята.

— Нет! Сначала память, чтоб мягкий был, — настаивал Андрюшка.

Я тогда же подумал, что это были не его слова, не мог их сказать глупый парнишка. Кто-то его научил. Да уж не невестушка ли наша! Я раздвинул круг, бросился к дверям и тут услышал, как затрещал пиджак. Рукав сполз с плеча и повис. Кто-то пнул мне под колени. Я сумел упасть на живот и приложить руки к лицу. Я был крепче многих и не боялся боли физической. Я думал о пиджаке, об оторванном рукаве и орал:

— Вот падлы! В самую грязь свалили!

Ребятишки повскакали и унеслись в класс. Я поднялся с полу и стал стряхивать пыль с пиджака. Все во мне негодовало. Я взял кочергу и вошел в класс. Я, видно, был страшен для ребят, потому что они шумно поднялись и похватили сумки. Я не видел на их лицах ни ехидства, ни ликования — они стояли передо мной красные и употевшие и виновато швыркались носами. Я отбросил кочергу и повалился на стул, протонав:

— За что вы! А! За что так?

Когда я поднял голову, в классе не было никого. Я отомкнул учительскую каморку. Вздрагивающей рукой написал:

«Дорогой Семен Семенович!

Не ругайте меня шибко. Не гош я на ваше дело. Тут вам расскажут, как все вышло. Подвел я вас, извините. Я в город подался. До свидания!»

Мне надо было домой зайти непременно. Я нашел предлог: починить рукав.

— Кто тебя так укатал? — устало и без интереса спросила мать.

Невестка к зеркалу отвернулась и шпильку в рот взяла, наверное, затем, чтобы удержаться от смеха. Я подошел к ней и повернул к себе.

— Ты подговорила?

Мы никогда так близко не глядели друг другу в глаза. Она не выдержала взгляда и отвернулась.

Я сам кое-как залатал пиджак, оделся и сказал матери:

— В город я.

— Наво всем? — спросила она.

Я не ответил. Я шел по реке к станции. На горке я оглянулся, прощаясь с родным селом...

Я не знал тогда, что боли забываются.





ИННОКЕНТИЙ
ЧЕРЕМНЫХ

РАЗВЕДЧИКИ

Главы из повести



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Первым командиром, которого я узнал в армии, был лейтенант Королев. Он прошел вдоль строя. Мы стояли перед ним, одетые кто во что горазд. Одни были в длинных шубах, другие — в полушубках, дохах из собачьего и медвежьего меха, шкур дикой козы. На ногах — самотканые валенки, унты, ичиги, чирки. Уши шапок у одних висели, у других торчали вверх. Ростом неодинаковы, но все одного, 1922 года рождения, бывшие колхозники из сел и деревень Братского района. Мы смотрели на коренастого, плечистого Королева, на его белый, как снег, полушубок, опоясанный широким ремнем. Пристально оглядывая нас, он спросил:

— Кто желает быть разведчиком? Служба веселая, почетная, всегда впереди. Разведчик должен быть смелым, решительным, сильным и вертким! Такому бойцу всегда почет. У кого же гайка слабовата, тому лучше в другую часть идти. Подумайте!

И пошел от нас к зданию, обнесенному штакетником. Там был расположен штаб дивизии. Лейтенант, по-видимому, давал нам возможность посоветоваться между собой — идти в разведку или нет. Но мы болтали о другом:

— Нас бы так одели, как его.

— Надо спросить, как кормят.

Лейтенант вышел из штаба вместе с писарем.

— Хорошо подумали? — издали спросил Королев.

Все молчали, и он, помедлив, скомандовал:

— Желающие быть разведчиками — два шага вперед... марш!

У меня получилось три, и я встал вплотную перед ним.

— Ты кто? Охотник или рыбак? — спросил Королев.

— Рыбачил с тятей и один, на удочку за полдня по ведру пескарей надергивал.

Охотился...

— Значит, смекалка есть? Стреляешь хорошо? Плавать умеешь? Как подкрадывался? В рост, ползком?

— Всяко разное и на карачках.

— Ты покажи, как, — встрял в разговор Пронька Каймонов.

— Ну и чо, покажу! — встав на четвереньки, я тут же почувствовал тяжесть руки командира.

— Ниже, ниже держать ее надо! Немец не утка, с ходу клюнет! — И писарю: — Запиши, научится!

Тех, кто вышел, переписали, а к поредевшему строю подошел другой, в черном полушубке командир и сразу скомандовал:

— Сомкнуть ряды! Кто больной — два шага вперед... арш!

Никто не шелохнулся.

— Больных направляем в санчасть, а там, глядишь, и домой отпустят. Больные не нужны в армии, а колхозы и больным будут рады, пахать некому... Последний раз спрашиваю — кто больной?!

Из строя вышли три парня.

— В артиллерии хворым негоже быть, — сказал командир. — Пойдете в пехоту, там вылечат вас.

Артиллеристов и пехотинцев увели куда-то, а наш командир, все еще расхаживая вдоль строя, оглядывал нас, спрашивал то одного, то другого:

— Родители есть? Почему мать пуговку не пришила? Ты что, на зимовку собрался? Что тебе натолкали в мешок?

— Телятина, хлеб!

— У кого есть козлятина, медвежатица?

Все молчали. Глаза командира уставились в серую дохушку Пашки Тельнова:

— Сам настрелял коз?

— Нет! — честно признался парень.

— Братск — таежный район, я думал, что все вы охотники, со смекалкой люди, стрелки хорошие, сразу можно в разведку отправлять, а вы? Мамкиных телят понапихали в мешки...

— Козу выслеживать надо, — сказал Прокопий Каймонов, — а телка во дворе колотушкой... бух — и в чугун.

— Почему у тебя переднего зуба нет?

— Трактор заводил, рукояткой выбило.

— А я думал, ты боксер, драчун, ловкач. Почему ты пожелал в разведку? Не охотник, не боксер и в разведку?

— Научусь! Вы говорите — служба веселая, всегда впереди, ну я и согласился.

— Он пляшет, поет, на гармошке играет, — подсказал коренастый, в медвежьей дохушке парень.

— Кто тебя за язык тянет? Разведчик должен быть глух и нем. А вы все как базарные бабы. Ну ничего, через месяц-другой прикусите... Командиры научат вас... как шапки носить.

Каймонов, подняв висевшее ухо шапки, стал завязывать тесемки.

— Будешь ротным запевай, — определил ему командир. И неожиданно для строя подал команду: — Равняйся!

Мешки, торбы с харчами лежали, стояли впереди и позади нас.

Боясь, что командир уведет строй без мешков, мы давай хватать их, а он еще зычнее:

— Равняйся! Какое равнение с мешками на плечах, соседа по строю не видно.

— Смирно-о! Справа налево по порядку... рассчитайся!

— Один! — выкрикнул я.

Пашка тихим голосом:

— Два-а!

— Отставить! Не один-два, а первый-второй! — пояснил командир, отшагивая от строя назад. — Справа налево по порядку номеров... рассчитайся!

— Первый!

— Второй!

— Третий!

— Четвертый! — выкрикивали парни. Выкрики удалялись и удалялись от нас с Пашкой, и голос замыкающего едва был слышен:

— Семьдесят пятый!

Командир выстроил нас в две шеренги, прошелся вдоль строя, скомандовал:

— В баню с песней! Шаго-ом... ма-а-рш!

Прокопий Каймонов запел: «Отец мой был природный пахарь, А я работал вместе с ним...»

— Отставить, отставить! — закричал Королев. — Ты что, в арбе едешь? Строевую давай! Под ногу, чтоб шаг тверже был! Запевай: «Выпрягайте, хлопцы, коней!»

Прокопий запел... Мы вяло, невпопад, подхватили, и Королев, морщась, опять крикнул:

— Отставить! Вы что, хором никогда не пели?

— Как не пели!

— А в чем же дело?!

— Пели с девчонками, а с ними чо не петь!

— «С девчонками!»! — передразнил командир. — О них забыть надо.

— Шутишь, дядя, — вырвалось у кого-то, — о них не забудешь.

— А нас скоро на фронт? — спросил Каймонов.

— На фронт... Ходить научитесь!

В бане остригли нас, выдали обмундирование. На улице мы сразу же почувствовали, что такое солдатская закалка — шинели третьей категории насквозь пронизывались ветром. Не скользил мороз и по надраенным до блеска сапогам, пробираясь через широкие голенища.

Начались занятия. Ночами — тревога за тревогой, дальние броски на лыжах. Солдатского пайка не хватало, подводило живот. У меня стала кружиться голова, и я пошел в санчасть.

— На что жалуетесь? — спросил серолицый доктор.

— Голова ходуном ходит, когда наклонюсь. Еды не хватает, — объяснил я.

— Наверное, до армии по ведру картошки съедал? Распустил брюхо... Тут паек, лишнего не съешь. Молока крынку не выпьешь.

— Молока и дома не всегда перепадало, у нас семья большая, коровенка плохо доится.

— Подойди ближе!

Четко шагаю.

— Та-ак! — произнес доктор, прикасаясь ледяными пальцами к моим горящим от жгучего ветра щекам. Смотрим друг на друга. У него на горбинке носа синие прожилки.

— Не похоже... не похоже, — бурчал он. — Меньше думай о жратве, голова перестанет кружиться. От симуляции она у тебя ходуном ходит! Кру-угом!

Ошарашенный, я повернулся через правое плечо и без его команды «марш!» вышел из кабинета.

* * *

Через два месяца военной подготовки нам заменили шинели полушубками, буденовские шлемы — шапками. В общем, обмундировали во все теплое — и на фронт.

Третьего марта 1942 года прибыли в Калугу. Только мы из вагонов — бомбежка! Рота — врассыпную. Я действовал по наставлению отца: «Сын, держись за бывалым солдатом!» Какой-то миг глазами отыскиваю бывалого, чтобы увязаться за ним. И тут замполит под машину нырнул. Я сразу «сообразил»: в кузове снаряды,

а они железные, их бомба не возьмет, — урезал к машине и залез под нее. Замполит голову сует к диску баллона. «Ишь ты, совсем молодой, а хитрый», — тычусь головой в другой диск. Бомбежка — всюю! Полуторка ходуном ходит. Замполит вдруг мыкнул и потянулся. Глядя на него, я тоже вытянулся.

Вот уже тихих визгов бомб, взрывы прекратились, командиры взводов окликают солдат, на построение зовут, а мы лежим. «Замполит знает, что делать, видно, ишо будут бомбить», — думал я.

Оказывается, его осколком в бок шваркнуло, вот он и притих. Потом, где-то в развалинах Калуги, командир построил роту и строго спросил:

— Кто под машиной был?

Я выступил из строя и не без гордости ткнул себя пальцем в грудь:

— Я и ишо замполит!

Ротный подошел ко мне:

— Садовая твоя голова! Стоило бы осколку попасть в снаряды и от тебя бы — пшик!

Тут я задумался. «Замполит-то замполит, в политике разбирается, а вот куда голову совать при бомбежке — не знает, как и я. За кем же держаться, все не обстреляны?»

Я поглядел в оспенное лицо Павла Тельнова и шепотом спросил:

— Ты в бомбежку где был?

— В старой воронке.

— А если бы бомба на тебя упала?

— Куда уже попадала, вряд ли может угадать, в Свердловске раненый рассказывал. Да я и сам размыслил. В одну точку из ружья не попасть, а с самолета и подавно.

— Двигаться будем колонной, — говорил командир, — с разрывом машина от машины сто метров. — Он взглянул в облачное небо: — Зорко следите за воздухом. В случае налета — врассыпную. Ни в коем случае не ныряйте под кузов. — Глазами отыскал меня: — Понял? По машинам!

Строй разлетелся.

— Пашка, я за тобой буду держаться! — на бегу кричал я Тельнову в затылок. — Ты ушлый! Не трус!

В кузове полуторки сели с ним спина к спине, и я через плечо говорил ему:

— Мы с тобой боронили, пахали вместе и теперь должны — не разлей вода! Вместе и умереть не так страшно...

Пашка был задумчив и нехотя слушал меня. Я напомнил ему, как мы с ним вместе с охотниками колхоза гнали табун жеребят и старых кобыл на покос, а он в ответ зло пробурчал:

— Выбрось дурь из головы!

— Не дурь! Ты тогда уже был отчаянным, а я тайги боялся... — Есть здорово хотелось, и невольно вспомнилась двойная уха, что мы с ним варили на Казербе, суп из сохатиного мяса, песни парней и девчонок, баловство на крыше зимовья...

— Воздух! — закричал вдруг Пашка.

Я настолько был углублен в прошлое, что не сразу понял, что за «воздух». Люди прыгали с машины, а мне казалось — с крыши зимовья, и, уже оглушенный звуком мотора и трескотней пулемета, я вывалился через борт кузова с мыслью: «Где Пашка?!» Тут второй самолет врезал из пулемета по колонне, и я сиганул от полуторки. Падая в сугроб, глазами отыскал старые воронки, думая, что Пашка опять, как в Калуге, укрылся в них... И наткнулся на Петра Большешапова с окровавленной рукой.

— Петя! — бросился я к нему и тут на пути — Пашка.

— Перевяжи! — крикнул он мне, стягивая полушубок. У меня екнуло сердце: «Ранило!» Я встал перед ним на колени, он был мертвенно бледен, но произнес спокойно:

— В подмышку угодило.

— По машинам! — раздался голос Королева. — Раненых — в Козельск!

— Прощай, Паша! Петя, прощай! — с подкатившим к горлу комком я полез в кузов своей полуторки.

— Куда?! Оглазел, что ли?! — орал на меня шофер. — Машина вышла из строя! Дуй на третью!

Побежал к третьей машине, сел. Тут был Леня Крамынин из нашего отделения. «Теперь за ним буду держаться, — в отчаянии думал я. — Он умный. Был бы дурак, комсомольским секретарем не избрали бы...»

Чем ближе передовая, тем хуже дороги. Машины буксовали в снегу, выходили из строя, и мы становились на лыжи, шли по проселочным дорогам. Противник, обнаружив передвижение частей нашей дивизии, бомбил и обстреливал большак из дальнобойных орудий. «Мессершмитты» сверху огнем давили пехоту. Вблизи Сухиничей зенитчики подбили «мессера» и взяли в плен летчика. Комиссар говорил нам:

— Немцы по шубам узнали, что идут сибиряки.

Наш командир Федор Ефимович Королев вел нас по заснеженной местности с помощью компаса — напрямик. Как говорится, «через леса, через поля»: мы то взбирались в гору, то катились с нее. И вот наш первый взвод полетел с откоса кубарем, повтыкался в сугроб. Проня Каймонов — удачнее всех. Надо было предупредить второй взвод, шедший за нами, и он оглашенно орал:

— Правее, правее!

Но было уже поздно. Однако никто из роты не свернул шею. Королев вывел роту на дорогу, по ней нескончаемым потоком шла пехота, и тут где-то трахнуло, провизжало, грохнуло в лесу.

— Ложись! Ложись! — заорали командиры, и опять будто бахнуло по барабану, и следом — визг, взрывы. Чтобы выйти из-под обстрела, пехотинцы и разведчики пустились кто куда, перемешались... Мы с Гошей Марченко потеряли своих. Кричать «разведчики, где вы?!» нельзя, это название воинской части, военная тайна, и мы, путаясь между солдатами, спрашивали:

— Вы не из Братска? Вы откуда? Ты, паря, откуда?

— Из Слюдянки я! — ответил один.

— Из Слюдянки?! Я тоже жил в Слюдянке! Ты случаем не знавал Гришу Ермакова? Такой длинношей, головастый, «якут» его называли.

— «Якут»?! — переспросил он и тут же побежал к дороге, я — за ним, Гошка Марченко следом. Пристроились в хвост колонны.

— Ты чо, паря, так зычно спросил «якут»? Видно, знавал его?

— Да! Его теперь называют товарищ замполит Григорий Иванович Ермаков.

Он помощник комиссара роты.

— Во-о! — обрадовался я. — Как его найти?

— Тише, не ори! Он, видно, впереди идет. Кто ты ему?

— Друг детства, — прошептал я.

И этот солдат в черном полушубке сказал в затылок другому солдату:

— Ермакова в хвост строя!

— Ермакова в хвост строя! — передал тот дальше.

Тихий говор несся по колонне, я с радостью на душе вспоминал. «Черемша соленая! Черемша в пучках!» — наперебой кричали мы с Гришей Ермаковым на

базаре в Слюдянке. У него шея была тонкая, длинная, а на ней большая, круглая голова, лицо скуластое от худобы. Чумазые мальчишки-беспризорники прозвали его «якут». Налупят меня, говорят: «Пошли дубасить «якута». Мне бы подружиться с «якутом» и вместе давать отпор, но мы с ним соперничали. Я злился на него, когда он больше распродал черемши или орехов. Он за это же злился на меня. Время было голодное, мы с братишкой Мишей ходили в железнодорожную столовую собирать со столов недоедки, и он ходил туда же. Как-то пробрались в красноармейский летний лагерь, и «якут» тут как тут! Живо подставлял картуз под котелок с рассыпчатой гречневой кашей, окунал лицо в картуз, хватал ртом кашу, жадно глотал. Красноармейцы беззлобно тешились над ним, валили ему каши больше, чем мне и Мишке. И мы за жадность хотели проучить его, а он предложил:

— Я согласен собранные куски валить в одну кучу, потом делить поровну на троих. Каша сама собой, кто сколько успеет съесть.

Отец мой за булку хлеба ночами колол дрова для пекарни, а я складывал их в поленницу. Смотрю, «якут» расхаживает по территории как хозяин... «Ты что, выслеживаешь меня?» — начинаю разбираться, а он отвечает: «Дедушка отдыхает, а я за него присматриваю». Оказалось, что его дед, Яков Степанович, сторож пекарни. Так мы подружились с «якутом» — Гришей Ермаковым.

— Теперь, значит, «якут» ваш замполит? — переспросил я пехотинца.

— Разговоры! — предупредил идущий навстречу колонне человек.

— Кому Ермакова?

— «Якут»?! — окликнул я его. И к нему: — Ты жил в Слюдянке? Ты Гриша Ермаков? Ты продавал черемшу, орехи?

— Ну... Кто ты? — он схватил меня за борт полушубка, уставился мне в глаза, а я в его. Хоть и темно было, но по блеску глаз я определил, что они у него большие.

— Неужто ты, Гриша?

— Ну-ну! Гришка Ермаков! «Якут»? А ты кто?!

От нахлынувшего волнения я задохнулся:

— Боже!.. Опять свели дорожки! Я тот самый... с кем ты в Слюдянке куски собирал в столовой.

— Кешка?! У тебя братишка еще был?!

— Ага! Он умер! Дома в деревне, мы же уехали из Слюдянки.

— У меня тоже брат в Слюдянке умер. Восемнадцать лет ему было, старше меня. Работал грузчиком, надорвался, заболел и умер. Тяжелое время, брат, выпало на нашу с тобой долю! Голод, холод, война...

Напоминание о войне подавило во мне радость случайной встречи. Семь лет не виделись — было о чем вспомнить, поговорить, а язык перестал ворочаться. И у Григория, видимо, было такое же состояние — не до воспоминаний, и мы шли с ним замыкающими в строю пехоты молча. Шли долго. На Грише была портупея, полевая сумка. Я прервал тяжелое молчание:

— Ты все же выучился, а я нет — рядовой разведчик.

— А как ты с нами оказался? — спросил он.

— При обстреле мы с другом перемешались с пехотой. Ежели завтра не найдем своих... дезертирство припишут! — и у меня по спине пробежали холодные мурашки.

— Меня найдите, — сказал Гриша. — Первая рота первого батальона шестьсот пятьдесят шестого полка. Ни пуха ни пера тебе, друг! — и он, размахнув рукой, звучно шлепнул ладонью о мою ладонь.

— До свидания! — и побежал в голову колонны.

...Днем, как мы с Гошей Марченко ни метались туда-сюда, не нашли свою роту. Опять пристали к пехоте, отыскиали Ермакова, он привел нас в избу... По команде «смирно» стоим перед низкорослым, чернявым, по выправке похожим на деревенского мужика политруком роты Черночубом.

— Ничего страшного! — успокаивал он нас. — Вы идете на фронт, а не с фронта в тыл, — оглядел избу, — располагайтесь, отдыхайте.

На душе полегчало. Над головой — крыша. У русской печки на соломе вольготно лежали два маленьких ягненка, и мы с Гошей потеснили их. Гриша Ермаков устроился спать на лавке. Черночуб долго сидел за столом, словно прислушиваясь к чему-то или ожидая чего-то. Мне показалось, что я его где-то видел, этого приземистого, с черной головой человека. И вспомнил...

— Я вас знаю! Вы из Слюдянки! Машинист паровоза! Вы всегда в столовой не дохлебывали суп и не доедали кашу! И мы с братишкой Мишей подчищали ваши тарелки.

— Те парнишки выросли, а я, видно, не изменился, так и похож на паровозника, — сказал Черночуб. Посмотрел на Ермакова, на меня: — Значит, вы опять вместе голодаете? Ничего, все наладится, — и он уткнулся головой в стол, хотел подремать. Чертовски хотелось есть, и я окликнул Ермакова:

— Гриша, ты не спишь? Вот сейчас бы нам ту гречневую кашу, что у красноармейцев в лагере ели...

— Я и теперь не постеснялся бы своих бойцов, подставил бы шапку под ту кашу. Спи, не трави душу! Не дай бог, и завтра наши тылы не подойдут.

От пустоты в животе, от волнения, что мы потеряли свою роту, я никак не мог заснуть... А тут еще хозяйка вздумала дрова колоть, носить их в избу, со скрипом и стуком захлопывая дверь. Наконец дошло до нее, что мешает нам спать. Она притихла на минутку где-то недалеко от нас, а потом, шаркая о пол ногами, вышла из избы, не прикрыв путем дверь, и я спрятал от холода голову под шубу.

...Тылы полка так и не подошли. То ли их разбомбили, то ли они сбились с маршрута. Пехота голодной пришла на передовую.

* * *

Ночь, нигде ни одного выстрела. Мы с Гошей Марченко, словно телохранители политрука Черночуба и Гриши Ермакова, не отставали от них.

Командир роты, красивый на загляденье лейтенант Руденко говорил командирам взводов, светя на карту фонариком:

— Смотрите сюда. Вот речка, за ней — немцы. Нам приказано занять оборону вдоль деревни, она в одну длинную улицу. Ориентиры — русские печи с уцелевшими трубами. Рассредотачивайтесь повзводно, тихо, без стука, крика. Тебе, Гриша, — сказал Ермакову, — взять кого-нибудь из ребят, удалиться от роты метров на пятьдесят и осторожно патрулировать вдоль фронта. Все будут заняты работой, не услышат, как и немцы подойдут.

Ермаков взял себе в напарники толстяка Кувырзина, и они пошли. Мы с Гошкой Марченко потянулись за ними.

На востоке обелалось небо. Ходим по краешку нейтральной полосы. Тишина кругом. Не похоже, что где-то недалеко противник. Наша пехота расползлась — никого не видно и ничего не слышно. Вдруг Ермаков резко махнул рукой, упал, бухнулись рядом с ним и мы.

— Смотрите, кто-то ползет!

Смотрю в сторону немцев, там полосой тянется кустарник. Догадываюсь, что это речка, а больше ничего не могу рассмотреть.

— Где ползет? — спрашиваю, и тут же замечаю на белом снегу что-то черное, шевелящееся.

— Может, разведчик — наш или немецкий? — предположил Гриша. — Стрелять, окликать нельзя, себя выдадим. Надо командира спросить! — и он побежал в сторону деревни.

Тем временем «разведчик», приближаясь, становился все больше. Взял его на мушку. Рядом со мной замер Гошка. Кувырзин весь дрожал: то ли от холода, то ли этот ползущий нагонял на него страх. И он вдруг выстрелил, завился вьюном, мыча... будто сам себя ранил.

«Разведчик» лежал неподвижно.

— Убил! — решил Гошка. — Кто он? А ты убил!

Прибежал Ермаков и командир роты Руденко. Кувырзин вскочил:

— Не я, палец сам нажал. Я нечаянно!

Руденко рукой отстранил его. Подошел к убитому, наклонился, ощупал рукой, вынул из кармана документы... Убитый оказался в русской шинельке, надетой на телогрейку. По одежде он был не нашей дивизии. Кто он, почему со стороны немцев полз, было непонятно. Кувырзин тихо выл, причитая:

— Расстреляют... Я смерть предчувствую, — и словно накаркал. Его выстрел привлек внимание немцев. Послышались хлопки и визг мин, похожий на порсячий.

— Ложись! — крикнул Руденко. И тут с треском заплясали на снегу взрывы. — За мной, в укрытие!

Побежали за командиром роты к деревне.

Над головой грохотало, визжало, взрывы бросали нас на землю. Жбюх, жбюх! — врезалось в землю что-то тяжелое. Взрывной волной нас подхватило, поволокло вперед. И вдруг Руденко как в землю провалился. «В подполье нырнул», — догадался я и тут же увидел пасть погребца.

— Помогите! — раздался позади меня голос Гриши Ермакова. Он волочил вниз массивного человека в полушубке.

— Кувырзин?!

— Да!.. шага три... не добежал, — задыхающимся голосом ответил Ермаков.

Кувырзина положили на спину. Лицо его, испорченное оспой, было безжизненным. Из головы струилась кровь. Тело еще конвульсивно вздрагивало. Руденко снял со своей черноволосой головы шапку...

По приказу командира мы вынесли с нейтральной полосы труп в русской шинели. Хотели похоронить в одну могилу с телом Кувырзина, но Руденко пробурчал:

— Не надо вместе. Драться будут. Присыпьте его снегом. Попытаемся найти его часть, пусть опознают.

Взглянув на нас с Гошкой Марченко, добавил:

— Рота ваша должна где-то тут недалеко быть. Ищите, а то так же вот, — кивнул головой на убитого, — кто-нибудь прихлопнет вас, будете значиться без вести пропавшими или как дезертиры. — И написал записку на имя командира разведроты Королева с подписью: командир 1-й роты 1-го батальона 656-го с.п. лейтенант Руденко.

Нашли мы свою роту. Пять дней голодаем. Шесть ложек сухарных крошек лишь тем, кто шел в разведку. Днем и ночью — бомбежка и обстрел. Лежа на дне

тесной землянки, мы вздрагивали от толчков земли. Гриша Доброхотов вдруг схватил топор и выскочил на улицу.

— Куда? Наряд вне очереди! — только и успел крикнуть командир отделения Прокопий Каймонов. И вынырнул из землянки: — Федька, куда убежал Гришка?

Голос Федьки Черных едва был слышен, и мы ничего не поняли.

— Ты чо, путем ответить не можешь? — командир сел в проходе. — Видали? Три дня каптерочником, а уже заелся!

— Чо там ись-то, мешки пусты! — заступился за Федьку Михаил Московских.

Бомбежка прекратилась, скоро вернулся Доброхотов.

— Куда носился? Почему без спроса! — накинулся на него Каймонов.

— Тише ты! Думал, немцы будут конный парк бомбить, а они — пушки. Только из пулеметов стрельнули по коням и улетели. Ни одной клячи не убило, — он втянул в землянку тяжелый вещмешок.

— Украл, чо ли?

— Убил!

— Кого, где?

— Убил! Впервой убил! Черт возьми, на что только не пойдешь с голодухи, — рукавом шубы Гришка смахнул капельки пота со лба. — Даже жарко стало!

— Да говори ты! — не понимали мы.

Гришка воровато взглянул на выход землянки, пригнулся к нам:

— Слышу, потрескивает в ельнике! Ну, я подкрался и с ходу — бух в лоб!

— Кого в лоб?!

— Кобылу, кого! Хоть исхудал, но одним махом убил. Она, бедняга, не хуже нас изголодала. Кору на елке грызла.

— Ну, балда! Я думал, ты человека убил, — облегченно произнес Прокопий Каймонов. И тут же распорядился: — Дрова, воду, ребята! Варить!

— Кострить-то нельзя!

— Мы за дорогой, в степи! Кто-то один пусть варит на весь наш взвод. Да ты и вари, Гриша!

— Нет! — вмешался Крамынин. — Иди к старшине, покажи, где остальное мясо, пускай заберет, кормит роту.

— Нет там мяса, — сообщил повеселевший Доброхотов. — Солдаты из химроты забрали...

Как немного нам надо было! За пять суток впервые наелись досыта, и гармонь принесли в землянку. Иван Хромовских пел, а мы будто впервой слышали частушки — хохотали, наперебой подпевали...

Утром зашел к нам в землянку комиссар Колесников. Присел в выходе:

— Ох, как темно! Душно! Обьелись, что ли?

— Это Мишка «подвез»! — пошутил Доброхотов.

— Вот ты, товарищ боец, вчера громче всех хохотал! Голос твой и посейчас звенит у меня в ушах. Какое у вас сегодня настроение?

— Как вчера с обеда, — ответил Каймонов.

— Ну и отлично! Кто в вашем отделении самый сильный?

— Гришка! Он одним ударом — кобылу! — ответил Московских.

— Понятно, — сказал Колесников. — Вот в чем дело, ребята. Сегодня мы должны идти на боевое задание, взять «языка», надо подобрать отчаянного бойца для захвата. — Кивнул головой на Доброхотова: — Как ты, первым ворвешься в немецкую траншею?

— Наперво бы в поддерживающей группе сходить, — ответил Доброхотов, — узнать, что почем.

— Кому-то надо, все еще новички в этом сложном деле...

— Ну я так я! — согласился Гриша.

— Вот и молодец! Чувствуется, что не из робкого десятка. Приводите себя в боевой порядок, скоро выход. — И ушел.

Вечером бывший учитель, помкомвзвода Павлов хаживал вдоль строя и, потрясая противотанковой гранатой, рассуждал:

— Кому же вручить?.. Кто у нас сможет быть главным бомбардиром? — И вручил мне. Я хоть и был таким же воякой, как все мои земляки, но гранату РГД бросал далеко и метко, а эту вот «колотушку» взял впервой. По неопытности подвесил ее на запальный хомутик. Теперь от одного воспоминания становится жутко. Предохранительные усики могли на ходу в любую секунду выдернуться, и меня бы разнесло в клочья.

Из расположения роты вышли мы на лесную плешину. Помкомвзвода двигался впереди солдатской цепи, но вдруг отступил в сугроб и давай оглядывать нас. Ну и увидел, как у меня на ремне граната висит... Как заорет:

— Взвод, разбегайсь!

Я тоже рванул, а он кричит мне:

— Ложись!

Бухнулся, смотрю — ребята в разные стороны бегут. Вскочил, да как хватану за ефрейтором, чтобы спросить, в чем дело: я — ложись, а они — беги?! А ефрейтор Саша Сидоров оглянулся и еще сильнее припустил от меня.

— Ложись! Ложись! — слышу рев Павлова. Подчиняюсь и снова падаю.

— Снять ремень!

Вот, думаю, нашел время, когда учения проводить.

— Ко мне! — кричит.

«К тебе так к тебе», — думаю. Но ремень не оставишь в снегу, на нем снаряжение, хватать — и к нему. Он попятился:

— Стой! Стой! Брось ремень! Ко мне! Граната взорвется!

Эх, как я шмыганул! Мимо Павлова пробежал... И когда уже правильно была подвешена граната, ребята все равно смотрели на меня как на «взрывчатку». И хохотали! Будто им смешно было! А драпали так, что на хорошем рысаче не догнать.

...После смеха и ругани пришли к ровикам нашей пехоты. Не дожидаясь темноты, выползаем на нейтральную полосу. Ползем неумело, без всякой осторожности. Не очень-то следим за Доброхотовым и Решетниковым, быстро оторвавшимися от нашей поддерживающей группы. Не сразу дошло до сознания и то, что впереди оказалось вдруг не два, а четыре человека. Позади застрочил «максим», впереди — немецкий пулемет. Градом полетели в лоб трассирующие пули. Вдруг я услышал надрывный крик:

— Немцы Гришу схватили!

Не могу различить, в кого стрелять. Те и другие в маскхалатах. Двое — один за другим — бегут в нашу сторону, двое барахтаются. Палю в белый свет, как в копейку. Из тех, что бежали, задний упал. Помкомвзвода преградил путь переднему:

— Куда! Назад! За мной! — бросился вперед, но взмахнул руками, выронил автомат и рухнул. Взводом бьем из винтовок туда, где в снегу переваливались два человека. Один вскочил, бросился к нам. Я узнал приземистую фигуру Гриши Доброхотова. Ефрейтор, за которым я час назад гонялся с противотанковой гранатой, привстал:

— Взвод, слушай мою команду: назад, отползай! Быстро! Назад!

Так закончилась наша первая вылазка за «языком». Едва сами не оказались добычей немцев. В расположение роты вернулись с двумя убитыми и двумя ранеными.

Лежа в землянке, осмысливали роковой исход:

— Пошто водку на пусты кишки дают? — начал Хромовских.

— Наркомовский паек, — сказал Леня Крамынин. — Была бы каша, кашей накормили.

— Хорошо, что Гришка сильный, руками задавил фрица! А ты с пьяных глаз в него стрелял.

— У меня в голове ходуном ходило, — виновато глядя в поцарапанное лицо Гриши Доброхотова, оправдывался Иван Хромовских. — Не мог понять, ну и по нечаянности...

— М-м-да! Очухаться не могу, — говорил Доброхотов. — В глазах, гад, стоит. Как хватану я его в охапку, да как жиману — переломил ему спину, и коленом... кы-ык садану в брюхо, передавил глотку — и тягу.

— Здорово ты его! — заметил Хромовских.

— Давай на тебе покажу, чтоб ты боле не стрелял по своим.

— Тревога! Тревога! — как с перепугу, закричал кто-то наверху.

Пулей вылетели мы из землянки, побежали к лесной проталине, пристроились к командиру роты. Он, как и мы, солдаты, от голодухи бледнолицый, чем-то взволнован.

Без команды «равняйся» и «смирно» повернул строй налево и повел в сторону заснеженного пустыря. Там, подле уродливой березы стояли трое...

Поравнявшись с ними, командир остановил роту. Смотрю на Решетникова. Его осунувшееся, изнуренное лицо заплакано. Тревожно топчась в снегу, он стискивал заскорузлые пальцы до треска. Поясного ремня на нем не было. Младший лейтенант особого отдела дивизии Яков Дубовихин с автоматом на высокой груди неторопливо вынимал из планшета лист бумаги.

Еще не представляя, что сейчас произойдет, я оторопело глядел на Решетникова, вдруг оказавшегося спиной к строю, и слышал голос Дубовихина, последние слова которого запомнились мне на всю жизнь: «Вследствие паникерства Решетникова был схвачен врагом его напарник Доброхотов... Погибли коммунист Павлов, комсомолец Макаров... Сорван поиск... На основании вышеизложенного Решетникова приговорить к расстрелу. Приговор привести в исполнение», — и тут же из автомата прострочил спину Решетникова.

— Мы-мы-ы! — в испуге промычал я, хватаясь за руку Крамынина.

Дубовихин резко обернулся:

— За паникерство — смерть! — ожег взглядом. — Смерть!

Командир повел нас в расположение роты. Ноги подсекались, не слушались, строй растянулся. Забравшись в землянку, мы пролежали до позднего вечера молча. Хотелось есть, а есть было нечего, и мы жевали серу. Небо с утра было покрыто тучами, можно бы и печурку растопить, но ни у кого не поднимались руки. И не затопили бы на ночь, если бы не зашел к нам комиссар.

— Морозище, морозище-то! Вы что, почему не топите? А чавканье-то какое! Что вы жуете?

— Вчера серу наколупали, — ответил Каймонов. — Попробуйте! — он вынул из-под козырька шапки жвачку. — Она ишо нова, я мало жевал.

— Да нет!.. Грустите? — тихо спросил комиссар. Облокотившись о колени, положил голову на ладони. — Мать, отец есть у Макарова?

— У Макарова есть, у Решетникова — не знаю, — ответил Каймонов.

— Надо отомстить фашистам за смерть земляка!

— Чем отомстить-то? Винтовкой? — вступил в разговор Крамынин. — Мы вчера взводом, наверное, и сотни патронов не выстрелили, а немцы в нас — тысячи.

У них автоматы. Если б не пехота, лежали бы все там. Подсумки тряпочные — как расстегнул, так патроны посыпались.

— У меня тоже, — подтвердил я. — Один автомат в роте! Ползешь с этой длиннющей, во что-нибудь уткнешься штыком. Острога — на Ангаре рыбу колоть.

— Высказывайтесь все, не стесняйтесь, слушаю вас.

Мы все глядели на Крамынина, хотели, чтобы он говорил. Он был рассудительным и смелым, не робел перед командирами, но и он умолк.

— Жалко Решетникова, — почти шепотом проговорил Доброхотов. — Можно бы в тюрьму посадить, не расстреливать.

— Хорошенькое дело! Ты вой, а паникер будет сидеть, ждать, когда война кончится? Неплохое наказание...

— Какой он паникер! Мог и другой сдрейфить! Немцы — как из-под земли, и давай хватать нас, он и испугался.

— Если бы ты в беде бросил товарища, сорвал поиск, тебя бы расстреляли! Но ты же не побежал. Думаете, мне не жалко его как человека? Молодой, необстрелянный, но... — комиссар упорно гнул свою линию.

— Почему у нас со жратвой так плохо?

Комиссар немного помедлил, словно собираясь с мыслями.

— Да, положение у нас не из легких, — заговорил он. — Немцы разбомбили эшелон с продовольствием, конечная железнодорожная станция далеко. Шоссейные и проселочные дороги заносятся снегом. На машинах не проехать. На лошадях — медленно. К тому же самолеты противника день и ночь патрулируют дороги, бомбят.

— Так-то оно так, — вроде согласился Крамынин. — Эшелон разбомбили... Вдребезги разлетелись сухари, а водка — нет! — Ленья уставился на комиссара, глядевшего на него. — Загадка!.. Не вредительство ли тут! Голодных напоить — и в разведку. И вот он, исход. Смерть, расстрел! — он нервно заерзал на пихтовом настиле.

— Мгновение — и человека нет! Мне лично понятно, почему так быстро разделались с Решетниковым. Расстрел — бич по трусости. — Ленья окинул взглядом нас, сидевших плотно у торцевой стены землянки. — Теперь мы все сразу, без словесной морали поняли, что такое война. Убивают и расстреливают. Почему наших самолетов нет? И где те танки, что в кино самураев давили гусеницами?

— Защита Москвы, разгром немцев нам нелегко дались, — со вздохом произнес комиссар. — Много полегло людей, погорело самолетов, танков, много разбито пушек, минометов. И где все это так быстро взять? Давайте вместе поразмыслим о положении дел в стране. Большая часть оккупирована врагом. Где хлеб, заводы? — Иван Максимович сел поудобнее. — Те заводы, что вблизи передовой, надо быстро демонтировать, перевезти на Урал, в Сибирь. Нужны люди, транспорт. Потом смонтировать, пустить в ход. А это не так просто. Кроме эвакуаций заводов нужно перевезти войска, технику, боеприпасы, продовольствие, эвакуировать беженцев, оставшихся без крова, без крошки хлеба! Много всяких других бед. Большая нехватка кадровых офицеров в дивизии, нашей роте. Командиры — учителя, председатели колхозов. Вы — вчерашние пахари, не обучены ремеслу разведчика. Некогда было учить. Немцы засели на укрепленном рубеже, высотах, а нам выбить их нечем. Кони на ходу подошли, снаряды не на чем подвезти, артиллерия бездействует. Сегодня вашему взводу предстоит идти на железнодорожную станцию Борятинск за снарядами. Вот такие дела, братцы-сибиряки. Не падайте духом! Все наладится! А вот почему водка не разлетелась вдребезги, как сухари?! Не знаю, как она уцелела... — развел руками комиссар. — До свидания, — и он вылез из землянки.

...Идем ночь, захватываем утро, получаем по два 76-миллиметровых снаряда, связываем их обмотками, переваливаем через плечо, торопимся в лес — в нем уже тут и там в кустах расположились гаубичники, пушкари. Одни вповалку лежат, другие кружком сидят. Возле них валяются разного калибра снаряды.

До вечера мы отсыпаемся, а ночью снова отправляемся в путь за боеприпасами. И если кто из соседних дивизий со стороны видел солдатскую вереницу, думал, что в 116-ю идет пополнение, а на другую ночь подумали бы, что 116-я уходит на отдых. Так мы несколько дней ходили то на станцию Борятинск, то на передовую линию фронта.

В аховом положении находилась в те дни наша дивизия...

Конец апреля 1942 года. Слякотная погода. У каждой землянки пылали костры. Вокруг них толпились разведчики: сушили портянки, валенки, шубы — всей ротой готовились на боевое задание. Проня Каймонов раздал дополнительно еще по одной гранате РГД, себе взял противотанковую.

Старшина выдал на пять штук урючин больше, чем было раньше.

— О-о, наладилось с продовольствием?! — бросил в шутку Каймонов.

— Завтра высчитаю, — пробурчал наш «кормилец» и, сутулясь, пошел к другому костру.

После ужина из шалаша вышли командир, комиссар роты и командиры взводов — все в полушубках. Последовали одна за другой команды:

— Потушить костры!.. Рота, ста-анови-ись! Ра-авняйсь... Смирно! — Задание командира дивизии: взять «языка» и село Фомино, и там закрепиться, — Королев прошел вдоль строя, вернулся на прежнее место. — Кое-кто из разведчиков из-за простудной болезни не бывал на передовой, не знает, где находится село Фомино... Слушайте внимательно! Фомино сгорело, одни печные трубы торчат. Ночью при вспышке ракет трубы будут видны. Чуть дальше — высота 169, а там — Варшавское шоссе. Правее от Фомино — километра два, три — Заячья гора, высота 179. Днем немцы с этих высот видят, что делается у нас. Наша пехота только вынырнет из ровиков, как они тут же грохнут из пушек! Снайперы выбивают командиров. Ночью они стреляют вслепую — для страховки. Сегодня погода для нас что надо, ветер со снегом, — командир замолчал, отшагнул от строя роты назад, а комиссар Колесников шагнул к строю.

— Кто болен, кого чирьи мучают, без стеснения — два шага вперед марш! — и Колесников, давая дорогу больным, отступил к Королеву. Строй зашатался, чирьи были у многих, но никто не вышел, и только кто-то на левом фланге неестественно кашлянул.

— У кого кашель? — спросил Колесников. — Кашлем можно выдать роту противнику. — Выйти из строя!

Вышел самый щуплый в роте Коля Токарев.

— Хы! — усмехнулся в затылок мне земляк Митя Распутин. — Толку-то из него!

Токарев сам из себя сделал доходягу. Его буквально заедали вши, но он никогда не снимал нательную рубаху, чтобы обиходить себя. Не умывался, глаза у него были словно трахомные, красные, лицо чумазое.

Комиссар оглядел такого «бойца» с ног до головы:

— За ночь прокашляться, утром как следует умыться, а как мы вернемся, ко мне подойдешь...

Идем, меся грязь. Ветер с дождем и снегом пронзительно свистел и хлестал в лицо. Шубы раскисли, намокшая одежда холодила тело от шеи до пяток; в валенках

зачавкала вода, они становились тяжелее. Спотыкаясь и падая, поднимали друг друга, ругались, проклиная непогоду...

На передовой ракеты раздвигали ночную темноту, трассирующие пули осыпали черную пашню. Рота развернутым фронтом пошла вперед.

Впереди грохнули орудия, прошуршали в вышине снаряды.

— Ложи-ись! — передали по цепи команду Королева. — По-пластунски... вперед!

Опускаюсь на колени, вязну в слякоти, валюсь на левый бок, подаюсь вперед, бросаю взгляд вправо на Распутина, влево на Доброхотова, чтобы не отстать от них.

— Встать, вперед!

Едва встал, одереженевшие ноги не слушались. Покачиваясь с боку на бок, с трудом сделал шаг, другой, увидел, как Распутин упал. «Видно, тоже идти не может», — подумал я и хотел было двинуть к нему на помощь, но он поднялся. Доброхотов шел чуть впереди нас.

Ротой идем и идем, теперь при свете ракет видны печные трубы сгоревшего села. Траншеи противника скрадывались сплошной чернотой поля и обозначались лишь при стрельбе пулеметов и взлете ракет. «Метров сто до них, — мысленно определил я, — лишь бы не заметили... не заметили, хотя бы уснули!»

Но заметили... За селом раздались звуки, похожие на выхлопы автомашин, и тут же завизжали мины. Вскрикнули сразу несколько раненых. Немцы застрочили из пулеметов. Разорвался снаряд, воздушной волной меня опрокинуло навзничь, оглушило, но я тут же вскочил, никого не видя и не понимая, куда вдруг все делось. Чья-то сильная рука цапнула меня за плечо, повернула, толкнула, и я опять увидел мелькающие силуэты.

Вскочил я спиной к фронту, потому и не увидел никого. Перед глазами, как наяву, расстрел Решетникова. Страх, что сочтут за труса, бросил вперед, а ноги предательски не слушались, подсекались. Схвативший меня был уже впереди, и я узнал комиссара Колесникова.

Немцы светили ракетами, били из пулеметов. Сверкающие трассирующие пули со свистом летели густо, казалось, что вот-вот отхлестнет уши или раздробит голову. Вскрики раненых множились... Королев очутился рядом с Колесниковым, они бежали к траншеям противника, падали, вскакивали, бежали вперед и вдруг разом упали.

— Ложись! — услышал я голос Королева. — Назад!

Я крутнулся волчком. Кидаю взгляды влево, вправо — Гриша Доброхотов и Митя Распутин на четвереньках, подставляя зады под град свистящих пуль, отползают...

Под минометным, пулеметно-ружейным огнем мы волокли за собой раненых. И уже где-то перед рассветом едва-едва приплелись в расположение роты.

В землянке холодно. Валенки не стянуть с ног. Мы выглядели так, будто нас только что выволокли из грязи. Чертовски хотелось есть, а кухня не топилась. Старшина с шапкой в руках ходил от землянки к землянке, раздавая на завтрак сухой урюк по десять штук.

— Почему не пятнадцать, как вчера? — подставляя ладони, спросил Каймонов.

— Задание не выполнили, людей потеряли! — зло ответил старшина.

Из леса вылетел коротыш каптенармус.

— Арестовали! Увели! — панически кричал он, махая руками. — Туда обоих — командира и комиссара! Вон они! Ишо видно!

Впереди Королева и Колесникова шел рослый особист Яков Дубовихин. Позади следовали два конвоира. Они подходили к той уродливой березе, возле которой был расстрелян ефрейтор Решетников.

Рота оторопела. Но они миновали березу.

— Куда, куда это их?!

— Судить! — отозвался каптенармус.

Его вмиг окружили, а он с испугом в округлившись глазах, вертась, рассказывал:

— Значится, так. Я проснулся, как они в шалаш вошли. Королев и говорит Колесникову: «Иван Максимович, докладывать надо. Что говорить — почему приказ не выполнили, роту с передовой сняли? Докладывай как комиссар». А тот ему: «Нет, Федя, ты командир, докладывай. Причина одна — не смогли, не хотели понапрасну людей губить. Звони». Заговорил Королев по телефону, и тут я слышу ругань в трубке, потом запищало. Они жалобно посмотрели друг на друга. Я подбросил дров в печурку. Королев опять к Колесникову: «Осудят!» А тот ему: «Мы же с тобой еще на передовой о том говорили, что же — ответим». Не успели они и портянки подсушить, как особый отдел...

Батальон пехотинцев не раз пытался вышибить немцев из траншей, овладеть селом, но не мог. И почему вдруг вздумалось командиру дивизии Самсонову бросить на штурм разведроту?..

Командир и комиссар понимали, что рота не в силах без поддержки артиллерии занять село. Можно было уложить бойцов, самим умереть, а успеха не достичь. И они из-за нас, солдат, рискнули, увели роту из-под огня...

...Снабжение продовольствием не улучшалось. Старшина по-прежнему вечерами ходил с шапкой в руках и раздавал урюк, и мы прозвали его «нищим», а он злился:

— И урюка не будет! — Тридцать автомашин уходило в Калугу, а вернулось только восемь! Остальные увязли в грязи, потонули в речках. Тракторов в дивизии нет. Да и на них не проедешь. Речушки, озера, болота везде разлились, все затопило. На промысел за едой ходить было некуда. В сожженных селах мы все подполья перерыли. Перетаскали с конного парка конскую кожу, пережарили на кострах и съели за милые шашлыки.

Мы с Доброхотовым пошли к артиллеристам, там у меня земляк Вася Власов. В роще пахло мясом. В каждом пихтовом балагане солдаты варили конину.

— Вас хорошо кормят, ты жирный, — позавидовал я Васе. — У тебя не лицо — будка.

Он расквасил губы, как ребенок:

— Не-е, я от голодухи опух. Только сегодня повезло, хромую кобылу забили.

— Кожу, лытки никто ишо не утащил? — живо заинтересовался я.

— Не-е, там была, — махнул рукой в сторону Вася.

И нам с Гришкой повезло. Очищая кишки, мы нашли в них селезенку и большой кусок шеины. Наверное, убойщики для себя припрятали, чтобы потом взять, а мы их опередили...

У нашей землянки закипела работа: одни пороли кишки, рубили на кусочки шеину, другие готовили дрова, разводили костер.

И вот наше варево забурлило в ведре и котелке...

На ужин к нам пришел каптенармус Федька Черных и сразу поддел кусок мяса.

— Страхни! — прикрикнул на него Каймонов. — Выхлебаем жижу, начнем мясо.

Тот вроде хотел стряхнуть и — раз! — сунул кусок в рот. Не прожевав, опять потянул из ведра мясо. Пронька своей ложкой выбил черныховскую.

Каптенармус вскочил. Вертя головой, стал отыскивать глазами бог знает куда улетевшую ложку.

— Ешьте быстрее, пока он ищет!

— Второпях смак не тот, — смеясь над Федькой, говорили мы.

Ведро освободили мигом.

— Кишки, может, на завтра оставим? — спросил кто-то.

— Да ну! Какая разница, в брюхе или котелке, — возразил Доброхотов.

Принялись за кишки — съели. Попили чаю, забрались в землянку и развалились на ельниковой подстилке. Я не мог заснуть. Бурлило в животе. Доброхотов тоже ворочался.

— Ты чо, паря, не спишь? — спрашиваю его.

— Однако объелся, — промычал он. Заговорил Хромовских:

— Кишки я через силу ел, — признался он. Проснулись Каймонов и Крамынин. Всю ночь мы не спали, сначала по одному ходили до ветра, потом друг за другом пулей выскакивали из землянки.

Утром командир взвода кричал на нас:

— Вы не разведчики! Вы утки! Все расположение загадили! Убрать!

— Нам бы порошка от брюха, заварку чая погуще, — просили мы.

— Марш в санчасть!

Приходим в село Кирсанова Пятница — в палатах шум, гам.

— Где больных принимают? — спрашиваю.

— В операционно-перевязочном пункте, — ответила медсестра, указав на избу. Возле нее много раненых. Хромые, прильнув к стене, дремали. Ходячие топтались в грязи. Тяжелораненые лежали на носилках. Только перед утром всем отделением ввалились мы в перевязочную. В ней теснота, сестрички в белых халатах одних раздевали, других перевязывали, за простынной занавеской делали операции.

— Мы объелись! — сообщил Каймонов.

— Где это так кормят? — поинтересовался кто-то.

— В разведроту! От конских кишок запоносили. Командир «пришил» нам дивизерию.

— Этого еще не хватало!

— В том-то и дело! — согласился Каймонов. — Вам и так невпродых. Дайте справку и мы уйдем.

— Нет, нет!.. — возразили медики. И нас поселили в сарай, что был за огородами. Дали каждому по жестяной банке из-под консервов: «Завтра заберем банки, отправим на анализ...» Но животы у нас уже были пустые, и мы ничего не могли выдать для анализа. Но нас все равно не выпускали и не разрешали ходить по селу.

Ночью мы зарывались в солому, спали. Днем на крыше сарая сушили на солнце портянки, снимали нательные рубахи, били вшей, загорали. Заметив в небе самолеты противника, орали на всю Кирсанову Пятницу:

— Во-оздху! Расходи-ись!

Гражданские шарахались, бежали в разные стороны, раненые только озирались. С крыши мы видели все, что происходило вокруг. По потоку раненых понимали, что бои идут кровопролитные. Удивлялись работе хирургов, медсестер — через их руки проходили сотни искалеченных бойцов. С верхотуры мы видели взвод санитаров с вещмешками на плечах. Они куда-то далеко ходили за едой. И когда

появлялись на улице, то определяли, кто из них нес вещмешок с сухарями, кто с урюком. Всем выдавали по сухарику на день. Нам второй день — ничего. Медсестра пояснила: «Вы еще не состоите на довольствии, вас рота должна кормить».

И лишь на третий день к нам на крышу забрался распотевший, с исхудалым, обветренным лицом Гоша Марченко. В одних кальсонах, мы с радостью окружили его, одетого в полушубок и ватные брюки, сплошь залепленные грязью, подставили шапки под сухой урюк.

— Чему так веселы? — спросил он. — Большая беда в роте. Командира и комиссара приговорили к расстрелу.

Мы ахнули... остолбенели. Вспомнили ту злополучную ночь, Королева, Колесникова, как они, жалея нас, уводили с поля боя...

— Ишо не расстреляли, — продолжал Марченко. — В яме сидят, — развязал вещмешок и вмиг разбросал нам трехдневный паек. Получилось по девять урючин на день. — Десятую я за дорогу съел, — признался Гоша.

— Ах ты обжора! Кусошник! Вор! — понесли мы на него. — В грязи утопим!

— Без вас утону... с урюком... Вы тут с голодухи подохнете! — Засобирался уходить: — Думал, получите по двадцать семь, рады будете, я и подкрепился. На «допе» старшина получают урюк на роту, ташит его мне. — Он спрыгнул с сарая и, ссутулясь, пошагал. Судя по усталому голосу, истощенному виду, можно было представить его с мешком урюка на горбушке — упади он в грязь, пожалуй, не поднялся бы.

Тягловые лошади выбивались из сил, на ходу валились и тут же дохли. Дивизия осталась почти без лошадей. Конский труд переваливался на плечи солдат. Все носили на себе. На оставшихся лошаденках вывозили раненых из санбата в полевой госпиталь. Из двенадцати пароконных фургонов состоял обоз. За эти дни мы видели его уже третий раз. Обоз остановился у палаток. «Сейчас начнется погрузка», — подумал я. Чертовски хотелось встретить кого-нибудь из земляков, и я, чтобы не попасть на глаза медсестре, навещавшей нас, делаю через огороды крюк, прошмыгиваю в палату, кричу:

— Ребята, кто из Братска?!

Никто не отозвался. Выхожу, пробираюсь в другую палату.

— Кешка! — ударил в уши голос Гриши Ермакова. — Иди сюда!

Раненые лежали валетом, едва не впритык один к другому, и узенький проход вдоль палатки походил на тропинку. Осторожно пробираюсь к растянувшемуся на соломенной подстилке другу детства, присаживаюсь к нему. Глаза у него все такие же большие, яркие. Шея длинная, только совсем стала тонкой, и круглая голова далеко держалась от узких плеч. Нога в гипсе.

— Навоевался? — говорю.

— Да-а!.. — с досадой ответил друг.

— Продвинулись хоть немножко?

— Да ну продвинулись!.. Они нас бомбами, снарядами долбили. А у нас ни самолетов, ни снарядов. Винтовка да сибирский характер, зло, дружное «ура», и так — все дни.

С передовой донеслась пулеметная трескотня, взрывы, приглушенные расстоянием.

— Опять атака! — с тяжелым вздохом сказал Гриша, болезненно сморщился. — Для меня она была вчера последней. Сам комполка водил нас на штурм, с задачей прорваться к Варшавскому шоссе. Раннее утро — холодно, — продолжал он рассказ. — Перед нами речушка с плывущим льдом. Небольшое замешательство солдат и голос командира Руденко: «За мной, вперед!» — и сам побрел. — Гриша содрогнулся. — Глубина выше пояса. Перебрались на правый берег. Немцы молчат.

Мы торопимся, шлепаем по грязи! Скорей, скорей, пока немец не видит! Скорей, пока наша артиллерия стреляет! Идем полком, цепь длинная! Оказалось, они подпустили нас ближе и разом... как грохнули! Как началось! — Он сжал ладонями голову. — Все утонуло в взрывах! В шагах пяти от меня Руденко бросился бегом вперед, машет наганом, а что кричит — не слышно. Понимаю, хочет стремительным рывком вывести роту из-под обстрела, и вдруг остановился, скорчился, наган из рук выпал, ткнулся лицом в грязь... Рота по инерции продолжала бежать. Тут передо мной распластались два брата Константиновых, я остановился. Один с трудом говорит мне: «Напиши... город Иркутск... улица Коминтерна...» — и все. Номер дома уже не смог сказать. Минуту я не простоял над Константиновым, а рота была почти уже у траншей противника. И тут «мессера» один за другим давай утюжить, прижали нас к земле. Многих ранило, побило, в том числе командиров, меня ранило в ногу. Один помкомвзвода Кудрявцев метался от одного солдата к другому, пытаюсь их поднять... Бросался в сторону немцев, возвращался, потом приставил наган к виску и застрелился... Он у меня в глазах стоит: коренастый, белобрысый, в очках. Видно, от физической, психологической нагрузки, от бессилия, что не мог поднять солдат и повести за собой, вцепиться немцам в глотку — не получилось сорвать зло, и он не выдержал. Немцы продолжали долбить нас, одни сплошные взрывы. И так — до темноты. Много погибло людей...

В палату вошел военный врач с одной шпалой в петлицах. Медсестра подала ему журнал. Перелистывая его, он взглядывал на раненых. За брезентом палаты чавкала грязь, ездовые понукали лошадей, скрипели колеса.

Началась погрузка раненых, и мы с Гришей распрошались.

Полковника Самсонова отстранили от командования дивизией, а дивизию сняли с боевых позиций. Наша разведрота, как тягловая сила, была распределена по батареям 406-го артполка для вывоза пушек с передовой.

Дорога разбита, колеса орудий попадали в ямы по лафет, и мы, приморенные сильнее батарейцев, выбились из сил.

— Кухня наша в селе, как-нибудь там поедим! — подбадривали нас артиллеристы.

С трудом добрались до окраины чудом уцелевшего в округе села Серпы. Почти обнаженные босые бабы, ухватившись за дышло сохи, пахали огород. Увидев нас, остановились, кучкой бросились навстречу:

— Ой боже! Отступают! Отступают! — С испугом на изможденных лицах, они преградили нам путь: — Куда? Куда вы?! Опять нас немцам!..

— Вы что? Вы что, напугались?! Нас сменили! Мы на отдых! — объясняли мы.

— Дай бог, дай бог! — взмолилась старушка и бессильно опустила на колени. — Да чего же вы, бедненькие, на себе-то волочете пушку?

— Немцы коней побили!

— Будь вони прокляты! Антихристы! — И с недоверием в поблекших глазах спросила: — Далече отдыхать-то будете?

— Не-ет! Где-то тут отдохнем и опять на фронт.

— Валяйте с богом! — она облегченно вздохнула. И повернулась лицом к повеселевшим бабам: — Пошли, миленькие, пошли.

Артиллерийской кухни в Серпах не оказалось. Тянуть дальше пушку не было сил, и мы рядком разлеглись вдоль прясла огорода. Бабы опять, ухватившись за дышло сохи, налегая одна на другую, пахали. От жалости к ним сжималось сердце.

Вспомнилось, как мы с отцом пахали. Следуя за ним, я то и дело взглядывал на солнце, выходил из борозды и пытался переступить свою тень, чтобы ехать на обед.

— Рано, рано ишо! — кричал отец. «Где ты теперь, тятя? На каком фронте? Жив ли?» — мысленно спрашивал я.

Упряжка баб без передышки делала борозду за бороздой, а мы все лежали у изгороди, ожидая приезда в село Серпы артиллерийского повара. Не дождавшись, впряглись в пушку и в сопровождении детворы двинулись дальше. И так по-бурлацки тянули пушку до Мосальска...

В районе этого города, что в Смоленской области, дивизия встала во второй эшелон. В роту пришли два командира, побывавшие в партизанском отряде. Один, совсем молоденький, в звании младшего лейтенанта, с орденом Красной Звезды на груди, принял третий взвод. Наш первый взвод принял кадровый офицер лейтенант Поляков: невысокий, неширокий в плечах, грудь плоская — он словно стер ее, ползая по-пластунски. Обветренное, дубленое лицо, глаза серые, взгляд строгий.

Расхаживая перед строем, он говорил:

— Ремесло разведчика непростое, даже опасное... Смерть — страшная штука. Сказать, что есть люди, которые не боятся смерти, — неправда! Жить всем хочется. А что поделаешь — война! Родина! За нее стоять надо, идти в бой, на смерть! И вот ты выполз на нейтральную полосу, приложил ладонь к сердцу — забухало! Страх охватил! Ползешь помаленьку, постепенно обывкаешься, вроде уж и не так-то страшен черт, как его малюют. А траншеи противника все ближе, сердце опять начинает громче и громче постукивать. Самый страшный момент — перед прыжком на головы врага. Не переборол страх — пропал! — Глаза командира вмиг стали суровыми: — Не дай бог, если кто из вас бросит раненого или не вынесет с поля боя напарника! Заставлю ползти, найти! Не выпущу живым с передовой, пока не вынесешь! И сразу же в три шеи выгоню из взвода! Не нужны шкурники!

Лейтенант каждый день проводил с нами тактическое занятие. Два других взвода учились ходить строевым шагом, отдавать приветствие командиру — будто это в войну самое главное. Закончив занятия, офицеры уходили в деревню, а наш лейтенант Поляков оставался с нами. Играл на гармонии. Смотрел на плясунов и, как на занятиях, покрикивал:

— Чего топчешься, как медведь? Живее, живее, не жалея сапог! — сам выскакивал в круг и, выпирая свою плоскую грудь, шел по кругу. Веселость Полякова радовала нас, тут мы давали себе волю — дурачились, но не забывали о нем, посматривали на его лицо, словно на барометр, который мог изменить настроение взвода.

...Утром снова тактическое занятие и наставления:

— Разведчик всегда должен действовать смело! Быть скрытым, недоступным глазу врага. Внимательно изучать передний край. Все ощупать глазами: кочку, пенек, кустик, ложбинку, бугорок, чтоб телом потом чувствовать, где ты ползешь. Ну и главное, о чем я уже сказал, смелее действовать. Смелость — это успех в деле, это «язык».

В один из июньских дней дивизия заняла боевые позиции. Нужен был «язык». За ним добровольно ушел молоденький младший лейтенант, что пришел в роту с лейтенантом Поляковым, и его помкомвзвода — здоровяк с внушительными кулачищами, бывший шахтер из Букачачи Кузьма Ельчанинов.

Утром в расположении роты, возле палатки парторга Калугина, сидели Кузьма Ельчанинов, немец в зеленом мундире, а рядом лежал молоденький лейтенант, укрытый плащ-накидкой.

— Убило его, когда ползли по нейтральной с «языком», — плачущим голосом рассказывал Кузьма. — Батарея ударила по нас. — Он резко повернулся лицом к немцу, тот вздрогнул. — Я с ним, змеем, в воронку, а лейтенант не успел. Чтобы

вынести его и «языка» не упустить, пришлось лейтенанта взвалить на плечо и этого, — Ельчанинов поднял кулачище, — оглоушить по башке и волочить по земле.

Лейтенант Поляков со слезами на глазах встал на колени перед телом друга, хотел приподнять накидку, посмотреть лицо, но Кузьма тут же схватил его за руку:

— Не надо! Головы... нет... снаряд рядом с ним разорвался.

Поляков прикрыл ладонями посеревшее лицо.

На похоронах рота плакала, салютовала из винтовок и автоматов.

Вечером у палатки парторга собралась толпа солдат. Екнуло сердце: опять убило? Срываюсь на бег, к палатке не пробиться. Слышу знакомый голос, признать не могу. Спрашиваю у одного, другого:

— Кто там?

В ответ меня отталкивают. Нырять вниз, лезу вперед, мне топчут руки, но все равно пробираюсь. Вынырнув из-под ног, стою на четвереньках. Передо мной командир роты Федор Ефимович Королев. Он сидит у входа в палатку, на лице густая черная щетина, рассказывает:

— Решения суда нашей дивизии не утвердили. Нас с комиссаром Колесниковым освободили. Он ушел в пехоту, я вернулся к вам. Отдохну денек и в строй. А сейчас спать, ребята, устал я.

Мы разошлись по своим палаткам. Хромовских играл на гармонии, словно убаюкивая нас. Хотел слушать и слушать, но сон брал свое. Проснулся от сотрясающего взрыва снаряда. Воздушный волной сорвало нашу палатку. Мы вскочили.

— Ваньча! — окликнул Прокопий. — Ты где, Ваня?

Ответа не последовало. Едкая пыль носилась в воздухе. Хромовских лежал мертвым. Осколок снаряда прошел гармонию и вышел у Ивана под лопаткой...

Утром — похороны. Второй холмик вырос в березняке. Вечером едем на передовую изучать обстановку. С нами Королев. Командир взвода Поляков спросил:

— Федор Ефимович, кого возьмете в группу захвата?

— Посмотрю, — уклончиво ответил тот.

Минули сутки, вторые. Королев не говорил, с кем поползет за «языком», все приглядывался, расспрашивал нас о разном. Нещадно палило солнце. От нагретого воздуха покачивался бурьян, и вместе с ним, впереди нас, словно колыхалось на пригорке полуразрушенное село. У дома, что на отшибе, высился колодезный журавль, и я, взглянув в потное лицо Королева, попросил:

— Попить бы холодной воды.

— А как подобраться, чтоб попить! На чердаке снайпер, — он дал мне бинокль. Я впервой смотрел в него. Домишко оказался перед глазами. Окна забиты досками. Крыша убогая, на ней скворечник.

— Письма из дома получаешь? — спросил Королев.

— Да... — не отрывая глаз от бинокля, промычал я.

— Как живут?

— Дома чо не жить, пока что все есть. Амбар хлеба. Только мама плачет. Сейчас у нас вечер, она, наверно, корову доит.

— Деревня есть деревня, не город. Хорошо жили?

— Всяко разное. Плохо и хорошо.

— И я тоже всего испытал.

— А как командиром стали?

— Не вдруг стал. Тут, брат, история.

Я подумал: «Может, возьмет меня в напарники?» А он вдруг окликнул Каймонова:

— На пару со мной пойдешь?

— Конешным делом! — отозвался тот и, расталкивая толпившихся в траншее ребят, подошел к нам. Я с обидой сунул ему бинокль:

— На, глазей! — и вышел из наблюдательной ячейки.

...Наступила июльская теплая ночь. Потянуло свежестью. Мы ползли по редкому бурьяну, казавшемуся с НП густым. Настороженно вглядывались, прислушивались. Время — самый сон. Перестрелка редкая, подстраховочная. Те и другие давали знать разведчикам, что не спят. Не лезьте, дескать, перебежим как мух. Ползли к колодцу. Отсыревший от росы бурьян слегка шелестел. Повлажневшая земля, попадая комочками под колени и локти, глухо давилась. Впереди, раздвигая темноту, то и дело взмывали ракеты.

По мере приближения к передовой колодезный журавль задирался все выше и выше. Поляков, рукой подозвав меня к себе, прошептал:

— Отползите с Московских вправо, ближе к ракетчику. Следите за Королевым и Каймоновым. Как они вскочат, забросайте гранатами ракетчика, давите огонь. Понял?!

Отползая от группы прикрытия вкось, мы попали в глубокую борозду. Затаив дыхание, оглянулись. Левее нас чернели фигуры Королева с Каймоновым. Не зная, поравнялись ли с притихшим ракетчиком, мы ползли, удаляясь от своих вправо. И вдруг вспомнился первый выход за «языком»: «Немцы Гришу схватили!» Колючие мурашки ожгли спину. Оборачиваюсь к Московских, тихо-тихо говорю ему в лицо:

— Может, немцы видят нас? Подпустят ближе и схватят!

Он ошеломленно завертел головой. Но кругом была ровная темнота, только далеко, левее, тарахтел немецкий пулемет, летели морзянкой трассирующие пули.

Взмыла ракета, повисла над нами и, горя в воздухе, осыпала нас искрами. Траншея противника — рукой подать. Блеск над бруствером. «Каска, — понял я, — ракетчик». Тень от каски заслоняла его глаза, остальная часть обращенного к нам лица хорошо виделась. Ракетчик оглядывал нейтральную полосу. Сердце мое колотилось так, что я подумал: «Не услышал бы, гад!» На лице немца что-то засверкало, послышался вздох, он позевывал. И меня вдруг охватила позевотина, с треском в скулах открылся рот... Потухла ракета, и я, находясь еще в состоянии зевоты, облегченно потянулся.

— Наших не видно! — взволнованно прошептал Кешка. — Может, нам... схватить ракетчика, — между словами он переводил дух, сдержанно забирал воздух в себя и словно захлебывался. — Поди, не сумеем... дело испортим!

«Перед броском на голову врага — побороть страх!» — вспомнил я наставления Полякова. Ракета снова взмыла и повисла левее. Из траншеи высунулась голова в каске, повернулась над бруствером и утонула.

Слышался какой-то шорох, но где — не понять. Лежим, глядя в сторону, где должны быть Королев и Каймонов. В бурьяне вырисовалась человеческая фигура. К нам подполз Дмитрий Распутин, задыхаясь, скомандовал:

— За мной! — и пополз в сторону нашей передовой. Хотелось спросить, почему вдруг назад, сказать о ракетчике, и я цапнул его за ногу. Он дрыгнул ногой, не оглянувшись, и лишь когда бурьян стал гуще, чем под носом противника, приостановился, мы с Кешкой легли с рядом ним.

— Вот как надо брать «языка» — без звука!

Догнали взвод, волочивший за собой здоровенного «языка». Враг далеко позади. По команде Полякова поднялись, Гарипов схватил немца под руку и, что-то говоря ему по-татарски, стал толкать его впереди себя...

И вдруг перед нами засверкал огонек, вместе с ним полетела струя горящих пуль, от чего шархнулись и тут же свалились Гарипов и «язык», мне прожгло ногу:

— Свои-и! — вскрикнул я и от боли упал.
— Свои! Свои! — отчаянно кричали разведчики.
Пулемет заглох. Ко мне подскочил Георгий Дорофеев:
— Ты ранен?! — и тут же давай разрезать кинжалом штанину.
— Га-ад! Су-у-ка! — с руганью били пулеметчика наши ребята.
На шум прибежали пехотинцы, давай разбираться...
— Вздремнул я, — признался испуганный пехотинец. — Очнулся от взрыва мины. Глянул вперед — «немцы»! Екнуло сердце, и я стрельнул.
Он не знал, что мы из их траншеи пошли в разведку. Его напарник при смене не предупредил. Обоим пришлось вести под винтовкой в особый отдел.
...С новым командиром дивизии полковником Иваном Матвеевичем Макаровым дивизия показала свою боеспособность — с первой же попытки прорвала неприступную оборону противника! Освободила села Шахово, Нижне-Павлово, Верхне-Павлово и вышла на Варшавское шоссе.
Федор Ефимович Королев принял под свое командование роту.

Второго сентября 1942 года наша разведрота прибыла в район Кузьмичи — опытное поле Сталинградской области.

Над нами — жгучее солнце и закопченное с одной стороны дымом голубое небо. Вонючий воздух с хлопьями гари. В нем, как саранча, носились и кружились самолеты противника. Местность степная, изрезанная балками. В степи — скудная трава: горькая полынь, полевой хвощ, похожий на елочку, и перекасти-поле.

— Обстановка под Сталинградом тяжелая, — говорил Королев. — Двадцать третьего августа немцы прорвались восьмикиллометровым коридором к Волге. Находятся в пригородных поселках Латошинка и Рынок. Сплошной линии фронта пока еще нет. До прихода дивизии установить, где находится передний край, взять «языка».

Но тут наши танки двинули из низины балки наверх, рев моторов заглушил голос Королева. Он подошел к Полякову, что-то прокричал ему, шагнул назад, с маху развел в стороны руки, и строй, поняв его команду, рассыпался.

— Двести сорок километров протопали и никакой передышки! После такого марша ему «языка» давай, — злились мы на командира. Сил нет, ноги потерты до кровавых мозолей... У лейтенанта Полякова — плоскостопие, ноги распухли до колен. Идти в разведку он не мог, а нам было страшно идти без него. Боясь за нас, он наказывал:

— Не осрамитесь! Не попадите в лапы немцам! Знайте, они с разведчика шкуру сдерут! Разведчиков они допрашивают не так, как пехотинцев! Поняли?! Разведчик везде ходит, все видит, знает больше, чем любой солдат. Из разведчика жилы вытянут! Для разведчика плен страшнее смерти!

В воздухе появился рамообразный двухмоторный самолет «фокке-вульф». Горя в лучах закатного солнца, встал ребром едва не над самой балкой и пошел в сторону передовой.

Бывший ефрейтор, а теперь сержант помкомвзвода Саша Сидоров вскочил, подал команду:

— В две шеренги — становись!

Поляков досадливо сморщился:

— Забудь, забудь строй! Реденькой цепью, один за другим идите!

— За мной! — махнул рукой Сидоров и хлестко пошел к южному склону балки, потянулись за ним и мы.

— Удачи вам! Глаз не сомкну, буду ждать! — кричал нам вслед Поляков.

Со стороны Гумрака летела туча бомбардировщиков противника, а наши танки, как вкопанные, стояли на месте, и мы бросились к ним, заглядывая в смотровые щели:

— Чо стоите?! Воздух! Разбомбят!

— Приказ ждем! — ответил мне водитель танка. Подскакиваю к другому — у него верхний люк открыт, с ходу оказываюсь на танке. Слышу тревожный голос:

— Он что, на смерть нас выгнал в степь?!

Самолеты приближались, и я сунул голову в люк, чтобы крикнуть: «Рассредотачивайтесь!» Но тут мне прилетел кулак в лоб, и я, едва не сорвавшись с танка, рванул за разведчиками, бегущими к полынному полю.

На пикирующем самолете душераздирающе завывла сирена, посыпались бомбы, раздались взрывы...

Танкисты видели свою предстоящую смерть, она висела над головой каждого из них: самолеты, один за другим снижаясь, сыпали бомбы, как картошку, а они, конечно же, надеясь на то, что вот-вот получат по рации приказ — вперед или назад, не покидали танки, горели в них заживо.

Мы такого еще не видели и оцепенели, глядя на эту жуткую картину. Ойкали, когда дегтярные купола взлетали в небо. Последний самолет, трепыхнувшись, пошел вниз, сыпанул бомбы.

Дым, расстилаясь по земле, заволакивал нас в густой полыни, обдавая запахом горелого железа и солярки.

Выскочил ли кто из танкистов во время налета, мы не видели. Но если кто и выскочил, то смог ли выйти из такого смертоносного шквала? «Может, кому-то не суждено умереть», — думал я тогда, глядя на пылающие и уцелевшие танки, но людей не видел. Одни черные воронки и бледные языки огня, лизавшие степную траву.

За 15-20 минут больше половины танкового полка было уничтожено. И снова со стороны Гумрака шла другая партия бомбардировщиков. Уцелевшие танкисты не двигались с места — приказа не было. И тоже горели...

Навстречу нам брели пехотинцы, все перебинтованные, в порванных брюках и гимнастерках.

— Впереди есть кто? — спросил Сидоров.

Сержант обернулся назад, махнул рукой:

— Так, прямо идите, наткнетесь на ровики, увидите живых и мертвых.

В конце полынного поля совсем неглубокие, в шахматном порядке ровики вперемежку с глубокими воронками. В одних ровиках лежали убитые, в других по грудь сидели выжившие — лица у всех изнуренные, чумазые.

Я остановился перед рыжеголовым ефрейтором, козырнул ему. Тот устало приподнял с колена руку:

— Только вас тут не хватало...

— Как понять? — опешил я.

— А так! Накликаете беду на пехоту и восвояси смоеетесь. Служил в разведке, знаю. Немец не овечка, без звука не возьмешь... — И, глядя на меня, одетого в яркий цветастый маскхалат, добавил раздраженно: — По одежде видно, какой ты разведчик! Что, впервой идешь за «языком»?

Я не ответил.

— Шли б дальше. Нам на сегодня хватит крови, зарыть ребят надо... — устало произнес рыжий.

— Давно тут, какой части? — поинтересовался я.

Ефрейтор резко обернулся:

— Ишь чего захотел, салажонок?! Вдруг ты немцам в лапы попадешь?

— Типун тебе на язык!

— Тебе два! — и он отвернулся от меня.

...Сидоров, вглядываясь в погустевшую от наступавшего вечера полынь, говорил Каймонову:

— Ты с ребятами осмотри левый фланг — есть кто там живой или нет? Мы пройдем вправо.

Втроем ползем строго на юго-запад. Выбрались из полыни в степь. Отблески пожарищ в Сталинграде ослепляли нас. Огляделись вокруг — пусто. Сидоров прилег ухом к земле, прислушался, постучал пальцем в землю, тем самым приказывая нам слушать. Я припал щекой — трава сухая, колючая, земля теплая. Слышны дробные, как на молотье хлеба, удары. Кто-то окапывается. Удары слабые и сильные. Почва сбитая, лопатой не выроешь, где-то долбили ломами или киркой. По отдаче глухих, неровных ударов не понять — позади или впереди.

Ползем дальше. Никого и ничего на пути, кроме неподвижных клубов травы перекасти-поле. Приткнулись к ней головой, прислушиваемся к гулу самолетов. Гул тяжелый. «Нагрузились, гады! Дороги бомбить летят», — подумал я.

Сидоров на полкорпуса впереди нас с Вампиловым. И тут, словно из-под земли, мелькнул и погас огонек. «Немец прикуривает!» — догадался я.

Двинулись на тусклый, то потухающий, то воспламеняющийся в воздухе отсвет. «Быстрее, быстрее, успеть, пока курят», — мысленно подгоняю себя и друзей. Перед глазами чернеет земля, выброшенная из ровика. Сидоров взмахивает рукой, мы одновременно вскакиваем и с ходу прыгаем в траншею.

— А-ай! — вскрикнул сидящий на дне траншеи немец. Сидоров наганом ткнул его по голове, он обмяк. Мешая друг другу, хватаем немца. Ровик для четверых тесен, выбросить «языка» на бровку не можем. Выбираюсь наверх, хватаю его за одежду, тяну, ребята поднимают. Вдруг фриц локтями сделал распорины. «Очнулся! Бей!» — хотел я сказать Сидорову, но немец с маху сел на дно, оставив в моих руках воротник мундира.

— Ру-ус! — вскрикнул он, вскочил, и от него в разные стороны полетели разведчики. Я схватил его за шею и повис на ней, не доставая ногами дна ровика, а согнуть не смог. Немец болтнулся корпусом, руки мои сорвались с его потной шеи, и я боком врезался в торец ровика. Оказавшись на бровке, наш несостоявшийся «язык» заорал:

— Рус, рус!..

Я выскочил вслед за Сидоровым.

— Рус, рус, рус! — где-то уже далеко кричал здоровяк. Стрелять ему было не из чего, автомат остался в ровике. Бежим к полыни, вдруг окрик:

— Стой! Стрелять буду!

По голосу узнаем командира второго отделения Гладких, отзываемся... Точно говорил пехотинец, накликали мы беду. Немцы из пулеметов буквально косили трассирующими пулями полынь, и мы заползли в воронку, в которой можно было встать взводом.

Осторожно, чтобы не зацепила пуля, высовывались из воронки и по взлетающим ракетам, по вспышкам пулеметно-автоматного огня видели переднюю линию немцев на гребне возвышенности. По густоте вспышек мы поняли, что у неприятеля подошла и только окапывалась пехота, потому и не стреляла, пока мы неудачными действиями не вызвали огонь на себя.

Свист пуль постепенно стихал, а позади нарастал какой-то непонятный шум. Высовываясь из воронки повыше и глядя в черноту бурьяна, улавливаю режущий уши мат и шелканье бича. Ездовой хлещет лошадь. Послышался хруст бурьяна, и в

сером воздухе замаячили две конские морды. «Фью-ить, фью-ить!» — посвистывал верховой на лошадей. Они двигались прямо на нас, волоча за собой 45-миллиметровую пушку.

Я вылез из воронки.

— Кто?! — испуганно вскрикнул верховой.

— Тише, козел!

Меня обступили пушкари:

— Мы правильно попали? Какая тут дивизия стоит?

— У злого ефрейтора спросите!

— Гвардейцы, а какой дивизии, не знаем, — выходя из воронки, сообщил Сидоров.

...Возвращаться в роту стыдно. Сидоров сильно хромал, я кособочился, у Вампилова заплыл глаз, он клокочущим голосом бедовал:

— Как буду смотреть в глаза командира?

— Хорошо, что фриц тебе второе очко не вышиб, — «посочувствовал» Гладких.

— Вот леший так леший попал! Не леший, а черт болотный. Надавал по мордам, и дуи не стой, а то догонят.

— Кому догонять-то! Один слепой, другой, как параличный, кособочится, третий вроде блохи прыгает.

— Хватит! — рывкнул Сидоров, и его голос понесся в голую степь. — Тут смех, там допрос учинят — почему из рук немца упустили?

Так и случилось. Поляков вроде и не уходил с того места, откуда провожал нас в разведку:

— «Прогулялись»?!

Подошел Королев:

— Что, пустой выстрел?

— Упустили, товарищ командир, — пробурчал Сидоров.

— Как, кого?!

— Немца! Не смогли совладать, — у Сидорова затряслись губы, лицо исказилось в какую-то нелепую гримасу. — Наподдавал нам и убежал. Сил нет! — скрестил руки на груди. — Выбились мы из сил за дорогу! Ноги не тащат, руки ослабли! Он, как назло, вот такой попался, — развел руки. — Широченный, большой! Боров раскормленный, а мы что? — Сидоров прослезился.

Передний край немцев установили. Их тут тьма-тьмушая. Пулемет на пулемете и автоматы. Как начали бить по нас, так весь хребет возвышенности засветился. А из пушек не стреляли, видно, как и у нас, только подтягиваются. Только днем дальнобойная била недолго... Наша 116-я дивизия влилась в состав 1-й гвардейской армии в районе балок Каменная и Яблоневая.

Утром 3 сентября пошли мы с гвардейскими частями в наступление с задачей ликвидировать тот коридор, где немцы прорвались к Волге.

Желтая от пересохшей травы, с черными плешинами гари степь усыпалась пехотой...

Королев говорил: «Малыми группами будем действовать, чередоваться, у вас будут передышки». Но не получилось. Командир дивизии полковник Макаров потребовал от него взвод разведчиков и теперь держал нас при командном пункте как

свой личный резерв. И мы, высунувшись из траншеи, видели, как на нашу пехоту, идущую к Волге, обрушился шквал огня. Пехотинцы в одно мгновение утонули в искристо-дымных фонтанах взрывов. В небе хозяйничали вражеские самолеты.

К нам в траншею прыгнул молоденький лейтенант — адъютант комдива Мишка:

— Вы демаскируете КП! Ложись!

И мы растянулись в нить по дну траншеи. Блиндаж, где находился Макаров с офицерами, выглядел как пуп на ровном месте, выдавал сам себя и, видимо, навлек внимание воздушного разведчика «фокке-вульфа», прозванного «рамой». Самолет сделал несколько витков над нашим районом, удалился вглубь тыла, а через некоторое время вереница одномоторных самолетов двинулась на пехоту. Завизжали бомбы, загрохотали взрывы, заколотилась земля под ногами, словно сердце под гимнастеркой. Распахнулась дверь блиндажа, из него вырвался голос комдива:

— Положили, гады! Положили пехоту!

И только прекратилась бомбежка, Макаров закричал:

— Поднимай солдат! Поднимай!

Мне хотелось видеть, где на КП наш командир взвода Поляков. Я подобрался к двери, сел на кукурки.

— Ты что, твою душу мать! — материл кого-то Макаров. — Я тебе окопаюсь! Поднимай!

Прилегаю щекой на колени, вижу спины людей, стоящих перед длинно-узким смотровым отверстием КП. В глаза бросается бритая голова Макарова с телефонной трубкой у уха.

— У тебя что, там много осталось на земле лежать?! — орал он кому-то. — Убитые?! Может, кто притворился? Отправь проверить! Раненых вынести! — Макаров смотрел в стереотрубу, наблюдая за полем битвы, и одновременно громко говорил по телефону: — Ты, стрелок! Твои гаубицы ни одной батареи не уничтожили! Не видно. А пулеметы?! Вон они! — комдив сунул руку в смотровую щель. — Как черти рычаг... Подавить!

Глазами отыскиваю Полякова: с биноклем в руках он от дверей стоит первым. «Слабое место ищет в обороне у немцев, — догадался я. — Найдет — ночью за «языком» пойдем».

— Пошли! Пошли! — говорил командир дивизии, глядя в смотровое отверстие. — Выравниваются с гвардейцами...

А когда Макаров закричал: «Еще, еще немного, еще, и высота в наших руках!» — я хотел вскочить, чтобы взглянуть, но Макаров вышел из блиндажа, и я закрыл глаза, притворившись спящим.

К исходу дня на командном пункте заговорили веселее.

— Черт! — ругался Макаров, — если бы не спалили танковый полк, то соединились бы с армией Чуйкова.

Части 1-й гвардейской армии, куда входила и наша дивизия, продвинулись в сторону Волги на два-три километра, овладев высотами 112,7 и 130,7.

— На самом хребте высоты, говоришь, залегли? — спрашивал кого-то Макаров по телефону. — Дым, пыль, ни черта не вижу! Пусть солдат вынырнет из окопа, я на карте отмечу стык дивизии с гвардейцами... Ну и что?! Убьют! Высоту брал — не жалел солдат! Поднять-ть!..

Я вскочил, уставился в сторону Волги, где дымное небо словно сливалось с землей. Там ни единой души и ни взрыва! Немцы и наши за день навоевались, теперь лежали. И вдруг там замаячила фигура человека.

— Молодец, солдат! — похвалил Макаров.

Солдат выполнил приказ командира — свой последний солдатский долг — вражеский снайпер срезал его.

— За смелость наградить посмертно!

Внутри КП стояла тишина, Макаров бурчал:

— Командир, что жалеет солдат, — слюняй! А вы что поостолбенели?! — набросился он на офицеров.

Ответа не последовало, и до него, видимо, дошло, что «молодец солдат» прошел через смертоносный огонь, взял высоту, а он выставил его под пулю врага. Макаров вышел в траншею, а тут мы, солдаты.

— Ф-фу! — громко выдохнул он. — Духота! — торопливо вынул из кармана носовой платок и давай протирать свою наголо бритую голову, одновременно разворачиваясь. И снова нырнул в блиндаж командного пункта...

— Он что, пьяный? — глядя на меня, возмущался Крамынин. — Не сообразил, что стык дивизии с гвардейцами можно было бы ракетой указать.

...На другой день, рано утром, мы проснулись от грохота. Немцы из-за высоту били нам в лоб. Вся степь взялась черными столбами взрывов. Еще толком не рассвело, а самолеты противника уже тут как тут.

По 50-70 пиратов сразу бомбили войска нашей дивизии и гвардейские части. Одна партия, разгрузившись от бомб, ревя сиренами, уходила на свой аэродром. За ней наплывала другая. А на земле — натиск танков, за ними — пехота, атаки, контратаки... И так — с раннего утра до позднего вечера.

Воздух гудел, вибрировал, земля припадочно билась под ногами. Немцы, видимо, получили подкрепление, раз два дня контратаковали нас. И наша пехота кое-где отошла на прежние рубежи.

Командир взвода с почерневшим от гари и пыли лицом, присев к нам, говорил:

— Воздушной разведкой установлено — немцы против нас сосредоточили крупные силы. На передней линии вкопали в землю танки. Приказ комдива Макарова: взять «языка».

...Под прикрытием расстилавшегося по земле дыма и пыли мы дошли до передней линии своих пехотинцев, разместились по два человека в свободные ровики. На высоте, оставленной матушкой-пехотой, строчили уже вражеские пулеметы, осыпая трассирующими пулями нейтральную полосу. С нашей стороны огрызались ручные и станковые пулеметы, но их было куда меньше. Пожалуй, один против пяти.

Поляков то наблюдал за передним краем немцев, то ходил от ровика к ровику, спрашивая пехотинцев — не заметил ли кто из них слабые места в обороне противника. Ответ был один: «Нет у них слабых мест».

...Слегка пригибаясь, торопливо идем по нейтральной полосе. В воздухе нагустый гул самолетов вперемешку с легким тархтением «кукурузников». Со стороны Сталинграда взмыли к звездам лучи прожекторов противника, и в посветлевшем небе замаячили, как воронья стая, двукрылые — выше них чернели наши бомбардировщики.

Командир взвода, лежа чуть впереди нас с Леней Крамыниным, осторожно перевалился с живота на бок, зашептал:

— Похоже, что снайпер и гранатометчик находятся в одном гнезде. — Взглянул на догоравшие на парашютах ракеты: — Сейчас погаснут! За мной! — и он пополз, Крамынин — за ним. Ползем один за другим. «Кукурузник» снова тархтит в воздухе, навешивает ракеты. У него своя работа, у нас своя. Резкий свет освещает трупы, между ними мы, а впереди — ни Крамынина, ни Полякова. «В землю про-

валились!..» — екнуло сердце. Рядом труп с оскаленными зубами, меня охватывает жуть, ошеломленно оглядываюсь — у ног моих голова Мити Распутина, он смотрит на меня. Торопливо ползу, напарываюсь животом на что-то острое, мычу от боли и сваливаюсь в яму. В ней сидят Поляков и Крамынин.

— Что, как бык, мычишь?! — зло спросил командир.

— На осколок напоролся!

— Ну и что?! Терпеть надо! А ты?! — повернулся к Крамынину. — Ползать не умеешь, пяткой о пятку стучишь. Проследить, изучить поведение гранатометчика, завтра ночью вам брать его. Днем поймать на мушку снайпера, убить! Оставайтесь. Не усните, немцы под носом. Мы с левого фланга попробуем. Трогайте! — подал команду остальным разведчикам.

Те один за другим выползли из земляной выемки. Мы с Крамыниным пошли к западному торцу выемки — она оказалась длинной. На пути попадались трупы в мундирах. Глаза у них блестят, как стеклышки. Может, документы при них? Наклоняюсь, ощущаю карман мундира. Есть! По солдатской книжке узнаем, какая часть стоит против нас. С поясного ремня срываю фонарик, включаю. Свет ударил в землю. «Утром при атаке кокнули. Мать не знает, что тебе капут». Сгибаюсь еще над одним трупом, на нем русская шинель. «Иван! Как ты попал с ними в эту свалку? В рукопашной драке убили! Ну-ка, кто ты, откуда? Может, земляк?» — в его карманах оказалась только маленькая деревянная иконка.

Подходим к западному торцу выемки — она в глубину по нашему росту. Смотрю вверх земли: тут навалом немецких трупов. Летящие вроссыпь трассирующие пули шлепаются о их каски. Взглядом прокладываю путь дальше, навстречу рою трассирующих пуль, вижу играющий огонек пулемета.

— Немцы от нас — рукой подать, — говорю Крамынину. — Гранатометчик и снайпер не дают о себе знать.

Крамынин повернулся ко мне лицом и по-собачьи, коротким посапыванием, приносиваясь, зашептал:

— Чуешь, откуда-то нанесло запах супа?

— Может, наши едят? Сползай к ним?

— Да, наши! Аромат чая вдохнулся. Немцы кофе пьют. Давай, только осторожнее.

И я, как ящерка, быстро ползу, мыча от боли от укулов осколков. От бомб они крупные, то и дело попадают то под колено, то под локоть. Хорошо, что хоть не такие колючие, как от мин.

По времени должны уже быть ровики нашей пехоты. Вглядываюсь в темноту, прислушиваюсь — ничего не улавливаю. Ползу дальше. Послышался храп...

— Эй, пехота, — подаю голос, — я свой!

— Кто там? — отозвались.

— Разведчик я! Жрать хочу! Покормите!

На дне траншеи едва угадывались шевелящиеся фигуры солдат, караульный — с винтовкой и котелком в руках.

— Мы тут снайпера... — начал я.

— Убил?! — не дал договорить он. — На котелок! Суп в нише, наливай. Ешь.

— Ты не понял! — говорю. — Снайпера мы должны завтра утром кокнуть.

— Трепач! Давай котелок! — передумал караульный, пехотинцы засмеялись.

— Перестань, дурила! — сказал чей-то сиплый голос. — Макарыч, оставайся, мы пойдем.

Тот, который давал мне котелок, первым выбрался из траншеи. За ним выскочили несколько человек. Я сел на дно. Солдат, которому велено было остаться, звякая кресалом по камню, освещал искрами свое щетинистое лицо.

— Разведчик, говоришь? — заговорил он. — За снайпером охотитесь?

— Ага, — ответил я. — За него могут и награду дать.

— Награду... — вздохнул солдат. — Думал ли кто из наших ребят о наградах?

Троих снайпер уложил. Наш взводный весь изранен, а на груди ни одной медалишки. У меня есть, под Москвой наградили. А наградили потому, что я один из взвода уцелел. Вот и носит Макарыч медалишку. Возьми ее! Припрячь. Кончится война — ежели своей не будет, мою надень. Я смертышку свою чую. Возьми!

— Не надо, батя, не надо! Хлеба дай, воды фляжку налей, там у меня друг.

...Наступило утро. Заискрились, завспыхивали на солнце осколки. Начинался новый день. Нарастала оружейно-артиллерийская перестрелка. В воздухе визжало, шуршало, грохотало. Взлетали черно-желтые столбы взрывов.

Мы с Крамыниным, утопая в земляной выемке, выглядывали из нее, напрягая слух, думали, что выстрел оптической винтовки снайпера все равно в какой-то момент прорежется из общего гула и шума. Только бы уловить ту точку, где он находится, и, не спуская глаз, следить... Поймать на мушку и убить!

По артиллерийско-минометному огню с двух сторон не понять, кто готовится к наступлению. Сидим под носом у немцев. В атаку они ходят валом и быстро. Не успеешь убежать — схватят.

— Наши! — вскрикнул Крамынин. — В атаку пошли, нас бы за немцев не сочли! Беги в конец выемки, крикни, что свои.

В бурлящем дыму и пыли едва виделись бойцы нашей пехоты. Выбрасываюсь из выемки, потрясая автоматом над головой:

— Я — свой! Свой!

Жью-юх! — взрезался снаряд в землю, и я оборвался с кромки, ударился о дно выемки, но снова — наверх.

— Свой я! — автоматной очередью палю вверх, давая знать, что свой. Слева и справа рвались снаряды, воздушной волной меня хлестануло. Опять полетел, растелился в выемке — зашиб лопатки. Превозмогая боль, поднимаюсь. Но тут чьи-то руки хватанули меня, вцепились в глотку. Искаженный рот зашипел мне в лицо:

— Сво-олочь!

— Раз-разведчик, — едва прохрипел я, срывая жесткую руку пехотинца с шеи. — За снайпером охотимся!

— Врешь?!

— Да-а отпусти ты! — изловчившись, я выскользнул из «плена». — Очумел! Пехота!

Но лейтенант уже не глядел на меня, он смотрел вверх выемки, где залегли его люди, и тут же, торопливо расстегнув гимнастерку, сорвал ее вместе с нательной рубахой:

— Ты полоснул?!

— Я не пехота по своим бить!

— А чего строчил?!

— Я вверх палил!

Он подставил мне окровавленный бок:

— Перевяжи быстро!

У меня был медпластырь, и я залепил ему небольшую ранку. Лейтенант, надевая на ходу гимнастерку, выскочил из выемки.

— Вста-ать! — кричал он бойцам. — Ста-ать! За мной! — бросился вперед.

Пехота не поднималась. Да и нельзя было поднять головы, кругом рвались снаряды. Атака наших захлебнулась. Солдаты под огнем окапывались, а немцы пошли в контратаку.

— Валом идут! — переживал Крамынин. — Схватят, бежим к пехоте! — И мы ринулись туда, где я только что видел лейтенанта.

— Куда-а! Ложись! — орал тот на нас из воронки. Едва не через его голову прыгаем к нему. — У страха глаза большие, солдат спаникуете! Огонь!

Из рычания пулеметов Дегтярева и дробного бухания винтовок отчетливо выделялась стрельба «максимов», четко выговаривающих: та-та-та-та. Со стороны нашего тыла нарастал, ширился гул самолетов, сливаясь в единое море звуков с визгом, грохотом и пулеметной стрельбой. В чугунном небе носились наши истребители; близко к земле развернутым фронтом шли «Илы», по наседающему на нас неприятелю били «катюши». Несущаяся за «Илами» воздушная волна будто вырвала лейтенанта из воронки.

— За мной! Ура-а! — он бросился вперед, за ним побежали солдаты.

Мы с Крамыниным метнулись к земляной выемке, нырнули в нее, а на дне горит земля — попала термитная мина «катюши».

Несемся за нашей пехотой, преследующей убежавших немцев. Перепрыгиваю через убитых, попадаютя пока свои, но вот-вот будут немецкие, надо хоть документы взять. Впереди на земле зазеленела вражеская одежда. Может, раненый? Падаю перед немцем! Убит! Второпях не могу расстегнуть пуговку кармана, срываю накладку «с мясом», забираю солдатскую книжку, вскакиваю, а передо мной Леня Крамынин с фрицем на спине. «Язык», — обрадовался я, схватил его за ноги — почувствовал на ладонях кровь. Находясь в шоковом состоянии от ранения в ногу, немец не понял, кто его подхватил и понес, и без движений лежал на горбушке Крамынина.

Бежим под гул самолетов, визг бомб, взрывы снарядов. У земляной выемки вижу убитого со щетинистым лицом. «Макарыч!» — узнал я того самого, что ночью отдавал медаль. У него широко открыт рот: кричал «ура!» — так и застыл.

Навстречу нам Гриша Доброхотов:

— Я на помощь! По маскхалатам вас увидал! Наваливайте его на меня! — Доброхотов подставил под «языка» свою широкую спину. Услышав русский говор, немец тревожно завозился на Грише, пытаясь вырвать у него свои руки, у меня — здоровую ногу.

— Не бойся, не бойся! — задыхаясь, успокаивал я его. — Капут никс. Никс капут.

У траншеи, где я давеча суп хлебал, встретил нас адъютант полковника Макарова лейтенант Мишка:

— С добычей вас! Быстро его на КП комдива! Там и помощник начальника разведки Баранов. Быстро, пока фрица не пришибло!

— А нас можно? — обиделся Крамынин.

— Да, вас, меня — можно! «Языка» — нет! Он сейчас нужнее, чем мы!

Под шквалом огня волочем на себе фрица. От близких взрывов падаем, он орет от боли, Мишка торопит:

— Быстрей, быстрей, пока все в дыму! Еще, еще немножко, — кособочась впереди нас, манит рукой к себе и прыгает в траншею КП. Валось на бруствер, и тут из траншеи сразу несколько рук хватают немца. Мы с Леней бухаемся на дно окопа.

— О-о, какого носастого взяли! — удивился лейтенант Баранов. — Если у него и язык, как нос, длинный, награду вам!

— Что?! — не поддержал его комдив Макаров. — Награду? «Язык» — хлеб разведчика! — и он заспешил вдоль глубокой траншеи ко входу в блиндаж, где располагался командный пункт. Баранов последовал за ним.

На допросе «язык» показал, что часть, в которой он служил, базировалась в районе Гумрака и ее оттуда перебросили на этот участок, где он и оказался в руках русских.

После допроса комдив приказал нам, чтобы мы доставили немца в расположение разведроты, накормили и отвезли в медсанбат.

Мы несли «языка» по обгорелой степи, он орал:

— Капут, капут! — думал, что его несут расстреливать.

— Найн капут! Никс капут! Госпиталь, госпиталь! — успокаивали мы его. Фриц не верил, мотал головой. И нам с Леней стало понятно, почему он так тревожился, ведь немцы после допроса русских пленных убивают. Может, видел или приходилось самому расстреливать, потому и боялся... И успокоился только тогда, когда мы принесли его в расположение роты, накормили.

— Рус комрад, гут, рус гут, — казалось, что он совсем не забирал в себя воздух, бормотал и бормотал... А попади мы с Леней в том бою в руки ему, каково бы нам было?

... Бои, что ни день, усиливались. На нашем участке фронта появились еще две армии: 24-я и 66-я. Но никак не могли прорвать переднюю линию противника.

Мы, что ни ночь, в разведке. Куда ни глянь, голая, ровная степь: ни кустика, ни одного скрытого подхода. Все это осложняло нашу работу. В лобовых действиях мы теряли людей, возвращаясь в роту без «языка». Королев злился, отчитывал нас:

— Вы что, хуже других разведчиков? Соседняя дивизия берет «языков», а вы — нет.

Командир роты по-отечески заботился о нас. Трофейный брезент, что достался роте при освобождении сел на Смоленщине, обменял на зерно, где-то размолот его на ветряной мельнице. За две железные бочки привез из Большеивановского колхоза двух козлов и арбузы. Едим три раза в день: то суп с лапшой, то полтавские галушки. А тут еще на просьбу Королева «усилить разведчикам паек» откликнулся командир дивизии Макаров: нас перевели на курсантскую норму потребления крупы и сахара.

Под Сталинградом наша рота воюет пятнадцать дней. Многие погибли, и к нам прибыло пополнение. Командир отделения Каймонов вел за собой двух новичков. Один весело улыбался налево и направо глазевшим на него разведчикам, будто давно знаком с ними, и покрикивал:

— Привет, «кирюхи», привет!..

Второй следовал мелким шагом, опустив голову. Подойдя к нам, первый еще сильнее расплылся в улыбке, козырнул:

— Привет, «кирюхи»! Борисом звать, фамилия Леготин. Кореш мой — Коваленко! Надо рассупониться, — он быстро снял поясной ремень.

Коваленко медленно, не поднимая головы, снимал заплечный мешок.

— Друг-то твой чо не здороваешься?! — спросил Леготина Крамынин.

— Жрать хочет! Натощак весь день шли. Утром похамали и все! Как звать вашего кашевара? Ничего, справный. Видно, добрый «шнырь». От своего пайка брюхо не наешь. — Он повернулся к Каймонову: — Ты, значит, мой «бугор»?

— Не «бугор», а командир отделения! — отозвался Каймонов.

— Мы так бригадира там звали, — махнул рукой Леготин. — Ничего, привыкну, командиром буду звать. В случае, если по ошибке назову «бугром», не сердись.

Леня Крамынин, склонившись над автоматом, исподлобья бросил взгляд на новичка:

— Сколько сидел? Где сидел?

— Два дня в колхозном амбаре!

Мы расхохотались. Крамынин, посмотрев на нас, кивнул головой на топтавшегося перед ним Бориса:

— Видали, какой болтун пришел?!

— Почему болтун? Ты знаешь, как в амбаре страшно?! Там крысы! Я их боялся, день и ночь орал.

— Крыс боялся? А как за «языком» пойдешь?

— Немец не крыса, чтоб его бояться! — и тут нашелся Леготин.

— Ну, паря, и трепач ты, — сказал Каймонов. — Пошли за оружием!

Леготин повернулся к Коваленко:

— Кореш, потопали!

Тот нехотя поднялся и потянулся за Леготиным, который, вертя головой, оглядывал разведчиков, бродивших по балке. Получив автомат и держа его перед собой, он вдруг запнулся и упал.

— Чего под ноги не смотришь? — строго предупредил Крамынин.

— Когда смотреть! Впервой держу эту машинку. Как пулять из него? — Он пощелкал пальцем по диску: — Что в «посудине», патроны?

Не проронив ни слова, с винтовкой за плечами подошел к нам Коваленко. Сел на прежнее место, глазами уперся в землю. Леготин сунул заскорузлые пальцы в рот и свистнул... Тот, вздрогнув от неожиданности, поднял голову.

— Вот так! Смотри, что близко лежит, — вынул из-за голенища сапога ложку. — У повара увел.

Коваленко бросил презрительный взгляд на Леготина, отвернулся от всех нас, кучно сидящих на земле.

— Ну и друзья пришли! — возмутился Леня Крамынин. — Один шалопай, другого не понять, что за человек. Как мышь, надулся на крупу!

Коваленко злобно посмотрел на Леню и опять отвернулся. Поведение его и так нервировало нас, а этот взгляд поднял всех на ноги, и мы окружили его:

— Ты кто такой?! Чо так смотришь? А ну, пошли к комиссару!

— Не надо, «кирюхи», — заступился Леготин за Коваленко. — У него отец-мать под немцами в Чернигове, живы или нет — не знает.

— Так пусть на Гитлера злится! — кричал Крамынин. — Как враг — с затаенной злобой пришел! — Свел черные брови, встал перед Борисом: — А ты, сопляк, когда успел охаметь?! Верни ложку повару!

Леготин нехотя поплелся в сторону дымящей кухни... Вернулся с неестественной усмешкой на пухлом лице, заговорил изменившимся голосом:

— В тюрьге я надзирателя не боялся, дурачил, а тут сдрейфил. — Приложил руку к груди: — Извините! Никогда боле чужого не уведу! Покажите, как автомат разбирать и собирать.

И мы всем отделением, кроме пришельца Коваленко, сдвинулись в плотный кружок, готовые хором рассказывать и показывать Леготину, как надо разбирать и собирать автомат ПППШ.

— Как в разведку ходите: по одному, по два, ротой? — спрашивал Борис, и мы рассказывали... Он внимательно слушал. Чувствовалось, как пытался уловить и уяснить каждое слово. И опять появлялась усмешка на его лице:

— Кто у вас в роте самый что ни на есть старший «бугор»?

Мы хохотали и объясняли, что у нас не «бугры», а командиры, комиссар, старшина...

— А ты кто? — глядя в красивое, с ясными черными глазами лицо Лени Крамынина, спросил Борис.

— Комсорг! — ответил тот.

— Я сразу понял, что ты не шухры-мухры, а рюх-рюх!

— Теперь ты без трепатни расскажи, за что сидел?

— Барана украл. Мясо съел, шкуру на веревку повесил сушить. Грех попутал! Составили акт, — он на автомате поводит пальцем, — мол, барана списать с подотчета пастуха, шкуру оприходовать. Визу наложил председатель колхоза, копию сунул мне. Иди, говорит, в районный центр и там отдашь милиционеру следователю Петрову. Я запротивился. А он: «Кто за тебя пойдет? Ты слопал барана, тебе и нести!» Куда денешься, пошел. Следователь прочитал акт и так... со вздохом: «Ох и дурак же ты! Надо бы и шкуру сожрать! И ищи-свищи, гадай, куда баран делся!»

Мы засмеялись. Борис продолжал:

— На краже барана я и приобрел ремесло разведчика! И меня народный суд направил через тюрьму на фронт «языков» брать.

— Нет! Все же не смог без трепатни рассказать! — заметил Крамынин.

На хохот подошел Прокопий Каймонов:

— Что, обнюхались?

Леготин вскочил, неумело приложил руку к пилотке:

— Так точно, гражданин начальник, обнюхались!

— Хватит дурачить! Хохмач! — не понравилось Каймонову, и он рукой отстранил его от себя. Повернулся к другому новичку: — Ты чего там притих?

Тот не ответил.

После ужина мы всем взводом писали письма. Я обычно писал коротенькое:

«Здравствуйте, дорогие мои мама, сестры Мотя, Шура и братишка Коля. Я жив и здоров. Иду в разведку. Крепко целую вас. С приветом ваш сын и брат». Обязательно указывал дату. Но когда вдруг представлялась передышка, то писал подробные письма с приветом многочисленной родне и знакомым.

Отцу я писал на фронт и в каждый трофейный конверт насыпал махорки на три закрутки. Однажды он сообщил мне: «Сына, получаю третье по счету письмо от тебя без табачка. Должно быть, ты сам начал курить. А может, кто другой табачком пользуется?»

После этого письма я стал закручивать длинную, тоненькую папироску и клал ее на дно конверта. Когда первая папироска дошла до отца, он писал: «Сын, как я обрадовался, когда увидел папироску, скрученную твоими пальцами. Слюна у тебя ишо сладкая, молокососная». Цигарку-то я специально натер сахаром, чтобы тятя слаще было курить. «Слышал ли ты? — писал он. — Черчилль к Сталину приезжал. Говорят, скоро «второй фронт» откроют. В общем, войне скоро конец. Мать пишет, что корова стельная ходит. Видно, я как раз приду домой к отелу, свеженького молочка попью. Ну а тебе год-другой годить придется».

Позднее, в 1943 году, я из госпиталя писал ему: «Не годишься ты, тятя, в политики! Наша корова уже два раза телилась и опять с колхозным быком огулялась, а «второй фронт» так и не открылся...»

До темноты строчили мы письма. Спать в ровиках надоело, и мы рядком легли на южном склоне балки. Проснулись от крика:

— Воздух! Воздух!

Солнце только всходило, а «рама», облетая фронт, уже разведывала.

— Сука! Как надзиратель высматривает... Поспать не дала! — выглядывая из ровика, ругался новичок Леготин.

— Кто подобьет ее — отпуск домой, — отозвался из другого ровика Каймонов.

«Рама», повиснув над нашим расположением, заколыхалась, разглядывая. Митька Вампилов начал палить по ней из винтовки, приговаривая:

— У-у, шорта болотна! У-у, змия ползуча!

Где-то зенитки «затявкали».

— Ох и денек наступает, — потягиваясь в щели, произнес Леня Крамынин. — Волнующий денек. Прием в комсомол. Вчера хотел объявить, да политрук возразил: «Не будоражь, говорит, на ночь. Пускай выспяется, в голове свежее будет».

«Волнующий день» начался, а у меня, как никогда, была нехорошая, сосущая боль в сердце.

— Политрук вызывает! — не глядя на меня, сообщил Крамынин. — Нашел себе приключение!

— Чо?! — не понял я.

— Дуй, он ждет!

В землянке, через стеклинку у потолка, ударил в глаза ослепительный луч солнца.

— По вашему вызову... явился! — смутно видя за столом политрука роты, представился я.

— Какой горластый! — сказал он, оглядывая меня. — Чего так оборвался?

— Ползаем много.

— Может, в страхе на колени падаешь, богу молишься, потому и изорвал колени?

У меня еще сильнее заколотилось сердце, я молчал.

— Ну-у... Думаю, что я в цель попал... Ты же в бога веришь! Как тебе не стыдно! Молодой парень, сибиряк, и в эту дощечку веришь! — и политрук из-под бумаг выдернул иконку, что я из кармана убитого вытащил. «Как она оказалась тут?!» — пронеслась мысль, рука машинально ощупала карман гимнастерки.

— Потерял! А я нашел. Какие предрассудки... Нет бога! Если бы был, давно бы его зенитчики сбили. Летчики притаранили бы его на землю, — он схватил со стола газету, развернул на груди. Тыча пальцем в зарисовку горящего «мессера», заорал: — Вот как дерутся! В воздухе лупят немцев, а ты на земле от страха крестишься!

— Да неверующий я! Вот те крест, неверующий, — и невольно, по привычке с детства, перекрестился.

— Вот и выдал себя! Не понимаю! Носить в кармане икону и подать заявление в комсомол... Не надо нам таких! Не надо! — он бросил иконку к моим ногам. — Возьми, носи, молись!..

Политрук еще что-то говорил, но я ничего не понимал. Перед глазами все расплывалось... В памяти возникла та злополучная ночь, земляная выемка, труп в русской шинели...

— Идите!

Я остолбенело стоял.

— Срам! Идите, мучайтесь дурью.

Я не выходил. Постепенно овладевая собой, заговорил:

— Крещусь я для потехи.

— И передо мной для потехи крестился?

И вдруг мелькнула мысль, как убедить его:

— Вот возьму и докажу, что неверующий!

— Как? — спросил политрук, привстав.

И я, взмахивая рукой, изругался в бога...

Политрук с маху сел на табурет.

— Теперь верите?! — отчаянно спросил я его.

Смеясь, тот толкал ладонями воздух:

— Все, все, верю. Иди, иди!

Это был день сплошных неожиданностей и неприятностей. Меня не приняли в комсомол. Лейтенант Поляков назначил новичка Бориса Леготина в захватывающую группу моим напарником. Я возразил:

— Не пойду с ним! Он ишо не обнюхался!

— Ничего. Посмотрим!

Ночь безветренная, темная. Со стороны Сталинграда отсвет неугасающего пожара слепил глаза.

— Я ничего не вижу, — шептал Борис, ползя за мной.

— Ничо, приглядишься, — успокаивал я.

— У-у-у! — напоровшись на осколок, болезненно замычал он. — Как вы ползаете?..

— Привыкли, и ты привыкнешь.

Впереди взмыла ракета. Припав щекой к земле, я посмотрел на Леготина. Он беззвучно хохотал.

— Ты чего это?

— Мне глянется, — трясся он от смеха, — как воровать лезем. Я так же вот за колхозным бараном крался. Ты воровал когда-нибудь?

— Было дело. Карманы шарил.

— Ну и как?

— Отец чуть уши не оторвал.

— Надо было оторвать. Глядишь, в комсомол бы приняли...

Сидоров и Доброхотов — первая пара. Мы ползли за ними. При свете ракеты видны брустверы ровиков. Расстояние до ближнего — на небольшой бросок. День тому назад они были нашими, теперь в них немцы.

Леготин, приблизившись вплотную ко мне, зашептал:

— А ежели я тоже в комсомол подам? Может, нас с тобой, как старых «шнырей», чохом примут?

Обернулся к нам Саша Сидоров, взмахнул рукой, и мы, почти одновременно с ним и Доброхотовым, бросились к ровику — из него вынырнула голова в каске.

— Ру-ус! — вскрикнул немец и, не целясь, выстрелил, а затем выскочил из ровика. Сидоров ударил его наганом, он упал. Доброхотов — на него. И тут Леготин, ни с того ни с сего, бац немца прикладом! Поднялась стрельба. Еще не поняв, где был короткий вскрик, немцы просто лупили в сторону нашей передовой. Лишь один справа ударил по нас, но наша поддерживающая группа дружным огнем из автоматов подавила его.

Взмыли одна за другой ракеты, осветив нас. Гриша Доброхотов с «языком» на плече казался глыбой, катившейся по черному полю ничейной земли.

Противник, обнаружив нас, хлестанул вдогонку. Била автоматическая пушка, жухали снаряды, рычали автоматы. Рассыпавшись по полю, мы отстреливались и отходили. Завизжал шестиствольный миномет.

— Ложись! — крикнул Сидоров.

Мы с Леготиным бухнулись, но увидев Гришу, бежавшего под взрывами по полю, погнались за ним, хватаясь за перевесившегося на его плече «языка», чтобы взвалить на себя.

— Уйдите, не надо! — крикнул Доброхотов.

— Быстрей, быстрей, — подгонял я его, то равняюсь с ним, то приотставая. Впереди чернел бруствер. Сидоров, опередив нас, исчез в траншее и тут же вынырнул из нее, вытянув руки:

— Давай сюда!

Гриша упал на колени, свалил с плеч «языка» на руки Сидорову и выпалил прерывающимся голосом:

— Он... ка-ажись... не живой! Мертвый...

— Как?! Да вы что?! — Поляков упал на колени перед немцем и начал лихорадочно ощупывать его. Осветил фонариком лицо: оно было залито кровью, глаза остановились.

Гриша сорвал с немца каску и давай тереть ему уши, пытаясь привести в чувство.

— Мертвый! На виске вмятина! Да это Леготин проломил ему череп!

— Дурак! — вскрикнул Сидоров. — Кто тебя просил, он был уже подо мной, а ты ударил! — злился Гриша. — Кто просил?!

— Я думал, вырвется и убежит! — оправдывался Борис.

— От Гришки не вырвешься!

— Откуда я знал!? Вот для страховки и тюкнул!

Пришли в расположение роты — новая беда! Новичка Коваленко не оказалось среди нас.

— Где Коваленко? — строго спрашивал Гришу Доброхотова командир взвода Поляков.

— Не знаю! — пожимал тот плечами.

— Как не знаешь?! Ты головой отвечаешь за него!

— Он сказал, что ногу трет, идите, говорит, я переобуюсь, догоню. Я пошел...

— Найти Коваленко! Всему взводу искать! Живым или мертвым найти!

Развернутым фронтом, как в наступление, двинулись мы на передовую. Встречных солдат расспрашивали, не видели ли они где коротенького разведчика в маскхалате. Разглядывали трупы, но следов пропавшего не обнаружили.

Командир роты доложил о ЧП начальнику разведки дивизии.

— Найти! — приказал тот.

Снова пошли вдоль линии фронта, встретили солдата, собиравшего винтовки на передовой.

— Слушай, парень, ты в прошедшую ночь не видел разведчика? Маленького такого? — спросил Доброхотов. — Убей, найти не можем!

— Ах, гад! Убежал! То-то я и подумал, — сбрасывая с себя винтовки, выругался солдат. — Вижу, бежит к обгорелому танку, оглядывается. «Куда?» — кричу. Он упал, говорит: «Командир велел НП выбрать». Я и поверил, у разведчиков НП всегда на нейтралке. Опять собираю винтовки, много успеть надо, не смотрю на него, и все мысля в голове: «Чего он, как трус, бежал? Что-то не то!» Оборачиваюсь, а он как в землю провалился. Ах ты, предатель, обманул!

Пропажей Коваленко занялся особый отдел. Вызвали и меня с Леготиным.

— Что можете сказать о Коваленко? — спрашивал лейтенант. — Что он из себя представлял? Что за человек?

— Так себе человек — богом убит, хреном придавлен! — рубанул Борис.

— Что-о?!

— Хреном, говорю, придавлен!

— Объяснил!.. Ты конкретно говори.

— Он немецкий язык знал.

— Листовки немецкие читал?

— Кто, я? — удивился Леготин.

— Коваленко!

— Чо их не читать — все поле усыпано, — говорю я. — Сел по нужде и листовки перед глазами.

Лицо лейтенанта вмиг изменилось: злой взгляд, словно раскаленный осколок, пронзил душу. Мое лицо запылало жаром.

— Что-то вычитал в листовках?! — рычащим голосом спросил особист.

Леготин, глядя на меня, прикусил кончик языка. «Не говори!» — понял я.

— Ну-у?!

— Не читал я! — тоже громко отвечаю. — На кой хрен они мне!

Опираясь руками о стол, особист тяжело поднялся и, шагнув ко мне, вынул из кобуры блестящий пистолет марки «ТТ»:

— Последний раз спрашиваю... Что немцы пишут в листовках?

— Да не читал я! Вот те крест не читал! — взмолился я.

Но лейтенант плоской частью пистолета «разгладил» мне макушку головы так, что заискрило в глазах.

— Ты что-о?! — взревел я. — Я пожалуюсь! В Красной Армии не бьют бойцов!

Особист вытолкнул меня из дверей блиндажа, но тут же схватил за воротник маскхалата, рванул в блиндаж, и я оказался лицом к нему. Он пальцем прижал свои сжатые от злости губы. «Молчать!» — только и успел я понять, как опять вылетел из блиндажа, дверь которого с треском захлопнулась. «Бориса будет бить...»

Дверь распахнулась:

— Возьми пилотку!

Я обернулся и опять увидел палец особиста, лежащий поперек губ, он еще раз предупреждал: держать язык за зубами.

Холодный дождь освежил мне голову, смывая кровь с лица и груди. Я шел вдоль безлюдной балки, в конце нее — серая дверь землянки командира разведроты Королева. Дверь щелявая, и он все видел, что делалось в расположении роты. Идет навстречу. «Сейчас начнет расспрашивать», — я заспешил к своему ровику, спустился в него.

Королев следом за мной, тронул мою голову:

— Зверь, что сделал!

У меня в глазах стоял «смерш» с приложенным поперек губ пальцем: молчать! И я молчал.

— Теперь у них каждый солдат будет на подозрении. За что он тебя?

— Не трогал он, я в траншею упал!

— Хы! — усмехнулся командир. — Вот славянин! Ему башку разбили, а он говорит, что в траншею упал... Что ж, так и говори! Иначе может быть хуже. В оправдание своего рукоприкладства он припишет такое, что расстрелять могут...

То, что Коваленко оказался предателем, подтвердилось на второй день. Самолеты противника бомбили штаб дивизии и расположение нашей роты. Тяжелая артиллерия обстреливала. Ясно было, что кто-то нацелил немцев. После бомбежки, вечером, появились у нас в роте командир дивизии полковник Макаров и его помощник по политчасти Шишлянников. Стоя перед строем разведчиков, Макаров разгоряченно отчитывал нас:

— Позор! То один фриц набьет взводу морду, то они взводом бьют одного! Бьют до смерти! Кто из вас расколол череп немцу?!

— Я, — отозвался Леготин.

— Кто так бьет человека? Человек — не бык! Его по-человечески бить надо.

— Я его по каске хлобыстнул, товарищ полковник. Голова сама лопнула... Научусь, легче буду...

— Некогда учиться, «язык» нужен! А они сами идут «языками»! Предательство! — сорвав фуражку с гладко выбритой головы, вытер ее носовым платком. Прощелся вдоль строя, отступил назад: — Новички! Два шага вперед — ма-арш!

Новички вышли.

— Сомкнуть ряды! Напра-аво!

И тут откуда-то вывернулся в пропотевшей гимнастерке сержант, встал головным новичков.

— В пятьсот сорок восьмой стрелковый полк на службу-у... ма-арш! — скандовал полковник.

— Не пойду! — Леготин вылетел из строя и встал к нам, за ним — Тищенко.

— Куда? — окликнул их Макаров.

— Не пойду! Я не предатель! — отказывался Леготин.

Макаров взглядывал то на побледневшего Леготина, то на расплававшегося Тищенко, то на угрюмо уходивших новичков.

— Вы присмотритесь к нам, товарищ полковник! — положила руки на грудь, умолял Макарова Тищенко. — Нет, присмотритесь...

— Некогда присматриваться! — Макаров протянул руку в сторону передовой, где грохотали взрывы. — Слышишь? Некогда! Воевать надо! «Язык» нужен! А вы-ы! Предателя упустили! Позор! Взять «языка»! Сегодня ночью взять! Счастливого пути вам, — и они с Шишлянниковым ушли.

Собрались в блиндаже Сидорова, едва втиснувшись вшестером. Досадно было, что мы не были обучены приемам самбо и боксу. При взятии «языка» не всегда нужно было применять оружие, как делали это мы. Порой приходилось стукнуть по голове немца пистолетом, чтобы тот не орал на всю передовую. Боксер мог бы сразу заставить его замолчать.

За ЧП в роте отстранили от занимаемой должности начальника разведотдела дивизии капитана Александра.

Готовились к выходу за «языком» молча. У меня в ушах гудел голос Макарова: «Позор! То один фриц набьет взводу морду, то они взводом бьют одного! Бьют до смерти!»

— Дурак! — сказал я в сердцах Леготину.

— Ишо какой дурак! В пехоту направил разведчиков, — не понял тот.

— Ты!.. Дурак!

— А-а-а! Я думал, Макаров, — лукаво произнес Борис.

Ребята, что были рядом с нами, громко расхохотались. Командир взвода Поляков возмутился:

— Не ржать, а плакать надо!

— С Леготиным и перед смертью будешь смеяться! — сказал Каймонов. — Утром семьдесят самолетов над балкой... Бомбы визжат, грохаются! Мы прижались к земле, а он — Леготин — вещмешок схватил, давай его потрошить. «Надо съесь! — кричит. — Вдруг убьет, сухарь старшине достанется!» Смеется, грызет сухарь. Улетели самолеты, он опять кладет сухарь в сумку: «Запас карман не тянет». Снова появились самолеты, бомбить начали, он хватается котелок, орет: «Кухню разбомбят! Надо успеть пожрать». И к повару убежал. Васильева танком не вытянешь из щели, а Леготин просит его: «Кок, налей супа! Прольют гады бомбой».

— Налил повар? — спросил Леготина взводный.

— Куда там! — махнул рукой Борис. — Он, как мышь, прижался в угол щели. А я у него припрятанный мосол нашел в полотенце. Вот такую кость с мясом! — развел руки.

Тут и командир взвода рассмеялся, однако тут же словно спохватился:

— Хватит! Слушайте задание! Во что бы то ни стало взять «языка!» Сгладить позор. Не возьмем, не вернусь в роту! В пехоте останусь!

— Не вернусь и я, — сказал парторг Калугин. — Все не вернемся, пока не выполним приказ.

Поляков, не сказав больше ни слова, пошел. Потянулись за ним на передовую и мы. Рослый и кряжистый Кузьма Ельчанинов выглядел здоровее всех, шел твердой походкой. Калугин сутулился, маскхалат на нем был мало поношен и отчетливо пестрел в цепи. Мало кто надевал маскхалаты. Заношенные, излатанные разными тряпками гимнастерки и брюки и так хорошо маскировали нас: были под цвет степной травы, засохшей на корню.

Всякий раз, когда проходили огневые позиции пятой батареи нашей дивизии, я забегал к однополчанину Василию Власову и наводил справки о доме, пишут ли девчонки... Уходя, предупреждал: «Не убьет — ночью или утром загляну к тебе». Сегодня мне особенно хотелось повидаться с ним. Слова лейтенанта и парторга насчет того, что не вернемся в роту, пока не захватим «языка» — не выходили из головы. Поляков зря ничего не говорил. «Надо сказать Ваське», — думал я.

Власов сидел у вкопанной по ствол в землю пушки. Увидев меня, спросил:

— Чо, опять за «языком»?

— Ага, паря, пошли. В случае... не вернусь, напиши домой. Останусь жив — забегу к тебе. Ранит — ребята скажут. До свидания.

У него вздрогнул подбородок:

— Возвращайся, я жду, понял? Жду!

На стыке 441-го и 548-го стрелковых полков мы заняли свободные ровики. Пыль, дым, видимость плохая. Солнце на юго-западе тонуло в мутном горизонте. Нигде ни кустика, ни ложбинки — ни укрыться, ни обойти противника. Каков будет исход, возьмем ли «языка»? Кого убьет, кого ранит?.. Ночь. Подползли к танку, укрылись за ним.

— Передохните, расслабьтесь, — сказал Поляков. — Я проберусь в танк, посмотрю через верхний люк, — и он скрылся внутри, за ним — Калугин.

— Давайте хряпнем, притупим нервишки, — предложил Гриша Доброхотов. Наркомовские сто граммов мы всегда перед ужином выпивали, на этот раз решили на нейтральной, перед вылазкой за «языком». Отстегнули фляжки от поясных ремней, тихо чокнулись, выпили из горлышка. Крамынин и Леготин лежали неподвижно.

— Вы что? — спросил кто-то.

Крамынин придвинулся к нам:

— На войну солдату стеклянную фляжку! Это кто придумал? Упал — фляжка вдребезги.

— А я, чтоб не разбить, в роте выпил! — отозвался Борис Леготин.

— То ли дело у немцев, — говорил Крамынин, — алюминиевые, легкие, в чехле, ремешком стопка пристегнута. Налил, по-человечески выпил. А у нас? Из горла да через край — захлебывайся.

— Немцам сразу на неделю выдают шнапс, семьсот грамм, — заметил Доброхотов. — Убит во вторник, во фляжке пятьсот граммов, убит в субботу, сто осталось. Почему бы нам так не выдавать?

— Нам хоть ведро налей, пока не выпьем, не оторвемся, — рассудил Каймонов. — Пример — Леготин. Дай ему семьсот, он бы тут же «шумел камыш» запел. Мы, русские, нерасчетливый народ.

— Сегодня нечего на «языка» рассчитывать, — шептал Леготин. — Не возьмем, я опять баб во сне видел! Перед тем, как пришибить фрица, снилось мне: какой-то сарай, солома, две бабы, я в середине. Они к недоброму снятся!

Раздались невнятные звуки, похожие на удары дятла. И вместе с ними, словно кузнечным мехом: фу-у-у, фу-у-у.

— Внимание, внимание! — раздался громкий голос.

«Радио!» — понял я. Перестрелка вмиг заглохла.

— Внимание, внимание!.. Товарищи бойцы и командиры рабоче-крестьянской Красной Армии! — выкрикивал немецкий пропагандист. — Кончайте бессмысленную войну! Сталинградские степи и так достаточно политы вашей кровью!

— Слышите? — спросил Леготин. — Политруков не приглашают, они, видно, шибко насолили.

— Переходите на сторону немецких войск, командование гарантирует вам жизнь, работу!..

Через нижний люк танка выползли Поляков и Калугин.

— Группа захвата — за мной! — подал Поляков команду лейтенанту, и они поползли на голос агитатора. Ударили «катюши», затряслась земля, воспламеняясь от термитных мин. Нас осветило, особенно запестрели в маскхалатах те, что ползли впереди. Вскочив, они бросились вперед и потерялись из виду. Стрельба, крик... Было понятно, что наши влетели в траншею противника и завязали драку.

— За мной! На помощь! — скомандовал Сидоров.

Ослепленный огнем, я влетел в дым и пыль, не рассмотрев траншею. Оступился и полетел вниз. На дне — возня, храп, удары, крик.

— Кляп! — рывкнул рядом Кузьма Ельчанинов. Я, разводя руками, левой скользнул по каске. Оплел шею немца, сорвал с себя пилотку и сунул ему в рот... И чуть не закричал от пронзительной боли — он прикусил мне мизинец, не выпуская его из зубов.

— Кусает! — крикнул я. Кузьма — под дых ему! Я успел вырвать палец. Толстый немец от удара обмяк, я с трудом навалил его на Кузьму, он тут же оттолкнул его с плеча на бруствер траншеи, выбросился сам наверх и сверху мне:

— Раненых!

Но раненых уже поднимали со дна траншеи, принимали наверху. Слева строчил из автомата другой немец и кричал:

— Ру-ус, ру-ус!

— Подавить! Прикрыть отход, — приказал Сидоров.

Мы с Борисом врезали из автоматов по оравшему фрицу. Снова ударила «катюша». Я нырнул в окоп, попавшийся нам на пути, почувствовал что-то мягкое под собой. Леготин сверху навалился и еще сильнее прижал к трупу.

— Слазь! — кричу Борису. — Убитый подо мной!

— Кто? Немец, русский?

— Пошел к черту, вылазь! — Снаряды же рвутся!

Мне было невмоготу, и я локтем, тычмя, ударил Леготина. Он выскочил. Термитные снаряды рвались позади. Гитлеровцы притихли на нашем участке. Мы отклонились от первого района, где нами была предупреждена пехота. На этом же участке пехотинцы не знали о наших действиях и, сочтя нас за немцев, открыли пулеметно-автоматный огонь. От неожиданности мы заметались...

— Свои! Матушкина мать! — прогремел голос Ельчанинова.

— Эй, пехота! В кого пуляешь?! — кричал Леготин.

— Стой! Прекратить огонь! — донесся голос из траншеи.

Показался человек, он ругался:

— Перебить вас мало! Почему не предупреждаете?!

— Перестань орать! Есть санинструктор? Давай быстро! — приказывал Ельчанинов.

Санитарный пункт был немного позади траншей, и ребята занесли раненых в блиндаж, положили на носилки. Медицинская сестра в свете двух фонарей, стоявших на ящике, который служил столиком, тут же стала разглядывать и ощупывать раненых. Раненые и порезанные кинжалами лейтенант Поляков и парторг Калугин были в тяжелом состоянии.

После обработки ран и перевязки первым в сознание пришел Поляков. Он тихо спросил:

— «Язык» есть? Все живы?

— Есть! — ответил Ельчанинов.

— У тебя что со щекой? Ранен?

— Немножко зацепило. Каймонова ранило в руку. Калугин плох. Кешке «язык» чуть палец не откусил.

— Приведи «языка», — попросил лейтенант Ельчанинова.

Немец лежал у входа в блиндаж, в траншее. Кузьма взял его под мышки, с маху поставил на ноги, втолкнул в блиндаж. Немец был с разбитой физиономией, на шее остался отгиск крепких пальцев Ельчанинова. Гитлеровец с ненавистью посмотрел на Калугина, Полякова и, кивая головой на Кузьму, выругался по-русски:

— Русс... собака!

— Ого, какого зверя взяли! — с трудом выговорил Поляков. — Он и тут еще рычит.

Немец был крупный в кости, с нашивками СС на рукаве, второй рукав ему оторвал в схватке Ельчанинов. Руки у эсэсовца были мускулисты и жилисты.

— Как ты совладал с ним? — удивился лейтенант.

— С таким злом черта сломишь, — ответил Кузьма. — Это он вас и Калугина поронул ножом. Мне чуть глаз не вынул. Кажется, агитатора я пришиб прикладом.

— М-м-да-а, — голос комвзвода был болезненным. — Молодцы... Так вот... и давайте... дружнее... Я... отвоевался.

Ножевая рана от бедра до грудной клетки оказалась смертельной... И мы хотели как можно быстрее донести Полякова до расположения разведроты, а там — на машину и в медсанбат. Но, увы! Заградотрядчики пропускали нас через свои траншеи лишь тогда, когда мы шли на передний край линии фронта. А когда возвращались, нас окликали, приказывали ложиться у траншей. Потому что часовой не имел права ночью пропустить в тыл даже одиночку. Они никогда не спешили вызвать дежурного по части, просили закурить. Так и на этот раз.

— Браток, — умоляющим голосом обратился Кузьма к заградотрядчику. — Пропусти-и, тяжелораненых несем...

Но не тут-то было. Часовой фонариком осветил Кузьму, а тот ударом выбил из его рук не только фонарик, но и винтовку и тут же дал из автомата длинную очередь в небо.

После стрельбы мы не сразу услышали крик:

— Тревога!

Нас окружили «вояки», спрашивают:

— Кто стрелял?

— Как не стрелять, — опередил Кузьму Борис Леготин. — Вечером я ему дал горсть махорки, а он, надзиратель, опять просит закурить! И еще говорит: дай на сигару для дежурного.

— Что-о?! — зычным голосом спросил тот. — Так всегда, гражданин начальник, ваши солдаты просят у нас махорки для себя и для вас.

Борис попал в цель! И никто из заградотрядчиков не приостановил нас, когда мы с носилками перешагивали их «боевой» рубеж. За удар по рукам часового Кузьму могли бы взять под винтовку, о чем Борис и подумал, когда ловко соврал, что давал горсть табаку часовому. За такое вымогательство через своих подчиненных по голове бы не погладили.

...В расположении роты на наших глазах умер командир взвода лейтенант Поляков.

День с утра был пасмурным, к обеду ветер разорвал морок, и в прогалину вынырнуло солнце, ярко освещая поземлевшее лицо покойного. Мы опустили тело любимого командира в могилу. Долго плакали над его холмиком, салютовали, клялись, что отомстим.

Наплакавшись, я написал домой: «Мама, ежели Вася Власов напишет, что меня убило, не верьте. Я просто не смог зайти к нему».

Он же, как потом я узнал, ждал меня до утра и в последующие вечера, а не дождавшись, написал письмо своей матери, как условились мы: «Кешка пошел в разведку и не вернулся». И его письмо опередило мое. Сутки оплакивали меня всей деревней.

Батарея, в которой служил Василий, перебазировалась куда-то, и я долго не мог найти его, а он продолжал писать, что я погиб. Тревожные письма матери заставили меня отыскать его. Спустившись в блиндаж, я оказался лицом к лицу с земляком, протянул ему руку:

— Здорово, паря!

Испуганно отпрянув, Вася вытаращил глаза и спрятал руку за спину, но убедившись, что перед ним не призрак, схватил меня в объятия...

Конец сентября 1942 года. В дивизию пришло новое пополнение из Средней Азии. Ночь прохладная. Мы с Борисом в маскхалатах, одетых поверх гимнастерок, не мерзли, а они в шинелях, с большими котомками на спинах, то и дело содрогались. Котомки из хлопка белели по траншее справа и слева от нас.

— Что у них в сидорах? — интересовался Борис. — Как верблюды навьючены. — И давай ощупывать котомку соседа: — Распороть, может, кишмиш есть?!

Солдат, приподняв голову, сверкнул глазами и опять уткнулся в колени.

— Прости, — извинился Борис. — Как звать тебя?

Тот молчал.

— Кто ты? Узбек, таджик, туркмен?

Солдат не шелохнулся и не ответил. Ночью было тихо. Мы с Борисом прижались плечом к плечу, он тут же захрапел. Я же, придремывая, слышал пулеметные очереди, клцанье зубов пехотинцев: скоро в атаку, вот страх и пробирал их до костей.

Перед рассветом немцы делали пробный выстрел из пушки — узнавали, появились ли русские повара с завтраком? Дадут залп и держат уши топориком, прислушиваются. Уловят крики, беглым огнем лупят, разнося снарядами кухни и солдат с котелками. Не уловят — умолкнут на какое-то время, потом опять грохнут. И так периодически бьют до полного рассвета.

Повара и старшины, у которых от трусости штаны тряслись, то сунутся вперед, то вдруг им покажется, что немцы сейчас ударят батареями. И они разворачиваются назад. Тычась туда-сюда, попадают под снаряды. А расчетливые, смелые улавливали моменты — от залпа до залпа орудий успевали раздавать еду солдатам. А уж затем смывались в тыл.

Кормильцы второй роты, в которой мы с Леготиным временно находились, оказались у траншей.

— Завтрак, завтрак! — звал кто-то скрипучим голосом. — Быстро, быстро! Успевайте, пока немец молчит.

Новички-азиаты заговорили что-то по-своему, порывисто поднялись, сдирая с себя котомки. Передавая один другому котелки, брэнчали, стучали. Выскочив из траншеи, топали ногами. Конечно, раздались орудийные выстрелы — жью-юх, жью-юх! Снаряды врезались в землю, из грохота понесся крик:

— Ва-ва-а! Ва-ва-ва-а-а!

— Набрэнчали! Натопали себе на голову, — сокрушались мы. Кто-то с разбегу нырнул головой на дно траншеи. Кто-то кого-то поднес, и мы с Леготиным приняли недвижимого человека. Едва успели положить его, как нас оттеснили от него новички и подняли вой...

— Не орите! — приказывали мы им.

Артобстрел усилился. В этот грохот вписывалось вроде шипения паровоза — «катюши» давали знать о начале артподготовки. И тут земля содрогнулась под нами — грохнула наша артиллерия, и пехотинцы расстелились вдоль траншеи, прикрыв спины белыми котомками.

— Это наша артиллерия! — кричал я, едва слыша свой голос. Вскочив, увидел искристо-черные взрывы в районе молочно-товарной фермы, от которой остались одни торчащие вразброс столбы. Глядя вперед, я не заметил, как рядом со мной оказался человек со скаткой через плечо и автоматом в правой руке. Его могучая фигура едва вмещалась в ширину траншеи. Склонив голову, он заорал мне в лицо:

— Вам «язык» нужен?!

— Конешным делом! «Язык» — хлеб наш!

— Помогите нам поднять солдат, из траншеи повытолкать, — усмехнулся глазами. — «Языка» возьмем, — он ручищей вцепился в котомку и, как ребенка, поставил на ноги солдата с черным лицом. — Стой! — прижимая его к стене, с трудом протиснулся до другого, поднял его. — Не давайте им ложиться! — сказал мне.

Я встал между ними.

— Смотрите в сторону немцев! — кричу в ухо одному, другому. — Смотри вперед, глазами прокладывай себе дорожку!

От орудийной канонады земля лихорадочно содрогалась, упругий воздух пронзал уши, вибрировал, и поднятые солдаты присели на корточки. «Ладно, сидите», — подумал я, и мы с Борисом завернули за изгиб траншеи. И тут кто-то поднимал необстрелянных азиатов, но не так, как тот верзила. Этот, коротенький, рывком опрокидывал новобранцев навзничь и зло кричал им что-то в лицо...

Из траншей взмыли зеленые ракеты, послышались выкрики:

— Ста-ать! — за бруствером траншеи стояли младший лейтенант и здоровяк сержант. — За мной! — командовали они, глядя сверху на солдат. Просяще манили их руками: — За мной, в атаку!

Те со страхом на посеревших лицах ошеломленно топтались, дико озираясь один на другого, что-то выкрикивали. Мы с Борисом, схватив одного за бока, подняли, а он и не сопротивлялся, висел на наших руках. Рослый сержант, схватив его за котомку, вырвал из траншеи. Затем прыгнул к нам и давай выкидывать одного за другим. Очередной упал у его ног, забился припадочно, сержант из автомата застрочил в дно траншеи, будто бы расстреливая труса.

— Вай, вай! — заорали другие азиаты и полезли наверх.

— За мно-ой! — подал команду молоденький лейтенант и повел взвод за собой, равняясь с двумя другими взводами роты. Мы с Борисом шли вслед пехоте, чтобы перед траншеей противника вырваться вперед и взять «языка». Нейтральная

полоса, усыпанная новичками с белыми котомками за спинами, выглядела так, будто беженцев вели в бой, а они кучками, словно семьями, шли за реденькой цепью командиров. Шли робко, оглядывались назад, и мы с Борисом видели перекошенные от страха рты.

Немцы открыли пулеметный и автоматный огонь. А тут еще рев моторов наших вороненых «Илов», идущих так низко... «У страха глаза велики», не разглядишь, чьи самолеты... Вот кое-кому, видно, показалось — «раздавят!» — и бросились враспынную, драпанули назад... Атака захлебнулась.

Совсем немногие выдержали это первое боевое крещение. Новички отходили назад, оставляя своих земляков на искореженной бомбами ничейной земле. Выносили и выводили раненых. У танка, под которым был КП командира батальона Базарова, где находился и начальник разведки Филипп Иванович Баранов, сидели с перевязанными левыми руками шкурники. Убегая от бомбежки, они на ходу ранили себя.

Тем азиатам, что сидели вместе с самострелами под охраной, можно на первый раз и простить — ибо такое боевое крещение без психологической подготовки не каждый смог перенести. Ну а те, кто выстоял под артобстрелом и бомбежкой, — мужественные люди! Они уже после первого боя становились бывальыми солдатами.

Суд самострелам был показательный. Расстрел — на глазах воинских частей дивизии, чтобы устроить всех паникеров. Ан нет! Трусы прибегнули к другому способу. Начали «голосовать»: высовывали из рюкзачков левую руку по локоть и «ловили» вражескую пулю. И только левую, чтобы не совсем стать инвалидом: правую приберегали для труда.

Утром такие «вояки» в одиночку и группами пытались уйти с передовой в тыл, и все — раненные в левую руку и только по локоть. Это сразу бросалось в глаза, поэтому особисты тут же забирали их и увозили не в санчасть, а туда, где с ними справлялись по закону военного времени. Нас предупредил солдат из особого отдела Костя Аксененко, и его слова мне врезались в память на всю жизнь: «Будьте осторожней, берегите левую руку по локоть». И мы боялись. При взрывах мин, снарядов прятали под себя руки.

А трусы тем временем стали ноги задиравать кверху — получали ранения, из-за которых не сразу были уличены.

Однажды наш ротный чудила Борис Леготин «бомбой» влетел в землянку и заорал оглашенно:

— «Смерш» идет! Штаны будет сдирать! Кто в ж... ранен, расстреляют как симулянта! Кто ранен, значит, ж...й «голосовал»! Повесят!

Задняя часть — самое уязвимое место в войну. При обстрелах мы, как утки, ныряли в воронки, подставляя мягкое место под пули и осколки. Залепишь рану трофейным пластырем и опять вперед — на ходу, как у собак, зарастали раны...

...Разведрота обескровилась: нас осталось совсем мало. Федор Ефимович Королев еще больше дорожил нами, заботился. Он приказал старшине перебрать все имущество в каптерке и лишнее увезти в колхоз, променять на картошку. Тот набрал в мешки какое-то тряпье, прихватил ведра, уехал на полторке и привез не только свежий картофель, но и капусту, лук, укроп.

— Сейчас же засоли укроп, — говорил повару Королев, — покрепче, чтоб не испортился.

Командир снимал пробу с приготовленной еды, на которую мы не обижались. Еженощные поиски изматывали, мы худели. Изрядно поношенное и изодранное обмундирование было неумело зачинено. Королев уже не знал, что предпринять,

чтобы мы выглядели лучше. Он позвал парикмахершу командира дивизии Валу подстричь нас поглаже машинкой. Это была последняя его забота о нас.

В тот же час, когда Валя находилась в нашей роте, командир дивизии полковник Макаров хотел побрить голову. Вали не оказалось под рукой. Когда он узнал, что ее увел Королев, убрал его из роты.

— Как понять, товарищ полковник, — спрашивал Макарова Королев, — судимость сняли, повысили в звании, а в должности понизили?

— А так и понимай! От баб подальше! — ответил тот.

И опять Федор Ефимович Королев пострадал за солдат. Начальник разведки дивизии Баранов представил нам нового командира роты старшего лейтенанта Ивана Быкова. Мы недружелюбно глядели на него, плотного собой, с разными глазами: светло-зеленым и темно-карим. В карем — острый, даже пронзительный взгляд, в зеленом какой-то расплывчатый, непонятный. Может, Быков и с доброй душой человек, но мы чувствовали себя сиротами. Нам нужен был Королев! И кто-то в строю всхлипнул. Быкову стало не по себе, он нервно заходил вдоль строя. Королев стоял с опущенной головой. Баранов вдруг придрался ко мне:

— Почему брюки не зачинишь?

— Когда чинить-то, — сразу заступился за меня Королев. — Ночно и денно на передовой. Колени в болячках, заживить некогда.

Душа моя и так ревела от жалости к Королеву, а тут еще его такие слова, будто сказанные отцом, растрогали меня до слез.

Колени, локти были покрыты у нас сплошными болячками, и Баранов виноватым голосом сказал:

— Обидел я вас, ребята! Виноват, не подумал. Простите.

На следующий день Быков представил нам нового командира взвода лейтенанта Василия Рубанова, прибывшего из военного училища. Мы смотрели на него: статного, с миловидным белым лицом, пытаюсь углядеть в нем душевные и боевые качества Полякова.

Два новых командира стояли перед нами, а нас осталось во взводе всего двенадцать.

— Лейтенант Рубанов горит желанием сегодня же, как говорится, с места в карьер, не отдыхая после большого перехода, принять боевое крещение, — говорил Быков. — Тактику разведчика он прошел в военном училище. — И взглянул на Рубанова: — Принимай взвод!

— Есть принять! — четко козырнул тот. — Взвод, слушай мою команду! Равня-яйсь!

Мы нехотя подравнялись. Он, придиричиво оглядывая нас, заметил:

— Как вяло!

— Мы не курсанты, — пробурчал Гладких.

— Разговоры!..

На передовую шли по той же тропинке, по которой водил нас на задание Поляков. В дороге мы обычно разговаривали, но на этот раз молча шли до НП разведроты.

Немецкая передовая линия изменилась — впереди траншей появилось проводочное заграждение в два ряда. Значит, противник встал в оборону, внезапных атак не будет.

В наших траншеях пехотинцы, русские и новички из Средней Азии, раздевшись по пояс, умывались — наверное, впервой за войну под Сталинградом. Те, что уже смыли земляную пыль и пороховую сажу с лиц, сидели рядом на дне траншеи, вели разговор о бабах:

— Чистенька у меня Феклуша. Работяща. Но и за стол сядет, держись! Одна за колхоз сметет. Скорее бы домой... Сейчас бы вот с ней наверху по кринке простокваши и в постель. И лежи, потирай от сытости брюхо. Обожали мы с Феклушей картошку жарену на сале. Во всем баба хороша, а вот не родила. Убьют меня, и род наш на этом кончится.

Леготин, присаживаясь к запыленному и закопченному пороховым дымом солдату, спросил:

— Вы с Феклушей на какой печке «жарили»?

— Знамо дело, на плите!

— Дурак! Надо было на русской, глядишь, и дети родились бы.

Хохот в траншее...

— Вот жадный! — острил Леготин. — Мы, когда голодные, говорим о еде. Наедемся — говорим о бабах, а он сразу готов ухватить и кусок хлеба, и Феклу за титьку!

Хохотали разом пехотинцы и разведчики.

— Тише, кодла! Немцы услышат, — из наблюдательной ячейки унимал Крамынин.

— Я шибче всего рыбу обожаю, — заговорил шепелявый Кешка Бурнин. — И шаньги шо шметаной. Бывало, заберусь в погреб, ладошкой шниму шметану и ем.

Мне вспомнились: двойная уха, суп из сохатины, медвежье мясо, и я спросил Леготина:

— Ты ел когда-нибудь медвежатину?

— Всегда ел. Я ж охотник!

— Трепач! — обозвал Леготина Бурнин.

— Ты-ы, шаньга шо шметаной, слушай! — Борис, сидя между пехотинцами и разведчиками, завертел головой. — Вот однажды охочусь я за куропаткой, подхожу к зароду, и что вы думаете! Медведь солому ест!

— Медведь — солому?!

— Да-а! Они и сено едят!

Опять хохот в траншее.

— На охоте и не то бывает. Приходилось убивать зайца с рыбьим глазом. Только я его в котел, у него тут же глаз выскочил! Как у рыбы, когда сварится.

Меня тревожило проволочное ограждение. Теперь попробуй, возьми «языка». А если поле заминированное — будет еще сложнее. Немцы перешли в оборону, а почему они вдруг перешли? Надо знать, нужен «язык», чтобы рассказать, а он, проклятый «язык», и без проволочного ограждения нелегко давался.

— Все! Кончаем болтать о еде! — сказал Борис Леготин. — Поговорим о бабах! Старший наш брат — солдат пехоты — послушает.

— Молодец! Лестно сказал! — отрезал тот, что рассказывал о своей жене Фекле. — Впервой такое слышу. Спасибо вам, разведчики! — Оглядел нас, одетых в маскхалаты, перемешанных с солдатами в серых, затасканных в окопах шинелях: — Спасибо за признание, что мы, пехотушка, старше вас. Вы и видом моложе. Лица помытые, чистые. А мы? — Глядя в румяное, как у девчонки, лицо Бориса, он махнул рукой: — Давай о бабах!

Борис хмыкнул в кулак:

— Однажды взводом приходим в клуб, — врал он напропалую. — В фойе темно, полно девчонок, и мы захорохорились между них. Кто они, какие, красивые, страшные — не видать! Тяну одну за собой, она не упирается, идет. На улице смотрю, у нее брюхо пузырем! Стара!.. Ничего, думаю, война спишет. К отбою опоздал. Дежурный по роте к командиру меня, а тот спрашивает: «Где был?»

— «Шмару нашел! — отвечаю. — Манькой звать! Баба что надо, в маслопроме работает».

— «Ну и как? — спрашивает ротный. — Сливки снял?»

А я ему: «Какие там сливки! — морду кислой делаю. — Она брюхата!»

— «Что-о?!» — крикнул командир. Я повторил, а он: «Нахал! Двое суток ареста!»

Взахлеб хохотали только солдаты пехоты. Мы лишь ухмылялись, переглядывались между собой, дескать, вот брехун так брехун.

Леготин никогда не заводил разговор о девчонках и лишь однажды со вздохом признался: «Мне вспомнить некого». А тут вдруг преподнес: «У нее брюхо пузырем! Стара!.. Война спишет!..»

— Правда, она стерва брюхатой была? — спрашивал муж Феклы.

— Да-а! — врал Борис. — Впервой попала такая. Ты не боишься за свою Феклушу? Она у тебя бесплодная, ей не страшно, если под руку кому попадет — не забрюхатит!

— За это тебе — типун на язык! — не понравилось солдату. Опять хохот на всю передовую...

Леготин смешил пехотинцев, пока в траншею не спрыгнули два сапера-разведчика:

— Путь вам свободен! Поле оказалось незаминированным.

— Крамынин, выходи со своими, мы за вами, — скомандовал Рубанов. — Хлопцы! — окликнул он пехотинцев. — В случае чего, дадим красную ракету, поможете огоньком!

— Да-а! — отозвались те дружно.

Ночь, как все прошедшие ночи, безветренная. В глубине темного неба горящими угольками светили звезды, тархтел «кукурузник». Прожектора, отыскивая его, освещали землю, и мы заметили впереди себя блеск касок.

— Немцы! В разведку ползут! — прошептал Леготин.

— За «языком» коллеги двигают. Посмотрим, кто у кого возьмет, — тихо проговорил Доброхотов. — Их тоже четверо. Только кто из них самый болтливый? Кого брать?

— В воронку! — обернувшись к нам, скрипнул голосом Леня Крамынин. Он и Гриша поспешно двинулись к чернеющей слева воронке, мы за ними. Вползли в нее и притаились. Стали осторожно выглядывать. Яркие, длинные лучи прожекторов скрестились в воздухе на «кукурузнике», и он, ослепленный светом, кувыркнулся, пошел вниз и потерялся из виду. Лучи упали за ним, один едва не на землю, ослепил нас в воронке, хватанул вправо по горизонту, ударился о горелый танк, переломился, взмыл в небо. Другой прожектор косил плоскошироким лучом воздух, освещая неподвижно лежавших на гари немецких разведчиков.

— Вторая рота, за супом! — звучно прокричал кто-то из пехотинцев.

— Вот дает Иван! — возмутился Крамынин. — Еще бы назвал полк, дивизию, немцам и «языка» не надо.

Лязг, звон, бряцанье посуды, топот и крик:

— Мишка, не забудь спросить махорки и спичек! Отругай повара! Почему с ужином поздно!

— Ладно, отлаю! — как эхо, отозвался Мишка.

Немецкие разведчики двинулись на шум. Мы, подстерегая их, шептали:

— Вот если бы сейчас не мы, чего бы им «языка» не взять!

— Прямо с супом!

— Да ну, часовые-то стоят!

— Какое там! Жратву ждут, ложки облизывают!

Четверка противника отчетливо виделась уже без света прожекторов. Чуть позади них вроссыпь ползла поддерживающая группа.

— Трех бьем, одного хватаем! Правифлангового. По идее он должен быть старшим. Может, даже офицер, — предположил Крамынин и взглянул назад. — Как Рубанов примет боевое крещение? Узнаем, на что он способен.

Бряцанье котелков, топот, выкрики наших пехотинцев усиливались. И немцы, спеша воспользоваться моментом, подбирались к нам с левой стороны воронки.

— Пропустим чуть и в затылок, — едва слышно шептал Крамынин. Лежим, чувствуя друг друга локтями. Малейшее движение одного передается другому. Правифланговый немец чуть впереди остальных, совсем близко — боком к нам.

— Вы бьете тех, я бросаюсь на него, — взмах руки Крамынина, и мой палец инстинктивно нажал на спусковой крючок. Крамынин, и тут же за ним Доброхотов, вылетели из воронки и схватили вскакивающего немца...

— Р-р-р-р, р-р-р! — уже для страховки мы с Борисом строчим по оставшейся лежать на гари тройке немцев. По нас ударила из автоматов поддерживающая группа разведчиков противника, а по ней — группа лейтенанта Рубанова. Длинные, сверкающие нити автоматного огня перехлестнулись в воздухе. Тут и там из траншеи противника полетели ракеты, осветилась нейтральная полоса — из воронки не выбраться.

Ни наша, ни немецкая пехота не вступали в бой, боясь перебить своих. Понимая, что и светом ракет они выдают разведчиков, прекратили пулять в небо. На земле потемнело.

Гитлеровские разведчики не отходили. Да и как отойти! Окажись мы в их положении, тоже бы дрались до последнего. Идти за «языком» и вдруг отдать своего. Позор! Немцы, конечно же, сразу засекли нас с Борисом в воронке, из которой выскочили Крамынин и Доброхотов, и приближались к нам.

— Куда, «кирюхи», рот ваш немытый! — строча по ним, бурчал Леготин.

Они глушили нас близкой стрельбой и упорно подползали.

Рубанов, поняв замысел фрицев, бежал с группой разведчиков к нам на выручку. Не остерегаясь, потому что пули перестали свистеть над головой, мы с Леготиным яростней строчили по врагу. И вот их осталось двое. Из двух стволов летел огонь, но они не отходили, то ли надеялись выстоять, то ли решили погибнуть. И уже в упор вели огонь по группе Рубанова.

В ход пошли гранаты, и немцы, не выдержав натиска, побежали назад, расстреливая валявшихся на пути своих раненых, чтобы те не достались нам «языками».

— Отходить! — подал команду Рубанов и пустил красную ракету. Вмиг заработали два станковых пулемета, винтовочная стрельба сухим треском вписалась в отчетливые звуки «максимов». Пехотинцы, видимо, давно ждали красную ракету и по команде ударили!

Под мощным прикрытием пулеметно-оружейного огня мы отходили. В траншее было темно. Гриша Доброхотов осторожно положил кого-то на бруствер.

— Кто это? — спросил лейтенант.

— Крамынин, — отозвался Доброхотов.

— Что с ним?

— Все, — Гриша спрыгнул в щель.

Меня как обожгло! Сжалось сердце, я перестал перевязывать Московских. Вскочил, ноги затряслись.

— Борис! — закричал я. — Леню убило!

— Брось ты... — не поверил тот, голос оборвался на полуслове. — Как могло?

— Что спрашиваешь, — злился Гришка. — «Языка» мы передали в руки пехоты. Леня кричит: «За мной, на помощь!» — бросился к вам, я за ним... И тут он взмахнул руками и упал!

В роту мы едва приплелись. Почти все покалеченные. Раненых отправили в санбат. Сергей Скольжиков там умер. Могилу для Лени Крамынина вырыли рядом с холмиком Полякова.

Леня лежал на носилках — как живой, только лицо побледнело и брови да волосы, казалось, стали чернее.

... Ходим в разведку каждый день. Залатать брюки, гимнастерки некогда. Болячки на коленях не подживали, а, наоборот, разбалчивались. И я опять попал на глаза Филиппа Ивановича Баранова.

— Собирай свои шмутки, со мной пойдешь, — сказал он.

— Куда вы его? — забеспокоился Рубанов. — И так людей нет!

— Сегодня придут люди. Из особого отдела полроты заберем: сибиряков, забайкальцев, а он в ординарцах у меня походит! Колени подживут.

Филипп Иванович, приведя меня в свою землянку, вытряхнул из вещевого мешка тряпье.

— Выбирай брюки, гимнастерку, — сказал он. — Рвань свою сожги. Бери синие. Они тебе как раз будут, мне маловатые.

Приодел меня в офицерское обмундирование, сказал, чтобы я как следует отоспался. Ночами он то и дело ворочался, тяжело вздыхал. Белокожее лицо осунулось, ел плохо. А ели мы с ним из одного котелка, и он подсовывал мне свою порцию мяса:

— Ешь, поправляйся!

И как-то за обедом сказал:

— На душе гадко! Ты случаем не женат?

— Сам не знаю, женат или не женат!

— Как так — не знаешь?

— Женился, а домой не привел, и она опять стала девкой. Теперь с подростком соседским скрутилась.

— Да-а! Успевают, пока война. А я женат! — он расстегнул карман гимнастерки, что-то хотел вынуть, да спохватился, что мы за едой, заторопил: — Хлебай, хлебай! Не смотри на меня, — и застегнул карман. — А она тебя в письме не спрашивала, как ты на то посмотришь, что она мальчонку полюбила?

— Нет. Чего у меня спрашивать! Просто не стала писать, чтоб я понял. Да мне другие все описали.

— А меня вот разлюбезная женушка спрашивает: «Феликс, — так она зовет меня, — говорят, война не скоро кончится. Останешься ли ты живым? Может, мне не ждать? Жить чертовски хочется! Мастер завода за мной ухлестывает, тебя жалко. А может, выйти за него? Ребенка хочется! Не сердись, ответь, пожалуйста!» — Баранов тяжело вздохнул, хлебнул суп и опять заговорил: — Жена мужа спрашивает, за кого ей замуж идти... Мастер ухаживает, жить им хочется, а нам — нет!

— Ну и что вы ответили? — спросил я.

— Написал, чтобы выходила замуж за мастера. Да долго не раздумывала, а то он на другой женится. Для тех, кто сейчас в тылу, большой выбор.

Погода стояла дождливая, в землянке было прохладно, и я, растопив печурку, перечитывал письма из дома. По письмам я все знал, что делается в деревне. Кто уже съел хлеб, что был получен до войны, у кого должно быть еще много хлеба...

«У нас, мама говорит, ишо на год хватит, — писала сестренка Шура. — Иван — бог теперь в колхозе, почитаемый колхозник. Ежели б не он, никакого бы приварка на заимке не было. Почти каждую неделю добывает зверя. Он и сейчас сильный, а говорит, что устал, а бабы не верят, погоном гонят его то в тайгу, то рыбу ловить...»

Баранов то и дело тер резинкой бумагу, исправлял свои ошибки, потом треснул карандашом по столику:

— От матери письма? Как они там, в тылу? Дай почитать, если не секрет!

— Какой может быть секрет — сестренка пишет!

— А, не надо! Хотелось материнское сердце слышать, как оно бьется.

Баранов прислушался к насвистыванию за дверями землянки, с печалью в голосе произнес:

— Горелик. Люблю слушать, когда он насвистывает песни-вальсы. Красивый, голубоглазый, хороший парень! По невесте убивается.

Лейтенант Горелик был помощником Баранова и переводчиком. Два дня не прошло, как голубоглазого, с маленькой горбинкой на носу лейтенанта Горелика убило... Мы с Гришей Доброхотовым принесли его в землянку.

— Кто это?! — вскочил с чурбака Баранов.

— Лейтенант, — еле выговорил я и, шагнув к столику, положил перед ним два письма, обнаруженные в кармане погибшего: одно в трофейном конверте с адресом на Полтаву, другое — треугольником — с надписью: «Тому, кто найдет».

Баранов лихорадочно развернул треугольник: «Дорогой товарищ, очень прошу тебя — освободится Полтавщина, отошли письмо, что в конверте, моей коханой. Треугольник порви. Будь добрый, выполни просьбу! Она ждет. А если дойдешь до Полтавы, саморучно передай...»

Баранов, выронив из рук письмо, ухватился за воротник гимнастерки, с треском растянул его. Едва переставляя ноги, подошел к носилкам, опустился на колени перед телом Горелика и пригладил пушок на его щеках.

— Бог ты мой! Ни разу не побрился...

Потом взял письмо, адресованное невесте:

— Кто из вас дойдет до Полтавы?

Мы с Гришей, стоя у двери землянки, пожали плечами, а он несколько раз переводил взгляд с меня на Гришу, словно пытаюсь угадать, кто из нас счастливый.

— Кто передаст письмо?

Мы переглянулись.

— Дойти до Полтавы и передать! На! — и сунул письмо мне.

У меня екнуло сердце. Гриша тревожно переступил с ноги на ногу. Ему тоже хотелось дойти до Полтавы, а Филипп Иванович пророчил жизнь только мне! Волнение Гриши не ускользнуло от его маленьких глаз, и он, погрозив пальцем, сказал:

— Оба головой отвечаете! Не потеряйте письмо! Надо выполнить просьбу!

Ночью разведчики привели эсэсовца с разбитой физиономией, а допрашивать некому. В дивизии никто не знал немецкого языка. В землянку набились штабные офицеры, чтобы зрительно узнать что-нибудь от «языка». Обступили его, сидевшего у столика:

— Шпрехен зи руссиш?

Немец отрицательно помотал увесистой головой.

— Ну тогда капут! Не нужен ты нам, — пытались запугать его, вынудить на разговор по-русски.

Тот, уткнувшись взглядом в колени, молчал. В поисках переводчика уехали гонцы в соседние дивизии. И вечером к нам в землянку вошел усталый солдат с заплечным мешком и в измазанной шинельке.

— Пехотинец? — спросил Баранов.

— Так точно, товарищ старший лейтенант! — громко ответил солдат.

— О-о! По голосу не похоже, что измученный, а вид у тебя никудышный. Как звать?

— Аркашка!

— В пехоте рядовым был?

— Сначала! Потом командиром роты.

— Молодец!

— Не очень! В роте осталось восемь человек, командовать некому было, приказали мне.

Начался допрос пленного. Баранов и переводчик Аркадий Гершман потом удивлялись, что эсэсовец так легко рассказывал все, о чем его спрашивали.

Баранов позаботился о замене измазанного в ровиках и траншеях солдатского обмундирования переводчика Гершмана на офицерское. В новом обмундировании он выглядел совсем другим, к тому же у него оказалось звание лейтенанта интендантской службы. И я, оглядывая его стройную фигуру, не выдержал:

— Чо значит нова одежда, даже справным стал.

Колени мои поджили, выросла новая кожа, а Баранов все не отсылал меня в роту. Повсюду брал с собой. Однажды на командном пункте комдива Макарова часовой, глядя на мои диагоналевые, пузыристые, с красными кантами галифе, принял меня за офицера и пропустил вслед за Барановым в блиндаж.

— Это ЧП! ЧП! Безобразия! — кричал в телефонную трубку Макаров. — Тысяча солдат и ни одного котелка! ЧП — суп наливать в пилотки! Утрами заморозки, у солдат пилотки берутся коробами.

— И ложки не у всех, — подсказал ему кто-то.

— И ложек нет! Коня мне, коня, я прямо к Хрулеву погоню, он котелками заворачивает! — разговаривая с кем-то, Макаров дико метал глазами по сторонам. И вдруг с маху проткнул пальцем воздух: — В шею его, в шею!

— Кого?! — раздался звонкий голос его адъютанта Мишки.

— Стриженого — в шею!

Среди косматых офицеров стриженная начисто была только моя голова, и я, поняв, кого в шею, скрылся за спину Баранова, нахлобучив шапку.

— Этого еще не хватало! Солдат на совещании у комдива! Это тоже ЧП! Дисциплины нет! Куда часовые смотрят?

Пока Мишка выбирался из массы людей, чтобы дать мне затрещину, я выскользнул из блиндажа.

Вечером пошли с Аркадием Гершманом на передовую. Как стемнело, с рупором в руках поползли по нейтральной полосе, установили его, и гулкий голос Гершмана смешался с оружейно-пулеметной стрельбой.

— Ахтунг, ахтунг, дойче зольдатен! — шум на передовой вмиг заглох. — Ахтунг, ахтунг! — выкрикивал Аркадий и что-то долго говорил. И только закончил он агитацию, как едва не одним залпом хлопнули десятки минометов, со всех сторон ударили пулеметы. Аркадий уткнулся головой в мою голову:

— Видал, с каким огоньком аплодируют нам?

— Не нам, тебе! Я тут ни при чем! К черту, боле не пойду с тобой!

— Куда денешься...

— В роту уйду! На кой мне такая служба! Пускай другой таскает трубу. С тобой убьют ни за грош. Там хоть домой путем напишут, а тут? Погиб с Аркашкиной трубой! Нет, паря, уйду!

И вскоре действительно ушел в роту. Аркадий Гершман продолжал агитировать немцев. О его действиях писали газеты...

Девятнадцатое ноября 1942 года, 7 часов утра. От залпов «катюш» осветилась сталинградская степь. И тут же разом грохнула артиллерия.

До залпов сотен орудий ветер с густым снегом хлестал в правую щеку, теперь налетевшие воздушные волны ударили в спину, подхватили снег и понесли по ходу мин и снарядов в сторону немцев. И так два часа без перерыва грохотала артиллерия, изменяя направление ветра, что говорило о силе удара по врагу.

Из наших траншей взмыли в снежную мглу ракеты, и земля словно спружинила, выбросила матушку-пехоту наверх — развернутым строем она пошла вперед!

Из балки двигались танки. На одном из них сидела в белых масках латая группа разведчиков из второго взвода нашей роты, чтобы быстрее схватить «языка» и доставить его в штаб дивизии.

Промерзшие до костей и мозгов за ночь, мы отделением пошли в расположение роты, а навстречу нам минометчики. На глазах снимались с боевых позиций пушкири, потом и гаубичники, а когда увидели обозы с барахлом старшин на санях, поняли, что передняя линия обороны фрицев прорвана.

В нашей земляночной, с торчащими трубами балке встретил нас лупоглазый радист Бухаров.

— Юго-Западный фронт прорвал оборону немцев, идет навстречу нашему Донскому фронту!

Здоровяк повар Васильев, неизменно в белом и чистом халате, приплясывал у дымящейся кухни, подзывая нас:

— Давай, давай скорей! Каша по ведру на рыло! За позавчера, вчера — галушки с мясом. Конским, конским мясом!

И положи он нам то и другое по ведру, мы бы, пожалуй, съели. Беспробудно спали до утра, и опять радость:

— Сталинградский фронт пошел в наступление! — сообщил радист. — Наш Донской и Юго-Западный зажимают немцев в «клещи»!

...Небольшой группой следуем за пехотой. Среди нас новичок — в командирской форме с трофейным кортиком на поясном ремне — иркутянин Коля Серов. Обличьем он похож на цыгана и играет на гитаре так живо, по-цыгански — струны просто выговаривают слова песни! И подпеваает — артист! Он пришелся нам по душе. Но командирская форма и кортик злили нас, и мы на ходу давай подкалывать его острыми словечками.

— Ты, паря, чо выпендрился? Ты чо, в гости к теще идешь? Хвастунишка!

Серов шел за лейтенантом Рубановым, остановился:

— Кто обозвал меня?!

— Я! — отозвался Борис Леготин, встав перед ним.

— Сопляк!

— Ого! Старик нашелся.

— Я кадровый солдат! В память погибшего командира ношу! Вытащил его чуть живого с поля боя, и он при смерти сказал мне: «Носи, вспоминай». И я ношу! И вам докажу, что я...

Взрыв снаряда заглушил голос Серова. Немцы пошли в контратаку, и мы с разбега повалились в траншею — глубокую, с ходами сообщения, блиндажами для пехоты, только бруствер за спиной, как шапка задом наперед, — у противника отбитые. Танки неприятеля вроссыпь идут на нас, а пушка, которую мы только миновали, не стреляет по ним.

Рубанов выбросился из траншеи:

— Серов, к пушке! Расчет убит!

— Я никогда не стрелял! Заряжать умею!

— За мной! — Рубанов кинулся к пушке.

Всей группой побежали за ним. Серов, в доли секунды опередив Рубанова, влетел на огневую орудия. Нагнулся к ящику с боеприпасами, выпрямился уже со снарядом в руках и ловко зарядил пушку.

Мы попрыгали в ровики погибших батарейцев. Танк уже у траншеи, а пехота бездействует.

— Бей! — приказал Рубанов Серову, а тот уткнулся головой в щит орудия, словно застыл. Танк перевалил траншею, пехотинцы — хоть бы один выскочил. В первые дни под Сталинградом бежали от танков, а тут нет, выглядывают поверх бруствера. У наших солдат, видимо, как и у нас, на этот раз не было противотанковых гранат, поэтому ждали спасительного выстрела пушки. И она в упор грохнула по танку! Из люка башни вылетел черно-огненный столб. Мы выскочили из ровиков, чтобы взять экипаж противника «языками», окружили его — из люка полыхал огонь, но никто не показывался.

— Молодец, Коля! — Рубанов хлопнул по плечу Серова, но тот не отреагировал на похвалу. Его глаза метались, посеревшее лицо выражало и страх, и радость.

— Фу-у! — выдохнул он облегченно. — Отступила смерть! Впервой выстрелил из пушки...

— Долго целился! Я даже вспотел, — признался Рубанов.

— Не целился я! Не знаю, как... Ждал, когда сам танк перед стволом окажется. Выполнил ваш приказ! — И он неестественно рассмеялся, ткнув пальцем в сторону горящего танка: — Вот она, моя работа! Не подбей, растоптал бы он пушку, нас с вами...

Теперь нам было неудобно перед Колей за сказанные ему колочие слова «выпендрился», «хвастунишка».

Куда ни глянь, везде искристые взрывы. Танки горели, контратаку отбили.

Наступила туманная ночь. Ползем по нейтральной полосе к балке Пичуга — в ней до войны было большое село Ерзовка, теперь одни развалины.

Ничейная снежная земля завалена трупами в шинелях — в полушубках не встречаются. Русская пехота еще не ступала здесь. Впятером ползем за очередным «языком».

Впереди и слева от меня чернеют на снегу, как бревешки, убитые гитлеровцы.

— Взять документы, — прошептал мне лейтенант Рубанов. Подбираюсь к левому, он с одной ногой. «Ишь как рвал назад, ножку потерял, — мысленно говорю оккупанту. В сапогах-то, поди, холодно и скользко, упал, и нога черт знает куда улетела». Ракетой осветило труп, и блеск фонарика на его поясном ремне ударил мне в глаза. «Взять, может, батарея новая». Из кармана мундира вынул бумажник, чем-то туго набитый. «Наверное, наши деньги награбил — домой вышло, дома соль купить не на что, все из-за вас, гады!»

Взяли «языка», от него разит одеколоном. «Важная птица попала, видно, офицер!» — думали мы. В своей траншее осветили его фонариком — лицо чисто выбрито, аж блестит!

— Штабная крыса!

«Язык» оказался ординарцем адъютанта Паулюса. На допросе он рассказал, где, когда бывает на передней линии его господин обер-лейтенант, адъютант Паулюса.

Баранов разработал план действий разведчиков дивизии. Группами расходимся в разные стороны, и снова у нас удача — «язык» в руках. На ходу приносиваемся к его морде:

— Не он! Не офицер! Солдат зачуханный, потом прет!

На следующую ночь еще берем — опять вонючий! Наконец полковые разведчики цапнули офицера, втолкнули его в блиндаж к Баранову:

— Он, не он?

Гершман, настроенно выслушав ответы «языка», вскрикнул:

— Он! Адьютант!

Разведчики вздохнули. Выполнили приказ начальника разведки дивизии!

На допросе немецкий офицер держался с достоинством.

— Я дважды принимал присягу, — ответил он на вопрос о состоянии войск в окружении.

— Когда второй раз принимали?

— Перед отправкой под Сталинград.

Баранов увел его к командиру дивизии полковнику Макарову, и там была названа фамилия ординарца адъютанта Паулюса.

— Вот он где?! — воскликнул офицер. — Могу ли я его видеть?

— Какая нужда в этом? — вопросом на вопрос ответил Макаров. — Увидитесь в лагере для военнопленных. Могу вас заверить, что в таком же положении, как вы и ваш ординарец, окажется скоро и Паулюс.

Пленный молчал. Командир дивизии налил стопки, предложив поднять тост за скорую победу над фашистской Германией.

— За победу под Сталинградом, — твердо произнес немец.

— Почему только под Сталинградом?

— Пью за то, в чем уверен.

Подробности этого допроса стали известны нам, солдатам, спустя несколько месяцев, когда разгром немцев под Сталинградом стал уже историей. Позже Аркадий Гершман встретился с бывшим адъютантом Паулюса в лагере для военнопленных и напомнил о предсказании Макарова.

— Вот и Паулюс в наших руках, господин офицер. Теперь вы в равном положении. Помните, вы сомневались в этом?..

Сжимаем немцев в «кольцо», они отчаянно сопротивляются. Мы отбиваем контратаки, идем вперед и наконец овладеваем окружной железной дорогой, что у высоты 147,6.

Немцам с высоты были видны степи, низины и балки, занимаемые нашими войсками. Нам же снизу видна лишь сама высота и на ней два кургана, похожие на горбы лежащего верблюда с седловиной посередине. Днем она была в сплошных взрывах, окутана дымом и пылью. Теперь ночь, высота и курганы освещены ракетами. Нити трассирующих пуль летят прямо и вкось, переплетаются в воздухе, и мы словно под огневой сеткой.

Стоит грохнуть пушке или батарее в низине, как тут же на высоте раздаются оружейные залпы — немцы видят вспышки и прямой наводкой бьют по нам.

По соседству в воронках расположились пехотинцы. Как куропатки, они зарылись в снег; спят, похрапывая, — устали за эти дни наступления. Мы, разведчики, ведем наблюдение за поведением врага, отыскивая слабое место, чтобы взять «языка». Увы! Нет на высоте слабых мест.

Третьи сутки пехота лежит в снегу. Храп сменился клацаньем зубов. Лежим и мы, но перед этим уже сменились, в роте побывали, наелись, выспались в землянке и опять пришли. А пехотинцы же голодные и холодные, потому что кормят их два раза и то ночью. Днем сюда, в голехонькую низину, появиться невозможно. Солдаты грызут мерзлый хлеб, ковыряют ножами ледяной суп, кашу в котелках. От такой пищи они еще сильнее дрожат.

Ужин начался с ругани. Старшина не удосужился нарезать хлеб, прислав промерзшие буханки.

Коротенький солдат с утопавшей в воротник полушубка головой всадил штык винтовки в буханку, а выдернуть обратно не может.

— Трахни в нее! — подсказал Борис Леготин.

Коротыш поднял на штыке «кирпич» вверх, выстрелил — хлеб куда-то улетел.

— Все! Один наелся, — смеялись мы.

Другой солдат сплеча рубанул малой лопаткой промерзший хлеб, но из него только крошки полетели.

— Стой! — крикнул Гриша Доброхотов. Он вышел из воронки, опустился на одно колено, взял буханку хлеба, приложил к другому колену, напыжился и... разломил.

— Вот бугай! — удивился кто-то из пехотинцев.

Гриша разломал булки не только пополам, но и на куски, раздав их солдатам, окружившим термосы с едой. Ветер вихрил снег. Пехотинцы, прикрывая собой котелки, торопливо хлебали суп.

Чаепитие проходило живее — в утробах потеплело от горячей жидкости, оттаяли промерзшие губы, языки, и солдаты заговорили между собой. Спрашивали лейтенанта Рубанова:

— Как там, в тылах, думают брать высоту?

— Чо имя думать! — сказал коротыш. — Пяхота возьметь.

— Помолчи, сопляк! — вмешался кто-то. — Дай сказать старшему.

Старший отвернул воротник полушубка, но в темноте не видно лица, заговорил:

— Маловато вас, пополнить бы роты. Артиллерию помощнее, «катюш». Услышишь их «голос», и силы в душе прибавляются. Ну а когда штурм высоты, вы, конечно, не скажете, я сам скажу — завтра! У меня всегда перед наступлением подошвы чешутся. Особенно перед большим походом.

— Давно в армии? — спросил его Вася Рубанов.

— С начала войны. Пяток раз уж ранен. Тут, под Сталинградом, я на удивление всем держусь и держусь. — Солдат повернул голову в сторону высоты: — Неужто завтра не вступлю на нее, проклятую! Как там, позади, с артиллерией?

— Дальнобойщиков много в степи, — ответил Рубанов, и тут у коротенького солдата в руках лопнула от горячего чая стеклянная фляжка. От злости на все и вся и от своего бессилия он заерзал, сидя на снегу.

По поводу стеклянных фляжек мы, разведчики, давно уже высказывали свое возмущение. Солдату на фронт стеклянную фляжку! Упал, она разбилась, сто пайковых граммов вылилось. Попал осколок в нее, разлетелась вдребезги с водой.

Бывалые пехотинцы, наполнив горячим чаем трофейные алюминиевые фляжки, совали их как грелки под полушубки, ныряли в свои снежные гнезда, а те, у кого были стеклянные, ожидали, когда в термосе чай приостынет. Больше всех нервничал и возмущался коротыш:

— Только русский Яван может в снягу спать, мерзлую булку грызтья.

— Где у тебя булка-то? Она к немцам улетела, — шутил Борис. — Ты что, вятский? Говоришь «Яван», «в снягу»?

Коротыш смолчал. Борис отстегнул от поясного ремня фляжку:

— Долбани глоток, вмиг согреешья!

— Ча-а-аво-о? — не понял тот.

— Спирт! — Леготин присел к нему. — Снимай рукавицы, я тебе в ладони плесну, натри морду, руки, чтоб огнем горело.

Солдат распрямился, поблагодарил:

— Спасибочка тябе, браток, спасибочка, — и, сотрясаясь всей маленькой фигуркой, стал нагирать руки и лицо.

— Это у вас, на Вятке, мужики поднимали корову на баню, чтоб она там траву съела?

— Ну-у, над нами смяются: додуть ня могли, чтоб скосить траву. Все это бряхня!

— Сейчас проверим, — сказал Леготин, — бряхня или правда. На фляжку, глотни!

Коротыш задрал голову и только хотел выпить, как Борис вырвал фляжку из его рук.

— Пасть у тебя, что у рукавицы, а ума нет! Как у тех мужиков. Ты же захлебнешься спиртом! Дыхание сопрет!

— Ня пивал, ня знаю, чтоб согреться, попробую, — и он кружкой черпанул чай.

— Подхолоди чуток.

Борис потряс фляжкой.

— Тут на глоток осталось, допивай.

Коротыш, глядя на фляжку, сказал:

— Скорее бы в наступление! Сразу, как только пришабу фрица, возьму фляжку! У них в зямлянках и одеяла бывают.

— Как бы фриц тебя не хлопнул, полушубок, валенки не содрал!

Ужин закончился. Пехотинцы по три-четыре человека спускались в воронку, укрывались плащ-палатками, загребались снегом. Солдаты, что приносили еду, уходили в тыл своей роты, на передовой пустоело, говор под снегом продолжался словно в подземелье.

Глядя на высоту из воронки, мы невольно прислушивались к голосу повеселевшего коротенького солдата:

*Ясный месяц плывет над рякою,
Моя лаптя на той бяраге.
Нячаво мне на светя не надо,
Только б лаптя пряплыла к мяне.*

Вдруг на высоте грохнули пушки, и тут же снаряды — жью-юх, жью-юх — врезались в землю. Но на этот раз немцы прозевали ужин русских — вскрики раненых не слышались.

...Предчувствие бывалого солдата не обманывало: его подошвы не зря чесались. Мы знали, что завтра готовился штурм высоты 147,6, и он состоялся. Пехота овладела южным скатом и отметкой 135,3. В последующие два дня наступления наши войска с большими потерями продвинулись вперед всего лишь на 200-300 метров.

С замиранием сердца смотрели мы на высоту, усталенную нашим братом-солдатом. Мне вспомнился коротыш: заимел он трофейную фляжку или нет? Или вообще она ему теперь не нужна, как многим нашим товарищам...

У подножия высоты — картина минувших боев: разбитые пушки, повозки, ящики, трупы лошадей... За три кровопролитных дня пехота отбила у немцев лишь десяток блиндажей в районе южного кургана. Из нашей разведроты отличилась группа Кузьмы Ельчанинова.

Немцы решили приодеться в русские полушубки, валенки с убитых содрать. Ползли со склона высоты прямо вниз, чуть левее тройки разведчиков. И помкомзвода Кузьма Ельчанинов решил подманить к себе фрицев — прикинулся спящим,

захрапел... Как только немцы приблизились — оседлал сразу двоих. Одного подмял надежно, другого только плечом, поэтому пришлось схватить его за глотку и ждать, когда два разведчика справятся с одним немцем. Задушил беднягу!

— Трус! — заключил Кузьма. — У него от испуга сердце лопнуло.

Едва ли, ведь такие, как Кузьма да Гриша Доброхотов, могли задушить и лошадь. Командиру дивизии Макарову даже захотелось посмотреть на Кузьму, но когда начальник разведки дивизии Баранов завел разговор о награждении смелого, сильного разведчика, отказал:

— В дивизии только разведрота получает усиленный паек, поэтому и отдача должна быть сполна! За что награждать? Эти «языки» не трудовые, а сами приползли — бери.

Теперь мы опять в его личном резерве на время предстоящего штурма высоты 147,6. Пооглохли от непрерывного грохота. В дымном небе наши двухмоторные самолеты — взрывы сброшенных ими бомб мощнее, чем взрывы снарядов дальноточных орудий, от них земля ощутимей колотится под ногами.

Из блиндажа вышел адъютант комдива Мишка. Лейтенант Рубанов шагнул к нему, и тот, едва не воткнувшись в его ухо, закричал что-то. Я содрал с головы шапку, чтобы расслышать слова, но грохот все заглушил. Рубанов, отпрянув от Мишки, развернулся к нам, уже готовым выбраться из траншеи наверх. Ему оставалось лишь взмахнуть рукой: вперед!

Задача — действовать во время штурма высоты как пехотинцам, и, конечно же, взять «языка».

Бежим. На ходу слышу гул «Илов». Они летят низко, и воздушная волна подхватывает нас — успевай только переставлять ноги. Впереди, на скате северной высоты, реденькая цепь пехоты — солдаты только что вылезли из воронок.

Промерзшие, одни идут словно спутанные, другие будто на костылях — с силой переставляют ноги. Настигаем пехотинцев. Они в полушубках, мы в белых маскхалатах поверх полушубков — перемешиваемся с ними. Бросаю взгляды на одного, другого — лица у всех краснющие.

«Илы» бомбами обрабатывают высоту; бьют по ней и из пушек, пулеметов, «катюш». Надо успеть, пока немцы на дне своих траншей пережидают огневую подготовку.

Пехотинцы поразмялись, бегут веселее. Снега стало меньше, чем в низине, и это облегчает натиск.

Вижу амбразуру, но гранату не добросить, строчу из автомата в черную пасть, ответной стрельбы нет. Убиты или контужены? Минуем ее, я правее всех наших разведчиков и удалился от них, бегу вкось по склону. И вот он, северный курган, рукой подать. Он меньше, чем южный. Седловина между ними на бросок гранаты.

«Илы» отбомбились, и немцы, как по команде, встречают нас пулеметным огнем. Каждая огневая точка бьет из-под земли, видны лишь амбразуры, никаких горок над ними нет. Курганы словно в дырах с полыхающим изнутри огнем — град трассирующих пуль летит нам в лоб. Пехотинец в черном полушубке с маху приостановился, качнулся, развернулся ко мне лицом, рухнул на спину. Я приостановился.

— Ура-а! — закричали справа и слева. Глянул вперед, увидел уходящего в землю человека в белом маскхалате. «В блиндаж прыгнул», — догадываюсь. Курган перестал дышать огнем. Немцы бегут от него к южному кургану и на бегу словно тонут! «Тонут» один за другим не то в траншее, не то в блиндажах, а пехотинцы и наша группа разведчиков вслед им бьют из винтовок, автоматов. Сердце, кажется, вот-вот лопнет. Так, наверное, бывает с каждым солдатом, покорившим высоту. Едва бегу, огибаю северный курган, передо мной ступеньки вглубь земли, а там

люди. «Серов!» — узнал я разведчика. Он бочком, торопливо поднимается по ступенькам, волоча за руку немца в шинельке. Серов протягивает мне руку, просит помощи. Спускаюсь вниз, хватаю его за руку, тяну, а он тянет за собой «языка». За «языком» — Вася Рубанов, кричит мне:

— Ты что, потерялся?

«Чуток замешкался перед убитым и приотстал от вас», — мысленно ответил я.

— Бегом вниз!

Коля Серов рванул за собой немца. Бежать нет сил, идем шагом. Перед нами — ширь низины, изрезанной балками. На ходу верчу головой и впервые вижу Сталинград! Тракторный завод...

Не успели мы спуститься с высоты, как немцы выбили наших с северного кургана, ослабив свою оборону в районе южного, и наша пехота овладела им. И так подряд несколько дней переходили курганы из рук в руки... И чаще был за нами южный.

Январь 1943 года. Немцы находятся в крепком «кольце», голодают, но не сдаются. Наши войска опять готовятся к удару.

Разведчикам, как всегда, нужно взять «языка». С нами на передовой начальник разведки дивизии Филипп Иванович Баранов, теперь он в чине капитана. Глядя в сторону тракторного завода, он давал указания:

— Вылазку сделаем под моим началом. Действуем между горелым танком и разбитым блиндажом. Немцы непременно придут за дровами. Устроим ловушку.

Гриша Доброхотов и я остались на НП в резерве. Казалось, на передовой все спало. Никакого шороха, кроме осторожного скрипа снега под нами. Ни единой человеческой тени в округе. Бывало, наши пехотинцы разминались ночами, теперь — нет. На втором году войны мы поменялись ролями с немцами. Что ни день, вышибали их из теплых блиндажей. И теперь они мерзли в открытом поле, были уязвимы, как мы в сорок первом.

Мы сжились с холодной, ветреной сталинградской зимой. Часами пролеживали в снегу и не чихали. Никакая хворь не брала нас.

Три часа прошло, как мы, лежа в сугробе, ждали. От нашей группы ни слуху ни духу. Прислушивались к каждой автоматной очереди. Стрелки трофейных часов продвигались к двум ночи, послышался шорох. Впереди замаячили черные точки. Они множились, росли, вырисовываясь в человеческие силуэты.

— Кто идет?! — окликнул Доброхотов.

— Свои-и! — протяжным голосом отозвался Баранов.

Среди разведчиков в белых маскхалатах отчетливо выделялись фигуры в черном. «Языки!» — поняли мы. Пять штук! Шесть! Несут одного!..

При взятии один из фрицев оказывал сопротивление, но напоролся на кулак Кузьмы Ельчанинова, упал в разнесенный бомбой блиндаж и рассадил о торчащую доску бок.

— Перевяжите! — приказал Баранов.

Коля Серов присел перед немцем, чтобы перевязать, но тот замахал руками, норовя ударить его, при этом громко зарычал.

— Кляп!

Последнее время мы обходились без кляпов, и сунуть в рот было нечего. Леготину пришлось отхватить кинжалом кусок от полы шинели другого немца.

Шли мы быстро. Пленные, не успевая за нами, растянулись в длинную цепочку. Один, сильно озябший, двигался будто пьяный: скользил, падал и без нашей

помощи не мог подняться. Леготин подхватил его под руку. Какое-то время они тащились в конце, потом отстали.

К утру мы добрались до штаба дивизии. Одного «языка» завели в блиндаж Баранова на допрос, остальных — в блиндаж комендантского взвода.

«Языки» совсем не походили на тех, которых мы брали до этого. Воротники грязных шинелей подняты, головы обмотаны разным бабским тряпьем, обросшие щетиной землистые лица... Но все рослые, плечистые, раньше мы могли усмирить таких только прикладами.

В землянку ввалился заиндевелый на морозе Леготин.

— Как вы могли взять столько? — спросил сержант комендантского взвода.

— Мерзлых чо не брать, — с ходу ответил Борис. — Они за дровами пришли. Мы к блиндажу — и их врасплох. Кого с доской, кого с обломком плахи в руках. Только вот этот, — кивнул он на лежавшего на носилках немца, — бросился на Кузьму, а тот его кулачищем бухнул.

— Наверное, фашист?

— Я, я, — затряс головой «язык» на носилках.

— Фашист, фашист! — бил себя кулаком в грудь.

— Ишь ты!

— А тот где, что идти не мог? — спросил Леготина Доброхотов.

— Тебе чо, этих мало? Не «махнул» бы того растопчу мерзлячего на флягу спирта и мне бы капут!

Курносый немец не то понял, о чем шел разговор, не то слово «капут» испугало его, и он запричитал:

— Капут! Капут!

— Ты что, «кирюха»? — спросил Леготин. — Комрад ваш никс капут! Никс! Гитлеру капут! Геббельсу капут!

— Гитлер никс капут! — обливаясь слезами, кричал курносый «язык». — Зольдат капут! Дойче зольдат капут!

Борис, расквасив губы, подражал ему:

— «Зольда-ат, зольда-ат»! Распустил сопли, едрена мать! — и поднес кулак к перекосившемуся рту гитлеровца. — Заткнись, а то жевать нечем будет!

Первого «языка» допросили быстро, и мы с Леготиным ввели в землянку Баранова курносого немца. Аркадий Гершман, стоя у печки, дремал. В дивизии он был единственным переводчиком, а пленных вели и вели — группами, и каждого надо было допросить. Он сутками работал. Похудел, глаза с длинными ресницами провалились, лицо серое.

— Ну что, Аркаша, начнем? — глядя в журнал, прервал молчание Баранов. — Спроси, понимают ли солдаты, что сопротивление под Сталинградом бессмысленно?

Аркадий стоял с крепко сжатыми веками. Чтобы вывести его из дремоты, я нарочно кашлянул, он не очнулся. Тогда я осторожно взял его холодную руку, потянул к столику. Нехотя шагнув, он открыл глаза и вопросительно посмотрел на меня. Баранов повторил ему то же, что говорил сонному.

Аркадий переводил:

— Да, говорит, уверен, что капут.

— Читал ли он наше обращение в листовках и как его понимает?

— Читал, говорит, и неоднократно, но не верил, думал, что в них пропаганда, и перебежать к нам не собирался. «Перебежчиков уважаем и мы, и вы только на допросах. Добровольно сдаются трусы».

— Он прав. Трус — тот же предатель. Ради спасения шкуры на все идет. Спроси, как они относятся к немецким коммунистам? Не считают ли их предателями?

Немец, выслушав Гершмана, пожал плечами:

— Они против Гитлера. — Он помотал головой: — Не знаю, кем их считать.

— Почему фашисты на допросах подвергают наших пленных тяжелым пыткам?

«Язык» усмехнулся:

— Чтобы все выведать.

— Если бы наши разведчики попали к вам в плен, что бы ваше командование с ними сделало?

Он косо посмотрел на Бориса Леготина, взглянул на отхваченную кинжалом полу шинели и ответил:

— Капут!

— Знаем, что капут, но не расстреливаем вас, пленных!

— Не убежден! — перевел Аркадий ответ пленного.

— Если я вам больше ничего не скажу, не буду отвечать на вопросы, вы что, не будете бить?

— Никто вас не тронет. Даже если и не будете отвечать на вопросы, мы не тронем вас.

Немец повеселел и на вопросы отвечать не отказался. Мы привели на допрос танкиста. Вместе с ним занесли в блиндаж раненого эсэсовца, вытянувшегося на носилках «мертвецом». Но как только его соотечественник произнес, что горячего больше нет, танковые части расформированы, и все танкисты отправлены в пехоту, он заорал, стал плевать в танкиста.

— Мы хотели бы устроить вам встречу с немецким писателем Вилли Бределем, — сказал Баранов. — Он у нас в дивизии.

Гершман переводил, а эсэсовец, не моргая, настороженно прислушивался к его усталому голосу. Допрашиваемый пожал плечами:

— Когда, сейчас?

— Завтра утром.

— Можно.

Раненый опять сердито заговорил...

Подошла и его очередь, Баранов велел Аркадию дать ему водки, чтобы тот расслабился, так он выбил кружку из рук. Кружка ударилась об гильзу, сшибла ее со стола, потух свет.

Я быстро зажег свечу.

— Унесите его, ведите последнего! — рассердился Баранов.

— Последнего нет! — признался Борис, встав с нар. И виновато заулыбался: — Я его «махнул».

Филипп Иванович широко открыл глаза:

— Как «махнул»?

— На фляжку спирта сменял!

— Ты в уме? Как это сменял? Кому сменял?

— Уровским разведчикам, что у Орловки стоят. — Леготин торопливо отстегнул от ремня фляжку: — Глотните с устатку.

Гершман засмеялся:

— Молодец! Хоть от одного избавил! — и тут же, забравшись на нары, уткнулся лицом в подстилку, притих.

— Уровцы без «языка» шли, — продолжал оправдываться Борис. — Наш «язык» замерз, как кочерыжка, идти не мог. Чтобы с ним не замерзнуть, я и предложил его. Те согласились. Куда нам столько, у нас и без него полно!

— Цыган! Преступник! — возмутился Баранов.

В землянку вошел заиндевевший помощник начальника штаба 441-го стрелкового полка лейтенант Леня Гаврилюк.

— Товарищ начальник, два «языка»! Разрешите завести!

— Тоже выменяли?! — вместо ответа спросил разъяренный Баранов. — На спирт или еще на что?

Гаврилюк с недоумением глядел на неловко переминавшегося с ноги на ногу Леготина.

— Ты понял?! — Баранов снова повернулся к Леготину. — Так теперь будут спрашивать разведчиков!

Он сокрушенно вздохнул и, помолчав, приказал:

— Держите язык за зубами!

И тут же отправил гонца в уровский батальон к командиру с просьбой немедленно вернуть нашего «языка» и забрать свою фляжку спирта. Тот прискакал к Баранову на коне и потом дал своим лазутчикам взбучку.

Назавтра состоялась встреча пленного танкиста с Вилли Бределем. Танкист дал согласие немецкому писателю и нашему командованию вернуться в свою часть, проводить там агитационную работу среди солдат, разъяснять, к чему ведет их Гитлер, убеждать, что война будет проиграна немцами, Германия потерпит полный крах. «Через два дня вернусь к вам с добровольцами», — пообещал танкист.

Обращение нашего командования к немецким солдатам прибинтовали к его ноге. Дырявые сапоги заменили ему на новые валенки, дали в дорогу продукты, и мы с Гершманом провели его к нейтральной полосе.

Стояла темная ночь. Заметить по лицу волнение немца было невозможно.

— Ауфвидерзеен! — произнес он глухо, слегка пригнулся и пошел к своим траншеям.

Мы залегли в снег. Обернувшись, он что-то еще крикнул, но Гершман не понял. Через три-пять минут его силуэт осветило ракетой. Окликнул ли кто из немецких траншей танкиста, мы не слышали.

Вечером следующего дня лейтенант Гершман с Вилли Бределем и радистом Бухаровым пришли к нам на НП. Мы с интересом разглядывали Бределя, слушали его разговор с Аркадием, но, увы, ничего не понимали. При тусклом свете плохонькой горелки не видели его лица, когда он поворачивался к Гершману.

Блиндаж был маленьким, и мы, примостившись у выхода, тихо говорили.

Радиоустановка для выступления Вилли Бределя перед немцами была готова. Раздался стук в рупоре, потом отчетливый голос Бределя. Он начал с тех же слов, что и Гершман:

— Ахтунг, ахтунг!..

На передовой, как всегда бывало, затихла стрельба, но как только Вилли закончил, его соотечественники открыли ураганный огонь.

...Третьи сутки мы на передовой в ожидании танкиста с перебежчиками. Промерзли до костей, а не уйти. Ночью хоть разминаться можно, днем — нельзя. Траншея мелкая, противник близко. На счастье нам, погода изменилась. Снег валил хлопьями, сливая небо и землю в единое белое море. В воздухе начался гул немецких самолетов. В снежной пелене замаячило что-то черное. Болтаясь, темный предмет быстро приближался к земле.

— Парашют с контейнером! Может, шнапс? — оживился Леготин. — К немцам ближе, черт!

Контейнер вонзился в сугроб на нейтральной полосе. Подождали вечера, чтобы опередить немцев и сделать засаду. Еще не совсем стемнело, а ракеты взлетели в

небо. Немцы и наши зорко стерегли контейнер, усиливалась перестрелка. Цепочкой поползли к контейнеру. Снег рыхлый, глубокий, мы в белых маскхалатах. Прошел час, другой. Пальцы ног и рук перестали ощущаться.

— Черт, сколько еще ждать? — зашептал я Грише. Он настороженно повертел головой и дал дробь зубами:

— Лежи, я к Сидорову. — Вернувшись, залег на прежнее место: — Ползут! Полежат, полежат и двинут немного. Передай соседу.

«Ладно, — думал я. — Потерпим. Мы в шубах и валенках, они наверняка в сапогах и шинелях, пусть попробуют вылежать столько, сколько мы. Не выдержат, полезут к контейнеру», — я снова сжался в комок и отчетливо услышал осторожный скрип. Глянул поверх снега на чернеющий контейнер, за которым притаились Ельчанинов и Сидоров.

«Ползите, ползите же!» — отбивая зубами морзянку, мысленно подгонял я немцев. Палец держал на спусковом крючке автомата. Опять скрип снега, немцы ползли. У самого контейнера вскочили три белые человеческие фигуры и, не дав немцам даже вскрикнуть, накрыли их.

— Вскрыть контейнер! — последовала тихая команда Рубанова. Шоферские монтировки залязгали железом о железо. Неосторожный скрежет привлек внимание немцев, оказавшихся совсем близко, они открыли огонь. Мы тут же — по ним.

— Что в контейнере?

— Патроны!

— Вот черт, не повезло! — злился Леготин. — Назад!

Едва волоча за собой парашют и двух полузамерзших «языков», мы отходили, отстреливаясь. Один фриц был в очках. Тыча себя в грудь, еле ворочал языком: «Музик, музик!» Потом мы узнали, что он был трубачом в музыкальном взводе, а всех музыкантов по пехотным частям разогнали...

Борис Леготин без дурачества не мог. Придя в расположение роты, он снял шинельку с пленного, принарядился в нее и потянул за собой очкарика-немца к кухне. Повар черпаком мешал варево в котле. Встав позади него, Борис залопотал:

— Зольдат немец кушать...

Повар, не оглядываясь, отмахнулся:

— Кончай, дурила!

А Борис из-за его спины подставил котелок:

— Зольдат Паулюс мясо куш, куш хотель!

Повар, увидев рукав немецкой шинели, мгновенно обернулся.

— Ой! — вскрикнул он и бросился от кухни. — Немцы!..

Из землянок выскочили солдаты второго взвода, увидели «немцев» и к ним. «Язык» в очках поднял руки, Леготин с котелком в руках, настаивая, чтобы покорили, метнулся от ребят за кухню:

— Куш, куш! — кричал он, хватаясь за крышку котла. — Куш, куш! Куш давай, Васильев.

Секундное замешательство разведчиков и... громогласный хохот.

— Зашибу, гад! — пытался достать через котел Леготина повар. — Заши-и-бу!..

Завтрак не был готов, и мы, взяв у старшины булку хлеба для «языков», увели их в штаб дивизии к капитану Баранову.

И так почти каждый день: не одна, так другая группа разведчиков брала «языка». Возвращались без убитых, все целехонькие. Численность роты на одном уровне, и это радовало. А о бодром боевом духе говорил даже густой дым, валивший из труб землянок, наш веселый смех и галдеж возле полевой кухни. Теперь мы требовали от старшины дрова для печурок, от повара — вкусную еду! И повара нашего словно подменили. Как же, повар дивизионной разведроты! Смеется над своими

коллегами: «Эй ты, патруль!» — окликает повара комендантской роты. А коку химроты: «Чо ты на обед схимичил?» Совсем обнаглел!

Опоздав с завтраком, Васильев ложкой рвет тесто, опускает в кипяток, оно тут же свертывается в галушки величиной чуть не с кулак!

— У тебя что, времени нет помельче спустить тесто в котел! — заметил я.

— За большое дело — большую галушку! — не растерялся тот.

— Нет, ты, паря кок, заелся, тебя бы надо отправить за «языком», как тогда Королев.

Повар в ответ расхохотался:

— Было дело, было! Посмеялись вы над нами. Особенно ты! — сказал Леготину. — Как ты напугал меня! — И с маху ему черпак галушек в котелок: — Жри, скоморох!

— Они сыры! Без мяса! Сожрал мясо-то?

— Чего нет, того нет! Чуть свет начал писать письмо бабе, как мы тут под Сталинградом даем «прикурить» немчуре, и не успел сготовить завтрак.

— При Королеве бы успел. Пожарь галушки! Надоела конина.

— Вот это другой табак! — согласился повар. — Садитесь к уголькам, руки погрейте, а я горчишного масла плесну на противень, галушки другие поджарю, а эти можете есть. Вы всегда как из голодной дыры вывалились.

— Не надо! — застеснялся Коля Серов.

Борис махнул рукой:

— Пускай жарит! А я расскажу тебе, как тот командир роты однажды «заделал козу» тыловичкам.

Мы присели к горящим на земле уголькам.

— Королев всю душу вкладывал, чтобы солдата получше накормить, галушки — это из его муки, он достал. Привез картошку, а тыловичкам в тяготу чистить! Полкартофелины с кожурой срезают, а он увидел, приказал старшине не выдавать им водки. Они, конечным делом, возмутились. «Какое имеет право обижать! Водка тоже паек, наркомом предусмотрена!» — орал Федька Черных, каптерочная крыса. Королев услышал и будто пошел на попятную, говорит: «Старшина, выдать всем!» Тот выдал. Королев ему второй приказ: «После ужина в строй со всей обслугой! Пойдете за «языком!» И тут, брат ты мой! — Борис зажал руками уши, кивая головой на гоношившегося у поварского столика Васильева. — Кок наш и взвыл: «Кто варить будет, я горох замочил, его на сто рядов промыть надо!» А командир ему: «Шофер Мусатов за один раз бензином прополощет и сварит». Васильев и захлопнул пасть. После ужина стоим в строю. На заднем фланге верзила старшина со своей обслугой. И вдруг раздался какой-то писк, кто-то грохнулся навзничь, давай дрыгаться всем телом и визжать нечеловечески голосом. А это постоянный часовой каптерки Тюрин. «Эпилептик?!» — спрашивает Баранов. А кто-то в ответ: «Придуривается!» Баранов вынул пистолет и говорит громко: «Пристрелить, чтобы не мучился!» И — бух в землю! Ех, как Тюрин вскочит! Как урежет, аж маскхалат на спине вздулся пузырем!

Мы хохотали, а Борис Серову:

— Слушай дальше, слушай о другой пехоте! И вот мы, значит, на нейтральной полосе. Коротыш Федька и старшина со мной рядом. Сидоров и Доброхотов захватывающая пара, им «языка» брать. Они быстро оторвались от нас, а Федька: «Куды это они так?!» Я подгрел к нему, парень впервой ползет за «языком», объяснить надо. И погромче шепчу, чтоб старшина слышал: «К немцам они, договориться». Федька встрепенулся: «Что-о?!» А я ему членораздельно: «Командир роты сказал Сидорову, чтобы без потерь «языка» взять! Обменяться с немцами баш на баш, они нам любого зачуханного солдата, мы им взамен тебя или Громова. Любого из вас,

тыловигов, даже старшину!» Старшина от смеха, как лошадь, всхрапнул и мордой в землю, а Федька не поймет, что я над ним смеюсь!

— Тебя, трепача, хрен поймешь! — сказал Васильев. — Ты анекдот преподнесешь как быль.

— Боевое дело не состоялось, — продолжал Борис. — Никого из них не шлепнула пуля. Федька кричал: «Не надо, не надо водку! Кашу отдам! Пейте, закусывайте, ходите без нас за «языком!» Вот так Баранов в один миг вылечил эпилептика, Королев отучил бездельников от ста граммов. Теперь тебя, кок, за сырые галушки надо бы проучить...

И тут на паре вороных подкатил к каптерке старшина Павел Вехляев — с такой радостной улыбкой на красном лице, что мы невольно перестали жевать.

— Видно, в селе пощупал какую-то бабу, — заметил Леготин. — Или за дорожку выпил спирта полканистры...

Старшина привез посылки, присланные из Сибири и Забайкалья в нашу 116-ю дивизию. Это был сюрприз. Исполнилась первая годовщина существования дивизии. Это ее солдаты вели тяжелые бои с врагом на высоте 147,6.

Мы окружили здоровяка старшину, одетого в черный длинный, до пяток тулуп, а он вертелся между нами, отнекивался:

— Нет, ребята, нет! Без командира, комиссара роты не распотрошу ни одну посылку! Вернутся все с боевого задания, тогда и раздадим.

— Такого не бывает, чтобы вся рота собралась. Одни приходят, другие уходят, — доказывали мы. Криком подняли на ноги приболевшего от простуды лейтенанта Васю Рубанова. Туго обернувшись полами полушубка, он шел от землянки к нам. Мы расступились.

— Что за шум? — спросил он хрипящим голосом.

— Посылки привез, — ответил старшина. — В комендантской роте митинг провели, торжественно раздали бойцам подарки. Письма от девчонок читают, и нам бы так...

— Нам и пехоте не до митингов, — перебил его Рубанов. Настороженно прислушался к стрельбе: — Высоту штурмуют! Ребята мои правы. Одни придут с боевого задания, другие уйдут. Так у нас каждый день. Комсомольское собрание не можем провести, а вы о каком-то митинге говорите...

— Ну что ж! — развел руками старшина. — Так и быть.

— Разбудить всех! — приказал нам Рубанов.

Мы разбежались по землянкам.

Куда ни нырну — темнота, пусто или отзыв спросонья: «Что?!» А вынырну из землянки — грохот в уши: на высоте бой, там не до подарков. Вспомнился убитый солдат в черном полушубке, и на душу словно камень лег.

Подняли мы всего несколько человек. Столпились в кучу: ездовой Николай Ивлев, кок Васильев, наша группа из пяти разведчиков.

— Становись! — подал команду лейтенант Рубанов.

Мы выстроились в одну шеренгу на тропке, проделанной от землянок до кухни. Старшина вышел из каптерки с ящиком в руках и, торжественно держа его перед грудью, подошел к стоящему перед нами Рубанову, развернулся к нам лицом.

— Товарищи! — болезненно содрогаясь всем телом, обратился к строю бойцов лейтенант. — Подарки, которые мы сейчас вручим вам, а они в основном от девчонок, как ложка к обеду! Ровно год, как живет и здравствует наша 178-я разведрота! — Вася взял из ящика пузатый кожаный кисет, изрядно поношенный, вынул из него маленький обрывок бумаги. Слушайте! «Здрасьте, сынок аль внук! Кошель давнишний, не гнушись. Я курил с него в ту войну, потом в гражданскую в Чите. Кресало ровесник кошельку. Камень новый, крепкий. Ложи на него трут, сделан из

березовой губки, и высекай искру, прикуривай. Табачок с первой грядки от бани. Не потеряешь кошелек, живым останешься, домой придешь. С таким словом вручила его мне бабушка».

— Заколдован! Не убьет! — сказал Леготин.

— Так и будет! И я вручу его, — Рубанов пробежал глазами по строю, — Ельчанинову. — Подошел к нему — крепкому, коренастому. Был наш Кузьма уже здорово мечен: плечи разные — одно уже, другое шире — от сломанной в схватке ключицы, и глаз один с изъяном — покалечили в бою. — Ты, Кузьма, самый сильный, смелый у нас в роте. На твоём счету больше всех «языков», даже сразу по два брал.

— Задудил одного! — вставил Леготин. — За самоchinство его расстрелять надо!

— Фриц сам подох! — сказал Рубанов в защиту Кузьмы.

— В схватках с врагом ты и изуродован больше всех нас. Стрелян и резан ножом. Тебе курить табак из дедовского кошелька. Служить с надеждой на жизнь, как жил и воевал его хозяин, твой земляк.

Кузьма хотел приложить руку к козырьку.

— Не надо! — опередил его Рубанов. — Это не правительственная награда, а народная. — Он взял перчатки, связанные из белой шерсти.

— Для тебя вязали! — сказал старшина лейтенанту. — Правильно, ребята?!

— Так точно! — последовал дружный ответ.

Вася приложил перчатки к своему обветренному лицу, растроганным голосом произнес:

— Сколько в них теплоты! Сколько вложено души. Как наши девушки, сестры, мамки ждут от нас разгрома немцев под Сталинградом! Белые перчатки на фронт, конечно же, не для солдата связаны были, а для офицера, да не простого воина, а службиста при штабе.

Вася любовно помял их, свернул и вложил за пазуху, чтобы не замарать о карманы затасканного в траншеях полушубка.

— А теперь я вручу подарок тому, кто у нас в роте чаще всех ходит в разведку, кто больше всех перетаскал на своей сильной спине «языков»!

— Выходи, ишак! — бросил Леготин Грише Доброхотову.

— Правильно, Борис! Ему, — лейтенант взял у старшины из посылки черный сверток, тряхнул его, и, вздергивая вверх руку, прикрыл себя широким и длинным шарфом.

— О-о! — удивился строй.

Таковыми шарфами, как этот, у нас в деревне мужики обматывали шею и поясницу.

Гриша, нахлобучив шапку до бровей, тяжело дышал и глядел на подарок, часто мигая. Мне показалось, что он вот-вот пустит слезу.

Рубанов продолжал вручать подарки: курящим — расшитые кисеты с табаком, другим — связанные из овечьей шерсти перчатки, рукавицы с одним пальцем. У Леготина было плоскостопие. У него, как ни у кого во взводе, мерзли ноги, поэтому Рубанов вручил ему носки из собачьей шерсти.

Борис с серьезным выражением на краснощеком лице обнюхивал носки. Мы смотрели на него, ожидая, что он сейчас за всех нас что-то скажет. Причем без шуток.

— Кто же отеребил собаку: старуха, молодуха или невеста? По запаху шерсти — кобель пострадал! — выдал Леготин.

— Тьфу! — сплюнул старшина. — И при таком серьезном деле скалит зубы.

Мы засмеялись. Рубанов, идя вдоль строя с опущенной головой, говорил:

— Раздавал я вам подарки и думал... Если бы каждый из нас в ответ на заботу наших матерей, жен, невест укоротил хотя бы на один день войну?! — И тряхнул головой: — Разойдись!

Строй разлетелся в разные стороны: одни побежали в землянки носки при- мерять, другие окружили Кузьму, чтоб закурить из дедовского кошелька табачок, выращенный в Забайкалье, на первой грядке от бани...

Ночью 25 января 1943 года наша дивизия штурмом овладела селом Орловка и вплотную подошла к стенам Сталинградского тракторного завода.

«Языков» в дивизии теперь каждый день предостаточно, мы толчемся на КП полковника Макарова. Его адъютант Мишка теперь не орет на нас, и мы из траншеи разглядываем через трофейные бинокли высокие, с пробоинами, каменные стены ограждения тракторного завода. Там доты и дзоты — сильно укрепленный узел.

Дивизия готовится к штурму завода. Из остатков трех батальонов 441-го пехотного полка сформирован один штурмовой батальон, командиром назначен капитан Скарга.

30 января. Ночь холодная. Валенки пять суток не сушились. Мы носимся по длинной траншее, отбитой у немцев, топаем у дверей блиндажа командира дивизии, а ему в тепле что — сытому голодного не понять. Если и слышит наш топот, понимает, что мы замерзли, но не окликнет: мол, давайте ко мне, солдаты, погрейтесь! «А каково сейчас бойцам капитана Скарги? — думалось мне. — Они сейчас перед стенами завода скрытно готовятся к штурму». Прислушался к рокоту немецкого пулемета, с нашей стороны ответной стрельбы нет. Невольно вспомнился пулеметчик, начинявший патронами ленту для «максима» — один патрон с неокрашенным кончиком пули, другой окрашенный — трассирующий. То вдруг сует и сует неокрашенные. Я спросил его, почему он так заряжает? «Для обмана фрицев, — ответил тот. — Один гад засек меня и давай, давай отхлестывать! Вынудил изменить позицию. И я надумал обхитрить его. Перебрал все свои пулеметные ленты, вот таким манером начинил и ночью ухлопал его».

Я не понял суть хитрости солдата и сказал ему об этом, а он:

— Сейчас покажу. — Лег за пулемет и та-та-та — заговорил его «максим», прокладывая светящуюся нить трассирующих пуль в сторону врага. Вдруг нить оборвалась, а пулемет лупит. — Понял? — спросил солдат. — Я пустил нить трассирующих пуль, а они, всегда кажется, что прямо в лоб летят. Поэтому враг невольно прячет голову, а как пролетят — высунет. Вот тут-то несветящаяся пуля и сделает дырку в башке! Так-то вот, голь на выдумку хитра!

— И безалаберна, — сказал я. — Немец тебе быстрее может сделать дырку в голове, чем ты ему. Он в каске, а ты нет.

— Тяжелая она, голова устает! — просто ответил пулеметчик.

Мы, разведчики, по другой причине не носили каски. Ночью при свете ракет они предательски выдают блеском. Немецкие разведчики не расстаются с ними, и мы их ловим теперь на этом, как они привыкли ловить наших пехотинцев во время ужина по крику: «Вторая рота, за супом!» А другой еще громче: «Мишка, не забудь спросить махорки и спичек!» Русская безалаберность!

В затишье на передовой немцы не высовываются из траншей, никаких у них перебежек. А у нас в рост бродят туда-сюда! Один отыскивает земляка, другой — брата. Снайперы их ловят на мушку, бьют. Остальные видят и делают то же, потому что с кумом поговорить надо! Нашему снайперу, чтобы укокошить немца, надо неотступно следить за его передовой. И кое-кто из снайперов в заслугу себе приписку делает, что убил.

Однажды немец прострелил на мне термос с супом, я упал. Суп горячий, течет из дыр, ошпаривает тело. Мне невтерпеж, ворочаюсь, дергаюсь, а он продолжает расстреливать термос, в задницу хватил... Как только жижа вытекла, обжигать не стала, я мертвецки притих. Фриц сделал черточку на ложе своей винтовки — капут Ивану! Так и наши снайперы обманываются. Вот было однажды: «Немец, немец!» — заорали разведчики и давай из автоматов лупить вслед ему, а он упал, его не видно. «Амба!» — сказал Гриша Доброхотов, я возразил: «Может, испугался да бухнулся, а может, ранили?» — «Да ну! Убили! На одного фрица меньше стало». И Вася Рубанов сказал мне: «Неверующий ты Фома». Доброхотов добавил: «Любопытный, убитых разглядывает. Ему надо знать, почему рот открыт. «Ура» кричали или орали «мама». А я им: «Фома, Фома! Скажите, какая разница между убитым немецким солдатом и нашим?»

Никто не ответил, и я давай рассказывать:

— Смотрю, немец убит и наш солдат. Лежат один от другого метров на двадцать, и больше ни одного трупа. Как так, думаю, они что, как на дуэли, одновременно стрельнули? Разглядываю одного, другого, прихожу к выводу: немец ранил нашего солдата, а тот в ответ уложил его наповал. Убедил меня в этом наш убитый. Он калачиком лежал, с болезненно-искаженным лицом — от тяжелой раны извивался, так и застыл. Это было в середине сентября. Солнце со страшной силой жгло. Вечером я опять вижу убитых: наш солдат лежал по-прежнему как жалкий комочек, а немец за это время словно размокал в воде — вздулся! Жирный! С хода дуется, гад. Европу ограбил, тут у нас колхозный скот жрал, а наш на кашке воевал, исхудал, вороне и клонуть нечего. В разной позе и разным состоянием застает смерть солдата. У одного страх в глазах — значит, трусливым был, у другого зло на лице — от ненависти к врагу.

...В стороне тракторного завода вдруг разразилась пулеметная стрельба, полетели в небо ракеты, освещая стены ограждения и крыши завода.

Позднее узнаем, что разведчики пробрались к домам заводского рабочего поселка и там взяли пять «языков». Командир батальона капитан Скарга накормил их, дал каждому по булке хлеба и отправил назад!

— Гарнизон обещали привести?! — гневно спрашивал Скаргу Макаров. «Шиш приведут! — думал я. — Танкист тоже обещал — и Вилли Бределю, и Баранову. Мы из-за него на передовой трое суток мерзли, а он к нам не вернулся».

После разгрома немцев под Сталинградом Гершман, допрашивая одного полковника в лагере для военнопленных, узнал, что как только танкист тогда спустился к своим в траншею, его взяли под ружье, а что с ним произошло дальше — неизвестно. Что тут не понять — расстреляли.

А те пять «языков», взятые разведчиками и накормленные Скаргой, привели-таки 863 немца утром 31 января.

— Как у тебя с «огурцами»? Дай немцам прикурить! — приказывал комдив.

Первого февраля 1943 года наша артиллерия обрабатывала переднюю линию врага, а на следующий день периодически обстреливала беглым огнем. Из-за ограды завода, из балки Макитра высыпали немцы. Шли малыми группами и большими колоннами. Разведчики дивизии и часть солдат пехоты двинули им навстречу. И вот мы, одетые под цвет снега, и они — в мышастых потрепанных шинелях, с головами, обернутыми полотенцами, шаялями, согнувшиеся в три погибели, встретились лицом к лицу:

— Чо, «бугор», Иваны начистили вам морды? Хлястик у шинели оторвали? — с чувством превосходства спрашивал Леготин рыжебородого офицера. Критически оглядел другого офицера, с наброшенным на спину пестрым полушалком: — Тебя

бы в огород чучелом, пугать ворон! — Смеясь над ним, уступил дорогу: — Топайте, завоеватели Европы!

Всей ротой мы шныряли по цехам разбитого завода, находили немцев — раненых, обмороженных, плохо двигавшихся от голода.

В балке Макитра вытаскивали из блиндажей чуть живеньких. Грузили их на сани, везли в штаб дивизии, потом в село Дубовка и там сдавали пленных в лагерь. В эти дни дивизия пленила почти четыре с половиной тысячи оккупантов.

Хорошо побеждать! Нет большего счастья для солдата, чем ощущать себя победителем. За время Сталинградской битвы мы намерзлись, устали до смерти, а теперь душа от радости кричала: «Разгромили, победили!»

Возвращались в роту бодро. У нас осанка даже стала иной, шаг тверже, увереннее!

Шесть месяцев без бани! Сто восемьдесят дней и ночей под Сталинградом! Даже вши дохли от соленого пота.

Утром нас поднял на ноги истошный крик старшины:

— Рота, в баню!

Под ногами то звенел лед, то глухо стучала замерзшая грязь. Настроение было отличное, но вид никудышный — шубы затасканы по траншеям и окопам, прорваны осколками, продырявлены пулями и неумело зашиты. Шли мы по знакомым местам, пересекали балки, где жили. На оголенных от снега крышах землянок торчали поблескивающие трубы из консервных банок. Отсюда мы уходили на боевые задания, сюда возвращались, принося раненых и мертвых товарищей, здесь хоронили. На восточном скате балки Сухая Мечетка рядом тянулись могильные холмики с касками сверху. Теперь в балке безлюдно. Прощайте, друзья! Прощайте... Будем живы — расскажем о вас дома.

Село Большая Ивановка оказалось нетронутым бомбами. Здесь чувствовалась мирная жизнь. Люди в нормальной одежде, которой мы не видели давным-давно. По улице бродили коровы, овцы, козы, пахло навозом, а не кровью. Каждый из нас во все глаза смотрел на это удивительное явление. Наперерез строю мчались с распушенными крыльями курица и петух.

— Давай, давай, Петя, жми! Не догонишь, так согреешься! — орал Леготин. И мы от души хохотали на всю Большую Ивановку. Ах, как давно мы не хохотали так!.. Расквартировали нас по избам, похожим на сибирские. На наши приветствия полнотелая молодая хозяйка ответила лукавой улыбкой. Леготин, глядя на русскую печь, спросил:

— Тетя, кто у вас спит на печке? Кости бы погреть.

— Она холодная. Топлю редко. Муки нет. Стряпать хлеб не из чего.

Мы все еще топтались у порога, не зная, куда проходить.

— Располагайтесь в комнате за заборкой, вход с кухни, — сказала она, направляя сосок в открытый рот ребенка. — Чего уставились, идите!

Но глаза не отрывались от белой женской груди.

— Валяйте, валяйте, а то зрочки лопнут!

Борис заглянул в лицо ребенку, спавшему на руках матери:

— Солдат будущий или девка? Сколько ему?

— Третий месяц.

— А кто муж? Почему не в армии?

У женщины вмиг запылало лицо. Она повернулась к люльке, висевшей на пружине у койки, положила мальчонку. Веснушчатая шея стала рыжее косы.

Борис за дорогу схлопотал у старшины наряд вне очереди, поэтому пошел топить баню. Но пока мы с Гришей спали, он опять нашкодил. Прожаривая в железной бочке солдатское обмундирование, подпалил его.

— Скоморох проклятый! — ругался старшина.

Леготин огрызался:

— Ишо дашь наряд, я твою каптерку сожгу!

В конце апреля 1943 года мы покинули приволжские земли. На Курской дуге в нашу дивизию влилось большое пополнение из двух военных училищ — пехотного и артиллерийского. Все ребята 1924 года рождения, все комсомольцы из Новосибирской области.

Начались тактические занятия. В основном отработка строевого шага, что категорически не нравилось нам, сталинградцам. Мы возмущались:

— На кой хрен разведчику на войне строевой шаг чеканить?! Мы не ходим, а ползаем! Нас к мордобойству готовить надо, чтобы кулаком вышибать скулы фрицам!

— Это не моя прихоть! — злился Рубанов. — В политотделе дивизии сказали, что солдаты за войну разучились ходить в строю, приветствовать командиров. И что введена новая форма одежды — многие путаются в знаках различия на погонах.

— Ничего не случится, если кто-то из солдат назовет Макарова «товарищ ефрейтор».

— Он теперь генерал! — сказал Борис.

— Ишо громче будет орать: «Галушки ел?! Взять «языка!»» А как его взять, он дерется, а мы не умеем.

— Кто из вас хоть немного знает технику бокса, борьбы? — спрашивал новичков Рубанов.

Кое-кто отозвался.

— Мало, мало! Попробовать надо, — и он привел взвод на лужайку у речки Тим. Борьбу начали курсанты атлетического телосложения: смуглый Пашка Мельников и чернявый Колька Бочаров. Два других новичка, обмотав кулаки портянками, начали боксировать. Рубанов в качестве судьи заметался между ними. Мельников, схватив крепкую шею Бочарова, подвернулся спиной под него и расстелил на лопатки.

— Так, молодец! В скулу, в скулу! — кричал Рубанов. Он в приказном порядке заставлял бороться и боксировать новичков. Знал, что мы, «старички», боремся по-деревенски, переламывая один другому спины и подставляя подножки.

— Смотрите, смотрите, как надо!

Хотя мы и были на два года старше новосибирцев и алтайцев, обстреляны основательно, но смотрели с завистью, как они умело кололи чучело, четким шагом ходили в строю, пели песни. И в борьбе применяли мастерские приемы — так нам казалось.

Лейтенант, уловив, кто лучше боксирует и умело применяет технику борьбы, назвал их «тренерами». На другой день утром привел нас сюда же, к речке. «Тренер» Киселев подал команду:

— Разуться! Обмотать портянками кулаки, раздеться по пояс! Противники должны быть по весу одинаковыми.

— Необязательно! Немцы разные попадаться будут, не по росту. Пусть дерутся кто с кем хочет.

Леготин и Доброхотов встали один перед другим, неумело скрестив руки у лица. Штанины у них были закручены выше колен, головы повязаны носовыми платками.

— Начали! — подал команду «тренер».

Они запрыгали, сплеча нанося друг другу удары.

— Это не бокс. Это кулачный бой!

Но они, не обращая внимания на Киселева, продолжали хлестаться. У Леготина портянка разматывалась с правого кулака и при ударах щелкала. Он скоро сник, его удары слабели. Я болел за него, потому что Гриша был намного сильнее, он уверенно теснил Бориса к обрыву.

— Ты чего растопорщился, как теща Васея? — крикнул Леготин.

Доброхотов засмеялся, а Борис размотавшейся портянкой оплел его толстую шею, дернул на себя, вывернулся, и Гриша полетел с обрыва в воду...

Через несколько дней тренировки мы стали неузнаваемыми. Ходили с финглами под глазами, распухшими носами, разбитыми губами. Болело все тело и ребра, но мы не бросали это нужное для разведчика дело.

Вечерами наша рота кололась от громкого хохота, плясок, песен. Мы будто забывали, что идет война, что немцы готовят удар на Орловско-Курском направлении. Многие из нас еще не знали, что в последний раз отплясывают «Барыню» и отбивают чечетку под вальс «Амурские волны». Клочками мы вырывали счастье у жизни. Не сетовали на судьбу, не накаркивали преждевременную смерть. «Если не судьба тебе умереть, так из любого огня живым выйдешь, — говорили у нас в роте. — Живи, пока живой! Рви, пока рвется! Оставляй память о себе».

Однажды мы с Леготиным намылись, начистились и поспешили к старшине, чтобы отпроситься в деревню. И тут дежурный по роте лейтенант Рубанов выкинул руку на уровне плеча и прокричал:

— Комсомольцы, коммунисты! В одну шеренгу... становись!

Строй под сопровождение баяна Ивлева ушел на объединенное партийно-комсомольское собрание. На линейке остались мы вдвоем с Леготиным да два забайкальца.

— А мы вроде ничейные? — проговорил Борис. Его слегка приплюснутый нос расплылся в улыбке: — Беспартийные, сомкнуть ряды! За мной — в самоволку! Шагом арш!

Взяв котелок, мы отправились в деревню, чтобы купить молока. В деревне Леготин раскланивался со старухами, сидящими на завалинках, здоровался, спрашивал:

— Бабусь, кто молоко продает? Молока с котелок не продашь?

Старухи отвечали, что коровы еще с пастбища не пришли, а старушка, что высунулась из окна и, сощурившись, смотрела на нас, подсказала:

— Мотря продает, соседка наша. Только вона водичку в молоко подливает.

Тщедушная собой Мотря, приветливо встретив нас в ограде, пригласила в избу:

— Вам молочка? Оно у меня в погребу, холодненькое. Сколько вам?

Борис, держа перед собой котелок и пощелкивая его пальцем, говорил:

— Ежели молоко густое, бутылки хватит, если так себе, одна жижа, то котелок наливай.

Старуха лукаво скосила глаза на Бориса:

— Шуткуешь, сынок? Молочко у меня сладкое, — и, взяв котелок, живо выскользнула из дома.

— Видать, добрая прощельга, — определил мой друг, уставившись на божничку. — Деньги-то, наверно, сюда кладет? Может, посчитаем? — Он зашел на кухню: — А вот и ведро с водой наготове.

Бабушка Мотря оказалась расторопной и скоро появилась с полным котелком молока.

— С верхом я, ребятки, наливаю, с верхом, — прошлепав босыми ногами к столу, поставила котелок. — Цена такая же, как у всех. Не нужда, так не продавала бы.

Борис, топчась посреди избы, снял с руки компас:

— Сейчас проверим жирность, утрешнее или вчерашнее.

— Пробуй, сынок, пробуй! Утрешнее молоко, холодненькое, в погребу стояло.

— Пробовать я, бабуся, не буду. Солдат отвык от молока, не узнать, ежели даже с водой будет.

— Што ты, што ты! — замахала Мотря руками.

Борис шагнул к ней, показывая на компас:

— Вот смотрите, стрелки машинки стоят. — Она уставилась на компас. — Ежели молоко жирное, то так и будут стоять. Ежели с водой, стрелки вмиг забегают.

Мотря оторопело заметала глазами.

Борис продолжал:

— Теперь подержим его над котелком, — он незаметно привел компас в рабочее состояние. Стрелки забегали. Борис ахнул: — С водой!

Старуха попятилась к заборке, забормотала:

— Я чуток плеснула, чуток! Берите за так! — и шмыгнула в кухню.

Борис беззвучно хохотал, подмигивая мне, а она лепетала из кухни:

— Берите за так... берите... Не надо денег.

— Мы не живоглоты, — Борис, взяв котелок со стола, зашел за перегородку. — Выливай, бабуся, такое нам не надо...

Расхаживая по улицам деревни, Борис выпросил у молодой женщины морковку и тоже давай проверять компасом:

— Сейчас узнаем, с колхозного поля морковочка или с собственного огорода...

На крыльчке беленого домика сидела довольно симпатичная старушка. Борис спросил:

— Продайте, тетя, молока...

— Вы ж от Мотри идете, она всегда продает.

— У Мотри корова жидко доится, не стали покупать. Нам надо жирное! У меня куриная слепота в острой форме. Комиссию жду, демобилизовать должны. Хочу у вас в деревне остаться.

— Больной? — недоверчиво переспросила та. — А лицо красное, как с мороза, девчонкам на загляденье.

— Нет, бабуся. Полюбил одну, Любой звать, в сельпо работает, не хочет смотреть на меня.

Старушка часто заморгала, словно ей что в глаза попало. Потом, склонившись, хмыкнула и посмотрела на Бориса, не смеется ли над ней. Но он был серьезен.

— Так это же моя дочь, Люба.

— Но-о?.. — оторопел Борис и стал расплачиваться за молоко.

Только открыли калитку, навстречу нам Люба. Борис неловко поздоровался с ней и пошел вперед, а я преградил ей путь и протянул руку:

— А что, если познакомимся?

— Почему же нет, — бойко ответила девушка. И мотнула головой в сторону Бориса: — Что за солдат? Какой-то странный. При встрече уставится, будто сказать что хочет, и тут же спешит уйти.

Борис обернулся, девушка расхохоталась, выкрикивая:

— Тоже мне солдат! Ждет, когда к нему девчонка подойдет. — Захлопнула калитку: — Приходите завтра, я Надю позову.

В расположении роты опять гудеж — на линейке плясали. Борис бросился в круг, давай смешно топтаться, нажевывать морковь, подпевал на свой манер:

*Гэх, Андрюха,
Нам ли быть в печали,
Бери гармонь, играй на все лады,
Чтобы горы заплясали,
Старшина рассыпал сухари...*

Рота хохотала, старшина зычным голосом спросил Леготина:

— Где морковь взял?! В самоволке был?

Рядом с Борисом оказался повар с открытым от хохота ртом. Леготин сунул ему в рот огрызок морковки:

— На, за котелок каши!

Тут и старшина прыснул, резко махнул рукой, дескать, ну тебя к черту. Так и не наказав шкодника, ушел с линейки.

Перед встречей с девчонками мы впервые в жизни сбрили пушок со щек. С тех пор, как разведчикам разрешили иметь прическу, прошел месяц с лишним, и теперь на наши лбы нависали косые челки. На этот раз отправились в деревню с разрешения старшины.

В ограде Люба крошила на столике лук.

— Здорово живем! — гаркнул я.

— Здравствуйте, — приветливо ответила она. — Заходите в хату, скоро Надюшка придет.

В старенькой избе было чисто. В русской печке на горящих синим огоньком углях бурлил чугунок с картошкой. Стол был уставлен овощной едой: лук толченый, свежие огурцы, редиска.

Мать Любы говорила:

— Хлеба у нас нету, лепешки из тертой картошки с отрубями, — вывалив из чугуна картофель в глиняную чашку, предложила нам сесть за стол. Мы, немного помедлив, сели. Нади не было. Люба молчала, зато мать говорила без умолку:

— Дюже много у нас было в селе парней, веселье — у-у-ух! Как заведет, бывало, Митрофан граммофон да высунет трубу в окошко, даже в Тиме было слышно. Еще у одного патефон был, а учитель наш на самокатке ездил, забыла уж, как называется... Ну ладно, я пойду, а вы ешьте, ребятки, ешьте!

Я с разговором ел, не стеснялся, Борис же как-то неуклюже сидел, потел и молчал, отчего Любе было не по себе, и она выскочила из дома.

— Тюлень! — обозвал я его.

— Не ори, услышат! Придет, заговорю. Ежели нет, уйду! К черту любовь!

— На кой хрен ты тогда на свете живешь?

— Не знаю!

— Ты же никогда в карман за словом не лезешь! Болтай языком так, как ты среди нас, солдат, болташь. И осмелешь. Заговоришь с ней о том о сем, потом и о любви чо-нить скажешь. Потом схватил ее, как «языка», — и в кусты.

В открытое окно донесся голос Любы:

— Ну где ты, Надя, ребята пришли?!

Борис рукой цап из тарелки ломтики огурцов, давай их нанизывать на вилку.

— Это Наде, она проще Любы! — И как только Надя показалась в дверях, он заторопил ее: — Скорее, скорее! — протянул руку с огурцами. — Ешь, пока Кешка не спал!

— Вот он почему молчал? — ревниво сказала Люба и, подойдя к нему, бесцеремонно шлепнулась рядом с ним на скамейку. — Давай! — вырвала у него вилку и поднесла к его рту. — Ешь, а то скоро увольнительная твоя кончится.

Надо было оставить их наедине, и мы с Надей ушли...

К вечерней поверке Борис не явился, и старшина спросил меня:

— Где скоморох?!

— Не наказывай, человек впервой полюбил! — взмолился я, но старшина на этот раз дал Борису два наряда вне очереди.

Чем сильнее сгущались сумерки, тем меньше слышался говор в палатках разведчиков. Вскоре только и слышались знакомый топот Леготина и его частые оклики: «Стой, кто идет?» Оклики раздавались то близко, то далеко, потом он то и дело кого-то окликал у повозок старшины.

Гриша Доброхотов давно уже спал, а я все еще нет. После каждого выкрика Бориса заострял слух, но ничего не слышал, кроме храпа солдат. Леготин мстил старшине за наряд вне очереди, своим криком не давая ему уснуть, чем вывел его из терпения:

— Ты что тут орешь? Вон отсюда!

Грозный голос старшины разбудил Доброхотова. Послышался шум, недовольные голоса, и снова ночная тишина.

— Сейчас к нам приползет. Ни слова с ним, — предупредил Гриша.

Так и случилось. Караул в лице Леготина, кряхтя, присел у наших ног, забурчал:

— Усни только, усни!.. Я покажу, как солдата наказывать!

Мы молчали, но он чувствовал, что мы не спим, ворчал:

— В Старой Покровке его же наряд вне очереди отбывал! Вот так же не давал ему спать. Сел на завалинку его фатеры и кричал: «Стой, кто идет! Стой, кто идет!» Потом не помню, как задремал. Во сне деревню вижу, коров пасу. Пестренький телок бодает меня, сбивает с ног, ухо сосет. Да так больно сосет! Потом сдал назад и опять ка-ак саданет! Не могу очухаться от боли, а он опять меня... Но это уже не во сне, а разводящий! И ухо-то он же тербил, не мог разбудить и давай пинать.

Борис взял мои сапоги и, положив их под голову, окликнул: «Стой, кто идет?»

И так, периодически подстраховывая себя, выкрикивал: «Стой, кто идет! Стой, кто идет!» — и уснул.

Рано утром раздался мощный голос дежурного по роте:

— Тревога!

А я сапоги найти не могу.

— Рота, становись! — поднялся треск, шум, топот. Солдаты отовсюду бежали к линейке на построение. Когда прозвучала команда «равняйся!», то я, выбрасывая ноги, как козел, помчался к строю, врезался в него и замер. Лейтенант Рубанов с красной повязкой на рукаве доложил капитану Быкову о боевой готовности роты и четко отступил влево.

— Я босиком! — выкрикнул я.

— Что-о? — не понял командир.

— Босиком я! Положил сапоги у ног — и нету.

В строю зашушукались, кто-то захихикал негромко. Командир шагнул ко мне, уставился на мои босые ноги, оглядел с ног до головы, и его разные глаза забегали по строю:

— Кто взял сапоги?! Что за шутки?!

Никто не ответил. Да и какой смельчак мог бы ответить, если бы и подшутил: командирский взгляд был настолько суров, что дежурный по роте промолчал, когда Быков вопросительно взглянул на него. И опять оглядел меня с босых ног до головы. На мне было все, кроме сапог, и он спокойно сказал:

— Иди к старшине.

Я бежал к повозкам старшины, слыша за спиной голос командира: «Немцы пошли в наступление, бросили массу новых танков: «тигры», «пантеры», «фердинанды».

— Это что еще за чудо?! — глядя на меня, удивился старшина Вехляев.

— Сапоги украли! — кричу. — Давай быстро!

— Не я командир, — ворчал старшина, зло вытряхивая тряпье из мешка. — Я бы тебя до Берлина босиком прогнал. Нет сапог! На ботинки! Раззява!

— Снять палатки! — подал команду Быков.

Строй разлетелся вдребезги, и скоро расположение роты было словно разгромлено. Опустевшая роща, на время приютившая нас, стала унылой...

— Становись! — гулко раздался голос дежурного. — Равняйся! Смирно! Песней... разбудить деревню!

Коля Тихонов запел:

*Вставай, страна огромная!
Вставай на смертный бой!*

И рота подхватила:

*Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Священная война...*

Деревня проснулась. Девчонки, парнишки выскочили из калиток, прощально махая нам руками. Бабы, старухи, высунувшись в окна, со слезами провожали нас, что-то выкрикивали, а мы глушили их голоса твердым солдатским шагом.

В районе населенного пункта Нехаево наша дивизия встала во второй эшелон.

27 июля 1943 года радостное сообщение: вожак итальянских фашистов Муссолини смещен с поста главы правительства и арестован! Италия вышла из войны.

— Ура! — радостно кричали мы и с волнением рассаживались в один кружок с офицерами политотдела. Начался прием в компартию.

В небе — бой истребителей. Над расположением роты — вражеские бомбардировщики. В лесочке, совсем близко от нас, взрывы мин.

— Те, кто на бюро, ложись ту-ут! — скомандовал полковник Шишлянников. — Остальные — разойдись! Истребители, поблескивая крыльями, то взвивались ввысь, то заходили один другому в хвост, строча из пулеметов. Все полулежало. Те, кого принимали, сидели. В таком положении рассказывали автобиографию и отвечали на вопросы. Стоять было опасно, обстрел не утихал.

Подошла моя очередь, сердце хочет выскочить. Шишлянников, напрягая голос, кричит:

— С уставом партии знаком?

Я вроде и зубрил его, а от волнения ничего не мог вспомнить.

— Вроде знал! — кричу, бросая взгляд на пикирующий самолет. — Теперь все из головы вылетело!

Комиссар и майор Бондаренко усмехнулись.

— Каким должен быть член партии?

— Не слышу! Оглушило!

— Расскажи о событиях на нашем фронте!

— Наши войска приостановили немцев! На Орловском направлении перешли в наступление!

— С ушами у тебя нормально, а вот с уставом плохо, — слова полковника вогнали меня в краску.

— Давно разведчиком?

— Как дивизия сформировалась...

— Почему вступаешь в кандидаты в члены партии?

Я мог бы сказать почему, но стеснялся. Помолчал, говорю:

— Такого вопроса в уставе нет.

— Ого! Значит, читал устав? — вроде удивился майор Бондаренко. И посмотрел на Шишлянникова: — Есть предложение принять.

Возражений не было. Отправляя меня в политотдел с какими-то свернутыми в трубочку бумагами, комиссар роты наказал:

— Попутно и сфотографируйся на кандидатский билет.

На трофейном темно-гнедом жеребце я во весь опор вылетел из горящей рощи, понесся к подсолнуховому полю, едва не налетев на замаскированные орудия, минометы, повозки. На проселочной дороге дал полную волю жеребцу, и он поскакал с еще большей резвостью, обгоняя и встречая обозы. И так — до самого села. По улице вроссыпь тянулись раненые. Вдоль дороги — забывшие побелку, мрачные хаты... Жилым не пахло. Лишь из окна кособокой хатенки выглядывала медсестра в белой повязке. Поравнявшись с ней, я отдал честь, а она не ответила, даже не взглянула на меня, закрыв створку. Мне нужен был вазелин, и я спешил, зашел в хату.

— Еще раз здорово живем! — говорю. — Дай какую-нибудь мазь. Морда обветрела.

Она, прищуриив глаза от дыма самокрутки, недовольно сморщилась, села за стол и стала торопливо писать. Все существо мое было охвачено чувством радости, и я похвастал:

— В кандидаты приняли, сниматься еду. Лицо надо смазать.

Она кивнула головой на скамейку, что стояла в простенке между окнами:

— Подожди.

Я сел и стал оглядывать хату: деревянные раскладушки торцом к русской печке заботливо прибраны. У двери на гвоздях висят шинели, карабины, медсумка.

— Тьфу! — не отрываясь от письма, она выбросила потухший окурочок. Крепко загоревшее лицо девушки кого-то напоминало мне, я ее где-то раньше видел... И вспомнил! Глубокой осенью я полз с термосом на спине, болячками на коленях, ощущая каждый осколок. От траншеи по нейтралке два-три броска — и горящий танк, в нем наш НП. Перевалил бугорок... Бу-ум! — снайпер прошил мой термос, из пробоины хлестанул суп. Я пополз быстрее: успеть надо, пока жижа не вытекла. Опять звякнула пуля, но уже будто о пустое ведро. Осторожно взглянул я через плечо на термос. Фьюить! — пилотку с головы сорвало. Едва не бороздя землю

носом, заторопился вперед. Ноша на мне становилась все легче. «Надо успеть, успеть! — подгонял я себя. — Ребята голодные». Танк близко, нужен бросок. Сжался, чтобы вскочить. Фьюить! — просвистело надо мной. «Прицел не позволяет, давно бы, черт, прикончил!» Я залег. Снайпер расстреливал на мне почти пустой термос... Солнце на закате, скоро выход за «языком». «Была не была!» — готовясь к броску, подобрал ногу под себя. И тут в ягодицу словно шило всадили; врезалась невдалеке мина, зашуршали осколки, забарабанили по мне комья земли, обволокло дымом.

Самый момент вскочить, но чья-то сильная рука прижала меня к земле.

— Ложись!

Я узнал Доброхотова.

— Ранило?

— Бери термос, в нем гуша! Я в траншею!

Под покровом дыма и пыли я ускользнул от глаз снайпера и с ходу нырнул в траншею. Какое-то время полежал на дне, разглядывая сидящих и лежащих пехотинцев в кровавых повязках.

— Только что ранило, пропустите! — попросился я в санпункт. Солдаты посторонились. В блиндаже медсестра перевязывала раненого.

— Сестричка, кровь надо остановить, — скороговоркой обратился я к ней. Она, искоса глянув на меня, промолчала. Вид у нее был болезненно-усталый. Провалившиеся черные глаза в темных кругах. Закончив перевязку, медсестра тяжело опустилась на табуретку:

— Куда ранен?

— В сидячее место снайпер шваркнул, — ответил я, сбрасывая с себя шинельку. Едва оголив ягодицу, я оглянулся на кровоточащее место.

— Ниже опускай! — скомандовала медсестра, подходя ко мне. Ухватившись за опушку брюк, сдернула их до колен: — Ух, как вы надоели, безусые цыплята! Ты что, к невесте пришел, стыдишься? Не вертись!

У меня руки так и тянулись к штанам, чтобы поддержать их, а она, увидев старую рану на ноге, спросила:

— Уже был ранен? Награды-то есть?

Я не ответил.

— Откроют «второй фронт», глядишь, и война кончится, а ты без медалишки заявишься домой. Как будешь с невестой объясняться? Не поверит, что воевал. Придется штаны снимать в доказательство...

— Не с кем объясняться. Была невеста, да вся вышла...

Вот когда я встретил в первый раз медсестру 548-го пехотного полка Филимонову, которая не раз обрабатывала раны разведчиков нашей роты под Сталинградом. И всегда казалась сердитой, как теперь, в этой хатенке. Перекинув ногу через скамейку, она села на нее верхом.

— Не могу!.. Хотела путное письмо написать, тут ты — как снег на голову... Вазелин понадобился! Сейчас... — Сняв сумку со стены, она порылась в ней и разочарованно сказала: — Обнадежила, нет вазелину.

— Ну ты чо, паря!

— Чего это я вдруг «паря»? Что, на парня похожа? — и она на каблуке сапога пошла винтом по хатке. — Ну-у? Кто я — парень или девка?

Я оглядел ее с головы до ног. Медсестра была в солдатском обмундировании, сильно перетянутом офицерским ремнем.

— Ничо, славная! Я тебя ишо под Сталинградом разглядел, ты не одного нашего разведчика перевязывала. С меня штаны сдирала, о медалях говорила. Сердилась, безусым цыпленком называла.

— Наверно, хныкал! Бывали всякие. Придет с такусенькой ранкой и визжит, — и уже совсем по-другому глядя на меня, сказала: — Иди умойся. Глицерином смажу. К разведчикам я особое чувство имею.

Я умылся и встал перед ней. От теплого ее дыхания и нежного прикосновения рук у меня побежали холодные мурашки по спине. Я смотрел на девичьи сочные губы — они чуть ниже моих. Сестричка, массируя мне лицо, хитро усмехнулась:

— Истосковались по девчонкам?

— Ишо бы...

— По глазам вижу... Все. Валяй!

Из штаба дивизии я возвращался не спеша, плавная качка в седле убаюкивала. Проснулся от ржания и вздрагивания жеребца. Увидев вереницу медсанбатовских повозок, двигавшихся к переправе, я хватанул в галоп. Сухой воздух горячил мне лицо и выхлестывал из глаз слезы. Обгоняя подводку за подводой, я кричал:

— Сторо-ни-ись!

— Куда вперся, леший? — ударился в затылок женский голос. Я обернулся. Рыжеволосая медсестра на повозке исподлобья смотрела то на меня, то на жеребца, рвущегося к ее кобыленке:

— Отваливай со своей клячей!

— Какая кляча! Жеребец! По кобыле стосковался...

Тут и там раздался хохот девушек. Я завертелся. Хоть они и смеялись, но взгляды были неприветливые, даже колючие. Но уходить от причала было сверх моего самолюбия. «Не хватало, чтоб разведчик в хвосте тыловиков тащился!» Гнедой, как назло, цокая о камни подковами, лез и лез к сонной кобыленке, и я вынужден был отвести его в сторону.

В воздухе нарастал гул. Из-за лесной излучины вынырнули «Илы». Они летели низко, уходя от немецких истребителей. Один штурмовик вспыхнул и с дымом пошел к воде. Экипаж повис на парашютах. Пулемет «мессершмитта» ударил по одному из летчиков. Пули врезались в воду.

— Паразит! — раздался крик из какой-то повозки.

Захлопали зенитки. В воздухе разметались клочки серого дыма. Вражеские истребители устремились на скопление обозов и застрочили... Девчонки с визгом бросились врассыпную. Та, рыженькая, только что кричавшая на меня, бежала по берегу в мою сторону. Сидя в седле, я закричал:

— Рыжая! Давай ко мне! Ускачем! — я вылетел из седла, чтобы посадить ее на жеребца, а она в страхе рвется из рук, орет лихоматом...

— В лодку! — прокричал лейтенант, пробегая мимо.

Я потянул ее за руку, толкнул к лейтенанту и отпихнул лодку от берега.

«Мессершмитты», снижаясь один за другим, расстреливали мечущуюся толпу девчонок и лошадей. Вскочив в седло, я направил жеребца в реку. Он взвился на дыбы, прыгнул в воду и поплыл за лодкой. Девушка, сжавшись в комочек, со страхом глядела в небо. Прильнув к гриве, я тоже смотрел на разворачивающийся «мессершмитт». В кабине был виден летчик в очках. Самолет шел на бреющем полете вдоль реки. Лейтенант, выпустив из рук весло, сгорбился. «Мессер» заискрил из пулемета. Лодка качнулась, лейтенант перевалился через борт.

— О-о-о! — с диким криком вывалилась в пузырястый Сейн медичка. Лейтенант тут же схватил ее, другой рукой уцепился за борт лодки. Их пилотки рядышком покачивались на волнах. Берег близко. Я набросил автомат на шею жеребца и плюхнулся в воду к лейтенанту. Он, как Иисус Христос на распятии, не упустил из рук лодку и совсем скрывшуюся в воде девушку.

— Бери, бери скорее! — скомандовал мне. Я взял на руки девушку. Она конвульсивно вздрагивала. Вынес ее на берег, уложил вниз безжизненным, посиневшим лицом, стал трясти...

— Рот разожми! — подсказал лейтенант.

Вынув из ножен кинжал, я разжал зубы девушки, снова ее трясу. Хлынула вода изо рта и носа. Делаю искусственное дыхание, опять трясу... Наконец жизнь в медичке затеплилась...

Мой жеребец, с автоматом на шее, тревожно всхрапывал, цокал копытами о камни. На том берегу — крики, рыдания. Достал бинокль, смотрю. Там кучно горят повозки, бьются раненые лошади. В дыму мелькают люди. Кто-то кого-то перевязывает. Два солдата еще не натянули палатку, а медсестры уже закатывали в нее сельскую телегу с широкой площадкой, другие затаскивали длинный стол и вносили раненых. Хирурги готовились делать операции: мыли руки в реке.

Лейтенант все еще не мог прийти в себя и нервно топтался над спасенной медсестрой. Он даже не спросил ни о чем, когда я покидал их...

Второе августа 1943 года. Стоял ясный день. Мы, разведчики, находились в ожидании боевого задания на НП командира дивизии Макарова. Неподалеку в кустарнике стояли «виллисы» генералов Конева и Мангарова. Пятерка «юнкеров» заметила их и давай бомбить. Одну машину разнесло, кого-то ранило, убило.

— На кой хрен принесло сюда этих генералов! Солдат демаскировать! — возмущался Борис Леготин.

И тут из-за угла траншеи вынырнул Конев, ответил сердито:

— Только хреновый солдат может так сказать о своем генерале!

Мы все вскочили, козырнули, а Борис говорит:

— Виноват, товарищ генерал! Но солдат я вроде ничего, сталинградской закалки, — выгнул он грудь.

— Молодец! — похвалил Конев. — Но больно уж язык длинный.

— А вы, товарищ генерал, вломите своим шоферам! Они не замаскировали машины — обленились, придурки!

Конев и за ним свита офицеров отправились вдоль траншеи, а сопровождавший их комдив Макаров остановился перед Леготиным:

— Я тебе язык вырву! Как ты смел так говорить?!

— Он простой и не в генеральской одежде!

Злые глаза Макарова забежали по мешковатой фигуре Леготина:

— Разгильдяй! На чучело похож!

— Я нарочно делаю из себя доходягу! — Леготин по-стариковски пригнулся. — В таких фрицы не стреляют. Чо, дескать, на него пулю тратить, сам на ходу подохнет. — Кивнул головой на высокого курсанта: — Вот таких «фраеров» с подшитыми воротничками с хода бьют! За офицеров принимают.

Леготин был прав. Бывало, зимой под Сталинградом, чтобы вылезти из ровика поразмяться, согреться немного, наши пехотинцы шли на хитрость, делали из себя «доходяг» и, как бы с трудом выбравшись из земли наружу, спотыкаясь, падали, долго шаршились в снегу, вроде от бессилия не могли подняться. Немцы, конечно же, все это видели и не стреляли в таких. Возможно, они так и думали, как Леготин толковал Макарову: «Что на доходягу пулю тратить, сам подохнет». А «доходяга» в это время пошаршился в снегу, поднялся, потоптался — поразмял тело и опять в ровик. А попробуй, вылети пулей из окопа, сделай перебежку — снайпер в момент

уложит тебя! И Борис Леготин понял эту солдатскую хитрость под Сталинградом. И тут, на Орловско-Курской дуге, он среди нас, одетых в новенькие цветастые маскхалаты, ходил в старом изодранном маскхалате нараспашку: одна гача штанины поверх голенища сапога, другая заправлена в голенище.

...Последний вечер перед генеральным наступлением наших войск...

В воздухе серая муть, а на дно траншеи уже опустилась ночь. Хотелось уснуть, но сон не брал. Чем ближе становилось утро, тем сильнее тревожились ребята. Многие из них сегодня получают первое боевое крещение. Даже Леготии не спал, а уж на него давно ничто не действовало.

Оставался час до начала артогня. Было тепло, но нас знобило.

— Который раз иду в бой, но всегда трясет, — говорил Саша Сидоров, — холодный пот по спине. Только выскочу из траншеи — ничего не чувствую. Порой даже не помню, как и в атаку ходил.

В траншее почти все разведчики новички: новосибирцы, алтайцы, вчерашние курсанты пехотного училища, многих я еще не знал пофамильно. Командир второго взвода лейтенант Вася Песков тоже впервой пойдет в атаку. Он незаметно смотрит то на одного, то на другого разведчика. Я-то знаю, пытается угадать, боится ли кто из его подчиненных так, как боится он, командир. Тревога на лице не пыль — не смахнешь рукавом шинели. Высокий паренек Вася Гребенюк, задравши голову, глядит в небо, а нога его, согнутая в колене, предательски подрагивает. Он первым из курсантов принял вчера боевое крещение.

— Что, Вася, — спрашиваю его, — будущее тревожит?

— Все вместе. Что будет через час, и вчерашнее из головы не выходит.

Иду дальше по траншее. Василий Бучнев, старый солдат с порванной ноздрей, курит большими затяжками. Я подошел к кромке траншеи. Нейтральная полоса в сплошных воронках, в случае чего есть куда завалиться. Заранее прокладываю глазами путь: от воронки до воронки, от вывороченного с корнями дерева до кустарника, изрубленного осколками. Там разбитые пушки, горелые танки и траншеи.

Последние минуты до артподготовки! И так же, как под Сталинградом, в затылок нам с визгом зашумели «катюши», грохнули сотни пушек. На вражеской передовой вздыбились черными столбами взрывы.

Откуда ни возьмись, вскочил к нам в траншею командир роты Быков:

— Десантом — на танк! Ворваться, взять «языка» и на КП к командиру!

За «языком» мы хаживали, ходили с пехотой в атаку, вели разведку боем, встречались лицом к лицу с разведкой неприятеля. Но, как ни были обстреляны, а приказ о танковом десанте — не шутки. Мы знали, как обрушивается на него огонь. По танкам бьют из всех видов орудий, бомбят с самолетов, по десанту хлещут из пулеметов, автоматов... Словом, предстояло еще одно смертельное испытание.

После двухчасового артогня командир подвел нас к остановившемуся танку «Т-34», и мы в один миг облепили его. Танк, мелко содрогаясь, тронулся вперед.

Дым, пыль, ничего не видно. Танк стрелял на ходу и вдруг резко тормознул, «выскользнув» из-под нас. Я полетел словно в пропасть, ударился о землю, но тут же вскочил.

— Ложи-и-ись! — крикнул кто-то, сбив меня с ног и рванув за собой в воронку.

Что-то черное, гремящее накрыло нас. Понимаю — танк. Чуть не раздавил. Мы под ним, он стреляет. Кто со мной — не знаю, спрашиваю:

— Кто!?

— Пропали!

Узнаю по голосу Максимова. С его стороны узкий просвет, не выбраться. Танк газует, мы захлебываемся дымом, кашляем, из глаз текут слезы. «Подожгут, заживо сгорим!» — стучит в голове мысль. Закрываю лицо ладонями, прислоняюсь к Володе. Чувствую, танк перегазовывает и трогается с места. Над нами свет! С трудом выбираемся наверх. Не пойдем, в какой стороне наши. Всюду взрывы, ничего не видно. Смотрим друг на друга — пилоток на головах нет, у Володи во взерошенных волосах земля, кровь.

— Ура-а! — слышу крик, но не пойму — позади или впереди. Танк, на котором мы ехали, стоит без гусеницы, накренившись набок. «Вот почему он «выскользнул» из-под нас». Чуть дальше горит еще один «Т-34». По-видимому, тот самый, что чуть не раздавил нас.

— Туда! — крикнул Максимов, протыкая воздух стволом автомата. Бежим, догоняем и обгоняем танки, в дыму маячат фигуры людей. Они бегут навстречу, угадываем своих по зелени маскхалатов: новичка Васю Гребенюка, Колю Серова, Устьянцева, Дубова. Ребята уже с «языками» и поспешно отходят с передовой.

Прыгаем и мы в траншеи противника. На дне валяются контуженные немцы. Выбираем тех, кто поживее, выкидываем наверх семь человек, ведем в штаб дивизии.

Передовые части продвинулись далеко вперед. Мы шли вдогонку.

Картина минувшего боя страшна. В роще между селами Раково и Журавлиное — немцы. Контратакуя нашего правого соседа, они применили огнеметы и пожгли пехоту. В районе шоссе Курск — Харьков гитлеровцы, пытаюсь вернуть высоту, пустили в ход огнеметные танки, но наша артиллерия подавила их шквалом огня. На второй день наступления мы вышли из второй полосы обороны, с которой они начали Курскую битву.

Дымная темная ночь поглотила все живое и мертвое на земле. Такая ночь хороша для разведчиков, но не для таких усталых, как мы. Едва волочим ноги, то и дело запинаемся, отступаемся, падаем.

— Стой! Кто идет?! — словно из-под земли вырвался голос.

— Свои! Разведчики, — отозвался сержант Гена Зайцев и мигнул фонариком. У самых ног его промаячила голова часового. — Передохнуть есть где?

— Прыгай ко мне, — предложил тот.

Зайцев лучом фонарика прорезал темноту под убогой крышей щели.

— Незавидная у вас служба, — сказал пехотинец.

— А у вас лучше? — Зайцев осветил его чумазое лицо: — У тебя даже уши в земле. Будто кто наступил. Что это немцы притихли?

— С вечера был какой-то шум. Видно, отходили.

Ощупывая ногами землю, снова двигаем вперед, приближаемся к лесу, вдыхаемся в темноту. «Не попасться бы в ловушку», — палец на спусковом крючке автомата. Ложимся рядком, ползем — трава росистая, колени и животы мокрые.

— Чесанем по лесу, — шепчет Зайцев, — узнаем, есть ли нет кто.

Вползаем в лес. Тут еще темнее. «Из-за лесин выскочат и схватят!» — пронеслась мысль. Прислушиваюсь.

— Тихо! — прошептал Доброхотов. — Немцы боятся леса.

— Встать! — вполголоса скомандовал Зайцев. Вода перед собой автоматами, осторожно пробираемся между деревьев, под ногами хрустят сучья. Выходим из леса, идем по пахотному полю. Тут меньше дыма, видны воронки. Ни выстрела, ни ракеты.

— Неужели они далеко отошли?

— Черт знает, может, тут где-то притаились!

На востоке уже брезжит рассвет, а мы все еще не можем обнаружить противника. То идем, то ползем. Перемокли от росы, в сапогах чавкает.

— Кхы, кхы! — донесся откуда-то кашель.

Лежим над балкой. Кашель раздается снова, но где — непонятно. Сползаем в балку. В ней пустые ящики из-под мин. В ровиках никого.

— Кхы, кхы! — опять кашель.

Все четверо, пригнувшись, крутим головами. «Где же ты, чахоточный?» — злясь, я направился к завалу ящиков, и вдруг передо мной вырос мальчишка. Одно мгновение — и его рот под моей ладонью. Слегка прижимаю его хрупкое дрожащее тело к земле, в упор смотрю в его тревожно бегающие глазенки:

— Не бойся! Свои! Немцы есть в балке? Не вздумай орать! Не то капнут тебе!

Парнишка еще сильнее таращит на меня глаза. Трясущейся рукой взялся за кисть моей руки, освобождая зажатый рот:

— Немае нимцев, воны в селе, тут тильки мы, — заикаясь, выдавил он.

— Кто «вы»?

— Хлопцы!

— Зови!

Мальчик тут же, сунув в рот пальцы, свистнул. Нас обступили босоногие парнишки. Перебивая один другого, рассказали:

— Мы бродяги! наших поубивали в Харькове. Год не можем перебраться к русским.

— Вчера немцы детей хватали — и в погреб. Мы — тягу. Партизан воны все шукуют.

— Далеко село? Ведите быстро!

Ребята ринулись вперед.

— Куда?! — осадил их Зайцев.

Они присели. Чумазый пленник через подсолнухи привел нас к огородам:

— Бачьте, трохи вправо лохматая крыша, тамочки пидвал. Дити в ним. Нимцы туда соломы впахали... Пидберемся до хаты, шо под червоной крышей, там бабка Агапка живе, про нимцев дознаемось.

Уже совсем рассвело. В селе тишина. Окно хаты Агриппины занавешено темной тряпкой. Пленник наш, осторожно постукивая в окошко, окликнул:

— Бабусь, бабусь!

Прильнув ухом к стенке известковой хаты, слышу скрип половиц.

— Кто?! — раздался испуганный голос.

— Бабусь, это я, прибудный Колька! Впусти! — дернув меня за маскхалат, он шмыгнул за угол. Я — за ним. Зайцев уже на крыльчке, Ненашев — за срубом колодца, Доброхотов стриганул за калитку. Едва приоткрылась дверь, как Зайцев нырнул в хату, мы следом.

— Наши! — крикнула старушонка. — Немцы отходят! — Она подбежала к окну, ткнула пальцем в стеклину: — Тикають... звери, тикають!

В переулке стоит полосатая «танкетка». Два немца отходят от нее к плетню. Мы выскочили из хаты и тут же почувствовали запах гари.

— Запалилы! — провизжал мальчик. — Пидвал запалилы! — Ненашев и Доброхотов бросились за ним, мы с Зайцевым по огороду в обход «танкетки». Застрожил немецкий автомат. Поднялся куриный переполох. Немцы расстреливали кур, один собирал их — беру его на мушку.

— Подожди, следи за мной, — сказал Зайцев и скользнул за угол беленой хаты. Он вынырнул в ограде, позади строчившего по мечущимся курам немца, взмахнул автоматом. Я нажал на спусковой крючок. Хлопнул выстрел, немец с трепещущей

курицей в руках упал, другой был под Зайцевым. «Танкетка» с открытым люком по-прежнему стояла в переулке, работая на малых оборотах. Перемахнув через изгородь, я вскочил на «танкетку», сунул в люк гранату, спрыгнул. Машина вздрогнула от взрыва... И опять мы с Зайцевым несемся по огороду. Бежим на дым, куда вожак мальчишек увел пару разведчиков. Слышится рев женщин:

— Ме-ертвый!..

Перемахнув через забор, вижу кишаших в дыму людей. На земле горящий человек переваливался с боку на бок. В душераздирающих криках улавливаю голос Доброхотова:

— Воды-ы!

Врываемся в толпу детей и женщин. Хватаю горящего за пылающую одежду, рву, он вскакивает.

— Воды, воды! — кричу, разбрасывая клочья огня. От моих рывков он то вскакивает, то падает. Кто-то окатывает его водой.

— Мы-ы-ых! — орет он.

Опять хлещут на него воду.

Раздвигая толпу, пробираюсь к погребу, и тут из его черной пасти вырывается столб огня.

— Генка! — кричу. В огненном столбе узнаю Ненашева. Хватаюсь за его горящий маскхалат, у него ребенок на руках.

— Мертвый! — взвыла баба, хватая ребенка.

— Воды, воды!

— О-о-ой!

Из погреба вынырнул Зайцев, тоже с мертвым ребенком.

— Дядька, дядька! — дергая меня за маскхалат, кричал чумазый мальчишка, наш «пленный». — Немцы, немцы! — и бросился бежать.

— Где?! — с гурьбой ребятишек я кинулся вдоль улицы. Из переулка выкатилась легковая машина с открытым верхом. Даю по ней длинную очередь. Она, круто свернув влево, скрылась за садом.

— Вздернули, вздернули! — заорал позади мальчонка.

— Где, кого вздернули? — спрашиваю.

— Партизана вздернули! За мной!

И снова шлепоток босоногой гурьбы. На пути встречаемся с Генкой. Он без пилотки. Припаленные волосы стали рыжими. Лицо красное. Без слов бежим за мальчишкой. Конец улицы безлюден. Казалось, даже хатки притаились в своих усадьбах.

— Висит!

— Партизан висит! — раздались тревожные голоса детей.

За плетнем на суку яблони висел человек. Выдергиваю из ножен кинжал и с ходу цепляюсь за сук. Геннадий охватывает уже окаменевшее тело казненного, держит его, кладет к стволу дерева. Ребятишки боязливо пятятся. Откуда-то доносится женский плач. Смотрю в окна. Они в черных пятнах. Иду к крылечку, открываю дверь.

— Ой! — запах крови шибанул в нос. Едва переступаю порог:

— Генка! Убиты! — замельтешило в глазах.

«Не упасть бы, подо мной кровь». Закрываю глаза. Слышу шаги, Генка сопит в затылок. Постепенно овладеваю собой, открываю глаза. Под столом две мертвые девочки. Рядом женщина с обнаженной грудью и девушка, уткнувшаяся в стенку головой. Посреди избы массивное тело седобородого старика с распахнутыми полами холщового пиджака.

— Звери! — шепчет Гена.

И тут где-то пискнуло. Вглядываюсь в красное от ожогов лицо Геннадия, прислушиваюсь. Гудит в ушах. Оторвав ногу от кровавого пола, оставляя за собой следы, иду к кухне. Открываю подполье, там темно.

— Хальт! — от собственного голоса вздрагиваю, чиркаю пальцем по ладони — спичку прошу, а у самого фонарик на поясе. Генка, издали протягивая руку, бросает коробку. Догадываюсь, что в подполье немцев быть не может, но пистолет наготове. Освещаю спичкой, опускаюсь. В подполье сыро, тянет гнилью. Выбираюсь наверх.

Геннадий, стоя на одной ноге, грозит пальцем:

— Ти-ишь... что-то опять пискнуло, — подходит к трупу старика, опрокидывает его. Под ним ребенок...

Идем вдоль широкой улицы. Ребенок, уткнувшись в плечо Гены, плачет. Гурьба парнишек то позади нас, то забегает вперед, заглядывает в лицо мальчика. На повороте в переулок встречаем женщину с взъерошенными волосами.

— Тетка, возьми мальчонку!

Она взглянула на окровавленного сиротку, всплеснула ладонями:

— Ой, куды ж я с ним! — и поспешила от нас.

На скамеечке плачут старухи. Подходим к ним:

— Возьмите! Сегодня к вам Советская власть придет, отдадите.

Низенькая старушка с крохотными глазами по-матерински приняла от Гены ребенка...

В оgrade, где мы уложили одного немца, другого, оглушив, связали, толпились люди, кричали:

— Убить, убить!

— Повесить фашиста!

— Казнить паразита!

Старик в холщовой рубахе с трудом отталкивал наседающих на гитлеровца женщин:

— Уйдите, не лезьте, вам говорят! Уйдите!

— А ну! — кричим, разводя толпу руками. — Пропустите!

И тут передо мной встала старушка со скорбными глазами. «Как мама», — подумалось мне.

— Сынок, отомсти за детей, — с трудом выговорила она. — Отомсти... Убей гада.

— Нельзя, — объясняю. — За самочинство осудят, — с трудом проталкиваюсь с немцем через густую толпу людей...

Вечером мы приближались к притихшим траншеям противника. Всего один пулемет строчил, охватывая огнем обширную полосу. Меня слегка ранило в руку. Стали обходить его справа, и вдруг — едва не в лоб нам — забила автоматическая пушка, разрывные снаряды звучно рвались, на лету хватая травку. Не дай бог попасть под ее огонь. Заденет рукав гимнастерки — руку пополам, штанину — ноги не будет. А если волосы на голове, так прощай, Родина, — черепа лишишься.

— Вправо, — шепнул лейтенант Рубанов, — в обход с тыла, немцы отходят.

Поползли над скатом поросшей кустарником балки. Под руку попал телефонный кабель.

— Не выпускай, действуйте с Максимовым и Зерниным, мы прямо к Белгороду, — сказал Рубанов. Телефонный провод привел нас к землянке. Дверь настезь, чувствуется запах табачного дыма. Переглянулись. Зернин стволом автомата пробил стеклинку, и мы с Максимовым влетели в блиндаж, осветив его фонариками.

Немецкий солдат вскочил с нар, поднял руки:

— Рус плен! Дойче марширэн, — топтался он перед нами, махая руками, дескать, уходят. И подал нашу листовку. — Рус плен, — хлопнул он себя по груди.

— Доброволец? — спросил я, тоже хлопая себя по груди. — К нам в плен?

— Я, я! Плен.

«Язык» есть. Нужно быстрее доставить его к капитану Баранову. Зернин увел пленного, мы с Володей по кустарнику, по дубняку в балке пробираемся к пушкарю. Кровь просочилась через бинт, перевязывать некогда. Выходит солнце, надо успеть до наступления наших схватить немца, он беспрестанно в полукруг лупит из автоматической пушки. Снаряды, хватая верхушки дуба, оглушают нас. Выбираемся на пахотное поле. Ползем по нему по-пластунски. Вдруг видим взлет красных ракет впереди немца. На поле неожиданно высыпала наша пехота, загремели оружейные выстрелы, град пуль прижимает нас к земле.

— Опять попали! — кричит Максимов. Я тут же вспомнил, как под Сталинградом пехотный командир чуть не задушил меня: «Ах, гад, перемахнуть хотел!» И сейчас случайно пристрелить могут.

— Снимай маскхалат! — догадался я.

— Думаешь, по обмундированию узнают?

Снимать некогда, пехота идет размашисто. Немец молотит по нашим. Взмахваю рукой, и мы выскакиваем. И только нам оседлать ганса, как он отрывается от пушки... Сталкиваемся с ним! Бьем по морде, как научились бить на тактических занятиях. Все! Теперь смерть только от своих... Они идут валом, поливая свинцовым градом. Хоть руки поднимай...

— Свои! Свои! — орет.

У разбитого дерева, что над обрывом балки, какой-то солдат стреляет в нас.

— Твою мать!.. — кричу во всю солдатскую глотку. Надеюсь, что наши услышат — отрывистый мат в любом шуме выделяется. И в самом деле — услышал тот солдат, замахал рукой, дескать, свои. Бросился к нам:

— Мать честная, хоть промахнулся! Издали вы на фрицев похожи! Такие же зеленые, как они.

Группа солдат направлялась к пушке. Немец, слышав тяжелые шаги, съежился, вздрагивая всем телом. Боясь за него, мы с Володей сели на него верхом — пехотинцам наплевать, что он наш «язык», раз стрелял по ним. Но они только враждебно взглянули на нашу добычу и прошли мимо.

Максимов повел немца в штаб, я пустился вдогонку за своей группой в Белгород.







ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВ

***В СОРОК ВТОРОМ
НА ТИХИХ ПЛЁСАХ
ЛЕДОЛОМ НА АНТАРЕ***

Рассказы

В СОРОК ВТОРОМ

О том, что мне повезло, я узнал в санбате.

— Ты — счастливчик, — сказал хирург и показал осколок. — Чуть левее — и похоронная. Возьмешь на память?

Я помогал головой — осколок, сделавший меня счастливым, шмякнулся в таз.

Кончив с одной рукой, хирург запустил скальпель в правое плечо — туда ударила разрывная пуля...

Длинный состав, изрешеченный бомбежками и обстрелами, уносил нас от грохота передовой. Брезентовые койки, поднятые над нарами на разношенных стальных пружинах, хлестались о доски. На остановках разносили сухари и чай. В дверных проемах возникали костяки сгоревших станционных зданий, — кирпичные трубы нацелены в небо, как зенитки.

Потом нас пересадили в оборудованные пассажирские вагоны — санитарный эшелон. Здесь уже не было бешеной тряски, от которой перебалтывались внутренности. Утром приходил врач; три раза в день давали горячую еду.

Ночью повсюду затемнение. Незнакомые станции проплывали в мутных потемках, как развалины древних городов, неясно проглядывались висящие над путями виадукки.

И вот наконец последняя остановка — эвакогоспиталь. Он в бывшей школе, в двухэтажном деревянном корпусе. В классах вместо парт — железные койки, поставленные тесно, впритык. С двери операционной не снята еще старая табличка «Учительская». Два стола во всю длину накрыты больничными клеенками.

Засохшие бинты сдирают с меня, как кожу. На другом столе заканчивают операцию. Раненый лежит на спине, заостренный нос поднят кверху, на лбу блестят градинки пота. Парень скосил глаза в мою сторону, делает попытку улыбнуться. Его вид успокаивает меня: раз после всего этого можно еще улыбаться — значит, не так страшно.

Из стерильника на электрической плитке сестра пинцетом вылавливает шприц. Женские лица в марлевых масках склоняются надо мной.

Скальпель вонзается в спину, онемевшую после уколов. Волна боли приходит изнутри — я едва пересиливаю крик. Пот течет по лбу, сестра вытирает его ватными тампонами. Скальпель проникает глубже, и я отчетливо слышу, как левая нога отделяется от тела.

— Доктор! Зачем отрезали ногу? — кричу я. Женщина, склонившаяся надо мной, беззвучно смеется. Я догадываюсь: нога цела — мне только кажется, будто ее отрезали. Потом меня опять пеленают бинтами, а на соседний стол кладут новенького. Он морщится и боязливо смотрит на меня. Я изо всех сил улыбаюсь ему.

В палате восемнадцать коек. Мне досталось место у стены. Лежать я могу только ничком, в одном положении. Под правую руку приспособили стул с подушкой. Рука в пудовых намотках бинтов наполнена болью.

Мне видно дверной косяк и полукруг голландской печи, выступающий из стены. По черной масляной краске гвоздем нацарапаны матерные слова. Их пытались закрасить. Под ними тригонометрические функции. Я еще помню их — меня взяли в армию из десятого класса, а теперь уже не забуду никогда: целый месяц только они и были перед глазами.

Заживающие раны зудят и смердят. Тошный сладковатый запах наполняет госпитальную тесноту. Но к нему быстро привыкаешь, а вместе с гноем из ран уходит боль: колодину-руку в бинтах можно передвигать, она уже не мучит непрерывно.

В иные дни у нас по-настоящему весело. Если не считать дыр от осколков и пулевых пробоин, все мы совершенно здоровы.

«Женихи! Ломовые жеребцы! Лоботрясы!» — зовет нас хирург. Он употребляет и другие слова, похлеще, но ему прощается все. Его большие глаза, заслоненные стеклами очков, совсем не злы.

В изножье моей кровати — койка капитана Зуйцева. Нас разделяет тумбочка. В ней Зуйцев держит свои вещи: бритву, ремень с португееями, кобуру от пистолета... Мне хранить нечего, все мое имущество на мне, да и оно казенное.

Капитан Зуйцев — из числа выздоравливающих. В дни, свободные от перевязок, ему даже разрешают уходить в город. В палату он возвращается за полчаса до отбоя, на тумбочке его ждет остывший ужин, накрытый тарелкой. Капитан берет пайку хлеба, остальное предлагает кому-нибудь. Охотники находятся: госпитальная норма не очень велика.

— Сыт, братцы, во как, — говорит Зуйцев и начинает раздеваться. Мне не видно его, слышно только, как скрипит кровать.

— Надо же, нашлась дура: кормит и поит, — это из дальнего угла подает голос пожилой лейтенант с простреленным бедром.

— Есть, стало быть, за что кормить, — подначивает Зуйцев. — Тебя вот ни одна баба не станет кормить. Какой от тебя прок? Заморыш. А я мужчина в самую пору, только и делов — рука на подвязке. Так это не помеха...

— Повязку мог бы давно бросить — симулируешь.

— Ну, ты, саперная лопата, много понимаешь! Тебе бы мою пробоину, там бы и остался...

Костыли мне подобрали по росту, и я начал понемногу ходить. Мир увеличился до размеров школьного здания. В коридорах тоже стояли койки. На них почему-то сплошь лежали раненые в руку. Белые гипсы, словно неудачные макеты рук, торчали над кроватями во все стороны.

В нижнем зале был небольшой бильярд. С самого утра на нем щелкали металлических шарами, но владеть кием мне еще не под силу. Зато здесь я познакомился с шахматистом Коломейцевым из седьмой палаты на нижнем этаже. Несмотря на разницу в двадцать с лишним лет, мы подружились.

Встречались мы с ним еще до завтрака. Утром возле школьной ограды — стоящий рынок, полно торгующих женщин и ребятишек, а у нас с Коломейцевым одинаковые вкусы: из дневной нормы мы выкраивали по пайке хлеба и обменивали на молоко.

Коломейцев в линялом байковом халате, надетом на один рукав — правой руки у него нет по локоть, — раньше всех выходил на крыльцо. Матерчатые тапочки на босу ногу, из-под халата видны кальсоны, штопором закрученные вокруг ног. Госпитальная форма солдат — халат и нижнее белье; только офицерам выдавали защитные хлопчатобумажные костюмы.

Потом появлялся я.

— Привет выздоравливающему! — Коломейцев улыбался мне и салтовал здоровой рукой.

Вместе мы шли к забору. В пазы между планками штакетника ребятишки просовывали руки с бутылками. Торговля велась деловито и скоро: в любую минуту мог появиться начальник госпиталя и разогнать базар.

До войны Коломейцев преподавал математику в средней школе. Сейчас он тренировал левую руку. Он и мне советовал заниматься вместе с ним: учиться писать и есть левой рукой. Я считал, что мне это ни к чему; домой я отправил телеграмму: «Жив, здоров, переменял адрес», — а есть левой рукой начал без всякого обучения.

Мы заканчивали матч из десяти партий. Мне нужно было выиграть: тогда счет стал бы не совсем позорным для меня.

— Здравствуй, лейтенант, — услышал я. — Ходишь? А как же твоя отрезанная нога?

Надя, дежурная сестра по первому этажу, стояла рядом. Раненые в палате наострили уши: все уверены — сестра вспомнила забавный случай. Я разозлился: кому хочется, чтобы над тобой смеялись? Надя виновато улыбнулась.

— Не гогочите. Сами-то герои от перевязки до перевязки. Он, если хотите знать, на операции даже не закричал ни разу. Не то что некоторые.

Она переступила через мои костыли. Я молча проводил ее глазами — мне было приятно, что она похвалила меня.

Два-три раза в неделю бывает кино, и от госпиталя до клуба — рукой подать. Правда, уходить со двора можно только по разрешению, но правило это — чистойшей проформа: кроме ворот, где стоят часовые, на задах госпиталя в полуразвалившейся ограде — около десятка старых ребячьих лазов. Госпитальное начальство на отлучки раненых смотрит сквозь пальцы: лишь бы к отбою возвращались.

Клуб в бывшей церкви. Колокола и крест сняты с нее лет десять назад, но церковь поставлена на высоком месте, она и без верхней маковки, без креста господствует над городишком. Вокруг нее, на пыльном пустыре, сгрудились все главные здания: милиция, нарсуд, два магазина, ларьки и парикмахерская. Дошчатые тротуары настелены рядом с домами. Перед магазинами коновязь и деревянные лотки на вбитых в землю кольях. Вдовушки и солдатки торгуют здесь малиной.

Больше половины зрителей — раненые. Сплошь одни халаты, под которыми застиранные кальсоны, пожелтевшие от частых пропариваний в вошебойках. На билетах места не указаны — кто где займет.

На этот раз я пришел рано и захватил середину скамьи для себя и для Коломейцева, если он надумает пойти, — по вечерам его сильно мучила култыга. Я оставил ему с полстакана малины. Бумажный пакет из листа ученической тетради размок, ягодка угрожала растечься по моему карману сладким сиропом.

Народу набилось полно, вот-вот должны были начать сеанс. Коломейцев все не приходил, и я хотел уже убрать со скамьи костыли, когда в проходе у стены увидел Надю.

— Надя! — крикнул я. Она долго не могла понять, кто зовет ее, заметила меня, только когда я поднял костыль. Села на краешек скамьи: боялась задеть мое плечо. Когда погас свет, прошептала:

— Ты не сердись на меня? Я тогда не хотела тебя обидеть — так сорвалось. Когда тебя оперировали, я дежурила в операционной.

Значит, она и есть та самая сестра в марлевой повязке, которая тампоном вытирала с меня пот и пинцетом выуживала из стерильника шприцы.

— У тебя была трудная операция. Мы так боялись за тебя. Ты хорошо держался.

— Я не сержусь, — ответил я вполголоса. Опять мне стало приятно, что я вел себя мужественно, хотя это неправда: я не забыл, как меня трясло от одного вида скальпеля. Я вспомнил про ягоды и отдал пакет Наде.

— Что это?

— Была малина. Ешь, не бойся — хорошая ягода.

— Похоже на варенье, — рассмеялась она. — Но все равно вкусно. Спасибо.

На скамейку втиснулись еще двое. Нас совсем прижали друг к другу, и я положил руку на теплое Надино плечо, но она сразу убрала ее. На улице еще не стемнело, когда кончился сеанс.

— Я провожу тебя, — сказал я.

Улочка, по которой мы шли, была пустынна и тиха. Козы и телята лежали под заборами, мусолили жвачку и смотрели на нас. Сквозь щели тротуара пробивалась трава, грядками обозначая границы плах. Над кладбищенской рощей висела туча розовой пыли: с пастбища гнали стадо.

Из-за костылей нам было тесно на тротуаре. Надя шла чуть впереди и предупреждала, где ненадежные доски. Я молча сердился на нее. Получалось, будто не я провожал ее, а она меня. Мы шли как раз мимо госпитального забора.

— Вот ты и дома, — сказала Надя, останавливаясь. Это уже был явный подвох с ее стороны: она нарочно привела меня к госпиталю.

— Где ты живешь?

— Я дойду одна. Тебе тяжело будет — это далеко.

— Где ты живешь? — повторил я со злостью.

— Там, — показала она в сторону заката, — за оврагом.

— Пойдем! — Я вонзил костыли в дорожную пыль. Моя злость постепенно проходила. Скоро Надя остановилась.

— Иди назад, не упрячься. Ты опоздаешь к отбою. Там дальше овраг, он глубокий, — убеждала она меня. — Тебе трудно будет.

— Не твое дело.

Она не обиделась.

— Пойми: ты же первый раз вышел и сразу так много пройти — этого никто не сможет. Ты проводишь меня в другой раз...

— Зачем ты пошла со мной? Зачем привела меня к госпиталю? Думаешь, я без тебя дороги не нашел бы?

Я сознавал, что говорю глупо, пытаюсь грубостью заглушить противную жалость к самому себе, и, пересилив себя, замолчал.

— Я думала, так будет лучше. Ну, я очень, очень прошу тебя, вернись...

Я остался посредине дороги на растопыренных костылях. Надя была уже далеко. Она уходила в полукруг багрового солнца, ее защитная гимнастерка и юбка казались черными. Когда ее не стало видно, я пошел назад.

Вскоре я бросил костыли и стал учиться ходить с тросточкой. Весь день ковылял вокруг школы по тропинке. Раненые наблюдали за моим усердием из окон и подбадривали незлобными насмешками. Мои старания пошли на пользу: через два дня я ковылял по двору уже без особого напряжения.

В Надино дежурство я не спускался вниз: мне казалось, что я зол на нее и не хочу ее видеть. Что это не так, я понял, когда встретился с нею. Мы увиделись возле школьного забора. Надя торопилась домой.

— Ты на меня не сердись больше? — спросила она.

— Нет, — сказал я, и это было правдой. — Я провожу тебя немного, я теперь хожу без костылей. — Мы вышли на улицу. Вдалеке у колодца две женщины черпа-

ли воду — больше ни души. Ходьба так занимала меня, что наше молчание казалось мне естественным. Мы остановились за квартал перед оврагом.

— Ты не ходи дальше, хорошо? — попросила она. На этот раз я не обиделся, я сам понимал: овраг мне еще не осилить. Надя побежала посредине улицы мимо колодца под деревянным навесом и скрылась в овраге, словно нырнула в воду. В том месте, где она прошла, медленно оседало легкое облачко пыли. Потом она оказалась на другой стороне. Ветхая деревянная лесенка несколькими маршами лепилась по крутизне. Надя бежала по тропе рядом с лестницей, наверху остановилась и помахала рукой. Я поднял свою палку и тоже помахал ей.

Обрывком суконки Зуйцев надраивал носки сапог. Он сумел уговорить сестру-хозяйку, и ему разрешили держать в тумбочке его офицерское обмундирование. Как-никак, в нашей палате он самый старший по званию.

— А, лейтенант, — приветствовал он меня. — Одыбал? Смотрю, за девочками бегаешь — вторая стадия выздоровления. Только зря ты к ней лепишься — можно лучше найти: без хлопот.

— По-моему, это не ваше дело, капитан, — сказал я и лег на койку.

— Брось пыжиться. Добра тебе хочу. Скажи только слово, с такой вдовушкой сведу — корова и огород! Будешь как кот мурлыкать от удовольствия. И баба во! — Он выставил большой палец.

Я смотрел, как он взбивал одеяло, запихивая под него свои пожитки. Вышло похоже, будто на кровати спит человек, накрывшись с головой. Дежурным врачом сегодня была Лидия Андреевна, женщина мягкосердечная, — она никогда не записывала опоздавших к отбою. В ее дежурство Зуйцев возвращался утром, перед подъемом, потом спал весь день.

Покончив с постелью, он приспособил на шею черную повязку, уложил в нее руку. По-честному, его давно было пора вытурить из госпиталя: рука у него совсем здорова. Не знаю, как удавалось ему обманывать комиссию, но нас, кто лежал с ним в одной палате, провести было труднее, мы видели, как он орудует больной рукой, когда забывается.

— Ну, так как? — Капитан остановился передо мной во всем великолепии офицерской формы, при портупее и пустой кобуре. — Познакомить? А на эту свою шпингалетку плюнь — девчонка: ни умишка, ни этого самого... — Плавным взмахом здоровой руки он изобразил «это самое».

— Капитан Зуйцев, ваше счастье, что вы калека, — сказал я театральным тоном, — иначе я сломал бы казенную трость об вашу форменную голову. — Я отвернулся от него к стене.

— Пацан несчастный, попадешь ко мне в батальон — покажу калеку.

Надю я видел каждый день. В дни, свободные от дежурства, сестер и нянь отвозили на подсобное хозяйство окучивать картошку или в лес собирать грибы для госпитальной кухни. Другие сестры отпрашивались, находили разные причины, — Надя не отказывалась.

— Дома только я да сестренка — в седьмом классе учится. У других семья, дети... Мне неудобно отказываться, — говорила она мне.

Вечером их на машине подвозили к госпиталю, и я шел провожать ее до оврага. Скоро мы знали друг о друге почти все. Наши воспоминания были удивительно похожими, как будто мы учились в одной школе.

Расставались на краю оврага. Я смотрел, как она стремительно неслась вниз, едва успевая переставлять ноги, и с разгону вбегала почти до половины тропы на том берегу. Я поднимал свою палку кверху, она махала рукой. Мне было видно, как она шла до колодца, ближнего на той стороне. Вечерами возле него всегда женщи-

ны и ребятишки: мужчин, кроме раненых, в городе совсем не встретишь. Слышно, как звенят ведра, грохочет размагиваемая цепь. Коромысла над плечами женщин в закатном свете издали похожи на винтовки.

И вот я впервые перешел через овраг. Здесь так же пустынно и тихо, как на госпитальной стороне. Возле колодца женщины ждут своей очереди.

— Там мы живем. — Надя показала на двухэтажный деревянный дом с желтыми ставнями и карнизами.

Мы укрылись за изгородью. Пахло полынью и огородами — так всегда пахнет на окраине. Нам тревожно от нашей близости, оттого, что нас никто не видит.

— У тебя пуговица расстегнулась, — сказал я, наклоняясь к ней.

Моя ладонь коснулась вздрогнувшей груди. Надя испуганно оттолкнула руку и застегнула воротник. Потом рассмеялась:

— Извините, товарищ лейтенант!.. Ты, наверное, придира был невозможный. Гонял своих бойцов? — Я знал, что она не думает этого, и не спорил.

— Нужно застегивать гимнастерку, — повторил я строго и совсем близко наклонился к ее лицу. Наши щеки почти касались.

— Не надо, Вася, — неуверенно попросила она.

— Вот где она! — раздался позади нас злобный девчоночий голос. — Целуются!

От испуга и неожиданности мы отшатнулись друг от друга. Надя оправила гимнастерку. Тринадцатилетняя бестия в белой кофточке с пионерским галстуком сверлила старшую сестру презрительно сощуренными глазами.

— Выследила? — спросила Надя.

— Этого еще не хватало — выслеживать. Она же меня стыдит. Сама целуется со всяким... — Меня эта злока не хотела замечать.

— Ты еще не выросла запрещать сестре целоваться, — подал я голос в защиту Нади. Девочка набросилась на меня:

— Так у нее жених. Она невеста... Коля Сидоров... Они вместе учились. Он на фронте! — выкрикивала она, чуть не плача. Каждым словом она будто стегала меня по лицу. — Как вам не стыдно?

— Нинка, замолчи! — цыкнула на нее Надя. — Это не твое дело. Не кричи. На меня сколько хочешь, а на него не смей! — Нина демонстративно повернулась и ушла, не оглядываясь.

Темень наполнила овраг почти до краев, видны были только верхние марши лестницы. За Надиной спиной слабо светилось еще не остуженное после заката небо.

— Вася. — Надин голос показался мне незнакомым. — Нина правду сказала. Мы не должны встречаться. Не провожай меня больше. Слышишь? Это я виновата: нужно было сразу сказать.

Я не знал, что ей ответить.

Бесцветное, не черное и не синее небо висело над крышами. Я ненавидел это небо, ненавидел запах полыни, горький до тошноты.

Перила у лестницы скособочились, опираться на них было опасно, прогнившие ступеньки трещали и гнулись. Рядом с лестницей, посреди травы, бледной полоской виднелась дорожка. Я шагнул на нее, но в темноте неверно определил высоту: мне показалось — рядом, а было около метра, и хотя я подогнул ногу, удар, мгновенный, как пуля, опрокинул меня. Стиснув в руке тросточку, я кувырком покотился в овраг.

Долго приходил в себя. Было так больно, что я боялся шевельнуться. Бинты ослабли, по правому локтю из-под них сочилась кровь...

Выползая из оврага, я истратил последние силы. Бесконечно долго, медленно брел посредине улицы, много раз ложился отдыхать в мягкую, нагретую за день пыль.

Я лежал, уткнувшись лицом в землю, и вдруг рядом с собой услышал жалобный, надрывный вой. Я поднял голову: передо мной маячил черный силуэт дворняги с задранной мордой. Подсвеченная луной, шерсть на боку собаки отливала ледяным блеском. Я пошевелился. Пес перестал выть, обрадованно и жалобно взвизгнул, лизнул меня в щеку. Он мешал мне подняться, скулил и прыгал вокруг.

Когда я снова ложился на землю, пес начинал выть, я вставал — и восторженный добрый лай возвращал мне желание идти дальше. На утреннем обходе я сочинил небылицу, будто оступился на тротуаре в двадцати метрах за госпитальной оградой. Хирург сделал вид, что поверил. Надя с порога поздоровалась со всеми. Просторный халат, накинутый на плечи, стал сползать, она изловила его на лету и запахла полы.

— Что случилось? — спросила Надя, останавливаясь у моей койки. — Мне сказали — ты разбился?

Я подвинулся к стенке, чтобы она могла сесть на край.

— Ничего страшного. Просто у вас в овраге ненадежная лестница.

— Ты спускался по ступенькам? Но я же предупреждала: по ним лет пять никто не ходит. — Надя откинула одеяло, проверила мои бинты. — Я зайду вечером. Ты ни о чем не думай. Потом я тебе все объясню. Сейчас я должна ехать, меня ждут.

Она собралась идти, но я задержал ее, в карман халата сунул половину утренней пайки хлеба.

— Это еще зачем?

— Увидишь возле крыльца черного пса — такой симпатичный дворняга, — отдай ему. — Надя удивленно посмотрела на меня.

— Ладно, — сказала она. На этот раз я лежал недолго, скоро мне разрешили ходить... Когда пересекали овраг, я показал, где кувыркнулся в тот вечер. Теперь мне было смешно вспоминать этот случай, но Надя не смеялась.

Мы не пошли по улице, где куры и утки щипали пыльную траву, где скрежетала колодезная цепь, и женщины, вскинув пустые коромысла на плечи, судачили между собой.

Узкая тропка лепилась по краю оврага. Ее протоптали козы и босоногие ребятишки. Зады огородов сползали в обрыв. Дорожка, по которой мы шли, уткнулась в плетень.

Здесь мы сели. Нам было видно устье оврага и реку — она лежала в долине совсем недвижная, словно никуда не текла. Откуда-то приносило дым и запах печеной картошки.

Мы совсем одни, только темная стена крапивных зарослей подступает сзади. Здесь нас никто не может увидеть.

Когда мы вернулись на улицу, уже совсем стемнело. Стояла такая тишь, что пыль, поднятая еще днем, не осела. Взрослых у колодца не было, под навесом сидели трое мальчишек. Огоньки папирос освещали их лица.

— Дежурят, — сказала Надя.

В городе заведен порядок: сторожить общественные колодцы на случай диверсии. Дежурство распределено по дворам, охранять приходилось мальчишкам. Закутавшись в материнские ватники и шубенки, они спали под навесом до рассвета. Должно быть, их храп отпугивал диверсантов: случаев отравления воды не было.

На всей улице, кроме ребячьих папирос, ни огонька — затемнение. Мы сели на ступеньки крыльца, согревая друг друга теплом плеч.

— Перед самой войной у него умер отец. Он остался один, — рассказывала Надя. — Когда началась война, он первым из ребят ушел в армию — добровольцем. Его провожали всем классом... А потом я получила письмо: он признался, что любит. Мне было страшно за него: он один, у него совсем нет родных. Может быть, я не обманывала: мне казалось, что в самом деле люблю его. Мы с детства росли в одном дворе. Меня все считают невестой, и я сама так думала. А сейчас я ничего не понимаю. Я совсем не знаю, как быть дальше...

Мы оба не знали, что нам делать. То, что мы любили друг друга, для кого-то выходило изменой...

— Я напишу ему правду, — почти неслышно произнесла Надя. — Я должна написать.

Если бы на фронте кто-то из знакомых получил такое письмо, я знал бы, какими словами назвать ту девчонку. Мне бы и в голову не пришло, что она может быть совсем другой, эта дрянь, изменившая фронтовику. И уж совсем дикой была бы мне мысль, что и сам я стану негодяем, обманщиком... Мне было страшно думать о тех жестоких словах, какими назовут Надю друзья Николая.

За кладбищенской рощей натужно выл разбитый грузовик — машина шла со станции. Шофер не соблюдал правил, ехал с включенными фарами. Их свет полоснул по окраинным домам, машина остановилась, кто-то высадился из кабины. Громыкнув разношенным кузовом, грузовик свернул в боковую улочку.

В нашу сторону шел человек. Его шаги заглушала пыль. И все же мы сразу узнали характерный стук костылей. Кто-то вернулся домой на побывку после госпиталя, а может, отпущен по чистой — калека. Он мог приехать вечерним поездом из Горького.

Шаги приблизились, и мы отстранились друг от друга. Впившись глазами в темноту, мы слушали — ожидание становилось нестерпимым. Костыли вразной ударяли по земле. Солдат шагал так быстро, как редко ходит и здоровый. Полы шинели подоткнуты за ремень, на спине — тощая котомка.

Он шагал мимо, не заметив нас.

— Бурлаков, дядя Федя, — шепотом выдохнула Надя и, обессиленная, прилегла на мое плечо.

— Тебе пора идти, — напомнила она немного спустя.

— Я хочу пить. Может, принесешь из дому?

— Напьемся лучше из колодца.

Ребята давно разошлись, остался один. Уткнув лицо в колени, он спал поверх колодезной крышки, чуть на краю, чтобы не холодило снизу. Я потормошил его, но он не проснулся, только втянул голову в ватник. Я поднял его и перенес на скамью рядом с колодцем.

Ведро падало, и цепь гремела, задевая о сруб. С глубины послышался всплеск. Мы вдвоем крутили вороток. Мальчишка не просыпался. Напившись, я перенес его назад, чтобы, сонный, он не свалился со скамьи.

— Надежный сторож, — сказал я. — Удивительно, как вас до сих пор не отравили?

Надя засмеялась.

— Так я же слышу, дядя, когда свои, — пробормотал мальчишка и подтянул телогрейку на уши.

Я опоздал на час, в нашей палате все давно спали. Один капитан Зуйцев сидел на койке раздетый, шуршал бумагой и что-то жевал. Вообще на него это не походило: он всегда возвращался сытый. Он так увлекся, что не слышал, как я прокрался на свое место. Оглянулся только на скрип. Мне почудилось — испугался.



— Рыбки соленой захотелось, — сказал он тихо. — Баба достала горбушу. Хочешь попробовать?

Я отказался. Он завернул кости в газету. Похоже, он целиком съел рыбину — столько было отбросов. Сунул сверток под рубаху и ушел из палаты. Я уже дремал, когда он вернулся и наклонился над моей койкой.

— Чего тебе?

— В тумбочке еще одна рыбина, — прошептал он, — спросят чья — скажи твоя. Ладно?

— Ладно. — Я не понимал, чего он боится.

— Захочешь сам — бери сколько нужно. Баба еще достанет. — Я не ответил, накрылся одеялом с головой. Надя заступала на дежурство утром. Я стойко дождался конца врачебного обхода и только тогда спустился вниз. Мы столкнулись с Надей у входа в седьмую палату. Она прошла мимо, словно не узнала меня. Только я подкараулил ее в пустом коридоре.

— Надя! — Я поймал ее за руку, но она резко вывернулась.

— Оставь меня! — На лице, измученном бессонницей, враждебно сверкнули заплаканные глаза.

Что случилось, мне рассказал потом Коломейцев, в их палате все уже знали об этом. Оказывается, вчера вечером Наде пришла похоронная — убили ее жениха. У него нет родных, единственный адрес, какой знали в части, — Надин.

Прибыла новая партия раненых. В коридорах совсем не осталось свободного места, даже на лестничную площадку втиснули две койки. На обеих лежали раненные в руку. Их гипсы загромождали проход.

Во время утреннего обхода главный хирург спросил:

— Как самочувствие?

— Хорошее.

— Запишите, — сказал он сестре, — лейтенанта Овсянникова на комиссию. У него третья стадия выздоровления — опаздывает к отбою.

Белые халаты врачей прошли мимо, задержались у койки Зуйцева. Капитан лежал, отвернувшись лицом к стене.

— Тоже на комиссию, — тихо сказал хирург сестре и наклонился над кроватью. — Как дела, капитан?

— Плохо дела, — с усилием выдавил Зуйцев. Притвориться так было невозможно, это поняли все.

— Что случилось? — встревожился Аркадий Дмитриевич.

— Не знаю, — простонал Зуйцев, переваливаясь на спину. За ночь он осунулся и постарел, губы высохли, потрескались. Хирург нащупал пульс. Капитан шумно, с натугой дышал открытым ртом и, еле сдерживаясь, негромко стонал.

Из палаты его унесли на носилках. Пока его не было, няня сменила простыни и наволочку. Лидия Андреевна зашла в палату, предупредила сестру:

— Капитану Зуйцеву назначена диета — бессолевая. При его почках соль — яд. — Через час меня позвали на комиссию.

За длинным столом сидели врачи, в стороне от остальных, на стуле возле стены, — комиссар. От множества халатов и белых занавесок на окнах в комнате было особенно светло. Лица врачей стали незнакомыми, важность момента изменила их, да и сам я казался себе другим.

— Разденьтесь.

Я торопливо скинул одежду, остался в бинтах на правом плече и марлевой наклейке на спине.

— Пройдите до двери и обратно.

— Присядьте.

— Согните руку.

Все команды я выполнял точно и быстро, как на учебном плацу. Я уже не чувствовал себя Овсянниковым Васей, как еще недавно, — я снова был лейтенантом Овсянниковым. Глаза врачей с профессиональным вниманием скользили по мне, их интересовало одно: годен ли я к службе.

— Снимите бинты. — Это уже не мне — сестрам.

Рана на плече затянулась не до конца, она немного гноилась. Я сидел на стуле, врачи обступили меня, через их спины заглядывал комиссар. Хирург чуткими пальцами привычно мял тело вокруг раны.

— Жалобы есть?

— Нет.

Сестра чистым бинтом обматывала рану. Хирург, глядя в окно, диктовал, Лидия Андреевна едва успевала писать за ним. Кончив с историей болезни, Аркадий Дмитриевич, тяжело шагая, подошел ко мне. Усталые глаза его за круглыми очками словно потонули в тумане. Он положил руку на мое плечо.

— Мы выписываем вас, лейтенант. Поедете в распоряжение Московского военного округа. Дня через три-четыре зайдете на медпункт — они при каждом вокзале. Там сделают перевязку и назначат срок следующей.

Он убрал руку с плеча, переступил с ноги на ногу.

— Если у вас имеются просьбы к комиссии или жалобы, говорите. Говорите, не стесняйтесь. — Просить мне не о чем, жалоб у меня не было.

— Завтра к нам поступит еще партия раненых, — тихо сказал Аркадий Дмитриевич.

— У меня нет жалоб — я здоров, — сказал я твердо. Он снова положил руку на мое плечо и стиснул пальцы.

— Ну, не поминай лихом, Овсянников. Да смотри, второй раз не попадайся к нам — такой уж мы народ зловерный: режем, кроим вашего брата почем зря. Пока я одевался, он вспомнил несколько анекдотов. Видимо, это не входило в программу комиссии — никто не смеялся, один я насильственно улыбался его островам. Мне было жалко его, у него было такое лицо, как будто это он виноват, что мне придется ехать на фронт. Я собрался уходить, но меня задержал еще комиссар госпиталя.

— Поздравляю вас, лейтенант Овсянников, с выздоровлением и возвращением в строй. — Он пожал мне руку. Я смотрел вниз, на его ноги в хромовых сапогах. — К сожалению, нашивку пока не можем вручить вам: в госпиталь они еще не поступили. Но по справке о ранении нашивку выдадут в любой части. Вам положена золотистая — у вас тяжелое ранение. Поздравляю вас, лейтенант.

Я сказал:

— Спасибо.

Комиссар имел в виду недавний указ, по которому раненым на фронте полагались знаки отличия: легкое ранение — красная нашивка, тяжелое — золотистая. После меня на комиссию вызвали Коломейцева. Он тоже имел право на золотистую нашивку.

Я возвращался в палату с неожиданным чувством горести. Я даже не подозревал, что так привык к госпиталю, и теперь страшно было сознавать себя здесь посторонним человеком. Новые партии раненых обживали госпиталь. Между их койками я пробирался с двойной осторожностью — я уже был здоровым.

Выданное обмундирование пахло прачечной, и от этого запаха казалось еще более чужим. Я отвык от гимнастерки, от ремня, от сапог и ощущал себя совсем другим человеком, чем накануне. Я был уже не волен распоряжаться собою: на руках у меня командировочное удостоверение, в котором указан точный срок, когда я

должен уехать из госпиталя и когда явиться в штаб МВО. Сегодня вечером вместе с другими меня на госпитальной машине отвезут к поезду. Надю я больше не увижу. Наверное, она ненавидит меня теперь: если бы мы не встречались с нею, она бы не чувствовала себя виноватой. Я догадался, что ее мучает именно это.

Нет, как бы она ни относилась ко мне, а уехать, не повидав ее, я не могу. Пусть будет что будет — я не поеду на станцию к вечернему поезду, я приду к ее окнам и буду сидеть всю ночь с мальчишками возле колодца, чтобы утром встретить ее у ворот. В госпитале выдали сухой паек — сухари, сало-шпиг, немного сахара и пачку моршанской махорки. Нам не будет скучно, мы будем грызть сухари и курить самокрутки.

Я подходил к оврагу, когда позади услышал мягкие и быстрые шаги. Надя догоняла меня. Пыль слабо клубилась под ее подошвами.

— Вася! Я была в госпитале, искала тебя. На твою койку положили новенького. Ты был на комиссии? Тебя выписали? — Она изумленно смотрела на мою линияющую форму без знаков различия.

— Я получил направление в МВО.

— Тебе не дали отпуск?

— Я здоров. — Я показал ей справку о ранении. Там было написано: «Годеи к строевой».

— Как годеи? У тебя же рука.

— Я здоров, — повторил я.

— Ну какой ты вояка? Ты посмотри на себя: какой ты вояка? Тебе обязательно должны были дать отпуск. Ты, наверное, не просил, промолчал? Ну почему ты такой?

— Я не знал, что нужно просить, я думал, кому положено, так дадут. Не дали — значит, здоров.

— Ну какой ты вояка? — Ей, видимо, понравилась эта фраза.

Я дважды присел и выпрямился, несколько раз согнул и распрямил руку. Надя серьезно смотрела на меня, на глазах ее показались слезы.

— Господи, какой ты глупый! Если бы ты попросился в отпуск, тебе бы обязательно дали... А ты ходил там и приседал — герой! Вояка! Неужели тебе не хочется побыть дома?

— Если бы дали отпуск, я бы не поехал домой, разве потом, дня на три, — я бы остался у тебя. Ты бы разрешила?

— Глупый. Ну почему ты такой глупый? — спросила она, и опять слезы повисли у нее на ресницах.

— Я не поеду сегодня, — сказал я, глядя под ноги. — Уеду завтра одиннадцатичасовым. Если ты непустишь меня, я все равно никуда не уйду от твоих окон — просижу ночь у колодца. Я не могу без тебя, — прошептал я отчаянно. — Ты не прогонишь?

Надины пальцы коснулись моих волос. Я поднял голову — Надя молча смотрела на меня, ее пальцы тихо провели по моей щеке, соскользнули на шею. Я стиснул Надю и стал целовать ее вздрагивающие губы. Гибким и сильным движением она высвободилась из моих рук.

— Ну, подожди, подожди немного, — тихо смеясь, сказала она, и лицо у нее вдруг стало озабоченным. — А ты подумал, что будет, если опоздаешь к сроку? Что тебе будет, если опоздаешь?!

— Ничего не будет. Ни о чем не хочу думать! — выкрикнул я.

Надя сосредоточенно смотрела мимо меня, должно быть, считала в уме, сколько времени нужно ехать до Москвы.

— Успеешь! — обрадовалась она. — Даже если одиннадцатичасовой опоздает на три-четыре часа, он все равно ночью придет в Горький. А из Горького на Москву поезд уходит утром.

Мы побежали в госпиталь за моими вещами.

Я зашел в палату проститься с ребятами. На моем месте лежал новенький. Правая рука его, вмятая в подушку, лежала на стуле. Видно, эта койка предназначалась для раненных в правое плечо. Он смотрел на черное брюхо голландки и прислушивался к тому, что делается в палате позади него. На крыльце стоял тощий и долговязый солдат в ботинках, черные обмотки неловко накручены на худые икры. Он повернулся другим боком, и я увидел пустой рукав, заткнутый под ремень. В бесцветной от ветхости и стирок гимнастерке Коломейцев выглядел нелепо и жалко. Мы обнялись.

— Может быть, тебя еще в запасной полк пошлют, — сказал он. Это прозвучало так, будто он хотел сказать: «Может, тебя и не убьют». Надя отняла у меня вещмешок, надела на себя. Я не стал спорить: в нем почти ничего не было — пара белья да сухой паек на два дня.

Из оврага мы поднимались по тропе, прижавшись друг к другу. Мы и по улице до самого дома шли так, забыв, что нас могут видеть.

— У-у, бесстыжие! — бросила вслед нам женщина у колодца и яростно загремела ведрами. Нас ожидала еще встреча с Ниной.

Мое «здравствуй, Нина» осталось без ответа. Девочка собрала тетрадки, учебники, взяла чернильницу и ушла в кухню, кинув на меня ненавистный взгляд.

Надя хотела пойти за ней, но я удержал ее.

— Не ссорьтесь, — сказал я. — Мы потом еще подружимся. — Я и сам толком не представлял, когда это «потом» будет.

...Я открыл глаза. Было уже совсем светло. В комнате пахло вареной картошкой. Надя сидела на стуле рядом с кроватью, пришивала матерчатые кубики на мою гимнастерку.

Такой, как сейчас, я не видел ее ни разу, даже не представлял. Это было счастье — смотреть, как Надя продергивает нитку в ушко иголки, критически оглядывает свою работу, проверяя, точно ли на свое место угадали кубики на петлицах. И в то же время я отчетливо помнил, что я должен уехать, хотя уехать от нее и вовсе было немислимо. Уж лучше, наверное, было бы не встречаться...

— Нет! — неожиданно произнес я вслух и обнял Надю за плечи.

— Осторожней — наколешься об иголку, — испугалась она и отложила шитье. — Хорошо, что проснулся, мне жалко было будить. О чем это ты сказал — нет?

— Это я так, про себя. Я не знаю, что было бы со мной, если бы мы не встретились...

— Но ведь мы встретились, — сказала Надя. — Если бы я не застала тебя, я поехала бы на станцию. Я и дальше поехала бы за тобой, если бы меня только отпустили из госпиталя. Вчера я ходила к начальнику, отпрашивалась, — призналась она.

...Потом мы молча посидели на стульях. Я взял свою котомку и шинель. Надя захватила дождевик — с утра небо обложили тучи. Нина стояла в дверях и осуждающе глядела на нас.

— До свиданья, Нина, — сказал я и протянул руку. Девочка отвернулась. Я вышел в кухню.

— Подожди, — расстроено прошептала Надя. Мне было слышно, как они разговаривали.

— Малявка несчастная, почему ты не подала руки? За что ты ненавидишь его? Что он тебе сделал?

— Ты любила Колю... Теперь он погиб, — всхлинула Нина. — Я не могу видеть этого...

Я услышал звук пощечины. Я хотел войти к ним, остановить Надю, но больше ничего не было слышно. Потом заплакала Надя. В приоткрытую дверь мне было видно: они сидят на кровати обнявшись, младшая сестра гладит Надю по голове.

— Ну, мне совсем не больно. Нисколечко не больно. Хочешь, и я ударю тебя по щеке? Только не плачь...

— Ты понимаешь: я люблю его, люблю! — сказала Надя. — Ты маленькая, тебе не понять.

— Не такая уж маленькая! Но ведь ты любила Колю...

— Ну, скажи, что мне теперь делать? Может, выбростись из окна? — Надя спросила так, что я поверил: если сестра скажет: «Бросайся!» — она выпрыгнет. — Разве он виноват, что Николая убили? Он тоже едет на фронт — там каждого могут убить...

Возможность моей смерти окончательно примирила со мной Нину. Она вышла из комнаты и подала мне руку.

— До свиданья. Я ничего не желаю вам плохого.

До станции восемь километров. Мы прошли больше половины, когда нас догнала полупорка. Мы стояли в кузове обнявшись и держались за кабину. Шофер подвез нас к вокзальчику. В прокуренном зале ожидания было душно, на деревянных скамьях сидели офицеры и солдаты, побросав рядом с собой вещевые мешки. Из расписания я узнал, что будет дополнительный поезд в пять часов вечера.

Мы вышли из станции, сели на лавочке возле палисадника. Мы молчали, прислушиваясь к гудению рельсов. Одиннадцатичасовой пришел по расписанию, наполнив привокзальное пространство стальным грохотом.

— Идем, Вася! Смотри, сколько народу. Еще как сумеешь сесть.

Ноги у меня стали тяжелыми.

— Я не поеду, — сказал я. — Ты видела расписание: в пять вечера будет дополнительный поезд.

— Вася, ну я очень, очень прошу тебя. Если ты опоздаешь, тебя будут судить.

— Я не опоздаю: пятичасовой в Горький как раз придет утром.

— А если он задержится? Теперь это часто бывает.

— Тогда я пойду к коменданту вокзала и в командировке сделаю отметку, что опоздал поезд. Меня ведь не станут судить за то, что опоздал поезд?

Надя опустила на скамью рядом со мной. Она дрожала. Скорей бы уж уходил этот поезд!

Раздался лязг буферов, повторенный всеми вагонами, застучали колеса. Прогрохотал последний вагон, и сзади нас стало пусто.

— Вот и все, — сказал я. — Теперь у нас есть время. — Эти украденные шесть часов казались подаренной вечностью. Нужно только стараться не думать, что в пять часов все-таки придется уезжать. На крохотном базарчике возле станции торговка собирала в корзину нераспроданные картофельные лепешки. У меня были деньги, и мы купили у нее весь остаток — шесть лепешек. Потом мы ушли на станцию и побрели по тропинке к пустой, просквоженной сентябрьским ветром роще.

Дождь все не начинался, тучи только грозились ненастьем — сплошные, серые, они низко ползли над землей. На лугу, за линией, бабы и ребяташки торопились, дومتывали стог. Ветер срывал с поднятых вил охапки сена. Слышно было, как мальчишки-копновозы понукали коней.

Я бросил шинель под дерево, мы сели рядом и накрылись плащом от ветра.

Лепешки намокли и развалились, когда мы наконец вспомнили о них. На запах приползла рыжая деревенская собака, села в нескольких шагах и, облизываясь, провожала глазами каждый кусок. Я бросил ей сухарь и половину лепешки, она проглотила ее сразу. Сухарь долго слюнявила на зубах: он был тверже булыжника.

Пришло время возвращаться на станцию. В зале ожидания опять набралось полно солдат, офицеров и провожающих. Мы заранее договорились, как я буду садиться в вагон. Надя поможет мне, будет подталкивать сзади. Вещмешок останется пока у нее, и только когда я поднимусь в тамбур, она подаст его мне.

— Ты не стесняйся: говори, что из госпиталя. Хочешь, я руку подвяжу — бинт у меня в кармане. — Я отказался. Вряд ли повязка давала мне преимущество: в зале ожидания половина было с подвязанными руками.

Мы немного поспорились и тут же помирились: у нас не было времени ссориться по-настоящему.

Тихий стон рельсов задолго известил о подходе поезда. Черная махина, дыша отработанным паром, выползла из-под виадука.

Когда поезд остановился, мы торопливо, озабоченно поцеловались. Мы словно отдалялись друг от друга: меня охватила тревога — как я сумею устроиться в набитом вагоне, придется, видимо, ехать стоя, а Надя разглядывала что-то на моем лице. Слезы стояли в ее глазах, но плакать тоже было некогда.

Я бросился к ближнему вагону. Надя ладошками толкала меня в спину. Я ухватился за поручень и чуть не закричал, не выпустил его от резкой боли в плече. В тамбур меня вдавили силой. Я поймал свою котомку, брошенную мне снизу, и увидел несколько пар женских рук, поднятых над головами. Я не знал, которые из них Надины.

Вагон дернуло — и поезд тронулся. Я рванулся к выходу. Женщины бежали рядом с подножкой и все разом кричали. Мне почудился Надин голос и мое имя. Но я слышал его и потом, когда станция осталась позади, а в квадрате окна возникла мутная, пасмурная даль плывущих мимо перелесков и пажитей.

Кто-то тронул меня за плечо. Усатое молодое лицо свесилось со средней полки.

— Далеко едешь, лейтенант? Занимай место. Мне сходить — в отпуск после госпиталя на неделю отпустили. Ты, видать, тоже из госпиталя?

Я залез на полку, бросил под голову вещмешок. Мне хотелось завывать. И чем дальше уходил поезд, тем горше ругал я себя, что не нашел ничего сказать Наде в последнюю минуту, даже поцеловал наспех. Увижу ли я ее когда-нибудь?

Я лежал и смотрел в окно. Давно уже наступила ночь, за окном мелькали синие огни какой-то станции. Вокруг меня храпели солдаты и офицеры, я знал, что мне не заснуть. Нестерпимо зудело плечо, но и оно не отвлекало от тоскливых мыслей.

Напротив у окна солдат курил папиросу, между затяжками клевал носом. Я разбудил его.

— Ложись на мое место, а я посижу, — сказал я. Он молча полез на полку.

НА ТИХИХ ПЛЁСАХ

В школе мы с Васькой Чернопятовым были в числе переростков. Весной сорок первого нам стукнуло по восемнадцать, а мы только перешли в десятый класс. Нас одолевали одинаковые заботы: к осени нужно заработать хотя бы на одежду — мы оба ходили в залатанных брюках, в пиджаках, из которых давно выросли.

Мы нанялись сплавщиками грузов. В Качуг нас привезли на машине вместе с двумя десятками завербованных. Для начала всех новичков определили грузчиками. Грузили стальные трубы и громоздкие ящики с надписью «Не кантовать». На это предупреждение никто не обращал внимания: разве можно по хлипким мосткам затащить на карбас трехсоткилограммовую махину, не переворачивая.

Кормили нас в закрытой столовой, где на первое готовили мясной суп, необыкновенно вкусный и сытный. Мы съедали по две порции, потом целый час отдувались, лежа на траве. Мутная Лена шумно текла мимо нас. Старшой кричал нам: «Эй, голопузые!» Мы наспех скидывали штаны, кидались в обжигающе холодную воду. Погрузка продолжалась до темноты. К вечеру мы снова были голодны до одури. Весь свой заработок проедали. Ночевали в бараке на голых топчанах. Отощавшие клопы с яростью набрасывались на нас. Мы неистово царапались, но не просыпались. Здесь нас разыскал Нилин, преподаватель физкультуры из нашей школы. Он был лет на пять старше нас, успел отслужить действительную и стал преподавателем. В Качуг он приехал, как и мы — объявления о вербовке соблазнили его тоже.

Нилин был опытнее нас: прежде чем зачислиться в команду сплавщиков, он разведал, какие карбасы будут отплывать раньше. Нилин сходил в отдел кадров и уговорил начальника, чтобы нас всех троих поставили на одну связку.

Четыре карбаса, счаленные вместе, покачивались у берега, в семи километрах ниже Качуга. Мы подоспели, когда погрузка заканчивалась, последние железные бочки с горючим и маслами закатывали в баржи по дощатым настилам.

Путешествие началось утром. Отчалили рано, сырой озноб пробивался под телогрейки. Среди наплывов подвижного тумана холодные и суровые надвигались берега. Вода с глухим шумом билась в борта связки. Течение ударяло в береговой изгиб, выгребая из него сыпучую гальку. Лохматины дерна свисали до самой воды.

Разогрелись быстро, раньше, чем над туманными сопками выкатилось солнце. Весло тяжеленное, мы втроем еле ворочали им. Путь от Качуга до Жигалова самый сложный. Русло вихляло между выступами скал, между каменистыми отмелями и островами, заросшими тальником. Большое оранжевое солнце поднималось за нашими спинами.

— Нос вправо! Корма влево! — выкрикивал лоцман. Мы были то кормой, то носом — связку крутило течением как попало. Весла вытесаны из цельных бревен. Мы старались не погружать лопасть глубоко — так легче грести и выходило податливее.

Мы захлебывались от впечатлений первого дня: приключений с избытком хватило бы на целое лето. Лена щедро развертывала перед нами свои берега. Проплыли мимо большого села на правой стороне и скоро врезались в отмель. Днище заскрежетало по гальке, зашатались плотно счаленные карбасы, глухо загромыхали бочки. Лоцман запоздало командовал:

— Корма влево! Нос вправо!

Мы надсаживались из последних сил, но уже напрасно — связка прочно сидела на мели. Вода под напором течения пучилась и бурлила в щелях между карбасами.

— Заводи оплеуху!

Оказывается, на этот случай все предусмотрено. Толстенная плаха, привязанная сбоку барок, и была оплеухой. Плаху развернули поперек течения, поставили на ребро. Удержать в таком положении ее было трудно. Зато понадобилось несколько секунд, чтобы сняться с мели. Вода взбурлилась над оплеухой — заерзало днище карбаса, забуровило по гальке. Толчки были как при землетрясении, и через миг мы уже плавно качались на воде.

Снова по команде лоцмана били веслами, чтобы не проскочить мимо фарватера. Потом — немного спокойного плеса, весла подняты кверху, сами мы тоже отдыхаем. И опять неожиданная, как выстрел, команда лоцмана:

— Нос вправо! Корма влево! Не зевай! — Натужно поскрипывая, ходит в гигантской своей уключине громадина-весло — мы обливаемся потом. Впереди новые изгибы реки — за ними тоже неизвестность. Уже в сумерках пристали к берегу. Здесь были наш первый костер и первая ночевка под открытым небом.

Сырое, холодное утро в розовом тумане явилось неожиданно по команде: «Подъем!»

И начался новый день.

Жигалово — небольшая деревня на левом берегу. Мы бы и не запомнили ее, если бы здесь не сменялись лоцманы и не пришлось три часа простоять в очереди у сплавного ларька за продуктами. Большие домашние ковриги пахли русской печью. На нижней, присыпанной золой корке отпечатались черные угольки.

Вечером двадцать третьего июня вышли на тихий безопасный плес. Решили не приставать к берегу — плыть ночью. Связка медленно тащилась мимо черных берегов. Впереди на шивере река бурлила. Лоцман разбудил нескольких человек. Мы без труда направили карбас на быстрину. Снова можно было заснуть.

К Усть-Куту подплывали, когда туман разогнало. Было около десяти часов. Еще издали начали подбиваться к левому берегу. Там происходило что-то непонятное. В центре поселка собралась толпа, слышался голос оратора.

Мы гадали, какой сегодня праздник, и ничего не вспомнили.

Митинг уже кончился, когда пристали к берегу. В киоске продавали местную газету на четвертушке листа — в ней была напечатана речь Молотова. Так мы узнали о начале войны.

В нескольких километрах ниже Усть-Кута — Осетрово. Здесь наша связка простояла весь день, сменялись лоцманы. Команде по ведомости выдали немного денег. Нам с Васькой заплатили меньше других — по неопытности мы не поинтересовались в конторе, по какому разряду нас приняли, и нам поставили самые низкие тарифы.

Отплывали утром. Лоцман поднял всех и поставил к веслам. На этот раз мы водили кормовое весло вдвоем. По команде лоцмана мы стали бить своим веслом к берегу: нужно было развернуть наше корыто наискосок, чтобы пройти мимо катера,



причаленного чуть ниже связки. Моторист, свесившись через борт, лениво переразвивал нашего шепелявого лоцмана:

— Нош вправо! — и хохотал. Лоцман между делом кидал в него матом и от злости еще больше шепелявил — получилось в самом деле смешно.

Кое-как отвалили от берега, слегка шоркнули по борту катера, и моторист уже не в шутку выматерил лоцмана. Карбас повернуло поперек течения. Лоцман кричал нам, в какую сторону грести, чтобы выправиться, но пьяные мужики на другом конце связки не могли разобраться, где нос, где корма, и начинали бить веслами в обратную сторону. Связку крутануло еще раз — наше весло врезалось в галечник. Мы пытались выправить положение. На помощь подоспел дед Ермилин в ботинках на босу ногу, с незажженной трубкой во рту. Васька стоял по другую сторону весла и тянул бревно на себя. Нас с дедом прижало к бочкам. Я думал, из меня выдавит кишки. Кое-как удалось поднырнуть под бревно. Как раз в это время весло от напряжения выпрыгнуло из уключины. Деда Ермилина, словно щенка, швырнуло за борт. На мгновение он повис над водой, судорожно хватая руками воздух, рядом с ним — трубка и слетевший с ноги башмак.

Под смех и улюлюканье зевая на берегу, нашу связку повернуло еще раз. Мы с Васькой прыгнули в лодку выживать деда. На воде он держится неплохо, но ботинок и трубку упустил.

Заведующий связкой и лоцман растормошили остальных, поставили к веслам.

Меня поразило равнодушие, с каким, как мне казалось, все отнеслись к известию о начале войны. Но я был не прав: вскоре выяснилось, что безучастных среди них нет. Теперь во всякую свободную минуту, когда не нужно было ворочать веслами, затевались разговоры о войне. Война была так далеко, что в нее и поверить было почти невозможно, но она уже стала предметом споров.

Спорщики разделились на два лагеря: в центре одного оказались Нилин и мы с Чернопятовым, главой другого стал дед Ермилин. Странников у него нашлось немного, и мы одерживали легкие победы. Нилин в прошлом году демобилизовался в звании старшего сержанта. Второй же специалист, дед Ермилин, служил давно, в германскую войну был простым солдатом, и к тому же половину войны провел у немцев в плену.

Вольное течение несло связку по широкой быстрине, мы поднимали весла и начинали спорить.

— Недельки через две наши доберутся до Германии. — Я говорил как можно громче потому, что мне хотелось сломить молчаливое неверие Ермилина.

— Фашистам каюк. Врежем — бежать некуда будет, — поддерживает меня Васек. Нилин, посмеиваясь, смотрел на нас: дескать, мне-то, служивому, виднее.

— А в самом деле, как думаешь: дойдут за две недели до Германии? — спрашивал его заведующий связкой.

— Ну, за две не за две — за месяц должны.

— Слышь, Ермило-крутило, — обращается заведующий связкой к деду, — что знающий человек говорит. Он небось побольше нас разбирается.

Ермилина нелегко втянуть в спор — знай помалкивает.

— Дед с немцами полюбился, как у них побыл, — вставляет один из сплавщиков. — Хорошо там было?

— Плен, он плен и есть, не скажешь — сладко, — не выдерживает Ермилин. — По хозяйству я там помогал, дело привычное — с лошадьми работал. У них только телеги непохожие и лошади по-другому приучены. Только конь — он конь и есть, хоть русский, хоть немецкий. Кто скотину знает, подход найдет. Лошадь — она

любой язык поймет, если кто любит ее. А кто не любит, так и по-французски не договорится. Только думаю: тяжелая война будет. Видел я, как там у них... У нас вот как сено в валках дождем тронет, ходим по полю да граблями ворошим, чтобы просохло. А у них машина приспособлена — лошадь в нее запрягается, как, скажем, в конные грабки. Едешь, а она шелк, шелк — позади тебя сено в воздух раскидывает. Пока с конца на конец проехал, глядишь, уже и подсохло — гребни снова.

— Деда, — перебивает Ермилина Васек, — так воевать-то не на сеносушилках придется, на танках. — Мы дружно хохочем. Ермилин сконфуженно умолкает.

Несколько дней плыли, не зная никаких новостей. Встретили грузовой пароходик, он тащил баржу кверху. Кричали, спрашивали: как на фронте? Капитан отвечал нам в рупор. Мы не могли разобрать ни слова. Погнались за пароходом на лодке. Подплыли ближе, услышали — капитан через рупор выкрикивал извечную ленинскую шутку:

— Эй, на карбасе, продайте лощмана на мясо! — Мы выложили ему все, что думаем о нем и о его дырявой калоше, и навалились на весла догонять уплывшую связку. Видели еще двух парней. Парни плыли в лодке в Усть-Кут, их вызвали в военкомат. О войне они знали еще меньше нас: думали, что напали японцы.

Даже в Киренске не узнали ничего нового. В газете было одно: идут упорные бои. Мы с Васькой побежали в сплавленную контору увольняться — решили идти в армию добровольцами. В конторе сказали, что расчет дадут только в Витиме — конечном пункте, куда доставлялся наш груз.

— Радуйтесь, что не попали на связку до Мухтуи или Якутска, — утешили нас. Неизвестность измучила всех, споры становились злее. Ермилин казался нам замаскированным шпионом. Он ходил по раскаленным бочкам босиком, смешно поджимал обожженные пальцы и твердил свое:

— С немцами не только за месяц, за год не управимся. Дай бог, за два-три года покончить с этой бедной.

Река лениво тащила связку. Навстречу попадались колесные грузовые пароходы да рыбацкие лодки. Как идет война, никто не знал. Она была далеко от этих мест, по-настоящему за тридевять земель. Мы впервые мерили землю не на глобусе и начинали понимать, какая она громадная.

К Витиму подошли седьмого июля. Ночи здесь в эту пору короткие и светлые. Последнюю ночь перед Витимом плыли. Опасностей на пути не ожидалось: Щеки и Пьяный Бык остались позади. Луна прокладывала по воде светлую дорожку, и карбасы все время шли по ней. Нудно жужжали комары. Время от времени мы скрипели веслами, потом отдыхали и смотрели на лунные блики. Дремали. Мне запомнилась эта ночь: и черные скалы, и луна, и шум воды на перекатах, и шепелявая команда лощмана, и усталые руки, которые не хотели vorочать веслом...

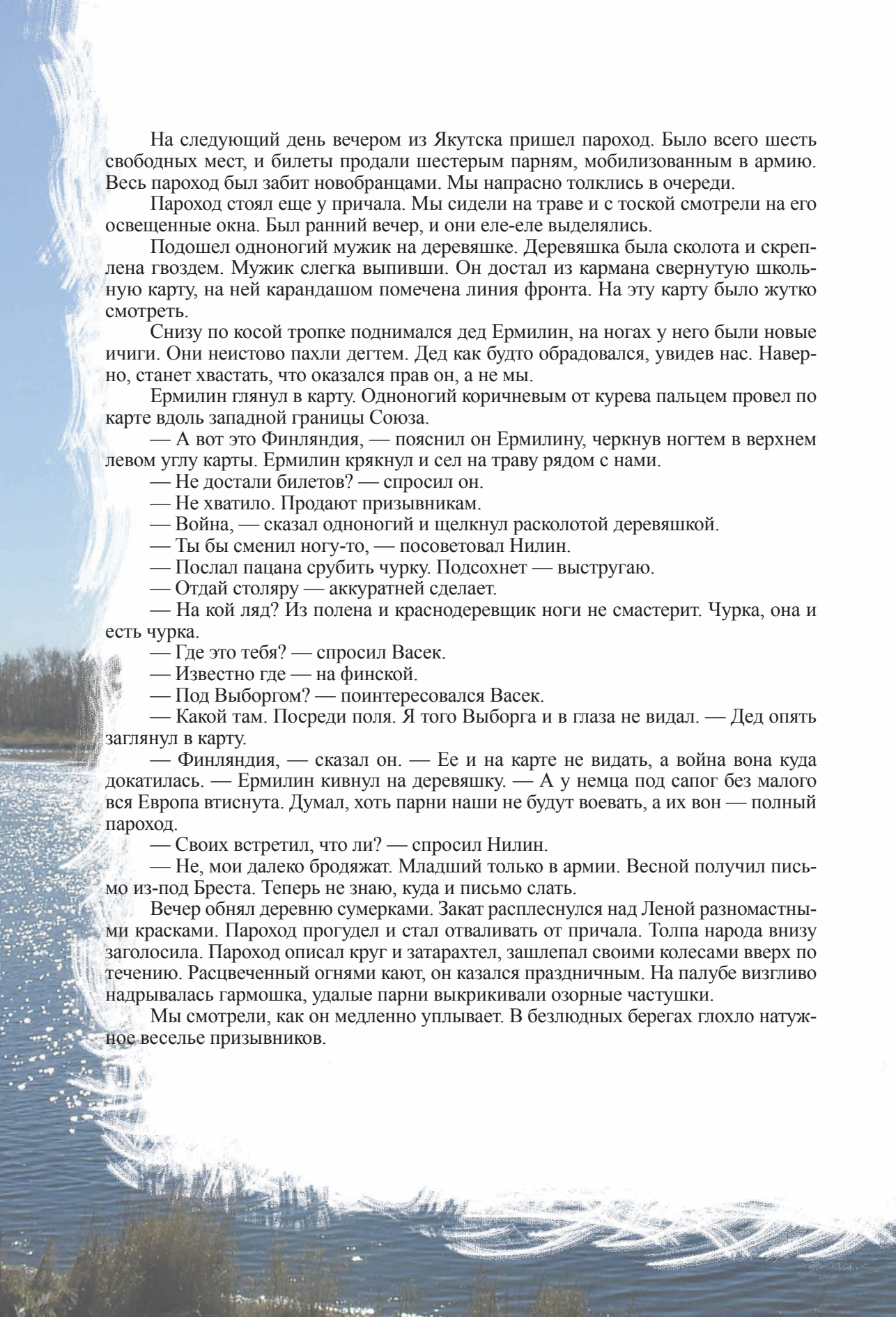
Был уже полдень, когда увидели село. Оно стояло на левом берегу, вправо отрывалась прорва другой реки — Витима.

Прежде всего мы набросились на газеты.

Немцы прошли Западную Белоруссию, Западную Украину, Прибалтику — вот что мы узнали из газет. Мы не хотели верить этому и читали молча.

Дед Ермилин топтался возле нас — одна нога в ботинке, другая обмотана портянкой и обвязана шпагатом, он заглядывал в газеты и спрашивал: «Как тама? Что пишут?» Читать он не умел.

— Наступают немцы, — ответил ему кто-то. Наша команда разбрелась, только мы трое собирались ехать назад. Нам дали места в гостинице на дебаркадере, там были каюты по четыре койки в два этажа.



На следующий день вечером из Якутска пришел пароход. Было всего шесть свободных мест, и билеты продали шестерым парням, мобилизованным в армию. Весь пароход был забит новобранцами. Мы напрасно толклись в очереди.

Пароход стоял еще у причала. Мы сидели на траве и с тоской смотрели на его освещенные окна. Был ранний вечер, и они еле-еле выделялись.

Подошел одноногий мужик на деревяшке. Деревяшка была сколота и скреплена гвоздем. Мужик слегка выпивши. Он достал из кармана свернутую школьную карту, на ней карандашом помечена линия фронта. На эту карту было жутко смотреть.

Снизу по косой тропке поднимался дед Ермилин, на ногах у него были новые ичиги. Они неистово пахли дегтем. Дед как будто обрадовался, увидев нас. Наверное, станет хвастать, что оказался прав он, а не мы.

Ермилин глянул в карту. Одноногий коричневым от курева пальцем провел по карте вдоль западной границы Союза.

— А вот это Финляндия, — пояснил он Ермилину, черкнув ногтем в верхнем левом углу карты. Ермилин крикнул и сел на траву рядом с нами.

— Не достали билетов? — спросил он.

— Не хватило. Продают призывникам.

— Война, — сказал одноногий и щелкнул расколотой деревяшкой.

— Ты бы сменил ногу-то, — посоветовал Нилин.

— Послал пацана срубить чурку. Подсохнет — выстругаю.

— Отдай столяру — аккуратней делает.

— На кой ляд? Из полена и краснодеревщик ноги не смастерит. Чурка, она и есть чурка.

— Где это тебя? — спросил Васек.

— Известно где — на финской.

— Под Выборгом? — поинтересовался Васек.

— Какой там. Посреди поля. Я того Выборга и в глаза не видал. — Дед опять заглянул в карту.

— Финляндия, — сказал он. — Ее и на карте не видать, а война вона куда докатилась. — Ермилин кивнул на деревяшку. — А у немца под сапог без малого вся Европа втиснута. Думал, хоть парни наши не будут воевать, а их вон — полный пароход.

— Своих встретил, что ли? — спросил Нилин.

— Не, мои далеко бродяжат. Младший только в армии. Весной получил письмо из-под Бреста. Теперь не знаю, куда и письмо слать.

Вечер обнял деревню сумерками. Закат расплеснулся над Леной разномастными красками. Пароход прогудел и стал отваливать от причала. Толпа народа внизу заголосила. Пароход описал круг и затарахтел, зашлепал своими колесами вверх по течению. Расцветенный огнями кают, он казался праздничным. На палубе визгливо надрывалась гармошка, удалые парни выкрикивали озорные частушки.

Мы смотрели, как он медленно уплывает. В безлюдных берегах глохло натужное веселье призывников.

ЛЕДОЛОМ НА АНГАРЕ

О служебной или комнатной собаке я и не помышлял: мы снимали угол в чужой квартире. Завести хотя бы дворняжку. А чем кормить?

В тридцать первом году этот вопрос не был праздным: на карточной норме у нас у самих подвело животы. Все же Витька поддерживал меня:

— Маленькую-премаленькую собачонку...

Тетя Зина, квартирная хозяйка, держала сторону нашей матери:

— У самих ребра из-под рубахи выпирают. Собаку им.

Той осенью в городе даже и бродячих собак почти не осталось. А если и были они, тощие-претошие, так дружбу с мальчишками не водили, сломя голову удирали, только поманишь. Им тоже жилось не сладко, за ними повсюду охотились собачники. И все ж мне посчастливилось: целую зиму я дружил с настоящей ученой овчаркой.

Второй этаж над нами занимала семья доктора Сиренского. В ту пору еще была частная практика, и врачам давали привилегию, разрешали иметь лишнюю площадь под больничный кабинет. У нас внизу в таких же точно комнатах жили три семьи.

Осенью наверху прибавился новый жилец, сразу же взбудораживший умы всех пацанов. То был младший брат Андрея Анатольевича Сиренского. Длиннополая шинель и красные кубари в синих петлицах околдовали нас. До этого самым значительным и почитаемым человеком во дворе был врач Сиренский. Младший брат сразу затмил его, по крайней мере в наших глазах. Что значил какой-то врач рядом с военным?

Но главное, что возвышало младшего Сиренского даже и над любым военным, была ученая овчарка, которую он привез с собой. По-другому ее не называли — ученая. То был великолепный остроухий пес, отлично сознающий свою исключительность. Никого из нас он не устаивал даже взглядом и совершенно поразил нас своей ученостью. Военный велел ему сидеть — он садился, приказывал лежать — ложился, закидывал палку — пес мгновенно разыскивал ее и приносил. Если бы нам сказали, что он умеет читать и знает таблицу умножения, никто бы не усомнился в этом. Мы сами сочиняли легенды о его подвигах. В каких войсках служил младший Сиренский, никто не знал. Мы решили — на границе. А коли так, то столь ученой овчарки хватало работы: скольких диверсантов он уже задерживал...

Кличка у пса, верно, была чересчур простая — Байкал. Так звали половину иркутских дворняжек. Но мы и это прощали ему.

Случилось так, что на всю зиму Байкал остался без хозяина, военный уехал в Москву на курсы. С ним Сиренские отправили своих детей к родственникам на Украину: то ли в Одессу, то ли в другой город. По слухам, там не так сильно бедствовали, как у нас. А возможно, этому была другая причина. Ученый пес остался на попечении старшего брата. Поговаривали, что на Байкала выдавали специальную

норму, какая полагается всем ученым овчаркам, особенно тем, которые служат на границе. А скорее всего, мы же сами и придумали это.

Поначалу Байкала выводили прогуливать либо Андрей Анатольевич, либо его жена. Но вскоре это занятие наскучило им, и они стали выпускать овчарку на улицу, как обыкновенную собаку. Оставляли во дворе на час-полтора, потом кто-нибудь из них выходил на крыльцо. Пес сразу прибежал на зов, хлопот с ним не было.

Ученый кобель бродил по двору в одиночестве. Приблизиться к нему, попытаться завязать дружбу не приходило в голову. Нужны мы ему! Никто не подозревал, как ему скучно в одиночестве.

Почему он выбрал меня?.. Не знаю. Просто в тот ненастный день никто из ребят, кроме меня, не вышел во двор.

Стояла поздняя осень. Снег еще не выпал, но земля промерзла и отвердела. Дождевая лужа на задах церкви оделась льдом, зеркально отсвечивала и манила. Был риск провалиться, зачерпнуть в ботинки, но устоять перед соблазном я не мог. Невидимая волна прокатилась в глубине лужи. Позади хрустнуло — я с разгона выскочил на другой берег. Свежие трещины так и сяк рассекли лед. Я разбежался вторично. На этот раз за спиной ухнуло, лед разорвало, мутная жижа выплеснулась вверх. Некоторое время она взад и вперед каталась по льду, потом ее поглотила трещина.

Можно было испробовать еще раз. Я попятился, готовясь к разбегу. Что-то живое и влажное прикоснулось к моей руке. Я обернулся и обмер. Ростом Байкал был почти с меня.

— Тебе чего? — перетрусил я.

Взрослых во дворе ни души. Я был во власти овчарки. Песьи глаза искрились на свету. Байкал чего-то ждал от меня. Холодный ветер шевелил собачий задривок.

— Холодище. Скорей бы уж снег выпал, — поделился я с ним.

Байкал вильнул хвостом, соглашаясь со мной: скорей бы снег. Ему в его меховой дохе зима ничуть не страшна. Он вторично ткнул в мою руку влажным носом. Я осмелел, кончиками пальцев притронулся к его уху. Он и не подумал цапнуть меня. Я легонько провел по лбу и ушам. Мне почудилось ответное движение его головы — Байкал просил, чтобы я гладил еще. Больше всего меня восхищали его великолепные острые уши.

— Какие большие! — В моем голосе прозвучало искреннее восхищение. Байкал оценил это.

— Гав, гав!

Он отпрянул от меня и замер. Призыв был выразительным: ему хотелось поиграть. Мы затеяли игру в пятнашки: я гнался за Байкалом, он увертывался, а дотронувшись до него, я убежал в противоположную сторону. Он настигал меня и валил с ног, возбужденно, весело рычал и понарошку кусал.

Потом мы играли в прятки. Мы оба ошалели от счастья, забыли про мерзкий ветер, дующий с Ангары. Нас разлучила жена Андрея Анатольевича — вышла на крыльцо и позвала Байкала. Напоследок он еще раз подбежал ко мне, холодным носом ткнулся в мою ладонь.

Так завязалась наша дружба. Я не смел этому поверить. Боялся, что назавтра Байкал одумается и не признает меня. Компаньона для игры в пятнашки он может выбрать из ребят старше меня. Каждый был бы польщен.

Кутру потеплело, промозглого ветра, который свирепствовал накануне, не стало. Солнце грело почти по-августовски. Вся пацанва высыпала во двор. Школа в эти

дни была временно закрыта на карантин. Вчерашняя лужа растаяла, по ней можно было пускать кораблики. Этим занялись малыши. Мы, старшие, еще не придумали, чем себя развлечь: затеять игру в сыщики-разбойники или врасплох напасть на камнедомских — наших извечных врагов.

Как раз в это время выпустили Байкала. Обыкновенно он не подходил к детворе. Сейчас напрямик мчался в нашу сторону. Кое-кто из малышей пустился наутек. Байкал, не замечая переполоха, который он вызвал, бросился ко мне. Сразу никто ничего не понял: он повалил меня, мы катались по земле. Байкал оскаливал пасть, рычал и делал вид, будто кусает взаправду...

Но вскоре всем стало ясно — мы забавляемся. На остальных ребят он не обращал внимания, как будто их и не было тут. Меня распирало от гордости.

Так и пошло: едва Байкала выпускали из дому, он сломя голову летел ко мне. И потом мы уже не разлучались. Все, чему он был обучен, он выполнял и по моей команде: сидеть, лежать, разыскивать и приносить палку... Пацаны смотрели на это, как на чудо. И сам я едва верил. Никого, кроме меня, он не признавал. Другие проповали переманить:

— Байкал, ко мне! — Он даже и ухом не поведет. Неожиданно я стал знаменит. В школе мальчишки из других классов на перемене приходили взглянуть на меня, шептали:

— У которого ученая собака.

На владельца ученой собаки я мало походил. Чего стоили одни мои ботинки, облепленные заплатами и сыромятными союзками. Сапожники уже не брали их в починку, латала мать, как могла. Правда, в ту пору никакими обносками нельзя было никого увидеть.

Как только в школе возобновились занятия, Байкал повадился встречать меня после уроков. Отпала нужда выискивать кружной путь: Байкал в состоянии был заштитить меня от целой вражеской армии, камнедомских можно было не опасаться.

Когда ему наскучивало играть в пятнашки и отыскивать палку в жухлом бурьяне, он садился подле меня, огромный, важный, высоко подняв остроухую голову. Пацаны униженно просили:

— Можно погладить?

Обыкновенно я разрешал, хоть и боялся, как бы после этого Байкал не охладел ко мне. Он бестрепетно принимал чужую ласку. Из всех ребят он выделил двоих: моего братишку Витьку и Ваську Жердина — моего закадычного друга. Им можно было гладить Байкала без спросу.

Пробовали соблазнить его подачкой, огрызком сахара или хлебной коркой. Байкал остался неподкупен. Колька Хомяк — их семья жила в подвале каменного дома, бывшей архиерейской усадьбе, — был на пять лет старше меня, хотя учился всего двумя классами выше. Из всех пацанов он был самый практичный.

— Чем прикормил? — спросил он. Я признался: ничем.

— Стибря на базаре мяса — переманю.

Колькина угроза напугала меня. От него всего можно ждать. Мяса Байкалу еще никто не предлагал. Где его взять, мясо? А Хомяк целыми днями в компании шермачей отирается вокруг торговых рядов — таскает, что подвернется.

При ребятах я не подал виду, но в тот вечер долго не мог заснуть. Мерещилась жуткая картина. «Байкал, Байкал!» — зову я, а он равнодушно пробегает мимо и уже не со мной, а с Хомяком играет в пятнашки, понарошку рычит на него. Чего доброго, Хомяк натаскает его воровать мясо, и приезжие мужики с топорами будут подстергать его. До этого мне в голову не приходило задабривать Байкала, я считал нашу дружбу бескорыстной. Да и что я мог уделить ему? С тех пор как умер отец, мы с Витькой сами ни разу не наедались досыта.



На улице было гадко. По бесцветному небу несло рваные клочья, сыпала снежная крупа, поземка мела по мерзлой земле. Над Ангарой выло, косматые гребни волн, казалось, стремились навстречу течению. Из дому никого не манило. У нашего класса был выходной. Тогда была пятидневка, и выходные у разных классов приходились на разные числа. Я сидел в тепле и сквозь двойные рамы слушал, как на дворе злобствовала непогода. На редкость тихо было в нашей квартире. Катька, пятиклассница, была в школе, Ваську тетя Зина послала в кооператив занять очередь — сегодня по карточкам отпускали крупу. Вовка с Витькой увлекались нешумной игрой, Нинка в одиночку забавлялась куклами, баба Ньюша вязала варежки, тетя Зина хлопотала на кухне. Нашей матери не было дома — дежурила.

Запахи, шедшие из кухни, растекались по всему дому. Гадать, что сегодня на обед, не нужно — вареная картошка. Под видом напиться воды я завернул на кухню. Погромче звякнул ковшом, зачерпывая из кадки, чтобы тетя Зина знала причину, которая привела меня. Взрослые не любят, когда мы путаемся у них под ногами. Похоже, ей сейчас не до меня. Ухватом поддела чугунок, выставила на припечек. Другой, меньший чугунок — в нем моя и Витькина доля — давно уже на шестке, картошка допревает в нем. Печь протопилась, пламя не выплескивалось из устья, оттуда в жерло трубы стремился один раскаленный воздух, почти не видимый глазу.

Что может быть вкусней и ароматней картошки, сваренной в русской печи! Будь ее вдоволь, так и мечтать больше было бы не о чем. Про омуль мы теперь и не вспоминали. Вернется ли время, когда у нас было вволю и картошки и омуля?

Мне хоть и не видно, но я зримо представил себе, как подрумянился на печном жару верхний слой картошин. Внезапная мысль озарила меня. Вот уж от чего Байкал не откажется! Но сколько их, этих картофелин, перепадет на мою долю? Я бы один управился с полным чугуном, а картошки в нем только до половины, и то на двоих с Витькой. Вот если бы нашей была картошка в большом чугуне...

Тетя Зина зачем-то вышла в сени, клацнула заложка чулана. Раздумывать некогда. Я попытался выхватить картошину, но руку так ошпарило, что у меня брызнуло из глаз. На опечке лежала нащипанная впрок лучина. Я наугад ткнул в большой чугунок занозистым острием. Сунул свою добычу в карман — и чуть не взвыл. Опряметью вылетел из кухни. В полутемном коридоре прислонился к стене, весь изогнулся, чтобы изнанка кармана не прикасалась к телу. Там будто тлела головешка. Рядом была вешалка. Вторично обжигая руку, извлек злополучную картофелину и поскорей избавился от нее — бросил в оттопыренный карман ватника и вывернул его на испод, чтобы ничего не было видно.

К изнанке штанов все еще невозможно притронуться, но и оставаться в коридоре опасно — вызовет подозрение. Я возвратился в общую комнату. Баба Ньюша поверх очков подозрительно поглядела на меня. Позади раздалась быстрые шаги. Я обомлел. Вот и расплата. Жгучий стыд окатил меня. Не столько страшили меня загрешины, которые достанутся от тети Зины, — заслужил. Не было сил поднять глаза на Вовку с Нинкой — это у них я украл картошку.

Тетя Зина прошла мимо, отворила дверцу угловика, там хранилась посуда. Баба Ньюша отложила вязание, пора было накрывать на стол. Я перевел дух.

Ничего не случилось и за столом. По обыкновению каждый заглянул в чужую миску: не обделила ли тетя Зина кого-нибудь. Раскаяние мучило меня. Я не верил, что тетя Зина ничего не заподозрила. Почему она молчит? Ждет, когда с работы вернется мать? Десятки всяческих казней измышлял я себе.

— Сережа, ты не заболел? — Все уже давно расправились со своими порциями, три пары глаз уставились в мою миску.

— Нет, не заболел, — пробормотал я и налег на картошку.

— Куда это навострился? На улице собачий холод, — остановила меня тетя Зина на пороге.

— Я ненадолго.

Пристальные тети Зинины глаза заглядывали в самую душу. Я повертывался боком, чтобы не видно было влажной пропарины на кармане телогрейки.

— Иди, не держу, — уступила тетя Зина. — Сам через минуту примчишься.

Я выскользнул за дверь. Дуло с Ангары, несло холодную водяную пыль. Телогрейка мгновенно пропиталась сыростью, ветер пробирал до костей. Я знал, где можно укрыться. Позади старой каланчи с давних пор валялась негодная извозчицья пролетка без колес с напрочь изодранным верхом — один остов. Он увяз в почве, бурьян и тальник росли между ржавыми ребрами каркаса. Но внутри, по крайней мере, можно спастись от ветра. Байкал отыщет меня, ему ведомы все наши тайники.

Ветер захлестывал и сюда, но его порывы были ослаблены. Как-никак между моим укрытием и Ангарой была церковь, да еще росли кусты боярышника и бузины. Отсюда хорошо видно старую каланчу. С тылу она неприглядна: кирпичная кладка обнажилась, образовались щели, каменный фундамент искрошился, порос травой. Былинки пожухли и полегли. Наверху вокруг башни налеплены стрижиные гнезда. Сейчас они пусты. Макушка лиственницы надо мной беспрестанно раскачивается, с дерева сыплются мелкие сучки и ощепки коры. Невидимые подземные корневища кольшут почву, шатают остов дряхлой пролетки.

Байкал все не появлялся. Картофелина остыла, стала влажной и скользкой. В кустах боярышника пробежал ветер, прошебаршил сухим бурьяном, взвихрил ошметья мертвых травинки и палую хвою, бессильно погас в тупике между каланчой и южной стеной церковного придела. В тот же миг мне явственно послышалось множество возбужденных голосов и отрывистый собачий лай. Из общего гама выделился голос тети Зины:

— Вор недалеко! Спрятался где-нибудь.

Бежать было поздно и некуда: с одной стороны каменный тупик, с другой я отрезан. Я помертвел. Осталась последняя надежда: взрослые не откроют моего тайника. Но враждебная, воинственная орда кагилась напрямиком на меня. В одно мгновение дырявая кибитка была оцеплена. Я сжался в комок. Что-то тяжелое и мягкое обрушилось сверху, частое дыхание обдало меня знакомым теплом. Я открыл глаза: надо мной, вскинув передние лапы, застыл Байкал. Ременный поводок не пускал его дальше.

— Не смей! Нельзя! — пытался Андрей Анатольевич усмирить разгоряченного пса.

— Пусть цапнет! Нашли, кого жалеть, — вора.

Это был Дементьев, жилец из второго подъезда. В одной руке у него топор, другой он сграбастал меня за шиворот, поднял на воздух. Я задыхался. Рядом с нами, стоя на задних лапах, извивался Байкал, пытаясь вырваться из ошейника.

— Батюшки-светы, так это же Сережа! — поразилась тетя Зина. Теперь и остальные узнали меня.

— Вот, значит, кто! — зловеще выговорил Дементьев, опуская меня на ноги. — Куда девал курицу?

— Курицу? — оторопел я.

— Сережа, лучше сознайся, — добросердечно посоветовала тетя Зина.

— Где курица? — пристал Дементьев.

Я в ужасе смотрел на топор. Язык не повиновался мне. Иначе я тут же бы признался во всем: что украл всего лишь картошку, а вовсе не курицу. Помощь мне

явилась неожиданно. Андрей Анатольевич на миг ослабил хватку, и Байкал вырвал поводок. Рука, державшая меня за шиворот, ослабла, топор со звяком упал наземь. Дементьев оступился и рухнул навзничь. Байкал, ощерив зубы, застыл над ним. Подобного исхода никто не ожидал.

— Он бешеный! — вскричала жена Дементьева.

Про меня забыли, я выскользнул из окружения и с безопасного расстояния наблюдал за происходившим. Про все команды, каким был обучен Байкал, Андрей Анатольевич позабыл.

— Не смей! Назад! — надрывался он, стараясь ухватить кончик ременного поводка.

Дементьев закрыл лицо ладонями. Байкал не трогал его, только рычал и оскальничал пасть, устрашая женщин, которые хотели спасти Дементьева.

— Он взбесился! Надо пристрелить. Позовите милиционера! — неистовствовала Дементьиха.

Теперь уже опасность угрожала Байкалу. Хорошо, поблизости не было постового. Но он в любой момент может появиться.

— Байкал, ко мне, — позвал я. Он повернул голову.

— Ко мне! — повторил я и бросился бежать.

Он еще раз гавкнул на поверженного и, распугивая женщин, тремя скачками настиг меня. Теперь я очутился под низом. Байкал рычал и понарошку кусал меня.

— Господи, он же разорвет его! — переполошилась тетя Зина. Первым, что происходит, разгадал Андрей Анатольевич:

— Да Байкал нас к своему дружку тащил, не вора он искал.

О том, что происходило перед этим, я узнал после. Вечером Дементьев должен был заступать на смену, он сторожил союзтрансовские склады. После обеда он по обыкновению спал. Дементьиха прибиралась на кухне. Внезапно она услышала шумный переполох в курятнике, который они держали в сених. Сунулась в дверь — та оказалась подпертой. Растормошила мужа.

— Дрыхнешь! А у нас воры!

Злой спросонья, Дементьев схватил топор. Кухонная дверь не была подперта: впопыхах Дементьиха забыла откинуть крючок. Воры в курятнике побывали. Пол в сених был усыпан перьями, и одной несущки не доставало. Уйти далеко грабитель не мог. Вопрос, где его искать? Кинешься в одну сторону, а он в другой. Как раз в это время Андрей Анатольевич вывел Байкала. Пустить по свежему следу ищейку! Байкала привели в сени к месту происшествия, вторично переполошили куриц. Вначале Байкал направился к нашему крыльцу, оттуда потащил всех к старой извозчичьей пролетке. Все были уверены, в ней прячется вор. Никому сразу и в голову не пришло, куда же я так быстро мог девать курицу. Не проглотил же ее неошипанной. Разбросанные перья непременно изобличили бы меня. Но все случилось так быстро, что задуматься не было времени.

Случай этот несколько пошатнул славу Байкала.

— Хороша ищейка...

— Так он же щенок, — вступился за Байкала Андрей Анатольевич. Впрочем, никто из пацанов не поверил этому. Ничего себе щенок! Одно то, как он повалил Дементьева, не испугался топора, говорило само за себя.

Воришкой, виновным в краже курицы, был признан рыжий кот из соседского двора. Целую неделю Дементьев с дробовиком подстерегал разбойника. Соседи посоветовали Дементьеву починить курятник — в нем была выломана боковая

планка — и оставить дробовик в покое, а то ненароком подстрелит кого-нибудь из мальчишек.

Про украденную картошку я вспомнил, когда страсти улеглись и взрослые разошлись по домам. Облепленная мусором и крошками, какие всегда бывают в карманах, она выглядела неаппетитно... Румяная корочка, так красившая ее, порвалась и слиплась. Но все равно сейчас, после пережитого страха, я проглотил бы ее за милую душу вместе с мусором. Однако Байкал отверг гостинец. Понюхал, чихнул и с отвращением принялся закапывать. Я насилу отнял у него картошку. Потом мы спустились к Ангаре. Низкие тучи затенили реку. Ветер зыбил на ней тяжелые темные валы, белесые гребни там и сям вспыхивали над ними. Но рядом с берегом вода, как всегда, была прозрачной и светлой. Я окунул в нее картошину, от ледяной воды свело пальцы. Холодная картошка казалась безвкусной только сначала.

Байкал с любопытством смотрел на меня, движением головы и ушей отмечая каждый мой жевок. Я немного отщипнул и дал ему, но он и на этот раз не стал есть. Мне решительно нечем было порадовать Байкала. Впрочем, дружба наша от этого ничуть не пострадала. То ли Хомяку не удалось добыть мяса, то ли Байкал не польстился.

Ночью Ангара стала. Три недели перед этим трещали морозы, над рекой клубился туман, ночью слышно было — шебаршила шуга, которую несло сверху. И вот с утра небо над Ангарой очистилось.

Все обозримое пространство от Курбатовской бани до Знаменского монастыря было в торосах. Мороз несколько не ослабел, зато светило солнце. Ребяшня высыпала на берег. Любая перемена на реке влекла нас.

Хоть мы и держались на особицу от камнедомских, ссора вспыхнула сама собой. Нас было почти вдвое меньше. Пожалуй, нам следовало отступить к угольному причалу, но мы выбрали ангарский лед, решили обороняться посреди торосов. Здесь было полно битого льда. Камнедомские не рискнули атаковать нас, но и на берег не пускали. Боеприпасов и у них хватало. Взять приступом крутяк, откуда нас осыпали мерзлыми конскими шевьяками, мы не могли. Мороз между тем делал свое дело. Нам казалось, что наверху, где нас стерегли камнедомские, вдвое больше солнца, и оно греет не то что у нас, на льду. Уже постылая мысль — просить пощады — рождалась в наших умах, никем пока еще не высказанная.

Байкал появился внезапно. Выбежал из калитки, что позади церкви, внес сумятицу в ряды противника, начав кружиться среди них, ко всем подбегал и обнюхивал. А к тому времени, когда он отыскал нужный след и услышал мой зов, расстроенная армия камнедомских бежала.

В ту зиму Байкал совершил еще один подвиг.

В нашей школе все перемешалось и спуталось. Нам добавили чужие классы из другой школы. У них загорелась проводка и случился пожар, здание закрыли на ремонт. До этого занятия шли в две смены, теперь прибавили еще одну, вечернюю, и уплотнили время на пересмену. Наш класс из утренней перевели в обеденную. Так длилось больше месяца, пока у соседей обновляли сгоревшие стропила и потолки. Утренняя смена была удобней: отучился, и впереди у тебя целый день. Теперь стало ни то ни се: в ранние часы до занятий на дворе еще темень и холодно, а после

уроков, не успеешь оглянуться, уже ночь. Но не это меня огорчало. Хуже было, что теперь я виделся с Байкалом через четыре дня на пятый. На улицу его всегда выпускали в один и тот же час. Он понапрасну прибегал к школьному подъезду встречать меня — у нас шел только первый урок. Покрутившись и пометавшись туда-сюда, он спешил назад во двор, думая, что разминулся со мной. А там, глядишь, кончалось время, отпущенное ему на прогулку.

Но так было лишь в первые дни. Не знаю уже, каким чутьем Байкал определил, в каком крыле здания учится наш класс. Он садился под окна и начинал негромко, призывно лаять.

...В открытую форточку доносился тоскливый голос Байкала. Сердце мое разрывалось, но я был прикован к школьной парте, должен был списывать с доски примеры на умножение и деление дробей. Счастливая мысль осенила меня. В ту пору в классах никакого электронного оборудования не было, учительница писала мелом на доске, а потом влажной тряпкой стирала написанное. Тряпка быстро высыхала, начинала пылить, пачкать руки. На перемене дежурный по классу должен был смачивать тряпку под краном, но обыкновенно об этом все забывали. Так и сейчас: учительница напрасно шоркала сухой тряпкой по доске, след старой записи не исчезал.

— Кто сегодня дежурит?

Не знаю, чье дежурство было в тот день, — я опередил всех. Схватил тряпку и выбежал в коридор, ошеломив своим рвением учительницу. Опрометью, мимо ошарашенной уборщицы тети Паши, ворвался в темную прихожую. К счастью, здесь никого не было. Я налег на тяжеленный створ и вывалился на мороз.

— Байкал! — Повторять не понадобилось: Байкал одним махом взлетел на ограду, сбил снежную опушку и обрушился на меня.

Я пытался объяснить, что ему нельзя в школу, он должен вернуться домой, что мы встретимся завтра... Но тщетно, Байкал ничего не хотел слушать. Едва я открыл дверь, он тут же прошмыгнул в сени. Я не знал, что теперь делать. Нужно хотя бы оставить дверь открытой. Когда я вернусь за парту, Байкал сможет выйти на улицу. Полутемные задние сени наполовину были загромождены дровами, припавшими на растопку. Тогда водяных батарей не было, и в школе по старинке топили печи. Я кое-как приоткрыл дверь и встал в зазор полено.

На крашеном полу в коридоре Байкал поскальзывался, но не отставал от меня. У двери в класс я еще раз пытался растолковать Байкалу, что дальше ему нельзя. Он пытливо смотрел на меня, шевеля ушами, и все время порывался гавкнуть. Этого только и не хватало. В дальнем крыле, где находилась учительская, раздались чьи-то шаги. Медлить было нельзя. Я чуть-чуть приоткрыл дверь, чтобы протиснуться самому, не пустить Байкала, но он опередил меня. Мы появились на виду у всего класса, и только учительница, склонившись над журналом, не видела нас.

— Долго ходишь, Сережа, — укорила она меня.

Я поскорей положил тряпку на приступку классной доски и за спиной учительницы прошмыгнул на свое место. Байкал, уяснив, что ему надлежит вести себя смирно, стать неприметным, последовал за мной. Класс взбудоражился. Учительница недоуменно озидала три ряда парт, не находя причины внезапного оживления. Я сидел паинькой и невинно глядел на доску. Байкал ворочался, умащиваясь под сидением у меня в ногах. Возможно, благополучно дождался бы звонка, если бы Байкала оставили в покое. Каждому хотелось погладить его. Сейчас это можно было сделать, не спрашивая у меня.

— Гав! Гав! — не выдержал Байкал.

— Зуев! Это еще что? — Учительница решила — это я гавкаю по-собачьи. Но в равной степени ее слова относились и к другому: в руках она держала тряпку, которую я так и не намочил.

Видимо, шум в классе привлек директора — он появился внезапно. Все вскочили на ноги, хлопая крышками парт. Гавкнул было Байкал, но умолк, смущенный всеобщей тишиной.

— Это еще что такое!

Директор тоже подумал, что собачьему лаю подражает кто-то из нас. Байкал ерзал и стучал лапами. Я пытался силой пригнуть голову, которую он тянул из-под парты. Но было поздно: взгляд директора остановился на острых ушах Байкала. Все оцепенели в ожидании.

— Откуда в классе собака? — повернулся директор к учительнице. Та молчала, ошарашенно моргая.

— Чья? — грозно спросил директор.

— Не знаю. Не моя, — поспешил отнекаться мой сосед.

— Твоя?

Гневный голос директора подстегнул Байкала, он решил: настала пора вступить за меня — рванулся из-под парты, заставив директора отпрянуть.

— Вон!

В жизни своей я не видывал более свирепого лица. Меня точно вышвырнуло из-за парты. Едва не сбив с ног перепуганную учительницу, я вылетел в коридор. Преданный пес сопровождал меня.

— Гав! Гав! — гулко хлестало в школьных стенах.

Из всех дверей выглядывали встревоженные лица. Никто не препятствовал нашему бегству, мы благополучно выбрались из школьных сеней. Дворовая калитка была на защелке. Железное кольцо в белой изморози обожгло руки. Лишь завернув за угол бывшей семинарии, я перевел дух. Погони не было. Мороз свирепо щипал уши, обдирая кожу со щек и носа. Руки ныли, как будто я все еще держался за ледяное кольцо школьной калитки. Я задышался: невозможно было глотать колючий воздух. Ангара, во всю ширь загроможденная ледовыми изваяниями, была царством стужи. Серебристо, жгуче сверкали оцепенелые торосы. Клубы морозного пара скрывали полынью ниже угольного причала.

Я был в отчаянии: ни вернуться в школу, ни явиться домой мне нельзя. Что я скажу матери, когда она увидит меня голоущим? Байкалу хотелось играть, и он сердился на мое безучастие. Оставалось одно: ждать перемены, незаметно прокрасться в раздевалку за ватником и ушанкой. Я был убежден, что в школу мне возврата уже не будет. Но прежде необходимо было отделаться от Байкала. Можно себе представить, что там произойдет на перемене. Там и без собаки дым стоит коромыслом.

Избавление пришло, откуда я не ждал. На берегу появился Андрей Анатольевич. От вида его барашковой папахи и длиннополого пальто с меховым воротником, поднятым кверху, мне стало еще холодней. Я спрятался в проеме каменной ограды. Байкал кинулся было на зов, но, потеряв меня из виду, вернулся. Он мог выдать меня, и я знаками велел ему уходить. Он метался, гавкал, призывал меня. Андрей Анатольевич безуспешно пробовал удержать его — Байкал вырывался и прибегал ко мне. Наконец Андрей Анатольевич надел на него ошейник.

Из школы меня не исключили, но велели, чтобы я позвал мать. Навряд ли учительница и директор лестно отозвались обо мне. Дома мне всыпали по первое число.

...Наконец минула и эта зима — лютая зима тридцать первого — тридцать второго года. Снега в городе почти не осталось, а где и сохранился он в тени, так суметы осели и побурели, и казалось, состояли из одного мусора и конского помета.

Правобережные лесистые сопки, видимые от нас, посерели, там и сям их еще пятнали сугробы, но уже не слепили прежней белизной. Лишь Ангара все еще стояла подо льдом. Хотя и здесь мартовское солнце брало свое: торосы измельчали, оплавившись, напротив церкви на месте недавней проруби проело полынью, в ней катилась ледяно-прозрачная со стекольной прозеленью ангарская вода. Ступать на лед было опасно, он истончал, износдрился. Днем по-весеннему грело, на проталинах можно стало играть в бабки и в чику.

Ледолом начался в полдень. Занятия в школе давно уже шли по обычному расписанию, наш класс снова учился в первую смену. Только что кончились уроки. Над Ангарой прокатился приглушенный громовой удар. И ребягня и взрослые высыпали на берег. Ярко светило апрельское солнце, частая капель стучала по оттаявшим тротуарам. Черную гору угля усыпали пацаны: и те, что учились в первую смену, и старшие. Посреди этой мурашиной толчеи возвышались фигуры взрослых. Зрелище захватило всех.

С пугающим гулом раскалывались льдины. Их вздыбливало, громоздило поверх торосов, они рушились, образуя заломы из ледяного боя и крошева. Вся эта масса бугрилась, перла на берег, угрожая разогнать праздную толпу. Потом внезапно опадала. Течение тут же приносило новые льдины, их вздымало, крошило, сбивало в кучу. Как раз здесь, напротив угольного причала, была самая узкая горловина. Даже стремительное ангарское течение не успевало расчищать русло. Казалось, реку совсем запрудило. Прозрачная вода устремилась поверх голубого и зеленого льда, но он тут же всплывал, омытый и чистый. Уже затопило береговую кромку. Вода слизывала угольную мелочь, просыпанную при разгрузке барж, подобралась к дырявому бочонку, впаянному в прибрежный сугроб. Бочонок закачался, вознесся над ледяным крошечком. Еще немного, и вода хлынет в улицу. Толпа ахнула, готовилась бежать. Но что-то произошло на середине реки, пушечный раскат принесло оттуда. Ледяная гора осела, громко зашуршало вдоль берега. Давешний бочонок с грязным сугробным пластом увлекло в реку. На миг его окунуло. Водяные потоки катились с него, смывая угольную чернь. Сквозь продырявленный весенний сугроб фонтанили прозрачные струи. Потом две тяжелые льдины смяли снежный пласт, бочонок хрустнул. А когда льдины вновь растащило, вода выбросила на них бочоночные клепки.

— Вот это да!

Рядом стоял Андрей Анатольевич. Каракулевая папаха сбилась набекрень, едва держалась на его лысеющей голове. Прищуренные глаза сверкали по-мальчишески озорно. Таким я никогда не видел его. Я удивился, что поблизости не видно Байкала. Почему его не выпустили на прогулку? Обычно он встречал меня у школьного подъезда, а сегодня не появился.

Ледяной затор продвинулся ниже. Теперь Ангару дыбило и пучило у Знаменского собора. Глазам больно было смотреть туда: нестерпимой солнечной белизной сияли каменная ограда и церковные стены.

Вскоре прорвало и там. Река быстро очистилась. Поверху несло лишь одиночные глыбы и шугу, как бывает в канун рекостава. Переменился и цвет воды — она стала еще прозрачнее и синее. Толпа на берегу поредела, остались одни мальчишки. Я не видел, когда исчез Андрей Анатольевич.

Навстречу бежал Витька, кричал что-то неразборчивое, бессмысленное. Глаза у него были дикие. Недоброе предчувствие полоснуло меня.

— Байкал... Военные... на машине... — Витька запыхался, проглатывая слова. Мы наперегонки неслись вдоль набережной. Витька пытался говорить — невозможно было разобрать ни одного слова. Но я все уже понял. Когда мы через поповскую калитку вбежали во двор, крытая военная машина, на которой увозили Байкала, выворачивала из главных ворот.

Несколько кварталов я понапрасну гнался за ней.

Давний ледолом на Ангаре потому и запомнился, что с ним связана моя первая утрата. Как я казнился после, что не ушел сразу, когда прорвало затор, а битый час еще торчал на берегу! Если бы я не был так поглощен зрелищем ледолома, я мог бы видеть, как за Андреем Анатольевичем прибежала соседская девочка, что-то сказала ему и он с озабоченным видом заспешил домой. Полы его незастегнутого пальто развевались на ходу, а быстроногая девочка семенила вокруг него и что-то еще говорила ему. Но я ничего этого не видел — только Ангару, которая крушила и ломала лед, державший ее в плену целую зиму.

Младший Сиренский возвратился из Москвы, не известив брата телеграммой. В Иркутске он задержался всего на полтора часа — время стоянки поезда в те годы. После мне рассказали, как отчаянно сопротивлялся Байкал, не хотел идти в машину, как он рвался и лял.

— Он тут с мальчиком подружился, — объяснил причину строптивости Байкала Андрей Анатольевич.

Младший Сиренский рассердился, укорил старшего брата, что ему ничего нельзя доверять, недобрый словом помянул меня:

— Окаянный бесенок, изурочил щенка!

Андрей Анатольевич, признавая свою вину, оправдывался: ему недосуг было прогуливать пса, и Байкал за зиму привязался к мальчику.

— Нельзя было этого допускать! У служебной собаки не должно быть привязанностей.

Пока Витька искал меня, военный укротил Байкала — перетянул ему глотку жестким ошейником с шипами.

Осенью военный снова навестил старшего брата. Я весь день просидел у крыльца, ожидая Байкала. Увы, на этот раз пограничник был один, без овчарки. Он недолго гостил у брата и вскоре уехал.

А спустя немного я случайно узнал правду о бесславной участи моего любимца. Байкал не был чистокровным щенком овчарки. Младший Сиренский не стал готовить из него пограничную собаку, а приобрел для своего подрастающего сына. Хотел только обучить щенка кой-каким собачьим премудростям, но Байкал и этого не усвоил. Действительно ли я был виновен — изурочил щенка или же обучение проводилось по неверной системе, осталось неизвестно. Андрей Анатольевич, который рассказывал это, ничего не мог сказать. Байкал теперь живет при доме младшего Сиренского на правах дворняги. Живется ему неплохо: мальчик — сын военного — не чаёт в нем души, и Байкал дружит с ним.

Никому из ребят я не сказал правды и вопреки всему продолжал верить, что Байкал служит на границе. Чуть ли не каждый день я придумывал, какие геройские подвиги он совершает, задерживая диверсантов и шпионов, и на перемене рассказывал. Мне верили, потому что все считали меня настоящим хозяином Байкала, и потому что всем нам хотелось верить только в хорошее.



АЛЕКСАНДР
ВАМПИЛОВ

СТАРШИЙ
СЫН

Комедия в двух действиях



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

БУСЫГИН

СИЛЬВА

САРАФАНОВ

ВАСЕНЬКА

КУДИМОВ

НИНА

МАКАРСКАЯ

ДВЕ ПОДРУГИ

СОСЕД

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Поздний весенний вечер. Двор в предместье. Ворота. Один из подъездов каменного дома. Рядом — небольшой деревянный домик, с крыльцом и окном во двор. Тополь и скамья. На улице слышны смех и голоса.

Появляются Бусыгин, Сильва и две девушки. Сильва ловко, как бы между прочим, наигрывает на гитаре. Бусыгин ведет под руку одну из девушек. Все четверо заметно мерзнут.

СИЛЬВА *(напевает)*.

*Ехали на тройке — не догонишь,
А вдали мелькало — не поймешь...*

ПЕРВАЯ ДЕВУШКА. Ну вот, мальчики, мы почти дома.

БУСЫГИН. Почти — не считается.

ПЕРВАЯ ДЕВУШКА *(Бусыгину)*. Разрешите руку. *(Освобождает руку)*. Спасибо, что проводили. Здесь мы дойдем сами.

СИЛЬВА *(перестает играть)*. Сами? Это как понять?.. Вы сюда *(показывает)*, а мы, значит, обратно?..

ПЕРВАЯ ДЕВУШКА. Значит, так.

СИЛЬВА *(Бусыгину)*. Слушай, друг, как тебе это нравится?

БУСЫГИН *(первой девушке)*. Вы нас бросаете на улице?

ПЕРВАЯ ДЕВУШКА. А вы как думали?

СИЛЬВА. Думали?.. Да я был уверен, что мы едем к вам в гости.

ПЕРВАЯ ДЕВУШКА. В гости? Ночью?

БУСЫГИН. А что особенного?

ПЕРВАЯ ДЕВУШКА. Значит, вы ошиблись. К нам ночью гости не ходят.

СИЛЬВА *(Бусыгину)*. Что ты на это скажешь?

БУСЫГИН. Спокойной ночи.

ДЕВУШКИ *(вместе)*. Приятного сна!

СИЛЬВА *(останавливает их)*. Одумайтесь, девушки! Куда спешить? Вы же сейчас с тоски выть будете! Образумьтесь, пригласите в гости!

ВТОРАЯ ДЕВУШКА. В гости! Гляди-ка какой быстрый!.. Потанцевали, угостили вином и сразу — в гости! Не на тех напали!

СИЛЬВА. Скажи, какое коварство! *(Задерживает вторую девушку)*. Дай хоть поцелую на сон грядущий!

Вторая девушка вырывается, и обе быстро уходят.

Девушки, девушки, остановитесь!

Бусыгин и Сильва следуют за девушками. Появляется Сарафанов с кларнетом в руках. Навстречу ему из подъезда выходит сосед, пожилой человек. Одет он тепло, вида болезненного. По манерам — служащий средней руки, заготовитель.

СОСЕД. Здравствуйте, Андрей Григорьевич.

САРАФАНОВ. Добрый вечер.

СОСЕД (*язвительно*). С работы?

САРАФАНОВ. Что?.. (*Поспешно.*) Да-да... С работы.

СОСЕД (*с насмешкой*). С работы?.. (*Укоризненно.*) Эх, Андрей Григорьевич, не нравится мне ваша новая профессия.

САРАФАНОВ (*поспешно*). Что это вы, сосед, куда собрались на ночь глядя?

СОСЕД. Как — куда? Никуда. Давление у меня скачет, на воздух вышел.

САРАФАНОВ. Да-да... Прогуляйтесь, прогуляйтесь... Это полезно, полезно...
Доброй ночи. (*Хочет уйти.*)

СОСЕД. Подождите...

Сарафанов останавливается.

(*Указывает на кларнет.*) Кого проводили?

САРАФАНОВ. То есть?

СОСЕД. Кто помер, спрашиваю.

САРАФАНОВ (*испуганно*). Тсс!.. Тише!

Сосед прикрывает рот рукой, быстро кивает.

(*С упреком.*) Ну что же вы, ведь я же вас просил. Не дай бог, мои услышат...

СОСЕД. Ладно, ладно... (*Шепотом.*) Кого хоронили?

САРАФАНОВ (*шепотом*). Человека.

СОСЕД (*шепотом*). Молодого?.. Старого?

САРАФАНОВ. Средних лет...

Сосед долго и сокрушенно качает головой.

Извините меня, пойду домой. Продрог я что-то...

СОСЕД. Нет, Андрей Григорьевич, не нравится мне ваша новая профессия.

Расходятся. Один исчезает в подъезде, другой выходит на улицу.

С улицы появляется Васенька, останавливается в воротах. В его поведении много беспокойства и неуверенности, он чего-то ждет. На улице послышались шаги. Васенька бросается к подъезду — в воротах появляется Макарская. Васенька спокойно, изображая нечаянную встречу, идет к воротам.

ВАСЕНЬКА. О, кого я вижу!

МАКАРСКАЯ. А, это ты.

ВАСЕНЬКА. Привет!

МАКАРСКАЯ. Привет, кирюшечка, привет. Что ты здесь делаешь? *(Идет к деревянному домику.)*

ВАСЕНЬКА. Да так, решил немного прогуляться. Погуляем вместе?

МАКАРСКАЯ. Что ты, какое гулянье — холод собачий. *(Достает ключ.)*

ВАСЕНЬКА *(встав между нею и дверями, задерживает ее на крыльце)*. Не пущу.

МАКАРСКАЯ *(равнодушно)*. Ну вот. Начинается.

ВАСЕНЬКА. Ты мало бываешь на воздухе.

МАКАРСКАЯ. Васенька, иди домой.

ВАСЕНЬКА. Подожди... Давай поболтаем немного... Скажи мне что-нибудь.

МАКАРСКАЯ. Спокойной ночи.

ВАСЕНЬКА. Скажи, что завтра ты пойдешь со мной в кино.

МАКАРСКАЯ. Завтра увидим. А сейчас иди спать. А ну пусти!

ВАСЕНЬКА. Не пущу.

МАКАРСКАЯ. Я пожалуюсь твоему, ты достукаешься!

ВАСЕНЬКА. Почему ты кричишь?

МАКАРСКАЯ. Нет, это наказание какое-то!

ВАСЕНЬКА. Ну и кричи. Мне, может быть, даже нравится.

МАКАРСКАЯ. Что нравится?

ВАСЕНЬКА. Когда ты кричишь.

МАКАРСКАЯ. Васенька, ты меня любишь?

ВАСЕНЬКА. Я?!

МАКАРСКАЯ. Любишь. Что-то плохо ты меня любишь. Я тут в кофте стою, замерзла, устала, а ты?.. Ну пусти, пусти...

ВАСЕНЬКА *(сдается)*. Ты замерзла?..

МАКАРСКАЯ *(открывая ключом дверь)*. Ну вот... Умница. Разлюбишь — надо слушаться. *(На пороге.)* И вообще: я хочу, чтобы ты меня больше не ждал, не следил за мной, не ходил по пятам. Потому что из этого ничего не выйдет... А сейчас иди спать. *(Входит в дом.)*

ВАСЕНЬКА *(приближается к двери, дверь закрывается)*. Открой! Открой! *(Стучит.)* Открой на минутку! Мне надо тебе сказать. Слышишь? Открой!

МАКАРСКАЯ *(в окне)*. Не ори! Весь город разбудишь!

ВАСЕНЬКА. Черт с ним, с городом!.. *(Садится на крыльцо.)* Пусть подымаются и слушают, какой я дурак!

МАКАРСКАЯ. Подумаешь, как интересно... Васенька, поговорим серьезно. Пойми ты, пожалуйста, у нас с тобой ничего не может быть. Кроме скандала, конечно. Подумай, глупенький, я тебя старше на десять лет! Ведь у нас разные идеалы и все такое — неужели вам этого в школе не объясняли? Ты должен дружить с девочками. Теперь в школе, кажется, и любовь разрешается — вот и чудесно. Вот и люби кого полагается.

ВАСЕНЬКА. Не говори глупостей.

МАКАРСКАЯ. Ну хватит! Хороших слов ты, видно, не понимаешь. Ты мне надоел. Надоел, ясно тебе? Уходи, и чтоб я тебя здесь больше не видела!

ВАСЕНЬКА *(подходит к окну)*. Хорошо... Больше ты меня не увидишь. *(Скорбно.)* Никогда не увидишь.

МАКАРСКАЯ. Совсем мальчик спятил!

ВАСЕНЬКА. Встретимся завтра! Один раз! На полчаса! На прощанье!.. Ну что тебе стоит!

МАКАРСКАЯ. Ну да! От тебя потом не отвяжешься. Я ведь вас прекрасно знаю.

ВАСЕНЬКА (*вдруг*). Дрянь! Дрянь!

МАКАРСКАЯ. Что?!. Что такое?!. Ну и порядки! Каждая шпана может тебя оскорбить!.. Нет, без мужа, видно, на этом свете не проживешь!.. Иди отсюда. Ну!

Молчание.

ВАСЕНЬКА. Прости... Прости, я не хотел.

МАКАРСКАЯ. Уходи! Баиньки! Щенок бесхвостый! (*Захлопывает окно.*)

Васенька бредет в свой подъезд. Появляются Бусыгин и Сильва.

СИЛЬВА. Как они нас, скажи?..

БУСЫГИН. Перекурим.

СИЛЬВА. А та, белобрысая, ничего...

БУСЫГИН. Маловата ростом.

СИЛЬВА. Слушай! Она же тебе нравилась.

БУСЫГИН. Уже не нравится.

СИЛЬВА (*смотрит на часы, свистнул*). Слушай, а сколько времени?

БУСЫГИН (*смотрит на часы*). Половина двенадцатого.

СИЛЬВА. Сколько?.. Сердечно поздравляю, мы опоздали на электричку.

БУСЫГИН. Серьезно?

СИЛЬВА. Все! Следующая в шесть утра.

Бусыгин свистнул.

(*Мерзнет.*) Брр... Джентльмены!.. Провожание устроили! Обормоты!

БУСЫГИН. Далеко до дома?

СИЛЬВА. Километров двадцать, не меньше!.. И все эти скромницы! Какого черта мы с ними связались!

БУСЫГИН. Что это за район, я здесь никогда не был.

СИЛЬВА. Ново-Мыльниково. Глушь!

БУСЫГИН. Знакомых нет?

СИЛЬВА. Никого! Ни родных, ни милиции.

БУСЫГИН. Ясно. А где прохожие?

СИЛЬВА. Деревня! Все уже спят. Они здесь ложатся еще засветло.

БУСЫГИН. Что же будем делать?

СИЛЬВА. Слушай, а как тебя зовут? Извини, там, в кафе, я толком не расслышал.

БУСЫГИН. Я тоже не расслышал.

СИЛЬВА. Давай по новой, что ли...

Трясут друг друга за руку.

БУСЫГИН. Бусыгин. Владимир.

СИЛЬВА. Севостьянов. Семен. В просторечии — Сильва.

БУСЫГИН. Почему Сильва?

СИЛЬВА. А черт его знает. Пацаны — прозвать прозвали, а объяснить не объяснили.

БУСЫГИН. Я тебя как-то видел. На главной улице.

СИЛЬВА. А как же! Я принимаю там с восьми до одиннадцати. Каждый вечер.

БУСЫГИН. Где-нибудь работаешь?

СИЛЬВА. Обязательно. Пока в торговле. Агентом.

БУСЫГИН. Что это за работа такая?

СИЛЬВА. Нормальная. Учет и контроль. А ты? Трудисься?

БУСЫГИН. Студент.

СИЛЬВА. Мы будем друзьями, ты увидишь!

БУСЫГИН. Подожди. Кто-то идет.

СИЛЬВА (*мерзнет*). А ведь прохладно, скажи!

Сосед возвращается с прогулки.

БУСЫГИН. Добрый вечер!

СОСЕД. Приветствую.

СИЛЬВА. Где здесь ночной клуб? А, милейший?..

БУСЫГИН (*Сильве*). Подожди. (*Соседу*.) Где автобус, скажите, пожалуйста.

СОСЕД. Автобус?.. Это на той стороне, за линией.

БУСЫГИН. Успеем мы на автобус?

СОСЕД. Можете. А вообще-то не успеете. (*Намеревается идти*.)

БУСЫГИН. Послушайте. Не скажете, где бы нам переночевать? Были в гостях, опоздали на электричку.

СОСЕД (*разглядывает их с опаской и подозрением*). Бывает.

СИЛЬВА. Нам бы только до утра прокантоваться, а там...

СОСЕД. Понятное дело.

СИЛЬВА. Где-нибудь за печкой. Скромненько, а?

СОСЕД. Нет-нет, мужики! Не могу, мужики, не могу!

БУСЫГИН. Почему, дядя?

СОСЕД. Я бы с большим удовольствием, но ведь я не один живу, сами понимаете, в обществе. Жена у меня, теща...

БУСЫГИН. Ясно.

СОСЕД. А лично я — с большим удовольствием.

БУСЫГИН. Эх, дядя, дядя...

СИЛЬВА. Валенки ты дырявые!

Сосед удаляется молча и боязливо.

Чертов ветер! Откуда он сорвался? Такой был день и — на тебе!

БУСЫГИН. Будет дождь.

СИЛЬВА. Его только не хватало!

БУСЫГИН. А может быть, снег.

СИЛЬВА. Эх! Сидел бы я лучше дома. Тепло по крайней мере. И весело тоже. У меня батя большой шутник. С ним не соскучишься. Нет-нет да и что-нибудь выдаст. Вчера, например. Мне, говорит, надоели твои безобразия. На работе, говорит, испытываю из-за тебя эти... неловкости. На, говорит, тебе последние двадцать рублей, иди в кабак, напейся, устрой дебош, но такой дебош, чтобы я тебя год-два не видел!.. Ничего, а?

БУСЫГИН. Да, почтенный родитель.

СИЛЬВА. А у тебя?

БУСЫГИН. Что — у меня?



СИЛЬВА. Ну с отцом. То же самое — разногласия?

БУСЫГИН. Никаких разногласий.

СИЛЬВА. Серьезно? Как это у тебя получается?

БУСЫГИН. Очень просто. У меня нет отца.

СИЛЬВА. А-а. Другое дело. А где ты проживаешь?

БУСЫГИН. В общежитии. На Красного Восстания.

СИЛЬВА. А, мединститута?

БУСЫГИН. Его самого... Да, климат здесь неважный.

СИЛЬВА. Весна называется!.. Бррр... К тому же я целый месяц не высыпаясь...

БУСЫГИН. Ну хорошо. Ты зайди в этот подъезд, постучись к кому-нибудь. А я попытаюсь в частном секторе. *(Направляется к дому Макарской.)*

Сильва уходит в подъезд.

(Стучится к Макарской.) Алле, хозяин! Алле! *(Повременил и стучится снова.)*
Хозяин!

Окно открывается.

МАКАРСКАЯ *(из окна)*. Кто это?..

БУСЫГИН. Добрый вечер, девушка. Послушайте, опоздал на электричку, замерзаю.

МАКАРСКАЯ. Я не пушу. Даже и не думай!

БУСЫГИН. Зачем же так категорически?

МАКАРСКАЯ. Я живу одна.

БУСЫГИН. Тем лучше.

МАКАРСКАЯ. Одна я, понятно?

БУСЫГИН. Прекрасно! Значит, у вас найдется место.

МАКАРСКАЯ. С ума сошел! Как же я могу тебя пустить, если я тебя не знаю!

БУСЫГИН. Велика беда! Пожалуйста! Бусыгин Владимир Петрович. Студент.

МАКАРСКАЯ. Ну и что из того?

БУСЫГИН. Ничего. Теперь вы меня знаете.

МАКАРСКАЯ. Ты думаешь, этого достаточно?

БУСЫГИН. А что еще? Ах да... Ну, не будем забегать вперед, но вы мне уже нравитесь.

МАКАРСКАЯ. Нахал.

БУСЫГИН. Зачем же так грубо?.. Скажите лучше, как вы себя там чувствуете, в вашем пустом...

МАКАРСКАЯ. Да?

БУСЫГИН. ...холодном...

МАКАРСКАЯ. Да?

БУСЫГИН. ...темном доме. Не страшно вам одной?

МАКАРСКАЯ. Нет, не страшно!

БУСЫГИН. А вдруг вы ночью заболите. Ведь воды некому подать. Так нельзя, девушка.

МАКАРСКАЯ. Не беспокойся, не заболела! И давай не будем! Поговорим в другой раз.

БУСЫГИН. А когда? Завтра?.. Навестить вас завтра?

МАКАРСКАЯ. Попробуй.

БУСЫГИН. А я до завтра не доживу. Замерзну.

МАКАРСКАЯ. Ничего с тобой не сделается.

БУСЫГИН. И все же, девушка, мне кажется, вы нас спасете.

МАКАРСКАЯ. Вас? Разве ты не один?

БУСЫГИН. В том-то и дело. Со мной приятель.

МАКАРСКАЯ. Еще и приятель?.. Нахалы все невозможные! *(Захлопывает окно.)*

БУСЫГИН. Ну вот, поговорили. *(Идет по двору; выходит на улицу, осматривается.)*

Появляется Сильва.

Ну как?

СИЛЬВА. Пустые хлопоты. Звонил в три квартиры.

БУСЫГИН. Ну и что?

СИЛЬВА. Никто не открывает. Боятся.

БУСЫГИН. Темный лес... Христа ради у нас ничего не выйдет.

СИЛЬВА. Загнемся. Еще полчаса — и я околею. Я чувствую.

БУСЫГИН. А как в подъезде?

СИЛЬВА. Думаешь, тепло? Черта с два. Уже не топят. Главное, никто разговаривать не хочет. Спросят только, кто стучит, и все, больше ни слова... Мы загнемся.

БУСЫГИН. М-да... А кругом столько теплых квартир...

СИЛЬВА. Что квартир! А сколько выпивки, сколько закуски... Опять же, сколько одиноких женщин! Ррр! Это всегда выводит меня из себя. Идем! Будем стучаться в каждую квартиру.

БУСЫГИН. Подожди, а что ты собираешься им говорить?

СИЛЬВА. Что говорить?.. Опоздали на электричку...

БУСЫГИН. Не поверят.

СИЛЬВА. Скажем, что замерзаем.

БУСЫГИН. Ну и что? Кто ты такой, какое им до тебя дело? Сейчас не зима, до утра потерпишь.

СИЛЬВА. Будем говорить, что отстали от этого... от скорого поезда.

БУСЫГИН. Ерунда. Этим ты их не прошибешь. Надо выдумать что-то такое...

СИЛЬВА. Скажем, что за нами гонятся бандиты.

Бусыгин смеется.

Неужели не пустят?

БУСЫГИН. Плохо ты знаешь людей.

СИЛЬВА. А ты?

БУСЫГИН. А я знаю. Немного. Кроме того, иногда я посещаю лекции, изучаю физиологию, психоанализ и другие полезные вещи. И знаешь, что я понял?

СИЛЬВА. Ну?

БУСЫГИН. У людей толстая кожа, и пробить ее не так-то просто. Надо соврать как следует, только тогда тебе поверят и посочувствуют. Их надо напугать или разжалобить.

СИЛЬВА. Бррр... Ты прав. А для начала мы их разбудим. *(Двигается, чтобы согреться, потом поет и притоптывает.)*



*Когда фонарики качаются ночные
И вам по улицам нельзя уже ходить...*

БУСЫГИН. Перестань.
СИЛЬВА *(продолжает)*.

*Я из пивной иду,
Я никого не жду,
Я никого уже не в силах полюбить...*

ГОЛОС СОСЕДА *(с верхнего этажа, он торжествует)*. Эй, вы, артисты! А ну, проваливайте отсюда!

СИЛЬВА *(поднял голову)*. Вам не нравится?

ГОЛОС СОСЕДА. Убирайтесь! У нас здесь своих хулиганов хватает!

СИЛЬВА. Заткнись, папаша!

ГОЛОС СОСЕДА. Негодяи!

Слышится стук захлопнувшегося окна.

СИЛЬВА. Слышал?.. Тот самый дядя. Вишь, как преобразился.

БУСЫГИН. Да-а...

СИЛЬВА. Вот и верь после этого людям. *(Мерзнет)* Ррр...

БУСЫГИН. Пошли в подъезд. Там хоть ветра нет.

Идут к подъезду. В это время в одном из окон вспыхивает свет. Приятели останавливаются и наблюдают.

Ты туда звонил?

СИЛЬВА. Нет. Смотри, кто-то одевается.

БУСЫГИН. Кажется, двое.

СИЛЬВА. Идут. Давай-ка это дело перекурим.

Бусыгин и Сильва отходят в сторону. Из подъезда выходит Сарафанов. Он осматривается и направляется к дому Макарской. Бусыгин и Сильва наблюдают.

САРАФАНОВ *(стучится к Макарской)*. Наташа!.. Наташенька!.. Наташенька!..

МАКАРСКАЯ *(открыв окно)*. Ну и ночь! Взбесились, да и только! Кто это еще?!

САРАФАНОВ. Наташенька! Простите, ради бога! Это Сарафанов.

МАКАРСКАЯ. Андрей Григорьевич?.. Я вас не узнала.

БУСЫГИН *(негромко)*. Забавно... Нас она не знает, а его, стало быть, знает...

САРАФАНОВ. Наташа, милая, простите, что так поздно, но вы мне нужны сию минуту.

МАКАРСКАЯ. Сейчас. Открываю. *(Исчезает, потом впускает Сарафанова.)*

СИЛЬВА. Что делается! Ей двадцать пять, не больше.

БУСЫГИН. Ему шестьдесят, не меньше.

СИЛЬВА. Молодец.

БУСЫГИН. Так-так... Любопытно... Остался у него кто-нибудь дома?.. Жены, во всяком случае, не должно быть...

СИЛЬВА. Вроде там парень еще маячил.

БУСЫГИН (*задумчиво*). Парень, говоришь?..

СИЛЬВА. С виду вроде молоденький.

БУСЫГИН. Сын...

СИЛЬВА. Я думаю, у него их много.

БУСЫГИН (*соображает*). Может быть, может быть... Знаешь что? Пошли-ка с ним познакомимся.

СИЛЬВА. С кем?

БУСЫГИН. Да вот с сыночком.

СИЛЬВА. С каким сыночком?

БУСЫГИН. С этим. С сыном Сарафанова. Андрея Григорьевича.

СИЛЬВА. Что ты хочешь?

БУСЫГИН. Погреться... Пошли! Пошли погреемся, а там видно будет.

СИЛЬВА. Ничего не понимаю!

БУСЫГИН. Идем!

СИЛЬВА. Эта ночь закончится в милиции. Я чувствую.

Исчезают в подъезде.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Квартира Сарафановых. Среди вещей и мебели старый диван и выдавшее виды трюмо. Входная дверь, дверь на кухню, дверь в другую комнату. Закрытое занавеской окно во двор. На столе — собранный рюкзак. Васенька за столом пишет письмо.

ВАСЕНЬКА (*читает вслух написанное*). «...Я люблю тебя так, как тебя не будет любить никто и никогда. Когда-нибудь ты это поймешь. А теперь будь спокойна. Ты своего добилась: я тебя ненавижу. Прощай. С.В.»

Из другой комнаты появляется Нина. Она в халате и домашних туфлях. Васенька прячет письмо в карман.

НИНА. Накатал?

ВАСЕНЬКА. Твое какое дело?

НИНА. А теперь иди вручи ей свое послание, возвращайся и ложись спать. Где отец?

ВАСЕНЬКА. Откуда я знаю!

НИНА. Куда его понесло ночью?.. (*Берет со стола рюкзак.*) А это что?

Васенька пытается отнять у Нины рюкзак. Борьба.

ВАСЕНЬКА (*уступает*). Возьму, когда ты уснешь.

НИНА (*вытряхнула содержимое рюкзака на стол*). Что это значит?.. Куда ты собрался?

ВАСЕНЬКА. В турпоход.

НИНА. А это что?.. Зачем тебе паспорт?

ВАСЕНЬКА. Не твое дело.

НИНА. Ты что придумал?.. Ты что, не знаешь, что я уезжаю?

ВАСЕНЬКА. Я тоже уезжаю.

НИНА. Что?

ВАСЕНЬКА. Я уезжаю.

НИНА. Да ты что, совсем спятил?

ВАСЕНЬКА. Я уезжаю.

НИНА (*присев*). Слушай, Васька... Гад ты, и больше никто. Взяла бы тебя и убила.

ВАСЕНЬКА. Я тебя не трогаю, и ты меня не трожь.

НИНА. На меня тебе наплевать — ладно. Но об отце-то ты должен подумать.

ВАСЕНЬКА. Ты о нем не думаешь, почему я о нем должен думать?

НИНА. Боже мой! (*Поднимается.*) Если бы вы знали, как вы мне надоели! (*Собирает высыпанные на стол вещи в рюкзак, уносит его в свою комнату; на пороге останавливается.*) Скажи отцу, пусть утром меня не будит. Дайте выспаться. (*Уходит.*)

Васенька достает из кармана письмо, вкладывает его в конверт, конверт надписывает. Стук в дверь.

ВАСЕНЬКА (*машинально*). Да, войдите.

Входят Бусыгин и Сильва.

БУСЫГИН. Добрый вечер.

ВАСЕНЬКА. Здравствуйте.

БУСЫГИН. Можем мы видеть Андрея Григорьевича Сарафанова?

ВАСЕНЬКА (*поднимается*). Его нет дома.

БУСЫГИН. Когда он вернется?

ВАСЕНЬКА. Он только что вышел. Когда вернется, не знаю.

СИЛЬВА. А куда он ушел, если не секрет?

ВАСЕНЬКА. Я не знаю. (*С беспокойством.*) А что такое?

БУСЫГИН. Ну а... как его здоровье?

ВАСЕНЬКА. Отца?.. Ничего... Гипертония.

БУСЫГИН. Гипертония? Надо же!.. И давно у него гипертония?

ВАСЕНЬКА. Давно.

БУСЫГИН. Ну а вообще он как?.. Как успехи?.. Настроение?

СИЛЬВА. Да, как он тут... Ничего?

ВАСЕНЬКА. А в чем, собственно, дело?

БУСЫГИН. Познакомимся. Владимир.

ВАСЕНЬКА. Василий... (*Сильве.*) Василий.

СИЛЬВА. Семен... В простонародье — Сильва.

ВАСЕНЬКА (*с подозрением*). Сильва?

СИЛЬВА. Сильва. Ребята еще в этом... в интернете прозвали, за пристрастие к этому...

БУСЫГИН. К музыке.

СИЛЬВА. Точно.

ВАСЕНЬКА. Ясно. Ну а отец вам зачем?

СИЛЬВА. Зачем? В общем, мы пришли это... повидаться.

ВАСЕНЬКА. Вы давно с ним не виделись?

БУСЫГИН. Как тебе сказать? Самое печальное, что мы никогда с ним не делись.

ВАСЕНЬКА (*настороженно*). Непонятно...

СИЛЬВА. Ты только не удивляйся...

ВАСЕНЬКА. Я не удивляюсь... Откуда же вы его знаете?

БУСЫГИН. А это уже тайна.

ВАСЕНЬКА. Тайна?

СИЛЬВА. Страшная тайна. Но ты не удивляйся.

БУСЫГИН (*другим тоном*). Ладно. (*Васеньке*.) Мы зашли погреться. Не возражаешь, мы здесь погреемся?

Васенька молчит, он порядком встревожен.

Мы опоздали на электричку. Фамилию твоего отца мы прочли на почтовом ящике. (*Не сразу*.) Не веришь?

ВАСЕНЬКА (*с тревогой*). Почему? Я верю, но...

БУСЫГИН. Что? (*Делает к Васеньке шаг два, Васенька пятится. Сильве*.) Бойтся.

ВАСЕНЬКА. Зачем вы пришли?

БУСЫГИН. Он нам не верит.

ВАСЕНЬКА. В случае чего — я кричать буду.

БУСЫГИН (*Сильве*). Что я говорил? (*Он тянет время, греется*.) Ночью всегда так: если один, значит, вор, если двое, значит, бандиты. (*Васеньке*.) Нехорошо. Люди должны доверять друг другу, известно тебе это? Нет?.. Напрасно. Плохо тебя воспитывают.

СИЛЬВА. Да-а...

БУСЫГИН. Ну отцу твоему, допустим, некогда...

ВАСЕНЬКА (*перебивает*). Зачем вам отец? Что вам от него надо?

БУСЫГИН. Что нам надо? Доверия. Всего-навсего. Человек человеку брат, надеюсь, ты об этом слышал. Или это тоже для тебя новость? (*Сильве*.) Ты только посмотри на него. Брат страждущий, голодный, холодный стоит у порога, а он даже не предложит ему присесть.

СИЛЬВА (*до сих пор слушал Бусыгина с недоумением, вдруг воодушевляется — его осенило*). Действительно!

ВАСЕНЬКА. Зачем вы пришли?

БУСЫГИН. Ты так ничего и не понял?

ВАСЕНЬКА. Конечно, нет.

СИЛЬВА (*изумляясь*). Неужели не понял?

БУСЫГИН (*Васеньке*). Видишь ли...

СИЛЬВА (*перебивает*). Да что там! Я ему скажу! Скажу откровенно! Он мужчина, он поймет. (*Васеньке, торжественно*.) Полное спокойствие, я открываю тайну. Все дело в том, что он (*указывает на Бусыгина*) твой родной брат!

БУСЫГИН. Что?

ВАСЕНЬКА. Что-о?

СИЛЬВА (*нагло*). Что?

Небольшая пауза.

Да, Василий! Андрей Григорьевич Сарафанов — его отец. Неужели ты до сих пор этого не понял?



Бусыгин и Васенька в равном удивлении.

БУСЫГИН (*Сильве*). Послушай...

СИЛЬВА (*перебивает, Васеньке*). Не ожидал? Да, вот так. Твой папа – его родной отец, как это ни странно...

БУСЫГИН. Что с тобой? Что ты мелешь?

СИЛЬВА. Братья встретились! Какой случай, а? Какой момент?

ВАСЕНЬКА (*в растерянности*). Да, в самом деле...

СИЛЬВА. Случай-то какой, вы подумайте! Надо выпить, ребята, выпить!

БУСЫГИН (*Сильве*). Идиот. (*Васеньке*.) Не слушай его.

СИЛЬВА. Нет уж! Я считаю, лучше сказать сразу! Честно и откровенно! (*Васеньке*.) Верно, Василий? Чего тут темнить, когда все уже ясно? Нечего темнить, просто надо выпить за встречу. Есть у тебя выпить?

ВАСЕНЬКА (*в той же растерянности*). Выпить?.. Конечно... Сейчас... (*Оглядываясь на Бусыгина, выходит на кухню*.)

СИЛЬВА (*он в восторге*). Сила!

БУСЫГИН. Ты что, рехнулся?

СИЛЬВА. Ловко ты к нему подъехал!

БУСЫГИН. Болван, как эта чушь взбрела тебе в голову?

СИЛЬВА. Мне?.. Это тебе она взбрела! Ты просто гений!

БУСЫГИН. Кретин! Ты понимаешь, что ты тут сморозил?

СИЛЬВА. «Страждущий брат!» Сила! Я бы никогда не додумался!

БУСЫГИН. Ну дубина... Подумай, дубина, что будет, если сейчас сюда войдет папаша. Представь себе!

СИЛЬВА. Так... Представил. (*Бежит к выходу, но останавливается и возвращается*.) Нет, выпить мы успеем. Папаша вернется через час, не раньше. (*Суетится перед выпивкой*.) Ну и папаша! (*Передразнивает*.) «Вы нужны мне сию минуту!» Гусь! Все они гуси. Твой, видать, был такой же, скажи?

БУСЫГИН. Не твое дело. (*Идет к двери*.)

СИЛЬВА. Постой, почему бы этому слегка не пострадать за того. Тут все справедливо, по-моему.

БУСЫГИН. Идем.

СИЛЬВА (*упирается*). Ну уж нет! Выпьем, потом пойдем. Я тебя не понимаю, неужели за свою идею ты не заслужил рюмку водки?.. Тсс! Вот она, наша выпивка. Идет. Приближается. (*Шепотом*.) Обними его, погладь по голове. По родственному.

БУСЫГИН. Черт возьми! Надо же мне связаться с таким идиотом!

Входит Васенька с бутылкой водки, стаканами. Ставит все на стол. Он смущен и растерян.

СИЛЬВА (*наливает*). Да ты не расстраивайся! Если разобраться, у всех у нас родни гораздо больше, чем полагается... За вашу встречу!

Пьют. Васенька с трудом, но выпивает.

Жизнь, Вася, — темный лес, так что ты не удивляйся. (*Наливает снова*.) Мы сейчас с поезда. Он меня просто замучил и сам извелся: заехать — не заехать? А повидаться надо. Сам понимаешь, в какое время мы живем.

БУСЫГИН (*Васеньке*). Сколько тебе лет?

ВАСЕНЬКА. Мне? Семнадцатый.

СИЛЬВА. Здоровый парнюга!

БУСЫГИН (*Васеньке*). Что ж... твоё здоровье.

СИЛЬВА. Стоп! Не так пьем. Неинтеллигентно. Нет ли чего закусить?

ВАСЕНЬКА. Закусить?.. Конечно, конечно! Пошли на кухню!

СИЛЬВА (*останавливает Васеньку*). Может, ему сегодня отцу не показываться, как ты думаешь? Нельзя же так с ходу, неожиданно. Мы посидим немножко и... придем завтра.

ВАСЕНЬКА (*Бусыгину*). Ты не хочешь его видеть?

БУСЫГИН. Как тебе сказать... Хочу, но рискованно. Боюсь за его нервы. Ведь он обо мне ничего не знает.

ВАСЕНЬКА. Ну что ты! Раз ты нашелся, значит, нашелся.

Все трое уходят в кухню. Появляется Сарафанов. Он проходит к двери в соседнюю комнату, открывает ее, затем осторожно закрывает. В это время Васенька выходит из кухни и тоже закрывает за собой дверь. Васенька заметно опьянел, его обуяла горькая ирония.

САРАФАНОВ (*замечает Васеньку*). Ты здесь... А я прогулялся по улице. Там дождь пошел. Я вспомнил молодость.

ВАСЕНЬКА (*развязно*). И очень кстати.

САРАФАНОВ. В молодости я, бывало, делал глупости, но я никогда не доходил до истерики.

ВАСЕНЬКА. Слушай, что я тебе скажу.

САРАФАНОВ (*перебивает*). Васенька, так поступают только слабые люди. Кроме того, не забывай, остался только месяц до экзаменов. Школу тебе все-таки надо кончить.

ВАСЕНЬКА. Папа, пока ты гулял по дождичку...

САРАФАНОВ (*перебивает*). И в конце концов, не можете же вы так сразу — и ты и Нина. Нельзя же так... Нет-нет, куда ты не уедешь. Я тебя не пущу.

ВАСЕНЬКА. Папа, у нас гости, и необычные гости... Вернее, так: гость и еще один...

САРАФАНОВ. Васенька, гость и еще один — это два гостя. Кто к нам пришел, говори толком.

ВАСЕНЬКА. Твой сын. Твой старший сын.

САРАФАНОВ (*не сразу*). Ты сказал... Чей сын?

ВАСЕНЬКА. Твой. Да ты не волнуйся... Я, например, все это понимаю, не осуждаю и даже не удивляюсь. Я ничему не удивляюсь...

САРАФАНОВ (*не сразу*). И такие-то шутки у вас в ходу? И они вам нравятся?

ВАСЕНЬКА. Какие шутки? Он на кухне. Ужинает.

САРАФАНОВ (*внимательно смотрит на Васеньку*). Кто-нибудь там ужинает. Возможно... Но знаешь, милый, что-то ты мне не нравишься... (*Разглядел.*) Постой! Да ты пьян, по-моему!

ВАСЕНЬКА. Да, я выпил! По такому случаю.

САРАФАНОВ (*грозно*). Кто разрешил тебе выпивать?!

ВАСЕНЬКА. Папа, о чем речь? Тут такой случай! Я никогда не думал, что у меня есть брат, а тут — пожалуйста. Иди взгляни на него, ты еще не так напьешься.

САРАФАНОВ. Ты что, шельмец, издеваешься?

ВАСЕНЬКА. Да нет, я говорю серьезно. Он здесь проездом, очень по тебе соскучился, он...



САРАФАНОВ. Кто — он?

ВАСЕНЬКА. Твой сын.

САРАФАНОВ. Тогда кто ты?

ВАСЕНЬКА. А! Разговаривай с ним сам!

САРАФАНОВ (*направляется к кухне; услышав голоса, останавливается у двери, возвращается к Васеньке*). Сколько их там?

ВАСЕНЬКА. Двое. Я тебе говорил.

САРАФАНОВ. А второй? Он тоже хочет, чтобы я его усыновил?

ВАСЕНЬКА. Папа, они взрослые люди. Сам подумай, зачем взрослому человеку родители?

САРАФАНОВ. По-твоему, не нужны?

ВАСЕНЬКА. А, прости, пожалуйста. Я хотел сказать, что взрослому человеку не нужны чужие родители.

Молчание.

САРАФАНОВ (*прислушивается*). Невероятно. Свои дети бегут — это я еще могу понять. Но чтобы ко мне приходили чужие да еще взрослые! Сколько ему лет?

ВАСЕНЬКА. Лет двадцать.

САРАФАНОВ. Черт знает что!.. Ты сказал, двадцать лет?.. Бред какой то!.. Лет двадцать!.. Лет двадцать... (*Задумывается поневоле.*) Двадцать лет... двадцать... (*Опускается на стул.*)

ВАСЕНЬКА. Не огорчайся, папа. Жизнь — темный лес...

Из кухни вышли было Бусыгин и Сильва, но, увидев Сарафанова, отступают назад и, приоткрыв дверь, слушают его разговор с Васенькой.

САРАФАНОВ. Двадцать лет... Закончилась война... Двадцать лет... Мне было тридцать четыре года... (*Поднимается.*)

Бусыгин приоткрывает дверь.

ВАСЕНЬКА. Я понимаю, папа...

САРАФАНОВ (*вдруг рассердился*). Да что вспоминать! Я был солдат! Солдат, а не вегетарианец! (*Ходит по комнате.*)

Бусыгин, когда это возможно, приоткрывает дверь из кухни и слушает.

ВАСЕНЬКА. Я тебя понимаю.

САРАФАНОВ. Что?.. Что-то слишком много ты понимаешь! С твоей матерью мы еще не были знакомы, имей в виду!

ВАСЕНЬКА. Я так и думал, папа. Да ты не расстраивайся, если разобьешься...

САРАФАНОВ (*перебивает*). Нет-нет! Глупости... Черт знает что...

Сарафанов находится между кухней и дверью в прихожую. Таким образом, у Сильвы и Бусыгина нет возможности бежать.

ВАСЕНЬКА. Думаешь, он врет? А зачем?

САРАФАНОВ. Он что-то напутал! Ты увидишь, что он напутал! Подумай! Подумай-ка! Чтобы быть моим сыном, ему надо на меня походить! Это первое.

ВАСЕНЬКА. Папа, он на тебя походит.

САРАФАНОВ. Что?.. Вздор! Вздор! Тебе просто показалось... Вздор! Стоит только мне спросить, сколько ему лет, и ты сразу поймешь, что все это чистейший вздор! Чепуха!.. А если уж на то пошло, сейчас ему должно быть... Должно быть...

Бусыгин высовывается из-за двери.

Двадцать... двадцать один год! Да! Двадцать один! Вот видишь! Не двадцать и не двадцать два!.. *(Поворачивается к двери.)*

Бусыгин исчезает.

ВАСЕНЬКА. А если ему двадцать один?

САРАФАНОВ. Не может этого быть!

ВАСЕНЬКА. А вдруг?

САРАФАНОВ. Ты имеешь в виду совпадение? Случайное совпадение, верно?.. Ну что же, такое не исключено... Тогда... Тогда... *(Думает.)* Не мешай мне, не мешай... Его мать должны звать... ее должны звать...

Бусыгин высовывается.

(Его осенило.) Галина!

Бусыгин исчезает.

САРАФАНОВ. Что ты теперь скажешь? Галина! А не Татьяна и не Тамара!

ВАСЕНЬКА. А фамилия? А отчество?

Бусыгин высовывается.

САРАФАНОВ. Ее отчество?.. *(Неуверенно.)* По-моему, Александровна...

Бусыгин исчезает.

ВАСЕНЬКА. Так. А фамилия?

САРАФАНОВ. Фамилия, фамилия... Достаточно имени... Вполне достаточно.

ВАСЕНЬКА. Конечно, конечно. Ведь прошло столько лет...

САРАФАНОВ. Вот именно! Где он был раньше? Вырос и теперь ищет отца? Зачем? Я выведу его на чистую воду, ты увидишь... Как его зовут?

ВАСЕНЬКА. Володя. Смелей, папа. Он тебя любит.

САРАФАНОВ. Любит?.. Но... За что?

ВАСЕНЬКА. Не знаю, папа... Родная кровь.

САРАФАНОВ. Кровь?.. Нет-нет, ты меня не смеди... *(Садится.)* Они, говоришь, с поезда?.. Ты нашел, что поест?

ВАСЕНЬКА. Да. И выпить. Выпить и закусить.

Бусыгин и Сильва пытаются ускользнуть. Они делают два-три бесцельных шага по направлению к выходу. Но в этот момент Сарафанов повернулся на стуле, и они тут же возвращаются в исходную позицию.



САРАФАНОВ (*поднимается*). Может, мне тоже следует выпить?
ВАСЕНЬКА. Не робей, папа.

Бусыгин и Сильва снова появляются.

САРАФАНОВ. Подожди, я... застегнусь. (*Поворачивается к Бусыгину и Сильве.*)

Бусыгин и Сильва мгновенно делают вид, будто они только что вышли из кухни. Молчание.

БУСЫГИН. Добрый вечер!
САРАФАНОВ. Добрый вечер...

Молчание.

ВАСЕНЬКА. Ну, вот вы и встретились... (*Бусыгину.*) Я все ему рассказал... (*Сарафанову.*) Не волнуйся, папа...

САРАФАНОВ. Вы... садитесь... Садитесь!.. (*Пристально разглядывает того и другого.*)

Бусыгин и Сильва садятся.

(*Стоит.*) Вы... недавно с поезда?

БУСЫГИН. Мы... собственно, давно. Часа три назад.

Молчание.

САРАФАНОВ (*Сильве*). Так... Вы, значит, проездом?..

БУСЫГИН. Да. Я возвращаюсь с соревнований. Вот... решил повидаться...

САРАФАНОВ (*все внимание на Бусыгина*). О! Значит, вы спортсмен! Это хорошо... Спорт в вашем возрасте, знаете... А сейчас? Снова на соревнования? (*Садится.*)

БУСЫГИН. Нет. Сейчас я возвращаюсь в институт.

САРАФАНОВ. О! Так вы студент?

СИЛЬВА. Да, мы медики. Будущие врачи.

САРАФАНОВ. Вот это правильно! Спорт — спортом, а наука — наукой. Очень правильно... Прошу прощения, я пересяду. (*Пересаживается ближе к Бусыгину.*) В двадцать лет на все хватает времени — и на учебу и на спорт; да-да, прекрасный возраст... (*Решился.*) Вам двадцать лет, не правда ли?

БУСЫГИН (*печально, с мягкой укоризной*). Нет, вы забыли. Мне двадцать один.

САРАФАНОВ. Что?.. Ну конечно! Двадцать один, разумеется! А я что сказал? Двадцать? Ну конечно же, двадцать один...

СИЛЬВА. Да вы не огорчайтесь. Ведь если разобраться, тут радоваться надо, а не огорчаться. По-моему.

ВАСЕНЬКА. В самом деле, папа.

САРАФАНОВ. Я — конечно... Я рад... (*Искательно.*) Мы все здесь рады, не правда ли?

БУСЫГИН. Конечно... Больше всех — я.

САРАФАНОВ (*приободрившись*). Васенька, есть у нас что-нибудь выпить? Дай нам выпить!

ВАСЕНЬКА. Это можно. (*Уходит на кухню.*)

Молчание. Потом Бусыгин и Сарафанов, обращаясь друг к другу, начинают говорить одновременно. Затем они одновременно извиняются.

БУСЫГИН. Говорите...

САРАФАНОВ. Нет-нет, говорите... (*Осторожно.*) Говори...

Входит Васенька, ставит на стол бутылку и стаканы, затем усаживается и, устроивши руки на спинке стула, роняет голову. Он пьян. Сарафанов торопливо наполняет стаканы.

БУСЫГИН. Я хотел сказать, что вот... Наконец-то наступил тот момент, о котором...

Появляется Нина.

НИНА (*сердито*). Вы дадите мне спать?... Что это? Что здесь происходит?

ВАСЕНЬКА (*приподнимает голову*). Ты только не удивляйся... (*Роняет голову.*)

Появление Нины производит на Бусыгина и Сильву большое впечатление.

НИНА. Что вы здесь устроили? (*Сарафанову.*) До сих пор по ночам ты пил один. В чем дело?

САРАФАНОВ (*неуверенно*). Нина, у нас большая радость. Наконец-то нашелся твой старший брат.

НИНА. Что?

САРАФАНОВ. Твой старший брат. Познакомься с ним.

НИНА. Что такое?... Кто нашелся? Какой брат?

СИЛЬВА (*подталкивает Бусыгина*). Это он. Вот такой (*показывает*) парень.

НИНА (*Бусыгину*). Это ты — брат?

БУСЫГИН. Да... А что?

СИЛЬВА. Что тут особенного?

ВАСЕНЬКА (*не поднимая головы, негромко, нетрезвым голосом*). Да, что особенного?

САРАФАНОВ (*Нине*). Ты о нем не знала. К сожалению... (*Бусыгину.*) Я не говорил тебе. Откровенно говоря, я боялся, что ты меня... позабыл.

ВАСЕНЬКА. Вот. Он боялся.

БУСЫГИН. Что вы, как я мог забыть...

САРАФАНОВ. Прости, я был не прав.

НИНА. Так. Давайте по порядку. Выходит, ты — его отец, а он — твой сын. Так, что ли?

САРАФАНОВ. Да.

НИНА (*не сразу*). Ну что ж. Вполне возможно.

ВАСЕНЬКА. Вполне.

НИНА (*Бусыгину*). А где, интересно, ты был раньше?

ВАСЕНЬКА. Да, где он был раньше?



НИНА (*легонько хлопнув Васеньку по голове*). Помолчи!
САРАФАНОВ. Нина! Нашелся твой брат. Неужели ты этого не понимаешь?
НИНА. Понимаю, но мне интересно, где он был раньше.
ВАСЕНЬКА (*приподняв голову*). Не волнуйся. Нашу мать папа тогда еще в глаза не видел. Верно, папа?
САРАФАНОВ. Помолчи-ка!
НИНА. Да, давненько вы не виделись. А ты уверен, что он твой сын? (*Бусыгину*.) Сколько тебе лет?

Васенька засыпает.

СИЛЬВА. Взгляните на них. Неужели вы не видите?
НИНА (*не сразу*). Нет. Не похожи.
СИЛЬВА (*Бусыгину, обидчиво*). По-моему, нас тут в чем-то подозревают.
НИНА (*Сарафанову о Сильве*). А это кто такой? Тоже родственник?
БУСЫГИН. Он мой приятель. Его зовут Семен.
НИНА. Так сколько тебе лет, я не расслышала?
БУСЫГИН. Двадцать один.
НИНА (*Сарафанову*). Что ты на это скажешь?
САРАФАНОВ. Нина! Нельзя же так... И потом, я уже спрашивал...
НИНА. Ладно. (*Бусыгину*.) Как выглядит твоя мать, как ее зовут, где она с ним встречалась, почему она не получила с него алименты, как ты нас нашел, где ты был раньше — рассказывай подробно.
СИЛЬВА (*С беспокойством*). Как в милиции...
НИНА. А вы что думали?.. По-моему, вы жулики.
САРАФАНОВ. Нина!
БУСЫГИН. А что, разве похожи?
НИНА (*не сразу*). Похожи. (*Бусыгину*.) Рассказывай, а мы послушаем.
СИЛЬВА (*Бусыгину, трусливо*). На твоём месте я бы обиделся и ушел. Прямо сейчас.
БУСЫГИН. Об отце я узнал совсем недавно...
НИНА. От кого?
БУСЫГИН. От своей матери. Мою мать зовут Галина Александровна, с отцом они встречались в тысяча девятьсот сорок пятом году...
САРАФАНОВ (*в волнении*). Сынок!
БУСЫГИН. Папа!

Сарафанов и Бусыгин бросаются друг к другу и обнимаются.

СИЛЬВА (*Нине*). Как?.. Кровь, она себя чувствует.
САРАФАНОВ. Нина! У меня никакого сомнения! Он твой брат! Обними его! Обними своего брата! (*Бусыгину*.) Обнимитесь!
БУСЫГИН. Я рад, сестренка... (*Вдруг подходит к Нине и обнимает ее — с перепугу, но не без удовольствия*.) Очень рад...
СИЛЬВА (*завистливо*). Еще бы.
САРАФАНОВ (*окончательно расстроган*). Боже мой... Ну кто бы мог подумать?
НИНА (*Бусыгину*). Может быть, довольно? (*Освобождается. Она весьма смущена*.)
САРАФАНОВ. Кто бы мог подумать... Я рад, рад!

БУСЫГИН. Я тоже.

НИНА. Да... Очень трогательно...

СИЛЬВА. Ура! Предлагаю выпить.

САРАФАНОВ (*Бусыгину*). Есть предложение выпить. Как, сынок?

БУСЫГИН. Выпить? Это просто необходимо.

НИНА. Выпить? Вот теперь я вижу: вы похожи.

Все смеются.

СИЛЬВА (*выпивает; Нине и Бусыгину*). Встаньте-ка рядом!.. Вот так! (*Поставил их рядом.*) Теперь возьмитесь за руки... Вот так! (*Сарафанову.*) Взгляните на них!

Нина освобождает руку. Она снова и чуть заметно терется.

Что, не похожи?.. Ну!

САРАФАНОВ. Э-э... да, конечно...

СИЛЬВА. Просто плакать хочется! Какой случай, а?.. Выпьемте, товарищи!

САРАФАНОВ. Я счастлив... Я просто счастлив!

СИЛЬВА (*Сарафанову*). За вас, за вашу дружную семью!

БУСЫГИН. Твое здоровье, папа.

САРАФАНОВ (*в волнении*). Спасибо, сынок.

Затемнение. Звучит веселая музыка. Музыка умолкает, зажигается свет. Даже комната. За окном утро. Сарафанов и Бусыгин сидят за столом. Бутылка пуста. Сильва спит на диване.

САРАФАНОВ. У меня было звание капитана, меня оставляли в армии. С грехом пополам я демобилизовался. Я служил в артиллерии, а это, знаешь, плохо влияет на слух. Кроме того, я все позабыл. Гаубица и кларнет как-никак разные вещи. Вначале я играл на танцах, потом в ресторане, потом возвысился до парков и кинотеатров. Глухота, к счастью, сошла, и, когда в городе появился симфонический оркестр, меня туда приняли... Ты меня слушаешь?

БУСЫГИН. Я слушаю, папа!

САРАФАНОВ. Вот и вся жизнь... Не все, конечно, так, как замышлялось в молодости, но все же, все же. Если ты думаешь, что твой отец полностью отказался от идеалов своей юности, то ты ошибаешься. Зачерстветь, покрыться плесенью, раствориться в суете — нет, нет, никогда. (*Привстал, наклоняется к Бусыгину, значительным шепотом.*) Я сочиняю. (*Садится.*) Каждый человек рождается творцом, каждый в своем деле, и каждый по мере своих сил и возможностей должен творить, чтобы самое лучшее, что было в нем, осталось после него. Поэтому я сочиняю.

БУСЫГИН (*в недоумении*). Что сочиняешь?

САРАФАНОВ. Как — что? Что я могу сочинять, кроме музыки?

БУСЫГИН. А... Ну ясно.

САРАФАНОВ. Что ясно?

БУСЫГИН. Ну... что ты сочиняешь музыку.

САРАФАНОВ (*с подозрением, с готовностью обидеться*). А ты... как к этому относишься?

БУСЫГИН. Я?.. Почему же, это хорошее занятие.

САРАФАНОВ (*быстро, с известной горячностью*). На многое я не замахваюсь, нет, мне надо завершить одну вещь, всего одну вещь! Я выскажу главное, только самое главное! Я должен это сделать, я просто обязан, потому что никто не сделает это, кроме меня, ты понимаешь?

БУСЫГИН. Да-да... Ты извини, папа, я хотел тебя спросить...

САРАФАНОВ (*очнулся*). Что?... Спрашивай, сынок.

БУСЫГИН. Мать Нины и Васеньки — где она?

САРАФАНОВ. Э, мы с ней разошлись четырнадцать лет назад. Ей казалось, что вечерами я слишком долго играю на кларнете, а тут как раз подвернулся один инженер — серьезный человек, мы с ней расстались... Нет, совсем не так, как с твоей матерью. Твоя мать славная женщина... Боже мой! Суровое время, но разве можно его забыть! Чернигов... Десна... Каштаны... Ты знаешь ту самую мастерскую на углу?... Ну, швейную!

БУСЫГИН. Ну еще бы!

САРАФАНОВ. Вот-вот! Там она работала...

БУСЫГИН. Сейчас она директор швейной фабрики.

САРАФАНОВ. Представляю!.. И она все такая же веселая?

БУСЫГИН. Все говорят, что она не изменилась.

САРАФАНОВ. В самом деле?... Молодцом! Да ведь сейчас ей не больше сорока пяти!

БУСЫГИН. Сорок четыре.

САРАФАНОВ. Всего-то?... И что... она не замужем?

БУСЫГИН. Нет-нет. Мы с ней вдвоем.

САРАФАНОВ. Вот как?... А ведь она заслуживает всяческого счастья.

БУСЫГИН. Моя мать на свою жизнь не жалуется. Она гордая женщина.

САРАФАНОВ. Да-да... Печально, что и говорить... Нас перевели тогда в Гомель, она осталась в Чернигове, одна, на пыльной улице... Да-да. Совсем одна.

БУСЫГИН. Она осталась не одна. Как видишь.

САРАФАНОВ. Да-да... Конечно... Но подожди... Подожди! Подожди, подожди. Я вспоминаю! Прости меня, но у нее не было намерения родить ребенка!

БУСЫГИН. Я родился случайно.

САРАФАНОВ. Но почему она до сих пор молчала? Как можно было столько лет молчать?

БУСЫГИН. Я же говорю: она гордая женщина.

САРАФАНОВ. Хорошо, что так случилось. Я рад.

БУСЫГИН. Кто мой отец? С этим вопросом я приставал к ней с тех пор, как выучился говорить.

САРАФАНОВ. Тебе в самом деле так хотелось меня найти?

БУСЫГИН. Разыскать тебя я поклялся еще пионером.

САРАФАНОВ (*растроган*). Бедный мальчик! Ведь, в сущности, ты должен меня ненавидеть...

БУСЫГИН. Вас — ненавидеть?... Ну что ты, папа, разве тебя можно ненавидеть?... Нет, я тебя понимаю.

САРАФАНОВ. Я вижу, ты молодец. Не то что твой младший брат. Он у нас слишком чувствителен. Говорят, тонкая душевная организация, а я думаю, у него просто нет характера.

БУСЫГИН. Тонкая организация всегда выходит боком.

САРАФАНОВ. Вот-вот! Именно поэтому у него несчастная любовь... Жили в одном дворе, тихо, мирно, и вдруг — на тебе! Сдурел, уезжать собирается.

БУСЫГИН. А кто она?

САРАФАНОВ. Работает здесь в суде, секретарем. Старше его, вот в чем беда. Ей около тридцати, а ведь он десятый класс заканчивает. Дело дошло до того, что этой ночью я должен был идти к ней...

БУСЫГИН. Зачем?

САРАФАНОВ. Поздно вечером он явился и объявил мне, что уезжает. Она прогнала его – это было написано у него на лице. А чем я мог ему помочь? Я подумал, что ее, может быть, смущает разница в возрасте, может, боится, что ее осудят, или, чего доброго, думает, что я настроен против... В этом духе я с ней и разговаривал, разубеждал ее, попросил ее быть с ним... помягче... Знаешь что? Поговори с ним ты. Ты старший брат, может быть, тебе удастся на него повлиять.

БУСЫГИН. Я попробую.

САРАФАНОВ. Я так тебе рад, поверь мне. То, что ты появился, — это настоящее счастье.

БУСЫГИН. Для меня это тоже... большая радость.

САРАФАНОВ. Это правда, сынок?

БУСЫГИН. Конечно.

САРАФАНОВ. Дай-ка я тебя поцелую. *(Поцеловал Бусыгина по-отечески в лоб. Тут же смутился.)* Извини меня... Дело в том, что я было совсем уже затосковал.

БУСЫГИН. А что тебя беспокоит?

САРАФАНОВ. Да вот, суди сам. Один бежит из дому, потому что у него несчастная любовь. Другая уезжает, потому что у нее счастливая...

БУСЫГИН *(перебивает)*. Кто уезжает?

САРАФАНОВ. Нина. Она выходит замуж.

БУСЫГИН. Она выходит замуж?

САРАФАНОВ. В том-то и дело. Буквально на днях она уезжает на Сахалин. А вчера мальчишка заявляет мне, что он едет в тайгу на стройку, вон как! Теперь ты понимаешь, что произошло в тот момент, когда ты постучался в эту дверь?

БУСЫГИН. Понимал, когда стучался...

САРАФАНОВ *(перебивает)*. Произошло чудо! Настоящее чудо. И они еще говорят, что я неудачник!

БУСЫГИН. Значит, она выходит замуж... А за кого?

САРАФАНОВ. Э, ее будущий муж – летчик, серьезный человек. На днях он заканчивает училище и уже назначен на Сахалин. Сегодня, кстати, она собирается меня с ним познакомить.

БУСЫГИН. Так... Сколько же Нине лет?

САРАФАНОВ. Девятнадцать.

БУСЫГИН. Да?

САРАФАНОВ. А что такое? Ей и не могло быть больше. Но она серьезная. Она очень серьезная. Я даже думаю, что нельзя быть такой серьезной. Конечно, ей доставалось. Она была тут хозяйка, работала — она портниха — да еще готовилась в институт. Нет, она просто молодец.

БУСЫГИН. Так... А почему же она не возьмет тебя с собой?

САРАФАНОВ. Нет-нет, здесь, в этом городе, у меня все, я здесь родился и... Нет, зачем мне им мешать? Вот уже три месяца, как она встречается со своим будущим мужем, на днях они уезжают, а я его, представь, еще в глаза не видел. Каково это? Но что это я – все жалею, хватит. Уже утро, тебе надо поспать. Ложись, сынок. Ничего, если ненадолго ты устроишься здесь, рядом с товарищем?

БУСЫГИН. Отлично.

САРАФАНОВ. А потом, когда они поднимутся...

БУСЫГИН *(перебивает)*. Ты не беспокойся.



САРАФАНОВ. Ну, приятного тебе сна. *(Снова целует Бусыгина в лоб.)* Не сердись, сынок, я слишком взволнован... Спи.

Сарафанов уходит в другую комнату. Бусыгин бросается к Сильве, расталкивает его. Сильва мычит и отбивается.

БУСЫГИН. Вставай, Сильва! Вставай, тебе говорят.

СИЛЬВА *(просыпаясь)*. Ну и жизнь...

БУСЫГИН. Вставай!

СИЛЬВА. Я целый месяц не высыпаюсь! Один только день и есть, чтобы поспать, воскресенье – и вот, пожалуйста. Слушай, а сестричка твоя ничего себе, а? Я бы не стал сопротивляться.

БУСЫГИН. Вставай, не разговаривай. *(Бросает Сильве рубаху.)* Пошевеливайся!..

Сильва поднимается.

Ты дрыхнул, а мы всю ночь играли друг у друга на нервах.

СИЛЬВА. Что?.. Они нас уже поняли?.. Нет? *(Быстро одевается.)* Все равно. Смех смехом, а дело такое. Подсудное. *(Сунул ноги в ботинки.)* Помчались!

Бусыгин стоит в задумчивости.

Ну что ты?

БУСЫГИН. Этот папаша – святой человек.

СИЛЬВА. Да, здорово ты его напаял. Просто красиво.

БУСЫГИН. Нет уж, не дай-то бог обманывать того, кто верит каждому твоему слову. Идем.

Бусыгин и Сильва направляются к дверям. В это время из другой комнаты с подушкой в руках выходит Сарафанов.

САРАФАНОВ. Сынок!

Бусыгин замирает на месте. Сильва останавливается на пороге.

Куда ты, сынок?

БУСЫГИН *(оборачивается к Сарафанову)*. Я... собственно, мы... Нам пора...

СИЛЬВА. Да-да, надо ехать. У нас ведь там эта... сессия на носу.

БУСЫГИН. Да... к сожалению...

САРАФАНОВ. Как? Ты хочешь уехать?.. Прямо сегодня? Сейчас?

БУСЫГИН. Да, папа. Мы и так задержались. Пропустили много занятий, и вообще...

Сарафанов выронил из рук подушку.

(Поднимает ее.) Но ты не думай, закончится сессия – и я сразу же приеду...

САРАФАНОВ *(опустившись на стул)*. Нет-нет, я понимаю... Конечно... С какой стати? Чего я еще должен был ждать?.. Встретились, поговорили, чего еще?

БУСЫГИН. Я приеду... В конце июня я приеду... Ты слышишь?

Сарафанов молчит.

Ты что, не веришь?

САРАФАНОВ. Почему? Я тебе верю, но... Неужели ты мог уехать не попрощавшись?

БУСЫГИН. Я, собственно... Я не хотел тебя будить. И, если откровенно, мне трудно с тобой прощаться. Я хотел без этого...

САРАФАНОВ. Это правда?

СИЛЬВА. Что вы, он так нервничал.

САРАФАНОВ (*приободрившись*). В самом деле?.. (*Поднимается.*) Ну что ж. Раз надо ехать, значит, что ж... Так, выходит, в конце июня?

БУСЫГИН. Да...

САРАФАНОВ. Так это пустяки. Всего полтора месяца... А сейчас... Вам сейчас надо уходить? Сию минуту?

СИЛЬВА. Да, наш поезд уходит что-то около десяти.

САРАФАНОВ. Ну что ж... (*Подает Сильве руку.*) До свидания. Рад был с вами познакомиться. В июне приезжайте вместе.

СИЛЬВА. Обязательно.

САРАФАНОВ. Ну, сынок... Ничего не поделаешь, институт – дело серьезное... Жаль, конечно, но все же... Главное, встретились... (*Вдруг.*) Подожди. Я должен подарить тебе одну вещицу.

БУСЫГИН. Какую вещицу? Что ты, папа...

САРАФАНОВ. Нет-нет! Это непременно! Это так себе, пустячок, но ты обязан его принять. Сейчас! (*Быстро идет в другую комнату; на пороге.*) Васенька! (*Уходит.*)

Небольшая пауза.

СИЛЬВА. Ну?.. Чего ты ждешь?

БУСЫГИН. Иди... Я уйду позже...

СИЛЬВА. Слушай! Напаяли мужика – хватит. Идем отсюда...

БУСЫГИН. Иди, я тебя не держу.

СИЛЬВА. А что ты хочешь?.. Что ты задумал, объясни. Может, я тоже рискну.

БУСЫГИН. Нет, иди лучше.

СИЛЬВА. А что такое?.. Если воровство, то я, конечно, пас. Воровство – это не мой жанр.

БУСЫГИН. Дубина. Он сейчас войдет, а нас нет. Можешь ты это себе представить?

СИЛЬВА. Ну, представил. Ну и что?

БУСЫГИН. Ты как знаешь, а я пока останусь. Ненадолго.

СИЛЬВА. Зачем?

Бусыгин молчит.

Смотри, старичок, задымишь ты на этом деле. Говорю тебе по-дружески, предупреждаю: рвем когти, пока не поздно.

Из соседней комнаты выходит Нина. Она в халате и с полотенцем на плече.

НИНА (*Сильве*). Доброе утро... (*Бусыгину.*) Ну, здравствуй... братец...



Бусыгин и Сильва здороваются.

Как спалось?

СИЛЬВА. Спасибо, хорошо.

НИНА. А что это вы у дверей стоите?

СИЛЬВА. Мы?.. Да так, дышим тут, прохлаждаемся...

НИНА. А вы откройте окно. Если не боитесь простудиться. *(Уходит.)*

СИЛЬВА. А?.. Видал? Глаза, волосы? А нога как сделана? Слушай! У нее же все есть.

БУСЫГИН. Есть, да не про твою честь.

СИЛЬВА. Может, ты из-за нее остаешься, а? Решил заняться?.. Учти, ты ей брат. Тебе нельзя. Вот мне — другое дело. Мне можно.

Входит Сарафанов. В руке у него табакерка.

САРАФАНОВ. Вот, сынок. Это пустячок, серебряная табакерка, но дело в том, что в нашей семье она всегда принадлежала старшему сыну. Еще прадед передал ее моему деду, а ко мне она попала от твоего деда — моего отца. Теперь она твоя.

Небольшая пауза.

БУСЫГИН *(в замешательстве берет табакерку, кладет ее на стол)*. Спасибо, папа... Ты знаешь, я решил задержаться. На денек. А завтра улечу самолетом.

САРАФАНОВ. А это возможно?

БУСЫГИН. А почему нет?

САРАФАНОВ. Прекрасная мысль! Мы проведем вместе целый день... Сегодня воскресенье?.. Ах, беда! К семи мне придется съездить в филармонию, но это ненадолго. Я там в первом отделении, это час, ну полтора, не больше. Да, великое дело авиация, незаменимая вещь!.. *(Сильве.)* А вы, Семен? Надеюсь, вы тоже остаетесь?

СИЛЬВА. Вы меня спрашиваете?.. Я, знаете ли...

Появляется Нина и проходит в другую комнату. Сильва провожает ее выразительным взглядом. Бусыгин тоже смотрит на нее.

Конечно! Куда он, туда и я. Мы с ним неразлучные.

САРАФАНОВ. Вот и прекрасно. Я вижу, вы настоящие товарищи.

Из другой комнаты выходит Васенька. Он морщится, волосы у него всклокочены.

(Весело.) Ага... Сарафанов-младший. Состояние плачевное.

БУСЫГИН. Первое похмелье.

Сарафанов и Бусыгин смеются.

ВАСЕНЬКА. Вы уверены, что первое? *(Садится на диван, сидит, опустив голову.)*

САРАФАНОВ. Выпей воды.

СИЛЬВА. Молока.

БУСЫГИН. Горячего чая.

САРАФАНОВ. Хорошо еще, что ему сегодня не надо в школу.

ВАСЕНЬКА. А я туда вообще больше не пойду.

САРАФАНОВ. Опять ты за свое?

ВАСЕНЬКА. Что — опять? Я сказал, что уеду, и уеду.

БУСЫГИН. На твоём месте я бы сначала доучился. В тайгу ты всегда успеешь.

В это заведение прием идет круглый год.

САРАФАНОВ. Насколько я понимаю, там нужны плотники и лесорубы.

ВАСЕНЬКА. Ну и что? Преодолею трудности, буду стараться, старшие товарищи мне помогут.

Входит Нина.

Да вообще, не всем же учиться, кому-то и работать надо.

НИНА. Куда он собирается?

ВАСЕНЬКА. Не твоё дело.

САРАФАНОВ. Ну-ну! Тебе полезно знать мнение сестры. Она тебя в десять раз серьезнее.

ВАСЕНЬКА. Папа, я — серость, это давно известно. Зато у тебя есть дочь. Она серьезная, умная, красивая...

СИЛЬВА. Это — без смеха.

ВАСЕНЬКА. Кроме того, у тебя появился еще один сын, так что вы могли бы оставить меня в покое. Не мешайте мне быть серым.

САРАФАНОВ. Вот и поговори с ним, попробуй.

НИНА (*Бусыгину*). Поздравляю тебя, ты попал в сумасшедший дом.

БУСЫГИН (*Васеньке*). На твоём месте на этот раз я бы все-таки послушался отца. И сестренку.

ВАСЕНЬКА. Ты вовремя нашелся. Будешь слушаться их вместо меня.

БУСЫГИН. Я уезжаю. К сожалению.

НИНА. Уезжаешь?.. Когда?

БУСЫГИН. Завтра.

СИЛЬВА. Нас ждет институт, как это ни печально.

НИНА. Да?.. А я-то думала...

ВАСЕНЬКА. Она думала, он останется с папой. Нашла козла отпущения.

САРАФАНОВ. Васенька, не устраивай скандала... А что касается Володи — летом он приедет меня навестить.

НИНА. Выходит, ты здесь так, мимоходом...

БУСЫГИН. А ты, выходит, перед отъездом?

СИЛЬВА. Перед каким отъездом?

ВАСЕНЬКА. У меня идея.

САРАФАНОВ. Так. У моего младшего сына шевельнулся рассудок.

ВАСЕНЬКА. Папе нужно жениться.

САРАФАНОВ. Что ты сказал?

ВАСЕНЬКА. Тебе надо жениться.

Нина смеется.

САРАФАНОВ (*Нине*). Прекрати. Он просто грубиян. Что в этом смешного?

НИНА. На ком, Васенька?

ВАСЕНЬКА. На Володиной матери. На ком же еще.

САРАФАНОВ. Я вижу, ты совсем распоясался.



НИНА (*насмешливо*). А что, папа? Тут стоит подумать. (*Бусыгину.*) А что ты на это скажешь?

БУСЫГИН. Я?.. Даже не знаю, что сказать.

САРАФАНОВ. Не обращай на них внимания. Я распустил их, как видишь.

ВАСЕНЬКА. Ты напрасно сердисься. Я не предлагаю тебе ничего дурного. Даже наоборот...

САРАФАНОВ. Помолчи-ка, шут гороховый. (*Сильве.*) Семен, как вам нравится это семейство?

СИЛЬВА. Исключительное семейство. (*На Бусыгина.*) Ему крупно повезло.

САРАФАНОВ. Нина, Володя завтра уезжает, а я чуть задержусь на работе. (*Бусыгину.*) Сегодня у нас серьезная программа — Глинка, Берлиоз. (*Нине.*) Так что ты, вы то есть, постарайтесь прийти пораньше...

НИНА. Хорошо.

САРАФАНОВ. Ну а пока... Который час?.. Десятый? Пора бы и позавтракать.

НИНА (*подходит к окну, открывает его*). Да, но вначале здесь надо хоть немного прибрать. Подите все в ту комнату. (*Смотрит в окно.*) Васенька, иди полюбуйся. Наталья при всем параде.

Сильва, Сарафанов и Бусыгин подходят к окну.

САРАФАНОВ (*Бусыгину*). Это она.

БУСЫГИН. Что ж, она интересная.

СИЛЬВА. А кто такая?

САРАФАНОВ. Соседка наша.

НИНА. Краса родимого села. (*Васеньке.*) Ну что же ты сидишь? Иди к ней, попрощайся. Сегодня ты еще не прощался.

ВАСЕНЬКА. Отстань.

НИНА. Или ты уже отправил ей письмо?

ВАСЕНЬКА. Отстань, говорю. Что тебе от меня надо?

НИНА. Надо, чтобы ты не сходил с ума. Сначала думать надо, а потом уже с ума сходить!

БУСЫГИН. Разве? Уж лучше наоборот.

НИНА. Да?

БУСЫГИН. Я так считаю.

НИНА. И очень глупо.

САРАФАНОВ. А по-моему, Володя прав. Думать, конечно, не лишнее, но...

НИНА. Давайте, давайте, оправдывайте его, защищайте. Если хотите, чтобы он совсем рехнулся.

ВАСЕНЬКА (*поднимается, Нине*). Думай сколько тебе влезет, а я не хочу. Я с ума хочу сходить, понятно тебе? Сходить с ума и ни о чем не думать! И оставь меня в покое! (*Уходит в другую комнату.*)

БУСЫГИН (*Нине*). Зачем же ты так?

САРАФАНОВ. Напрасно, Нина, честное слово. Ты подливаешь масло в огонь.

НИНА. Что он, на самом деле! Нашел перед кем унижаться.

САРАФАНОВ. Ты не права. Она девушка неплохая.

БУСЫГИН. Его можно понять. Она интересная...

НИНА. Да? Ты так думаешь?

БУСЫГИН. А что? Внешне, во всяком случае, она весьма привлекательна.

НИНА. В таком случае у тебя дурной вкус. И отойдите от окна, я начинаю уборку. Расселась тут, выставилась... Оклахома!

СИЛЬВА. А лучше всего вот что: не думать ни о чем и с ума не сходить. Так оно спокойнее. По-моему.

НИНА. Я объявила уборку. Слышали?

САРАФАНОВ. Хорошо, хорошо. Идем, Володя.

БУСЫГИН. Ты иди, а я останусь. На минутку.

САРАФАНОВ. Хорошо. *(Уходит в другую комнату.)*

СИЛЬВА *(у окна)*. А знаете, Нина, я с вами согласен. В этой Наталье нет ничего особенного.

НИНА. Ладно, хватит. Все — в ту комнату. *(Уходит на кухню.)*

СИЛЬВА *(изображает восторг, щелкает пальцами)*. Огонь, а не сестричка. Дай-ка я помогу ей прибраться.

БУСЫГИН. Нет, мне надо с ней поговорить.

СИЛЬВА. Слушай! Ты же ей брат. Какие у вас могут быть разговоры?

БУСЫГИН. Семейные. Семейные разговоры. *(Подталкивает Сильву к двери.)*

СИЛЬВА *(упирается)*. А если я влюбился?

БУСЫГИН. Иди-иди. И придержи там отца.

СИЛЬВА. Кого?

БУСЫГИН. Ну папашу. Неужели непонятно?.. Давай-давай. *(Вытолкнув Сильву, закрывает за ним дверь.)*

Появляется Нина с веником и тряпкой.

Я тебе помогу... Ты не против?

НИНА. Помоги... Будешь пол мести. Умеешь?

Появляется Сильва.

СИЛЬВА. Я вам помогу.

НИНА. Спасибо, но, по-моему, мы и вдвоем управимся.

СИЛЬВА. Нет, но, может быть, что-нибудь переставить, вынести...

БУСЫГИН. Ты только будешь нам мешать.

СИЛЬВА. Но, дети! Обратите внимание. *(Подводит Бусыгина и Нину к зеркалу.)* Вы так походите! Я говорю, плакать хочется.

БУСЫГИН. Иди-иди. *(Подталкивает Сильву.)* Можно мне поговорить со своей сестрой? *(Закрывает за Сильвой дверь.)*

НИНА. Да нет, совсем мы не похожи. Ну просто ничего общего...

БУСЫГИН. Возможно...

НИНА. Даже странно... От папы, конечно, всего можно ожидать, но такого... Кто бы мог подумать, что у меня есть брат, да еще старший. Да еще такой интересный.

БУСЫГИН. А я? Разве я думал, что у меня такая симпатичная сестренка?

НИНА. Симпатичная?

БУСЫГИН. Конечно!

НИНА. Ты так считаешь?

БУСЫГИН. Нет, я считаю, что ты красивая.

НИНА. Красивая или симпатичная, я что-то не пойму.

БУСЫГИН. И то и другое, но... мне надо с тобой поговорить...

НИНА. Да?

БУСЫГИН. Значит, ты уезжаешь...

НИНА. А что?.. Ну да, уезжаю. Отец тебе, наверно, объяснил.



БУСЫГИН. Так... Значит, уезжаешь... И что, выходит, насовсем?

НИНА. Ну да. А что тебя волнует?

БУСЫГИН. Меня?.. Видишь ли, какое дело. Ведь отец человек уже немолодой и не такой уж здоровый, и характер у него... В общем, отец есть отец, и если Васенька уедет, то... ты сама понимаешь...

НИНА. Не понимаю...

БУСЫГИН. Но ведь он останется один.

НИНА. Так... И что?

БУСЫГИН. Но ведь ты могла бы...

НИНА. Взять его с собой?

БУСЫГИН. Ну, в общем... Или могла бы здесь остаться.

НИНА. Вот как?.. Надо же, какой ты заботливый.

БУСЫГИН. А как иначе? Ведь он тебе не кто-нибудь — отец родной.

НИНА. А тебе?.. И если ты такой заботливый сын, почему бы тебе не взять его к себе?

БУСЫГИН. Мне?

НИНА. А что ты так удивился? Ты — старший сын, если на то пошло, это твой долг... Что?

БУСЫГИН. Нет, но... Но ведь я же... Я только вчера здесь появился. И потом, ты забываешь о моей матери.

НИНА. А ты забываешь о моем женихе... *(Начинает уборку.)* Легко тебе быть заботливым. Со стороны... Никто его здесь не бросает, придет к нам на свадьбу, помогать ему будем, письма писать, а впоследствии... Мы оставляем его здесь только на первое время. На год, ну, на полтора.

БУСЫГИН. У летчиков что, медовый месяц длится полтора года?

НИНА. Тебе не нравится, что он летчик?

БУСЫГИН. Почему же? Мне нравится... Это замечательно... Неотразимо. «Не улетай, родной, не улетай».

НИНА. Я не понимаю твоего тона... Сегодня я вас познакомлю. Он хороший парень.

БУСЫГИН. Я представляю. Наверное, он большой и добрый.

НИНА. Да, ты прав.

БУСЫГИН. Некрасивый, но обаятельный.

НИНА. Точно.

БУСЫГИН. Веселый, внимательный, непринужденный в беседе...

НИНА. Да-да-да. Откуда ты все знаешь?

БУСЫГИН. Волевой, целеустремленный. В общем, за ним ты — как за каменной стеной.

НИНА. Все верно. Волевой, целеустремленный. А чем это плохо? По крайней мере он точно знает, что ему в жизни надо. Много он на себя не берет, но он хозяин своему слову. Не то что некоторые. Наврут с три короба, наобещают, а на самом деле только трепаться и умеют.

БУСЫГИН. Может, он у тебя вообще никогда не врёт?

НИНА. Да, не врёт. А зачем ему врать?

БУСЫГИН. Да? Я хочу его видеть. Покажи мне его. Дай хоть краем глаза на него взглянуть.

НИНА. Вечером увидишь.

БУСЫГИН. А днем нельзя? Я хотел бы рассмотреть его как следует. Никогда не врёт — просто замечательно.

НИНА. Послушай! Что ты против него имеешь? Он простой, скромный парень. Допустим, он звезд с неба не хватает, ну и что? Я считаю, это даже к лучшему. Мне Цицерона не надо, мне мужа надо.

БУСЫГИН. А-а. Ну если так, тогда конечно. Тогда в самый раз.

НИНА. Постой! Ведь ты его не знаешь!

БУСЫГИН. Ну и что? Зато я тебя знаю.

НИНА. Знаешь? Меня? Когда это ты успел?

БУСЫГИН. Да вот сейчас.

НИНА. Какой ты способный — надо же! Поговорил пять минут и все понял!

БУСЫГИН. Не все.

НИНА. Ну, что ты понял?

БУСЫГИН. Понял, что тебе надо.

НИНА. Ну что?

БУСЫГИН. Мужа. Ты сама сказала.

НИНА (*рассердилась*). Ну, знаешь ли! Это уже... ты... Кто ты такой, чтобы говорить мне такие вещи?

БУСЫГИН. Какие вещи?

НИНА. Ведь ты его в глаза не видел! За что ты на него накинулся? Да если хочешь знать, он ничем не хуже тебя! Нисколько!

БУСЫГИН. Не спорю.

НИНА. Даже лучше!

БУСЫГИН. Не возражаю. Какое же сравнение. Конечно, он лучше.

НИНА. Он шире тебя в плечах и выше! На полголовы выше!

БУСЫГИН (*развел руками*). Тогда тем более.

НИНА. Что — тем более?... Ты нахал! Нахал и выскочка!

БУСЫГИН. Да?

НИНА. И псих! Папа твой псих, и ты такой же.

БУСЫГИН. Спасибо.

НИНА. Пожалуйста!

Пауза. Нина метет пол, Бусыгин протирает мебель. У стола случайно наталкиваются друг на друга и прекращают работу.

Ты обиделся?

БУСЫГИН. Да нет...

НИНА. Я психанула... А ты тоже хорош...

БУСЫГИН. Да нет, зря я на него напустился, в самом деле.

НИНА. Значит, мир? (*Протягивает ему руки.*) Я тебя обругала... Не сердишься?

БУСЫГИН (*привлекает ее к себе*). Да нет же, нет...

Стоят лицом к лицу, и дело клонится к поцелую. Небольшая пауза. Потом враз и неожиданно отпрянули друг от друга.

(Откашлявшись, весьма неестественно.) Так как же с отцом, мы недоговорили...

НИНА (*имея в виду только что происшедшее*). Ты странный какой-то...

БУСЫГИН. Послушай, сестренка. Надо что-то решать...

НИНА. Очень странный...

БУСЫГИН. С отцом, я имею в виду... Почему — странный? Просто я не спал всю ночь, ничего странного...

Появляются Сарафанов и Сильва. Сильва наигрывает на гитаре.

Папа! Как ты себя чувствуешь?
САРАФАНОВ. Прекрасно, сынок.
СИЛЬВА (*поет*).

*Эх, да в Черемхове на вокзале
Двух подкидышей нашли,
Одному лет восемнадцать,
А другому – двадцать три!*

Занавес



ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Двор. Домик Макарской, тополь, скамья, часть ограды, но улицы не видно. Макарская, сидя на скамейке, смотрит в сторону ворот.

Появляется Васенька. Останавливается в нерешительности, потом преувеличенно бодро направляется к воротам.

МАКАРСКАЯ (замечает его). Васенька!

Васенька замирает.

Подойди ко мне. Я тебя отшлепаю. За вчерашнее.

ВАСЕНЬКА (не оборачиваясь). Для этой цели поищите кого-нибудь другого.

МАКАРСКАЯ. Да подойди, не бойся.

ВАСЕНЬКА. У вас хорошее настроение, да? Вам хочется поиграть?.. Роль мышки меня больше не устраивает.

МАКАРСКАЯ. Иди сюда, дурачок.

ВАСЕНЬКА (не выдерживает, оборачивается и подходит). Ну вот... Ты можешь мною позавтракать... Если хочешь.

МАКАРСКАЯ. Какой ты смешной... Хочешь со мной в кино?

ВАСЕНЬКА (не сразу). В самом деле?.. Когда?

МАКАРСКАЯ. А что там идет? Есть что-нибудь приличное?

ВАСЕНЬКА. Есть! Итальянский фильм! Он идет здесь, рядом.

МАКАРСКАЯ. О чем?

ВАСЕНЬКА. Называется «Развод по-итальянски».

МАКАРСКАЯ. О разводе? Не пойду! Они мне на работе надоели. Три дела — два развода. Что ни день, то развод! Это что же, в Италии, значит, так же?

ВАСЕНЬКА. Нет-нет! Там как раз все по-другому.

МАКАРСКАЯ. А я тебе говорю, что я их насмотрелась! Наслушалась! Нахожусь под впечатлением. Замуж не собираюсь.

ВАСЕНЬКА. Есть еще один... Но тоже о разводе. «День счастья».

МАКАРСКАЯ. Почему же так называется?

ВАСЕНЬКА. Там женщина ушла от плохого мужа к хорошему.

МАКАРСКАЯ. Это ей только так кажется. Еще что-нибудь идет или все?

ВАСЕНЬКА. Все.

МАКАРСКАЯ. Тогда лучше по-итальянски.



ВАСЕНЬКА. Иду за билетами?

МАКАРСКАЯ. Иди, кирюшечка, иди.

ВАСЕНЬКА. Какой сеанс?

МАКАРСКАЯ. Какой хочешь.

ВАСЕНЬКА. Тогда на все подряд. На все сеансы. На сорок лет вперед.
(Уходит.)

МАКАРСКАЯ. Одичал мальчишечка.

Появляется Сильва.

СИЛЬВА. Здравствуйте, Наташа.

МАКАРСКАЯ. Здравствуйте.

СИЛЬВА. Не помешаю?

МАКАРСКАЯ. Вроде бы нет.

СИЛЬВА (*садится рядом*). Меня зовут Семеном.

МАКАРСКАЯ. Неплохо. Откуда вы знаете мое имя?

СИЛЬВА. Не удивляйтесь. Я давно за вами наблюдаю.

МАКАРСКАЯ. Даже?

СИЛЬВА. Вернее, люблюсь.

МАКАРСКАЯ. И где вы меня видели?

СИЛЬВА. Никогда не скажу.

МАКАРСКАЯ. Вот оно что... Так я сама вам скажу.

СИЛЬВА. Как? И вы меня видели?

МАКАРСКАЯ. Вы где разводились?

СИЛЬВА. Что-что?

МАКАРСКАЯ. Вы в каком суде разводились?

СИЛЬВА. Ну что вы! Никогда этого не было. Я не люблю впутывать государство в свои личные дела. Зачем? У государства и так забот хватает.

МАКАРСКАЯ. Я работаю в суде. Секретарем. Не там ли мы встречались?

СИЛЬВА. Не там. К счастью.

МАКАРСКАЯ. Мне кажется, что все мужчины побывали в нашем суде. Такое впечатление.

СИЛЬВА. Надо же. Такая девушка — и на такой пыльной работе... Ваш домик?

МАКАРСКАЯ. Мой.

СИЛЬВА. Живете одна, мне известно. Нескромный вопрос — почему?

МАКАРСКАЯ. Почему живу одна? Нравится — и живу. А вы что же, недовольны?

СИЛЬВА. Нет, что вы! Наоборот. Романтично. Пригласите в гости.

МАКАРСКАЯ. На каком основании?

СИЛЬВА. Я вам не нравлюсь?

МАКАРСКАЯ. Вы? Ничего. Симпатичный нахал.

СИЛЬВА. Нахал, не возражаю. Но и нахалам тоже нужна любовь.

МАКАРСКАЯ. Вот. Свет раскололся пополам: на женихов и нахалов. С женихами — скука, с нахалами — слезы. Вот и поживи!

СИЛЬВА. Чем вы занимаетесь вечером?

МАКАРСКАЯ. Иду в кино. (*Поднимается, идет к дому.*)

СИЛЬВА (*идет за ней*). Кино... Хорошее занятие... А нельзя ли это самое кино перенести? На будущее.

МАКАРСКАЯ (*на пороге*). А зачем?

СИЛЬВА. Как вы живете? Можно поинтересоваться?

МАКАРСКАЯ. Входите. Все равно ворветесь.
СИЛЬВА. Это действительно. *(Входит вслед за Макарской в дом.)*

Из подъезда выходят Нина и Бусыгин. Нина в плаще, с сумочкой.

БУСЫГИН. Нет-нет, иди одна. Лучше уж я пойду с отцом. Послушаю музыку.
Глинку, Берлиоза...

НИНА. Я тебе не советую.

БУСЫГИН. Почему?

НИНА. Никакого Берлиоза ты не услышишь.

БУСЫГИН. Как же? Отец сказал...

НИНА. Мало ли что он сказал. Вот уже полгода, как он не работает в филармонии.

БУСЫГИН. Серьезно?

НИНА. Да. И лучше, если ты об этом будешь знать.

БУСЫГИН. Где же он работает?

НИНА. Работал в кинотеатре, а недавно перешел в клуб железнодорожников. Играет там на танцах.

БУСЫГИН. Да?

НИНА. Но имей в виду, он не должен знать, что ты об этом знаешь.

БУСЫГИН. Понятно.

НИНА. Конечно, это уже всем давно известно, и только мы — я, Васенька и он — делаем вид, что он все еще в симфоническом оркестре. Это наша семейная тайна.

БУСЫГИН. Что ж, если ему так нравится...

НИНА. Я не помню своей матери, но недавно я нашла ее письма — мать там называет его не иначе как блаженный. Так она к нему и обращалась: «Здравствуй, блаженный...», «Пойми, блаженный...», «Блаженный, подумай о себе...», «У тебя семья, блаженный...», «Прощай, блаженный...» И она права... На работе у него вечно какие-нибудь сложности. Он неплохой музыкант, но никогда не умел за себя постоять. К тому же он попивает, ну и вот, осенью в оркестре было сокращение, и естественно...

БУСЫГИН. Погоди. Он говорил, что он сам сочиняет музыку.

НИНА *(насмешливо)*. Ну как же.

БУСЫГИН. А что за музыка?

НИНА. Музыка-то?.. Потрясающая музыка. То ли кантата, то ли оратория. Называется «Все люди — братья». Всю жизнь, сколько я себя помню, он сочиняет эту самую ораторию.

БУСЫГИН. Ну и как? Надеюсь, дело идет к концу?

НИНА. Еще как идет. Он написал целую страницу.

БУСЫГИН. Одну?

НИНА. Единственную. Только один раз, это было в прошлом году, он перешел на вторую страницу. Но сейчас он опять на первой.

БУСЫГИН. Да, он работает на совесть.

НИНА. Он ненормальный.

БУСЫГИН. А может, так ее и надо сочинять, музыку?

НИНА. Ты рассуждаешь, как он... И все-таки жалко.

БУСЫГИН. Чего жалко?

НИНА. Жалко с вами расставаться... Ничего не понимаю. Я так ждала отъезда, а теперь, когда осталось несколько дней... И с Васькой жалко расставаться. И с



тобой. Хотя еще вчера я про тебя и знать не знала... Слушай, братец! Где ты пропадал? Почему ты раньше не появился?

БУСЫГИН. Но ты знаешь...

НИНА. Нет бы раньше. Водил бы меня в кино, на танцы, защищал бы, умразуму учил. А то — на тебе, явился! В последний день, как нарочно. Это даже подло с твоей стороны.

БУСЫГИН. Что поделаешь?.. Оставайся, если хочешь. *(Поправляется с заметной поспешностью.)* Задержись, я имею в виду.

НИНА. Зачем?

БУСЫГИН. Ну... в кино ходим, на танцы...

НИНА. Ты же завтра уезжаешь?

БУСЫГИН. А я... я вернусь.

НИНА. Нет, все уже решено.

БУСЫГИН. Где ты с ним встречаешься?

НИНА. В центре, как обычно.

БУСЫГИН. Когда вы появитесь?

НИНА. Мы идем в кино. Здесь будем часов в восемь... Ну хочешь, пойдем вместе?

БУСЫГИН. Что я там буду делать?.. Нет. Познакомимся с твоим летчиком вечером.

НИНА. Надеюсь, он тебе понравится. Он хороший, он так ко мне относится... Ты не думай, я и другим нравилась. Я сама его выбрала.

БУСЫГИН. Почему? Он лучше всех?

НИНА. Он меня любит... Знаешь, увлечения есть увлечения, но в жизни хочется чего-то раз и навсегда.

БУСЫГИН. Понятно.

НИНА. Что тебе опять понятно?

Из домика слышится смех Макарской.

БУСЫГИН. Веселая женщина.

НИНА. Даже слишком. Опять кого-то подцепила...

БУСЫГИН. Ты к ней чересчур строга. Она милая женщина.

НИНА. Откуда ты знаешь, какая она?

БУСЫГИН. А я с ней знаком.

НИНА. Да?

БУСЫГИН. Вчера, когда мы искали вашу квартиру, я с ней беседовал...

НИНА. Вот как?

БУСЫГИН. Она мне понравилась.

НИНА. Понравилась?

БУСЫГИН. А что?

НИНА. Она?

БУСЫГИН. А почему бы и нет? Она славная...

НИНА. Старуха.

БУСЫГИН. Блондинка. Мне нравятся блондинки.

НИНА. Крашенная.

Снова слышится смех Макарской.

БУСЫГИН. Жизнерадостная. Я люблю жизнерадостных.

НИНА. Терпеть ее не могу!

БУСЫГИН. Одинокая. Одиноких мне всегда жалко.

НИНА. Ненавижу!

БУСЫГИН (*заигрался*). А я, пожалуй, за ней все-таки приударю.

НИНА. Нет! Не смей к ней подходить.

БУСЫГИН. Ого!.. Послушай, это уже похоже на ревность.

НИНА (*удивляясь*). Что?..

БУСЫГИН. Может, ты меня ревнуешь?

НИНА (*испугалась*). Ревную?.. (Смутившись.) Ну да... Конечно, ревную. А разве сестра не может ревновать?

БУСЫГИН (*забывшись*). Да какая сестра!.. (Опомнися.) Ну да, сестра — брата! Конечно, может. Если она его... Если она к нему хорошо относится...

НИНА (*неуверенно*). Ну конечно...

БУСЫГИН. Это в порядке вещей. Вон на Кавказе, так там даже до резни доходит... Ну, ты иди, а то опоздаешь.

НИНА (*очнувшись*). Да! Давно пора... Пойду... (*Идет, но возвращается*.) Послушай, а на Кавказе не бывает так, чтобы сестра влюбилась в брата?

БУСЫГИН. Влюбилась?.. Нет, так не бывает.

НИНА. Что ты говоришь? (*Засмеялась*.) А я-то думала...

БУСЫГИН (*тоже смеется*). По-моему, это невозможно.

НИНА (*смеется*). Невозможно?

БУСЫГИН. По-моему, нет.

НИНА (*смеется*). А жалко... (*Перестав смеяться*.) А с тобой, знаешь, не соскучишься.

БУСЫГИН. Со мной? Никогда.

НИНА. Ладно, я уйду... Часа в два разбуди отца. Еда на плите, разогреете. Да посмотри за младшим братом, как бы он не сбежал.

БУСЫГИН. Не сбежит. Мы с ним договорились.

НИНА. Смотри, отец на тебя надеется... Счастливо. (*Подходит к нему ближе*.) А с этой (*жест в сторону домика Макарской*) ты все же лучше не связывайся. Хорошо?

БУСЫГИН. Хорошо... Счастливо тебе...

НИНА. Счастливо, братец. (*Уходит*.)

БУСЫГИН (*помахав ей рукой, негромко*). Прощай, сестренка...

На пороге появляются Сильва и Макарская. Макарская смеется. Бусыгин стоит у ворот, им с крыльца его не видно.

СИЛЬВА. Итак, когда солнце позолотит верхушки деревьев...

МАКАРСКАЯ (*в дверях, смеясь*). Хорошо, хорошо... Счастливенько!

СИЛЬВА (*деловито*). Значит, в десять.

МАКАРСКАЯ. В десять, в десять... (*Исчезает, закрыв дверь*.)

Сильва сходит с крыльца, замечает Бусыгина.

СИЛЬВА. А, мсье Сарафанов! (*Подходит*.) Жизнь бьет ключом. (*Жест в сторону домика Макарской*.) Слыхал?

БУСЫГИН. Слыхал.

СИЛЬВА. А чего ты затосковал? В чем дело? Сын ты здесь или бедный родственник?

БУСЫГИН. Тебе не кажется, что мы здесь загостились?



СИЛЬВА. Да нет, все нормально. Мне здесь уже нравится. Тебе тоже здесь неплохо. Дела идут.

БУСЫГИН. Какие дела?

СИЛЬВА. Я имею в виду сердечные.

БУСЫГИН. Ничего такого нет.

СИЛЬВА. Рассказывай, будто я не вижу. У вас бешеный интерес. Причем взаимный. На вас просто нельзя смотреть — плакать хочется.

БУСЫГИН. Брось. Она выходит замуж.

СИЛЬВА. Слышал, но...

БУСЫГИН (*перебивает*). И на днях уезжает. Вот и весь интерес... Хорошо мы погостили, весело, но пора и честь знать. Собирайся.

СИЛЬВА. Куда?

БУСЫГИН. Домой.

СИЛЬВА. Погоди... Зачем? У меня же в десять свидание.

БУСЫГИН. Оно не состоится. Какого черта ты суешься куда не следует? Ты что, не видишь, что с пацаном делается из-за этой женщины?

СИЛЬВА. А я-то тут при чем?

БУСЫГИН. Не валяй дурака. И никаких свиданий. Все. Мы едем домой.

СИЛЬВА. Ни за что. Не могу же я обманывать женщину?

БУСЫГИН. Можешь. Иди попрощайся. Скажи ей, что, когда солнце позолотит верхушки деревьев, ты будешь уже далеко.

СИЛЬВА. Слушай, что ты опять придумал?.. Мы вернемся сюда ночью, а?

БУСЫГИН. Зачем?

СИЛЬВА. Не вернемся?.. Тогда ты поезжай, а я...

БУСЫГИН. Мы поедем вместе.

СИЛЬВА. Почему?.. Слушай. У тебя какие-то планы, я понимаю. Но я-то ничего не знаю. За что я должен страдать? Объясни — тогда другое дело. Ты держишь меня в полной темноте. Это некрасиво. Друзья так не поступают.

БУСЫГИН. Хорошо. Раз мы друзья, я прошу тебя как друга: едем. Ты сам сказал, что ты мой друг.

СИЛЬВА. Ну правильно, друг. Но нельзя же сено на мне возить. С сестрой мне нельзя, с другой мне тоже нельзя, как же мне жить дальше?

БУСЫГИН. Короче, вот: если когда-нибудь ты постучишься в эту дверь (*жест в сторону домика Макаарской*), это плохо для тебя кончится. Понятно?.. Ну что? Ты остаешься?

СИЛЬВА. Черт с ней. Не ссориться же нам из-за женщины. Едем... Эту большую глупость я делаю только потому, что я тебя полюбил. В интересах мужской дружбы.

БУСЫГИН. Ладно, ладно...

СИЛЬВА. Жди меня здесь, я заберу гитару.

БУСЫГИН. Я найду тоже.

СИЛЬВА. Э, лучше ты этого не делай. Там папаша, разговоры. Опять на два часа.

БУСЫГИН. Он спит. Я напишу ему записку.

Неожиданно появляется Васенька.

СИЛЬВА. А, прилетел, голубь!

ВАСЕНЬКА. А, выползли на солнышко!

БУСЫГИН. Откуда ты, старина?

ВАСЕНЬКА. Какое вам дело, крокодилы?

СИЛЬВА. У тебя шикарное настроение. Выиграл в «замеряшки»?

ВАСЕНЬКА. Отец дома?

БУСЫГИН. Он спит.

ВАСЕНЬКА. Что поделываете?

СИЛЬВА. Кто что. Твой брат совершает благородные поступки, а я... мне выпить бы, что ли.

ВАСЕНЬКА. Тогда идите домой. Там на кухне, за батареей, кое-что есть. Эн-зэ отца.

СИЛЬВА. Эн-зэ. А что именно?

ВАСЕНЬКА. Не знаю. По моему, калгановая. Устраивает?

СИЛЬВА. Калгановая? Ну, это не лучший из напитков... Но ничего, сойдет.

БУСЫГИН (*Сильве*). Иди, я сейчас.

Сильва исчезает в подъезде.

Ну так как, братишка, договорились?

ВАСЕНЬКА. Все железно.

БУСЫГИН. Я — другое дело, мне необходимо ехать... Может, даже сегодня. А ты...

ВАСЕНЬКА. Я остаюсь. Теперь это бесповоротно.

БУСЫГИН. Да нет, ты парень крепкий.

ВАСЕНЬКА. Ну ладно, ты иди.

БУСЫГИН. Слушаюсь, братишка. (*Уходит в подъезд.*)

Васенька стучится к Макарской. Та появляется.

МАКАРСКАЯ. Купил билеты?

ВАСЕНЬКА. Еще бы! Знаешь, какая была свалка?

МАКАРСКАЯ. Можно догадаться. Пуговицы-то где?

ВАСЕНЬКА. Одна здесь, другая там!

МАКАРСКАЯ. Давай хоть эту. Подожди. (*Уходит в дом.*)

Васенька достает из кармана запечатанный конверт, спички, сжигает конверт у крыльца ее дома.

(*Появляясь.*) Что ты делаешь?

ВАСЕНЬКА (*весело*). Так. Жгу одно послание.

МАКАРСКАЯ. Дай пиджак.

Какое-то время молча сидят на крыльце рядом. Васенька затих, замер и вдруг уткнулся головой в ее плечо.

Что это ты?..

ВАСЕНЬКА. Не знаю.

МАКАРСКАЯ. Легче, легче!.. (*Подняла его голову снисходительным жестом.*) Разнежился мальчишечка!

ВАСЕНЬКА. Прости. Это у меня... пройдет...

МАКАРСКАЯ (*отдает ему пиджак*). Возьми. Когда эта пуговица оторвется, ты меня забудешь. Такая примета... Подожди, у тебя на какой сеанс билеты?

ВАСЕНЬКА. На последний, на десять часов... А что?

МАКАРСКАЯ. На десять? Ты с ума сошел!

ВАСЕНЬКА. Но ты сказала – на какой хочешь.

МАКАРСКАЯ. Только не на десять!

ВАСЕНЬКА. Ты сказала...

МАКАРСКАЯ. Васенька, голубчик, на десять невозможно.

ВАСЕНЬКА. На какой хочешь. Ты сама сказала.

МАКАРСКАЯ. Васенька! На десять я пойти не могу!

ВАСЕНЬКА. Почему?

МАКАРСКАЯ. Не могу, и все.

ВАСЕНЬКА. Почему не можешь?

МАКАРСКАЯ. Не могу — это значит не могу! Беги за билетами, если еще хочешь со мной в кино.

ВАСЕНЬКА. Почему? Я должен знать.

МАКАРСКАЯ. Должен знать? С чего это ты взял? И что это за манера все знать?.. И не смотри на меня так.

ВАСЕНЬКА. Что случилось? У тебя свидание?

МАКАРСКАЯ. Ты что, прокурор? (*Кричит.*) Да не смотри на меня так! Кто это тебе сказал, что ты можешь так на меня смотреть?

ВАСЕНЬКА. У тебя свидание?

МАКАРСКАЯ. Угадал. Свидание! Ну и что?

ВАСЕНЬКА. Зачем ты так сделала?

МАКАРСКАЯ. Да уж так. Пока ты ходил за билетами, тут кое-что изменилось.

ВАСЕНЬКА. Что?

МАКАРСКАЯ. Говорят тебе, перестань допрашивать!

ВАСЕНЬКА. Что изменилось?!

МАКАРСКАЯ. Мне понравился один парень, вот что! Получай уж все как есть!

ВАСЕНЬКА. А где этот парень был раньше? Где?!

МАКАРСКАЯ. Господи! Как ты мне надоел!..

ВАСЕНЬКА. Зачем ты отправила меня за билетами, садистка?

МАКАРСКАЯ. Да пожалела я вас! Папу твоего пожалела...

ВАСЕНЬКА. Что-о?.. При чем здесь отец?

МАКАРСКАЯ. А при том, что он вчера ночью сватать меня приходил.

ВАСЕНЬКА. Врешь!

МАКАРСКАЯ. И что это за семейка такая, господи! За такого-то, за идиотика, — сватать! Это надо же додуматься!

ВАСЕНЬКА (*хватает ее за руку*). Я... я убью тебя!

МАКАРСКАЯ. Ты! Ха-ха! Напугал. Да ты и мухи-то и той не обидишь! Не в состоянии. (*Выдергивает из его руки свою.*) И вот что, детка. Все. Концерт окончен. Иди и не придуривайся. Пока тебя не выпороли. (*Уходит, хлопнув дверью.*)

Из подъезда выходят Бусыгин и Сильва с гитарой. На их глазах Васенька вдруг обрывает пуговицу, пришитую Макарской. Пуговицу эту – оземь!

БУСЫГИН. Братишка, что с тобой?.. Что случилось?

Васенька стоит в оцепенении.

БУСЫГИН. Кто тебя обидел?.. Она?

СИЛЬВА (*Васеньке*). Что бы я тебе посоветовал, старичок, так это махнуть рукой. На время. Ты любишь девушку — она крутит тебе динамо. Нормальное явление. А ты посмотри, что она будет делать, когда ты ее не будешь любить.

БУСЫГИН. Прекрати, что ты мелешь.

Васенька вдруг убегает в подъезд.

Балбес. Что ты натворил, ты видишь?

СИЛЬВА. Слушай, ты чего это, а? Заболел? Что он тебе, действительно родной брат, что ли?

БУСЫГИН. Черт подери... Что же теперь делать?

СИЛЬВА. Что делать? Сматываться. Раз собрались.

Появляется Сарафанов.

(Негромко.) Проснулся, дождались.

САРАФАНОВ. Володя!

БУСЫГИН. Что такое?

САРАФАНОВ *(с отчаянием)*. Он собирает рюкзак! *(Исчезает в подъезде.)*

СИЛЬВА. Все. Пошли отсюда.

БУСЫГИН *(с досадой)*. Я остаюсь.

СИЛЬВА. Ну вот, привет! *(Проводит большим пальцем по струнам гитары.)* Значит, все по новой?.. Слушай, эта песня мне надоела.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Квартира Сарафановых. Девятый час вечера. Бусыгин стоит у двери в соседнюю комнату. Сильва, лежа на диване, наигрывает на гитаре.

СИЛЬВА *(напевает)*.

*Ах, дети, дети, что же вы, дети,
Зачем вы пьете кровь мою,
У нас таких законов нету,
Чтоб брат любил сестру свою...*

БУСЫГИН. Перестань.

СИЛЬВА. По-моему, он давно дрыхнет.

БУСЫГИН. Нет, в том-то и дело. Он смотрит в потолок *(взглянул на часы)* вот уже шестой час.

СИЛЬВА. Может, он умер?

БУСЫГИН *(приоткрывает дверь)*. Послушай, старина, что ты там наблюдаешь? Что-нибудь забавное? Из жизни тараканов, а?.. *(Помолчав, закрывает дверь.)* Бесполезно.

СИЛЬВА. Тебе нравится сестра, почему ты должен караулить брата? Мне непонятно. Слушай, а кто будет тебе этот парень, если... Зять, что ли?

БУСЫГИН. Вроде так.

СИЛЬВА. Зятек, точно! *(Смеется.)* Я тебе уже завидую. А кто такой?

БУСЫГИН. Курсант. Отличник боевой и политической подготовки.

СИЛЬВА. Представляю, что здесь получится. Может, тебе лучше удалиться?.. Я понимаю, ты хочешь повидаться с сестрицей.

БУСЫГИН. Может быть.

СИЛЬВА. Ясно. Хочешь с ней поговорить. Как следует, а?

БУСЫГИН. Это не твое дело.

СИЛЬВА. А курсант? А там папаша подойдет. Будет у вас потеха. А я тут при чем? *(Бросает гитару, дотягивается до лежащего на трюмо семейного альбома Сарафановых и листает его.)*

БУСЫГИН. Можешь пойти в кино. Вот билеты. Он их выбросил.

СИЛЬВА. Ну? Чего только нет в этом доме. *(Берет билеты.)* Я подумаю. *(Листает альбом.)*

БУСЫГИН. Ты говорил с этой девицей?

СИЛЬВА. О чем? *(Показывает альбом Бусыгину.)* Смотри, папаша, оказывается, тоже был молодым.

БУСЫГИН. Сказал ты ей, что между вами все кончено?

СИЛЬВА. Нет. Я же больше ее не видел.

БУСЫГИН. Мог бы сказать.

СИЛЬВА. Проживет без объяснений! Не маленькая. Я ее больше не знаю, как ты хотел... А скажи, она... ничего себе, а?

БУСЫГИН. Не вздумай потащить ее в кино.

СИЛЬВА. Ну что ты! За кого ты меня принимаешь?.. С женщинами главное — не забывать, что на свете есть много других женщин... От этой я отказываюсь. В интересах мужской дружбы... А верно, в этом есть что-то приятное — пострадать за товарища. Я даже уважать себя стал. В самом деле. Лежу вот и уважаю. *(Листает альбом, показывает Бусыгину.)* Твоя сестричка в ранней юности. Вот. Играет в классики. Взгляни. Поллюбуйся.

БУСЫГИН. Видел.

СИЛЬВА *(листает дальше)*. А это? После выпускного бала. Они гуляют по улице. Малинник!.. Что? Она тут самая симпатичная. *(Листает дальше, застонал.)* Мм... Пляж! Это самое интересное... *(Показывает Бусыгину.)* Видел?

БУСЫГИН. К сожалению. Лучше бы мне этого не видеть.

СИЛЬВА. Как-то раз на пляже был такой случай. Тонула одна девица, я ее вытащил.

БУСЫГИН *(рассеянно)*. Ну и что?

СИЛЬВА. Ну и то. Тащил — не видел, а вытащил, глянул — несимпатичная. Не повезло. Мне бы *(щелкнул по фотографии)* такую спасти! Она тонет, а я ее спасаю, а? Неплохое начало, скажи?

БУСЫГИН. Слушай. Пошел бы ты лучше в кино.

Стук в дверь.

Войдите, дверь открыта.

Входит Кудимов, курсант авиаучилища. В руках у него букет и две бутылки шампанского.

КУДИМОВ. Добрый вечер.

БУСЫГИН. Добрый вечер.

КУДИМОВ. Квартира Сарафановых?

БУСЫГИН. Да.

КУДИМОВ. А Нина? Разве она еще не пришла?

БУСЫГИН. Еще нет.

КУДИМОВ (*подходит к столу*). Черт возьми! У меня не так уж много времени. (*Ставит бутылки.*) Мы потерялись в гастрономе. (*Берет со стола стакан. Энергичен.*)

БУСЫГИН (*вежливо*). Вы здесь в первый раз?

КУДИМОВ (*воткнув в стакан цветы*). В первый раз, совершенно верно. (*Улыбается. Он и далее много улыбается. Добродушен.*)

БУСЫГИН. Ну и ничего... сориентировались?

КУДИМОВ. А как же! (*Подмигнув.*) Знакомые места. (*Ставит стакан с цветами на стол.*) Ну что, парни, давайте знакомиться.

БУСЫГИН. Давайте.

Трясут друг друга за руки.

КУДИМОВ. Михаил.

БУСЫГИН. Владимир.

КУДИМОВ. Это ты?.. Все знаю... Сочувствую. Рад.

БУСЫГИН. Благодарю за чуткость.

КУДИМОВ (*Сильве*). Михаил.

СИЛЬВА (*солидно*). Севостьянов. Семен Парамонович.

КУДИМОВ. Парамонович? Комик!

СИЛЬВА. Комик? Простите, это вы о ком?

КУДИМОВ. Артист! (*Хлопнул Сильву по плечу.*)

СИЛЬВА (*холодно*). Что за фамильярности вы себе позволяете?

КУДИМОВ. Да ладно тебе!.. (*Смотрит на часы.*) Черт! В половине одиннадцатого я должен быть в казарме. Ну как, парни, выпьем или подождем Ниночку?

СИЛЬВА (*холодно*). Выпьем.

КУДИМОВ. А где папаша?

БУСЫГИН. Кого ты называешь папашей?

КУДИМОВ. Как — кого?.. Отца Ниночки, твоего отца!

БУСЫГИН. Ты с ним незнаком и уже называешь папашей... А впрочем... Он на работе.

СИЛЬВА. Вы присаживайтесь.

КУДИМОВ. Черт побери! Почему ты говоришь мне «вы»?

СИЛЬВА. А почему вы говорите «ты»? Мне и моему другу. Это нас шокирует.

КУДИМОВ (*весело*). Парни! Что за формальности? Мне эта субординация (*показывает*) во как осточертела! Давайте проще!.. Выпьем по этому поводу!

Кудимов и Сильва пьют.

СИЛЬВА (*Бусыгину*). Солдат всегда солдат. Его не переделаешь. (*Садится на диван, Кудимову.*) Прошу вас.

КУДИМОВ. Да что вы, в самом деле! Парламент здесь, что ли?

СИЛЬВА. Навроде этого. (*Наигрывает на гитаре.*) А интересно, начальство разрешает вам жениться?

БУСЫГИН (*Сильве*). Перестань.

КУДИМОВ. А почему нет? Я заканчиваю училище.

СИЛЬВА. А интересно...

БУСЫГИН (*перебивает*). Помолчи, я тебе сказал.

КУДИМОВ. А чего? Пусть он хохмит. Я не против.

Входит Нина.

НИНА (*Кудимову*). Ага, ты здесь. (*Остальным.*) Привет. (*Проходит.*) Познакомились?

СИЛЬВА. Было дело.

КУДИМОВ. Веселые ребята. Люблю веселых ребят... Ну, выпьем? Чтобы не терять время даром.

СИЛЬВА. Вот это правильно.

НИНА. Не торопитесь. Подождем отца.

КУДИМОВ. Подождем. Но через полчаса я уйду.

СИЛЬВА. Вот жизнь. Регламент. Чуть что, опоздал – губа и все такое. Тяжело, верно?

КУДИМОВ. Я не жалуясь.

БУСЫГИН. А что у вас полагается за опоздание?

КУДИМОВ. Я никогда не опаздываю.

БУСЫГИН. Я так и думал.

НИНА. В конце концов, не беда, если сегодня ты даже и опоздаешь. Один раз можно.

КУДИМОВ. А зачем мне опаздывать?

БУСЫГИН. Да, зачем ему опаздывать?

НИНА (*Кудимову*). Сегодня ты немного задержишься.

КУДИМОВ. Зачем?

НИНА. Просто так. Задержишься, и все.

КУДИМОВ. Если необходимо — я готов, но просто так, извини, я не вижу в этом смысла.

БУСЫГИН. Правильно, курсант, не поддавайся. Дисциплина прежде всего.

КУДИМОВ. Дело не в этом. Я дал себе слово не опаздывать. А свое слово я уважаю.

НИНА. Сегодня ты опоздаешь. Я так хочу.

БУСЫГИН. Не слушай ее, курсант. Главное — быть принципиальным.

Появляется Сарафанов. Он выглядит утомленным, но настроение у него лирическое.

САРАФАНОВ. Добрый вечер, архаровцы! (*Замечает Кудимова.*) Извините.

НИНА. Познакомься, папа...

КУДИМОВ. Кудимов. Михаил.

САРАФАНОВ (*церемонно, с подчеркнутым достоинством, слегка изображая блестящего гастролера, любимца публики*). Сарафанов... Так-так... очень приятно... Наконец-то мы вас видим, так сказать, воочию. Очень приятно. Садитесь, пожалуйста. (*Бусыгину.*) Васенька дома?

БУСЫГИН. Дома. Но он не в духе.

Сарафанов снимает шляпу, кладет ее на стол, в плаще опускается на стул. Нина уносит в прихожую его шляпу.

САРАФАНОВ (*Кудимову*). Мой старший сын. Познакомились?

КУДИМОВ. Да. Познакомились.

Возвращается Нина.

САРАФАНОВ. Спасибо... *(Нине и Кудимову.)* Ну что ж, молодые люди, что ж... Вы давно все обдумали, решили, а мы... Мы принимаем так, как оно есть. Такова уж наша участь.

КУДИМОВ *(наливает всем шампанского)*. С вашего разрешения — за вас, за наше знакомство.

Все встают.

САРАФАНОВ. Что ж. Я рад. Мы все здесь рады, верно, Володя?

НИНА *(Бусыгину)*. Ты рад или не рад?

БУСЫГИН. Твое здоровье, папа.

КУДИМОВ. Ваше здоровье.

СИЛЬВА. Ваше здоровье.

САРАФАНОВ. Спасибо, спасибо. Но у меня другой гост, друзья... Извините, но я сяду. *(Садится.)* Устал... Сегодня я устал. Как будто я пешком прошел через весь город... *(На мгновение смутился, потом — снова чуть рисуясь.)* Глинка, если вы знаете, любил кларнет и в своих сочинениях всегда уделял ему много места...

В то время как Сарафанов говорит, Кудимов пристально всматривается в его лицо.

Да... Так вот. Сейчас, когда я возвращался домой, я размышлял о жизни. Кто что ни говори, а жизнь всегда умнее всех нас, живущих и мудрствующих. Да-да, жизнь справедлива и милосердна. Героев она заставляет усомниться, а тех, кто сделал мало, и даже тех, кто ничего не сделал, но прожил с чистым сердцем, она всегда утешит. Сегодня я хочу выпить за своих детей... *(Замечая пристальный взгляд Кудимова.)* Простите, отчего вы так на меня смотрите?

КУДИМОВ. Извините, но мне кажется, я вас где-то видел. Не могу вспомнить, когда и при каких обстоятельствах, но я вас где-то видел.

САРАФАНОВ *(с беспокойством)*. Возможно... Так вот, я хочу выпить за своих детей, за тебя, Володя... *(Нине)* за тебя, за Васеньку. *(Кудимову.)* Это мой младший, он сейчас отдыхает. Итак, за вас, дети, за ваше здоровье, за ваше счастье...

Все, кроме Бусыгина, выпивают.

БУСЫГИН. Твое здоровье, папа. *(Выпивает.)*

КУДИМОВ *(глядя на Сарафанова)*. Не могу вспомнить где, но я вас видел. Это точно.

НИНА. Ну видел, ну и что?..

КУДИМОВ. Но где?

НИНА. Да не все ли равно?

КУДИМОВ. Я буду мучиться, пока не вспомню. У меня всегда так. Ну где же, где?

САРАФАНОВ *(с беспокойством, но и не без оптимизма)*. Я артист. Вы могли видеть меня на эстраде.

НИНА. Папа музыкант, ты прекрасно об этом знаешь.

САРАФАНОВ *(с большим беспокойством, но и надеждой)*. Возможно, в филармонии?

КУДИМОВ. Нет-нет...

САРАФАНОВ *(поспешно и категорически)*. Значит, в театре.

КУДИМОВ. Нет, не в театре...

НИНА. Боже мой, какое это имеет значение?..

КУДИМОВ. Минуточку, минуточку...

БУСЫГИН (*Кудимову*). А ты не опоздаешь? Осталось восемнадцать минут.

КУДИМОВ. Спасибо, за часами я слежу... Но я должен вспомнить...

НИНА. Да хватит тебе! Так можно вспоминать до самой смерти.

КУДИМОВ. Вспомнил!

СИЛЬВА. Наконец-то.

КУДИМОВ. Я видел вас на улице!

НИНА. Ну слава богу. Надеюсь, ты успокоился?

КУДИМОВ. Ну конечно! Ты сказала «до самой смерти», и я сразу вспомнил.

(*Сарафанову.*) Я видел вас на похоронах.

Небольшая пауза.

НИНА. На каких похоронах?

КУДИМОВ. Черт! Как я мог забыть, ведь это было на прошлой неделе, и в руках у вас был этот самый кларнет!

НИНА. Нет, ты обознался.

КУДИМОВ. Ни в коем случае. Хоронили какого-то шофера, вы шли по улице Коминтерна часа в четыре дня.

НИНА. А я говорю, ты обознался.

КУДИМОВ. Да нет же, Нина! Хотя я видел только мельком, но у меня хорошая зрительная память.

БУСЫГИН. На этот раз она тебя подвела. Ты его с кем-то спутал.

КУДИМОВ. Ничего подобного. (*Сарафанову.*) Вы были в плаще и в этой самой шляпе. Скажите!

САРАФАНОВ. Э...

БУСЫГИН (*перебивает*). Тебе показалось.

КУДИМОВ. Да точно!

БУСЫГИН. Ты обознался.

КУДИМОВ (*Сарафанову*). Да скажите вы им.

БУСЫГИН. Папа, молчи. (*Кудимову.*) Ты обознался, неужели ты этого не понимаешь?

КУДИМОВ. Да я даю вам честное слово!

БУСЫГИН. Послушай! Ты ошибся, это ясно всем, и тебе в том числе.

КУДИМОВ. Нет, минутку!

БУСЫГИН. Сам понимаешь, что ошибся, и настаиваешь на своем. Нехорошо. Выходит, ты врешь.

КУДИМОВ (*вскакивает*). Что? Да я тебя за такие слова...

СИЛЬВА (*незаметно тянет Кудимова за ремень, пытается его усадить*).

Сиди и не кашляй.

БУСЫГИН (*поднимается*). К тому же тебе пора в казарму. У тебя в запасе всего тринадцать минут.

НИНА. Прекратите! Сейчас же прекратите!

САРАФАНОВ. Да, ребята. Не надо скандалить...

КУДИМОВ. Я разговариваю нормально и говорю правду, а если (*поворачиваясь к Бусыгину*) кому-то это не нравится, пусть он идет ко всем чертям.

САРАФАНОВ. Что значит — кому-то? Он мой сын и брат моей дочери. И вы должны разговаривать повежливей.

КУДИМОВ. Но вы-то? Почему вы молчите? Ведь это вы были на похоронах. Скажите, в конце концов!

САРАФАНОВ. Да, я должен признаться... Михаил прав. Я играю на похоронах. На похоронах и на танцах...

КУДИМОВ. Ну вот! Что и требовалось доказать.

САРАФАНОВ (*Бусыгину и Нине*). Я понимаю ваше поведение... Спасибо вам... Но я не думаю, что играть на похоронах позорно.

КУДИМОВ. А кто об этом говорит?

САРАФАНОВ. Всякая работа хороша, если она необходима...

КУДИМОВ. Нет, вы не подумайте, что я вспомнил об этом потому, что мне не нравится ваша профессия. Где вы работаете — для меня не имеет никакого значения.

БУСЫГИН. Для тебя.

САРАФАНОВ. Спасибо, сынок... Я должен перед вами сознаться. Вот уже полгода, как я не работаю в оркестре.

НИНА. Ладно, папа...

КУДИМОВ (*Нине и Бусыгину*). А вы об этом не знали?

САРАФАНОВ. Да. Я скрывал от них... И совершенно напрасно...

КУДИМОВ. Вот что...

САРАФАНОВ. Да... Серьезного музыканта из меня не получилось. И я должен в этом сознаться...

КУДИМОВ. Ну что же. Уж лучше горькая правда, чем такие вещи.

БУСЫГИН (*показывает Кудимову часы*). Десять минут. (*Сарафанову*.) Папа, о чем ты грустишь? Людям нужна музыка, когда они веселятся и тоскуют. Где еще быть музыканту, если не на танцах и похоронах? По-моему, ты на правильном пути.

САРАФАНОВ. Спасибо, сынок... (*Кудимову*.) Вы видите? Что бы я делал, если б у меня не было детей? Нет-нет, меня не назовешь неудачником. У меня замечательные дети...

Из соседней комнаты выходит Васенька. Он в плаще, за плечами у него рюкзак.

ВАСЕНЬКА. Ага... Большое оживление в семейной жизни... Что ж, продолжайте, я желаю вам всего хорошего.

САРАФАНОВ. Васенька... Ты выбрал неподходящее время...

ВАСЕНЬКА. Нет, папа, нет, дорогой! На этот раз меня не остановишь.

БУСЫГИН (*подходит к Васеньке с намерением снять с него рюкзак*). Послушай, старина, бросай мешок, не надо так спешить.

НИНА (*подходит к Васеньке*). Раздевайся. (*Пытается снять плащ*.)

ВАСЕНЬКА (*Нине*). Отстань. (*Вырывается*.) Что тебе надо? Чего тебе не хватает? Положись на папу, он все устроит.

САРАФАНОВ. Васенька!

ВАСЕНЬКА. Зачем ты ходил к ней ночью? Кто тебя просил?

САРАФАНОВ. Васенька! Я хотел тебе добра.

ВАСЕНЬКА. Сумасшедший! Было лучше, когда ты обо мне не заботился!

НИНА (*кричит*). Замолчите!

СИЛЬВА (*взглянув на часы, поднимается*). Мне, право, неудобно... Лучше я пойду. У меня билетик в кино, я думаю, общество не возражает?... (*Уходит*.)

НИНА. Ну? Может, хватит? Или вы решили показать сегодня всю программу целиком?

ВАСЕНЬКА. Прощайте! (*Идет к двери.*)
САРАФАНОВ. Постой!

Бусыгин задерживает Васеньку.

Подожди. Я готов просить у тебя прощения, но я запрещаю тебе уходить.
БУСЫГИН (*Васеньке*). А как же наш уговор, старина?

ВАСЕНЬКА (*вырывается*). Пусти! Оставайся с ним сам, если тебе хочется!
Вы мне все осточертели! (*Бусыгину*.) И ты тоже! Пусти, тебе говорят! Я и видеть-то вас не могу!

САРАФАНОВ (*вышел из себя*). Пусти его... Раз так, пусть он убирается. Силой мы его держать не будем.

Бусыгин отпускает Васеньку, и тот мгновенно уходит.

Ничего, ничего. Пусть-ка он один помыкается...

НИНА. Закатили... Очень красиво. Концерт для кларнета с оркестром.

САРАФАНОВ (*забегал по комнате*). Вот-вот. А теперь твоя очередь. Вступай.
Начинай. Пошли отца ко всем чертям. Не станешь же ты со мной церемониться!

НИНА. Ну, начинается. (*Кудимову*.) Сейчас ты услышишь все, на что они способны.

КУДИМОВ. Ничего, ничего... Я не обращаю внимания.

САРАФАНОВ. Вот именно! Не обращайтесь внимания! Наплюйте! Делайте по своему! (*Убегает в спальню.*)

БУСЫГИН (*Кудимову, шепотом*). Курсант, тебе пора.

НИНА (*Бусыгину, кричит*). Перестань! Что ты все суешься?

КУДИМОВ. Нет. В самом деле. Мне пора. Я ухожу.

НИНА. Нет. Оставайся. Здесь должен быть хотя бы один здравомыслящий человек.

ГОЛОС САРАФАНОВА (*из спальни, он кричит*). Я здесь лишний, я знаю! Я прекрасно знаю!

НИНА. Папа, сейчас тебе лучше помолчать...

КУДИМОВ. Я очень сожалею, но мне действительно пора.

НИНА. Нет, ты останешься.

КУДИМОВ. Пойми меня правильно. У тебя каприз, а я дал себе слово...

НИНА (*неожиданно сухо*). Да. Иди. А то, чего доброго, в самом деле опоздаешь.

КУДИМОВ. Хорошо. Завтра увидимся. (*Уходит.*)

Нина выходит за ним.

САРАФАНОВ (*появляясь*). Куда же он? Зачем? Я здесь лишний. Я! Я – старый диван, который она давно мечтает вынести... Вот они, мои дети, я только что их хвалил – и на тебе, пожалуйста... Получай за свои нежные чувства!

Появляется Нина, останавливается у дверей.

Да, я воспитал жестоких эгоистов. Черствых, расчетливых, неблагодарных.

БУСЫГИН. Успокойся, папа, по-моему, ты не прав.

САРАФАНОВ. Да-да, я сделал свое дело, я их вырастил... (*горько*) теперь я свободен и на старости лет могу насладиться одиночеством...

БУСЫГИН. Ты не будешь один... Если ты не против, я останусь с тобой.

Небольшая пауза. Нина поднимает голову.

САРАФАНОВ. Ты сказал...

БУСЫГИН. Да. Если ты останешься один, я перееду к тебе жить. Если ты захочешь... В вашем городе тоже есть мединститут.

САРАФАНОВ (*растроганно*). Сынок... Ты у меня один... Ты единственный. Что бы я делал, если бы не было тебя?

БУСЫГИН. Успокойся... По-моему, тебе надо прилечь, ты сильно переволновался. Пойдем, ты отдохнешь, успокоишься... (*Уводит Сарафанова в соседнюю комнату и возвращается.*)

НИНА. Ты в самом деле хочешь здесь остаться?

БУСЫГИН. Да... А как быть? По-твоему, можно оставить его одного? (*Подходит к ней.*) Сильно ты из-за курсанта расстроилась?

НИНА. Да уж. Показали вы... выступили... проявили таланты.

БУСЫГИН. Никто не хотел, чтобы ты расстраивалась.

НИНА. А ты? Куда ты суешь свой нос? Зачем? Почему ты сделал из него идиота?

БУСЫГИН. Он мне не нравится.

НИНА. Ну и что? Не ты же замуж за него собираешься!.. Что тебе надо?.. (*Помолчав.*) Ну, допустим, допустим, он не самый умный, не самый красивый, если даже так — тебе-то что до этого?

БУСЫГИН. Да нет, он парень неплохой... Не в этом дело...

НИНА. Так в чем дело? В чем?!

БУСЫГИН. Он мне не нравится, потому что мне нравишься ты.

НИНА. Что?.. И поэтому ты устроил скандал?..

БУСЫГИН. Возможно.

НИНА. Псих! Свалился на мою голову... Братец!.. Хороша семейка. Тебя тут только и не хватало... Я знаю, это у нас фамильное. Фамильная шизофрения!

БУСЫГИН. Успокойся! (*Садится рядом с ней, слегка ее обнимает, утешает.*) Он парень хороший, но ты успокойся.

НИНА. А если я его люблю? Тогда как?

БУСЫГИН. Тогда все в порядке. Завтра он тебя будет ждать.

НИНА. Да, будет ждать.

БУСЫГИН. Ну и вот. И поженитесь. И уедете на Сахалин.

НИНА (*не сразу, спокойно*). Никуда я не уеду.

БУСЫГИН. Как же так?

НИНА. Да так... Ты прав, отца нельзя оставлять. Сегодня я это поняла. И еще я поняла, что я папина дочка. Мы все в папу. У нас один характер... Какой, к черту, Сахалин!

БУСЫГИН. Так... А летчик? Согласится он?..

НИНА. Не знаю я. Ничего не знаю... Может, согласится, а может, уедет. Встретимся — поговорим. Сейчас мне как-то все равно.

БУСЫГИН. Ну и не расстраивайся. Кому-кому, а тебе стоит только свистнуть, сбежится столько парней — тебе придется складывать их в штабеля.

НИНА (*усмехнувшись*). Ничего. Ты мне pomoжешь.

БУСЫГИН. Ну нет. С меня хватит... Если ты останешься здесь, я уеду.

НИНА. Здравствуйте! Это почему же?

БУСЫГИН. Почему?.. Потому что... Потому что я идиот и не вижу из этого никакого выхода!



НИНА. Какого выхода? Из чего?.. Да, ты ненормальный. Что верно, то верно. И ты всегда такой был? Или это с тобой недавно?

БУСЫГИН. Недавно.

НИНА. И что случилось?

БУСЫГИН. Влюбился.

НИНА. В кого?

БУСЫГИН. Как тебе сказать... Она принадлежит другому.

НИНА. Отбей. У тебя должно получиться.

БУСЫГИН. Легко сказать.

НИНА. А что тебе мешает?.. Ну? Что же ты молчишь?.. Я не знаю, кто она такая, но я *(с удивлением)* ей завидую. Иногда мне даже жалко, что ты мой брат.

БУСЫГИН. А я тебе не брат...

НИНА. Что?

БУСЫГИН. Я тебе не брат... И никогда не был твоим братом.

НИНА *(поднимается)*. Врешь...

БУСЫГИН *(поднимается)*. Я не шучу. У меня нет и не было сестры.

НИНА. Врешь... *(Отступает от него.)* Я тебе не верю.

БУСЫГИН. Но факт есть факт. Отца своего я не знал, а моя мать живет в Челябинске. Твой отец там никогда не был. Я обманул его.

НИНА. Зачем?

БУСЫГИН. Все вышло совершенно случайно...

НИНА. Ты... Почему ты до сих пор молчал?

БУСЫГИН. Твой отец принял меня за своего. И началось. Сначала он, потом ты. Я тут у вас совсем запутался...

НИНА. Ты... ты сумасшедший...

БУСЫГИН. Может быть, но я больше не хочу быть твоим братом.

НИНА. Ты... ты авантюрист. Тебя надо сдать в милицию!

БУСЫГИН. Сдай, лучше сидеть в КПЗ, чем быть твоим братом.

НИНА. Тебя надо гнать из дома... Тебя надо с лестницы спустить!

БУСЫГИН. Да?.. А когда я был твоим братом, я тебе нравился. Немного.

НИНА. Молчи, бессовестный!.. Я не знаю, кто-нибудь когда-нибудь видел такого психа?

Появляется Сарафанов.

САРАФАНОВ. Володя! Я все понял! Из этого дома надо уходить. Уходить, пока тебя не вынесли! *(С воодушевлением.)* Сынок! Я все обдумал. Мы едем в Чернигов!

Бусыгин в полной растерянности.

Мы едем вместе! Сегодня! Немедленно! Едем, едем, едем!

НИНА *(засмеявшись)*. Ты женишься, надо полагать?

САРАФАНОВ *(кричит)*. Все может быть! Не вижу в этом ничего смешного! *(Бусыгину.)* Я думал об этом, в самом деле. Если твоя мать... Словом, я хочу ее видеть... *(Нине.)* Перестань! *(Бусыгину.)* Полюбуйся на нее! Для нее нет ничего святого. Я не могу здесь оставаться, ты сам видишь. Я собираю вещи, сейчас, сию минуту, немедленно. *(Идет в другую комнату, на пороге, обращаясь к Нине.)* Я возьму кларнет и ноты. Это все, что я отсюда возьму... Когда уходит поезд?..

БУСЫГИН. Н-не знаю...

САРАФАНОВ. Не важно! Я собираюсь. Немедленно! *(Уходит.)*

Молчание.

НИНА. Ну?.. Что ты собираешься делать?

БУСЫГИН (*растерянно*). Не знаю...

НИНА. Теперь ты понимаешь, что ты натворил? Понимаешь? Нас он уже за детей не считает, а ты стал его любимчиком. Ведь он в тебе души не чает. Представляешь, что будет с ним, когда он узнает правду?

БУСЫГИН (*мечется*). Что же делать? Ничего ему не говорить?

Небольшая пауза. Смотрят друг на друга.

Нет! Так дело не пойдет! Главное — сказать ему, объяснить... Он мне не отец, но он мне... я его... Словом, если... (*понижив голос*) если ты уедешь, я и в самом деле перееду к нему. Конечно, если он меня поймет. Но как, как ему все объяснить?

НИНА. Не знаю. Вы сумасшедшие, вы и разговаривайте. А я не знаю.

Появляется Сарафанов. В руках у него чемодан и кларнет.

САРАФАНОВ. Володя, я готов.

Бусыгин и Нина молча смотрят на него.

НИНА. Собрался? Ничего не забыл? (*Смеется*.)

САРАФАНОВ. Смотри на нее! Разве это дочь? Избавилась от отца и даже не скрывает удовольствия. (*Нине*.) Ну ничего. Ты меня еще вспомнишь! Боже мой, как все это нелепо! Подумать только, я мог остаться с ними! На всю жизнь! А ведь им нужен не я! Нет! Совсем другой человек! Всегда! С самого начала им нужен был другой! Ты понимаешь? Двадцать лет я жил чужой жизнью! Свое счастье я оставил там, в Чернигове. Боже мой! Почему я ее не разыскал? Как я мог! Не понимаю! Но теперь — кончено, кончено! Я возвращаюсь, возвращаюсь! (*Бусыгину*.) Ты увидишь, твоя мать будет счастлива... (*чуть образуившись*) если захочет... Что?.. Ты мне не веришь?..

БУСЫГИН. Нет, верю, но... Зачем же так спешить?

САРАФАНОВ. Нет-нет! Немедленно! Закончить все разом! Разом — и конец! На вокзал! На вокзал!.. Ну что ты, сынок? Идем!

НИНА (*неожиданно ласково*). Не надо, папа. Успокойся. Ты зря так волнуешься... (*Усаживает его на стул*.) Сядь, успокойся.

Небольшая пауза.

САРАФАНОВ (*садится, недоуменно*). Что такое?.. Что случилось?.. Володя?.. Ты от меня что-то скрываешь?

НИНА. Папа, я никуда не еду. Я остаюсь.

На пороге появляется Васенька. Вид у него испуганно-торжественный. Все оборачиваются к нему. Молчание.

(*Васеньке*.) Что случилось?.. Что?..

Небольшая пауза.



ВАСЕНЬКА. Все. Я их поджег.
 БУСЫГИН. Поджег?.. Кого?
 ВАСЕНЬКА. Ее и любовника.
 САРАФАНОВ. Боже мой!

Все, кроме Васеньки, бросаются к окну. На пороге появляется Сильва. Лицо у него в саже. Одежда на нем частично сгорела, в особенности штаны. Он слегка дымит.

Молчание.

СИЛЬВА. Я крупно пострадал. Мне нужны брюки.

Появляется Макарская.

САРАФАНОВ *(Макарской)*. Что случилось? Что?

МАКАРСКАЯ. А вы не видите? Сегодня он грозился меня убить, и вот – пожалуйста!

НИНА. Васенька — убить?..

САРАФАНОВ. Неужели?

МАКАРСКАЯ. Вот вам и неужели! Я сама думала — неужели, а он — вон как! Озверел!

САРАФАНОВ *(Васеньке)*. Как ты мог?.. Как?

МАКАРСКАЯ. А очень просто. Окно было открыто, он штору подпалил, а рядом ковер. Ну и пошло по всей комнате. Сжечь меня хотел.

СИЛЬВА *(Сарафанову)*. Дайте мне брюки. В займы.

САРАФАНОВ. Брюки?.. Сейчас-сейчас... *(Уходит в спальню.)*

БУСЫГИН *(подходит к Сильве)*. Ну?.. Любовничек...

СИЛЬВА. Какая любовь? Я там с огнем боролся. В гробу бы я ее видел, такую любовь.

МАКАРСКАЯ. Что?.. Вон ты как заговорил...

СИЛЬВА. А ты как хотела? Гори, если тебя поджигают, а я здесь при чем?

БУСЫГИН. Жалко, что твоя шкура так плохо подгорела.

СИЛЬВА. Да ты что, старичок? Что ты говоришь?

БУСЫГИН. А ведь я тебя предупреждал.

СИЛЬВА. Вот, значит, как... Все сынка изображаешь? Брата?

БУСЫГИН. Слушай. Беги отсюда, пока цел.

СИЛЬВА. В таком виде? Куда?

МАКАРСКАЯ *(Васеньке)*. Ты в самом деле хотел меня сжечь?

ВАСЕНЬКА *(неожиданно спокойно)*. Ничего не вышло. Как видишь.

МАКАРСКАЯ *(с удивлением и с некоторым уважением)*. Бандит. В один день стал бандитом.

СИЛЬВА. Да не он это, где ему. *(Бусыгину.)* Гони брюки, слышишь? Смех смехом, а ведь я и привлечь могу. Как никак — поджог. *(В сторону Макарской.)* Она подтвердит.

МАКАРСКАЯ *(Сильве)*. На меня не рассчитывай.

СИЛЬВА. Да? Может, ты ему спасибо скажешь за то, что он тебя поджег?

МАКАРСКАЯ. Может, скажу. *(Васеньке.)* Спасибо не скажу, но скажу, что такого я от тебя никак не ожидала.

СИЛЬВА. Думаешь, это он? Ошибаешься.

МАКАРСКАЯ *(Сильве)*. А тебя я видеть не хочу.

СИЛЬВА. Взаимно. (*Берет гитару.*) Я ухожу... Но одолжите брюки! До завтра.

БУСЫГИН. Обойдешься. Это тебе даже идет. Давай отсюда... Или ты хочешь, чтобы я тебя проводил?

Сарафанов появляется с брюками в руках.

СИЛЬВА (*в дверях*). Ну, спасибо тебе, старичок, за все спасибо. Настоящий ты оказался друг... Я ухожу. Но вначале я должен открыть глаза общественности. Хату поджег он (*указывает на Бусыгина*), а не кто-нибудь. И воду тут у вас мутит тоже он. Учтите, он рецидивист. Не заметили?... Ну смотрите, он вам еще устроит. И между прочим (*Нине*), он тебе такой же брат, как я ему племянница, учти это, пока не поздно. (*Сарафанову.*) А вы, папаша, если вы думаете, что он вам сын, то вы крупно заблуждаетесь. Я извиняюсь.

САРАФАНОВ. Вон отсюда! Вон!

Сильва исчезает.

Мерзавец!

Небольшая пауза.

БУСЫГИН. Но он прав.

САРАФАНОВ. Кто прав?..

БУСЫГИН. Я вам не сын.

САРАФАНОВ. Что такое?.. Что это значит?

БУСЫГИН. Я вам не сын. Я обманул вас вчера.

САРАФАНОВ. Володя! Что ты говоришь?..

БУСЫГИН. Поймите, я не хотел! Все вышло случайно. Вчера, когда вы (*в сторону Макарской*) к ней стучались, я узнал ваше имя и заметил вашу квартиру. С этого все и началось. Мы хотели согреться и уйти...

МАКАРСКАЯ. погоди! Это ты искал вчера, где переночевать?

БУСЫГИН. Да. Все вышло само собой. Утром, вместо того чтобы уйти...

САРАФАНОВ. Это невозможно... Не верю. Быть этого не может!

БУСЫГИН. Я надеюсь, что вы меня простите, потому что я... В общем, я рад, что попал к вам...

САРАФАНОВ. Значит, ты мне... Выходит, я тебе... Как же так?.. Да нет, я не верю! Скажи, что ты мой сын!.. Ну! Сын, ведь это правда? Сын?!

БУСЫГИН. Нет...

САРАФАНОВ. Кто же ты? Кто?!

НИНА. Он – псих. Он настоящий псих, а мы все только учимся. Даже ты, папа, по сравнению с ним школьник. Он настоящий сумасшедший.

ВАСЕНЬКА. Ну и дела...

МАКАРСКАЯ. Да-а, история...

САРАФАНОВ. Но я не верю! Не хочу верить!

БУСЫГИН. Откровенно говоря, я и сам уже не верю, что я вам не сын. (*Взглянув на Нину.*) Но факт есть факт.

САРАФАНОВ. Не верю! Не понимаю! Знать этого не хочу! Ты — настоящий Сарафанов! Мой сын! И притом любимый сын!



НИНА (*Бусыгину*). Я тебе говорила... (*Сарафанову, весело.*) А я? А Васенька? Интересно, ты еще считаешь нас своими детьми?

САРАФАНОВ. Нина! Вы все мои дети, но он... Все-таки он вас постарше.

Все смеются.

МАКАРСКАЯ. Чудные вы, между прочим, люди.

НИНА (*смеется*). Чудные — дом чуть не сожгли.

Макарская махнула рукой.

САРАФАНОВ. То, что случилось, — все это ничего не меняет. Володя, подойди сюда...

Бусыгин подходит. Он, Нина, Васенька, Сарафанов — все рядом. Макарская в стороне.

Что бы там ни было, а я считаю тебя своим сыном. (*Всем троим.*) Вы мои дети, потому что я люблю вас. Плох я или хорош, но я вас люблю, а это самое главное...

МАКАРСКАЯ. Извините, конечно. (*Бусыгину.*) Но я хочу спросить. У тебя родители имеются?

БУСЫГИН. Да... Мать в Челябинске.

НИНА. Она одна? (*Смеется.*) Папа, тебя это не интересует?

БУСЫГИН. Она живет с моим старшим братом.

НИНА. А сам ты? Как ты сюда попал?

БУСЫГИН. Я здесь учусь.

САРАФАНОВ. Где же ты живешь?

БУСЫГИН. В общежитии.

САРАФАНОВ. В общежитии... Но ведь это далеко... и неудобно. И вообще, терпеть я не могу общежитий... Это я к тому, что... Если бы ты согласился... словом, живи у нас.

БУСЫГИН. Нет, что вы...

САРАФАНОВ. Предлагаю от чистого сердца... Нина! Чего же ты молчишь? Пригласи его, уговори.

НИНА (*капризно*). Ну с какой стати? Почему он должен жить у нас? Я не хочу.

БУСЫГИН. Я буду вас навещать. Я буду бывать у вас каждый день. Я вам еще надоем.

САРАФАНОВ. Володя! Я за то, чтобы ты у нас жил — и никаких.

БУСЫГИН. Я приду завтра.

НИНА. Когда?

БУСЫГИН. В семь... В шесть часов... Кстати! Который час?

НИНА. Половина двенадцатого.

БУСЫГИН. Ну вот. Поздравьте меня. Я опоздал на электричку.

Занавес

КОММЕНТАРИИ

Пьеса существует в нескольких вариантах. Первый вариант относится к 1965 г. Отрывки из этого варианта под названием «Женихи» были опубликованы 20 мая 1965 г. в газете «Советская молодежь». Вариант, датированный драматургом 1967 г., под названием «Предместье» появился в альманахе «Ангара» (1968, Э2). В 1970 г. автором был создан новый вариант пьесы для издательства «Искусство», где «Старший сын» вышел отдельным изданием.

Драматург Алексей Симуков приводит в своих воспоминаниях письмо Вампилова, написанное в связи с «хлопотами по выпуску пьесы в свет» (имеется в виду разрешение на постановку). Вампилов обращается к Симукову в том числе как к работнику Министерства культуры СССР, могущему повлиять на решение. Симуков вспоминает: «Один из ответственных работников министерства был поражен жестокостью, как он выразился, основной ситуации пьесы. Как же Бусыгин говорит, что он сын Сарафанова, когда он на самом деле не его сын? Пытаясь обосновать свою точку зрения, Саша через меня захотел воздействовать на вышеупомянутого товарища. «...Ему кажется сомнительной завязка пьесы — то, что Бусыгин выдает себя за сына Сарафанова. Кажется, этот поступок представляется ему жестоким. Почему? Ведь, во-первых, в самом начале (когда ему кажется, что Сарафанов отправился прелюбодействовать) он (Бусыгин) и не думает о встрече с ним, он уклоняется от этой встречи, а встретившись, не обманывает Сарафанова просто так, из злого хулиганства, а, скорее, поступает как моралист в некотором роде. Почему бы этому (отцу) слегка не пострадать за того (отца Бусыгина)? Во-первых, обманув Сарафанова, он все время тяготится этим обманом, и не только потому, что — Нина, но и перед Сарафановым у него прямо-таки угрызения совести. Впоследствии, когда положение мнимого сына сменяется положением любимого брата — центральной ситуацией пьесы, обман Бусыгина поворачивается против него, он приобретает новый смысл и, на мой взгляд, выглядит совсем уже безобидным, где же во всем этом жестокость? Алексей Дмитриевич! Вы нянчили обе пьесы, вы всегда были ко мне добры. Заступитесь!»

Я пытался, сколько мог, воздействовать на своего строгого коллегу, но ни его, ни другого начальника, ведавшего театрами, мне не дано было убедить. Как мне говорили, окончательно дело погубила моя неосторожная фраза о тонкости вампиловской драматургии, которая доступна не каждому...» (О Вампилове: Воспоминания и размышления // Вампилов А. Дом окнами в поле. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное изд-во, 1981. С. 612 613).

Первая постановка пьесы состоялась на сцене Иркутского драматического театра в ноябре 1969 г. (режиссер В. Симоновский). В Москве «Старший сын» впервые был поставлен в Театре им. М.Н. Ермоловой осенью 1972 г. (режиссер Г. Косяков).



В записной книжке А. Вампилова, относящейся примерно к началу 1964 г., есть запись, касающаяся первых разработок замысла будущей пьесы:

«Мир в доме Сарафанова

Комедия в двух действиях

Сарафанов Алексей Николаевич — полковник в отставке.

Эмма — его дочь.

Вася — его сын, девятиклассник.

Забродин — студент на каникулах.

Кемеровская — машинистка.

Чистяков — инженер».

Предшествуют этой записи характеристики действующих лиц (при этом имена героев и род их занятий в некоторых случаях отличны от тех, что набросал автор в вышеприведенной записи, и еще более отличны от окончательного варианта пьесы):

«Николай Забродин — студент на каникулах, физик (22), босяк и фаталист (озлоблен).

Алексей Николаевич Сарафанов — настройщик (50), добряк, жизнелюб, все понял и все простил, мягкий человек. Любит работу.

Оленька Сарафанова — девушка, пробивающаяся на сцену. Трезва, холодна, но мила и т.д.

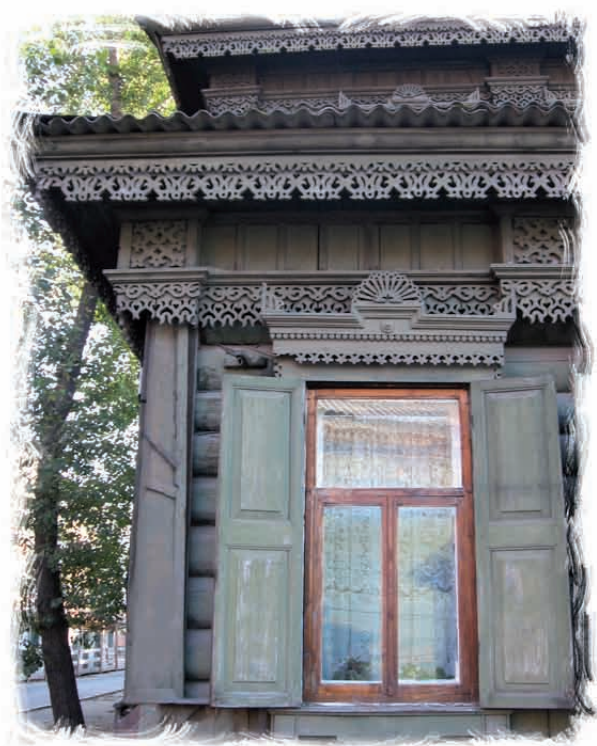
Грета Комаровская — женщина, которая ждет случая. Секретарь-машинистка.

Васенька Сарафанов — инфант, начинающий забулдыга, за спиной два первых курса.

Юрий Чистяков — инженер, человек с московской пропиской, жених Оленьки».

Пьеса обошла сцены многих городов нашей страны, неоднократно ставилась в других странах. Режиссер В. Мельников снял в 1976 г. на «Ленфильме» по пьесе двухсерийный фильм (роль Сарафанова исполнил Е. Леонов, роль Бусыгина — Н. Караченцов). Г. Гладковым написана одноименная опера.

Т. Глазкова





**ВАЛЕНТИН
РАСПУТИН**

**ЧТО ПЕРЕДАТЬ ВОРОНЕ?
ЖЕНСКИЙ РАЗГОВОР
УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО**

Рассказы

**НЕЖДАННО -
НЕТАДАННО**

Повесть





ЧТО ПЕРЕДАТЬ ВОРОНЕ?

Уезжая ранним утром, я дал себе слово, что вечером обязательно вернусь. Работа у меня наконец пошла, и я боялся сбой, боялся, что даже за два-три дня посторонней жизни растеряю все, что с таким трудом собирал, настраивая себя на работу, — собирал в чтении, раздумьях, в долгих и мучительных попытках отыскать нужный голос, который не спотыкался бы на каждой фразе, а, словно намагниченная особым манером струна, сам притягивал к себе необходимые для полного и точного звучания слова. «Полным и точным звучанием» я похвалиться не мог, но кое-что получалось, я чувствовал это и потому без обычной в таких случаях охоты отрывался на сей раз от стола, когда потребовалось ехать в город.

Поездка в город — это три часа от порога до порога туда и столько же обратно. Чтобы, не дай Бог, не передумать и не задержаться, я сразу проехал в городе на автовокзал и взял на последний автобус билет. Впереди у меня оставался почти полный день, за который можно успеть и с делами, и побыть, сколько удастся, дома.

И все шло хорошо, все подвигалось по задуманному до того момента, когда я, покончив с суетой, но не сбавляя еще взятого темпа, забежал на исходе дня в детский сад за дочерью. Дочь мне очень обрадовалась. Она спускалась по лестнице и, увидев меня, вся встрепенулась, обмерла, вцепившись ручонкой в поручень, но то была моя дочь: она не рванулась ко мне, не заторопилась, а, быстро овладев собой, с нарочитой сдержанностью и неторопливостью подошла и нехотя дала себя обнять. В ней выказывался характер, но я-то видел сквозь этот врожденный, но не затвердевший еще характер, каких усилий стоит ей сдерживаться и не кинуться мне на шею.

— Приехал? — по-взрослому спросила она и, часто взглядывая на меня, стала торопливо одеваться.

До дому было слишком близко, чтобы прогуляться, и мы мимо дома прошли на набережную. Погода для конца сентября стояла совсем летняя, теплая, и стояла она такой без всякого видимого изменения уже давно, всходя с каждым новым днем с постоянством неурочной, словно бы дарованной благодати. В эту пору и в улицах было хорошо, а здесь, на набережной возле реки, тем более: тревожная и умиротворяющая власть вечного движения воды, неспешный и несельшный шаг трезвого, приветливого народа, тихие голоса, низкая при боковом солнце, но полная и теплая, так располагающая к согласию осиянность вечеряющего дня. Это был тот час, случающийся совсем не часто, когда чудилось, что при всем многолюдье гуляющего народа каждого ведут и за каждого молвят, собравшись на назначенную встречу, их не любящие одиночества души.

Мы гуляли, наверное, с час, и дочь против обыкновения почти не вынимала своей ручонки из моей руки, выдергивая ее лишь для того, чтобы показать что-то или изобразить, когда без рук не обойтись, и тут же всовывала обратно. Я не мог не оценить этого: значит, и верно соскучилась. С нынешней весны, когда ей исполни-

лось пять, она как-то сразу сильно изменилась — по нашему понятию, не к лучшему, потому что в ней проявилось незаметное так до той поры упрямство. Сочтя себя, видимо, достаточно взрослой и самостоятельной, дочь не хотела, чтобы ее, как всех детей, водили за руку. С ней случалось вести борьбу даже посреди бушующего от машин перекрестка. Дочь боялась машин, но, отдергивая плечико, за которое мы в отчаянии хватали ее, все-таки норовила идти своим собственным ходом. Мы с женой спорили, сваливая друг на друга, от кого из нас могло передаться девочке столь дикое, как нам представлялось, упрямство, забывая, что каждого из нас в отдельности для этого было бы, разумеется, мало.

И вот теперь вдруг такие терпение, послушание, нежность... Дочь расщебеталась, разговорилась, рассказывая о садике и расспрашивая меня о нашей вороне. У нас на Байкале была своя ворона. У нас там был свой домик, своя гора, едва ли не отвесно поднимающаяся сразу от домика каменной скалой; из скалы бил свой ключик, который журчащим ручейком пробегал только по нашему двору и возле калитки опять уходил под деревянные мостки, под землю и больше уже нигде и ни для кого не показывался. Во дворе у нас стояли свои лиственницы, тополя и березы и свой большой черемуховый куст. На этот куст слетались со всей округи воробьи и синицы, вспархивали с него под нашу водичку, под ключик (трясогузки длинным поклоном вспархивали с забора), который они облюбовали словно бы потому, что он был им под стать, по размеру, по росту и вкусу, и в жаркие дни они плескались в нем без боязни, помня, что после купания под могучей лиственницей, растущей посреди двора, можно покормиться хлебными крошками. Птиц собиралось помногу, с ними смирился даже наш котенок Тишка, которого я подобрал на рельсах, но мы не могли сказать, что это наши птички. Они прилетали и, поев и попив, опять куда-то улетали. Ворона же была точно наша. Дочь в первый же день, как приехала в начале лета, рассмотрела высоко на лиственнице лохматую шапку ее гнезда. Я до того месяца жил и не замечал. Летает и летает ворона, каркает, как ей положено, — что с того? Мне и в голову не приходило, что это наша ворона, потому что тут, среди нас, ее гнездо, и в нем она выводила своих воронят.

Конечно, наша ворона должна была стать особенной, не такой, как все прочие вороны, и она ею стала. Очень скоро мы с нею научились понимать друг друга, и она пересказывала мне все, что видела и слышала, облетая дальние и ближние края, а я затем подробно передавал ее рассказы дочери. Дочь верила. Может быть, она и не верила; как и многие другие, я склонен думать, что это не мы играем с детьми, забавляя их чем только можно, а они, как существа более чистые и разумные, играют с нами, чтобы приглушить в нас боль нашего жития. Может быть, она и не верила, но с таким вниманием слушала, с таким нетерпением ждала продолжения, когда я прерывался, и так при этом горели ее глазенки, выдавая полную незамутненность души, что и мне эти рассказы стали в удовольствие, я стал замечать в себе волнение, которое передавалось от дочери и удивительным образом уравнивало нас, точно сближая на одинаковом друг от друга возрастном расстоянии. Я выдумывал, зная, что выдумываю, дочь верила, не обращая внимания на то, что я выдумываю, но в этой, казалось бы, игре существовало редкое меж нами согласие и понимание, не найденные благодаря правилам игры здесь, а словно бы доставленные откуда-то оттуда, где только они и есть. Доставленные, быть может, той же вороной. Не знаю, не смогу объяснить почему, но с давних пор живет во мне уверенность, что, если и существует связь между этим миром и не этим, так в тот и другой залетает только она, ворона, и я издавна с тайным любопытством и страхом посматриваю на нее, тшась и боясь додумать, почему это может быть только она.

Наша ворона была, однако, вполне обыкновенная, земная, без всяких таких сношений с запредельем, добрая и разговорчивая, с задатками того, что мы называем яснovidением.



С утра я забегал домой, кое-что знал о последних делах дочери, если их можно назвать делами, и теперь пересказал их ей якобы со слов вороны.

— Позавчера она опять прилетала в город и видела, что вы с Мариной поссорились. Она, конечно, очень удивилась. Так всегда дружили, водой не разольешь, а тут вдруг из-за пустяка повели себя как последние дикари...

— Да-а, а если она мне показала язык! — тотчас вскинулась дочь. — Думаешь, приятно, да, когда тебе показывают язык? Приятно, да?

— Безобразие. Конечно, неприятно. Только зачем ты ей потом показала язык? Ей тоже неприятно.

— А что, ворона видела, да, что я показывала?

— Видела. Она все видит.

— А вот и неправда. Никто не мог видеть. Ворона тоже не могла.

— Может быть, и не видела, да догадалась. Она тебя изучила как облупленную, ей нетрудно догадаться.

На «облупленную» дочь обиделась, но, не зная, на кого отнести обиду, на меня или на ворону, примолкла, обескураженная еще и тем, что каким-то образом стало известно слишком уж тайное. Чуть погодя она призналась, что показала Марине язык уже в дверь, когда Марина ушла. Дочь куда-то ничего не умела скрывать, вернее, не скрывала, подобно нам, всякую ерунду, которой можно не загружать себя и тем облегчить себе жизнь, но свое, как говорится, она носила с собой.

Мне между тем подступало время собираться, и я сказал дочери, что нам пора домой.

— Нет, давай еще погуляем, — не согласилась она.

— Пора, — повторил я. — Мне сегодня уезжать обратно.

Ее ручонка дрогнула в моей руке. Дочь не сказала, а пропела:

— А ты не уезжай сегодня. — И добавила как окончательно решенное: —

Вот.

Тут бы мне и дрогнуть: это была не просто просьба, каких у детей на каждом шагу, — нет, это была мольба, высказанная сдержанно, с достоинством, но всем существом, осторожно искавшим своего законного на меня права, не знающего и не желающего знать принятых в жизни правил. Но я-то был уже немало испорчен и угнетен этими правилами, и когда не хватало чужих, установленных для всех, я выдумывал, как и на этот раз, свои. Вздохнув, я вспомнил данное себе утром слово и уперся:

— Понимаешь, надо. Не могу.

Дочь послушно дала повернуть себя к дому, перевести через улицу и вырвалась, убежала вперед. Она не дождалась меня и у подъезда, как всегда в таких случаях бывало; когда я поднялся в квартиру, она уже занималась чем-то в своем углу. Я стал собирать рюкзак, то и дело подходя к дочери, заговаривая с ней; она замкнулась и отвечала натянуто. Все — больше она уже не была со мной, она ушла в себя, и чем больше пытался бы я приблизиться к ней, тем дальше бы она отстранялась. Я это слишком хорошо знал. Жена, догадываясь, что произошло, предложила самое в этом случае разумное:

— Можно первым утренним уехать. К девяти часам там.

— Нет, не можно. — Я разозлился оттого, что это действительно было разумно.

У меня оставалась еще надежда на прощание. Так уж принято среди нас: что бы ни было, а при прощании, даже самом обыденном и неопасном, будь добр оставить все обиды, правые и неправые, за спиной и проститься с необремененной душой. Я собрался и подозвал дочь.

— До свидания. Что передать вороне?

— Ничего. До свидания, — отводя глаза, сказала она как-то безразлично и ловко, голосом, который ей рано было иметь.

Будто нарочно, сразу подошел трамвай, и я приехал на станцию за двадцать минут до автобуса. А ведь мог бы эти двадцать минут погулять с дочерью, их бы, наверное, хватило, чтобы она не заметила спешки, и ничего бы между нами не случилось.

* * *

Дальше, как бы в урок мне, сплошь началось невезение. Автобус подошел с опозданием — не подошел, а подскочил нырком, вывернув из-за угла со скрежетом и лязгом: вот, мол, как я торопился, — расхристанный весь и покорябанный, с оборванной половинкой передней двери. Мы сели и сидели, оседлав этот норовистый, подозрительно притихший под нами, как перед очередным прыжком, автобус, а шофер, зайдя в диспетчерскую, сгинул там и не появлялся. Мы сидели и десять, и пятнадцать минут, вдыхая запах наваленной на заднее сиденье в мешках картошки; народ подобрался молчаливый, отяжелевший к вечеру и не роптал. Мы сидели безмолвно, удовлетворенные уже и тем, что сидим на своих местах, — как мало, не однажды я замечал, надо нашему человеку: пострашай, что автобуса до утра не будет, подымется яростный, до полного одурения крик, а подгони этот автобус, загрузи его и не трогай до утра — останутся довольны и поверят, что своего добились. Тут срабатывает, видимо, правило своего законного места, никем другим не занятого и никому не отданного, а везет это место или не везет, не столь уж и важно.

Была, была у меня здравая мысль сойти с этого никуда не везущего места и вернуться домой. Как бы обрадовалась дочь! Конечно, она бы и виду не подала, что обрадовалась, и подошла бы, выдержав характер, не сразу, но потом прилепилась бы и не отошла до сна. И я был бы прощен, и ворона. И какой бы хороший, теплый получился вечер, который потом вспоминай да вспоминай во дни нового одиночества, грейся возле него, тревожа и утешая душу, мучайся с отрадой его полной и счастливой завершенностью. Наши дни во времени не совпадают с днями, отпущенными для дела; время обычно заканчивается раньше, чем мы поспеваем, оставляя нелепо торчащие концы начатого и брошенного; над нашими детьми с первых же часов огромной тяжестью нависает не грех зачатия, а грех не исполненного своими отцами. Этот день на редкость мог остаться законченным, во всех отношениях закрытым и, как зерно, дать начало таким же дням. Когда я говорю о делах, о законченности или незаконченности их во днях, не всякие дела я имею в виду, а лишь те, с которыми соглашается душа, дающая нам, помимо обычной работы, особое задание и спрашивающая с нас по своему счету.

И я уж готов был подняться и выйти из автобуса, совсем готов, да что-то удерживало. Место, на котором я усиделся, удерживало. Удобное было место, у окна с правой стороны, где не помешают встречные машины. А тут и шофер наконец подбежал чуть не бегом, показывая опять, как он торопится, быстро пересчитал нас, сверился с путевым листом и газанул. Я смирился, обрадовавшись даже тому, что у меня отнята возможность решать, ехать или не ехать. Мы поехали.

Поехать-то мы поехали, да уехали недалеко. Ничего другого и нельзя было ожидать от нашего автобуса и от нашего шофера. Шофер, маленький, вертлявый, плутоватый мужичонка, смахивал на воробья — те же подскоки и подпрыги, резкость и кособокость в движениях, а плутоватость, та просматривалась не только в лице, где она прямо-таки сияла, но и во всей фигуре, и когда он сидел к нам спиной, то и со спины было видно, что этот нигде не пропадет. Я стал догадываться, почему он задерживался в диспетчерской: это был не его рейс, и не этот автобус должен был выйти на линию, но он из какого-то своего расчета уговорил кого-то подмениться,

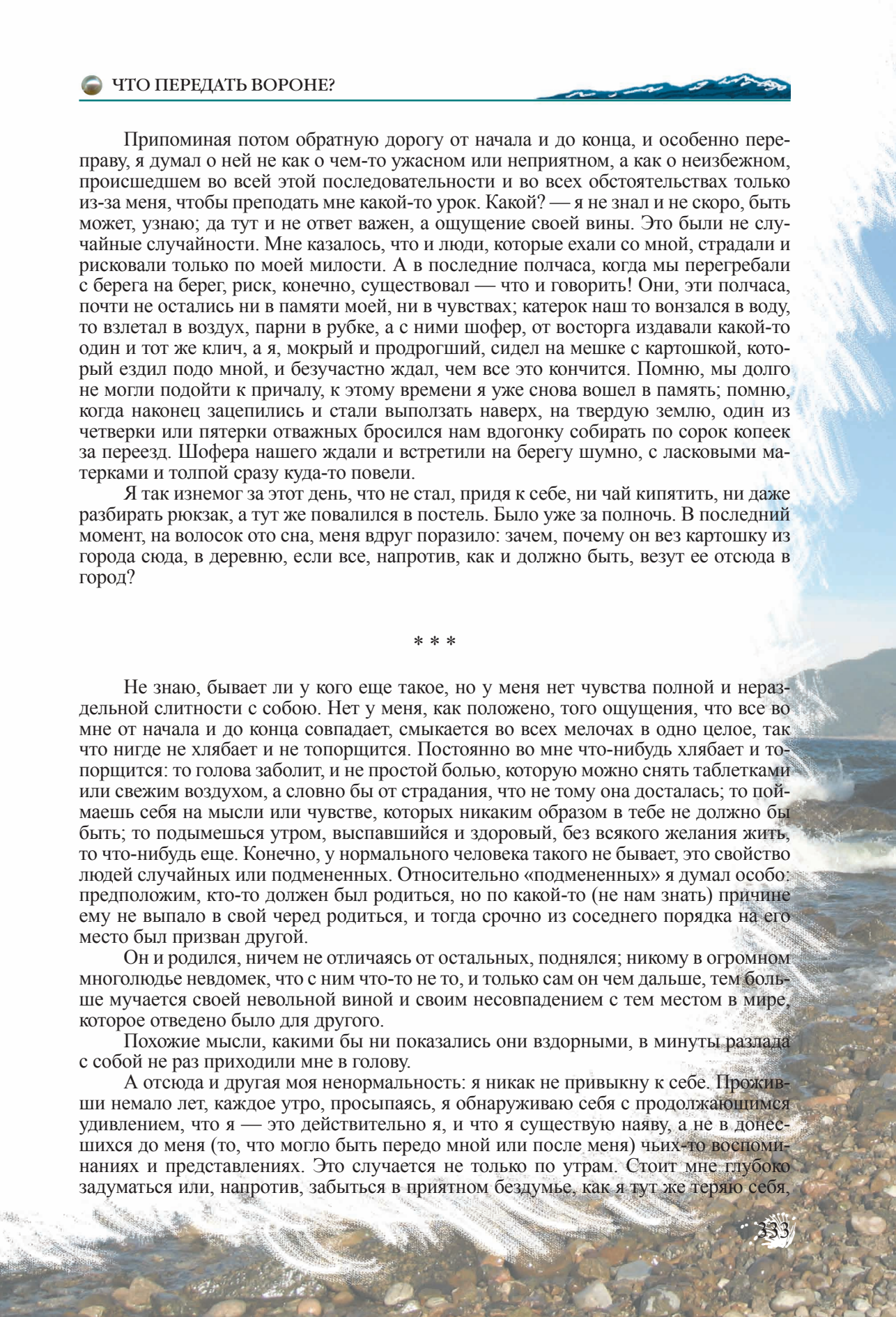


затем уговорил диспетчера — и вот мы, отъехав с глаз долой за два квартала, снова стоим, а шофер наш с ведерком в руке прыгает по-воробыиному посреди дороги, выпрашивая бензин, чтобы дотянуть до заправки. Там, значит, опять стой: я не на шутку стал тревожиться, дождется ли наш рейс, как это было принято, переправа. Мы уже опаздывали слишком. Не хватало еще, чтобы, выдержав все ради утренней работы, мне пришлось ночевать на виду своего домишки на другом берегу Байкала, не ночевать, а маяться всю ночь в ожидании утренней переправы и погубить тем самым весь предстоящий день. И тут еще я мог сойти, но и тут не сошел. «Вредность, парень, поперед тебя родилась», — говаривала в таких случаях моя бабушка. Здесь, однако, и не вредность была, а другое, приобретенное от прежних судорожных попыток выковывать характер, которые нет-нет да и отзывались еще во мне. Характер, разумеется, тверже не стал, но та сторона, куда гнули его, иногда самым неожиданным образом выказывалась и требовала своего.

В конце концов мы с грехом пополам добрались до заправки, а там и тронулись дальше. Я боялся смотреть на часы: будь что будет. За городом сразу стемнело: лес, не потерявший еще листа, размашисто отваливался с моей стороны плотной черной боковиной. Свету в салоне не оказалось, и странно, если бы он оказался, хорошо, хоть горели фары; мы ехали в темноте и все дремали. Автобус между тем, словно торопясь домой к себе, разбежался: взглядывая сквозь полудрему в окно, я видел быстро сносимое назад полотно дороги и мелькающие километровые столбики. В располовиненную дверь задувало, и чем ближе к Байкалу, тем ощутимей, лязгало и дрызгало адскими очередями под ногами у шофера, когда он переключал скорости, но мы все мало что замечали и мало чем отличались от наваленных позади мешков с картошкой.

Везет — это не когда действительно везет, а когда есть изменения к лучшему по сравнению с невезением. Тут градус отклонения обозначить нельзя. Я так обрадовался, увидев при подъезде огоньки переправы, что и внимания не обратил, что это не «Бабушкин», не теплоход, с апреля по январь выполнявший паромную работу и приспособленный не только для грузов, но и для пассажиров, а маленький катер, едва заметный под причальной стенкой. Шофер с набегу резко затормозил, дав нам почувствовать, что мы все-таки живые люди, и первым торопливо выскочил, склонился к катеру, что-то крича и размахивая руками, до чего-то докричался и кинулся обратно поторапливать нас.

Байкал шумел, и довольно сильно. В воздухе, однако, было совсем спокойно, даже глухо — стало быть, Байкал раскачало где-то на севере и вал гнало многие десятки километров, но и здесь он шел с такой мощью, прочерчивая раз за разом под тихим молодым месяцем огнистые полосы пены, и с таким гулом, что становилось ветрено и зябко от возникающего в тебе собственного холода. Бедный катерок подпрыгивал у стенки, словно силясь заскочить наверх. Мы опоздали почти на час, и команда катера, четверо или пятеро молодых парней (точно сосчитать их было невозможно), не теряла времени даром: все они были распьянешеньки. Шофер проворно выносил из автобуса мешки с картошкой, подавал вниз, а они, принимая, бестолково суетились, кричали и, чувствовалось, заваливались вместе с мешками. Пассажиры разошлись, и только мы, три несчастные фигуры, которым предстояло переправляться на этом катере с этой командой через этот Байкал, жались друг к другу, не зная, что делать. Безветрие и грохот воды; ощущение было жутковатое — точно там, за краем причальной стенки, начинается другой свет. Парни оттуда, из преисподней, прикрикнули на нас, и мы неловко, подолгу прицеливаясь и примериваясь, в последней степени обреченности принялись прыгать вниз. Я прыгал первым. Уже снизу я сумел услышать сквозь грохот, как шофер весело наказывал, чтоб не вздумали дурить, дождались, пока он поставит автобус, и успокоился: с этим не пропадешь.



Припоминая потом обратную дорогу от начала и до конца, и особенно переправу, я думал о ней не как о чем-то ужасном или неприятном, а как о неизбежном, происшедшем во всей этой последовательности и во всех обстоятельствах только из-за меня, чтобы преподать мне какой-то урок. Какой? — я не знал и не скоро, быть может, узнаю; да тут и не ответ важен, а ощущение своей вины. Это были не случайные случайности. Мне казалось, что и люди, которые ехали со мной, страдали и рисковали только по моей милости. А в последние полчаса, когда мы перегребали с берега на берег, риск, конечно, существовал — что и говорить! Они, эти полчаса, почти не остались ни в памяти моей, ни в чувствах; катерок наш то вонзался в воду, то взлетал в воздух, парни в рубке, а с ними шофер, от восторга издавали какой-то один и тот же клич, а я, мокрый и продрогший, сидел на мешке с картошкой, который ездил подо мной, и безучастно ждал, чем все это кончится. Помню, мы долго не могли подойти к причалу, к этому времени я уже снова вошел в память; помню, когда наконец зацепились и стали вылезать наверх, на твердую землю, один из четверки или пятерки отважных бросился нам вдогонку собирать по сорок копеек за переезд. Шофера нашего ждали и встретили на берегу шумно, с ласковыми матерками и толпой сразу куда-то повели.

Я так изнемог за этот день, что не стал, придя к себе, ни чай кипятить, ни даже разбирать рюкзак, а тут же повалился в постель. Было уже за полночь. В последний момент, на волосок ото сна, меня вдруг поразило: зачем, почему он вез картошку из города сюда, в деревню, если все, напротив, как и должно быть, везут ее отсюда в город?

* * *

Не знаю, бывает ли у кого еще такое, но у меня нет чувства полной и нераздельной слитности с собою. Нет у меня, как положено, того ощущения, что все во мне от начала и до конца совпадает, смыкается во всех мелочах в одно целое, так что нигде не хлябает и не топорщится. Постоянно во мне что-нибудь хлябает и топорщится: то голова заболит, и не простой болью, которую можно снять таблетками или свежим воздухом, а словно бы от страдания, что не тому она досталась; то поймаешь себя на мысли или чувстве, которых никаким образом в тебе не должно бы быть; то подынешься утром, выспавшийся и здоровый, без всякого желанья жить, то что-нибудь еще. Конечно, у нормального человека такого не бывает, это свойство людей случайных или подмененных. Относительно «подмененных» я думал особо: предположим, кто-то должен был родиться, но по какой-то (не нам знать) причине ему не выпало в свой черед родиться, и тогда срочно из соседнего порядка на его место был призван другой.

Он и родился, ничем не отличаясь от остальных, поднялся; никому в огромном многолюдье невдомек, что с ним что-то не то, и только сам он чем дальше, тем больше мучается своей невольной виной и своим несовпадением с тем местом в мире, которое отведено было для другого.

Похожие мысли, какими бы ни показались они вздорными, в минуты разлада с собой не раз приходили мне в голову.

А отсюда и другая моя ненормальность: я никак не привыкну к себе. Проживши немало лет, каждое утро, просыпаясь, я обнаруживаю себя с продолжающимся удивлением, что я — это действительно я, и что я существую наяву, а не в донесшихся до меня (то, что могло быть передо мной или после меня) чьих-то воспоминаниях и представлениях. Это случается не только по утрам. Стоит мне глубоко задуматься или, напротив, забыться в приятном бездумье, как я тут же теряю себя,



словно бы отлетаю в какое-то предстоящее мне пограничье, откуда не хочется возвращаться. Это небыванье в себе, этакая беспризорность происходят довольно часто, невольно я начинаю следить за собой, сторожить, чтобы я был на месте, в себе, но вся беда в том, что я не знаю, чью мне взять сторону, в котором из них подлинный «я», — или в том, что с терпением и надеждой ждет себя, или же в том, что в каких-то безуспешных попытках убегает от себя? Убегает, чтобы отыскать нечто другое, но свое, родное, с кем произошло бы полное и счастливое совпадение? Или ждет, чтобы смирить своим подобием и невозможностью хоть на капельку что-нибудь поправить? Ведь должен же быть в каком-то из них «я», так сказать, изначальный, основной, которому что-то затем бы добавлялось, а не которым что-то добавлялось в случившейся неполноте.

* * *

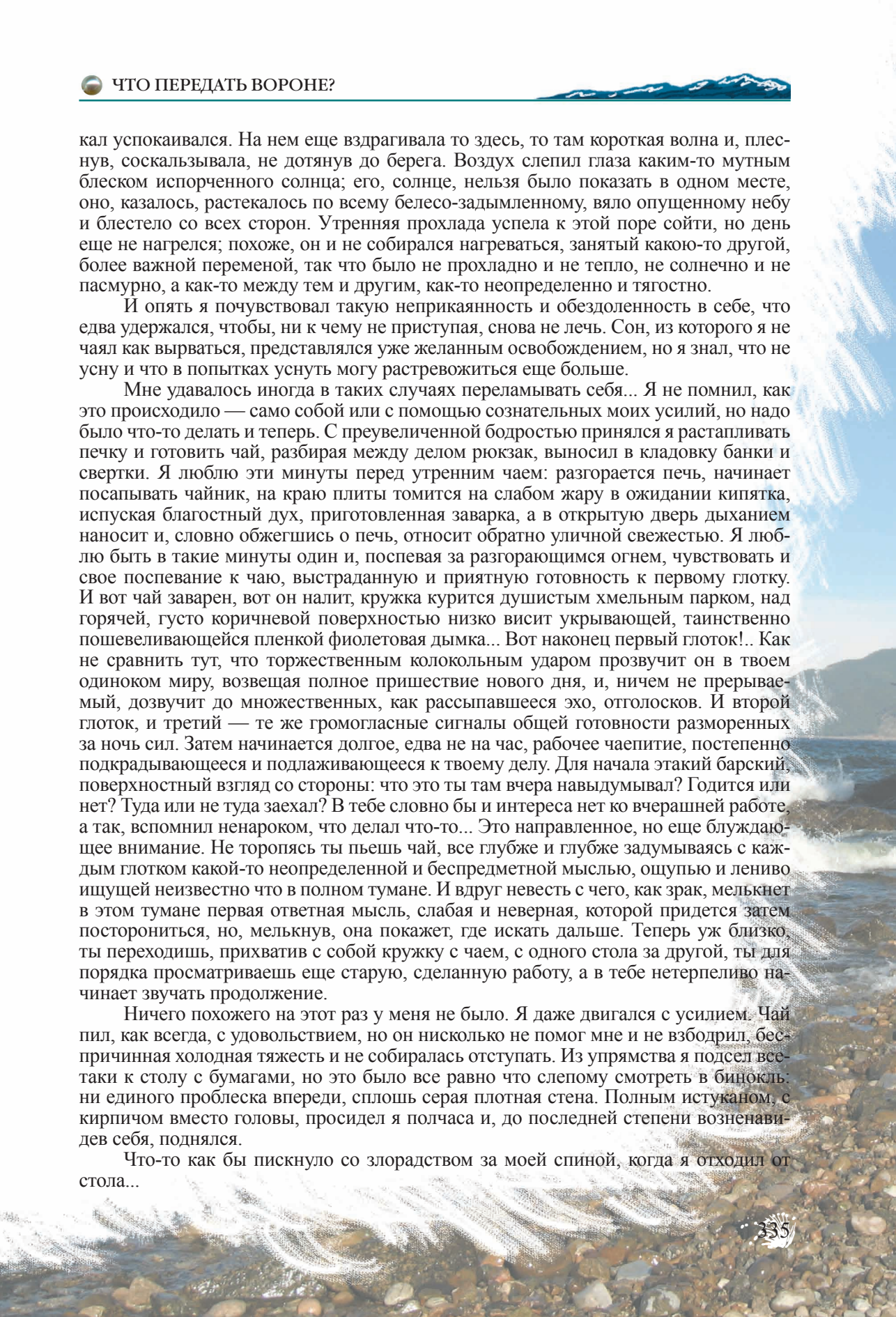
Наутро после поездки в город я поднялся поздно. Ночью я не закрыл ставни на окнах, и еще во сне меня терзало солнце, я спал и не спал под его натиском, мучаясь тем, что хочу и не могу проснуться. Беспомощность эта хорошо всем знакома: вот-вот, кажется, проредешься сквозь тягостную плоть к спасительному выходу, где можно очнуться, — нет, в последний момент какая-то сила сбрасывает тебя обратно. Я всякий раз в таких случаях испытываю ужас перед тем пространством, которое надо преодолеть, чтобы снова приблизиться к черте пробуждения, а еще больше — приблизившись, угадать последнее движение так, чтобы встречным порывом тебя опять не сорвало вниз. Там, в этом не подвластном тебе глухом сознании, все имеет другие измерения: кажется, для того, чтобы проснуться, может уйти вся жизнь.

Изловчившись, я все же открыл глаза... Я открыл глаза и сразу, будто увидел перед собой, почувствовал свое нездоровье. И в груди, и в голове давила тяжелая пустота, слишком хорошо мне известная, чтобы отмахнуться от нее, из того разряда неурядиц с собой, которые я пытался объяснить. Но странно, я несколько не удивился этому своему состоянию, словно должен был знать о нем заранее, но отчего-то забыл.

Солнце, которое чудилось мне во сне сильным и ярким, лежало в комнате на полу размытым блеклым пятном, оконные переплеты подрагивали на нем едва приметной, далеко вдавленной тенью.

Домишко мой был некорыстный: маленькая кухня, на добрую треть занятая плитой, и маленькая же передняя комната, или горница, с двумя окнами через угол на две стороны, из того и другого виден за дорогой Байкал. Третья стена, та, что под скалой, глухая, оттуда всегда несет прохладой и едва различимым запахом подгнившего дерева. Сейчас этот запах проступал сильнее — верный признак того, что погода сворачивает на урон. И верно, пока я одевался, солнечное пятно на полу исчезло совсем; выходит, солнце не приснилось мне ярким, а на восходе действительно могло быть ярким, но с той поры его успело затянуть. Было тихо; я не сразу после мучительного сна осознал, что тишина полная, какой в этом бойком месте, где стоит мой домишко, рядом с причалом и железной дорогой, почти не случается. Я прислушался снова: тишина была — как в праздник для стариков, если бы таковой существовал, и это меня насторожило, я заторопился на улицу.

Нет, все оставалось на месте — и вагоны, длинной двойной очередью в никуда стоящие с весны на боковых путях неподалеку от дома, и большой сухогруз напротив на Байкале со склоненной к нему стрелой замершего порталного крана, и сидящая на бревнышке у дороги старушка с сумками возле ног, с молчаливым укором наблюдавшая за мной, не понимая, как это можно подниматься столь поздно... Бай-



кал успокаивался. На нем еще вздрагивала то здесь, то там короткая волна и, плеснув, соскальзывала, не дотянув до берега. Воздух слепил глаза каким-то мутным блеском испорченного солнца; его, солнце, нельзя было показать в одном месте, оно, казалось, растекалось по всему белесо-задымленному, вяло опущенному небу и блестело со всех сторон. Утренняя прохлада успела к этой поре сойти, но день еще не нагрелся; похоже, он и не собирался нагреваться, занятый какою-то другой, более важной переменной, так что было не прохладно и не тепло, не солнечно и не пасмурно, а как-то между тем и другим, как-то неопределенно и тягостно.

И опять я почувствовал такую неприкаянность и обездоленность в себе, что едва удержался, чтобы, ни к чему не приступая, снова не лечь. Сон, из которого я не чаял как вырваться, представлялся уже желанным освобождением, но я знал, что не усну и что в попытках уснуть могу растревожиться еще больше.

Мне удавалось иногда в таких случаях переламывать себя... Я не помнил, как это происходило — само собой или с помощью сознательных моих усилий, но надо было что-то делать и теперь. С преувеличенной бодростью принялся я растапливать печку и готовить чай, разбирая между делом рюкзак, выносил в кладовку банки и свертки. Я люблю эти минуты перед утренним чаем: разгорается печь, начинает посапывать чайник, на краю плиты томится на слабом жару в ожидании кипятка, испуская благодный дух, приготовленная заварка, а в открытую дверь дыханием наносит и, словно обжегшись о печь, относит обратно уличной свежестью. Я люблю быть в такие минуты один и, попевая за разгорающимся огнем, чувствовать и свое попевание к чаю, выстраданную и приятную готовность к первому глотку. И вот чай заварен, вот он налит, кружка курится душистым хмельным парком, над горячей, густо коричневой поверхностью низко висит укрывающей, таинственно пошевеливающейся пленкой фиолетовая дымка... Вот наконец первый глоток!.. Как не сравнить тут, что торжественным колокольным ударом прозвучит он в твоём одиноком мире, возвещая полное пришествие нового дня, и, ничем не прерываемый, дозвучит до множественных, как рассыпавшееся эхо, отголосков. И второй глоток, и третий — те же громогласные сигналы общей готовности разморенных за ночь сил. Затем начинается долгое, едва не на час, рабочее чаепитие, постепенно подкрадывающееся и подлаживающееся к твоему делу. Для начала этакий барский, поверхностный взгляд со стороны: что это ты там вчера навидумывал? Годится или нет? Туда или не туда заехал? В тебе словно бы и интереса нет ко вчерашней работе, а так, вспомнил ненароком, что делал что-то... Это направленное, но еще блуждающее внимание. Не торопясь ты пьешь чай, все глубже и глубже задумываясь с каждым глотком какой-то неопределенной и беспредметной мыслью, ощущая и лениво ищущей неизвестно что в полном тумане. И вдруг невесть с чего, как зрак, мелькнет в этом тумане первая ответная мысль, слабая и неверная, которой придется затем посторониться, но, мелькнув, она покажет, где искать дальше. Теперь уж близко, ты переходишь, прихватив с собой кружку с чаем, с одного стола за другой, ты для порядка просматриваешь еще старую, сделанную работу, а в тебе нетерпеливо начинает звучать продолжение.

Ничего похожего на этот раз у меня не было. Я даже двигался с усилием. Чай пил, как всегда, с удовольствием, но он несколько не помог мне и не взбодрил, беспричинная холодная тяжесть и не собиралась отступать. Из упрямства я подсел все-таки к столу с бумагами, но это было все равно что слепому смотреть в бинокль: ни единого проблеска впереди, сплошь серая плотная стена. Полным истуканом, с кирпичом вместо головы, присидел я полчаса и, до последней степени возненавидев себя, поднялся.

Что-то как бы пискнуло со злорадством за моей спиной, когда я отходил от стола...

* * *

Не находя себе места, я двигался бесцельно и бестолково — то выйду во двор и вслушиваюсь и всматриваюсь во что-то, сам не зная во что, то вернусь снова в избу и встану, истязая себя, подле горячей печки, пока не станет до дурноты жарко, и опять на улицу. Помню, я все пытался понять, как, откуда набралась столь полная, древняя тишина, хотя прежней, утренней тишины уже не было — уже стучало что-то время от времени на сухогрузе, командовал где-то над водой в мегафон крепкий, привыкший командовать голос, два или три раза прострочил мимо мотоцикл. Но глуше и мягче становилось в воздухе, словно укрывался, пытаюсь запахнутья в себе от чужого простора, день, и глохли, увязали в плотном воздухе звуки, доносясь до слуха слабо и уныло.

Прояввшись так, наверное, с час и чувствуя, что облегчения не найти, я закрыл избу и пошел куда глаза глядят. И верно, как по выходе из калитки смотрелось, туда и пошел по выбитой рядом с рельсами сухой тропке и в минуту ушел далеко за поселок, в те звонкие по берегу Байкала и радостные места, которые бывают звонкими, радостными и полновидными в любую погоду — и летом, и зимой, и в солнце, и в ненастье. Но даже и здесь теперь почти осязаемо чувствовалось, как все ниже и ниже опускается день и как плотнее сходитесь он с краев. На Байкале без ветра не бывает, это как дыхание — то спокойное, ровное, то посильней, а то во всю моченьку, когда успевай только прятаться куда ни попало... и теперь дул ветерок, но словно бы не сквозной, словно бы все пытающийся разогнаться и все-таки застревающий... Солнце сморилось окончательно и затухало уже и в воздухе. Байкал лежал в сплошной и густой синеве.

Я постоял на берегу, выбирая без всякого желания, спуститься ли к воде или подняться в гору, и оттого, что спуск к воде был здесь пологим, легким, а гора крутая, как и везде почти, со страха перед Байкалом торопливо вставшая во весь рост, оттого, что здесь она казалась особенно крутой, я начал подыматься в нее, стараясь дышать под шаг, чтобы растянуть дыхание на отрезок горы побольше. По голому каменному крутяку, переполюшив каменную мелочь, я выбрался на траву, длинными и белыми космами выбивающуюся из-под редкой еще и тоже белой земли, и оглянулся. Надо мной кружилось низкое, склоненное широким краем к Байкалу небо — какое-то совсем бесцветное и выгоревшее, для чего-то разом из конца в конец приготовляемое и еще не готовое. Ветер на высоте был посвежей, но от камней и от земли несло сухим и глубинным, словно тоже для чего-то торопливо отдаваемым теплом. Я пошел дальше и за следующий переход выбрался на изломанную и узкую длинную поляну, которая прибиралась в сенокос, — сено с нее давно было спущено и увезено, и она в своей сиротливой и праздничной ухоженности лежала как-то уж очень грустно и одиноко. Пожалев ее, я сел здесь на камень и стал смотреть вниз.

Медленно и беззвучно продолжало кружиться небо, снижаясь все ближе и ближе и набираясь сухо-дымчатой безоблачной плоти. За горой, за редкими на вершине деревьями его уже не было, там зияла серая и неприятная пустота, все небо стянулось и стало над Байкалом, точь-в-точь повторяя и цвет его, и форму. Но теперь и вода в Байкале, подчиняясь небу, начала движение медленными и правильными, не выплескиваясь на берег, кругами, будто кто-то, как в чане, размешал ее и оставил затихать.

Они закружили меня. Скоро я уже плохо понимал, что я, где я и зачем я здесь, и понимание этого было мне не нужно. Многое из того, что заботило меня еще и вчера, и сегодня и представлялось важным, было теперь не нужно и отошло от меня с такой легкостью, точно в каком-то определенном порядке обновления это стало неизбежным и для этого подступил свой черед. Но это было и не обновление, а что-то иное, что-то совершающееся в большом, широко и высоко от меня отстоящем

мире, внутри которого я очутился совершенно случайно, и таинственное движение которого ненароком захватило и меня. Я чувствовал приятную освобожденность от недавней, так мучившей меня болезненной тяжести, ее не стало во мне вовсе, я точно приподнялся и расправился в себе и, примериваясь, знал каким-то образом, что это еще не полная освобожденность, и что дальше станет еще лучше.

Я сидел не шевелясь, с рассеянной, как бы ожидающей особенного момента значительностью глядя перед собой на темное зарево Байкала, и слушал поднимающееся из глубины, как из опрокинутого, направленного в небо колокола, гудение. Тревога и беспокойство слышались в нем в движении — или они затихали, или, напротив, набирали силу — мне не дано было понять: тот миг, за который они родились, растягивался для меня в долгое и однозвучное существование. И не дано было понять мне, чья была сила, чья власть — неба над водой или воды над небом, но то, что они находились в живом и вышнем подчинении друг другу, я увидел совершенно ясно. В вышнем — для чего, над чем? Где, в какой стороне высота и в какой глубина? И где меж ними граница? Где, в каком из этих равных просторов сознание, ведающее простую из простых, но недоступную нам тайну мира, в котором мы остановились?

Конечно, вопросы эти были напрасны. На них не только нельзя ответить, но их нельзя и задавать. И для вопросов существуют границы, за которые не следует переходить. Это то же самое, что небо и вода, небо и земля, находящиеся в вечном продолжении и подчинении друг к другу, и что из них вопрос и что ответ? Мы можем, из последних сил подступив, лишь замереть в бессилии перед неизъяснимостью наших понятий и недоступностью соседних пределов, но переступить их и подать оттуда пусть слабый совсем и случайный голос нам не позволит. Знай сверчок свой шесток.

Я тщился и размышлять еще, и слушать, но все больше и больше и сознание, и чувства, и зрение, и слух приятной подавленностью меркли во мне, отдаляясь в какое-то общее чувствилище. И все тише становилось во мне, все покойней и покойней. Я не ощущал себя вовсе, всякие внутренние движения сошли из меня, но я продолжал замечать все, что происходило вокруг, сразу все и далеко вокруг, но только замечать. Я словно бы соединился с единым для всего чувствилищем и остался в нем. Ни неба я не видел, ни воды и ни земли, а в пустынном светоносном миру висела и уходила в горизонтальную даль незримая дорога, по которой то быстрее, то тише проносились голоса. Лишь по их звучанию и можно было определить, что дорога существует, — с одной стороны они возникали и в другую уносились. И странно, что, приближаясь, они звучали совсем по-другому, чем удаляясь: до меня в них слышались согласие и счастливая до самозабвения вера, а после меня — почти ропот. Что-то во мне не нравилось им, против чего-то они возражали. Я же, напротив, с каждым мгновением чувствовал себя все приятней и легче, и по мере того как мне становилось легче, затихали и выходящие голоса. Я уже готовился и знал каким-то образом, что тоже помчусь скоро, как только буду готов, как только она откроется передо мной в яви, по этой очистительной дороге, и мне не терпелось помчаться. Я словно бы нестерпимый зов слышал с той стороны, куда уходила дорога.

Потом я очнулся и увидел, что перед глазами моими, качаясь, висит одинокая паутинка. Воздух гудел все теми же голосами (я еще не потерял способности их слышать), творившими вокруг меня прощальный наставительный хоровод. Я сидел совсем в другом месте и, судя по берегу Байкала, далеко от прежнего. Рядом со мной три березки грустно играли, точно ворожили, сбрасываемыми листочками. Воздух совсем замер; в такой вот неподвижности, когда все предоставлено, кажется, только себе, и отлетает, отмирает более, чем под ветром, чему положено отмереть; это покой осторожного вышнего присутствия, собирающего урожай. Как радостно,



должно быть, вольной и заказанной душе умереть осенью, в светлый час, когда открываются просторы!..

И снова, придя в себя, я обнаружил, что нахожусь далеко и от последнего места с березками. Байкала видно не было — значит, я успел перевалить через гору и по обратной стороне спуститься чуть не до конца. Смеркалось. Я стоял на ногах — или только что подошел, или поднялся, чтобы идти дальше. А как, откуда шел, почему шел сюда — не помнил. Где-то внизу шумела в камнях речка, и по шуму ее, бойкому и прерывисто-слитному, я, не видя речки, увидел, как она бежит — где и куда поворачивает, где бьется о какие камни и где, вздрагивая пенистыми бурунами, ненадолго затихает. Я нисколько этому зрению не удивился, точно так и должно было быть. Но это не все: я вдруг увидел, как поднимаюсь со своего прежнего места возле березок и направляюсь в гору. Я продолжал стоять там же, где обнаружил себя, для верности ухватившись рукой за торчащий от упавшей лиственницы толстый сук, и одновременно шел, шаг за шагом, взгляд за взглядом выбирая удобную тропку; я ощущал в себе каждое движение и слышал каждый свой вздох. Наконец я приблизился к тому месту, где стоял возле упавшей лиственницы, и слился с собой. Но и этому я ничуть не удивился, точно и это должно было быть именно так, лишь почувствовал в себе какую-то излишнюю сытость, мешающую свободно дышать. И тут, полностью соединившись с собой, я вспомнил о доме.

Было уже совсем темно, когда я подошел к своей избушке. Ноги едва держали меня — видать, все переходы, памятные и беспамятные, совершались все-таки на ногах. Возле ключика я отыскал в траве банку и подставил ее под струю. И долго пил, окончательно возвращаясь в себя — каким я был вчера и стану завтра. В избу идти не хотелось, я сел на чурбан и, замерев от усталости и какой-то особенной душевной наполненности, слился с темнотой, неподвижностью и тишиной позднего вечера.

Темнота все сгущалась и сгущалась, воздух тяжелед, резко и горько пахло отсыревшей землей. Я сидел и размягченно смотрел, как миликает напротив на ряжах красным светом маленький маячок, и слушал доносимые ключиком бессвязные, обессловленные голоса моих умерших друзей, до изнеможения пытающихся что-то сказать мне...

Господи, поверь в нас: мы одиноки.

* * *

Среди ночи я проснулся от стука дождя по сухой крыше, с удовольствием подумал, что вот и дождь, как подготавливалось и ожидалось весь день, наладился, и все же невесть с чего опять почувствовал в себе такую тоску и такую печаль, что едва удержался, чтобы не подняться и не заметаться по избенке. Дождь пошел чаще и глуше, и под шум его я так с тоской и уснул, даже и во сне страдая от нее и там понимая, что страдаю. И во всю оставшуюся ночь мне слышалось, будто раз за разом громко и требовательно каркает ворона, и чудилось, будто она ходит по завалинке перед окнами и стучит клювом в закрытые ставни.

И верно, я проснулся от крика вороны. Утро было серое и мокрое, дождь шел не переставая, с деревьев обрывались крупные и белые, как снег, капли. Не разжигая печки, я оделся и направился в диспетчерскую порта, откуда можно было позвонить в город. Мне долго не удавалось соединиться, телефон подключался и тут же обрывался, а когда я наконец дозвонился, из дому мне сказали, что дочь еще вчера слегла и лежит с высокой температурой.

ЖЕНСКИЙ РАЗГОВОР

В деревне у бабушки посреди зимы Вика оказалась не по своей доброй воле. В шестнадцать годочков пришлось делать аборт. Связалась с компанией, а с компанией хоть к лешему на рога. Бросила школу, стала пропадать из дому, закрутилась, закрутилась... пока хватились, выхватили из карусели — уже наживленная, уже караул кричи. Дали неделю после больницы отлежаться, а потом запряг отец свою старенькую «Ниву», и, пока не опомнилась, к бабушке на высылку, на перевоспитание. И вот второй месяц перевоспитывается, мается: подружек не ищет, телевизора у бабушки нет — сбегает за хлебом, занесет в избу дров-воды и в кровать за книжку. Темнеет мартовским вечером в восьмом часу, а электричество... прошли те времена, когда электричество всякую минуту было под рукой. Сковырнули заради него ангарские деревни, свалили как попало в одну кучу, затопили поля и луга, порушили вековечный порядок — все заради электричества, а им-то и обнесли ангарские деревни, пустив провода далеко в стороне. Выгоняли его при старых порядках для местных нужд из солярки, а солярка теперь сделалась золотой, требует прорвы денег. Утром посветят, чтобы на работу отправить, а вечером — не всегда... Наталья по-старушечьи укладывается рано, вслед за солнышком; Вика поскрипит-поскрипит на продавленной пружинной кровати и тоже затихнет.

Девка она рослая, налитая, по виду — вправду в бабы отдавай, но умишко детский, несозревший, голова отстает. Все еще по привычке задает вопросы там, где пора бы с ответами жить. И вялая, то ли с ленцой, то ли с холодцой. Скажешь — сделает, не скажешь — не догадается. Затаенная какая-то девка, тихоомутная. Распахнутые серые глаза на крупном смуглом лице смотрят подолгу и без прищура, а видят ли они что — не понять.

В этот вечер не спалось. Бывает же так: как из природы томление находит, как не оконченное что-то, зацепившееся не дает отпущения ко сну. Вздыхала, ворочалась Наталья; постанывала, крутилась Вика. То принималась играть с котенком, то сбрасывала его на пол. За бельежными тонкими занавесками в двух окнах, глядящих на Ангару, мерцал под ранним месяцем ранний вечер. Сбилось со своего сияния электричество — и опять увидели небо, запотыгивались, как всякая Божья тварка, за солнышком, стали замечать, когда скобочка молодого месяца, когда полная луна.

День отстоял на славу — солнечный, яркий, искристо играли тугие снега, берущиеся в наст, звенькало из первых сосулек, загорчил первым подтаем воздух. За Ангарой, после заката, долго горело растекающееся зарево и долго томилось, впитываясь внутрь, долго потом уже новым, не зимним мягким пологом лежала по белому полю нежная синева. Но еще до темноты взошло и разгорелось звездное небо с юным месяцем во главе и пролился на землю капельный, росистый сухой свет.

Нет, не брал сон, ни в какую не брал. Истомившись, бабушка и внучка продолжали переговариваться. Днем Наталья получила письмо от сына, Викиного отна.



Читала Вика: собирается отец быть с досмотром. Из-за письма-то, должно быть, и не могло сморить ни одну, ни другую.

— Уеду, — еще днем нацелилась Вика и теперь повторила: — Уеду с ним. Больше не останусь.

— Надоело, выходит, со мной, со старухой?

— А-а, все надоело...

— Ишо жить не начала, а уж все надоело. Что это вы такие расхлябы — без интереса к жизни?

— Почему без интереса? — то ли утомленно, то ли раздраженно отозвалась Вика. — Интерес есть...

— Интерес есть — скорей бы съесть. Только-только в дверку скребутся, где люди живут, а уж — надоело!.. В дырку замочную разглядели, что не так живут... не по той моде. А по своей-то моде — ну и что — хорошо выходит?

— Надоело. Спи, бабуля.

— Так ежели бы уснулось... — Наталья завздыхала, завздыхала. — Ну и что? — не отступила она. — Не тошно теперь?

— Тошно. Да что тошно-то? — вдруг спохватилась Вика и села в кровати. — Что?

— Ты говоришь: уедешь, — отвечала Наталья, — а мы с тобой ни разу и не поговорили. Не сказала ты мне: еройство у тебя это было али грех? Как ты сама-то на себя смотришь? Таковую потрату на себя приняла!

— Да не это теперь, не это!.. Что ты мне свою старину! Проходили!

— Куда проходили?

— В первом классе проходили. Все теперь не так. Сейчас важно, чтобы женщина была лидер.

— Это кто ж такая? — Наталья от удивления стала подскребаться к подушке и облокотилась на нее, чтобы лучше видеть и слышать Вика.

— Не знаешь, кто такая лидер? Ну, бабушка, тебе хоть снова жить начинай. Лидер — это она ни от кого не зависит, а от нее все зависят. Все бегают за ней, обойтись без нее не могут.

— А живет-то она со своим мужиком, нет? — все равно ничего не понять, но хоть это-то понять Наталье надо было.

Вика споткнулась в растерянности:

— Когда ка-ак... Это не обязательно.

— Ну, прямо совсем полная воля. Как у собак. Господи! — просто, как через стенку, обратилась Наталья, не натягивая голоса. — Ох-ох-ох, тут у нас. Прямо ох-ох-ох...

Вика взвизгнула: котенок оцарапал ей палец и пулей метнулся сквозь прутчатую спинку кровати на сундук и там, выпластавшись, затаился. Слышно было, как Вика, причмокивая, отсасывает кровь.

— А почему говорят: целомудрие? — спросила вдруг она. — Какое там мудрие? Ты слышишь, бабушка?

— Слышу. Это не про вас.

— А ты скажи.

— Самое мудрие, — сердито начала Наталья. — С умом штанишки не скидывают. — Она умолкла: продолжать, не продолжать? Но рядом совсем было то, что могла она сказать, искать не надо. Пусть слышит девчонка — кто еще об этом ей скажет. — К нему прижаться потом надо, к родному-то мужику, к суженому-то, — и подчеркнула «родного» и «суженого», поставила на подобающее место. — Прижаться надо, поплакать сладкими слезьми. А как иначе: все честь по чести, по зако-

ну, по сговору. А не по обнюшке. Вся тут, как Божий сосуд: пей, муженек, для тебя налита. Для тебя выросла, всюю себя по капельке, по зернышку для тебя сневестила. Потронься: какая лаская, да чистая, да звонкая, без единой без трещинки, какая белая, да глядистая, да сладкая! Божья сласть, по благословению. Свой он и есть свой. И запах свой, и голос, и приласка не грубая, как раз по тебе. Все у него для тебя приготовлено, нигде не растеряно. А у тебя для него. Все так приготовлено, чтоб перелиться друг в дружку, засладить, заквасить собой на всю жизнь.

— Что это ты в рифму-то?! Как заучила! — перебила Вика.

— Что в склад? Не знаю... под душу навсегда поется.

— Как будто раньше не было таких... кто не в первый раз.

— Были, как не были. И девьи детки были.

— Как это?

— Кто в девичестве принес. Необмуженная. До сроку. Были, были, Виктория, внученька ты моя бедовая, — с истомой, освобождая грудь, шумно вздохнула Наталья. — Были такие нетерпии. И взамуж потом выходили. А бывало, что и жили хорошо в замужестве. Но ты-то с лежи супружьей поднялась искриночкой, звездочкой, чтоб ходить и без никакой крадучи светить. Ты хозяйка там, сариса. К тебе просются, а не ты просишься заради Бога. А она — со страхом идет, со скорбию. Чуть что не так — вспомнится ей, выкорится, что надкушенную взял. Будь она самая добрая баба, а раскол в ей, терния...

— Трения?

— И трения, и терния. Это уж надо сразу при сговоре не таиться: я такая, был грех. Есть добрые мужики...

— Ой, да кто сейчас на это смотрит, — с раздражением отвечала Вика и закрипела кроватью.

— Ну, ежели не смотрите — ваше дело. Теперь все ваше дело, нашего дела не осталось. Тебе лучше знать.

И — замолчали, каждая со своей правдой. А какая у девчонки правда? Упрямится и только. Как и во всяком незрелом плоду кислоты много.

За окном просквозил мотоцикл с оглушительным ревом, кто-то встречь ему крикнул. И опять тихо. Наталья бочком подьелозилась к спинке кровати и отвела рукой занавеску. Еще светлее стало в спальне — отцеженным, слюдянистым светом.

— Зачем ты? Закрой! — встревоженно встрепенулась Вика.

Тонко, из звездной волосинки назревший, висел месяц. И скрадывал — где еще звездочка зазевалась. Полнится каждую ночь, полнится, пока не наберется в круглую сытую луну. Избы на другой стороне улицы стояли придавленно и замороженно — ни дымка, ни огонька, ни звука. Снежные шапки на крышах, подтаявшие за день, сидели набекрень и леденисто взблескивали под могучим дыханием неба. Такое там царило безлюдье, такая немота и такой холод, так искрилось небо над оцепеневшею землей и такой бедной, сиротливой показалась земля, что Наталье стало не по себе. Опустив занавеску и уползая под одеяло, она прошептала:

— Господи, помилуй...

— Что там, бабушка? — не поняла Вика.

— Везде там, внученька. Господи, помилуй...

— Ты что — больше ничего не видела?

— Нет. Спи.

Не сразу, через молчание, через вздохи, совсем по-бабьи:

— А у вас как с дедушкой было?

Наталья далеко была, не поняла:

— С дедушкой? Что было?

— Ну, как в первый раз сходились? Или ты забыла?

Наталья вздохнула так, что показалось — поднялась с кровати. Пришлось во-он откуда возвращаться, чтобы собраться с памятью. И сказала без радости, без чувства:

— Мы невенчаные легли. Это уж хорошего мало. Повенчаться к той поре негде было, церкви посбивали. Взяла я под крылышко свои восемнадцать годочков, перешла старое платье под новое — вот и вся невеста. Год голодный стоял. Выходили в деревне и в 16 годочков, как тебе... Так выходили доспевать в мужних руках, под прибором... — Наталья сбилась и умолкла.

— Ну и что с дедушкой-то? — настаивала Вика.

— А что с дедушкой... Жили и жили до самой войны. У нас в заводе не было, чтоб нежности друг дружке говорить. Взгляда хватало, прикасання. Я его до каждой чутельки знала.

— У вас и способов не было...

— Чего это? — слабо удивилась Наталья. — Ты, Вихтория, не рожала... Как пойдет дитенок, волчица и та в разум возьмет, как ему помогчи. Без докторов, без книжек. Бабки и дедки из глубоких глубин укажут. У людей пожеланье, угаданье друг к дружке должно быть. Как любиться, обзаимность учит. Тяготение такое. У бабы завсегда: встронь один секрет, а под ним еще двадцать пять. А она и сама про них знать не знала.

— Это правильно, — подтвердила Вика. А уж что подтверждала — надо было догадываться. — Женщина теперь сильнее. Она вообще на первый план выходит.

— Да не надо сильнее. Надо любее. Любее любой.

— Бабушка, ты опять отстала, ты по старым понятиям живешь. Женщина сейчас ценится... та женщина ценится, которая целеустремленная.

— Куда стреленая?

— Не стреленая. Целе-устрем-ленная. Понимаешь?

— Рот разинешь, — кивала Наталья, — так и стрелют, в самую цель. Об чем я с тобой всюю ночь и толкую. Такие меткачи пошли.

Вика с досады саданула ногой по спинке кровати и ушибла ногу, утянула ее под одеяло.

— Ты совсем, что ли, безграмотная? — охала она. — Почему не понимаешь-то? Целе-устрем-ленная — это значит идет к цели. Поставит перед собой цель и добивается. А чтобы добиться, надо такой характер иметь... сильный.

Устраиваясь удобнее, расшевелив голосистые пружины кровати, Наталья замолчала.

— Ну и что, — сказала потом она. — И такие были. Самые разнесчастные бабы. Это собака такая есть, гончая порода называется. Поджарая, вытянутая, морда острая. Дадут ей на обнюшку эту, цель-то, она и взовьется. И гонит, и гонит, свету не взвидя, и гонит, и гонит. Покуль сама из себя не выскочит. Глядь: хвост в стороне, нос в стороне и ничегошеньки вместе.

— Бабушка, ну ты и артистка! При чем здесь гончая? И где ты видала гончую? У вас ее здесь быть не может.

— По тиливизиру видала, — смиренно отвечала Наталья. — К Наде, к соседке, когда схожу вечером на чай, у ней тиливизир. Все-то-все кажет. Такой проказливый, прямо беда.

— И гончую там видала?

— И гончую, и эту, про которую ты говоришь, целе-устремленную... Как есть гончая на задних лапах. Ни кожи, ни рожи. Выдохнется при такой гоньбе — кому

она нужна? Нет, Вихтория, не завидууй. Баба своей бабьей породы должна быть. У тебя тела хорошая, сдобная. Доброе сердце любит такую телу.

— Все не о том ты, — задумчиво отвечала Вика. — Все теперь не так.

Котенок спрыгнул с ее кровати, выгибая спину, с поднятым хвостом вышагал на середину комнаты и, пригнув голову, уставился на окно, за которым поверх занавески играло ночное яркое небо. Звездный натек застлал всю комнату, чуть пригашая углы, и в нем хорошо было видно, как котенок поворачивает мордочку то к одному окну, то к другому, видна была вздыбившаяся пепельная шерстка и то, как он пятится, как неслышно бежит в кухню.

«Не о том, — согласилась с внучкой Наталья. — Хочешь не хочешь, а надо сознаваться: все тепери не так. На холодный ветер, как собачонку, выгнали человека, и гонит его какая-то сила, гонит, никак не даст остановиться. Самая жизнь гончей породы. А он уж и привык, ему другого и не надо. Только на бегу и кажется ему, что он живет. А как остановится — страшно. Видно, как все кругом перекошено, перекручено...».

— Тебя об одном спрашиваешь, ты о другом, — с обидой сказала Вика, не отставая: что-то зацепило ее в этом разговоре, чем-то ей хотелось успокоить себя.

— Про дедушку-то? — вспомнила Наталья. — Ну так а что про дедушку. Твой-то дедушка и не тот был, с которым я до войны жила...

— Как не тот? — поразилась Вика.

— Ну, а как ему быть тому, если того на войне убили, а твой отец опосле войны рожденный? Ни того, ни другого давно уж нету, но сначала-то был один, а уж потом другой. Сначала Николай был, мы с ним эту избенку, как сошлись и отделились от стариков, в лето поставили. Здесь дядя твой Степан да Василий родились, Николаевичи. Отсюда он, первый-то дедушка, на войну ушел. А второго дедушку, твоего-то, он же, Николай, мне сюда послал.

— Как сюда послал? Ты что говоришь-то, бабушка? — Вика рванула кровать, как гармонь, и уселась, наваливаясь на спинку и подбивая под себя подушку. — Ты расскажи.

Что делать: заговорила — надо рассказывать. Наталья подозревала, что младшие ее внуки мало что знают о ней. Одного совсем не привозили в деревню. Вика же была здесь лет пять назад, и неизвестно, когда приехала бы снова, когда бы не эта история. Знают только: деревенская бабушка; вторая бабушка была городской. Подозревают, что деревенской бабушке полагался деревенский дедушка, но его так давно не было, что о нем и не вспоминали. Легче было вспоминать того, первого, о нем хоть слава осталась: погиб на фронте.

— Как он мог прислать, если он погиб? — и голос звонче сделался у Вики, выдавая нетерпение, и кровать под нею наигрывала не переставая. — И как это вообще можно прислать?

— Вот так, — подтвердила Наталья и покивала себе. — Чего только в жизни не состроится. Ко мне Дуся на чай ходит... знаешь Дусю?

— Ну.

— Она опосле войны у родной сестры мужика отбила. У старшей сестры, у той уж двое ребятишек было, а не посмотрела ни на что, увела. Мужик смиренный, а взыграл, поддался. Та была путная баба, а у Дуси все мимо рук, все поперек дела. Ни ребятишек не родила, ни по хозяйству прибраться... охальница, рюмочница... Ну, как нарочно, одно к одному. И терпел мужик, сам стряпал, сам корову доил. Теперь уж и его нет, и сестры не стало, а Дуся к тем же ребятам, которых она без отца оставила, ездит в город родниться, помочь от них берет. Приходит позавчера ко мне: «Наталья, я в городе была, окрестилася. Потеперь спасаюсь». — «Тебе спастись до-олгонько надо, — говорю ей. — Не андел».



— Бабушка! — вскричала Вика. — Тебя куда опять понесло? Мне неинтересно про твою Дусю, ты про себя, про себя. Про второго дедушку.

— Ворочаюсь, ворочаюсь, — согласилась Наталья, вздыхая. — Я тоже стала — куда понесет. Ну, слушай. С Николаем я прожила шесть годов. Хорошо жили. Он был мужик твердый. Твердый, но не упрямый... ежели где моя права, он понимал. За ним легко было жить. Знаешь, что и на столе будет, и во дворе, и справа для ребятишек. Меня, если по-ранешнему говорить, любил. Остановит другой раз глаза и смотрит на меня, хорошо так смотрит... А я уж замечу и ну перед ним показ устраивать, молодой-то было чем похвалиться.

— И чем ты хвалилась?

— А своим. Все своим. Чем еще? Работой я в ту пору не избита была, из себя аккуратная, улыбистая. Во мне солнышко любило играть, я уж про себя это знала и набиралась солнышка побольше. Потом-то отыгра-ало! — протянула она, проводя границу. — Потом все. Сразу затмение зашло. Отревела опосле похоронки, пообгляделась, с чем осталась... Двое ребятишек, одному пять годков, другому три. А младшенький еще и слабенький, никак в тело не мог войти, ручки-ножки как прутики...

— А папы, значит, тогда еще не было? — пробовала Вика спрямить бабушкин рассказ.

— Папы твоего не было. Он из другого замеса. Похоронку на Николая принесли зимой, вскорости война кончилась, а осенью, как поля подобрали, прихожу повечеру домой, какой-то мужик на бревнышках под окошками сидит. В шинельке в военной, в сапогах. Меня увидал — поднялся. «Я, — говорит, — вместе с вашим мужем воевал и был при нем, когда он от раны смертельной помер. Я, говорит, писал вам, как было... получали мое письмо?»

Письмо такое было, оно и потеперь у меня в сохранности. Зашли мы в избу, давай я чай гоношить. А сама все оглядываюсь на него, все думаю: зачем приехал? И ехать неблизко, из-под самого из-под Урала, гора поперек земли так называется. Как снял шинельку — худой, длинный, шея кольшком стоит, руки-ноги, как у мальчонки мово, у Васьки, болтаются. По всему видать, досталось солдатику. Один раз был раненый и другой раз контуженый. Контузия получилась хужей раны, он никак не мог ее в докончателности снять.

— Ну и что? — не выдержала Вика. — Вы пили чай, и он сказал, что его прислал первый дедушка вместо себя?

— Не егози, — одернула ее Наталья. — Это у вас — раз и готово. В первый день он только и сказал, что дал Николаю слово проведать нас. Я отвела его ночевать к старикам. Ты по воду ходишь по заулку... третья изба по правую руку на углу, совсем уж старенькая, под тесовой крышей... это наш был дом, у меня там отец с матерью жили. Ну, и я там жила, покуль мы с Николаем здесь не построились. Отвела я его туда, забрала ребятишек... они, ребятишки, когда я на работе, у стариков оставались. Он ребятишкам гостинцы дал, по большому куску сахару. Приметила, как уходила: отец заради такого гостя из запаса бутылку достал, а он пить не стал. Мне, говорит, контузия не позволяет.

Набираясь сил, Наталья придержала рассказ. Тишина стояла такая, что словно бы потрескивание звездочек доносилось с неба тонким сухим шуршанием. Спущенная с постели, болтающаяся рука Вики виделась несоразмерно большой и неестественно белой, окостеневшей. И уже не из левого, а из правого окошка смотрел на Вику запрокидывающийся серпик месяца.

— На другой день он пришел с утра, — без подталкивания продолжила Наталья. — Я, говорит, вчера не все сказал. Его Семеном звали, твой отец Семенович. Прошу, говорит, меня выслушать до конца и не удивляться, а дать свою волю. Я так

и закаменела, в голову что ударило: живой, думаю, Николай, но сильно покалеченный и боится показаться. А он говорит... он вот какую страсть говорит. Будто просил Николай придти ко мне и передать его пожеланию. Сильно, мол, любил он меня и дал мне перед смертью вольную от себя. Какую вольную? Выдти за другого. Стоит в шинельке, я его и раздеться не позвала, голова дергается... это у него от контузии... как за нервы заденет, голову поддегивает... не так, чтоб сильно, но заметно. И говорит... Мне, говорит, Николай сказал, что нигде, во всем белом свете не найду я бабу лучше и добрей, чем ты. А тебе от него завещание, что будет тебе со мной хорошо. Вот такая смертная воля. Я так и села...

— Но тебе же приятно было, что он тебе предложение сделал? — спросила Вика, неумело подтрунивая.

Наталья не стала отвечать.

— И ты заради этого поехал? — спрашиваю его. «Поехал». — «Отец, мать есть у тебя?». — «Мать померла, отец есть». — «Что это за приказания такая, что от отца, от братьев, поди, от сестер пошел неведомо куда и про родню забыл?» Молчит. «Что за приказания такая лютая?» — «Что в ней, — говорит, — лютого? Ты Николая любила, а я ему верил. Я тебя не знал, ты меня не знала, а он знал и тебя, и меня. Он бы зря не стал нас сводить». — «Не-ет, ты голову, — говорю, — на место поставь и подумай: на что тебе брат чужую бабу с хвостами, когда теперь молодых девок непересчет? На что? Во мне уж теперь ни одной сочинки для любовей не осталось, я тебе совсем даже негожая. Я, поди, старше тебя». Стала спрашивать про годы — так и есть на три годочка я старше. «Ты, видно, — говорю, — хороший человек, Николай плохо не подослал бы, но я твою милость принять не могу. Уходи, уезжай». Он постоял, постоял и ушел.

— Ушел?! — поразилась Вика. — Как ушел? Откуда же он потом взялся?

— Ушел, уехал, — подтвердила Наталья ровным голосом и перевела дух. — А недели через три или там через сколько, снег уж лег, с торбой обратно. Это он на зиму одежду привез. Ко мне не зашел, встал на постой у моих стариков. Прямо родня. Начал ходить на колхозную работу. Я на него не гляжу, будто его и нету, и он не глядит, будто не из-за меня воротился.

Вика опять не удержалась:

— Ну, бабушка, какие же вы раньше были забавные! А ты уж его полюбила, да?

— Да какая любовь?!

— У вас что — и любви в то время по второму разу не было?

— Слушай, — с досадой отвечала Наталья, недовольная, что ее перебивают, как ей казалось, глупостью. — Любовь была, как не быть, да другая, ранешная, она куски, как побирушка, не собирала. Я как думала: не ровня он мне. Зачем мне себя травить, его дурить, зачем людей смешить, если никакая мы не пара? На побывку к себе брат не хотела, это не для меня, а для жизни устоятельной ровня нужна.

Наталья замолчала. Все-таки сбилась она с рассказа, потеряла нитку, которую тянула, и теперь словно бы нашаривала ее, перебирая торчащие прихваты.

— Ну, живет, — повздыхав, повела она дальше. — Ребятишки там, у стариков, и он там. Стал их к себе приучать. Они уж и домой не идут. Сам же и приведет, уговорит, что до завтрашнего только дня расстанутся, а со мной разговор самый посторонний. Борьба у нас пошла — кто кого переборет. Я упористая, и он на войне закаленный. Вижу, он мою же силу супротив меня сколотил: ребятишки души в нем не чают, а там и старики его сторону взяли. Особливо мать. Пошло на меня нажимание со всех сторон. Бабы в деревне корят: дура да дура. А сам вроде и ни при чем, даже и не подступает.

Вика рассмеялась:

— А тебе уже обидно, что не подступает. Ты уж ревнуйешь...

— Я не ревную, а обложили. Это бы ладно, это бы я выдюжила, я баба крепостная...

— С чего ты крепостная? Крепостные при царе были. Крепкая, что ли, ты хотела сказать?

— Я любой приступ бы выдюжила, это мне нипочем, — повторила Наталья, не без похвальбы. — Но я говорю: он был контуженный, больной. А контузия такая: ляжет и весь свет ему не мил. Не слышит ниче и не видит, глаза страхом каким-то зайдутся. Койни-как оторвет себя от кровати, встанет, а идти не может. Потом опять ниче. Ну, вот. Смотрела я, смотрела и высмотрела, что это я ему нужна, что без меня он долго не протянет.

— И ты его за это полюбила?

— Что ты все: полюбила, полюбила... — без раздражения, спокойно ответила Наталья. — Это уж вы любите, покуль сердце горячее. А я через сколько-то месяцев, это уж вода побежала по весне, смирилась и позвала его. Без всяких любовей. Чему быть, того не миновать. Он пришел и стал за хозяина. Семь годов мы с ним прожили душа в душу, дай-то Бог так каждому. И в год потом загас. Не жилец он был на белом свете, я это знала. Но мне и семь годов хватило на всю остатную жизнь.

— Он что — лучше был первого дедушки? — спросила Вика, уже теряя интерес и сползая в постель: история кончилась.

— Отшлепать бы тебя за такие разговоры, — слабо возмутилась Наталья. — Так я тебе скажу, внученька. Я древляя старуха, столько годов прожила, что на две могилы хватит. Источилась вся от жизни. И отсюда, с высокой моей горушки, кажется мне: не два мужика у меня было, а один. В одного сошлось. На войну уходил такой, а воротился не такой. Ну, так, а что с войны и спрашивать? Война и есть война. Ты говоришь... молоденькая, без подумы говоришь... Когда он прикасался ко мне... струнку за стрункой перебирал, лепесток за лепестком. Чужой так не сумеет.

— Забавная ты, бабушка, — неопределенно сказала Вика и громко, со вкусом зевнула.

— Вот поживешь с мое, и даст тебе Бог такую же ночь поговорить со внучкой. И скажет она тебе: забавная ты старуха. Не отказывайся: и ты будешь забавная. Куда деться? Ох, Вихтория, жизнь — спаси и помилуй... Устою возьми. Без устои так тебя истреплет, что и концов не найдешь.

Наталья отлежала спину и со стоном повернулась набок. Вика уже посапывала. Ее лицо, большое и белое, лежало на подушке в бледном венчике ночного света, склонившись чуть набок, на подставленную руку. Наталья взгляделась: нет, беспокойно засыпала девчонка — подергивались, одновременно вздрагивая, плечи, левая рука, ища гнезда, оглаживала живот, дыхание то принималось частить, то переходило в плавные неслышные гребки.

...С тихим звоном билась в стеклину звездная россыпь, с тихим плеском наплывал и холодно замирал свет. Стояла глубокая ночь, ни звука не доносилось из деревни. И только небо, разворачиваясь, все играло и играло мириадами острых вспышек, выписывая и предвещая своими огненными письменами завтрашнюю неотвратимость.

УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО

Анастасии Прокопьевне Копыловой

Странно: почему мы так же, как и перед родителями, всякий раз чувствуем свою вину перед учителями? И не за то вовсе, что было в школе, — нет, а за то, что случилось с нами после.

* * *

Я пошел в пятый класс в сорок восьмом году. Правильней сказать, поехал: у нас в деревне была только начальная школа, поэтому, чтобы учиться дальше, мне пришлось снаряжаться из дому за пятьдесят километров в райцентр. За неделю раньше туда съездила мать, уговорилась со своей знакомой, что я буду квартировать у нее, а в последний день августа дядя Ваня, шофер единственной в колхозе полуторки, выгрузил меня на улице Подкаменной, где мне предстояло жить, помог занести в дом узел с постелью, ободряюще похлопал на прощанье по плечу и укатил. Так, в одиннадцать лет, началась моя самостоятельная жизнь.

Голод в тот год еще не отпустил, а нас у матери было трое, я самый старший. Весной, когда пришлось особенно туго, я глотал сам и заставлял глотать сестренку глазки проросшей картошки и зерна овса и ржи, чтобы развести посадки в животе, — тогда не придется все время думать о еде. Все лето мы старательно поливали свои семена чистой ангарской водичкой, но урожая почему-то не дождались, или он был настолько мал, что мы его не почувствовали. Впрочем, я думаю, что затея эта не совсем бесполезная и человеку когда-нибудь еще пригодится, а мы по неопытности что-то там делали неверно.

Трудно сказать, как решила мать отпустить меня в район (райцентр у нас называли районом). Жили мы без отца, жили совсем плохо, и она, видно, рассудила, что хуже уже не будет — некуда. Учился я хорошо, в школу ходил с удовольствием и в деревне признавался за грамотея: писал за старух и читал письма, перебрал все книжки, которые оказались в нашей неказистой библиотеке, и по вечерам рассказывал из них ребятам всякие истории, больше того добавляя от себя. Но особенно в меня верили, когда дело касалось облигаций. Их за войну у людей скопилось много, таблицы выигрышей приходили часто, и тогда облигации несли ко мне. Считалось, что у меня счастливый глаз. Выигрыши и правда случались, чаще всего мелкие, но колхозник в те годы рад был любой копейке, а тут из моих рук сваливалась и совсем нечаянная удача. Радость от нее невольно перепала и мне. Меня выделяли из деревенской ребятни, даже подкармливали; однажды дядя Илья, в общем-то скупой,



прижимистый старик, выиграв четыреста рублей, сгоряча нагреб мне ведро картошки — под весну это было немалое богатство.

И все потому же, что я разбирался в номерах облигаций, матери говорили:

— Башковитый у тебя парень растет. Ты это... давай учи его. Грамота зря не пропадет.

И мать, наперекор всем несчастьям, собрала меня, хотя до того никто из нашей деревни в районе не учился. Я был первый. Да я и не понимал как следует, что мне предстоит, какие испытания ждут меня, голубчика, на новом месте.

Учился я и тут хорошо. Что мне оставалось? — затем я сюда и приехал, другого дела у меня здесь не было, а относиться спустя рукава к тому, что на меня возлагалось, я тогда еще не умел. Едва ли осмелился бы я пойти в школу, останься у меня невыученным хоть один урок, поэтому по всем предметам, кроме французского, у меня держались пятерки.

С французским у меня не ладилось из-за произношения. Я легко запоминал слова и обороты, быстро переводил, прекрасно справлялся с трудностями правописания, но произношение с головой выдавало все мое ангарское происхождение вплоть до последнего колена, где никто сроду не выговаривал иностранных слов, если вообще подозревал об их существовании. Я шпарил по-французски на манер наших деревенских скороговорок, половину звуков за ненадобностью проглатывая, а вторую половину выпаливая короткими лающими очередями. Лидия Михайловна, учительница французского, слушая меня, бессильно морщилась и закрывала глаза. Ничего подобного она, конечно, не слыживала. Снова и снова она показывала, как произносятся носовые, сочетания гласных, просила повторить — я терялся, язык у меня во рту деревенел и не двигался. Все было впустую. Но самое страшное начиналось, когда я приходил из школы. Там я невольно отвлекался, все время вынужден был что-то делать, там меня тормозили ребята, вместе с ними — хочешь не хочешь приходилось двигаться, играть, а на уроках — работать. Но едва я оставался один, сразу наваливалась тоска — тоска по дому, по деревне. Никогда раньше даже на день я не отлучался из семьи и, конечно, не был готов к тому, чтобы жить среди чужих людей. Так мне было плохо, так горько и постыло! — хуже всякой болезни. Хотелось только одного, мечталось об одном — домой и домой. Я сильно похудел; мать, приехавшая в конце сентября, испугалась за меня. При ней я крепился, не жаловался и не плакал, но, когда она стала уезжать, не выдержал и с ревом погнался за машиной. Мать махала мне рукой из кузова, чтобы я отстал, не позорил себя и ее, я ничего не понимал. Тогда она решила и остановила машину.

— Собирайся, — потребовала она, когда я подошел. — Хватит, отучился, поедем домой.

Я опомнился и убежал.

Но похудел я не только из-за тоски по дому. К тому же еще я постоянно недоедал. Осенью, пока дядя Ваня возил на своей полutorке хлеб в Заготзерно, стоявшее неподалеку от райцентра, еду мне присылали довольно часто, примерно раз в неделю. Но вся беда в том, что мне ее не хватало. Ничего там не было, кроме хлеба и картошки, изредка мать набивала в баночку творогу, который у кого-то под что-то брала: корову она не держала. Привезут кажется много,хватишься через два дня — пусто. Я очень скоро стал замечать, что добрая половина моего хлеба куда-то самым таинственным образом исчезает. Проверил — так и есть: был-нету. То же самое творилось с картошкой. Кто потаскивал — тетя Надя ли, крикливая, замотанная женщина, которая одна мыкалась с тремя ребяташками, кто-то из ее старших девочек или младший, Федька, — я не знал, я боялся даже думать об этом, не то что следить. Обидно было только, что мать ради меня отрывает последнее от своих,

от сестренки с братишкой, а оно все равно идет мимо. Но я заставил себя смириться и с этим. Легче матери не станет, если она услышит правду.

Голод здесь совсем не походил на голод в деревне. Там всегда, и особенно осенью, можно было что-то перехватить, сорвать, выкопать, поднять, в Ангаре ходила рыба, в лесу летала птица. Тут для меня все вокруг было пусто: чужие люди, чужие огороды, чужая земля. Небольшую речушку на десять рядов процеживали бреднями. Я как-то в воскресенье просидел с удочкой весь день и поймал трех маленьких, с чайную ложку, пескариков — от такой рыбалки тоже не раздобреешь. Больше не ходил — что зря время переводить! По вечерам околачивался у чайной, на базаре, запоминая, что почему продают, давился слюной и шел ни с чем обратно. На плите у тети Нади стоял горячий чайник; пошвыркав гольного кипяточку и согрев желудок, ложился спать. Утром опять в школу. Так и дотягивал до того счастливого часа, когда к воротам подъезжала полуторка и в дверь стучал дядя Ваня. Наголодавшись и зная, что харч мой все равно долго не продержится, как бы я его ни экономил, я наедался до отвала, до рези в животе, а затем, через день или два, снова подсаживал зубы на полку.

* * *

Однажды, еще в сентябре, Федька спросил у меня:

— Ты в «чику» играть не боишься?

— В какую «чику»? — не понял я.

— Игра такая. На деньги. Если деньги есть, пойдем сыграем.

— Нету.

— И у меня нету. Пойдем так, хоть посмотрим. Увидишь, как здорово.

Федька повел меня за огороды. Мы прошли по краю продолговатого, грядой, холма, сплошь заросшего крапивой, уже черной, спутанной, с отвисшими ядовитыми гроздьями семян, перебрались, прыгая по кучам, через старую свалку и в низинке, на чистой и ровной небольшой поляне, увидели ребят. Мы подошли. Ребята насторожились. Все они были примерно тех же лет, что и я, кроме одного — рослого и крепкого, заметного своей силой и властью, парня с длинной рыжей челкой. Я вспомнил: он ходил в седьмой класс.

— Этого еще зачем привел? — недовольно сказал он Федьке.

— Он свой, Вадик, свой, — стал оправдываться Федька. — Он у нас живет.

— Играть будешь? — спросил меня Вадик.

— Денег нету.

— Гляди не вякни кому, что мы здесь.

— Вот еще! — обиделся я.

Больше на меня не обращали внимания, я отошел в сторонку и стал наблюдать. Играли не все — то шестеро, то семеро, остальные только глазели, боля в основном за Вадика. Хозяиничал здесь он, это я понял сразу.

Разобраться в игре ничего не стоило. Каждый выкладывал на кон по десять копеек, стопку монет решками вверх опускали на площадку, ограниченную жирной чертой метрах в двух от кассы, а с другой стороны, от валуна, вросшего в землю и служившего упором для передней ноги, бросали круглую каменную шайбу. Бросать ее надо было с тем расчетом, чтобы она как можно ближе подкатилась к черте, но не вышла за нее, — тогда ты получал право первым разбивать кассу. Били все той же шайбой, стараясь перевернуть монеты на орла. Перевернул — твоя, бей дальше, нет — отдай это право следующему. Но важнее всего считалось еще при броске



накрыть шайбой монеты, и если хоть одна из них оказывалась на орле, вся касса без разговоров переходила в твой карман, и игра начиналась снова.

Вадик хитрил. Он шел к валуну после всех, когда полная картина очередности была у него перед глазами и он видел, куда бросать, чтобы выйти вперед. Деньги доставались первым, до последних они доходили редко. Наверное, все понимали, что Вадик хитрит, но сказать ему об этом никто не смел. Правда, и играл он хорошо. Подходя к камню, чуть приседал, прищурившись, наводил шайбу на цель и неторопливо, плавно выпрямлялся — шайба выскользнула из его руки и летела туда, куда он метил. Быстрым движением головы он забрасывал съехавшую челку наверх, небрежно сплевывал в сторону, показывая, что дело сделано, и ленивым, нарочито замедленным шагом ступал к деньгам. Если они были в куче, бил резко, со звоном, одиночные же монетки трогал шайбой осторожно, с накатиком, чтобы монетка не билась и не крутилась в воздухе, а, не поднимаясь высоко, всего лишь переваливалась на другую сторону. Никто больше так не умел. Ребята лупили наобум и доставали новые монеты, а кому нечего было доставать, переходили в зрители.

Мне казалось, что, будь у меня деньги, я бы смог играть. В деревне мы жили с бабками, но и там нужен точный глаз. А я, кроме того, любил придумывать для себя забавы на меткость: наберу горсть камней, отыщу цель потруднее и бросаю в нее до тех пор, пока не добьюсь полного результата — десять из десяти. Бросал и сверху, из-за плеча, и снизу, навешивая камень над целью. Так что кой-какая сноровка у меня была. Не было денег.

Мать потому и отправляла мне хлеб, что денег у нас не водилось, иначе я купал бы его и здесь. Откуда им в колхозе взяться? Все же раза два она подкладывала мне в письмо по пятерке — на молоко. На теперешние это пятьдесят копеек, не разживешься, но все равно деньги, на них на базаре можно было купить пять поллитровых баночек молока, по рублю за баночку. Молоко мне наказано пить от малокровия, у меня часто ни с того ни с сего принималась вдруг кружиться голова.

Но, получив пятерку в третий раз, я не пошел за молоком, а разменял ее на мелочь и отправился за свалку. Место здесь было выбрано с толком, ничего не скажешь: полянка, замкнутая холмами, ниоткуда не просматривалась. В селе, на виду у взрослых, за такие игры гоняли, грозили директором и милицией. Тут нам никто не мешал. И недалеко, за десять минут добежишь.

В первый раз я спустил девяносто копеек, во второй шестьдесят. Денег было, конечно, жалко, но я чувствовал, что приравниваюсь к игре, рука постепенно привыкала к шайбе, училась отпускать для броска ровно столько силы, сколько требовалось, чтобы шайба пошла верно, глаза тоже учились заранее знать, куда она упадет и сколько еще прокатится по земле. По вечерам, когда все расходились, я снова возвращался сюда, доставал из-под камня спрятанную Вадиком шайбу, выгребал из кармана свою мелочь и бросал, пока не темнело. Я добился того, что из десяти бросков три или четыре угадывали точно на деньги.

И наконец наступил день, когда я остался в выигрыше.

Осень стояла теплая и сухая. Еще и в октябре пригревало так, что можно было ходить в рубашке, дожди выпадали редко и казались случайными, ненароком занесенными откуда-то из непогоды слабым попутным ветерком. Небо синело совсем по-летнему, но стало словно бы уже, и солнце заходило рано. Над холмами в чистые часы курился воздух, разнося горьковатый, дурманящий запах сухой полыни, ясно звучали дальние голоса, кричали отлетающие птицы. Трава на нашей поляне, пожелтевшая и сморенная, все же осталась живой и мягкой, на ней возились свободные от игры, а лучше сказать, проигравшиеся ребята.

Теперь каждый день после школы я прибежал сюда. Ребята менялись, появлялись новички, и только Вадик не пропускал ни одной игры. Она без него и не начи-

налась. За Вадиком, как тень, следовал большеголовый, стриженный под машинку, коренастый парень, по прозвищу Птаха. В школе я Птаху до этого не встречал, но, забегая вперед, скажу, что в третьей четверти он вдруг, как снег на голову, свалился на наш класс. Оказывается, остался в пятом на второй год и под каким-то предлогом устроил себе до января каникулы. Птаха тоже обычно выигрывал, хоть и не так, как Вадик, поменьше, но в убытке не оставался. Да потому, наверно, и не оставался, что был заодно с Вадиком, и тот ему потихоньку помогал.

Из нашего класса на полянку иногда набегал Тишкин, суетливый, с моргающими глазенками мальчишка, любивший на уроках поднимать руку. Знает, не знает — все равно тянет. Вызовут — молчит.

— Что ж ты руку поднимал? — спрашивают Тишкина.

Он шлепал своими глазенками:

— Я помнил, а пока вставал, забыл.

Я с ним не дружил. От робости, молчаливости, излишней деревенской замкнутости, а главное — от дикой тоски по дому, не оставлявшей во мне никаких желаний, ни с кем из ребят я тогда еще не сошелся. Их ко мне тоже не тянуло, я оставался один, не понимая и не выделяя из горького своего положения одиночества: один — потому что здесь, а не дома, не в деревне, там у меня товарищей много.

Тишкин, казалось, и не замечал меня на полянке. Быстро проигравшись, он исчезал и появлялся снова не скоро.

А я выигрывал. Я стал выигрывать постоянно, каждый день. У меня был свой расчет: не надо катать шайбу по площадке, добиваясь права на первый удар; когда много играющих, это не просто: чем ближе тянешься к черте, тем больше опасности перевалить за нее и остаться последним. Надо накрывать кассу при броске. Так я и делал. Конечно, я рисковал, но при моей сноровке это был оправданный риск. Я мог проиграть три, четыре раза подряд, зато на пятый, забрав кассу, возвращал свой проигрыш втройне. Снова проигрывал и снова возвращал. Мне редко приходилось стучать шайбой по монетам, но и тут я пользовался своим приемом: если Вадик бил с накатом на себя, я, наоборот, тюкал от себя — так было непривычно, но так шайба придерживала монету, не давала ей вертеться и, отходя, переворачивала вслед за собой.

Теперь у меня появились деньги. Я не позволял себе чересчур увлекаться игрой и торчать на полянке до вечера, мне нужен был только рубль, каждый день по рублю. Получив его, я убежал, покупал на базаре баночку молока (тетки ворчали, глядя на мои погнутые, побитые, истерзаннные монеты, но молоко наливали), обедал и садился за уроки. Досыта все равно я не наедался, но уже одна мысль, что я пью молоко, прибавляла мне силы и смиряла голод. Мне стало казаться, что и голова теперь у меня кружится гораздо меньше.

Поначалу Вадик спокойно относился к моим выигрышам. Он и сам не оставался внакладе, а из его карманов вряд ли мне что-нибудь перепало. Иногда он даже похваливал меня: вот, мол, как надо бросать, учиться, мазилы. Однако вскоре Вадик заметил, что я слишком быстро выхожу из игры, и однажды остановил меня:

— Ты что это — загреб кассу и драть? Ишь шустрый какой! Играй.

— Мне уроки надо, Вадик, делать, — стал отговариваться я.

— Кому надо делать уроки, тот сюда не ходит.

А Птаха подпел:

— Кто тебе сказал, что так играют на деньги? За это, хочешь знать, бьют маленько. Понял?

Больше Вадик не давал мне шайбу раньше себя и подпускал к камню только последним. Он хорошо бросал, и нередко я лез в карман за новой монетой, не прикоснувшись к шайбе. Но я бросал лучше, и если уж мне доставалась возмож-



ность бросать, шайба, как намагниченная, летела точно на деньги. Я и сам удивлялся своей меткости, мне надо бы догадаться придержать ее, играть незаметней, а я бесхитростно и безжалостно продолжал бомбить кассу. Откуда мне было знать, что никогда и никому еще не прощалось, если в своем деле он вырывается вперед? Не жди тогда пощады, не ищи заступничества, для других он выскочка, и больше всех ненавидит его тот, кто идет за ним следом. Эту науку мне пришлось в ту осень постигнуть на собственной шкуре.

Я только что опять угодил в деньги и шел собирать их, когда заметил, что Вадик наступил ногой на одну из рассыпавшихся по сторонам монет. Все остальные лежали вверх решками. В таких случаях при броске обычно кричат «в склад!», чтобы — если не окажется орла — собрать для удара деньги в одну кучу, но я, как всегда, понадеялся на удачу и не крикнул.

— Не в склад! — объявил Вадик.

Я подошел к нему и попытался сдвинуть его ногу с монеты, но он оттолкнул меня, быстро схватил ее с земли и показал мне решку. Я успел заметить, что монета была на орле, — иначе он не стал бы ее закрывать.

— Ты перевернул ее, — сказал я. — Она была на орле, я видел.

Он сунул мне под нос кулак.

— А этого ты не видел? Понюхай, чем пахнет.

Мне пришлось смириться. Настаивать на своем было бессмысленно; если начнется драка, никто, ни одна душа за меня не заступится, даже Тишкин, который вертелся тут же.

Злые, прищуренные глаза Вадика смотрели на меня в упор. Я нагнулся, тихонько ударил по ближней монете, перевернул ее и подвинул вторую. «Хлюзда на правду наведет, — решил я. — Все равно я их сейчас все заберу». Снова настаивал шайбу для удара, но опустить уже не успел: кто-то вдруг сильно поддал мне сзади коленом, и я неловко, склоненной вниз головой, ткнулся в землю. Вокруг засмеялись.

За мной, ожидающе улыбаясь, стоял Птаха. Я опешил:

— Чего-о ты?!

— Кто тебе сказал, что это я? — отперся он. — Приснилось, что ли?

— Давай сюда! — Вадик протянул руку за шайбой, но я не отдал ее. Обида перехлестнула во мне страх, ничего на свете я больше не боялся. За что? За что они так со мной? Что я им сделал?

— Давай сюда! — потребовал Вадик.

— Ты перевернул ту монетку! — крикнул я ему. — Я видел, что перевернул. Видел.

— Ну-ка, повтори, — надвигаясь на меня, попросил он.

— Ты перевернул ее, — уже тише сказал я, хорошо зная, что за этим последует.

Первым, опять сзади, меня ударил Птаха. Я полетел на Вадика, он быстро и ловко, не примериваясь, поддел меня головой в лицо, и я упал, из носу у меня брызнула кровь. Едва я вскочил, на меня снова набросился Птаха. Можно было еще вырваться и убежать, но я почему-то не подумал об этом. Я вертелся меж Вадиком и Птахой, почти не защищаясь, зажимая ладонью нос, из которого хлестала кровь, и в отчаянии, добавляя им ярости, упрямо выкрикивал одно и то же:

— Перевернул! Перевернул! Перевернул!

Они били меня по очереди, один и второй, один и второй. Кто-то третий, маленький и злобный, пинал меня по ногам, потом они почти сплошь покрылись синяками. Я старался только не упасть, ни за что больше не упасть, даже в те минуты

мне казалось это позором. Но в конце концов они повалили меня на землю и остановились.

— Иди отсюда, пока живой! — скомандовал Вадик. — Быстро!

Я поднялся и, всхлипывая, швыряя омертвевшим носом, поплелся в гору.

— Только вякни кому — убьем! — пообещал мне вслед Вадик.

Я не ответил. Все во мне как-то затвердело и сомкнулось в обиде, у меня не было сил достать из себя слово. И, только поднявшись на гору, я не утерпел и, словно сдурев, закричал что было мочи — так что слышал, наверное, весь поселок:

— Переверну-у-ул!

За мной кинулся было Птаха, но сразу вернулся — видно, Вадик рассудил, что с меня хватит, и остановил его. Минут пять я стоял и, всхлипывая, смотрел на полянку, где снова началась игра, затем спустился по другой стороне холма к ложбинке, затянутой вокруг черной крапивой, упал на жесткую сухую траву и, не сдерживаясь больше, горько, навзрыд заплакал.

Не было в тот день и не могло быть во всем белом свете человека несчастнее меня.

* * *

Утром я со страхом смотрел на себя в зеркало: нос вспух и раздулся, под левым глазом синяк, а ниже его, на щеке, изгибается жирная кровавая ссадина. Как идти в школу в таком виде, я не представлял, но как-то идти надо было, пропускать по какой бы то ни было причине уроки я не решался. Допустим, носы у людей и от природы случаются почище моего, и если бы не привычное место, ни за что не догадаешься, что это нос, но ссадину и синяк ничем оправдать нельзя: сразу видно, что они красуются тут не по моей доброй воле.

Прикрывая глаз рукой, я юркнул в класс, сел за свою парту и опустил голову. Первым уроком, как назло, был французский. Лидия Михайловна, по праву классного руководителя, интересовалась нами больше других учителей, и скрыть от нее что-либо было трудно. Она входила, здоровалась, но до того, как посадить класс, имела привычку внимательным образом осматривать почти каждого из нас, делая будто бы и шуточные, но обязательные для исполнения замечания. И знаки на моем лице она, конечно, увидела сразу, хоть я, как мог, и прятал их; я понял это потому, что на меня стали оборачиваться ребята.

— Ну вот, — сказала Лидия Михайловна, открывая журнал. — Сегодня среди нас есть раненые.

Класс засмеялся, а Лидия Михайловна снова подняла на меня глаза. Они у нее косили и смотрели словно бы мимо, но мы к тому времени уже научились распознавать, куда они смотрят.

— И что случилось? — спросила она.

— Упал, — брякнул я, почему-то не догадавшись заранее придумать хоть мало-мальски приличное объяснение.

— Ой, как неудачно. Вчера упал или сегодня?

— Сегодня. Нет, вчера вечером, когда темно было.

— Хи, упал! — выкрикнул Тишкин, захлебываясь от радости. — Это ему Вадик из седьмого класса поднес. Они на деньги играли, а он стал спорить и заработал. Я же видел. А говорит, упал.

Я остолбенел от такого предательства. Он что — совсем ничего не понимает или это он нарочно? За игру на деньги нас в два счета могли выгнать из школы.



Доигрался. В голове у меня от страха все всполошилось и загудело: пропал, теперь пропал. Ну, Тишкин. Вот Тишкин так Тишкин. Обрадовал. Внес ясность — нечего сказать.

— Тебя, Тишкин, я хотела спросить совсем другое, — не удивляясь и не меняя спокойного, чуть безразличного тона, остановила его Лидия Михайловна. — Иди к доске, раз уж ты разговорился, и приготовься отвечать. — Она подождала, пока растерявшийся, ставший сразу несчастным Тишкин выйдет к доске, и коротко сказала мне: — После уроков останешься.

Больше всего я боялся, что Лидия Михайловна потащит меня к директору. Это значит, что, кроме сегодняшней беседы, завтра меня выведут перед школьной линейкой и заставят рассказывать, что меня побудило заниматься этим грязным делом. Директор, Василий Андреевич, так и спрашивал провинившегося, что бы он ни натворил, — разбил окно, подрался или курил в уборной: «Что тебя побудило заниматься этим грязным делом?» Он расхаживал перед линейкой, закинув руки за спину, вынося вперед в такт широким шагам плечи, так что казалось, будто наглухо застегнутый, оттопыривающийся темный френч двигается самостоятельно чуть поперед директора, и подгонял: «Отвечай, отвечай. Мы ждем. Посмотри, вся школа ждет, что ты нам скажешь». Ученик начинал в свое оправдание что-нибудь бормотать, но директор обрывал его: «Ты мне на вопрос отвечай, на вопрос. Как был задан вопрос?» — «Что меня побудило?» — «Вот именно: что побудило? Слушаем тебя». Дело обычно заканчивалось слезами, лишь после этого директор успокаивался, и мы расходились на занятия. Труднее было со старшеклассниками, которые не хотели плакать, но и не могли ответить на вопрос Василия Андреевича.

Однажды первый урок у нас начался с опозданием на десять минут, и все это время директор допрашивал одного девятиклассника, но, так и не добившись от него ничего вразумительного, увел к себе в кабинет.

А что, интересно, скажу я? Лучше бы сразу выгоняли. Я мельком, чуть коснувшись этой мысли, подумал, что тогда я смогу вернуться домой, и тут же, словно обжегшись, испугался: нет, с таким позором и домой нельзя. Другое дело — если бы я сам бросил школу... Но и тогда про меня можно сказать, что я человек ненадежный, раз не выдержал того, что хотел, а тут и вовсе меня станет чураться каждый. Нет, только не так. Я бы еще потерпел здесь, я бы привык, но так домой ехать нельзя.

После уроков, замирая от страха, я ждал Лидию Михайловну в коридоре. Она вышла из учительской и, кивнув, завела меня в класс. Как всегда, она села за стол, я хотел устроиться за третьей партой, подальше от нее, но Лидия Михайловна показала мне на первую, прямо перед собой.

— Это правда, что ты играешь на деньги? — сразу начала она. Она спросила слишком громко, мне казалось, что в школе об этом нужно говорить только шепотом, и я испугался еще больше. Но запираться никакого смысла не было, Тишкин успел продать меня с потрохами. Я промямлил:

— Правда.

— Ну и как — выигрываешь или проигрываешь?

Я замялся, не зная, что лучше.

— Давай рассказывай, как есть. Проигрываешь, наверное?

— Вы... выигрываю.

— Хорошо, хоть так. Выигрываешь, значит. И что ты делаешь с деньгами?

В первое время в школе я долго не мог привыкнуть к голосу Лидии Михайловны, он сбивал меня с толку. У нас в деревне говорили, запахивая голос глубоко в нутро, и потому звучал он вволюшку, а у Лидии Михайловны он был каким-то мелким и легким, так что в него приходилось вслушиваться, и не от бессилия вов-

се — она иногда могла сказать и всласть, а словно бы от притаенности и ненужной экономии. Я готов был свалить все на французский язык: конечно, пока училась, пока приноравливалась к чужой речи, голос без свободы сел, ослаб, как у птички в клетке, жди теперь, когда он опять разойдется и окрепнет. Вот и сейчас Лидия Михайловна спрашивала так, будто была в это время занята чем-то другим, более важным, но от вопросов ее все равно было не уйти.

— Ну, так что ты делаешь с деньгами, которые выигрываешь? Покупаешь конфеты? Или книги? Или копишь на что-нибудь? Ведь у тебя их, наверное, теперь много?

— Нет, не много. Я только рубль выигрываю.

— И больше не играешь?

— Нет.

— А рубль? Почему рубль? Что ты с ним делаешь?

— Покупаю молоко.

— Молоко?

Она сидела передо мной аккуратная, вся умная и красивая, красивая и в одежде, и в своей женской молодой поре, которую я смутно чувствовал, до меня доходил запах духов от нее, который я принимал за самое дыхание; к тому же она была учительницей не арифметики какой-нибудь, не истории, а загадочного французского языка, от которого тоже исходило что-то особое, сказочное, неподвластное любому-каждому, как, например, мне. Не смея поднять глаза на нее, я не посмел и обмануть ее. Да и зачем, в конце концов, мне было обманывать?

Она помолчала, рассматривая меня, и я кожей почувствовал, как при взгляде ее косящих внимательных глаз все мои беды и несурзности прямо-таки взбухают и наливаются своей дурной силой. Посмотреть, конечно, было на что: перед ней крючился на парте тощий диковатый мальчишка с разбитым лицом, неопрятный без матери и одинокий, в старом, застиранном пиджачишке на обвислых плечах, который впору был на груди, но из которого далеко вылезали руки; в перешитых из отцовских галифе и заправленных в чирки марких светло-зеленых штанах со следами вчерашней драки. Я еще раньше заметил, с каким любопытством поглядывает Лидия Михайловна на мою обувь. Из всего класса в чирках ходил только я. Лишь на следующую осень, когда я наотрез отказался ехать в них в школу, мать продала швейную машину, единственную нашу ценность, и купила мне кирзовые сапоги.

— И все-таки на деньги играть не надо, — задумчиво сказала Лидия Михайловна. — Обошелся бы ты как-нибудь без этого. Можно обойтись?

Не смея поверить в свое спасение, я легко пообещал:

— Можно.

Я говорил искренне, но что подделаешь, если искренность нашу нельзя привязать веревками.

Справедливости ради надо сказать, что в те дни мне пришлось совсем плохо. Колхоз наш по сухой осени рано рассчитался с хлебосдачей, и дядя Ваня больше не приезжал. Я знал, что дома мать места себе не находит, переживая за меня, но мне от этого было не легче. Мешок картошки, привезенный в последний раз дядей Ваней, испарился так быстро, будто ею кормили, по крайней мере, скот. Хорошо еще, что, спохватившись, я догадался немножко припрятать в стоящей во дворе заброшенной сараюшке, и вот теперь только этой притайкой и жил. После школы, крадучись, как вор, я шмыгал в сараюшку, совал несколько картофелин в карман и убегал за улицу, в холмы, чтобы где-нибудь в удобной и скрытой низинке развести огонь. Мне все время хотелось есть, даже во сне я чувствовал, как по моему желудку прокатываются судорожные волны.

В надежде наткнуться на новую компанию игроков, я стал потихоньку обследовать соседние улицы, бродил по пустырям, следил за ребятами, которых заносило в холмы. Все было напрасно, сезон кончился, подули холодные октябрьские ветры. И только на нашей полянке по-прежнему продолжали собираться ребята. Я кружил неподалеку, видел, как взблескивает на солнце шайба, как, размахивая руками, командует Вадик и склоняются над кассой знакомые фигуры.

В конце концов я не выдержал и спустился к ним. Я знал, что иду на унижение, но не меньшим унижением было раз и навсегда смириться с тем, что меня избили и выгнали. Меня зудило посмотреть, как отнесутся к моему появлению Вадик и Птаха и как смогу держать себя я. Но больше всего подгонял голод. Мне нужен был рубль — уже не на молоко, а на хлеб. Других путей раздобыть его я не знал.

Я подошел, и игра сама собой приостановилась, все уставились на меня. Птаха был в шапке с подвернутыми ушами, сидящей, как и все на нем, беззаботно и смело, в клетчатой, навывпуск рубахе с короткими рукавами; Вадик форсил в красивой толстой куртке с замком. Рядом, сваленные в одну кучу, лежали фуфайки и пальтишки, на них, сжавшись под ветром, сидел маленький, лет пяти-шести, мальчишка.

Первым встретил меня Птаха:

— Чего пришел? Давно не били?

— Играть пришел, — как можно спокойней ответил я, глядя на Вадика.

— Кто тебе сказал, что с тобой, — Птаха выругался, — будут тут играть?

— Никто.

— Что, Вадик, сразу будем бить или подождем немножко?

— Чего ты пристал к человеку, Птаха? — щурясь на меня, сказал Вадик. —

Понял, человек играть пришел. Может, он у нас с тобой по десять рублей хочет выиграть?

— У вас нет по десять рублей, — только чтобы не казаться себе трусом, сказал я.

— У нас есть больше, чем тебе снилось. Ставь, не разговаривай, пока Птаха не рассердился. А то он человек горячий.

— Дать ему, Вадик?

— Не надо, пусть играет. — Вадик подмигнул ребятам. — Он здорово играет, мы ему в подметки не годимся.

Теперь я был ученый и понимал, что это такое — доброта Вадика. Ему, видно, надоела скучная, неинтересная игра, поэтому, чтобы пощекотать себе нервы и почувствовать вкус настоящей игры, он и решил допустить в нее меня. Но как только я затрону его самолюбие, мне опять не поздоровится. Он найдет, к чему придрататься, рядом с ним Птаха.

Я решил играть осторожно и не зариться на кассу. Как и все, чтобы не выделяться, я катал шайбу, боясь ненароком угодить в деньги, потом тихонько тюкал по монетам и оглядывался, не зашел ли сзади Птаха. В первые дни я не позволял себе мечтать о рубле; копеек двадцать-тридцать, на кусок хлеба, и то хорошо, и то давай сюда.

Но то, что должно было рано или поздно случиться, разумеется, случилось. На четвертый день, когда, выиграв рубль, я собрался уйти, меня снова избили. Правда, на этот раз обошлось легче, но один след остался: у меня сильно вздулась губа. В школе приходилось ее постоянно прикусывать. Но, как ни прятал я ее, как ни прикусывал, а Лидия Михайловна разглядела. Она нарочно вызвала меня к доске и заставила читать французский текст. Я его с десятью здоровыми губами не смог бы правильно произнести, а об одной и говорить нечего.

— Хватит, ой, хватит! — испугалась Лидия Михайловна и замахала на меня, как на нечистую силу, руками. — Да что же это такое?! Нет, придется с тобой заниматься отдельно. Другого выхода нет.

* * *

Так начались для меня мучительные и неловкие дни. С самого утра я со страхом ждал того часа, когда мне придется остаться наедине с Лидией Михайловной, и, ломая язык, повторять вслед за ней неудобные для произношения, придуманные только для наказания слова. Ну, зачем еще, как не для издевательства, три гласные сливать в один толстый тягучий звук, то же «о», например, в слове «веаисоир» (много), которым можно подавиться? Зачем с каким-то пристомом пускать звуки через нос, когда испокон веков он служил человеку совсем для другой надобности? Зачем? Должны же существовать границы разумного. Я покрывался потом, краснел и задыхался, а Лидия Михайловна без передышки и без жалости заставляла меня мозолить бедный мой язык. И почему меня одного? В школе сколько угодно было ребят, которые говорили по-французски ничуть не лучше, чем я, однако они гуляли на свободе, делали что хотели, а я, как проклятый, отдувался один за всех.

Оказалось, что и это еще не самое страшное. Лидия Михайловна вдруг решила, что времени в школе у нас до второй смены остается в обрез, и сказала, чтобы я по вечерам приходил к ней на квартиру. Жила она рядом со школой, в учительских домах. На другой, большей половине дома Лидии Михайловны жил сам директор. Я шел туда как на пытку. И без того от природы робкий и стеснительный, теряющийся от любого пустяка, в этой чистенькой, аккуратной квартире учительницы я в первое время буквально каменел и боялся дышать. Мне надо было говорить, чтобы я раздевался, проходил в комнату, садился — меня приходилось передвигать, словно вещь, и чуть ли не силой добывать из меня слова. Моим успехам во французском это никак не способствовало. Но, странное дело, мы и занимались здесь меньше, чем в школе, где нам будто бы мешала вторая смена. Больше того, Лидия Михайловна, хлопоча что-нибудь по квартире, расспрашивала меня или рассказывала о себе. Подозреваю, это она нарочно для меня придумала, будто пошла на французский факультет потому лишь, что в школе этот язык ей тоже не давался и она решила доказать себе, что может овладеть им не хуже других.

Забившись в угол, я слушал, не чая дожидаться, когда меня отпустят домой. В комнате было много книг, на тумбочке у окна стоял большой красивый радиоприемник с проигрывателем — редкое по тем временам, а для меня и вовсе невиданное чудо. Лидия Михайловна ставила пластинки, и ловкий мужской голос опять-таки учил французскому языку. Так или иначе, от него никуда было не деться. Лидия Михайловна в простом домашнем платье, в мягких войлочных туфлях ходила по комнате, заставляя меня вздрагивать и замирать, когда она приближалась ко мне. Я никак не мог поверить, что сижу у нее в доме, все здесь было для меня слишком неожиданным и необыкновенным, даже воздух, пропитанный легкими и незнакомыми запахами иной, чем я знал, жизни. Невольно создавалось ощущение, словно я подглядываю эту жизнь со стороны, и от стыда и неловкости за себя я еще глубже запахивался в свой кургузый пиджачишко.

Лидии Михайловне тогда было, наверное, лет двадцать пять или около того, я хорошо помню ее правильное и потому не слишком живое лицо с прищуренными, чтобы скрыть в них косинку, глазами; тугую, редко раскрывающуюся до конца улыбку и совсем черные, коротко остриженные волосы. Но при всем этом не было



видно в ее лице жесткости, которая, как я позже заметил, становится с годами чуть ли не профессиональным признаком учителей, даже самых добрых и мягких по натуре, а было какое-то осторожное, с хитринкой, недоумение, относящееся к ней самой и словно говорившее: интересно, как я здесь очутилась и что я здесь делаю? Теперь я думаю, что она к тому времени успела побывать замужем; по голосу, по походке — мягкой, но уверенной, свободной, по всему ее поведению в ней чувствовались смелость и опытность. А кроме того, я всегда придерживался мнения, что девушки, изучающие французский или испанский язык, становятся женщинами раньше своих сверстниц, которые занимаются, скажем, русским или немецким.

Стыдно сейчас вспомнить, как я пугался и терялся, когда Лидия Михайловна, закончив наш урок, звала меня ужинать. Будь я тысячу раз голоден, из меня пулей тут же выскакивал всякий аппетит. Садиться за один стол с Лидией Михайловной! Нет, нет! Лучше я к завтрашнему дню наизусть выучу весь французский язык, чтобы никогда больше сюда не приходиться. Кусок хлеба, наверное, и вправду застрял бы у меня в горле. Кажется, до того я не подозревал, что и Лидия Михайловна тоже, как все мы, питается самой обыкновенной едой, а не какой-нибудь манной небесной, настолько она представлялась мне человеком необыкновенным, непохожим на всех остальных.

Я вскакивал и, бормоча, что сыт, что не хочу, пятился вдоль стенки к выходу. Лидия Михайловна смотрела на меня с удивлением и обидой, но остановить меня никакими силами было невозможно. Я убежал. Так повторялось несколько раз, затем Лидия Михайловна, отчаявшись, перестала приглашать меня за стол. Я вздохнул свободней.

Однажды мне сказали, что внизу, в раздевалке, для меня лежит посылка, которую занес в школу какой-то мужик. Дядя Ваня, конечно, наш шофер, — какой еще мужик! Наверное, дом у нас был закрыт, а ждать меня с уроков дядя Ваня не мог — вот и оставил в раздевалке.

Я с трудом дотерпел до конца занятий и кинулся вниз. Тетя Вера, школьная уборщица, показала мне на стоящий в углу белый фанерный ящик, в каких снаряжают посылки по почте. Я удивился: почему в ящике? — мать обычно отправляла еду в обыкновенном мешке. Может быть, это и не мне вовсе? Нет, на крышке были выведены мой класс и моя фамилия. Видно, надписал уже здесь дядя Ваня — чтобы не перепутали, для кого. Что это мать выдумала заколачивать продукты в ящик?! Глядите, какой интеллигентной стала!

Нести посылку домой, не узнав, что в ней, я не мог: не то терпение. Ясно, что там не картошка. Для хлеба тара тоже, пожалуй, маловата, да и неудобна. К тому же хлеб мне отправляли недавно, он у меня еще был. Тогда что там? Тут же, в школе, я забрался под лестницу, где, помнил, лежит топор, и, отыскав его, оторвал крышку. Под лестницей было темно, я вылез обратно и, воровато озираясь, поставил ящик на ближний подоконник.

Заглянув в посылку, я обомлел: сверху, прикрытые аккуратно большим белым листом бумаги, лежали макароны. Вот это да! Длинные желтые трубочки, уложенные одна к другой ровными рядами, вспыхнули на свету таким богатством, дорожке которого для меня ничего не существовало. Теперь понятно, почему мать собрала ящик: чтобы макароны не поломались, не крошились, прибыли ко мне в целостности и сохранности. Я осторожно вынул одну трубочку, глянул, дунул в нее, и, не в состоянии больше сдерживаться, стал жадно хрумкать. Потом таким же образом взялся за вторую, за третью, размышляя, куда бы мне спрятать ящик, чтобы макароны не достались чересчур прожорливым мышам в кладовке моей хозяйки. Не для того мать их покупала, тратила последние деньги. Нет, макаронами я так просто не попущусь. Это вам не какая-нибудь картошка.

И вдруг я поперхнулся. Макароны... Действительно, где мать взяла макароны? Сроду их у нас в деревне не бывало, ни за какие шиши их там купить нельзя. Это что же тогда получается? Торопливо, в отчаянии и надежде, я разгреб макароны и нашел на дне ящичка несколько больших кусков сахара и две плитки гематогена. Гематоген подтвердил: посылку отправляла не мать. Кто же в таком случае, кто? Я еще раз взглянул на крышку: мой класс, моя фамилия — мне. Интересно, очень интересно.

Я втиснул гвозди крышки на место и, оставив ящик на подоконнике, поднялся на второй этаж и постучал в учительскую. Лидия Михайловна уже ушла. Ничего, найдем, знаем, где живет, бывали. Значит, вот как: не хочешь садиться за стол — получи продукты на дом. Значит, так. Не выйдет. Больше никому. Это не мать: она бы и записку не забыла вложить, рассказала бы, откуда, с каких приисков взялось такое богатство.

Когда я бочком влез с посылкой в дверь, Лидия Михайловна приняла вид, что ничего не понимает. Она смотрела на ящик, который я поставил перед ней на пол, и удивленно спрашивала:

— Что это? Что такое ты принес? Зачем?

— Это вы сделали, — сказал я дрожащим, срывающимся голосом.

— Что я сделала? О чем ты?

— Вы отправили в школу эту посылку. Я знаю, вы.

Я заметил, что Лидия Михайловна покраснела и смутилась. Это был тот единственный, очевидно, случай, когда я не боялся смотреть ей прямо в глаза. Мне было наплевать, учительница она или моя троюродная тетка. Тут спрашивал я, а не она, и спрашивал не на французском, а на русском языке, без всяких артиклей. Пусть отвечает.

— Почему ты решил, что это я?

— Потому что у нас там не бывает никаких макарон. И гематогену не бывает.

— Как! Совсем не бывает?! — Она изумилась так искренне, что выдала себя с головой.

— Совсем не бывает. Знать надо было.

Лидия Михайловна вдруг засмеялась и попыталась меня обнять, но я отстранился от нее.

— Действительно, надо было знать. Как же это я так?! — Она на минутку задумалась. — Но тут и догадаться трудно было — честное слово! Я же городской человек. Совсем, говоришь, не бывает? Что же у вас тогда бывает?

— Горох бывает. Редька бывает.

— Горох... редька... А у нас на Кубани яблоки бывают. Ох, сколько сейчас там яблок. Я нынче хотела поехать на Кубань, а приехала почему-то сюда. — Лидия Михайловна вздохнула и покосилась на меня. — Не злись. Я же хотела как лучше. Кто знал, что можно попасться на макаронах? Ничего, теперь буду умнее. А макароны эти ты возьми...

— Не возьму, — перебил я ее.

— Ну, зачем ты так? Я знаю, что ты голодаешь. А я живу одна, денег у меня много. Я могу покупать что захочу, но ведь мне одной... Я и ем-то помаленьку, боюсь потолстеть.

— Я совсем не голодаю.

— Не спорь, пожалуйста, со мной, я знаю. Я говорила с твоей хозяйкой. Что плохого, если ты возьмешь сейчас эти макароны и свариишь себе сегодня хороший обед. Почему я не могу тебе помочь единственный раз в жизни? Обещаю больше никаких посылок не подсовывать. Но эту, пожалуйста, возьми. Тебе надо обязательно есть досыта, чтобы учиться. Сколько у нас в школе сытых лоботрясов, которые



ни в чем ничего не соображают и никогда, наверное, не будут соображать, а ты способный мальчишка, школу тебе бросать нельзя.

Ее голос начинал на меня действовать усыпляюще; я боялся, что она меня уговорит, и, сердясь на себя за то, что понимаю правоту Лидии Михайловны, и за то, что собираюсь ее все-таки не понять, я, мотая головой и бормоча что-то, выскочил за дверь.

* * *

Уроки наши на этом не прекратились, я продолжал ходить к Лидии Михайловне. Но теперь она взялась за меня по-настоящему. Она, видимо, решила: ну что ж, французский так французский. Правда, толк от этого выходил, постепенно я стал довольно сносно выговаривать французские слова, они уже не обрывались у моих ног тяжелыми булыжниками, а, позванивая, пытались куда-то лететь.

— Хорошо, — подбадривала меня Лидия Михайловна. — В этой четверти пятерка еще не получится, а в следующей — обязательно.

О посылке мы не вспоминали, но я на всякий случай держался настороже. Мало ли что Лидия Михайловна возьмется еще придумать? Я по себе знал: когда что-то не выходит, все сделаешь для того, чтобы вышло, так просто не отступишься. Мне казалось, что Лидия Михайловна все время ожидающе присматривается ко мне, а присматриваясь, посмеивается над моей диковатостью, — я злился, но злость эта, как ни странно, помогала мне держаться уверенней. Я уже был не тот безответный и беспомощный мальчишка, который боялся ступить здесь шагу, помаленьку я привыкал к Лидии Михайловне и к ее квартире. Все еще, конечно, стеснялся, забивался в угол, пряча свои чирки под стул, но прежние скованность и угнетенность отступали, теперь я сам осмеливался задавать Лидии Михайловне вопросы и даже вступать с ней в споры.

Она сделала еще попытку посадить меня за стол — напрасно. Тут я был непреклонен, упрямства во мне хватало на десятерых.

Наверное, уже можно было прекратить эти занятия на дому, самое главное я усвоил, язык мой отмяк и зашевелился, остальное со временем добавилось бы на школьных уроках. Впереди годы да годы. Что я потом стану делать, если от начала до конца выучу все одним разом? Но я не решался сказать об этом Лидии Михайловне, а она, видимо, вовсе не считала нашу программу выполненной, и я продолжал тянуть свою французскую ляжку. Впрочем, ляжку ли? Как-то невольно и незаметно, сам того не ожидая, я почувствовал вкус к языку и в свободные минуты без всякого понукания лез в словарик, заглядывал в дальние в учебнике тексты. Наказание превращалось в удовольствие. Меня еще подстегивало самолюбие: не получалось — получится, и получится — не хуже, чем у самых лучших. Из другого я теста, что ли? Если бы еще не надо было ходить к Лидии Михайловне... Я бы сам, сам...

Однажды, недели через две после истории с посылкой, Лидия Михайловна, улыбаясь, спросила:

— Ну а на деньги ты больше не играешь? Или где-нибудь собираетесь в сторонке да поигрываете?

— Как же сейчас играть?! — удивился я, показывая взглядом за окно, где лежал снег.

— А что это была за игра? В чем она заключается?

— Зачем вам? — насторожился я.

— Интересно. Мы в детстве когда-то тоже играли. Вот и хочу знать, та это игра или нет. Расскажи, расскажи, не бойся.

Я рассказал, умолчав, конечно, про Вадика, про Птаху и о своих маленьких хитростях, которыми я пользовался в игре.

— Нет, — Лидия Михайловна покачала головой. — Мы играли в «пристенок». Знаешь, что это такое?

— Нет.

— Вот смотри. — Она легко выскочила из-за стола, за которым сидела, отыскала в сумочке монетки и отодвинула от стены стул. — Иди сюда, смотри. Я бью монетой о стену. — Лидия Михайловна легонько ударила, и монета, зазвенев, дугой отлетела на пол. — Теперь, — Лидия Михайловна сунула мне вторую монету в руку, — бьешь ты. Но имей в виду: бить надо так, чтобы твоя монета оказалась как можно ближе к моей. Чтобы их можно было замерить, достать пальцами одной руки. По-другому игра называется: замеряшки. Достанешь, — значит, выиграл. Бей.

Я ударил — моя монета, попав на ребро, покатила в угол.

— О-о, — махнула рукой Лидия Михайловна. — Далекое. Сейчас ты начинаешь. Учти: если моя монета заденет твою, хоть чуточку, краешком, — я выигрываю вдвойне. Понимаешь?

— Чего тут непонятного?

— Сыграем?

Я не поверил своим ушам:

— Как же я с вами буду играть?

— А что такое?

— Вы же учительница!

— Ну и что? Учительница — так другой человек, что ли? Иногда надоедает быть только учительницей, учить и учить без конца. Постоянно одергивать себя: то нельзя, это нельзя, — Лидия Михайловна больше обычного прищурила глаза и задумчиво, отстраненно смотрела в окно. — Иной раз полезно забыть, что ты учительница, — не то такой сделаешься бякой и букой, что живым людям скучно с тобой станет. Для учителя, может быть, самое важное — не принимать себя всерьез, понимать, что он может научить совсем немногому. — Она встряхнулась и сразу повеселела. — А я в детстве была отчаянной девчонкой, родители со мной натерпелись. Мне и теперь еще часто хочется прыгать, скакать, куда-нибудь мчаться, что-нибудь делать не по программе, не по расписанию, а по желанию. Я тут, бывает, прыгаю, скачу. Человек стареет не тогда, когда он доживает до старости, а когда перестает быть ребенком. Я бы с удовольствием каждый день прыгала, да за стенкой живет Василий Андреевич. Он очень серьезный человек. Ни в коем случае нельзя, чтобы он узнал, что мы играем в «замеряшки».

— Но мы не играем ни в какие «замеряшки». Вы только мне показали.

— Мы можем сыграть так просто, как говорят, понарошке. Но ты все равно не выдавай меня Василию Андреевичу.

Господи, что творится на белом свете! Давно ли я до смерти боялся, что Лидия Михайловна за игру на деньги потащит меня к директору, а теперь она просит, чтобы я не выдавал ее. Светопреставление — не иначе. Я озирался, неизвестно чего пугаясь, и растерянно хлопал глазами.

— Ну что — попробуем? Не понравится — бросим.

— Давайте, — нерешительно согласился я.

— Начинай.

Мы взялись за монеты. Видно было, что Лидия Михайловна когда-то действительно играла, а я только-только примеривался к игре, я еще не выяснил для себя,



как бить монетой о стену — ребром ли или плашмя, на какой высоте и с какой силой когда лучше бросать. Мои удары шли вслепую; если бы вели счет, я бы на первых же минутах проиграл довольно много, хотя ничего хитрого в этих «замеряшках» не было. Больше всего меня, разумеется, стесняло и угнетало, не давало мне освоиться то, что я играю с Лидией Михайловной. Ни в одном сне не могло такое присниться, ни в одной дурной мысли подуматься. Я опомнился не сразу и не легко, а когда опомнился и стал понемножку присматриваться к игре, Лидия Михайловна взяла и остановила ее.

— Нет, так неинтересно, — сказала она, выпрямляясь и убирая съехавшие на глаза волосы. — Играть — так по-настоящему, а то что мы с тобой как трехлетние малыши.

— Но тогда это будет игра на деньги, — несмело напомнил я.

— Конечно. А что мы с тобой в руках держим? Игру на деньги ничем другим подменить нельзя. Этим она хороша и плоха одновременно. Мы можем договориться о совсем маленькой ставке, а все равно появится интерес.

Я молчал, не зная, что делать и как быть.

— Неужели боишься? — подзадорила меня Лидия Михайловна.

— Вот еще! Ничего я не боюсь.

У меня была с собой кой-какая мелочишка. Я отдал монету Лидии Михайловне и достал из кармана свою. Что ж, давайте играть по-настоящему, Лидия Михайловна, если хотите. Мне-то что — не я первый начал. Вадик попервости на меня тоже ноль внимания, а потом опомнился, полез с кулаками. Научился там, научусь и здесь. Это не французский язык, а я и французский скоро к зубам приберу.

Мне пришлось принять одно условие: поскольку рука у Лидии Михайловны больше и пальцы длиннее, она станет замерять большим и средним пальцами, а я, как и положено, большим и мизинцем. Это было справедливо, и я согласился.

Игра началась заново. Мы перебрались из комнаты в прихожую, где было свободнее, и били о ровную дощатую заборку. Били, опускались на колени, ползали по полу, задевая друг друга, растягивали пальцы, замеряя монеты, затем опять поднимаясь на ноги, и Лидия Михайловна объявляла счет. Играла она шумно: вскрикивала, хлопала в ладоши, поддразнивала меня — одним словом, вела себя как обыкновенная девчонка, а не учительница, мне даже хотелось порой прикрикнуть. Но выигрывала тем не менее она, а я проигрывал. Я не успел опомниться, как на меня набежало восемьдесят копеек, с большим трудом мне удалось скостить этот долг до тридцати, но Лидия Михайловна издала попала своей монетой на мою, и счет сразу подскочил до пятидесяти. Я начал волноваться. Мы договорились расплачиваться по окончании игры, но, если дело и дальше так пойдет, моих денег уже очень скоро не хватит, их у меня чуть больше рубля. Значит, за рубль переваливать нельзя — не то позор, позор и стыд на всю жизнь.

И тут я неожиданно заметил, что Лидия Михайловна и не старается вовсе у меня выигрывать. При замерах ее пальцы горбились, не выстилалась во всю длину, — там, где она якобы не могла дотянуться до монеты, я дотягивался без всякой натуги. Это меня обидело, и я поднялся.

— Нет, — заявил я, — так я не играю. Зачем вы мне подыгрываете? Это нечестно.

— Но я действительно не могу их достать, — стала отказываться она. — У меня пальцы какие-то деревянные.

— Можете.

— Хорошо, хорошо, я буду стараться.

Не знаю, как в математике, а в жизни самое лучшее доказательство — от противного. Когда на следующий день я увидел, что Лидия Михайловна, чтобы кос-

нуться монеты, исподтишка подталкивает ее к пальцу, я обомлел. Взглядывая на меня и почему-то не замечая, что я прекрасно вижу ее чистой воды мошенничество, она как ни в чем не бывало продолжала двигать монету.

— Что вы делаете? — возмутился я.

— Я? А что я делаю?

— Зачем вы ее подвинули?

— Да нет же, она тут и лежала, — самым бессовестным образом, с какой-то даже радостью отперлась Лидия Михайловна ничуть не хуже Вадика или Птахи.

Вот это да! Учительница, называется! Я своими собственными глазами на расстоянии двадцати сантиметров видел, что она трогала монету, а она уверяет меня, что не трогала, да еще и смеется надо мной. За слепого, что ли, она меня принимает? За маленького? Французский язык преподает, называется. Я тут же напрочь забыл, что всего вчера Лидия Михайловна пыталась подыграть мне, и следил только за тем, чтобы она меня не обманула. Ну и ну! Лидия Михайловна, называется.

В этот день мы занимались французским минут пятнадцать-двадцать, а затем и того меньше. У нас появился другой интерес. Лидия Михайловна заставляла меня прочесть отрывок, делала замечания, по замечаниям выслушивала еще раз, и мы не мешкая переходили к игре. После двух небольших проигрышей я стал выигрывать. Я быстро приловчился к «замеряшкам», разобрался во всех секретках, знал, как и куда бить, что делать в роли разыгрывающего, чтобы не подставить свою монету под замер.

И опять у меня появились деньги. Опять я бегал на базар и покупал молоко — теперь уже в мороженных кружках. Я осторожно срезал с кружка наплыв сливок, совал рассыпающиеся ледяные ломтики в рот и, ощущая во всем теле их сытую сладость, закрывал от удовольствия глаза. Затем переворачивал кружок вверх дном и долбил ножом сладковатый молочный отстой. Остаткам позволял растаять и выпивал их, заедая куском черного хлеба.

Ничего, жить можно было, а в скором будущем, как залечим раны войны, для всех обещали счастливое время.

Конечно, принимая деньги от Лидии Михайловны, я чувствовал себя неловко, но всякий раз успокаивался тем, что это честный выигрыш. Я никогда не напрашивался на игру, Лидия Михайловна предлагала ее сама. Отказываться я не смел. Мне казалось, что игра доставляет ей удовольствие, она веселела, смеялась, тормозила меня.

Знать бы нам, чем это все кончится...

...Стоя друг против друга на коленях, мы заспорили о счете. Перед тем тоже, кажется, о чем-то спорили.

— Пойми ты, голова садовая, — напolzая на меня и размахивая руками, доказывала Лидия Михайловна, — зачем мне тебя обманывать? Я веду счет, а не ты, я лучше знаю. Я трижды подряд проиграла, а перед тем была «чика».

— «Чика» не считово.

— Почему это не считово?

Мы кричали, перебивая друг друга, когда до нас донесся удивленный, если не сказать, пораженный, но твердый, звенящий голос:

— Лидия Михайловна!

Мы замерли. В дверях стоял Василий Андреевич.

— Лидия Михайловна, что с вами? Что здесь происходит?

Лидия Михайловна медленно, очень медленно поднялась с колен, покрасневшая и взлохмаченная, и, пригладив волосы, сказала:

— Я, Василий Андреевич, надеялась, что вы постучите, прежде чем входить сюда.



— Я стучал. Мне никто не ответил. Что здесь происходит? — объясните, пожалуйста. Я имею право знать как директор.

— Играем в «пристенок», — спокойно ответила Лидия Михайловна.

— Вы играете на деньги с этим?.. — Василий Андреевич ткнул в меня пальцем, и я со страху пополз за перегородку, чтобы укрыться в комнате. — Играете с учеником?! Я правильно вас понял?

— Правильно.

— Ну, знаете... — Директор задыхался, ему не хватало воздуха. — Я теряюсь сразу назвать ваш поступок. Это преступление. Раствление. Совращение. И еще, еще... Я двадцать лет работаю в школе, выдывал всякое, но такое...

И он воздел над головой руки.

* * *

Через три дня Лидия Михайловна уехала. Накануне она встретила меня после школы и проводила до дому.

— Поеду к себе на Кубань, — сказала она, прощаясь. — А ты учись спокойно, никто тебя за этот дурацкий случай не тронет. Тут виновата я. Учись, — она потрепала меня по голове и ушла.

И больше я ее никогда не видел.

Среди зимы, уже после январских каникул, мне пришла на школу по почте посылка. Когда я открыл ее, достав опять топор из-под лестницы, — аккуратными, плотными рядами в ней лежали трубочки макарон. А внизу в толстой ватной обертке я нашел три красных яблока.

Раньше я видел яблоки только на картинках, но догадался, что это они.

1973



НЕЖДАННО-НЕГАДАННО

Расположились в скверике напротив дебаркадера. Скверик уже не походил на скверик: на бойком месте земля была вытоптана до камня, с одного бока его поджимала стоянка для машин, выдвинутая из-под моста и огороженная высокой металлической сеткой, с другого — теснила расплзшаяся, в ямах, дорога к Ангаре, с третьего — асфальтовая дорога вдоль Ангары. Высокие тополя в скверике стояли редко, но раскидисто и тень давали. К ним и повел Сеня Поздняков свою группу, как только объявили, что «Метеор», на котором предстояло им ехать, подадут с опозданием на час. Группа была из своих, из своей деревни, и из соседей, из замараевских, возвращающихся из города. Поровну по три человека оттуда и оттуда. Свои: Сеня, Правдея Федоровна, потерявшая свое имя Клавдея еще в старые времена за пристрастие к правде, когда, выступая на собраниях с разоблачительными речами против начальства, она повторяла: «Я правду люблю», — и Сенина соседка по деревенскому околотку бабка Наталья. Замараевские: муж и жена Темниковы, он инженер в леспромхозе, она — бывший врач. Но это еще по старой сдаче инженер и врач. Теперешняя жизнь сдала карты заново и козырей поменяла. И кто из них сейчас кто, они и сами не знали. Леспромхоз то работал, то не работал, больницу ужали до фельдшерского пункта, и поговаривали, что закроют и фельдшерский.

Третья замараевская — молоденькая девчужка по имени Лена, сдававшая вступительные экзамены в один из новых университетов.

Сеня, как человек бывалый, рассмотрел неподалеку за разбитой дорогой торгующую пивом коммерцию и приволок от нее три картонные коробки. Их сплющили, разодрали и устроили под седево — чтоб не на землю. Вышло вполне культурно. Расселись и принялись за разговором поджидать, когда стянется назначенный час.

Вот наступили времена: раньше, как лето, каждая деревенская изба полна городских гостей. Ехали и воздухом подышать, и стариков повидать, а у кого руки не отсохли — и помочь старикам в их непрерывном битье-колотье по хозяйству. Теперь в деревню не едут: для одних дорого, для других неинтересно. Одни спасаются участком подле дачки, который не отпускает к отцу-матери, другим позарез стал нужен и берег турецкий, и Африка вместе с Америкой. Теперь и писем в деревню не пишут, а заказывают при случае: пусть мама приедет, пусть папа приедет — соскучились.

А что такое «соскучились» — понятно.

Вот и Сене Позднякову, по которому донельзя соскучились внуки, пришлось набивать снедью два мешка и отправляться как Магомету к горе. Правдея Федоровна прямо называла себя «савраской». Уже второй раз за лето впрягалась она и ехала. Бабку Наталью на старости лет заставила сниматься с лежанки другая, как говорила она, «везея». Гостила зимой внучка и оставила золотые сережки. И два месяца уже: бабушка, отправь, бабушка, отправь. А с кем отправишь золотые сережки какого-то



фасонистого изделия? Пришлось снаряжаться самой. А сын привез сегодня на пристань и посадки не дождался: некогда.

Зачем ездили замараевские, муж с женой, осталось еще не расспрошено. Впереди длинная дорога. И до дороги сидение в маете. Девчонка, Ленка, сказала, что экзамены в университет сдала, но учиться, наверно, не будет, не понравились ни университет, ни преподаватели, а в общежитии и селиться опасно, там одни кавказцы.

Солнце нагревалось и начинало дышать горячо. По мосту через Ангару дребезжали трамваи и ползла из машин с краю с шипом огромная, во весь мост, разноцветная гусеница, то вздымаясь горбом, то опуская уродливые сочленения. А по другой боковине моста навстречу ей двигалась, поддергивая длинное членистое тело, точно такая же гусеница. И дух с моста сбрасывался едкий, злой. За Ангарой, вздымаясь в гору, продолжался город, сначала деревянный, низкий, закрытый зеленью, затем переходящий в коробчатые белые многоэтажки, нахальные и одновременно сиротски печальные. В одной из них, с шестью рядами разноцветных балконов по фасаду, и жили Сенины дочь с зятем и семилетним внуком. Сын жил по эту сторону Ангары далеко, за плотиной. Только в Сенины наезды они и сходились, что-то у них меж собой не ладилось. Но ни одна, ни другая сторона, ни дочерняя, ни сыновья, сколько ни выпрашивал Сеня, не признавались, в чем дело, закатывая одинаково при расспросах глаза, будто Сеня тронулся. Но не из тех был Сеня, кого можно оставить в неведеньи надолго, и на следующее гостеванье у него появилась надежда на сватью, на невесткину мать, которую собирались осенью окончательно забрать в город. Деревня деревню поймет. Сеня видел однажды сватью, крупную старуху с больными ногами и пытливыми глазами; она без обиняков сразу же устала их на Сеню с хитрым прищуром — будто Сеня когда-то до родства за нею приударял. Этого быть не могло. Сеня на всякий случай выпросил, где протекала ее жизнь. Не могло. Но, выпрашивая, убедился он, что сватья, которую звали Руфина Сергеевна, не поверху глядит на мир и все, что надо, выглядит. «Как вот в деревню залетают такие имена?» — подивился Сеня, знакомясь со сватьей, подбирая руку, которую она как-то быстро выронила, но имя еще больше его убедило: мимо Руфины Сергеевны ни одна семейная соринка не пролетит, она во все вникнет.

По скверу неприкаянно бродили люди, томившиеся ожиданием, натыкались на Сенин табор и отходили, морщась от убитого и захламленного угла, обманывающего сверху зеленью. У пивной за обнаженной земляной дорогой становилось веселей, оттуда доносились частый звон и бряк, возбужденные голоса. Дебаркадер, хорошо видимый по сквозящему скверу, был совершенно безлюден, на деревянном помосте причала, с которого была перекинута на дебаркадер под ступенчатым спуском стремянка с поручнями, высилась гора из огромных полосатых баулов, известных всей России.

Девчонка отошла от табора и стояла неподалеку. Отошел и инженер, рассматривая за решетчатой оградой машины.

Правдея Федоровна достала из сумки яблоки, тугие, краснобокие, с глянцевым отливом, и принялась угощать. А чего не угощать на прошлогодние зубы, которые хорошо кусали только в воспоминаниях? Сеня и бабка Наталья отказались, яблоки даже с виду были некусные. Отказалась и фельдшерица и принялась рыться в старой черной сумке с испорченным ездовым замком, застрявшим посреди хода. Склонясь над сумкой, фельдшерица вытянула ногу. Сеня смотрел на крепкую неодрябшую ногу с безобидным интересом: есть на ней чулок или нет? Чулки пошли под цвет кожи, не отличишь, а отличить зачем-то хотелось.

Ехали обратно, сумки были полупустые, с обвисшими боками. Что давалось в гостинцы или что покупалось, шло в легкую укладку. Только инженер вез большой и

плоский фигурный предмет, замотанный в целлофан. «Крыло для «Жигуля», — еще при встрече догадался Сеня, по привычке всем интересоваться, спросил, много ли отдано за крыло. Отдано было много, Сенина прикидка осталась далеко внизу. «Все в порядке, — решил он. — Никакого торможения». Он все угрюмей и терпеливей относился к загадке: если торможения нет и не предвидится, то куда же они взлетят?

Замараевская фельдшерица, елозя на Сениной картонке, вытянула из-под замка прозрачный пакет, а в пакете небольшой глиняный горшочек с землей и торчащим зеленым отростком. Бабы заинтересовались: что такое? Можно было и не спрашивать: комнатный цветок. Но из каких-то особых, сказала фельдшерица, живучих настолько, что хоть забудь о нем на полгода. Она выговорила и название, уж больно чужое, так что никто не решился переспросить. И рассказала то, чего Сеня не знал. Оказывается, на комнатные цветы в их краю нашел мор. Да, и на цветы тоже мор. Хиреют и мрут. Хоть заушаживайся, хоть глаз не спускай — никакого спасенья. Уж на что геранька терпеливый цветок, та самая геранька, без которой и солнышко не заглянет в окошко, а и на нее порча нашла. Не дает уж красного цветенья, корешок слабый, слизистый.

— А и правда! — громко подтвердила Правдея Федоровна. — То-то я все смотрю: что за казня на них, что за казня?! Правда, хворают цветы. Так это отчего? Это ежели у всех, должна быть серьезная причина.

— А у меня вроде ниче, — сказала бабка Наталья. — И геранька цвет дает. Вроде не жалобится.

— Где ты ее держишь? — Правдею Федоровну исключения не устраивали. По серьезной причине, а сейчас причины на все пошли только серьезные, цветы должны быть в опасности у всех.

— На подоконнике и держу, — отвечала бабка Наталья. — У меня подоконники широкие, я зимой подале от стекла отодвину.

Фельдшерица повторяла:

— У нас в деревне у всех, ну прямо у всех хозяек беда. А я не могу, когда окошки голые. Будто съезжать собрались. — Она подносила горшочек ко рту и ласково обдувала зеленце косолапного отростка. — Но уж этот-то, говорят, никакой заразе не поддается.

Бабке Наталье сделалось неловко, что у всех геранька болеет, а у нее не болеет:

— Мои-то, что говорить, они вековушные, у них и цвет старуший... А этот-то, ежели незаразливый, до чего хорошо!..

И вдруг Сеню осенило: ведь все просто! Проще пареной репы. Он молодецки вскочил на ноги, напугав резким движением подходящую Лену, и начал с Правдею Федоровны:

— У тебя в какой комнате цветы стоят?

— Во всех стоят.

— Где телевизор — стоят?

— Телевизорная у нас большая, на три окна.

— Ясно. — Теперь Сеня взялся за фельдшерицу: — А у вас, Александра Борисовна, под телевизором стоят?

— Они не под телевизором стоят. Они на подоконнике стоят, под солнышком.

— Телевизор на них влияет?

— Откуда я знаю?

Сеня перешел к бабке Наталье:

— А у тебя, бабка, телевизор влияет?

— Нет, — опять виновато отвечала бабка Наталья. — Не виляет. Он у меня не вилятельный.

— Нету, что ли?



— Нету, Сеня. Одна доживаю.

Подошел, привлеченный страстным Сениным голосом, инженер, прислушался. Сеня взглянул на него гоголем и начал разъяснения:

— Вот, Сергей Егорович, сделал открытие. — Взмахом руки в центр табора, как бы усаживающим, Сеня показал, что открытие тут, рядом. — Благодаря вот этому ма-аленькому вашему цветочку сделал открытие. Я вообще-то раньше его сделал, но не придал значение, что это открытие. Я ведь тоже комнатный огородник, лимоны выращиваю. Лимоны у меня — о-го-го! Все знают. За крупность балдуины называются. Приезжему кому покажешь — не верит.

— У нас сват тоже растет, — сказала Правдея Федоровна.

— Не знаю уж, как твой сват теперь растет, если меры не принял, — усомнился Сеня. — Не знаю. У меня, к примеру, полное процветание было до «перестройки». А завозилась она — кто мог подумать, что на лимоны повлияет! А только лимоны мои все хуже, все мельче. Уж не балдуины... так, хреновина какая-то, на перец смахивает. Потом и этого не стало. Завязь возьмется — и обгнила. Только завяжется — отпала. А у меня книжка, я по книжке провою уход, у меня ошибок быть не может. Какие ошибки, если я пятнадцать лет с этим делом вожусь! — еще решительней отмел Сеня и придержал голос, принапряг для самого главного: — И только после, как выбросил я телевизор из дому!.. я по другой причине его выбросил... А почему по другой? — спохватился он. — Причина одна. Причина какая: что он преподносит. Я выбросил — такие номера он стал откидывать, что я... человек неконченный... возмутился!

— Возмутился! — слабо ахнула бабка Наталья.

— И выбросил! — продолжал Сеня. — Выбросил и живу, на лимоны не гляжу. Я уж на них рукой махнул. Похоронил, можно сказать. А потом как-то ненароком глядь: лимоны-то мои, лимоны-то! — оживают! Я глазам не поверил. Неделя прошла — еще лучше. И пошли, и пошли!

— Телевизор виноват? — насмешливо спросил инженер, отмахиваясь от слетевшего на него желтого листа.

Сеня задрал голову: откуда взялся желтый лист среди сплошной зелени? Внимательно осмотрел тополевое верховье: нет, кое-где желтизной проблескивало... Август как-никак. И только после этого твердо ответил:

— Телевизор. Вот почему. Мы же читали все, кто с этим делом возится, что домашняя растения любит ласку. Спокойствие любит. Мужик на бабу если рявкнет — тут твоей гераньке смертная казнь.

— Они музыку любят, — добавила Лена.

— Музыка любят. Но какую? Опять же ласкательную, она им рост дает. А какую музыку нам по телевизору показывают? Крапиву посади перед телевизором — и крапива сей же момент под обморок! А уж что там нагишом выделывают!.. Это мы, как червяки, глядим, а растения... она чувствительная. Она и «караул!» закричать не может, а то бы они все враз вскричали...

— Закон, значит, такой вывели? — посмеивался инженер.

— Закон! Вывел! — еще тверже отвечал Сеня.

Замараевские бабы смотрели на него с уважением: ну, Сеня... наш Сеня любой спор выпорит, на любого ученого человека храбро пойдет.

Все чаще стали оглядываться на Ангару: не взбелеет ли «Метеор»? — и народ появился возле дебаркадера, торопя посадку. Подъезжали и машины, куда-то ненадолго отскакивавшие, запряженные для проводов. Ангара, взбученная мостовыми быками, бурлила, закручивалась в воронки, пенилась, звенела и, скатываясь мимо дебаркадера, уходила быстро и рябисто. Солнце, безрадостное от чадающего города, стояло почти над головой. Шел только десятый час.

Неподалеку, за старым раздвоенным тополем, одним стволом сильно склонившимся в сторону моста, пристроились, заметил Сеня, женщина с девочкой. Девочка сидела спиной, видна была только белая головка с разлохмаченной косой; женщина, уже немолодая, выдавая виды, со встрепанным выражением на круглом нервно лице, беспокойно оглядывалась. Когда Сенин голос поднимался до накала, она вздергивала голову и морщилась.

Фельдшерница спрятала обратно в сумку отросточек, от которого Сеня и вывел закон, и вытянула взамен какую-то завертушку в красивой обертке, протянула мужу. Он отказался. Она принялась сама разворачивать завертушку. Но не тут-то было — та не давалась. С какого бока, с какого края ни тянула фельдшерница — хрустящая бумага только издевательски повизгивала. Все с интересом наблюдали, чья возьмет. Нет, не бралась штукенция. Не выдержав, фельдшерница применила зубы. Она вонзала их так и этак, испуганно поводя глазами за наблюдавшими, вот-вот, казалось, зарычит от нетерпения — и со стыдом отступилась, сплюнула.

— Там стрелка должна быть, — подсказала Лена. — Указательная стрелка, куда тянуть.

Принялись всей компанией, передавая друг другу изжульканную завертушку, искать стрелку и не нашли, ее или забыли указать, или нарочно не указали, чтобы проверить смекалку деревенского народа. А что проверять! — инженер вынул откуда-то из-под куртки нож, с которым и на медведя не страшно идти, и с наслаждением, крикнув, будто от усилия, всперол штукенцию.

— Вот так, — мстительно отозвалась бабка Наталья. — Дофунькалась.

— Пошто дофунькалась?

— Откуль я знаю? — Бабка Наталья тянулась рассмотреть, что было в хрустящей бумаге, до чего так мучительно добивались. — Ну и че? — спрашивала она. — Че там?

— Сама же говоришь: фунька. — Фельдшерница взяла в рот какое-то цветное крошево из красного, зеленого и желтого и, замерев, испытывала ощущения.

— Попробуй. — Она протянула в ладони крошево бабке Наталье. Та осторожно приняла, лизнула с руки.

— То ли едово, то ли ядово. Нет уж, — решительно отказалась она, — лутче знать, от чего помирать.

— И правда, — подтвердила Правдея Федоровна, со страданием на лице наблюдавшая, как пробуют неизвестное вещество. — Его, может, для того и запечатывают крепко, что оно опасное.

— Написали бы, если опасное...

— Там че-то написано.

— Написано-то не по-русски.

— А не по-русски написано, — русский человек не лезь, не разевай рот, — неожиданным басом сурово сказала Правдея Федоровна. — Там, может, от тараканов написано.

Фельдшерница сплюнула жвачку:

— Тьфу вас! Наговорите!

— Нисколь не проглотила? — полюбопытствовала бабка.

— Нет.

— Ну и слава Богу. От греха подале.

Помолчали, оглядываясь на реку.

— Ну, а что такое все же «фунькать»? — заинтересовалась Лена. — Есть такое слово или нет?

Бабка Наталья с Правдеей Федоровной переглянулись, улыбаясь, остальные вопросительно смотрели на них.



— Ты вроде деревенская, а спрашиваешь как городская. — Бабка Наталья расмеялась мелконьким сухим смехом. — Маленькая была — воздух портила втихомолку али с музыкой?

— С тем и другим, — не растерялся Сеня.

Посмеялись, потом бабка Наталья закончила:

— Ежели втихомолку, так это оно и есть...

— Искомое насекомое, — отличился на этот раз инженер.

День разгорался жарким. Со стороны улиц, набегающих на мост, доносился дых города, сладковато-выжженный, сухой. С другой стороны набегала волной речная свежесть. То одним пахнет, то другим. Назначенное для «Метеора» время еще не вышло, но народ томился все пуще, запрудив асфальтовую дорогу возле Ангары. Машины музыкалили на разные голоса, прокладывая себе проезд.

— Пойду узнаю последние известия, — вызвалась Лена.

Последние известия были: еще на полчаса отсрочка.

* * *

Женщину под солнцем разморило: ночь она спала плохо, голова была тяжелой, и чувствовала она несвежесть во всем теле. Они с девочкой оказались здесь случайно. Случайно и не случайно. Женщину всегда тянуло на вокзалы, откуда можно уехать, и сегодня они с девочкой уже побывали на железнодорожном. Сегодня женщина задумала такое, что и вокзалы не помогут, и без них не обойтись. Проезжая в трамвае, она с моста заметила кружение пассажиров перед отправкой «Метеора» и на остановке потянула за собой девочку. Они побродили-побродили вокруг, ни с кем не заговаривая, выделяясь среди пассажиров своей вялостью, и приткнулись возле компании деревенских. Разговор их еще больше убедил женщину, что люди они невинные и настоящей жизни, которая теперь взяла силу, не знают. Ей тем и нравился речной вокзал, что пассажир тут был не из воронья и отдавался он теплоходу на подводных крыльях, чтобы поскорей добраться до семьи, до деревни и подольше оттуда не выглядывать.

Девочка грызла пряник, как белочка, держа его обеими руками. Женщина принялась укладываться, шурша газетами, которые поднимало речным поддувом, пока она не догадалась придавить их камнями. «Никуда не уходи», — сказала она девочке. Та не ответила. «Сегодня, сегодня!..» — как заклинание, повторяла женщина, закрывая глаза и подбирая под себя ноги, чтобы не выглядеть так, будто валяться на земле ей в привычку.

Голоса бубнили, то затихая, то усиливаясь, когда принимался говорить этот, петушистый... Женщина уже различала его голос — горячащийся, нервный и наивный. Острый голос — заснуть под него не удавалось, но и открывать глаза, смотреть на белый свет не хотелось.

— Вот объясни ты мне, Сергей Егорович, — шел на очередной приступ горячий мужичонка, — у меня ума не хватает понять. У нас ведь победа на культурном фронте дошла до всеобщей грамотности. Всеобщее среднее образование у нас было. Было или нет?

— Было, — соглашался с мукой второй мужик. Он что-то сказал еще, но в движении, должно быть переходя под тень, — что-то недолетевшее.

— Но ведь среднее образование — это же много! — горячился первый. — Это по уши ума. А едва не половина народу — с высшим образованием. Дальше некуда. Так? Так, да не так. Вот тут и фокус. Если мы все были такие умные, почему мы вышли в такие дураки? Я об этот вопрос всю голову сломал. Почему, Сергей Егорович?

— Мы не дураки...

— Мы не дураки, мы теперь умные, — быстро, с удовольствием согласился спорщик. Этот, если никого рядом не окажется, сам с собой будет спорить. — Очень хорошо, — продолжал он. — Но если мы сегодня такие умные, почему мы вчера были такие дураки? При всеобщем среднем образовании с заходом в высшее. И работу мы делали не ту, и ели не то, и спали не так, и ребятишек делали не с той стороны, и солнце у нас, у дураков, не оттуда всходило. Кругом мы были не те. Но почему? Говорят, нас специально учили так, чтобы и высшее образование было не выше дураков. Такая была государственная задача. Ладно, задача... Но почему?.. Если мы все были такие дураки, как мы за один кувырк стали такие умные? И сразу взяли правильный курс — все делать с точностью до наоборот?

Второму мужику не хотелось спорить, он замолк, делая опять какие-то передвижения. Старуха вздохнула с жалостью и сказала:

— Почему ты у нас, Сеня, такой истязательный? Ну прямо сердце надрывается на тебя глядеть.

«Умные, дураки... — полусонной и безжалостной мыслью прошла женщина по услышанному. — Нет теперь ни умных, ни дураков. Есть сильные и слабые, волки и овцы. Все ваше образование пошло псу под хвост. У нас и профессора в лакеях служат или на цепи сидят».

У соседей началось шевеление, и женщина решила, что, должно быть, подходит их водный транспорт. Она села и огляделась. Нет, все было в том же томительном ожидании, все так же толкся народ, не знающий, чем себя занять. Солнце сразу стало горячее, едва она подняла голову. А зашевелились рядом — принесли пиво и воду и устраивали посреди круга стол.

— Дать еще пряник? — спросила женщина у девочки. Та отказалась и опять застыла, держа головку на поднятой шее, глядя без всякого чувства на дорогу, где, гоняясь друг за другом, играли в пятнашки мальчик и девочка ее лет.

«Надо что-то делать», — опять забеспокоилась женщина и покосилась на стоящего к ней вполоборота Сеню. С моста сорвался грохот трамвая, особенно тяжелый, оглушительный, над головой зашумела листва. Сеня взапятки сделал два шага и стоял с задранной головой.

— Эй! — окликнула его негромко женщина и еще раз, посильнее, пока он не оглянулся. И показала ему кивком головы, чтобы он подошел. Сеня подумал и подошел, со стаканом воды в руке облокотясь на изгибающийся ствол тополя. Женщина пригладила ладонями лицо, точно обирая с него усталость, взгляделась в Сеню, что-то решая, и сказала:

— Угости пивом.

Ей было лет сорок, на круглом лице с большими, теперь припухшими глазами и большими синими подглазьями замечались следы не только бессонной ночи, но и приметы покотившейся жизни. Смотрело лицо угрюмо и растерянно. Женщина еще старалась держать себя, на ней была свободная и длинная серая кофта поверх тонкой полосатой рубашки и короткие, открывающие щиколотки, коричневые брюки хорошей материи. На ногах кроссовки. Женщина старалась держаться, и все же нельзя было не заметить, что каждый месяц жизни дается ей в год.

— Пивом я и себя не угощаю, — ответил Сеня, всматриваясь и не умея сдерживать любопытство. Не походила она на попрошайку, играла какую-то роль.

— Тогда водой угости. Жарко.

— Ангара рядом.

— Девочка любит сладенькую, — играя лицом, что, должно быть, когда-то получалось у нее красиво, а сейчас — манерно, настаивала женщина.

Девочка, сидевшая спиной, обернулась, и Сеня ахнул. Он узнал ее. Он видел ее только вчера.

* * *

Вчера они с Людмилой, с дочерью, пошли по базару посмотреть кой-какого товару. Требовалось самое необходимое для подступающей осени — телогрейка для Гали (старую, истрепанную недосмотрели в сенцах, в углу, и на ней кошка принесла котят) и ему, Сене, кирзовые сапоги. Любил он еще, бывая в городе, поискать «то, сам не зная что», как в присловье, в чем нет крайней нужды, а увидишь и загорись, возьмешь. Так он купил однажды кофемолку за один только притягивающий взгляд ее вид — приглянулась и запросилась в руки, а потом долго не знал, что с нею делать, кофе он не пил. Простояла кофемолка в праздности, наверное, года с два, и вдруг слышит Сеня грохот из избы, будто там запустили дизель. А это Галя приспособила кофейную машину под помол сухой черемухи, и та от возмущения подняла крик. Сеня прикрутил винты — стала работать тише. С тех пор безотказно мелет. Вот и игрушка... любую игрушку, если имеется голова, можно пустить в дело.

У них в Заморах ничего подчистую не стало, и магазин о двух высоких крыльцах на две половины показывал замки уже года три. Бросили деревню. Как ни ругай коммерцию, а приходится говорить спасибо одному приезжему парню, который муку с крупой и соль с сахаром изредка привозит и торгует из амбара. Торгует с наценкой, но делать нечего. Да и денег нет, чтобы скупиться. Что появится чудом или из милости — отнесешь этому парню, Артему, и живи без размышлений, что бы еще купить.

Покупают в Иркутске в «Шанхае». Так называется вещевой рынок, по-старому барахолка, расположившийся по обочинам рынка продовольственного, крытого. Название дано по китайскому товару, который гонят сотни и тысячи «челноков», снующих беспрестанно туда и обратно. Громадные полосатые сумки, раздувающиеся как аэростаты, способны вместить полцарства. Гвозди и спички, карандаши и нитки, шнурки и пуговицы, мертвые цветы и бегающие игрушки, не говоря уж о тряпках, о посуде, об обуви, о снеди, о всякой подручности, все везется из Китая. И все непрочно, быстро дырявится, портится, расходуется по швам, превращается в хлам, а значит, требует замены. И китайцы заинтересованы в плохом качестве, и «челноки», и, похоже, сам Иркутск, потому что иной работы он дать не может. Все свое сделалось в России невыгодно.

В «Шанхай» и повезла Сеню Людмила. Они сошли с трамвая и сразу окунулись в светопреставление. Кругом все кричало, визжало, пищало, совало под нос какую-то раскрашенную дрянь, и все колыхалось, двигалось, полосатые баулы били Сеню по голове и по ногам, дюжие квадратные девки кричали на него и яро матерились — и он бы упал, его бы затоптали, но упасть в плотной движущейся массе людей и товара было некуда. Людмилу он быстро потерял, онемел и только покрывал, когда толкали и сжимали особенно больно. Каким-то чудом вынесло его на отбой, несколько раз еще крутануло и остановило. Из последних сил Сеня отпрыгнул в сторону.

Деньги в кармане оказались на месте. Сеня отдышался, для верности еще раз ощупал себя, целы ли кости, приободрился своим спасением и стал наблюдать, что это такое — откуда он спасся и что называется торговлей. Покупать там невозможно, там происходило что-то иное. Полосатые, под вид матрасовок, баулы все двигались и двигались, их катили на тележках, несли на загорбках, на головах, выставляли перед собой в две, в три пары рук и таранили ими народ. Сеня кумекал: значит, тут место перевалки. Одни привозят из Китая, другие съезжаются со всей области, а может, и шире, делают оптовую закупку, потом и у них появляются перекупщики — и так за несколько оборотов товар наконец добирается до Сени и таких, как он, кто выкладывает за него последние деньги. Увидев действие этой огромной крутящейся

машины изнутри, Сеня поразился ее адовой простоте и изобретательности, какому-то беспрерывно громяющему взрыву, раскидывающему полосатые тюки.

Они договаривались с Людмилой пойти после «Шанхая» в торговый центр на базарной площади; сапоги могли залежаться там. Туда и отправился Сеня, надеясь, что Людмила догадается, где его искать. Он подошел к главному входу и стал прогуливаться, наблюдая тутошнюю жизнь. Везде, на каждом шагу, теперь сделалось интересно. Неподалеку, слева, мучили медведя, облезшего, полуживого и старого, выставив его как приманку для фотографирования. Медведь стоял на задних лапах, уронив голову и исподлобья косясь на окруживших его ребятишек; видно было, что он давно смирился и с цепью на шее, и с тем, что жизнь его кончилась; потом перевалился на все четыре лапы, цепь загремела, ребятишки завизжали, а медведь понуро, по-собачьи, ткнулся мордой в бетон, что-то там вынохивая. Фотограф, толстый мужик с бабьим лицом, хозяин медведя, сидел на складном стуле возле щита с фотографиями и изобразал улыбку на недовольном лице: на медведя глазели, а под фотокамеру не шли. От массивного здания магазина уже ложилась тень, и под нее пристроились прямо на бетонной плитке несколько цыганят и три старика, один совсем безногий, на каталке. Сеня и за ними понаблюдал: давали совсем плохо, но из малого больше всего перепало безногому. Цыганята не выдерживали пустого сидения, бросались канючить, хватали прохожих за руки — их отталкивали, зная, что цыганское племя нынче богаче русского. И гремело из ларька, торгующего музыкой, так оглушительно, что Сеня тряс головой и думал: а ведь этак недолго вызвать землетрясение.

Чтобы не разминуться с Людмилой, он поднялся по ступенькам и у самого входа в магазин присел над последней ступенькой на край мраморной широкой площадки. Туда и обратно, вверх и вниз сновал народ, это был субботний день, но после «Шанхая» суэта здесь крутилась спокойно и люди шли своими ногами, могли разговаривать и понимать друг друга.

Тут-то и увидел Сеня эту девочку, точно слетевшую из сказки. Она сидела прямо напротив, по другую сторону ступенчатого подъема. Сеня сначала не догадался, зачем она сидит среди этого хоть и затихшего по сравнению с «Шанхаем», но все-таки лежащего повсюду безобразия с нищими, медведем и бушующей музыкой, и только обратил внимание на ангельское личико лет пяти-шести, промелькивающее между проходящими. Не засмотреться на него было нельзя: дымно-белые волосы, какие называют льняными, сразу уходили назад в тугую косу с темно-красным бантом, и лицо, чуть вытянутое, чистое, нежного и ласкового овала, было открыто. Глаза, нос, губы, щеки — все было вылеплено на этом лице с удивительной точностью, чтобы ничто отдельно не выделялось, а вместе являло ангельский лик. Глаза небольшие, глубокие, голубые; курносинка, та самая изюминка, которая делает лицо занимательней; щеки без подушечек, ровные; рот правильный, со слегка оттопыренной нижней губой. Нет, не лепилось это лицо взаимным наложением родительских черт, а выдувалось, как из трубки стеклодува, небесным дыханием.

Сеня так внимательно рассмотрел девочку, когда, заметив, что возле нее приостанавливаются, подошел взглянуть, почему приостанавливаются. И увидел: на коленях девочки, зажатый ногами, уже и не лежал, а стоял раскрытый пакет. В него опускали деньги. Опускали и, отходя, оборачивались, чтобы полюбоваться. Девочка склоняла головку, острые плечики ее подавались вперед, и монотонно и печально повторяла:

— Спасибо. Спасибо. Спаси вас Бог. Спасибо.

На ней была синенькая курточка с большими накладными карманами и подвернутыми рукавами и плисовая оранжевая юбочка. То и другое старое, стираное, но чистое. Красные сандалики поверху потрескались.



Сеня тоже опустил в пакет бумажку в пять тысяч. Для него это были деньги. За такие деньги он встал сбоку, на ступеньку ниже, и, чувствуя второе после «Шанхая» потрясение, охваченный удивлением, жалостью и болью, смотрел неотрывно, как опускают и опускают деньги. Господи, что же это на свете делается?! Видит ли Бог? А может, это Он, Бог, послал от Себя это ангельское создание, чтобы иметь чистое свидетельство?

Не удержавшись, Сеня тронул за плечико девочку и спросил:

— У тебя мама есть?

Она торопливо и отрицательно, не поднимая глаз, замотала головой.

— С кем же ты живешь?

— Одна.

Едва он заговорил с девочкой, их стали обходить. Не зная, что сказать и чем унять свою боль, Сеня продолжал стоять рядом. Девочка вдруг попросила:

— Дядя, отойдите, пожалуйста, вы мне мешаете.

Он отошел. Нервно закурил, стоя на мраморной площадке, чтобы быть на виду, и смотрел куда-то поверх города. Здесь и нашла его дочь. Жадно хватая дым, Сеня показал Людмиле на девочку:

— Посмотри какая. Говорит, что одна живет.

— Я слышала про нее, — вспомнила Людмила. — Слышала, будто в коробках на базаре ночует. — Она всмотрелась в девочку. — Не похоже, чтобы в коробках. — И добавила: — Мы устали от грязной, оборванной нищеты, нам и нищету подавай красивенькую.

* * *

Сеня купил и пива для женщины, и для девочки подкрашенной воды в литровой пластмассовой бутылке, прогибающейся под рукой. Они отошли от коммерции вглубь пустыря, который все другие старались обходить. Сеня еще помнил по старым наездам в город, что здесь стояли деревянные дома с заросшими зеленью двориками. Дома снесли, освобождая место для какого-то большого строительства, но тут упало нестроительное время, и так все и осталось в горьком запустении. Из земли выбило дождями гнилые деревянные оклады домов, кучами торчали кирпичи и глина от печей, до сих пор пахло гарью и затхлостью. Трава выбивалась кустистыми пучками, торчали обгоревшие доски, чернели следы кострищ.

Сесть было некуда, да Сене и некогда было с посиделками, в любой момент мог показаться «Метеор». Он сам открыл банку с пивом и вздрогнул от тугого фырка, с каким выбросился из банки газ. С бутылкой провозился больше, пробка прокручивалась, и пришлось ее по-дикарски свернуть на сторону. Девочка приняла бутылку обеими руками, сказав вчерашним голосом «спасибо», и опустила на землю, присела на корточки рядом. Женщина отпила из банки без той жадности, которую можно было от нее ожидать. Она продолжала присматриваться к Сене, а он не мог отвести глаз от девочки и заметил на этот раз, что ангельское лицо, с таким вдохновением слепленное, пожалуй, не вздуто изнутри свечкой, которая бы его освещала и теплила. Или она загасла уже при жизни; лицо казалось тусклым. И все же оно было красивым, очень красивым какой-то красотой иных краев. Одета она была по-иному, чем накануне: в платье мягкой зелени с отложным воротничком и вышитым на груди цветком; на ногах белые, со шнуровкой, низкие туфельки. Пригляд за девочкой был, в этом можно было не сомневаться.

— Купи девочку. — вдруг услышал Сеня.

Он обернулся, медля, раздумывая, что ответить на такие слова, и встретил прямой тяжелый взгляд припухших глаз.

— Очумела? С глотка пива повело? — только и нашелся он сказать.

— Я серьезно. Купи.

— А себя ты, конечно, давно продала? И не разбогатела?

— Себя... давно... — раздельно ответила она.

— Давай-ка отойдем, — сказал Сеня. Ему было стыдно говорить при девочке, и он отвел женщину шагов на тридцать. Девочка спокойно оглянулась на них и снова уставилась на Ангару, все так же сидя на корточках и держась обеими руками за бутылку.

— Ну и что? — приступил Сеня. — Что ты за штука? Ты что — высмотрела деревню и решила кино показать?

— Нет.

— Нет, говоришь? А почему ты взялась детишками торговать? Коммерцию, что ли, такую открыла?

Женщина отпила из банки и откинула ее в сторону; пиво забулькало, выливаясь.

— Ты меня лишним не ляпай, Сеня, — сказала она все так же тяжело, не задираясь. И не удержала взятого тона, вильнула: — Тебя Сеня зовут? Мальчик Сеня. А перед тобой девочка Люся. Ту девочку зовут Катя. Детишками я не торгую.

— А что ты мне только что предлагала? Редиску с грядки купить?

— Мне надо срочно уехать.

— Ты не мать ей?

— Нет, матери у нее нет. Ни отца, ни матери.

— А кто ты ей?

— Тетя Люся. Я не первая у нее тетя.

— Тебе надо срочно уехать... с девочкой и поезжай. Или она тебе не нужна?

— Вместе нам далеко не уехать, нас поймают, — оглядываясь, торопливей заговорила женщина. — И не на что ехать.

У нее была привычка: когда она умолкала, то принималась нервно терзать сомкнутые губы.

Сеня точно на землю опустился: о чем они говорят? Где он? Ведь она предлагает ему купить девочку! Не куклу, не котенка купить, а живого человека! И он что же, выходит, торгуется с нею?! С этой женщиной, которую и знать не знает! Почему он с нею разговаривает, зачем?!

— Детей я не покупаю, у меня свои есть, — решительно сказал он, собираясь развернуться и уйти. — Ты что-то не то во мне высмотрела, тетя.

Женщина облизнула губы и покосилась на выброшенную банку.

— Так возьми, — мрачно сказала она.

— Ну дела-а! — восхитился Сеня. — То купи, то так возьми. Если дальше у нас туда же пойдет, ты мне еще и деньги большие дашь. — Он решил, что хватит играть втемную. — Она ведь, девочка твоя, кажется, неплохо зарабатывает. Я вчера видел ее...

— Где ты ее видел? — быстро спросила женщина.

— У торгового центра. С мешком денег.

Женщина кивнула с усмешкой:

— Все точно: там. И пас ее там вчера Ахмет. Из этих денег нам ни копейки не достается, все забирают. — Она встряхнулась всем телом, по-куриному. — Надо же: видел. Извини, Се-ня. — Она окликнула громко, уже не боясь: — Катя! Пошли! — И сказала для Сени: — Пошли в свою камеру, побег не состоялся. Там Олега уж добивают, что выпустил нас.



Девочка поднялась на ноги, но не двигалась. Ангара заворожила ее.

— Она не больная? — спросил Сеня, чувствуя, как заньло у него страдальчески сердце. — Вялая какая-то, замороженная.

Женщина еще и добавила:

— Жизнь такая. Одних цепь заставляет кидаться на людей, других в обморок кидает. Жалко ее, — без выражения сказала женщина и первой заметила: — Вон ваш пароход показался.

«Метеор» только выплывал из затона, сияя округленной и длинной, как у ракеты, белизной.

«Вот сейчас сяду, — подумал Сеня, — и не увижу больше никогда ни девочку эту, ни женщину. Сяду сейчас, закрою глаза и спрошу себя... И долго потом буду спрашивать, может, всю жизнь. Вот угораздило».

Они приближались к девочке. Она повернула к Сене лицо, настороженное, ожидающее, и смотрела, точно пытаясь угадать, договорились или нет.

— Слушай! — Сеня решительно затормозил. — Поехали вместе, — обращаясь к женщине, торопливо, горячо заговорил он. — Приедем, ты жене, Гале, все расскажешь. Это же рассказать надо, а не так, что привез и вывалил. Она поймет. И ты поживешь среди нормальных людей. Ну? Едем? Сама говорила, что тебе уехать надо. К нам и поедем. У нас надежней надежного.

Женщина, отказываясь, покачала головой.

— Се-е-еня! — в несколько голосов закричали из-за коммерции. — Где ты, Сеня? Па-е-хали!

Сеня встряхнул женщину за плечи:

— Если не врала ты, то дура. Быстро! Деньги у меня на дорогу есть.

— Сеня-а! — испуганно надрылась бабка Наталья.

Он неотрывно смотрел на женщину. Она медленно нагнулась, чтобы поднять сумку, и второй, левой, рукой отерла лицо, показывая, что готова.

Первый и второй салоны уже разобрали, когда они, толкаясь, задевая друг друга сумками и свертками, влезли на «Метеор». Бабка Наталья от волнения слабо постанывала и все хваталась за Сеню, Правдея Федоровна танком шла впереди. Замараевские инженер с фельдшерницей ушли раньше, но Лена осталась в Сениной группе. Новых знакомых Сеня не терял из виду, они отстали, но двигались вслед за ним.

За вторым, средним салоном они поднялись на пять ступенек, прошли по открытой площадке с высокими бортами и на пять ступенек за дверью спустились. Третий салон, в трюме, был и качества третьего, для простонародья, полутемный и прохладный, со скошенной вонне задней стенкой. Сеня выбрал места на левой половине, по ходу теплохода она становилась правой, обращенной к родному берегу. Он пропустил бабку Наталью к окну, рядом с нею ухнула в кресло Правдея Федоровна, потом аккуратно присела Лена. Себе Сеня взял место у прохода. Позади него устроились женщина с девочкой. Набились и в этот салон, оклика друг друга и друг ко другу переходя, уталкиваясь дружественной. Взревел двигатель, «Метеор» затрясло крупной дрожью, почувствовалось слабое и набирающееся скольжение. Все отъехали. С опозданием почти на два часа, да дорога на семь часов. И с неожиданными, упавшими как снег на голову, гостями.

Сеня перегнулся сбоку за свое кресло, проверяя, здесь ли они. У девочки на лице появилась тень спокойного удивления, она не понимала, как они здесь оказались, и бросала взгляды на женщину, словно спрашивая: что же мы делаем? Женщина, тоже озираясь, кивнула Сене, подтверждая: что сделано, то сделано. Лицо у нее пошло пятнами. Сеня принял это за жар от вчерашнего перегрева.

«Метеор» развернулся у самого моста, и Ангара подхватила его, понесла, затем он и сам поддал, разрезая воду, с шумом и плеском отваливая ее на стороны. Замелькали городские берега, сплошь застроенные, погребенные под бетоном, к которому и волна сбегала робко. Незаметно берега переменялись, пошли дачи с длинной вереницей лодок, темных и раскрашенных, и уж на них-то волна пошла с лихостью, высоко их подбрасывая и заваливая. А потом и вовсе вырвались на волю.

Сеня поднялся, чтобы сходить за билетами. Для себя он билет взял загодя, требовалось позаботиться о новеньких. Но вслед за ним сразу же поднялась женщина, догнала его за дверью и остановила.

— Я сама, — решительно сказала она, не глядя на Сеню. — На это у меня есть.

Он вернулся на место, размышляя; было о чем подумать. Дрожь всего корпуса теплохода в корме не прекращалась, а когда «Метеор» набегал на чужую волну, било о борт резко и гулко. Шум в салоне от разговоров и хождения нарастал, от вареной курицы, которую несли из буфета, запахло с пресностью подсыхающей банной мочалки. Прошел наружу матрос, совсем молоденький и маленький большеголовый парнишка, оставив заднюю дверку открытой, и в нее было видно, как синим кипятком сквозь белую пену кипит за кормой вода. Бабка Наталья успокоенно вздыхала, по привычке деревенского человека интересуясь не берегами, а незнакомым народом; Правдея Федоровна сидела важно, еще не выбрав, чем заняться; Лена среди стариков скучала. Но все постепенно обтерпевались, втянутые в дорогу. Если тебя везут и ты семь часов можешь не оттирать задницы от кресла и отдаваться впечатлениям, это не значит, что тебе так уж беззаботно. Тушу твою везут, а душу везешь ты сам.

Воротилась женщина и, проходя, подмигнула Сене: все в порядке. Сеня слышал, как она за спиной говорит девочке:

— Вот твой билет.

— А твой? — спросила девочка.

— Мой у меня.

И завозились в сумке, что-то отыскивая и перекладывая. Теперь поднялся Сеня, сходил в буфет, купил опять той же воды, которую оставили на пустыре, шоколадку, на обертке которой развеялся парус российского происхождения, и несколько булочек. Больше ничего, кроме спиртного, в буфете и не было. Курицу уже растащили. Все это Сеня выложил перед девочкой, потрепал ее по льняной головке, а когда она подняла на него глаза, подмигнул.

— Давай-ка! — только и сказал он, чтобы не дырять главный, предстоящий разговор торопливыми вопросами.

— Сеня-а! — позвала тут же бабка Наталья, только он уселся. — Это кто такие?

— Старые знакомые, — отговорился он.

— Я пошто не знаю?

— Я твоих знакомых из твоей молодости тоже не знаю.

Бабка Наталья подумала и удивилась:

— Ты-то пошто не знаешь? Они все в деревне. Кто в верхней, кто в нижней.

«Нижней деревней» называли кладбище. Бабка просунула голову в проем между спинками кресел, подержала ее там.

— Бравенькая какая девочка! — похвалила она, возвращая голову на место. — Докуда едут-то?

— Докуда билет велит.

— Не к нам?

— Точно не знаю.

— Ну, хитри, хитри...

Поднялась прогуляться Лена, потом принялась подниматься Правдея Федоровна. Сеня, поленившись, не освободил для нее выход, вжался в кресло, заведя ноги на сторону, — и Правдея Федоровна застряла, выдираясь, уперлась рукою в слабую Сенину грудь и чуть не раздавила. Пришлось поохать обоим. Лена долго не возвращалась, гостила у своих, у замараевских, в среднем салоне. Воротилась возбужденная.

— У нас тетя умерла, — сообщила она, поводя расширенными глазами, оглядывая по очереди всех.

— Ну-у! — ахнула Правдея Федоровна. — Похоронили?

— Нет, завтра похороны.

— Гли-ка: как знала — к сроку-то едешь...

И только после этого вместе с бабкой Натальей принялись выяснять, какая из Лениных теток скончалась, их у нее было много. Оказалось, тетя Дуся, отцова сестра, та, что жила на верхнем краю Замараевки рядом с Верой Брюхановой. Поохали, повздыхали, не утешая девчонку, опуская в своей памяти и еще один гроб из земного окружения и устанавливая себя на какое-то новое место в происшедшем передвижении. Правдея Федоровна вздыхала громко, мощно. Расспрашивая, перебирала в Замараевке своих знакомых, упомянула опять Веру Брюханову, подружку по молодости, с которой не виделась года два...

— И не увидишься, — сказал Сеня, не сумев сдержать удовольствия от ловко пришедшегося подхватного слова. — Переехала твоя Вера Брюханова.

— Куда переехала? Что ты буровишь?

Лена испуганно объяснила:

— Она же умерла! Еще зимой умерла!

— Вера умерла?! — выкрикнула Правдея Федоровна.

— Еще зимой. Кажется, в марте. По снегу.

Правдея Федоровна помолчала, приходя в себя.

— Что это за жизнь пошла?! — требовательно воззвала потом она. — Что за жизнь пошла! Вера померла — и за полгода слух по Ангаре за двадцать верст не сплыл. Это когда так бывало?! О, Господи!

— Сильно много народу помирать стало, — по-своему объяснила бабка Наталья.

Сеню тронули за плечо: над ним стояла женщина, его гостя, она спросила сигареты. Сеня протянул ей пачку; он курил, но все реже и реже. В одиночестве и за весь день мог не вспомнить про курево, а с мужиками, глотнув дыму, не утерпевал, травился.

Пока женщины не было, Сеня пересел к девочке, стал рассказывать, что ведется у него в хозяйстве.

— Во-первых, две коровы, — перечислял он. — Молоко будешь пить от пуза. Мы поросенка от некуда девать молоком поим. Во-вторых, бычок, уже с рожками. Стоит-стоит — да ка-ак взбрыкнет, будто шилом его ткнули, и давай носиться по телятнику. — Сеня наблюдал: девочка слушала внимательно, но ни до коров, ни до бычка не дотягивалась воображением, лицо ее оставалось безразличным. Шоколадку она не тронула, та нераскрыто лежала у нее на коленях, а булочку потеряла. — В-третьих, боров на подросте... Но боров, он и есть боров, я, к примеру, уважения к нему не имею. Потом курицы... Цыплята теперь подросли, ты опоздала, чтобы цыпляток кормить. Будешь кормить куриц, это будет за тобой. Курица — не такая глупая птица, как про нее говорят, за ней интересно наблюдать. Собака у нас одна, умная собака, Байкалом зовут, зря никогда не гавкает, а чужого не пустит. Еще есть овцы...

— Зачем так много? — спросила девочка, чуть скосив глаза в его сторону.

— Чего много?

— Коровы, курицы, овцы... Зачем так много?

— Но ведь жить-то надо! — с горячностью стал защищаться Сеня, будто девочка упрекала его. — Мы этим и живем. Деньги нам не дают, мы деньги другой раз по полгода не видим. Все свое. Я бы овцами, к примеру, попустился, они мне и самому надоели... Да ведь шерсть! Из шерсти носочки, рукавички, шапочку, свитерок... Мы там как в пятнадцатом веке живем. Вот увидишь, как интересно.

«Метеор» подчаливал; Сеня, пригнув голову, заглянул в окно. Подходили к Усолю.

— Хорошо идем, — сказал он вслух. — Расписание, конечно, не догнать, но подтянемся.

И отчалили без задержки. Снова поплыли берега, все расходящиеся и низкие, начиналось море. Сеня и об этом сказал девочке. На «море» она слабо встрепенулась, но через минуту отвела глаза от окна, по-прежнему уставив их перед собой. Да и верно — какое море? Название одно. Огромная лужа, которая за полтысячи километров отсюда, набравшись в ленивую, но мощную силу, крутит турбины. «Метеор» вильнул раз и сразу же другой. Значит, по большой воде подняло с берегов лес, наваленный там баррикадами, и таскает его, подсовывает под винты теплохода.

— Тебе никуда не надо? — спросил он.

Она помотала головой: не надо.

— Тогда посиди, я сейчас.

Он вышел на площадку, где толпились курящие, — женщины среди них не было. Медленно прошелся по одному салону, обводя глазами ряд за рядом, потом по другому, быстро вернулся в свой салон. Девочка вопросительно взметнула на него глаза, она заметила в нем тревогу. Сеня развернулся и за дверью прислонился к стенке рядом с грудастой бабой, держащей на руках веселого, пускающего пузырьки ребенка. Сеня подождал, пока выйдут из того и другого туалета, снова обошел салоны, заглянул даже в рулевую рубку. Больше искать было негде. Уже зная ответ, спросил у проводницы, у губастой полусонной девушки с темным лицом, не выходила ли в Усолье такая-то... Сеня обрисовал ее. Выходила: проводница вспомнила ее сразу. Видимо, такая растерянность была на лице у Сени, что она не удержала любопытства:

— Что случилось-то? Не там вышла?

— А куда у нее был билет?

— До Усолья.

Значит, не вдруг спрыгнула, рассчитала заранее. Был дураком и остался дураком.

Он сел возле девочки, перекинул руку ей за голову и, притягивая к себе, сказал глухо:

— Слушай, сбежала от нас твоя тетя Люся.

Девочка вздрогнула и замерла. Сеня боялся, что она заплачет, будет с рыданием проситься обратно — нет, все осталось внутри. В оцепенении просидели они, должно быть, с полчаса. Потом девочка зашевелилась, показывая, чтобы он убрал руку, села бочком, отворачиваясь от Сени, и завозилась, шаря где-то под платишком. Выпрямилась и вложила Сене в руку какую-то пачку. Он глянул: это были деньги.

— Это она дала? — быстрым шепотком спросил Сеня.

Девочка покачала головой: нет.



* * *

Так эта девочка, по имени Катя, оказалась в деревне у Сени с Галей, и, таким образом, Сене с Галей ничего не оставалось, как кататься с этой девочкой.

Сеня потрухивал, ведя с пристани Катю, и, чтобы не показывать ее лишнему народу, шел берегом, с нижней улицы перелез через прясло в свой огород и двинулся с тыла. Галя — баба добрая, но первая реакция могла быть шумной. Но вышло совсем наоборот. Когда Сеня с Катей явились пред ее очи и она удивленно-вопросительно сказала «здра-авствуйте» и когда Сеня продуманным ходом завел Катю в летнюю кухню, а сам выскочил и торопливо принялся объяснять, откуда свалилось к ним это небесное создание, Гали достало только на то, чтобы приахать:

— Да как же это? Как же это, Господи!.. Как же это!..

Но потом пришли трезвые мысли, и Галя ежедневно окунала в них Сеню как слепого щенка в холодную воду.

— Дурак — он везде дурак. — Эти слова Сеня говорил себе и сам, они были справедливы. — От тебя за версту простотой несет. Какой простотой? А той, которая хуже воровства. — Галя подхватывала последнее слово. — Ведь ты украл ее — если разобратся! Укра-а-ал! — загнушала она слабые Сенины возражения. — Тебе воровка ее подкинула — значит, ворованное. Как ты знаешь, что у нее нет отца-матери? Отец-мать ее, может, ищут, может, уголовный розыск объявили... И найдут, пошто не найдут! Ведь ты бы подумал: тебе навязывают ее купить — нет!.. Навязывают дарма забрать — нет!.. Ум вроде поначальности проблескивал: «нет» говорил... — Особенно Галю пугали оказавшиеся при девочке деньги. — Ведь ты ее купил. — Она забывала, что только что уверяла его, будто «украл». — За свои деньги не стал покупать, а когда тебе их дали — с руками отхватил. На деньги ты позарился, Сеня. Ну, что вот ты пыхтишь? Господи! — Она принималась плакать.

В другой раз Галя вспоминала:

— Это беспородную кошку можно без документов принять. А ты не кошку принял. Чтобы жила — надо удочерение сделать. Через неделю в школу отдавать — где у нее метрики? Какая у нее фамилия? Кто был у ней отец — министр какой или убийца... девять душ сгубил?

— Пошто девять-то? — цеплялся Сеня.

— А сколько тебе их надо — девятнадцать?

— Но пошто девять, а не десять, не семь?

— Мы с тобой будем восемь и девять.

Сеня вскипал:

— Да, подбросили, да, дурак! Но я должен был, по-твоему, в Ангару ее спихнуть, когда подбросили? Или что я был должен?

Галя обессиленно взмахивала рукой и уходила. А Сеня думал: «Надо было дать денег этой тете Люсе, чтобы убежала подальше. Или были у нее деньги?» Он вспоминал, много раз восстанавливал в памяти весь разговор с женщиной от начала до конца там, на причале, и все больше казалось ему, что не дурила она его, когда говорила, что собралась бежать. Что пройдоха — сомнений не было, но и пройдоха иной раз вынуждена выходить на правду. Сеня шел к Гале, вставал перед нею вплотную, как столб, чтобы ей не откачнуться и не отойти, и пробовал успокоить:

— Пусть будет как будет. Мы с добром к ребенку — почему мы должны бояться? Теперь государства без метрик, без паспорта живут... а уж люди!.. великое переселение народов. Миллионы скитаются, все теряют... имена тоже. А мы с тобой об одной девочке... кому она нужна, кроме нас?

Он сам удивлялся: о любой бы он сказал «девчонка», а о ней не выговаривалось.

Катя поднималась поздно, спалось ей тут хорошо. Они завтракали в летней кухне, стоящей во дворе, иногда для уюта подтапливая ее: ночи пошли прохладные. Утренний распорядок у Гали с Сеней теперь изменился, они вставали, как обычно, до света, но перехватывали спозаранку только горячий чай, набираясь аппетита и раздвигая дела для неспешного общего завтрака. Сначала Галя заплетала девочке косу, поварчивая на Сеню, как река поварчивается на берег, катая волны. Сеня стал опять говорлив, что в последние годы, к утешению Гали, пошло на убыль, вспомнил свою страсть фантазировать, выдумывать всякие истории, оставленную с тех пор, как подросли дети. Усаживаясь за стол, прикрикивая для порядка, он говорил:

— Выхожу ночью на улицу, а ночь звездная, небо прямо полыхает, как в праздник. Выхожу и люблюсь — хорошо ночью любоваться на звездочки. Вдруг слышу: шу-шу, шу-шу. Кто-то шушукается. Я подумал сначала, что, может, звездочки с неба. А незначай к огороду ближе подхожу — слышней. Если б звездочки — надо взлететь хоть сколько, чтоб ближе к ним. Крадучись продвигаюсь к огороду, спрятался вот за этим углом. А это огурцы на грядке шушукаются. Задумали они сегодня дать деру с гряды. О нас, говорят, забыли. И так жалобно повторяют: забыли, никому мы не нужны, а пропадать, сгнивать безвинно мы не желаем.

— Я позавчера, уж под вечер, три ведра сняла, — оправдывалась Галя.

— Так и говорят, — подхватывал Сеня, — хозяйка позавчера сняла и забыла, а нас надо каждый день обирать, мы в эту пору ходом идем. Сняла, говорят, и из памяти вон, а мы уж желтенькие, как старички, к нам надо уважение иметь. И договариваются, значит, чтоб в двенадцать ноль-ноль, ежели останутся они без женского внимания, совершить коллективный побег. А сейчас, — Сеня смотрел на круглые настенные часы, — половина десятого.

Катя слушала его внимательно и равнодушно, изредка поднимая глаза, пристально всматриваясь в Сеню и словно говоря: а ведь я уже старше, мне эти сказки рассказывать поздно. На все она смотрела со стылым вниманием. Подадут ей варенье — возьмет, намешает в чай и уставится в стакан, наблюдая, как синее или краснеет чай. А выпить, если не подтолкнуть, забудет. Скажут что-нибудь принести — на полдороге остановится и стоит, уставившись в одну точку. Сядет рядом с кобелем, а подружились они быстро, обнимет его за шею и, оттянув нижнюю губу, замрет. Кобель тычет ее — она дергается безвольно, тряпично, как неживая. Ела она медленно и мало, молоко не пила совсем. На вопросы отвечала односложно, чаще кивая или отмахивая головой, слова произносила с усилием.

Они шли с Галей собирать огурцы, и Катя чуть оживлялась, движения ее становились быстрее. Но каждый огурец она рассматривала, прежде чем опустить в ведро, перекачивала в руках, точно руки грея или его согревая руками. Подняла семенной огурец, и Галя ахнула с досады: огурцу полагаюсь еще полежать. Катя испугалась так, словно ее прошибло током, порывисто протянула большой желтый семенник Гале, быстро отдернула ручонку, когда Галя хотела принять, и заплакала. Галя кинулась ее успокаивать, говоря, что их, этих семенников, на гряде вылеживается на всю деревню, — и чем горячее успокаивала, тем отчаянней плакала девочка — бескапризно, беззвучно, сжав ручонками горло, в сдавливаемом припадке. Не в силах видеть это, Галя опустилась на землю и тоже стала захлебываться в рыданиях. Выскочил Сеня, глянул и скорей убежал, чтобы не залиться третьим ручьем.

Девочке дали обязанности, она должна была наливать курицам в корыто воды и под вечер выносить им мешанку-толканку, как называла Галя какое-то варево из картошки пополам с комбикормом. Курицы, приседая на бегу, сбегались шумно, отпихивали молодых; петух, вскидываясь резким клекотом, принимался наводить порядок. Ему не подчинялись. Галя ворчала, что петухи, как и мужики, теперь не те, их перестали бояться. Катя особенно внимательно посмотрела после этих слов



на Галю, словно и ей давая оценку, потом перевела пытливые глаза на Сеню. Петух и правда был в хозяина: неказистый и неяркий, с гребешком, сваливающимся на сторону, и голос имел негромкий.

Второй обязанностью Кати было делать салат для обеда. Она шла в огород и набирала луку, петрушки, срывала три-четыре свежих огурца и долго выбирала среди только начинающих краснеть помидоров самые спелые. Лукового пера в салат клали много, и Галя научила девочку толочь его, не ударяя деревянной толкушкой, а вдавливая в мякоть и выжимая сок. Сеня нахваливал Катину работу, говоря, что он только теперь, на старости лет, попробовал настоящий салат. Но и Галя замечала, что девочка старается и хозяйка из нее выйдет хорошая.

На коров девочка смотрела с изумлением и опаской — будто раньше не видела. Обе коровы ступали важно и тяжело, ходили вместе и вместе же принимались трубно мычать, требуя корму или дойки. С изумлением же смотрела она на большое эмалированное ведро, по края с молоком, выставяемым вечером для прогонки через сепаратор. Сепаратор сыто и лениво жужжал, струйка сливок стекала в маленькую кастрюльку, а обезжиренный и посиневший отгон в большую, и Катя с мучительным вниманием смотрела: как же это получается?

Телятник у Поздняковых был огорожен далеко, на горе за деревней. Идти приходилось по длинному заулку между огородами. По обочинам заулка лежали коровы и собаки. Провожал их Байкал, он по очереди подбегал к каждой лежащей собаке, они обнюхивались, по-приятельски помахивая хвостами, и Байкал трусил дальше. Вот почему ни одна собака не взлаяла на Катю. Гавкал щенок, черный, с коротким хвостом, только-только начинающий разбираться, для чего он явился на белый свет. Сеня нес в ведре пойло для бычка, а Катя кусок хлеба. Бычок прежде кидался к Кате, она торопливо выбрасывала ему хлеб и пряталась за Сеню. Бычка звали Борькой, имя свое он знал и отзывался на него мычанием. Каждый раз повторялась одна и та же картина. Байкал давал Борьке наесться, затем прыгал к нему и застывал, заставляя и Борьку принимать защитную стойку, опустив голову и выставя тупые рожки. Байкал начинал с лаем наскакивать — бычок еще ниже нагибал голову, сдавал взапятки и вдруг бросался на собаку. Она отскакивала, заливаясь восторженным лаем, а Борька шумно пыхтел, набираясь духу для нового приступа. У Кати раскрывался рот, нижняя губа оттопыривалась, и на лице появлялось что-то вроде забывшейся улыбки.

От телятника было недалеко до пустошки из молодых сосен в два-три человеческих роста, в которой последним урожаем пошли маслята. Катя ступала с выставленным вперед, как против зверя, складным ножичком и в первые дни только натыкалась на грибы, потом стала, увидев издали, вприпрыжку к ним подбегать. Наступил день, когда Сеня поднял первый рыжик. Он так обрадовался, наглаживая его и жадно шаря вокруг глазами, так нахваливал рыжики, что Катя, налюбовавшись красной шляпкой с нежно и ровно расписанными кругами, долго потом исподтишка смотрела на Сеню. И когда минут через десять она закричала и кинулась к Сене, а он кинулся навстречу — она остановилась, испуганная его испугом, и, протягивая ручонку с найденным теперь уже ею рыжиком, опять заплакала. Он схватил ее на руки и держал до тех пор, пока она не успокоилась.

Прошла неделя после приезда, пошла другая... Решили не отдавать Катю в школу. Девочка считала, что ей шесть лет, но росточка она была небольшого и могла ошибаться. Да и с шестью разумней было погодить. Миновали те времена, когда школа следила, чтоб ни один ребенок не опоздал с учебой. Теперь хоть совсем не отдавай, никто не спросит. Но Галю с Сеней удерживала иная причина: они не знали, как надолго свалилась на них Катя, боялись думать об этом, каждый новый день втайне начиная с оборонной молитвы: Господи, пронеси!

— Ты помнишь свою маму? — выбрав минуту, когда девочка казалась успокоившейся от затягивающихся где-то далеко внутри ран, спрашивала Галя, не нажимая на вопрос.

Катя замирала, опускала голову и уставляла глаза перед собой — как всегда, когда она замыкалась. Но нет — чуть слышно она отвечала:

— Помню. Маленько.

— Как ты ее помнишь?

— Мы ехали, — помедлив, сжатым голосом отвечала она.

— Куда ехали? Откуда?

— Не знаю. — И добавляла неуверенно: — К русским. Мы ехали в поезде. Там были большие горы.

— А папу не помнишь?

Папу она не помнила. И так умоляюще смотрела на Галю, что та поневоле оставляла расспросы.

В сумке, оставленной тетей Люсей в «Метеоре», находились два платья, одно тонкое, другое шерстяное, тонкий же ярко-желтый плащико, трое колготок, кроссовки и вязаная шапочка — все летнее, городское. Но этот набор опять-таки подтверждал, что выводила женщина Катю в спешке и собирала за секунду. С этими расспросами девочку пока не трогали. Гале пришлось ехать в райцентр и срочно покупать спасение от холодов — теплую куртку, сапоги, две шерстяные кофты, рейтузы. Шерсть велась своя, от своих овец, но мукой смертной было чесать ее, прясть; пришлось искать охотницу для такой работы. Не охотницу, а невольницу, которая от бедности бралась за любое дело. Очень не хотелось трогать Катины деньги, поначалу так и решили: не трогать; но без них бы не поднять эту справу — половину истратили.

Стоял уже сентябрь, доспевали последние урожаи в огороде и тайге. Дни стояли сияющие, перекатливые от утренников с инеем до летнего зноя, небо распахивалось все шире, и, казалось, все глубже оседала земля. В Сенином огороде белела только капуста. Выкопали картошку; счет ведрам, в которые набирали картошку и высыпали на землю для сушки, вела Катя и громко объявляла его, ни разу не сбившись. И копать ей нравилось; земля была мягкая, унавоженная, погода сухая, урожай хороший. «Поросята какие!» нахваливала Галя, поднимая из земли огромные клубни, белые и чистые, выставя их напоказ. «Поросенок какой!» — подхватывала Катя и бежала похвалиться, какой экземпляр она отыскала. Здесь же, в огороде, ходили курицы, для которых был снят наконец существовавший все лето запрет и думать забыть про огород, здесь же грелся на солнце Байкал. Когда ему надоело лежать, Байкал подходил к Кате и тыкал ее носом в бок. «Байкал, — отбивалась она, — не мешай». Он смотрел на нее внимательно, скосив голову, точно любуясь.

— Откопались в леготочку! — удивлялась Галя. — Ой, так боялась я копки и не заметила, как управилась. А без тебя, — приобнимала она Катю, — мы бы сколько провозились... — А про себя добавляла: «Мы бы сколько нервов друг дружке извели!»

Катя загорела и вытянулась. Или уж казалось, что вытянулась, потому что привыкли к ней и видели в ней то, что хотели видеть. Но живея она стала — точно. Но все еще странной, неожиданно срывающейся и так же неожиданно затухающей живостью. Прыгает со скакалкой в ограде, что-то замеряет, расчерчивает куском кирпича и вдруг застынет, не успев присесть, лицо делается обмершим, взгляд куда-то утянется. Не дай Бог окликнуть ее в эту минуту — испугается. Сеня не раз с болью наблюдал ее такую: стоит, а что стоит, что опять с нею, стоящей пусто, и что слетело куда-то от неожиданного всполоха в памяти или душе — поди пойми. И всегда в таких случаях что-то острое, знобящее перекатывалось в его груди, пугая предчувствиями.



— Сеня! — тревожно говорила Галя перед сном; они теперь обычно засыпали под думы и разговоры о Кате. — Мы с ней по-простому, а она как стеклянная. Не разбить бы.

Для деревни было сказано, что она внучатая Сенина племянница, родственников его никто не знал. Для деревни было сказано, а говорить Кате, за кого они ее пригревают, не решались. А она бы и не поняла ничего. Сколько катало ее по недобрым людям — не узнать, но пришлось эта злая доля на самые чувствительные годы, и теперь сердчишко ее, должно быть, ломается от тепла, как лед по весне... «А уж осень, осень...» — боялся додумать Сеня.

С лета он собирался в тайгу за орехом, который тоже нынче уродился, но не пошел. Показалось ненужным. Никуда из деревни уходить не хотелось, а Гале он объяснял, что это от старости. Засыпая, думал: «Скорей бы новый день, чтобы видеть вокруг себя далеко». Стены сжимали его, воздух казался отжатым. Просыпался он быстро, с радостью и сразу вскакивал на ноги, первым шел ставить чайник. За завтраком, когда сидели все вместе, продолжал свои фантазии:

— Выхожу ночью на улицу, а ночь зве-ездная, ядреная. И слышу опять: шу-шу, шу-шу...

Катя отрывалась от еды:

— Да ведь огурцов на грядке нет. Кому шушукаться-то?

— Ты слушай. Слышу: шу-шу, шу-шу. И тоже невдомек: ведь огурцов на грядке нет, кому шушукаться-то? Прислушался получше, а это морковка. «Делать нечего, — переговариваются грядка с грядкой, — надо бежать. Бежать от лютой гибели в этом огороде, от этих людей. Ботву нам обрезали, оставили в земле для сохранения, а какое может быть сохранение, если наш враг, жадный крот, поедом нас споднизу ест. Нету нашей моченьки больше терпеть. Если завтра к восемнадцати ноль-ноль не придут нам на помощь, всем немедленно уходить». Шу-шу, шу-шу: всем, всем, всем.

Катя, склонившись, прячась за стаканом с чаем, хитренько поглядывает на Галю, понимая, что сказка эта больше сказывается для нее, для Гали.

— Уберем сегодня, — ворчит Галя. — Не можешь по-человечески-то сказать?

— А ты что — по-морковному услышала?

Все трое смеются, потом Галя стучит ложкой по столу. Она не любит, чтобы последнее слово оставалось не за ней.

— Ну, Сеня! Ну, Сеня! Ты язык допрежь смерти сотрешь — посмотрим, покаковски ты хрюкать будешь.

Катя прыскает, из набитого рта летят крошки и брызги; отряхиваясь, отираясь, она говорит совсем по-взрослому, по-деревенски:

— Ну вас! Уморили!

К ней стала приходиться подружка, Ольги Ведерниковой заскребушка, девочка донельзя тихая, молчаливая, скидывающая обувь сразу же, как только выходила она из дому, и где попало эту обувь забывающая. Звали девочку Аришей, Сеня называл ее Ариной Родионовной.

— Ну что, Арина Родионовна, — встречал он ее, босоногую, — где сегодня сапоги оставила?

Сапоги могли аккуратно стоять вместе посреди дороги, могли быть в разлуке — один у своего дома, второй у чужого, а могли оттягивать спрятанные за спину руки. Аришу расшевелить было трудно, да Катя и не умела, ее самое надо было расшевелить, но, как старшая, она понимала, что игру должна предлагать она, и принималась прыгать через скакалку, подавала затем скакалку Арише — та брала, и продолжала сидеть на широкой лавке возле крыльца, уставив свое тоже белесое, с низкой челкой, с мокротой под носом лицо на Катю. Игра Аришу не занимала, она

приходила полюбоваться на девочку из какого-то другого мира — чистенькую, аккуратную, необыкновенно красивую. Все уже знали, что у Поздняковых живет красивая девочка. Бабка Наталья перебиралась через дорогу, прикрывала у Поздняковых за собой калитку и била о нее висячим чугунным кольцом, давая о себе знать.

— Где-ка тут наша бравенькая? — спрашивала она, не глядя, есть кто во дворе или нет. — Гли-ка, че я тебе принесла... — И уж после этого поднимала глаза. — Сеня, ты? А где-ка наша метеворка? Я седни сушки стряпала... — И высыпала в какой-нибудь тазик, которые всегда обсыхали на воздухе, кучу витых кренделей-баранок, еще теплых. — Покусай, покусай, — протягивала она первую Кате. — А поглянется — приходи, вместе чаю попьем.

В другой раз решительно тянула Катю к себе. Та возвращалась с маленьким, будто бы игрушечным, но изготовленным по полной форме самоваром — с осадистыми ножками, с решетчатым низом, с раскинутыми по бокам фасонисто ручками и проворачивающимся в гнезде краником, даже с короткой, загнутой в колене трубой.

— Вот, — удивленно и таинственно объясняла Катя. — Это было в деревушном чабадане.

— Где?

— В деревушном чабадане. Это такой деревянный ящик, наверное, старинный чемодан.

И замирала с улыбкой, продолжая любоваться самоваром.

— Бравенький? — с хитрецей спрашивала она.

— Бравенький, — соглашалась Галя. — Только дочистить надо.

И еще миновали неделя и вторая, а всего после приезда и месяц отошел. Началось ненастье с холодными дождями и длинными заунывными порывами северного ветра, который, казалось, испускал от затяжной натяги весь дух, затихал и, набрав его в какую-то могучую грудь, снова принимался дуть мощным выдохом. С лесов сбило последнюю листву, и они стояли черно и зябко; опущенное хвойное покрывало сосняков и ельников тоже смотрелось в мокроте безрадостно. По воде (море называли просто водой) ходили волны, взблескивая загибающимися остриями белых барашков, вся земля гудела и стонала. Сеня влез в новые сапоги, привезенные из города, и, только натянув их на ноги, вспомнил, как они покупались и как он впервые увидел Катю. Вспомнил и долго сидел, тупо глядя на сапоги, размышляя, не лучше ли было их до весны не трогать.

Он принялся учить Катю азбуке, она, хорошо считая, не знала ни одной буквы. Катя послушно повторяла слоги, складывая их в слова, вскидывала глаза в удивлении от чуда получающихся слов, но занималась она без охоты. Быстро вскакивала из-за стола, едва Сеня объявлял конец уроку, и подходила к окну, глядевшему в улицу, подолгу смотрела на расставленные до горы тремя улицами избы, на побитый за деревней лес, на стоящих неподвижно под дождем коров, беспрестанно жующих жвачку, на пробегающую торопливо собаку и на редких прохожих, тоже торопящихся, высоко поднимающих ноги. А Сеня стоял в дверях прихожей и со стылым сердцем смотрел на нее, замершую у окна: что она там видит? о чем думает? куда отлетают ее желания? И с кем она — с ними или с кем-то другим?

Он пытался узнать о ней побольше:

— Ты помнишь, где вы жили в городе?

Она вся натягивалась, лицо становилось напряженным, чужим, менялись, тяжелея, глаза.

— В деревянном доме, — натягивая слова, выговаривала она. — На втором этаже.

— Ты с тетей Люсей жила?

— Тетя Люся потом пришла.

— А кто жил на первом этаже?

Девочка смотрела на Сеню и медлила.

— Ахмет... — с трудом произносила она. — Олег... Там много было. Приезжали и уезжали.

— А кто такой Ахмет?

— Он стрелял в тетю Люсю...

— Как стрелял, почему?

И снова молчание, потом тихо:

— Он стрелял, чтоб не попасть. Сказал: в другой раз прямо в сердце.

— А почему стрелял, не знаешь?

— Не знаю.

Сеня не перебарщивал с расспросами, он видел, что они даются девочке тяжело. Она после них затаивалась, старалась держаться в сторонке, ходила медленно, с оглядкой, снова принималась пристально всматриваться во все, что окружало ее, нижняя губка безвольно оттопыривалась, лицо бледнело. «Пусть обживется, привыкнет к нам, перестанет чего-то бояться... и уж тогда... не сейчас...» — думал Сеня, прекращая такие разговоры. Да и так ли уж важно было разведать, что скрывалось за тем днем, когда девочка оказалась с ним рядом? Что это даст? Когда-то он шлепнулся в Заморы как кусок дерьма — его приняли, не спрашивая характеристику, отдали ему единственную дочь. Это зло выясняет подробности, добру они ни к чему.

Опять разгулялась погода, выглянуло солнышко, но уже без прежнего тепла, примериваясь к зиме. Высушило улицу, и показалось, что порядки домов развело еще шире. Когда Катя смотрела, как идет к ней через дорогу Ариша, уже не смеющая сбрасывать сапоги, чудилось, что идет она долго-долго. Они вместе принимались ставить самовар под навесом справа от летней кухни: большую, пузатую чурку застилали клеенкой, рядом притыкали две низенькие чурочки для сиденья, устанавливали самовар на «стол», заливали его водой и втыкали трубу. «Скипел?» — через пять секунд спрашивала Ариша. «Нет, так быстро не кипит», — вразумляла Катя. «Скипел?» — «Нет, говорят тебе, рано». — «Скипел?» — «Скипел». Начиналось чаепитие. «Мой-то, — сложив сердечком губы и дуя в пластмассовый стаканчик, сообщала Ариша косным лепетком, — опеть вечер холосый пришел». — «Батюшки! — взахивала Катя и спохватывалась: — А какой хороший?» — «В стельку». — «В какую стельку?» — не понимала Катя. «В талабан». — «В какой талабан?» Наступало молчание. Катя спрашивала: «Ты ему все сказала?» — «Все сказала». — «Как ты сказала?» — «Остылел ты мне, сказала».

— Ну и сказки у тебя, Арина Родионовна! — кричал от верстака под этим же навесом Сеня. — Заслушаешься!

Все нетерпеливей, все поспешней хотел жить Сеня: сначала он торопил ночи, чувствуя по ночам беспомощность, боязнь быть застигнутым врасплох и голым — войдет кто-нибудь, а он в трусах, босиком, и ничего под руками, ему казалось, что ночью и слов подходящих не найдется для защиты; теперь он стал торопить и дни. Будь его воля, он скоренько переметал бы их из стороны в сторону, добравшись до глухой зимы, когда заметет так, что ни пройти ни проехать, и только ветер будет дымить по крышам. Торопясь сам, торопил Сеня и Галю. Раньше обычного сняли и засолили капусту, развез на тележке и разбросал он навоз под картошку, утеплил стойки для коров, первым в деревне привез с елани застогованное сено... Галя смотрела на него с удивлением и опаской: всегда приходилось подгонять мужика, а тут поперед времени бежит. Но, как вопрекор Сене, воротилось тепло, к обеду нагревалось до того, что хоть в рубашке ходи, на кустах смородины за летней кухней набухли почки, солнце, которое уже спустилось к южному полукружью и поблекло, смотрелось опять молодо.

Сеня считал: «Метеору» оставалось сделать пять ходок, четыре, три...

При Кате зажгли как-то вечером керосиновую лампу, потому что электричеством лишь дразнили, и лампа так понравилась девочке, что она взяла в привычку досиживать допоздна, нетерпеливо была кулачком в коленку, требуя, чтобы загасили скорей электричество, и, когда зажигали фитиль и втыкали в решетчатый металлический ободок стекло, Катя так и обмирала перед лампой. Она то прибавляла, то убавляла фитиль, по лицу ее ходили блики, глаза искрились. «Маленькая шаманка», — улыбался Сеня. И просветлел вдруг сам: да кто сказал ему, что у нее недвижимое, холодное лицо, затуманенное изнутри? Ничего подобного. Не может быть, чтобы только от керосина переливались по лицу краски и под тайными толчками играла кожа. Полюбилась лампа Кате — привык и Сеня наблюдать за девочкой, что-то нашептывающей, представляющей волшебное... И когда однажды по случаю именин начальника участка электричество все сияло и сияло, и они вместе измаялись в ожидании темноты, Сеня скомандовал:

— Вырубай электричество! Запалай керосин!

— Запалай керосин! — закричала Катя восторженно, выбегая на середину комнаты и бросаясь в пляс.

С утра Сеня дал себе на день задание: выгнать, во-первых, лодку и поставить ее под бок. Под банный бок со стороны улицы. Оставлять лодки на берегу стало опасно. Никто на них зимой не уплывет, но взялись лодки калечить, пробивая днище. Во-вторых, перед зимой, перед плотной топкой, следовало прочистить печные трубы и в избе, и в летней кухне. Летняя кухня не выстуживалась, в ней зимовали курицы. И еще одно: давно договорились они с соседом, с Васей Тепляшиным, взять курганской муки, и по их заказу коммерсант вчера муку привез.

Не все быть лету; день всходил хмурый, солнце показалось и скрылось, с низовий потягивал пока слабый, но колючий северный ветерок. Вторым, семейным, завтраком сидели, как всегда, поздно, и Сеня расслабленно, не торопясь подниматься, снова и снова подливал чаю. Из летней кухни они переехали в дом; сегодня в нем было прохладно, печь не топили из-за готовящейся чистки. Катя поднялась невеселая, придавленная переломной погодой, и вяло тыкала вилкой в поджаренную с яйцами картошку. Галя поднялась из-за стола скоро и ходила шумно, покрикивая во дворе на скотину, ворча громче обычного на Сеню. Он понимал: она торопит его, но не хотелось подниматься — и все. Переговаривались с Катей тоже вяло, Сеня без всякой причины вздыхал, прикидывая, к кому пойти, чтобы помогли прикатить лодку. В таком порядке и предстояло ему сваливать дела: сначала лодка, потом печи, потом, если не запоздает Вася, мука. Надо было подниматься.

И в это время залаял кобель — зло, напористо, на чужого. Сеня вышел посмотреть, одновременно из кухни вышла Галя и встала — прямая, настороженная, со сжатыми губами. Кобель надрывался за оградой — Сеня открыл калитку и выглянул: перед домом, на узком тротуарчике, ведущем к калитке, стоял незнакомый мужик в толстой кожаной куртке и с короткой стрижкой на голой голове.

— Ты Семен Поздняков? — спросил мужик требовательно, раздраженный собакой. Был он плотен, крепок, молод не первой молодостью, но еще не миновавшей окончательно, и, как сразу отметил Сеня, был он из горлохватов, из тех, кто любит идти напролом. Второй мужик пристраивался на лавочку возле избы бабки Натальи.

— Я Семен Поздняков, — сказал Сеня. — А ты кто такой будешь?

— Убери собаку! — негромко повелел мужик.

Сеня прикрикнул на Байкала; тот, отойдя, продолжал рычать.



— Теперь приглашай в гости, — тем же спокойным и властным тоном сказал мужик.

— А чего раскомандовался-то? — разозлился Сеня. — Пришел в гости — веди себя как гость. Я тебе сказал, кто я, говори теперь ты.

— Я дядя той девочки, которая живет у тебя, — с усмешкой, не спуская с Сени цепкого взгляда, сказал мужик. — Родной дядя. Понятно?

Увидев этого мужика и разглядев его, Сеня мог бы догадаться, по какой нужде тот искал его и зачем пришел. Он и догадался почти, его захлестнуло болью сразу же, как вышел, и все-таки продолжал хвататься за соломинку: не то, не то, это не может быть то... Он потом тысячу раз спрашивал себя, как это он растерялся до того, что впустил мужика в ограду. Но — впустил.

— Подожди меня там! — крикнул мужик своему товарищу и прошел в калитку. Галя стояла все так же — прямо и неподвижно. — Где она? — спросил он теперь уже у Гали.

Сеня начинал приходить в себя.

— А почему ты думаешь, что я тебе ее отдам? — спросил он, стараясь сдерживаться, не закричать и невольно шаря глазами по двору — где что лежит...

Мужик усмехнулся откровенней, показав ровные белые зубы. Он держал себя все уверенней.

— А как бы ты это не отдал ворованное? — наигранно вздохнул он. — У нас это не полагается.

— Если ворованное — давай в суд! — закричал Сеня, не в силах больше сдерживаться. — В суд давай! И там посмотрим, кто украл! Дядя... А почему ты только дядя, а не папа родной? Родниться так родниться — чего ты смельчил?!

— Можно и в суд, — лениво согласился приезжий. — Да долго... Расходы тебе. Давай уж как-нибудь сами, своим судом. — И коротко добавил: — Давай без жертв.

— Ты меня не пуга-ай!..

Сеня обер: вышла Катя. Она не вышла, а выскочила из избы, куда-то торопясь, и вдруг запнулась и закачалась, стараясь установить себя. Сеня смотрел в ужасе: точно волшебная злая пелена нашла на нее и сошла — перед ними стояла другая, до неузнаваемости изменившаяся, девочка. Лицо еще вздрагивало, еще за что-то цеплялось, но уже окаменевало, нижняя губка, дергающаяся лопаточкой вперед, прилипла к верхней, глаза затухли. Она медленно свела руки и сцепила их под животом.

— Ты знаешь меня? — подождав, позволив девочке опомниться от первого, непредсказуемого испуга, спросил приезжий.

Она долго смотрела на него, словно решая, узнавать или не узнавать, вздрогнула, когда кобель, наскочив с улицы на заплот и свесив лапы, зарычал... Узнала. Кивнула.

— Никуда ты, Катя, не поедешь! — ослабшим голосом крикнул Сеня. — Ты наша. Скажи ему, что ты наша.

— Скажи ему, что ты знаешь меня, — со спокойной угрозой отвечал приезжий. — Я фокусов не люблю. — Усаживаясь на скамейку возле крыльца, показывая, что препирательства бесполезны, он похвалил девочку: — Ты всегда у нас была умница-разумница. Собирайся.

— Никуда она не поедет!

— Сеня! — остерегающе крикнула Галя.

Подобие виноватой улыбки мелькнуло на лице Кати.

— Как же бы я не поехала? — тихим голосом, стоившим многих разъяснений, сказала она — Что вы!

И развернулась собираться.

Минут через пятнадцать они уходили. Катя собрала что-то в ту же сумку, с которой приехала и которую сразу же забрал у нее мужик. Галя, так и не отмершая, ткнулась в девочку головой и отступила. Сеня пошел проводить. За калиткой Байкал опять стал набрасываться на чужого, Катя приласкала его и успокоила. Со скамейки от дома бабки Натальи поднялся второй мужик, прихрамывая, присоединился к ним и насмешливо окликнул Катю:

— Здорово, красавица!

Она не обернулась к нему.

Катя с Сеней шли впереди, приезжие сразу за ними. Сеня не спрашивал, куда идти, — вот-вот «Метеор», последний в этом году. Ветер наддавал сильнее, подталкивая в спины, по небу быстро несло растерзанные, разлохмаченные облака, доносило приближающимся холодом. Катя догадалась одеться в теплые сапоги и куртку.

— А деньги-то? — вспомнил Сеня. — Твои деньги остались!..

Девочка сунула свою ручонку в Сенину руку и слабенько жжала: не надо.

— Не забудешь, где мы живем? — шепотом спросил он.

— Мы тоже не забудем, — предупредили сзади.

Девочка оглянулась на них и сказала, не таясь:

— Они били ее.

— Кого?

— Тетю Люсю.

Она додумала, как до нее добрались: разыскали своим розыском тетю Люсю, пытали, пока не сказала...

— Я всегда говорил, что ты у нас умница-разумница, — согласились позади.

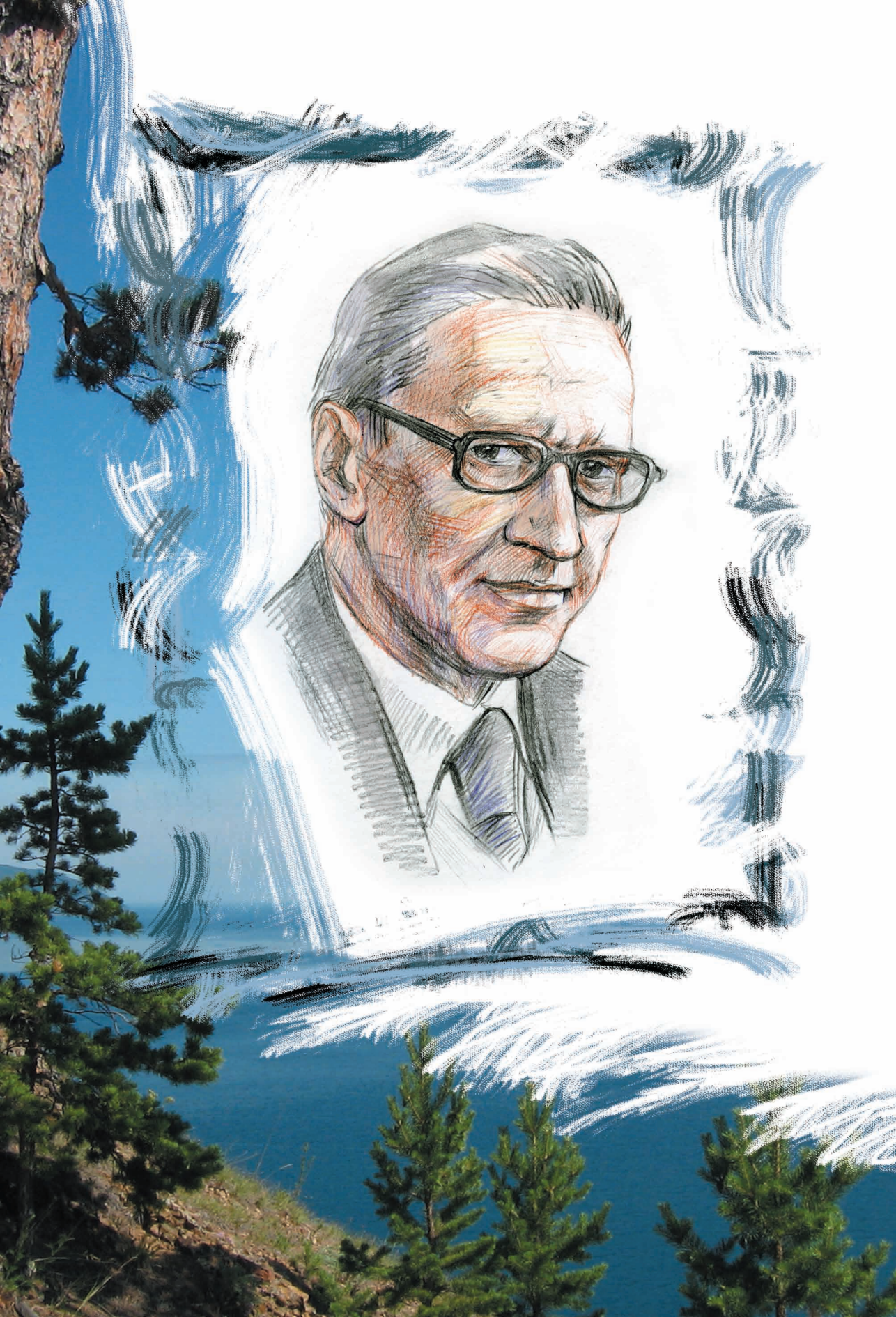
Подскочил на волне «Метеор», его било о стенку причала и откачивало; отъезжающим приходилось прыгать, они толпились в страхе и кричали. Девочку стремительно оторвали от Сени, не дав попрощаться, он увидел ее взблеснувшую белую головенку уже в пасти теплохода, девочка, заворачивая, тянула ее, взмахивала руками, но — тут же закрыло ее прыгающими фигурами, и отчаянные крики прыгающих заглушили все.

Сеня не помнил, как он воротился домой.

У стола лицом к двери сидела Галя, не снимая телогрейку, и ждала его. Что было говорить! — Сеня тыкался слепо из угла в угол: нельзя было уйти от Гали и нельзя было оставаться, и одна только мысль так же слепо тыкалась в нем: как бы провалиться в тартарары? Галя следила за ним, словно все еще чего-то ожидая, потом в неожиданном припадке уронила голову на стол и, пристукивая ею, сдавленно, страшно, чужеголосо выкрикивала:

— Сеня! Сеня! Сеня!

Порывы ветра становились все сильнее и злей, и к ночи земля ходила ходуном. Сеня лежал без сна и, пытаясь защититься, натягивая на себя одеяло, слушал, как гремит и стонет на разные лады: «Сеня! Сеня! Сеня!»



ЛЕОНИД
БОРОДИН

ГОД ЧУДА
И ПЕЧАЛИ

Повесть



Нынешним летом исполнилось двадцать пять лет с тех пор, как я дал слово старухе Сарме, и сейчас я рад вдвойне: во-первых, тому, что сдержал слово, и радость мою поймет каждый, кому приходилось держать слово хотя бы половину этого срока, а во-вторых, тому, что наконец могу рассказать то, о чем должен был молчать все это время.

Однако срок исполнился несколько месяцев назад, а я лишь теперь раскрыл тетрадь и начал писать, полный робости и неуверенности. Раньше казалось: придет время — и я сразу, в несколько дней, поведаю обо всем, что случилось со мной двадцать пять лет назад, и сделаю это легко и скоро, потому что ничего не забылось — ни слова, ни шороха, ни одного движения души, ни одной случайной мысли, ни одного доброго или недоброго намерения. И тогда у меня не мелькало даже мысли о том, поверят ли мне люди. Менее всего намерен я сочинить сказочку, безобидную и занимательную. Ради сказки не стоит марать бумагу — я не сказочник!

Но то, что случилось со мной в детстве, ни отдельными фактами события, ни событием в целом никак не подпадает под категорию обыкновенной истории детства.

В глубине души, откровенно говоря, я уверен, что не у одного меня было такое в детстве! Вероятно, это было у многих, но они, может быть, тоже боятся, что им не поверят, и молчат. Но зато они-то и поверят мне. И, может быть, именно потому, несколько раз уже отложив ручку в сторону, выкурив пару сигарет и прогулявшись по комнате взад-вперед, снова сажусь, раскрываю тетрадь, перечитываю десяток написанных строк и продолжаю, и надеюсь, что сумею убедить читателя в правде всего, о чем расскажу. Но здесь же, в первых строках, хочу и предупредить: моя история не сказка, и если кто-то, дочитав до определенного места, вдруг поймает себя на том, что не верит мне, то или пусть вообще не читает дальше, или пусть попытается набраться терпения и читать, прикидываясь несомневающимся, и тогда, быть может, сомнение рассеется, как часто бывает, когда для того, чтобы поверить в необычное, нужно перешагнуть через невидимую грань-стену-сеть, что ограничивает, отделяет и спутывает наши возможности веры и доверия. По опыту знаю: правда чувств куда необъятнее правды обнаруженных нами законов мира, в котором мы живем!

* * *

Чудо — это то, что вопреки! Чудо — это то, чего, как правило, не бывает! А бывает оно, следовательно, вопреки правилам!

Если есть такие невезучие, у кого не было в жизни даже самого пустякового чуда, тем я могу помочь очень просто. Никаких тридевятих земель и никаких тридесятих царств!

Достаточно приехать в город Иркутск, там пересесть на электричку Иркутск — Слюдянка и занять место на левой стороне по ходу поезда.

Развернувшись вправо от Ангары, поезд долго будет идти вдоль шустрой горной речки; за речкой, если взглянуть в окно напротив, пойдет тайга, не особо дрему-

чая, на глаз сибиряка вполне обычная. Слева немного погодя начнут выписывать по горизонту волнистую черту не то чтобы горы, а так, нечто среднее между холмами и горами. Потом все же окажется, что это горная местность, опять же для Сибири обычная, и через десяток-другой километров вы обязательно заскучаете, тем более если еще и до Иркутска добирались поездом через всю Сибирь.

И вот, когда вы уже заскучаете непоправимо, когда либо в сон поманит, либо книжку раскроете, когда расслабитесь на сиденье, когда печально примиритесь с обычностью, — вот тогда и будет вам награда выше всяких ожиданий! Внезапно распахнутся горы, и не расступятся, а именно распахнутся сразу на три измерения — вверх, вдаль, вниз, и тотчас же откроется необычайное, окажется, что поезд ваш идет по самому краю вершины высоченной горы, а точнее, по краю обычного мира, за чертой которого, если вверх, то синева дневного космоса, если вдаль, то беспредельная видимость горизонта, расписанного орнаментом бегущей с севера на юг кривой линии остряков вершин Хамар-Дабана, но вниз если, то там откроется ослепляющая взор страна голубой воды и коричневых скал, и это так глубоко внизу, что вы можете забыть относительно того, где же вы сами в этот момент находитесь: на поезде, или на самолете, или на орбите незнакомой планеты. Для вас исчезнут стук колес, тряска вагона, для вас исчезнет само движение, потому что по отношению к необъятности открывшейся панорамы скорость поезда смехотворна, и вы как бы повиснете на краю фантастического мира, и вместе с движением поезда прекратятся и мысли, и чувства, и все ваше суетное бытие преобразится в этот миг в единое состояние восторга перед чудом!

Не все необычное есть чудо. Чудо — понятие нравственное. И вы убедитесь в том, если сможете оторваться в этот момент от окна и взглянуть на лица справа и слева от вас, что также приросли к окнам. Вы тогда увидите в этих лицах редчайшее выражение доброты, открытости, искренности, вы осязаемо уловите тогда факт того самого подобия, коим человек отличается от всякой прочей твари и что делает его собственно человеком...

Чудо, что откроется вам, если вы сядете в иркутскую электричку у окна по ходу поезда, зовется Байкалом, и он будет одним из главных героев повести, которую я начинаю наконец, заверяя читателя в абсолютной правдивости каждого и впредь сказанного мною слова!

1

Мы уезжали жить на железнодорожную станцию на Байкале. Там учителями в железнодорожной школе должны были работать мои родители, стало быть, и мы становились железнодорожниками, отчего для переезда нам выделили отдельный товарный вагон. Отец несколько раз куда-то бегал, несколько раз приходили какие-то люди, проверяли бумаги и бумсы, потом нас долго мотали по станционным путям туда-сюда, и лишь к вечеру мы оказались в середине состава таких же, только закрытых и запломбированных вагонов, и уже совсем к ночи несколько громоподобных рывков грохотом и лязгом возвестили о том, что мы поехали.

К Байкалу мы подъехали в ночь на третьи сутки. Тщетно я вглядывался в дверную щель. Темнота, как назло, была непроглядная. Но на первой же остановке я сразу обратил внимание на незнакомый шум. Что-то большое и тяжелое вздыхало не то сердито, не то угрожающе где-то совсем рядом с вагоном, и от этих вздохов несло холодом и сквозняком, и воздух был совсем не такой, как везде раньше, почему-то все время хотелось вдохнуть его как можно больше, и оттого кружилась голова и грудь распирало то ли свежестью, то ли сыростью, а запах, шедший оттуда, из

темноты, не напоминал ни о чем знакомом и был так силен, что подавил все запахи вагона и как бы сам просился в ноздри.

Несколько часов мы ехали по берегу Байкала, хотя я никак не мог представить, как можно ехать по берегу и, тем более, как выглядит этот берег. Была такая же непроглядная темнота, когда отец возвестил, что мы приехали, и удивительно, что во тьме этой нас встречали. Двое мужчин влезли в вагон, жали руки отцу с матерью, поздравляли их с прибытием и меня тоже, а меня каждый из них хотел чем-то угостить, лез в карман, но ничего там не находил и обещал завтра: один — показать шкуру медведя, другой — покатать на лодке.

Так много было новых впечатлений и ощущений, что я с какого-то момента впал в транс и плохо помню дальнейшие события. Помню, как в темноте разгружали вагон, перетаскивали вещи, по темноте меня вели куда-то, а с одной стороны теперь уже отчетливо и, казалось, где-то рядом, под ногами, вздыхало все то же неизвестное существо, и холод с той стороны, не летний, скорее позднеосенний, шел сплошным потоком и ощущался лопатками.

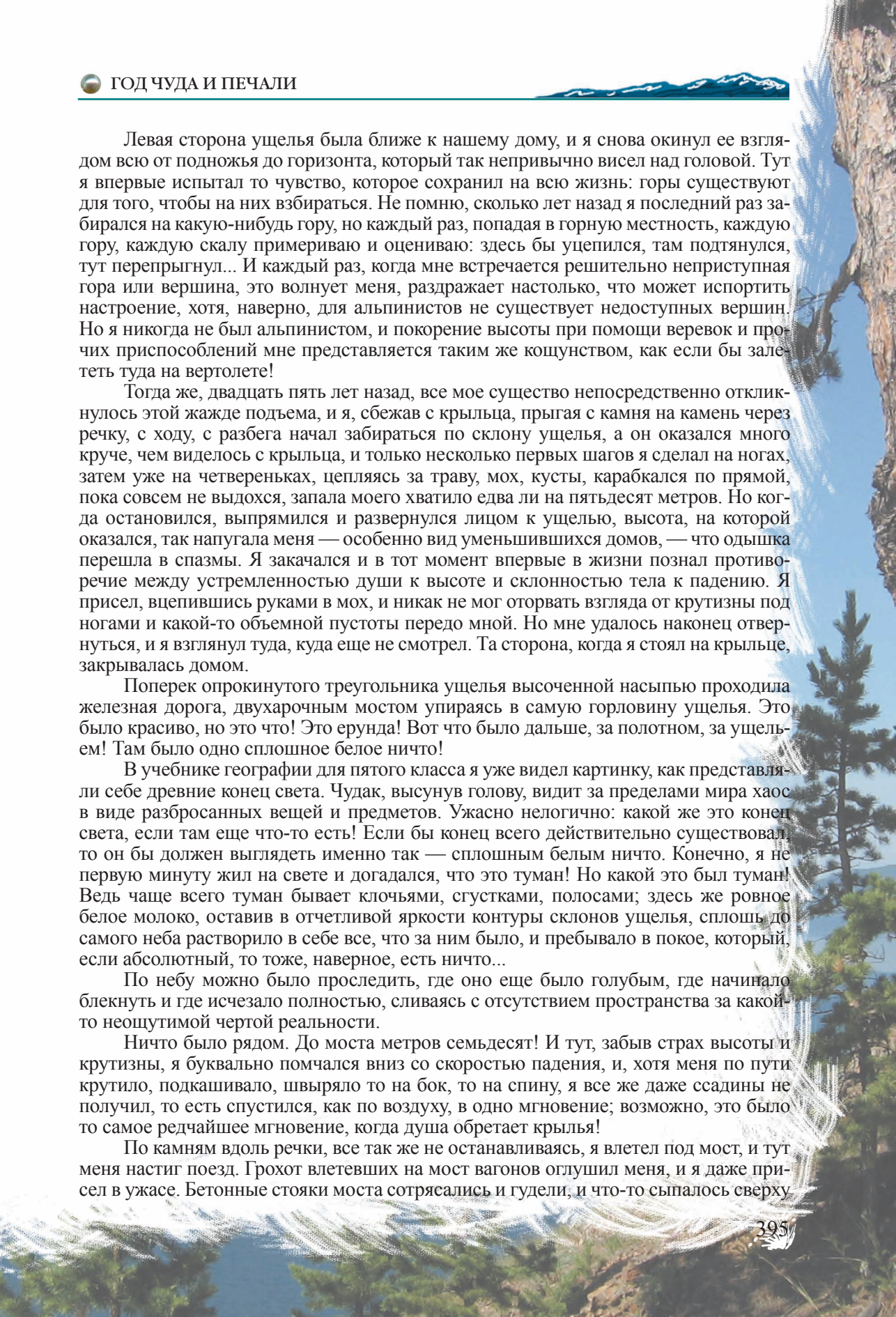
Помню, прежде чем войти в дом, на первой ступеньке крыльца я взглянул вверх на небо и ужаснулся: оно было обрезано по бокам темными громадами, и я догадался, что это горы, а дом наш внизу между ними. А место, где мы теперь будем жить, это... могила для тысячи слонов! — именно так мне подумалось. Стало страшно и захотелось спать.

Проснулся я, как в сказке, совсем в другом, новом мире. В комнате было ослепительно светло, на стене напротив меня — это первое, что я увидел, — висел косой и теплый квадрат солнца. Комната уже приняла жилой вид, и я сам оказался не на матрасе в углу, где свалился ночью, а на кровати у самого окна, по краям которого уже висели знакомые занавески, на подоконнике стоял знакомый горшок с цветком, и в окно всей полнотой диска глядело солнце, так что и взглянуть было нельзя, и я совсем напрасно, прикрывая глаза ладонью, пытался рассмотреть, что же там, за окном. Но вспомнив, что это не вагон, что у дома есть дверь и что за нею все в моем распоряжении и навсегда, — я тут же натянул брюки, рубашку, кое-как завязал шнурки на ботинках, еще не зная расположения дома, чутьем бросился к одной из двух дверей, попал на кухню и, не сказав ни слова маме, даже не взглянув на нее, даже носом не поведя на вкусные запахи с плиты, всем телом стукнулся по входной двери, затем по сенной и выскочил на крыльцо.

«Могила для тысячи слонов» оказалась громадным ущельем, куда можно было упрятать и сто тысяч. Горы оказались намного выше, чем это угадывалось ночью, ничего подобного я и представить не мог. Крыльцо выходило в сторону ущелья, и справа от меня на самой вершине горы, на желтой отвесной скале сидело, свесив ноги, солнце. Сидело оно так удобно и уютно, что можно было подумать, будто в этих местах оно вовсе не ходит по небу, а весь день пребывает в каменном кресле, к ночи лишь прячась за его спинку. Оба склона ущелья снизу были покрыты кустарником, дальше начинался березняк, а еще выше хвойные деревья вплотную друг к другу — и это была уже, наверное, тайга. Я еще не знал, что кустарник — это багульник, а хвойные деревья — кедры, а лес называется кедрачом, я еще ничего не знал о том, что вокруг, я только стоял на крыльце и шалел от небывалости и невиданности.

Впереди, где ущелье словно сходило на нет, поперек ущелья просматривалась другая гора, она казалась еще выше. А слева по каменистой ложбинке мне навстречу прыгала по камням речушка, и как только глаза мои притерлись к увиденному, слух заполнился журчаньем этого горного ручья, бегущего куда-то за дом.

Вдоль этого ручья-речки, дальше по ущелью, стояли дома, причем один над другим, между ними петляла и горбилась дорога и упиралась затем в большое двухэтажное здание в глубине ущелья: я догадался, что это школа.



Левая сторона ущелья была ближе к нашему дому, и я снова окинул ее взглядом всю от подножья до горизонта, который так непривычно висел над головой. Тут я впервые испытал то чувство, которое сохранил на всю жизнь: горы существуют для того, чтобы на них взбираться. Не помню, сколько лет назад я последний раз забирался на какую-нибудь гору, но каждый раз, попадая в горную местность, каждую гору, каждую скалу примериваю и оцениваю: здесь бы уцепился, там подтянулся, тут перепрыгнул... И каждый раз, когда мне встречается решительно неприступная гора или вершина, это волнует меня, раздражает настолько, что может испортить настроение, хотя, наверно, для альпинистов не существует недоступных вершин. Но я никогда не был альпинистом, и покорение высоты при помощи веревок и прочих приспособлений мне представляется таким же кощунством, как если бы залезть туда на вертолете!

Тогда же, двадцать пять лет назад, все мое существо непосредственно откликнулось этой жажде подвига, и я, сбежав с крыльца, прыгая с камня на камень через речку, с ходу, с разбега начал забираться по склону ущелья, а он оказался много круче, чем виделось с крыльца, и только несколько первых шагов я сделал на ногах, затем уже на четвереньках, цепляясь за траву, мох, кусты, карабкался по прямой, пока совсем не выдохся, запала моего хватило едва ли на пятьдесят метров. Но когда остановился, выпрямился и развернулся лицом к ущелью, высота, на которой оказался, так напугала меня — особенно вид уменьшившихся домов, — что одышка перешла в спазмы. Я закачался и в тот момент впервые в жизни познал противоречие между устремленностью души к высоте и склонностью тела к падению. Я присел, вцепившись руками в мох, и никак не мог оторвать взгляда от крутизны под ногами и какой-то объемной пустоты передо мной. Но мне удалось наконец отвернуться, и я взглянул туда, куда еще не смотрел. Та сторона, когда я стоял на крыльце, закрывалась домом.

Поперек опрокинутого треугольника ущелья высоченной насыпью проходила железная дорога, двухарочным мостом упираясь в самую горловину ущелья. Это было красиво, но это что! Это ерунда! Вот что было дальше, за полотном, за ущельем! Там было одно сплошное белое ничто!

В учебнике географии для пятого класса я уже видел картинку, как представляли себе древние конец света. Чудак, высунув голову, видит за пределами мира хаос в виде разбросанных вещей и предметов. Ужасно нелогично: какой же это конец света, если там еще что-то есть! Если бы конец всего действительно существовал, то он бы должен выглядеть именно так — сплошным белым ничто. Конечно, я не первую минуту жил на свете и догадался, что это туман! Но какой это был туман! Ведь чаще всего туман бывает ключьями, сгустками, полосами; здесь же ровное белое молоко, оставив в отчетливой яркости контуры склонов ущелья, сплошь до самого неба растворило в себе все, что за ним было, и пребывало в покое, который, если абсолютный, то тоже, наверно, есть ничто...

По небу можно было проследить, где оно еще было голубым, где начинало блекнуть и где исчезало полностью, сливаясь с отсутствием пространства за какой-то неощутимой чертой реальности.

Ничто было рядом. До моста метров семьдесят! И тут, забыв страх высоты и крутизны, я буквально помчался вниз со скоростью падения, и, хотя меня по пути крутило, подкашивало, швыряло то на бок, то на спину, я все же даже ссадины не получил, то есть спустился, как по воздуху, в одно мгновение; возможно, это было то самое редчайшее мгновение, когда душа обретает крылья!

По камням вдоль речки, все так же не останавливаясь, я влетел под мост, и тут меня настиг поезд. Грохот влетевших на мост вагонов оглушил меня, и я даже присел в ужасе. Бетонные стояки моста сотрясались и гудели, и что-то сыпалось сверху

в проем между путями, и в эти проемы, задрвав голову, я видел пролетающие вагоны и сам себе казался самоубийцей.

Поезд отгрохотал, а мост все еще дышал эхом этого грохота,

Я наконец пришел в себя и опрометью кинулся прочь из-под моста навстречу и в самые объятия чудесному туману. От моста пробежал не более двадцати шагов, как вдруг ноги мои обожгло. Не сообразив сразу, в чем дело, нагнулся и только тогда увидел воду. Когда же сделал несколько шагов назад, посмотрел перед собой и опять ничего не увидел, кроме белого тумана перед собой и везде впереди. Тогда я опустил на корточках и шажками стал подкрадываться к воде и обнаружил ее, притворившуюся тонким, светлым стеклышком. Зрение она могла обмануть, но осязание — нет! И когда я осторожно дотронулся до нее пальцами, она, словно устав от притворства, охотно расступилась, пропустив пальцы в свой нелетный холод, но замкнулась в стекло тотчас же, как только я убрал руку.

Долго я сидел на корточках и рассматривал камешки под стеклом, иногда вынимая тот или другой, словно проверяя, такие ли они в действительности, как видятся. Когда я поднял глаза, туман уже отступил достаточно далеко, хотя все еще стоял сплошной белой завесой, но все же отступал он уже прямо на глазах, и передо мной все больше и больше открывалось застекленное пространство, ни малейшим движением, ни единой морщинкой не выдававшее своей подлинной сути. И чем больше пространства открывалось впереди, тем упорнее создавалось впечатление громадного, бесконечного стекла, от ног моих уходившего к небу и перекрывшего всю остальную землю.

Стекло — это хрупкость! Жажда познания выявляется у детей потребностью проверки качества предмета, и я, нагнувшись, взял в руку большой камень. Притом ощущение было такое, будто стою перед окном с хулиганским помыслом. Помысел оказался непреодолим, и, размахнувшись, я кинул камень как мог дальше. Раздался типичный треск разбитого стекла, полетели вверх осколки, пошли круговые трещины, расходясь в стороны, как борозды грампластинок. Первая, самая крупная борозда достигла меня и укоризненно облизнула мои и без того уже мокрые ботинки. Но через мгновение от моего хулиганства не осталось и следа, след от удара зарос гладким, спокойным стеклом, как будто ничего не случилось. Если бы окна домов обладали тем же свойством, насколько счастливее было бы детство мальчишек!

— И совсем не далеко! — раздался за моей спиной девчоночий голос. — Я дальше могу!

Обернувшись, я увидел двух девчонок. Одна была моего возраста, другая лет пяти, но будто уменьшенная копия первой. Обе были светловолосые, курносые и веснушчатые.

— Запросто дальше могу! — повторила старшая. Она подняла маленький камешек и кинула его, как кидают все девчонки, — через голову, будто муху ловят. Камешек, конечно, улетел дальше, он был маленький. Я такой до самого тумана докинул бы. Но я ничего не сказал.

— Светка, поймай ширика! — захныкала младшая.

— Отстань!

— А я папке скажу, что ты пистоны мальчишкам таскала!

Испуганно покосившись на сестру и на меня, Светка (на редкость к ней подходило это имя) проворчала:

— У, ябеда! Ладно! Щас!

Страхнув с ног ботинки, она вошла в воду выше щиколоток и, что-то разглядывая под ногами, вполунаклон пошла вдоль берега. Я шел рядом, удивляясь, как терпят ее ноги такую воду.

Вот Светка, подобрав подол платья, присела и перевернула в воде один камень, потом другой, еще несколько и вдруг, сделав ладошку лодочкой, замерла и

стала тихо опускать руку в воду. Ладонка хлопнула по воде, рывок — и в ладонке уже трепыхалась рыбка, синеватая, с желтыми плавниками. Не было предела моему изумлению. Рыбешек такой величины мы, бывало, в речке часами уговаривали сесть на крючок, а здесь девчонка рукой ловит их на самом берегу!

Заметив мой интерес, Светка сказала:

— Ширик-желтокрылик!

— Покажи!

— Дай! Дай! — завякала ее сестренка.

— У, жадюга! Да я тебе еще поймаю!

Пока я рассматривал красивую рыбку, Светка поймала еще одну и сунула ее хнычущей сестренке.

— Это вы новые учителя? — спросила Светка.

Я кивнул.

— А у меня папка завхозом в школе. Он охотник! Хочешь медведя посмотреть?

— Медведя?!

— Шкуру! Папка весной убил.

Теперь я уже точно знал, что вся моя жизнь в этом месте будет сопровождаться чудесами, предчувствие бесконечной новизны сделало меня радостно-спокойным, и я пошел к Светке смотреть шкуру медведя с любопытством серьезного взрослого человека, который рад удивляться, но удивить которого непросто.

Светка накидывала на себя шкуру, косолапо шла на меня и рычала. Я отбирал у ней шкуру, напяливал на себя, наступал на нее и рычал. Нелька, ее младшая сестренка, визжала беспрестанно и лаяла на нас обоих. Светка вздохнула и рассказывала:

— Когда медведя из тайги привезли, посадили его у крыльца, как будто живой... Собаки все сбежались, давай лаять! А папка поймал крюковского Шарика и бросил на медведя! Шарик с испугу весь обкакался!

Я тоже хохотал до слез, хотя в глубине души очень даже понимал того несчастного Шарика.

Пришел отец Светки, и оказался он тем самым человеком, который ночью помогал нам разгружаться и переносить вещи. Он дал мне подержать ружье и нож охотничий и пулю, что зовется жаканом, которой стреляют в медведя.

Светка пригласила меня вечером пойти с ней в падь за коровой. Оказывается здесь никто не говорил «ущелье», все говорили «падь». Утром коров отгоняли в падь, а вечером ходили за ними и приводили домой каждый свою.

Когда я уходил из дома Светки, меня перехватила мать, затащила домой и заставила завтракать. Последнюю оладью я доглатывал уже на крыльце.

Весь день до вечера прошел в знакомствах и впечатлениях. Я подружился с Валеркой, тоже учительским сыном, и с Юркой, его приятелем.

Я присутствовал при взрыве петард. Баночка, похожая на баночку из-под вазелина или сапожного крема, начиненная порохом и пистонами, использовалась путевыми обходчиками для остановки или предупреждения поездов. Кража петард у родителей была популярным подвигом у мальчишек поселка. Петарду клали на плоский камень под небольшим обрывом или под бугром, а с бугра кидали на нее другой, тоже очень большой камень — от маленького петарда только мялась. Взрыв петарды был как взрыв гранаты, а геройство заключалось в том, чтобы при взрыве стоять как можно ближе.

В разговорах моих друзей главной темой была тайга, таежные покосы, где на болотах и по опушкам накашивали сено коровам и козам, кедряч и ягодные места.

Самым интересным человеком в поселке была старуха Васина — местная колдунья, которую все мальчишки, кроме Юрки, боялись и, пожалуй, не любили. Юрку

же она спасла от укуса гадюки, и, когда старуху Васину кто-нибудь начинал ругать, Юрка хмурился и предупреждал: «Кто Васину тронет, тому хвоста накручу!»

«Накрутить хвоста» — было самой страшной угрозой. Почти все семьи держали коз. Иногда по десяти. Летом козы сами по себе паслись на горах и скалах, на зиму им запасали сено. За домами поселка вся падь была расквадрачена огородами. А коза и огород — это как кошка и мышка. По общему убеждению, и это, кажется, подтверждала и практика, единственным средством отучить козу или козла от огорода было — «накрутить хвоста», то есть, поймав козу в огороде, ее и без того жалкий хвост крутили винтом до тех пор, пока ее блеяние не превращалось в отчаянный рев. Уже отпущенная, коза, со всех ног уносясь прочь, еще долго кричала на все ущелье, иногда продолжала кричать, забравшись на ближайшую скалу и обратясь бородатой мордой к своим мучителям, которые смотрели на нее снизу вверх с жестоким торжеством, назидательно покачивая головой и приговаривая: «Ужо не полезешь!»

Юрка пользовался у всех мальчишек большим авторитетом еще и из-за своего брата-киномеханика. Личное знакомство с Юркиным братом для каждого было высшей честью. Этой чести почему-то Юрка решил удостоить меня, ничем еще того не заслужившего. Юрка пригласил меня назавтра на рыбалку, то есть я должен был быть третьим в их компании с братом, и Валерка, например, мне откровенно позавидовал. На днях ожидалась третья серия «Тарзана», денег же больше, чем на один сеанс, у родителей едва ли выпросишь!

За весь день солнце обошло ущелье кругом и к вечеру присело на другую скалу и, кажется, больше уже никуда двигаться не собиралось. К вечеру стало прохладнее. Прежде чем пойти со Светкой в падь за коровами, я забежал домой, где меня снова насильно накормили, и надел куртку.

Через весь поселок мы дошли по дороге до школы. Там дорога, сделав петлю, уходила дальше, сильно сузившись и чем дальше, тем больше становясь каменистой. Вся падь и в самом широком месте была не более ста метров в ширину, а теперь за поселком она все более и более суживалась, и везде по обе стороны дороги лепились огороды, так что дорога шла все время между заборами.

Еще утром, когда смотрел с крыльца, заметил я высокую скалу, что как бы запирала ущелье и в то же время возвышалась над ним. Теперь, чем дальше мы шли от поселка, тем стремительнее, гораздо быстрее нашего приближения к ней, она вырастала перед нами и тем более приковывала мое внимание. Это была совсем необычная скала. На ней не росли деревья, и только на самой вершине под небом стояла сосна, и было у этой сосны всего четыре ветви. Две верхние, что поменьше, поднимались к небу, две другие были опущены вниз почти вдоль ствола. И хотя сосна эта была далеко и высоко, но на фоне закатом подсвеченного неба она виделась вся, во всех деталях ствола и ветвей. Сама скала походила на полуразрушенную башню, потому что вокруг нее кругом были завалы камней, разных и огромных, некоторые как дом, и на них ни одного кустика.

Светка заметила мое внимание.

— Это Мертвая скала! Так ее называют. На нее нельзя лазить! Она вся сыплется! Вишь, сколько камней! Это все с нее свалилось! В прошлом году Ляскина корова вон туда забралась, и ее камнями убило!

Мы подошли уже совсем близко к Мертвой скале, солнца за спиной уже не было, но оно еще было на небе, и на фоне этого неба скала казалась мрачной, зловецей и как будто о чем-то сознательно молчащей...

Каждый знает, что если из темной комнаты взглянуть на светлое окно, а потом закрыть глаза, то в закрытых глазах еще долго будет стоять силуэт окна и рамы, и даже форточки.

Мы со Светкой только что остановились, она оглядывалась по сторонам, а я смотрел на сосну на скале. Смотрел, а потом закрыл глаза, и по закону в глазах должен был остаться силуэт с четырьмя ветвями. Но то, что я увидел, заставило тотчас же открыть глаза, и вид у меня в этот момент, кажется, был очень испуганный, потому что Светка, взглянув на скалу, сказала:

— Страшная, да?

Я кивнул согласно, но, спохватившись, закивал отрицательно.

— Обычная...

Но голос выдал меня, и Светка не поверила.

Вправо и влево от Мертвой скалы дорога раздваивалась и, уходя в лесистые распадки, тропинками терялась в них. Где-то в одном из этих распадков бродили-паслись поселковые коровы, и Светка вглядывалась то вправо, то влево, не решаясь, в какую сторону идти. Сзади нас по дороге за коровами шли другие жители поселка, и ущелье наполнилось людскими голосами, больше детскими.

— Вон! — крикнула Светка, показывая рукой в правый распадок. Я, конечно, ничего там не увидел, да и взглянул-то всего на секунду, потому что не мог оторвать взгляда от Мертвой скалы, набираясь смелости повторить эксперимент с силуэтами. Ведь мне могло показаться! Конечно, просто показалось, я зря быстро открыл глаза, а нужно было присмотреться...

Светка тянула за рукав.

— Пошли!

Я не двинулся с места.

— Ты... давай... я тебя тут подожду...

— Испугался! Испугался! — запрыгала Светка.

— Я тут подожду! — ответил я угрюмо.

— Ну и жди! — крикнула Светка и вприпрыжку побежала от меня туда, откуда теперь слабо доносился звон боталов-колокольчиков, подвешенных на шеи коров. Коровы знали порядок и выходили навстречу хозяевам.

Я оглянулся назад, прикидывая, успею ли сделать, что хочу, пока подойдут идущие сзади.

Снова взглянул на скалу и сосну, смотрел долго, до рези в глазах, и затем зажмурился. Все повторилось. Я хотел открыть глаза, но веки сжались с такой силой, что я не мог с ними справиться, непонятный холод входил в меня через сердце и уходил в пятки, и пятками почувствовал страх. Когда, наконец, открыл глаза, все было на месте — обычная скала, обычная сосна на ней, но я уже не верил тому, что видели глаза, я верил тому, чего они не видели, и, круто развернувшись, помчался прочь, чуть не сбивая с ног идущих за коровами людей. Они удивленно смотрели на меня и, наверное, оборачивались вслед.

Около самой школы остановил меня Юрка.

— Ты что?

— Ничего! — ответил я, еле справляясь с одышкой.

— Айда за коровами!

Я замотал головой.

— Домой надо!

— На рыбалку-то пойдешь?

— Пойду! — крикнул я уже на ходу.

Бежал до самого дома, до самого крыльца. На крыльце долго отплевывался; кружилась голова. Когда же наконец пришел в себя, то удивился. Чего это я бежал! Что за глупости мне померещились! Ну, не дурак ли! Оставил Светку, она, чего доброго, начнет искать меня! Дурак! Ей-богу, дурак!

Мать с отцом были дома.

— Набегался! Ну как, нравится тебе здесь?

Я долго рассказывал им свои впечатления и за ужином говорил, и лишь когда упомянул о скале, что-то снова почувствовал в сердце, похожее на холод, и сразу захотелось спать. Однако перед сном все же вышел на крыльцо и долго смотрел в ту сторону, где была Мертвая скала. В сумерках ее уже не было видно, но с той стороны, из сумерек, шла ко мне и входила в меня тревога, или, быть может, это просто с гор шла вечерняя прохлада, или это была радость новой жизни, как всякая новая радость, вызывающая тревогу за будущее утро, которое может оказаться обыкновеннее уходящего дня.

Казалось, что я только что заснул, а мама уже трясла меня за плечо и крутила вихры на голове.

— Вставай! Пришли за тобой! На рыбалку!

Ни в жизнь так рано не встал бы в прошлые времена, но тут, даже еще не проснувшись толком, вскочил и начал торопливо натягивать штаны.

А в это утро Байкал был совсем другой, и даже поверить невозможно, что вчера от берега до бесконечности лежала светлая гладь без единой морщинки, да и возможно ли такое, ведь это же море, и малейший ветерок гонит по воде рябь, а когда кончается ветерок, то рябь еще долго идет по его направлению темно-синей стрелой. Сегодня так и было. Весь Байкал был синий, но по синему острыми клиньями с юга на север носилась рябь еще синее — так было сначала, когда мы вышли на берег.

— Култук будет! Хорошо! — сказал Юрка, а его брат-киномеханик кивнул согласно.

Мы шли по бровке железнодорожного полотна, и, пока шли, Юрка рассказал мне много о Байкале, что должен знать каждый, даже если он в Москве живет, потому что такого другого Байкала больше нигде нет и не будет.

— Култук будет! — повторил Юрка. И я уже знал, что скоро пойдут волны с юга, и это хорошо для рыбалки, это значит, вал погонит рыбу к нашему берегу и что подойдет привальный хариус, то есть хариус, который очень большой и живет в глубине, а подходит к берегу во время вала, потому что вал бьет по берегу и из-под камней выбивает икру бычков, тех самых рыбок, каких вчера Светка рукой поймала. Бычок-самка заплывает под камень, который неплотно на дне лежит, переворачивается брюхом вверх и мечет на камень икру, и это у самого берега, чтобы другие большие рыбы ее не съели. Рыбаки эту икру собирают, солят, прессуют и на нее рыбачат на хариуса. А есть эту икру нельзя. Невкусная. Горькая.

Мы все шли и шли, и я не мог понять, зачем мы идем, когда кругом вода и берег одинаково каменистый.

Другого берега видно не было, там только тучи или густые облака лежали почти на воде, или так казалось. А у нашего берега начало плескаться не совсем понятно что, потому что волн не было, одна темно-синяя рябь металась туда-сюда: то вдоль берега, то от берега; иногда все кругом покрывалось темной рябью, и тогда уже был не синий цвет, а скорее, темно-серый, почти черный, но лишь стихал ветер, вода снова голубела, и мне не хотелось другого цвета, кроме голубого, потому что и небо точь-в-точь, как вода, тоже никак не могло выбрать для себя постоянного цвета в это утро и тоже то разливалось синью, то ребрилось перьями разметавшихся по горизонту облаков.

Нас обогнал поезд, и, пока он пролетал мимо, мы стояли на самом краю бровки, а мелькающих и грохочущих вагонов можно было коснуться рукой.

Железная дорога шла по узкой скалистой полоске вдоль берега, над которым до неба нависли почти прямо, будто обрубленные, скалы. Пока поезд держал нас на краю насыпи, я пялил голову вверх, пытаюсь представить высоту скал, и мне ка-

залось, что высота их многокилометровая, потому что самих вершин не видно: их перекрывали нависшие над нами откосы.

Потом уже мы шли недолго и скоро каменистой ложбинкой спустились с насыпи на самый берег, весь заваленный громадными камнями. В двух местах над водой торчали две шпалы, на берегу придавленные камнями. Это место называлось лавой. Здесь была яма, то есть от последнего камня сразу без всякого уклона была глубина восемь-десять метров. В такие места близко к берегу подходит хариус во время вала. Здесь его лучше всего ловить.

Когда мы спустились к воде, вал уже начался. Правда, волны были невысокие, шли друг за дружкой спокойно и не торопясь, шли не напрямую к берегу, а как бы наискось, и волна сначала лишь одним краем заплескивалась на берег, словно цепляясь за него, а когда другой, видимый конец ее тоже достигал берега, здесь, у наших ног, уже другая волна падала на камни, выбрасывая сверху между камнями горсти блестящих брызг.

Юрка и его брат достали спрятанные в камнях в прошлую рыбалку громадные удилища. У дяди Вити оно было семи метров, у Юрки — пять с половиной. Удилища были составлены из нескольких палок, соединенных железными трубками. Перекинув через плечо сумку с икрой-наживкой, оба они, задрав удилища к небу, зашли на узкие, мокрые шпалы, на которых и без удилища устоять трудно, насадили наживки на крючки и закинули лески насколько можно дальше. Уперев удилища в бедра, они замерли в такой позе, уставившись на поплавки с длинными гусиными перьями. Поплавки качались на волнах, наклонялись то назад, то вперед, и я несколько раз вздрагивал и вскрикивал — мне казалось, что клюет, но рыбаки стояли, как каменные статуи, без малейшего движения, и можно было подумать, что они забыли, зачем встали здесь.

Хариус — рыба благородная, не то что какой-нибудь там окунь или карась, которые, как дураки, заглатывают червяков сразу до самого живота и тащат поплавок и леску, словно сообщая рыбаку, что, мол, дело сделано и давай тащи! Хариус сначала пробует хвостом сбить насадку с крючка и лишь потом, если очень голоден, осторожно пробует ее губами. Поплавок при этом лишь чуть вздрагивает, и надо суметь тут же подсечь его. А попробуй подсечь тонко, чтобы не оборвать губу, чтобы не успел хариус выпустить наживку изо рта, если в руках семиметровое удилище, а леска опущена на шесть метров в глубину!

А потом сама поза, в которой застывают рыбаки на шпале!

Тупой конец удилища как бы воткнут в бедро, тонкий его конец нависает в метре над поплавком, левая рука на левом бедре, корпус чуть отклонен назад, и во всей позе, кроме готовности к подсечке, еще и своеобразная удаль, и легкость, и безмятежность, и даже некоторая небрежность, и полное равнодушие на лице. А при этом шпала, как ни крепко придавлена камнями на берегу, все же пружинит под ногами, и волны бьют по ногам, а если клюнуло, то ведь нужно подсечь, вытащить, поймать хариуса левой рукой, прижав удилище к телу, снять рыбу с крючка, бросить в сумку или на берег, насадить наживку и снова закинуть леску, махнув громадным удилищем, — и при всем этом не потерять равновесия, не поскользнуться ногой, не шлепнуть удилищем по воде. Хариус пуглив. Икра держится на крючке чуть-чуть и при неудачной подсечке слетает с крючка, и насаживай заново!

Понаблюдав за рыбаками минут десять, я зауважал их до волнения. А еще через несколько минут задремал, облокотившись на камень, и мне приснилось, что из воды между камней высунулась громадная рыбина и, разинув рот, сказала громко: «Проспал, рыбак!» — и захохотала.

В этот миг что-то ударило меня по животу, я вскочил и увидел у ног рыбу. Юрка и дядя Витя хохотали.

— Проспал! — крикнул Юрка.

— Собирай сучья! Разжигай костер! Жарить будем!

И дядя Витя показал мне, где можно набрать сучьев.

Пока я разжигал костер, одна за одной прилетели на берег восемь рыб — больших хариусов, как сказал дядя Витя, по два фунта каждая, не меньше.

Потом клев прекратился. Рыбаки вышли на берег, положили удилища на камни и начали жарить рыбу невиданным способом. Рыбу обвертывали газетой и клали в костер, в самые угли, а когда вынимали, газета оказывалась лишь чуть пожелтевшей, и кое-где даже видны были буквы. Рыба же оказывалась отлично зажаренной, оставалось только посолить ее.

Пока жарилась рыба, пока мы ели ее, пока ждали хорошего вала, дядя Витя рассказывал мне о Байкале. Про вал Култук и про вал Баргузин, про ветер Сарму, что срывает деревья со скал и бросает в воду, про остров Ольхон, что на севере, про то, как была у Байкала единственная дочь, красавица Ангара, и что убежала она к своему жениху Енисею, а Байкал с досады кинул ей вслед скалу, что и ныне торчит из воды, где начинается Ангара.

Я слушал, а на душе становилось отчего-то тревожно. Мне казалось, что все, о чем он рассказывает, я уже знаю или знал когда-то, но забыл, но что все было не так, как он рассказывает, а совсем иначе, и даже названия и имена звучат лишь похоже, но не так, как я их когда-то слышал. Я ничего не мог припомнить, но все время хотелось возразить...

Потом дядя Витя пел песню:

*В старину, давно то было,
Пронеслись веков года,
Когда сдвинута Байкалом
Была синяя гора.
От нее лежат осколки
И теперь еще в воде
Да огромные пороги
По теченью кое-где
Остальное все умчали
Воды быстрые реки,
Но хранят легенду свято
Старожилы-рыбаки
Вам расскажут их внучата,
Среди них она живет.
Неизвестно только имя,
От кого она идет...*

Волны к тому времени уже стали захлестывать камни, за которыми мы сидели, а шум вала заставлял говорить все громче и громче. Другой берег, напротив, прояснился, и я впервые увидел горы, что выше наших, как сказал дядя Витя, со снежными шапками на остроконечных вершинах. До того берега было сорок километров, казалось же, что много больше. Открылась видимость влево и вправо. В обе стороны вода уходила в небо, или небо опускалось в воду, и лишь слабой, еле различимой чертой проглядывал горизонт.

Волны уже не просто катились, а будто кто-то подталкивал, торопил их, и это их раздражало, а раздражение они срывали на камнях и друг на друге, когда сталкивались в каменных россыпях на берегу. Тогда вода там закипала и пенилась и металась в водоворотах. На берегу ветра почти не было. Ветер носился где-то там, на середине, там он превращал воду в волны и оттуда гнал их к берегу.

Рыбаки снова заняли свои места на шпалах. Волны перехлестывали шпалы, били по ногам выше колен так, что сапоги не спасали. Клева, вопреки ожиданию и уверенности дяди Вити, не было, и через полчаса малость обескураженные рыбаки вышли на берег, слили воду из сапог, отжали гачи штанов и спрятали удилища.

Побросав остатки костра в воду, мы взобрались на насыпь и двинулись домой.

— Мы что знаем о рыбе, — рассуждал дядя Витя, — что ей жрать надо! А какие у нее еще дела и заботы, мы этого не знаем! По всем правилам должна она была клевать по валу, а вот не клюет! Значит, еще какие-то причины есть, которых мы не знаем. А может, еще подождать бы надо... Да только хватит с нас того, что есть!

И он подбросил кверху сумку с рыбой, и сумка тяжело упала ему на руки.

Я шел и все время запинался о концы шпал, потому что не смотрел под ноги, а смотрел на скалы или на Байкал. Он был теперь темно-серый, и небо над скалами было темное, и скалы не желтые или коричневые, как при солнце, а тоже серые, и хотя я понимал, что причина всех цветов — солнце, думалось же, что причина всему Байкал, ведь не Байкал смотрел на скалы и солнце, а скалы и солнце смотрелись в Байкал, и там они видели себя, и если вода была спокойна, то и все кругом прихорашивалось, глядя в зеркало воды, а если волны, и все колебалось и кривилось, как в кривом зеркале, у всего портилось настроение, а признак плохого настроения в природе разве не серый цвет, от которого и на душе серо становится...

Но у меня на душе было средне. Мне все время казалось, что я делаю что-то не то, о чем-то забываю... Оттого был я молчалив и, наверное, показался моим новым знакомым изрядной букой.

В мыслях же у меня все время стояли слова, что услышал нынче: Баргузин, Ольхон, Сарма, Ангара, — и мне все хотелось их как-то переиначить, произнести по-другому, и тогда, казалось, я вспомню что-то или что-то узнаю...

Я отказывался, но мне дали две рыбины, да еще самые большие. Поскольку это была не моя добыча, я сунул рыбу матери и пробурчал: «Вот... дали...» Мама была рада и сказала, что давно хотела свежей рыбы.

Я вышел на крыльцо, взглянул в падь и увидел и вспомнил одновременно про Мертвую скалу и все, что было вчера. Меня ждал обед, но я прыгнул с крыльца и побежал в падь. Бежал и удивлялся, как же я мог забыть о скале! А может быть, ничего этого не было, может быть, мне это все приснилось ночью? Я даже остановился от этой мысли. Но нет же! Я бросил Светку и убежал домой! Я дважды закрывал глаза и дважды видел одно и то же.

Я снова бежал, потом быстро шел, потом снова бежал.

На том самом месте, откуда вчера Светка ушла за коровой, я долго стоял и смотрел на скалу и сосну и ничего не мог понять! Обычная скала, обычная сосна, а что всего четыре ветви, так там, на вершине, поди, какой ветер бывает! Как еще сосна выстояла! На фоне серого неба скала тоже была серая, а сосна вообще плохо виделась, и ничего в ней не было особенного. Три, четыре, пять раз закрывал я глаза и ничего не видел такого, что померещилось мне вчера. Небо было сумрачное, и, когда закрывал глаза, силуэта сосны и скалы в глазах не оставалось. В общем, все оказалось глупостью, просто даже смешно было.

С обеда до вечера я бегал с мальчишками по деревне, лазил с ними по ближним скалам, строил запруды на речке. Потом немного прокапал дождь, а когда снова прояснилось, стало уже темнеть, и так закончился мой второй день жизни на берегу озера Байкал...

2

А на другой день Байкал был светло-голубой и, конечно, такое же было небо, и скалы кругом были желто-коричневые, где без деревьев, и ярко-зеленые там, где покрыты лесом.

Вода уже не походила на стекло, а будто громадная голубая скатерть была расстелена до всех горизонтов, а под скатертью ходили медведи и никак не могли выйти на берег. Волны были гладкими и блестящими и на берегу не плескались, а растекались по нему прозрачной голубой пленкой.

Я пошел по берегу в сторону станции, куда еще не ходил. Там на берегу стояла лодка, и я вспомнил, как в ночь приезда какой-то дядька обещал покатать меня. Я надеялся встретить его. Но на берегу никого не было. Лодка наполовину была затаскана на берег и цепью прикручена к рельсу, вкопанному в землю. Я залез в лодку, сел на сиденье и, воображая себя плывущим по волнам, махал воображаемыми веслами и качался на воображаемых волнах. Мою игру прервал нахальный голос:

— Эй ты, а ну вылезь из лодки!

Мальчишка был чуть старше меня и сильнее, в общем, типичный деревенский забияка. Из лодки я вылез и встал за ней с независимым видом.

— Твоя, что ли!

— А то! — ответил он важно.

Я пнул ногой камешек, сунул руки в карманы и пошел прочь.

— Эй ты!

Я повернулся.

— Ты куда это шкарлупу подевал?! — спросил он, угрожающе прищурив глаза.

— Чего?

— Я говорю, ты куда шкарлупу девал?!

— Какую шкарлупу? — спросил я недоуменно.

Мальчишка выпрямился и сказал торжествуя:

— А ту, из которой ты щас вылупился!

Такой хороший был день, настроение было такое хорошее, так не хотелось драться, да еще оказаться битым, но такое оскорбление как перенести? И я поднял с земли камень.

— А ить не попадешь! — оскалился он еще больше.

— А вот и попаду!

— А не попадешь!

— Как дам в лоб, — пригрозил я, замахнувшись.

— А ну походи!

Он снял с головы фуражку без козырька, повесил ее на рельс, к которому была примотана лодка, и отошел в мою сторону. До рельса было шагов пятнадцать-двадцать. Я прицелился, кинул и успел лишь заметить, что камень летит мимо, как мальчишка кинулся на меня бычком и в секунду приложил к земле всеми лопатками.

— Обманули дурака на четыре пятака! Щас я тебе хвоста накручу!

Я крутился и извивался в его железной хватке, но тщетно. От обиды даже слезы выступили, а за слезы стало еще обиднее. Он надавил мне коленкой на живот и приказал злорадно:

— Кричи: «Мамка, хочу жениться!» А нет, кишки выпущу!

Лучше кишки, чем кричать такое! От полного отчаяния, закрыв глаза, я мотнул головой, и тотчас же мне на лицо закапало что-то горячее. Открыв глаза, увидел, что из носа моего противника в два ручья течет кровь. Я вывернулся из-под него и вскочил на ноги, а он зажал нос пальцами и запрокинул голову, сидя на земле. Вся рубашка на груди у меня была в крови, но подолом ее я усиленно тер лицо, в душе

ликуя над моим почти победителем.

— Что стоишь! — прогнусавил он. — Тащи воду в фуражке.

Я сдернул фуражку с рельса, побежал к воде, дождался волны и зачерпнул. Подумаешь! Я себе сто раз нос разбивал! Правда, кровь так не шла, как у него. Здорово я его боднул!

Он зачерпывал воду из фуражки и лил на нос. Даже шея вся стала у него красная от крови. Я еще раз зачерпнул, и после этого, кажется, ему стало лучше, потому что он отпустил нос и просто лег на спину.

— Нос у меня треснутый! — оправдываясь, сказал он. Но ему не понравилась собственная интонация, и он попытался пригрозить: — Щас кровь остановится, и я накручу тебе хвоста!

— А я тебя опять стукну по носу!

— Не стукнешь!

— Изловчусь и стукну!

Он потянул носом, поморщился.

— Весной веслом нос поломал! Теперь чуть задену, так и пошло. Не думай! Я здесь самый сильный! Накоть пощупай!

Конечно! Мускулы у него были будь здоров! И я был ужасно доволен собой и уже забыл о том, как попался на его хитрость. В конце концов, любой попался бы!

Мы вместе отмывались, отстирывались — нельзя же домой заявиться в крови! Познакомились. Его звали Генкой. Он предложил покататься на лодке. Мы размотали цепь и налегли животами на нос лодки. Она не пошевелилась.

— Ты что делаешь? — спросил Генка удивленно. Я пожал плечами.

— Надо подымать нос, а ты его в землю давишь!

И лодка сразу пошла. Генка сбегал домой, принес весла, я уселся на корме, он махнул веслами, и мы поплыли.

Генка показывал мне дно. Волны были лишь чуть-чуть, а чем дальше от берега, тем меньше ощущались. Вода светилась, не придумать, на какую глубину! И под водой были скалы, такие же, как на берегу, только намного красивее. Уступами скалы уходили в бездну и в ней терялись, но Генка вел лодку над краем бездны так, что по одну сторону виделись до малейшего камешка подводные скалы, а по другую сторону лодки была синь, почти чернота. Вдоль скал под нами проходили стайками какие-то маленькие рыбки, Генка называл их секачами, иногда они разлетались в стороны, и появлялась большая рыба, как полено. Она медленно шевелила хвостом и плавниками и никуда не торопилась.

Всякий знает, что можно смотреть в окно и видеть все, что за окном, а можно смотреть на окно и видеть стекло и крапинки на стекле.

Я смотрел в воду и видел подводные скалы, а потом посмотрел на воду и увидел в ней отражение береговых скал. Скалы колыхались, будто были нарисованы зеленым по синему полотну, и я рассматривал отдельные деревья, а потом поворачивал голову к берегу и искал то самое дерево, что отражалось в воде.

И вдруг я увидел сосну Мертвой скалы. Она была меньше моей ладонки, она была с мизинец, но все четыре ветви были видны отчетливо — две вверх, две вниз. Я взглянул в падь и не увидел Мертвой скалы, ее загораживали склоны ущелья. Не веря своим глазам, я снова взглянул на воду — сосна колыхалась и вздрагивала напротив кормы, и я мог дотянуться до нее рукой.

Генка плеснул веслом, разворачивая лодку, и изображение исчезло. Потом, когда лодка снова покачивалась спокойно на волнах, сосны я больше увидеть не мог. Ее не было. Ее не могло быть, потому что скала в глубине ущелья не могла отразиться в воде.

Я стал рассматривать береговые скалы: ведь, может быть, есть еще одна такая же сосна, но сколько ни смотрел, ничего похожего не увидел.

И в этот момент я понял, что не померещилось мне в тот первый вечер, что действительно вместо силуэта сосны с четырьмя ветвями видел я четыре руки, две из них подняты, воздеты к небу, две другие беспомощно опущены вниз! Я это видел, и нечего самого себя путать, а надо все проверить и выяснить, а если этого не сделать, значит, струсить, испугаться непонятного! Только так!

А что же я тогда теряю время!

Я что-то наврал Генке, зачем мне надо на берег, и скоро уже шел по поселку в падь, шел не очень быстро, но и не медленно, и немного, как во сне, во всем отдавая себе отчет, но в то же время о главном стараясь не думать. По дороге свистнул Светке, идущей по воду, махнул Юрке, копошившемуся в огороде у дома, еще кому-то махнул рукой раза два и ничуть не прибавил шагу, когда вышел за поселок, хотя волнение мое нарастало по мере приближения к Мертвой скале. Вот она уже рядом, и сосна на фоне голубого неба видна вся, кажется, до иголки на ветвях. Но я на этот раз решил подойти как можно ближе, вплотную к скале, чтобы наверняка проверить, в чем же тут дело.

Уже дорога, раздвоившись, ушла от меня вправо и влево, а передо мной был завал камней. Я не остановился. Где можно было, прыгал с камня на камень, очень большие камни обходил стороной, по другим буквально переползал. Между камнями попадались ямы, а иногда и почти пещеры, а несколько камней сами были, как скалы, я карабкался на них и снова спускался. Когда же решил отдохнуть и взглянул вверх, то оказалось, что перестарался. Я был уже у самого подножья скалы, и первые ее уступы заслоняли от меня вершину и сосну на ней. Надо было возвращаться назад. Но почему-то следующий шаг я сделал не назад, а вперед, и этот шаг был шагом вверх. Вопреки желанию и намерению, поддаваясь приятному чувству упрямства, я начал карабкаться на скалу, вовсе не надеясь добраться до вершины — я же видел, какая это скала! Но каждый раз, собираясь остановиться, говорил себе: «Ну, еще немножко, еще немножко, а там дальше все равно не залезешь!» И, как ни странно, каждый шаг казался последним возможным и следующий метр в высоту, всего лишь за метр до него, тоже казался совершенно недоступным, но нога вдруг находила опору, рука находила уступ, так, как будто сама возможность подъема делала для меня обязательным мои шаги. Иногда даже и вплотную казалось — все, дальше ходу нет, и мне бы вернуться, но не свойственная вовсе мне добросовестность толкала на поиски вариантов, на внимательный, тщательный осмотр скалы вправо и влево, и, глядишь, либо вправо находился проход, либо влево обнаруживался обход, либо впереди трещинку нужную не сразу заметил.

Я лез и лез, и уже всерьез начинала тревожить мысль о возвращении, я же знал, что спускаться будет труднее! К тому же все время был соблазн взглянуть вниз, хотя вполне хватало благоразумия этого не делать.

Сколько прошло времени, пока я лез, как высоко я забрался, сколько еще до вершины — ни о чем об этом я не думал. И когда передо мной выросла очередная каменная стенка, я уже привычными движениями стал ощупывать ее руками и взглядом и в изумлении замер, когда не обнаружил никакой возможности взбираться дальше. Изумление перешло в оцепенение, и взгляд мой в этот момент, то есть выражение лица, наверное, было похоже на баранье. Прекращение подъема казалось нелепостью, обидой, обманом, которого будто бы я вовсе не заслужил. Немного придя в себя, я увидел, что нахожусь на скалистой площадке, где даже можно сесть отдохнуть и подумать, наконец, обо всем происходящем. Я сел и, уже сидя, рискнул повернуться лицом к пропасти, ведь все равно придется поворачиваться, чтобы спуститься. Я боялся, что закружится голова, что испугаюсь пустоты и крутизны, но ничего этого не случилось, а совсем наоборот! Дыхание мое перехватило всепоглощающее чувство восторга.

Передо мной и подо мной лежала страна голубой воды и коричнево-желтых

скал. Передо мной был не просто красивый вид вдаль — передо мной был мир красоты, о которой мало что можно сказать словами, от него можно только пьянеть и терять голову.

Чувствовать красоту мира — ведь это значит — любить! Это значит все прочие чувства на какой-то миг превратить в любовь, которая становится единственным языком общения души с красотой мира.

Это чувство любви и жажды любви захватило меня и словно не только подняло над миром, но и сделало меня равным ему, и я получил возможность удовлетворить неосознанное желание обнять этот чудесный мир и радостными слезами смеяться ему в лицо!

И после много раз я испытывал подобное, но всегда чего-то чуть-чуть не хватало в моей радости, и я до слез жалел, что в тот день, в тот миг не попробовал летать! До сих пор сохранилась у меня наивная уверенность, что тогда я мог полететь, мог пролететь над миром, потому что было такое мгновение, когда во мне не осталось ничего, препятствующего полету!

Полет — не есть ли преодоление рубежа, отделяющего человека от Бога, слияние своей души с душой мира? А жажда полета не есть ли стремление к совершенству и чистоте? И однажды взлетевший человек, пожалуй, не смог бы вернуться на землю и продолжать жизнь твари несовершенной. Может быть, он бы умер от тоски, а может быть, изменил бы мир!

Я хорошо, я достоверно помню, что, стоя тогда на каменной площадке над ущельем, я пережил мгновения не своей жизни, но мгновения вечности, которая так же неизмерима, как и мгновение, и поэтому равна ему!

Потом, помню, все чувства стали как-то притупляться и приходила усталость удовлетворения, и я снова сел, а мир вокруг будто начал разъединяться из целого в отдельные предметы, тяжелеть и тускнеть в них. Высота превратилась в высоту скалы, в предполагаемое количество десятков метров, уровень солнца говорил о времени дня, прохлада воздуха — о приближающемся вечере. Я пытался было вернуть состояние окрыленности и чистоты, но способность моя к тому исчерпалась, и, хотя не было разочарования, реальность грустно вошла в сердце (или вернулась в него) и диктовала действия. Вместе с реальностью пришел страх крутизны и высоты, неуверенность в ногах и даже некоторое сожаление о легкомыслии.

С площадки я спустился легко. А вот дальше даже в глазах темнело от страха. И вдруг я увидел, что, когда поднимался, просмотрел обход справа, где, кажется, можно было миновать площадку и подняться сразу выше ее. И именно потому, что предстоящий спуск внушал ужас, я вопреки всякой логике снова начал карабкаться вверх, минуя площадку, на которой провел столько счастливых минут. А может быть, часов?

Пожалуй, я был уже близко к вершине, но вершины не видел, как и сосны на ней.

Подтянувшись очередной раз, я вполз на новую площадку, значительно больше первой, скорее, даже не площадку, а большой уступ, образовавшийся, возможно, от обвала в этом месте части скалы. Дальше снова шла стена, но столько сил отняло у меня восхождение, что я уже был бы рад, если бы эта стена оказалась недоступной.

На четвереньках вполз на уступ, а когда поднялся на ноги и сделал несколько шагов вперед, между громадными камнями, в глубине уступа, в нише скалы, на каменном кресле увидел... старуху!

И вот тут, наконец, наступает самая трудная минута моего повествования.

Я уже говорил, что чудо — это есть то, что вопреки. Но вопреки чему? Конечно же, нашему опыту. И потому, чем опытнее человек, тем недоступнее ему чудо, тем невозможнее ему принять его, примириться с ним.

Сознание ребенка еще не связано столь жестко с выводами человеческого опыта, хотя уже достаточно отягощено ими. Но у ребенка все же чувства еще сохраняют некоторую самостоятельность по отношению к опыту, и потому он способен доверять своим чувствам в значительно большей степени, нежели взрослый и, как мы говорим, мудрый или умудренный человек.

Я часто думаю о том, что люди, сошедшие с ума, не есть ли как раз те, кто в зрелом возрасте встретился, столкнулся с чудом, но не справился с ним, не смог примирить в себе чувство и разум и сохранил память о чуде в виде бреда, навязчивой идеи, потому что, воистину, человек, принявший детерминизм материального мира как неизбежный закон бытия, разве сможет жить, столкнувшись с чудом?! Нет, конечно! Чудо станет для него неизлечимой психологической травмой.

Я подозреваю, что сумасшедшие, обрети они снова здоровье, могли бы поведать о многом удивительном и чудесном.

Когда на скале, на которую никто никогда не лазил, на которую сам-то едва забрался, я увидел старуху, в первую минуту у меня тоже было состояние, близкое к помрачению рассудка. Но я видел старуху, это было очевидно и ясно, и поэтому мое остолбенение в этот момент было лишь удивлением высшей степени.

Будь это обыкновенная старуха, я наверняка спросил бы ее, как она сюда попала, и этот вопрос был бы логичным.

В данном же случае вопрос такой был излишним. Она никак не могла сюда попасть в том смысле, как обычные люди попадают в те или иные места.

Это была такая старуха, что старее и придумать нельзя. Морщины по ее лицу шли вдоль и поперек и пересекались между собой, а в квадратах между морщинами пересекались другие, поменьше, и вообще все лицо ее состояло из морщин. Плотно сжатые губы подтягивали большой подбородок к самому носу, глаза сидели так глубоко в пачках морщин, что она казалась слепой. И притом она была одета во все голубое и воздушное, и это голубое и воздушное окутывало ее всю с головы до ног, и только руки в голубых перчатках по самые локти не давали подумать, что в этом голубом коконе только одна голова.

В первое мгновение я не уловил ни малейшего движения в лице старухи, и у меня мелькнула спасительная мысль, которая могла бы, подтвердись она, все упростить до обычного. Я думал, что, может быть, она из чего-нибудь сделана? Такой вариант тоже был бы почти чудом, но это самое «почти» — как легко было бы его принять!

Но, увы! Вздрогнули морщины над глазами старухи, глаза, и без того узкие, стали сужаться еще более, и тут уже никаких сомнений быть не могло. Это была живая старуха, и, хуже того, это была злая старуха, и неоспоримость факта вошла в меня паническим страхом. А когда я услышал ее голос, то затрясся от ужаса.

— А ну пойдись сюда, жалкий заморыш! — проскрипела она угрожающе и таким отвратительным голосом, какого я сроду не слышал.

В ужасе я стал пятиться к краю уступа, но у самого края из-под моей ноги вывернулся камень и с грохотом полетел вниз. Я невольно шагнул вперед, и снова другой камень пополз от ноги и сорвался с уступа. Теперь я приближался к старухе, а из-под ног у меня выскальзывали камни, и грохот настоящего горного обвала поднимался из-за уступа серо-желтой пылью.

— Стой! — взвизгнула она.

Я уже стоял в полуметре от нее, и вблизи она была еще страшнее.

— Тебе разве не говорили, лисий выкормыш, что сюда нельзя лазить! — прошипела она.

— Говорили... — пролепетал я и не узнал своего голоса.

— А ты, значит, себя умней всех посчитал, недоумок несчастный!

Я трясся и молчал.

— Отвечай, зачем сюда лез? Чего вынюхивал? Чего высматривал? Говори, птенец трясогузки, а то полетишь у меня сейчас вниз головой со скалы!

Глотая слезы, я пропищал:

— Там сосна... сосна... я хотел...

— Врешь, лживый трусишка!

Она хлопнула по колену рукой в голубой перчатке, и все голубое, что было на ней, будто вспорхнуло и затрепетало, как живое, а ее страшное лицо торчало, как иногда страшное может выглядывать из красивого и оттого быть еще страшнее.

— Врешь! — провизжала она. — Нет здесь никакой сосны! Здесь ничего нет! Здесь не растут деревья!

— Там сосна! — уже увереннее повторил я, цепляясь за эту маленькую мою правду, как за соломинку.

— Нет там сосны! — упрямо проскрипела старуха, краснея от злости.

Я понемногу приходил в себя. Если старуха не знает про сосну, значит, она не все может.

— Есть! — не уступил я. — И у нее четыре... руки...

Сам не знаю, почему я так сказал! Оговорился? Старуха аж вся подалась ко мне.

— Чего ты мелешь, сорока общипанная!

— А чего вы ругаетесь! — осмелел я.

Старуха обомлела, подбородок ее отвис, глаза округлились.

— Да знаешь ли ты, кукушкин подкидывш, кто я такая!

Страх снова превратил меня в былинку.

— Я — Сарма! — сказала она торжественно и гордо. Ее имя было мне знакомо, но я не был способен что-либо вспомнить.

— Я Сарма! — повторила она, шипя. — Я правнучка Великого Сибира! Я всё могу!

Вдруг на нее напала задумчивость, она замерла в своем голубом коконе и смотрела то ли сквозь меня, то ли мимо меня. Она молчала долго, и я опять немного успокоился.

Потом она словно опомнилась, посмотрела на меня подозрительно.

— Там снова много людей? — спросила она, будто выведывала у меня тайну.

— Где?

— Там, откуда ты пришел.

— Я из Маритуюя... — начал было я, но она вся вскинулась, ткнув в мою сторону растопыренными пальцами.

— Молчи! Молчи! Болтливый козленок! Отвечай, если хочешь жить, откуда тебе известно это имя! Имя моего сына!

— Какое имя? — не понял я. — Так называется станция на берегу Байкала!

— На берегу чего?! — буквально окривела она от изумления и испуга одновременно.

Похоже, сообразил я, что она только болтает, что все может, а сама ничего не знает!

— Там, внизу, — осторожно разъяснил я, — озеро, оно называется Байкалом, на берегу станция, называется Маритуй.

Старуха окаменела.

— Откуда люди узнали эти имена?! — прошептала она. — Это я, наверное, слишком часто шептала их, а ветер разносил по свету.

Она опустила голову и стала жалкой и несчастной. Однако я не забыл, как из-под ног у меня вываливались в бездну камни, но страх уже наравне боролся с любопытством. Я старался припомнить, где совсем недавно я слышал ее имя, хотя, кажется, звучало оно не совсем так...

Сарма подняла голову.

— Иди туда! — приказала она.

Там, куда она указывала, у стенки скалы лежал громадный камень, величиной с полкомнаты. Что старуха задумала?! Страх снова подавил все мои чувства.

— Я что тебе говорю! — зашипела она. — Иди к камню!

— Зачем? — пропищал я.

Всколыхнулось все голубое на ней, и я догадался, что она топнула ногой.

— Отпустите меня! Я больше сюда не приду!

Она затряслась от ехидства всеми морщинами.

— Сколько тебе лет, зайчишка?

— Двенадцать! — прохныкал я.

— Двенадцать! — искренне удивилась она. — Тебя что, родители не кормили или ты родился в неурожайный год?!

— Отпустите меня! — жалобно пропищал я.

Она гордо прищурилась и стала еще противнее и страшней.

— Мой сын Марит в двенадцать лет уже был мужчина. Скорее месяц упал бы в долину, чем кто-либо увидел его слезы! А ты, тьфу!

Она плюнула мне под ноги и ткнула пальцем в сторону большого камня.

— Иди, куда тебе говорят, а не то я избавлю твоих родителей от заботы по заморышу! Ну!

Я подошел к камню и повернулся к старухе.

— Сдвинь его! — приказала она.

У меня даже язык отнялся. Десять мужиков не смогли бы даже пошевелить его.

— Двигай! — заорала она. — Не выводи меня из терпения!

От ее крика я дернулся всем телом и привалился к камню, то есть даже наваливаться не стал, что толку! Но камень сдвинулся и от этого легкого толчка, а я даже не удивился, а только обрадовался, что могу выполнить ее приказ. Лишь бы она больше не кричала! Я нажал на камень сильнее, и он сдвинулся сразу на полметра. Я навалился на него, и он пополз в сторону, открывая за собой вход в темную пещеру. Сарма долго смотрела в темноту, причмокивая губами.

— Иди туда! — сказала она негромко, и это был приказ.

Я все понял. Она хочет упрятать меня в пещеру, где я умру с голоду в темноте. С истошным криком я бросился прочь от пещеры, проскочил мимо старухи к тому месту, откуда забрался сюда, и уже спустил было ноги, чтобы спрыгнуть на камень, что был ниже, как все повторилось: камень лениво перевернулся с боку на бок и загрохотал в бездну. Потом закачался камень у меня под рукой, и я вынужден был отступить от края и вскоре снова оказался у каменного кресла старухи.

Если бы презрением можно было бы извлекать огонь, я уже испепелился бы.

— Такому трусу нельзя жить на свете, и я сделала бы доброе дело для людей, избавив их от тебя! Представляю, какой позор терпит за тебя твоя мать!

Она с гримасой отвращения отвернулась от меня и продолжала говорить, не поворачиваясь и не глядя в мою сторону.

— Несчастливые люди, если у них рождаются такие дети.

Помолчала немного, поджав губы.

— Но раз уж ты пришел сюда, куда тебя никто не звал, то будешь делать, что я тебе прикажу! Ты пойдешь сейчас туда, все увидишь, а потом вернешься и расскажешь мне о том, что увидел! Понял?

Что мне оставалось делать!

— Вы меня отпустите домой, а? Потом отпустите?

Я пытался поймать ее взгляд, чтобы узнать по нему, обманывает она меня или нет. Но старуха не повернулась. Она смотрела в темноту пещеры.

— Я устала с тобой! Устала! — прошипела она. — И если не хочешь умереть под камнем или превратиться в камень, делай, что я тебе велю!

И все-таки по интонации ее голоса я почувствовал, что, пожалуй, ей действительно нужно, чтобы я сходил туда. Сходил и вернулся. А что будет потом, потом и увидим!

Я подошел к пещере, и хотя с каждым шагом у меня сжималось сердце от страха, все же не остановился у входа, а сразу шагнул в темноту.

Пока я шел по пещере, всего каких-нибудь двадцать-тридцать шагов, за это время я успел припомнить до мелочей все эти три дня, что прожил на новом месте. И стало мне ясней ясного, что случившееся сейчас со мной не случилось внезапно — вдруг ни с того ни с сего увидел на скале старуху и прочее! Нет! Все началось еще той ночью, когда в раскрытую дверь вагона услышал я незнакомый и непонятный шум, и пусть это был всего лишь шум прибоя, но с того момента вся моя жизнь пошла рядом с чудом, вплотную к нему. А чудо, в сущности, оно только в одно мгновение вопреки правилу. Увидел старуху на скале — это против правил. А дальше — что камни падали из-под ноги, что пещера открылась, и все, что потом будет, все это, хотя и по другим правилам, но все же по правилам, просто это другой мир, и страшен только первый миг соприкосновения с ним. Впрочем, если я буду утверждать, что вот таким образом думал тогда, то, конечно же, сойду. И все же испытывал я и чувствовал нечто подобное.

Не успело потемнеть в пещере, как начало светлеть, и свет шел оттуда, куда мне нужно было идти. Впереди не то ступенька, не то барьер, и я оказался в комнате или в зале, трудно понять. Комната была круглая, в центре ее стоял круглый мраморный стол, заваленный большими, толстыми книгами, а от стола во все стороны одиннадцать длинных труб почти упирались раструбами в одиннадцать ниш — окон, заросших с внешней стороны скалой. Окна были как мертвые или как слепые, и только двенадцатое окно, в которое я вошел, зияло темнотой. Я догадался, что это вершина какой-то башни, а трубы — телескопы, в которые когда-то смотрели на небо, но башня заросла скалой, если такое вообще возможно, и в ней уже очень давно никто не бывал, потому что на полу у меня под ногами, на трубах, на книгах — везде лежал толстый слой пыли, а я шагал по ней, как по ковру, и пыль поднималась от моих ног и светилась кристалликами в общем свете в комнате, который ниоткуда не исходил, а был будто сам по себе. Просто в комнате было светло. Только свет этот непривычно отдавал легкой голубизной.

Я подошел к столу, осторожно сдвинул пыль с одной из книг, зачихал, но все же попытался раскрыть книгу. Она у меня в руках превратилась в пыль, и я испуганно зажмурился от одной мысли, сколько же лет прошло с тех пор, когда люди покинули башню!

Я отошел от стола и увидел лестницу вниз. Попробовал ногой первую ступеньку, убедился, что она каменная, и осторожно начал спускаться.

Сердце зашло восторгом, когда я с последней ступеньки шагнул в комнату ниже. Комната — точнее, зала, была раза в два больше верхней, она тоже была круглая, и ее круглая стена вся была увешана оружием. Здесь были кинжалы с узорными ручками и сверкающими лезвиями, сабли кривые, большие и поменьше, копья, арбалеты, луки — и не было двух одинаковых предметов. Пол в комнате был устлан медвежьими шкурами, и каждая много больше той, какую я видел у Светки.

Почти сразу же заметил, что из этой комнаты лестница ведет вниз, но я не мог не перетереть руками все эти чудесные вещи. Здесь, в оружейной, не было пыли, и все предметы выглядели так, будто их только что почистили и развесили. Я не мог определить, из какого металла сделано то или другое оружие, но, пожалуй, здесь было много серебра.

Я, наверное, очень долго пробыл в этой комнате и немного испугался, когда вспомнил, что отсюда лестница ведет дальше вниз, и едва ли Сарма просила меня посмотреть именно оружие, скорее всего, мне нужно увидеть все, что здесь есть!

Уже ступив на лестницу, я оглянулся и успокоил себя тем, что на обратном пути еще раз все осмотрю.

Теперь лестница была длиннее, и привела она меня в огромный зал с колоннами. Колонны двумя рядами как бы образовали коридор, и в конце коридора уже виделось что-то, кажется, какие-то статуи, и там было светлее. И наоборот, по бокам коридорной колоннады стояли почти сумерки, и здесь, как и наверху, непонятно было, откуда идет свет, и здесь свет этот был необычным, чуть с голубоватым оттенком. Я пошел по коридору туда, где виднелись статуи, но не дошел метров двадцать и остановился в изумлении и настороженности.

На небольшом возвышении в кресле с высокой спинкой сидел старик, или таким он мне показался из-за густой белой бороды, спадающей ему на грудь. Его одежда, что-то среднее между халатом и пальто, была темно-синего цвета, и белая борода на синем фоне была подобна пене морской... Белые брови низко нависли над глазами. Лицо было грустным и суровым.

По левую руку, склонив голову на подлокотник его кресла, сидела девочка лет одиннадцати или двенадцати. Ее темно-русые волосы падали с подлокотника, с руки старика ему на колени. Кресло, в котором она сидела, было чуть меньше, но тоже с высокой спинкой. А слева от нее, положив голову на вытянутые лапы, лежал черный щенок с коричневыми надглазниками.

И все трое они... спали!

За двадцать шагов от них, ни единого движения не уловив, я тем не менее уже не имел никаких сомнений в том, что это не статуи. Мне казалось даже, что я слышу их дыхание, хотя, конечно, ничего не слышал. И все же я уже знал, что это живые люди, и уже не было того удивления, когда увидел Сарму. Теперь я знал, что именно сюда, к ним, послала меня старуха.

Я стал тихо приближаться, и когда до помоста осталось три или четыре шага, поднял голову щенок и, честное слово, удивленно посмотрел на меня. Дрогнули локоньки на руке у старика, и девочка, с трудом открыв глаза, как после долгого и тяжелого сна, подняла голову и тоже посмотрела на меня, будто не верила своим глазам.

Глаза у нее были синие, как одежда старика, как самый-самый синий цвет, и, хотя она очень была удивлена, глаза ее были так печальны, что сразу все вокруг в этом зале заполнилось и тихо зазвучало печалью. Печаль вошла и в мое сердце, и оно заныло, а мне стало так нехорошо, как, наверное, никогда не было в жизни!

Девочка была такая красивая, что ничего об этом словами не скажешь, но мне тогда показалось, что если на нее все время смотреть, то только этим можно и жить до самой смерти!

Дрогнули ресницы, и голосом, похожим на ручеек в камнях, она сказала:

— Посмотрите, отец!

Я понял, что она сказала, хотя все звуки в словах она произносила не так, как мы, как-то по-особому, в звуках ее речи совсем не было глухоты, будто она говорила одними гласными.

Отец (теперь я видел, что он не так стар, как показалось сначала из-за белых волос и бороды) тоже медленно, с трудом открыл глаза, и они оказались такими же синими, как и у девочки, но были еще более печальными: уже не только печаль — горе и что-то еще, может быть, большее, чем горе, было в его глазах.

Все трое они долго смотрели на меня молча, словно во время этого молчания припоминали все, что было с ними до моего прихода, и даже взгляды их сначала, хотя они и смотрели на меня, были обращены куда-то в себя, а когда я почувствовал,

что вот, наконец, они видят меня по-настоящему, дрогнули губы у старика (так я называл его про себя), и я услышал его тихий, глухой и очень печальный голос.

— Кто ты и как сюда попал?

— Меня послала Сарма, — сказал я дрожащим голосом.

— Сарма! — как эхо повторила девочка и прильнула к руке на подлокотнике, все так же печально глядя на меня.

— Сарма! — глухо повторил старик. И хоть убей, не понял я по интонации его голоса ничего, что хоть немного бы прояснило всю эту историю, странную, непонятную и грустную.

— Она все сидит там, да? — спросила девочка, и опять я ничего не уловил в ее голосе.

— Сидит.

— А ты... откуда ты? И зачем она тебя послала? — как-то без особого интереса спросил старик.

— Она велела посмотреть и рассказать... А я из Маритуга...

Вот и они оба вздрогнули при этом слове, и особенно девочка. Я, не дожидаясь вопроса, спешил разъяснить:

— Там, внизу, озеро, оно называется Байкалом...

Подскочили удивленно брови старика, и девочка в изумлении взглянула ему в лицо.

— На берегу, — продолжал я, — поселок. Он называется Маритуй!

Снова взгляды их, хотя они и смотрели на меня, от меня будто ушли, и они опять думали или припоминали что-то, и тем горестнее становились их лица.

— Там везде вода, отец! — с болью в голосе сказала девочка.

— Но там снова живут люди! — с надеждой как будто возразил ей отец.

— Откуда же они знают имена? — прошептала девочка.

Я осмелел и подошел к самому возвышению, на котором стояли кресла.

— Почему... вы... здесь? — робко спросил я.

Девочка закрыла глаза и снова положила голову на руку отца. Другой рукой он погладил ее по волосам, и столько было в его взгляде боли, когда он смотрел на дочь, что даже глаза его потемнели.

— Я устала, отец! — прошептала девочка.

— Она устала, — сказал он мне, — тебе надо уходить!

И щенок положил голову на лапы и закрыл глаза.

— Можно, если Сарма позволит, я приду завтра? — спросил я, страшась услышать отказ. Но не услышал его. Рука старика замерла на голове девочки, и он тоже устало закрыл глаза. И будто не говорили они со мной минуту назад, и будто не звучал в этом зале голос с необыкновенным произношением звуков... Но только — будто. Голос девочки звучал у меня в сердце и словно прокалывал его тысячами игл сострадания.

Сначала я пытался, не мог повернуться к ним спиной, потом все же повернулся, но пока дошел до лестницы, много раз оборачивался, надеясь уловить хоть какое-нибудь движение в их неживых позах, готовый броситься к ним, что-то сказать или сделать...

Сарма! Она должна сказать мне, почему они здесь, кто они, почему она сидит на скале, и все прочие «почему» пронесли меня по лестнице скалой заросшего замка наверх без единого взгляда на все, что было в верхних залах.

Дневной свет ослепил меня на выходе из пещеры, и я некоторое время стоял, щурясь и мигая, затем побежал к Сарме.

На лице ее были торжество и злорадство, и она могла уже ничего не объяснять мне. Я знал, что это она виновата в печали на лице девочки... Это все она...

— Ну что? — спросила Сарма, прищуриваясь и злобно ухмыляясь.

— Что? — ответил я вопросом на вопрос и не скрыл своей ненависти к ней.

— Они о чем-нибудь просили меня?

— Нет!

На лице ее лишь мелькнула досада, но сменилась непонятной радостью.

— И девчонка?

— Она тоже ни о чем не просила.

— В долине Молодого Месяца даже девчонки были мужественными и не пускали слюни, как некоторые... — явно в мой адрес сказала она. И тут вдруг слетели с ее лица и злорадство и презрение, и лицо ее стало такое же печальное и горестное, как у тех, в скале, и она словно осела вся в своем нелепом голубом одеянии, и голова ее беспомощно склонилась набок, и казалось, что вот-вот из глаз ее потекут слезы... Но ни слезинки не упало. Она лишь шептала что-то, что, я не мог разобрать, и тихо покачивала головой.

И у меня пропали к ней всякие недобрые чувства. Захотелось поговорить с ней ласково и просто, притом смутно верилось, что такой разговор мог бы разрешить какое-то страшное недоразумение, которое есть причина печали и боли ее и всех...

— Бабушка! — сказал я тихо и ласково.

Она вскинулась удивленно, точно опомнившись.

— Бабушка?! Разве я похожа на бабушку? — спросила она, странно хихикнув.

Конечно, она не походила на бабушку, она походила на прапрабабушку.

— Ну, пожалуй, ты действительно можешь называть меня бабушкой...

Она снова хихикнула, стала препротивной, особенно когда пыталась закатить глаза, как это любят делать девчонки, когда кокетничают и воображают. «Ненормальная какая-то!» — подумал я.

— Почему она там... а вы здесь... и вообще?..

Губы ее плотно сжались, подбородок подтянулся к носу, глаза прищурились, зло засветились.

— Ты хочешь знать, чего не знаешь, мальчишка? А способна ли твоя цыплячья душа вместить знание о душах настоящих людей! Не лопнет ли, не разорвется она, как пузырь! А заячий умишка твой, он способен понимать мысли героев, разве приспособлен он для знания великого горя и великой радости?! Что ты знаешь о знании, жалкий недокормыш! Знание — это клич к подвигу, а не лепешка, которую проглотил и по животу себя погладил!

Я не очень-то понял, о чем она говорила, однако догадался, что она снова меня ругает, но я не боялся ее ругани.

— Нет, — лукаво оговорился я, — если это тайна, то конечно...

— Тайна! — насмешливо повторила она. — Что ты понимаешь в тайнах! Но раз уж ты пробрался сюда, куда тебя никто не звал, я скажу тебе кое-что...

Тут она покосилась на меня, пошамкала губами.

— Любишь ли ты своих родителей, паучок тонкорукый?

При чем здесь родители?!

— Еще бы тебе их не любить! — фыркнула она. — Другие родители такого недородыша в пропасть выкинули бы, чтобы стыда миновать!

И чего она меня обзывала! Я же был не слабее других мальчишек моего возраста, а некоторых так и половчее!

— Слушай меня хорошо! — сказала она торжественно, подняв кверху палец в голубой перчатке. — Слушай! Ты здесь многое увидел, кое-что услышал и услышишь еще! Но запомни, если там, внизу, ты захочешь проболтаться кому-либо, то лучше сразу проглотить свой язык! Потому что, когда твой язык еще не перестанет ворочаться на первом слове, родители твои уже будут мертвы! На двадцать пять лет я связываю твой язык! Понял?

Я похолодел от ужаса. Ведь можно нечаянно проболтаться, можно забыться и заикнуться! Я представил, как я кому-то начинаю рассказывать про Мертвую скалу, а в это время мама, а за ней и отец падают мертвыми, и уже ничего нельзя исправить!

— Ага! — злорадно квакнула старуха. — Кажется, ты начинаешь понимать, что такое тайна! Ты думал, тайна — это безделушка, с которой можно поиграть в молчанку! Но тайна — всегда есть не твоя тайна! Раскрытие тайны — кому-то вред! А за вред надо расплачиваться! Ты еще пожалеешь о своем любопытстве!

Может быть, я уже жалел! Не помню.

— Ты хочешь знать, почему старик с девчонкой сидят там, в скале? Я скажу тебе!

Взгляд ее стал мутным, глаза ушли куда-то глубоко-глубоко.

— Скажу! Она, эта девчонка, и ее отец...

Будто колебалась, говорить или нет.

— А знаешь ли ты, кто ее отец?

Откуда мне было знать.

— Это князь Долины Молодого Месяца — Байколла! Когда-то весь серп Долины был подвластен ему! И вот он сидит там и будет сидеть всегда, потому что совершил страшное злодеяние! Он и его дрянная девчонка... они убили моего младшего сына...

Последние слова она проговорила шепотом и будто сама вслушивалась в значение этих слов и ужасалась. Потом тоже шепотом несколько раз повторила: «Убили! Убили!»

Обо мне она забыла и смотрела куда-то в сторону Байкала.

— Это было так давно, что кажется, будто это было вчера!

Потом она долго молчала, а я думал и никак не мог представить себе, как могли кого-то убить эта девочка и ее отец! Может быть, это произошло случайно, но тогда за что же «вечно» сидеть в скале! Нет, тут что-то не так! Я вспомнил выражение печали в глазах узников, и, пожалуй, в них все же и вправду была вина... Князь Байколла... Байкал... А сына ее звали Марит... А поселок зовется Маритуй... Как все странно и непонятно.

Снова и снова передо мной возникали глаза девочки, я слышал ее грустный голос и все более утверждался в мысли, что во всем этом — несправедливость. И исходит она от этой старухи, хотя у ней и убили сына, как она говорит. Нет, я знал точно, девочка не может быть в чем-либо виновата.

Об этом я уже хотел задать вопрос, но старуха опередила меня.

— Ты еще здесь?! Чего тебе еще надо! Уходи с глаз моих! Да помни о своих родителях!

Об этом она могла бы и не говорить!

— Можно, я приду завтра? — спросил я робко.

Но старуха уже снова ушла в себя и ничего не слышала.

Я спустился со скалы, странное дело, о скале совершенно не думая, и ни один камень не выскользнул из-под моей руки или ноги. И только когда уже стоял на дороге около развилки, когда взглянул на скалу снизу вверх, только тогда озноб прошел по спине, и показалось, будто я вовсе не спускался, а сразу оказался внизу.

Снизу скала действительно выглядела мертвой, и сосна на самом верху с четырьмя ветвями, в общем, тоже была, как все сосны, но теперь я уже знал тайну этой скалы и попытался представить, как выглядел замок, где заточен с дочерью князь Байколла, до того, как он оброс скалой...

А был уже вечер, и как он наступил, я не заметил.

— Эй, — раздался у меня за спиной девчоночий голос. Я обернулся и как-то не сразу узнал Светку, потому что в моих глазах будто припечатался образ другой девочки, красивой и несчастной.

А у Светки глаза светились, как и положено было по ее имени, и вся она была такая веселая и легкая, как кузничик, и оттого еще больше стало обидно за ту, что осталась там, в голубом полусумраке скалы.

— А тебя мамка искала! А ты где был? Чо, опять на скалу смотрел! Здорово она тебя напугала!

Светка прыгала вокруг меня по камням и хихикала. Что она знала об этой скале!

И вдруг, как молния в голову: одно слово — и мать с отцом упадут мертвыми!

Я так крепко сжал зубы, что они заныли.

— Айда за коровой!

Я не стал отказываться, и мы, обогнув Мертвую скалу слева, чуть поднялись в распадок, в березняке по особому звону колокольчика отыскали Светкину корову и погнали ее, то есть, собственно, пошли сзади, потому что корова шустро и деловито направилась к развилке, встряхивая хвостом и взбрыкивая ногами на камнях по тропе. За ней увязались еще две других, Светка знала, чьи они и как их зовут, я же вплотную не отличил бы их друг от дружки.

Дома мама, конечно, немного поругалась, потом налила подогретых щей и спросила: «Где был-то?»

Я подавился супом. Она ведь не представляла даже, чем рискует, задавая этот вопрос.

Опять перед сном вышел на крыльцо и долго смотрел в сторону Мертвой скалы. Было прохладно. Из пади тянуло сквозняком, а со стороны Байкала слышался тот самый шум, что был первым звуком, услышанным мной в ночь приезда. Оттуда же шел тот особенный запах, что так поразил меня тогда. Теперь я знал: так пахнет свежесть и прохлада, я знал — это запах Байкала.

«Там везде вода!» — вспомнилась мне фраза девочки из Мертвой скалы. Значит, когда-то воды не было! А что было? Скорей бы утро! Я знал, что с утра, как только встану, сразу пойду туда, снова буду карабкаться по камням и уступам. Сарма не запретила мне приходиться — значит, можно! Теперь я все равно знаю их тайну, хотя и не всю! Но узнаю всю!

Было у меня предчувствие, что не просто свидетелем этой тайны мне предстоит быть! Четыре ветви сосны, выросшей на Мертвой скале, — это четыре руки, и хотя две из них безвольно опущены вниз, две других воздеты к небу, и в них мольба о помощи...

А ночью мне приснилось, что стоят передо мной мать и отец, и я начинаю рассказывать им про Сарму и замок в скале, и при моих словах мама закрывает глаза и падает навзничь на спину, а папа тоже, закрывая глаза, падает вперед к моим ногам. Я дико кричу и продолжаю кричать, уже проснувшись. Мама трясет меня за плечо и говорит испуганно: «Что с тобой, сынок! Успокойся!»

Я обнимал и целовал ее горячо, она, ничего не понимая, успокаивала меня. Но я вдруг вспомнил про отца и закричал: «Где папа? Он живой? Пусть придет!»

Отец тоже сел на кровать, и я заснул, держа их обоих за руки.

3

Проспал я часов до десяти, а просыпался с трудом, то вроде бы уже и встать готов, то снова — в дремоту, и видел во сне, что встаю, одеваюсь и иду куда-то, а между тем лежал, закрывшись одеялом с головой. Уже окончательно проснувшись, некоторое время гадал, отчего такое плохое настроение. Потом вспомнил все, что случилось вчера, и не понимал, случилось ли это или во сне приснилось.

Затем вскочил как ошпаренный, начал быстро одеваться и уже злился на себя, что проспал так долго. Но взглянул в окно и понял, почему плохое настроение. Мир в окне будто подменили. Хмурая серость от неба до земли заполнила мир и даже в окно просочилась сумраком. Ни синего неба, ни желтых скал, ни зелени на склонах — и куда подевались цвета! «Будет дождь!» — с ужасом подумал я. Можно было, конечно, и в дождь лезть на скалу, но это самоубийство! По скользким камням, чем выше бы я забрался, тем шибче падал бы вниз.

«А может быть, разойдется!» И, накинув куртку, я вышел на крыльцо. Надежды не оставалось. Вся полоса неба над ущельем была просто облеплена серо-черными тучами, которые ползли со стороны Мертвой скалы медленно, но так упорно и плотно друг к другу, что казалось, будто там, за горами, их скопилось несметное множество, и даже больше, и что, если им не хватит места в небе, они начнут падать в ущелье и завалят его по самые верхушки скал.

Мимо дома по дороге к Байкалу вприпрыжку промчался Юрка, махнул мне рукой, а я не понял, зовет он меня или просто так. Потом Валерка пробежал и тоже махнул мне рукой, но вернулся и крикнул от угла дома:

— Айда на Байкал! Баргузин плот прибил! Во какой!

Большой палец Валерки заинтриговал меня, и я как был в ботинках на босу ногу, так и помчался за ним, соображая, однако, когда вернусь, дома ждет меня неприятность похуже вчерашнего. Родители заняты делами по устройству, но не все мне будет сходиться с рук!

За Валеркой я проскочил под мостом, вылетел к Байкалу, ахнул по поводу волн и потом еще долго прыгал по камням за Валеркой вдоль берега в том направлении, куда ходил рыбачить с Юркой третьего дня.

Плот представлялся мне громоздким сооружением на воде, почти паромом, но даже и это представление было смутным, и потому когда у больших камней увидел мотающиеся на волне железнодорожные шпалы, то и мимо проскочил бы, если бы Валерка и Юрка не остановились.

— Видал! — восхищенно крикнул Валерка. Я подумал, что он говорит про волны, и закивал в ответ.

Вот что значит — привычка к необычайному! Такие волны были, а я пробежал по берегу, наверное, двести метров и не остолбенел, не выпучил глаза! А ведь это и был Баргузин! Так называется вал, идущий с севера, хотя, если правильно говорить, баргузином называется ветер. Этот ветер на севере взбаламучивает воду и гонит к нам волны, и потому у нас может быть и небо чистое, и без ветерка, а волны лезут на берег, как будто их снизу, из глубины кто-то выпирает и выбрасывает. Волны шли ровными рядами, а вдаль это движение скрадывалось, и море казалось застывшим в черных горбах, что оживали у берега и на нем срывали досаду и усталость. А берег каменными россыпями у подножья железнодорожного полотна будто подставлял плечи под их ярость и злость, и своей непоколебимостью раздражал волны еще сильнее, доводя некоторые до бешенства.

Но именно так думать хотелось менее всего, и когда понимаешь, что так думать не хочется, то уже и нет никакой вражды между морем и берегом, и это лишь померещилось и показалось!

«Ух, как сейчас трахну!» — невсерьез грозит волна, вздыбливаясь пеной на подходе.

«Ах, ах, как я испугался», — шепчет берег, притворно поеживаясь каменными позвонками.

И все же, когда небо все в серой пакости, когда волны то черные, то темно-синие, когда берег будто голову спрятал под каменный панцирь в ожидании дождя и непогоды, то нет между берегом и волной ни вражды, ни игры, а есть работа, у каждого своя, а если иная волна и ударит по камню звонче другой или прорвется

мокрым шупальцем меж камней дальше прочих, то это просто по нерасчету сил, потому что ничего такого ей вовсе не надо, потому что не в этом ее работа!

Но что бы там ни мерещилось и ни думалось, здорово стоять на камне и смотреть чуть вперед на бегущие под ноги волны и ощущать опасность головокружения и маеты от видимости своего противостояния и противоборства чему-то, что не только сильнее и больше тебя, но и совершенно иное по своей природе и по своему предназначению в мире.

Юрка с Валеркой о чем-то спорили, размахивая руками, показывая в разные стороны. Хоть я и стоял близко, слышал лишь одни восклицания, прорывавшиеся сквозь непрерывный грохот и рокот волн. Теперь я обратил внимание на шпалы, застрявшие между камнями и подпрыгивающие одним боком на каждой волне. Я увидел, что шпалы соединены скобами, и догадался, что это и есть плот, и не то чтобы разочаровался, а недоумевал, для чего может понадобиться такое жалкое сооружение, на которое и ступить-то страшно, а на плотах ведь плавают...

Я прыгнул на большой плоский камень, где топтались Юрка с Валеркой, и, указывая на плот, спросил-прокричал:

— Этот, что ли?

Валерка снова показал мне большой палец, и я вовсе не понял его восторга.

— Спрятать его надо! Рыбачить с него будем, нырять!

В поселке было всего две лодки. С лодки, понятное дело, рыбачить сподручнее, а купаться тем более, хотя я уже знал, какие здесь глубины, и купание с лодки было не про меня! Но по мне лучше век не купаться, чем отвалить от берега хотя бы на метр на таком плоту!

Я сосчитал, он был из восьми шпал.

— Маленький! — прокричал я в самое ухо Валерки.

Он выпучил глаза.

— Мы на трех шпалах рыбачим!

И сунул мне под нос три пальца.

Спрятать плот нужно было и от других мальчишек, и от взрослых. И вот мы трое часа три под волнами, вымокнув, конечно, до нитки, перетаскивали плот за мысок в большие камни, где он не был бы виден с насыпи. Перетаскивали — это значит проволокой, зацепленной за скобу, тащили вдоль берега, используя только откат волны для рывка. Когда же волна налетала на берег и на плот, мы лезли под самую волну, не позволяя ей выкинуть плот на камни или швырнуть между камней, где он мог застрять безнадежно для наших сил. Потом мы еще долго привязывали плот к камням, чтобы его не унесло штормом.

Пока копошились и сутились, холода как-то не чувствовали, но только присели отдохнуть после всего и взглянули друг на друга, то не только я, но и приятели мои, коренные байкальцы, встревожились.

— Айда домой. Сушиться надо! — сказал, хмурясь, Юрка. — Хорошо, что хоть мамки дома нет!

Валерка грустил, как и я. Наши мамы были дома.

Пока меня сначала раздевали, а потом одевали, я схлопотал пару затрещин, выслушал неисчислимое количество упреков, сам успел выдать тысячу и одно обещание относительно своего поведения впредь, мужественно принял в себя все гадости, именуемые лекарством, и вообще проявил себя с самой хорошей стороны в процессе осознания своего легкомыслия.

Однако ни это, ни шуба, которой меня укутали, ни педагогический бодрячок отца («Ничего с ним не случится! Он же мужчина, а не девчонка!») не спасли меня от простуды, которая началась температурой к вечеру, ночью уже обернулась бредом, а к утру воспалением легких.

Впрочем, я отделался достаточно легко. К концу второй недели уже вышел на крыльцо и долго сидел, греясь на солнце и наблюдая, как оно незаметно для глаз крадется от скалы к скале, как затем медленно всплывает над скалами и повисает над ущельем, и как оживает северный склон ущелья и раскрывается всеми красками камня и дерева.

Мама сказала, что в бреду я все какую-то старуху поминал, и, когда она мне сказала это, я похолодел сердцем. Но рассудил, что если в бреду, то, во-первых, это не сознательно и, значит, не считается за «проболтание», а во-вторых, если в бреду, то никто не примет бред всерьез, и значит, тайна останется тайной.

И все же страшно было. Ведь это я так рассуждал, а как рассуждает старуха Сарма, неизвестно!

Я был еще слишком слаб, и эта слабость притупляла нетерпение скорее снова оказаться на скале, немедленно побежать туда, ведь с крыльца я видел Мертвую скалу и мог разглядеть сосну на ней, хотя отсюда и не было видно ветвей...

Прибегал Валерка, рассказывал вздохом о том, как они плавают на плоту, как рыбачат на отмелях, как здорово перепрыгивают плот от других мальчишек.

Генка-лодочник пробежал мимо, приткнулся у крыльца и хвастливо поведал, как его дед подстрелил здорового кабана одним выстрелом, и хотя деду семьдесят лет, он еще охотник будь здоров!

С обеда меня снова уложили в постель, и я читал «Последнего из могикиан», но без особого интереса, все время ловя себя на том, что лишь гоняю глаза по строчкам, зная из последней страницы, что сына Чингачгука Ункаса убьют, и не понимал, зачем нужно описывать истории, смысл которых исчезает в смерти, да еще случайной...

В моей жизни, например, все не так! Все, происходящее со мной с самого начала, если за начало посчитать переезд на Байкал, пронизано и наполнено смыслом, а все события, что уже произошли и произойдут, похожи на разматывающийся клубок нити, в конце которой, наверное, — да чего там наверное, я уверен был, — конец нити, что сейчас упрятан в клубке, это что-то важное не только для моей жизни, но и вообще и для всех, и потому не может быть плохого или внезапного конца, а может быть, конца и нет вовсе, как нет конца жизни, если она только началась.

Сарма, правда, угрожала, что знание — это что-то там такое, что может быть плохо, но ерунда! Знать всегда интереснее, чем не знать! Конечно, лучше бы знать такое, что можно рассказать всем!

Но даже когда и нельзя рассказать — это все равно интересно!

Я несколько раз поднимался на ноги, когда казалось, что уже здоров и могу бежать к скале, но каждый раз снова опускался на ступеньку крыльца с головокружением и досадой.

А потом, когда я уже был уверен в себе, когда уже был всюю здоров, родители не отпускали меня с крыльца и следили за мной так добросовестно, что не было никакой возможности перехитрить их.

Была самая середина лета, погода стояла отличная, и мальчишки словно выжили из поселка. Еще не наступила пора орехов и ягод, но зато было самое время купаться, и я только по рассказам забегавших друзей знал об их приключениях на Байкале: кто нырнул глубже всех, кто пересек на одной шпале Маритуйскую бухту, кто дольше всех под водой просидел с камнем в обнимку.

Росла моя обида на судьбу, на мою дурацкую болезнь, на родителей, которые из упрямства держали меня дома в самое время мальчишеского счастья.

Росла моя тревога о том, что случилось на Мертвой скале. Иногда мне начинало казаться, что ничего там вовсе не было, что не лазил я на Мертвую скалу, а лишь померещилось в бреду во время болезни, потому что было надо мной и над миром

яркое солнце, такой аромат зелени шел с обоих склонов ущелья, и вообще вокруг был такой прекрасный реальный мир, осязаемый всеми человеческими чувствами, что не верилось, будто где-то есть место, где нет радости и солнца.

Наступил, наконец, день, когда мать строго-настрого, под угрозой порки запретила мне выходить на берег Байкала. И это означало, что я свободен! И сначала я, конечно, побежал на Байкал.

Под железнодорожной насыпью, немного в стороне от моста, на узкой полосе берега у старой пристани располагался мальчишеский пляж. На берегу горело несколько костров — купались с кострами даже в самые жаркие дни, ведь купались целыми днями до заката, а вода в Байкале, я уже знал, какая! Но хоть я и прибежал на берег, купаться не рискнул. Я даже не подошел к пляжу, а остался в стороне, шурясь на сверкающую гладь озера, которая сегодня почему-то была чуть-чуть с зеленью, может быть, оттого, что яркой зеленью горели склоны ущелья и горы вдоль железной дороги. Волн не было, и лишь от места купания вдоль берега и вдаль, но не очень далеко расходились голубовато-зеленые круги и терялись в каком-то серьезном и достойном спокойствии всего безграничного озера. Спокойствие воды порождало благодушное и улыбочивое настроение, и совсем не хотелось думать о том, что под тонким, сверкающим стеклом поверхности могут быть сотни метров глубины, где вечная темнота и покой, похожий на покой могильный. Думать не хотелось, но нет-нет да и думалось так, и становилось не по себе, если представить себя утонувшим в этой бездонной темноте, ушедшим в глубину, куда и водолаз не доберется!

И, наверное, по мрачной ассоциации с водяной бездной мысль вернулась к Мертвой скале, к ее узникам, погребенным заживо, к тайне, неразгаданной и требующей разгадки.

Путь до скалы в этот раз мне показался в три раза длиннее, а подъем в десять раз тяжелее. Это, может быть, оттого, что велико было мое нетерпение, а может, просто еще слаб был после болезни.

Перед последним подъемом я затаился, прислушиваясь. Думалось, что услышу бормотание Сармы или шорох ее голубого одеяния. Но — ничего! И сомнение зародилось, там ли она? И потому на последний уступ почти запрыгнул.

До чего же она была страшной, эта старуха в каменном кресле и в воздушно-голубом ореоле своего платья!

— Припорхал-таки, птенчик! — сказала она немного удивленно, но больше с ехидством, потому что, пожалуй, без ехидства и злобы она вообще говорить не умела.

Я ничего не ответил, только слюну сглотнул, справляясь с одышкой.

— Разве я разрешала тебе приходить сюда еще раз?

Она прищурилась и стала похожа на Бабу-Ягу из сказки.

— Если один раз я отпустила тебя отсюда живым, ты думаешь, и теперь... Или ты вообразил, что я по тебе соскучилась!

И она хихикнула, поджав плечи к самому затылку так, что голова будто на колени опустилась.

А кто знает, что ей в ум взбредет! Я поежился.

— Что, язык откусил от страха? — спросила она.

Я же никак не мог сообразить, что нужно сказать. Мне надо было туда, в скалу, а с этой злой старухой я вообще не собирался разговаривать.

— Я хотел... — промямлил я. — Я думал...

— Ты думал! — она затряслась в хихиканье, заколыхалась в голубом. — Ты умеешь думать! Вот уж чего о тебе не скажешь! Разве в твоей цыплячьей голове есть то, чем люди думают!

Это уж было слишком. Я зло нахмурился и засопел.

— Ух, как страшно! — притворно вскрикнула она. — Чего же ты так долго думал, что я даже успела позабыть о тебе!

— Болел!

— Болел! — ахнула она. — Это, наверное, тебя с того страха икота поразила, и тебя молоком отпаивали!

— А я и не к вам пришел! — выпалил я. Чего с ней разговаривать да объяснять!

Старуха надменно скособочилась.

— Очень мне нужно, чтобы ты ко мне приходил! У меня в прошлый раз от твоего квакания да писка три луны голова болела!

И все-таки она обиделась!

— Ладно, — проворчала она, — иди, куда пришел. Только придет время, ты пожалеешь о том, что узнал сюда дорогу!

«Каркай! Каркай!» — шептал я, направляясь к камню.

На камень навалился не без робости. Такой он был большой, что, даже если сдвинул его однажды, все равно не верилось, что это возможно.

По пещере, по комнате с телескопами, по оружейной я проскочил не задерживаясь, лишь коснувшись рукой одной из труб, лишь кинув взгляд на сверкающие мечи и кинжалы. Зато с последней ступеньки в зал с колоннами ступил тихо и замер, всматриваясь в силуэты тех, что видны были в противоположном конце зала. И подходил к ним тихо, не слыша собственных шагов. Но все равно за несколько шагов до возвышения, когда я еще не успел остановиться, снова, как и тогда, поднял голову черный щенок с коричневыми надглазниками. Но я смотрел не на него. Я смотрел на девочку. За эти дни я уже успел забыть, какая она красивая и необыкновенная и печальная даже во сне. И снова все мои мысли и намерения были вытеснены обжигающей сердце жалостью.

Она так же сидела, склонив голову на руку отца, и волосы ее, перехваченные на голове голубой ленточкой, спадали на колени старика, и рука его так же лежала на ее волосах, как он положил ее в прошлый раз, будто и не прошло с тех пор столько дней, а будто я вернулся сюда, лишь выйдя на минуту.

Она подняла голову и посмотрела на меня, словно припоминая что-то, но так было только — мгновение, а сразу затем я уловил мимолетное, но несомненное выражение радости на ее лице. И отец ее тоже смотрел на меня, правда, не поднимая склоненной головы, а как бы сквозь брови, но и в его взгляде не было ничего плохого.

— Сарма разрешила тебе приходиться сюда? — спросила девочка.

— Разрешила, — ответил я не очень уверенно, потому что кто ее знает, старуху, разрешит она прийти еще раз потом или нет!

— Скажи ей, Байколла благодарит ее за доброту!

В его голосе не было насмешки. Он искренне благодарил ее! Но за что?! Значит, подумал я, он действительно виноват перед Сармой, значит, он и вправду убил ее сына! А девочка? Она никого не могла убить!

— Расскажи нам, — попросила она, — что теперь там, в долине!

— В долине? В какой долине?

— Дочь моя, там больше нет долины! — с болью и горечью возразил ей отец.

— Да... — печально согласилась она. — Там больше нет долины! Но ты... там, где живешь... и другие люди с тобой... расскажи!

— Там озеро, я же прошлый раз говорил, и оно называется Байкалом!

— Ты неправильно произносишь это слово, почему?

Я пожал плечами.

— Так все говорят, и в книгах так написано и в картах!

— У людей твоего племени есть книги и карты? — спросил отец девочки, и, пожалуй, он был не столько удивлен, сколько обрадован.

Я понял, что они не представляют нашей жизни, что если начать им рассказывать, то никакого времени не хватит, а мне надо узнать, почему они здесь, кто они, кто такая Сарма? Мне все нужно было узнать. И я ответил вопросом на вопрос.

— А вы... почему вы здесь? А долина... где она была?

Девочка растерянно взглянула на отца, словно спрашивая разрешения. Но он молчал и смотрел на меня спокойно, и не знаю, видел меня или нет.

— Сарма разрешила тебе спрашивать об этом? — осторожно спросила девочка.

«Как они ее боятся!» — подумал я. Старуха не разрешала мне спрашивать, но ведь и не запрещала. Я решил лукавить.

— Она велела мне молчать обо всем, что я узнаю...

— Отец, можно мне рассказать ему предание? — робко спросила девочка.

— Сарма знает, что делает, если пустила его сюда! Расскажи! — Он опустил голову на грудь и закрыл глаза.

— Тебе нужно сесть! Предание нельзя слушать стоя!

Глаза ее заблестели, оживились, и вся она стала еще прекрасней, и я мог только догадываться, какой она была бы, если бы смеялась или улыбалась, если бы вывести ее отсюда на солнце, на берег Байкала, если осыпать цветами...

Я хотел сесть на возвышение, где стояли их кресла, но пол был мраморный и холодный, и я, вспомнив, бегом кинулся в верхний зал, схватил там с пола первую попавшуюся под руку медвежью шкуру, приволок ее и расстелил у ног девочки рядом с щенком.

Глаза девочки горели. Она уже не обращала на меня внимания, с нетерпением дожидаясь, когда я буду готов ее слушать.

— Готов ли ты? — спросила она строго. Я кивнул головой и замер.

— Давно-давно, — начала она, — когда ночи людей были темны и в небе еще не было месяца, на берегу далекого океана жило великое племя смелых и добрых людей. Люди ловили рыбу в океане и охотились на зверей в тайге, что была вокруг, люди делали из дерева и камня прекрасные вещи и дарили их друг другу. У людей было все, что нужно для счастья, и потому они не пели песен о счастье, но были их песни счастливыми.

Но однажды из океана вышла черная смерть и накинута на людей племени, не щадя ни малых, ни старых, ни мужчин, ни женщин.

Смерть подкарауливала людей на берегу и на воде, пробиралась в дома и выслеживала людей на таежных тропах, и не было никому спасения, и не было никому защиты, потому что знахари и колдуны умирали наравне со всеми, и мудрость их была бессильна перед смертью, вышедшей из океана.

Старейшие люди племени с утра до ночи думали о том, как спасти свой народ, и многие умирали в думах, не дожив до следующего утра.

Люди перестали трудиться, потому что ждали своей смерти, и утром, просыпаясь, лишь удивлялись, что живы еще, и уже не скорбели, не найдя среди живых кого-нибудь из своих близких.

Замолкли в селениях песни и голоса, люди перестали выходить из домов, люди начали умирать от голода, потому что никто не хотел идти в океан или тайгу, а хотел умереть дома.

Но вот пришли к старейшим четверо братьев, самых отважных охотников племени. Старшего из них звали Байколлой, другого Баргуззи, третьего Ольхонной, а самого младшего звали Бурри.

Сказали братья старейшим, что охотничьими тропами уходили они далеко от побережья и видели за тайгой, куда уходит солнце, страну голубых гор, видели стада оленей и кабанов, уходящих в ту сторону во время таежных пожаров, видели стаи птиц, улетающих туда по весне.

Где могут жить зверь и птица, может жить и человек! А смерть — порождение океана, может быть, у океана она и останется!

И предложили братья увести племя в ту далекую страну, куда и дорог не было, где никто не бывал, откуда никто не приходил.

Девочка замолчала. Она была взволнована, а в ее глазах была радость и была гордость, и голос дрожал, и руки крепко сжимали подлокотник кресла.

— Ты слушаешь меня? — спросила она строго.

— Да, да, рассказывай!

— Не было у людей другой надежды на спасение, и, похоронив мертвых, забрав с собой лишь самое необходимое и дорогое, положив на носилки умирающих, но не умерших, двинулось племя в глубину тайги, куда вели их отважные братья-охотники.

Забеспокоилась, засуетилась смерть. Не хотела отпускать она людей, погналась за ними по таежным сумеркам, нагнала на ночном привале и поразила первого, о кого запнулась в темноте.

Утром люди похоронили умерших и двинулись дальше, но торопилась и смерть. Она настигала людей и, войдя в одного к вечеру, утром уже цеплялась за одежду другого, а в полдень сжимала горло третьему.

А люди шли и шли, и уже далеко ушли от океана. Смерть же боялась не найти дороги назад и злилась и свирепела.

Уже дошли люди до первых гор, ущелий и пропастей, когда смерть догадалась, наконец, кто уводит от нее людей, и ночью она вползла в сердце одного из братьев, которого звали Ольхонной. А утром люди проснулись от его громкого голоса. Ольхонна стоял на скале, на краю пропасти, и кричал людям:

— Братья! Смерть вошла в меня! Глубока пропасть, и пока смерть будет выбираться из нее, спешите уйти как можно дальше!

С этими словами он кинулся в пропасть, а люди, вскочив на ноги и взвалив на себя больных и уставших, кинулись прочь, туда, куда вели их трое оставшихся братьев, ни слова не проронивших с утра до самой ночи.

Но в те времена еще не было на небе месяца, и люди могли идти только днем. Смерть же, как долго ни выбиралась она из пропасти, все-таки выбралась, кинулась по следам людей и к ночи, догнав их, вошла в другого брата, которого звали Бурри, и был он самым молодым из братьев.

Уже сплошные горы окружали людей, все трудней и трудней становился их путь, и многие гибли, срываясь в пропасти, других заваливали обвалы, третьи тонули в водоворотках горных рек, через которые пролегал путь.

Утром следующего дня на краю еще более глубокой пропасти встал Бурри и только крикнул людям: «Уходите!» И кинулся в пропасть.

Молча вытерли слезы Байколла и Баргуззи и повели людей дальше, туда, где уже видны были голубые вершины гор, намного больших, чем те, через которые они сейчас проходили.

Долго выбиралась из пропасти смерть, проклиная мужество братьев, но выбралась все же и ко второй ночи настигла племя.

И утром Баргуззи на глазах проснувшихся людей, не сказав ни слова, бросился в пропасть, dna которой не было видно и где лишь туман ходил ключьями.

А люди все шли и шли, и забирались все выше и выше.

Однажды утром Байколла, последний из братьев, показал рукой вперед и сказал: «Дальше вы дойдете сами! Ищите долину и начинайте новую жизнь. А я пойду

назад, туда, где остались мои братья. Мы сделали все, что могли. Если смерть еще гонится за нами, я встречу ее и уведу от вас как смогу дальше!»

Больше ничего не сказал Байколла, повернулся и пошел назад, навстречу смерти. Люди не благодарили его, потому что никакими словами не смогли бы высказать свою благодарность.

Люди пошли вперед.

Непроходимыми становились места, и нигде не виделось долины для жизни. И наконец на пути людей вырос громадный хребет, весь покрытый снегом и льдом, и люди упали на землю в отчаянии, потому что не было сил карабкаться на неприступные склоны хребта.

Вдруг потемнело вокруг, грохот оглушил людей, и, подняв глаза, увидели они над горами великана. Он стоял над хребтом, ловил в небе тучи и, сшибая их вместе, высекал молнию и гром.

Это был богатырь Сибир, в чьи края и владения забрались люди в поисках долины жизни.

Сибир сшиб две громадные тучи, и искра попала ему в глаз. Он начал тереть глаз рукой и присел на вершину хребта, который был ему всего лишь по колено. Он протер глаз и вдруг увидел на одном из склонов людей. Увидел и удивился. Удивился и спросил громовым голосом: «Люди! Зачем вы пришли в мои края? Здесь нет вам места для жизни, здесь кругом камень и лед».

Хоть и испугались люди его голоса, но рассказали ему всю правду о себе, о смерти тысяч своих братьев, о братьях-охотниках, что привели их сюда и погибли за них.

Не было никого в мире сильнее богатыря Сибира, и потому он был очень добрым. Тронули его людские беды, и задумался он, но был он очень сильным и потому не мог долго думать. Встал он во весь свой богатырский рост, посмотрел вокруг — ничего не придумал, посмотрел под ноги — увидел ледяной хребет, серпом изгибающийся под ногами. Нагнулся он, напрягся лишь чуть и вырвал хребет из земли с корнем. Поднял Сибир хребет над головой, посмотрел на север, посмотрел на юг, на восток посмотрел и на запад — некуда кинуть его, везде жизнь. Тогда раскрутил богатырь руками хребет над головой и закинул его в небо.

Видели люди, как исчезла в небе ледяная громада, и услышали довольный хохот богатыря Сибира. Там, где только что был неприступный хребет, теперь была глубокая долина.

— Живите! — довольным и радостным громом сказал богатырь и зашагал прочь через горы и хребты.

Люди начали спускаться в долину, и чем глубже спускались, тем теплей становилось вокруг, и цветы на их глазах расцветали по склонам, и хрустальные ручьи пробивались из камней, и птицы запевали песни жизни, и по горным уступам, обгоняя людей, спешили в долину звери большие и малые.

Но долог был путь, и не успели люди до ночи спуститься в долину. А когда пришла ночь, с удивлением увидели они в небе светящийся серп — это ледяной хребет, заброшенный в небо могучей рукой богатыря Сибира, светил в ночи, как и светит поныне...

Тут, на этом месте рассказа, я, кажется, как дурак, расплылся в улыбке. Девочка замолчала, удивленно и осуждающе глядя на меня.

— Ты смеешься?! Чему? Разве можно смеяться, когда рассказывают предание?

Я начал оправдываться:

— Да нет... я так... но месяца не бывает, это же луна, она круглая, как мячик...

— Ну и что? — ответила девочка недоуменно. — В Долине Молодого Месяца были великие ученые, они считали все звезды на небе и умели по звездам читать

судьбу людей. Но это же совсем другое дело! Я рассказываю тебе предание, а в предании каждое слово — только правда, иначе это бы не было преданием. Предание — это самая большая правда!

Я не очень понял, о чем она говорит, но искренне жалел о своей дурацкой улыбке.

— Рассказывай дальше, пожалуйста! — попросил я.

— Но ты должен верить каждому слову, иначе тебе не нужно знать предание!

— Я верю, честное слово! — поторопился заверить я.

Она немного помолчала, собираясь с мыслями.

— Прошли годы, и люди расселились по всей Долине Молодого Месяца — так стали называть долину жизни, которую подарил людям богатырь Сибир. Люди разделились на четыре племени, и каждое племя взяло себе названием одно из имен четырех братьев-охотников, спасших народ от черной смерти. На севере долины жило племя Ольхонны, и славилось оно несметными стадами оленей. Люди племени Баргуззи были великими охотниками. Племя Бурри на востоке славилось длинногривыми конями, способными перелетать через широкие и глубокие пропасти. Племя Байколлы на юге долины было признано старшим, и князь племени Байколлы был князем и всей Долины Молодого Месяца. На земле князя Байколлы цвели чудесные сады, а дворец князя не имел себе равных.

Никто не тревожил мирную жизнь Долины, и ни разу вражда не возникала границей между племенами.

Девочка замолчала, и грусть вернулась в ее глаза, когда она посмотрела на отца.

— Я правильно рассказала предание, отец?

Он ласково погладил ее по голове и не ответил.

— Ты видишь перед собой последнего князя племени Байколлы и Долины Молодого Месяца! — сказала она грустным полупшепотом.

— А что случилось потом? Почему последний... — нетерпеливо спросил я.

Девочка прижалась к отцу, смотрела куда-то мимо меня, а я чувствовал, что вопросом причиняю ей боль, но я должен был узнать все, иначе не имело смысла приходить сюда! Меня не оставляло предчувствие, что должно быть изменено что-то в этой истории, изменено не без моего участия.

— Должна ли я рассказать ему, отец? — спросила она срывающимся голосом.

— Ты можешь рассказать! — ответил он тихо.

— Потом, — шепотом начала девочка, — потом случилась беда...

Она замолчала, закрыла глаза, и когда открыла их снова, они блестели слезами, хотя слез не было.

Прошло много-много лет, когда однажды в Долине появилась неизвестная женщина с двумя сыновьями. Никто не знал, откуда она пришла, как нашла дорогу в Долину, зачем пришла, — никто этого не знал и не расспрашивал ее, потому что она сама об этом не рассказывала. В Долине много было свободных земель, женщина никому не помешала, и никто не помешал ей. Она поселилась со своими сыновьями отдельно от всех племен, ни с кем не сходясь, ни с кем не знакомясь.

Она была очень высокого роста, выше даже самых высоких мужчин Долины, и сыновья ее...

Тут девочка снова замолчала и закрыла глаза.

— Я... не могу! Я устала!

— Она устала! — сказал Байколла. И пусть это был не приказ, но я понял, что мне надо уходить. И это означало, что сегодня я больше ничего не узнаю. А завтра... До этого «завтра» еще надо было дожить!

Я сказал «до свидания» и, ничего не услышав в ответ, медленно пошел к лестнице в верхние залы.

Сверкающее оружие на стенах уже не доставляло мне никакого удовольствия. Я машинально потрогал рукой длинное остроконечное копьё, присел на пол на шкуры, лег на спину и лежал, кажется, долго и слышал голос дочери князя Байколлы, рассказывающей предание. Еще я пытался понять, как предание может быть правдой, если там есть то, чего не бывает. Но ведь и старух в голубом одеянии тоже не бывает на скалах, однако там, за камнем, открывающим вход в замок, сидит старуха Сарма — и это факт! А разве другой, кто не видел бы этого своими глазами, разве он поверил бы, если б я рассказал!

А что если попробовать упросить Сарму рассказать о том, что не успела девочка?! И я ведь до сих пор не знаю, как ее зовут! Она не спрашивала об этом меня, а я не решался спросить ее. Да и случая такого не представлялось. Бегом кинулся я по лестнице, бегом пробежал по пещере, в минуту оказался около Сармы. Она же встретила меня окриком.

— А кто будет вход за тебя закрывать, попрыгушка писклявая!

Я вернулся, задвинул камень. Ее голос, ее всегда противный голос охладил меня, и уже не хотелось просить ее о чем-либо. Я подошел и сел около нее на камень. Она подозрительно покосилась, что-то прошамкала губами, но вслух ничего не сказала. А когда через минуту я взглянул на нее, лицо ее было печально, как однажды я уже видел, и, как в тот раз, сразу исчезла неприязнь к ней. И я решился.

— Бабушка, — сказал я просто, без всякой натяжки в голосе. — Там мне рассказали предание. Я теперь знаю, как все было, то есть как все началось... Раз уж я все равно знаю, может, вы расскажете мне, что случилось, отчего они там... а вы вот... сидите здесь...

Очень мне не хотелось, чтоб она снова начала ругаться, так хотелось услышать от нее нормальные слова! И это случилось! Не поворачиваясь ко мне, но без обычного ехидства, она спросила:

— Почему же они не рассказали тебе всего?

— Девочка хотела рассказать... но ей было трудно... она устала.

Мстительное выражение промелькнуло по ее лицу и отразилось в словах.

— Еще бы! О преступлении всегда трудно рассказывать!

— Расскажите, а? — взмолился я.

Взгляд Сармы стал гордым, и она даже мне показалась не такой уж старой.

— Ты хочешь знать, почему я здесь сижу! Посмотри вперед! Что видишь ты?

Впереди, в треугольнике ущелья открывался Байкал, и когда я ответил: «Там Байкал!», то заново пережил красоту высоты и перспективы, что открывалась со скалы.

— Пожалуйста, не коверкай слова! Слышать этого не могу! — она вся сморщилась. — Не видишь ты и не можешь видеть! Там, в водяной пучине, на дне, на глубине, куда и рыбы не заплывают, там стоит мраморный гроб, и в нем мой младший сын, мой любимый Марит!

Она замолчала, и я не смел ее торопить.

— Когда я шла со своими сыновьями в Долину Молодого Месяца, я знала, куда шла, знала, зачем шла. Но людям Долины я не сказала ничего! Они должны были узнать все потом...

Она вздохнула.

— Может быть, и надо было мне все рассказать им, может быть, тогда не случилось бы всего...

Старшему моему сыну, его звали Нессей, было семнадцать лет, но он был уже настоящий мужчина, и ни один мужчина Долины не мог соперничать с ним в силе, в уме или в ловкости! Самые сильные мужчины Долины рядом с ним казались подростками. Мариту, моему младшему... ему было десять лет, но он уже мог камнем

сбить птицу с неба, оттянуть тетиву самого большого лука и усмирить самого резвого коня племени Бурри. Да... Вот такие были у меня сыновья!

Старшей дочери князя Байколлы в ту пору исполнилось шестнадцать, и звездочеты прочитали по звездам ее имя и назвали ее Нгарой, что означало «быстроглазая». Звездочеты Долины Молодого Месяца знали свое дело! Она действительно оказалась быстроглазой! Она высмотрела моего сына и приманила к себе. Мои глаза были не так быстры, и я проглядела их любовь!

Однажды Нессей сказал мне, что хочет жениться на дочери князя Байколлы, и это было для меня неожиданно. Я пыталась отговорить его, уговорить подождать, но мой сын был мужчиной, и он не хотел ждать и не хотел понять меня!

Тогда я пошла к князю Долины сватать его дочь. О, нет! Я не просила его отдать дочь за моего сына! Я сказала ему гордо, что мой сын хочет жениться на его дочери и что он, князь Байколлы, должен быть горд моим сватовством.

Кто я была для князя Байколлы?! Безродная женщина, чужая в Долине, никакое племя не называло меня своей. А по обычаю брачными союзами из века в век скреплялась дружба племен Долины Молодого Месяца.

На молчание князя Байколлы я ответила дерзостью! Да, дерзостью! Потому что имела на нее право! Я сказала ему: «Чего же ты медлишь, князь, почему не спешишь возвестить старейшим о помолвке, почему не предлагаешь мне место рядом с собой?!»

Никогда не кричал на людей князь Байколлы. Не закричал и на этот раз. Он сказал глухо, сквозь зубы: «Уходи, женщина! Я не хочу тебе зла, но и не приглашаю тебя впредь в свой замок!»

Иного он и не мог мне сказать! Он ведь не знал, кто я! «Ты пожалеешь, князь!» — ответила я ему и ушла.

В Долине Молодого Месяца был обычай: если кто приходил к Байколле с просьбой, какой бы ответ он ни получил, если он приходил пешком, то возвращался на дареном коне.

У ворот замка мне подвели коня, но я отказалась от него и пошла пешком. Я шла пешком по земле Байколлы и по земле Бурри, и люди племени Баргуззи видели меня пешей, возвращающейся из замка Байколлы. И не было больше оскорбления князю Долины!

Когда я сказала своему сыну Нессею об отказе, он в гневе сломал о землю свой лук. Я просила его не печалиться, я говорила ему, что придет время и князь Байколлы пешком придет к нашему дому и будет просить чести родства! Я знала, что говорю! Но сын мой решил иначе.

Через младшую дочь Байколлы, ту, что ты видел в замке (ей было только одиннадцать лет, и у нее еще не было имени, ее звали просто Ри, что значит «дочь князя»), Нессей связался с Нгарой и предложил ей бежать. Та, конечно, согласилась! Какая девушка Долины отказала бы моему сыну!

Ночью мои сыновья на лошадях прокрались к замку Байколлы, и Ри привела в условленное место свою сестру. Нессей посадил ее на своего коня, и они помчались прочь от замка.

Но мой младший, мой Марит, он тоже почувствовал себя мужчиной и не хотел отставать от брата ни в чем. Он схватил младшую дочь Байколлы, посадил ее в седло впереди себя и помчался вслед брату.

Ах, если бы предчувствие подсказало мне беду! Я бы спасла своего сына! Я ведь знала выход из Долины! Но не знали его мои сыновья! На крылатых конях племени Бурри металась она по подножьям гор, нигде не найдя тропы спасения.

Утром, в то время как я надевала свое лучшее платье, чтобы пойти к людям Долины и рассказать им о себе, в это время люди Байколлы уже гнались по следам

моих сыновей. Им удалось разделить их, но и до меня уже дошел слух о случившемся. Я кинулась на помощь моим сыновьям и успела тайной силой своей открыть Нессею проход в горах в тот момент, когда его уже настигали.

Но младшему моему я помочь не успела. Люди Байколлы загнали его к пропасти, через которую не рискнул бы прыгнуть самый отважный наездник Долины. Мой младший, мой Марит, он был отважнее всех людей Долины, он разогнал своего коня и кинулся через пропасть и одолел бы ее... Но натянул тетиву лука князь Байколлы, и стрела ударила коня в шею. Конь потерял силу в полете и лишь передними копытами коснулся другого края пропасти.

И вот тогда... ты слушаешь меня, мальчишка! Мой сын еще мог спастись! Но он был мужчиной, и он успел лишь скинуть с лошади на уступ скалы свою пленницу, дочь Байколлы. А сам... рухнул в пропасть вместе с конем.

Голос Сармы дрожал, а у меня тоже было что-то такое в горле, что мешало слушать и видеть Сарму.

— В Долине Молодого Месяца никогда не убивали людей, и, когда это случилось, люди замерли в ужасе по краям пропасти и стояли в скорбном молчании до самой той поры, когда я успела прискакать к месту гибели моего сына.

Горе мое! Кто поймет его! Только тот, кто, как и я, потерял своих сыновей! Гнев мой! Кто не поймет его! Тот, кто не знал горя!

Я взошла над пропастью и сказала людям Долины: «Слушайте и узнайте цену вашего преступления! Вы убили потомка богатыря Сибира, который подарил вам долину жизни! Я пришла сюда для того, чтобы спасти вас! Дикие народы движутся к Долине, и не будет у вас сил защищать свободу! Я привела к вам своих сыновей-богатырей, они и я — мы хотели помочь вам, но вы сами решили свою судьбу! Скорбите же!»

Люди Долины упали на колени, и только князь Байколлы и его дочь остались на ногах, потому что понимали вину и знали, что нет ей прощения, и стояли передо мной, как перед судом.

Я приказала им уйти в замок и ждать моего решения. А людям велела положить тело моего сына в мраморный гроб и унести в самое низкое место долины. Я дала людям срок собраться и указала им безопасный путь из долины. Потом силой, данной мне потомками богатыря Сибира, я растопила лед на вершинах синих гор, вода хлынула в Долину и затопила ее, и стала долина могилой моего сына Марита.

Еще была дана мне потомками Сибира тайна вечной жизни и вечной молодости, и, значит, горе мое тоже стало вечным! А те, кто был повинен в гибели моего сына, они наказаны вечным раскаянием! Это наказание справедливо! Кто посмеет сказать иначе?!

Мы долго оба молчали. Теперь я знал все, но это не значит, что все понимал.

— Но в чем вина Ри? — спросил я, когда, наконец, собрался с мыслями.

— В чем ее вина! — вскинулась Сарма. — Разве не она была причиной всему? Разве не ценой ее жизни потерял свою жизнь мой сын!

Нет, этого я не понимал!

— Но ведь прошло столько лет! — возразил я. — Почему вы не хотите простить их?

— Не смей! — завизжала старуха. — Не смей никогда произносить этого слова! Прощения не существует! Запомни! Прощают только те, кто не может мстить! А я могу! И месть моя свята, и месть моя вечна, как вечна мука моя! Простить! Разве встанет от прощения из мраморного гроба мой сын! Прощение — это ложь слабого сердца!

— Неправда! — с искренним изумлением воскликнул я. — Меня мама сколько раз прощала, когда я что-нибудь делал не так!

— Тебя! — Сарма презрительно хихикнула. — Да за что тебя прощать или не прощать! Ты еще ничего в жизни не знал, ни зла, ни добра, ты еще не человек, а человек желторотый! За тебя пока и добро и зло вершат твои родители, и с них спрос! Эх ты, попрыгунчик! О чем судить берешься! Береги свою голову от натуги!

И что у ней была за манера обязательно оскорблять! Но я уже привыкал к ней и старался не обращать внимания.

— Запомни, — продолжала она высокомерно, — запомни, хотя и понять того не можешь! В прощении больше всего нуждается тот, кто прощает, потому что тяжела и мучительна ноша мести! Но месть — это долг! А прощение — измена долгу! А если не будет наказания за зло, то зло будет названо добром, и тогда гибель всему! Добро памятно за добро! Память о зле — в наказании! Если хочешь быть мужчиной, никогда не проси прощения и никогда никого не прощай!

— Неправильно это! — сказал я сквозь зубы и не хотел, чтобы она услышала. Но она услышала и обомлела.

— Ты смеешь спорить со мной! Да я сейчас спущу тебя вниз головой со скалы, шакаленок!

Я было испугался, но ответил ей здорово:

— А вам тогда мой папа будет мстить всю жизнь!

Старуха захлопала белыми ресницами от удивления. У ней, кажется, даже язык отнялся.

— Уходи! — прошипела она наконец. — И больше не смей появляться здесь!

Вот теперь я испугался не на шутку. Не приходиться сюда я теперь уже не мог! Я чуть было не сказал: «Простите меня!» — но вспомнил, как она относится к этому слову.

— Я больше не буду так говорить! Я не буду спорить с вами! Честное слово!

— Что ты знаешь о честности слова, болтунишка! — сказала она с обычным презрением, но все же уже мягче и не так зло.

Я решил, что на сегодня достаточно и что нужно уходить, пока вконец не испортил с ней отношения.

— До свидания! — сказал я как можно вежливее. Сарма не ответила.

Спускаясь со скалы, я задержался на одном из ее уступов и долго просидел, глядя на байкальский простор, на уходящую к небу синеву и на уходящую в воду голубизну летнего байкальского неба.

Значит, когда-то здесь не было моря! Здесь была долина, где жили люди, цвели сады, паслись стада — и вот теперь здесь море, прекрасное, удивительное море, в названии своем сохранившее память о герое предания Долины Молодого Месяца! А здесь, в скале, последний князь чудесной страны, исчезнувшей под водой и не оставившей о себе никаких следов, кроме знакомых созвучий в названиях ветров, поселков, островов.

Но что проку думать о том, что свершилось бесповоротно! Нужно думать о том, что можно сделать, и нужно ли что-то делать для узников Мертвой скалы!

Не доходя до крайнего дома поселка метров триста, я увидел мальчишек, сбившихся в круг чуть в стороне от дороги. Они что-то горячо обсуждали или спорили о чем-то. Я подошел к ним и из-за спины Валерки увидел, что Юрка раздвоенным концом палки прижал к земле голову громадной змеи. Змея всем туловищем извивалась на земле, колотила по палке, обвивала палку кольцами, но бессильна была вывернуться из Юркиной рогатки. Ребята расступились, чтобы я мог хорошо рассмотреть змею, я ведь еще никогда не видел такой большой змеи. Но, не имея желания подходить совсем близко, я предпочел ужасаться на расстоянии.

— В прошлом году меня вот такая же укусила! — с гордостью сказал Юрка. Все с завистью посмотрели сначала на Юрку, потом на змею.

— Чего с ней делать будешь? — спросил я.

— Чего? Сейчас утащим ее на муравейник, муравьи с ней живо справятся!

Увидишь, косточек не останется!

Вдруг за моей спиной раздался голос:

— Зачем тварь мучаешь? Отпустил бы ты ее!

Я обернулся и остолбенел от удивления. Рядом со мной стояла Сарма! Конечно, на ней не было голубых одежд, одета была, как одеваются все нормальные старухи, и голос у нее был немного обычный! Но разве могут быть так похожи две старухи! Я лишь на секунду задумался о том, как она могла быстро спуститься со скалы, когда успела переодеться, но тут же отмахнулся от такой глупой мысли. Для Сармы это пустяки!

— Отпустил бы, а! — попросила она Юрку.

Ее просьба вызвала общее возмущение. Еще чего! Жалеть гадюку!

— Она же, падла, укусит потом кого-нибудь! Не отпущу!

Юрка упрямо сжал губы. Никто из мальчишек не был удивлен появлением старухи. Я толкнул в бок Валерку.

— Кто это?

— Старуха Васина! Колдунья! Она в прошлом году Юрку вышептала, когда его гадюка укусила, а у него рука уже во как раздулась!

Старуха Васина! Вот оно что! Ну, конечно, это сначала мне так показалось, что это Сарма! Они, конечно, похожи, но не так уж сильно. А главное, стала бы Сарма жалеть змею! Как бы не так!

— Может, эта гадина меня и укусила в прошлый год! — сказал Юрка зло и сильнее прижал змею к земле.

— Так ведь она не нарочно! — спокойно возразила старуха. — Ты ягоду собирал, руку протянул, она подумала, что ей вред хочешь причинить, и укусила! Она же за тобой не гналась!

— Ну и что! А я не имею права ягоду брать, что ли!

— Почему же не имеешь! Имеешь! Она тоже имеет право защищаться! Отпустил бы!

Юрка зло засопел. Но велик был для него авторитет старухи Васиной. А она говорила с улыбкой, глядя на Юрку:

— Может быть, она никогда никого не укусит! А если укусит, так ведь я быстро вылечу! Пошепчу, и все дело!

— Отпустить, что ли? — начал сдаваться Юрка.

Мальчишки запротестовали, и я в том числе.

— Разбегайтесь! — крикнул Юрка. — Отпускаю!

Все кинулись врассыпную, и только Васина осталась на месте. Почувствовав свободу, гадюка, извиваясь, рывками поползла к камням, у самых камней обернулась головой и прошипела так, что у меня мурашки прошли по спине.

— Это она тебе спасибо говорит! — сказала Юрке старуха Васина.

— В гробу я видел такое спасибо! — проворчал Юрка, и я полностью с ним согласился.

Разочарованные и даже рассерженные мальчишки двинулись к поселку, я же незаметно отстал от них и вернулся на то место, где все происходило, в надежде застать там старуху. Уж больно меня тревожило ее сходство с Сармой.

Однако в том месте старухи не оказалось, и я пошел дальше по ущелью и скоро увидел ее, что-то собирающую в кустах около ручья. Подкравшись близко, понял, что рвет она какую-то траву, но какую, рассмотреть не успел. Обернувшись, она увидела меня.

Спросила:

— Хочешь знать, чего ищу?

Я кивнул.

— Вот, смотри, эта травка от желудка помогает!

— Откуда вы знаете?

— Знаю! — улыбнулась она.

— Давайте я вам помогу?

— Поищи, поищи! — сказала она.

Чего там искать! Я за минуту нарвал целый пучок и подал ей. Она перебрала его весь по травинке, две из них положила себе в сумку, остальные протянула мне.

— Те, да не те!

— Почему? — удивился я.

— А вот, смотри, — она достала травинку из сумки, — совсем одинаковые, да?

— Одинаковые! — пожал я плечами.

— А пупырьчки видишь на стебельке? В них-то вся и сила! А та, что без пупырьков, то обман-трава!

— А почему так?

Старуха присела на кочку, раскрыла сумку, стала перебирать траву, раскладывать ее по кучкам.

— Растет полезная травка, цена ей высокая! Другой тоже такой цены хочется! Вот она и подделывается и подкрашивается и в рост и в цвет — все похоже! А что пупырьки на стебле, так ведь это некрасиво! Так думает обман-трава! То ли дело — гладкий стебелек! Тут обман и раскрывается!

— А еще как бывает? — спросил я. Очень хотелось слушать, как говорит эта старуха.

— Еще, например, бывает обман-гриб! Глядишь, ну совсем подосиновик! Разломишь, он тут же нутром чернеть начинает от досады, что обман его раскрывается!

— А бывает обман-человек?

— Бывает, как не бывать! — спокойно ответила старуха.

— А как его узнать?

— Никак его не узнаешь, пока он тебя не обманет!

— Но это неправильно! — возразил я. Старуха неопределенно покачала головой.

— Ну, пусть он обманет тебя! И что? Его обман при нем и останется, а к тебе не пристанет! Худой человек — для себя больше всех худой! От его худа ему хуже всех!

«Как бы не так! — подумал я. — Меня змея укусит, и ей будет хуже, чем мне! Пусть она кому-нибудь другому сказки рассказывает!»

— Ты чей будешь-то? Что-то я тебя не помню!

— Мы приехали недавно.

— Учительский, стало быть.

Я кивнул головой.

— Ну, если чего случится, зуб заболит или живот, приходи ко мне, хуже не будет!

— Приду! — пообещал я, надеясь, что такого случая не представится.

— Я далеко нынче пойду, ты за мной не ходи! — сказала она, вставая с кочки.

Мне и так уже нужно было идти домой. Я попрощался со старухой Васиной и пошел к поселку.

Вечером я долго рассматривал в атласе карту Байкала и с волнением наткнулся на знакомые слова: Ольхон, Ангара, Енисей... Я думал о том, как странно сохранилась в памяти людей подлинная история Байкала! «Дочь Байкала Ангара убежала с красавцем Енисеем!» И все думают, что это только сказка, и не подозревают, что

был молодой богатырь Нессей и была дочь князя Байколлы Нгара, не догадываются, что сказка скрывает действительную историю Долины Молодого Месяца.

А на карте Байкал по форме походил на серп молодого месяца, и, хотя на небе нет месяца, а есть луна, круглая, как футбольный мяч, такое совпадение не случайно!

Потом снова вставали передо мной глаза дочери Байколлы, глаза девочки, у которой еще даже не было имени и которую звали просто Ри. Я пытался понять, в чем видит Сарма ее вину, и не понимал Сарму. И все тверже складывалось у меня мнение, что среди виноватых Сарме принадлежит равное место, хотя она и потеряла сына.

В комнате напротив у настольной лампы сидела мама и что-то писала. Я подошел к двери, привалился к косяку.

— Чего тебе? — спросила она, не переставая писать.

— Мам, а как это люди прощают друг друга?

— Как прощают? Прощают, и все!

Она по-прежнему писала, не поворачиваясь ко мне.

— Вот, например, человек в чем-то виноват, а его прощают, значит, забывают про его вину, да?

Мама посмотрела в мою сторону, но, кажется, все еще думала о своем и ответила машинально:

— Когда-нибудь, может быть, и забывают! Ты разве не видишь, что я занята?

Но мне нужно было выяснить вопрос обязательно и до конца.

— Мам, а когда прощают, вина куда девается?

Она отложила ручку и повернулась ко мне.

— Какие-то глупые вопросы ты задаешь!

— Ну, вот если бы меня кто-нибудь убил, ты бы простила?

— Что за ерунду ты городишь! Кто тебя собирается убивать?!

Мама начинала сердиться.

— Нет, ну, а если бы! Простила?

— Нет, не простила!

— А если бы этот человек много лет мучился и раскаивался, простила бы?

Мама посмотрела на меня подозрительно.

— Признавайся, ты что-то натворил сегодня, да?

— Ничего я не натворил! Мне просто знать надо!

Мама убрала с другого стула книжки, позвала:

— Иди сядь!

— Если бы прошло много-много лет, простила бы?

— Не знаю! — подумав, ответила она. — Может быть, нет!

— А вот помнишь, я разбил патефон! Ты меня тогда на улицу не пустила. А вечером я попросил прощения, и ты простила! А почему?

— Ну, ты же не нарочно его разбил!

— А если не нарочно, за что ты меня на улицу не пустила?

— Вот тебе раз! — засмеялась мама. — Патефон-то ведь все-таки разбил!

Я крепко задумался.

— Да. И потом патефона уже больше не было! А ты меня простила. Почему?

— Не понимаю, чего ты хочешь! Потом мы купили радиолу, это же даже лучше, чем патефон, правда?

— Мама, — пытался я объяснить ей, — ведь патефон уже было нельзя исправить, его не стало вовсе! Значит, я перед ним на всю жизнь виноват остался, так получается, да?

— Перед кем виноват? — нахмурилась мама, теряя терпение.

— Перед патефоном!

Она пощупала у меня лоб, посмотрела на меня тревожно.

— Ты что, болен или дурака валяешь?!

— Ну пойми, мама, вот ты мне тогда сказала: «Я тебя прощаю». А патефон-то остался разбитым, и после того, как ты меня простила, он не собрался и не заиграл! А как же ты меня простила, если ничего не исправилось?

— Чего ты путаешь? — сильнее хмурилась мама. — Ты был небрежен и разбил патефон. Я не пустила тебя за это на улицу. Ты попросил прощения, и я тебя простила! Чего еще?!

— А почему я просил прощения?

— Час от часу не легче! Ты разве не чувствовал себя виноватым?

— А после того, как ты меня простила, я перестал быть виноватым? Да? А ведь патефон-то не исправился!

Потеряв терпение, мама взяла меня за руку.

— Ну подожди, мама! — взмолился я. — Ну, если я не понимаю! Ты не пустила меня на улицу, это ты как бы отомстила мне, да?

— Ты что говоришь!

Кажется, я вывел маму из терпения окончательно, и надо было прекращать дискуссию, но я не мог остановиться и тупо напрашивался на ссору.

— Если я был виноват перед патефоном, значит, ты должна была мне отомстить за него, такой закон, да?

Мама молча взяла меня за руку, привела в мою комнату, подвела к кровати и приказала:

— Чтоб через десять минут спал!

И как ни странно, через десять минут я, кажется, действительно спал.

4

Лето во всех краях, где бывает зима, — радость. Но чаще всего лето — просто лучшее время года. Я жил на севере, там лето — как Божий дар! Но оно там кратковременно, мгновением пролетают два месяца, и природа обретает свое подлинное лицо, суть которого — снега да холод.

На Байкале лето есть смысл и цель природы. Природа готовится к лету, и каждая поземка, и каждый снегопад, и все ветра, зимние и весенние, и каждый миг, и всякое состояние обретают смысл и значение в лете.

В белом бесцветии зимы накапливаются, зреют и выспевают цвета байкальской воды. Только очень тонкий художник смог бы определить названия всех оттенков цвета байкальской волны, но едва ли бы сумел он воплотить их на полотне, потому что кисть способна уловить мгновение природы и остановить его для глаза. Цвет же байкальской воды — это и есть сама жизнь Байкала, ни одним, самым ярким мгновением не характеризуемая. И потому самое талантливое полотно будет лишь фотографией момента, мгновения, коих тысячи, и один другого прекраснее, и каждое в равной степени — суть!

Лето на Байкале — это радость! Радость не только в душе, это уже следствие, это само собой. Радость вокруг: и в теплоте обогретого солнцем камня, и в прохладе брызг байкальской волны, и в букете запахов с гор, где бесчисленное множество цветов и цветущих кустарников, и в гомоне чаек над отмелями, и главная радость оттого, что ты живешь в таком чудесном месте земли, живешь со всеми правами родства с красотой, тебя окружающей!

Против этой радости не устоять никаким тяготам жизни, радость пробьет дорогу к сердцу, как полуденный луч летнего солнца пробивается сквозь чащу в самые

потаенные уголки байкальских ущелий и расцветает там во влажных сумерках малиновым бархатом цветов — марьяных корней!

Печальная тайна Мертвой скалы приковала к себе все мои чувства и ощущения. И все же каждый день, прежде чем отправиться в падь, я сначала бежал на берег Байкала, плавал и нырял с мальчишками, осваивал все более дальние заплывы и более отчаянное ныряние, не уклонялся от «догоняшек» и от плавания на шпалах и плотках, и от всех прочих проказ на воде.

Иногда вместе с мальчишками лазил я на горы и поднимался с ними до самых вершин и в вершинных распадках собирал черемшу, неповторимое лакомство сибирской тайги.

Лазил как мог по деревьям, в основном по кедром, за молодыми, смолистыми шишками, но часто и на невысокие березки, чтобы, ухватившись за самую вершину, спарашютить вниз, рискуя переломать ноги о камни и корни.

И камни спускал со скал, вызывая обвалы и замирая от восторга, когда камни летели вниз с грохотом взрывов, от крайних уступов пружинили в воздух, а затем врезались в воду, поднимая брызги, как гучи осколков хрустала.

Но все же, как бы ни был я увлечен той или иной забавой, наступал час, и взгляд мой устремлялся к Мертвой скале, я все бросал, бежал в падь и карабкался на скалу.

Всегда бывало примерно одно и то же. Я здоровался с Сармой, она всем своим видом изображала, как я ей надоел и как я ей противен. Я несколько минут топтался около нее, потом она говорила раздраженно: «Ну, чего мнешься, иди, не ко мне ведь пришел!» «Так я пойду?!» — говорил я и, не получив ответа, шел к камню, отодвигал его и бегом несся по полутемной пещере.

А в зале с колоннами уже не удивлялись моим приходом, и, кажется, Ри радовалась, когда видела меня.

Правда, если взглянуть ей в глаза, радости в них не было, казалось, будто вообще ее глаза были не приспособлены для радости. Иногда в них появлялся блеск жизни, когда она рассказывала мне, например, о красоте своей старшей сестры Нгары или о праздниках в Долине Молодого Месяца, о состязаниях юношей Долины, или когда описывала красоту Долины в солнечный день. Но стоило ей замолчать, глаза ее словно потухали, и тогда жалость к ней захлестывала меня до отчаяния.

Князь Байколла почти никогда не принимал участия в наших разговорах. Он обычно сидел и смотрел на дочь, и взгляд его переполнялся любовью и жалостью, и тогда он закрывал глаза, спасая их от слез.

Мне же, если говорить откровенно, всегда было тяжело слушать Ри. Но еще тяжелее было рассказывать ей о моей и вообще о нашей жизни, когда она меня просила об этом. Многие она не могла понять, многое изумляло ее, я же часто ловил себя на том, что стараюсь рассказывать неинтересно, потому что ее интерес к жизни за каменными стенами замка мог только обострить боль заточения.

Для себя я знал одно: я должен вывести ее отсюда, я должен спасти ее, хотя бы только ее! Уж не говорю о Байколле, даже щенок, молчаливый собеседник наш, и тот своим грустным видом мог разжалобить кого угодно!

И только Сарма, будто сама став каменной в своем каменном кресле, ничего и слушать не хотела о прощении узников. Я уже не заикался об этом. Я теперь пытался выяснить отношение Байколлы и его дочери к возможности освобождения. Несколько раз я пытался заговорить на эту тему, но Байколла отмалчивался, Ри печально качала головой, и лишь однажды, когда я слишком настойчиво насеял на них, Байколла сказал мне:

— Дочь моя рассказала тебе предание, и ты знаешь, какой ценой и каким чудом обрел наш народ Долину жизни, и моя вина не только в гибели сына Сармы,

это для нее — все горе только в этом, для меня же еще тяжелее гибель Долины и все, что, наверное, пришлось перенести моему народу, покинувшему Долину. Слава звездам, что мне о том ничего не известно!

— А Ри! — воскликнул я. — Она при чем здесь? Она за что?

Еще угрюмее стал Байколла.

— Она ни за что! Она есть мера моего наказания!

— Это все Сарма! Она толком не разобралась, вредная и злая старуха! — крикнул я, стукнув кулаком по полу.

— Старуха? — спросил Байколла. — О ком ты говоришь?

— О Сарме, о ком же еще!

— Сарма стала старухой?! Но ведь она знала тайну вечной молодости!

Я пожал плечами:

— Она старая и противная, как сто самых старых и противных старух.

Байколла задумался, покачал головой.

— Значит, ее горе оказалось сильнее вечной молодости!

— А может, не горе, а вредность! — проворчал я.

— Нехорошо так говорить! — укорила меня Ри, а я аж зубами заскрежетал от досады: Сарма лишила ее счастья жизни, а она ее защищает! В тот раз я вышел из замка более, чем прежде, злой на Сарму. Когда подошел к ней, захотелось сказать ей что-то обидное, и я спросил, будто так, между прочим:

— Вот Байколла говорит, что вы знали тайну вечной молодости, а почему же вы стали такой старой?

— Старой? — шепотом спросила Сарма. — Ты говоришь, я стала старой?

Рука в голубой перчатке взметнулась вперед, в руке появилось круглое зеркальце. Старуха взглянула в него, глаза ее расширились, она поднесла зеркальце ближе, рот ее раскрылся, лицо, и без того страшное, перекосилось, она задрожала вся и вдруг с силой швырнула зеркальце в боковую стенку скалы, и тут же эта стена сначала осела, как сугроб, и в то же мгновение рухнула вниз.

Сарма вскочила с кресла и закричала так, что у меня волосы встали дыбом. Она скинула с головы голубой капюшон и вцепилась руками в свои белые, как снег, волосы. Потом она сорвала с руки голубую перчатку и обезумевшими глазами уставилась на свои желтые костяшки пальцев и снова закричала страшно и дико, а кругом падали камни и устремлялись вниз. Облако пыли поднялось над скалой, и в этом облаке кричала и металась старуха в голубом одеянии.

Мне стало так страшно, что ноги сами вынесли меня на спуск, и я, не обращая внимания на срывающиеся с уступов камни, на грохот настоящего обвала буквально в двух метрах от моего места спуска, кинулся вниз; забыв про осторожность, я словно скатывался со скалы, спасаясь от преследующего меня истошного крика Сармы.

Уже внизу под самой скалой что-то ударило меня по голове сзади и начисто отключило от всего этого кошмара.

Обиднее всего было утверждение Генки, будто я кричал, испугавшись обвала. Но не мог же я объяснить, что кричал вовсе не я, а Сарма, да и кто поверил бы такому объяснению!

Генка со своим дедом возвращались из тайги с сеном на волокуше и услышали обвал и крик. Они нашли меня у подножья Мертвой скалы с разбитой головой, всего в крови, и сначала подумали, что я уже мертвый. Они принесли меня в поликлинику поселка, что находилась на самом берегу Байкала, и первое, что я услышал, когда пришел в себя, это шум волн за раскрытым окном. Потом я почему-то увидел Генкиного деда, и мне показалось, что это Байколла, потому что у деда была такая же белая борода и в глазах тоже было что-то невеселое, похожее на постоянную печаль.

в глазах Байколлы. Я долго и пристально смотрел на деда, и, хотя в голове у меня было больно и шумно, я все же сообразил, что это не Байколла, и опасный вопрос не сорвался с моего языка.

Потом деда заслонило лицо незнакомой женщины, и, только увидев на ней белый халат, я догадался, что нахожусь в больнице. Я пошевелился и вскрикнул от боли в голове, и тотчас же перед глазами заметались какие-то люди, и я не то чтобы потерял сознание, а словно стал ко всему равнодушным, а когда среди мелькающих вокруг людей появились сначала мама, а потом и отец, мое состояние апатии оказалось как нельзя кстати, ибо нет большей муки, чем когда мама плачет и причитает.

Камень ударил меня по затылку плащом, и этой случайности я был обязан жизнью.

И опять потянулись дни в постели. Чаше других посещал меня Генка-лодочник. Он чувствовал себя героем и не переставал рассказывать, как они с дедом нашли меня, как летели камни и как я кричал... Меня хоть и злили его рассказы о моих воплях, но я понимал: не каждый день бывают обвалы на Мертвой скале и не каждый день под обвал попадают жители поселка.

Приходили Валерка с Юркой, приходила Светка и угощала меня голубикой. Приходил Светкин отец и рассказывал какую-то непонятную историю моему отцу про Генкиного деда, которого в поселке, оказывается, называли Белым дедом за его бороду. Я не очень прислушивался к рассказу, но все же услышал имя старухи Васьиной, и, когда заинтересовался, рассказ уже был окончен и говорили о другом.

В поселке началась пора голубики, и мальчишки приходили ко мне с синими губами и языками. Лица их были обкусаны комарами, потому что голубика росла по таежным низинам, где только и водятся в прибайкальской тайге комары...

Когда же оставался один, мысли мои сразу возвращались туда, на каменные уступы Мертвой скалы, и передо мной вставало перекошенное ужасом лицо Сармы и ее старческая рука с растопыренными узловатыми пальцами. В ушах возник шум обвала, и тотчас же возвращалось состояние того панического страха, что бросил меня прочь со скалы от истошных воплей старухи, считавшей себя молодой.

Теперь понятны были ее одеяние и гримасы ее, и жесты — она вела себя как молодая и красивая и потому была так смешна и неприятна в своих ужимках и гримасах.

А что теперь?! Пустит ли теперь она меня в замок?

Все же в душе была уверенность, что это не конец, потому что такого конца быть не может, ибо тогда не понятно, зачем было само начало...

Поправлялся я довольно быстро. Рана была неглубокая, а во всем остальном я был здоров, и каждым утром мне казалось, что можно вскочить с кровати и мчаться или на Байкал, или в падь, но первое же резкое движение отдавалось-таки острой болью в голове и отрезвляло.

Через несколько дней, однако, с перевязанной головой я все же уже сидел на высоком, плоском камне на берегу Байкала и, обхватив колени руками, слушал и смотрел на волны, не очень быстро и не очень громко набегающие на камень, под самые мои ноги. Но Баргузин был в этот день ленив и вял, это были всего лишь отголоски вчерашнего шторма, и потому даже брызги не достигали вершины камня, где я сидел.

День был пасмурный, и волны были светло-серые. Но иногда в разрывах облаков появлялось солнце, и я, хоть и сидел спиной к солнцу, его появление угадывал намного раньше, замечая, как вдруг начинали голубеть волны и просвечиваться-просматриваться отмель вправо от камня.

Еще я поймал себя на том, что, как только волны начинают голубеть, я начинаю улыбаться просто так, без всякой причины, и догадался, что улыбка на моем лице появляется как бы в ответ — когда улыбаешься потому, что кто-то улыбается

тебе. И тогда я понял, что голубой цвет воды байкальской — это улыбка. И, ведь когда волны снова становились серыми, сразу становилось на душе серьезно и даже грустно, и даже вздохнуть хотелось, как вздыхают от усталости или скуки.

Потом на лодке подплыл Генка, и мы с ним долго просто качались на волнах метрах в ста от берега. Генка был озабочен. Заболел его дед, тот самый, что притащил меня в поликлинику и которого звали в поселке Белым дедом. Генка рассказывал, как они с дедом рыбачат, бьют шишку и даже охотятся, и, хотя Генка не допускал самого худого, по голосу его чувствовалось, за деда он боится всерьез.

Когда еще через несколько дней я стоял напротив Мертвой сканы, ноги мои никак не решались сделать первые шаги подъема. Я долго бродил вокруг скалы, иногда даже уходил от нее, забирался на склон ущелья и как-то не заметил даже как оказался у меня в руках букет цветов. Забираться на скалу с букетом было очень неудобно и трудно, и все же я полез...

Перед последним уступом затаился, прислушиваясь, и никак не решался сделать последний шаг. Как примет меня Сарма, кто ее знает?!

И вдруг я услышал ее голос.

— Ну что прячешься!

Я вздрогнул и съежился, пытаюсь по голосу определить ее настроение. Прятаться больше не было смысла, и я поднялся на уступ.

В первое мгновение мне показалось, что Сармы на месте нет. Я ведь привык к ее ярко-голубому наряду. Теперь же она была во всем серо-желтом, под цвет скалы и камней, и ее даже плохо видно было, потому что и лицо ее тоже было серое, и вся она словно растворялась в цвете камней.

Я, наверное, пристально смотрел на нее или, по крайней мере, в ее сторону, и она заворчала недовольно.

— Ну что уставился! Не смей на меня так смотреть!

Я растерянно забегал глазами.

— Сама знаю, что страшная! — прошептала она. — Может быть, и умру, и это было бы счастьем!

— Ну что вы... — попытался я что-то сказать.

— Да, счастьем! — повторила она громче. — Для всех счастьем! И для них тоже!

Я понял, о ком она говорит, и мне стало противно и стыдно, что про себя я почти согласился с ней, и, чтобы загладить эту нечаянную вину, я шагнул к ней и положил ей на колени цветы.

Она сбросила их под ноги, как будто это были не цветы, а жаба с бородавками.

— Не смей меня жалеть! Ты, жалкий недокормыш! Сарма не нуждается в жалости! Иди к кому пришел! Ну!

Я бегом кинулся к камню, но она окликнула меня и, когда я вернулся, сказала уже другим голосом:

— Забери свои цветы! Той, кому ты их собрал, они нужнее!

— Спасибо! — радостно крикнул я и, подняв все до единого цветка, побежал к входу в замок.

Что было с дочерью Байколлы, когда она увидела цветы!

— Отец! — шептала она в волнении. — Смотрите, это же цветы Долины! Они росли вокруг замка, и Нгара делала из них венки победителям состязаний!

Она стала называть цветы, и удивительно! — они назывались в Долине Молодого Месяца так же, как и у нас! Кукушкины сапожки, кукушкины слезки, ирисы, саранки, жарки! Она перебирала цветы и улыбалась каждому, и это были первые ее улыбки, и лучше бы я их не видел...

Мне показалось, что Байколла укоризненно посмотрел на меня. Наверное, так и было. В сущности, я мучил девочку, пробуждая в ней жажду жизни и тем обрекая ее на страдания еще большие.

Но что я должен был делать! Оставить их и не приходиться более? Для меня это было невозможно. Освободить я их не мог, потому что они сами не хотели этого освобождения, да уж и Сарма наверняка предусматривала возможность моих попыток.

Было бы вполне справедливо сказать, что я страдал, но если так сказать, то это было бы просто смешно в сравнении со страданиями Ри, младшей дочери Байколлы, и его самого!

Каждый раз, возвращаясь домой, я строил планы, один фантастичнее другого. Сначала все мои планы основывались на таком повороте дела, когда можно было бы привлечь к этой истории кого-то еще или многих. Сначала мне казалось: знай о моей тайне кто-нибудь, или многие, или все — и решила бы судьба узников Мертвой скалы.

Но чем больше задумывался я над всей этой историей, тем отчетливей вырисовывалась мысль, что покончить с жестокой бессмыслицей тайны Мертвой скалы одинаково могут или не могут все или один, что не количеством и не силой можно спасти ставших мне столь близкими людей. Мне казалось иногда, что не только Ри и ее отец, но и даже Сарма — все они ждут от меня каких-то действий, которые мне по силам, хотя я всего лишь мальчик, и мне часто хотелось думать, что Сарма, например, устала сама от своей мести и от своей тоски, что Байколла надеется на меня, что Ри втайне верит в то, что будет жить.

Когда мне все вот так казалось, я пытался вызвать на откровенный разговор Сарму, старался быть с ней как можно вежливей, но она будто требовала от меня не вмешивать ее в мои тайные мысли и не собиралась помогать мне в чем-либо.

И тогда резко менялось мое отношение к Сарме. Она становилась для меня ненавистной, я забывал о том, что она потеряла сына, она казалась мне злой ведьмой, испытывающей радость от чужих страданий.

А между тем кто-то из жителей поселка увидел меня, спускающегося с Мертвой скалы, и по этому поводу дома разразился настоящий скандал.

В общем, мама была права, когда кричала, что, дескать, чего мне там надо, и что, мол, других интересных мест нет вокруг, и почему мне обязательно нужно лезть туда, куда никто не лазит! Конечно, если бы Мертвая скала была бы обычной скалой, чего бы мне туда лазить! Это было бы действительно глупо!

И я ничего не мог объяснить, ничего сказать в свое оправдание. Хуже того, я даже не мог дать маме обещания больше туда не ходить, и это особенно возмущало, и она в отчаянии разводила руками. В конце концов папа сказал: «Еще раз полезешь — выпорю!» Папа никогда зря не грозился!

Мое упрямое молчание было оценено как признак наступления «переломного возраста» и что у меня начал портиться характер. Ничего этого не было, и я лишь надеялся, что, когда все откроется (если это случится), меня поймут и простят.

Каждое утро я так, чтобы видели родители, уходил на берег Байкала и даже давал им возможность проверить, что я близко. Но потом, через час или два, где прячась за дома, где за заборы, пробирался в падь и лез на скалу. Когда однажды мама не нашла меня на берегу и вечером учинила мне подробный допрос о том, где я провел весь день, измучившись выбираться, на другой день я взял с собой учебник и сказал, что хочу готовиться к школе, а дома этим заниматься скучно. А ведь читать учебник можно не обязательно на берегу и уж тем более не в куче мальчишек, а где-нибудь в кустах, на горе — во всяком случае, моя прилежность тронула маму, хотя и удивила, и я получил право быть не на глазах.

Мама всегда готова легко принять на веру похвальные намерения своих детей! Но ведь только законченный зубрилка и выскочка мог бы читать учебники в летний день на Байкале, вместо того, чтобы купаться и носиться по горам!

Вот так, с учебником за пазухой, появился я однажды в замке Мертвой скалы. За летнее время я основательно позабыл и грамматику и арифметику, и, когда Ри попросила меня рассказать, о чем написано в моей книге, я оказался в затруднительном положении. И постепенно сложилось так, что я сидел и корпел над учебниками, а на завтра рассказывал Ри, и это заметно отвлекало ее от всех тяжелых дум, или, по крайней мере, так казалось.

Что до мамы, то, когда я утром уходил из дома с учебником, а то и с двумя, а вечером, решив задачу или пример, зубрил правило грамматики, хотя еще и темно не совсем было и можно быть на улице, — наблюдая все это, мама все тревожнее и тревожнее стала поглядывать на меня и все чаще шептаться с папой.

Само собой, так мог себя вести только ненормальный! К тому же я регулярно пропускал обед и мало бывал на солнце, ведь большую часть дня я проводил в замке, и оттого лицо мое было бледнее, то есть оно не загорело на солнце так, как у всех мальчишек.

Приходила женщина-врач, пожимала плечами и говорила, что мне нужно больше бывать на свежем воздухе.

— Да он все дни пропадает на улице! — восклицала отчаянно мама.

Врачиха снова обслушивала меня со всех сторон, и мне было жалко ее.

Если бы Ри училась в школе, она была бы круглой отличницей. Она схватывала с полуслова, и буквально через несколько дней наступил такой момент, что я уже ничего не мог сказать ей нового. А я сам не мог же выучиться за пятый класс! Я хотел читать ей книжки, но мама не разрешила мне выносить их из дома. И я вечерами теперь читал и перечитывал книги, какие были у меня, а на завтра пересказывал их Ри. То, что я оставил учебники и перешел на книжки, мама с папой приняли как сигнал моего излечения, и кажется, они были бы счастливы, если бы я покидал все книги и учебники под кровать!

Однажды (ах, как я помню этот день!) мы о чем-то говорили, кажется, я рассказывал Ри о том, как проходят занятия в школе, как мы играем на переменах и вечерами и т. п. В этот день Ри была менее оживлена, чем в прошлый раз, но я сначала этого не заметил. Я сказал, что через месяц начнутся занятия в школе, и когда сказал это, то с ужасом подумал о том, что ведь тогда я не смогу приходить на скалу и как же я тогда буду жить! Я замолчал растерянно, Ри вдруг сразу погрузилась, и в секунду лицо ее стало таким же печальным, каким я увидел его в первый раз. Она словно догадалась о моей мысли и сказала тихо:

— А я никогда...

Только это и сказала. Но как!

Байколла тревожно взглянул на нее.

— Не надо!

Потом посмотрел на меня и повторил уже для меня:

— Не надо!

— Я устала, отец! — сказала Ри и, как в тот первый раз моего прихода, закрыла глаза и склонила голову на руку отца.

— Она устала! — повторил Байколла и, немного помолчав, добавил: — Не нужно больше... приходить! Она устала!

Какое горе, какое несчастье обрушилось на меня с этими словами! Я стоял около Байколлы будто придавленный громадной скалой к полу и не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Байколла опустил голову на грудь, и я не видел его глаз, но видел зато застывшее в маске нечеловеческой печали лицо его дочери. Она уже больше не открыла глаз, и можно было подумать, что она спит, если бы не морщинка на лбу,

что появляется, когда бывает больно, и две стрелочки бровей, стянувшиеся к этой морщине, и губы, сомкнувшиеся плотно, как бывает, когда сдерживают слезы боли или обиды, и волосы, словно в отчаянии упавшие на колени Байколлы!

Я стоял и не верил, что это все! Слезы сами потекли у меня из глаз, я не мог их остановить и не пытался. Почти ощупью поднимался я по лестнице замка, и, когда вышел из пещеры, солнце, как обычно, не ослепило меня, потому что видел я его сквозь пелену слез.

Сделав несколько шагов от пещеры, услышал скрипучий голос Сармы:

— А вход опять забыл закрыть, раззява!

Я вытер слезы и взглянул на старуху. Такой ненависти к ней, как сейчас, я еще ни разу не испытывал. Меня даже затрясло!

— Если тебе надо, сама и закрывай! — крикнул я ей в лицо.

Сарму точно паралич разбил.

— Да я тебя... — прошепелявила она в изумлении, но я не дал ей договорить. Я подскочил к ней так близко, что она отшатнулась и будто влипла в каменную спину своего кресла.

— Не боюсь! — кричал я. — Старая, злая старуха! Ты за что мучаешь Ри?

Я подступил к ней еще ближе.

— Что она тебе сделала? Что? Злая! Ты и состарилась от злости, и тайны твои тебе не помогли! Ненавижу! А что ты камни умеешь со скалы скидывать, так я тоже могу!..

Я схватил камень у ее ног, тяжелый камень, поднял его, сделал несколько шагов к обрыву и кинул, и еще несколько камней отправил туда же, и, наверное, там был уже обвал, потому что, когда камень летит вниз, он и другие камни сшибает.

Потом я еще кричал на старуху и обзывал ее страшными словами, а она уже оправилась от испуга или, скорее, от удивления и смотрела на меня в упор, пристально и не мигая. Когда я выкричал все, что мог, когда уже охрип от крика и задохнулся, она сказала странным тоном:

— Значит, ты очень хочешь, чтобы девочка жила и была свободна?

Я насторожился, хотя все еще не мог прийти в себя после истерики, и сердце колотилось так громко, что я плохо ее слышал.

— Ты хочешь ее спасти? — спросила она снова.

— Да! — крикнул я, и волнение, нахлынувшее на меня, ударило в голову тупой болью.

Сарма подозрительно, или недоверчиво, или (кто ее поймет) презрительно шурилась на меня.

— И ты готов совершить подвиг, чтобы спасти девочку?!

Теперь, кажется, в ее голосе было ехидство, и я подумал, что она разыгрывает меня, что просто издевается, но все же ответил: «Да!» Хотя слово «подвиг» звучало уж слишком по-книжному.

Сарма помолчала, что-то прочмокала губами, а затем спросила торжественно:

— Готов ли ты на все, чтобы спасти дочь князя Байколлы?

Я не очень представлял себе, что может означать «все», но ответить что-либо другое, кроме «да», разве я мог!

Она впилась в меня взглядом, словно насквозь проткнуть хотела.

— Я предоставляю тебе такую возможность! — сказала Сарма, и я не сразу понял смысл сказанного, а когда понял, замер в лихорадочном ожидании.

— Вон там, на камне, — она показала рукой, — лежит славная, длинная жирная змея! Поди, дружок, к ней, протяни руку, и пусть она укусит тебя! А после пусть рука твоя распухнет, как березовый гриб, и ты познаешь боль и муку змеиного яда! Иди!

Еще не веря ей, я, как во сне, сделал несколько шагов к камню и действительно увидел на камне огромную, толстую гадоку, намного больше той, что поймал Юрка.

Я обернулся к Сарме, надеясь, что она не всерьез, что она пошутила, но по выражению ее лица понял, что мне действительно приказано поступить именно так!

Я попятился от змеи, которая в этот момент шевельнулась всеми витками скольцованного туловища, повернула ко мне свою голову, и изо рта ее выскочила рогатка язычка.

Я шарахнулся прочь, чувствуя, что от страха глаза мои висят на самых бровях.

— Не... е... е... — хрипло пролепетал я, сглатывая слюну. Я замотал головой, замахал руками, я весь задергался, потому что никак не мог выговорить слово «не буду».

— Иди и делай, что я сказала! — крикнула Сарма.

— Нет! — громко и пронзительно взвизгнул я.

— Ты, жалкий гнилой опенок! Вот цена твоей доброты! Да не только мои сыновья, самый слабый, самый хилый мальчишка Долины Молодого Месяца сделал бы это не задумываясь, чтобы спасти дочь князя Байколлы! Да разве только это! Жизнью пожертвовал бы любой! Ты же трепещешь и скулишь как бесхвостый щенок перед одним укусом змеи, от которого за две луны вылечивает самый ленивый знахарь! Ты, жалкое подобие человека! Прочь отсюда! И нет тебе больше дороги к страданиям людей Долины! Прочь с моих глаз! Прочь! Прочь! Прочь!

Сарма тряслась от ярости. А я и не заметил, когда успел отступить к самому спуску, и дальше некуда было отступать, нужно было спускаться. Я уже сделал какое-то движение, то ли ногу занес, то ли прогнулся... но перед глазами возникло лицо девочки из замка в печальной вздернутости бровей, и, как получилось, не помню, не знаю, но, раскрыв рот, стуча зубами, трясясь всем телом, я стал приближаться к камню, на котором меня ждала змея. Вроде бы и был как в бреду, но помню точно, что в это мгновение мелькали в голове мысли, кажется, что вот старуха Васина есть, что лечит от змей, и что если и будет больно, то ведь не всю жизнь, а пройдет время, и боли не будет, и что Юрку кусала змея, и ничего, все прошло, и он живет себе, как ни в чем не бывало!..

Змея смотрела на меня в упор и стреляла язычком. Но скоро я перестал ее видеть, пелена слез закрыла все, и страх, скрутив мое тело судорогой, начал выходить через горло каким-то странным звуком — не то «а... а... а», не то «э... э... э» — в общем, я забыл от страха, а судорога свила правую руку, и рука вопреки страху сама потянулась навстречу змее! Я не видел змеи, я ждал укуса, как удара молнии или чего-то еще страшнее, я не мог отдернуть руку, хотя, кажется, всю силу вкладывал в эту попытку. Но рука тянулась к змее. Я чувствовал, что теряю сознание!

И вдруг услышал громкий хохот Сармы. Я несколько раз моргнул, чтобы сбить слезы, и когда открыл глаза, то увидел сначала свою нелепо вытянутую вперед руку, а затем в нескольких сантиметрах от пальцев руки кривую, высохшую, сучковатую ветку сосны. Никакой змеи не было! Я еще продолжал держать руку и смотрел на нее, как на что-то не мое, а Сарма хохотала еще громче и визгливее. Наконец, вернулась чувствительность руки, и я не без труда согнул ее и прижал к животу, будто она вправду была укушена змеей.

Сарма хохотала и что-то говорила сквозь смех, а я пытался сообразить, как это случилось, что я сам протянул руку змее, пусть даже это вовсе не змея, а палка...

Позднее много раз, когда я вспоминал об этом, уже будучи взрослым, я всегда удивлялся, и приходила мысль, что страх, когда его так много, что в душе не остается ничего, кроме страха, может обернуться своей противоположностью, и это будет похоже на подвиг. И любопытно было, сколько же в истории записано событий под названием подвигов, в действительности случившихся в состоянии абсолютного страха! Ведь вот сейчас, когда я уже взрослый, я все же с трудом могу представить такую ситуацию, в которой я добровольно подставил бы свою руку под укус змеи.

Как-то очень хочется надеяться, что жизнь не представит мне такого нелепого и неприятного случая! Но ведь несерьезно было бы сказать, что в детстве я был смелее, чем сейчас!

Ну, что бы там ни было, а было так: Сарма хохотала, а я стоял у камня и держал руку на животе.

— Иди сюда! — приказала старуха, и я пошел к ней, просто подчиняясь приказу, и остановился около нее, ни о чем не думая и лишь ощущая подступающую к горлу тошноту.

— Ну как, — насмешливо спросила Сарма, — не разорвалось на части твое сердечко? Сгибаются ли коленки?

Я не ответил. Насмешка не трогала меня.

— Ступай домой! — сказала Сарма. — Считай, что сегодня ты впервые прожил день настоящей жизни! Сегодня с тебя хватит!

Слова эти были сказаны незнакомым тоном, но обрадоваться этому у меня не хватило сил.

— Иди! — повторила Сарма. — Я сама закрою вход в замок.

Смысл ни одного из этих слов не дошел до меня, даже лень было подумать: какой вход? в какой замок? Я повернулся, подошел к спуску, сел на уступ и сполз с него и потом так же, кажется, не спускался вовсе, а сползал со скалы до самого подножья. Медленно брел по дороге к поселку, не доходя, свернул в кусты, лег на траву и пролежал там до вечернего холода.

Мама несколько раз пощупала мой лоб, когда я лег в постель, сунула мне градусник, долго рассматривала его потом, долго стрясала, тревожно глядя на меня.

Утром они с папой говорили на кухне о том, что я опять очень плохо спал и кричал во сне о каких-то змеях. Упоминание о змеях не встревожило и не всколыхнуло меня. Я чувствовал вялость и долго провалился в постели. Потом, после завтрака, пошел на Байкал, разыгрался с мальчишками и вошел в норму. Но только почему-то всякий раз, как только вспоминал о Мертвой скале, гнал от себя это воспоминание.

Так было и на следующий день, и я весь день провел в воде с мальчишками, уже почти привыкнув к температуре воды, хотя, может быть, и чаще, чем другие, подбегал к костру на берегу. Когда прошло еще несколько дней, однажды я подслушал разговор мамы с отцом о том, что та ночь, когда я кричал во сне о змеях, была для меня «критической», и что теперь я уже лучше выгляжу и вообще поправляюсь. Мама и папа были довольны, хотя я начисто забыл, где лежат учебники и книги.

5

Мы с Юркой чинили наш плот. Ночью был сильный Баргузин, плот выкинуло на камень, и две шпалы лопнули в местах крепления. Мы сначала всякими самодельными рычагами вытаскивали скобы, потом вколачивали их в новых местах, затем связывали проволокой треснувшие шпалы. И еще долго возились, стаскивая плот с камней на воду, когда прибежал Валерка и сообщил, что умирает Белый дед, то есть дед Генки-лодочника, что вызвали врача из Слюдянки, и он должен приехать на дрезине.

Мы промчались по берегу к Генкиному дому. Около дома уже было много людей, сам же Генка сидел на борту лодки на берегу растерянный, с опухшими губами и красными глазами.

— Живой еще? — спросил Юрка.

Генка шмыгнул носом, сверкнул глазами.

— И будет живой! Наша врачиха ничего не понимает! Вот приедет доктор из Слюдянки и скажет всю правду!

— Может, старуху Васину позвать, она же это... ведьма!

Генка замотал головой.

— Не! Она не придет!

— Почему? — спросил я.

— Не придет! — уверенно сказал Генка. — Она моего деда всю жизнь ненавидит!

— Врешь! — насупился Юрка. — Она всем помогает!

— Всем, а деда ненавидит!

— За что? Что он ей сделал?

— Ничего не сделал! Ненавидит, и все!

На крыльце дома показалась женщина, Генкина мама. Она села на ступеньку, закрыла лицо руками и, наверное, заплакала. Генка засопел еще сильнее.

Из дома вышла еще одна женщина и сказала хмуро:

— Дело-то какое! Просит, чтоб старуха Васина пришла!

«Правильно! — подумал я. — Знает дед, кто ему поможет!»

Генкина мать покачала головой.

— Не придет!

— Не придет! — согласилась другая женщина.

— Ведь умирает же! Как это она не придет! Не может быть!

Я такого не мог понять и уже подумал, не сбегать ли мне за ней, я знал, где она живет, но вдруг услышал удивленный шепот:

— Идет! Надо же! Будто услышала!

Я от радости чуть не запрыгал на месте. Я знал, что она придет. Она мне сразу понравилась, эта старуха! Хотя змею от Юрки она совсем зря спасала!

Все поздоровались с ней и расступились. Генкина мать пошла вслед за ней. Никто ничего не сказал. Мне так было интересно узнать, как она будет лечить деда, что я готов был кинуться за ней в дверь. Но меня, конечно же, не пустили бы. Я метнулся туда-сюда, обежал дом, заглянул в одно окошко, в другое — и увидел Белого деда. Он лежал на кровати или полусидел, облокотившись на несколько больших подушек. Лицо его было какого-то серо-зеленого цвета, он тяжело дышал и в левой руке сжимал край простыни.

Я видел, как вошла старуха Васина и как вошедшая вместе с ней Генкина мать сразу же вышла из комнаты. Я уперся ногами в завалинку, руками вцепился в наличник и, всунувшись в окно только носом и одним глазом, замер, затаив дыхание.

— Ты пришла, Анюта! — сказал хриплым голосом дед, и я сначала подумал, что он бредит, и лишь потом догадался, что Анюта — это имя старухи. И как это было чудно! Наверное, никто не знал или все забыли, как ее звали, потому что все звали ее только старухой Васиной.

— Пришла! — ответила она тихо и села на стул около кровати деда. В руках ее ничего не было, и было непонятно, как она собиралась лечить!

— Вот, умираю! — сказал дед.

— Умираешь! — подтвердила Васина, и у меня мурашки пробежали по коже.

Они смотрели друг на друга.

— Каешься ли, Гриша? — спросила она.

— Каюсь... каюсь! — торопливо ответил дед.

— А раньше-то чего же?

— И раньше каялся... и всегда... Да ведь знал, не простишь!

Старуха кивнула головой, то ли соглашаясь, то ли машинально.

— Дай водицы! Сухо... Говорить не могу!

Старуха подала ему стакан, что стоял на табурете рядом. Он пытался взять стакан в руку, но не смог, и она напоила его и полотенцем, что висело на спинке кровати, вытерла губы.

— Могилки-то ведь не оставил? Боялся?

— Оставил, Анюта, оставил, как положено, с крестом...

— Оставил! — простонала старуха. — Есть могилка, значит!

Она закрыла глаза, покачала головой.

— И как же тебя простить за такое, Гриша! Как?

— Как можешь! — шепотом прохрипел дед.

— Где же? Говори!

— Скажу! — дед закашлялся, затрясся. — Найдешь! В Сухой пади родничок... знаешь... от родничка вверх... на сосне засеку увидишь... Не по корысти это было, Анюта! Люди болтали... про золото... Не было там золота... никогда не было... По ссоре это было... по глупости...

Мне было очень неудобно висеть на завалинке, и, наверное, от напряжения я плохо понимал, о чем они говорят.

Дед еще хотел что-то сказать, но снова закашлялся, и Васина сказала ему:

— Молчи! Молчи!

Дед кашлял, и белая борода прыгала у него на груди.

Завалинка была покатой, нога моя соскользнула, и я оборвался вниз. Вскочив на ноги, кинулся прочь от дома, подбежал к мальчишкам и на всякий случай спрятался среди них. Меня о чем-то спросили, я что-то ответил, сам же пытался восстановить все фразы, что услышал, чтобы понять смысл разговора.

— Васина вышла! — крикнул Юрка, а Генка сорвался с места и побежал в дом.

Старуха уже почти прошла мимо, но остановилась, повернулась в нашу сторону и поманила пальцем... конечно, меня. Красный как рак, я подошел к ней. Она смотрела на меня спокойно, погладила по голове и сказала:

— В жизни такое бывает, чего знать никому не на пользу!

Какой у нее голос! Я крепко сжал ее руку обеими руками и сказал шепотом, но горячо:

— Если я кому скажу, пусть умрут мои родители!

Она покачала головой.

— Даже если ты на семь ветров скажешь, пусть всегда живут твои родители! Таких тайн нету, что дороже отца с матерью!

И мне стало стыдно за мою дурацкую клятву. Она еще погладила меня по голове и пошла. Мальчишки насели на меня, пытаюсь узнать, о чем мы говорили. Я что-то соврал им.

Генкиного деда увезли на дрезине в Слюдянку. С ним поехал и Генка, успевший крикнуть нам, что привезет деда назад здоровехонького.

Я долго ходил по берегу Байкала и думал о том, что услышал. И хотя я догадывался, что произошло в тайге в Сухой пади, и это было страшно и интересно, но я почему-то все время слышал только одну фразу и даже произносил ее вслух, пытаюсь повторить интонацию, какой она была сказана:

«И как же тебя простить за такое, Гриша?»

Когда, наконец, мне удалось воспроизвести точно интонацию, мое радостное подозрение перешло в уверенность. Старуха Васина именно этой фразой уже простила Белого деда! И когда он ответил ей: «Как можешь!» — это было почти «спасибо»!

Тогда я вспомнил другую старуху, которая простить не может и не хочет, и вспомнил все остальное, хотя, конечно, и не забывал вовсе, но будто какой-то зарок давал себе не думать о том.

А все, что было со змеей! Это очередная шутка Сармы? А вдруг нет! А вдруг она всерьез обещала освободить Ри! Я столько дней потерял, а точнее, украл у Ри ее дни свободы! Да как же я мог забыть или не думать или думать о чем угодно, только не о самом главном!

Немедленно бежать к Сарме и требовать, чтобы она выполнила обещание! И пусть змея оказалась палкой, но ведь палка БЫЛА змеей, и я протянул ей руку. Ведь протянул!

Никогда еще так быстро я не забирался на Мертвую скалу! Будто на одном дыхании! Перед Сармой предстал запыхавшийся, но полный решимости.

— А ее уже там нет! — сказала Сарма, хитро ухмыляясь.

— Как нет? А где?

— Она живет среди людей! Ты недоволен?

Я растерялся, торопясь разобраться в собственных чувствах. Такого варианта я не предвидел.

— А где она? — спросил я.

— Тебе же сказали, она живет среди людей!

— А я...

Я хлопал глазами.

— А ты должен радоваться, но радости твоей я что-то не вижу! — ехидно отвечала Сарма. — Ты, конечно, надеялся, что я выдам ее тебе в ручки, ты уведешь ее и женишься!

Она, эта старуха, не иначе как спятила! Но в одном она была права! Я тысячу раз представлял себе, как вывожу Ри из пещеры на солнце, как веду в поселок, как показываю Байкал!

— А можно мне ее увидеть?

— Зачем? Ведь она теперь тебя больше не знает!

— Не знает! — в ужасе вскричал я. Сарма усмехнулась, но сказала без зла:

— А как бы она жила среди людей, если бы помнила все! Разве она смогла бы жить?

— Как? Она все забыла? И отца, и предание, и все!..

Я хотел сказать «и меня», но удержался.

— Конечно! — ответила Сарма. — Иначе она не смогла бы жить!

Это была какая-то немыслимая, жестокая правда! Нельзя было возразить, но и согласиться было еще труднее.

— А Байколла... он как... он теперь там один... совсем один...

Сарма зло насупилась.

— Молчи! И не смей больше ничего говорить! И того, что я сделала, так много, что тебе не понять! Но я еще не все тебе сказала! Ты способен слушать и понимать?

— Да.

Я врал. Я был не способен что-либо понимать. Мысли мои, будто пьяные, шатались в голове и налетали друг на дружку. Сарма говорила нравоучительно и торжественно:

— Я освободила девчонку Байколлы! Это значит, я освободила ее от горя. Главное — это! Вывести из замка — и ты бы мог! Но смог бы ты дать ей спокойствие души? То-то! Но понимаешь ли ты, что печали и горя не бывает без человека, что освободить кого-то от горя — это значит передать его кому-то! Понимаешь ли ты это?

Я кивнул головой и, конечно, соврал. Я не понимал!

— Так знай же! Ее беду принял на себя ты! Придет время, и ты, хилое дитя несчастных родителей, возопишь от тяжести взятого на себя, и ты прибежишь ко мне и попросишь, чтобы я освободила тебя, и обещаю, я сделаю это, потому что не

по твоим хрящикам такой груз! И тогда девчонка вернется на свое место, ибо не может быть пустым место печали! Вина, что порождает печаль, никогда не исчезнет, и потому вечны печаль и горе! Девчонка вернется к отцу, а ты забудешь все, что знал! Вот так будет!

— Она не вернется! — крикнул я. — И так не будет!

Из всего, что сказала Сарма, я понял, что по моей вине Ри может снова оказаться на скале. Но если это зависит от меня, такому не бывать! В это мгновение мне казалось, что сто раз, если потребуется, я протяну руку змее! Или что-нибудь еще страшнее!

Сарма презрительно ухмыльнулась и скорчила гримасу.

— Можно, я пойду к нему?

— Иди и спроси, доволен ли он!

Когда я подошел к Байколле, он впервые сам заговорил со мной голосом, какого я не слышал:

— Ты уже знаешь! Она живет среди людей! Скажи Сарме, что я благодарен ей!

— А вы... как же вы?..

Белые брови его опустились, померк свет в глазах, но все же это были другие глаза, совсем другие, и я только теперь понял, какую долю его печали унесла отсюда Ри.

— Я — это другое дело, — сказал он спокойно. — А она еще не жила... Ты видел ее там?

— Нет! — с горечью ответил я. Но что никогда не увижу, не сказал.

— Если увидишь, ты будешь добр к ней, не правда ли? Ты хороший сын хороших родителей, и я верю, что в ночь зрелости звезды дадут тебе достойное имя.

Понятно, почему они ни разу не спросили моего имени! Они думали, что у меня его еще нет! И Сарма не спрашивала, хотя ей мое имя, как вороне галстук!

Байколла нагнулся с кресла и погладил рукой щенка. Теперь, когда в замке не стало Ри, он такими несчастными глазами глядел на ее пустое кресло, что нельзя было без боли смотреть... И Байколла сказал мне:

— Возьми его себе! И пусть он будет тебе другом!

Я запротестовал. Как же ему совсем одному, ведь собака — живая душа рядом!

— Возьми! Он тоже еще не жил!

Я взял щенка на руки, он прижался ко мне и задрожал отчего-то.

— Можно, я буду приходить к вам?

Байколла сначала покачал головой, как бы говоря: «К чему это!» Но потом сказал:

— Если встретишь мою дочь среди людей, то придешь и расскажешь о ней!

— Обязательно приду!

А у самого сердце сжалось от мысли, что, может быть, уже никогда не увижу ни Ри, ни Байколлу.

Я попрощался и пошел к выходу. И, странное дело, пока я подымался по лестницам, шел по залам и по пещере на выход, щенок на руках становился все тяжелее, и когда солнце полудня ударило мне в глаза, то с рук моих на землю прыгнул вовсе не щенок, а почти большая собака, то есть когда пес встал на задние лапы, то передние коснулись моих плеч.

Сарма увидела собаку, и лицо ее вытянулось. Но я опередил ее:

— Байколла мне подарил!

Она что-то пробурчала себе под нос, но ничего не сказала, и это значит — разрешила!

— Я назову его Другом! Байколла сказал, чтобы он был мне другом! А я так его и назову!

Сарма не удостоила меня даже взглядом. Я подошел к ней, сел рядом, рядом сел Друг.

— Скажите, — решился я, — неужели вы никогда не простите Байколлу?!

Она зло прошипела сквозь зубы:

— Я слишком много позволяю тебе, и это тебе не на пользу!

— А я вот знаю одну женщину, у которой тоже убили... (я не знал кого), и она простила!

Сарма посмотрела на меня с жалостью.

— Эх ты, неумелый лгунишка! Придумал небылицу и надеешься, что я не отличу ее от правды? Это потому ты надеешься, что понять не можешь, что прощения не бывает! Если совершенно преступление и если есть горе в душе, значит, там не может быть прощения! Я же тебе объяснила! Простить — это значит предать горе! Забыть о нем! Слабые люди, забывая горе и по слабости отказываясь от мести, свою слабость и забывчивость называют прощением! Опять же, если на том, кого прощают, вина есть, то разве он ее забудет, если ему скажут: «Прощаю!» Виновные в прощении не нуждаются, потому что знают, что от вины никуда не денешься! И если бы существовала такая женщина, о какой ты говоришь, и если бы она сказала: «Прощаю!» — то она либо солгала бы, либо она уже забыла того, кого потеряла! Простить! Ну, подумай сам! Это что же, вину назвать не виною, а горе не горем! Это даже смешно!

Она разговаривала со мной снисходительно, но и я думал о ней так же, потому что своими ушами слышал за окном Генкиного дома фразу прощения и своими глазами видел горе на лице говорящей. И понять этого Сарме было не дано! Я впервые подумал о том, что она, очень даже может быть, не умная или, по крайней мере, не очень умная и вот от этого она еще более несчастная, больше, чем старуха Васина. Она несчастная от того, что не может простить! И мне стало жалко Сарму. Еще более было жалко Байколлу, и от всех этих чувств и сомнений вдруг появилась в сердце тихая боль.

Никак не удавалось представить, что где-то живет среди людей дочь князя Байколлы и ничего не знает о себе, ничего не помнит...

— Значит, я уже никогда не увижу Ри! — сказал я.

— Может быть, и не увидишь! А может, увидишь! — ответила Сарма.

— Может, увижу?

Она пожала плечами. Неопределенно. Без всякого намека.

— Только, если ты увидишь ее, запомни: если хоть одним словом намекнешь ей о том, что она забыла, чего ей не нужно помнить, то причинишь ей боль! Она все равно не вспомнит, но ей будет больно!

Я не очень обратил внимание на эти слова, но они заронили в душу крохотную, как светлячок, надежду.

— Ну, мы пойдем! — сказал я, погладив Друга.

Сарма посмотрела на меня, сделала рукой какой-то непонятный жест, вроде бы что-то сказать хотела еще и будто бы ей трудно было это сказать.

— Я могла бы тебе этого не говорить, но, пожалуй, скажу... Тебя сюда никто не звал, но раз уж ты пришел... да еще вмешался...

Она удивленно покачала головой.

— Ведь цыпленок, в чем только душа держится! А вмешался...

Похоже, она и сама не понимала, как случилось, что я вмешался...

— К большой тайне ты причастен теперь, а это вовсе не радость, и скоро ты это поймешь, и пусть будет тебе награда... Знай, что, пока ты живешь на берегах Долины, с тобой ничего не случится дурного!

— А что может случиться? — недоуменно спросил я.

— Много может случиться с таким чахлым стебельком! — насмешливо ответила Сарма.

Я устал от ее насмешек, мне уже не хотелось разгадывать смысл ее слов, я устал от этого разгадывания. Я попрощался с ней как можно вежливей, и мы с собакой начали спускаться со скалы. Друг прыгал с камня на камень, с уступа на уступ так, словно делал это каждый день, и я уже не показывал ему дорогу и не предупреждал об опасности сорваться, как сначала, а только хвалил его, и он на каждую мою похвалу и вообще на каждое мое к нему обращение отвечал и хвостом, и глазами, и ушами, и, казалось, понимает он каждое слово.

Дома своим родителям я заявил категорическим тоном, предупреждая их возмущения, что эту собаку мне подарили, и она будет жить с нами. Отец с матерью растерянно переглянулись, мама сказала:

— Ну, а собственно, разве мы возражаем?!

— Пусть живет! — сказал папа. — Только надо место определить.

И до самого вечера папа провозился, устраивая под крыльцом конуру Другу. Сажать же его на цепь я категорически отказался. И папа примирительно сказал: «Посмотрим!» А когда я заявил, что тогда сам сяду с Другом на цепь, папа тут же забеспокоился и стал убеждать маму, что такая умная собака ни за что не будет давить куриц и кусать хороших людей. И Друг поблагодарил папу хвостом за справедливое слово.

Вечером пришел Светкин отец и сказал, что Белый дед умер в Слюдянке в больнице. Мне было очень жалко и деда и Генку!

— Что поделаешь! — сказала мама.

— Врач предсказывал, что мучиться будет дед перед смертью, болезнь такая!

А он умер, как в иной мир отошел!

Папа развел руками.

— Что ни говори, а медицина знает о человеке только самое внешнее. Да... И вместе с дедом, значит, умерла история местного золота!

— Не было там никакого золота! — крикнул я из кухни.

Они все вышли на кухню, и папа спросил:

— Где это там?

— В Сухой пади!

— В Сухой пади! — воскликнул Светкин папа. — Верно! Есть такая, Сухая падь! А ты откуда знаешь?

Я пожалел о сказанном, хотя, кажется, ничего важного выболтать не успел. Я помнил слова Васиной, что есть тайны, которые никому знать не на пользу.

— Знаю, и все! — ответил я, давая понять, что больше из меня и слова не вытянешь.

— Ишь ты! — удивился Светкин отец. — Значит, и про Сухую падь шушук есть! Всю жизнь здесь живу, а такого не слыхал! Я тоже думаю, что нет у нас золота! Геологи уже давно все обшарили, много чего нашли, а золота нет! Сухая падь! Надо же! Хм! У Белого деда там когда-то зимовье стояло, потом пожар был, и зверье почему-то невзлюбило эту падь! Воды там нет, один маленький родничок на километры!

Наступила тем временем пора орехов, и мальчишки один за другим стали исчезать по нескольку дней с байкальского берега. Появлялись они с черными от смолы руками, на щеках, на лбу и на шее тоже были пятна смолы, и, хотя керосином или бензином смола смывается легко, мальчишки не спешили избавиться от следов кедрача. Все карманы мальчишек были теперь полны орехов, а разговоры у костра на берегу велись в основном вокруг ореховых дел. Один хвастался, что, как вдарил

по кедру колотом, с одного удара двести шишек свалилось, а десять штук по голове хлопнули. Постепенно количество падающих шишек с одного удара достигло пятисот, и мальчишки ревниво осматривали затылки друг друга, носящие следы от прямых попаданий.

У кого-то колот обломился от удара, у кого-то балаган ночью загорелся, у другого росомаха ночью уволокла все продукты, кто-то обнаружил свежие следы медведя около зимовья!

И только я один был на положении слушателя и угощенца. Все угошали орехами и требовали сказать, у кого орехи были прокалены лучше. Я же их и щелкать не умел. Мальчишки перекусывали скорлупу поперек, и, пока я мучился с десятком, они справлялись с горстью.

Но вот наступил день, наступило утро, когда я с вещмешком за спиной шагал по узкой таежной тропе, что вела в кедровые места. Впереди меня шли Светкин отец, дядя Сережа, Юрка и его брат дядя Витя, а за мной по пятам шла Светка.

Тропа петляла, извивалась, то задираясь кверху, то скатываясь вниз, то исчезая на поворотах. Шли уже второй час, но усталости не было, а была одна радость, потому что нелегко было уговорить маму отпустить меня, и не отпустила бы, если бы не дядя Сережа. И каких только глупостей не говорила мама, пытаясь сорвать это дело: и что я слабенький и не выдержу длинного перехода, и что простыть могу ночью, ведь мы шли с ночевкой, и что я еще не оправился от болезни, и еще много говорила она лишних и несправедливых слов. Но как бы там ни было, я шел сейчас по тропе и ушел уже так далеко, что никто вернуть меня не сможет!

Мы вышли еще затемно, сначала даже дорогу было плохо видно, и холод утреннего байкальского сквозняка подгонял нас. Потом рассвело, потом за спиной появилось солнце, и птичий гомон вокруг непривычно оглушил меня. Но чем дальше шли, тем тише становилось вокруг, тем мрачнее становился лес. Уже кругом были одни кедр, и на ветвях их и на макушках висели шишки, а я не понимал, почему мы проходим мимо и зачем идем далеко, если здесь можно набрать сколько угодно! Спросил Светку, она хихикнула:

— Разве это кедр! По десять штук на кедре! Неделю колотить будешь!

По пути встречалось много интересного, незнакомого, непонятного, но мы шли «по делу» и останавливаться и глзеть времени не было. Особенно поражали огромные муравейники и упавшие кедр с вывороченными корнями.

Много раз тропа раздваивалась, на одной такой развилке дядя Сережа, не останавливаясь, крикнул мне:

— Видишь!

И показал на тропу, что ушла влево от нас.

Мы пришли к большому балагану из веток и жердей. Быстро попили чай, и началась работа. Мы разделились на две партии.

Юрка с братом пошли в одну сторону, а мы со Светкой и ее отцом — в другую. Дядя Сережа свалил топором большую березу, маленькой пилой отпилил метровую чурку, посередине вырубил косой паз и в этот паз вбил длинную палку. Получился колот. Он был такой тяжелый, что я даже приподнять его не мог.

Мы со Светкой взяли по мешку, а дядя Сережа поставил колот рукояткой на землю перед первым кедром, отвел колот на себя и ударил по стволу. И посыпались с кедра шишки! Некоторые летели со свистом, сыпались вдоль ствола, отскакивали от сучков в разные стороны.

— Собирай! — крикнула Светка.

Я кинулся к дереву, начал шарить по земле, кое-как нашел пять шишек. Дядя Сережа ударил еще раз, и тут меня так треснуло по спине, что я, вскрикнув, упал в мох. Светка закатилась от смеха! А когда я подошел к ней, у нее в мешке уже было около полсотни шишек.

Ух, какая это была трудная работа! Дядя Сережа колотил и колотил, и я носился под деревьями, больше затаптывая шишки в мох, чем собирая их. Светка — та ничего не боялась, она бросалась собирать шишки, когда они еще только летели с дерева. Шишки стучали по голове и по плечам, она вскрикивала, взвизгивала, хохотала, а я не мог понять, как ей не больно. Меня всего три раза стукнуло, а голова гудела, рука так болела, что притронуться нельзя, а позвоночник будто вообще треснул...

От постоянного наклона вся спина немела и стонала, ноги тоже, они проваливались в мох, а во мху попадались камни, ноги то застревали, то подворачивались, то скользили.

Шишки мы сваливали в кучу, но, обколачивая один участок за другим, все время удалялись в каком-то направлении, и я не понимал, как мы потом разыщем кучи.

Когда уже казалось, что я больше шага шагнуть не смогу, дядя Сережа сказал, чтобы мы со Светкой шли к балагану и готовили обед. И когда Светка крикнула: «Пошли!» — я захлопал глазами — я даже представить не мог, в какую сторону подаваться. Светка вывела меня так, как будто шла по поселку, и оказалось это совсем близко, потому что мы ходили кругами вокруг балагана. Пока мы готовили обед, дядя Сережа и дядя Витя начали стаскивать шишки к балагану. Они приносили по мешку, высыпали и уходили снова.

Светкин суп я ел, как ни разу не ел мамин, и все не верилось, что наемся. Потом лег на спину и сразу заснул. Меня разбудили, подняли, и мы сразу пошли работать. Как ни странно, после обеда работалось легче, да я уже и освоился немного, научился примечать, где падают шишки, находить их быстро, уворачиваться от ударов, хотя избежать их вовсе не могла даже Светка.

Перед вечером нас опять отправили готовить еду, и опять это было для меня очень вовремя, устал я невообразимо!

Мужчины стаскивали шишки, и их набралось с целую гору. Потом валили сухие деревья и стаскивали к балагану. Нужен был костер на всю ночь, потому что всю ночь предстояло обрабатывать шишки. Из балагана вытащили большой брезент и расстелили на земле. Оттуда же достали железные противни с дырочками разной величины — это были сита. Запалили костер.

Еще раньше я обратил внимание на большую колодину, на которой были вырублены зубцы. На эти зубцы клалась шишка, по ней ударяли небольшой дощечкой тоже с зубцами и одним движением растирали шишку. И вот так нужно было переработать всю гору шишек. Потом еще предстояло просеять орехи через три сита и под конец прокалить орехи на костре в противнях уже без дырочек.

Мужчины и Юрка растирали шишки, а мы со Светкой насыпали сита и просеивали орехи. Такая это была работа, что я даже не заметил, как начало темнеть, как наступила ночь. Гора шишек, казалось, не уменьшается нисколько! Но когда она все же уменьшилась, Юрка подключился на просеивание, и мне стало немного легче. Первые листы с чистыми орехами уже стояли на огне, и мне поручили перемешивать, чтобы орехи не подгорали, но они подгорали, орехи щелкали и стреляли раскаленной скорлупой прямо в лицо.

— Вот теперь будешь знать, как достаются орешки! — сказал дядя Сережа. — Второй раз и пойти не захочешь!

— Захочу! — ответил я, но едва ли искренне.

Всему бывает конец. Наступил конец и нашей работе. Чистые и прокаленные орехи были засыпаны котелками в вещмешки. Мне досталось четыре котелка из того расчета, что больше я не донесу. Светке тоже четыре. А Юрке — шесть, — и это было обидно. Я был не слабее Юрки, а уж со Светкой-то чего меня равнять! Но я не спорил.

А вот мешки дяди Сережи и Юркиного брата были ужасными, даже не верилось, что кто-то может поднять их с земли!

— А теперь спать до опухания! — объявил дядя Сережа.

В балагане оказались одеяла, хоть и старые, но целые, и телогрейки, и даже шапки. Ночи в байкальской тайге холодные, это я уже знал.

Старшие расположились у костра, а нас троих определили в балаган. Юрка сразу же ушел туда, а мы со Светкой попросились немного посидеть у костра.

Ночь была темнущая. И только теперь, оглядевшись, я почувствовал, как страшно все вокруг! Костер освещал только саму поляну, и свет его кончался в двух шагах, а дальше все кругом было наполнено страшными тенями, шорохами, звуками, незнакомыми и тревожными. На фоне неба виднелись или угадывались вершины кедров, и казалось, будто вершины нависают над головой, готовые в любую минуту свалиться на голову живыми чудовищами ночи. В темноте мерещилось движение, кто-то подкрадывался или ходил около — так и хотелось прижаться к костру и спрятаться в нем.

— Страшно? — шепотом спросила Светка. Я хмыкнул, будто мне наплевать.

— А мне всегда страшно ночью! — призналась Светка, и я тогда тоже согласился, что мало приятного.

Все уже спали, а мы еще сидели и слушали ночные звуки и смотрели в костер, а мне вообще было жутковато уходить в темный балаган, и я сказал, что останусь здесь. Запахнувшись телогрейкой, я привалился к зубчатой колодине и скоро заснул.

Когда проснулся, было жарко, было солнце и вторая половина дня. Был уже готов и обед, он же и завтрак. Все тело ломило так, будто меня долго били ногами и палками. Но Светка потащила меня к ручью, и мы даже немного поборолись с Юркой на поляне.

В углы вещмешков были заложены большие шишки, к этим шишкам привязали широкие и мягкие лямки и затем стянули их на горловинах мешков. Светке, Юрке и мне мешки помогли надеть, а дядя Сережа и Юркин брат надевали мешки, сидя на земле, и потом с трудом поднимались, покачиваясь и одобрительно побрякивая. Мне мой мешок казался легким, и стыдно было тащить столько же, сколько девчонка!

Мы пошли в обратный путь в том же порядке, что и вчера. Не прошли и километра, а ремни стали ощущаться на плечах, и скоро я уже не жалел, что несу только четыре котелка. Я стал подкладывать под ремни ладони и уже шел не прямо, как сначала, а согнувшись, и было уже вовсе не весело...

А на полдороге случилось вот что. В том самом месте, где вчера дядя Сережа о чем-то крикнул мне, но мы потом оба забыли про это, то есть на развилке троп, впереди нас на нашу тропу вышла старуха Васина. Все были удивлены не меньше меня. Она была в телогрейке, в сапогах, в руках палка.

— Ты чего это, Васина, по тайге одна шастаешь? — спросил дядя Сережа. — На зверя нарваться можешь! Никак из Сухой пади идешь!

— Где была, Сережа, оттуда и иду! — ответила она, улыбаясь.

Так вот что хотел сказать мне вчера Светкин отец! Что эта тропа в Сухую падь!

— Значит, в Сухую падь ходила, — сказал снова дядя Сережа, пристально глядя на старуху Васину. — Что ж не сказала мне, я б с тобой ходил! Не те твои годы, чтобы одной по тайге плутать!

Васина ничего не говорила и только улыбалась и шурилась на нас. Обогнав ее, все двинулись дальше, а я, пропустив Светку, задержался, подошел к старухе и спросил шепотом:

— Вы... нашли? Да?

Она опять, как в тот раз, погладила меня по голове. Мама тоже любила гладить меня по голове, а я этого терпеть не мог. Но вот когда старуха — совсем другое дело! Даже наоборот, хотелось, чтоб она гладила еще и еще. Какая-то особенная у нее была рука!

— Нашла! Нашла! — сказала она. — Сорок лет искала и нашла!

«Сорок лет!» — ахнул я.

— Теперь и в самую дальнюю дорогу можно... — это она сказала как бы для себя.

— Ну иди! Иди! Отстанешь — устанешь! Нога в ногу идти легче!

— До свидания!

Она кивнула.

Я шел и думал: «Кто же у нее там в Сухой пади? Сын? Муж?» Попытался представить картину убийства, но не вписывался в нее Белый дед, а того, другого, я не видал никогда... Картина не получилась. «Взять бы ее к нам жить! — подумал я. — Но согласится ли?» Сорок лет она жила одна! Как это представить! Хоть ведь вот Сарма, она уже сколько лет сидит одна на Мертвой скале — эти годы никто не сосчитает, потому что люди даже не знают, что на месте Байкала была Долина Молодого Месяца!

Я нагнал Светку, но остальных не было видно, они ушли вперед. Вместе со Светкой мы отстали от всех больше, чем на километр, а последний километр я уже еле полз, отдыхая каждые пятьдесят шагов.

Когда дома отец снял с меня мешок, то я закачался, таким легким показалось мне мое собственное тело без груза. Мама начала ахать по поводу смолы на моем лице, в волосах на голове, на руках, но заставить смыть таким трудом заработанные следы кедрача она не смогла. Я должен был появиться завтра на берегу как равный среди равных, с собственными орехами в кармане, и у меня тоже будет чем похвалиться — две шишки на голове прощупывались определенно, и я боялся, чтобы они за ночь не исчезли.

Я поужинал, и сон мой был как провал в никуда.

Кончался август, и на склонах ущелья где полосами, где пятнами появился желтый цвет. Это перегорал осинник. Зелень берез тоже утратила яркость, природа словно готовилась к переодеванию, к смене наряда. Холоднее стали вечера, но дни еще были жаркими, и, хотя давно прошел Ильин день, после которого нельзя купаться, мы купались до посинения, потому что лишь теперь, к концу августа, кое-как прогрелась вода в Байкале.

На берег я приходил с Другом. Он плавал вместе со мной и лучше меня, хотя я тоже плавал по-собачьи. Он приносил палки, когда я кидал их в воду. Он сидел около моей одежды и ждал меня, когда я играл на воде с мальчишками.

Вообще он был такой умной собакой, что все удивлялись. Все, кроме меня. Они ведь не знали, откуда он. Он никого не кусал, но и не признавал никого из чужих. Если его дразнили, он терпел, если угрожали, он молча показывал клыки. Поселковые собаки, вздыбливаясь загравками, обходили его стороной.

У него был только один недостаток — он не лаял! Он совсем не лаял, точно был глухонемой. Понимая все мои команды, на команду «голос!» он только чуть шевелил хвостом. И еще. Хотя он и играл со мной, и бегал, и прыгал — глаза его оставались всегда грустными, и мне было очень тяжело смотреть в них.

Я ведь больше не ходил на Мертвую скалу. Но это не значит, что я забыл о ней! А всякий раз, заглянув в глаза Друга, я читал в них молчаливый укор в чем-то, словно собака говорила мне: «Как я могу веселиться, играть и вообще испытывать радость, когда ТАМ...» Ну и все прочее!

Мы с Другом иногда ходили в падь и подолгу сидели на камнях у подножья Мертвой скалы. Но чаще забирались на скалу над ближайшим тоннелем. С байкальской стороны она была отвесной. Мы сидели на вершине и смотрели на Байкал. А иногда я громко рассказывал предание, и Друг слушал его внимательно, печально глядя в байкальскую даль. Если я забывал что-то и запинался на слове, он смотрел на меня, словно хотел подсказать, и, когда я вспоминал и продолжал рассказывать, он поддакивал хвостом и снова смотрел в синеву байкальского горизонта.

«Нагнулся богатырь Сибир и вырвал ледяной хребет с корнем! Поднял он его над головой...

Я поднимал над головой большой камень.

— ...посмотрел на север, посмотрел на юг...

Я поворачивался влево или вправо, и Друг тоже смотрел со мной в эти стороны.

— ...на запад посмотрел и на восток! Некуда кинуть хребет! Везде жизнь! Тогда раскрутил он хребет над головой и закинул его в небо!»

Я раскручивал камень и кидал его вверх. Но камень вверх не летел, он лишь подлетал чуть-чуть, а затем падал со скалы в воду, и если не было волн, то сверху я видел, как он медленно опускается в синюю темь глубины.

А когда Байкал штормил, мы просто сидели на скале, глядели на волны и слушали их рокот, и был это не просто рокот, а это теперь волны рассказывали нам свою историю, историю гибели Долины Молодого Месяца.

Наступило первое сентября, и утро этого дня было для меня нерадостным, то есть не было в это утро обычного радостного настроения. Мне казалось, что с началом школьной жизни отодвигается куда-то вдаль все, что связано с Мертвой скалой, все остается в полужанности, в полузавершенности. Школьные будни грозились заслонить для меня тайну Мертвой скалы.

Утром, разбудив меня, покормив и приготовив все необходимое, мама с папой ушли в школу и наказали мне, чтобы я не опоздал на торжественную линейку.

Я собрался быстро и хотел прийти пораньше, чтобы познакомиться с интерна-тскими ребятами.

В двухэтажном здании школа была лишь на первом этаже. На втором был интернат для живущих на полустанках.

Захватив портфель, я вышел на крыльцо. Друг вылез из конуры и поздоровался со мной хвостом и глазами. Я по привычке, машинально, без всякой надежды на успех сказал ему: «Голос!» И он вдруг звонко пролаял мне в ответ! Я не поверил и приказал еще, еще, еще, и Друг лаял столько, сколько я хотел, и глаза его были радостными и веселыми. Мимо проходил Валерка, тоже удивился, и мы втроем так заигрались, залалялись, запыгались, что вовсе забыли про школу. А когда вспомнили, то понеслись бегом! Еще бы! Учительские сынки опоздали на торжественную линейку!

Мы, конечно, опоздали. Линейка прошла, и все уже входили в классы. Валерка влетел первым и успел еще захватить на двоих последнюю парту. Я вбежал за ним... и в дверях класса встал как вкопанный. Закрыл глаза и открыл их и не поверил своим глазам!

На первой парте среднего ряда, в коричневом платице, с голубенькой ленточкой в волосах сидела дочь князя Байколлы, сидела Ри, девочка из Мертвой скалы! Я подскочил к парте и остановился напротив, расплываясь в счастливейшей улыбке. Она взглянула на меня спокойно и немного удивленно и отвернулась. Она не узнала меня! Счастливая улыбка превратилась в идиотскую, и с этой гримасой, ничего не видя перед собой, натываясь на парты и на чьи-то ноги, я прошел между рядами парт и подсел к Валерке, который уже давно махал мне рукой.

«Она здесь!» И сердце трепетало от счастья! «Она не знает меня!» И сердце сжималось в комок, грозясь превратиться в камень!

В класс вошла учительница. Я вставал и садился. И, когда шла переключка, я не только свою фамилию прослушал, но и ту, которую хотел узнать. Когда Ри встала и ответила на вызов, голос ее, такой знакомый, такой необычный (он не изменился!), так странно подействовал на меня, что в горле стало сухо.

Потом нас рассаживали, и я не надеялся оказаться с ней на одной парте и не оказался. Меня посадили со Светкой. Но место было на редкость удачное! Я теперь сидел на третьей парте левого ряда и всегда мог видеть лицо Ри, а она моего взгляда видеть не могла.

Стараясь голосом изобразить небрежность, я спросил у Светки:

— Это кто такая?

— А! Это Римка! Она интернатская с восьмидесятого километра!

Честное слово! Мне захотелось треснуть Светку линейкой по лбу! Думает, если она Светка, то и всех можно собачьими кличками называть! Но имя, что было теперь у дочери Байколлы, огорчило меня, оно было какое-то холодное, чужое, невыразительное, хотя я понимал, что это единственное имя, какое можно было образовать от «Ри». Вот если бы, как было принято в Долине Молодого Месяца, звездочеты дали ей настоящее имя, оно обязательно было бы красивым!

И все же никак невозможно было поверить, что она совсем ничего не помнит. И на первой же перемене я чуть было не подошел к ней, даже подошел к ней, но все же вовремя спохватился и не спросил, как надумал — не помнит ли она меня? Я будто услышал слова Сармы о том, что ей будет больно! Я не спросил, но зато я успел взглянуть ей в глаза. Нет, конечно, они были не такими грустными, как там, в скале, но и сказать, что они были веселыми, — неверно. Всего лишь в ее глазах теперь не было боли. Но печаль осталась, и я, наблюдая за ней всю перемену, ни разу не видел, чтобы она улыбнулась.

Все четыре урока и три перемены я провел как во сне. И после последнего звонка, первым вылетев из класса, за школой в кустах спрятав портфель, бегом кинулся в падь.

Сарма встретила меня улыбкой:

— Ну, ты, кажется, доволен!

Я только глупо улыбался в ответ.

— Несмышлениш! — сказала она. — Все впереди, и ты еще пожалеешь!

Но я не хотел слушать и слышать ничего дурного и без спроса кинулся к камню, закрывающему вход в замок. Я скатился по перилам лестниц и еще издали, через весь зал крикнул Байколле:

— Она здесь, то есть там, у нас!

— Ты видел ее! Она здорова? Она счастлива? — взволнованно спросил Байколла.

Я кивнул головой, хотя относительно счастья надо было бы еще подумать.

— Ты ведь не сделаешь ей больно? Ты будешь беречь ее, да?

Я кивал головой.

— Она должна жить! Она еще не жила! Я теперь спокоен! Ты никому не позволишь ее обидеть?

— Никому!

Пусть попробует ее кто-нибудь обидеть!

Я подошел вплотную к Байколле, коснулся его руки.

— Можно, я буду просить Сарму, чтобы она вас тоже...

Он вздрогнул и перебил меня:

— Этого не нужно! Будь другом моей дочери, и звезды дадут тебе счастье!

Будь другом! Я бы с радостью! Но она меня не знает! Я не стал говорить этого

Байколле; и потом — другом можно быть и тайно, а вовсе не обязательно, чтобы она знала об этом.

Главное — что она здесь, и каждый день я буду видеть ее! Да, в те первые минуты и в первые дни мне действительно казалось, что это главное, что этого достаточно, что я буду счастлив от того, что вижу ее и охраняю.

Однако скоро, может быть, уже через неделю, в радость мою стал заползать крохотный червячок боли. Не знаю, почему так сложилось, но, перезнакомившись со всеми, с ней, с дочерью Байколле, я не мог говорить, просто не мог даже обратиться с чем-либо. Ведь со всеми девчонками мы обходились запросто, не особенно выбирая выражения. Но не мог же я, например, крикнуть ей: «Эй, Римка, кинь книгу!» С ней невозможен был такой тон! А другой тон невозможен был без того, чтобы не вызвать насмешки со стороны мальчишек.

Правда, нужно сказать, мальчишки тоже избегали грубостей по отношению к Ри, потому что она была очень сдержанной, молчаливой, сама никогда и ни в чем не опускалась до легкомысленного.

В начале года, как известно, идет повторение за прошлый год. И когда Ри отвечала и получала за это хорошие оценки, я раздувался от гордости. Ведь это я научил ее всему!

Но я в страхе замирал, когда она затруднялась с ответом. Тогда ее брови поднимались и стягивались кверху, и я знал это ее выражение, я запомнил его, я даже мог заплакать, когда у нее было такое выражение на лице. Да и вообще я знал наизусть каждое движение ее губ, знал жесты и всегда безошибочно угадывал каждое ее состояние и желание.

Я приспособился так сидеть на парте, что всегда мог видеть ее лицо, но и в любой момент мог отвести взгляд на доску, или на дверь, или на учителя.

Но вся беда в том, что мне мало было так смотреть на нее, я хотел видеть ее глаза и прибегал ко всяким хитростям. Когда звенел звонок, я первым вылетал в коридор, а потом, будто что-то вспомнив, поворачивался и снова шел в класс, чтобы встретиться с ней лицом к лицу. И, когда мне это удавалось, в сердце всякий раз случалось что-то непонятное, что бывает на качелях, а если еще и она случайно успевала взглянуть мне в глаза, тогда сердце захватывало, как будто оно захлебывалось волнением.

Случалось на лестнице или на повороте коридора встретиться с ней неожиданно, и тогда уж со мной вообще происходило что-то странное, будто я страх пачкой заглотнул и задохнулся страхом...

Время, что я проводил в школе, было для меня временем жизни. После уроков, когда нужно было уходить домой, время словно застывало, превращаясь в тягучую плазму, и само себя тормозило.

Субботы стали мне ненавистны: в субботу она уезжала домой. Воскресенья превратились в дни бессмысленной жизни, в напрасно прожитое время.

Вечер каждого воскресенья был самым волнующим и тревожным временем недели. Она приезжала, я у окна ждал, когда она пройдет по дороге мимо дома. Она ведь могла и не пройти: могла опоздать на поезд, могла заболеть — мало ли что могло случиться.

А червячок боли между тем рос, рос и стал уже превращаться в маленького змееныша.

Начал я учиться хорошо. Мне казалось, что со стыда сгорю перед Ри, если получу двойку. Но постепенно понял, что ей, собственно, совсем безразлично, пятерку я получу или двойку. И я потерял всякий интерес к учебе.

Хихикать первой начала Светка. Потом другие девчонки. Потом во взглядах мальчишек появилось что-то, что было оскорбительно для меня, но справедливо

Потом еще хуже. Юрка дернул ленточку, что стягивала волосы Ри, и я на следующей перемене отчаянно подрался с ним.

Еще худшее случилось на уроке географии. Прошлый раз учительница рассказывала о происхождении Байкала, о том, что будто бы пятнадцать миллионов лет назад Байкал образовался во время сброса, то есть провала или трещины, ну и так далее. Особенно меня возмутили эти пятнадцать миллионов! Учительница рассказывала так, будто присутствовала, когда все это происходило, как будто она могла себе представить, что такое пятнадцать миллионов лет! Ведь не могла же!

А назавтра она именно меня вызвала к доске. Я стоял и молчал сначала. Она повторила: «Ну, так как же образовался Байкал?»

— Не знаю! — грубо ответил я. — И никто не знает!

— Как же это не знает! — удивилась она. — Я же вам вчера рассказывала, что пятнадцать миллионов лет назад...

— А вы что, считали эти миллионы? — спросил я ехидно. Учительница растерялась. Она была еще молодая, а я раньше никогда не грубил...

— Не я считала, а наука... — сказала она, моргая.

— Наука! — презрительно ответил я.

— Сядь!

Весь класс смотрел на меня удивленно, и Ри тоже, и это было очень обидно, ведь я защищал предание!

Дальше случилось еще хуже! Учительница вызвала Ри и велела ей рассказать о происхождении Байкала.

— Пятнадцать миллионов лет назад... — начала Ри, и я больше выдержать не мог. Я хлопнул два раза крышкой парты и крикнул на весь класс:

— Молчи! Не смей! Молчи!

Побледнев, трясущимися губами учительница велела мне выйти из класса. То есть я совершил неслыханное — сорвал урок!

Ну, что рассказывать о последствиях! Самое грустное — я вовсе не хотел обидеть учительницу, а она решила, что я все это проделал специально, и весь следующий урок проплакала в учительской. Я, конечно, извинился, но не в этом дело...

Единственный, кто понимал меня, это был Друг. На второй учебный день я пришел с ним к школе после занятий и дождался, когда интернатские ребята вышли на улицу. Ри была среди них. Я наклонился к самому уху собаки и сказал:

— Смотри! Вот она! Видишь!

Друг заволновался, замахал хвостом, прося разрешения подойти к ней. Я разрешил. Ри испугалась и спросила:

— Он не кусается?

Я только усмехнулся. Друг встал на задние лапы, положил передние ей на плечи и лизнул в лицо. Я свистнул, помчался прочь, потом начал карабкаться по склону ущелья. Друг догнал меня, и мы долго барахтались с ним в кустах, боролись и гонялись друг за другом по склону горы, а потом, обнявшись, лежали на камне и думали об одном и том же.

А змееныш моей печали рос и превращался в змею. Я не мог жить рядом с дочерью Байколлы и не разговаривать с ней, мне нужно было, чтобы она хоть иногда смотрела на меня, хоть иногда что-нибудь говорила мне, но чем дальше, тем невозможнее было найти предлог для сближения. Генка, мой друг, начал слишком часто брать у нее тетрадь на списывание, как будто ни у кого другого нельзя было списать! А Валерка вообще! Я своими глазами видел, как он послал ей на уроке ботаники записку. Светка же прямую подлость сделала, пустила на меня кличку: «Риммочкин дыхатель».

С другой стороны, все они были не виноваты. Они же ничего не знали и считали, что я как дурак влюблен. Я бы на их месте вел себя так же.

Раза два я лазил на Мертвую скалу и, спасаясь от пристального взгляда Сармы (все чувствует старуха!), просиживал с Байколлой несколько часов, подробно рассказывая ему о дочери.

Но первого октября случилась настоящая беда. В тот день на севере Байкала был сильнейший шторм, и до нас баргузин дошел огромными валами, хотя день был теплый и солнечный, а ветер лишь чуть-чуть.

Со второго урока нас повели на медосмотр в поликлинику, что стояла на самом берегу Байкала. После медосмотра все мы рассыпались по берегу — такие волны бывают не каждый день! Ри стояла на высоком, почти остроконечном камне и тоже смотрела на волны. Она смотрела так, будто вспоминала что-то. Она вся устремилась вперед, губы ее шевелились, а руки, казалось, вот-вот вскинутся навстречу чему-то, что появится впереди или вспомнится... Она была такая красивая в этот момент, что можно было взглянуть и умереть! И я, забыв обо всем, что кругом мальчишки и девчонки, тоже забрался на камень и, кое-как найдя опору ногам на ребрах камня, встал рядом с ней.

Волна с размаху налетала на камень, взлетала вверх по отвесному склону его, но, не дотянувшись до наших ног, опрокидывалась навзничь и словно заглывала сама себя, уже подмятая другой волной, такой же яростной, такой же горбатой. Волны были с коричневым оттенком, а вода мутная, а там, вдали, над самой водой носились рваные черные и серые тучи, раздраживая волны и ускоряя их бег.

На камне было очень мало места, и я стоял, почти касаясь плеча Ри, а волосы ее при малейшем дуновении ветерка мягко били меня по лицу, и я весь дрожал, боясь потерять равновесие. Она даже не заметила, что я стоял рядом. Она так пристально смотрела вперед, так погружена была в свои мысли, что даже если бы я коснулся ее руки, то могла не почувствовать!

Я стоял очень близко и потому только, несмотря на грохот волн, услышал вдруг одно слово, которое она произнесла несколько раз.

— Баргузин! Баргузин! — шептала она, словно вслушиваясь в это слово, будто прислушиваясь к нему. И тут, забыв о предупреждениях Сармы, вообще забыв обо всем, я произнес у нее над ухом это слово так, как оно звучало в Долине Молодого Месяца:

— Баргуззи!

И в ту же секунду волна ударила Ри по ногам, она вскрикнула, покачнулась, ноги ее соскользнули с вершины камня, и она, потеряв равновесие, упала и покати-лась по склону камня к воде. Я успел схватить ее за руку, втащил на камень и увидел ее испуганные глаза и кровь на кисти руки. К нам уже бежали, уже окружили нас, уже учительница, обняв Ри, повела ее в поликлинику, и только тогда, опомнившись, я крикнул кому-то проклятие и, рискуя поломать ноги, помчался по берегу, прыгая с камня на камень. Несколько раз меня настигала волна, но я этого не замечал. Отбежав далеко, за поворот, откуда не виден был поселок, я остановился и закричал громко и истошно:

— Будь все проклято! Будь все проклято!

Я схватил камень и швырнул его на хребет волны. Хребет треснул, проглотил камень и вскинулся на меня пеной.

— Вот тебе! Вот тебе! — кричал я и бил волны камнями. Но волны смеялись надо мной.

Я сел на камень, обхватил лицо руками и шептал: «Гад! Гад!» Я был противен сам себе! Я презирал и ненавидел себя!

— Все! Не могу больше! Не могу! — крикнул я вдруг и помчался назад к поселку еще быстрее, быстрее, чем вообще мог бежать. Я обогнал всех наших возвращающихся в школу, и, кажется, бежал до самой Мертвой скалы. А когда карабкался по ее уступам, лишь приговаривал с каждым шагом:

— Все! Не могу больше! Хватит!

Так и крикнул Сарме, как только увидел ее.

— Все! Хватит!

— Ты сделал ей больно, болтливый недоумок! — крикнула Сарма. — Разве я не предупреждала тебя! Ты не справился со своим языком? Да? Отвечай!

— Не справился! — глотая слезы, ответил я.

— Ты причинил ей большую боль?

— Кровь... — прохныкал я, швыряя носом.

— Ты пролил ее кровь! — ужаснулась Сарма. — Ну что ж, пойди к Байколле, порадуй его, расскажи ему, какой ты есть друг людей Долины! Иди!

Я замотал головой.

— Боишься! Стыдно!

— Я больше не могу! — закричал я сквозь слезы. — Я не хочу больше! Пусть я все забуду!

— Подойди ближе! — сказала Сарма. — Перестань хныкать! Ближе, говорю, подойди!

Она взяла меня за руку и сказала тихо и грустно:

— Ну вот видишь! Я же предупреждала тебя, что будет нелегко, что не по силам окажется для тебя ноша! Ведь ты же взял на себя боль и печаль дочери Байколлы, а я не имела права делать этого, и я исправлю! Ты уйдешь отсюда, и жизнь твоя снова станет счастливой и спокойной!

Я насторожился.

— А Ри? Что будет с ней?

Сарма вздохнула.

— Она вернется в замок к отцу!

— Нет! — закричал я. — Нет!

— Что «нет»? Разве ты не за тем пришел сюда?!

— Так несправедливо!

— Что ты понимаешь в справедливости! — отвечала Сарма устало. — А куда же я дену твою печаль, если освобожу тебя от нее?! Себе, что ли, возьму? Я и от своей сохну! Может быть, ты знаешь, куда ее девать?! Горе, печаль, вина — это все от людей и принадлежит людям! Иди домой!

— Нет!

— Ну, что опять «нет»? Что?

Я вытер глаза рубахой, посмотрел на Сарму и сказал тихо:

— Пусть все будет как было!

Она глядела мне в глаза.

— Поверь, — ну совсем необычный был у нее голос! — поверь, я правда не знаю, куда мне девать печаль! Ее не утопить, не развеять по ветру!

— Пусть все будет как было! — повторил я.

— Тебе будет еще трудней! Или вдруг ты снова причинишь ей боль!

— Нет! Ей больше никогда не будет больно!

— Ну смотри! Сам выбираешь!

— Можно только... я не буду рассказывать Байколле...

— Не нужно! — согласилась она. — Ему достаточно своего!

— Я пойду!

И вдруг она погладила меня по голове, совсем так, как старуха Васина!

На следующий день на первой перемене Ри подошла ко мне.

Рука у ней была забинтована.
— Ты меня спас вчера, спасибо!
— Не за что спасибо говорить! — горько ответил я.
— Ну как же, ты ведь...
— Я не спас тебя, не спас, понимаешь!
— Какой ты...

Она пожала плечами и отошла. А я пулей вылетел из коридора на улицу.

Ночью мне приснился сон, будто я стою с дочерью Байколлы на высокой скале над Байкалом, и она такая красивая, что невозможно... Я стою совсем рядом и вдруг целую ее в щеку. Она вздрагивает и падает со скалы. А кругом прыгают мальчишки и девчонки и кричат: «Целовал! Целовал!» Я кидаю в них камнями и кричу: «Неправда! Неправда!»

И просыпаюсь на этом месте и шепчу еще, как во сне: «Неправда! Я не целовал!»

6

Байкальская осень не успела отгореть всеми красками, как ударил мороз и упал снег. Снег, конечно, растаял, но успел прибить цвет, и он поблек в два дня.

По ущелью носились взад и вперед холодные сквозняки, нагоняя дожди и сырость. А Байкал штормил не переставая. Теперь он уже не бывал голубым даже в ясные дни, теперь он бывал чаще серым, свинцовым, и только когда шел вал култука с пенистыми хребтами, тогда он бывал темно-темно-синим.

Вторая половина байкальской осени — самое грустное время года. Холодные дожди, холодные ветра, суровое и неприветливое море.

По второму разу снег уже не растаял, и это началась зима. Ручей или маленькая речка, что протекала по ущелью, покрылась ледяными заберегами, но что до нее, то не верилось в силу мороза: ведь вода буквально скакала по камням. Однако однажды ночью она отскакала свое и к утру сверкающим льдом замерла в движении, и это было чудо — разве легко представить, что движение можно остановить и заморозить! Но здесь каскады и струи воды застыли в падении и броске, и даже брызги на камнях оледенели крупным жемчугом, а камни покрылись блестящей пленкой. Но речка питалась и подводными ручьями, и скоро лед во многих местах сначала вспучило, а потом ледяные вулканы лопнули, и вода устремилась поверх льда. Лед нарастал сверху, и мальчишки говорили, что к весне он будет местами до полутора метров в толщину. Разве можно верить в такое, если речка нигде не была глубже, чем по колено!

Уже кругом была зима, белый цвет утопил в себе все, кроме зелени елей и кедров на склонах, но и эта зелень была неяркой и вообще не воспринималась, как зелень, а просто как темное на белом.

И лишь Байкал в орнаменте белых заберегов еще сохранял, по крайней мере, в солнечные дни, свою темную синь. Шторма ходили от берега к берегу и вдоль берегов, казалось, что Байкалу холодно и он штормит, чтобы согреться. По отмелям ледяные забереги белыми щупальцами уползали от берега вдаль, но еще были силы у моря противостоять морозу, а у мороза еще не было сил справиться с морем.

У мальчишек началась новая радость — коньки. Коньки веревками прикручивались на валенки, но катались, в воскресенье, например, по целому дню, а какие веревки выдержат! И потому валенок с коньком чуть окунали в воду, а затем некоторое время держали в снегу, и коньки прирастали к валенкам. Ногам было тяжело, зато надежно!

Почти от самой Мертвой скалы до берега Байкала все свободное от домов пространство ущелья покрылось льдом. Мы уходили к самой развилке в падь и оттуда катились вниз иногда без остановки, иногда налетая на трещину, и тогда случалась «куча мала», и этой кучей мы, крутясь и барахтаясь, скользили вниз, потом снова вставали на коньки и вылетали на байкальские забереги.

Еще сколачивали три доски, ставили их на коньки, два сзади и один, рулевой, спереди. Такое устройство называлось рулевушкой. На нее ложились сразу несколько человек и летели по ущелью к Байкалу.

Вечерами и по воскресеньям по всему ущелью гулял ребячий гомон, и это было самое шумное и веселое время в жизни поселка.

Ну, а моя жизнь? Она раздвоилась. Я жил будто сразу в двух жизнях! Одна — это когда я бывал с другими. Другая — когда оставался один.

Нет, конечно, мимо меня не прошла ни одна из радостей наступившей зимы. И я допоздна мотался на коньках по ущелью, и я задыхался от удачного попадания снежка, и я кубарем скатывался с оледеневших промоин на склонах ущелья — и все прочее, чем бывали заполнены свободные от школы часы мальчишек, не миновало меня.

Более того, во всех играх и увлечениях я бывал наиболее азартным, даже одержимым, и мало кто позднее меня возвращался домой с улицы, потому что возвращение домой было для меня возвращением к себе и ко всему тому, что составляло ту, вторую мою жизнь.

Шли дни и недели, и ничто не изменилось в моих отношениях с девочкой из Мертвой скалы. Правильнее сказать, отношений никаких не было.

Она, о ком были все мои мысли, жила своей, мне неизвестной жизнью, и эта жизнь проходила мимо моей, как далекий катер мимо берега без пристани.

Ри все забыла, а я же забыть не мог! Не мог забыть те дни, когда для меня звучал ее голос, когда мы смотрели друг другу в глаза, как смотрят самые хорошие друзья, когда мы все знали друг о друге, и это знание было только для нас!

Будь она обычной девчонкой, как все, я бы и относился к ней просто и легко, я мог написать ей записку и предложить дружбу, как это сделал Валерка. Но я не мог так поступить по многим причинам, и одна из причин заключалась в том, что хоть я и мечтал о дружбе с ней, тем не менее всегда боялся остаться с ней с глазу на глаз даже на минуту. Я ведь не мог смотреть на нее, как на обыкновенную девчонку, она была для меня дочерью Байколлы, и я не был уверен, что словом или намеком, может быть, забывшись, а не специально, не напомины ей о прошлом. Увидеть же слезы на ее глазах еще раз для меня было бы равносильно смерти.

У нас в школе вдруг пошла манера всем со всеми здороваться. То есть я шел в школу и говорил каждому мальчишке и девчонке не как обычно «привет», или просто подножку подставить, или снежком стукнуть, а именно «здравствуй», и даже не «здорово»! Не понимаю, отчего пошла такая мода, ведь нас никто не заставлял! Но мне эта мода принесла ежедневную минуту счастья. Еще с середины дня я уже с нетерпением ожидал следующего утра. Я приходил в школу чуть ли не раньше всех, и если видел ее идущей по коридору с кем-нибудь, то прятался и ждал, чтобы поздороваться с ней один на один. Когда я говорил ей «здравствуй», она обязательно смотрела на меня и тоже говорила «здравствуй», и это единственное слово, но сказанное только для меня, словно давало мне огромные крылья и поднимало в воздух.

И каждое другое утро мне казалось, что сегодня она произнесла это слово лучше, чем вчера, то есть дружественнее или даже сердечнее. Я старался подслушать, как она здоровается с другими мальчишками, и мне казалось, что с другими она здоровается холоднее, и тогда в душе возникала такая сладкая надежда, что жить хотелось сильнее прежнего.

На переменах я никогда не баловался, не носился по коридору, потому что мне было некогда, я, как правило, стоял где-нибудь неподалеку от нее, к ней спиной, но даже спиной, не только ушами, слушал голоса всех, и из всех голосов слышал только ее голос.

Странно, никто не замечал, что у ней совсем особенный голос! Первое время я даже боялся, что кто-нибудь обратит на это внимание и спросит, почему у нее такой необычный голос, и этот вопрос может разбудить в ней какое-нибудь воспоминание и причинит боль.

Сердце мое начинало громко стучать каждый раз, когда я видел ее грустной или задумчивой, потому что мне всякий раз казалось, будто вот-вот она что-то вспомнит, и я даже пытался угадывать, что она может вспомнить, и ловил себя на том опасном желании подсказать, которое однажды уже так плохо кончилось.

Иногда в ее забывчивости мне виделась или чувствовалась измена по отношению к Байколле, ко всему, что было связано с историей Долины Молодого Месяца, и... ко мне! Мысль эта, конечно, была несправедливой, я это понимал, но осудить мысль — не значит избавиться от нее!

Постепенно странным образом стало меняться отношение ко мне со стороны ребят. Когда меня донимали намеками и хихикали, я не обращал внимания, ни с кем не ссорился из-за этого и даже вообще перестал замечать такое.

Но однажды, когда я пришел в кино чуть позже других, Светка крикнула мне, чтобы я шел к ней, что есть место. Но когда я сел, то рядом оказалась Ри, а Светки не оказалось. Какое это было кино, я, конечно, не помню.

Юрка, с которым я когда-то подрался, вдруг сам пошел на мировую и подарил мне отличные веревки для коньков.

Генка, презиравший меня поначалу, однажды на перемене прижал в углу одного мальчишку за то, что тот что-то намекнул в мой адрес.

А классный руководитель наш, Татьяна Ивановна, придя однажды к нам домой в гости, вдруг спросила меня как будто между прочим, не лучше ли было бы мне сесть на первую парту, ну, хотя бы среднего ряда. Они переглянулись с мамой, а я покраснел и отказался. Для меня это было не лучше. Я тогда бы не смог смотреть на Ри во время урока.

Приближались школьные каникулы, и я думал о них с ужасом. Ри должна была уехать на две недели, и я не мог представить себе две недели без нее. И тогда пришла мне в голову отличная мысль. Я несколько дней обдумывал ее и однажды приступил к действию. Я попросил Светку принести в школу какие-нибудь фотографии. Она принесла фото, на котором она стояла рядом с убитым медведем. Фотография две перемены ходила по классу, а на третьей перемене я, собрав все свое мужество, мобилизовав все свои способности к спокойствию, подошел к Ри и небрежным тоном спросил:

— А ты еще никогда не фотографировалась?

Я был уверен, что она не фотографировалась (когда бы ей успеть!), и моя задача заключалась в том, чтобы пробудить в ней желание сфотографироваться. Но она ответила удивленно:

— Почему? Я фотографировалась!

Это несколько озадачило меня. Я готовился к долгой и сложной по замыслу операции, но в ней отпала необходимость. Я растерялся и вдруг сказал каким-то осипшим голосом:

— Привези!

Она посмотрела на меня, опустила глаза и сказала: «Ладно!» До двери класса я дошел нормально, но в коридоре меня зашатало от радости, а ведь была только среда, и как мне было дожить до понедельника!

Я дожил до него. И вместо обычного «здравствуй», в коридоре спросил нервно и торопливо:

— Привезла?

Она открыла дверь, достала дневник, из дневника вынула карточку и подала мне. Я небрежно сунул ее в свой портфель, повернулся и пошел назад к выходу.

На первый урок я не пришел вовсе, и это было неслыханное ЧП, но плевать!

Сейчас я пишу эти строки, смотрю на поблекшую фотографию двенадцатилетней девочки, что на пять лет моложе моей дочери, и никак не могу объяснить ту радостную грусть, что охватывает меня! Годы свои я прожил, да и живу, без натяжки можно сказать, — интересно, но если на минуту представить, что не было в моем детстве всего того, о чем рассказываю, то жизнь моя потеряла бы цвета, то подумалось бы, что я прожил жизнь при пасмурной погоде, ни разу не увидев солнца, что будто исчез бы чистый свет, теплым и грустным лучом сопровождавший меня всю жизнь по непрямым дорогам жизни!

На некоторое время все изменилось. Ри теперь была всегда со мной. Я мог смотреть на нее, сколько хотел. Я мог разговаривать с ней о том, что она забыла, о чем не должна была вспоминать. Я был счастлив.

В ближайшее после того воскресенье я пошел в падь. Снег завалил каменную россыпь перед Мертвой скалой, и пробираться к скале стало много труднее, а лезть на нее, казалось, и думать нечего! Но я полез и потратил времени в пять раз больше обычного.

Сарма была на своем месте. Она сидела, вся укутанная чем-то пушистым и теплым, и руки ее были в большой и тоже пушистой муфте.

Я показал ей фотографию, рассказал о том, как живет Ри среди людей, и Сарма слушала внимательно и долго смотрела на фотографию.

— Люди научились оставлять о себе память на бумаге! — сказала она и покачала головой. — А не разучились ли они оставлять о себе память в сердцах?

Я не знал, что ответить ей.

— Люди стареют и умирают. Зеркало, запечатлевшее мгновение, имеет и цену мгновения, и истина изображения мгновенна в нем. Вечны лишь великие деяния людей! Понимают ли люди разницу вечного и мгновенного?

Я молчал.

— К Байколле не ходи! Не нужно ему видеть этого!

Она вернула мне фотографию, а я взглянул ей в глаза.

— Простите Байколлу! Ну сколько же можно!

— Ты так ничего и не понял! — сказала она сердито. — Я не знаю, как это сделать! Я не умею!

— Да чего ж тут не уметь! — воскликнул я в отчаянии. — Простите — и все!

— Уходи! — приказала она. — Ты все о Байколле да о Байколле! А до меня тебе дела нет! А знаешь ли ты мои страдания, мальчишка? Уходи!

Я все же посидел немного еще, но стал замерзать, здесь, на высоте, дул ветер, не сильный, но холодный. Я побоялся простудиться, потому что вспотел, когда забирался на скалу.

Уходя, подумал, что не скоро приду сюда снова, потому что нет ничего хуже, чем быть бесполезным для тех, кто несчастен.

Шли последние дни декабря. Каждый день после школы я бегал на Байкал. Все говорили, что он должен скоро замерзнуть. Но никак нельзя было в это поверить! Байкал был теперь всегда одного цвета — сине-черный, а от сине-черного цвета до белого, цвета льда — как представить путь?

Не верилось, не хотелось видеть Байкал заледенелым!

Было в этом что-то обидное для Байкала, несправедливое! Но предчувствие подсказывало неизбежность иного состояния, и оно, это другое состояние моря,

уже предвиделось в брызгах волн — были эти брызги холодными и колючими, как осколки льда, и беляки на верхушках волн тоже казались льдинками, оседлавшими черные валы; и особенно ветра и белые туманы над Байкалом, что будто связывали по судьбе остывающее море с землей, уснувшей в холодной белизне.

На той скале, где летом мы часто проводили время с Другом, на одном из уступов, примерно в двух метрах над водой, стояла маленькая елочка. И вот, придя туда однажды, я ахнул. Елка стояла вся разряженная хрустальными бусами и гирляндами. Это декабрьский мороз таким образом распорядился брызгами волн! И все подножье скалы на несколько метров вверх тоже обледенело и сверкало желтым зеркалом, отражающим в себе и волны, и небо, и вершины скалы, нависшей над своим подножеством.

Байкал штормил. Байкал работал. И я пытался уловить смысл этой работы. То ли море боролось с морозом, то ли вдруг в торопливом и угрюмом беге валов виделась непонятная спешка, словно спешил Байкал завершить что-то, что начал да не успел к сроку.

Все другие состояния Байкала мне бывали близки и понятны, но вот озабоченность и хмурость ледяной синевы были почему-то особенно близки и вызывали странное сочувствие.

Каждым утром, выходя на улицу, я первым делом бросал взгляд под мост, в пролетах которого от нашего дома виден был Байкал, и с радостью отмечал, что он еще не сдался, и я махал ему рукой, обещая прибежать после, чтобы подбодрить и просто так поприсутствовать, потому что знаю, как тяжело бывает одному в минуты важных решений и трудных дел. Когда уходил с берега домой, говорил: «Ну, ты давай держись! Главное — до утра продержаться!»

Потом оказалось, я был прав. Именно ночью, какой-то одной ночью Байкал расслаблялся, решался на короткий отдых, и тут сонного его и сковывал мороз. Проснувшись утром под жестким ледяным покрывалом, Байкал, бывало, находил в себе силы разорвать его в клочья и выкинуть на берег. Но слишком много сил уходило на этот подвиг, и следующей ночью, выждав нужный час, мороз уже покрепче закутывал Байкал в ледяной панцирь и утром не ослаблял объятий, а напротив, превращал их в мертвую хватку, и Байкал покорялся.

В тот день, когда Ри должна была уехать на немисливо долгое время, на две недели, в тот последний день уходящего года Байкал был особенно тревожен. Я пришел на станцию задолго до прихода поезда, стоял на берегу и вспоминал вчерашний новогодний вечер. Ри была в костюме ночи, и в ее волосах сверкал серп молодого месяца, и когда я вдруг увидел ее около зеркала, то мне показалось, что в зеркале она смотрит именно на месяц, и я испугался, как бы она не вспомнила чего-нибудь лишнего... Какая она была красивая в этот вечер, разве расскажешь! Мы все играли в «почту». У каждого был на груди номер, а почтальон разносил записки. Я решил и написал: «Ты красивее своей сестры!» Я имел в виду старшую дочь Байколлы Нгару. Ри много рассказывала мне о ее красоте. «А у меня брат. Ему два года!» — ответила мне Ри, и я, чтобы не оказаться в дураках, скорее сорвал с груди номер, может быть, она не узнала, что это я ей написал, но, проходя мимо, она улыбнулась мне, и я от стыда спрятался среди мальчишек.

А сейчас, за несколько минут до подхода поезда, мне было тревожно и грустно, и еще созвучней была тревога в поспешном беге байкальских волн, так что хотелось обратиться к Байкалу, как к живому, по имени и прикоснуться к нему рукой или щекой, словно был я с ним одной породы...

У вагона я подошел к Ри и сказал: «До свидания!» Она протянула мне руку, то есть я впервые коснулся ее руки. С этого момента, с ее прощального взгляда я знал, что ни с чем не сравнимой пыткой будут для меня дни каникул! Но зато после них все будет по-другому. С этим нарастающим предчувствием радости я и провел

все каникулы, если не считать одного события, происшедшего со мной в эти дни, о котором долго помнили, наверное, жители Маритуя.

Однажды утром, выйдя на крыльцо, я почувствовал в природе какую-то перемену, подумав, догадался, что нет обычного сквозняка, нет ветра! А сойдя с крыльца и привычно заглянув под мост, Байкала не увидел, на его месте что-то сверкало, и блестело, и слепило. Когда добежал до берега, то уже застал там мальчишек, кидających камни в тонкую пленку льда, которая рвалась от каждого камня, и в отверстия выплескивалась вода. Лед был без единой ущербинки, гладкий, как зеркало, и этому зеркалу не было конца.

— Завтра кататься будем! — крикнул Валерка. Я не поверил ему. Лед был не толще пальца.

Но следующим утром я уже не увидел ни одного мальчишки на речке и, скатившись по речке на коньках до Байкала, остановился в изумлении. Черными комочками металась мальчишки по Байкалу вдоль берега. Я боялся даже ногой ступить на лед, потому что он просвечивался насквозь, и дно было видно лучше, чем через воду.

Подкатали ребята и затащили меня на лед. Но ужас! Лед прогибался под ногами! Прогибался, но не ломался.

— Не бойся! — крикнул Юрка. — Во держит!

Он сел на лед, поднял ногу и задником конька ударил по льду. В пробитое отверстие выплеснулась вода, а я опрометью кинулся к берегу. Мальчишки валялись по льду и хохотали.

Насупившись, робко перебирая ногами, я снова подкатил к ним.

— Айда! Не боись! — крикнул кто-то, и все стайкой кинулись от берега. Я покотился вслед, стараясь не нажимать особенно на коньки, словно этим уменьшал собственный вес.

Но, как говорится, кому что на роду написано!

Я уже почти освоился, почти перестал бояться непонятной мягкости льда и светящейся глубины под ногами. Я летел вдоль берега, а за мной гнался Валерка. Вдруг впереди я увидел пятно льда светлее обычного и будто чуть вспученного. Я не успел ни испугаться толком, ни отвернуть в сторону и проскочил по нему катом. Проскочив, остановился, обернулся и хотел спросить Валерку, почему такой лед, но тот, выпучив глаза, крикнул что-то невнятное и помчался в обратную сторону.

Я машинально сделал за ним несколько шагов, под ногами у меня захрустело, и сначала ноги мои провалились лишь по голень и на долю секунды застряли будто, но я шевельнулся и тотчас же ушел в воду по уши. Случилось это в метрах ста от берега. На мне были утяжеленные подмораживанием валенки с коньками, тяжелый полушубок и под полушубком немало одежды, ведь я ушел кататься на весь день.

По всем законам я был обречен. Лед, тонкой пленкой лежащий на воде, выдерживал наш вес как бы за счет общего натяжения. Но, провалившись в «пузырь», как назывались подобные места во льду, я не мог забраться на лед, я только ломал его, как тонкое стекло, и мне предстояло ломать его до самого берега, что было невозможно хотя бы потому, что не хватило бы сил на то, не говоря уже о судорогах холода.

Мальчишки откатились к берегу, и это не было предательством. Они знали цену льду, они не смогли бы подойти ко мне и на десять метров. Не могу сказать, что чувствовали они, а я, кажется и как мне помнится, вообще ничего не чувствовал. Я колотил лед обеими руками, барахтался и, кажется, тихо визжал.

Потом и позже, через много лет, когда меня спрашивали, как же я все-таки вылез, чтобы успокоить любопытство, я придумал версию о том, что будто бы, ломая лед, я наткнулся на двойную льдину, она выдержала мой вес и я вскарабкался на нее.

Люди очень не любят непонятного и не хотят знать о непонятном, и вопреки всякой логике они верили этому совершенно нелепому объяснению, не задумываясь о том, откуда на второй день замерзания могла оказаться двойная льдина.

Теперь же я могу рассказать правду. Когда я барахтался и скулил, проломив проход во льду уже метров на восемь, на краю льда передо мной появилась Сарма.

— Ну что ты скулишь, трусишка! — сказала она возмущенно. — Я же говорила тебе, что пока ты живешь на берегах Долины, с тобой ничего не случится! Перестань сейчас же визжать! Слышать противно! Давай руку!

Я протянул ей руку, но ее руки не почувствовал, ее рука словно отодвинулась, я же тянулся и подтягивался за ней.

— Не суетись! — крикнула Сарма сердито. — Заплывай на лед! Заплывай! Не дави лед локтями!

Лед подо мной прогнулся, но не сломался.

— Теперь ползи! Ползи! Не дави локтями! Ногами не дрыгай! Ползи!

Сарма пятилась к берегу, а я полз за ней по льду, кажется, очень долго, пока она не сказала:

— Все! Вставай и беги домой что есть духу!

Мальчишки у берега встретили меня, как покойника с того света. А к берегу уже бежали люди, и впереди всех дядя Сережа, Светкин папа. Он схватил меня, поднял на руки и вместе со мной побежал назад. Их дом был ближе, чем наш, и он притащил меня к себе. Меня раздели, растирали водкой, переодели, укутали, уложили в громадную постель и заставили выпить полстакана водки, от чего я закатился в судороге.

Потом в дом влетела мама, шлепнула меня по тому месту, которое для того предназначено, обнимала, целовала меня, плакала и приговаривала:

— И почему именно он! То под обвал попал, то под лед провалился! Да что же это такое! Сглазил его у меня кто-то, что ли?

Но Сарма верно сказала, я не подцепил даже насморка. Мальчишки приняли Сарму за старуху Васину и рассказывали, как она меня вытащила, и, конечно, врали, потому что все было совсем не так!

Итогом этого происшествия были мои долгие размышления по поводу того, как далеко распространяется моя безопасность, дарованная Сармой! Ведь это открывало передо мной огромные возможности! И я решил совершить проверку этих возможностей.

На правом склоне ущелья, почти над школой, была невысокая скала, метров пятнадцать. Внизу под ней на небольшую площадку намело много снега, и я решил прыгнуть с этой скалы. Этого не сделал бы никто, потому что снег снегом, а высота высотой! Даже в воду с такой высоты не прыгнешь!

Я забрался на скалу, присел на корточки на краю уступа. Отсюда высота казалась еще большей. Если сказать, что было страшно, то это не то слово! Несколько раз поднимался я на ноги, но каждый раз трусливо приседал, и так проторчал на скале около часа. И когда, наконец, спустился с нее, так и не решившись на прыжок, то с грустью и огорчением понял, что подарок Сармы ничего не прибавил к тому, что я могу сделать и сам, и этот вывод надолго испортил мне настроение.

Близится конец моего рассказа, и конец этот, если брать в соображение чувства двенадцатилетнего мальчика, неизбежно печален. Но почему же, вспоминая и рассказывая об этой печали, я словно прикасаюсь к счастью, которого не мог оценить в свое время, но которое и теперь не потеряло своего тепла и света?!

Все каникулы прошли в ожидании перемены в наших отношениях с дочерью Байколлы. Притом я вовсе не представлял себе, что, собственно, должно было измениться, я не знал и не понимал, чего хотел. Пожалуй, я знал только одно — что не хочу и не могу больше быть для нее чужим, я не хотел быть для нее как все. Но

не мог же я не понимать, что настоящая дружба наша возможна только на основе всего того, что связывало нас ранее и что было забыто ею безвозвратно! На что же я тогда надеялся! Кажется, если припомнить, я совсем не думал ни о чем конкретном, я просто вообразил себе, что кончатся каникулы, приедет Ри, и между нами не будет больше невидимой стены чуждости, все образуется само собой, и мы будем так же просто и искренне смотреть в глаза друг другу, как это было в замке, когда Ри рассказывала мне предание, а я учил ее нашим знаниям.

Я встретил ее у поезда, сказал «здравствуй», и она ответила и пошла дальше, и оттого, что ничего не случилось, ничего не изменилось, что мы и теперь, а значит, и навсегда чужие — от сознания этого из меня будто вытряхнулась жизнь.

Значит, все будет снова! Снова я буду подглядывать за ней на уроках, подслушивать на переменах, подкарауливать у поезда — а зачем?! Это ужасное «зачем?», в его безответности, в неразрешимости и в невозможности теперь уже не слышать его и не произносить — оно, как бревно поперек тропы, обрушилось на самый хребет смысла моей жизни!

В школу я ходил теперь, как на муку, на переменах оставался в классе или убегал за школу, после школы часами просиживал над учебниками, но не глядел в них, вечерами уходил с Другом в падь и бродил вокруг Мертвой скалы просто так, не собираясь взбираться на нее. Друг смотрел на меня с тревогой, он пытался разве-селить меня, отвлечь, и я играл с ним скорее ради него, не испытывая, как прежде, удовольствия от игр.

Я прочитал наконец печальную историю про сына последнего из могикан, узнав о его смерти, которую он принял, спасая любимого человека, и в моем воображении одна трагичнее другой разыгрывались истории, где я умирал, спасая Ри. Все истории кончались моей смертью! А ведь еще совсем недавно такие же истории в моей фантазии имели совсем другой конец! Вот как изменился для меня весь мир!

Я стал плохо учиться, и это сразу отразилось на моих отношениях с мамой. Упреки ее не причиняли мне боль, мне было только жаль ее, потому что я ничего не мог изменить.

Я дошел до того, что пробирался в школу вечерами, когда там никого не было, садился на парту Ри и плакал, как последняя девчонка, потому что девчонки часто тоже не знают, отчего плачут.

Случая умереть, спасая Ри, не представлялось. А жить не хотелось. Но не хотелось и умереть просто так. И мои дни проходили в ожидании какого-нибудь события, которое за меня решит мою судьбу.

Таким событием оказался мой день рождения.

Позднее, уже взрослым, я узнал о существовании приметы, согласно которой не рекомендуется отмечать тринадцатый день рождения. Это, наверное, ерунда, но тот день, когда мне исполнилось тринадцать лет, окончился плохо, как и предсказывала примета.

Вечером, как обычно, был торт и подарки, и поздравления от папы и мамы, но в этот же день я снова получил двойку, и мама приняла эту двойку, в такой день, когда уж можно было ее не получить, мама приняла ее, как личную обиду. И потому не смогла за праздничным столом скрыть свои чувства, и весь вечер прошел в какой-то неестественности, хотя папа и сделал все, что мог, чтобы сохранить праздничное настроение.

Мама, однако, не удержалась и сначала мягко начала укорять меня моим поведением, я ответил грубо, мама заплакала, и все испортилось. Под конец мама сказала, что она никогда не думала и не гадала, что ей придется стыдиться собственного сына.

Понятно, ведь я был учительский сын! А она была учительницей!

Я ушел к себе, лег на кровать и в эту минуту понял, что наступил предел моим мукам, что больше я не хочу жить. Нет, я вовсе не собирался проделывать с собой что-нибудь страшное. Я знал другой способ не жить!

Я дождался середины ночи, встал, оделся и вышел на улицу. Ночь была удивительно светлой! Над ущельем в чистом небе висела полная луна, и от нее и от снега было столько света вокруг, что можно было подумать, будто уже рассвет.

Друг вылез из конуры, и я обнял его крепко. Я не хотел брать его с собой, ведь он должен жить, для того Байколла и отдал его мне. Я попрощался с ним и пошел в падь. Кое-где, встревоженные моими шагами, в тишину ночи лаем вырвались собаки, но скоро успокоились. В нашем поселке не было чужих людей, шатающихся по ночам.

Я подошел к школе и стоял, глядя на верхние окна, где был интернат, и особенно на одно окно — это была комната Ри. Я говорил шепотом: «Всё! Больше мы не увидимся, и для тебя это пустяки! А я не жалею, что протянул руку змее, и вообще ни о чем не жалею! Главное — что дочь Байколлы живет! А теперь я могу хоть немного помочь и самому Байколле! До свидания, девочка из Мертвой скалы, то есть прощай!»

Кажется, я говорил много красивее, чем сейчас рассказал, но мне трудно по прошествии стольких лет сохранить и воспроизвести тот трагически-торжественный тон, каким я прощался с дочерью Байколлы. Но уверяю, все это происходило очень искренне, потому что в душе моей тогда действительно не было желания жить.

Я шел в падь, и в ночной тишине снег так громко хрустел под ногами, что я боялся разбудить всех, кто невидимый и неизвестный спал в эту ночь в сугробах, на деревьях и в камнях. Иногда вдруг мне казалось, что это не под моими ногами хрустит снег, что кто-то идет за мной, я резко оборачивался, и хорошо, что была такая светлая ночь! Но вообще страха не было. Да и чего бояться! Хотя после, даже через месяц, когда я вспоминал этот свой ночной поход, меня основательно поеживало.

По засыпанному снегом каменному завалу у подножья Мертвой скалы и по самым уступам я прошел, прополз, пробрался с уверенностью, что со мной ничего не может случиться такого, что не предусмотрено планом моих действий. Оказалось к тому же, что я наизусть знаю каждый шаг, что, пожалуй, даже и в темную ночь забрался бы на скалу, не сделав ни одного неверного шага.

Но как ни светла была ночь, в скальной нише, где обычно сидела Сарма, я ее не увидел, пока не вздрогнул от ее крика.

— Ты что, спятил! Ты же мне на ногу наступил! Не иначе как сдурел мальчишка! Ночью по скале шатается!

— Извините! — сказал я. — Я пришел...

— Ты что, лунатик?! Час от часу не легче! Ах, как он отдал мне ногу, баламутный мальчишка!

— Я пришел насовсем! — сказал я, когда она перестала охать. — Я больше не хочу жить!

— Та-а-ак! — протянула она. — Вот, значит, до чего дело дошло! Значит, познал ты полную меру печали! Что же! Я тебя предупреждала! Но что ты собираешься делать? Ты хочешь все забыть?

— Нет, — поспешно ответил я, — пусть Ри живет, а я не хочу! Я пойду к Байколле и буду там...

— Вот чего! — изумилась Сарма. — Ты хочешь не жить! Но понимаешь ли ты, что это значит?!

Я молчал.

— Нет, я не могу тебя туда пустить, ты просто не соображаешь, о чем говоришь! Ведь ты, если сядешь рядом с Байколлой, забудешь свой мир и всех, кого знал и любил! Из всех чувств твоих тебе останется только печаль небытия...

Я все равно не понимал ее слов, и мне не хотелось их слышать, я хотел только скорее перестать жить.

— Все равно не пойду домой, если не пустите! — прервал Сарму на полуслове.

— Неужели это действительно так! — тихо проговорила она. — Неужели место печали не может быть пустым! Но ведь тогда все, что ты сделал раньше, было напрасным, и, значит, я права!

— Я замерз! Пустите меня к Байколле!

Сарма собиралась рассуждать, а меня тошнило от ее рассуждений.

— Ну что ж! — сказала она. — Иди, а мне надо будет много, много думать!

Ей тоже было невесело, да пусть, как хочет...

— С моей дочерью... с ней что-то случилось? — встревоженно спросил Байколла, увидев меня.

— Нет, нет! — успокоил я его. — Она живет... ей хорошо... Я пришел к вам насовсем!

— Насовсем?

— Я теперь буду с вами!

Я подошел к креслу и хотел тут же сесть в него. Но Байколла остановил меня рукой.

— Мальчик, понимаешь ли ты, что делаешь?!

— Не хочу жить! — крикнул я, потому что кончалось мое терпение, и, поднырнув под его руку, к опустился в кресло Ри.

Ведь как бывает, иногда заснешь на минутку, проснешься, и кажется тебе, что ты спал долго-долго, и будто сон видел длинный с целую ночь, а спал всего одну минуту.

А бывает наоборот. Заснешь, спишь целую ночь, не видишь никаких снов, проснешься, и кажется, будто и не спал вовсе, а лишь задремал на мгновение.

Со мной произошло что-то подобное. Как только я коснулся кресла, сразу стал проваливаться куда-то и лишь успел рукой нащупать руку Байколлы, а голова уже сама опустилась на эту руку. Я не умер, но и не жил, у меня не стало никаких чувств, но я чувствовал себя, и для меня не стало времени, я словно превратился в точку, для которой нет ни времени, ни пространства, и есть только знание о себе. Ничто не свершилось и ничто не происходило в моем сознании, потому что не стало разницы между мгновением и вечностью.

Мне показалось, что я меньше чем через минуту открыл глаза, и потому был чрезвычайно удивлен, увидев перед собой Друга. Ведь я оставил его привязанным к конуре. Друг тянул меня за пальто с кресла, а я никак не мог понять, что происходит.

— Сарма зовет тебя! — сказал Байколла. — Что-то случилось наверху!

Сам подняться с кресла я бы не смог, потому что у меня не было желания встать. Но Друг буквально выдернул меня за пальто с кресла, и сразу жизнь будто включилась в меня или во мне, сразу мысли, еще неясные и бессловесные, затормозили мозг, и все остальные чувства, коих мы не замечаем в себе, привыкнув к ним, проснулись и загомонили, оглушая и ослепляя.

Я понял только, что надо идти наверх, и по тому, как нервничал Друг, я догадался, что идти надо быстрее.

Не было предела моему удивлению, когда, выйдя из пещеры, я был ослеплен солнечным светом. Ведь мне по-прежнему казалось, что я просидел в кресле лишь одно мгновение, а на улице был день, и судя по солнцу, даже вторая его половина.

— Спешите! — крикнула Сарма. — По твоим следам на скалу лезет твой отец. Для него опасен путь наверх, он может сорваться. Спешите, я сама закрою вход!

Только этого мне не хватало! Чтоб из-за меня погиб мой отец! Я опрометью кинулся вниз, и только могущество Сармы спасло меня от дюжины шансов сломать себе шею. Да еще Друг иногда хватал меня за рукав, когда я готовился сделать неверный шаг. Я увидел отца внизу, осторожно пробирающегося по занесенному снегом карнизу, и от страха за него у меня закружилась голова.

— Папа! Папа! — закричал я. — Я иду, не лезь дальше! Я иду!

Но, увидев меня, он замахал руками и наоборот зашел в наверх, и из-под его ног посыпались камни и снег.

Я почти кубарем скатился вниз прямо ему в руки, а он, словно не веря, что это я, говорил отрывисто и хрипло:

— Живой! Сынок! Живой!

А с чего мне было быть мертвым?!

— Ты замерз, да? Замерз? — приговаривал он, ощупывая мое лицо и руки, и я не сразу догадался о причине его тревоги, он ведь думал, что я все это время провел на скале. Конечно, я бы замерз!

Он сжимал меня в объятиях, наверно, думая, что согревает меня, а я вспотел от спуска, и мне хотелось расстегнуться или снять шапку.

Пока мы спускались, он все время держал меня за руку, впрочем, это только ему так казалось, а в действительности это я держал его за руку и предупреждал неверные шаги, я ведь знал, что скрывается на каждом сантиметре спуска под снегом.

Дома были слезы, объятия, поцелуи. Приходила врачиха и долго осматривала меня, и была так же, как и все, удивлена тем, что я вообще не замерз. Я сказал, что разжег костер и просидел все время у костра.

Людям часто нужна вовсе не правда, а лишь маломальское объяснение непонятного. И потому мне поверили, что я спасся костром, и никому не пришло в голову, что на Мертвой скале нет деревьев, кроме сосны на самой вершине, что там не из чего разжечь костер, да и сколько дров понадобилось бы, чтобы в двадцатиградусный мороз на открытой для всех ветров скале просидеть почти сутки!

С этого дня дома ни слова не произносилось по поводу моей учебы. Если я получал двойку, мама говорила, что надо постараться и исправить ее, я старался, получал тройку, и мама была довольна.

Иногда я не находил в себе сил идти в школу, не мог заставить себя и объявлялся больным. С моей болезнью мгновенно соглашались все, и даже на следующий день оставляли дома. Но и дома одному было невыносимо. Возникло вдруг желание увидеть Ри, и я прибежал на второй или третий урок, опять же с трудом досиживая последние минуты занятий.

Присутствие Ри в моей жизни стало оборачиваться для меня настоящей мукой. Я вздрагивал от ее голоса или случайного взгляда, я уже не хотел ни ее голоса, ни взгляда и не мог прожить дня, чтобы не видеть и не слышать ее. За месяцы я не обменялся с ней и десятком фраз, причем я все яснее начинал понимать, что сам выбрал ту глупую линию поведения, которая теперь стала препятствием даже для простых и обычных приятельских отношений. Но изменить что-либо я не мог!

Я потерял интерес ко всем мальчишеским делам и забавам, и постепенно вокруг меня образовалась пустота, которая даже не слишком огорчала.

Из Слюдянки приехал врач, смешной лысый дядька. Он задавал мне дурацкие вопросы, стучал по коленке и водил пальцем около носа. Он был очень глупый человек, потому что сказал, что у меня нервное истощение. Толстым я не был никогда, но и истощаться тоже не собирался!

Они с мамой о чем-то долго шептались на кухне, а мне даже было лень подслушать. Когда же я все-таки подошел к двери, то услышал, как он процокал языком и сказал:

— Вот уж никогда бы не подумал, что такое бывает в тринадцать лет!

— Представьте себе! — грустно ответила мама.

Я догадывался, что они опять говорят обо мне какую-нибудь ерунду, ведь ничего путного они сказать не могли, потому что ничего не знали.

Потом была весна, и я помню ее лишь отдельными цветами и запахами. Помню алые полосы багульника на северном склоне ущелья, помню запах ручьев, кинувшихся в ущелье по всем ложбинам. Помню желтый подснежник в руках Ри и первый день освобожденного Байкала, был он сонным, ленивым и почти бесцветным.

Но более всего я помню свою боль, заслонившую в моей памяти всю мою четырнадцатую весну!

И, когда было объявлено папой, что мы опять уезжаем, я, кажется, принял это с облегчением, хотя и без радости, конечно. Отца назначили директором школы на другую сибирскую станцию, а Сибирь так велика, что, лишь переехав с одного места на другое, не покидая пределов Сибири, можно оставить за спиной такой путь, какой проделать вторично, может быть, не случится и за всю жизнь.

Окончился учебный год, и был день, когда Ри уезжала на все лето домой. Я уже знал, что вижу ее в последний раз, и потому от самой школы до поезда я шел с ней, держа ее за руку, и она не попыталась отнять руки, может быть, тоже предчувствуя расставание навечно, ведь мы все же были одноклассники...

Мне хотелось сказать ей что-то особенное, но это особенное не могло не коснуться истории Мертвой скалы, а говорить всякую ерунду не хотелось. И потому мы шли и молчали. Мы еще ждали поезда и стояли рядом, и никто не подошел и не помешал нам.

У поезда я все же сказал ей:

— Я тебя всегда буду помнить!

Она опустила глаза и не ответила. Ей, наверное, было все равно, буду я ее помнить или нет.

И Друг, что был со мной рядом, тоже подошел и положил ей лапы на плечи, тихо скуля. А она его боялась, и я представляю, как Другу было это обидно. Потом она поднялась на подножку, вошла в тамбур и... все!

Больше я никогда не видел девочку из Мертвой скалы.

Для переезда нам снова дали вагон, и, пока грузились вещи, я побежал проститься со всеми, кого знал и любил в поселке.

С Генкой мы сходили на могилку Белого деда. С Юркой разыскали старуху Васину.

— Ты добрый мальчик, и это хорошо! — сказала она. — Но ты гордый, и это плохо!

Я никогда не считал себя гордым, а если я был гордым, то разве это плохо?

— Гордый человек оттого бывает гордый, что боится людской молвы о нем!

— А я и не боюсь! — гордо возразил я. Она улыбнулась.

— Ну вот и славно! Езжай с Богом!

И я дождался, наконец, когда она погладила меня по голове, и навсегда запомнил ее руку.

Со Светкой и Валеркой мы слезили на гору. Светка утащила у отца горсть пистонов, и мы расстреляли их камнями, а потом спускали камни с горы. Я подарил Валерке «Последнего из могикан», а он мне перочинный ножик с тремя лезвиями.

После обеда я пошел проститься с Сармой и Байколлой и очень боялся этого прощания. Но, взобравшись на несколько первых уступов, с удивлением обнаружил, что на следующий уступ хода нет. От того камня, по которому я обычно лез дальше, остался только темный след на скале. Напрасно я крутился по склону — нигде не было лазейки или прохода, и это означало, что либо Сарма обиделась на мой отъезд, она же все знает (!), либо она из тех людей, кто терпеть не может прощаний.

С полчаса присидел я у подножья Мертвой скалы, а уходя, громко крикнул несколько раз:

— Сарма! Простите Байколлу! Простите Байколлу!

Но только эхо было ответом.

А за час до отправления нашего поезда я прощался с Байкалом. В этот день он был почти таким же, каким я увидел его в первый раз. Он был светло-голубой, спокойный и сверкающий. Только не было тумана, и горы на том берегу виделись ясно и отчетливо.

Я говорил: «Прощай, Байкал!» И пытался уловить ответ в еле заметном движении голубых оттенков по глади озера.

Я говорил: «Прощай навсегда!» Но, похоже, Байкал щурился лукаво, словно не верил в это «навсегда», словно знал обо мне то, что я еще не знал о себе сам.

В тот день прощаний, как ни странно, впервые пришло ко мне внутреннее спокойствие, а грусть расставания была без боли, и я принял это, как предзнаменование новых радостей жизни. Но еще одно горе ожидало меня.

Когда мы все уже были в вагоне, когда вещи уже были расставлены и разложены по-дорожному, подошел, наконец, кондуктор и сказал: «Поехали!» Через несколько минут действительно вагон дернуло, потом еще, и заскрипели колеса, и земля медленно поплыла, оставляя нам движение, а себе покой.

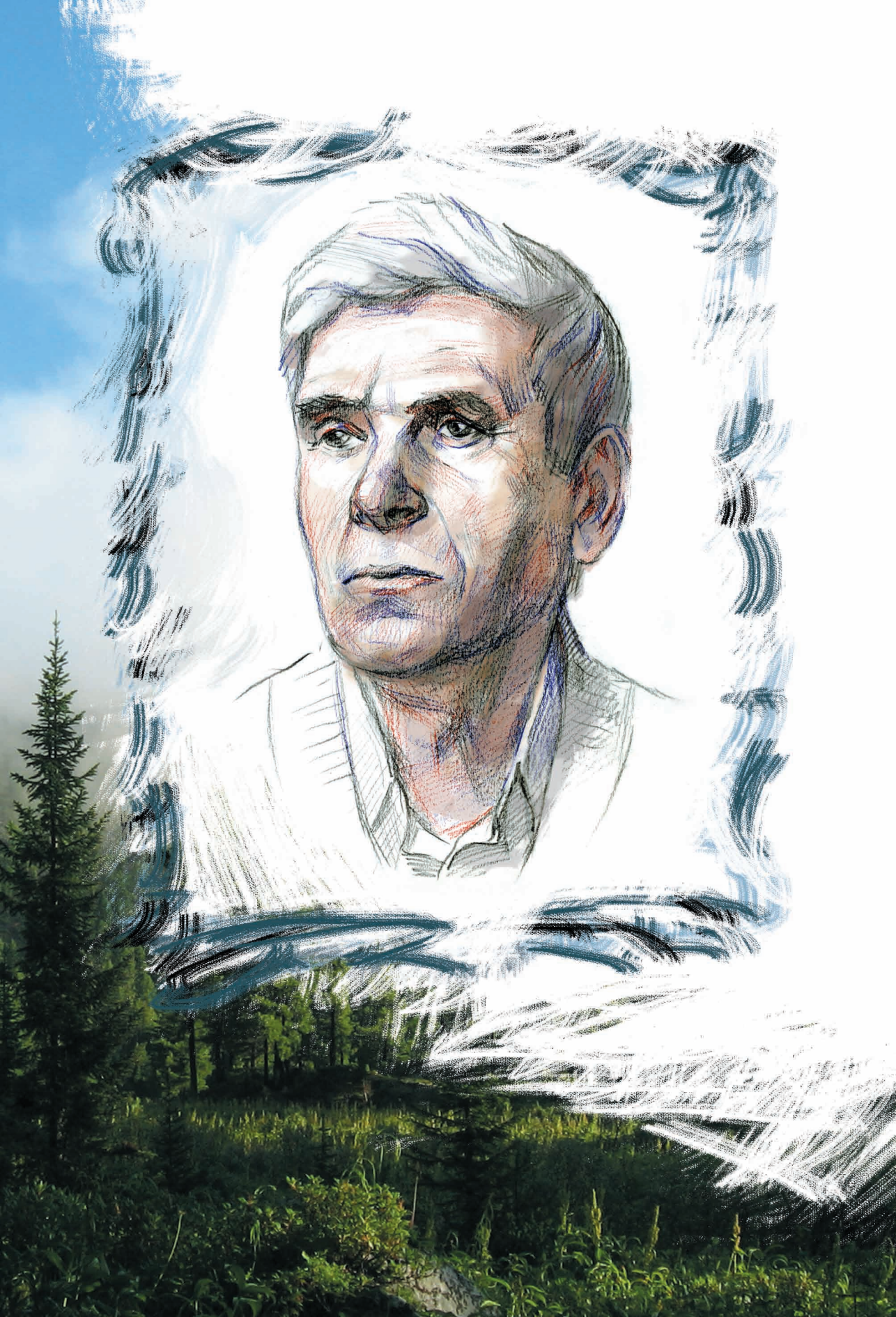
Вдруг, когда поезд еще только начал набирать ход, Друг вскочил на ноги, заскулил, заметался по вагону. Я окликал его, пытался ухватить за ошейник, но он вырвался, подскочил к отцу, лизнул ему руку, потом так же к маме, потом лизнул в лицо меня, громко, отчаянно заскулил и выпрыгнул из вагона. Отец едва успел перехватить меня у самой двери и оттащить в глубину вагона, но я все же успел увидеть, как Друг, прихрамывая, убежал назад, к поселку...

Детство — оно все же есть детство! И на новом месте были новые дела, заботы и радости, и, никогда не забывая обо всем, что случалось со мной на берегах Байкала, я все-таки постепенно начал терять остроту воспоминаний, и лишь если случалось оказаться ночью в новолунье одному, то серп молодого месяца мог надолго вернуть меня к прошлой печали.

Шли годы, и прошли годы.

По-разному сложилась моя жизнь, и если в ней не все всегда удавалось, то это пожалуй, оттого, что я везде, сам того не понимая, ощущал себя временным, и тогда возможно, что вся моя прошлая жизнь была лишь подготовкой к возвращению!

И потому однажды я приеду в Иркутск, сяду в электричку на Слюдянку, займу место слева по ходу поезда, и, когда в разрыве гор откроется для меня страна голубой воды и коричневых скал, я узнаю о себе то самое главное, что должно называться смыслом моей жизни!



ЕВГЕНИЙ
СУВОРОВ

СОВКА

Повесть



*Сова ль моя, совка,
Вдова ль моя, вдовка,
Где ж ты бывала,
Где ж ты летала?*

Из народной песни

1

Утром — этого у меня никак не получалось в городе — поднялся до восхода солнца, в пять часов. Осторожно, чтобы не разбудить жену, оделся, так же осторожно вышел на кухню, по размерам почти не уступавшую большой комнате, где мы спали.

С первого дня, как мы приехали в деревню, я занял кровать отца, стоявшую у окна к дороге, жена — кровать матери, тоже стоявшую у окна, из которого видно крыльцо, угол дома, верх колодезного журавца и высокий лес на той стороне болота. Кровати были совсем старые, односпальные, принесенные с чердака, но стояли на тех же местах. В старом доме не скрипела ни одна половица. Пол плотный, из толстых плах, с глубоким подпольем, и кажется, что ходишь по палубе корабля. И океан в окно виден с гигантскими волнами, только не голубой, не синий, а темно-зеленый — присаянская холмистая тайга.

Открываю широкую осевшую дверь, ведущую в сени, и еще одну дверь, с вранды, легкую, желтоватую, слоистую, все еще пахнущую сосной. Если ее слегка придержать, то она закроется неслышно. И в детстве человек, спускавшийся с крыльца, иногда вызывал во мне странное ощущение: откуда взялся он на крыльце, с неба свалился, что ли? Я, когда был маленьким, да и подростком, дверь не придерживал: мне нравилось, как со звоном ударялась о скобу полусогнутая железная дужка, и как тонкая дверь отвечала ей мягким, спокойным звуком. Для кого-то, может, и пустяк, а для меня с этим коротким, радостно-металлическим, как будто нечаянным, а потом деревянно-гитарным звуком, который был только у нашей двери, связаны многие воспоминания детства! Стоило звякнуть дужке, отозваться двери — и я сразу же что-нибудь видел из прошлого или меня начинало томить что-то случившееся со мной, когда я жил в деревне, но никак не всплывавшее в памяти... Потом, когда отойду от дома или уеду далеко, вспомнится!

Не знаю, дужка ли поржавевшая была виною или то, что наконец-то победил себя и встал в пять утра, как всегда вставали мои отец с матерью, но с крыльца я сошел в самом прекрасном расположении духа и, кажется, никогда не чувствовал себя таким молодым, здоровым, счастливым! Я едва удержался, чтобы не вернуться и не разбудить жену, — пусть и она посмотрит, какое сегодня утро! Я знал: она сначала удивится, куда я так рано поднялся, потом все поймет, обидится, что без нее ушел,

и прикажет, чтобы завтра обязательно ее разбудил. Она будет довольна, что с этого дня я начну вставать рано, — а то все жалуясь, что куда-то уходит время. И еще для того я буду рано вставать, чтобы порадоваться начинающемуся дню.

Не успел я сделать и трех шагов, как мне вспомнились слова частушки, слышанной еще в детстве:

*Новый дом, новый дом,
Новое крылечко,
Как взгляну на этот дом —
Заболит сердечко...*

Боже мой, да что такое новое крылечко в сравнении со старым, родительским?

Выйдя через открытые покосившиеся ворота на огород, пустующий уже четвертое лето, оглядываюсь на крепкое, просторное и уютное крыльцо, на котором мы, придя из лесу, разбираем грибы, готовим ужин, наблюдаем за воробьями, отвыкшими от людей и свившими гнездо за обшивкой дома чуть не у самой земли; за вороной, издали наблюдавшей за нами; за ястребом, который однажды, когда мы под вечер сидели на крыльце, пролетел так близко и, повернув голову в нашу сторону, так глубоко заглянул нам в глаза; и таким загадочным показался его взгляд, таким острым, — он, наверное, хотел понять, кто мы такие, зачем здесь сидим, когда хозяева уехали. В его близком, медленном полете, величаво распластанных крыльях, поблескивающих золотым опереньем, в повороте головы были уверенность, интерес к нам, но больше всего — пренебрежение. Он давно к нам приглядывался, как и мы к нему, и наконец-то решился пойти на сближение. А может, не видел нас, скрытых высоким забором, на котором к тому же были развешаны одеяла, и с удивлением обнаружил сидящими на крыльце? И все же вернее было первое: он смело приблизился к нам и гордо пролетел мимо. Он так и летел над домами, в которых не было людей, — так же как не было в оградах и на выгоне ни кур, ни гусей, ни уток...

Мы не переставали восторгаться его пренебрежением к нам. Оно было, потому что от его внимательного, как будто отравленного взгляда мне в первый миг стало не по себе. Жена тоже смутилась. И только потом, когда он скрылся, мы восторгались ястребом. Он как будто задал нам какую-то загадку и улетел.

...Высоченная крапива коснулась моей руки, но не обожгла, а только напомнила о себе — как будто для того, чтобы я ее не трогал. Я выкосил крапиву под окнами, а эта пусть царствует! На земле, на бревнах, на дощатом заборе темные, влажные пятна, роса такая обильная, что кажется: уж не было ли ночью дождя? С черемухового куста раздается посвистывание птиц, такое же чистое, как утренний воздух! Бросив заросли конопли, с веселым шумом на куст черемухи перелетела стая воробьев. Им нет дела, что деревня исчезает. Их прадедушки и прабабушки еще знали хозяев, а это новые воробьи, они отвыкли от людей, и старики воробьи пытаются внушить младшим, что человек для них друг. Где это было видано, чтобы воробей пренебрегал хлебом, который появлялся на столбах и возле гнезда?! Но что же делать, если с детства они приучены папой и мамой к разным букашкам, червячкам, которых здесь множество! Ешь — не хочу! Старые воробьихи помирают от смеха: вот уж молодежь, не подскажи, совсем разучатся — вьют гнезда так низко, что любой пацан с земли достанет до гнезда рукой! Пошутят они, пошутят, а что сделаешь: молодой народ упрямый, пока сам не хлебнет лиха, не научишь!

Рядом с летней кухней-сарайчиком как будто заново вижу разросшийся куст желтой акации, привезенный из райцентра и посаженный моим младшим братом

Володей. Брат уехал, и акация больше, чем дикая яблоня, лоза и черемуха, кажется брошенной, посаженной напрасно. Ее тонкие нежные стебли, касающиеся середины высокого забора, вздрагивают, слабо шелестят листьями, мигают желтыми огоньками поздних цветов и, мне чудится, просят увезти ее отсюда. Я подхожу к ней, слегка трогаю за ветви — и на меня обрушивается прохладный, пахучий росной дождь...

Оглядываюсь на лозовый куст, выросший сам по себе в старом приамбарке с разобранный крышей, где когда-то хранились дедовы лозовые прутья. Солнца там не хватает, куст долго рос, никому не видный, пока кто-то из Володиных детей или его жена Нина нечаянно туда не заглянули и не удивились: надо же, в доме выросла лоза! Куст, охраняемый от дурного глаза ветхими стенами приамбарка и закрытыми воротами возле старой избы, поднялся теперь выше стен, и странно видеть с улицы, из ограды или с огорода его весело зеленеющую пушистую вершину. На маленький кустик лозы, поднимавшийся в правом углу приамбарка, Нина сначала посматривала с интересом, а потом, по совету бабки Аксины, хотела его выдернуть: очень уж он смущал своим появлением не где-нибудь, а в приамбарке. Но мой брат строго-настрого запретил ей это делать: раз появился, пусть растет! Наш дедушка всю жизнь плел короба и корзины, которыми пользовалась вся округа, и лоза выросла в его честь — так казалось Володе, да и мне тоже.

Одет я для такого утра хорошо: на мне светло-зеленая штормовка с красно-голубым изображением Братской ГЭС на рукаве; складной нож и широкий, тоже с разноцветной картинкой, целлофановый пакет для грибов с вечера лежат в кармане. На ногах новенькие, пропитанные дегтем кирзовые сапоги, в которых ни дождь, ни роса не страшны, и они сами несут меня по нашему огороду, заросшему старым клевером и сочным пыреем, и вдоль неровного тына и рухнувшего кое-где прясла, охраняемого гигантскими зарослями крапивы, конопли и бурьяна. Спускаюсь под горку, где раньше были колодец с баней, иду через бывшие приусадебные покосы к старому руслу Тагинки, потом вдоль болота к стлани и — в лес. Скорее, скорее!

Куда я тороплюсь? Чему радуюсь?

Я тороплюсь к воспоминаниям. Заранее радуюсь встрече с ними...

2

Один раз я принес с покоса небольшой букет лесных цветов, почти весь из кукушкиных сапожек. Мне в особенности было непонятно, как вырастают именно эти цветы, почему они так называются, и я надеялся обрадовать отца с матерью, когда прошел с букетом по огороду, поднялся на крыльцо, нашел маленький-премаленький кувшин, налил в него утренней колодезной воды и поставил в большой комнате на круглом столике рядом с патефоном.

— Чему тут радоваться? — сказал отец. — Росли цветы, никому не мешали, а ты взял и сорвал... На лесные цветы лучше всего смотреть в лесу...

Начинавшийся разговор о цветах показался бесконечным, и мы, чтобы не заходить слишком далеко, уступили друг другу — сошлись на том, что и отец прав, и я прав. У меня была возможность выпорить, обратившись к матери за поддержкой, она — я знал — взяла бы мою сторону, но я сразу же отказался от запрещенного приема, тем более что я им уже не пользовался с четырнадцати лет — с того самого дня, как уехал в город. Я, помню, удивился, как быстро пролетело время, — мне уже было двадцать восемь! Не всех я хорошо знал в своей деревне, а в некоторых домах так ни разу и не был, — и эти дома, и люди, которые жили в них, сделались для меня еще более загадочными, и я при каждом удобном случае что-нибудь спрашивал о

них. Мои родители знали всех взрослых жителей даже из соседних деревень, про некоторых рассказывали целые истории, причем одна и та же история могла рассказываться несколько раз. Конечно, должно было пройти какое-то время, чтобы история подзабылась... И всякий раз я слушал как будто бы впервые и никак не мог понять, в чем тут дело: или я многое забывал, или родители мои с каждым разом добавляли что-нибудь новое?

И в этот приезд я ждал если не новой истории, то хотя бы старой, рассказанной заново... К этому все располагало: и то, что я долго не был дома, и то, что лето было хорошее — картофельные кусты вымахали чуть не в пояс! — и то, что родители посматривали на меня так, будто не узнавали, — видно, я здорово изменился! Да и разговор о цветах остался все ж таки незаконченным. А уж я знал: отец не любил останавливаться на полдороге, если начал какую-то мысль, то обязательно закончит.

— Послушай, — чувствуя, что я тоже не сплю, среди ночи заговорил отец, — я тебе не рассказывал, что на Бадонках случилось?

Со словами, что слышал эту историю, но очень давно, я повернулся от окна, разглядел белешую в темноте никелированную спинку кровати, на которой спал отец, и приготовился слушать. Ночь была темная — давно собирался пойти дождь, — и вот уже огромные редкие капли ударяют по крыше и стеклам. Отец, видно, прислушался к начинавшемуся дождю, и до меня снова донесся его певучий негромкий голос. Разбудить мать, спавшую на широкой русской печи, он не боялся: она так уставала за день на колхозной работе, что засыпала сразу же, как только касалась головой подушки, и отец всегда восхищался ее способностью не только мгновенно засыпать, но и не просыпаться, хоть пали около нее из пушек. А утром вставала раньше всех, затапливала печь, успевала переделать, пока мы спим, десятки мелких дел, которых, как нам потом казалось, и не было. Как будто само собой все в избе было чисто, от печи вкусно пахло, и я, когда был помладше, верил, что ей помогает домовая.

Бадонки находились рядом, но в соседнем районе, прямой дороги туда не было, и, наверное, по этой причине казалось, что они далеко. Отец еще со вчерашнего дня примерялся к этой истории, но что-то ему мешало, и вот сейчас, под шум дождя, начал рассказывать.

Я живо представил деревню, на горке, около речки, в одну длинную улицу, последние дома маленькие и, как у нас, скрыты лесом, стеной стоящим возле широкого болота. В ясный день хорошо видны изумрудно-белые вершины Саянских гор... Кажется, что Саяны рядом, за лесом, хочется сейчас же пойти к ним. Но до гор далеко.

— Все правильно, — согласился отец, — кроме одного: последний дом большой, под железной крышей, в ограде березы, сосны, беседка, скамейки...

В первый раз, когда я слушал, этого дома не было...

Каждое утро пастух с подпаском гонят по деревне коров, а за воротами дома, окруженного березами и соснами, стоит девочка лет двенадцати и, прикрывшись ладошкой от солнца, смотрит, как скрывается в лесу растянувшееся по дороге стадо. Цветком ромашки виднеется среди пожелтевшей болотной осоки белый платочек.

Что заставляет девочку долго стоять у ворот и не слышать, как зовут отец или мать?

Может, виноват рожок, под звуки которого она, еще не проснувшись, выбегает на улицу? Обхватив тонкими длинными руками свои худенькие плечи, девочка съезживается от утренней прохлады, окончательно просыпается, широко открывает глаза, и в них отражается весь мир, который она видит перед собой. Девочка завидует пастухам, что они гоняют коров куда-то далеко, — там, она слышала, есть другая речка и много смородины... Ей нравится стоять около дома и радоваться утренним



и уже горячим лучам солнца, таинственным звукам рожка, на котором играет подпасок, соседский мальчик.

Стадо с пастухами скрылось, перестал играть рожок, белая пыль вот-вот уляжется, а девочка стоит, не отнимая от лица ладошки. До ее слуха все еще доносится из леса звон двух или трех колокольчиков...

От задымленных кучевых облаков, отдыхающих на вершинах деревьев, исходит легкая, едва уловимая тревога... В одном месте, ближе к югу, кучевое облако с вытянутой рукой поднялось выше, но кто-то гигантской кистью провел над ним две узкие, длинные лиловые полосы — вытянутая рука облака в белом рукаве стала исчезать...

«Сонька, — скажут ей отец или мать, — ты что, коров не видела, стоишь?»

«А я не на коров смотрю...»

«А куда? На небо?»

«Может, на небо», — соглашается она, так и продолжая стоять не шелохнувшись.

«Ой, Сонька, не засматривайся на облака да на туманы, а то печалиться будешь»

«О чем я буду печалиться?»

«Нельзя так долго смотреть неизвестно на что, лучше с маленьким ведерком за водой сбегай!»

«Да тише, тише вы...»

«А что такое?»

«Ну неужели вы не слышите?»

Отец с матерью посмотрят друг на друга, потом — на Соньку: что с ней?

«Колокольчики...» — приподнимаясь на носки, готовая взлететь, шепчет Сонька.

«Цветы, что ли?» — спросят отец с матерью, не понимая, что творится с девочкой.

«Да нет, звенят... вот сейчас...»

«Эка невидаль! Они и завтра будут... И вечером... Это чтоб коровы не потерялись!»

Отец с матерью махнут на девочку рукой: пусть стоит, если ей нравится!

Привыкли они и к тому, что Федя-пастушок, когда возвращается из лесу, приносит ей букетик лесных цветов. Девчонка, как и утром, стоит в вечерних лучах за воротами или висит на заборе, и не поймешь, чего она больше ждет — корову из стада, чтобы открыть ей ворота, или букетик. «Настоящая совка! — соглашаются отец с матерью. — Не зря ее так зовут...» Распахнет зеленые глаза, приподнимется на носки — и кажется, что вот сейчас полетит над дорогой, речкой, лесом, полями...

Ловлю себя на том, что с нетерпением жду «веселенького» места в отцовском рассказе, из-за которого все и началось. И тут я не понравился себе вот за что: во мне остается — и ничем его не вытравить! — интерес к острым зрелищам, меня так и тянет к какому-нибудь происшествию; и уж если я оказываюсь зрителем этого происшествия, то почему-то непременно хочется быть здесь первым... Я понимаю, что это нехорошо, но ничего не могу с собой поделать.

Вот и сейчас я попросил отца, чтобы он сразу же перешел к неприятнейшему эпизоду с цветами, который, наверно, никогда не исчезнет из моей памяти. Отец все-таки рассказывал подряд.

Порывы дождя заглушали слова, и тогда до меня доносился только голос, но я по голосу чувствовал, как лицо отца улыбается, делается восторженным. И вдруг подумал, что ничего не знаю о его жизни до моего рождения. Я всегда старался рас-

спрашивать только о себе: любой пустяк из моего детства приводил меня в восторг, о себе я мог слушать бесконечно! И я пожалел, что пропустил подробности из его неторопливого рассказа, потому что он наверняка что-нибудь вспоминал из своей жизни, — ведь всегда же мы, рассказывая о других, привносим что-нибудь от себя! Вот почему происшедшее с другими кажется происшедшим в какой-то мере с нами! А у меня даже и так бывало: что-нибудь случится с кем-нибудь, мне понравится, и я через какое-то время как будто нечаянно подумаю или скажу, что это со мной было....

3

Если бы не эта страшная война, то все, наверное, оставалось по-прежнему. А тут ни Совка, ни Федя не заметили, как выросли.

Федя перестал приносить ей букетики, и сразу, должно быть, потускнел в ее глазах. Когда он спохватился, было поздно: Совку стал провожать с вечерки другой парень. Дело было не в одних цветах: тот, другой парень из прицеппчиков перешел в трактористы, а Федя все продолжал пасти коров. Если говорить точнее, то он забыл про букетики в тот день, когда увидел Совку на колесном тракторе вместе с Витей Корольковым. Трактор, сверкая железными шипами, бешено мчался по дороге, стреляя в дома кольцами дыма. Совкины волосы развевались по ветру, ее опьянили грохот и дрожание трактора, запах горючего, и она не замечала ни Феде, стоявшего на обочине дороги, ни испуганных коров, ни бегущей навстречу улицы...

Летом, когда под Сталинградом готовился знаменитый котел, на Бадонках произошли новые изменения: старика Игната Редчанкова, белобородого, румянощекого, очень похожего на Деда Мороза, поставили полеводческим бригадиром, а его сына Федею из подпасков перевели в пастухи. В помощниках у Феде оказался молоденький лейтенант, два месяца пролежавший в подольском госпитале после тяжелой контузии. Вырос лейтенант в городе, а в деревне пожить ему посоветовал госпитальный врач. С виду лейтенант казался вполне здоровым, только плохо говорил и, может быть, из-за этого немного дичился людей. Он обычно слушал, не отвечая, сильно хмурился, темнел лицом, синие глаза делались еще более синими, как будто он вспоминал что-то и никак не мог вспомнить. Слух у него восстанавливался плохо, и, чтобы обратиться к нему, надо было дотронуться до него или поймать его взгляд. Вел себя лейтенант странно: он отказался от должности пастуха, а согласился быть Фединым помощником. У Феде не укладывалось в голове: как он, не слышавший ни одного боевого выстрела, не видевший ни одного живого немца, будет командовать лейтенантом, дважды горевшим в танке? И он старался во всем ему подчиняться, мгновенно исполнял любую его просьбу. Федя только числился главным, а на самом деле он, по своей воле, продолжал оставаться подпаском. Лейтенант был всего на три года старше Феде, но Федя уважал его больше, чем кого бы то ни было в деревне, и нередко обращался к нему по-военному. Они быстро подружились.

Лейтенант любил облачные, пасмурные дни, дождю радовался больше, чем солнцу, и Федя не мог понять этого. Подражая лейтенанту, он тоже пытался полюбить такие дни, но у него ничего не выходило.

— Разве хорошо пасти по дождю? — как-то в солнечный день спросил он лейтенанта.

— Хорошо, — после некоторого молчания ответил тот.

— По мокрой траве?!

— Да, по мокрой.

Федя задумался. Днем все было обычно, но он не узнавал лейтенанта, когда в ясную погоду всходило солнце, и вечером, когда солнце закатывалось, обещая хороший день. Бывало, так набегаются за коровами, что Федя где стоит, там и упадет. Отдыхают они на траве или на колодине, чаще всего около речки, и вдруг Федя обнаруживает, что лейтенант опять сидит спиной к закату. Поначалу он не придавал этому значения, но однажды сказал:

— К солнцу сидеть лицом куда интереснее! Я всегда так сижу. Веселее же.

Лейтенант внимательно посмотрел на Федю, посерьезнел, потом натянуто засмеялся, махнул рукой: пустяки, мол, не обращай внимания.

Один раз непонятным своим поведением лейтенант до смерти напугал Федю.

Пасли они коров недалеко от деревни. Место, конечно, красивое, но хлопотное: смотри и смотри, чтобы коровы в пшеницу не зашли! День был на редкость душный и жаркий, багровое солнце клонилось к вечеру, и вдруг что-то стало делаться с небом: полосы света — красные, голубые, зеленые, а у самого горизонта синие и черные — стали пронизывать небо, находили одна на другую, исчезали и снова появлялись, напоминая перекрещенные опрокинутые прожектора. Федя с изумлением смотрел на необычный, грозный закат, захвативший полнеба. И чем ярче горело небо, тем жесточее, казалось ему, шла война за Сталинград. Закат виделся совсем близко, за лесом, в котором они пасли коров, и, наверное, поэтому Феде казалось, что война рядом. Оглянувшись, он увидел лейтенанта, бегущего от заката по кочкам, по кустам, по грязи, только брызги разлетаются — как будто под ногами у него снаряды или бомбы рвутся! У Феде дух захватило, когда он подумал об этом. Пятна красно-бурых коров, разбросанные по зеленой лощине, показались ему горящими вражескими танками...

Федя не мог понять, куда и зачем бежит лейтенант. Может, он догоняет зверька или раненую птицу?

Федя кинулся за лейтенантом. Но, как он ни старался бежать, ловко перепрыгивая через кочки и зеленые лужи, расстояние между ними не сокращалось.

Около леса лейтенант споткнулся обо что-то, рухнул и остался лежать лицом к земле, закрыв голову руками. Федя упал рядом с ним.

— Живой? — крикнул он, будто они находились под бомбежкой или артобстрелом.

Лейтенант слабо пошевелился.

— Живой, — обрадованно сказал Федя.

Он ждал, когда лейтенант поднимется, но тот что-то не торопился, Федя стал тормошить его, сначала потихоньку, а потом сильнее.

Лейтенант, все еще тяжело дыша и морщась от боли, сел на траву около низко спиленного пня (об него-то он и споткнулся) и стал счищать грязь с одежды.

— Зашибся? — спросил Федя.

Лейтенант вяло махнул рукой: мол, ерунда, мне плохо не из-за этого. У Феде отлегло от сердца: глаза у лейтенанта целы, только на щеке небольшая царапина, из нее сочилась кровь.

Федя огляделся, сорвал длинный бархатистый лист, подал лейтенанту:

— Приложишь, и все за минуту пройдет.

— В-видал... как м-меня з-заносит, — к великому огорчению Феде, сильно заикаясь, сказал лейтенант. — Мне, з-знаешь, где с-сейчас... н-надо быть?

— Не маленький, знаю, — сказал Федя, всем сердцем жалея лейтенанта.

— Ты про то, к-как я хорошо... б-бегаю, никому ни с-слова, — попросил лейтенант.

— Само собой, — понимающе сказал Федя. — Подумаешь, за месяц один раз хмурилась, — подбодрил он лейтенанта, — Меня тоже от этих коров, от жары да

от слепней мутит. Я сам сегодня чуть сознание не потерял.

Лейтенант глянул в сторону заката, схватился за голову, требуя, чтобы и Федя оглянулся. Впервые Федя не подчинился:

— Да ну его, закат этот...

— Да н-не з-закат... — Лейтенант сморщился от нового приступа боли. — Коровы где?

— Пасутся в пшенице.

— Так беги.

— Теперь-то побегу, — обреченно сказал Федя, — теперь-то конечно... — А сам продолжал стоять: ему показалось, что лейтенанту опять плохо.

Закат все еще был ярким и грозным.

Коровы, целое лето ждавшие, когда же промахнется пастух, зашли на середину пшеничного поля и торопливо, с оглядкой хватали серебристые, а кой-где еще темно-зеленые сладкие колосья. Окрики не действовали, чуть не каждую руками приходилось сталкивать с места. Бич, одного хлопка которого хватало в лесу или в деревне, перестал на них действовать. Феде пришлось поработать и за себя, и за лейтенанта.

— Кончилась моя спокойная жизнь, — сказал Федя, обращаясь только к себе и подчеркивая этим, что лейтенант здесь ни при чем, и, как старик, тяжело опустился на траву возле розово цветущего дягиля. Над длинными метелками цветов по-хозяйски жужжал огромный шмель, но Федя только один раз кое-как взглянул на него.

— Не унывай, — сказал лейтенант, снимая выцветшую гимнастерку и развешивая ее на кустах. Была она мокрая, хоть выжми, и даже на вид соленая.

Федя кивнул на коров:

— Им только один раз в потраву зайти... Они нам дадут прикурить...

Теперь лейтенант, как мог, успокаивал своего напарника, не по годам сметливого и наблюдательного,

— Не переживай... Отвечать... б-будем... в-вместе... В-вдвоем...

— Не выйдет, — сказал Федя.

— Почему?

— А вот увидишь.

— А что тут в-видеть: в-вместе значит в-вместе.

Федя крутнул головой: нет.

Лейтенант ничего не понял. Он только что, остановившись на меже, осмотрел поле и не заметил почти никаких следов потравы — пшеница, как живая, на глазах распрямлялась...

Чтобы Федя сильно не переживал, лейтенант сказал ему, что никто ничего не видел, а если бы и увидел, то в потраву зашли не чьи-нибудь, а колхозные коровы, и что не Федя Редчанков во всем виноват, а он, лейтенант. Ему и отвечать.

— Ты раньше жил в деревне? — спросил Федя.

— Нет.

— Оно и видно.

— А что такое?

— Уж если коровы зашли в потраву, то об этом обязательно узнают. Как пить дать!

Пастухи сидели, отвернувшись от заката, как будто не хотели смотреть на ходившее волнами поле, где только что побывали коровы.

Чтобы как-то растормошить Федю, лейтенант протянул ему свою выдавшую виды пилотку.

— Ну-ка н-надень!

Федя медленно, как перед зеркалом, надел пилотку, сдвинул ее немного вправо и набок — и сразу же забыл обо всех своих печалях.

— Ну, вот, — сказал лейтенант, видя, как Федино лицо расплылось в улыбке, и потянулся к полевой сумке, в которой носил теперь обед и где хранилось маленькое двустороннее зеркальце: купил в Подольске, выписавшись из госпиталя, но так и не успел никому подарить.

Федя замахал руками:

— Не надо. Я и так знаю: пилотка мне во как идет! Лучше всех в деревне!

Он с сожалением снял ее и подал лейтенанту. Тому понравилось и Федино хвастовство, и то, как бережно держал он пилотку, и как не хотел расстаться с нею.

Надев бич на руку, Федя быстро пошел в другой конец лощины, чтобы отогнать коров подальше от поля. Резкие хлопки бича, которыми он издали пугал коров, были похожи на одиночные выстрелы, лесное эхо усиливало их и разносило далеко по окрестности. Смирившись с тем, что больше промашки у пастухов не будет, стадо успокоилось и мирно паслось около леса, и только самые блудливые высоко поднимали голову и смотрели в сторону поля. Видели они грозно шагающего с бичом Федю и с неохотой срывали пучки бледно-зеленой травы, не идущей ни в какое сравнение с молодыми пшеничными колосьями.

Лейтенант, преодолевая слабость, отогнал к лесу оставшихся коров, но, видно, поторопился — надо было еще немного посидеть, прийти в себя... Преодолевая головокружение, какую-то непонятную тяжелую тоску и начинающуюся рябь в глазах — будто стая незнакомых птиц с узкими черными крыльями бесшумно летала перед ним и никак не могла улететь, — он схватился на косогоре за ветви густой молоденькой березки, постоял, делая глубокие вздохи, и ни за что не хотел открывать глаза. Потом сидел в тени, привалясь к березке и запрокинув голову, струйки пота катились по лицу, и он не вытирал их. Медленно, с усилием, вытянул перед собой правую руку, отодвигая нахлынувшее видение: как во время последнего боя в излучине Дона, когда снарядом остановило его танк и в глазах замелькали такие же, как сейчас, незнакомые птицы с узкими крыльями...

Закат потускнел, и ему стало легче.

Он увидел Федю, шагавшего вдоль хлебного поля, вспомнил: завтра в деревне свадьба. Совка, или, как ее несколько раз при нем называли, «Федина невеста», выходит замуж. И впервые после госпиталя подумал:

«Прошло столько времени, а я так и не проводил никого с вечерки... Даже не поговорил ни с одной...» Но что делать, если и в хорошие для лейтенанта дни, то есть в пасмурные, когда с ним ничего не случалось, он не мог выспаться, а когда засыпал, то сразу же видел, как горит в танке. Вставал с тяжелой головой, без всякой радости смотрел на пробивающиеся к нему лучи солнца и, осторожничая и стыдясь своей осторожности, спускался по крутой лестнице с чердака. О том, что он спит на чердаке, было всем известно. Известно было и то, что ни одна из жительниц Баденок ночью или перед утром не спускалась от него по лестнице украдкой. С одной стороны, авторитет его рос, а с другой... Для девчат он представлялся крепостью, которую каким-то путем надо было взять, но, казалось, все подступы к ней заминированы...

Лейтенант слышал, как в ветреную погоду черемуха сердечно вздыхала, шелестела листьями, постукивала по крыше, как будто спрашивала: «Лейтенант, ты не спишь? Такой молоденький, столько невест в деревне!..» Не без намеков проходили мимо дома девчата и пели, явно вызывая лейтенанта на улицу.

Федя — так казалось со стороны — не очень горевал, когда узнал, что Совка выходит замуж за Витю Королькова, которого вот-вот должны были взять в армию.

Отчаянный Витя, с синей полоской пороха под левым глазом, с широкими мужицкими ладонями, работал на колесном тракторе, и, хоть был женихом и до свадьбы оставалось всего несколько дней, не отказывался прийти с «хромкой» на короткую вечерку, которую он неизменно заканчивал песней «На границе тучи ходят хмуро». Совсем маленькие ребяташки, подростки и девчата подхватывали слова, которые пела вся страна, и так шли по деревне, теснясь поближе к гармонисту.

*Броня крепка, и танки наши быстры,
И наши люди мужества полны...*

Но долго девчата не могли петь о броне и танках, и тогда по деревне разносилась новая песня, которую они недавно разучили.

*В той землянке, засыпанной снегом,
Часто видел тебя я во сне,
Твое имя в лесу перед боем
Ножом вырезал я на сосне...*

Совка уносила гармонь к Корольковым, которых она теперь не стеснялась, а Витя, если надо было, прямо с вечерки снова шел на трактор.

Часто Совка звала Витю на реку, в лес, в поле. Она знала каждый бугорок и ямку и бесшумно ступала по едва различимой в темноте дороге или тропинке, и виделось: Совка не идет, а летит...

Куда она бежала? Что ей нужно было в лесу и в поле, когда так хорошо сидеть, обнявшись, под черемухой возле своего дома?!

Были и другие хорошие скамейки, и у моста хорошо, и в школьной ограде...

Совка была влюблена в каждый лесочек возле ее деревни, в теплую извилистую речку и широкое разноцветное болото, в котором не смолкала жизнь ни днем ни ночью. Она готова была бесконечно ходить по знакомым с детства дорогам и тропинкам, вдыхать запахи трав, цветов и полей... Ей казалось, что она больше, чем кто-нибудь из бадонских, любит все, что ее окружает; она смотрела, оглядывалась настолько восторженно, что еще минута, казалось ей, и она сама превратится в дорогу или тропинку, в березу с прохладными листьями, в излучину реки или облако... Она хотела, чтобы Витя, уходя на фронт, крепко запомнил все, что она любила. Запомнит все — значит, и Совку не забудет, и никакой враг его не одолеет...

К ночи все небо заволочло тучами. Два или три раза — так, для порядка — проворчал гром, и его долгое глухое ворчание растворилось в шумных потоках дождя, без всякого подкрадывания хлынувшего на землю.

Неурочному дождю радовались в деревне два человека — жених и невеста. В их домах все было припасено, и только ждали небольшого ненастья, чтобы не стыдно было справлять свадьбу в самый разгар сенокоса.

К утру дождь перестал.

Тимошка, маленького роста старик, веселый, подвижный, до удивления похожий на мальчишку, вчера до самой темноты отбивал косы, и к нему с утра, обходя грязь и лужи, заглядывали женщины и подростки. Делились новостями, все больше невеселыми: погибли — один под Сталинградом, другой под Серпуховом — еще два бадонских мужика; как ушел на войну, так ни слуху ни духу про Семена Лозовского... Наталья Цыганкова получила письмо из госпиталя и радовалась, что жив ее Костень — так она звала своего мужа Константина. Он сообщал, что рань у него небольшие, сразу после госпиталя — на фронт. О нем просил сильно не пережи-



вать: он уже обстрелянный, знает, что почему, и задаром жизнь не отдаст. И просил еще беречь ребяташек...

Каждый издали узнавал свою косу, сам снимал ее с высокого дощатого забора. Тимошка пристально взглядывал на приходившего — будто старался понять что-то еще, недосказанное, — и снова принимался пилить и строгать под сараем с еще большим усердием.

Женщины вчера договорились с дедом Игнатом, чтобы он разрешил косить поближе к деревне, а не за двенадцать километров в Тонкой падушке: оттуда с покоса только к ночи приедешь. Дед Игнат поскреб в затылке, надвинул на лоб зеленый картуз, чтобы легче думалось, согласия не дал, но и не запретил: мол, делайте, как хотите. С бабами, он знал, лучше не ссориться. «Бабы, — говорил он с первого дня, как его поставили бригадиром, — сегодня так же поработаем, а завтра отдохнем!» Бабы смеялись или молчали, зная, что отдыха, наверно, никогда не будет. Чтобы бригадир не сердился, они уговорили заняться стряпней самых древних старух.

Косили в колхозном утуге, около пасеки. Трава была в пояс, с длинными пожелтевшими метелками пырея, с веселыми кругами дикого клевера и медуницы, сверкала тысячами дождевых росинок. Пчелы обиженно взлетали, когда цветы с ярко-зелеными листьями густым веером падали к земле. Зазевавшейся пчеле или уснувшему шмелю приходилось тратить немало усилий, чтобы, отчаянно жужжа, выбраться из-под тяжести скошенных цветов...

Разноцветные ульи стояли на горке в березовом лесочке с редкими соснами. В самом начале горки, близко к дороге, защищенной с северной стороны густым березняком, так и манил к себе маленький сказочный домик с двускатной крышей — зимник для пчел. Другой домик, поновее, стоял в глубине берез — в нем три-четыре раза за лето качали мед. От улья к улью с дымокурором медленно передвигался Максим Зиновьев. Даже отсюда, с падинки, покосчикам было видно, как он хромал: первый комбайнер колхоза «Октябренок» недавно вернулся с фронта без ноги — на протезе. Он грозился в уборочную перейти на свой «Коммунар» с деревянной площадкой для мешков, и все знали: это так и будет. Максим с виду слабенький: кажется, толкни — и упадет, а с пути его не своротишь.

Совка с Витей просидели под черемухой у дома Корольковых до самого утра, пока не перестал дождь. Несмотря на бессонную ночь, Витя косил, как будто на своей гармошке играл: прокосы широкие, чистые, никакого отдыха ему не надо было. Совка не уступала.

Ей еще только исполнялось семнадцать, а выглядела она старше, как у нас говорили в таких случаях: «Просилась замуж». Полшколы, когда она училась еще в шестом классе, писали ей письма, клялись в вечной дружбе и даже любви, а досталась она Вите Королькову — за его веселость и отчаянность. Один раз, чтобы обратить на себя внимание, семиклассник Витя Корольков прыгнул на лыжах с двухэтажной школы. Нырнул с высоких перил моста в мелкую речку, на полном скаку нарочно падал с лошади — и ничего! Обо что бы он ни ударился, только крепче делался...

Весной на пахоте трактор гудел сутками — трактористы менялись на ходу. Мотор однажды настолько раскалился, что факелом вспыхнул среди ночи. Прицепщик побежал в деревню, Витя один сумел спасти своего «красноармейца» — так он называл колесный трактор с железным сиденьем, с поблескивающими острыми шипами на задних колесах...

На покосе бадонские как бы заново увидели жениха и невесту. Витя с Совкой и косили рядышком — не хотели расставаться ни на одну минуту! Да и немного этих минут у них оставалось... От Совки глаз оторвать нельзя было: если кто-то из ребят

останавливался раньше времени и старательно точил косу, то все знали: не коса притупилась, а на Совку взглянуть хочется! Совка косила в новом платье и чувствовала себя еще более счастливой, когда видела то на одной женщине, то на другой яркую косынку, которой вчера не было, праздничную юбку или кофточку...

Косили весело, подшучивали друг над другом, и никто не обижался. Больше всех доставалось жениху и невесте. Особенно старался Тимошка:

— Совка, обрежь ему пятки, чтоб на других не заглядывался! Всю жизнь твой будет!

Совка, затаенно улыбаясь, качала головой, дескать, не хочет она обрезать ему пятки, и от своей преданности Вите делалась еще привлекательней.

Витя оглядывался, и ее улыбка отражалась на его лице и в каждом его движении.

Кто-нибудь вскрикивал:

— Коси, жених, не ленись!

— Ай да Совка, косит ловко: один раз взмахнет — два шага сделает!

— Го-о-орька-а-а!.. — раньше времени кричал Тимошка, и все смеялись.

— Потерпи, дед, не пропадет твоя чарка!

— Не пропадет, — бодро соглашался Тимошка.

Он только говорил об этом, а сам зелья не любил. Тимошке наскучило сидеть дома под сараем; в утуге, под тенью старой березы, он отбивал косы на завтрашний день. Частые удары его молотка сливались со звоном кузнечиков, приветствующих солнце.

4

Бабы радовались, глядя на молодых, себя вспоминали такими, поглядывали на солнышко; часам к одиннадцати оно выкатилось из облаков — чистое, новенькое, как подарок для жениха и невесты! В этот июльский день, звонкий от птичьего гама, сверкающий после дождя каждой травинкой и каждым листочком, людям хотелось хоть на короткое время забыть о своих бедах.

После обеда старшие потребовали, чтобы Совка шла домой и помогла старухам воду носить, пол вымыть, баню чтоб затопила. Строго-настрога наказали: после бани ничего не делать — должна невеста отдохнуть немного и светиться, как стеклышко! Такое раз в жизни бывает!

Совка, смущенная, ушла.

А жених после трактора пусть лесным воздухом подышит, накопится вволюшку! Потом, на фронте, вспоминать будет, как вместе косили.

Дед Игнат, два раза заглянувший на покос, работой остался доволен. Он хотел придираться, что не вовремя они затеяли свадьбу, но у него язык не повернулся сказать это, когда увидел, как преобразились бабы, как будто все они сегодня выходили замуж!

Игнат Редчанков никогда на здоровье не жаловался, хотя давно ему перевалило за шестьдесят. Он еще мог сойти за молодого, когда брался за какое-нибудь дело, и, не стесняясь своей белой бороды, мог весело подмигнуть солдатке и вызвать неумелым подмигиванием хохот всей бригады. Но если смеялись лишнего, то дед Игнат намекал, что он умеет не только подмигивать. И тогда смеялись еще больше.

В плохом расположении духа его никогда не видели, порядку в его усадьбе можно было только позавидовать, и когда в колхозе «Октябренок» понадобилось заменить бригадира, ушедшего на фронт, то на его место, не задумываясь, поставили



Игната Редчанкова. Он сразу же согласился, как будто давно ждал этой должности; одним словом, цену себе не набивал, отлично понимая, что выбирать не из кого.

Глаз у него был зоркий, и, возвращаясь в седле с дальнего покоса, где, как считал Игнат, и надо было начинать косить, он еще издали заметил потраву в пшенице. Медленно натянул поводья, останавливая своего Гнедка и недоумевая, как могло произойти такое не с кем-нибудь, а с его сыном Федей, которому в августе исполнялось семнадцать, по поводу чего он проговорился однажды, что в день своего рождения подаст заявление в военкомат, чтобы его добровольцем взяли на фронт. Неладно получалось: самого старшего Редчанкова только что поставили бригадиром, самого младшего — пастухом, и сразу же, как нарочно, потрава...

Дед Игнат тут же хотел разыскать Федю и уши ему пообрывать и уже поскакал к лесу, в котором, слышно было, паслось стадо, но на полпути свернул к дороге и поехал к покосчикам. С Федей он решил поговорить вечером. Гнедко сразу же уловил перемену в настроении своего хозяина и, хоть и устал сегодня, без понуканий шел быстрой рысью, готовый при малейшем движении повода перейти на галоп. Дед Игнат заставил себя успокоиться, а вернее, на короткое время забыть о потраве и к покосчикам подъехал шагом, как ни в чем не бывало, даже как будто весело.

Потом заглянул на пасеку, выпросил у Максима бидончик меда для свадьбы и в деревне передал его из рук в руки Совкиной бабушке. И все на шутке, с легким сердцем.

Возле правления по-молодому соскочил на землю, привязал к столбу присмирившего жеребца. В конторе, кроме бухгалтера, никого не было. Дед Игнат посидел, отдохнул на стуле — седло ему за день надоело, — долго придиричиво смотрел на хилого, но дотошного бухгалтера Чемизова, но тот делал безучастный вид, а может, и в самом деле не замечал тяжелого бригадирского взгляда, и тогда дед Игнат строго спросил: известно ли бухгалтеру колхоза о потраве? Тот утвердительно кивнул и, отвлекаясь от бумаг, добавил, что доложит об этом на правлении.

Такой ответ деда Игната не устраивал, и он грозно поднялся со стула.

— А чего ждать? Штрафуй сейчас же! Чтоб не было лишних разговоров.

Бухгалтер без всякого заседания правления оштрафовал бригадирского сына на пятнадцать трудодней.

Дед Игнат про себя ругнул Чемизова: потрава небольшая, хватило бы и десяти трудодней!

— Как с лейтенантом быть? — поинтересовался бухгалтер.

— Лейтенанта не трогай.

Он хотел сказать Чемизову, чтобы тот не скупился и выписал распоряжение на пять килограммов меда для свадьбы, но понял, что без председателя ничего не выйдет, и решил взять грех на себя.

«Что же это за свадьба, — думал он, выходя из конторы, — если на столах не будет меда?!»

5

Совка мылась в бане одна.

В два небольших оконца — от реки и с огорода — дрожащими лучами падал предвечерний свет, но углы все-таки оставались неосвещенными, и она зажгла лампу. Сумеречность в углах исчезла, в бане стало светлее и загадочнее оттого, что лампа горела днем. Маленькое пламя колебалось, вздрагивало, грозило погаснуть, пока Совка раздевалась, плотнее прикрывала двери и ходила по бане, расставляя в

нужном порядке банную утварь. Она не заметила, как стала подчиняться маленькому, капризному, казалось, только что исчезнувшему и опять вспыхнувшему огоньку лампы-коптилки: движения Совки сделались медленными, плавными, как будто она не в бане мылась, а совершала древний ритуальный танец. Она восхищалась каждым своим шагом по теплому, быстро просыхающему полу, движением руки, в которой она держала эмалированный ковшик, наклоном своего тела, гибкого, сильного и нежного, когда наливала горячую, а затем холодную воду в звенящий глубокий таз; наполняясь, он переставал звенеть, и тихим шумом и плесками шептал молоденькой Совке о ее красоте...

Отхлестав себя распаренным березовым веником — так делали взрослые женщины, — она, задохнувшись от горячего пара, волнами идущего от высокой каменки, соскочила с полка, бросила веник, приоткрыла низенькие двери, дышала и никак не могла надышаться свежим, пахнущим рекой и огородами воздухом... В приоткрытые двери она видела между крышей и тыном треугольник неба, а в просвет между тынинами — узкую полоску своего покоса, красно поблескивающую речку и болото, с которого доносились голоса диких уток и незнакомых птиц; она слышала ночью их странные, загадочные голоса...

Пол в бане был чистый, теплый, она его еще раз окатила горячей водой и, упершись в толстые половицы круглыми коленями, нагнулась над тазом, опустила в него густые длинные волосы. Они медленно намокали и делались тяжелыми... Она отжимала их и снова опускала в воду... Потом несколько раз вставала во весь рост, наклоняя при этом голову — потолок был низковат, — волосы касались ее белых покатых бедер, и обливала себя напоследок «летней» водой... Приходя в восторг, готовая вскрикнуть — до того ей хорошо было, — она вдруг пугалась, что кто-то видит ее, и по привычке, как на реке в камышах, когда купалась с девчонками, мгновенно приседала или старалась отойти дальше от маленького запотевшего оконца...

Потом, когда еще не оделась, она испугалась качнувшихся веток бурьяна, с которых вспорхнул воробей. И она еще больше полюбила и этот высокий бурьянный куст, приветливо кивающий в задымленное оконце бело-зелеными густыми ветками, и воробья, перелетевшего, наверное, к другим воробьям или погнавшегося за разноцветной бабочкой...

Так вот для чего женщины заставили ее истопить баню и мыться одной, — чтобы она хорошенько разглядела свою красоту, чтобы знала, что от нее зависит чья-то жизнь: захочет — помилует, а не захочет — казнит!

Извилистая теплая речка с ярко-зелеными камышовыми зарослями, глубокая у моста, была внизу — за огородами и приусадебными покосами, посредине которых стояли первые зароды сена, высокие, еще не осевшие и не огороженные. Совка слышала воинственные голоса ныряющих с моста ребятишек, и, как никогда, они были приятны, желанны ей, и она, переполненная новыми чувствами, мечтательно улыбалась и хотела приблизить время, когда с речки вот так же будут доноситься голоса ее детей!

Вышла на крыльцо бани, вытерлась длинным, грубоватым льняным полотенцем.

Воробьи с шумом перелетели из огорода на большой куст черемухи и никак не могли успокоиться; что-то кричали друг дружке, а может, объясняли Совке, что зря она их испугала: они только играли, качались на подсолнухах, но не трогали их — семечки-то еще зеленые!

Она оделась, постояла у колодца, и мимо огуречной гряды и подсолнухов с двумя ведрами воды пошла к дому.



Старухи, нахваливая Совку — какая она стала румяная да красивая, — около ворот взяли у нее ведра, как будто у маленькой девочки, которой еще рано ходить за водой. Сказали — и опять как будто маленькой девочке! — что больше от нее никакой помощи не надо.

Совка расчесывала волосы и никак не могла отделаться от тревоги, неизвестно откуда взявшейся. На покосе, дома, пока мыла полы, топила баню, и вот только что все было хорошо, радостно. Так что же случилось сейчас, когда она присела на стуле перед зеркалом с широким гребнем в руке?

Через открытые в избе и в сенях двери она услышала далекий звон колокольчиков и, не понимая, что с ней происходит, выбежала за ворота, увидела первых коров, выходящих из леса. Стадо еще издали, вразнобой, громким мычанием предупредило хозяев, чтобы открывали ворота и поскорее готовили пойло.

Черно-пестрая, с большими рогами корова, боясь, что молодая хозяйка передумает так рано впустить ее, перед домом прибавила шагу и не вошла, а забежала в просторную ограду, остановилась возле крыльца, еще раз известив тихим мычанием о своем появлении.

Совка закрыла ворота и только после этого поняла, зачем она осталась на улице, — ждала Федю. Он был еще далеко, иногда останавливался возле чьего-нибудь дома, о чем-то спрашивал, что-то отвечал...

Зачем он ей вспомнился?.. Ну, приносил Федя цветы... Ну и что? Она была в лучшем своем платье — шелковом, в ярко-белую и голубую полоски. От этих бело-голубых полос, подчеркивающих стройность и округлость Совкиного тела, нельзя было оторвать глаз, они сводили с ума ее ровесников, безнадежно, как и Федя, в нее влюбленных... Улетела Совка!

Федя шел по деревне с чувством обиды на себя, что у него с Совкой дальше детской игры не пошло, чего-то не хватило... Но его чувства были так глубоко запрятаны, что и самой Совке их не прочесть! В левой руке он держал букетик лесных цветов, в правой — бич, которым подгонял коров.

Перед Совкиным домом спрятал букетик за пазуху.

— Ну вот, Федя, я и замуж выхожу... Ты не обижаешься на меня?

У Феде в глазах потемнело от этих слов: он и так знал, что она выходит замуж, но слышать об этом от нее было выше его сил. Он долго стоял, не зная, что ответить, и наконец сказал:

— А за что мне обижаться? Не всегда же любят того, кто цветы приносит...

Никогда Совка так ласково не смотрела, никогда ее голос не был таким нежным! Федю это даже кольнуло: зачем она говорит и так смотрит, ведь теперь это ни к чему.

«Ах, Федя, Федя... — говорили Совкины глаза. — Милый ты мой пастушок!...»

— На свадьбу придешь?

Федя молчал, любуясь Совкой, поглубже запрятал обиду, а вместо ответа достал из-за пазухи букетик лесных цветов, но не бросил его Совке, как бывало раньше, а бережно передал в руки.

— Ах, Федя, ну какой же ты молодец! Вспомнил... Ну, какой же ты...

Совка не договорила и, как тогда, в детстве, убежала. А Федя пошел дальше по деревне, крепко держа плетеный тяжелый бич.

Еще засветло к деду Игнату прибежали родственники жениха и невесты, про-
 сили не опаздывать на свадьбу. Без бригадира, все понимали, свадьба получится
 самовольной.

Редчанков, только что приехавший с полей, выслушивал приглашение, не от-
 казывался, но и не торопился идти: он сидел на крашеной лавке, чуть склонившись
 набок, к подоконнику, принимал к сведению наперебой сказанные слова, молча,
 едва заметно, кивал: мол, понял, идите. Нездоров был Игнат или так умотался за
 день, что даже сидеть не мог?

Аграфена, высокая, дородная, нисколько не похожая на старуху, сердилась на
 Игната:

— Генерал нашелся! Зовут — иди. Как же ты не пойдешь? — не понимала
 она, разодетая во все праздничное и терпеливо ждавшая, когда муж поднимется с
 лавки, к которой он как будто прирос. — Переоденься, — просила она, — не куда-
 нибудь идем, а на свадьбу. И так всю жизнь в одном ходишь. Георгии надень, чего
 им валяться в ящике.

Игнат продолжал сидеть, что-то обдумывая. Причин у него много было так
 вести себя: Совка, считал он, рановато выходит замуж — надо бы подождать еще
 годик.

Во-вторых, и это самое главное, он привык к мысли, что Совка будет его не-
 весткой; и вроде все шло к тому, а Федя в самый ответственный момент, когда девку
 надо было держать покрепче, отпустил ее. А уж коль проморгал, прямо надо ска-
 зать, королеву («Засмотрелся на коров!») — как-то невесело пошутил он над сыном),
 то нечего лезть с цветочками к чужой невесте, да еще на виду у всей деревни! Кому
 это понравится?! Ишь храбрый какой! Ишь внимательный какой нашелся! Где рань-
 ше-то был?!

Игнат готов был все забыть — другого-то выхода не было! — но букетик, ма-
 ленький букетик лесных цветов стоял перед глазами — и хоть ты что делай! А даль-
 ше в рассуждениях Игната выходило и вовсе что-то несурзное: потрава была вчера,
 цветы — сегодня, а у него все отчетливее вырисовывалась и все больше походила на
 правду такая картина: пока Федя собирал цветы, коровы и залезли в пшеницу! Он
 знал: не так все было, но через какое-то время так будут говорить в деревне, чтоб
 посмеяться над Федей, а стало быть, и над Игнатом. Над стариком бы ладно, стер-
 пел, но когда смеются над бригадиром — это гиблое дело.

Жена, зная его характер, ждала, когда он остынет. Но она его все-таки поторап-
 ливала, и на свадьбу он пошел не совсем остывшим.

Георгиевские кресты, полученные в германскую, он, конечно, не надел, но по-
 обещал жене: «Разобьем фашистов под Сталинградом — неделю снимать не буду!»
 А в остальном во всем послушался: малость укоротил ножницами бороду, белую
 косоворотку с цветами надел — «подчепурился», как он говорил в таких случаях.
 Все у него вышло очень быстро, по-военному, и это немного тревожило Аграфену:
 не в духе старик, чем-то недоволен, и она с опаской взглядывала на него, всячески
 умиротворяла, только чтоб не сердился на Федю, ни на кого не сердился... Неуступ-
 чивым Игнат сделался, как поставили его бригадиром, и Аграфена иногда терялась,
 не понимала, хорошо это или плохо.

Не успели они ворота закрыть, как увидели спешащую к ним Корольчиху. Она
 еще издали разулыбалась, когда увидела, какие принаряженные Игнат с Аграфеной.
 Главное — Игнат. Корольчиха вся испереживалась — боялась, что он опять начнет

свое бригадирство показывать, да и умотался старик за день: приляжет, заснет, а потом сам же еще и обижаться будет, что не позвали.

— Все собрались, только вас нету, — сказала она без всякого укора, всем своим видом показывая свое особенное отношение к Редчанковым.

Игнату такое обращение понравилось, усталость и недомогание сразу же куда-то подевались, он даже тряхнул плечами, как бывало в молодости, по-орлиному повел глазами, рассмешил женщин. У Аграфены повеселело на душе: слава богу, оттаял старик, теперь можно не переживать, не стыдиться перед людьми за его придирчивость. Аграфена как-то сказала ему, что с народом надо помягче быть, так он ее чуть не до слез довел. Теперь вот свадьба ему не нравится... Умнее всех не будешь! — уж это Аграфена знала и, где могла, укорачивала Игната. Но, кажется, все идет как надо: Игнат ее под ручку взял, с Корольчихой разговаривает, как будто она ему лучшая подружка! А ведь сердится, что Витя отбил у Феди такую невесту! Аграфена не сильно переживала, имела на этот счет свое мнение: какая женитьба, когда еще от полу не отрос, когда еще в армии не был? Отслужит, отвоюет — тогда другое дело!

— Федя там? — не глядя на Корольчиху, хмуро спросил Игнат.

— Пришел, — поспешила ответить Корольчиха.

И опять в ее голосе, кроме приятных ноток, Игнат ничего не уловил. Но он все равно остался недоволен ее ответом, вернее, тем, что Федя не очень-то гордым оказался: пальцем поманили — и прибежал! Не-е-ет, на его месте Игнат не пошел бы. Не тот характер у Феди, не то-о-от, мало чего от отца досталось — весь в Аграфену! Как по писанию живет: в одну щеку ударят — он другую подставляет! Игнат чуть не плюнул с досады на дорогу, но сдержался: рядом Корольчиха идет, она Игнату ничего плохого не сделала. Да и Аграфена ни в чем перед ним не виновата.

Дом Корольковых, с новой пристройкой, стоял на взгорке, а внизу, сразу же за огородами, чернела кузница, из которой раздавались удары молота. С такой силой мог стучать по наковальне только Ленька Родин, молотобоец. У кузнеца Шарафутдинова, когда он брался за молот, удары были слабее. «Молодец Ленька, — мысленно похвалил Игнат подростка-богатыря. — Молотит кувалдой, и нет ему никакого дела до чьей-то свадьбы! А мой, поди, уж за столом сидит, про все на свете забыл. Ну, ниче, я ему напомню...» Сердило Игната и то, что Федя сегодня не ночевал дома — под лейтенантскую защиту ушел. Это хорошо, что сын сразу же подружился с лейтенантом, но Игнат не любил, когда его дети оставались у кого-нибудь ночевать.

Павел Акимович, или, как его звали, Королек, был отличным плотником, и как-то незаметно так вышло, что новые бревенчатые стайки, похожие на веселые домики, в которых могли бы жить люди, — игрушечная летняя кухня, амбар, маленький сарайчик (большой тоже был) — настолько потеснили ограду, что от нее остались только два или три узких, извилистых прохода, где в потемках запросто можно было заблудиться. Королек не хотел занимать постройками ни одной сотки огорода. Жадности тут никакой не было, а ему нравилось, чтобы все стояло рядом. Игната вот еще что удивляло: сам Королек огромного роста, веселый, даже на улице, рассказывая что-нибудь, размахивал длинными руками, а у себя в ограде расхаживать ему было негде. То, как выглядел Королек, как любил во всю ширь размахнуться на гулянке, требовало, по рассуждению Игната, и просторной ограды, а иначе казалось, что хозяин дома, стоит ему только забыть, начнет задевать то локтем, то плечами об углы своих многочисленных построек, которые начинались сразу же от крыльца. И только баню Королек поставил в огороде. Но даже здесь он остался верен себе: баня стояла рядышком с колодцем!

Игнат попросил Аграфену, чтобы она позвала Федю, и задержался в ограде, возле сарайчика, на стенке которого чего только не было навешано, но все размещалось в строгом порядке.

— Поговорить надо, — сказал Игнат, видя, что Аграфена не хочет без него заходить в избу, и она, согласно кивнув, скрылась в дверях вместе с Корольчихой.

Федя вышел не сразу.

— Тебе что, дома места не хватает? — как можно тише сказал Игнат: он не хотел, чтобы его слышали заходившие в ограду старики Шабалковы.

Федя молча, с удивлением смотрел на отца: таким злющим он его еще ни разу не видел.

— Что смотришь исподлобья? — Игнат уже и сам не знал, к чему бы придраться.

— Я хорошо смотрю, — сказал Федя.

Игнат, понимая, что неправильно делает, нажал на самые больные струны:

— Тебя кто звал на свадьбу?

— Совка.

— А жених тебя звал?

— Невеста главное жениха, — сказал Федя.

И тут на Игната нашло затмение: он схватил висевшую под сараем ремennую узду и вытянул Федю по спине. Федя легонько шевельнулся, как будто его не уздой ударили, а комар укусил. Он был настолько оскорблен, что не почувствовал боли.

— За что?.. — только и сумел сказать он.

Ударив раз, Игнат уже не мог сдержаться и после каждого взмаха уздой приговаривал:

— Вот тебе за пшеницу, за то, что не ночевал дома, за Совку, что отпустил, за сегодняшний букетик...

Федя не убежал от отца, не защищался, а ждал, когда тот образумится.

Шабалок с Шабалчихой, покачивая головами, смотрели, что вытворяет Игнат. Из избы высыпали бабы. Совка, будто с неба слетела, оказалась между Игнатом и Федей. Корольчиха повисла на Игнатовой руке.

Старик настолько был уверен в своей правоте, что смотрел, кому бы ещесыпать. Тут ему и двинула кулаком между лопаток Корольчиха.

И он остановился. По-хозяйски, излишне старательно, повесил узду на старое место.

— Вот бы кого на фронт! — запоздало выкрикнула Шабалчиха. — А то с бабами воюет!

— С меня везде толк, — похвалился Игнат.

— Бригадирское ли это дело — уздой махать? — крикнула Корольчиха, готовая еще раз стукнуть Игната: такой день, а он скандал затеял!

— Некогда сейчас свадьбы справлять, — неловко оправдывался Игнат.

Бабы шум подняли:

— На это всегда время найдется!

— Нам не в первый раз: мы и свадьбу справим, и сена накосим!

— Ишь командир выискался! Разве можно так делать?!

— Война, можно, — защищался Игнат.

— Ты на войну не сваливай! Ты перестань самоуправством заниматься!

— Поговори у меня, — пригрозил дед, — и тебе достанется... Платье заголю...

Раздался хохот.

— Ты че, дед? Кто нам запретит повеселиться маленько?!

— Я.

Над ним снова засмеялись.

— Ну, дает Игнат!

Старик растерянно оглядывался, отыскивая глазами Федю. Но его у сарая уже не было. Игнат понял, что лишку дал: не надо было накидываться на сына. И пререкаться с бабами — пустое дело. Его длинные, голубовато-пепельные волосы спутались, усы обвисли, и только подстриженная борода воинственно топорщилась. «Зря не надел крестов. Ведь просила же Аграфена. Как знала... При них я бы вел себя аккуратнее — не налетел бы на Федю...»

Он боялся встретиться глазами с Аграфеной, но ее в толпе не было.

«Со стыда ушла домой... А Федя, наверно, к лейтенанту убежал... Прости меня, господи, не хотел!» — молча взмолился Игнат.

Бабы понимали: старик и сам не рад неизвестно откуда взявшейся свирепости, перестали шуметь, да и не до Игната им, если разобраться, — свадьбу справлять надо. А со стариком у них еще будет время поговорить — никуда он от них не денется! Они Федю жалели...

Игнат увидел Корольчиху, выходящую из сеней со стаканом, и смотрел теперь только на нее.

— Держи стакан! — приказала Корольчиха.

— Что здесь? — осторожно спросил Игнат. Вода ему была ни к чему.

— Пей, не спрашивай.

Игнат, в отчаянии махнув рукой — мол, теперь ничего не исправишь, — жадно начал пить из стакана. Он чему-то удивился, медленно обвел всех глазами, будто старался запомнить каждого, кто видел, как он затеял драку в чужой ограде, и, может, от стыда, а может, от водки — ему вдруг стало жарко. Уши его сделались фиолетовыми, похожими на пегушинный гребень. Он отдал стакан Корольчихе, поправил на себе поясок с разноцветными кистями, широко расставил руки, как будто после всего, что набедокурил, собирался пуститься в пляс.

Ребятишки наблюдали за действиями Игната с высокого, недоступного для взрослых маленького сарайчика. Напоминая своей недоверчивостью веселую воробьиную стаю, они сидели на самой верхотуре, готовые при малейшей опасности скатиться по крыше в огород, где их мгновенно скроют заросли крапивы, конопли и подсолнухов. Все ждали, что будет дальше.

— Сивый ты, щербатый пес, — сказала откуда-то появившаяся Аграфена. — Кого больше любил, того и опозорил на всю деревню. Разве он тебе простит?.. Да никогда в жизни!

Игнат и такими словами Аграфены остался доволен: все-таки подошла, сказала. Хуже, если бы не стала разговаривать, тогда бы тяжелее было...

Игнат нисколько не сомневался, что его за такое поведение надо выгнать из ограды, а ему стакан водки подали, чтобы, значит, пришел в себя... Под руки взяли Игната, в дом ведут, за стол, как будто боятся, что убежит... Провинился — и ему же еще внимание!

— Ах вы, бабоньки мои!.. — слезливо выкрикнул начавший хмелеть Игнат. В его все слабее повторявшемся выкрике «Ах вы, бабоньки мои!..» слышалось сожаление о своем поступке, восхищение бабоньками: все-то они, горемычные, понимают, все могут. Он наперед знал, что ничего ему не будет, но эта безнаказанность на какой-то миг сделала его не крепче, а слабее, и он, переступив высокий порог корольковского дома, потонул в шуме, возгласах, в переборах начинавшей играть гармони.

Помнится, отец раньше рассказывал про свадьбу с большей живостью.

«Зачем такие подробности?» — не понимал тогда я. А сейчас он их почему-то опустил. Наверно, его заедало, что я не женат, хотя давно пора было. Но все время что-нибудь мешало; сначала я ссылался на учебу, и с этим мои старики соглашались, а теперь, когда подвинулось к тридцати, невесты подходящей не было: или девчата, на которых я останавливал свой взгляд, были слишком разборчивы, или я упустил время и сделался привередлив. Из прежнего рассказа о свадьбе мне запомнилось, как Тимошка осыпал молодых овсом и приговаривал:

*Сколько кочек,
Столько дочек,
Сколько пеньков,
Столько сынков!..*

После Витиной и Совкиной свадьбы в тот же вечер исчез Федя.

Где только его ни искали — никаких следов!

Аграфена Редчанкова ходила по деревням и у каждого встречного спрашивала: «Вы моего Федю не видали?»

На нее сочувственно взглядывали, что-нибудь отвечали и, не зная, как помочь, проходили дальше. Иные принимали ее за сумасшедшую.

Иссохшая, почерневшая от горя и августовской жары, она вернулась домой.

Написали родственникам. Ответы пришли один похожий на другой: не был, не заходил, не приезжал. Игнат, не зная, куда себя девать, работал теперь не за двоих, как до этого, а за троих. Ему в глаза было страшно взглянуть, такие они сделались глубокие, горестные, недоуменные... Разве он не наказывал своих старших сыновей, которые были теперь на фронте? Да и найдется ли хоть один подрастающий мужчина, которому не попадало от отца или от матери? Тогда, выходит, всей деревне разбежаться надо было?!

А затем, как-то уж очень неожиданно, из деревни уехал лейтенант.

И тогда у Игната затеплилась надежда: не с лейтенантской ли помощью исчез Федя?

Дважды появлялся он в иркутской квартире: один раз утром, чуть свет, и поздно вечером.

— Где он? — еще с порога спросил первый раз Игнат, заглядывая лейтенанту за спину.

Лейтенант хмуро посмотрел на бадонского бригадира и в свою очередь спросил:

— Кто?

— Федя, вот кто, — обиженно и в то же время требовательно сказал Игнат.

— Н-не знаю, — ответил лейтенант.

— А чего краснеешь?

Лейтенант дотронулся ладонью до своих щек, словно на ощупь определяя, сильно он покраснел или нет, и так же испытующе посмотрел Фединому отцу в прищуренные глаза, не выдержал и отвернулся.

На столе, у окна, лежали разбросанные как попало книги, чистая бумага, карандаши. Над кроватью висела новенькая географическая карта СССР, на ней какие-то военные обозначения... Игнат задержал на них взгляд, отметил, что Москва от этих обозначений находится все еще в опасной близости. И уже сдержаннее сказал:

— Не морочь мне головы, лейтенант. Неужли Федя не зашел и не поговорил с тобой?



Продолжая сочувственно взглядывать на старика, лейтенант подал ему плетеный стул и быстро исчез на кухне.

Он вскипятил на примусе чайник, усадил Игната за стол. Старик ни о чем не мог говорить и спрашивал только о Феде: он был уверен, что его сын прячется где-то здесь, поблизости...

Игнат оставил лейтенанту баночку свежего масла, с десяток яиц, меду и пожелтевшего зимнего сала, которое на вид было не очень, а на вкус — язык проглотишь.

— Эх, ты, — укорил он лейтенанта, когда они встретились во второй раз. — А еще на фронте был... командиром танка, а старого солдата за нос водишь... Может, Федька в шифоньере сидит?

Игнат, конечно, с отчаяния сказал последние слова, они у него сами собой вырвались, но лейтенант несколько этому не удивился, подошел к шифоньеру, оглянулся, спрашивая взглядом: открывать?

— Не надо, — сказал Игнат, а сам подождал, когда тот откроет дверку желтого шифоньера.

Там не только Феде, но ничего, кроме офицерской одежды, не было...

И вдруг как ножом резануло по сердцу Игната: шифоньер, в котором не было ни одного женского платья, ни одной женской кофточки, кричал об одиночестве лейтенанта!.. Чисто прибранная комната, лучи солнца, легко проникающие через вымытые большие стекла, показались Игнату холодными, а живые цветы на подоконнике — неживыми...

«Где мать лейтенанта? Где сестра? Где его невеста?» — почему-то не у лейтенанта, а у себя мысленно спрашивал Игнат, не в силах сдвинуться с места. Продолжая коситься на шифоньер, как на что-то одушевленное, Игнат осторожно спросил:

— Дружочек, у тебя есть кто-нибудь из близких родственников?

— Б-были... До с-сорок... п-первого... — медленно, с запинками говорил лейтенант, как будто доставал слова с высокой полки, до которой никак не дотянуться.

— Там все остались... — медленно проговорил Игнат и сердитым кивком указал в окно, на запад, где шла жесточайшая в мире война.

Лейтенант ничего не сказал, опустил взгляд и смотрел на свои сапоги, которые он каждый день чистил до блеска, как будто убеждал кого-то, что в тылу он ненадолго и не сегодня-завтра окажется на передовой по всей форме, как и полагается офицеру.

«Что отвечать, — подумал Игнат, — когда и так видно: нет у него никого на всем белом свете! А в деревне держался, будто он маменькин сынок, будто его избаловали... Мо-лоде-е-ец, не любит жаловаться...»

Была у лейтенанта, пока они сидели за столом, одна-единственная жалоба: самое тяжелое время, каждый человек на счету, а его на фронт не пускают! Говорят, выздоравливайте, а лечения — никакого! Один совет лучше другого: отдыхать, почаще бывать на свежем воздухе, не волноваться, не думать о войне.. Тут лейтенант сам рассмеялся и Игната рассмешил. Разговор у него в военкомате получился примерно такой:

«О чем должен думать офицер в военное время, если не о войне?» — спросил он довольно-таки симпатичную молоденькую женщину, военврача.

«О чем-нибудь приятном», — ответила она и улыбнулась лейтенанту.

«О чем же?» — повторил свой вопрос лейтенант, считавший, что время сейчас для шуток неподходящее.

«В жизни много приятных вещей...» — несколько не сомневаясь, ответила врач.

Она с удивительной теплотой смотрела в глаза лейтенанту. Он даже смутился и некоторое время молчал.

«Вы мне нравитесь, лейтенант, — говорил ее взгляд. — Вы мне очень нравитесь!..»

Или в самом деле так ее взгляд говорил, или он все это придумал, но в нем что-то дрогнуло... Он конечно же ничему не поверил, пришел в себя и все тем же неподдающимся голосом попросил:

«Назовите мне хотя бы одну из этих приятных вещей... Хотя бы одну!»

Врач долго думала, а может, просто смотрела на него и, ничего не придумав, сказала, весело блестя глазами:

«Если у вас совсем нет фантазии, если вам не о ком думать, тогда думайте... обо мне...»

Им никто не мешал, — они были в кабинете одни, — и она, наверное, развлекала себя: ведь от этого никому плохо не было!

Лейтенант, сам не зная как, нашелся и сумел поддержать разговор, в котором чувствовал себя как рыба, выброшенная на берег.

«Так вы же сами, товарищ военврач, просили меня не волноваться!..»

Ответ ей понравился, — по крайней мере, так показалось лейтенанту, — и она сказала:

«А вы думайте обо мне повеселее!.. Я вам разрешаю... Только вам...»

Она засмеялась.

Ее смех был для него как музыка.

Никаким больным он себя в это время не чувствовал и впервые за много дней облегченно и радостно вздохнул: он уловил миг, когда началось его выздоровление.

Она все еще улыбалась, говорила ему такое, чему он верил и не верил и не знал, как себя вести с ней... Лицо у нее счастливое — как будто никакой войны и в помине нет, а есть только она, недавно закончившая институт, и молоденький, всегда подтянутый лейтенант, вернувшийся с фронта по ранению... «Такой милый, — читалось в ее глазах, — очаровательный лейтенант, мечтающий только о фронте...»

— Сильно заикался, когда говорил с военврачом? — спросил Игнат.

— Н-нисколько, н-ни разу, — заикаясь и краснея сильнее обычного, ответил лейтенант. — Д-думал, н-ну, все... пройду к-комиссию!

— Не вышло? — весело любопытствовал Игнат, довольный рассказом лейтенанта,

— Б-бесполезно.

— Не проворонь, лейтенант.

— Чего н-не п-проворонь?

— Понравился ты ей, вот чего. А то бы она с тобой шутки шутить стала... Как же! К такому военврачу надо ходить на комиссию каждый день!

— Я и х-ходил, — помедлив, ответил лейтенант. — П-пока не в-выгнали...

— Она тебя не должна была выгнать...

— К-какая разница, другие в-выгнали.

— Другие не в счет, — сказал Игнат. — Такого, как сегодня, я тебя больше люблю. Молодец девка, все она тебе правильно сказала: выкинь скучные мысли из головы! А если она тебе... ну, сам знаешь, то приглядишься... Оно и на фронте веселее, когда дома ждут. Ты ко мне прислушайся, я плохого не посоветую.

Игнат вышел на широкую площадку четвертого этажа и по каменной лестнице с низкими, удобными ступенями стал спускаться к выходу. Лейтенант обогнал его, открыл невидные в полутьме высокие двери.



Игнату не хотелось уходить от лейтенантского дома, окруженного высокими, разросшимися тополями, достававшими своими вершинами до окон четвертого этажа.

Внизу, под тополями, было сумрачно, как в настоящем лесу, даже сохранились лужи от последнего дождя. По улице сновали люди, гулко цокали по булыжной мостовой подковы лошадей, и эти удары подков о булыжник больно отзывались в нем. Солнце еще не село, но его не видно было из-за нагроможденных домов. Игнат вдруг встрепенулся, пошел за широкоплечим парнем, окликнул его, но... это был не Федя. Старик разочарованно махнул рукой.

Лейтенант стоял около дома, ждал, когда Игнат вернется.

И точно: старик не спеша подошел, взял его руку в свою. Оправдываясь, что хотел и нынче застать лейтенанта врасплох и напрасно разбудил его первый раз раным-рано, глуховатым голосом попросил:

— Ты на меня, дружок, не сердись: сын-то не у тебя потерялся...

Лейтенант вместо ответа крепче сжал руку Игната — шершавую, твердую, как будто каменную. Так близко от себя он видел старика впервые и только сейчас разглядел его могучую, выпуклую грудь, медленно ходившую под тоненькой ситцевой рубашкой. Расставаться им не хотелось... Игнат ругнул себя: чего это он пристал к человеку: спросил бы раз — и хватит. Найдется Федька, никуда не денется! Редчанковы не из тех, кто зазря потеряется...

— На молоко деревенское, на свежий воздух приезжай, — настойчиво звал Игнат. Глаза его заблестели, голос потеплел. — У меня такие же, как ты, на фронте, вместо родного сына будешь. А за обман — извиняю... Я как на тебя, дружок, еще в первый раз посмотрел, так все и понял... Приезжай, долго в городе не удержишься! Восточку дай про сына, от него самого долго теперь известий не будет.

Лейтенант хотел принести Игнату свой китель — у него их два было, — дождь может пойти, холодно будет... Игнат весело отговорился:

— Мне Аграфена, когда я к тебе поехал, в окно пиджак хотела подать, а я сказал: «Да я в рубашке-то скорей съезжу!» — «Надень, — говорит, — а то сразу видно, что бадонский». — «Как видно?» — спрашиваю. — «Да на тебе написано!»

Ему нравилось, что она называла его бадонским, — ничьим другим он и не хотел быть.

Через полгода в сельсовете напротив Фединой фамилии химическими чернилами было написано: «потерялся», а потом исправлено на «без вести пропавший».

8

Тут мой отец не выдержал, встал с кровати и восторженно проговорил:

— А через тринадцать лет вернулся Федя майором! Вот это характер!

На отца сам факт, что Федя Редчанков стал майором, действовал неотразимо. Да и на меня — тоже. И я с сожалением подумал: плохо, что и меня однажды не отхлестали уздой... Ведь прошло четырнадцать лет, как я уехал из деревни! А кто я?! И тут же подумал вот о чем: мой отец — не внешностью, нет — неуловимо похож на Игната Редчанкова, моя матушка — на Аграфену, даже Совка похожа на одну девчонку, которая жила когда-то в нашей деревне, а потом уехала, а вот я на Федю несколько не похож! Никуда бы я не побежал, потому что бежать мне было не от кого и незачем. Мне бы при любом случае непременно понадобилось уехать из дому мирно, чтобы всем было от этого хорошо...

Отец рассказывает, и я вижу, как тридцатилетний майор просит остановить полуторку в том месте, где он когда-то пас коров и откуда недалеко остается до дерев-

ни. Домой он идет пешком — надо прикоснуться к земле, которая его взрастила, о ней он никогда не забывал и не мог простить себе, что столько лет не был... Постоял около леса — в нем, пастушском, он рвал цветы для Совки... Сюда, к березам и соснам, тринадцать лет назад в ужасе бежал от необычно яркого заката молоденький лейтенант... Что с ним теперь?..

Кто расскажет о том, как забилось сердце Федора Редчанкова, когда он увидел на взгорке, среди полей и леса, родную деревню и речку, поблескивающую под лучами июльского солнца, в которой, как и тогда, перед войной и в начале войны, поднимая столбы брызг, купались ребятишки! Своими звонкими голосами и неразберихой, ударами маленьких тел об воду они как бы говорили: ничего не случилось на земле, она все так же прекрасна! А ведь у многих из них теперь не было отцов, старших братьев... Эти минуты безмятежной радости были у них конечно же короткими и несчастными. Вот сейчас или немного погодя станут их звать домой. Они вылезут из воды и нехотя — кто бегом, а кто шагом — в великом огорчении, что таким коротким было купание, покинут берег. Отдых для них — поход за черемшой или за ягодами. В лесу, когда нет старших, можно немного поиграть в войну, погоняться за бурундуком, за тетеркой, делающей вид, что не может лететь, а на самом деле старающейся отвести опасность от своего гнезда...

Появиться в родной деревне майору Редчанкову было не так-то просто: он все больше чувствовал себя виноватым. Письма и деньги, аккуратно высылаемые старикам последние четыре года, уже не имели того значения, которое должны были иметь, — поздно, слишком поздно он спохватился!

Почему он так долго не сообщал о себе?

Сердился на отца?

Жестокость на жестокость?

Или были какие-то другие причины?..

Федор Редчанков уже давно обвинял не отца, который его когда-то так унизил, а себя... Он ехал домой не рассказывать, как в войну успел отличиться, как быстро продвигался по службе, — он ехал, а теперь вот шел домой и только об одном думал: как замолить свой грех перед матерью, отцом, братьями...

Перед Совкой он тоже считал себя виноватым — лишь о себе тогда подумал!

Совка овдовела в то же лето и чего только не передумала. Иногда — и это она не могла объяснить — ей вдруг начинало казаться, что Витя погиб оттого, что она его не так любила... Может, счастливы были бы все, не отвернись она от Феди?

Аграфена себя считала виноватой: ведь не хотел Игнат идти на Совкину свадьбу — даже большие прикинул! — а она его уговорила...

Но — странное дело! — появился Федор Редчанков на Бадонках, прошел день-другой, и как будто все простилось всем: никто ни в чем не виноват — ни Игнат, ни Совка, ни Федя, ни тем более Аграфена... События распорядились по-другому, и снова встретились те, кому давно надо было встретиться, — Совка и Федя! К этому времени он был один — семейная жизнь у него не получилась. Жил он с той женщиной, жил, и мирно они разошлись — не могла она ему простить, когда он, обращаясь к ней, даже при людях называл ее именем, а вернее, прозвищем девочки, которой приносил из лесу букетики цветов... Совка залезла ему в душу и смотрела оттуда своими большими зеленоватыми глазами, и больше ни одной женщине не было там места...

Игнат сильно постарел, усох, — давно распечатал восьмой десяток! Сдаваться он не собирался: чтобы не выглядеть дряхлым (Аграфена все-таки была на десять лет моложе), он, к удивлению не только своей родни, но и всей деревни, отказался от дедоморозовой бороды и брился два раза в неделю. Каждый год минимум трудней выработывал. Записываться в сторожа, говорил он, ему еще рано. При таком



поведении деда Игната Аграфена почти подравнялась с ним: если и выглядела моложе, то самую малость.

Старики сообщили сыну свою уловку: как только через девять лет он дал весть о себе и еще денег прислал, они потихоньку стали распространять по деревне слух: служба у Федя такая — вот и молчал.

Игнат после небольшой рюмочки заморского вина — красного, крепкого и невкусного — намекнул сыну: не в узде ли все дело? Мол, не быть бы тебе, Федор, майором, если бы не тот случай на свадьбе!

К восторгу Игната, сын полностью с ним согласился. И тут было самое время спросить про Совку.

— За что ты меня тогда уздой отхлестал? — издали начал Федор.

— Как — за что? — удивился Игнат. — Быстро забыл! — засмеялся он, не отрывая взгляда от больших звезд на погонах, которые ему, хоть ты что делай, казались генеральскими!

— Так за что же все-таки? — переспросил Федор веселым голосом.

— За пшеницу, а за что еще, — уверенно проговорил старик. — За потраву, — уточнил он и гордо посмотрел на сына: мол, отмутил тебя — и не жалею! И говорил, и смотрел он так, будто Федины коровы зашли в потраву не тринадцать лет назад, а вчера или позавчера.

— Ты ведь, отец, сначала оштрафовал меня на пятнадцать трудодней!

Каждое слово Федор произносил так, будто его тогда не оштрафовали, а премию получил, и немаленькую, да еще на почетную доску занесли! Игнат восхитился:

— Ты посмотри, Савельевна, он даже помнит на сколько! Ну, молодец!

— Да хватит вам об этом, — счастливым голосом проговорила Аграфена, сама начинавшая верить, что уздечка и в самом деле оказалась золотой. Но она все равно боялась, как бы разговор не пошел в ненужную сторону — уж Игната она знала! Да и Федю, хоть и не видела тринадцать лет, тоже знала: копия отец!

— Я ведь что хочу сказать, — продолжал подступаться к своей теме Федор. — За потраву ты меня оштрафовал и второй раз наказывать не стал бы...

— Почему не стал бы? — разошелся дед Игнат. — Заработал — получай! А как же? От отцовской руки никогда худо не будет, — совсем расхвастался Игнат. Ему и впрямь казалось: он, а кто еще, сделал Федю майором!

— Ты всегда был справедливым, — настаивал на своем Федор, — а в тот раз...

— Не забывай, — мигом нашлось у Игната оправдание, — сорок второй год шел.

— Хитришь, отец!

И они от всей души — сначала отец, а потом и сын — расхохотались.

Глядя на них, разулыбалась Аграфена.

— В чем моя хитрость? — всем на свете довольный, спросил Игнат.

Федор не мог понять, для чего отец упорствует, какая ему корысть в этом. Зачем скрывать то, что было? Показывать, как защищал колхозное добро, Игнату не надо — об этом и так все знали, потому и простили его тогда Корольковы, не выгнали со свадьбы.

— Ты на меня за Совку рассердился...

— За букет, — уточнил Игнат. — Цветы должен был Витя принести, ты уж был ни при чем.

Федор видел: отец уходит от разговора о Совке, и он даже радовался за отца, что упорства в нем сколько было, столько и осталось. Значит, проживет еще!

— Вы что-то скрываете... Что с ней? — спросил Федор и вместе со стулом подвинулся к матери.

Старик сделал то же самое.

Аграфена неожиданно припечалилась: казалось, она вот-вот расплечется.

— С ней-то, с Сонькой, ничего... — сказал Игнат, пристально взглянув на сына. — Жива, здорова, красивая... Настоящая русалка...

Отцовы слова были слишком туманны, а дальше он не хотел говорить и с какой-то безнадежностью, пока ничем не объяснимой, махнул рукой.

«Какая-то беда с Совкой...» — подумал Федор. Дрогнула рука, в которой держал серебряный портсигар, все у него внутри похолодело.

«Да что с ней?!» — чуть не крикнул он.

— Рассказывай, что уж теперь, — разрешила Аграфена. — Раз спрашивает...

Федор, скрывая волнение, достал из портсигара папиросу, подержал ее, протянул отцу, себе достал другую. Прикурили от затейливой немецкой зажигалки.

Аграфена со страхом взглянула на сына, готовая защитить его от какой-то опасности...

Федор все это видел и не мог понять, что происходит с матерью да и с отцом тоже. Кое-что ему, конечно, понятно было. Отвергла его Совка, и давно надо забыть про пастушеский рожок, на котором он хорошо умел играть, про букетики, которые приносил из лесу, и... про длинноногую глазастую девчонку, которая не могла жить без этих букетиков... А он, как только оказался дома, места себе не находит: приворожила она его к себе, что ли?

9

Я, сам не знаю зачем, поинтересовался:

— Какие Федя ей цветы приносил?

— Да вот твои... вчерашние... Нравились ей кукушкины сапожки...

Было далеко за полночь, дождь кончился, но отец не замечал этого. Мне все время казалось, что он чего-то недоговаривал. За обычными словами его живописного рассказа виделся какой-то скрытый, таинственный смысл, и эту таинственность он, наверное, не смог бы объяснить: ведь у него это само собой получалось.

— Ты ж слушай, не перебивай, — проговорил отец, нисколько не сердясь, что я забегая вперед, а вот сейчас зачем-то вернул его к самому началу.

— А дети у Совки были? — не удержался я.

— Девочка. Маленькая Совка...

Отец говорил о младшей Совке раздумчиво, с нежностью, и я с изумлением обнаружил, что именно ее-то и люблю давно! Может, потому ничего у меня не выходит с другими, что Совкина дочь прокралась в мое сердце еще в тот, первый раз, когда отец рассказывал о ее матери? Мне все время виделась молоденькая Совка — мать и дочь слились в моем воображении в одно лицо!

То, что я ни разу не встречался с Совкиной дочерью, нисколько меня не смущало: моя бабка, да и матушка, спавшая на просторной теплой печи, видели своего суженого в первый раз только во время венчания — как-то уж так получалось. Каждая из них тряслась, переживала — только бы не хромой был или не кривой да не горбатый, и обеим повезло: ни одна не жаловалась, я только и слышал, как они хвалили своих мужей.

Я сказал отцу, что готов не глядя жениться на Совкиной дочери.

— А ты знаешь, что такое красавица? — спросил он. И, не дожидаясь ответа, сделал неожиданное заключение: — Она за тебя не пойдет.

Его слова задели меня за живое.

— Чем я плох?

— Не так, чтобы очень плох, но и не настолько хорош, — ответил он. — Ей надо смелого парня — такого, как Федя Редчанков.

Я задумался.

— И в самом деле, гордиться мне нечем... Сразу и не поймешь, что я за человек...

— Ни рыба ни мясо, — полушутя-полусерьезно добавил отец и засмеялся.

Я знал отцову привычку преувеличивать достоинства чужих людей и преуменьшать своих, давно привык к этому и не обижался.

Матушка вдруг со стоном заворочалась на печи, тяжело вздохнула, — наверное, увидела какой-то страшный сон и вовремя проснулась.

— Я тебе сколько раз говорила: не рассказывай про Совку! Ох, старик, старик...

Она еще в тот раз была чем-то недовольна, когда отец рассказывал эту историю перед моим отъездом из деревни, и сейчас проснулась или от страшного сна, или для того, чтобы меня защитить, хотя этого вовсе не требовалось, и высказать свое отношение к этой давней истории, которая все время казалась новой. И сразу же уснула, чтобы не мешать отцу рассказывать, а мне слушать. Что-то не нравилось ей, она как будто побаивалась Совку... Чего только не промелькнуло в моей голове, пока отец молчал несколько минут! Уж не ревнует ли она его к Совке? Он ездил в те края на мельницу, а иногда целую зиму там же работал на лесозаготовках или возил из Саян графит. Мать просто так не будет сердиться...

Я первым нарушил молчание:

— За что она не любит Совку?

— А ты не понял еще?

И тут я признался:

— Я чем больше узнаю об этой истории, тем больше загадок у меня появляется!

Отец, как бывало раньше, не стал осуждать меня за непонятливость, сел на своей кровати и все с той же удивительной готовностью сообщил:

— Дело вот в чем, Коля: мать боится, как бы ты не вздумал познакомиться с Совкиной дочерью... По возрасту она тебе как раз в невесты!

Тихая радость медленно стала заполнять мое сильно бьющееся сердце... Отец как будто подсказывал: не в городе моя невеста, а здесь, в каких-то двадцати километрах, если идти напрямки по лесу!

Он еще раньше говорил мне об этом — не о Совкиной дочери, она тогда еще маленькая была, а вообще: что лучше не гоняться за горожанкой, толку все равно не будет!

И свои, и чужие не раз говорили мне: то ли дело жениться пораньше — дети вырастут, семьи начнут заводить, а ты еще молодой!

Рассказ отца — я его не видел, а только слышал в темноте его негромкий, певучий голос — заставил меня проговорить:

— Я едва удерживаюсь, чтобы не побежать на Бадонки сейчас же, ночью!

— Беги, — насмешливо ответил он.

В его насмешке еще раз прозвучала уверенность, что ничего у меня не выйдет.

Я уже не лежал, а тоже, как отец, сидел на кровати,

— Да в чем тут дело?

Ответ последовал не сразу.

— Коля, а ты разве не знаешь, что все Совкины мужья погибли?

— А сколько их было? — тихо-тихо спросил я и все равно почувствовал какую-то неловкость от своего вопроса и даже робость.

— Трое, — тихо и как будто с неохотой сказал отец. Гибель Совкиных мужей казалась неправдоподобной, фантастической. Я что-то начал смутно припоминать об этом, хотя отец, видно, пропускал раньше это место, как будто оно было запретным.

10

Игнат искурил папиросу, похвалил табак и только после этого начал:

— Витю Королькова ты, конечно, не забыл... Говорят, смелым да веселым больше везет, а вот ему, славный был парень, не повезло: под Сталинградом в первом же бою в танке сгорел...

Старик прикурил новую папиросу от немецкой зажигалки — она ему понравилась, и он знал, что сын подарит ее перед отъездом, — пыхнул дымом без всякой охоты и бросил ее в консервную банку, служившую пепельницей. Слова отца Федор принял молча. Тоже перестал курить и в первое мгновение не мог отделаться от странного чувства, что это не Витя сгорел в танке, а он, Федор! Как все совпадает: лейтенант, с которым Федя пас коров, танкист; Витя Корольков погиб танкистом; и он, Федор, закончил танковое училище, прогрохотал на своей тридцатьчетверке через всю Европу и теперь служил в Германии. Сама собой припомнилась, зазвучала песня о трех танкистах, которую так любил Витя Корольков и все бадонские.

*Так живут, и песня в том порука,
Нерушимой крепкою семьей
Три танкиста, три веселых друга,
Экипаж машины боевой...*

Игнат просверлил Федора глазами, чтобы тот лучше понял, кого потеряла Совка, да и вся деревня. Старик знал, что его сын всего насмотрелся, но жалко ему было Витю Королькова.

— Второго Совкиного мужа, Сергея Чупругина, ты тоже знаешь, — продолжал Игнат. — С фронта, как и ты, пришел, можно сказать, целехонький... Погиб в мирное время — на лесозаготовках. Сосна стала падать совсем не так, как ждали, повернулась на пне. Сергей отскочил, а она его достала сучьями... Мужиков, сам знаешь, после войны нету, женщины бедуют, не к кому голову приклонить. Из-за безногого, был случай, разодрались. А у Совки опять новый муж! Третий алятский был, ты его не знаешь. Озеро Аляты переплывал, километр в ширину, а тут у самого берега утонул. Нырнул, ждали, ждали, а его нет. Знаешь, что буряты сказали? Русалкам понравился...

В детстве я слышал рассказы бурят о русалках, живущих в озере и погубивших немало мужчин, и никогда не заплывал далеко.

И еще помнилось, как в праздники, а то и в будний день к моей бабушке — матери отца — приходили ее подружки, такие же старенькие, как она, и часами рассказывали про свою жизнь... Все тогда были добрыми, уступчивыми, и я тоже. Всякий раз какая-нибудь из бабушкиных подружек одаривала меня свежее испеченным румяным кренделем. Съесть его сразу жалко: носишься с ним по двору, в кармане

подержишь, если, конечно, есть карманы, намотришься на него, нарадуешься и только потом не торопясь съешь, разделив с кем-нибудь из своих самых верных друзей! Но еще до того как съешь, не один раз вернешься в избу, где сидят за столом с поющим самоваром старухи в широких разноцветных поневах, или подбежишь к скамеечке возле дома, куда они перебрались после чая. Постоишь, послушаешь, о чем говорят, выполнишь какую-нибудь просьбу... Одна из них спросит, слушаюсь ли я отца-мать, собираюсь ли хорошо учиться, помогаю ли всем, кто просит. Бывало, и не ответишь: смотришь, заслушавшись певучим, свободным от забот голосом, и тут уж бабушка выручит — похвалит за что-нибудь, и радуешься: не подвела тебя перед своими подружками, — и горы готов свернуть после этого!

Бывало, и в пасмурную погоду соберутся, а мне теперь все те дни, часы, минуты кажутся солнечными, светлыми, безвозвратными...

Когда не стало бабушки, я впервые подумал о том, что когда-то и меня не будет... И может, потому живет во мне ее образ, не умирает, ее жизнь продолжается в моей, в моих братьях и сестрах, в наших детях и никогда не кончится... Жаль только, что не помню — меня тогда еще не было — бабушкиных родителей, и тем более ее дедушку и бабушку! Я слышал о них из ее рассказов... Их лица, суровые и доверчивые, иногда всплывали в моем воображении как живые и снова исчезали в тумане времени...

Я опять подумал о младшей Совке.

Отец, будто зная об этом, совсем другим голосом сказал:

— А помнишь, как после войны Федя Редчанков сватал Совку?

Я удивился.

— Столько лет прошло, забыл, конечно. Тогда слушай.

— Совка никуда не уехала? — спросил Федор, хоть и слышал, что вчера она на реку проходила белье полоскать. Как он ее не видел с огорода, уму непостижимо!

— Здесь твоя Совка, — не сразу ответил Игнат.

— А ты знаешь, отец, это из-за меня у нее жизнь не получилась...

— В чем же ты виноват?

— Во всем.

— Что, на ней свет клином сошелся? — вконец расстроилась Аграфена. — Такой герой, при таких звездочках... Да ты бы себе... Не связывайся ты с ней, — попросила Аграфена. — Ничего у вас не было и не будет.

Вмешался Игнат:

— Ничего, мать, сын у нас грамотный, при орденах. Разберется!

— И ты туда же! — вскинулась на старика Аграфена. — Все не можешь забыть эту ведьму, старую сову?

— Зря ты ее ругаешь, — заступился Игнат. — Она и тебе, и Совке сколько раз ворожила! — Игнат весь зажегся. — Знаешь, Федя, ни в бога ни в черта не верю, а один раз тоже попросил Совкину бабушку сворожить — на тебя, значит. Раскинула карты, так и так: жив твой сын, вернется при орденах и медалях и при небольших ранах, пустяковых... Ну, запаслись мы со старухой терпением и, как видишь, дождались. А ты ее ведьмой называешь... — укорил он Аграфену. — Нехорошо это.

Аграфена стала говорить что-то такое, чему и сама не верила:

— Хи-и-итрая Совка... Ишь что затеяла: ждет, когда Федя в ножки ей поклонится, и не в укромном месте, а на виду у всей деревни! Так след в след и идете...

Сыну ее слова показались загадочными, а старик резко отклонился на стуле, размашисто хлопнул себя по коленке, просиял заблестевшими глазами, но сразу же

и примолк, наткнувшись на осуждающий взгляд Аграфены: вряд ли в деревне забыли о том случае, два года назад...

На Троицу, только что кончилась посевная, настроение у всех было праздничное, и бадонские, весело приветствуя друг друга, подтягивались к магазину, ожидая, когда продавщица Аня примет товар первостепенной важности, который в посевную куда-то исчезал.

Отработав на ферме, Совка успела переодеться во все праздничное и вместе с другими женщинами ждала, когда откроется магазин. Игнат с Аграфеной, порознь, были здесь. Или ему надоело ждать — что-то уж очень долго Аня принимала товар! — или захотелось поговорить с Совкой, — он бросил мужицкую компанию и приблизился к Совке, выделявшейся среди женщин и даже девчат. Совка заметила Игната и приветливо кивнула. Улыбнуться ему она никогда не забывала! Этим особенным отношением между ними завидовали даже молодые парни, которые не знали, как подступиться к Совке, выглядевшей гораздо моложе своих лет. А Игнат знал, и на разные там намеки и ухмылочки оба не обращали внимания.

«Совка, не бойсь, к чистому не пристанет!» — заступался за нее Игнат.

И она не боялась: защита и в самом деле была крепкая! За Игнатом, понимали другие, стояла пока что хоть и невидимая, но сила. Этой силой был Федя. А если говорить точнее — майор Федор Редчанков! А это уже не шуточки...

Сколько бы Игнат ни говорил с Совкой, ему всегда не хватало ни слов, ни времени, чтобы выразить свое особенное расположение к ней. Ни о какой другой новости он даже и думать не хотел!

Сегодня она ему показалась настоящей царевной, и он так начал:

— Совка-царица, ходи всегда разряженной, ничего не делай, а мы будем смотреть на тебя!

— А кто же за меня работать будет, дядя Игнат? — до удивления радостным голосом спросила Совка. И нельзя было понять, чему она больше радуется: тому, что дядя Игнат предлагает ей ходить разряженной царицей, а она не согласна быть бездельницей, или какой-то ей одной понятной надежде?

Редчанковские плечи, когда-то бравшие на себя заботу о всей деревне, стали горделиво расправляться, грудь пошла вперед, но с ответом Игнату пришлось погодить: внимание отвлек бригадир Константин Цыганков, появившийся в дверях магазина. Его там интересовало, много ли привезли продукта, из-за которого некоторые мужики выключаются из работы. Он вел борьбу не с пьяницами, а с сельповским начальством, что столько водки дает на маленькую деревню. Ему, работавшему бригадиром всего второй год, предсказывали, что долго он не продержится... С начальством надо в дружбе жить, а у него все наоборот. «Я кем хошь и где хошь могу работать», — отвечал Константин. Этим он и нравился колхозникам, и, когда вино или водка заканчивались, они ему беспрекословно подчинялись.

Константин Цыганков прошел всю войну, имел два тяжелых ранения и был рассудительным на первый взгляд до равнодушия... Но это только на первый взгляд: переступить черту, которую он наметил, нельзя было.

Из магазина он вышел сильно нахмуренный и тут же подал голос:

— Ты мне, дядя Игнат, всех молодых доярок сделаешь царицами! А коров кто доить будет?

Но вышибить Игната из колеи ему не удалось.

— Как же это ты, Константин, учился, учился, а самого главного не знаешь? — ехидно спросил старик.

— Чего это я не знаю? — готовый придраться к Игнату за митинг возле магазина, когда дел везде невпроворот, поинтересовался бригадир.

Игнат, заранее предвкушая, как будет посрамлен Константин Цыганков, многозначительно глянул на Совку и с удовольствием ответил:

— Да царица-то, милый мой, всего одна бывает! Или вас в школе учили по-другому?

От взрыва хохота и одобрительных возгласов жалобно звякнули стекла в магазинном окне.

Продавщица Аня, не сдержав любопытства, но и с некоторой обеспокоенностью на миловидном лице: над чем смеются, не над ней ли? — выглянула на крыльцо. И ничего не поняв — чудят мужики! — скрылась в прохладе своих владений, приятно пахнущих туалетным мылом и конфетами.

Ничего не скажешь: быстро прилетела сдача бригадиру! Ответ Константину понравился, и он смеялся вместе со всеми — сам был находчив и ценил это в других. Сообразил: сегодня ему не справиться с Игнатом — его вся бригада поддерживает: ишь как нацелились на магазин! Но, отойдя к штакетнику и поправляя сбрую на своем иноходце, все-таки ответил:

— Защитил Игнат царицу, а ему взяли да голову и отрубили!

Не совсем понятно сказано, но самые сообразительные оценили бригадирову шутку.

— Что за намек? — спросил Игнат.

— А то, что задаст тебе Аграфена! Спать сегодня, наверно, врозь будете...

Теперь над Игнатом засмеялись, да еще, наверно, громче, чем над Константином.

Бригадир, считая, что они в расчете, почти неслышно уехал верхом на своем маленьком резвом гнедом жеребчике. А люди смотрели на Игната.

Он стоял с затуманенными глазами и вдруг, глядя только на Совку, как подкошенный, рухнул на колени, вытянул вперед руки — он не только красотой восхищался, он один за всех бадонских просил у Совки прощения за ее обиды...

Сделалось тихо.

Бадонским всегда, глядя на Совку, казалось: живет себе молоденькая женщина, красиво одевается, ни о чем не думает, как будто и войны не было, и все несчастья — смерть трех мужей — не у нее, а у других случаются...

Вон Тоська Гаврилова тоже, как и Совка, молоденькая, а как узнала, что муж погиб на фронте, так до сегодняшнего дня опомниться не может — в старуху превратилась. А Совке хоть бы что, только краше делается!.. Все беды от нее отскакивают, как горох от стены... Или она бесчувственная такая... Или тут что-то другое?... Не понять Совку...

Аграфена оторопела, когда увидела, как ее строптивый Игнат без всякой надобности упал на колени. Ей даже страшно за него стало.

Совка уже не смеялась и нежнейшим голосом, как только она умела, сказала:

— Дядя Игнат, что с тобой? Встань... Разве так можно?..

— Ради красоты, единственной — можно, — сказал Игнат, продолжая оставаться на коленях. Он медленно обвел всех взглядом, как будто искал, кто с ним не согласен.

Коротким всхлипом отозвалось чье-то женское сердце. Из молодых — парней или девчонок — кто-то хлопнул в ладоши, то ли в восторге, то ли дивясь.

Ничего хорошего в дерзком поступке Игната Аграфена не видела и не представляла, как он выйдет из нелегкого положения, в которое сам себя поставил... Дошутился... Придется помогать.

Аграфена и так и этак смотрела на Игната, а он — ноль внимания! Тогда она протиснулась в первые ряды, к крыльцу магазина, чтобы Совка могла видеть ее и поскорей бы заканчивала комедию, которую неизвестно для чего затеял Игнат.

— Ох, дядя Игнат... — только и сказала Совка и мечтательно вздохнула. — Смеяться будут над нами... Вон сколько народу собралось!

Игнат знал: ничего-то Совка не боится, и сказала эти слова для приличия. Совкина обходительность и ласковость всегда его покоряли, и он нередко ставил ее в пример другим женщинам, будто забывая, что тем вредит ей.

Сегодня он хорошо помнил об этом и, отвечая Совке, широко повел рукой вокруг себя:

— Пускай все смеются! Пускай у всех на душе будет праздник! И у тебя тоже!

Совка смотрела на Аграфену, взглядом спрашивая: «Что делать со стариком?»

Аграфена точно таким же взглядом смотрела на Совку. Потом махнула рукой: «Из-за тебя все, что хочешь, то и делай!»

Сузив зеленоватые смеющиеся глаза, Совка медленно убрала с лица белые, как лен, волосы, шагнула к Игнату, и все услышали не звук пощечины, которую — как некоторым казалось — заработал старик, а мелодичный, сдержанный Совкин смех. Трудно было сказать, что означал этот смех: в нем было все — и восторг, и стыд, и гордость, и насмешка, и благодарность...

«Кажется, все хорошо вышло, — вставая с колен, подумал Игнат. — И людей не рассердил, и Совку не обидел!..»

При народе Аграфена смолчала, а дома не удержалась, назвала его скоморохом, детьми и внуками пристыдила, которые все видели.

11

Совка всегда как будто побаивалась Аграфены. Все это на первый взгляд из-за Федей. Но Аграфена-то знала из-за кого — из-за Совкиной бабушки. Скольких парней она в молодости иссушила! Игнат до тридцати лет не женился. Это уж он Аграфене после Совкиной бабушки достался... И вот на тебе! — похожая история с Федей и Совкой...

Не быть этому, Аграфена пойдет и выскажет ей все: настало время поругаться! И тут же ее взяло сомнение: ну что она скажет Совке? Совка и так его стороной обходит, нет за нею греха, Аграфена вот сейчас все выдумала. Федя хорошо вспоминает Совку, спрашивает о ней. Так это еще ничего не значит: на то мы и люди, чтоб вспоминать... Что же делать, если Феде запомнились те букетики на всю жизнь, а Совка на другой же день все позабыла? Насильно мил не будешь! С красивыми-то вон как получается... За красоту надо расплачиваться. Не дай бог родиться красивой — лучше быть незаметной... Совку кто-то сглазил...

Аграфене страшно стало от этих мыслей. Дальше она думать не хотела, просила у кого-то прощения и сама не заметила, как начала молиться за Совку и за Федю: чтоб каждый из них был счастливым, но только порознь. Расколотое зеркало не склеишь... И тут она подумала о том, о чем уже тринадцать лет старалась не думать: тогда Феде отец навредил — а сейчас... хочет навредить мать. Только в эту минуту она по-настоящему простила Игната, когда поняла, как трудно удержаться от какого-нибудь поступка или отказаться от мысли, которая неотступно тебя преследует. Как так выходит: хочешь сделать добро, а получается зло? И она с этого момента сделалась спокойной, взгляд ее просветлился.

Сын сразу же заметил в ней перемену.

Каждый из них теперь щадил друг друга: Федор перестал спрашивать о Совке, Аграфена, наоборот, ждала, когда он заговорит о ней.

Игнат расспрашивал сына о военной службе, восторгался каждой его звездочкой, подробно интересовался, за что, где и когда получил он следующую медаль или орден. Вспоминал про свои геройства в германскую, но каждый раз признавался, что сын превзошел отца. Спрашивал, дослужится ли тот до генеральского звания. Оказывается, была у Феди такая мечта. И вдруг он сказал:

— Я бы всю жизнь оставался рядовым, только бы Совка была рядом!

Игнат сильно огорчился: не мог представить своего сына рядовым. Ответ Федора его не устраивал, даже в шутку он не воспринимал эти слова.

— Так не пойдет, — сказал Игнат. — Я вот что предлагаю: чтобы и Совка была рядом, и ты генералом стал! А иначе для чего было бежать?

С этих пор радости в доме Редчанковых не убывало. Вновь вспыхнувшие разговоры о Совке больше никого не огорчали, хотя Аграфена втайне и надеялась, что, может, Совка не заденет Федора своим длинным крылом? Пусть бы пролетала мимо. Зачем ей Федор? Хватит с нее трех погибших мужиков...

Увидел он ее на третий день из окна, когда сидели завтракали.

— Идет твоя зазноба, — пошутил Игнат, так сказать, пошел сыну навстречу.

Аграфенина ложка дрогнула на полпути от миски, она ее насилу поднесла ко рту.

Федор даже в лице переменялся, когда Совка, принаряженная, стала смотреть на дом Редчанковых и, казалось, вот-вот остановится или свернет к ним — надо же когда-то поприветствовать свою детскую любовь, Федю-пастушка.

Она так хотела видеть его и в то же время боялась встречи с ним. Даже коров доить ходила через Школьный лес — давала лишних полтора километра. И вот не выдержала...

Борясь с собой, она все замедляла и замедляла шаги и, когда он вышел за ворота, сделала совсем маленький шаг. Остановилась, не в силах двигаться дальше, перевела дыхание, как будто только что не шла, а бежала. Яркий румянец заливал ее щеки, и от этого она казалась молоденькой девчонкой, которую за что-то пристыдили, или она подумала вот сейчас о чем-то таком, отчего ее сразу же бросило в жар, и она никак не могла опомниться от этой запретной мысли, а чтобы справиться с собой, остановилась возле дома Редчанковых, увидела за воротами стройного, подтянутого майора, покраснела еще больше и совсем растерялась. Сказать о Совке: похорошела, и в самом деле недостаточно, — расцвела, несмотря на все несчастья, которые преследовали ее... И он, забыв все на свете, не веря тому, что видит ее, легко вздохнул и едва слышно сказал:

— Наконец-то...

Она хотела шагнуть к нему. Он увидел это ее движение и сам шагнул к ней.

— Все такой же... — Совка поправила густые белые волосы, которые snились ему и на фронте, и в мирное время.

Он вспомнил пословицу: не родись красивой, а родись счастливой! — и впервые в жизни не согласился с ней.

— Все такой же... — повторила она.

Он не знал, как отнестись к ее словам, осторожно, чтобы не обидеть, спросил:

— Неужели я нисколько не изменился?

— А ты разве не понял? Радуюсь, что не забыл... Настолько любишь меня, что даже руки не подал. И я тоже. Давай, пастушок, хоть поздороваемся...

Он долго не отпускал ее руку.

Она приблизилась, с нежностью заглянула ему в глаза и тут же отстранилась.

— Чего же ты боишься?

— Матушку твою, Аграфену Савельевну... Она вон в окно смотрит... Он оглянулся, и в это время Аграфена медленно, с неохотой закрыла окно. Совка заговорила быстро и обиженно:

— Четыре года пишешь домой письма, а мне ни одной строчки. Даже привета ни разу не передал.

— Я же ничего не знал...

Она как будто не слышала его слов.

— Каждый день у почтальона спрашивала о письме, а от кого — не говорила.

— Ну почему, Совка? Написала бы мне... Адрес взяла бы у отца...

— Не могла я. Дядя Игнат сам должен был сказать.

— Откуда ему все знать?

— Он-то знал... Только Аграфену Савельевну не хотел обижать... По этой причине и я не могла спрашивать... Она и сейчас... Да я на нее не обижаюсь, ты не подумай, — чего-то испугавшись — наверное, того, что жалуется, — спохватилась Совка. — Так мне и надо!

— За что ты себя ругаешь?

— Тебе разве отец не все рассказал?

— Сказок я наслушался...

— Кому сказки, Феденька, а кому правда...

— Сказки забудутся, — ответил он.

— Не знаю... Сказки вон как долго живут! — И с горечью добавила: — А правда, глядишь, и забудется...

— Ошибаешься, — сказал он.

— Я все время ошибаюсь, — подтвердила Совка.

— Нет-нет, ты ни в чем не виновата... И не ты, а я все время делаю ошибки!

Она горько усмехнулась:

— Какие же у тебя ошибки... Ты, Федя, вон каким героем вернулся!

— Грех мой никогда не замолить, — глядя себе под ноги, глухо проговорил он. — И за то, что убежал из дома, не подумав о стариках, и за то, что молчал девять лет!

Раньше ему казалось, что война все спишет и что все плохое забудется. Но вот тринадцать лет прошло, а ничего не забывалось: с каждым годом юношеские ошибки вырисовывались четче, делались крупнее — как будто он совершил их вот только что! — и заслоняли собой все то хорошее, что удалось ему сделать в жизни, особенно на войне, и не было выхода, не было успокоения ни тогда, ни сейчас, и он все больше казнил себя, вспоминая каждый свой шаг, каждый поступок из прошлых лет.

— Не будет мне прощения... — все тем же глухим голосом произнес он.

Совка побледнела и как-то вдруг сразу же замерзла: ей почудилось, что сейчас не жаркий июль, самая середина, а бесснежный декабрь с пронизывающим, колючим, завывающим ветром, от которого никому не спастись, — от него всем делается неуютно, а земля, не дождавшись снега, трескается... Да ведь убежал-то он из-за нее, из-за Совки! И она ждала, когда он скажет об этом... Сама она не могла спрашивать: а вдруг все не так было?

— Молчал ты долго...

В ее голосе укор, сожаление, а взгляд говорит о другом: «Ну и что, что молчал? Никто ни на кого давно не сердится! Ведь правда, Федя?»

Она помолчала и с какой-то непонятной уверенностью закончила:

— Все мы теперь, Феденька, другие стали... Все виноваты, а значит, никто!

Под этим «все виноваты, а значит, никто!» подразумевалась война, все пережившая и все перепутавшая не только в Совкиной и Фединой жизни...



Он взял ее за руку, за пальцы, которые никак не хотели грубеть от грубой работы, долго смотрел в зеленые и спокойные, как лесная глушь, глаза.

— Совка, милая... Как хорошо, что мы встретились... Какой же я был...

И тогда совсем другим голосом — до головокружения нежным — Совка сказала:

— Я и не сомневалась, что вернешься... Только думала: с женой приедешь, и обязательно она красивее меня будет! — Совка поколебалась, не зная, надо ли говорить дальше. — Ну, да теперь-то что жаловаться. Встретились же... Вот только ни ты, ни я не знаем, что делать, стоим как заколдованные... Может, Федя, отойдем от окон?

Они прошли вдоль дороги по зеленой мураве, чистой и высокой возле дома Редчанковых, остановились между домами и через голубоватый лиственничный тын видели далекие и в то же время близкие Саяны со снежными вершинами, широко у моста речку, с которой доносились голоса купающихся ребятишек, огород Редчанковых и Аграфену, бесшумно выгонявшую оттуда куриц.

И то, что она старалась не шуметь — не кидала в куриц комками засохшей земли, не кричала и не хлопала в ладоши, изображая таким образом какую-то хищную птицу, было для них хорошим признаком: смирилась Аграфена, не будет препятствовать их счастью!

Совка вздохнула, повела упругой девичьей грудью, чуть шевельнула бедрами вправо, влево, будто хотела сказать: «Вот, смотри, целая осталась, ничего со мной не сделалось! Вся твоя до капельки... И ничьей больше не буду!» Совка довольна-предовольна: помнит Федя, не забыл кукушкины сапожки!.. Не в силах скрыть своей радости, она потихоньку, как будто боялась, что ее услышат, засмеялась и совсем близко придвинулась к нему, обняла. Огромные зеленоватые глаза ее заблестели. Через минуту ему уже казалось, что есть возможность начать все сначала...

Совке весело стало: столько глаз в окна смотрят, из оград, с огородов и даже с крыши! Всем не терпелось узнать, как они встретятся. Улица замерла от ожидания: никто не идет по ней! Пусть смотрят, думает Совка, разве они с Федей не стоят друг друга! А если в чем-то виноваты, так оба! Только Совка больше, а Федя меньше... намного меньше... даже нисколько! Правильно все сделал: не куда-нибудь убежал, а на войну! Не стал ждать, когда исполнится восемнадцать! Жениха тогда из него не вышло, а солдат получился! Да еще какой солдат: у Совки в глазах рябит от орден и медалей! Она потрогала один орден, другой... и они ей показались горячими, обжигающими — как будто Федор только что из огня выскочил и остался цел и невредим, только ордена раскалились... Вот тебе и Федя-пастушок. А с виду все такой же скромненький...

Радостно глядя на него и неожиданно для самой себя сделавшись как будто меньше ростом и слабее, Совка рассказывала, как у них было в деревне, когда шла война и после войны... Пусть знает Федя: не исчезал он из ее памяти! В трудную минуту, а их набиралось много, когда жизнь поворачивалась к Совке самой жесточайшей стороной, когда и дышать-то, казалось, нечем, она вдруг начинала видеть Федю, идущего из лесу с букетиком кукушкиных сапожек, предназначенных для нее одной. Никому больше он не приносил букетиков... И ей сразу же делалось легче, она начинала улыбаться, вспоминая, как любил ее еще до войны мальчик Федя.

— Последние четыре года, с того самого дня, как ты подал о себе весточку, я воспрянула духом. Ничего не знаю, что и как будет: захочешь ли ты со мной разговаривать, один ли приедешь, с женой ли? Если, думаю, с женой, все равно отобью! Мне первой приносил букетики, значит — мой! Расцветаю я день ото дня, солдатки на меня даже сердятся: ты, говорят, Совка, ненормальная... Чему радуешься? Я-то никому не говорю, что тебя жду. И, знаешь, сама удивлялась, откуда у меня вдруг

столько силы взялось: девчонки запоют что-нибудь веселое, и я с ними. Одногодки мои все больше тоскливые песни поют, а я — веселые. В кино любила ходить, особенно если военное... Сижу, никак не могу дожидаться, когда танки появятся! Может, думаю, тебя увижу! Не могла смотреть, если наш танк загорится... Правда, все больше их горели... И все равно стра-а-аху-у... Живые люди горят, вылезти-то из танка не дают.

Федор нахмурился.

— В кино-то ничего, можно воевать. Пусть бы война только в кино и оставалась.

И Совка пригорюнилась.

— Погибают, Федя, не только на войне. Чего только я за эти годы не пережила! Вспоминать страшно... Коситься на меня в деревне начали. Ну, вроде как лучше со мной не связываться... — Она помолчала и непонятно закончила: — Правильно бабушка говорила: чужим воспользоваться — себе дороже...

— А и свое взять — смелость нужна.

Выражение Совкиного лица вдруг сделалось веселым.

— Федя, что это со мной: одна я говорю!

— Нет-нет, рассказывай.

— Где же я остановилась...

Он помог ей вспомнить.

— Да, бабушка один раз слово с меня взяла, что буду молчать, и рассказала, как дяде Игнату на тебя ворожила! Я ей сначала не поверила... «Ну-у, — говорю, — это на дядю Игната непохоже! Он же такой серьезный...» Бабушка отвечает: «Был бы несерьезный, я бы и говорить не стала! За кого ты меня принимаешь?»

Федор, стараясь оправдать отца за невинную слабость, рассказал Совке, что на фронте и не такое было: под бомбежкой, артобстрелом, или когда бьют по твоему танку прямой наводкой, и кажется, ну все, конец, тут, бывало, и перекрестишься... И дело не только в том, что живому хочется остаться — это само собой, — хочется жизнь свою подороже отдать, чтобы другим, за тобой, легче было...

12

Потом они стояли возле начальной школы, расположенной в большом старинном доме с высоким крыльцом и открытой террасой. Ученику, выходящему из коридора, сначала бросался в глаза сосновый лес, а уж затем, справа от дома, болото с речкой и под горой мост с перилами; с террасы через проулок видны были только перила. Слева, на бугре, колхозное поле с островком березового леса, через который шла дорога в Кутулик. По сторонам дороги росла пшеница, и ласковый ветерок доносил в деревню ни с чем не сравнимый пшеничный запах, который ничто не могло победить. Через штакетник видно просторную, величиной с футбольное поле, ограду с высокой травой, соседний огород, кончавшийся возле самого леса. В этом лесу на больших переменах, еще до войны, они ели переспевшую бруснику и заячьи ягоды... Северная стена школы обшита новеньким тесом, будто напоминала о том, что большой старинный дом не вечен. В школьном огороде не было бани, и Федор не мог понять, куда она девалась.

— Сгорела, — ответила Совка и рассказала, как зимой ветреной ночью носила воду из китайцева колодца и обливала школьные стены...

— А вон и моя доченька идет, — ласково проговорила Совка. — Посмотри, какая выросла!

Федор смотрел в сторону медленно идущей девочки — как будто в свое и Совкино детство! Необъяснимое волнение, еще большее, чем при встрече с Совкой, охватило его и он не знал, как с ним справиться, да и надо ли было справляться — никогда не испытывал он такого чувства! Оно было необъятным, как мир, который невозможно вместить в себя, и от этого сердце сжимает мгновенная радость или мгновенная тоска, а скорее всего и то, и другое вместе! Радость — что довелось испытать чувство, которое дается человеку в редкие минуты, а может быть, никогда, и он благодарен судьбе, что она подарила ему такой миг! Тоска — что это чувство, наверное, никогда больше не повторится, и он заранее жалел об этом. На глаза навертывались радостные слезы, которых он не скрывал, и все виделось ему в тумане, через который пробивались яркие солнечные лучи...

— Ты ей понравился... — затаенно взглянув на Федора, проговорила Совка. — Вчера за столом сидели, она возьми и скажи: «Дядя Федя в нашей деревне самый храбрый и самый красивый... Выходи, мамка, за него замуж!» Я и про ужин забыла, и ложку из рук выронила!.. Сидим, друг на дружку смотрим!.. Вот такие наши дела, Феденька... Легит времечко, не остановишь...

— Ты ей... ответила? — не скрывая волнения, спросил Федор и вдруг подумал, что судьба его теперь находится в руках Совкиной дочери.

— А он, говорю, не приглашает.

— Она сказала еще что-нибудь?

— Сказала. — Глаза у Совки сделались светлыми-пресветлыми, глубокими, и он почувствовал, как тонет в них. Как будто поддразнивая его, она не сразу продолжила:

— «Надо, — говорит, — чтобы пригласил. Ты, мамка, не жди, сама скажи...» Вот я и принарядилась...

— Как зовут твою дочь?

— Лилей.

Совка видела: имя ему понравилось.

— Давай так сделаем: позовем твою дочь и пойдем к нам... Все хорошо будет, — постарался он заранее успокоить ее.

— Надо подождать, — сказала Совка.

Странно прозвучали ее слова — будто тринадцати лет не было, будто они не расставались, будто не было Совкиной свадьбы, истории с уздой, и никуда он не убежал, и стоят они друг перед другом не в пятьдесят пятом году, а в сороковом или тридцать девятом!

Все три дня после приезда у Федора было ощущение, будто он тонет в родной реке... Еще тогда, подростком, ему нравилось, как пронзительно вскрикивают на реке девчонки. Он всегда подплывал ближе, если среди них была Совка. Он знал — подплывать к девчонкам небезопасно: продолжая все так же вскрикивать, они начнут смеяться, кинутся к бессовестному и, поднимая сильными ногами столбы брызг, радугой вспыхивающих на солнце, окунут его с головой, так напоят теплой речной водой, что надолго отобьют охоту подплывать и подсматривать. И вдруг прекратятся их голоса, как будто зовущие о помощи...

Спрашивается, чего вот только что кричали? Заманивали? Зачем? Чтобы посмеяться? Или еще для чего-то?

Совка тоже вспомнила то время и пожалела, что оно уже не вернется. Они оба поочередно вздохнули.

Была какая-то безысходность в их отношениях: вот только что казалось, все идет к тому, что они поймут или уже поняли друг друга, и неизвестно откуда появляется между ними невидимая стена.

Не понимая, что происходит, он спросил:

— Я не обидел тебя, Совка?

— А чем ты меня мог обидеть, Федя?

Он поспешил ответить:

— Хотя бы тем, что за три дня ни разу не зашел, — мне-то было легче зайти.

Ведь ждала?

— Ждала, Федя. Только не легче тебе было... Я думала, на всю жизнь рассердишься...

Лиля стояла в проулке и, загораживаясь рукой от солнца, смотрела в их сторону, не понимая, о чем они так долго говорят возле школы и почему не идут на реку, где так шумно и весело, вода теплая, и ни за что не усидишь на берегу! Все встречи, считала Лиля, происходят на реке, и она сейчас пойдет к мосту и обязательно с кем-нибудь встретится... Она бы сначала подошла к мамке и такому симпатичному дяде Феде и постояла бы с ними, но боялась им помешать. Ах, как интересно ей послушать, о чем они говорят!

Лиля засмеялась, когда обнаружила, что ноги сами несут ее к реке. Она еще раз весело оглянулась на школу и скрылась в проулке.

Совка медленно стала говорить:

— Мне иногда кажется, Федя, что никаких мужей у меня не было, что все это мне приснилось, а были только кукушкины сапожки... Ты и кукушкины сапожки... Как будто наворожили друг другу: тебе в сапогах ходить поскрипывать, а мне всю жизнь ковать...

— Совка, милая, ты же знаешь: дело не в кукушкиных сапожках, а в нас самих.

— И я так думаю, Феденька... А другой раз почувдится... будто кукушкины сапожки во всем виноваты! Ты не подумай, я и сейчас мимо этих цветов спокойно не могу пройти: хоть один, да сорву... Да они у меня на окошке стоят! Будешь идти, увидишь. Что же это такое было? — у самой себя спросила Совка. — Дня три или четыре не принесешь, так я места себе не находила... Отец с матерью не знали, что со мной делать: куда ни шагнут — везде кукушкины сапожки! Не из чего воды попить было! Они их потихоньку, чтоб я не видела, выбрасывали...

13

Мой отец через каждые полчаса, а когда пошло далеко за полночь, через каждые десять — пятнадцать минут спрашивал, слушаю ли я его, а один раз заставил меня повторить, на чем он остановился.

Я слово в слово повторил.

Он остался доволен и с волнением, которого я не видел, а только почувствовал по тому, как он не мог найти пачку папирос, лежавшую ночью всегда на одном и том же месте — на подоконнике, не сразу достал спичку из коробка и глубоко, с жадностью сделал первую затяжку, а потом, успокоившись или о чем-то задумавшись, молча и долго курил. А я лежал и думал: я молод, свободен, вот уже столько лет Совка (а теперь и ее дочь Лиля!) не выходит у меня из головы... Надо было немедленно бежать на Бадонки, наконец-то встретиться и рассказать им все начистоту! Неужели бы Совкина дочь не оценила, что я полюбил ее, ни разу не видя, а только по рассказам отца?! Ну, хорошо, оправдывал я себя, зачем бежать ночью, когда можно пойти днем? Что от этого изменится? И даже не пойти, а съездить на машине или на мотоцикле! Это же совсем немного времени: всего-то час, ну два, если дорога очень плохая!

Постой-постой, а почему все-таки не ночью? Ну-ка, ну-ка... Боишься? Чего? Сейчас скажу чего.

Дорогу-то я знал — раза два подростком ездил с отцом на мельницу.

Побоялся я бежать ночью, наверно, из-за раненого медведя...

Сейчас ведь палят по всему живому: в самый разгар лета не щадят ни зверя, ни птицу... И я, стрелявший по птицам всего один день (был у меня в жизни такой день), я, убивший всего одну птицу из тех, по которым обычно не стреляют, был уверен, что та птица не прощена мне, ее предсмертный крик я нет-нет да иногда слышу. И обязательно мне за нее отомстит как-нибудь раненый медведь...

Или это была обыкновенная трусость — бежать ночью по тайге? Или я поверил отцу, что Совкиной дочери не нужен такой, как я? Или боялся разочароваться в Совке и Совкиной дочери — вдруг она окажется как все, то есть обычной деревенской девчонкой с накрашенными глазами и пышной прической?.. А может, я начал привыкать к более спокойной жизни? Или еще что-нибудь хуже?.. Почему, прежде чем сделать что-нибудь, совершить какой-нибудь поступок, я на сто рядов все передуваю: всего-то дела иногда, суший пустяк, а я держусь, как будто мне битва при Ватерлоо предстоит? Нередко я заранее настраиваю себя на поражение — вот как с Совкиной дочерью. Одним словом, человек я не очень-то уверенный в себе.

Ума не приложу, откуда взялась эта неуверенность?! В семье у нас никого таких нет: каждый отлично знает, что он делает, что ему нужно. А я свою личную жизнь не могу устроить! С красивой девчонкой лень познакомиться! Тут одних мечтаний недостаточно: тут надо действовать, а не рассуждать! Уж если отец сказал, что Совкина дочь не пойдет за меня, значит, он хорошо знал меня и был уверен, что никуда я не побегу... И вот это для меня самого загадка! Знаю, что надо не идти, а бежать, сейчас же, а я лежу, слушаю, переживаю, проникаюсь — и не больше. А может, потому и слушаю с интересом про Совку и Федю, про Игната и Аграфену, про лейтенанта, что люди эти характер имеют! Да и мой отец тоже. А вот я...

Мне хотелось поскорее узнать, чем же все кончилось, да и время приближалось к утру, и я спросил:

— Совка вышла за Федю?

Я услышал, как прозвенела тонкая металлическая крышка от баночки из-под конфет, на которую отец положил папиросу, а ответа не было.

«Наверное, не хочет заскакивать вперед, — подумал я, — будет рассказывать все по порядку...»

Но я ошибся.

До меня донеслось всего одно слово, произнесенное коротко, решительно и с огорчением:

— Нет.

— Но почему?

— А этого в трех словах не расскажешь... В этом-то и вся история...

— Какая история? — Я огорчился, наверно, не меньше, чем отец. Он это почувствовал и уже более мягким голосом сказал:

— А ты подумай.

Я долго молчал. Мне пришла в голову странная мысль: может, отец закончил так, за что-нибудь рассердившись на меня? Все у них должно было наладиться, уж, кажется, больше им ничто не мешало! Федя любил Совку... Да и Совка не была к нему равнодушна... Вдруг стало обидно, что отец не приукрасил конец, даже если у Феди с Совкой ничего не вышло. Неужели ему трудно было?

— Ничего не понимаю, — сказал я. — Она что, совсем его не любила?

— Уж если она кого любила, так только Федю, — нисколько не сомневаясь, сказал отец.

Утром солнце светило во много раз ярче, трава и деревья были зеленее, небо — глубже и синее... Делал я все быстро, как будто боялся куда-то опоздать. Что-то изменилось во мне после рассказа отца!

А он как ни в чем не бывало спокойно позавтракал, так же спокойно переговорил с матушкой и ушел в бригадную контору узнать, какая у него сегодня работа. А потом и матушка ушла на поле. В воротах оглянулась, долго смотрела на меня, губы ее едва заметно шевельнулись, и она медленно-медленно закрыла скрипнувшие ворота. Что она хотела сказать мне, но так и не сказала?

Я стал смотреть из ограды за реку — в ту сторону, где за холмами, в лесной чаще, живет Совка. Напротив нашего дома, за вторым мостом, отдельные сосны и лиственницы поднимаются над лесом и кажутся великанами, сторожащими свои владения. На одной из раскидистых, богатырских сосен с засохшей вершиной на той же самой голой ветке сидит старый коршун — как будто со вчерашнего дня никуда не улетал. Стена леса вдоль болота чуть не до самых вершин с высокой тенью, деревья — темно-зеленые; следующий выступ леса — еще более темный, а сверху лес освещен, сверху лес радостный, веселый, стволы сосен ярко блестят на солнце, и кажется, что они сами излучают свет. Небо чистое, только на юго-западе виднеются узкие, одно над другим, размытые, неподвижные облака. В замкнутом пространстве над болотом, между стенами леса, виден островок темного леса; за этим островком, похожим на древний замок, полукруг замыкает дальний лес, и в углублении, с обеих сторон, лес-замок вровень с вершинами окутан синеватым дымком — как будто кто-то берет неприступную крепость. Неслышно палят пушки, и дым все плотнее окутывает замок. Стоит приглядеться, и начинаешь видеть вспышки далеких выстрелов...

Оставшись один, я полил огурцы на большой гряде возле колодца, наносил воды, подмел лужайку возле дома, на тележке вывез сор в яму около реки. Не зная, куда девать силы, взялся расколоть комлевую, всю изогнутую, скрипящую при каждом ударе топора березовую чурку. Много на ней старых зарубок, отколотых щепок, чурка похожа на каменную. Поленья получались винтовые, каждое из них я под конец с трудом отдираю от последних желтоватых волокон. Мне непременно надо было справиться с брошенной чуркой...

Я все больше чему-то радовался и все чаще оглядывался по сторонам, словно подыскивал себе занятие потруднее, но ничего особенно трудного не находилось — все мне казалось легким, и я понял: сегодня пойду на Бадонки! Не выдумал же я мое чувство — так же, как отец не выдумал эту историю, прекраснее которой я ничего в детстве не слышал! Это была тайна, с которой я никогда не расставался и настолько привык к ней, что порой мне казалось: что-то такое я знал об этом раньше, еще до рассказа отца! И вот мне важно было не потерять эту тайну, не разменять ее... С сегодняшнего дня буду поступать, как подсказывает мой голос, — я поверил в себя, поверил в Совку и всегда буду верен ей, даже если она всего лишь посмеется надо мной! Это я уже говорю о ее дочери Лиле...

Но почему — посмеется?

Я, конечно, не красавец, но иногда бываю настолько недурен, что одна молоденькая женщина, выходявшая замуж в третий раз и от этого несколько не сделавшая хуже, как-то заметила — мы в это время прогуливались с нею по берегу Ангары, — что в профиль я похож на адмирала Нельсона. Я раздобыл портрет прославленного адмирала и в самом деле нашел некоторое сходство между нами, правда, только в профиль. Но с меня и этого было достаточно. Почему мне вспомнился Нельсон, нетрудно догадаться: мне нужна была уверенность!



Итак, я иду!

Грохотал, дребезжал под гору ходок, в нем сидели мужчина с женщиной. Разогнавшись, лошадь бежала через стлань. Рядом с колесом, ни на шаг не отставая, бежала рыжая собачонка. Хвост у нее колечком, морда веселая — рада, что хозяева взяли с собой в лес.

— Я иду-у-у! — крикнул я березам, соснам, дороге и птицам, пролетающим надо мной. Не думал, что именно эта дорога будет для меня самой желанной, самой необходимой... Я не понимал, почему иду только сейчас, — где же я был три года назад, четыре, пять?

Я шел тогда, объятый зелено-голубым миром, и благодарил Совку, что она помогла мне ярче увидеть красоту полей и дорог, леса и неба над его вершинами...

Расскажу Совкиной дочери все с самого начала. Она, конечно, сначала не поверит, а я буду рассказывать — о том, как давно знаю и люблю ее. Она удивится и, может быть, придет в такой же восторг от моего рассказа, как я — от рассказа отца!

Жадно всматриваясь в каждый поворот дороги, старался угадать, что же за этим поворотом: какой лес, какое поле и даже какие облака? Я как будто смотрел старый фильм, который видел очень давно и который мне понравился, хоть я в нем ничего не понял, только смотрел, радовался и не мог произнести ни слова. Помню, как отец с улыбкой поглядывал в мою сторону, довольный, что взял меня с собой. Вот сейчас, думал я тогда, задохнусь от каких-то неясных ощущений, от чего-то, что ждет меня впереди! В этом сказочном мире мне предстояло совершить какой-то героический поступок, за который меня будут все любить. Какой поступок — я тогда не знал. Теперь догадывался: я хотел полюбить всех, хотя бы понять, это и было бы моим героическим поступком, и не надо заботиться о том, чтобы и меня все любили, — это лишние хлопоты.

Или нет, ни о чем я тогда не задумывался, просто был самым счастливым человеком на земле. И вот оказывалось: чтобы сделаться счастливым, мне надо единственное — понравиться Совкиной дочери!

А если у нее есть жених?

А если она замужем?

Почему я ни разу об этом не подумал?

Дорога прямая, узкая, деревья сомкнулись сверху, и я шел по бело-зеленому коридору из берез и сосен; за стволами едва заметно заголубело маленькое круглое пятно; оно скоро превратилось в густо-синее, и я понял, что подхожу к реке. Издали несколько сосен у дороги кажутся красными. Ближние сосны отодвигаются — и мгновенно открывается вид на реку. И вот уже виден на том берегу высокий дремучий лес, поднявшийся тремя уступами и замкнувший небо, и кажется, что дальше дорога никуда не ведет.

У горизонта накопилось облаков, они обходили солнце, не приближаясь к нему, — держали путь на север.

Четкие косые тени деревьев пересекали дорогу.

Синий коридор над заросшей дорогой сузился, сошел на нет, и посветлело впереди закругленным лезвием широкого охотничьего ножа — это дорога сделала крутой поворот, и мне какое-то время казалось, что я иду не на Бадонки, а домой. У самого леса над черной водой — ослепительно белая прерывистая цепь солнечных вспышек. Вспышки будто плыли, но когда я пригляделся, то увидел: они качаются на волнах на одном месте, движутся только волны. Вспышки играли, манили к себе, но только обратишь на них внимание — исчезали. Река блестела от берега к берегу треугольником, острие которого кончалось возле моих ног. Я шел, и сверкающий треугольник двигался вместе со мной.

Я разглядывал Тагну, бежавшую из Совкиных краев, из предгорий Саян, и радовался, что родился у этой же реки, и так же, как Совкина дочь, в хороший день вижу далеко за лесом зубчатые вершины Саянских гор...

Дорога, по которой я шел, осталась в моей памяти с детства, и я узнавал ее то в одном, то в другом месте. Как меня околдовывало это узнавание: Совкина дочь ходит по этой дороге, где-нибудь вот здесь собирает грибы или ягоды!.. Один раз мне почудилось, что она стоит за деревьями с распущенными волосами — только что искупалась в реке и не успела одеться, — но в следующее мгновение ока уже в легком сарафане промелькнула за другими деревьями... Я слышал ее затаенно-глубокий, зовущий смех, прошел вглубь леса, откуда снова послышался смех, но там никого не было. Что-то похожее еще мальчишкой я слышал в нашем лесу недалеко от деревни, когда собирал в березовый чумашек темно-красную морошку... Тогда, я помню, долго сидел на кочке, не зная, что делать: и морошку жалко бросать, и собирать боязно — как будто у кого-то воруеть...

Когда до Бадонок осталось километра два, я пошел медленнее, останавливался, чтобы лучше рассмотреть все, что окружает деревню. Каждая береза, сосенка, кедр, куст лозняка или черемухи, пень около дороги казались мне до того милыми, что я дотрагивался до них. Даже кочки на болоте казались мне особенными. Камыши высокие, ярко-зеленые, не то что у нас! Ручейки, ямки с водой между кочек были для меня самыми чистыми, и я несколько раз напился из них. Вода конечно же пахла болотом, но никогда ничего вкуснее я не пил!

Из-за леса вдруг раздалась песня из одних женских голосов. Песня быстро приближалась, и я увидел: на двух фургонах бадонские ехали с покоса. Впереди, слева, виднелась луговая дорога из множества черных тропинок, протоптанных скотом; она выходила на песочную, с прибрежными камнями дорогу, по которой я шел. Хотелось увидеть поющих женщин, и я прибавил шагу. Оба фургона проехали впереди меня. Я жадно всматривался в лица, но было далековато, и в каждой женщине и девчонке мне чудились Совка и ее дочь... Выехав на дорогу, круто поднимавшуюся в гору, лошади пошли шагом, песня смолкла. Женщины о чем-то оживленно поговорили, и я снова услышал последний куплет:

*Замела следы его метелица,
Не слышать ни песен, ни шагов,
Лишь одна, одна дорожка стелется
Посреди нанесенных снегов...*

Я сразу же полюбил женщин, весело смотревших в мою сторону, их песню, которую слышал в нашей деревне еще мальчишкой, и то, как празднично выехали они с луговой дороги, ярко освещенной солнцем.

Одна из женщин, чернявая, молоденькая, делавшая вид, что хочет соскочить с фургона, звонким голосом позвала меня на цыганский манер:

— Не скучай, молодой, интересный, садись к нам! Догоняй, что ли?!

— Горя знать не будешь! — пообещала другая, сидевшая с ней рядом.

— У него, поди, своя есть, а то бы он припустился за нами! — отозвалась третья женщина.

Но чернявая, одетая ярче других и роста маленького, очень уж задорная, перекричала всех и снова позвала меня, указывая на место с собою рядом. На фургоне засмеялись и запели какую-то незнакомую песню. Я, сколько ни вслушивался, не мог разобрать ни одного слова. Мотив у нее был разудалый, он как бы продолжал разговор, который женщины только что затевали со мной.

Я скоро отстал, жалая, что не воспользовался приглашением.



Совкин дом я узнал издалека: он стоял на краю деревни, в лесу, среди старых сосен, которые каким-то чудом уцелели здесь. И несколько берез, тоже старых, сохранились! Дальше шел мелкий, вырубленный лес с огромными, не успевшими состариться пнями. И сосны, и березы, скрывавшие дом, невольно привлекали к себе внимание, заставляли остановиться; так и казалось: они приглашают отдохнуть в их тени на старой, глубоко вросшей в землю скамейке! А потом из дома выйдет красивая молодая хозяйка и приятнейшим голосом спросит: издалека ли я и куда держу путь? Я буду долго пить холодную колодезную воду, отрывать от ковшика и восторженно смотреть в ее приветливые, ожидающие глаза... Может быть, так начнется мое знакомство с Совкиной дочерью?

Я сел на скамейке в тени березы и стал смотреть на дом. Красноватая железная крыша, водосточные трубы, высокое крыльцо, большая ограда — все, как рассказывал отец. Да и я стал припоминать этот дом: я его принял за школу, когда мы с отцом, двадцать лет назад, проезжали мимо. И беседка была, но только покосившаяся, с почерневшей, полуразрушенной крышей, и это сильно огорчило меня: почему никто не отремонтирует беседку? Сразу войти в дом я не решался и рассматривал: высокое крыльцо с подновленными перилами, которые уже никто не собирался красить. Беседка стояла метрах в пятидесяти от дома, вокруг нее замерли от предвечернего зноя березы и сосны, возле которых прошла какая-то другая жизнь...

Мне жаль было этой ушедшей жизни! Скоро и беседки не останется, кто-нибудь вырубит деревья, доржавеют водосточные трубы, и уже ничто не будет напоминать о тех днях. Мне казалось, что я слышу веселый смех, который когда-то раздавался из беседки, вижу старшую Совку, тогда еще совсем молоденькую, в соломенной шляпе с широкими полями, проходившую мимо беседки или стоявшую здесь, что-нибудь говорившую кому-то или что-то отвечавшую... Мне врезалась в память ее соломенная шляпа с большими полями, какой, как утверждал отец, ни у кого в деревне не было, и когда она ее надевала, то от Совки не то что глаз оторвать нельзя — это само собой, — а удивительно было, что она живет не в большом городе, а в маленькой, никому не известной деревушке, и мой отец по этой причине восхищался ею еще больше и во время своего рассказа сделал еще одно замечание, которому не поверить нельзя было: в Совке таилось много талантов, она не давала им выхода и, наверное, из-за этого больше всего и страдала...

Первым делом я привел бы в порядок беседку, покрасил перила, сменил на крыше покоробившиеся листы железа, водосточные трубы...

Меня тянет к моей прежней жизни в деревне, мои руки соскучились по самой простой деревенской работе, но я завяз в городе и не знаю, как из него выбраться. Я занимаюсь там не своим делом, вся моя городская жизнь сплошной обман и выдумка. Надоело мне жить в большом городском доме, в маленькой квартире, с незнакомыми людьми! Наверное, муравьи из одного муравейника больше знакомы друг с другом, чем я с жильцами в моем подъезде, один из которых усиленно курит по вечерам на лестнице и бросает окурки под мою дверь... Я даже не знаю, как он выглядит, а только слышу через стену его сердитые шаги, а в одиннадцать, когда звуки в доме стихают, в его квартире начинает грохотать какая-то несуразная музыка, записанная на магнитофонную ленту. Но не слышно ни живых голосов, ни танцев под эту музыку, и тогда начинает казаться, что я живу в пустыне, а музыка напоминает чудовищную грозу, после которой не бывает дождя.

Мне говорят: привыкнешь, никуда не денешься. Но зачем привыкать?

Я снова огляделся, прошел по дорожке к крыльцу, увидел, что дом на замке, и вернулся к беседке.

Спрашивать, где Совка, где ее дочь, ни у кого не хотелось: пусть Совка с дочерью будут первыми, с кем я заговорю на Бадонках! Узнавать о них что-нибудь я тоже не хотел. Да и что могут рассказать о них односельчане, когда я сам знаю больше. Совка с дочерью даже не представляют, какого защитника нашли во мне! Конечно, если это им потребуется...

Я все поглядывал на высокие, глухие ворота, и вдруг услышал откуда-то из леса певучий и, как мне показалось, тревожный голос. И все стихло. Волнение, какого я давно не испытывал, охватило меня. Я весь обратился в сторону леса, стараюсь уловить каждый звук, каждый шорох, которым заранее придавал какое-то особенное значение. За стеной сарая послышались чьи-то легкие, торопливые шаги, и непонятно было, в какую сторону они исчезли. Затем до меня донеслись странные шорохи — как будто какая-то птица, касаясь большими крыльями гладкой стены сарая, взлетела на крышу или на сосну, стоявшую близко к сараю. Я невольно взглянул наверх, но там никого не было. Я знал: в Совкиной роще, в дуплах старых берез и сосен, живут большие птицы, и немало их прилетает сюда из ближнего леса. Начнет темнеть — и сова или филин подадут свой голос... «И вот уж кому раздолье на краю деревни — летучим мышам! Здесь их, должно быть, сотни!» — подумал я. Мне всегда было интересно наблюдать, как они бесстрашно летают в темноте, но мало приятного, когда летучая мышь, кажущаяся ночью огромной, ненужно страшной посланницей из какого-то исчезнувшего мира, вот-вот сядет или уже села на твою белеющую в темноте рубаху... И сколько нужно смелости — ведь ты еще мальчишка! — любопытства, непонятного азарта, мгновенного прозрения, чтобы понять: летучая мышь беззащитна, и не надо стряхивать ее с себя, тем более ударять... Я один раз выдержал и долго хвастался этим...

Все тот же тревожный, проникающий в сердце голос раздался из Совкиной рощи. Это был, конечно же, человеческий возглас, таинственный, как крик ночной птицы... Такого мелодичного, проникновенного голоса я, кажется, ни разу в жизни не слышал и, может быть, не услышу никогда!

Я просмотрел, когда девушка спрыгнула с высокого заплота. Качались цветущие тарелки подсолнухов, среди которых она стояла, и я мгновенно почувствовал себя виноватым: я что-то нарушил, вторгся в чужую жизнь. Эти и еще какие-то смутные мысли захлестнули меня, и я стоял, наверное, растерянный не меньше, чем она.

Что ее удерживало подойти ко мне?

И тут же она исчезла...

Мне даже на миг показалось, что никого не было... Но все еще, как будто осуждая меня, желтыми головами качались на широкой гряде подсолнухи и такая же высокая крапива возле заплота...

Хлопнула за углом дома калитка на огороде, и передо мной выросла до изумления стройная девушка в зеленом сарафане, сильно расширенном книзу. Я сравнил ее сарафан с маленьким парашютом, на котором она только что спустилась на землю если не с облаков, то с высокого добротного сарая... На загорелых ногах синие матерчатые туфли — точно такие же, как у моей младшей сестренки, и на сердце у меня сразу же сделалось теплее. Грудь девушки высоко поднималась, взгляд — спрашивающий, и я догадался: кто-то ей сказал про чужака, она чего-то испугалась и бежала всю дорогу.

Я извинился, что зашел не вовремя да еще расположился в чужой ограде как в своей. Сказал, что известия у меня самые хорошие.

Девушка продолжала смотреть на меня с недоверием

«Неужели они ждут какой-то беды?..»

Всеми силами души мне хотелось отвести от этого дома любое несчастье.



Она вдруг успокоилась, и моя тревога уменьшилась, а потом и вовсе... не исчезла, нет, а заслонилась радостью встречи с Лилей.

Я несколько не сомневался, что передо мной Совкина дочь, но все-таки спросил:

— Ты — Лиля?

— Да-а.

— Вы сейчас ехали с покоса?

— Нет, я была на ферме. А потом пасла телят возле речки. А потом...

Лиля не стала дальше говорить, отчего-то смутилась, но быстро справилась с собой, вприщур посмотрела на меня, слегка наклонив голову к плечу, и, словно под защиту, отступила к старой березе с огромными полусохшими ветвями с мелкими листьями, дотронулась ладонью до ее толстой потрескавшейся коры, глянула наверх, как будто хотела понять, долго ли еще жить березе.

«Уж не ее ли я видел перед Бадонками только что испугавшейся и промелькнувшей среди деревьев?. И сарафан был, кажется, точно такой же... Как быстро она его набросила на себя...»

Что-то дикое, я хочу сказать, свободное было в ней.

Она засмеялась, заметив мою неловкость, и я, не преувеличиваю, потерял дар речи, когда она подошла ко мне: какое там в невесты — поговорила бы, и то ладно! А как хотелось сейчас же сделаться своим Лиле, ее таинственному дому, непохожему на другие дома, и старому лесу, окружавшему их усадьбу!

— Вы к нам? — спросила Лиля, и уже в самом ее голосе было приглашение.

Я кивнул. Мне показалось, что я и в самом деле разучился говорить. Кивнул еще, наверно, вот почему: с Лилей надо говорить по-особому, а как — я не знал: все слова казались мне неточными, приблизительными, бесцветными...

В ее движениях и в глазах иногда как будто проскакивала короткая разноцветная молния и ослепляла меня. Я никак не мог отделаться от этого странного ощущения и успокоил себя тем, что эти короткие молнии — от ее молодого тела, от синего неба, от солнца, бросавшего на землю красноватые лучи, от которых и река, и стекла домов, и дрожащий воздух, прогретый за день, как никогда, казались праздничными, обещавшими, что завтра снова будет такой же хороший день.

— Я вас где-то видела...

От ее слов тепло разлилось по моему телу. Но ведь этого не могло быть!

— Ты, Лиля, видела, наверно, моего отца... — Она веселее взглянула на меня.

Я продолжал:

— Мой отец часто приезжал к вам на мельницу и меня иногда брал с собой. Но тебя тогда еще не было... Хотя мне кажется, что ты всегда была. А меня, можно считать, совсем не было, пока я не услышал историю о Совке, а потом о тебе.

Сказал-то я искренне, из самой глубины сердца, но что-то не понравилось мне в моих словах, и я, огорчась, что поторопился с признанием, как бы выставил наружу самое сокровенное, ждал, что скажет Лиля,

Я не зря боялся: она меня тут же посадила в лужу, иначе это и не назовешь.

— О том, как вы говорите, я читала в книге, только не помню в какой. Может, в кино слышала...

Меня охватила тоска.

— Ты не любишь кино? — спросил я, потому что сам чуть не на каждый фильм, который мне понравился, ходил по два раза: выхожу с сеанса и сразу же, если достану билет, иду на второй. Это у меня, наверно, еще с детской привычки осталось. Но тогда я и по три раза смотрел и находил радость в том, что знал, что

за чем идет и кто что скажет. Знал, где начнется музыка и где она кончится. Заспорившие после кино мужики нередко обращались ко мне за помощью: надо было подтвердить — говорил или не говорил какой-нибудь герой такие-то слова и почему поступил так, а не иначе. Я мгновенно отзывался на такую просьбу, шел рядом со взрослыми и чувствовал себя очень нужным человеком. Кончался спор, я еще некоторое время плелся за мужиками, а потом присоединялся к своим ровесникам, ревниво относившимся к моему временному авторитету у взрослых и даже иногда говорившим: «Чего же ты отстал? Иди с ними». И тогда я шел один и в это время уже оказывался среди тех, кто был младше меня. Они, сами того не зная, крепко выручали меня. Лиля долго обдумывала ответ и наконец сказала:

— Если в кино нет леса или хотя бы одного дерева — такого, как у нас, — то не люблю.

— А если в кино хорошая речка?

— Тогда на берегу должен быть лес, — с прежней настойчивостью сказала Лиля.

— А если речка в цветущей степи и поблизости ни одного дерева?

— Я не могу без леса, — сказала она и своей нежнейшей рукой снова погладила старушку березу с темно-зелеными листьями, вдруг начавшими тихо шелестеть вверх, будто отвечавшими ей.

Я отошел к беседке.

Она не села ни рядом со мной в беседке, ни поодаль, где под соснами тоже была скамейка и тоже старая, на которой я сидел перед этим, а остановилась на лужайке, ярко освещенной солнцем, и, казалось, не на меня смотрела, а слушала сильнее зазвучавший к вечеру хор кузнециков.

— Вам что, нравится сидеть в беседке?

— В городе, Лиля, я как-то не замечаю беседок, а в вашей я бы каждую свободную минуту сидел и о чем-нибудь думал или с кем-нибудь говорил...

Я со значением посмотрел на нее, давая понять, что конечно же думал бы я только о Лиле и говорил бы только о ней.

Лилина красота оказалась еще более неожиданной, чем я мог себе вообразить. И дело не в том, какие у нее нос, рот, губы, фигура, — меня сразу же околдовало выражение ее глаз, которые были не зелеными, как у матери, а черными, — именно такие глаза сравнивают с омутом! Если бывает светлый омут, самый глубокий и самый светлый... Они казались огромными из-за своего выражения, из-за блеска, из-за недосказанности!

— Лиля, ты не поверишь, но я люблю ваш дом, беседку, березы и сосны очень давно.

— Любите? — Она зашла с другой стороны, внимательнее и строже посмотрела на меня. — Дом, беседку, березы и сосны... — повторила она. — Как же вы их любите, если, наверное, не помните?

— Мне вчера отец рассказывал про ваш дом еще интереснее, чем в первый раз!

Лиле что-то не понравилось.

— О нас много чего говорят... Мы уже привыкли...

— Отец мне всю ночь рассказывал.

— Всю ночь?

— Если бы ты слышала, как он рассказывал!

Лиля не удержалась и присела на краешек скамейки, с которой я только что поднялся.

— И обо мне тоже? — спросила она.



— И о тебе.

— А что он мог рассказать?

— Он уверен, что ты на меня даже смотреть не захочешь...

— Почему?

— Настолько ты красивая...

— Да ну-у, я такая же, как все. Вот мама у меня красивая... Только ей всю жизнь не везло, — Лиля заглянула мне в глаза и сама чего-то смутилась.

«Если она смущается, — подумал я, — то, может, не все потеряно?»

— Садитесь, — пригласила Лиля, — а то неудобно: я ведь моложе вас...

Я без особой радости сел.

— А вы не сказали, зачем пришли.

И тут я окончательно понял: ни за что не смогу вот так сразу рассказать обо всем! Это надо встретиться несколько раз и говорить, говорить, говорить. Чтобы Лиля поняла, зачем я пришел, что я чувствую и что я понял за эти последние два дня, понадобится... То есть мы не должны вообще расставаться с нею! Но разве я мог сказать об этом?

Я знал: есть любовь с первого взгляда, — и даже начал склоняться к тому, что только с первого взгляда и бывает Любовь, а не постепенная, с какими-то узнаваниями, выжиданиями, когда и чувства-то никакого нет, а так, одна видимость, обман себя и других. Удивительная вещь получалась: на самом-то деле я умнее, а говорю иногда такие глупости, что сам же себе противен, и не могу понять, отчего это происходит: почему я говорю не то, что хочу, и не то, что думаю? Почему я надеюсь, что потом скажу, когда-нибудь? Время-то сейчас быстрое, а я живу так, будто мне отпущено лет двести, самое малое!

Лиля, наверное, думала, я молчу, потому что сказать мне нечего, а я не мог говорить, потому что слишком многое надо было сказать.

— Мне еще в детстве понравился рассказ отца о Совке и Феде, и я пришел.

— Зачем?

— Увидеть вас. Вчера я вдруг понял: если не увижусь, не поговорю с вами, то жизнь моя будет неполной, даже более того — бедной.

— Это правда?

— Чистейшая.

Чего-то не понимая, а может, все понимая, Лиля предупредила:

— Не смотрите так долго в глаза.

— Мне нужно запомнить, какие они у тебя.

— Разве не видно, что они у меня черные?

— В рассказе отца есть одна неточность...

— Какая?

— Что у тебя глаза зеленые...

— Поняла-поняла: он — по маминым глазам...

— Но, по-моему, это не он, а я так подумал: Совка и ты — для меня иногда одно и то же лицо... Ведь он рассказывал вчера о Совке, когда ей было столько же, как тебе сейчас!

— Интересный у тебя отец: мы незнакомы, а он рассказывает... Значит, хорошо к нам относится... Надо у мамы спросить, может, она его знает.

Я поколебался и сказал:

— Он знаком был с Игнатом Редчанковым: останавливался у него ночевать!

Лиля нахмурилась,

— Мама не любит об этом рассказывать и говорит, что никто ничего не знает.

И тут у меня сорвалось с языка

— Она про кукушкины сапожки говорила?

В Лилиных глазах как будто сверкнула коротенькая молния.

— Это ее любимые цветы. Но только не мои. А вы откуда знаете?

Мои слова произвели обратное действие: Лиля не засияла, а даже как будто вся сжалась, как-то уж очень холодно взглянула на меня. Все же было что-то в этой истории запретное.

А может, ей нелегко разговаривать со мной? Я уловил ее недоверчивый взгляд, особенно когда гладко говорил, будто по книжке. Но что делать, если я столько читаю! И в этот свой приезд я захватил томик Толстого, в котором «Казачьи» и «Два гусара». Трижды я читал их в городе. Но совсем другое дело прочитать эти две повести в деревне, на покосе около своего дома, среди солнца и воздуха, трав и цветов, гудения пчел и бесчисленных мушек, больших и маленьких черных муравьев и даже красных, добравшихся сюда из леса! Сильнее пригревает солнце, и ты явственно начинаешь слышать голос самого Толстого, его призыв любить все живое, и вежливо смачнешь надоедливо настойчивого комара, осторожно, чтобы не раздавить кого-нибудь в траве, пересядешь от солнца, участливо подумаешь: сможет ли красный муравей отыскать дорогу и вернуться домой? Ведь для этого ему надо преодолеть, самое малое, полкилометра высоченной луговой травы и осоки или суметь, не блуждая, выбраться через покосы к стлани и, подвергая себя опасности, двинуться домой по глинистой дороге, по которой идут люди, коровы, едут машины... А если муравей угадает под дождь? На стлани через болото и засыхающую речку нет ни одного дерева, и укрыться можно только под мостом, если муравей окажется от него поблизости...

Оторвешься от книги, чтобы порадоваться на окружающий мир, который ты недооценивал, а великий писатель помог тебе, — и жить захочется сильнее, чем прежде! И с такой неохотой закрываешь книгу — много дел, хоть покос еще не начался.


Я зачитываюсь нашим девятнадцатым веком! В двадцатом я тоже нашел для себя хороших писателей, и предпочтение отдаю тем, кто подражает классикам. Мне нравится в литературе неторопливость, основательность, глубина, и уж что-что, а свою неторопливость я вынес оттуда.

Не успел я об этом подумать, как Лиля чему-то улыбнулась — конечно же моей неторопливости! — и пригласила меня в дом.

16

Клонившееся к верхушкам деревьев солнце отражалось в окнах и своим ослепительным блеском делало все еще более загадочным и радостным.

Меня поразила картина, по всей вероятности, художника-любителя, висевшая, как зайдешь в дом, слева, над кроватью, застланной покрывалом, будто сотканным из разных цветов и листьев, какие можно увидеть в Сибири на нескошенном лугу. На картине Совкин дом с красноватой железной крышей, с низко опущенными над землей водосточными трубами. Дом окружают сосны, на которые я только что смотрел в ограде; стволы у них под цвет домашнего сливочного масла, и от этого сосны кажутся новенькими, взявшими и сразу выросшими! В углу просторной ограды столпились молоденькие березки, напоминая девчат в белых фартучках и зеленых платочках, собирающихся пойти в гости к соснам или еще что затевающих. На них задумчиво смотрят старушки березы, но подойти к беспечному хороводу не решаются: они и тем довольны, что хорошо молоденьким березкам! По



двору с полным ведром идет красивая женщина... У художника столько любви к дому, беседке, деревьям, что сразу же понимаешь: это все из-за красивой женщины! Что-то древнее, вечное виделось в этой картине: дом среди старых сосен, поблескивающие от утренней росы крыша и лужайка, на которой что-то старательно клюют куры — наверное, хозяйка сыпанула им горсть зерна; колодец с почерневшей драньевой крышей и с бадьей, сохнувшей на краю четырехугольного сруба; пролетающая вдалеке большая птица, скорее всего ворона; плотная изгородь, скрывающаяся за стволами берез, сосен и пересаженных из леса кедров... И в центре этой утренней картины — женщина с ведром, все собой оживляющая! И все освещено яркими лучами невидимого солнца! И никак не отделить Совку от дома, от колодца с маленькой двускатной крышей, от поблескивающих росой листьев деревьев, от летящей птицы — для меня все это было вместе, одно не существовало без другого... Лиля — не из-за моего ли внимания к картине? — тоже не удержалась и долго смотрела на свою усадьбу, так удачно нарисованную художником, потом, не сказав ни слова, скрылась за высокой перегородкой на кухне, зазвенела посудой, и только тут я вспомнил, что весь день ничего не ел. В двух деревнях — Артухе и Черемшанке — жили мои родственники, но я не стал заходить к ним, считая, что у меня будет время на обратном пути. Нигде я не задерживался и все равно пришел, как мне казалось, поздно. Как она легко все делала! Будто сами собой на столе появились ложки, вилки, стаканы... Сказка продолжалась: алюминиевые ложки и вилки казались мне серебряными, стеклянные стаканы — хрустальными, старинный самовар — из чистого золота...

— При бабушке он всегда блестел, — сказала Лиля, неизвестно когда переодевшаяся в платье с короткими рукавами. — Теперь мы чайник кипятим. А самовар — по праздникам. Я вообще-то с бабушкой согласна: из самовара чай вкуснее. И наливать из него интереснее.

Лиля лучинками разожгла самовар возле русской печи, бросила в него несколько больших, погасших углей, подхватила, как маленького ребенка под мышки, выбежала на крыльцо, спустилась по ступенькам, поставила на траву — так, чтобы его хорошо было видно из окна, и чуть не бегом исчезла на огороде. Мне было приятно, что Лиля делает все так, будто я довожусь ей родственником, которого она долго не видела и в первую минуту даже не узнала.

В том, что мы с ней ни разу не встречались, было какое-то недоразумение...

Я с наслаждением вдыхал слабый, исчезающий запах дыма, оставленного разожженным самоваром, все больше чему-то радовался и думал: «Лиля меня хорошо встречает, а там время покажет: полюбит — буду самым счастливым человеком, не полюбит — восприму как должное, — не могут же все быть самыми счастливыми...»

Я посмотрел в окна, и в каждом из них был виден лес, близко подступавший к дому, и представил, как в бурю или в сильный ветер гудят и раскачиваются деревья, как огромные тени то появляются, то исчезают на полу, на стенах, на потолке... И на миг Совкин дом показался мне маленькой хрупкой лодчонкой, которую в шторм океанские волны бросают как попало, и в лодке — ни одного мужчины, и некому подбодрить женщин, не хватает крепкой мужской руки... Я с сомнением взглянул на свои руки, сжал и разжал правую и почувствовал, как мускулы мои наливаются силой, и мне захотелось, чтобы скорее наступил покос. Косить я умел и любил. Грести сено и складывать его в копны, а потом в зарод было для меня не работой, а праздником! И если не удавалось приехать домой, то я косил сено у кого-нибудь возле города бесплатно. Не брать же деньги за работу, от которой делаешься моложе и сильнее!

Двери в доме были открыты, я услышал Лилину песню, звуки которой оборвались, когда она поднималась по крыльцу.

Лиля вошла радостная, мне кажется, про себя она еще продолжала петь, но я не был уверен, что ее песня имеет хоть какое-нибудь отношение ко мне. И мне все равно было хорошо. Она положила на стол только что сорванные, пахнущие солнцем и ночью молоденькие огурцы и горсть зеленого лука. Сало в маленькой веселой тарелке, нарезанное маленькими кусочками, и в большой — белый-белый домашний хлеб еще раньше появились на столе. И синяя, с отпотевшими боками голубика в эмалированной чашке, и коричневый глиняный кувшин с холодным молоком, принесенный из погреба. И вдруг неожиданно, как и все, что она делала, Лиля остановилась, оглядела стол — не забыла ли чего поставить? — убедилась, что ничего не забыла, первая села и пригласила меня.

Но чем внимательнее она была ко мне, тем как будто дальше я отодвигался от нее...

«Она всех так встречает, ко всем приветлива. Я медленно протянул руку, взял хлеб — и сразу же комнату залила тихая, такая знакомая и вечно новая музыка, идущая издалека, — это солнце, выйдя из-за сосен, осветило стол и нас с Лилей. Я разрезал самый лучший огурец на две длинные половинки и одну подал Лиле, весело наблюдавшей за мной. Думал, она откажется, проговорив что-нибудь вроде этого: «Ах, какие нежности!» — или наградит меня насмешливой улыбкой, но она взяла, глаза ее блеснули. Ел я медленно, это у меня всегда так, даже если я буду стараться, у меня все равно получится медленно, — и все боялся, что обед скоро кончится, и будет ли потом все так же хорошо, как сейчас. Лиля, опередив меня, разрешила новый огурец и одну половинку подала мне. Или ей было приятно это сделать, или она хотела быть со мной как бы в расчете? До чего только не додумаешься, когда нет уверенности в себе! Но почему я приbedняюсь? Все-то у меня со сложностями: я их не хочу и сам же иду им навстречу...

И вот, пока я таким образом рассуждал, то есть медленно ел да на Лилю взглядывал, она меня, видно, хорошо поняла и сказала:

— Мне бы, Николай, поговорить с вашим отцом, а вам — с моей мамой.

Сказала с такой ясностью во взгляде, с такой доверчивостью, и полностью меня обезоружила.

— Разве мы не говорим? — упавшим голосом отвечал я.

— Ваш отец мне понравился, — ласково проговорила она, а моего вопроса как будто и не слышала.

— А как же я, Лиля? — в голосе моем, кроме безнадежности, ничего не было.

Она взглянула на меня как-то уж очень отстраненно, словно бы отодвигаясь от стола, чтобы посмотреть: а может, я и в самом деле ничего? Но того, что ей хотелось увидеть во мне, она не увидела, и ее полноватые губы капризно вытянулись, приоткрылись, и, кроме вздоха разочарования, я ничего не услышал.

«Ну, что я могу сделать, если вы мне не нравитесь?» — говорил ее взгляд. А может, мне так казалось?

Не знаю.

Меня как будто черт за язык дернул, и я, сам не знаю зачем, сказал:

— Отец не хотел, чтобы я шел к вам...

Лиля недоверчиво взглянула на меня, и я вот чему удивился: она угадала, что я говорю неправду, — это матушка моя не хотела, чтобы я знакомился с Лилей, а отец просто-напросто не верил, что я пойду на Бадонки, и уж вовсе не верил, что я смогу понравиться Совкиной дочери, — из-за того, что весь я какой-то разобранный: там, где надо действовать, я только рассуждаю! Я и сам не люблю себя за это, но, я уже говорил, это у меня само собой получается.

Как будто продолжая уличать меня в обмане, в котором я не был виноват, Лиля спросила:

— Почему ваш отец не хотел, чтобы вы шли к нам? Я этого не поняла.

— Отцу не нравится во мне...

Я отлично понимал, что гублю себя своими же словами. Но не мог же я обманывать Лилю! Хотя, кажется, она сама разобралась во мне.

— Я знаю, — ответила она.

— Что ты знаешь? — не очень-то весело спросил я. Лилия не торопилась с ответом, и я понял: не хочет меня огорчать.

И тогда, чтобы утешить себя, я с еще большей остротой вспомнил о Совке.

Лилия будто прочла мои мысли:

— Мама вторую неделю в больнице. В Иркутске. Вы бы знали, как она не хотела ехать!

Услышав эту новость, я сильно огорчился.

Лилия несколько не удивилась, что я все так близко принял к сердцу, но взглянула на меня теплее. Ее взгляд ободрил меня, и я убежденно сказал:

— С Совкой никогда ничего не случится... Совка будет жить вечно!

— Бабушкины сказки, — ответила Лилия, но посмотрела на меня куда внимательнее, чем за все время нашей встречи, я бы даже сказал, проникновеннее, и, может, это мне почудилось, взгляд ее наполнился нежностью. Жизнь показалась мне в тысячу раз интереснее!

Я видел: она хотела поверить в мои слова, но что-то ей мешало. Может быть, то, что эти слова о том, что Совка будет жить вечно, говорю я, а не кто-то другой?

Она улавливала малейшее мое движение, угадывала, что я скажу. Я терялся от этого и делался глупее.

— Вы себе невесту ищите? — пристально глядя на меня, спросила Лилия.

— И да, и нет, — ответил я.

— Вот видите, какой вы!

— Какой? — не понял я.

— Неопределенный. Так нельзя.

«Будь что будет, — подумал я, — сколько можно ходить вокруг да около!»

— Свою невесту, Лилия, я нашел давно, еще в детстве. Сегодня я в этом окончательно убедился!

Лилия поняла, что я говорю о ней, но ничуть не смутилась. Она медленно раздавила губами несколько больших голубичных ягодинок (такая голубика, я замечал, растет только на болоте) и устремила на меня свой взгляд — глаза ее делались все больше и больше и стали такими, какими мне представлялись иногда до нашей встречи, — Совкины глаза! Голубичный сок сделал Лилины губы еще более яркими. Она что-то очень серьезно обдумывала.

— Не надо, Лилия, ничего не говорите — так будет лучше.

«Столько лет ждать и за одну минуту погубить все?! Не-е-ет, я лучше еще подожду».

Она опустила глаза, разгладила цветастое шелковое платье на полных коленях, а я умирал от любви к ней и не знал, как сказать ей об этом.

Почему я попросил Лилю ничего не говорить?

Что будет лучше?

Для кого?

И тут же нашелся ответ: если она полюбит меня, то хорошо будет мне, а Лиле — плохо. Мне хотелось сейчас же признаться ей в своем давнем чувстве, и больше всего я боялся об этом говорить! Слишком быстрым для Лили было бы мое

признание. Ведь у меня не любовь с первого взгляда, а самое глубокое, никогда не покидающее меня чувство — как будто я с ним родился!

— У меня к вам просьба, — сказала Лиля, — зайдите к маме в больницу. Она вам обрадуется, вот увидите!

«Что с ней? Неужели что-нибудь серьезное?» — одним взглядом, но таким встревоженным, как будто Совка не только Лиле, но и мне была матерью, спросил я.

Лиля постаралась успокоить меня:

— Мама в общем-то здорова, ни на что не жалуется, только глаза болят. Говорит, что это от слез. В поездках не любит ездить: как сядет в вагон — так сразу голова заболит...

— А сейчас как?

— Пишет, что доехала хорошо.

— А раньше она к врачам обращалась?

— Что вы! Я ее насилу уговорила!

Чтобы достать конверт с адресом, Лиля села рядом со мной, открыла ящик стола. Когда она протянула мне конверт, ее длинные пальцы коснулись моей руки, а Лиля как ни в чем не бывало смотрела на меня широко открытыми глазами, и у меня было ощущение, похожее на то, какое я испытал, когда находился в предгорьях Саян и с обрывистой скалы смотрел вниз... Ока как будто не замечала, что мы сидим так близко, — я ощущал жар ее сильного молодого тела, когда она нечаянно касалась меня. Она, сама того не зная, вселяла в меня новые надежды, и я снова верил, что жизнь моя только начинается. Лиля что-нибудь доставала и не торопилась от меня отклониться, а когда садилась, то глубоко вздыхала. Я с волнением перечитывал адрес на конверте. В Совкином почерке мне все нравилось — рисунок каждой буквы, выведенной густыми химическими чернилами, и что буквы были большие и неровные, похожие на школьные, и даже точка в конце адреса! Но почему на конверте девичья Совкина фамилия — Карагодина, а не Королькова, по мужу?

— А они не расписывались, — сказала Лиля. — Вы ведь знаете, мой отец погиб на фронте?

Я кивнул.

— Мои дедушка с бабушкой тоже не расписывались, а всю жизнь прожили, как другим и не снилось! Ну, кто сейчас построит такой дом для своей невесты? А дедушка построил. Вы не думайте, тогда он молодой был... Ну, вот как вы... Представляете, как они любили друг друга: на один день не могли расстаться!

Лиля посмотрела на меня так, будто успела во многом разочароваться, а человека, которого бы она полюбила на всю жизнь, нет и не предвидится.

«Лиля, я вас очень люблю, — хотел сказать я, — так люблю, как никого на свете!»

Я ведь, оказывается, давно ее любил, но по-настоящему, до безнадежности, влюбился вот сейчас, когда увидел ее! Теперь-то я не сомневался, что смогу бросить город, — зачем он мне без Лили? Чувства мои смешались: в одно и то же время я был самым счастливым человеком и самым несчастным! Я как бы проваливался в небытие и возвращался из него обновленным... Неужели она не понимала, что и я так же думаю, что мы с нею похожи, что мы созданы друг для друга?! И какая это будет ошибка, если пути наши разойдутся! Я готов был кричать: что со мной, почему я не говорю тех слов, которые шел сказать? Ведь они были! И сейчас есть! А потом... потом Лиля выйдет замуж за того, кто ее не любит, а я женюсь на той, которая не любит меня?



Я начал быстро говорить, и, когда мне казалось, что вот-вот я скажу что-то очень важное, то, что и нужно было сказать, Лиля чуть-чуть дотронулась до моей руки своими нежнейшими пальцами: не надо.

— Да вы не переживайте, — стала успокаивать она меня. — Я же ничего не говорю, вы хороший человек... Я чуть не влюбилась в вас...

Мы пили чай с новым голубичным вареньем, и вот что я услышал от нее:

— Я полюблю кого-то и выйду замуж. Вот и все.

— А если он тебя не полюбит?

— Полюбит, — уверенно сказала Лиля. — Ведь это будет зависеть от того, насколько сильно я полюблю. Ну, а если не полюбит, пусть идет своей дорогой.

Не было отчаяния, не было того, что вот я отвергнут и все кончено, — ко мне возвращалась далекая, такая знакомая и вечно новая музыка, которую я услышал, когда мы с Лилей сели за стол и когда солнце вышло из-за сосен и осветило нас и всю комнату... И вот что меня утешало: как я лучше делался от хороших книг, картин, песен, так же я делался лучше от знания того, что в мире, совсем недалеко, можно сказать рядом, живет Совка. Может быть, от восторга и от самой чистой любви я робел перед ее дочерью, и ее неполный отказ только подтверждал то, о чем я только что говорил, — она была гостеприимна, она позволяла очаровываться ею, она подсказывала мне, как и Совка, что-то большое, огромное, чего я никогда не должен забывать. И когда я проникнусь этим чувством по-настоящему, когда я хорошо буду знать, кто я, зачем я, без чего я не смогу жить, тогда мне и в любви повезет. Лиля, как и Совка, подталкивала меня к этой мысли пусть даже неосознанно, потому что они и были всем этим миром, к которому я, тоже неосознанно, всегда стремился. Но теперь, когда я осознал это, жизнь моя сделалась во много раз привлекательней, и никакие неудачи не сломают меня.

17

...Жену я себе выбрал, похожую на Совку, — волнистые длинные волосы, только у Совки они белые, как лен, а у моей жены — черные, цыганские. Взгляд, фигура, движения были Совкины, как я их себе представлял. Глаза у Совки, мне это хорошо запомнилось, зеленые... И у моей жены тоже.

Однажды я пришел на свидание под хмельком, и она ни за что по этой причине не хотела выходить за меня. Задержав ненадолго свой таинственный взгляд на мне, она уже собиралась пройти мимо, но я поклялся, что выпил случайно, и начал рассказывать про Совку... Она заинтересовалась, заслушалась и потом никак не могла понять, чем я сумел ее околдовать: она как будто не хотела и — пошла за меня. Ей показалось тогда (да и сейчас кажется!), что я рассказывал о ней самой, сочинял, глядя на нее. А Совка — выдумка, то есть не выдумка, а моя будущая жена Лариса...

— Зачем ты меня сюда привез? — как-то вырвалось у нее, когда мы прожили в огромном пустом доме неделю, а она все не могла привыкнуть к печали, растворенной в самом воздухе даже в яркие, солнечные дни.

К нам здесь хорошо относились, а нас не покидало чувство какой-то несправедливости: мы с женой, как и все уже немногочисленные жители моей деревни, не только не видели никакой пользы от того, что ее надо сносить, но считали это покушением на святая святых.

Мой младший брат, дольше всех моих братьев и сестер державшийся в родной деревне, в конце концов тоже уехал из отцовского дома. Остановился он в район-

тре на самой крайней и новой улице Солнечной, где причудливо извивается речка Заларинка и все лето зеленеет большой кочковатый луг, безраздельными хозяевами которого стали домашние гуси. И в город брата моего ничем не заманишь, и отцов дом, еще крепкий, самый большой в этом краю, стоял пустым. Ограда очень скоро заросла лебедой, полынью, коноплей, на которой с утра до вечера раскачивались воробьи, не обращавшие на нас никакого внимания — как будто знали, что мы здесь не хозяева. Полынь постепенно редела — мы ее ломали на веники, подметали в избе, на веранде, на крыльце... После зеленого веника свежий печальный запах держался долго, и мы скорее бежали в лес за грибами, где нам становилось легче. А когда возвращались, то из-за моста, от Первой дороги, идущей вдоль болота по лесу, открывался вид на деревню: отсюда она казалась нетронутой, и от этого обмана делалось еще тяжелее на душе. Радость, что деревня будто бы целая, была кратковременной — всего лишь на миг.

В другой конец деревни, скрытый лесом, моя жена боялась ходить: днем и ночью отсюда доносились крики и стоны Шуры Петровой. Шурины зять с дочерью и ребятишками, когда закрыли начальную школу, а потом и ларек, переехали на центральную усадьбу — всего за пять километров. Шура не могла смириться, что деревни, в которой она прожила всю свою жизнь, и дома, веселого, из круглых бревен, не будет. Она продолжала навещать свой старый, но еще крепкий дом, оставалась ночевать в нем.

Успокаивалась она, когда пасла около дома свою черно-пеструю корову со спиленными рогами...

По ночам Шура бежала к соседям, все хотела что-то сказать им. Двое внучат, ночевавших с нею по просьбе матери, убеждали бабушку, что соседей нет — уехали. Она внимательно слушала их, но как будто не понимала, о чем они говорят, или не хотела верить, и шла смотреть снова: может, соседи вернулись?

Женщины, ходившие собирать ягоды за харгантуйский мостик, зашли к нам. Они бы прошли мимо — «рассиживаться некогда», — но их привлек необычный высокий букет самых разных лесных цветов, стоявший на голубом подоконнике. Привлекло их еще и то, что окно в брошенном доме было распахнуто и радостно поблескивали никем не разбитые стекла. У нас был транзистор, и как раз в то время, когда женщины с ведрами проходили мимо, на улицу через распахнутое окно доносился голос Лидии Руслановой, исполнявшей лучшую свою песню: «Окрасился месяц багрянцем...» Мои односельчанки, жившие теперь на центральной усадьбе и никак не могущие к ней привыкнуть, заглянули через подоконник в комнату, похвалили, как у нас чисто прибрано. У каждой из них при этом промелькнуло по лицу выражение нескрываемой горечи: исчезает родная деревня, и от чисто прибранных комнат делается еще тошнее.

Еленка Грачева быстро, как будто боялась, что ей помешают, сказала:

— Объявили бы, что деревня останется, я без всякой машины бегом бежала бы домой и все бы на себе перетаскала! — И с безнадежностью и в то же время решительно махнула рукой: — Пошли, бабы, хоть на крыльце посидим!.. Бутылка есть, Николай? — немного успокоившись, вдруг поинтересовалась Еленка.

— В подполье стоит, холодненькая. «Столичная», — чуть не в один голос ответили мы с женой.

— Нам хоть какая, лишь бы была, — отчаянно сказала Еленка. — Помянем родную деревню, скоро и этих домов не останется, и некуда вам будет приезжать. Разве что с палаткой... Как цыгане...

— Мы теперь все на цыган похожи, — невесело засмеялась Нина Сиротина. — Вот хоть бы меня взять: живу там, а вижу себя все время здесь

— Тело — там, а душа — здесь, — уточнила Еленка. — Жили, горя не знали, так нет — надо... чтоб лучше было! Кому лучше-то? Вот вы мне, бабы, объясните, может, я и вправду отсталая какая?

В этих ее словах, как она их сказала, как посмотрела на меня, был упрек — и я виноват в том, что рассыпалась деревня. Я рад был ее упреку: значит, не совсем махнули на меня рукой, значит, своим считают, и значит, думалось мне, Еленка всыплет мне, долго таиться не будет.

Даже оттого, что я подумал об этом, мне легче стало — женщины сразу же сделались ближе, роднее, как будто я с ними и не расставался. Найдется, за что мне всыпать — ох найдется! — но вот сидим, говорим, смотрим друг на друга, и ни одна не трогает меня, даже как будто рады, что хоть вот сейчас приехал, не забыл. И я полюбил их еще больше. Они как-то по-особенному взглядывали на меня: может, хотели представить, увидеть себя на моем месте и как бы они тогда жили... Не-е-ет, не нравилась им моя жизнь: она им и вовсе казалась цыганской!

Еленка опять уставилась на меня красными от бессонницы глазами, словно требовала объяснения: кто распорядился убрать деревню, кому пожаловаться? Но я молчал: мне было интереснее их слушать. Да и что я мог сказать? Всю кашу им приходилось расхлебывать, я-то оказывался в стороне...

— Для нас стараются, а мы, дуры, не понимаем! — не то в шутку, не то всерьез сказала Еленка.

Все разговоры теперь сводились к одному: скоро не будет деревни.

— Ниче, бабы, — в первую очередь себя утешала Нина, — будем проведывать деревню — за черемшой приезжать, за ягодами, за грибами... Подумаешь, пять километров!

Еленка не согласилась:

— Пока туда да обратно едешь, уже набрала бы. То ли дело было: не надо трястись на мотоцикле, трактор гонять с тележкой... Идешь к лесу, он навстречу ветками машет, как будто дожидаться тебя не может! И-и-и — ни грибов, ни ягод не надо, так и подмывает побежать к нему, скорее в нем оказаться! Мне другой раз кажется: шла бы по Первой, по Второй или по Третьей дороге всю жизнь!

— Там таких дорог нету, — Нина Сиротина вздохнула. Там — это значит на центральной усадьбе колхоза. — Ни реки, ни ручейка, ни лужка.

— Хорошо вам, — сделала неожиданное заключение молчавшая до этого Галя Котова. — Уедете и видеть не будете. Как будто так и надо, издалека-то. А как нам?

— Будем привыкать, — сказала Нина. — Больше ничего не остается.

— Как это не остается? — снова встрепенулась было притихшая Еленка. — Брошу все и уеду на край света! Вот увидите, девчата.

— Где он, край света? — спросила Галя.

— Знаю где.

— Ты бы, Еленка, не хвасталась, — укорила ее Нина. — Знаешь же, что куда не уедешь: будешь бежать домой впереди поезда!

Бабы представили Еленку, бегущую впереди поезда, и засмеялись. Еленка тоже засмеялась, но не очень весело — подружек поддержала.

Лариса принесла закуску — с иркутского рынка огурцы, красные помидоры, копченую колбасу — и, что выглядело уж совсем по-праздничному, каждой женщине дала по яблоку. Яблоко с сохранившимися двумя листочками — Еленке. Еленкино лицо засветилось, как у девочки, но горечи, засевшей глубоко в сердце, эта маленькая радость не смогла победить. Она еще больше расстроилась.

— Зря принесла закуску... Нам чтоб погорчее было! Ничего нам не надо, кроме вот этого красенького яблока с листочками... Пусть дома лежит на столе, я буду смотреть на него с дочкой...

— Да твоя Ирка его сразу съест!

— Нет, она сначала листочки оборвет. — Еленка стрельнула хитрющим взглядом на Галю и Нину, сразу же оттаявших и от первой рюмки, и от Ларисиной приветливости. — Вы на мое яблоко не зарьтесь, — довольным голосом проговорила Еленка и на всякий случай спрятала яблоко в кармашек коротенькой шерстяной кофточки.

И уже перед самым уходом добродушная Нина Сиротина укорила Еленку:

— Ты че это, подружка, когда шли сюда, заикнулась и не рассказала?

— А у тебя языка нету?

— Да я не умею.

— А че тут уметь — рассказывай.

— Ты видела, тебе и рассказывать.

— Мне так мне, — согласилась Еленка. — Я никого не боюсь. Ну, значит, плакала-плакала, выла-выла Шура Петрова, что деревни нашей не будет, а потом перестала. Ну, думаем, слава богу, проплакалась. Ведь и нам не легко было: ложиться вечером — она воет; утром чуть свет встаешь — а она еще не перестала, да так дико, не знаю бы, куда сбежала. А станешь с ней говорить, еще тошнее. А потом тихо стало. Поехала я с Иришкой вечером на Бульки — картошка у меня кончилась. Пшеница на Ильинке, сами видели, колос к колосу! Собирались не сегодня завтра из нашей бригады комбайн посылать. А вижу — кто-то жнет вручную! Вечером поле нетронутое было, а утром с Иришкой возвращаемся — на Ильинке, возле самого леса, снопы стоят. Думаю, сон мне снится! Серпами уж сколько лет как перестали жать. Теперь-то, наверно, и серпа ни у кого не найдешь. «Иришка, — говорю, — это суслоны стоят, что ли?» — «Какие, — говорит, — суслоны?» А я у нее спрашиваю: «Сноп к снопу приставлен?» — «Да, приставлен». — «А ты, — говорю, — не обманываешь?» — «А ты что, — отвечает Иришка, — не видишь?» — «Вижу, — говорю, — но глазам своим не верю...» Кто-то ночью пшеницу серпом жнет и снопы ставит. Страшно мне стало... А Иришка глядит на снопы, составленные в суслоны, и радуется. Соскочила с телеги, подбежала к суслону, внутрь заглядывает: кажется ей, что кто-то там спрятался. Мне от этого еще страшнее стало... «Ну их, — говорю, — снопы эти, поехали». А Иришка мне: «Почему ты не хочешь подойти к суслонам?» Слово ей это понравилось... «Боюсь», — отвечаю. Иришка к другому суслону подбежала. Ей весело, не понимает еще, а у меня мурашки по спине. Что, думаю, за колдовство? На вторую ночь и на третью опять кто-то до самого леса суслонов наставил... Да, главное, тайком. Навроде как нечистая сила колхозу помогает... «Покараулить бы надо», — говорю я бригадиру. А он смеется: «Зачем караулить? Какая нам разница, кто жнет. Лишь бы поскорее убрать!» — «Да ну, — говорю, — тебя». И правда, бабы, мне не до шуток было. А саму так и тянет ночью посмотреть: кто жнет? Да идти одна боюсь... И вот что удивительно: жнет кто-то ночью, а на земле — ни одного колоска!

— Наверно, днем потерянные колосья подбирает, — сделала предположение Нина.

— Днем, тебе говорят, никого нету... Днем там ездят, и никого не видели.

Галя покачала головой:

— Жнет крадучись... Зачем? Это же...

Еленка обвела всех взглядом, отодвинула недопитую рюмку, тяжело вздохнула:

— Не хотела я вам говорить...

— Да мы уж сами догадались, — робея, проговорила Нина, и выражение ее лица изменилось: из задумчивого оно сделалось плаксивым.

— Шура жнет, — совсем тихо сказала Еленка. — Вы только, бабы, представьте: ночь, луна светит, на семь километров ни души, и одна жнет, торопится... И это уже котору ночь...



Еленка долгим взглядом смотрела через болото на высокий лес, за которым еще перед войной появились маленькие ильинские поля, которые только недавно закончили корчевать — так много до последних лет стояло на них гигантских листовенниц и высоких пней. Теперь два поля соединились в одно, а на маленьком, третьем поле, которое было еще дальше от деревни, и работала по ночам Шура.

Галя зябко передернула плечами и, ни на кого не глядя, проговорила:

— Что-то зашло ей в голову... Докторам бы ее надо показать.

— Только стронься, потом никто не поможет, — уверенно сказала Еленка.

— А ты че, была доктором? — спросила у нее пригорюнившаяся Нина.

— Не была, а знаю.

— Ты у нас профессор, — сказала Нина. — Мы уж, так и быть, не будем с тобой спорить.

Женщины объяснили, кто из них где живет, пригласили в гости и, полюбовавшись букетом цветов на подоконнике, ушли.

Когда не осталось никаких сомнений, что деревня доживает последние дни, я как-то иначе стал на все смотреть. Раньше, бывало, когда мои отец с матерью были живы, я то сено кошу, то дрова заготавливаю, а в свободную минуту еще за грибами, за ягодами схожу; теперь же, когда мы с женой вот уже третий раз жили в пустом доме и делать ничего не надо было, только приготовить поесть, я даже за ягодами не хотел ходить. Мы слонялись по опустевшей деревне, а если уходили в лес, то недалеко и ненадолго.

Один раз, подходя к нашему дому от реки, с огородов, я взглядываю на окна и вздрагиваю: из крайнего к старой избе окна смотрит до боли знакомое женское лицо в платке с яркими альми цветами. И тут же я вспомнил: это маки в старом кувшине освещены последними лучами солнца, стекло блестит, и кажется, что в окно из избы смотрит женщина в платке...

Я вдруг обнаружил, что мне интересно сидеть на высоком крыльце нашего дома, с которого хорошо видны болото, возвышающийся уступами лес и вершины Саянских гор. Я ничего не мог с собой поделаться: ну вот, иду за водой, за дровами, утром растапливаю плиту, помогаю жене, только чтоб не останавливаться, и неожиданно обнаруживаю, что сижу на крыльце или на поваленном заборе на огороде, смотрю на исчезающую речку, меняющиеся облака, на лес, чей-нибудь дом или колодец... Знаю: все это уйдет, только лес да облака останутся, ну и дорога еще, та же самая дорога... И я смотрю на дорогу до боли в глазах...

Два года назад, когда печаль исчезновения сильно коснулась моей деревни — уже не было школы, магазина, бригадной конторы — и когда я стал внимательнее приглядываться ко всему, что ее окружало, мы с женой увидели необычный туман. Никогда я не видел такого тумана! Лариса пришла в еще большее изумление... Мы ничего не могли сказать друг другу и только смотрели, что продельывает туман. Нам казалось: он знает, что мы на него смотрим, и о чем-то предупреждает... Я видел, как он протягивает к нам свои руки, приоткрывает древнюю завесу, что-то подсказывает, доверяется и не верит нам...

Долго мы вспоминали этот туман. Мы словно были посвящены в какую-то тайну, и никому о ней не рассказывали...

Была, как и тогда, вторая половина августа, дни стояли жаркие, а над болотом не только такого, как в тот раз, но и вообще не было тумана — из-за того, что за полмесяца не прошло ни одного дождя.

Но вот однажды, когда закатилось солнце и к деревне подкрались первые сумерки, Лариса — мы только что пришли из ближнего леса — выбежала из-за веранды, где она подкармливала сойку, прилетавшую в одно и то же время, и крикнула счастливым голосом:

— Скорее! Появился!

— Кто?

— Туман!

Такой восторженной я ее давно не видел, и мне отчего-то стало неловко и как будто стыдно — может быть, оттого, что она восторгается, а я нет.

— Не нужно мне никакого тумана, я уже и забыл о нем, — как можно равнодушнее ответил я.

Она недоверчиво посмотрела на меня, схватила за руку, сделала движение к лесу.

— Ну идем, идем! Посмотри!

Однажды услышав, как я огорчился, что нет больше тумана, Лариса стала наблюдать за молчаливым болотом. После сильной грозы, не дававшей нам спать, и проливного дождя, который шел всю ночь, туман снова появился.

Забывая о крапиве, подстерегавшей нас везде, даже на тропинке в ограде, мы кинулись — она впереди, я за нею — на огород, на чистое место и остановились шагах в пяти от провалившегося колодца. Сначала я не увидел никакого тумана. Лариса показала в противоположную сторону — в «гнилой угол» над харгантуйским болотом. Едва родившись, туман, помедлив, вдруг устремился по болоту, как будто гнался за кем-то... В «гнилом углу» болото круто поворачивало вправо, и, соответственно, лес полукругом тоже поворачивал вправо и скрывался за ближним лесом, деревенским. Перед самым болотом, напротив Ушканки, возвышалась одинокая раскидистая сосна... Как в сыром месте выросло такое могучее живописное дерево, для меня было загадкой. Создавалась иллюзия, что возле сосны болото заканчивалось, и в этом почти квадратном углублении быстро накапливался туман. Он заполнил своей молочной белизной узкое пространство — как будто отрезал его от болота — и некоторое время не двигался, оставляя незакрытыми верхушки дальнего леса. Огромная одинокая сосна словно удерживала туман, не давая устремиться ему по болоту. Я успел заметить, как вытянутое облачко тумана, брошенное рукой густого тумана, вдруг отделилось, а может само образовалось, и помчалось по болоту, нисколько не увеличиваясь.

Остановилось оно напротив нашего дома.

— С тем туманом, который мы видели два года назад, не сравнишь... — с сожалением сказала Лариса. — Тот туман был колдовской... Я после него долго не могла уснуть. Впервые в жизни такое видела...

Я согласился с нею.

Лариса ждала, что я еще что-нибудь скажу, и, может, не о тумане, а о наших с нею взаимоотношениях... Не знаю, то это было или нет, чего она ждала от меня, но я сказал:

— Столько лет жил здесь, перевидел столько туманов, а ты и в тот раз, и сегодня первая заметила...

Она была довольна.

— Да я все время ждала...

— Я тоже ждал, а увидела ты.

— Смотри-смотри! — вскрикнула она. — Вот это даа-а-а... Он — живой!

Как будто рассердившись, что мы ругаем его, а точнее, сожалеем, что он не такой, каким мы его видели однажды, туман повел себя словно рассерженный фантастический зверь: он несколько раз изменил свои размеры и очертания, оторвался от болота, поднялся чуть не вровень с вершинами деревьев, как будто что-то там высматривал, упал книзу, обшаривая корни деревьев и непролазную чащобу, и кинулся к высокой стлани, где когда-то был мост с перилами.

Я, как и в первый раз, ждал встречного тумана. Но его не было.

И вдруг...

— Встречный туман! Смотри!

— Где?! — еще радостнее, чем я, вскрикнула Лариса, не понимая, куда я смотрю.

Я указал рукой.

Она все равно не видела.

— Надо же... ты видишь, а я нет, — чуть не до слез огорчилась Лариса.

Но это оказались ярко белевшие в первых сумерках частые стволы молоденьких берез на той стороне болота, куда я в детстве ходил за морошкой. Самое настоящее облачко тумана, только неподвижное!

Лариса все равно обрадовалась, когда увидела это неподвижное облачко.

— Какая интересная подделка, — поспешил сказать я, нисколько не жалея, что ошибся.

— Никакие это не березы, — сказала Лариса. — Днем я их там не видела.

Сумерки сгушались, и я не мог опровергнуть ее. А чтобы я не противоречил, она обняла меня, и я согласился, что берез там никогда не было...

Туман крадется узкой полоской возле леса, кажется, вот сейчас он растворится среди частых деревьев... Странное ощущение: вершины Саян на горизонте, за лесом, похожи на облака, а облака — на горы...

В сумерках, внизу за огородами, не видно траурно черневшей днем слегка извилистой ленты дороги, выходявшей к мосту, которого теперь не было. Не было видно и густых зарослей лозняка, тянувшихся по всей длине болота у леса и близко к огородам, вдоль реки, которую старательно осушали и, не скрою, к моей великой радости, так и не смогли осушить. Не видно этих светло-серо-зеленых шаров и шершавой, начинающей желтеть осоки, никак не желающей превращаться в мягкую траву...

Камыши исчезают, меньше стало трилистника... Нет желтых кувшинок и белых лилий... На фоне только внизу просветленного после дождя вечернего неба, строго нахмурившись, чернеют треугольниками крыш брошенные дома... Я не слышу — стою далеко, — а только чувствую, как тихо журчит, всхлипывает в зарослях лозняка неглубокий ручей, который еще недавно был хоть и маленькой, но речкой; он усугубляет свое положение еще тем, что из года в год сужает себе дорогу — заносит клинообразное, не свое русло песком и илом, как что-то враждебное, и в этом немыслимом старании укорачивает свой век.

19

И пустующий огород, и погубленная речка, и поредевший лес, и цветущее болото такие же, как вчера и позавчера. Так почему же сегодня я смотрю на них без вчерашней расслабленности и обиды на бывшего председателя, который извел речку, и на нового, который добрался теперь до деревни? Рушилась деревня, и мне казалось, что рушится весь мир! Твердая опора уходила из-под моих ног, я это ощущал, хоть и давно жил в городе. Пока деревня стояла, я был спокоен, даже беспечен, любые мои неудачи делались мелкими и сами собой исчезали, стоило мне появиться в родной деревне, и даже не появиться, а издалека увидеть крыши домов. Еще только сойду на станции с поезда, сделаю первый радостный вдох, и до родной деревни еще семьдесят километров, а райцентровский воздух уже намного чище городского, даже как будто слаще, он уже свой, и я не замечаю, что в нем, как и в городе, пахнет железом, разогретым на солнце асфальтом, сгоревшим каменным углем, я только

чувствую запахи полей и соснового леса и с жадностью вглядываюсь в лица на автобусной остановке. Особенно любил смотреть на молодых женщин: какая-нибудь тогда, раньше, могла стать моей женой...

Из-за неподвижной гряды облаков над Школьным лесом вот-вот появится солнце, и тогда немного поутихнут толпы звенящих комаров и мошки, так облепивших мою одежду, что она кажется покрытой светло-серыми пятнами, которые лучше не трогать. С лица я сгоняю комаров березовой веткой. На стлани, не успевшей просохнуть от последнего дождя, все еще окутанной густым белым туманом, нет ни одного свежего следа, я первый. Даже птицы на меня, так рано идущего, смотрят как на своего — далеко не улетают.

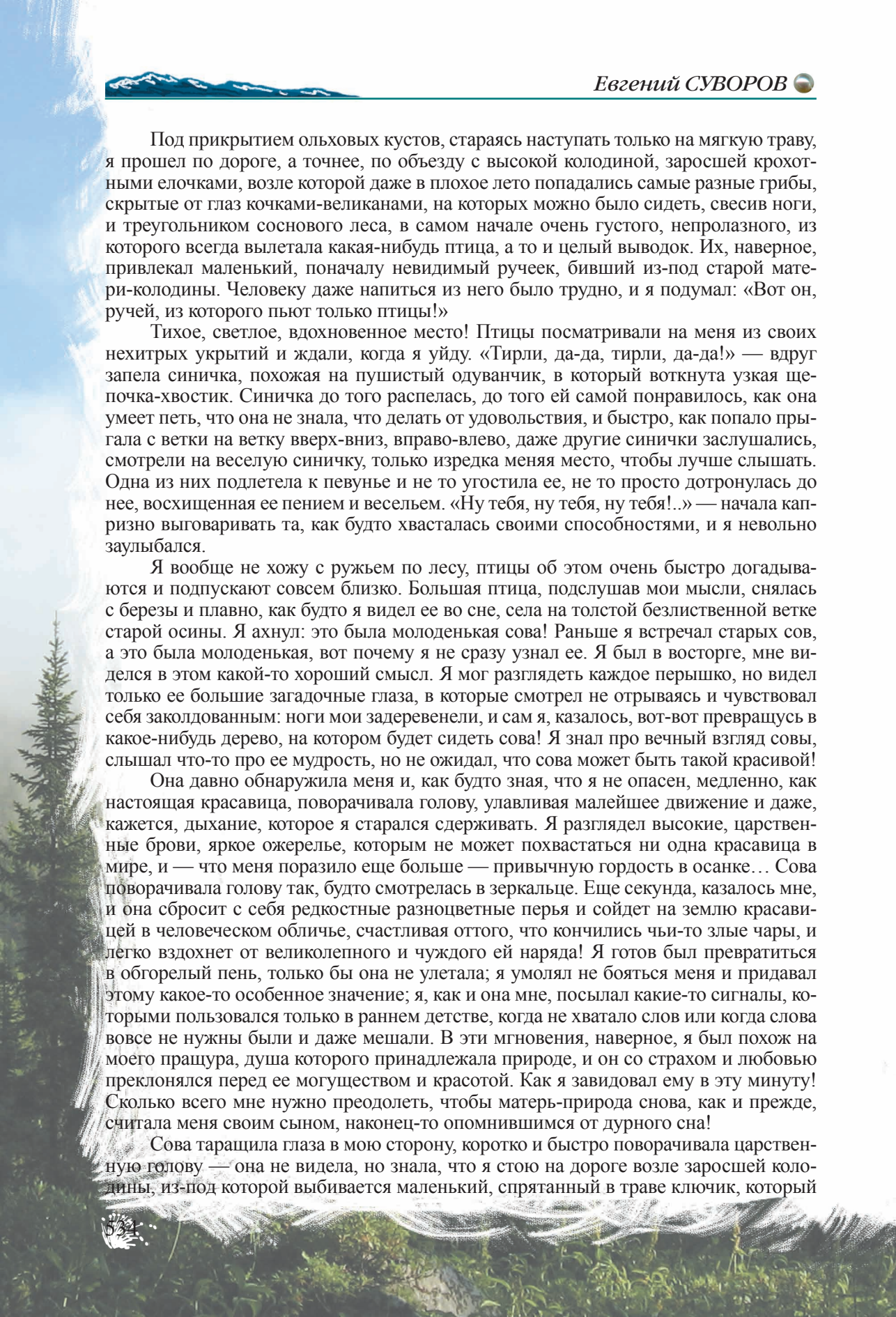
Сворачиваю в лес по Третьей дороге. Она самая широкая, самая старая, со множеством светлых луж и объездов, с клюквенным болотом по правую сторону, на котором, правда не каждое лето, живут журавли. Мне все время кажется, что где-то здесь, недалеко от журавлиного болота, вот под этим молодым сосняком, в котором растут чуть ли не все грибы, была когда-то деревня... «Да, была, — скажет мне потом один из старожилов. — Это не ты догадался, а это в детстве тебе говорили, ты забыл и только вот теперь вспомнил...» И войны здесь не было, и затопления не было — Ангара от нас далеко, — а деревни исчезали по-тихому. Не верилось, что и на месте нашей вырастет такой же лес, по которому, вот как сейчас я, будет бродить мой правнук и верить и не верить, что когда-то была здесь деревня и что родовые корни его здесь, под этим лесом, как и мои на Буграх, на которых я побывал только в прошлом году. И сумрачно мне стало, оторопь взяла, сожаление, что в начале моей жизни и когда уже был подростком два или три дома оставались на Буграх, говорят, жил еще в одном из этих маленьких домов какой-то старик, какой-то мой дальний родственник. Неизвестно, кем и когда он похоронен... И ведь никакой особой давности нет — за полвека все оказалось преданным забвению, и ни креста, ни могилы — кругом стоит лес, и в нем — следы старых пожарищ...

Я стоял на дороге, охваченный чувством, до этой минуты незнакомым мне или знакомым лишь на словах или по догадке, что не просто так я живу на земле: от меня многое ожидается, многое спросится, и я готов был к этому — воспоминания укрепили меня. Я жалел о потерянном времени, которое не просто же так было мне отпущено, а с каким-то значением. Я появился на свет, стал подрастать, и на меня стали надеяться отец с матерью. А потом на тебя надеются все, даже те, кого ты никогда не видел и не знаешь, и неважно, что с теми людьми тебя разделяют огромные материки, моря и океаны, — расстояния ничего не значат. Однажды тебя кто-то подведет и, что самое горькое, предаст один из самых близких твоих друзей, уйдет любимая женщина, но главное — чтобы ты никого не подвел и тем более не предал. Тогда жить можно, тогда есть на что надеяться.

Никогда и нигде эти мысли не приходили ко мне с такой остротой, никогда я не осознавал себя так глубоко, как здесь, на родине моих предков...

Я смотрел на широкий просвет над клюквенным болотом, по которому сейчас расхаживали два журавля. Чья-то тень промелькнула недалеко от дороги и скрылась за деревьями. Или мне почудилось, или я на самом деле увидел тень боковым зрением? Комары отступились, и я стою не шелохнувшись и смотрю в ту сторону, где скрылась тень. В ушах позванивало от лесной тишины, которую перед этим нарушила своим криком желна, как будто предупредила лесных жителей о моем присутствии. Не помню, чтобы я еще когда так долго стоял и ждал чего-то... Мое терпение было вознаграждено: какая-то птица плавно, по крутой дуге, перелетела с дерева на дерево. Какая птица, я не разглядел за густыми ветвями берез, старых осин и ольшаника, в последние годы захватившего на вырубках огромные пространства и заглушающего в этих местах все остальное.





Под прикрытием ольховых кустов, стараясь наступать только на мягкую траву, я прошел по дороге, а точнее, по объезду с высокой колодиной, заросшей крохотными елочками, возле которой даже в плохое лето попадались самые разные грибы, скрытые от глаз кочками-великанами, на которых можно было сидеть, свесив ноги, и треугольником соснового леса, в самом начале очень густого, непролазного, из которого всегда вылетала какая-нибудь птица, а то и целый выводок. Их, наверное, привлекал маленький, поначалу невидимый ручеек, бивший из-под старой матери-колодины. Человеку даже напиться из него было трудно, и я подумал: «Вот он, ручей, из которого пьют только птицы!»

Тихое, светлое, вдохновенное место! Птицы посматривали на меня из своих нехитрых укрытий и ждали, когда я уйду. «Тирли, да-да, тирли, да-да!» — вдруг запела синичка, похожая на пушистый одуванчик, в который воткнута узкая щепочка-хвостик. Синичка до того распелась, до того ей самой понравилось, как она умеет петь, что она не знала, что делать от удовольствия, и быстро, как попало прыгала с ветки на ветку вверх-вниз, вправо-влево, даже другие синички заслушались, смотрели на веселую синичку, только изредка меняя место, чтобы лучше слышать. Одна из них подлетела к певунье и не то угостила ее, не то просто дотронулась до нее, восхищенная ее пением и весельем. «Ну тебя, ну тебя, ну тебя!..» — начала капризно выговаривать та, как будто хвасталась своими способностями, и я невольно заулыбался.

Я вообще не хожу с ружьем по лесу, птицы об этом очень быстро догадываются и подпускают совсем близко. Большая птица, подслушав мои мысли, снялась с березы и плавно, как будто я видел ее во сне, села на толстой безлиственной ветке старой сосны. Я ахнул: это была молоденькая сова! Раньше я встречал старых сов, а это была молоденькая, вот почему я не сразу узнал ее. Я был в восторге, мне виделся в этом какой-то хороший смысл. Я мог разглядеть каждое перышко, но видел только ее большие загадочные глаза, в которые смотрел не отрываясь и чувствовал себя заколдованным: ноги мои задеревенели, и сам я, казалось, вот-вот превращусь в какое-нибудь дерево, на котором будет сидеть сова! Я знал про вечный взгляд совы, слышал что-то про ее мудрость, но не ожидал, что сова может быть такой красивой!

Она давно обнаружила меня и, как будто зная, что я не опасен, медленно, как настоящая красавица, поворачивала голову, улавливая малейшее движение и даже, кажется, дыхание, которое я старался сдерживать. Я разглядел высокие, царственные брови, яркое ожерелье, которым не может похвастаться ни одна красавица в мире, и — что меня поразило еще больше — привычную гордость в осанке... Сова поворачивала голову так, будто смотрелась в зеркальце. Еще секунда, казалось мне, и она сбросит с себя редкостные разноцветные перья и сойдет на землю красавицей в человеческом облике, счастливая оттого, что кончились чьи-то злые чары, и легко вздохнет от великолепного и чуждого ей наряда! Я готов был превратиться в обгорелый пень, только бы она не улетала; я умолял не бояться меня и придавал этому какое-то особенное значение; я, как и она мне, посылал какие-то сигналы, которыми пользовался только в раннем детстве, когда не хватало слов или когда слова вовсе не нужны были и даже мешали. В эти мгновения, наверное, я был похож на моего пращура, душа которого принадлежала природе, и он со страхом и любовью преклонялся перед ее могуществом и красотой. Как я завидовал ему в эту минуту! Сколько всего мне нужно преодолеть, чтобы мать-природа снова, как и прежде, считала меня своим сыном, наконец-то опомнившимся от дурного сна!

Сова таращила глаза в мою сторону, коротко и быстро поворачивала царственную голову — она не видела, но знала, что я стою на дороге возле заросшей колодины, из-под которой выбивается маленький, спрятанный в траве ключик, который

увидишь, когда он вспыхнет на солнце. Она оказалась доверчивее других сов, и эта ее доверчивость была для меня дороже всего на свете. Как недавно Лариса была счастливой, когда ее с любопытством разглядывали два журавля, что-то сказавшие ей, так и я был счастлив доверчивостью совы-красавицы.

Ветерок стих, и я оказался легкой добычей для комаров. Нисколько на них не сердясь, неожиданно подумал: и маленькая синичка, и утренний ветерок, неизвестно откуда взявшийся и опять исчезнувший, и прокричавшая желна, и настойчиво звенящие комары, и густой, сопротивляющийся ольшаник — все защищает сову! Но какие это слабые защитники, даже вместе взятые! Как я раньше не понимал этого?!

Сова насторожилась.

И вдруг вслед за первыми лучами солнца вспыхнула за деревьями разноцветная молния, удар грома был настолько силен, что вздрогнули и закачались деревья, смолкли птицы, и я услышал далекий гул самолета, преодолевшего звуковой барьер и мчавшегося в сторону гор.

Скоро птицы запели еще громче, и я вспомнил о Совке.

Я не удивился, когда узнал, что и она, и дочь не захотели жить в большом селе, где ни леса, ни реки, ни ручейка, и переехали в маленькую деревню еще дальше в тайгу, к самым горам, и никто не смог сказать точно куда. И я нашел себе утешение: пусть не будет наших четырех деревень — бог с ними! — пусть они превратятся в одну большую, — но только бы осталась Совка! И я нашел себе еще одно утешение: не надо допытываться, в какой именно деревне она живет, — разве я буду не прав, если скажу: она живет в каждой из них.





ВАЛЕРИЙ
ХАЙРЮЗОВ

*КАПИТАН
ЛЕТАЮЩЕГО
САРАЯ*

Повесть



— Какое у тебя звание?

Честно говоря, я не ожидал, что этим вопросом прямо на пороге штурманской комнаты меня встретит мой командир Иннокентий Ватрушкин.

После окончания летного училища, в новенькой серой летной форме и белой рубашке, наглаженный и начищенный, я приехал на свой первый вылет.

— Лейтенант, — бодро ответил я, еще не понимая, к чему этот неуместный в данном случае вопрос.

— Вот что, лейтенант! — Ватрушкин сделал паузу, быстрым глазом оглядел мою форму и строго произнес: — Если хочешь стать капитаном, больше на вылет не опаздывай!

Я машинально глянул на часы. До вылета в Жигалово, который значился в нашем задании, оставалась еще уйма времени, целых пятьдесят минут. Тем более что рейс был почтово-грузовым, есть-пить не просил и жаловаться на задержку с вылетом ни у кого причин не было.

— Это не твое время, — словно угадав мои мысли, строго сказал Ватрушкин. — На вылет надо являться за час, а тот, кто хочет стать капитаном, является за два.

Я промолчал. Хотя Ватрушкину еще не было и пятидесяти, он был знаменит на всю Сибирь: про него говорили, что он знал самого маршала Иосипа Броз Тито. Друзья-летчики сказали: мне повезло, что посадили летать с таким опытным командиром.

Ватрушкин был одним из немногих, кто пришел в авиацию во время войны пятнадцатилетним мальчишкой. Был мотористом, потом переучился и стал летчиком. Рассказывали, что во время войны он бывал в Италии, в той самой авиационной части, которая спасла Тито, когда его партизанский штаб в Югославии обложил немецкий спецназ.

Были у Ватрушкина взлеты, когда он командовал авиаотрядом в Киренске, были и падения, и тогда ему приходилось начинать свою летную жизнь с нуля. Впрочем, начальство, уважая его боевое прошлое, с пониманием относилось к его очевидным слабостям. Например, всем была известна его склонность к послеполетным фронтовым, как он сам выражался, ста граммам. Для остратки иногда ему все же грозили пальцем: мол, смотри, Михалыч, делаем последнее предупреждение. Но где найдешь такого летчика! Такие, как Ватрушкин, на дороге не валяются.

Ватрушкин был летчиком от Бога, и ему доверяли самые трудные задания. Он летал на аэрофотосъемку, садился там, где не только приземляться, но и ходить-то было опасно. Он знал все пригодные и непригодные для посадки площадки, доставлял туда врачей, вывозил больных и не считал свою работу особенной.

— Нам сказали — мы слетали, нам бы стопочку подали, — посмеиваясь, говорил он, вернувшись из очередного полета.

К нему в экипаж меня направили после того, как его второй пилот Коля Мамушкин на оперативной точке прогуляя с местной красавицей ночь, а утром пришел на вылет, как было написано в медицинском протоколе, с остаточными явлениями алкоголя в крови. Наказание последовало незамедлительно: Мамушкина было

предложено уволить. Чтобы спасти его, Ватрушкин предложил на полгода отправить Мамушкина на одну из открывшихся на севере области посадочных площадок. Скрепя сердце летное начальство пошло ему навстречу, Мамушкина вначале отправили в Карам, а затем перевели в Чингилей.

Сделав мне втык, Ватрушкин тут же приказал лететь на грузовой склад и почтить почту, а если подвернется, то и попутный груз.

— Чтоб через двадцать минут всё было в самолете! — добавил он.

На складе нашу почту еще никто не загружал. И, судя по всему, не собирался это делать. Грузчики принимали московский рейс.

— Людей у меня нет, — развела руками начальница грузового склада. — Если хочешь вылететь вовремя, грузи сам. Кстати, а вот и ваша сопровождающая.

Она показала на светловолосую девушку, которая упаковывала парашютную сумку. На ней была синяя колоколом юбка, и, когда она приседала, напоминала мне подпрыгивающий шарик.

— Так это, значит, вас мы повезем до Жигалово? — улыбаясь своим мыслям, сказал я, подождав, пока шарик отскочит от земли.

Девушка резко обернулась. На меня глянули огромные, в пол-лица, глаза.

— Что значит «повезем»? — медленно произнесла она, оглядев меня с головы до ног, и я увидел, как улыбка тронула ее губы. — Возят груз, а я лечу сама!

Шмыгнув носом, она присела и продолжила впихивать в сумку бумажный пакет.

— Давайте помогу, — я взял пакет и, нагнувшись, открыл сумку пошире. В ней был собранный по всем правилам ранцевый парашют.

— Вы поосторожнее, там у меня специи, — сказала девушка.

— Что, решили этого кабана, — я кивнул на лежащий парашют, — замариновать? Откуда он у вас?

— Мне его подарили, — ответила девушка. — Вот, везу с собой как учебное пособие.

— Вы, случаем, автомат Калашникова не везете? — не очень удачно пошутил я.

— Да если бы и везла, вам-то до этого какое дело!

Ответ превзошел мои ожидания. Сопровождающая повела себя так, точно она, а не я буду распоряжаться, что везти в самолете. В ее голосе почувствовалась обида. И все же меня это не остановило, более того, я решил поставить пассажирку на место.

— Мне до всего есть дело, — стараясь придать своему голосу необходимую твердость, сказал я. — У вас, должно быть, и документы на все это есть?

Девушка выпрямилась, глаза стали узкими и сверкнули, как бритва. Мне даже показалось, что сейчас между нами произойдет короткое замыкание. Но она погасила взгляд и спокойно произнесла:

— У меня нет ничего, что было бы запрещено брать на борт.

Я отметил, что она грамотно и почти профессионально сказала «борт», а не «самолет», как говорят все не имеющие отношения к авиации люди.

— И паспорт у вас при себе?

Я решил не сдаваться и сгордил очередную глупость, но понял это, когда она протянула мне паспорт; ну не милиционер же я, в конце концов!

— Анна Евстратовна Каппель, — почему-то вслух прочитал я. — Да-а-а... фамилия у вас.

— Что, и это не нравится? — спокойно, но уже с некоторым вызовом произнесла девушка, забирая паспорт. — Вообще-то я закончила советский пединститут. И вот по милости нашей славной авиации уже который день торчу здесь, пытаюсь добраться до места своего распределения. Если надо, то я могу показать вам все мои



документы. И медицинскую справку, что годна к полетам. Кстати, груз прошел всю необходимую для таких случаев проверку. Везу школьные материалы и наглядные пособия.

— И какая конечная точка вашего путешествия?

— Северный полюс под названием Чикан. Прилечу, мне в районо точно укажут. Туда и поеду.

— Но в Чикан самолеты летают только зимой! — воскликнул я. — От Жигалово туда еще семь верст киселя хлебать. Ну если, конечно, воспользоваться парашютом, тогда можно добраться и быстрее.

— Что хочу, то и везу! — неожиданно резко и зло осадила меня будущая учительница и поставила парашютную сумку на поддон, где уже лежали гитара, школьный глобус, объемистый чемодан и еще какие-то узелки, коробки и сумки. Рядом с вещами «парашютистки», так я про себя окрестил учительницу, лежали затянутые в материю белые посылки и серые газетные мешки.

Препариться далее не имело смысла, весь этот бутор надо было поскорее отвезти на самолет. Свободная грузовая машина стояла метрах в двадцати от поддона, но переносить эту поклажу на себе — нет, только не это. Я глянул на себя со стороны: через пять минут парадная форма превратилась бы в робу грузчика. И тут мне в голову пришла блестящая идея. Возле стены стоял погрузчик, я подошел, подергал рычаги. Погрузчик подал признаки жизни, и я, забравшись на сиденье, потихоньку подогнал его к нашему грузу, кое-как, со скрипом, загнал его железные кльки под поддон и, приподняв, начал разворот в сторону грузовой машины. Погрузчик вел себя послушно; нацелившись на кузов, я дал многотонной махине ход. Она, урча и переваливаясь на неровностях, покатила вперед. Когда до кузова оставалось метра два, я начал давить на педаль тормоза, но погрузчик вдруг показал свой норов: он даже не сделал попытки затормозить и через пару секунд со всего маху врезался в кузов грузовой машины. С ужасом я увидел, что все посылки, мешки и коробки посыпались на бетонный пол. Но и это не остановило набравшую скорость машину: погрузчик, словно разъяренный слон, боднул кузов машины, она тронулась с места и опрокинула стоявшую впереди тележку с московской почтой. Сделав свое черное дело, погрузчик посучил еще немного колесами и заглох.

И тут набежал народ! Учительница кинулась спасать свои школьные принадлежности, я бросился помогать ей, машинально отмечая: гитара цела, глобус не поврежден — их спасла парашютная сумка, приняв весь удар на себя. От гнева работников грузового склада меня спасли новенькая форма и любовь народа к легчикам. А то бы точно запихали под погрузчик.

Через какое-то время я, к своему ужасу, услышал, что грузовой терминал закрыли по техническим причинам, о чем тут же мне по телефону пришлось доложить Ватрушкину.

Но он уже был в курсе и сухо поинтересовался причиненным ущербом.

— Так, мелочи. Раздавил пару посылок, — быстро ответил я. — Но мне обещали, что составят акт, там ничего бьющегося не было.

Говорил я машинально, но бодро, пытаюсь скрыть размеры катастрофы.

— Хорошо, что только грузовой прикрыли, могли бы закрыть аэропорт. Тогда бы точно башку нам открутили, — буркнул Ватрушкин. — Ты там меня жди, я сейчас подойду.

— Кто твой командир? — нацелившись ручкой в лист бумаги, строго спросила меня начальница ночной смены с поджатыми накрашенными губами. Я понял, что сейчас на меня будет составлен протокол.

— Иннокентий Ватрушкин, — буркнул я.

— А-а! Командир, как его, ах да, вспомнила — сарая! — покрашенная неожиданно прыснула, но тут же сделала строгое лицо: — Если бы не он, то спустила бы с тебя штаны и выпорола как следует. Чего стоишь, давай собирай свои посылки.

Она захлопнула блокнот и ушла к себе. Мне в помощь она прислала грузчика, который больше смахивал на породистого прикормленного волкодава.

— Выходит, с Кешей летаешь, — не то спросил, не то подтвердил свой вопрос грузчик и засмеялся лающим смехом.

— С ним, — я кивнул головой.

— Повезло!

— Не понял?

— Я говорю, тебе крупно повезло.

И все равно я не понял, с чем повезло: с командиром или с тем, что я мало раздавил посылку.

Грузчик присел на поддон, достал сигарету.

— Ты не переживай. Кто из нас в детстве мимо горшка не ходил.

Я бросил взгляд на учительницу. Слова грузчика выходили за пределы педагогической этики, но вполне укладывались в те рамки, которые используют мужики, обсуждая сугубо деловые проблемы. Грузчик почему-то посчитал, что моя случайная напарница заслужила доверительного мужского общения. Но меня покорило, что посторонний человек приравнял мой возраст к младенчеству, не хватало еще, чтоб мне протянули соску.

— Ты не бери в голову! — грузчик неожиданно рассмеялся, кивнув на разбросанные вещи, которые собирала будущая учительница. — Это мелочи. А вот года три назад произошло такое! — Грузчик вновь зашелся лающим смехом. — Три дня аэропорт не работал. Все ассенизаторские машины города были тут.

— Что, так много наделал?

— Наделал. У них в экипаже был радист. В то время в городе дрожжей днем с огнем не сыскать было, вот он и привозил откуда-то с севера дрожжи. Какая бражка без этого продукта, да и хозяйкам в стряпне без него не обойтись. Кому-то это шибко не понравилось, сообщили куда надо, и к прилету самолета милиция в аэропорт пожаловала. Но Кешины друзья успели предупредить: так, мол, и так — встречаются... Они сели и порулили к вокзалу. Но по пути чуть в сторонку свернули, туда, где общественный сортир на восемь дыр стоял. Его еще до войны соорудили и считай что с того времени и не чистили. Кеша притормозил, прикрытый самолетом радист выскочил и выбросил дрожжи в этот самый сортир.

Я увидел, как учительница, усмехнувшись, насторожилась, затем сделала попытку поднять свой чемодан. Грузчик выказал неожиданную прыть: оборвав на полуслове свой рассказ, он перехватил у нее ручку чемодана и хотел одним махом забросить его в кузов. И неожиданно опустил чемодан на землю.

— Что там? — глухо спросил он.

— Книги, — виноватым голосом сообщила «парашютистка». — Я учительница.

— Слава Богу, что не пианистка! Такие тяжести будете носить, перестанете рожать, — набрав в себя воздух, сказал грузчик и, как штангист перед снарядом, выдохнув, поднял чемодан в кузов. — Так вот, милиция обыскала самолет, — продолжал он с той же улыбкой, — но ничего не нашла. А тут, как назло, — жара, каждый день за тридцать. Ну всё и поплыло! Что было! Начальство стометровую санитарную зону вокруг аэропорта ввело. Потом бульдозерами яму сровняли и построили нормальный толчок.

— Выходит, не было бы счастья?

У меня на языке вертелся вопрос, почему начальница смены грузового склада назвала Ватрушкина командиром сарая, но я не решился завести разговор на эту тему: не та была обстановка.

— А у нас все через задницу доходит, — философски подытожил грузчик и, присев на поддон, достал пачку папирос. Было видно — ликвидировать почтовый завал он не торопился.

Поблескивая кожаной курткой, подошел Ватрушкин, и мне показалось, что с его приходом в темный склад заглянуло солнце. Тут же откуда-то набежали женщины, окружили моего командира, защебетали. Иннокентий Михайлович, как и подобает знатному жениху, начал их обнимать. Впрочем, вскоре я убедился, что он ни на секунду не забывал о цели своего визита на склад.

— Мои любимые и дорогие! — рассыпая синь своих глаз, с улыбкой говорил Ватрушкин. — Грех свой признаём и за непредвиденную работу обязуемся привезти вам рыбки. И всего, что вы пожелаете.

— Мы много чего можем пожелать! — смеялись женщины.

— Не сомневайтесь — исполним. Чего не сделаю сам — попрошу вот этого лейтенанта.

— Да он еще, поди, нецелованный!

— Вот вы ему провозку и дадите.

Меня подставляли самым наглым образом, я краснел и потел, но приходилось терпеть: сам виноват, какие тут могут быть обиды. Краем глаза я видел, что учительница, посмеиваясь, с сочувствием смотрит в мою сторону.

Появление Ватрушкина сделало свое дело: через несколько минут уже не только мой ленивый, но разговорчивый «волкодав», но и вся смена собирала посылки и газетные пачки.

Произошло чудо: завал исчез, и мы, почти по расписанию, взлетели и, набирая высоту, отвернув подрагивающий мотор от города, взяли курс на север. Через минуту, открутив голову Веселой горе, винт нашего самолета начал сжевывать Кудинскую долину, в которой, как и тысячу лет назад, буряты пасли скот. Минут через двадцать на капот напозла Усть-Орда.

Почему-то я вспомнил Золотую Орду и подумал: то разорение, которое пришло с монголами на Русь, было несравнимым с тем, какое произошло по моей вине на грузовом складе.

«И на том утешимся», — сказал я себе и развернул мысли в другую сторону. А они перепрыгнули к более поздним временам, я припомнил, что по тому пути, который связывал Иркутск с Леной и вдоль которого летел наш самолет, началось освоение Якутии. Да чего там Якутии — по этой дороге шло приращение России, по ней добрую сотню лет снабжалась вся Русская Америка. Позже этот путь был хорошо освоен ссыльными, которых направляли сюда на поселение. Все это я вычитал в книгах, когда начал готовиться к полетам по северным трассам.

Минуты через две после Усть-Орды Ватрушкин, выкурив очередную папиросу, решил подремать.

— Если что, толкни меня, — сказал он и, подперев ладонью голову, прикрыл глаза.

Я крепче взялся за штурвал и почувствовал, как неведомое доселе горделивое чувство охватило меня с головы до ног: уже не в тренировочном полете, а в самом что ни на есть настоящем рейсе мне доверили вести самолет. Сличая карту с местностью, я про себя отметил, что вскоре должно показаться озеро, а за ним будут Ользоны.

Время от времени я нет-нет да и поглядывал в грузовую кабину, где, впялив лицо в боковой иллюминатор, сидела Анна Евстратовна. Поймав ее взгляд, я махнул рукой, приглашая в кабину. Она не стала кочевряжиться, встала с плоского металлического сиденья и подошла к кабинному проходу.

И тут дремавший до сей поры командир приоткрыл глаза. Он оглядел пассажирку, затем молча достал стопорящую рули красную металлическую струбцину, засунул ее учительке за спину и предложил сесть. Она с некоторой опаской и растерянностью выполнила его просьбу. Я, зная, что труба не лучшее средство для долгого сидения, начал крутить головой, чтобы найти что-то более подходящее. И тут Ватрушкин, опередив меня, достал из сумки толстый регламент и почти неувимым движением засунул его под учительницу. Я даже восхитился, как он молниеносно проделал эту операцию и как она быстро поняла, что от нее требуется, почти синхронно приподняв со струбцины свое легкое тело. Она глазами поблагодарила Ватрушкина, а он чуть заметным кивком ответил и, закурив очередную папиросу, начал расспрашивать: кто она такая и зачем летит в северные края.

Позже я не раз стану свидетелем того, как совсем посторонние люди будут открывать Ватрушкину свою душу, свои незамысловатые тайны, рассказывать и доверять то, что хранили в себе за семью печатями.

Учителька быстро разговорилась, и уже через какое-то время мы знали про нее все.

Оказалось, что отец ее был военным летчиком, а мать — учительницей, и всю жизнь они мотались по разным гарнизонам, пока отец был жив. К нашему несказанному удивлению, она хотела стать летчицей, еще в школе записалась в парашютный кружок, участвовала в соревнованиях и совершила более ста прыжков. Когда я услышал такое, мое лицо вытянулось в морковку, и нос нашего самолета пополз в сторону от курса, что вызвало быструю реакцию командира: он шуранул ногой и вернул самолет на заданный курс.

— Всю жизнь мечтала, но пилотом так и не стала, — с грустью в голосе поведала Анна Евстратовна. — Девушек в летное не берут. Пришлось поступать на исторический.

Когда пролетали Ангу, Ватрушкин, ткнув пальцем в стекло кабины, сказал, что в этом селе родился будущий патриарх всея Руси Иннокентий Вениаминов.

— Я туда летал, старики рассказывали, — добавил он для точности.

— Он был митрополитом Московским и Коломенским, — поправила его учительница. — В России в то время был синодальный период, и патриаршество было упразднено. Но вы правы, то положение, которое занимал Иннокентий, по сути было патриаршим.

Нос самолета вновь повело в сторону, но я вовремя спохватился. Таких тонкостей церковной жизни в летном училище не преподавали, там учили одному: четко держать курс. «Ну ладно, историки должны это знать, но откуда Ватрушкин знает?» — подумал я. Нет, не прост был мой командир, совсем не прост!

— А вон и Верхоленск! — через несколько минут он вновь ткнул пальцем в стекло кабины. — Посмотрите, какая красивая церковь.

Анна Евстратовна привстала и стала внимательно рассматривать поселок.

— Моя мама здесь родилась, — сообщила она. — А я здесь никогда не была.

— Так надо было сюда и попроситься, — сказал Ватрушкин.

— Но это другой район, я не знала.

— А вот скажи мне, дружок, — командир неожиданно повернулся ко мне. — Если у тебя нет компаса, как можно, глядя на церковь, определить стороны света?

От неожиданности я вспотел: надо же, учинил мне экзамен при постороннем человеке.

— Можно определить по кресту, — ответила за меня учительница. — Помимо большой перекладки на кресте есть нижняя малая. Верхний конец ее всегда указывает направление на север.

— Верно, — заметил Ватрушкин. — Если есть солнце, то стороны света можно определить по часам.

— Еще по деревьям, — наконец-то я пришел в себя.

— Весной — по снегу, — добавила учительница.

От навигации командир перешел к астронавигации, похвалил казаков-землепроходцев, которые без компасов и моторов дошли до Восточного моря — так в России в старину называли Тихий океан.

Пока командир вел светскую беседу с пассажиркой, я запросил погоду в Жигалово. Сводка оказалась неутешительной: к нашему прилету ожидалось усиление ветра до штормового. И самым неприятным было то, что он дул поперек посадочной полосы. Для нашего самолета предельно допустимой нормой было восемь метров в секунду. Но фактически сила его была одиннадцать, с порывами до пятнадцати метров. Я тут же сказал об этом Ватрушкину.

Нужно было принимать решение: следовать в Жигалово или уходить на запасной аэродром. Запасным у нас была Усть-Орда, которую мы пролетели час назад. Был еще Качуг, но он с утра был закрыт по техническим причинам: там ремонтировали полосу. Был еще вариант лететь до Осетрово, но туда могло не хватить бензина.

— Следуем к вам, — сообщил Ватрушкин свое решение жигаловскому диспетчеру. — К прилету прошу сделать контрольный замер ветра.

И Ватрушкин, и диспетчер понимали, что вся связь пишется на магнитофон, и поэтому оба делали поправку на данное неприятное техническое новшество, которое в случае чего могло стать серьезной уликой.

Через несколько минут Жигалово вновь вызвало нас на связь. Голос у диспетчера стал другим, более жестким и встревоженным:

— Ветер усиливается, ваше решение?

— О-о-о! Сам Ваня Брюханов поднялся на вышку, — протянул Ватрушкин и достал свежую папиросу. — Следую к вам, сделайте еще раз контрольный замер, — доложил он. — И еще — свяжитесь со столовой. Пусть к нашему прилету приготовят свежих пельменей.

— Уже сделали, семнадцать метров!

— Хорошо. К вам на точку выйду через десять минут, — прикурив папиросу, сказал Ватрушкин. Повернувшись к Анне Евстратовне, он попросил ее спуститься в пассажирскую кабину и пристегнуть ремни.

— Это начальник аэропорта Ваня Брюханов, — объяснил мне Ватрушкин. — Он знает, что мне надо восемь, я думаю, мы договоримся.

— Но с ветром вряд ли, — заметил я. — Он-то нас не слышит.

— Пожурем — увидим.

Через десять минут мы были над Жигалово. Было видно, что на земле действительно сильный ветер, полосатый конус на аэродроме стоял колом, макушки деревьев клонило к земле, а на улицах поднимались клубы пыли.

— Сделайте контрольный замер, — попросил Ватрушкин.

— Пятнадцать метров, — спустя некоторое время сообщил Брюханов.

— Вот видите, уже сбавил, — спокойным голосом сказал Ватрушкин. — Я сделаю кружок, а вы сходите на полосу. Судя по всему, ветер стихает.

Вместо ответа в наушниках раздалось что-то нечленораздельное.

Минут через пять, когда Ватрушкин вновь запросил погоду, Брюханов уже с сердцем в голосе выдавил:

— Ветер одиннадцать метров. Советую уходить на запасной.

— Он, видите ли, советует! Не страна, а дом советов, — прокомментировал Ватрушкин. И, выждав еще пару секунд, попросил: — Вы еще раз замерьте. А мы постараемся угадать между порывами.

В наушниках вновь произошло какое-то клокотание, через секунду все стихло, а через пару минут выдохнуло:

— Ветер восемь метров. — Брюханов на секунду умолк, чтобы тут же добавить: — Но о-о-очень си-и-льный!

Ватрушкин показал мне большой палец и быстро начал снижение. Борьба с боковым ветром он не стал, а посадил взбрыкивающий от ветра самолет поперек полосы. Пробега как такового не было: едва коснувшись земли, самолет встал как вкопанный. Но это ощущение было секундным. Затем мне показалось, что ветер опрокинет нас на крыло. Самолет начало корезить и наклонять, было такое ощущение, что уже без помощи мотора он может самостоятельно подняться в воздух или, чего доброго, его, как щепку, унесет в овраг. Но Брюханов быстро организовал всех мужиков, кто был на аэродроме, и они, повиснув на крыльях, помогли нам доползти до стоянки. Там самолет привязали, зачехлили. И тут наконец-то я разглядел Брюханова. Был он крепок и высок ростом, на лице выделялся крупный нос. Он подошел к крылу, погрозил кулаком Ватрушкину, но через минуту они, два крепких, но уже поседевших хлопца, обнимались прямо у дверей самолета.

Освободившись от своих прямых пилотских обязанностей, я схватил чемодан Анны Евстратовны, в другую руку для равновесия взял парашютную сумку, чертыхнулся про себя, вспомнив грузчика, и поволок увесистую поклажу к самолетной двери. Ватрушкин, глянув на мой новенький летный костюм, улыбнулся:

— Ты уж извини, но погрузчиков сюда еще не завезли, — перекрывая ветер, громко сказал он. — И грузчиков здесь еще долго не будет.

Вот так, аккуратно, но со значением, Ватрушкин припомнил мне грузовой склад. Я молча проглотил пилюлю.

Много позже до меня дошло: он хотел предупредить, что за всеми пассажирами багаж не наносишься, а разгружать и загружать почту и иной груз в маленьких аэропортах придется самому, а значит, моя новенькая, точно для кино, форма вскоре покроется пятнами, и мне придется то и дело отмывать их и отчищать ее бензином. А пассажиры и пассажирки будут помнить меня только до той минуты, как я поставлю на землю чемоданы, и, подхватив их, тут же забудут, с кем летели, кто нес поклажу, побегут себе по своим делам дальше.

Мои размышления прервал налетевший ветер, он сорвал с головы новенькую летную фуражку и покатил по траве. Я едва успел догнать ее, и тут с аэродромной вышки все тот же порывистый ветер чуть ли не в насмешку мне донес модную в то время песню из югославского кинофильма «Любовь и мода», которая была известна у нас как «Маленькая девочка»:

*Всю жизнь мечтала, пилотом стала.
И вот лечу я,
И не страшно ничуть.*

Мне пришлось возвратиться к самолету и, преодолевая порывистый ветер, перетаскать вещи Анны Евстратовны к деревянному зданию жигаловского аэровокзала. Анна Евстратовна решила сходить в район, чтобы сообщить, что она прибыла и готова ехать, куда ей укажут. А нам оставалось готовиться к ночевке: погода ис-

портилась окончательно, и лететь куда бы то ни было или возвращаться на базу нам запретили.

— Вот что, не в службу, а в дружбу, — когда мы уже разместились в пилотской гостинице, сказал мне Ватрушкин, — сбегай до магазина. Это тот, что в судовой фи. — Командир протянул мне двадцать пять рублей: — Надо обмыть твой первый полет. Возьми коньяк. — На какое-то мгновение командир призадумался: — Две бутылки мало, три много. — Ватрушкин махнул рукой: — Вот что, бери пять. Не хватит, так останется. И сними свой парадный костюм. Лучше надень мою куртку. Увидят тебя жигаловские — подумают, что это Муслим Магомаев к ним прилетел.

Сравнение со знаменитым певцом мне польстило. Магомаев был тогда у всех на устах. И то, что командир предложил взять его куртку, своей предусмотрительностью сразило меня окончательно. Действительно, могут не понять: летчик, да еще и молоденький, затаривается спиртным. А в куртке — другое дело, и покупателям, если они там будут, понятно, что берет коньяк бывалый летун.

— Да я вообще-то не пью, — заметил я.

— Что так? Большой? Или подлюка? — Ватрушкин как-то по-новому оглядел меня: — Пить не будешь — капитаном не станешь. Но насильно заставлять не буду. Как говорится: вольному воля.

— Спасенному — рай, — в тон поддакнул я. — А еще мой отец говорил: бешенному — поле, ходячему — путь.

— Лежачему — кнут, а бестолковому — хомут! — засмеялся Ватрушкин. — Тот, который на нас надевают.

— Считается не тот, который надевают, а тот, который мы надеваем на себя сами, — буркнул я.

— Уже и закукарекал, — удивленно протянул Ватрушкин. — Тебе бы надо на филолога, а ты в летчики! Ну что, идешь?

— А у меня есть выбор? Конечно, иду, даже не иду, а лечу.

— Вот и ладненько! Если увидишь там папиросы «Герцеговина Флор», возьми пару пачек. В городе их днем с огнем не сыщешь, а здесь бывают, должно быть, в память о тех временах, когда в этих краях в ссылке был соратник Сталина Валериан Куйбышев.

— Здесь еще бывал Радищев, — вспомнил я. — Который написал «Путешествие из Петербурга в Москву». И проездом — Чернышевский.

Реакция командира оказалась мгновенной.

— «Что делать?» — прищурившись, спросил себя Ватрушкин. — Вот что прикажешь делать мне? Был у меня уже такой же филолог, фамилия у него была Тимохов. Любил играть в карты и филонить. Чем это завершилось? А тем, что сам себя сослал он на Колыму. Дальше было некуда. Может статься, что и тебя могут в этот самый Чикан отправить, к Анне Евстратовне. Скоро туда откроются полеты, и там наверняка потребуются человек.

В Чикан мне совсем не хотелось. Я понял, что Ватрушкина начала раздражать моя говорливость. И не мой первый полет он хотел обмыть, а, скорее всего, снять напряжение, которое еще с самого утра создал ему я. Вновь перед моими глазами встал почтовый завал, и, судя по словам командира, нам еще предстоял разбор, который не сулил мне ничего хорошего. Чего доброго, могут и сослать.

И я пошел в незнакомый мне северный поселок.

«Надо же, он даже знает, что в этих местах бывали Куйбышев и Чернышевский, — размышлял я над словами Ватрушкина. — Вообще-то забавный старикан. Но надо с ним ладить. Не то и вправду сошлет в Чикан. Тогда точно — не видать левого сиденья, как своих ушей».

Удивительно состояние молодости. Как волна, накатило плохое настроение и тут же откатило. Через пару минут я уже с другим чувством посматривал на рубленые столетние деревянные дома, на одиноко сидящих на лавочках людей. Сколько событий прошло и сколько разных людей проезжало мимо этих высоких гор, обступивших Лену. Жигаловские дома спокойно смотрели на очередного залетевшего в их края летуна.

*Затерялась Русь в Мордве и Чуди,
Нипочем ей страх.
И идут по той дороге люди,
Люди в кандалах...*

Тихо про себя я стал напевать песню на стихи Есенина.

На улице было пусто и ветрено. Но натянутая почти на самые уши летная фуражка крепко сидела на голове, а на ногах были не кандалы, а уже посеревшие от пыли тупоносые башмаки. И все же мне было приятно идти по улице в летной форме, ощущать на себе не какую-нибудь, а настоящую кожаную командирскую куртку. Появись я в ней на Барабе, уж точно было бы разговоров. Но до командирской куртки мне еще пылить и пылить. А здесь даже собаки с лентой поглядывали на мою выдавшую виды брезентовую, из-под самолетных формуляров сумку, которую Ватрушкин сунул мне в последний момент, чтоб скрыть цель моего похода в магазин.

Много позже, вспоминая свои первые летные дни, я приду к одному простому выводу: впечатления от второго полета никогда не сравнятся с первыми; все сольется в один рейс, с такими же длинными, по несколько дней, задержками в разных аэропортах, а взлеты и посадки, которые происходили без спешки и по расписанию, станут таким же обыденным делом, как, например, открывание и закрывание многочисленных дверей в нашей повседневной жизни.

В магазине, который располагался около судоверфи, была обычная очередь, которая никуда не спешила. Я оглядел прилавки магазина, но ни водки, ни коньяка не увидел. Был питьевой спирт, папиросы «Казбек», «Беломорканал», «Прибой». Еще я увидел, что здесь можно купить белую нейлоновую рубашку. Они лежали нетронутой стопкой, и меня это удивило: в городе их днем с огнем не найдешь, а здесь лежат, бери — не хочу.

Позже Ватрушкин, используя ненормативную лексику, что с ним бывало крайне редко, объяснит, что деревенские быстро расчухали: в жару рубашка липнет к телу, и даже ее, как нам тогда казалось, несомненное достоинство — взял, постирал в холодной воде, встряхнул и надел, у них вызывало смех — не рубашка, а липкая резина.

— И я с ними согласен! — подытожил командир.

Еще раз подивившись увиденному, я пристроился в конец очереди.

«Не хватит, так останется», — с улыбкой вспомнил я, поглядывая на безыскусные этикетки. И тут на меня из очереди знакомо глянули где-то уже виданные глаза. Анна Капель! Так и есть — она. Вот уж кого-кого, но ее я не ожидал увидеть здесь. Она кивнула, мол, подходи и становись рядом.

Брать спирт на ее глазах было неудобно, но и деваться было некуда, и я, с постным выражением лица, сгрузил бутылки в брезент. Не объяснять же прилюдно, что выполняю ответственное задание, что у меня сегодня первый полет, кроме того, только что почти на ее глазах мы совершили сложную посадку, за которую командиру и мне, как его помощнику, могли запросто вырезать талоны нарушения, а их в пилотском удостоверении было всего два, после чего можно смело ехать в деревню пасти скот. Нет, объяснять я ей ничего не стал, лишь задал дежурный вопрос:

— Как ваши дела?

— Дела у прокурора, — улыбнувшись, сказала Анна Евстратовна. — В районо уже никого нет, придется ждать. Вот стою, надо что-то купить перекусить.

— Да, дела хуже прокурорских, — пробормотал я и, подумав секунду, добавил: — Вот что, давай-ка пойдем в аэропорт. Поужинаем в столовой. Здесь кроме тушенки и рыбных консервов брать нечего.

— Как же нечего, а это? — Анна кивнула на мою авоську.

— Командир сказал, что сегодня у него юбилейный полет. Хороший повод.

— Я уже поняла. А вот у меня настроение — хуже не придумаешь.

— А чего тут думать! — сказал я. — Все равно твои манатки в аэропорту. Будем делать погоду.

Я уже знал: в таких случаях не надо уговаривать — надо брать инициативу в свои руки. Сработало!

Когда мы вернулись в аэропорт, начался дождь. Крупные капли, шелестя, ударили по крайним, высоким листьям, затем с шумом набежали и начали долбить заборы, крыши домов, деревянные тротуары. Мы с Анной Евстратовной едва успели вбежать в пустой аэровокзал, как за нами зашумело, зашуршало, точно кто-то большой и невидимый принялся жарить на огромной сковороде свое жарено.

В столовой уже был накрыт для нас стол. На белой скатерти стояли граненые стаканы, на тарелках парили заказанные еще с воздуха пельмени. Кроме того, была красная рыба, огурцы и помидоры. И что-то еще шкворчало у поварихи на огромной сковороде.

Уже много позже я открою для себя, что подобное внимание к летчикам больше почти нигде не встречал. Бывало, на сельхозработках и спать приходилось без простыней на матрацах, которые мы сами себе набивали соломой, и ужин готовить из тушенки, а то и обходиться одним чаем. Здесь же по одному только столу чувствовалось: в Жигалово к летчикам относились с должным уважением — и накормят, и спать уложат, и поднимут когда надо.

Я подошел к Ватрушкину и коротко доложил обстановку, мол, так и так, наша «парашютистка» попала в аварийную ситуацию. И ей нужна помощь.

— Зови ее сюда, — распорядился командир. — Тем более здесь есть представитель местной власти. — Ватрушкин кивнул на сидящего рядом начальника аэропорта Брюханова.

— Иван, выручай! — попросил Ватрушкин Брюханова. — Не в службу, а в дружбу. Девушке надо в Чикан. Она учительница и едет туда по распределению.

— Да, действительно, добраться туда непросто, дорога размыта, — почесав затылок, сказал Брюханов. — Неделю шли дожди. Автобус не ходит. Сейчас туда можно добраться только на попутном лесовозе.

— Надо что-то придумать, — сказал Ватрушкин. — Негоже бросать человека на полдороге.

— Ну разве что отправить на лесопатрульном вертолете, — подумав немного, ответил Брюханов. — Или спустить ее там на парашюте. Но это если вертолетчики согласятся. У них Чикана в задании нет.

— Так пусть нарисуют, — засмеялся Ватрушкин.

— Вы сказали про парашют, — неожиданно вставила Анна Евстратовна. — У меня есть с собой парашют.

— Парашют?! — Брюханов озадаченно посмотрел на необычную пассажирку. — Что, уже и с парашютом начали летать? Забавно! А кто мне потом передачи в пюрьму будет носить?

— У нее действительно есть в багаже парашют, — я решил проявить свою осведомленность.

— Зачем ей в медвежьем краю парашют? — удивился Брюханов. — Всё видел: и как медведь в самолет забирался, и как свиньи по воздуху летали. Кеша, помнишь?

— Лучше не вспоминай, — вздохнул Ватрушкин.

— Я буду проводить военно-патриотические занятия, — сказала Анна Евстратовна.

— Все было, но чтоб прыгали медведи! — пытался перевести разговор в шутку Брюханов.

— Я не медведь, — заметила Анна Евстратовна. — Скажете прыгнуть — я прыгну!

— Представляете: учительница спускается в таежный поселок на парашюте, — рассмеялся Брюханов. — Можно писать очерк в районную газету.

— Парашют я везу, чтоб не медведей, а детей учить, — начала объяснять Анна Евстратовна. — К тому же он старенький, списанный.

— Понял, чтобы пацанва начала с кедров прыгать, — засмеялся Брюханов. — Да вы, милая, хоть представляете, куда едете?

— Думаю, что да!

— Ну если знаете, тогда прошу к столу, — после некоторой паузы перевел разговор Брюханов. — Ночевать вам, милая, все равно придется здесь, в пилотской гостинице, у меня есть свободная комната. Чтоб запомнили, как северяне умеют встречать и провожать гостей. А вы, собственно, уже и не гостья, а наш человек, который не забывает, что надо не только учить детей, но и воспитывать настоящих мужиков.

Глянув на стол, Анна исчезла, но не прошло и минуты, как она появилась с бутылкой вина.

— Мне сказали, что у вас сегодня юбилейный полет. Мне эту бутылку подарили перед вылетом. Я полагала, что открою ее коллегам по приезду на место, но раз такой случай...

— Ну, вы это зря! Мы больше привычны к этому, — Ватрушкин постучал пальцем по бутылке со спиртом.

— Надо же, запасивая, — протянул Брюханов. — И вино хорошее, «Кокур», аж из самой Массандры. Ты, Кеша, посмотри, сколько медалей. Наверное, за каждого сбитого наповал вручали. Ты вот что, бутылочку эту спрячь. С коллегами в Чикане откроешь. Там она будет к месту, а здесь мы спирт по широте разводим. Какая у нас — шестидесятая? Значит, воды будет всего сорок. Микитишь? И вообще, я сейчас позвоню начальнику района, пусть они тебя у нас оставят. Зачем тащиться в глухомань? Мы тебе здесь и жениха подыщем.

— Зачем искать, у меня есть! — сказала Анна.

— Что, он тоже прыгает с парашютом? — спросил я.

— Нет, у него аэрофобия. Сейчас он работает в театре и учится на режиссерском.

— Что, это он срежиссировал вашу поездку в наши края? — поинтересовался Брюханов.

— Нет, я сама, — дрогнувшим голосом начала Анна Евстратовна. — Я уже давно самостоятельный человек и делаю то, что считаю нужным.

И, неожиданно улыбнувшись, продекламировала:

*Не надо мне чужого хлеба,
Поверьте, я должна сама
Спустить с небес кусочек неба
На эти серые дома.*



— Хорошие стихи, — похвалил Брюханов. — Вот что, дочка, ты его перетаскивай сюда. И ему здесь место найдем. Интеллигенции у нас маловато, ты и сама это поймешь.

— Уже поняла.

— Да, здесь люди попроще, поглубже, — сказал Ватрушкин, поглядывая на Анну с какой-то непонятной для меня грустью. — Но они, если полюбят, уже никогда тебя не предадут. Вы сидите, а я пойду покурю на свежем воздухе, — неожиданно сказал он и, поднявшись из-за стола, двинулся к выходу.

Я знал, что Ватрушкин был одинок: жена ушла от него, а вот другую он не заводил, хотя, наверное, мог: у женщин он пользовался неизменным вниманием. Мой командир был худошав и крепок, настоящий мужик, про таких говорят: глянет своими небесными глазами и может взять женскую душу с одного захода.

— А знаешь, мил человек, что твой командир был когда-то и моим командиром, — повернувшись ко мне, сказал Брюханов. — И было это в славном городе Киренске. Михалыч там руководил летным отрядом. Это еще в пятидесятых было. Хотя высшего образования у него для такой высокой должности не было, но было, как говорится, хорошее среднее соображение. Ну и, конечно, война! Недаром тем, кто был на фронте, год за три шел. И вообще он человек исторический.

— Да ну, преувеличиваете! — протянул я.

— Вот тебе и да ну, — усмехнулся Брюханов. — Знать надо, с кем сидишь рядом. Так я о чем хотел рассказать? Михалыч — человек, как бы это вам сказать, который до всего пытается дойти сам. Расскажу один случай. Начала к нам в аэропорты приходиться новая техника. Поначалу Михалыч не очень-то доверял ей. А тут привезли обзорный радиолокатор. Установили на горе. Ватрушкин решил в деле посмотреть и пощупать возможности новой, всевидящей, как говорили и писали, техники. Как это положено, заказал облет. Сам сел в кабину и полетел с проверкой. Взлетели, значит, и пошли по кругу. Кеша начал запрашивать у диспетчера место и положение самолета. Тот смотрит на экран локатора и дает: высота шестьсот, удаление двенадцать. Кеша через форточку посмотрит на землю и на высотомер:

— Верно!

Диспетчер по собственной инициативе подсказал, что сейчас они выполняют третий разворот.

— Верно, — подтвердил Михалыч, прикуривая очередную папиросу. Но не успокоился и решил еще раз перепроверить:

— А что я сейчас делаю?

— Курите, Иннокентий Михайлович, курите! — последовал ответ.

— Надо же! — изумленно протянул Михалыч. — До чего дошла техника, всё видят, — тут Брюханов расхохотался: даже самая последняя собака в Киренске знала, что застать Ватрушкина без папиросы — все равно что увидеть Лену без воды.

— А между порывами ветра ему часто разрешаете посадку? — поинтересовался я.

— На этот случай смотри раздел руководства по летной эксплуатации, полеты в особых случаях, — нахмурившись, ответил Брюханов.

— Я смотрел, там об этом ничего не сказано.

— А ты посмотри в дополнениях, — с нажимом ответил Брюханов. — Там черным по белому написано: действуй по обстановке. В переводе на наш язык — соображай! — Брюханов поднял вверх указательный палец. Как хороший актер, он выдержал паузу.

— Расскажу еще один эпизод. Ты слушай, слушай, авось пригодится! И не лезь с дурацкими вопросами.

Было видно, что Брюханову явно не понравился мой вопрос про боковой ветер. И мне самому не понравился, посадка-то была на грани фола. Но начальник аэропорта не стал ставить меня на место: чего, мол, возьмешь с сопляка.

— В пятьдесят шестом в Киренск пришло пополнение. В их числе был и я, молодой, честлюбивый, скажу я вам, дальше некуда. Скорее, скорее в небо, а потом на большой лайнер. Такие у меня были мысли. Но по всем документам, прежде чем возить пассажиров, нам надо было налетать сто часов с грузом. А груза на складе нет. Сидим, как в доме отдыха, в карты играем, денег нет, что дальше будет — неизвестно.

Вот и начали с ближайших озер потаскивать домашних уток. Жители деревни нажаловались Ватрушкину: мол, нехорошо поступают ваши летуны.

И Михалыч неожиданно нагрянул к нам в гости. Мы сидим за столом, а на печи — ведро с утятинной, а на столе — графин с гамырой. Увидав высокое начальство, вскочили, вытянулись во фронт.

— Включите радио. Нет, вы включите и послушайте! — загремел Ватрушкин. — Такая сложная международная обстановка, а вы здесь пьянствуете! Вы же все офицеры запаса. Первый выстрел — и в бой. А вы тут — в запой!

— Так полетов нет и денег тю-тю! — начали оправдываться мы. — Где же мы налетаем эти злосчастные сто часов, если на складе нет груза. Тут не только запьешь, но от безделья подохнешь!

Тут взгляд Ватрушкина наткнулся на лежащего в кровати летчика, фамилия у него была Тимохов. Тот как лежал, так и продолжает лежать, не обращая внимания на визит высокого гостя.

— Послушай, дружок, ты это чего? — повысил голос Ватрушкин. — А если бы сейчас война?

— Иннокентий Михайлович, — приоткрыв один глаз, ответил Тимохов, — если война, то я бы тогда надел каску и спал в ней.

— Ну, спи, спи, мы это учтем, когда будем составлять наряд, — мрачно сказал Ватрушкин и, взяв со стола графин, понюхал, сморщился и вылил гамыру в помойное ведро.

— И вам не стыдно пить такую дрянь! — вновь загремел он. — Вы же летчики! На вас люди равняются.

Мы стояли как остолбенелые, — это надо же так упасть в глазах командира.

— Так по Сеньке и шапка, — философски заметил Тимохов. — Употребляем то, что доступно. Мы же с маршалом Тито дружбу не водили.

И тут с Ватрушкиным что-то произошло: он подобрал живот, достал из кармана четвертную и уже другим, распорядительным голосом обратился к Тимохову:

— За то, что вспомнил про Тито, — спасибо! Хватит, дружок, койку давить, слетай в магазин и купи коньяку. — Тут Михалыч сделал паузу и произнес: — Одну мало, две много...

— Возьми три. Не хватит, так останется! — воскликнул я.

— Молодец, выучил, — похвалил меня Брюханов. — Оглядел, значит, нас Михалыч и уже другим, командирским голосом рявкнул:

— Слушайте мой приказ! Еще раз местные пожалуются — отберу пилотские и пешком отправлю в Иркутск. А с завтрашнего дня будете возить свиней. Думаю, справитесь. Свиньи — не люди, о них в воздушном кодексе ничего не сказано. Регистрируем как груз. Вот вам и работа, вот вам и грузовые полеты.

— И начали мы развозить свиней по колхозам и леспромхозам. Возили их в Сурово, Коношаново, Знаменку. И Иннокентий Михайлович сам сел возить свиней. И подложили эти самые свиньи свинью Михалычу, — вздохнув, подытожил Брю-



ханов. — Этот филолог, Тимохов, поленился как следует связать свиней перед взлетом. А они в воздухе взбесились, порвали веревки и начали носиться по самолету. А в каждом хряке пудов по десять было. Самолет то на дыбы, то в пике. Хорошо, Кеша приказал своему горе-помощнику открыть дверь. Ну, боровки, естественно, без парашютов, — тут Брюханов скосил глаза на Анну Евстратовну, — как из стайки, сиганули в бездну.

— Это же библейский сюжет! — воскликнула Анна Евстратовна. — Как только бесы вселились в стадо, свиньи взбесились, завизжали и бросились с высоты в воду.

— Ты, дочка, права, визг стоял на всю округу, — подтвердил Брюханов. — Потом начались разборки, стали проверять, кто разрешил возить и почему. На одной из таких партийных разборок кто-то возьми и заяви:

— Ну и что, что фронтовик! У него не самолет, а сарай, из которого свиньи прыгают, куда хотят.

— И имя вам — легион, — ответил Михалыч партийцу.

А у того глаза из орбит, начал стращать, что сделает все, чтобы лишить Михалыча пилотского. Михалыч не стерпел, взял и врезал «другану» в лоб. Его судили, дали условный срок.

— Жалко, — неожиданно всхлипнула Анна Евстратовна.

— У них выхода не было.

— У свиней?

— Да я не о том! Жалко Иннокентия Михайловича.

— Я же говорил, он мужик с характером. Таким всегда тяжело.

— А вы еще хотели про медведя рассказать. Который в самолет залез, — вспомнила учительница.

— Там все очень просто, — махнул рукой Брюханов. — Охотники убили медведицу. А у нее осталось двое медвежат. Одного они предложили нам отвезти в зверинец. А мы тогда работали на аэрофотосъемке. Поселили медвежонка у себя. Особенно мишка любил сгущенку. Мы улетим — он ждет нас в пилотской. Но как только заслышит звук мотора, бежит встречать самолет. Михалыч ему из своих запасов обязательно баночку сгущенки давал. А потом мы улетели в город, и медвежонок ушел в тайгу.

Года через два мы прилетели и остались на ночевку. Утром прибегает техник, глаза по плоске. Кричит: «Медведь забрался в кабину самолета!» Ну, мы с ружьями на стоянку. Точно — медведь! Выпрыгнул из кабины и к Михалычу. Тот самый, но повзрослевший. Пришел по старой памяти за сгущенкой. Мы его хотели взять в полет и опустить в тайгу на парашюте. Шучу! У мишки бы разрыв сердца мог случиться. Но скажу честно, и летчики-то не слишком жалуют тряпку. Ну, извини, парашют. А уж тем более медведи. С ними мы летали, только когда сбрасывали парашютистов, в других случаях — никогда. У нас говорили: лучше нырять с парашютом, чем прыгать с аквалангом. Сколько лет уже прошло, но я с содроганием вспоминаю свой первый прыжок.

Прыгали мы на По-2. Был такой самолет. Левая рука пилота вверх — приготовиться! Сердце — что колокол на пожаре! Переносишь ногу через борт, спускаешься на крыло и по команде «Пошел!» под углом сорок пять градусов отгалкиваешься и летишь в бездну. Эти несколько секунд остаются с тобой навсегда. А проделать это сто раз! — умереть да и только! Позвольте поцеловать вашу руку.

Но Анна Евстратовна не позволила, она смущенно захлопала глазами и беспомощно оглянулась на меня. Я решил прийти ей на помощь.

— Сегодняшняя посадка мне тоже запомнится надолго, — громко сказал я.

— Сильно болтало, — подтвердила Анна.

— А вот мы здесь болтаем уже больше часа, — глянув на часы, заторопился Брюханов.

— И все же расскажите, — попросила Анна Евстратовна.

— Хорошо, расскажу. — Брюханов хитровато улыбнулся. — Было это в том же Киренске. Однажды захожу на посадку, а на полосе туман. Видимость — ноль. — Брюханов сделал паузу. — Первый раз я промахнулся. Захожу второй раз. А у меня перед глазами горят красные лампочки критического остатка топлива. Я напряг всю свою волю, все умение и посадил самолет. Иннокентий Михайлович прибежал к самолету, решил поблагодарить меня за успешную и героическую посадку. Протягивает мне для рукопожатия руку, — Брюханов поднял над столом свою руку-лопату, — а я ее из-за тумана не вижу.

Анна оценила очередную байку Брюханова, долго смеялась.

— Вот на этой ноте и закончим. Завтра рано вставать. Ты не огорчайся, отправим тебя, — сказал он Анне Евстратовне. — А к осени, думаю, откроем рейсы в Сурово, Коношаново, Чикан и Чингилей.

Утром в пилотской раздался стук. Приехал директор зверосовхоза — крепкий молодой парень с широким восточным лицом. «Скорее всего из эвенков или якутов», — подумал я. На нем, вопреки утверждениям Ватрушкина о нелюбви местных к новомодным новинкам, была белая нейлоновая рубашка и черный костюм. «Должно быть, чтобы все видели — начальник!» — усмехнулся я и даже подумал, что он выглядит как жених, который приехал за невестой, чтобы отвести ее в загс.

— Ну, кого здесь надо забрать? — громко спросил он, увидев Брюханова. — А то мне позвонили из района, сказали: Петр Митрич, встретить учительницу.

— Запоздал маленько, мы решили ее оставить у себя, — пошутил Ватрушкин.

— Раз вам она так понравилась, значит, и нам подойдет, — легко и просто, в тон Ватрушкину, рассмеялся директор. — У вас стюардесс, должно быть, хватает.

— Такой нет, — сказал Ватрушкин.

— Не всё вам, но и нам что-то достанется.

Переговорив еще о чем-то с Ватрушкиным, Петр Дмитриевич погрузил в машину вещи Анны Евстратовны, и она, помахав нам рукой, села в кабину.

— Если что, ты обращайся, — сказал ей Брюханов. — Меня в Жигалово все знают. Даже собаки. Надо будет в город — всегда отправим.

— А ты взял у нее адрес? — поинтересовался у меня Ватрушкин, когда машина отъехала от аэропорта.

— А то как же! Северный полюс. Деревня Чикан, — отшутился я.

Запоздало, но все же я успел уловить в его голосе неизвестные мне ранее нотки, что дало повод предположить: моему командиру Анна Евстратовна пришлось по душе. Но чем?

Позже через кабину нашего самолета пройдут сотни людей. Войдут, посидят пару часов и выйдут. А вот Анна Евстратовна запомнилась. И дело даже не в первом моем полете.

Постепенно я начал привыкать к своей работе: чтобы экономить время, приходилось самому разгружать и загружать самолет, отчитываться за почту и посылки, питаться неизвестно где и чем придется, все на ходу, все на лету. И большой летчицкой зарплаты, как считали мои знакомые, тоже не было. Хорошо, что выдали добротную летную спецодежду, она выручала во многих случаях, не надо было тратиться на нейлоновые рубашки и костюмы.

Но такие мелочи и неудобства совсем не огорчали, главное — я летчик! На мое место хотели бы попасть многие, но именно я вытянул счастливый билет.

Особенно мне нравились полеты ранним утром, когда земля еще спала, и самолет шел без единого толчка, как по хорошо укатанному асфальту, нравилось, что, пребывая в хорошем расположении духа, командир продолжал читать мне лекции.

— Всю работу в полете выполняет мотор, — уже набрав высоту и прикуривая очередную папиросу, не спеша начинал Ватрушкин.

«Очень тонкое замечание», — думал я про себя. Но уже не высовывался, а спокойно продолжал крутить штурвал.

— Не ты крутишь коленвал, а это он, трудяга, вращает винт, тянет нас вперед, — продолжал Ватрушкин свою мысль. — А те твои движения и навыки в пилотировании — поднять самолет от земли, отвернуть, удержать на курсе, где убавить, а где прибавить мощность мотору, — всему этому тебя научили еще в училище. Здесь перед тобой другая задача: безопасно долететь, посадить, выгрузить и загрузить самолет. Существует еще одна работа, невидимая и неслышная, — Ватрушкин стучал пальцем по лбу, — она происходит вот здесь, когда ты свой предстоящий полет должен увидеть, продумать, выстроить и предусмотреть все кочки, все овраги, всю дорогу, то есть учесть погоду, ветер, облачность, размеры площадок, на которые придется садиться, знать необходимое радиообеспечение, которым оснащена трасса. И даже знать, где будешь обедать и ужинать. Научись брать с собой термос, бутерброды — на голодный желудок много не налетаешь, да и гастрит заработаешь. Хорошо, когда пассажирский рейс: они вошли и вышли, а если рейс почтовый или грузовой и светлого времени в обрез, то ты уже не только летчик, но и грузчик, и кладовщик одновременно.

Тут я согласно кивал головой, приходилось иногда за минуты перебросить тонну груза.

— Кроме того, второй пилот несет ответственность за сохранность груза, и именно тебя начнут таскать, если что потеряется, — сквозь шум мотора долетал до меня голос командира. Почему-то мне казалось, что этими словами он напоминает мне про случай на складе, когда я опрокинул телегу с почтой. Но тогда Ватрушкин сделал все, чтобы меня не наказали, и я на собственном опыте уяснил, что инициатива наказуема.

— Это еще не все: на оперативных точках порой приходится самому управлять самолет, а тут надо держать ухо востро: что за бензин в бочках, нет ли в нем воды и грязи, — продолжал наставлять меня Ватрушкин. — И если остаешься на ночевку, то приходится быть и охранником. Вот такая наша работа. Но кто это знает? Тебя встречают и провожают по одежке и ценят за то, что ты — летчик, король неба. Свою работу надо делать с твердостью и надежностью, без крика и суеты. Принял командирское решение взлетать — взлетай! Запомни: суетливый летчик вызывает раздражение, а бегущий — панику. Микитишь?

Я кивал головой — микичу! Ватрушкин говорил обыденные вещи, и мне казалось, что делает он все это, чтобы заполнить паузу между взлетом и посадкой.

— Вон видишь поляну, там можно сесть в случае отказа двигателя, — говорил он, ткнув пальцем в стекло, — на эту площадку лучше садиться в горку, а то, не дай Бог, откажут тормоза, тогда точно будешь в овраге. Без нужды не лазь в облака, в них и летом можешь поймать лед на крыльях.

А при заходе на посадку Ватрушкин учил меня правильно строить расчет на посадку в случае отказа двигателя, бывало, показывал полет на минимальной скорости с выпущенными предкрылками, когда нас внизу, на дороге, точно стоячих,

обгоняли машины. Еще были советы, как определить на земле ветер, когда сам подбираешь для посадки площадку. Иногда для интереса он показывал посадку, после которой самолет почти без пробега останавливался как вкопанный. С юморком Ватрушкин рассказывал, как еще на По-2 садился на баржу, когда для спасения людей надо было срочно доставить на посудину врача. Мне нравилось, как Ватрушкин закуривает в кабине, втыкает коробок между тумблерами и, откинувшись, смотрит куда-то в одну известную ему точку. Запах папирос внушал мне неведомое доселе спокойствие и уют, если такое вообще возможно в маленькой и тесной кабине.

Я долго не мог привыкнуть, что буквально через час после вылета из Иркутска с его шумом и суетой попадаешь в совершенно иную, тихую и размеренную жизнь далекого таежного поселка. У меня было такое ощущение, что самолет, как машина времени, откручивает дни и года в ту или иную сторону. Бывало, сядешь, например, в Караме, а там всё как сто или двести лет назад; тут же, неподалеку от посадочной площадки, пасутся коровы, едва откроешь дверь самолета, как в кабину врывается запах свежескошенной травы и тебя начинали атаковать оводы. Обычно первыми самолет встречали местные лайки, а рядом уже толпились встречающие и провожающие. Они с интересом смотрели на тех, кто прилетел, что привез, чтобы через несколько минут обсуждать эту новость всем поселком. Северяне привыкли жить оседло, и любая поездка, новый человек вызывали у них живейший интерес.

На этих маленьких таежных аэродромах к летчикам было свое, особое отношение. А старых пилотов, как иногда они сами подшучивали, летающих сараев знали наперечет. Про Ватрушкина и говорить было нечего, там он уже давно был своим человеком. Но и для меня, вчерашнего курсанта, нашлась своя ниша. Поскольку дело с посылками и иными передачами приходилось иметь мне, то и обратная связь осуществлялась через меня. Бывало, передашь из города посылку, тебе суют мешка рыбы или кусок сохатины. Ты начинаешь шарить по карманам, чтобы расчитаться, а тебе говорят: да чего ты суетишься, у нас этого добра полно, нам будет приятно, если ты возьмешь и угостишь кого-то.

В одном из полетов я наконец-то познакомился с Колей Мамушкиным, проступок которого позволил мне занять то место, которое было отведено ему. Мы прилетели по санзаданию в Чингилей и ждали машину, которая отвезет врача к больному.

Отбывающий на площадке ссылку бывший второй пилот Ватрушкина Коля Мамушкин, невысокого роста, с уже наметившимся животиком паренек, поздоровался с Ватрушкиным, затем подошел ко мне.

— Давай знакомиться, — сказал он, протягивая руку. — Мы с тобой вроде бы как из одного экипажа, — Мамушкин кивнул в сторону Ватрушкина.

Подъехал газик, и на нем вместе с врачом Ватрушкин уехал в деревню. Мамушкин сказал, чтобы я запер самолет, затем подозвал кого-то из местных ребят и распорядился, чтобы они его охраняли. Он повел меня к ближайшему ручью, где, по его выражению, смородина висела ведрами. И правда, я быстро наполнил ягодой летную фуражку. Но это было еще не все. Пытаясь заглядить свою вину перед Ватрушкиным, Коля приготовил нам по куску сохатины. По его словам, он сдружился здесь с директором зверосовхоза, и тот в свободное время берет его с собой на охоту. И совсем недавно они добыли сохатого. Поскольку холодильника у него не было, Коля решил угостить мясом нас. Когда я попробовал приподнять мешок с подношением, то едва оторвал его от земли.

Уже в обратном полете в город я отсыпал собранные ягоды врачу, и тот сказал, что такой вкусной и запашистой ягоды он не пробовал никогда в своей жизни.

Надо отметить, что натуральный обмен между летчиками и местными жителями был поставлен на широкую ногу. Осенью из северных деревень и поселков везли ягоды и орехи, а из города летчики доставляли охотничий припас, сети, запчасти для лодок и катеров. Бывало, что заказывали лекарства, но, по рассказам Ватушкина, деревенские болели меньше, чем городские.

— Да им и некогда, смотри, сколько у них работы! — подчеркивал он.

Но и в этот, я бы сказал обособленный, мир проникала обратная сторона цивилизации. На рыбе сильно не разживешься, а вот на пушнине — вполне. Собирая смородину, я попросил Колю Мамушкина достать мне ондатровые шкурки на шапку. Тот, нахмурившись, поведал, что сделать это будет непросто, поскольку начальник местных воздушных линий Ефим Жабин обложил площадки и малые таежные аэродромы своеобразным ясаком. Вот и приходится ему, чтобы сократить срок наказания и получить положительную характеристику, прискакивать перед ним, выменивать у охотников на спирт пушнину и передавать ее Ефиму.

«Вот это да! — подумал я. — Всё, как и сотню лет назад. Есть хозяин, есть и приказчик. Только зовутся они иначе».

— Ты возьми выходные и прилетай ко мне, — сказал Мамушкин. — Есть у меня человек, через него, думаю, твою просьбу и порешаем. Заодно поохотимся и ягод пособираем. Будет тебе на шапку и чем друзей угостить. Билет брать не надо, свои же привезут и отвезут.

Я так и сделал: взял выходные и прилетел в Чингилей. Свою вынужденную ссылку Мамушкин коротал в стареньком, оставшемся еще, наверное, со времен Радищева домике. Видимо, зверосовхоз не рассчитывал на длительное пребывание в этих краях авиации, насмотрелись на разных перелетных птиц и решили, что работа начальника площадки — сезонная, чего тратьется, пусть сам обустроивает свое житье-бытье. И Коля решил не напрягаться: сегодня — здесь, завтра — в другом месте. Всю обстановку в доме, где обитал Мамушкин, можно было пересчитать по пальцам: стол, кровать, пара табуреток, умывальник, помойное ведро. На вбитых в стену гвоздях висела куртка, дождевик, в углу — ружье и рыболовные снасти.

Только теперь я догадался, какой участи избежал. Вся работа Мамушкина заключалась в том, чтобы вовремя перед посадкой самолета разогнать с посадочной полосы коров и в амбарной книге зафиксировать время посадки, номер борта и фамилию командира.

— С такими обязанностями справился бы не только Радищев, но и отбывавший срок в этих местах Троицкий, — пошутил Коля, заваривая чай. — Тот хоть газеты читал, а у меня и времени на это нет. Но здесь, в школьной библиотеке, попался мне большой энциклопедический словарь. Нашел в нем троих Бабушкиных. Один — ученый, другой — революционер, третий — полярный летчик. И ни одного Мамушкина!

— В следующем издании ты будешь первым, — пошутил я.

— Ты намекаешь, что эту посадочную площадку моим именем назовут, — улыбнулся Мамушкин. — Скажут: первым, кто отбывал здесь ссылку, был Коля Мамушкин. Что я здесь открыл? Большого ума не надо, чтобы понять: самолет — как раз для таких медвежьих углов. Падая с неба на эти площадки, мы на минуту прикасались к земле и поднимались обратно. Для деревенских же мы, вернее, вы, — Коля кивнул в мою сторону, — были и остаетесь небожителями. Они считают, что для летчиков открыты иные дали. Летчики могут войти сюда и тут же выйти, выпорхнуть на волю, а вот таким, как я, приходится перемалывать один на один и зимнюю скуку, и дожди, и жару, которая в иные дни бывает, как в Сахаре. Впрочем, это мой взгляд, мои представления об этих забытых Богом местах.

Нарубив охотничьим ножом огурцы и открыв банку с тушенкой, Коля откуда-то из-под стола достал бутылку спирта, разлил в стаканы.

— Ну что, за твой приезд, — сказал он.

— Да я в общем-то не пью.

— Что, больной? — знакомо спросил меня Мамушкин. — Ты это брось! Пить не будешь — командиром не станешь. А я себе не отказываю. Можно сказать — спасаюсь. Тут от скуки подохнуть можно. Если бы не тайга и рыбалка, ушел бы в партизаны. А вон и мой друган.

Коля выпил спирт и пошел к двери на шум подъезжающего мотоцикла. Я вышел следом и увидел знакомого мне эвенка, который приезжал в Жигалово за Анной Евстратовной.

— О-о-о, знакомые лица! Митрич, — сказал он, протягивая мне руку. Еще раз оглядев меня с головы до ног, он вернулся к мотоциклу и, порывшись, достал резиновые сапоги.

— Возьми. В такой обуви, как твоя, можно только по городским асфальтам ходить. А здесь тайга. Возьми и переобуйся. — Он снова вернулся к мотоциклу и принес мне толстые вязаные шерстяные носки.

— Надень, не то ноги собьешь. И вместо полетов попадешь к доктору.

Попив чаю, мы кое-как уселись в его трехколесный мотоцикл «Урал» и по дороге, которую и дорогой было назвать сложно — пробитая и раздолбанная лесовозами, она напоминала залитые стоячей водой бесконечные грязные канавы, — разрывая ревом мотора деревенскую тишину, то и дело подпрыгивая на ухабах, потелепались за околицу.

Через час Митрич привез нас на старую гарь. То, что здесь когда-то бушевал пожар, выдавали все еще торчащие во все стороны с давними следами огня обугленные сухостоины и многочисленные, уже заросшие мхом валежины.

— Вот здесь и остановимся, — сказал Митрич.

Точно с лесного оленя, он ловко соскочил с мотоцикла и принялся выгружать ведра, кастрюли, котелки, обустривая табор. Чтобы не выглядеть гастролирующим туристом, я начал таскать к мотоциклу лежащие на земле сухие ветки.

— Ты побереги силы, — сказал Митрич. — Я сейчас свалю вон ту сосну, и нам хватит дров на всю ночь.

Он достал из мешка бензопилу, запустил ее с одного раза и ловко подпилит стоящую неподалеку сухостойну. Когда она, ухнув, упала на землю, он тут же за несколько минут распластал ее на мелкие чурки. Пока Митрич налаживал костер, мы с Мамушкиным пошли смотреть ягоду. Ее оказалось столько, что я, оглядев ближние полянки, остановился как вкопанный. Покрытые мхом кочки были черны от брусники. Тут же рядом была и черника.

— Я тебе говорил: ведрами стоит! — хвастался Мамушкин, доставая металлический, сработанный местным умельцем совок для сбора ягод.

— Комбайн, — я решил не отставать и продемонстрировал привычное для деревенского слуха название совка.

— Микитишь! — со знакомыми интонациями похвалил меня Мамушкин.

— Давайте, мужики, работайте, — крикнул нам Митрич. — Как у нас говорят: ешь — потей, работай — зябни, на ходу маленько спи. А мне ехать надо. Начальство должно из района пожаловать. А к вечеру я к вам вернусь, только не заблудитесь.

— Да с ориентировкой у нас в полном порядке, — засмеялся Мамушкин. — Или мы не летчики!

— Летчики, но не таежники, — улыбнулся Митрич. — Это в небе вам все знакомо, а здесь профессор я.

Митрич развел костер, вскипятил нам в котелке чай и укатил обратно в Чингилей.

К вечеру мы набили ягодой все, что взяли с собой: картонные коробки, ведра и кастрюли. Когда солнце опустилось к ближайшей горе, усталый и довольный удачно складывающимся днем, я от избытка чувств завалился на спину в мягкий мох и стал смотреть на вечернее безоблачное небо, которое сизыми заплатками проглядывало сквозь нарощие после пожара березки. Отсюда, с земли, небо казалось далеким, немым, незначительным, я бы даже сказал — крохотным. И нельзя было даже подумать, что оттуда, сверху, тайга и всё, что ее населяет: все эти запахи, шорохи, перестук дятлов, посвист пролетающих птиц, шевеление листвы, — существуют как бы сами по себе, без видимой связи с тем, что стояло над всем этим едва слышимым человеческому уху оркестром. Там же, вверху, в прозрачности и необъятности, тоже шла своя невидимая взгляду жизнь, текли воздушные реки, вздымались ввысь многокилометровые вихри, зарождались и уходили за горизонт облака и менялись краски. Я знал, что были там свои горы и распадки, это хорошо ощущалось в самолете, который, бывало, без видимых причин бросало из стороны в сторону, а иной раз разбушевавшаяся стихия готова была скинуть его, как надоедливую железную птичку, в тайгу, прямо на эти вот лиственные колья.

Откуда-то из-за ближайшей горы неожиданно появился коршун. Перед сном он, должно быть, делал контрольный облет своих лесных угодий. И сразу же небо приобрело свою, казалось бы, потерянную связь с окружающим земным миром. Я знал: он хорошо видит нас, возможно, стережет, и, пока я следил за его полетом, мне стало тепло от одной мысли, что неслышно скользкий над нашими головами лесной собрат, пока мы отдыхаем, делает за нас воздушную работу.

— Завтра надо попросить Митрича заехать в Чикан купить сигарет. В Чингилее одна махорка осталась, — сказал Мамушкин.

И я неожиданно для себя припомнил, что в чиканской школе работает знакомая учительница — Анна Евстратовна.

— Так она теперь не в Чикане, а у нас, в Чингилее, преподает, — сообщил Мамушкин. — Здесь такая штука приключилась. Накануне учебного года уехал в город в больницу учитель. Хотели возить ребят в Жигалово, но Анна Евстратовна попросилась приехать в Чингилей. Других не нашлось, здесь все учителя приросли к своим домам. И она поехала. Теперь здесь всё на ней. Скажу тебе, отличная училка! Ягодка! Школьный театр организовала, и они уже к эвенкам съездили. Боюсь только, что долго здесь не удержится, заберут в район или город. Охотников, шоферов в деревне полно, а вот такая — одна. Кстати, Митрич у нее вроде сторожа. Никого к ней на пушечный выстрел не подпускает. Все уже знают — втрескался. Но держит дистанцию. Когда Аннушка, так ее теперь все кличут, сюда приехала, то ее здесь не ждали. Мужики все в тайге, а у женщин своих хлопот полно. Стала она печь растапливать, а дрова сырые, не разгораются. И тут мимо Митрич ехал. Увидел, что учителька с сырыми чурками возится, завел трактор и приволок из леса пару сушин, распилил, наколол. С тех пор и она к нему питает особые чувства. Но дистанцию держит. У нее, говорят, городской ухажер есть.

Я слушал Мамушкина, и в душе у меня бродили какие-то непонятные, но ревнивые чувства. Конечно же, летая, я вспоминал Анну Евстратовну, как-никак она была моей первой пассажиркой. Из рассказа Мамушкина выходило, что мы из рук в руки передали ее на попечение Митричу. А уж он-то, я это уже успел оценить, умел быть заботливым и, судя по всему, надежным человеком. Вот с тем, городским, о котором она рассказала нам еще в Жигалово, я ее не мог представить, а вот к этому гунгусу Митричу — приревновал.

Митрич приехал поздно, привез рыбу, несколько крупных ленков, и мы сварили уху. Кроме ленков Митрич привез спальные мешки, и я, вспомнив, как он назвал себя лесным профессором, согласился: Митрич не только заботливый, но и предусмотрительный человек. По мнению Вагрушкина, это было главным качеством, которое отличает настоящего пилота от летуна. Действительно, с таким не пропадешь. В разговоре у вечернего костра Митрич признался нам, что хотел стать летчиком и даже ездил поступать, но не прошел медкомиссию. И в конце сказал одну фразу, которая, как вспышка, уже по-новому осветила всю мою нынешнюю работу:

— Для того чтобы любить небо, не обязательно быть летчиком. И вообще, умные люди говорят: то, что сделано с любовью, и стоит долго и помнится всю жизнь.

После таких слов говорить больше не хотелось. Я забрался в спальник и, поразмышляв над словами Митрича, уснул сном хорошо поработавшего человека.

А утром, загрузив мотоцикл коробками и ведрами с ягодой, Митрич повез нас в Чингилей. Когда въехали в село, я попросил его подвезти нас к школе.

— Мне нужно повидаться со старой знакомой, — сказал я.

— С Анной Евстратовной, — догадался Митрич. — Это мы запросто. Но у нее сейчас уроки. Может, чуть попозже.

— Ничего, мы на минутку.

Митрич подъехал к деревянной, срубленной из вековых лесин школе и попросил бегающих во дворе девочек позвать Анну Евстратовну.

— Скажите, что к ней гости из города.

Девочки быстрыми глазами оглядели меня, прыснули и скрылись в школе.

Анна Евстратовна вышла в строгом сером костюме и в модных туфлях, что сразу бросилось мне в глаза, потому что ходить в них по улице после прошедших дождей было бы безумием. Увидев меня, Анна Евстратовна обрадовалась, сказала, что не ожидала, и, когда я начал мямлить, что заехал на минутку, она тут же настояла, чтобы я обязательно подождал: она сейчас закончит урок, и мы должны пообедать у нее.

Жила она здесь же, при школе, в пристрое, который, судя по свежим бревнам, был приделан совсем недавно.

— А вы зайдите, там не заперто, я сейчас подойду, — сказала она.

И мы зашли, но только с Мамушкиным. Митрич, сославшись на срочную работу, уехал по своим делам. Конечно, это было не жилье Мамушкина, у Анны Евстратовны все прибрано, чисто, крашеный пол, на столе — стопки тетрадей, на этажерке и полках — книги. И свежий, пропитанный смолью и хвоей воздух.

Я еще раз осмотрел комнату. Ну и где же здесь можно было разложить парашют, его можно было показывать в разобранном виде только на школьном дворе или на аэродроме.

Коля нашел у Анны Евстратовны кастрюлю, наполнил ее ягодой, затем сходил в огород и накопал картошки.

— Ну, чего расселся, давай чистить будем! — скомандовал он.

И мы начали чистить. Искося я оглядывал комнату — так вот куда занесла ее учительская судьба! Через окно в комнату заглядывал кусочек неба, а далее был виден край деревенского поля и, насколько хватало глаз, стояла тайга. А на столе небольшие часы отсчитывали свое и наше время. Оно неумолимо летело с такой скоростью, что даже и на самолете не утонишься.

Действительно, Анна пришла скоро, не вошла, а влетела; увидев, что мы заняты домашней работой, похвалила и, быстро переодевшись, придала нашим действиям ту осмысленность и законченность, которую может придать только женщина.

Между делом она рассказывала, как ее здесь встретили, как быстро, за пару дней, соорудили вот этот пристрой.

— Побелили, покрасили, принесли новые табуретки и даже где-то разыскали барское кресло, перетянули его бараньей шкурой, а на пол, под ноги, бросили медвежью шкуру. — Меня так и подмывало спросить про сырые чурки, но она и сама рассказала, как она боролась с вязкой, сырой древесиной, пытаясь растопить печь.

На это самое кресло она усадила меня, чтобы я чувствовал себя, как в кабине самолета. За столом, в свою очередь, я предложил ей помощь, если потребуется что-то передать в город, отвезти-привезти посылку или ее саму в Иркутск. Она с улыбкой глянула на меня и сказала, что хотела бы передать в город работы учеников на конкурс.

— Нет проблем, передам, — бодрым голосом заверил я.

Она достала папочку и вместе с нею еще какой-то пакет.

— А это вам с Иннокентием Михайловичем, — сказала она.

— Что это? — спросил я.

— Ондатровые шкурки, двенадцать штук, как раз на две шапки.

— Да ты что, я не могу и не буду брать такие подарки, — нахмурившись, сказал я.

— Ты меня обидишь, — ответила Анна. — Я была вам так благодарна!

— Бери, бери! — сказал Мамушкин. — Охотники здесь сдают их по пятьдесят копеек за штуку.

— Я их не покупала, мне принесли, сказали: сшейте себе шапку. Здесь такие холода!

— Они правы, здесь действительно холодно, — заметил я.

Мысли мои пошли зигзагами: взять — подумает, летчики все такие, берут и даже спасибо не говорят. Откажусь — обидится. Еще в детстве мама меня учила: не бери чужого. Взял — потерял. Отдал — приобрел. И тут до меня дошло. Должно быть, шкурки ей принес Митрич.

— Я не люблю меховые шапки. Мне нравятся платки, — сказала Анна.

— Нет, — твердым голосом сказал я. — Ты, пожалуйста, не обижайся. Мне Коля, — я кивнул на Мамушкина, — уже достал. — Мамушкин недоуменно глянул на меня, но я посмотрел на него долгим взглядом, и он прикрыл уже раскрытый от возмущения рот.

На обратном пути к его обители Мамушкин отругал меня, затем сказал, что к ноябрьским праздникам из тайги начнут выходить охотники, и тогда он точно пришлет мне шкурки. За сданную пушнину государство платило охотникам гроши, и она уходила на сторону; в основном передавали или продавали в город; одним надо было устроить своих родственников в больницу, другим нужен был мотоцикл или лодочный мотор.

— А ты зря не взял, обидел девушку, — сказал Мамушкин. — Хочешь, я тебе соболей на шапку достану? Ты мне пива, а я тебе соболей. Идет?

— Я же не Чернышевский, — засмеялся я. — Это, говорят, он любил прохаживаться по Виллойску в собольей шапке. Мне бы что попроще.

Была в нашей работе особая статья. О ней говорили мало, а если и говорили, то мимоходом. Те дрожжи, которые вез радист Ватрушкина, не были чем-то особенным и из ряда вон выходящим. Много чего приходилось возить летчикам. Так повелось: где-то чего-то много, а кому-то постоянно не хватает.

Утром перед вылетом у входа в стартовый здравпункт нас поджидали разного рода ходоки. Одни просили привезти с Байкала рыбу, другие — орехи, ягоды, тре-

ты — тушенку, гречку, тот же спирт, и все говорили, что просим не за себя и не для себя. Выяснилось, что у одного намечалась свадьба, у другого — именины или крестины, третьему надо было что-то нести в больницу. Поводов нагрузить нас заказами было множество. Конечно, все то, что было в их просьбах, можно было найти на рынке, но там было дорого, а Ватрушкин, бывало, совсем не брал с них денег.

— Как пришло, так и ушло, — говорил он. — Богаче уже не стану, а бедным никогда не буду.

Чаще всего всю эту непредвиденную, левую работу он поручал мне, и я, не нарушая сложившихся традиций, брал передачи, посылки и разносил их по разным адресам. «Хочешь стать командиром — терпи!» — говорил я самому себе. Но история с заказом Мамушкина имела продолжение. Однажды Ватрушкин, выслушав очередной, оформленный в привычные причитания заказ, неожиданно для меня протянул ходоку десятку.

— Не в службу, а в дружбу, — с улыбкой сказал он. — Пока мы летаем, ты съезди на пивзавод и купи пива.

— Ты чо, Михалыч, охренел! — пожевав от удивления губами, буркнул тот. — Туда надо ехать на двух автобусах. Да и времени у меня нет.

— Но сюда-то приехать нашел время, — сухо заметил Ватрушкин. — Вот что, дорогой, у нас, кроме ваших заказов, своих дел полно. А вот он, — тут Ватрушкин показал на меня глазами, — каждый день ездит на работу на двух автобусах. Утром — сюда, а вечером — обратно, на дорогу полдня. И ничего — ездит. Бывает, и пиво возит. А еще ваши заказы развозит.

— Ну и летчики пошли, шаг лишний боитесь сделать, — надулся заказчик.

— Ты это мне или себе? — поинтересовался Ватрушкин и уже другим, непривычным для меня голосом добавил: — Вали отсюда, и чтоб я тебя больше здесь не видел!

На моей памяти это был единственный случай. Обычно Ватрушкин никому не отказывал. Не только брал и привозил, но и частенько на своей «Победе» развозил гостинцы и заказы по домам. А иногда и меня подвозил домой: из аэропорта добраться до Жилкино, где я жил в ту пору, мне действительно приходилось на двух автобусах.

Через некоторое время моя новенькая форма потеряла былой лоск, как бы притерлась к самолету, ко всему, что окружало полеты. Я и сам уже стал иным и не глядел на себя со стороны. И когда входил в автобус, на меня уже не оборачивались, не смотрели, как на белую ворону. В конечном счете все стало на свое место, и мое каждодневное приземление в другие миры, в иную жизнь уже не казалось чем-то особенным, ожидание увидеть неизведанные земли отошло в прошлое, а рассказы и авиационные байки на промежуточных ночевках стали неким сопутствующим гарниром обычной летной жизни. Они перешли в мою собственную жизнь и стали как бы ее продолжением.

Как-то в один из осенних дней мы вновь прилетели в Чингилей по санзада-нию: надо было срочно вывезти пострадавшего при пожаре мальчишку в город. На площадке было непривычно много народа. Не сразу я разглядел среди провожавших Анну Евстратовну. Она как бы слилась с окружающей местностью: деревенский румянец на щеках, приталенная овчинная тужурка. Выдал ее модный, завязанный галстуком платок на шее. И еще резиновые сапоги на ногах: асфальта в Чингилее в ближайшую сотню лет не предвиделось, а вот дожди шли там регулярно. Она по-



дошла к Ватрушкину и стала что-то оживленно ему объяснять. Оказалось, что пострадал ее ученик, пожар случился ночью, погибла бабушка, а у него множественные ожоги, теперь вся надежда на самолет.

Мимоходом она представляла нам своих учеников и пригласила Ватрушкина в школу, сказав, что для такой встречи соберет не только школьников, но и родителей.

— Вы лучше его пригласите, — кивнув на меня, ответил Ватрушкин.

— А я вас не разделяю, — ответила Анна Евстратовна. — Для меня вы одно целое. Как семья. Давайте назовем это встречей с экипажем.

И вскоре такой случай нам представился.

Перед ноябрьскими праздниками нам поставили в план полет в Чингилей. Напросился или, вернее, организовал тот полет Ватрушкин. Мне было все равно, куда лететь, но я все же отметил, что в Чингилей Ватрушкин летает с особым удовольствием. И причина была понятна: обычно там нас встречала Анна Евстратовна.

Но едва мы пришли в диспетчерскую, как Ватрушкину позвонили с местных авиалиний.

— Вас тут домогаются артисты. Скандалят. Вы с ними разберитесь.

Разбираться Ватрушкин послал меня.

Выяснилось, что в Жигаловский район по приглашению администрации на гастроли летят артисты из филармонии. А скандал произошел из-за реквизита. Его оказалось много, и диспетчер боялась, что он не поместится в самолете.

— Оформляйте через грузовой склад! — потребовала она.

Но артисты взбунтовались: они-то считали, что это их личные вещи, и они могут, не оплачивая, взять их с собой в самолет.

Руководитель группы заявил, что обо всем они договорились с начальником аэропорта Брюхановым, и попросил связать их с Ватрушкиным.

— Нам сказали, что он отвечает за нашу доставку в Жигалово.

Когда я пришел в диспетчерскую, то неожиданно обнаружил, что уже встречался с руководителем ансамбля. Им оказался друг Анны Евстратовны Вениамин Казимирский, которому она через меня передавала на конкурс детские работы.

Осмотрев вещи артистов, я решил, что оформлять их через склад — только время терять. По моим прикидкам, реквизит входил в самолет, но загружать его надо было быстро: для полета в Чингилей нам могло не хватить светлого времени.

Но пока загружали вещи необычных пассажиров в автобус, пока выносили и вносили их, ушло еще с час. Самое интересное, что артисты решили, что всю работу для них должна делать служба аэропорта. А поскольку они — артисты, то их место в буфете.

Присланный мне на подмогу уже знакомый «волкодав» поглядел на шумливых пассажиров, послушал их выкрики — не так берете, не так несете, плюнул и, полав всех куда подальше, отбыл на свой склад.

Кое-как, с грехом пополам, мы все же загрузили весь артистический бутор, усадили подвыпивших артистов на жесткие металлические сиденья и поднялись в воздух. Если в городе на солнечных местах еще подтаивало, то за последними домами уже лежал снег. Темной шерсткой выделялся лес, в который огромными белыми доскутами вдавались поля, справа, в стороне Байкала, поднимались к небу горы. Самолет шел параллельно им по уже не один раз протоптанной воздушной дорожке.

Казимирский оказался разговорчивым парнем.

— Ну что, вперед и с песнями! — сказал он, притулившись в cabinном проходе на том самом месте, где сидела Анна Евстратовна, когда мы летели с ней в Жигалово. Но почему-то Ватрушкин не предложил ему сесть на трубку. Выкурив очередную папиросу, он, по своему обыкновению, решил подремать.

— Да, сложная у вас работенка, — сказал Вениамин, оглядывая кабину. — Один на один с этим белым безмолвием, — он кивнул на землю. — Как это там в песне? «Может быть, дотянет последние мили мой надежный друг и товарищ мотор». Одна надежда на него, ведь так?

Я, вспомнив слова Ватрушкина о трудяге коленвале, согласно кивнул, как работают крылья и расчалки, меня интересовало мало. Действительно, двигатель, громкий и неумолимый, порою из-за его грохота и поговорить было сложно, всегда оставался для летчиков настоящим другом и помощником.

— Вот ты мне скажи, почему летчикам не выдают парашюты, — начал дергать меня за плечо Вениамин.

— Я выпрыгну, а ты останешься, — с улыбкой ответил я. — Что мне потом делать?

— Да, верно, помирать, так вместе, — согласился Казимирский. — Хочешь, расскажу анекдот про парашютистов? Летят. Вдруг один встает и идет к двери. Сосед останавливает: «Ты же без парашюта!» Ему в ответ: «Ну и что, это же учебный прыжок».

Он хохотнул, а я подумал, чего только не наслушаешься в полетах. Пользуясь тем, что я знаком с его подружкой, Вениамин решил избрать меня временным поверенным в своих давних переживаниях.

— Когда-то я тоже хотел стать летчиком и даже ходил на занятия в аэроклуб, — продолжил Вениамин. — И там насмотрелся такого!

Чего он там насмотрелся, мне было неизвестно, почему-то вспомнился диагноз, который поставила ему Анна. Аэрофобия! Поразмыслив немного, я подумал, что говорит он много и возбужденно потому, что выпил перед полетом. Так делают многие, чтобы преодолеть свой страх. Думаю, он и в проход встал, чтобы не смотреть на землю.

Неожиданно Ватрушкин приоткрыл глаза:

— Послушай, а у тебя, случаем, нет спичек, — обратился он ко мне. — Я забыл свои.

Вениамин услужливо протянул Ватрушкину зажигалку.

— Значит, так, зачислили нас, усадили за столы, — продолжил Казимирский. — И начали гонять. Ну я и заяви: «Нас принимали, как здоровых, а спрашивают, как умных». Меня взяли и отчислили.

— Вот что, дорогой, иди и сядь на место. Не дай Бог, болтнет, — спокойным голосом сказал Ватрушкин. — А парашютов у нас действительно нет.

Казимирский оказался понятливым; подняв руки, он быстро проговорил:

— Все, все, понял — ухожу с горизонта.

Спустившись в грузовую кабину, он, подмигнув мне, уселся на свое место и на всякий случай демонстративно пристегнулся ремнями.

В Чингилее нас встречало полпоселка. Впервые сюда прилетели артисты аж из самого Иркутска. Был здесь и Брюханов. Он сказал, что договорился с Иркутском, и мы будем возить артистов по району, а сегодня здесь намечен концерт и ночевка.

Концерт должен был состояться в школе. Анна Евстратовна, узнав, что прилетел Ватрушкин, попросила выступить его перед школьниками. И Ватрушкин согласился.

Я думал, что он станет рассказывать о нашей работе, но он начал свою речь с того, что ему приятно бывать в таких вот отдаленных поселках.

— Основными скрепами, которые удерживают вот такие, как ваша, отдаленные деревни от вымирания и одичания, являются, — тут Ватрушкин начал загибать

пальцы, — наличие работы, связь, я имею в виду транспорт — самолеты, машины. И сельские учителя. Лишится деревня хотя бы одной составляющей — и жизнь здесь станет ущербной и неполной, а может вообще сойти на нет. Немецкий канцлер Бисмарк говорил, что победа над Австрией была победой прусского школьного учителя. Он имел в виду наличие в Пруссии всеобщего школьного образования, которое позволило готовить квалифицированные кадры для армии. Продолжая его мысль, могу утверждать: наша победа над Германией была бы невозможна без школьного учителя. Давайте возьмем самолет. Можно управлять им, не имея образования? Давайте, как в цирке, посадим в кабину медведя. Думаете, найдутся охотники полететь на этом самолете? Вряд ли. А во время войны были подготовлены десятки тысяч технически грамотных летчиков. И кто их готовил? Учителя. И эти парни и девчонки побили фашистских асов.

Далее Ватрушкин рассказал, как во время войны они спасли маршала Иосипа Броз Тито.

— В сорок четвертом нашу часть отправили на авиабазу в Бари, — тут он подошел к висевшей на стене карте и ткнул пальцем в сапог Аппенинского полуострова. — Кто мне ответит, какая здесь находится страна?

— Италия! — хором закричали ученики.

— Молодцы! — похвалил Ватрушкин. — Ставлю пять вашей учительнице. Так вот, оттуда мы летали к югославским партизанам, — палец Ватрушкина скользнул вправо поперек Адриатического моря. — Кроме нас на аэродроме базировались англичане, американцы. Наши летчики были привычны к полетам с подбором маленьких горных и таких же, как у вас, площадок. Мы летаем, американцы и англичане сидят и ждут, когда им подготовят хорошие аэродромы югославские партизаны. Более того, они не верили, что мы туда летаем. Тогда Шорников купил на базаре плетеные корзины и, слетав к партизанам в Боснию, привез в них снег. Эти корзины мы поставили около английских самолетов, мол, посмотрите, снег есть только на Балканах. А позже Шорников вывез на самолете главу партизан Иосипа Броз Тито, которого немцы уже видели в своих руках. Можете себе представить, как после всего этого американцы и англичане смотрели на нас.

Я сидел в классе, вместе со всеми слушал Ватрушкина, смотрел на географическую карту, которая висела на стене, вспоминал свое школьное время. В моей жизни было несколько учителей, которые определили всю мою жизнь. Самая первая учительница, еще в начальной школе, — Клавдия Степановна, затем физик Петр Георгиевич, которого мы называли Сметаной. И конечно же, преподаватель истории Анна Константиновна. Это она учила нас видеть себя и мир с большой высоты не только в пространстве, но и во времени. И вот теперь рядом со мной оказался Ватрушкин. Каждый день он садился со мной, образно говоря, за одну школьную парту. Перемещаясь от одного аэродрома к другому, он ненавязчиво подсказывал и показывал то, что позже станет и для меня привычным делом. Разлетаясь утром с базового аэродрома, мы, что пчелы, собирали пыльцу со всех сельских, северных аэродромов и везли в город взятки. Наш неуклюжий и внешне похожий на деревенский валенок кукурузник, поднявшийся из прошлой, казалось бы, другой, исторической жизни, тащил нас вперед, в другие миры.

И вот рядом с ним здесь, в Чингилее, стояла маленькая, ладненькая Анна Евстратовна, которая совсем не походила на учительницу, в коридоре школы ее можно было принять за старшеклассницу. Но едва она начинала говорить, как в классе наступала прозрачная, я бы даже сказал — благоговейная тишина. Что она знала такого, что ее слушали с таким вниманием? Историю? Ее знали и другие. Возмож-

но, даже и не хуже. А если разобраться, она была моей ровесницей. Но сегодня я был всего лишь вторым пилотом, дело которого — не мешать левому, держать ноги нейтрально и ждать зарплату. И мне еще учиться и учиться, пока доверят самолет и пассажиров.

Затем начался концерт. Вениамин и его артисты спели несколько песен. Пели хорошо, с душой. Их долго не отпускали. А в конце по просьбе Анны Евстратовны артисты исполнили ее любимую «Маленькую девочку», которую они посвятили нашему экипажу:

*В огромном небе, необъятном небе,
Летит девчонка над страной своей,
Кто в небе не был, кто ни разу не был,
Пускай вздыхает и завидует ей...*

Здесь же, в школе, нам был приготовлен ужин, да такой, что мы открыли рты от изумления, едва вошли в учительскую. На столе была рыба соленая, копченая, мясо пареное, вареное, жареное. Кроме того, картошка, соленые грузди, пельмени, брусника со сгущенкой. Было приятно наблюдать за хлопотами Анны Евстратовны. Ей помогала деревенская интеллигенция: фельдшер местного здравпункта, почтальон и жена директора леспромхоза. Всем этим действием руководил Митрич. Он же предложил выпить за здоровье артистов, за представительницу района, за большого авиационного начальника Ивана Брюханова и, конечно же, за Анну Евстратовну. Не забыли и нас.

— Редко вы к нам прилетаете, — обращаясь к артистам, сказал Брюханов.

— Но метко, — пошутил Вениамин. — Прилетели и угодили прямо за стол. Я вот что хочу сказать. Самое устойчивое представление о прошедшей жизни — это мифы. Например, создали миф, что ссыльным здесь плохо жилось. Ну, комары, они и в Питере комары. Морозы, они у печки хорошо переносятся. У создателя Ревтрибунала Льва Троцкого — он, как вам известно, тоже отбывал ссылку в этих краях — насчет картошки поджарить, — тут Вениамин кивнул на стол, — тоже губа была не дура. И вообще, вожди наши любили поесть. Мне давно хотелось своими глазами посмотреть, где и как отбывал ссылку Лев Давыдович. Думаю, с тех пор здесь мало что изменилось. Разве что появился самолет. Убери его — будет та же картина.

— Мой дед был родом из Тутуры, — сказал Брюханов. — Когда я спрашивал про ссыльных, он говорил — дармоеды. Жили на всем государственном. Это потом их стали выдавать страдальцами за народ. А этот народ вкалывал с утра до ночи, жалел этих бедолаг и нес им, бедненьким, все, что заработал своим горбом. Пожили здесь, отдохнули — и в бега. Кто в Лондон, кто в Швейцарию.

— Но их можно понять, — заметил Вениамин. — Цивилизованный человек должен жить в своей среде. Я все время хотел понять революционную интеллигенцию, которая пошла в народ. И чего добились? Да ничего. Многие из них потом бомбистами стали.

Слушали Вениамина молча, иногда дипломатично кивали — и только: мало ли чего наговорит залетевший артист.

— Со стороны так, наверное, оно и должно, — перебил Вениамина Митрич. — Медведи должны быть с медведями, бурундуки — с бурундуками. Это их среда. И вообще, сколько людей, столько и мнений. А справедливость, как и везде, имеет одно неуволимое, но определяющее свойство: подлаживаться под покупателя и служить тому, у кого больше прав. Диалектика!

Поняв, что разговор может повернуться в нежелательную для него сторону, Вениамин прекратил поминать ссыльных, поскольку они здесь жили по принуждению, а сидящие за столом — по собственной воле и никогда не жаловались, находя в здешнем житье-бытье свои выгоды и краски.

Но Митрич уже завелся. Скинув с себя пиджак и выказав всем свою ослепительно белую нейлоновую рубашку, которая словно подчеркивала, что и здесь знают толк в моде, он глянул в упор на Вениамина своими глазами-щелочками.

Но тут поднялась Анна Евстратовна.

— Петр Дмитриевич! — ласковым и примиряющим голосом обратилась она к директору. — Мы сегодня собрались по другому поводу. Давайте отложим уроки диалектического материализма на завтра. А сегодня будем общаться.

— Нет, не отложим! Вот что я вам, дорогие гости, хочу сказать, — глухим голосом продолжил Митрич. — До войны в наших краях жило двадцать пять тысяч человек. Более трех тысяч здоровых мужиков и парней ушло на фронт. Обратного не вернулось и половины. А сколько еще было выбито в гражданскую? Ныне каждый год на учебу в город уезжают сотни, и обратно, как с фронта, почти не возвращаются.

И тут мой командир вновь удивил не только меня, но и заезжих артистов и всех, кто был приглашен на ужин. Он встал, высокий, красивый, и спокойным голосом, так, как он обычно вел в воздухе связь с землей, начал читать стихи. Я их слышал впервые.

*Не бывать тебе в живых,
Со снегу не встать.
Двадцать восемь итыковых,
Огнестрельных пять.*

Присутствующий на ужине Мамушкин сказал, что Михалыч читал так, будто устанавливал радиосвязь с далекими мирами.

*Горькую обновушку
Другу шила я.
Любит, любит кровушку
Русская земля.*

Ватрушкин замолчал, в учительской повисла тишина. Молчание сломал Митрич.

— Вы верно сказали, — директор кивнул в сторону Ватрушкина, — нас спасает лес, тайга. Вырубим его, здесь будет пустыня. Кому захочется жить в пустыне? Никому. Спасибо Аннушке, не побоялась, приехала в нашу глушь. Всем показала, что жить интересно можно везде.

— Петр Дмитриевич, я не знаю, как вас отблагодарить, — улыбнувшись, сказала Анна Евстратовна. — Такой теплоты, как здесь, я не встречала и, видимо, никогда нигде не встречу. Я слушала вас и подумала: есть еще одна, но, может быть, главная составляющая, та, что нас сохраняет, охраняет и скрепляет государство. Это наш родной язык. Спасибо Иннокентию Михайловичу, что он вспомнил Анну Андреевну Ахматову. В сорок втором она написала еще такие строки:

*Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова.
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.*

Перед тем как идти к Митричу — он пригласил нас переночевать у него, Ватрушкин поинтересовался у Анны, проводит ли она уроки по парашютной подготовке.

— Сюда я летела, мне виделось одно, — с какой-то грустной улыбкой ответила она. — Вот приеду и переверну этот медвежий угол. «Я опушу кусочек неба на эти серые дома». А он сам взял меня в оборот. Здесь на меня опустилось само небо. Все, как в затяжном прыжке. От нас недалеко в тайге живут эвенки. Деревня называется Вершина Тутуры. Туда на зиму свозят детей, считая, что там их нужно не только учить читать и писать, но и приобщить к благам цивилизации. Так вот они, как могут, сопротивляются той цивилизации, которую мы всеми силами им навязываем. Хотят жить по тем законам, по которым жили их предки. И все эти дезодоранты, духи, машины, мягкие кресла и диваны, телевидение и прочие блага они с удовольствием поменяют на хороший карабин и собаку. А парашют у меня стащили. Так, из баловства. Соседский мальчишка Пашка-тунгус. Так его здесь все называют. Вообще, они чужого не берут. Взять чужое — большой грех. Но его кто-то подзудил: ткани там много, возьмем кусок, и будет у нас костюм для охоты. На снегу его совсем не видно. Ну, испортили мне учебное пособие, но натолкнули на хорошую мысль. Я решила разрезать парашют и сшить из него спортивные костюмы. Когда сделали выкройку и прикинули, то получилось, что хватит на целую команду. Мы собираемся на районную спартакиаду школьников. Оказалось, что здесь все — лыжники и стрелки. Ну, словом, охотники.

— А запасной-то хоть остался?

— Запаска осталась, — Анна улыбнулась. — Но даже если я очень захочу отсюда выпрыгнуть, обратного хода нет. Ни запасного, ни какого-то иного. Меня отсюда попросту не отпустят.

— Это почему же?

— Да в нее вселился бес, — влез в разговор Вениамин. — Одних сюда ссылали, а ты себя сама закопала.

— Веня, концерт окончен, — спокойным голосом остановила его Анна Евстратовна. — Сколько можно? При tormози!

— Нет, вы видели! — усмехнулся артист. — Я бросил все, чтобы приехать и поддержать ее. Человеку свойственно двигаться вперед. Вот у летчиков есть хороший девиз: «Летать быстрее, дальше и выше всех». Я правильно говорю? Как там в песне? «Все выше, и выше, и выше!..»

— Ты говоришь, запасной у тебя остался, — сказал Ватрушкин. — Так отдай ему.

— Это еще зачем? — не понял Вениамин.

— Веня, я себя не закопала, я живу, — засмеялась Анна Евстратовна. — Живу нормальной жизнью. Костюмы шью, мне весь поселок помогает, детей учу. Чтобы понять меня, одного концерта мало. Надо здесь жить, а не прилетать на гастроли.

Утром мы перелетели в Жигалово, затем в Сурово, Коношаново. Везде были встречи, концерты, а потом мы вернулись в Жигалово. Там Брюханов передал Ватрушкину радиограмму, нас срочно вызывали на базу. Тогда мне казалось, что мы расстанемся ненадолго. Несколько раз уже с другим командиром я прилетал в Чингилей, но Анну Евстратовну почему-то не встречал. Года через два, когда закрыли леспромхоз, посадочную площадку в Чингилее тоже прикрыли, думали — до весны, а оказалось — навсегда.

Позже, уже летая командиром на больших самолетах, возвращаясь с севера домой, с большой высоты я пытался найти в холодной и немой тайге крохотные огоньки Жигалово и, отталкиваясь от них по прямой — как в школьные времена, отталкиваясь от звезд Большой Медведицы по внешней стороне ковша, искал Полярную звезду, — искал огоньки Чингилия. Иногда находил, но чаще всего ответом мне была пугающая пустота.

Уже тогда было ясно, что малую авиацию добивают, она подверглась такому разорению, после которого на восстановление понадобятся не годы — десятилетия: все посадочные площадки и аэродромы зарастали кустарником и травой, а самолеты были пущены на слом. Коля Мамушкин на мой вопрос, как же теперь добираться люди до Жигалово, ответил, что до Чикана и Жигалово можно добраться на машине, а на месте Чингилия остался всего один дом.

— Это Ватрушкин любил летать туда и делал все, чтобы площадку не закрывали, — сказал Мамушкин. — И меня туда похлопотал, спасибо, я успел застать патриархальную таежную Русь, ту, которая была и которой уже никогда не будет. А Брюханов помер вскорости после того, как перестали летать в Жигалово самолеты, — поведал Коля. — Васька Довгаль видел его в поликлинике. Брюханов похвастал, что был у врача, давление — сто двадцать на семьдесят, и пошутил, что ему с таким давлением можно и в космонавты. А через два дня в автобусе ему стало плохо. Успели только доехать до больницы.

Эти подробности я знал. Знал я и то, что Мамушкин так и не стал восстанавливаться на летной работе, после Чингилия его перевели работать в Киренск. Там он и застрял. Но говорить на эту тему не хотелось, чего ворошить прошлое. Уже прощаясь, Мамушкин добавил:

— Наша Аннушка, ну, помнишь ту учительку, она, представь себе, уехала. Ты думаешь, к этому артисту? Нет! Кстати, у нее, говорят, от того артиста ребенок родился.

— Казимирский, — припомнил я.

— Аннушка Капелюшка — так ее прозвали в Жигалово — уехала не с ним, а с Митричем. Говорят, у них еще двое сыновей родились. Двойняшки. Вот и пойми этих женщин. Диалектика! — Мамушкин поднял вверх указательный палец. — Пришел помочь, привез сухих дров, растопил печь. И взял в полон! Много ли женщине надо?

— Ну ты не скажи, им, как и всем, хочется многого, — сказал я, пораженный неожиданной новостью.

— Кстати, крестным отцом у них стал наш командир летающего сарая — Ватрушкин, — не замечая моих слов, продолжил Мамушкин. — К нему это прозвище прилипло навсегда. Он сейчас преподавателем в учебно-тренировочном отряде работает и, должно быть, рассказывает молодым летунам, как спасал Тито. Да, чуть не забыл сказать самое главное. Она про тебя часто спрашивала: как складывается твоя

летная судьба, стал ли ты капитаном. Кстати, если говорить о ней, то она была настоящей учителькой, без всяких там «но». Ее в Чингилее да и в самом Жигалово еще долго вспоминали. Но кого бы она сейчас там учила? Медведей или бурундуков? Народу там совсем не осталось, разъехались кто куда. Я недавно приезжал туда. Да, заброшенные избы стоят, и мой сарай остался. Я в нем переночевал, вспомнил, как мы с тобой по ягоды ездили. Встретил я там охотника — Пуляева, он там до сих пор белку и соболя промышляет. Так он мне сказал, что летную площадку до сих пор Мамушкинской называют. Еще он сказал, что хочет церковь там поставить. Как в Сурово: приехал какой-то парень из Якутии и на месте родной исчезнувшей деревни поставил церковь.

— Оставил след на земле, — засмеялся я.

— Да, оставил, но вокруг все поросло бурьяном, все! — с неожиданной злостью сказал Мамушкин. — Нет главного — людей. Эх, Россея-матушка! Умом ее не понять. Даже с помощью диалектики.





ВИКТОР
ВОРОНОВ

ПРИГОРШНИ ИЗ ТУЕСКОВ

Семь туесков



О ТУЕСКАХ И ПРИГОРШНЯХ

По словарю известного исследователя русской словесности Владимира Ивановича Даля, туес — восточно-сибирское слово (уменьшительное — туесок) — «...бурак, бурачок, берестяная кубышка, с тугою крышкою и со скобкой или дужкой в ней».

Деревенские умельцы делали их из бересты. Для этих целей выбирали ровную, с меньшим количеством сучков на основной части ствола, берёзу. Спиливали её весной или летом, когда по ней шёл берёзовый сок и ещё не появилась сладковатая гушина — мезга. Далее распиливали берёзу на отмеренные, по предполагаемой высоте туеска, куски и специальным инструментом — сколотом (типа стамески) снимали кругами внутренний — жёлтый слой бересты, начиная с тонкой части, как бы с вершины дерева.

Затем снятую кругами и цельную (не разорванную) бересту (сколоту) запаривали в горячей воде, заворачивали снизу и сверху, оборачивали вторым слоем бересты — «рубашкой» (уже не цельной, а с замком) и ставили дно. Оно выпиливалось и подгонялось впритирку. Береста после кипятка ссыхалась, и дно держалось очень крепко. А сверху делали крышку с дужкой или скобкой.

Туески бывали разных размеров — от самых маленьких, в которые не смогла бы даже пролезть рука ребёнка, до больших, в которые почти как в кадки (бочки) хозяйки аккуратно, слой за слоем укладывали и солили губастые сырые грузди и рыжики.

Туески, занесённые с мороза в дом, источали приятный запах берёзы и берёзового сока. В них в ранешние времена держали разное — сметану, бруснику, соль, творог, сахар, простоквашу и даже молоко. В туесках оно подолгу не скисало.

Туески были, конечно, не такие, как сейчас в большинстве своём встречаются среди продаваемых сувениров. А настоящие — двойные, без стыка на внутреннем слое и достаточно прочные. Подобный туесок привезли нам родственники жены из Шелехова. Изготовлен он был более ста лет назад. И он по-прежнему пригоден для всего того, для чего и был сделан каким-то прекрасным и мастеровитым человеком из села Олха Иркутской области в те такие теперь уже далёкие времена...

И мы тоже в течение жизни многое складываем в свои своеобразные туески памяти.

И вот как хозяйка, принося в дом туески из погреба или из кладовки — с холода, как тогда говорили, радовала их содержимым своих домочадцев, так и мне хочется из туесков своей памяти выплеснуть пригоршни ярких и родниково-чистых воспоминаний и впечатлений о жизни простых, настоящих людей, с которыми мне посчастливилось в разное время встретиться...

А пригоршня, по словарю В.И.Даля, — «...мера сыпи, всего сыпучего: сколько загрести можно в обе ладони вместе...». Так двумя ладонями рук, совмещая их

вместе, можно взять пригоршню зерна, земли, кедровых орехов, брусники, голубики... Пригоршней можно зачерпнуть воду из родника или ручья, чтобы умыться или утолить жажду... Купаясь в реке, пригоршней можно захватывать воду и плескать её себе в лицо или, играя как в детстве, друг в друга...

Так вот, купаясь в воспоминаниях, я пригоршнями выплёскиваю из туюсков своей памяти самое-самое сокровенное и дорогое моему сердцу.



МАЛЫЕ РОДИНЫ И ПОЛУСТАНКИ ЖИЗНИ

Малой Родиной принято называть место, где родился и где прошло детство. Для меня это, несомненно, — село Черемхово Красночикийского района Читинской области — далёкое по расстоянию и времени, отделяющим меня от него, и близкое-близкое по тому особенному душевному состоянию, в которое меня вводит лишь одно упоминание о нём.

Недавно Черемхово отметило своё 125-летие... Кажется, маловато, если учесть, что почти половина этого периода у нас с Черемхово — общее совместное физическое и духовное сосуществование. А ведь в детстве нам представлялось, что наше село очень древнее. Так, наверное, и есть, потому что торжественно отмеченная дата — это всего лишь подтверждение существования села по каким-то архивным документам. На самом деле, наверняка, люди — наши предки — коренные забайкальцы жили здесь и ранее...

Очень хочется, чтобы эти заповедные места моей души, а также планируемый национальный парк «Чикой» (к сожалению, уж очень малый по площади), подольше оставались нетронутыми «большой цивилизацией» и сохраняли бы свою почти первозданную природную свежесть, с запахами кедра, смолы, багульника, земляники и всего-всего таёжного — такого чистого, будоражащего и приятного.

...А родился я в городе Чите, о чём ещё со школьной скамьи, даже с небольшой гордостью, пишу в различных анкетах, автобиографиях и документах. И хотя о своём рождении и проживании в Чите я знаю лишь со слов мамы, бабушки и отца, этот город также воспринимается мной всегда как родной и близкий.

Вообще-то всё Забайкалье я считаю своей малой Родиной. До недавнего времени это называлось Читинской областью, а теперь — Забайкальский край. Не знаю, кому и для чего нужны подобные переименования, но думаю, что кроме больших затрат и совсем ненужных хлопот они ничего хорошего не приносят. Да и название по имени областного центра, на мой взгляд, было более точно и несло больше необходимой информации — Чита... Читинская область — понятно. А теперь — Забайкальский край — а где его «столица» — Чита, а может быть, Улан-Удэ (это ведь тоже Забайкалье!) или что-то другое?! (Кстати, есть ещё Забайкальск у самой границы — бывшая станция Отпор!).

...Это всё так, между прочим. Ведь не одно же административное деление страны является для нас главным. Хотя, с какой стороны на это посмотреть...

Если после очередного чьего-то рьяного реформирования людям приходится ездить в районный или областной центр в несколько раз дальше, чем это было всю жизнь; или ваше место рождения неожиданно переименовано, и теперь везде нужно добавлять «ныне...» или «бывший...»; или ещё хуже, если в итоге этих необдуманных преобразований и действий населённый пункт, где проходило ваше детство и даже жизнь, совсем перестаёт существовать, а вам приходится обосновываться на новом непривычном месте — это как?!

К счастью, наш человек необыкновенно быстро умеет приспосабливаться к изменениям окружающей его действительности. Да иногда мы и сами не прочь резко всё поменять и помчаться вдаль за каким-то очередным «журавлём в небе». У каждого своё: у одних — «охота к перемене мест», а других — «как камень с места не сдвинешь». Это нас всех и выручает, и подсказывает оправдание различным «действиям»...

Так уж сложилось, что не только Черемхово и Чита в нашем Забайкалье для меня такие близкие. Помню, как не хотелось переезжать родителям из таёжного села в город Борзю, в знойные летом и продуваемые всеми ветрами и песком зимой даурские степи (отца перевели директором зверохозяйства). Однако и этот непривычный край стал благодаря близким мне людям тоже родным. Здесь, к сожалению, осталась могила бабушки, за которой бережно ухаживают наши добрые соседи по борзинской улице Кочергины... А сколько всего и замечательного мы имели здесь! В общении с людьми, в познании жизни, в тихой охотничьей радости утиной охоты.

Кадая — шахтёрский посёлок, где жила семья маминой сестры — тёти Иры. Семья рабочая, трудовая — почти все мои двоюродные братья работали на добыче полиметаллических руд, чем по праву и заслуженно гордились.

Кличка — тоже шахтёрский посёлок городского типа, где секретарём парткома рудника был дядя Тима. Мама нас с братом возила к ним в гости, и эти поездки были первыми нашими реальными, а не «киношными» впечатлениями о городской жизни. Позднее дядя Тима со всем своим семейством перебрался в новый строящийся на юге области город Краснокаменск, где был очень уважаем и завершил свой жизненный путь как председатель городского Совета ветеранов.

В село же Батакан, где жила семья дяди Марка, и в село Тайна — родину отца — мы тогда не доехали. Неожиданно в этих районах был объявлен карантин, и мы из-за угрозы застрять там дольше, чем до начала учебного года, вынуждены были вернуться домой, в Черемхово. Но по письмам и разговорам эти забайкальские сёла также мне знакомы и близки.

Близки мне и другие места Забайкалья, где был в командировках, проездом или слышал о них по такому, как мне тогда казалось, душевному и почти домашнему читинскому радио, а позднее и телевидению.

Всё это находит отклики в моей душе и по сей день...

Особое место в моей памяти занимают, конечно, Иркутск, Байкал, Шелехов, да и вся Иркутская область, «изъезженная» мною «вдоль и поперёк». Сюда, с помощью родителей, были устремлены мои помыслы при окончании Черемховской средней школы, здесь я учился в институте, начал работать на стройках, занимался общественной работой и читал лекции «О международном положении СССР», был выдвинут на комсомольскую работу, обрёл новых друзей и товарищей, нашёл свою судьбу... и многое-многое другое. Это — моя вторая малая Родина! И, как и первая, она также мне очень дорога и близка, и тем более, что с Иркутском впоследствии связали свою жизнь мои родители и братья со своими семьями. Это напоминает «избитый» вопрос о том, какая рука у человека важнее. Конечно, обе... и малые Родины тоже обе!!! Поэтому, на вопрос «откуда ты?» (имея в виду мою малую Родину и «мои корни») я отвечаю не сразу, даже несколько запутанно и не совсем понятно для некоторых, называя одновременно и Забайкалье, и Иркутскую область. У тех спрашивающих, у кого земли за Уралом в голове смешиваются во что-то единое, это не вызывает уточняющих вопросов, а у других, знающих, вызывает понимание и уважительное отношение: мол вон как человек «мерит» свою малую Родину — целыми областями, и даже не одной, а не просто своей улицей или деревней... Хорошо, пусть думают и так — мне от этого только легче и радостнее! Это, действительно, всё м-о-ё, и из моей души и памяти никто никогда этого вырвать не сможет!..

...Есть ещё одно такое же родное и близкое мне место — деревня Пустошка Оленинского района Тверской области. Появилась она случайно, но как проявление необходимости в ней — хотелось иметь такой уголок, наподобие нашего родного села, куда можно было бы, хоть и ненадолго, убежать от московских суеты и проблем. И так она нас затянула, так мы со всеми и всем там сблизились, что она является, по сути, третьей малой Родиной! Она по расстоянию поближе к нам, чем первые две малые Родины. И мы, естественно, чаще здесь бываем, но никогда Пустошка не заменяла нам их, а лишь только ненароком напоминала собой те далёкие малые Родины на Востоке.

...Четвёртой малой Родиной можно назвать Москву, наш зелёный жилой массив в районе Останкино — ВДНХ, Академию на Юго-Западе и подмосковную Поваровку по Ленинградскому шоссе! Говорят, что не принято называть большие города малой Родиной, а почему?! Чем они хуже? Нет пасторальной и патриархальной картины? Но ведь не это главное. Если человек душой и сердцем привязан ко всему этому — вот это и есть его малая Родина! У меня немало друзей — коренных москвичей. И я рад вместе с ними разделять любовь к нашему прекрасному городу — столице нашей общей большой Родины!

Не буду скрывать, что в школьные годы тоже мечтал о Москве и других больших городах, хотя понимал всю труднодостижимость этого. Позже познакомился со столицей во время командировок, а потом неожиданно был сюда переведён. Воспринял это, в отличие от многих других моих будущих коллег, без особой радости — уж очень не хотелось покидать родные края и близких мне людей. Даже шутил, что «еду в ссылку... в Москву». Первое время ещё надеялся вернуться, а затем втянулся в столичную круговерть, и теперь вот уже почти половина моей жизни неразрывно связана с ней — нашей дорогой Москвой.

И хотя за эти прошедшие тридцать лет Москва стала другая, ещё более и даже слишком населённая и менее удобная для комфортного проживания в ней, надеюсь, что она всё-таки сохранила и прежнее — свои душевность и гостеприимство — ведь это лицо и символ всей нашей страны. И в этом Москве помогает окружающее и спасающее её и нас во всех отношениях Подмосковье с его умиротворяющей природой, реками и речушками, родниками, лесами, лугами и полями...

Немало есть ещё и других мест, которые так же, как и многие из упомянутых выше, называются мною полустанками жизни — здесь я или недолго проживал, или бывал в командировках, или был там просто проездом или пролётом куда-то. Каждый из них чем-то по-своему мне дорог и близок. Наверное, теми прекрасными мгновениями жизни, которые были именно там.

Название же «полустанок жизни», так понравившееся мне, позаимствовано из подписи с обратной стороны фотографии моего двоюродного дяди, находящейся в маминим фотоальбоме и запомнившейся ещё с детства — «1948 г. Сибирь — мой полустанок в... жизни...».

...Вот и вся наша жизнь складывается из таких полустанков и малых Родин...



ЗАДЕРЖАВШАЯСЯ ОСЕНЬ

В этот год зима не торопилась наступать. Очень долго по сравнению с ранешними годами стояла осень. Достаточно тёплая. Даже в первых числах ноября ещё собирали грибы. Заморозков было мало. Цветы радовали глаз своей красотой. Трава не была ещё пожухлой. Газоны и лужайки зеленели под лучами осеннего солнца. Часто выдавались ясные, солнечные дни. Небо было голубое и бесконечно глубокое.

Вода в пруду стояла светлая и прозрачная. На большой глубине были видны камешки, песчинки и редкие — уже не такие шустрые, как летом, мелкие рыбёшки. Листва с деревьев облетала медленно, как бы неохотно. Лес постепенно оголялся, и сквозь него всё дальше и дальше были видны луга и поля.

По деревьям быстро бегали и прыгали белочки, выглядевшие такими совершенными созданиями природы, что взгляд было невозможно оторвать от них. Перескакивая с ветки на ветку, прячась друг от друга за стволами елей, играя и поддразнивая, они создавали такой дух жизни и активной деятельности, что ни о каком погружении в зимнюю спячку не могло быть и речи.

Пчёлы также чувствовали затяжную и тёплую осень. В сентябре у них неоднократно выходила детка. Они активно летали, используя каждый день или даже часть дня при хорошей погоде. Несли в свои улья пыльцу и с трудом найденный и добытый при малом количестве осенних цветов нектар. Внутри улья они замазывали прополисом все щелки и отверстия, готовясь к холодной зиме. В холодные ночи собирались в «клуб», но днём, с потеплением и солнечными лучами, вновь устремлялись на волю в поисках необходимых для зимы запасов.

Но вот уже оголились стройные берёзы. Под ногами, в лесу всё шумнее стал ворох листвы, такой разноцветной и яркой, что отыскать среди неё какой-либо гриб становилось всё труднее. А летом, поскольку оно было жарким, грибов не было совсем. И, как бы компенсируя это, они стали появляться после редких нынче даже и осенью дождей.

Конечно, и по количеству и видам сбор грибов был не только «не очень», а даже «очень слабым». Но грибников радовало и это. Ведь каждый гриб доставляет такую маленькую тихую радость, которую не заменишь ничем другим. Несколько раз доходило до мокрого снега. Дня два он даже покрывал землю, но при очередном потеплении быстро таял, и осень продолжалась...

И почти как у великого Александра Сергеевича Пушкина в пятой главе его романа в стихах «Евгений Онегин», «Снег выпал только в январе...» — снег выпал в декабре и уже надолго — на всю зиму...

Снег шёл тихо. Снежинка за снежинкой почти вертикально опускалась с неба. Ветра не было. Снег ровно-ровно покрывал всю землю пушистым покрывалом, и на его белом фоне ещё ярче и выразительнее выделялась зелень осенних цветов и вечнозелёных елей и сосен.

Наступала зима, которой так боится всё живое, и испуг перед которой также сидит где-то, наверное, глубоко в генах у каждого из нас...

БЕРЁЗЫ

Слова «берёзы» и «Родина», наверное, неразрывны в сознании большинства жителей нашей необъятной страны. Ведь берёзы везде и всюду с нами. И растут они не только в европейской части страны, в Сибири и на Дальнем Востоке, а и далеко на севере и юге.

Действительно они везде: в нашей родной деревне, около домов, на огородах, в полях и даже в глухой тайге.

Если едешь куда-нибудь, то видишь — стоят они по обочинам дорог, как бы приветствуя твой приезд или провожая тебя в добрый путь. А тихий шелест их листы весной и летом подобен речи матери, напутствующей своих детей.

Как стремительно они пролетают мимо тебя в вагонном окне под стук железнодорожных колёс! От этого уносящегося вдаль их вида сердце зачастую сдавливает тоска по родным местам, и хочется даже скорей-скорей вернуться туда, откуда ты едешь сейчас, или откуда когда-то давно или недавно уехал, и где такие же, или похожие на эти, красавицы-берёзки терпеливо ждут тебя и других возвращающихся «до дому» скитальцев жизни.

Когда подойдешь к берёзе и нежно погладишь рукой её «есенинский ситец», прикоснёшься к её нежно-белому стволу щекой, а весной даже как будто почувствуешь движение берёзового сока и увидишь набухшие на веточках почки, то уже не хочется никуда-никуда уезжать, а тянет жить и трудиться на этой благодатной земле, в этой родной и любимой стороне...

Недаром берёзы, берёзка, берёзонька... воспеты и красочно отражены во многих произведениях искусства — сказках, повестях, стихах, песнях, картинах, фотографиях, кино- и видеофильмах...

Они этого, несомненно, заслуживают, и вдохновляясь этим, человек ещё больше понимает своё место в Природе Земли и своё великое предназначение — беречь её и сохранять.

Очень много нужного и к тому же полезного получает человек от берёзы, в том числе от использования её в своих сугубо утилитарных и практических целях. Вот, например, такой романтический и тоже воспетый в песнях, стихах и прозе берёзовый сок. Вообще-то он, наверное, идёт по стволу берёзы и летом, но вот его движение ранней весной, когда сходит снег, оттаивает земля и начинают журчать ручейки, наиболее обильное. И именно в это время его собирают с помощью соломинок, трубочек, корытц, марлевых повязочек и тому подобного в различные привязанные и подвешенные к берёзам ёмкости, которые иногда даже ставятся в удобном месте прямо на землю под эту сладкую капель. То, что это сладко — убеждаешься сразу — лишь попробуешь на вкус хотя бы несколько этих капелек. От разных берёз сок бывает разной степени сладости. А может быть, здесь дело не только в них самих, а и в том, откуда, из какого места земли эта живительная влага поступает в их стволы.

Вместе с берёзовым соком мы как будто вливаем в себя глоток Родины, глоток своего детства, глоток чего-то такого светлого, чистого и не замутнённого никакими примесями, которые в течение жизни, несомненно, добавляются в нас и наши души.

Или возьмём любимые мною, да и многими туески, туесочки и туеса. У нас, в московской квартире и на даче, они являются не только трогательными сувенирами, на которые, как на всякое истинное произведение искусства или результат деятельности настоящего профессионала своего дела, следует долго любоваться, но и предметами кухонного и столового обихода, в которых хранятся соль, мука, крупа, травы, чай, хлеб, сухарики, конфеты и т.п. И такое их возвращение в нашу повседневную и обильно заполненную всякими техническими новшествами жизнь является вполне оправданным.

Делались и делаются они из бересты, а точнее, из её внутреннего жёлтого слоя. И настоящий туесок (сколота) должен быть без стыка на внутренней его поверхности, т.е. быть сплошным. Тогда в нём (если он сделан по всем правилам) можно даже держать сметану или молоко (и они дольше не скисают). А вот наружная (защитная) сторона туеска может делаться не только из внутреннего слоя бересты, а и из внешнего. И в зависимости от этого туески могут быть жёлтые или белые (как и сами стволы берёзок). На этой стороне туеска делается стык (замок), который виден, и в зависимости от мастерства умельца может иметь огромное разнообразие вариантов изготовления.

Несмотря на свою кажущуюся непрочность, туески при правильном и бережном их использовании и уходе «живут» долго. Одному такому долгожителю в нашей семейной коллекции уже значительно более ста лет, хотя он активно использовался, прежде чем родственники не подарили его нам. Туески, как и любое деревянное изделие, требуется тщательно просушивать, тогда и служить нам, и радовать нас они будут долго-долго!

Конечно, всякому знакомы берёзовые веники для бани. Их заготовка начинается обычно после праздника Троицы, когда берёзовыми веточками украшают жилища и дворы, а заканчивается после Петрова дня (Петровки). Считается, что в этот период они наиболее целебные, ароматные и полезные. И действительно, их «думяный» запах в русской бане заставляет воспрянуть силами даже очень усталого человека, а в не уставшего он вселяет ещё большие силы и уверенность в жизни.

А маленький незаметный «банный листик», который обычно прилипает к нам в бане, и про который даже имеется известная народная присказка («пристал как банный лист»), может вытянуть жидкость из гноящейся раны на теле и способствует её быстрому заживлению!

Также удивительно полезны берёзовые почки, которые появляются и набухают на берёзах по ранней весне одновременно с таянием снега. При этом чем раньше (в период до распускания в зелёные листочки) их соберёшь и приготовишь из них лекарственные настои (для натирания и даже для употребления внутрь), тем они будут полезнее.

Какое доброе и обильное тепло дают в печи, в камине или просто в костре берёзовые дрова! Дым от них имеет особый специфический и по-домашнему уютный запах. То есть, сгорая, берёза как бы стремится отдать нам для пользы максимально большее, что она ещё может и на что способна. И такая её жертвенность не только впечатляет, но и заставляет задуматься о многом!

После всего этого полезность берёзы не заканчивается. Её угольки — это почти активированный уголь, который как лекарство продаётся в аптеках. А если эти угольки поместить в ёмкость с берёзовым соком, то он почти всё лето не закисает и сохраняет свои полезные свойства.

Берёза может угостить нас сладким лакомством — мезгой, гущиной, которая образуется под внутренним слоем бересты в начале лета. И если аккуратно, не повреждая весь круговой слой бересты, а только её кусочек, вскрыть и соскоблить перочинным ножиком это лакомство с её ствола — то окажется, что это даже слаще конфет.

Кроме всего этого, берёза даёт нам чагу (своеобразные наросты), которую заваривают и пьют как целебные настои.

Издrevле из берёзы получали (или, как тогда говорили, «гнали») дёготь, который использовался как смазка для телег и всяких движущихся механизмов, в том числе и для смазки дверных и амбарных петель, засовов и замков. А ещё дёготь используется в медицинских целях для лечения различных заболеваний.

Поскольку древесина берёзы достаточно прочная, то она активно использовалась, да и сейчас ещё используется для изготовления сельскохозяйственного инвентаря — граблей, черенков для лопат, вил и тяпок, полозьев саней и тому подобного.

И это перечисление полезности берёзы для человека можно ещё продолжать и продолжать.

... Но всё же в берёзе даже при этой практической стороне нашего с нею взаимодействия нам больше нравятся её облик и стройный вид вдоль дорог, за деревенской околицей, в лугах и перелесках. А ночами во сне или вдали от родных мест мы нередко слышим тихий-тихий шелест листвы берёз и видим их всегда празднично-оптимистичный бело-ситцевый наряд, который в их бесконечном хороводе сливается для нас всех в такое родное и близкое понятие — Родина!



*...Зима без морозов не бывает...
(Народная присказка)*

НЕОБЫКНОВЕННОЕ ОБЫКНОВЕННОЕ

После жаркого лета и сравнительно тёплой осени зима понемногу начала вступать в свои права.

Как и положено ещё издревле, на Покров (четырнадцатого октября) выпал первый снег, и даже была лёгкая метель. Постепенно снег растаял. Но ровно через месяц после этого снова пошёл, да такой пушистый, зимний, что можно было уже ходить на лыжах. Его подсыпало для ноября очень даже немало. Расчищая дороги и тропинки, всем пришлось немало потрудиться, но с большой радостью, поскольку по снегу уже соскучились.

И даже тепло, неожиданно нахлынувшее в декабре, не смогло этот снег полностью «слизнуть». За городом он лишь «присел», покрылся ледяной коркой и ещё сильнее прилип к прошлогодней траве, хвое, листьям и веткам. Землю он накрыл надёжно, и когда после Нового года затрещали настоящие и давно не испытываемые рождественские морозы, это снежно-ледяное покрывало спасало деревья, кустарники и озимые от промерзания.

Этого снега даже хватило присыпать со всех сторон (для теплоты) ульи с пчёлами, стоящими «на воле» (а не в сарае или в омшанике). Находясь в этих снежных сугробах, пчёлы подавали признаки жизни лишь куржаками и заиндевшим видом летков своих ульев, почти так же, как это происходит и у человека от дыхания на суровом морозе.

...Еле слышен стал ещё совсем недавно так весело журчавший ручей. Его сковала толстая корка льда. И теперь он зазвучал уже не наподобие старинного клавирина (встречающегося в музеях и в кино), а наподобие какого-то другого, незнакомого и даже может быть совсем неизвестного нам музыкального инструмента из многочисленного симфонического оркестра, имя которому — сама Жизнь!

...Ночью на морозном звёздном небе видна бесконечность Вселенной. А днём всё играет и сверкает в солнечных лучах. И хотя низкое зимнее солнце быстро пробегает свою короткую южную дугу, этого вполне достаточно, чтобы вдоволь налюбоваться зимней сказкой.

По веткам елей и сосен рукой «неизвестного художника» небрежно разбросан снег, да так искусно и естественно, как, наверное, не удастся изобразить ни одному, даже великому, мастеру живописи.

...Под нашими валенками приятно поскрипывает белый-белый снег, и это вновь и вновь возвращает нас всех в детство, в школьные каникулы и новогоднюю кутерьму — с лыжами, санками, игрой в снежки и другими замечательными зимними забавами!!!

*«Куст заденешь плечом, —
на лицо тебе вдруг
с листьев брызнет
роса серебристая...»*

Н. Никитин

РОСЫ

Роса серебристая, утренняя, вечерняя, ночная, ледяная, медвяная (медовая), рассыпанная по лугу, роса после дождя или ливня, росинка, росистый. . .

Всё это можно перечислять ещё долго и долго, пытаюсь полнее отобразить словами всю прелесть и первозданную чистоту и свежесть такого, казалось бы, простого физического и земного явления, как роса. Ведь по толковому словарю роса — всего лишь «...водяные капли, осаждающиеся из влажного воздуха на земле и растениях при охлаждении, понижении температуры...».

К простому и обычному мы зачастую не сильно присматриваемся... и вдруг видим утром на гладких листьях шиповника рассыпанные бриллианты! На небе ходят тучки, то и дело закрывающие солнце, и поэтому эти «бриллианты» разные по размеру: от мелких-мелких до достаточно крупных, сверкают то более ярким отблеском, то меньшим. И хотя вообще-то в драгоценностях я не особенно разбираюсь, встречаюсь с этим не часто и даже не имею желаний любоваться ими в музеях или на людях, — но догадался, что здесь уместно сравнение именно с бриллиантами, отшлифованными так же безупречно, как эти капельки и капли росы.

Под вырвавшимся из-за тучек ослепительно-яркими солнечными лучами это всё мгновенно превращается в изумительно красивое зрелище, невольно привлекающее взгляд и заставляющее в очередной раз восторгаться ещё одним из бесконечного числа творений Её Величества Природы!

А вот такие же водяные капли, капельки и росинки рассыпаны по лугу под окнами нашего деревенского дома. Искрясь множеством тонких светлых лучиков, они постепенно куда-то исчезают по мере того, как всё возрастающее с утра солнечное тепло слизывает их с луговых травинок и листиков. . .

Издревле в народе говорится: «Коси коса — пока роса!». И действительно, по росе, да ещё обильной, намного легче и приятнее косится. При этом хорошо отбитая и наточенная коса-литовка у умелого косца срезает увлажнённую росой траву с почти звенящим резким звуком — «е-с-т-ь», и после нового замаха косой снова — «е-с-т-ь», и так до конца намеченного прокоса или до момента новой заточки (поправки) косы. К сожалению, по уже обсохшей от росы траве такого удовольствия при косьбе не получается, и лишь только на очень сочных травах и покосах можно испытать что-то подобное не только поутру, а и позднее днём.

Скошенная вместе с росой трава пахнет совершенно по-другому — ароматно-«духмяно», и от неё в преддверии предстоящего жаркого дня тянет прохладой, а сам прокос кажется даже толще, объёмнее и пышнее.

Пучком этой же увлажнённой росой и только что скошенной травы протирается и коса от мелких стебельков и листьев, которые к ней прилипли. Затем она «правится» оселком, смоченным росой с травы из соседнего, ещё только намечаемого прокоса...

Росой умываются... — и не только растения и деревья, но может в случае необходимости умыться и человек, осторожно собирая эти прозрачные капельки в пригоршни или ладони, а затем выплёскивая эту драгоценную и кристально-чистую влагу себе в лицо. Также можно обмыть росой руки или запачканную после полевых работ обувь, и этим часто пользуются сельские жители и дачники, проходя по росистому лугу или хорошему травяному газону.

Ещё можно росой утолить жажду — если нет рядом другого источника воды или так хочется. А собрать её для этого лучше в берестяной короб — разновидность туюска, сделав его здесь же из снятого верхнего слоя коры берёзы.

Солнечным летним утром по росе хорошо пройти или пробежаться босиком. Когда же бывает прохладно — то при этом даже «сводит ноги» и порою знобит — такая ледяная роса бывает обычно уже к концу лета и осенью... Но в лучах восходящего солнца она всё равно так же бесподобно сверкает и искрится мириадами маленьких бриллиантов-солнышек, как и в другие прекрасные тёплые утренние часы такого короткого земного времени года — лета!!!



СОСНЫ*

Эти изумительные своей строгой красотой деревья сопутствуют нам по жизни.

Помню, что в детстве около нашего дома, в забайкальском селе Черемхово, стояла огромная сосна. И когда спустя более тридцати лет, как мы оттуда уехали, удалось вновь побывать там, то с огромной радостью обнаружил, что эта сосна по-прежнему украшает окружающее её пространство и стоит так же уверенно и мощно, как и в ранешние годы. А тогда мы мимо неё пробегали с братьями в школу, и пытались запечатлеть её вид акварельными красками, воодушевлённые картинами-шедеврами Шишкина и уроками рисования...

Соснами, как и большинством творений Природы, можно любоваться бесконечно. Вот они тихо и грациозно окружают нашу дачу в Подмосковье и, казалось бы, они нам известны до мелочей — ведь смотрим на них уже более десяти лет. Но смотрим-то смотрим, а многого, к сожалению, и не замечаем.

Присмотревшись теперь повнимательнее, видим, что у некоторых сосен несколько искривлены стволы, раздвоены верхушки, имеются даже наклоны в ту или иную сторону, отсутствует равномерность в расположении веток, и ещё многое другое. Но всё это нисколько не умаляет их красоту, а наоборот, придаёт им особое своеобразие, необычность и индивидуальность. Если же ещё получше присмотреться, то становится очевидным, что у всех сосен расположение веток по высоте ствола не просто неравномерное, а почти хаотичное и даже беспорядочное. И в этом тоже видится особая прелесть, которая привлекает взгляд и придаёт свою неповторимость каждой сосне.

А вот эти сосны подходят под громкое определение «корабельные» — такие они стройные, гладкие, высокие и ровненькие по толщине своего ствола. Но это из ряда практического их использования для определённых и узко-утилитарных целей. По-моему же, так и другие сосны, менее подходящие под упомянутое определение, ничем не хуже. И все они устремлены всем своим существом вверх, ввысь, и даже кажется, вот-вот оторвутся от земли и полетят к нему — нашему общему тёплому и ласковому Светилу — Солнцу.

Прелестно смотрятся сосны ясным летним утром, которое и само бесподобно прелестно, как и большинство начал, — а это начало нового дня. Солнечные лучи осторожно, несмело освещают самую верхушку сосны со светло-зелёной хвоей, затем подвигаются ниже и ниже и начинают пробуждать жёлтое солнце её ствола, а вскоре и весь ствол уже светится пока ещё не жарким и таким приятным и нежным светом. Постепенно этого света становится всё больше и больше, но он не раство-

* *Сосны* — ...хвойные деревья с длинной хвоей и небольшими шишками (см.: Толковый словарь русского языка. — М.: Госиздат, 1940); ...занимают около 1/6 площади всех лесов России (см.: Национальный атлас России. — М., 2007).

ряется в наступающем дне, а, меняя и изменяя свои оттенки, радует наш взгляд весь день до глубокой ночи.

Жарким июльским полднем обжигающие солнечные лучи делают стволы сосен такими блестящими и ярко-светло-жёлтыми, что всё вокруг становится весёлым, праздничным, играющим и жизнерадостным. А ветки с зелёной хвоей, слегка покачиваясь, создают даже в безветренную погоду ощущение лёгкого, приятного и охлаждающего жару ветерка.

В лучах заходящего солнца сосны приобретают своеобразно-романтический вид. Внизу всё постепенно погружается, и даже уже погрузилось в тёмную часть земных суток, и всё более и более ощущается приближение ночи, а сверху на фоне ещё светлого неба почти так же ярко, как и днём, сверкают желтизной стволы сосен. Только чувствуется, что жара-тепла от них исходит меньше: ведь и солнце посылает на них свои лучи уже под косым, уводящим его далеко-далеко за горизонт углом... И вот последний солнечный луч соскользнул с зелёной хвойной вершины сосны в небо, поиграл ещё на медленно движущихся облаках, а затем уже окончательно все мы вместе с красавицами-соснами опускаемся в тихую тёплую подмосковную летнюю ночь.

На фоне бесконечно глубокого и ярко-голубого осеннего неба сосны смотрятся очень выразительно. Кажется, что их устремлённые ввысь стволы вот-вот как ракеты полетят туда в глубины Вселенной, и даже тянет без оглядки, вместе с ними тоже туда улететь... И такая лёгкость, свежесть и ясность во всём наступает.

Зимой на соснах — белоснежные украшения. Но сколько бы снега ни задержалось и ни прильнуло к их ветвям, стволу и хвое — он только украшает эти и без того красивые создания Природы. А в сравнении с елями, которые порой бывают так сильно укутаны снегом, сосны и в трескучие морозы выглядят как лишь слегка одетые парни-щёголи, — им это всё нипочем!

Весеннее солнце раньше, чем с другими лесными красавицами, начинает заигрывать со своими жёлтыми родичами — соснами, лаская и грея их стволы. В воздухе при этом даже появляется иногда запах сосновой смолы — свидетельство скорого наступления всеобщего тепла. И так бывает приятно прислониться к нагретому солнцем стволу сосны и вдохнуть этот смолянистый воздух!

Всё это, в основном, относится к ясной и солнечной погоде. Но даже и в пасмурную погоду вершины стволов сосен блестят и излучают яркий жёлтый свет, подобно Солнцу. Несколько мрачнее, конечно, они смотрятся в дождь. Но и при этом выглядят они очень достойно и гордо, как бы говоря, что и это им нипочем. И действительно, дождь с них стекает так быстро, что даже не успеваешь заметить — ведь их гладкая хвоя почти не принимает эту благотворную влагу, и капельки дождя по ней скользят, нигде не задерживаясь.

...Недавно нам посчастливилось полюбоваться стройными сосновыми лесами Белоруссии — ухоженными и обустроенными. А ещё, когда летишь над Сибирью, Забайкальем или Дальним Востоком, то с удовольствием через иллюминатор самолёта любишь бескрайними просторами преимущественно сосновых лесов, к нашему счастью, ещё не совсем вырубленных. Все эти светлые и солнечные даже в плохую погоду леса радуют и вселяют надежду на будущее всем нам!

БИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ

Кунгуров Гавриил Филиппович, прозаик, публицист (1903, Забайкалье — 1981, Иркутск). Автор многих книг, в т. ч.: *Топка* (М.; Иркутск, 1935); *Артамошка Лузин* (Иркутск, 1937); *Путешествие в Китай*: ист. повесть (Иркутск, 1940); То же, перераб. и доп., под загл. *Албазинская крепость* (М., 1959); *Моя Родина непобедима*: рассказы (Иркутск, 1941); *Тыловые рассказы* (Иркутск, 1942); *Золотая степь*: рассказы о Монголии (М., 1946); *Свет не погас*: повесть (Иркутск, 1948); *Бессмертное имя*: рассказы (Иркутск, 1952); *Наташа Брускова*: роман (Иркутск, 1959); *Хозяева тайги*: сказки (Новосибирск, 1962); *Сибирь и литература* (Иркутск, 1965); *Оранжевое солнце*: повесть (М., 1976) и др. Докт. филол. наук. Член Союза писателей СССР (Иркутская писательская организация).

Зверев Алексей Васильевич, прозаик (1913, с. Усть-Куда Иркутского р-на Иркутской обл. — 1992, Иркутск). Автор книг: *Далеко в стране Иркутской*: роман (Иркутск, 1962); *Дом и поле*: роман (Иркутск, 1970); *На Ангаре*: рассказы (Иркутск, 1972); *Последняя огневая*: повести (Иркутск, 1977); *Лыковцы и лыковские гости*: повести (Иркутск, 1980: *Современная сибирская повесть*); *Выздоровление*: повести и рассказы (М., 1982); *Раны*: повести и рассказы (М., 1983); *Жили-были учителя*: повести и рассказы (Иркутск, 1990); *Как по синему морю*: повести, рассказы (Иркутск, 1984). Член Союза писателей России.

Черемных Иннокентий Захарович, прозаик (1922, д. Паберега Братского р-на Иркутской обл. — 2004, Братск). Автор книг: *Разведчики*: повесть (Иркутск, 1970); *Однополчане*: роман (Иркутск, 1981); *После войны*: повесть (Иркутск, 1986); *Однополчане*: роман. 2-е изд., доп. (Иркутск, 1989); *Советский сибирский роман*; *Лихолетье*: роман (М., 1989); *Моя деревня Паберега* (Братск, 1998); *Солдаты войны*. В 2-х ч. (Братск, 1999). Член Союза писателей России.

Сергеев Дмитрий Гаврилович, прозаик (1922, Иркутск — 2000, Иркутск). Автор многих книг, в т. ч.: *Загадка большой тропы*: приключ. повесть (Иркутск, 1959); *Доломитовое ущелье*: фантастика и приключения: рассказы (Иркутск, 1965); *Осенние забереги*: рассказы (М., 1967); *Завещание каменного века*: повесть и рассказы (Иркутск, 1972); *В разгаре сезона*: роман (М., 1974); *В сорок втором*: повесть и рассказы (М., 1975); *Позади фронта*: повесть (Иркутск, 1978); *Прерванная игра*: фантаст. повесть (Иркутск, 1983); *Конный двор*: роман (М., 1984); *За стенами острога*: повесть (Иркутск, 1986); *Старые особняки*: повести (М., 1989); *Посреди зимы*:

роман (Иркутск, 1992); *Запасной полк*: роман (Иркутск, 1995); *Залито асфальтом*: повесть, роман, рассказы (Иркутск, 2002) и др. Почетный гражданин г. Иркутска. Член Союза российских писателей (Иркутское отделение).

Вампилов Александр Валентинович, драматург, прозаик (1937, г. Черемхово Иркутской обл. — 1972, оз. Байкал, в р-не пос. Листвянка). Автор сб. юмористич. рассказов *Стечение обстоятельств* / под псевд. А. Санин (Иркутск, 1961); пьес (прижизненные издания): *Старший сын*: комедия в 2-х действ. (М.: Искусство, 1970); *История с метранпажем*: комедия в одном действ. (М.: Искусство, 1971); первые публикации пьес *Прощание в июне*, *Старший сын*, *Двадцать минут с ангелом*, *Утиная охота*, *Прошлым летом в Чулимске* — в ирк. альманахе *Ангара (Сибирь)*. Пост-ки на сценах отечественных театров и за рубежом. Посмертные издания: *Избранное* (М., 1975; М., 1999); *Прощание в июне*: пьесы (М., 1977); *Старший сын*: пьесы (Иркутск, 1977); *Билет на Усть-Илим*: публицистика (М., 1979); *Дом окнами в поле*: пьесы; очерки и статьи; фельетоны; рассказы и сцены (Иркутск, 1981); *Утиная охота*: пьесы (Иркутск, 1987); *Стечение обстоятельств*: рассказы и сцены; фельетоны; очерки и статьи; из неоконченного и неопубликованного; о Вампилове (Иркутск, 1988); *Записные книжки* (Иркутск, 1997); *Финский нож и персидская сирень*: рассказы и очерки (Иркутск, 1997); *Драматургическое наследие* (Иркутск, 2002). Член Союза писателей СССР (Иркутская писательская организация).

Распутин Валентин Григорьевич, прозаик, публицист (1937 г. с. Усть-Уда Иркутской области — 2015, Москва). Автор многих книг, в т. ч.: *Собрание сочинений* в 3 т.: повести, рассказы, очерки (М., 1994); *Собрание сочинений* в 4 т. (Иркутск, 2007); *Избранные произведения* в 2 т. (М., 1990); *Деньги для Марии*: повесть и рассказы (М., 1968); *Последний срок*: повести и рассказы (Иркутск, 1970); *Последний срок*; *Деньги для Марии*: повести (Новосибирск, 1971: *Молодая проза Сибири*); *Живи и помни*: повесть, рассказы (М., 1975: *Новинки Современника*); *Живи и помни*: повесть, рассказы (Иркутск, 1978: *Современная сибирская повесть*); *Век живи — век люби*: рассказы, сиб. повествования (М., 1984); *Земля Родины*: сборник: для мл. шк. возр. (М., 1984); *Пожар*: повесть (М., 1986: *Библиотека Огонёк*); *Что в слове, что за словом*: очерки, интервью, рецензии (Иркутск, 1287); *Сибирь, Сибирь...*: очерки (М., 1991: *Отечество: Старое. Новое. Вечное*); То же, доп. (Иркутск, 2000; 2006); *Россия: дни и времена*: публицистика (Иркутск, 1993); *В ту же землю*: рассказы (М.; Иркутск, 1997); *Дочь Ивана, мать Ивана*: повесть; рассказы (Иркутск, 2004); *В поисках берега*: повесть, очерки, статьи, выступления, эссе (Иркутск, 2007) и др. Дважды лауреат Государственной премии СССР (1977, 1987). Лауреат Государственной премии РФ (2012). Почетный гражданин г. Иркутска. Член Союза писателей России.

Леонид Иванович Бородин (1938, Иркутск — 2011, Москва). Учился в Иркутском государственном университете, из которого был исключен за организацию студенческого кружка; окончил педагогический институт в г. Улан-Удэ в 1962 г.; работал на строительстве Братской ГЭС, на руднике в Норильске; после окончания института преподавал, был директором школы в Ленинградской области; с 1965 г. по 1967 г. состоял в нелегальном Всероссийском социал-христианском союзе освобождения народа (ВСХСОН); подвергался преследованию за политическую и правозащитную деятельность, был осужден и отбывал сроки в лагерях (1967—1973,

1982 — 1987). С 1978 г. начал публиковаться в издательстве «Посев», автор книг «Женщина в море», «Третья правда», «Год чуда и печали», «Повесть странного времени», «Расставание». С 1992 по 2011 гг. — главный редактор литературного журнала «Москва». Лауреат всероссийской Пушкинской премии «Капитанская дочка» (1996), литературной премии «Умное сердце» им. Андрея Платонова (1997), премии Александра Солженицына (2002), «Большой литературной премии России» Союза писателей России (2004), литературная премия «Ясная Поляна» (2007) и др.

Суворов Евгений Адамович, прозаик (1934, д. Жизневка Иркутской обл. — 2009, Иркутск). Автор книг: *Волчи ягоды*: рассказы (Иркутск, 1968); *Этажом выше*: рассказы (Иркутск, 1969); *Соседи*: повесть и рассказы (М., 1980); *Не плачь, ястреб*: повести и рассказы (Иркутск, 1982: *Современная сибирская повесть*); *Голос*: повести и рассказы (М., 1985); *Совка*: повести; рассказы (Иркутск, 1985); *Три дня в деревне*: очерк, рассказы (Иркутск, 1989); *Соседи*: повести (Иркутск, 1990); *Дом на поляне*: повести, рассказы, очерки (Иркутск, 1995); *Мы вернёмся в деревню*: очерки разных лет (Иркутск, 2005); *Вот где красота*: Избранное: повести, рассказы (Иркутск, 2010); *Очарованное сердце*: повесть, рассказы, очерки (Иркутск, 2011) и др. Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

Хайрюзов Валерий Николаевич, прозаик (род. в 1944 г. в г. Иркутске). Автор книг: *Непредвиденная посадка*: повесть, рассказы (Иркутск, 1979); *Опекун*: повесть, рассказы (М., 1980: *Первая книга в столице*); *Почтовый круг*: повесть, рассказы (М., 1982); *Отцовский штурвал*: повести (М., 1984); *Приют для списанных пилотов*: повести, рассказ (Иркутск, 1984: *Современная сибирская повесть*); *Малая Грузинская*: повести и рассказы (М., 1986); *Истории таёжного аэродрома*: для мл. шк. возр. (Иркутск, 1986); *Плачь, милая, плачь*: повести и рассказы (Иркутск, 1994); *То же* (М., 1995); *Без меня там пусто!* (М., 1998); *Иркут*: избр. произв. (Иркутск, 2009) и др. Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

Воронов Виктор Васильевич родился в 1950 году в г. Чите. Окончил Черемховскую среднюю школу Красночикоийского района Читинской области, а затем Иркутский политехнический институт по специальности «инженер-строитель». Работал в гг. Шелехов и Иркутск мастером, прорабом, секретарем комитета комсомола треста «Иркутскалюминстрой», первым секретарем Шелеховского горкома ВЛКСМ, вторым секретарем Иркутского обкома ВЛКСМ, а затем после перевода в г. Москву работал в ЦК ВЛКСМ, Минтрансстрое СССР, Академии общественных наук при ЦК КПСС. С 1991 года — директор Международной школы управления «Интенсив» Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, профессор, заслуженный экономист РФ, член Союза писателей России, член Центрального Правления общества дружбы «Россия–Япония», сопредседатель Литературного Клуба Иркутского землячества «Байкал» (г. Москва). Автор ряда книг, учебников и множества публикаций, в том числе «Пригоршни из туесков памяти» — часть первая (2005), часть вторая (2007), части первая, вторая и третья (2010), «Расставания... и встречи» (2011), «Мысли в охапку» (2014).



СОДЕРЖАНИЕ

ГАВРИИЛ КУНГУРОВ

АЛБАЗИНСКАЯ КРЕПОСТЬ. *Главы из книги* 4

АЛЕКСЕЙ ЗВЕРЕВ

ГАРУСНЫЙ ПЛАТОК. *Повесть* 96

ПАНТЕЛЕЙ. *Рассказ* 132

ИННОКЕНТИЙ ЧЕРЕМНЫХ

РАЗВЕДЧИКИ. *Главы из повести* 150

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ

Рассказы

В СОРОК ВТОРОМ 236

НА ТИХИХ ПЛЁСАХ 252

ЛЕДОЛОМ НА АНГАРЕ 257

АЛЕКСАНДР ВАМПИЛОВ

СТАРШИЙ СЫН. *Комедия в двух действиях* 268

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН

Рассказы

ЧТО ПЕРЕДАТЬ ВОРОНЕ? 326

ЖЕНСКИЙ РАЗГОВОР 339

УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО 347

НЕЖДАННО-НЕГАДАННО. *Повесть* 365

ЛЕОНИД БОРОДИН

ГОД ЧУДА И ПЕЧАЛИ. *Повесть* 390

ЕВГЕНИЙ СУВОРОВ

СОВКА. *Повесть* 472

ВАЛЕРИЙ ХАЙРЮЗОВ

КАПИТАН ЛЕТАЮЩЕГО САРАЯ. *Повесть* 536

ВИКТОР ВОРОНОВ

ПРИГОРШНИ ИЗ ТУЕСКОВ. *Семь туесков*

| | |
|---------------------------------------|---------|
| О туесках и пригоршнях | 572 |
| Малые родины и полустанки жизни | 574 |
| Задержавшаяся осень | 577 |
| Берёзы | 578 |
| Необыкновенное обыкновенное | 581 |
| Росы | 582 |
| Сосны | 584 |
| БИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ | 586 |



ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ ИРКУТСК—БАЙКАЛ

Избранные произведения сибиряков

Составители *А.К. Лаптев, В.В. Воронов*

Корректор *Н.О. Шильникова*

Художник *С.А. Бурчевская*

В книге использованы фотографии
М.А. Лебедевой, С.А. Бурчевской, В.В. Воронова

Формат 70x100_{1/16}

Печать полноцветная.

Усл.печ.л. 37. Тираж 1000 экз.

Издательство «Сибирская книга».
Тел. 8-914-88-73-880. laptev99@mail.ru

Отпечатано в ООО «РЕПРОЦЕНТР А1»
664047, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99/2
тел. 540-940